Томас Карлейль

ГЕРОИ, ПОЧИТАНИЕ ГЕРОЕВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ В ИСТОРИИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роль личности в истории. «Культ героизма», «божественное предначертание», становление человека, с юных лет осознающего свое право и долг распоряжаться судьбами миллионов. Таковы темы основных исторических произведений Томаса Карлейля – выдающегося ученого, искренне верившего в то, что человечество обязано своим прогрессом и продвижением вперед не столько массам, сколько исключительным, возвышавшимся над толпой личностям. Одних постигло трагическое поражение, другие одержали победу над своей эпохой – но все они сумели изменить время, в которое жили, и страны, которыми управляли.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

- Томас Карлейль
  - Герои, почитание героев и героическое в истории
    - Беседа первая Герой как божество. Один: язычество, скандинавская мифология
    - Беседа вторая Герой как пророк. Магомет: ислам
    - Беседа третья Герой как поэт. Данте. Шекспир
    - Беседа четвертая Герой как пастырь. Лютер: реформация. Нокс: пуританизм
    - Беседа пятая Герой как писатель. Джонсон. Руссо. Бернс
    - Беседа шестая Герой как вождь. Кромвель. Наполеон: современный революционаризм
    - Примечания
  - Исторические и критические опыты
    - Граф Калиостро
      - I
      - II
    - Бриллиантовое ожерелье
      - Глава I Век романтизма
      - Глава II Ожерелье сделано
      - Глава III Ожерелье не может быть продано
      - Глава IV Сродство: две господствующие идеи
      - Глава V Артистка
      - Глава VI Соединятся ли две господствующие идеи?
      - Глава VII Мария-Антуанетта
      - Глава VIII Обе господствующие идеи соединяются

- Глава IX Версальский парк
- Глава X За кулисами
- Глава XI Ожерелье продано
- Глава XII Ожерелье исчезает
- Глава XIII Сцена третья
- Глава XIV За ожерелье не может быть уплачено
- Глава XV Сцена четвертая
- Глава последняя Missa est

- Вольтер27
- Дидро39
- Мирабо48
- Роберт Бернс51
- Вальтер Скотт59
- Что мне делать, когда моя свинка умрет?
- Примечания

- Теперь и прежде
  - I Вступление
    - Мидас
    - Моррисоновы пилюли
    - Аристократия Таланта
    - Почитание Героев
  - II Старинный монах
    - Монах Самсон
    - Избирательная борьба
    - Выборы
    - Аббат Самсон
    - Святой Эдмунд
    - Начала
  - III Современный работник
    - Призраки
    - Англичане
    - Демократия
    - Снова Моррисон
  - IV Гороскоп
    - Аристократии
    - Вожди промышленности
    - Владеющие землею
    - Поучительная глава
    - Примечания
- Этика жизни. Трудиться и не унывать
  - I Трудиться
  - II Не унывать
  - III Люди и герои

- IV Ложные пути и цели
- V Молчание
- Примечания

- Афоризмы

Томас Карлейль
Герои, почитание героев и героическое в истории

Герои, почитание героев и героическое в истории

Беседа первая Герой как божество. Один: язычество, скандинавская мифология

В настоящих беседах я имею в виду развить несколько мыслей относительно великих людей: каким образом они проявляли себя в делах нашего мира, какие внешние формы принимали в процессе исторического развития, какое представление о них составляли себе люди, какое дело они делали. Я намерен говорить о героях, их роли, о том, как относились к ним люди; что я называю почитанием героев и героическим в человеческих делах.

Бесспорно, это слишком пространная тема. Она заслуживает несравненно более обстоятельного рассмотрения, чем то, какое возможно для нас в данном случае. Пространная тема беспредельна, на самом деле она столь же обширная, как и сама всемирная история. Ибо всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть. Все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории. Поэтому совершенно ясно, что избранная нами тема по своей обширности никоим образом не может быть исчерпана в наших беседах.

Одно, впрочем, утешительно: великие люди, каким бы образом мы о них ни толковали, всегда составляют крайне полезное общество. Даже при самом поверхностном отношении к великому человеку мы все-таки кое-что выигрываем от соприкосновения с ним. Он – источник жизненного света, близость которого всегда действует на человека благодетельно и приятно. Это – свет, озаряющий мир, освещающий тьму мира. Это – не просто возжженный светильник, а скорее природное светило, сияющее, как дар неба; источник природной, оригинальной прозорливости, мужества и героического благородства, распространяющий всюду свои лучи, в сиянии которых всякая душа чувствует себя хорошо. Как бы там ни было, вы не станете роптать на то, что решились поблуждать некоторое время вблизи этого источника.

Герои, взятые из шести различных сфер и притом из весьма отдаленных эпох и стран, крайне не похожие друг на друга лишь по своему внешнему облику, несомненно, осветят нам многие вещи, раз мы отнесемся к ним доверчиво. Если бы нам удалось хорошо разглядеть их, то мы проникли бы до известной степени в самую суть мировой истории. Как счастлив буду я, если успею в такое время, как ныне, показать вам, хотя бы в незначительной мере, все значение героизма, выяснить божественное отношение (так должен я назвать его), существующее во все времена между великим человеком и прочими людьми, и, таким образом, не то чтобы исчерпать предмет, а лишь, так сказать, подготовить почву! Во всяком случае, я должен попытаться.

Во всех смыслах хорошо сказано, что религия человека составляет для него самый существенный факт, – религия человека или целого народа. Под религией я разумею здесь не церковное вероисповедание человека, догматы веры, признание которых он свидетельствует крестным знамением, словом или другим каким-либо образом; не совсем это, а во многих случаях совсем не это. Мы видим людей всякого рода исповеданий одинаково почтенных или непочтенных, независимо от того, какого именно верования придерживаются они. Такого рода исповедание подтверждает, по моему разумению, еще не религия. Оно составляет часто одно лишь внешнее исповедание человека, свидетельствует об одной лишь логико-теоретической стороне его, если еще имеет даже такую глубину. Но то, во что человек верит на деле (хотя в этом он довольно часто не дает отчета даже самому себе и тем менее другим), принимает близко к сердцу, считает достоверным во всем, касающемся его жизненных отношений к таинственной вселенной, долга, судьбы; то, что при всяких обстоятельствах составляет главное для него, обусловливает и определяет собой все прочее, – вот это его религия, или, быть может, его чистый скептицизм, его безверие.

Религия – это тот образ, каким человек чувствует себя духовно связанным с невидимым миром или с не-миром. И я утверждаю: если вы скажете мне, каково это отношение человека, то вы тем самым с большой степенью достоверности определите мне, каков этот человек и какого рода дела он совершит. Поэтому-то как относительно отдельного человека, так и относительно целого народа мы первым делом спрашиваем, какова его религия? Язычество ли это с его многочисленным сонмом богов – одно лишь чувственное представление тайны жизни, причем за главный элемент признается физическая сила? Христианство ли – вера в невидимое, не только как в нечто реальное, но и единственную реальность? Время, покоящееся в

каждое самое ничтожное свое мгновение на вечности? Господство языческой силы, замененное более благородным верховенством, верховенством святости? Скептицизм ли, сомневающийся и исследующий, существует ли невидимый мир, существует ли какая-либо тайна жизни или все это одно лишь безумие, то есть сомнение, а быть может, неверие и полное отрицание всего этого? Ответить на поставленный вопрос – это значит уловить самую суть истории человека или народа.

Мысли людей породили дела, которые они делали, а самые их мысли были порождены их чувствами. Нечто невидимое и спиритическое, присущее им, определило то, что выразилось в действии; их религия, говорю я, представляла для них факт громадной важности. Как бы нам ни приходилось ограничивать себя в настоящих беседах, мы думаем, что полезно будет сосредоточить наше внимание на обозрении главным образом этой религиозной фазы. Ознакомившись хорошо с ней, нам нетрудно будет уяснить и все остальное. Из нашей серии героев мы займемся прежде всего одной центральной фигурой скандинавского язычества, представляющей эмблему обширнейшей области фактов. Прежде всего, да позволено нам будет сказать несколько слов вообще о герое, понимаемом как божество, – старейшей, изначальной форме героизма.

Конечно, это язычество представляется нам явлением крайне странным, почти непонятным в настоящее время: какая-то непроходимая чаща всевозможных призраков, путаницы, лжи и нелепости; чаща, которой поросло все поле жизни и в которой безнадежно блуждали люди. Явление, способное вызвать в нас крайнее удивление, почти недоверие, если бы только можно было не верить в данном случае. Ибо действительно нелегко понять, каким образом здравомыслящие люди, глядящие открытыми глазами на мир Божий, могли когда бы то ни было невозмутимо верить в такого рода доктрины и жить по ним. Чтобы люди поклонялись подобному же им ничтожному существу, человеку, как своему богу, и не только ему, но также – пням, камням и вообще всякого рода одушевленным и неодушевленным предметам; чтобы они принимали этот бессвязный хаос галлюцинаций за свои теории вселенной, – все это кажется нам невероятной басней. Тем не менее не подлежит никакому сомнению, что они поступали именно так. Такие же люди, как и мы, действительно придерживались подобной отвратительной и безысходной путаницы в своих лжепочитаниях и лжеверованиях и жили в соответствии с ними. Это странно. Да, нам остается лишь остановиться в молчании и скорби над глубинами тьмы, таящейся в человеке, подобно тому как мы, с другой стороны, радуемся,

достигая вместе с ним высот более ясного созерцания. Все это было и есть в человеке, во всех людях и в нас самих.

Некоторые теоретики не долго задумываются над объяснением языческой религии. Все это, говорят они, одно сплошное шарлатанство, плутни жрецов, обман. Ни один здравомыслящий человек никогда не верил в этих богов, он лишь притворялся верующим, чтобы убедить других, всех тех, кто не достоин даже называться здравомыслящим человеком! Но мы считаем своею обязанностью протестовать против такого рода объяснений человеческих деяний и человеческой истории, и нам нередко придется повторять это.

Здесь, в самом преддверии наших бесед, я протестую против приложения такой гипотезы к паганизму [язычеству] и вообще всякого рода другим «измам», которыми люди, совершая свой земной путь, руководствовались в известные эпохи. Они признавали в них бесспорную истину, или иначе они не приняли бы их. Конечно, шарлатанства и обмана существует вдоволь; в особенности они страшно наводняют собою религии на склоне их развития, в эпохи упадка; но никогда шарлатанство не являлось в подобных случаях творческой силой; оно означало не здоровье и жизнь, а разложение и служило верным признаком наступающего конца! Не будем же никогда упускать этого из виду. Гипотеза, утверждающая, что шарлатанство может породить верование, о каком бы веровании ни шло дело, распространенном хотя бы даже среди диких людей, представляется мне самым плачевным заблуждением. Шарлатанство не создает ничего; оно несет смерть повсюду, где только появляется. Мы никогда не заглянем в действительное сердце какого бы то ни было предмета, пока будем заниматься одними только обманами, наслоившимися на нем. Не отбросим совершенно эти последние как болезненные проявления, извращения, по отношению к которым единственный наш долг, долг всякого человека, состоит в том, чтобы покончить с ними, смести их прочь, очистить от них как наши мысли, так и наши дела.

Человек является повсюду прирожденным врагом лжи. Я нахожу, что даже великий ламаизм и тот заключает в себе известного рода истину. Прочтите «Отчет о посольстве» в страну ламаизма Тернера[1], человека искреннего, проницательного и даже несколько скептического, и судите тогда. Этот бедный тибетский народ верит в то, что в каждом поколении неизменно существует воплощение провидения, ниспосылаемое этим последним. Ведь это, в сущности, верование в своего рода папу, но более возвышенное. Именно верование в то, что в мире существует величайший человек, его можно отыскать и, раз он

действительно отыскан, к нему должно относиться с безграничною покорностью! Такова истина, заключающаяся в великом ламаизме. Единственное заблуждение представляет здесь самое «отыскивание». Тибетские жрецы практикуют свои собственные методы для открытия величайшего человека, пригодного стать верховным властителем над ними. Низкие методы. Но много ли они хуже наших, при которых в известной генеалогии за первенцем признается такая пригодность? Увы, трудно найти надлежащие методы в данном случае!..

Язычество только тогда станет доступно нашему пониманию, когда мы прежде всего допустим, что для своих последователей оно некогда составляло действительную истину. Будем считать вполне достоверным, что люди верили в язычество, – люди, смотрящие на мир Божий открытыми глазами, люди со здоровыми чувствами, созданные совершенно так же, как и мы, – и что, живи мы в то время, мы сами также верили бы в него. Теперь спросим лишь, чем могло быть язычество?

Другая теория, несколько более почтенная, объясняет все аллегориями. Язычество, говорят теоретики этого рода, представляет игру поэтического воображения, главное отражение (в виде аллегорической небылицы, олицетворения или осязаемой формы), отбрасываемое от того, что поэтические умы того времени знали о вселенной и что они воспринимали из нее. Такое объяснение, прибавляют они при этом, находится в соответствии с основным законом человеческой природы, который повсюду деятельно проявляет себя и ныне, хотя по отношению к менее важным вещам. А именно: все, что человек сильно чувствует, он старается, так или иначе, высказать, воспроизвести в видимой форме, наделяя известный предмет как бы своего рода жизнью и историческою реальностью.

Несомненно, такой закон существует, и притом это один из наиболее глубоко коренящихся в человеческой природе законов. Мы не станем также подвергать сомнению, что и в данном случае он оказал свое глубокое действие. Гипотеза, объясняющая язычество деятельностью этого фактора, представляется мне несколько более почтенной; но я не могу признать ее правильной. Подумайте, стали ли бы мы верить в какую-нибудь аллегорию, в игру поэтического воображения, и признавать ее за руководящее начало в своей жизни? Конечно, мы потребовали бы от нее не забавы, а серьезности. Жить действительною жизнью – самое серьезное дело в этом мире; смерть также не забава для человека. Жизнь человека никогда не представлялась ему игрой; она всегда была для него суровой действительностью, совершенно серьезным делом!

Таким образом, по моему мнению, хотя эти теоретики-аллегористы находились в данном случае на пути к истине, тем не менее они не достигли ее. Языческая религия представляет действительно аллегорию, символ того, что люди знали и чувствовали относительно вселенной. Да и все религии вообще суть такие же символы, изменяющиеся всегда по мере того, как изменяется наше отношение к вселенной. Но выставлять аллегорию как первоначальную, производящую причину, тогда как она является скорее следствием и завершением, значит совершенно извращать все дело, даже просто выворачивать его наизнанку. Не в прекрасных аллегориях, не в совершенных поэтических символах нуждаются люди. Им необходимо знать, во что они должны верить относительно этой вселенной; по какому пути должны идти; на что могут рассчитывать и чего должны бояться в этой таинственной жизни; что они должны делать и чего не делать.

«Путь паломника»[2] – также аллегория, прекрасная, верная и серьезная, но подумайте, разве аллегория Беньяна могла предшествовать вере, которую она символизировала! Сначала должна существовать вера, признаваемая и утверждаемая всеми. Тогда уже, как тень ее, может явиться аллегория. При всей ее серьезности, это будет, можно сказать, забавная тень, простая игра воображения по сравнению с тем грозным фактом и с той научной достоверностью, которые она пытается воплотить в известные поэтические образы. Аллегория не порождает уверенности, а сама является продуктом последней. Такова аллегория Беньяна, таковы и все другие. Поэтому относительно язычества мы должны еще предварительно исследовать, откуда явилась эта научная уверенность, породившая такую беспорядочную кучу аллегорий, ошибок, такую путаницу? Что она такое и каким образом она сложилась?

Конечно, безрассудной попыткой оказалось бы всякое притязание «объяснить» здесь, или в каком угодно другом месте, такое отдаленное, лишенное связности, запутанное явление, как это окутанное густыми облаками язычество, представляющее собою скорее облачное царство, чем отдаленный континент твердой земли и фактов! Оно уже более не реальность, хотя было некогда реальностью. Мы должны понять, что это кажущееся царство облаков действительно было некогда реальностью, не одна только поэтическая аллегория и, во всяком случае, не шарлатанство и обман породили его.

Люди, говорю я, никогда не верили в праздные песни, никогда не рисковали жизнью своей души ради простой аллегории. Люди во все времена, и особенно в серьезную

первоначальную эпоху, обладали каким-то инстинктом угадывать шарлатанов и питали к ним отвращение.

Оставляя в стороне как теорию шарлатанства, так и теорию аллегории, постараемся внимательно и с симпатией прислушаться к отдаленному, неясному гулу, доходящему к нам от веков язычества. Не удастся ли нам убедиться по крайней мере в том, что в основе их лежит известного рода факт, что и языческие века не были веками лжи и безумия, но что они на свой собственный, хотя и жалкий, лад отличались также правдивостью и здравомыслием!

Вы помните одну из фантазий Платона о человеке, который дожил до зрелого возраста в темной пещере и которого затем внезапно вывели на открытый воздух посмотреть восход солнца. Каково, надо полагать, было его удивление, восторженное изумление при виде зрелища, ежедневно созерцаемого нами с полным равнодушием! С открытым, свободным чувством ребенка и вместе с тем со зрелым умом возмужалого человека глядел он на это зрелище, и оно воспламенило его сердце. Он распознал в нем божественную природу, и душа его поверглась перед ним в глубоком почитании. Да, таким именно детским величием отличались первобытные народы. Первый

мыслитель-язычник среди диких людей, первый человек, начавший мыслить, представлял собою именно такого возмужалого ребенка Платона: простосердечный и открытый, как дитя, но вместе с тем в нем чувствуются уже сила и глубина зрелого человека. Он не дал еще природе названия, не объединил еще в одном слове все это бесконечное разнообразие зрительных впечатлений, звуков, форм, движений, что мы теперь называем общим именем – «вселенная», «природа» или как-либо иначе и, таким образом, отделываемся от них, одним словом.

Для дикого, глубоко чувствовавшего человека все было еще ново, не прикрыто словами и формулами. Все стояло перед ним в оголенном виде, ослепляло его своим светом, прекрасное, грозное, невыразимое. Природа была для него тем, чем она остается всегда для мыслителя и пророка, – сверхъестественной.

Эта скалистая земля, зеленая и цветущая, эти деревья, горы, реки, моря со своим вечным говором; это необозримое, глубокое море лазури, реющее над головой человека; ветер, проносящийся вверху; черные тучи, громоздящиеся одна на другую, постоянно изменяющие свои формы и разражающиеся то огнем, то градом и дождем, – что такое все это? Да, что? В сущности, мы не знаем этого до сих пор и никогда не в состоянии будем узнать. Мы избегаем затруднительного положения благодаря вовсе не тому, что обладаем большею прозорливостью, а благодаря своему

легкому отношению, своему невниманию, недостатку глубины в нашем взгляде на природу. Мы перестаем удивляться всему этому только потому, что перестаем думать об этом. Вокруг нашего существа образовалась толстая, затверделая оболочка традиций, ходячих фраз, одних только слов, плотно и со всех сторон обволакивающая всякое понятие, какое бы мы ни составили себе. Мы называем этот огонь, прорезывающий черное, грозное облако, «электричеством», изучаем его научным образом и путем трения шелка и стекла вызываем нечто подобное ему; но что такое оно? Что производит его? Откуда появляется оно? Куда исчезает? Наука много сделала для нас. Но жалка та наука, которая захотела бы скрыть от нас всю громаду, глубину, святость нескончаемого незнания, куда мы никогда не можем проникнуть и на поверхности которого все наше знание плавает подобно легкому налету. Этот мир, несмотря на все наше знание и все наши науки, остается до сих пор чудом, удивительным, неисповедимым, волшебным для всякого, кто задумается над ним.

А великая тайна времени, не представляет ли она другого чуда? Безграничное, молчаливое, никогда не знающее покоя, это так называемое время. Катящееся, устремляющееся, быстрое, молчаливое, как все уносящий прилив океана, в котором мы и вся вселенная мелькаем, подобно испарениям, тени, появляясь и исчезая, – оно навсегда останется в буквальном смысле чудом. Оно поражает нас, и мы умолкаем, так как нам недостает слов, чтобы говорить о нем. Эта вселенная, увы, – что мог знать о ней дикий человек? Что можем знать даже мы? Что она – сила, совокупность сил, сложенных на тысячу ладов. Сила, которая не есть мы, – вот и все. Она не мы, она – нечто совершенно отличное от нас.

Сила, сила, повсюду сила; мы сами – таинственная сила в центре всего этого. «Нет на проезжей дороге такого гниющего листа, который не заключал бы в себе силы: иначе как бы он мог гнить?» Да, несомненно, даже для мыслителя-атеиста, если таковой вообще возможен, это должно составлять также чудо. Этот громадный, беспредельный вихрь силы, объемлющий нас здесь; вихрь, никогда не стихающий, столь же высоко вздымающийся, как сама необъятность, столь же вековечный, как сама вечность. Что такое он? Творение Бога, отвечают люди религиозные, творение всемогущего Бога! Атеистическое знание, со своим научным перечнем названий, со своими ответами и всякой всячиной, лепечет о нем свои жалкие речи, как если бы дело шло о ничтожном, мертвом веществе, которое можно разлить в лейденские банки[3] и продавать с прилавка. Но

природный здравый смысл человека во все времена, если только человек честно обращается к нему, провозглашает, что это – нечто живое. О да, нечто невыразимое, божественное, по отношению к чему, как бы ни было велико наше знание, нам более всего приличествует благоговение, преклонение и смирение, молчаливое поклонение, если нет слов.

Затем я замечу еще: то дело, для которого в такое время, как наше, необходим пророк или поэт, поучающий и освобождающий людей от этого нечестивого прикрытия, перечня названий, ходячих научных фраз, в прежние времена совершал сам для себя всякий серьезный ум, не загроможденный еще подобными представлениями. Мир, являющийся теперь божественным только в глазах избранников, был тогда таковым для всякого, кто обращал к нему свой открытый взор. Человек стоял тогда нагой перед ним, лицом к лицу. «Все было божественно или Бог» – Жан Поль[4] находит, что мир таков. Гигант Жан Поль, имевший достаточно сил, чтобы не поддаться ходячим фразам; но тогда не было ходячих фраз. Канопус[5], сияющий в высоте над пустыней синим алмазным блеском, этим диким синим, как бы одухотворенным блеском, гораздо более ярким, чем тот, какой мы знаем в наших странах. Он проникал в самое сердце дикого измаильтянина, служил путеводной звездой в безбрежной пустыне. Его дикому сердцу, вмещавшему в себя все чувства, но не знавшему еще ни одного слова для выражения их, этот Канопус должен был казаться маленьким глазом, глядящим из глубины самой вечности и открывающим внутренний блеск. Разве мы не можем понять, каким образом эти люди почитали Канопус, как они стали так называемыми сабеитами, почитателями звезд? Такова, по моему мнению, тайна всякого рода языческих религий. Поклонение есть высшая степень удивления; удивление, не знающее никаких границ и никакой меры, и есть поклонение. Для первобытных людей все предметы и каждый предмет, существующий рядом с ними, представлялся эмблемой божественного, эмблемой какого-то Бога.

И обратите внимание, какая не прерывающаяся никогда нить истины проходит здесь. Разве божество не говорит также и нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если только мы откроем свои глаза и свою душу? Наше почитание не имеет теперь такого характера. Но не считается разве до сих пор особым даром, признаком того, что мы называем «поэтической натурой», способность видеть в каждом предмете его божественную красоту, видеть, насколько каждый предмет действительно представляет до сих пор «окно, через которое мы можем заглянуть в самую бесконечность»? Человека, способного в каждом предмете

подмечать то, что заслуживает любви, мы называем поэтом, художником, гением, человеком одаренным, любвеобильным. Эти бедные сабеиты делали на свой лад то же, что делает и такой великий человек. Каким бы образом они ни делали это, во всяком случае, уже одно то, что они делали, говорит в их пользу. Они стояли выше, чем совершенно глупый человек, чем лошадь или верблюд, именно ни о чем подобном не помышляющие!

Но теперь, если все, на что бы мы ни обратили свой взор, является для нас эмблемой Всевышнего Бога, то, прибавлю я, в еще большей мере, чем всякая внешняя вещь, представляет подобную эмблему сам человек. Вы слышали известные слова святого Иоанна Златоуста, сказанные им относительно шекинаха, или скинии завета, видимого откровения Бога, данного евреям: «Истинное шехина есть человек!»[6] Да, именно так: это вовсе не пустая фраза, это действительно так. Суть нашего существа, то таинственное, что называет само себя *я* – увы, какими словами располагаем мы для обозначения всего этого, – есть дыхание неба. Высочайшее существо открывает самого себя в человеке. Это тело, эти способности, эта жизнь наша – разве не составляет все это как бы внешнего покрова сущности, не имеющей имени? «Существует один только храм во вселенной, – с благоговением говорит Новалис[7], – и этот храм есть тело человека. Нет святыни больше этой возвышенной формы. Наклонять голову перед людьми – значит воздавать должное почтение этому откровению во плоти. Мы касаемся неба, когда возлагаем руку свою на тело человека!» От всего этого сильно отдает как бы пустой риторикой, но в действительности это далеко не риторика. Если хорошо задуматься, то окажется, что мы имеем дело с научным фактом, что это – действительная истина, высказанная теми словами, какими мы можем располагать. Мы чудо из чудес, великая, неисповедимая тайна Бога. Мы не можем понять ее; не знаем, как говорить о ней. Но мы можем чувствовать и знать, что это именно так.

Несомненно, что эту истину чувствовали некогда более живо, чем теперь. Ранние поколения человечества сохраняли в себе свежесть юноши. Вместе с тем они отличались глубиной серьезного человека, не думающие, что они покончили уже со всем небесным и земным, давши всему научные названия, но глядевшие прямо на мир Божий с благоговением и удивлением, – чувствовали сильнее, что есть божественного в человеке и природе. Они могли, не будучи сумасшедшими, почитать природу, человека и последнего более чем что-либо другое в этой природе. Почитать – это, как я сказал выше, значит безгранично удивляться, и они могли делать это со всею полнотою своих

способностей, со всею искренностью своего сердца. Я считаю почитание героев великим отличительным признаком в системах древней мысли. То, что я называю густо переплетшейся чащей язычества, выросло из многих корней. Всякое удивление, всякое поклонение какой-либо звезде или какому-либо предмету составляло корень или одну из нитей корня, но почитание героев – самый глубокий корень из всех, главный, стержневой корень, который в значительнейшей мере питает и растит все остальное.

И теперь если даже почитание звезды имело свое известное значение, то насколько же большее значение могло иметь почитание героя! Почитание героя – есть трансцендентное удивление перед великим человеком. Я говорю, что великие люди – удивительные люди до сих пор; я говорю, что, в сущности, нет ничего другого удивительного! В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, кто выше его. И в настоящий момент, как и вообще во все моменты, оно производит оживотворяющее влияние на жизнь человека. Религия, утверждаю я, держится на нем; не только языческая, но и гораздо более высокие и более истинные религии, все религии, известные до сих пор. Почитание героя, удивление, исходящее из самого сердца и повергающее человека ниц, горячая, беспредельная покорность перед идеально-благородным, богоподобным человеком – не таково ли именно зерно самого христианства? Величайший из всех героев есть Тот, Которого мы не станем называть здесь! Размышляйте об этой святыне в святом безмолвии. Вы найдете, что она есть последнее воплощение принципа, проходящего «красною нитью» через всю земную историю человека.

Или, обращаясь к низшим, менее невыразимым явлениям, не видим ли мы, что всякая лояльность (верность, преданность) также родственна религиозной вере? Вера есть лояльность по отношению к какому-либо вдохновенному учителю, возвышенному герою. И что такое, следовательно, самая лояльность, это дыхание жизни всякого общества, как не следствие почитания героев, как не покорное удивление перед истинным величием? Общество основано на почитании героев.

Всякого рода звания и ранги, на которых покоится человеческое единение, представляют собою то, что мы могли бы назвать героархиею (правлением героев) или иерархиею, так как эта героархия заключает в себе достаточно также и «святого»! Duke («герцог») означает Dux, «предводитель»; Kцnning, Canning – «человек, который знает или может»[8]. Всякое общество есть выражение почитания героев в их постепенной градации, и нельзя сказать, чтобы эта постепенность была совершенно не

соответствующей действительности, есть почтение и повиновение, оказываемые людям действительно великим и мудрым.

Постепенность, повторяю я, нельзя сказать чтобы совершенно не соответствующая действительности! Все они, эти общественные сановники, точно банковские билеты, представляют золото, но, увы, среди них всегда находится немало поддельных билетов. Мы можем производить свои операции при некотором количестве поддельных, фальшивых денежных знаков, даже при значительном количестве их; но это становится решительно невозможным, когда они все поддельные или когда большая часть их такова! Нет, тогда должна наступить революция, тогда поднимаются крики демократии, провозглашаются свобода и равенство, и я не знаю еще что. Тогда все билеты считаются фальшивыми; их нельзя обменять на золото, и народ в отчаянии начинает кричать, что золота вовсе нет и никогда не было! «Золото», почитание героев, тем не менее существует, как оно существовало всегда и повсюду, и оно не может исчезнуть, пока существует человек.

Я хорошо знаю, что в настоящее время почитание героев признается уже культом отжившим, окончательно прекратившим свое существование. Наш век по причинам, которые составят некогда достойный предмет исследования, есть век отрицающий, так сказать, самое существование великих людей, самую желательность их. Покажите нашим критикам великого человека, например Лютера[9], и они начнут с так называемого ими «объяснения». Они не преклонятся перед ним, а примутся измерять его и найдут, что он принадлежит к людям мелкой породы! Он был «продуктом своего времени», скажут они. Время вызвало его, время сделало все, он же не сделал ничего такого, чего бы мы, маленькие критики, не могли также сделать! Жалкий труд, по моему мнению, представляет такая критика. Время вызвало? Увы, мы знали времена, довольно громко призывавшие своего великого человека, но не обретавшие его! Его не оказывалось налицо. Провидение не посылало его. Время, призывавшее его изо всех сил, должно было погрузиться в забвение, так как он не пришел, когда его звали.

Ибо если мы хорошенько подумаем, то убедимся, что никакому времени не угрожала бы гибель, если бы оно могло найти достаточно великого человека. Мудрого, чтобы верно определить потребности времени; отважного, чтобы повести его прямой дорогой к цели; в этом – спасение всякого времени. Но я сравниваю пошлые и безжизненные времена с их безверием, бедствиями, замешательствами, сомневающимся и

нерешительным характером, затруднительными обстоятельствами. Времена, беспомощно разменивающиеся на все худшие и худшие бедствия, приводящие их к окончательной гибели, – все это сравниваю я с сухим, мертвым лесом, ожидающим лишь молнии с неба, которая воспламенила бы его. Великий человек, с его свободной силой, исходящей прямо из рук Божиих, есть молния. Его слово – мудрое, спасительное слово; в него могут все поверить. Все воспламеняется тогда вокруг этого человека, раз он ударяет своим словом, и все пылает огнем, подобным его собственному. Думают, что его вызвали к существованию эти сухие, превращающиеся в прах ветви. Конечно, он был для них крайне необходим, но что касается до того, чтобы они вызвали!..

Критики, кричащие: «Глядите, разве это не дерево производит огонь!» – обнаруживают, думаю я, большую близорукость. Не может человек более печальным образом засвидетельствовать свое собственное ничтожество, как выказывая неверие в великого человека. Нет более печального симптома для людей известного поколения, чем подобная всеобщая слепота к духовной молнии, с одной верой лишь в кучу сухих безжизненных ветвей. Это – последнее слово неверия. Во всякую эпоху мировой истории мы всегда найдем великого человека, являющегося необходимым спасителем своего времени, молниею, без которой ветви никогда не загорелись бы. История мира, как уже я говорил, это – биография великих людей.

Наши маленькие критики делают все от них зависящее для того, чтобы двигать вперед безверие и парализовать всеобщую духовную деятельность. Но к счастью, они не всегда могут вполне успевать в своем деле. Во всякие времена человек может подняться достаточно высоко, чтобы почувствовать, что они и их доктрины – химеры и паутины. И что особенно замечательно, никогда, ни в какие времена они не могли всецело искоренить из сердец живых людей известного, совершенно исключительного почитания великих людей: неподдельного удивления, обожания, – каким бы затемненным и извращенным оно ни представлялось.

Почитание героев будет существовать вечно, пока будет существовать человек. Босуэлл даже в XVIII веке почитает искренне своего Джонсона[10]. Неверующие французы верят в своего Вольтера, и почитание героя проявляется у них крайне любопытным образом в последний момент его жизни, когда они «закидали его розами»[11]. Этот эпизод в жизни Вольтера всегда казался мне чрезвычайно интересным. Действительно, если христианство являет собою высочайший образец почитания героев, то здесь, в вольтерьянстве, мы находим один из наиболее

низких! Тот, чья жизнь была в некотором роде жизнью антихриста, и в этом отношении представляет любопытный контраст. Никакой народ никогда не был так мало склонен удивляться перед чем бы то ни было, как французы времен Вольтера. Пересмеивание составляло характерную особенность всего их душевного склада; обожанию не было здесь ни малейшего местечка.

Однако посмотрите! Фернейский старец приезжает в Париж, пошатывающийся, дряхлый человек восьмидесяти четырех лет. Он чувствует, что он также герой в своем роде, что он всю свою жизнь боролся с заблуждением и несправедливостью, освобождал Каласов[12], разоблачал высокопоставленных лицемеров, короче, тоже сражался (хотя и странным образом), как подобает отважному человеку. Они понимают также, что если пересмеивание – великое дело, то никогда не было такого пересмешника. В нем они видят свой собственный воплощенный идеал. Он – то, к чему все они стремятся; типичнейший француз из всех французов. Он, собственно, их бог, тот бог, в какого они могут веровать. Разве все они действительно не почитают его, начиная с королевы Антуанетты до таможенного досмотрщика в порту Сен-Дени? Благородные особы переодеваются в трактирных слуг. Почтосодержатель с грубой бранью приказывает ямщику: «Погоняй хорошенько, ты везешь господина Вольтера». В Париже его карета составляет «ядро кометы, хвост которой наполняет все улицы». Дамы выдергивают из его шубы по нескольку волосков, чтобы сохранить их как святые реликвии. Во всей Франции все самое возвышенное, прекрасное, благородное сознавало, что этот человек был еще выше, еще прекраснее, еще благороднее.

Да, от скандинавского Одина[13] до английского Сэмюэла Джонсона, от божественного основателя христианства до высохшего первосвященника энциклопедизма во все времена и во всех местах героям всегда поклонялись. И так будет вечно. Мы все любим великих людей: любим, почитаем их и покорно преклоняемся перед ними. И можем ли мы честно преклоняться перед чем-либо другим? О! Разве не чувствует всякий правдивый человек, как он сам становится выше, воздавая должное уважение тому, что действительно выше его? В сердце человека нет чувства более благородного, более благословенного, чем это. Мысль, что никакая разъеденная скептицизмом логика, никакая всеобщая пошлость, неискренность, черствость какого бы то ни было времени с его веяниями не могут разрушить той благородной прирожденной преданности, того почитания, какое присуще человеку, – мысль эта доставляет мне громадное утешение.

В эпохи неверия, которые скоро и неизбежно превращаются в

эпохи революций, многое, как это всякий легко может заметить, претерпевает крушение, стремится к печальному упадку и разрушению. Что же касается моего мнения относительно переживаемого нами времени, то в этой несокрушимости культа героев я склонен видеть тот вечный алмаз, дальше которого не может пойти беспорядочное разрушение, обнаруживаемое революционным ходом вещей. Беспорядочное разрушение вещей, распадающихся на мелкие части, обрушивающихся с треском и опрокидывающихся вокруг нас в наши революционные годы, будет продолжаться именно до этого момента, но не дольше. Это – вечный краеугольный камень, на котором снова будет воздвигнуто здание. В том, что человек, так или иначе, поклоняется героям, что все мы почитаем и обязательно будем всегда почитать великих людей, я вижу живую скалу среди всевозможных крушений, единственно устойчивую точку в современной революционной истории, которая иначе представлялась бы бездонной и безбрежной.

Такова истина, которую я нахожу в язычестве древних народов. Она только прикрыта старым, поношенным одеянием, но дух ее все же истинен. Природа до сих пор остается божественной, она до сих пор – откровение трудов Божиих; герой до сих пор почитается. Но именно это же самое – правда, в формах еще только зарождающихся, бедных, связанных – стараются, как могут, выдвинуть и все языческие религии.

Я думаю, что скандинавское язычество представляет для нас в данном случае больший интерес, чем всякая другая форма язычества. Прежде всего оно принадлежит позднейшему времени. Оно продержалось в северных областях Европы до конца XI столетия; восемьсот лет тому назад норвежцы были еще поклонниками Одина. Затем оно интересно как верование наших отцов, тех, чья кровь течет еще в наших жилах, и на кого мы, без сомнения, еще до сих пор так сильно походим. Странно, они действительно верили в это, тогда как мы верим в нечто совершенно иное. Остановимся же несколько, ввиду многих причин, на бедном древнескандинавском веровании. Мы располагаем достаточными данными, чтобы сделать это, так как скандинавская мифология сохранилась довольно хорошо, что еще более увеличивает интерес к ней.

На этом удивительном острове Исландия, приподнятом, как говорят геологи, со дна моря благодаря действию огня; в дикой стране бесплодия и лавы, ежегодно поглощаемой в течение многих месяцев грозными бурями, а в летнюю пору блещущей своей дикой красотой; сурово и неприступно подымающимся здесь, в Северном океане, со своими снежными вершинами,

шумящими гейзерами, серными озерами и страшными вулканическими безднами, подобно хаотическому, опустошенному полю битвы между огнем и льдом, – здесь-то, говорю я, где менее, чем во всяком другом месте, стали бы искать литературных или вообще письменных памятников, было записано воспоминание о делах давно минувших. Вдоль морского берега этой дикой страны тянется луговая полоса земли, где может пастись скот, а благодаря ему и добыче, извлекаемой из моря, могут существовать люди. Люди эти отличались, по-видимому, поэтическим чувством. Им были доступны глубокие мысли, и они умели музыкально выражать их. Многого не существовало, если бы море не выдвинуло из своей глубины этой Исландии, если бы она не была открыта древними скандинавами! Многие из древних скандинавских поэтов были уроженцами Исландии.

Семунд, один из первых христианских священников на этом острове, питавший, быть может, несколько запоздалые симпатии к язычеству, собрал некоторые из местных старинных языческих песен, уже начинавших выходить из употребления в то время, – именно поэмы или песни мифического, пророческого, главным же образом религиозного содержания, называемые древнескандинавскими критиками «Старшей (Песенной) Эддой». Этимология слова «Эдда» неизвестна. Думают, что оно означает «предки». Затем Снорри Стурлусон, личность в высшей степени замечательная, исландский дворянин, воспитанный внуком этого самого Семунда, задумал, почти столетие спустя, в числе других своих работ, составить нечто вроде прозаического обзора всей мифологии и осветить ее новыми отрывками из сохранившихся по традиции стихов. Работу эту он выполнил с замечательным умением и прирожденным талантом, с тем, что называют иные бессознательным искусством. Получился труд совершенно ясный и понятный, который приятно читать даже в настоящее время. Это – «Младшая Эдда» (прозаическая).

Благодаря этим произведениям, а также многочисленным сагам, в большинстве случаев исландского происхождения, и пользуясь исландскими и неисландскими комментариями, каковыми до сих пор ревностно занимаются на Севере, мы можем даже теперь познакомиться непосредственно с предметом, стать, так сказать, лицом к лицу с системой древнескандинавского верования. Забудем, что это было ошибочное верование. Отнесемся к нему как к старинной мысли и посмотрим, нет ли в ней чего-либо такого, чему мы могли бы симпатизировать в настоящее время.

Главную отличительную черту этой древнескандинавской

мифологии я вижу в олицетворении видимых явлений природы. Серьезное, чистосердечное признание явлений физической природы как дела всецело чудесного, изумительного и божественного. То, что мы изучаем теперь как предмет нашего знания, вызывало у древних скандинавов удивление, и они, пораженные благоговейным ужасом, повергались перед ним ниц, как перед предметом своей религии. Темные, неприязненные силы природы они представляли себе в образе «ётунов», гигантов, громадных косматых существ с демоническим характером. Мороз, огонь, морская буря – это ётуны. Добрые же силы, как летнее тепло, солнце, это – боги. Власть над вселенной разделяется между теми и другими. Они живут отдельно и находятся в вечной смертельной междоусобице. Боги живут вверху, в Асгарде, в саду асов, или божеств. Жилищем же ётунов служит Ётунхейм[14] – отдаленная, мрачная страна, где царит хаос.

Странно все это, но не бессодержательно, не бессмысленно, если только мы пристальнее всмотримся в самую суть! Например, сила огня или пламени, которую мы обозначаем каким-нибудь избитым химическим термином, скрывающим от нас самих лишь действительный характер чуда, сказывающегося в этом явлении, как и во всех других, для древних скандинавов представляет Локи[15], самый быстрый, вкрадчивый демон из семьи ётунов.

Дикари Марианских островов (рассказывают испанские путешественники) считали огонь, до тех пор ими никогда не виданный, также дьяволом или богом, живущим в сухом дереве и жестоко кусающимся, если прикоснуться к нему. Но никакая химия, если только ее не будет поддерживать тупоумие, не может скрыть и от нас того, что пламя есть чудо. Действительно, что такое пламя?.. Мороз (древний скандинавский ясновидец) считается чудовищным, седовласым ётуном, исполином Трюмом, Хрюмом или Римом. Это старинное слово теперь почти совсем вышло из употребления в Англии, но его до сих пор употребляют в Шотландии для обозначения инея[16]. Рим был тогда не мертвым химическим соединением, как теперь, а живым ётуном или демоном. Чудовищный ётун Рим пригонял своих лошадей на ночь домой и принимался «расчесывать им гривы». Этими лошадьми были градовые тучи или быстрые морозные ветры. Ледяные глыбы – не его коровы или быки, а родственника, исполина Имира. Этому Имиру стоило только «взглянуть на скалы» своим дьявольским глазом, и они раскалывались от его блеска.

Гром не считали тогда только электричеством, проистекающим из стекла или смолы; это был бог Донар[17] («гром»), или Тор; он же бог и благодетельного летнего тепла. Гром – это его гнев. Нагромождающиеся черные тучи –

нахмуренные грозные брови Тора. Огненная стрела, раздирающая небо, – всесокрушающий молот, опускаемый рукою Тора. Он мчится на своей гулкой колеснице по вершинам гор – раскаты грома. Гневно «дует он в свою красную бороду» – шелест и порывы ветра, перед тем как начинает греметь гром.

Напротив, Бальдр[18] – белый бог, прекрасный, справедливый и благодетельный (первые христианские миссионеры находили его похожим на Христа) – солнце, прекраснейшее из всех видимых предметов. Оно остается и для нас все так же чудесно, все так же божественно, несмотря на все наши астрономии и календари!

Но быть может, самым замечательным из всех богов, рассказы о которых мы слышали, является тот бог, следы которого были открыты немецким этимологом Гриммом, – бог Wьnsch, или Wish («желание»). Бог Уиш может дать нам все, чего бы только мы ни пожелали (wished)! Не слышится ли в этом крайне искренний, хотя и крайне грубый голос человеческой души? Самый грубый идеал, какой только человек когда-либо создавал себе? Идеал, еще дающий себя чувствовать и в новейших формах нашей духовной культуры? Более возвышенные размышления должны показать нам, что бог Уиш не есть истинный бог.

О других богах или ётунах я упомяну лишь ради их этимологического интереса. Морская буря – это весьма опасный ётун Эгир. И в наше время на реке Трент, как мне пришлось слышать, ноттингемские лодочники называют известный подъем в реке (нечто вроде обратного течения, образующего водовороты, весьма опасные для них) Игером (Eager). Они кричат: «Будьте осторожны, Игер идет!» Странно, это сохранившееся до сих пор слово является как бы пиком, поднимающимся из некоего потопленного мира!

Ноттингемские лодочники древнейших времен верили в бога Эгира! И действительно, наша английская кровь в значительной степени та же датская, скандинавская кровь. Вернее сказать, датчанин, скандинав, саксонец имеют, в сущности, лишь внешние, поверхностные различия: один – язычник, другой – христианин и т. п.

На всем пространстве острова мы, собственно, в особенности сильно перемешаны с датчанами. Это объясняется их беспрестанными набегами, и притом в большой пропорции, естественно, вдоль восточного берега, и больше всего, как я нахожу, на северной окраине. Начиная от реки Хамбер вверх во всей Шотландии говор простого народа до сих пор поразительно напоминает исландский говор; его германизм имеет особую скандинавскую окраску. Они также – «норманны», если в этом кто-либо может находить особую прелесть!

О главном божестве, Одине, мы будем говорить дальше. Теперь же заметим следующее: главную суть скандинавского и в действительности всякого другого язычества составляет признание сил природы как деятелей олицетворенных, необычайных, божественных, как богов и демонов. Нельзя сказать, чтобы это было непостижимо для нас. Это детская мысль человека, раскрывающаяся сама собой, с удивлением и ужасом, перед вечно изумительной вселенной. В древнескандинавской системе мысли я вижу нечто чрезвычайно искреннее, чрезвычайно большое и мужественное. Совершенная простота, грубость, столь непохожая на легкую грациозность древнегреческого язычества, составляют отличительную особенность этой скандинавской системы. Она – мысль; искренняя мысль глубоких, грубых, серьезных умов, глядящих открыто на окружающие их предметы. Подходить ко всем явлениям лицом к лицу, сердцем к сердцу составляет первую характерную черту всякой хорошей мысли во все времена.

Не грациозная легкость, полузабава, как в греческом язычестве, а известная простоватая правдивость, безыскусственная сила, громадная, грубая искренность открываются здесь перед нами. Странное испытываешь чувство, переходя от наших прекрасных статуй Аполлона и веселых, смеющихся мифов к древнескандинавским богам, «варящим пиво», чтобы пировать вместе с Эгиром, ётуном моря, посылающим Тора добыть котелок в стране ётунов. Тор после многочисленных приключений нахлобучивает котелок себе на голову наподобие огромной шляпы и, исчезая в нем совершенно, так что ушки котелка касаются его плеч, возвращается назад! Какая-то пустынная громадность, широкое, неуклюжее исполинство характеризуют эту скандинавскую систему; чрезмерная сила, совершенно еще невежественная, шагающая самостоятельно, без всякой чужой поддержки своими огромными, неверными шагами.

Обратите внимание хотя бы только на этот первоначальный миф о творении. Боги, овладев убитым гигантом Имиром, гигантом, родившимся из «теплых ветров» и различных веществ, происшедших от борьбы мороза и огня, решили создать из него мир. Его кровь стала морем, мясо – землей, кости – скалами. Из его бровей они сделали Асгард – жилище богов. Череп его превратился в голубой свод величественной беспредельности, а мозг – в облака. Какое гипербробдингнегское[19] дело! Мысль необузданная, громадная, исполинская, чудовищная; в свое время она будет укрощена и станет сосредоточенным величием, не исполиноподобным, но богоподобным, более могучим, чем

исполинство, величие Шекспиров и Гете! Эти люди такие же наши прародители в духовном отношении, как и в телесном.

Мне нравится также их представление о дереве Иггдрасиль[20]. Всю совокупность жизни они представляли себе в виде дерева. Иггдрасиль, ясень, древо жизни, глубоко прорастает своими корнями в царство Хели, или смерти[21]. Вершина его ствола достигает высокого неба; ветви распространяются над всей вселенной; таково древо жизни. У корней его, в царстве смерти, восседают три норны, судьбы, – прошедшее, настоящее и будущее, – они орошают корни дерева водою из священного источника. Его «ветви» с распускающимися почками и опадающими листьями – события, дела выстраданные, дела содеянные, катастрофы – распространяются над всеми странами и на все времена. Не представляет ли каждый листик его отдельной биографии, каждое волоконце – поступка или слова? Его ветви – это история народов. Шелест, производимый листьями, – шум человеческого существования, все более возрастающий, начиная с древних времен. Оно растет. Дыхание человеческой страсти слышится в его шелесте; или же бурный ветер, потрясая его, завывает, подобно голосу всех богов. Таков Иггдрасиль, древо жизни. Оно – прошедшее, настоящее и будущее; то, что сделано, что делается, что будет делаться, – «бесконечное спряжение глагола “делать”».

Вдумываясь в то, какой круговорот совершают человеческие дела, как безысходно перепутывается каждое из них со всеми другими, как слово, сказанное мною сегодня вам, вы можете встретить не только у Ульфилы Готского[22], но в речах всех людей, с тех пор как заговорил первый человек, я не нахожу сравнения более подходящего для данного случая, чем это дерево. Прекрасная аналогия; прекрасная и величественная. «Механизм вселенной» – увы, думайте о нем лишь контраста ради!

Итак, довольно странным кажется это древнескандинавское воззрение на природу. Довольно значительно отличается оно от того, какого придерживаемся мы. Каким же образом оно сложилось? На это не любят отвечать особенно точно! Одно мы можем сказать: оно возникло в головах скандинавов; в голове прежде всего первого скандинава, который отличался оригинальной силой мышления; первого скандинавского «гениального человека», как нам следует его назвать! Бесчисленное множество людей прошло, совершая свой путь во вселенной со смутным, немым удивлением, какое могут испытывать даже животные, или же с мучительным, бесплодно вопрошающим удивлением, какое чувствуют только люди, пока не появился великий мыслитель, самобытный человек,

прорицатель.

Оформленная и высказанная мысль пробудила дремавшие способности всех людей и вызвала у них также мысль. Таков всегда образ воздействия мыслителя, духовного героя. Все люди были недалеки от того, чтобы сказать то, что сказал он; все желали сказать это. У всякого пробуждается мысль как бы от мучительного заколдованного сна и стремится к его мысли и отвечает ей: да, именно так! Великая радость для людей, точно наступление дня после ночи. Не есть ли это для них действительно пробуждение от небытия к бытию, от смерти к жизни? Такого человека мы до сих пор чтим, называем его поэтом, гением и т. п.; но для диких людей он был настоящим магом, творцом неслыханного, чудесного блага, пророком, богом! Раз пробудившись, мысль уже не засыпает более, она развивается в известную систему мыслей, растет от человека к человеку, от поколения к поколению, пока не достигает своего полного развития, после чего эта система мысли не может расти более и должна уступить место другой.

Для древнескандинавского народа таким человеком, как мы представляем это себе, был человек, называемый теперь Одином. Он – главный скандинавский бог; учитель и вождь души и тела; герой с заслугами неизмеримыми, удивление перед которым, перейдя все известные границы, превратилось в обожание. Разве он не обладает способностью отчеканивать свою мысль и многими другими, до сих пор еще вызывающими удивление способностями? Так именно, с беспредельною благодарностью должно было чувствовать грубое скандинавское сердце. Разве не разрешает он для них загадку сфинкса этой вселенной, не внушает им уверенности собственной судьбы здесь, на земле? Благодаря ему они знают теперь, что должны делать здесь и чего должны ожидать впоследствии. Благодаря ему существование их стало явственным, мелодичным, он первый сделал их жизнь живою!

Мы можем называть этого Одина, прародителя скандинавской мифологии, Одином или каким-либо другим именем, которое носил первый скандинавский мыслитель, пока он был человеком среди людей. Высказывая свое воззрение на вселенную, он тем самым вызывает подобное же воззрение в умах всех. Оно растет, постоянно развиваясь, и его придерживаются до тех пор, пока считают достойным веры. Оно начертано в умах всех, но невидимо, как бы симпатическими чернилами, и при его слове проявляется с полной ясностью. Не составляет ли во всякую мировую эпоху пришествие в мир мыслителя великого события, порождающего все прочее?

Мы не должны забывать еще одного обстоятельства, объясняющего отчасти путаницу скандинавских «Эдд». Они составляют, собственно, не одну связную систему мысли, а наслоение нескольких последовательных систем. Все это древнескандинавское верование, по времени своего происхождения, представляется нам в «Эдде» как бы картиной, нарисованной на одном и том же полотнище; но в действительности это вовсе не так. Здесь мы имеем дело, скорее, с целым рядом картин, находящихся на всевозможных расстояниях, помещенных в разных глубинах, соответственно последовательному ряду поколений, пришедших с тех пор, как верование впервые было возвещено.

Каждый скандинавский мыслитель, начиная с первого, внес свою долю в эту скандинавскую систему мысли. Постоянно перерабатываемая и осложняемая новыми прибавлениями, она представляет в настоящее время их соединенный труд. Никто и никогда не узнает теперь, какова была ее история, какие изменения претерпевала она, переходя от одной формы к другой, благодаря вкладам разных мыслителей, следовавших один за другим, пока не достигла своей окончательно полной формы, какую мы видим в «Эдде». Эти соборы в Трапезунде, Триенте, эти Афанасии, Данте, Лютеры – все они погрузились в непробудный мрак ночи, не оставив по себе никакого следа! И все знание наше в данном случае должно ограничиться только тем, что система эта имела подобную историю.

Всякий мыслитель, где бы и когда бы он ни появился, вносит в сферу, куда направляется его мысль, известный вклад, новое приобретение, производит перемену, революцию. Увы, не погибла ли для нас и эта величественнейшая из всех революций, «революция», произведенная самим Одином, как погибло все остальное! Какова история Одина? Как-то странно даже говорить, что он имел историю. Этот Один в своем диком скандинавском одеянии, со своими дикими глазами и бородой, грубою скандинавскою речью и обращением, был такой же человек, как и мы. У него были те же печали и радости, что и у нас; те же члены, те же черты лица – одним словом, что, в сущности, это был абсолютно такой же человек, как и мы; и он совершил такое громадное дело! Но дело, большая часть дела, погибло, а от самого творца осталось только имя. Wednesday («среда»), скажут люди потом, то есть день Одина!

Об Одине история не знает ничего. Относительно него не сохранилось ни одного документа, ни малейшего намека, стоящего того, чтобы о нем говорить.

Положим, Снорри самым невозмутимым, почти деловым

тоном рассказывает в своей «Хеймскрингле»[23], как Один, героический князь, княживший в местности близ Черного моря, с двенадцатью витязями и многочисленным народом был стеснен в своих границах. Затем, как он вывел этих асов (азиатов) из Азии и после доблестной победы остался жить в северной части Европы. После он изобрел письмена, поэзию и т. п. и мало-помалу стал почитаться скандинавами как главное божество, а двенадцать витязей превратились в двенадцать его сыновей, таких же богов, как и он сам. Снорри нисколько не сомневается во всем этом.

Саксон Грамматик, весьма замечательный норманн того же века, обнаруживает еще меньше сомнений. Он, не колеблясь, признает во всяком отдельном мифе исторический факт и передает его как земное происшествие, имевшее место в Дании или где-либо в другом месте. Торфеус, осторожный ученый, живший несколько столетий спустя, вычисляет даже соответствующие даты. Один, говорит он, пришел в Европу около 70 года до Р.Х.

Но обо всех подобных утверждениях я не стану ничего говорить здесь. Они построены на одних только недостоверностях, и потому их невозможно поддерживать в настоящее время. Раньше, много раньше, чем в 70 году! Появление Одина, его отважные похождения, вся его земная история, вообще его личность и среда, окружавшая его, поглощены навеки для нас неведомыми тысячелетиями.

Мало того, немецкий археолог Гримм[24] отрицает даже, чтобы существовал когда бы то ни было какой-то человек Один. Свое мнение он доказывает этимологически. Слово «Вотан», представляющее первоначальную форму слова «Один», встречается часто у всех народов тевтонского племени как название главного божества. Оно имеет, по Гримму, общее происхождение с латинским словом vadere, английским wade и т. п. Оно означает первоначально movement («движение»), источник движения, силу и является вполне подходящим словом для наименования величайшего бога, а не человека. Слово это, говорит он, означает «божество» у саксов, германцев и всех тевтонских народов; все прилагательные, произведенные от него, означают «божественный», «верховный» или вообще нечто, свойственное главному божеству. Довольно правдоподобно!

Мы должны преклониться перед авторитетом Гримма, перед его этимологическими познаниями. Будем считать вполне решенным, что Вотан означает силу движения. Но затем спросим, почему же это слово не может служить также названием героического человека и двигателя, как оно служит названием божества? Что же касается прилагательных и слов, произведенных

от него, то возьмем, например, испанцев. Разве они, под влиянием своего всеобщего удивления перед Лопе, не выражались так: «Лопе-цветок», «Лопе-дама», в тех случаях, когда цветок или женщина поражали их своею необычайной красотою? Затем, если бы подобная привычка просуществовала долгое время, то слово «Лопе» превратилось бы в Испании в прилагательное, означающее также «божественный». Действительно, Адам Смит в своем «Опыте о языке»[25] высказывает предположение, что все прилагательные произошли именно таким образом. Какой-либо предмет, ярко выделяющийся своей зеленой окраской, получает значение нарицательного имени «зеленое», и тогда уже всякий предмет, отличающийся таким же признаком, например дерево, называется «зеленым деревом». Подобно как мы до сих пор еще говорим: the steam coach («паровоз»; буквально – «карета, движимая паром») и four-horse coach («карета, запряженная четверкой») и т. д.

Все коренные прилагательные, по Смиту, образовались именно таким образом: сначала они были существительными и служили наименованием предметов. Но не можем же мы позабыть человека из-за подобных этимологических выкладок. Конечно, существовал первый учитель и вождь. Конечно, должен был существовать в известную эпоху Один, осязаемый, доступный человеческим чувствам, не как прилагательное, а как реальный герой с плотью и кровью! Голос всякой традиции, история или эхо истории, подтверждая все то, к чему приходим мы теоретически, убеждают нас окончательно в справедливости этого.

Каким образом человека Одина стали считать богом, главным божеством, это, конечно, вопрос, о котором никто не взялся бы говорить в догматическом тоне. Его народ, как я сказал, не знал никаких границ в своем удивлении перед ним; он не знал в ту пору еще никакого мерила, чтобы измерить свое удивление. Представьте себе, ваша собственная благородная, сердечная любовь к кому-либо из величайших людей настолько разрастается, что переходит всякие границы, наполняет и затопляет все поле вашей мысли! Или вообразите, этот самый человек Один, так как всякая великая, глубокая душа с ее вдохновением, таинственными приливами и отливами предвидения и внушений, нисходящих на нее неизвестно откуда, представляет всегда загадку, в некотором роде ужас и изумление для самой себя, почувствовал, быть может, что он носит в себе божество, что он – некоторая эманация Вотана, «движения», высшей силы и божества, прообразом которого выступала для его восхищенного воображения вся природа, почувствовал, что

некоторая эманация Вотана живет здесь, в нем! И нельзя сказать, чтобы ему неизбежно приходилось при этом лгать. Он просто лишь заблуждался, высказывая самое достоверное, что только было ему известно.

Всякая великая душа, всякая искренняя душа не знает, что она такое, и то возносится на высочайшую высоту, то ниспровергается в глубочайшую бездну. Менее всего другого человек может измерить самого себя! То, за что принимают его другие, и то, чем он кажется самому себе, по собственным догадкам, эти два заключения странным образом воздействуют одно на другое, определяются одно через другое. Все люди благоговейно удивляются ему. Его собственная дикая душа преисполнена благородного пыла и благородных стремлений; хаотического бурного мрака и славного нового света. Чудная вселенная блещет вокруг него во всей своей божественной красоте, и нет человека, с которым когда-либо происходило бы что-нибудь подобное, – что же он мог думать после всего этого о самом себе, кто он? Вотан? Все люди отвечали: «Вотан!»

А затем подумайте, что делает одно только время в подобных случаях, как человек, если он был велик при жизни, становится еще в десять раз более великим после своей смерти. Какую безмерно увеличивающую камеру-обскуру представляет традиция! Как всякая вещь увеличивается в человеческой памяти, воображении, когда любовь, поклонение и все, чем дарит человеческое сердце, оказывают тому свое содействие. И притом во тьме, полном невежестве, без всякой хронологии и документов, при совершенном отсутствии книги и мраморных надписей: лишь то там, то здесь несколько немых надгробных памятников. Но ведь там, где вовсе нет книг, великий человек лет через тридцать – сорок становится мифическим, так как все современники, знавшие его, вымирают. А через триста, а через три тысячи лет!..

Всякая попытка теоретизировать о подобных вопросах принесет мало пользы. Эти вопросы не укладываются в теоремы и диаграммы; логика должна знать, что она не может решить их. Удовлетворимся тем, если мы можем разглядеть в отдалении, самой крайней дали, некоторое мерцание как бы некоего незначительного реального светила, находящегося в центре этого громадного изображения камеры-обскуры. Если мы разглядим, что центр всей картины составляет вовсе не безумие или ничто, но здравый смысл и нечто.

Этот свет, возжженный в громадной, погруженной во тьму пучине скандинавской души, но в пучине живой, ожидающей только света. Этот свет, по моему мнению, представляет центр всего. Как затем он будет гореть и распространяться, какие

примет формы и цвета, рассеиваясь удивительным образом на тысячу ладов, – это зависит не столько от него самого, сколько от народного духа, его воспринимающего. Цвет и форма света изменяются в зависимости от призмы, через которую он проходит. Странно подумать, как самый достоверный факт в глазах разных людей принимает самые разнообразные формы сообразно природе человека!

Я сказал, серьезный человек, обращаясь к своим братьям-людям, неизбежно всегда утверждает то, что кажется ему фактом, реальным явлением природы. Но то, каким образом он понимает это явление или факт, то, какого именно рода фактом становится он для него, – изменилось и изменяется согласно его собственным законам мышления, глубоким, трудноуловимым, но вместе с тем всеобщим, вечно деятельным. Мир природы для всякого человека является фантазией о самом себе. Мир этот представляет многосложный «образ его собственной мечты». Кто скажет, благодаря каким невыразимым тонкостям спиритического закона все эти языческие басни получают ту или иную форму!

Число «двенадцать», наиболее делимое – его можно делить пополам, на четыре части, три, шесть, – самое замечательное число! Этого было достаточно, чтобы установить двенадцать знаков зодиака, двенадцать сыновей Одина и бесчисленное множество других «двенадцать». Всякое неопределенное представление о числе имеет какую-то тенденцию к двенадцати. То же следует сказать относительно всякого другого предмета. И притом все это делается совершенно бессознательно, без малейшей мысли о каких бы то ни было «аллегориях»! Бодрый и ясный взгляд этих первых веков, должно быть, быстро проникал в тайну отношений вещей и вполне свободно подчинялся их власти.

Шиллер находит в «поясе Венеры»[26] возвышенную эстетическую правду относительно природы всего прекрасного. При этом интересно, он не старается дать понять, что древнегреческие мифологи имели какой-то умысел прочесть лекцию по «критической философии»!.. В конце концов мы должны покинуть эти беспредельные сферы. Неужели же мы не можем представить себе, что Один существовал в действительности? Правда, заблуждение было, не малое заблуждение, но настоящий обман, пустые басни, предумышленные аллегории, – нет, мы не поверим, чтобы наши отцы верили в них.

Руны Одина имеют большое значение для характеристики его личности. Руны и «магические» чудеса, которые он делал при помощи их, занимают выдающееся место в традиционном

рассказе об Одине. Руны – это скандинавский алфавит. Предполагают, что Один был изобретателем письмен, равно как и магии для своего народа! Выражать незримую мысль, существующую в человеке, посредством написанных букв – это величайшее изобретение, какое только когда-либо сделал человек. Это в некотором роде вторая речь, почти такое же чудо, как и первая. Вспомните удивление и недоверие перуанского царя Атауальпы[27]. Государство инков (Тауантинсуйу) занимало территорию современных Перу, Боливии, Эквадора, Северного Чили и Северо-Западной Аргентины и было завоевано испанцами в 1532–1536 годах. Атауальпа был казнен, хотя и уплатил завоевателям огромный установленный ими выкуп, когда он заставил караулившего его испанского солдата нацарапать на ногте своего большого пальца слово Dios[28], чтобы он мог затем, показав эту надпись следующему солдату, убедиться, действительно ли возможно подобное чудо. Если Один ввел среди своего народа письмена, то он способен был совершить волшебство.

Рунические письмена представляли, по-видимому, самобытное явление среди древних скандинавов. Это не финикийский алфавит, а оригинальный скандинавский. Снорри рассказывает далее, что Один создал также и поэзию, музыку человеческой речи, как он создал это удивительное руническое написание последней.

Перенеситесь мысленно в далекую, детскую эпоху жизни народов. Первое прекрасное солнечное утро нашей Европы, когда все еще покоится в свежем, раннем сиянии величественного рассвета, и Европа впервые начинает мыслить, существовать! Изумление, упование, бесконечное сияние упования и изумления, словно сияние мыслей юного ребенка, в сердцах этих мужественных людей! Мужественные сыны природы, – и среди них появляется человек, он не просто дикий вождь и борец, видящий своими дико сверкающими глазами, что надлежит делать, и своим диким, львиным сердцем дерзающий и делающий должное, но и поэт. Он воплощает в себе все, что мы понимаем под поэтом, пророком, искренним великим мыслителем и изобретателем и кем всегда бывает всякий истинно великий человек.

Герой является героем во всех отношениях – в своей душе и в своей мысли прежде всего. Этот Один знал, по-своему, грубо, полуотчетливо, что ему сказать. Великое сердце раскрылось, чтобы воспринять в себя великую вселенную и жизнь человеческую и сказать великое слово по этому поводу. Это – герой, говорю я, на свой собственный грубый образец, человек

мудрый, одаренный, с благородным сердцем.

И теперь, если мы до сих пор удивляемся подобному человеку преимущественно перед всеми другими, то, как же должны были относиться к нему дикие скандинавские умы, у которых впервые пробудилась мысль! Для них (дотоле они не имели соответствующего слова) он был благородный и благороднейший; герой, пророк, бог; Вотан, величайший из всех. Мысль остается мыслью, все равно, выговаривают ли ее по складам или связной речью. По существу, я допускаю, что этот Один, вероятно, был создан из той же материи, как и громадное большинство людей. В его диком, глубоком сердце – великая мысль! Не составляют ли грубые слова, членораздельно произнесенные им, первоначальных корней тех английских слов, которые мы употребляем до сих пор? Он работал, таким образом, в этой темной стихии. Но он являл собою свет, зажженный в ней; свет разума, грубое благородство сердца, единственный род света, какой мы знаем поныне. Он герой, как я представляю. Он должен был светить здесь и хоть как-то освещать свою темную стихию, что и до сих пор составляет нашу всеобщую задачу.

Мы представляем его себе в виде типичного скандинава, самого настоящего тевтона, какого только эта раса производила до сих пор. Грубые скандинавские сердца пылали к нему безграничным удивлением, обожанием. Он составляет как бы корень многочисленных великих деяний. Плоды, принесенные им, произрастают из глубины прошедших тысячелетий на всем поле тевтонской мысли. Наше слово «среда» (Wednesday), не означает ли оно до сих пор, как я уже заметил, дня Одина? Wednesbury, Wansborough, Wanstead, Wandsworth, – Один, разрастаясь, проник также и в Англию, – все это лишь листья от того же корня! Он был главным божеством для всех тевтонских народов, их идеалом древнескандинавского мужа. Таким образом, они действительно выражали удивление перед своим скандинавским идеалом. Такова была его судьба в этом мире.

Итак, если Один-человек исчез совершенно, то осталась его громадная тень, до сих пор лежащая на всей истории его народа. Ибо раз этот Один был признан богом, то легко понять, что вся скандинавская система воззрений на природу или их туманная бессистемность, какова бы она ни была до тех пор, должна была начать развиваться с этого момента совершенно иначе и расти, следуя иным, новым путям. То, что узнал Один и чему он поучал своими рунами и рифмами, весь тевтонский народ принял к сердцу и продолжал двигать вперед. Его образ мыслей стал их образом мыслей. Такова и до сих пор, лишь складывающаяся при иных условиях, история всякого великого мыслителя. Самая эта

скандинавская мифология, в своих неясных гигантских очертаниях похожая на громадное отражение камеры-обскуры, которое падает из мертвенных глубин прошедшего и покрывает собою всю северную часть небосклона, – не есть ли она в некотором роде отражение этого человека Одина? Гигантское отражение его настоящего облика, отчетливо или неотчетливо обрисованное здесь, но слишком расширенное и поэтому неясное! Да, мысль, говорю я, всегда остается мыслью. Нет великого человека, который жил бы напрасно. История мира есть лишь биографии великих людей.

Я нахожу что-то весьма трогательное в этом первобытном образе героизма, безыскусственности, беспомощности и вместе с тем глубочайшей сердечности, с какими люди относились тогда к герою. Никогда почитание не имело такого беспомощного, по внешнему виду, характера, но вместе с тем это было самое благородное чувство, в той или другой форме столь же неизменно существующее, как неизменно существует и сам человек. Если бы я мог показать, в какой бы то ни было мере, то, что я глубоко ощущаю уже с давних пор! А именно, что чувство это есть жизненный элемент человечества, душа человеческой истории в нашем мире, то я достиг бы главной цели своих настоящих бесед. Мы не называем теперь богами наших великих людей, мы не удивляемся перед ними безгранично; о нет, довольно-таки ограниченно! Но если бы мы не имели вовсе великих людей, если бы мы совершенно не удивлялись им, то было бы еще гораздо хуже.

Этот бедный скандинавский культ героев, все это древнескандинавское воззрение на природу, приспособление к ней имеют для нас непреходящую ценность. Детски-грубое понимание божественности природы, божественности человека; крайне грубое, но вместе с тем глубоко прочувствованное, мужественное, исполинское, предвещающее уже, в какого гиганта-человека вырастет это дитя! Понимание это было истиной, но теперь оно уже более не истина. Не представляется ли оно вам как бы сдавленным, едва слышным голосом давно погребенных поколений наших собственных отцов, вызванных из вековечных глубин пред лицо наше, тех, в чьих жилах все еще течет их кровь.

«Вот, – говорят они, – то, что мы думали о мире; представление, понятие, какое только мы могли составить себе об этой великой тайне жизни мира. Не относитесь презрительно к ним. Вы ушли далеко вперед от такого понимания, перед вами расстилаются более широкие и свободные горизонты, но вы также не достигли еще вершины. Да, ваше понимание, каким бы

широким оно ни казалось, все еще частичное, несовершенное понимание. Дело идет о предмете, которого ни один человек никогда, ни во времени, ни вне времени, не поймет. Будут проходить все новые и новые тысячелетия, а человек будет снова и снова бороться за понимание лишь какой-либо новой частности. Этот предмет больше человека, он не может быть понят им, это – бесконечный предмет!»

Сущность скандинавской мифологии, как и всякой языческой мифологии вообще, заключается в признании божественности природы и в искреннем общении человека с таинственными невидимыми силами, обнаруживающимися в мировой работе, совершающейся вокруг него. И эта сторона, сказал бы я, в скандинавской мифологии выражается более искренне, чем во всякой другой из известных мне. Искренность представляет ее великое характерное отличие.

Более глубокая (значительно более глубокая) искренность примиряет нас с полным отсутствием в ней древнегреческой грации. Искренность, я думаю, лучше, чем грация. Я чувствую, что эти древние скандинавы смотрели на природу открытыми глазами и открытой душой. Крайне серьезные, честные, словно дети, но вместе с тем и словно мужи. С великой сердечной простотой, глубиной и свежестью, правдиво, любовно, бесстрашно восхищаясь. Поистине доблестная, правдивая раса людей древних времен. Всякий согласится, подобное отношение к природе составляет главный элемент язычества. Отношение же к человеку, моральный долг человека, хотя и он не отсутствует вполне в язычестве, является главным элементом уже более чистых форм религии. Это действительно великое различие, составляющее эпоху в человеческих верованиях. Здесь проходит великая демаркационная линия, разделяющая разные эпохи в религиозном развитии человечества. Человек прежде всего устанавливает свои отношения к природе и ее силам, удивляется им и преклоняется перед ними. Затем, в более позднюю эпоху, он узнает, что всякая сила представляет моральное явление, что главной задачей для него является различение добра от зла, того, что «ты должен», от того, чего «ты не должен».

Относительно всех этих баснословных описаний, встречающихся в «Эддах», как было уже сказано, вероятнее всего будет допустить, что они позднейшего происхождения. Вероятнее всего, они с самого же начала не имели особенно большого значения для древних скандинавов, представляя нечто вроде игры поэтического воображения. Аллегория и поэтические описания, как я сказал выше, не могут составлять религиозного верования. Сначала должна быть вера сама по себе, и тогда уже вокруг нее

нарастает аллегория, как надлежащее тело нарастает вокруг своей души. Древнескандинавское верование, я весьма склонен допустить, подобно другим верованиям, было наиболее действенным главным образом в период своего безмолвного состояния, когда о нем еще не толковали много и вовсе не слагали песен.

Сущность практического верования, какое человек в ту пору мог иметь и которое можно открыть в этих, подернутых туманом материалах, представляемых «Эддами», фантастически нагроможденной массе всяческих утверждений и традиций, их музыкальных мифах, сводилась, по всей вероятности, лишь к нижеследующему. К вере в валькирий и чертог Одина (Валхаллу), непреложный рок и то, что человеку необходимо быть храбрым.

Валькирии – избранные девы убитых. Неумолимая судьба, которую бесполезно было бы пытаться преклонить или смягчить, решала, кто должен быть убит. Это составляло основной пункт для верующего скандинава, как и для всякого серьезного человека повсюду – Магомета, Лютера, Наполеона. Для всякого такого человека верование в судьбу лежит у самого основания жизни. Это ткань, из которой вырабатывается вся система его мысли. Возвращаюсь к валькириям. Эти избранные девы ведут храбреца в надзвездный чертог Одина. Только подлые и раболепствующие погружаются в царство Хели, богини смерти. Таков, по моему мнению, дух всего древнескандинавского верования.

Скандинавы в глубине своего сердца понимали, что необходимо быть храбрым, Один не обнаружит к ним ни малейшей благосклонности, напротив, он будет их презирать и отвергнет, если они не будут храбры. Подумайте также, не заключают ли эти мысли в себе чего-либо ценного? Это – вечная обязанность, имеющая силу в наши дни, как и в те времена, обязанность быть храбрым.

Храбрость все еще имеет свою ценность. Первая обязанность человека до сих пор все еще заключается в подавлении страха. Мы должны освободиться от страха; мы не можем вообще действовать, пока не достигнем этого. До тех пор пока человек не придавит страха ногами, поступки его будут носить рабский характер, они будут не правдивы, а лишь правдоподобны: сами его мысли будут ложны, он станет мыслить целиком, как раб и трус. Религия Одина, если мы возьмем ее подлинное зерно, остается истинной и по сей час. Человеку необходимо быть, и он должен быть храбрым. Он должен идти вперед и оправдать себя как человека, вверяясь непоколебимо указанию и выбору высших сил, и прежде всего совершенно не бояться. Теперь, как и всегда, он лишь настолько человек, насколько побеждает свой страх[29].

Несомненно, отвага древних скандинавов носила крайне дикий характер. Снорри говорит, что они считали позором и несчастьем умереть не на поле битвы. Когда приближалась естественная смерть, они вскрывали свои раны, дабы Один мог признать в них воинов, павших в борьбе с врагом. Скандинавский князь при наступлении смерти приказывал перенести себя на корабль. Затем на корабле раскладывали медленный огонь и пускали его в море с распущенными парусами. Когда он выплывал на открытый простор, то пламя охватывало его и высоко вздымалось к небу. Таким образом, достойно хоронили себя древние герои, одновременно на небе и на океане! Дикая, кровавая отвага, но тем не менее отвага своего рода. Смелость же, во всяком случае, лучше, чем отсутствие всякой отваги.

А в древних морских князьях какая неукротимая суровая энергия! Они, как я представляю их себе, молчаливы, губы их сжаты. Сами, не сознавая своей беззаветной храбрости, эти люди не страшатся бурного океана с его чудовищами, не боятся ни людей, ни вещей; прародители наших Блейков и Нельсонов[30]! У скандинавских морских князей не было своего Гомера, который бы воспел их. Между тем отвага Агамемнона представляется незначительной, и плоды, принесенные ею, ничтожными по сравнению с отвагою некоторых из них – например, Рольфа. Рольф, или Роллон, герцог Нормандский, дикий морской князь, до сих пор принимает известное участие в управлении Англией[31].

Даже эти дикие морские скитания и битвы, длившиеся в течение стольких поколений, имели свой смысл. Необходимо было удостовериться, какая группа людей обладала наибольшей силой, кто над кем должен был господствовать. Между повелителями Севера я нахожу также князей, носивших титул «лесовалителей», лесных князей-рубщиков. В этом титуле кроется большой смысл. Я предполагаю, что многие из них, в сущности, были такие же хорошие лесные рубщики, как и воины. Хотя скальды говорят преимущественно о последнем и тем вводят в немалое заблуждение некоторых критиков. Ибо ни один народ не мог бы никогда прожить одной только войной, так как подобное занятие не представляется достаточно производительным!

Я предполагаю, что истинно хороший воин был чаще всего также и истинно хорошим дровосеком, изобретателем, знатоком, деятелем и работником на всяческом поприще, так как истинная отвага, вовсе не похожая на жестокость, составляет основу всего. Это было самое законное проявление отваги. Она ополчалась против непроходимых девственных лесов, жестоких темных сил природы, чтобы победить природу. Не продолжаем ли и мы, их потомки, идти с тех пор все дальше и дальше в том же

направлении? Если бы такая отвага могла вечно воодушевлять нас!

Человек Один, обладавший словом и сердцем героя и силой производить впечатление, ниспосланной ему с неба, раскрыл своему народу бесконечное значение отваги, указал, как благодаря ей человек становится богом. Народ его, чувствуя в сердце своем отклик на эту проповедь, поверил в его миссию и признал ее тем, что послано небом. А его самого, принесшего им эту весть, – божеством. Вот что, по моему мнению, составляет первоначальный зародыш древнескандинавской религии, из которого естественным порядком выросли всякого рода мифы, символические обряды, умозрения, аллегории, песни и саги. Выросли – как странно!

Я назвал Одина маленьким светилом, горящим и распространяющим свой преобразующий свет в громадном водовороте скандинавских потемок. Однако это были, заметьте, потемки живые. Это был дух всего скандинавского народа, пылкий, не получивший еще вполне определенного выражения, не культивированный, но жаждущий всего лишь найти себе членораздельное выражение и вечно двигаться все вперед и вперед по этому пути! Живое учение растет и растет. Первоначальное зерно – существенное дело. Каждая ветвь, склоняясь вниз, врастает в землю и становится новым корнем. Таким образом, при бесконечных повторениях мы получаем целый лес, заросль, порожденную всего лишь одним зернышком. Не была ли поэтому вся древнескандинавская религия до известной степени тем, что мы назвали «непомерно громадным отражением этого человека»?

Критики находят в некоторых скандинавских мифах, как, например, рассказе о творении и т. п., сходство с индусскими мифами. Корова Аудумла, «слизывающая иней со скал»[32], напоминает им что-то индусское. Индусская корова, перенесенная в страну морозов! Довольно правдоподобно. Действительно, мы можем, не колеблясь, допустить, что подобные представления, взятые из самых отдаленных стран и из самых ранних эпох, окажутся родственными. Мысль не умирает, а только изменяется. Первый человек, начавший мыслить на этой нашей планете, был первоначальным творцом всего. И затем также второй человек, третий человек – нет, всякий истинный мыслитель до настоящих дней является в некотором роде Одином, он научает людей своему образу мышления, бросает отражение своего собственного лика на целые периоды мировой истории.

Я не располагаю достаточным временем, чтобы говорить здесь о характерных особенностях поэзии и отличительных

достоинствах древнескандинавской мифологии, что к тому же и мало касается интересующего нас предмета. Некоторые дикие пророчества, встречаемые нами здесь, как, например, «Прорицание вельвы»[33] в «Старшей Эдде», имеют иносказательный, страстный, сибиллистический[34] характер. Но это – сравнительно праздные добавления к главному содержанию, добавления позднейших скальдов, людей, так сказать, развлекавшихся тем, что представляет главное содержание, а между тем их-то песни преимущественно и сохранились. В позднейшие века, я полагаю, они пели свои песни, создавали поэтические символы, как рисуют теперь наши современные художники-живописцы то, что не исходит уже более из самой глубины их сердца, что вовсе даже не лежит в их сердце. Этого обстоятельства никогда не следует упускать из виду.

Грей[35] в своих заметках относительно древнескандинавских легенд не дает нам, собственно, никакого понятия о них; не больше, чем Поп[36] о Гомере. Это вовсе не мрачный квадратный дворец из черного необтесанного мрамора, объятый ужасом и страхом, как представляет себе Грей. Нет, древнескандинавское мировоззрение дикое и невозделанное, как северные скалы и пустыни Исландии. Но среди всех ужасов – сердечность, простота, даже следы доброго юмора и здоровой веселости. Мужественное сердце скандинавов не отзывалось на театральную выспренность, они не имели времени для того, чтобы предаваться трепету.

Мне очень нравятся их здоровая простота, правдивость, прямота понимания. Тор «хмурит брови», охваченный истинно скандинавским гневом, «сжимает в руке своей молот с такой силой, что суставы пальцев побелели». Прекрасно обрисовывается также чувство жалости, чистосердечной жалости. Бальдр, «белый бог», умирает, прекрасный, благодетельный бог-солнце. Все в природе было испытано, но действительного лекарства не нашлось, и он умер. Фригга, мать его, посылает Хермода разыскать и повидать его. Девять дней и девять ночей он ездит по темным, глубоким долинам, в лабиринте мрака. Приезжает к мосту с золотой кровлей. Сторож говорит: «Да, Бальдр проходил здесь, но царство смерти там, внизу, далеко на север». Хермод едет дальше, проскакивает за ворота преисподней, ворота Хели. Видит действительно Бальдра, говорит с ним. Бальдр не может быть освобожден. Неумолимая Хель не отдает его ни Одину, ни другому богу. Прекрасный, благородный должен остаться здесь. Его жена изъявляет добровольное согласие идти и умереть вместе с ним. Они навсегда останутся там. Он посылает свое кольцо Одину, а Нанна, его жена, посылает свой наперсток Фригге на память. О горе!..

В самом деле, отвага всегда бывает также источником настоящей жалости, истины и всего великого и доброго, что есть в человеке. В этих фигурах нас сильно привлекает здоровая, безыскусная мощь древнескандинавского сердца. Разве не служит признаком правдивой честной мощи, говорит Уланд, написавший прекрасный «Опыт» о Торе, что древнескандинавское сердце находит себе друга в боге-громе; не страшится его грома и не бежит в страхе от него. Оно знает, что зной лета, прекрасного славного лета, должен неизбежно сопровождаться и будет сопровождаться громом! Древнескандинавское сердце любит Тора и его молот-молнию, играет с ним. Тор, летний зной, бог мирной деятельности, так же как и грома. Он – друг крестьянина. Его верный слуга и спутник – Тьяльви, ручной труд. Тор сам занимается всякого рода грубой ручной работой, он не гнушается никаким плебейским занятием; время от времени он делает набеги в страну ётунов, тревожит этих хаотических чудовищ мороза, покоряет их или по крайней мере ставит в затруднительное положение и наносит им урон. В некоторых из этих рассказов слышится сильный и глубокий юмор.

Тор, как мы видели, отправляется в страну ётунов, чтобы отыскать котелок Имира, необходимый богам, пожелавшим варить пиво. Выходит Имир, огромный исполин, с седой бородой, запорошенной инеем и снегом. От одного взгляда его глаз столбы превращаются в щепы. Тор, после долгих усилий и возни, схватывает котелок и нахлобучивает его себе на голову; «ушки котелка доходили ему до плеч». Скандинавский скальд не прочь любовно пошутить над Тором. Это тот самый Имир, коровы и быки которого, как открыли критики, представляют ледяные глыбы. Огромный, неотесанный гений-бробдингнег, которому недостает только дисциплины, чтобы стать Шекспиром, Данте, Гете!

Все эти деяния древнескандинавских героев давно уже отошли в область прошлого. Тор, бог грома, превратился в Джека-победоносца, поражавшего исполинов[37]; но дух, наполнявший их, все еще сохраняется. Как странно все растет, и умирает, и не умирает! За некоторыми побегами этого великого мирового дерева скандинавского верования возможно проследить до сих пор. Этот бедный Джек, вскормленник, в своих чудодейственных башмаках-скороходах; платье, сотканном из тьмы; со шпагой, пронзающей все преграды, – один из таких отпрысков. Этин-деревенщина и тем более красный Этин из Ирландии[38] в шотландских балладах. Они оба пришли из скандинавских стран. Этин, очевидно, это тот же ётун.

Шекспировский Гамлет – также отпрыск того же мирового

дерева, в чем, по-видимому, не может быть никакого сомнения. Гамлет, Амлет, я нахожу, есть в действительности мифическое лицо. Его трагедия, отравление отца, отравление во сне посредством нескольких капель яда, влитых в ухо, и все остальное – это также скандинавский миф! Старик Саксон[39] превратил его, как он имел обыкновение, в датскую историю. Шекспир, позаимствовав рассказ у Саксона, сделал из него то, что мы видим теперь. Это отпрыск мирового дерева, который разросся, разросся благодаря природе или случаю!

Действительно, древнескандинавские песни заключают в себе истину, сущую, вечную истину и величие, как неизбежно должно заключать их в себе все то, что может сохраняться в течение целого ряда веков благодаря одной лишь традиции. И это не только величие физического тела, гигантской массивности, но и грубое величие души. В сердцах древних скандинавов можно подметить возвышенную грусть без всякой слезливости; смелый, свободный взгляд, обращенный в самые глубины мысли. Они, эти отважные древние люди Севера, казалось, понимали то, к чему размышление приводит всех людей во все века, а именно, что наш мир есть только внешность, феномен или явление, а отнюдь не действительность. Все глубокие умы признают это – индусский мифолог, германский философ, Шекспир и всякий серьезный мыслитель, кто бы он ни был:

«Мы сотканы из той же ткани, что и сны!»[40]

Один из походов Тора, поход в Утгард (Outer Garden – «внешний сад» – центральное место в стране ётунов), представляет особенный интерес в этом отношении. С ним были Тьяльви и Локи. После разных приключений они вступили в страну исполинов. Блуждали по равнинам, местам диким и пустынным, среди скал и лесов. С наступлением ночи они заметили дом, и так как дверь, которая в действительности занимала целую стену дома, оказалась открытой, то они вошли. Это было простое жилище, одна обширная зала, почти совершенно пустая. Они остались в ней. Как вдруг в самую глубокую полночь их встревожил сильный шум. Тор схватил свой молот, стал у двери и приготовился к борьбе. Его спутники метались в страхе, отыскивая какой-нибудь выход из этой пустынной залы. Наконец они нашли маленький закоулок и притаились там. Но и Тору не пришлось сражаться, так как с наступлением утра оказалось, что шум был не что иное, как храп громадного, но миролюбивого исполина Скрюмира, мирно почивавшего вблизи. То, что они приняли за дом, была всего лишь его перчатка, лежавшая в стороне. Дверь представляла собою запястье перчатки, а небольшой закоулок, где они

укрылись, – большой палец. Вот так перчатка! Я замечу еще, что она не имела отдельных пальцев, как наши перчатки, кроме одного только большого; все остальные были соединены вместе – очень старинная, мужицкая рукавица!

Теперь они путешествовали постоянно вместе с Скрюмиром. Однако Тор продолжал питать подозрения, ему не нравилось обращение Скрюмира, и он решил убить его ночью, когда тот будет спать. Подняв свой молот, он нанес прямо в лицо исполину поистине громовой удар, достаточно сильный, чтобы расщепить скалы. Но исполин только проснулся, отер щеку и сказал: «Должно быть, упал лист?» Как только Скрюмир опять заснул, Тор снова ударил его. Удар вышел еще чище, чем первый; но исполин лишь проворчал: «Песчинка, что ли?» Тор в третий раз нанес удар обеими руками (вероятно, так, что «суставы пальцев побелели»), и ему казалось, что он оставил глубокий след на лице Скрюмира; но тот только перестал храпеть и заметил: «Должно быть, воробьи вьют себе гнезда на этом дереве, что же это падает оттуда?»

Скрюмир шел своею дорогою и прибыл к воротам Утгарда, расположенного на таком высоком месте, что вам пришлось бы «вытянуть шею и откинуть голову назад, чтобы увидеть их вершину». Тора и его спутников впустили и пригласили принять участие в наступавших играх. При этом Тору вручили чашу из рога; ее нужно было осушить до дна, что, по словам великанов, составляло самое пустяшное дело. Делая страшные усилия, трижды принимаясь за нее, Тор пытался осушить ее, но почти без всякого сколько-нибудь заметного результата. Он – слабое дитя, сказали они ему. Может ли он поднять эту кошку? Как ни ничтожно казалось это дело, но Тор, при всей своей божественной силе, не мог справиться с ним: спина животного изгибалась, а лапы не отрывались от земли. Все, что он мог сделать, это приподнять одну только лапу. «Да ты вовсе не мужчина, – говорили жители Утгарда, – вот старая женщина, которая поборет тебя!» Тор, уязвленный до глубины души, схватил эту старую женщину-фурию, однако не мог повалить ее на землю.

Но вот когда они покинули Утгард, главный ётун, вежливо провожая их, сказал Тору: «Ты потерпел тогда поражение, однако не стыдись особенно этого, здесь скрывается обман, иллюзия. Тот рог, который ты пытался выпить, было море. Ты произвел в нем некоторую убыль воды, но кто же может выпить его, беспредельное море! Кошка, которую ты пытался поднять, да это ведь была змея Мидгарда[41], великая мировая змея, у нее – хвост во рту, она опоясывает весь сотворенный мир и поддерживает его. Если бы ты оторвал ее от земли, весь мир неизбежно обрушился бы и погиб в развалинах. Что же касается старой женщины, то это

было время, старость, долговечность. Кто может вступить с нею в ратоборство? Нет такого человека и нет такого бога. Боги и люди, оно над всеми берет верх! А затем эти три удара, нанесенные тобою, – взгляни на эти три долины: они образовались от твоих трех ударов!»

Тор взглянул на своего спутника ётуна; это был Скрюмир. Это было, говорят скандинавские критики, олицетворение старой, хаотической, скалистой земли, а рукавица-дол представляла пещеру в ней! Но Скрюмир исчез. Утгард со своими высокими, как само небо, воротами рассеялся в воздухе, когда Тор замахнулся молотом, чтобы ударить по ним. И только слышался насмешливый голос исполина: «Лучше никогда более не приходи в царство ётунов».

Этот рассказ, как мы видим, относится к периоду аллегорий, полушуток, а не к периоду пророчеств и полного благоговения. Но как миф не заключает ли он в себе настоящего старинного скандинавского золота? Металл необработанный, в том грубом виде, как он выходит из мифического горна, но более высокой пробы, чем во многих прославленных греческих мифах, сложенных гораздо лучше! Неудержимый, громкий смех бробдингнега, истинный юмор чувствуется в этом Скрюмире; веселость, покоящаяся на серьезности и грусти, как радуга на черной буре. Только истинно мужественное сердце способно смеяться подобным образом. Это мрачный юмор нашего Бена Джонсона, несравненного старого Бена. Он течет в крови нашей, думаю я, ибо отголоски его, хотя уже в другой форме, можно слышать и у американских обитателей лесов.

Крайне поразительную концепцию представляет также Рагнарёк[42], конец или сумерки богов, в песне «Прорицание вельвы». По-видимому, здесь мы имеем дело с весьма древней пророческой мыслью. Боги и ётуны, божественные силы и силы хаотические, животные, после продолжительной борьбы и частичной победы первых, вступают наконец во всеобщий бой, охватывающий весь мир состязания. Мировая змея – против Тора, сила – против силы, до взаимного истребления. «Сумерки» превращаются во тьму, и гибель поглощает сотворенный мир. Погиб древний мир, погиб со своими богами. Но это не окончательная гибель. Должны возникнуть новые небеса и новая земля. Божество более возвышенное и справедливое должно воцариться между людьми.

Любопытно, что закон изменений, закон, запечатленный в самой глубине человеческого сознания, был, конечно, доступен своеобразному пониманию и этих древних серьезных мыслителей. Хотя все умирает, даже боги умирают, однако эта всеобщая

смерть является лишь погасшим пламенем Феникса и возрождением к более величественному и лучшему существованию! Таков основной закон бытия для существа, созданного во времени, живущего в мире упований. Все серьезные люди понимали это и могут еще понимать до сих пор.

А теперь, в связи со сказанным, бросим беглый взгляд на последний миф о появлении Тора и закончим на этом. Я думаю, что миф этот – самого позднего происхождения из всех скандинавских легенд; скорбный протест против надвигавшегося христианства, укоризненно высказанный каким-нибудь консервативным язычником.

Короля Олафа жестоко порицали за его чрезмерную ревность в насаждении христианства. Конечно, я гораздо скорее стал бы порицать его за недостаток ревности! Он поплатился довольно дорого за свое дело. Он погиб во время восстания подвластных ему язычников, в 1033 году, в сражении при Стиклестаде близ Дронтгейма. Там стоит в течение уже многих веков главный на всем Севере кафедральный собор, посвященный в знак признательности его памяти как святому Олафу. Миф о Торе и касается этого события.

Король Олаф, христианский король, реформатор, плывет с надежным эскортом вдоль берегов Норвегии, из гавани в гавань, отправляет правосудие и исполняет всякие другие королевские обязанности. Оставляя одну из гаваней, плывущие заметили, как на корабль взошел какой-то прохожий с суровым выражением глаз и лица, красной бородой, величественной, мощной фигурой. Придворные обращаются к нему с вопросами; его ответы удивляют их своей тактичностью и глубиною; в конце концов его приводят к королю. Путник и с ним ведет не менее замечательную беседу, по мере того как они продвигаются вдоль прекрасных берегов. Но вдруг он обращается к королю Олафу со следующими словами: «Да, король Олаф, все это прекрасно вместе с солнцем, сияющим вверху. Ярко зеленеющее, плодородное, поистине прекрасное жилье для вас. И много тяжелых дней провел Тор, много свирепых битв выдержал он со скалистыми ётунами, прежде чем достиг всего этого. А теперь вы, кажется, задумали отвергнуть Тора. Король Олаф, будь осторожен!» – воскликнул путник, сдвинув свои брови; и когда окружавшие короля оглянулись, то нигде не могли уже отыскать его. Таково последнее появление Тора в этом мире!

Не представляет ли данный случай довольно убедительного примера, как вымысел может возникнуть, помимо всякого желания сказать непременно неправду? Таким именно образом объясняется появление громадного большинства богов среди

людей. Так, если во времена Пиндара «Нептун был видим однажды во время Немейских игр», то этот Нептун был также «странником благородным, суровым на вид», созданным таким образом, чтобы его могли «видеть». В этом последнем слове язычества мне слышится что-то патетическое, трагическое. Тор исчезает. Весь скандинавский мир исчез и никогда уже более не возвратится. Подобным же образом проходят самые возвышенные вещи. Все, что было в этом мире, все, что есть, что будет, все должно исчезнуть, и нам приходится сказать всему свое печальное «прости».

Эта скандинавская религия, это грубое, но серьезное, резко выраженное освящение отваги (так мы можем определить ее) удовлетворяло старых отважных норманнов. Освящение отваги – это не что-либо низменное! Мы будем постоянно считать отвагу добром. Небесполезно было бы также для нас знать кое-что относительно древнего язычества наших отцов. Хотя мы и не сознаем этого, но старое верование, в соединении с другими, более высокими истинами, живет в нас до сих пор! Если мы познаем его сознательно, то это лишь сделает возможным для нас более тесные и ясные отношения к прошлому, нашему собственному достоянию в прошлом, ибо все прошлое, я настаиваю на том, есть достояние настоящего. Прошлое имело всегда что-либо истинное и представляет драгоценное достояние.

В различные времена, в различных странах всякий раз развивается какая-либо особенная сторона нашей общечеловеческой природы. Действительную истину представляет сумма всех их, но ни одна сторона сама по себе не выражает всего того, что развила до тех пор из себя человеческая природа. Лучше знать все их, чем ошибочно истолковывать. «К какой из трех религий вы питаете особенную приверженность?» – спросил Мейстер своего учителя. «Ко всем трем! – отвечал тот. – Ко всем трем, так как благодаря их соединению впервые возникает истинная религия»[43].

Беседа вторая Герой как пророк. Магомет: ислам

От первых грубых времен язычества скандинавов на Севере мы теперь перейдем к совершенно иной религиозной эпохе, совершенно иному народу – мусульманству арабов. Громадный переворот! Какая перемена, какой прогресс обнаруживается здесь в общем положении и в мыслях людей!

К герою теперь уже не относятся как к богу среди подобных ему людей, но как к Богом вдохновленному человеку, пророку. Это вторая фаза культа героев. Первая и древнейшая, мы можем сказать, прошла безвозвратно. В истории мира не будет никогда более человека, которого, как бы велик он ни был, остальные люди признавали бы за бога. Мало того, мы имеем даже полное основание спросить: действительно ли считала когда-либо известная группа человеческих существ богом, творцом мира, человека, существовавшего бок о бок с ними, всеми видимого? Вероятно, нет. Обыкновенно это был человек, о котором они вспоминали, которого они некогда видели. Но и этого никогда более не повторится. В великом человеке никогда уже более не будут видеть бога.

Грубой и большой ошибкой было считать великого человека богом. Но да позволено будет нам сказать вместе с тем, что вообще трудно бывает узнать, что он такое, кем следует считать его и как относиться к нему! В истории всякой великой эпохи самый важный факт представляет то, каким образом люди относятся к появлению среди них великого человека. Инстинкт всегда подсказывал, что в нем есть что-то божественное. Но должно ли считать его богом или пророком или кем вообще должно считать его? Это всегда вопрос громадной важности. Ответ, какой люди дают на него, является как бы маленьким окном, позволяющим нам заглянуть в самую суть умственного состояния данных людей. Ибо, в сущности, все великие люди, как они выходят из рук природы, представляют всегда одно и то же: Один, Лютер, Джонсон, Бернс. Я надеюсь показать, что, по существу, все они вылеплены из одной и той же глины. Благодаря лишь отношению, встречаемому ими со стороны людей, и формам, принимаемым ими, они оказываются столь неизмеримо различными.

Нас поражает поклонение Одину: повергаться и распростираться перед великим человеком в изнеможении от любви и удивления и чувствовать в своем сердце, что он – сын

неба, бог!.. Это, конечно, довольно-таки несовершенно. Ну а такую встречу, например, какую мы оказали Бернсу, можем ли мы признать совершенной? Драгоценный дар, каким только небо могло одарить землю, человека – «гения», как выражаемся мы, душу человека, действительно посланного к нам небом с божественной миссией, – вот что расточали мы, как пустой фейерверк, пущенный для минутной забавы и затем превращенный нами в пепел, мусор и пустышку. Такое отношение к великому человеку я также не могу признать слишком совершенным! Тот же, кто вникнет глубже в суть дела, быть может, даже скажет, что случай с Бернсом представляет еще более безобразное явление, свидетельствует о еще более печальных несовершенствах в путях человечества, чем скандинавский способ почитания героев!

Беспомощное изнеможение, вызываемое любовью и удивлением, не представляло ничего хорошего. Но такое нерассуждающее, нет, неразумное, надменное отсутствие всякой любви, быть может, еще хуже! Почитание героев представляет явление, постоянно изменяющее свою форму. В разные эпохи оно выражается различно. Во всякую данную эпоху нелегко бывает найти для него надлежащую форму. Действительно, суть всего дела известной эпохи, можно сказать, заключается в том, чтобы найти эту надлежащую форму.

Мы останавливаем свой выбор на Магомете не потому, что он был самым знаменитым пророком, а потому, что о нем мы можем говорить свободнее, чем о других. Его никоим образом нельзя считать самым истинным из пророков; но, конечно, я признаю его за истинного пророка. И поскольку к тому же никому из нас не угрожает опасность увлечься исламом, то я намерен сказать о нем все хорошее, что только могу сказать по справедливости. Для того чтобы проникнуть в его тайну, мы должны постараться узнать, что он думал о мире, и затем уже нам будет легче ответить на вопрос, как мир думал и думает о нем.

Действительно, наши ходячие гипотезы о Магомете, что будто бы он был хитрый обманщик, воплощенная ложь, его религия представляет лишь одно шарлатанство и бестолковщину, в настоящее время начинают терять кредит в глазах всех людей. Вся ложь, которую благонамеренное рвение нагромоздило вокруг этого имени, позорит лишь нас самих. Когда Пококк спросил Гроция[44], где доказательства справедливости известной истории о голубе, дрессированном будто бы таким образом, что он прилетал клевать горох из уха Магомета, и сходившем за ангела, диктовавшего ему веление свыше, – тот ответил, что никаких доказательств нет! Настало действительно время отбросить все

это.

Слово, сказанное Магометом, служило путеводной звездой для ста восьмидесяти миллионов людей в течение двенадцати веков. Эти сто восемьдесят миллионов созданы Богом так же, как и мы. Число созданий Божиих, исповедующих по настоящее время слово Магомета, больше, чем число верующих в какое бы то ни было другое слово. Можем ли мы согласиться, чтобы то, во имя чего жила такая масса людей, с чем все они умирали, было лишь жалкой проделкой религиозного фокусника? Я со своей стороны не могу допустить ничего подобного. Я скорее поверю во многое другое, чем соглашусь с этим. Всякий чувствовал бы себя совершенно потерянным и не знал бы, что подумать ему об этом мире, если бы шарлатанство действительно приняло такие грандиозные размеры и получило такую санкцию.

Увы, подобные теории весьма прискорбны! Если мы хотим понять что-либо в истинном творении Бога, мы должны отнестись к ним, безусловно, отрицательно! Они продукт скептического века; свидетельствуют о самом печальном расслаблении мысли, пустой, помертвелой жизни человеческого духа, – более безбожной теории, я думаю, никогда не слышала наша земля. Фальшивый человек создает религию? Как? Но ведь фальшивый человек не может построить даже простого дома из кирпича! Если он не знает свойств известкового раствора, обожженной глины и вообще всего, с чем ему приходится иметь дело, и если он не следит за тем, чтобы все было сделано правильно, то он воздвигает вовсе не дом, а груду мусора. Такое здание не простоит двенадцати столетий, вмещая в себе сто восемьдесят миллионов жильцов; оно развалится тотчас же. Необходимо, чтобы человек находился в согласии с природой, действительно был в общении с природой, следовал законам ее, – в противном случае природа ответит ему: «Нет, вовсе нет!»

Правдоподобности правдоподобны, о, конечно! Калиостро, многочисленные Калиостро, знаменитые руководители мира сего, действительно благоденствуют благодаря своему шарлатанству – в течение одного дня. Они располагают как бы поддельным банковским билетом. Они успевают спустить его со своих недостойных рук, но не им, а другим приходится затем расплачиваться. Природа разражается огненным пламенем, наступают французские и иные революции и возвещают со страшной правдивостью, что поддельные билеты – поддельны.

Но относительно великого человека, о нем в особенности, я берусь утверждать, что невозможно поверить, чтобы он мог быть неправдивым человеком. В этом, мне кажется, кроется главная основа его собственного существования и всего того, что он несет

с собою в мир. Мирабо, Наполеон, Бернс, Кромвель, как и вообще всякий человек, способный сделать что-либо, были бы невозможны, если бы они прежде всего не относились вполне искренне к своему делу, не были, как я говорю, искренними людьми. Я сказал бы: искренность, глубокая, великая, подлинная искренность составляет первую характерную черту великого человека, проявляющего тем или иным образом свой героизм. Не та искренность, которая называет сама себя искреннею. О нет, это в действительности очень жалкое дело – пустая, тщеславная сознательная искренность, чаще всего вполне самодовольная.

Искренность великого человека – другого рода. Он не может говорить о ней, не знает ее. Мало того, я допускаю даже, что он склонен обвинять себя в неискренности, ибо какой человек может прожить день изо дня, строго следуя закону истины? Нет, великий человек не хвастает тем, что он искренен, далеко нет. Быть может, он даже не спрашивает себя, искренен ли он. Я сказал бы охотнее всего, его искренность не зависит от него самого, он не может помешать себе быть искренним! Великий факт существования велик для него. Куда бы он ни укрылся, он не может избавиться от страшного присутствия самой действительности. Его ум так создан. В этом прежде всего и заключается его величие. Вселенная представляется ему страшной и удивительной, действительной, как жизнь, действительной, как смерть. Если бы даже все люди забыли о ее истинной сущности и жили пустыми призраками, он не мог бы сделать этого. Огненный образ сияет вечно над ним своим ослепительным блеском. Он там, там, над ним, его невозможно отвергнуть! Таково, примите к сведению, мое первое определение великого человека. Маленький человек может также чувствовать то же самое, это достояние всех людей, созданных Богом; но великий человек не может жить без этого.

Такого человека мы называем оригинальным человеком; он приходит к нам из первых рук. Это вестник, посланный к нам с вестями из глубины неведомой бесконечности. Мы можем называть его поэтом, пророком, богом. Так или иначе, все мы чувствуем, что речи его не похожи на речи всякого другого человека. Непосредственное порождение внутреннего факта вещей, он живет и должен жить в ежедневном общении с ним. Ходячие фразы не могут скрыть от него этого факта. Следуя ходячим фразам, он становится слепцом, чувствует себя бездомным, несчастным; факт глядит на него пристально. Действительно, разве его речи не являются известного рода «откровением» – мы должны употребить это слово за неимением другого, более подходящего. Ведь он приходит к нам из самого

сердца мира; представляет частицу первоначальной действительности вещей! Бог дал людям многочисленные откровения. Но разве не Бог также создал и этого человека? Не являет ли он нам собою позднейшее и новейшее из всех откровений? «Дыхание Всемогущего дает ему разумение»: мы должны прежде всего слушать его.

Итак, мы никоим образом не станем смотреть на Магомета как на что-то пустое и неестественное, как на жалкого честолюбца и сознательного обманщика; мы не можем представить его себе таким. Суровая весть, возвещенная им миру, была также действительной вестью, серьезным, глухо звучавшим голосом, исходившим из неведомой глубины. Речи этого человека не были лживы. Не был лжив также и труд, совершенный им здесь, на земле. В нем не было ни малейшей суетности и призрачности. Он – огненная масса жизни, выброшенная из великих недр самой природы, чтобы зажечь мир. Творец мира так повелел. И ошибки, недостатки, даже неискренние поступки Магомета, если бы существование таковых было когда-либо достаточно основательно доказано, не поколеблют этого основного для него факта.

Вообще мы придаем слишком большое значение заблуждениям; частности дела закрывают от нас действительную сущность. Заблуждения? В величайшее из них, сказал бы я, впадает тот, кто думает, что он вовсе не заблуждается. Читатели Библии в особенности, всякий согласится с нами, должны бы хорошо это знать. Кто назван здесь «человеком по сердцу самому Богу»? Древнееврейский царь Давид, совершивший немало прегрешений, самых темных преступлений; у него не было недостатка в грехах. Поэтому неверующие насмешливо спрашивают: так вот ваш человек, приходящийся по сердцу самому Богу? Такая насмешка, должен заметить, кажется мне совершенно призрачной. Что заблуждения, что несущественные частности жизни, если внутренняя тайна ее, угрызения, искушения, действительная борьба, часто обманчивая, никогда не прекращающаяся, если все это предается забвению?

«Не во власти идущего определить, куда направляет он свой шаг». Разве не раскаяние составляет самый божественный акт для человека? Самый большой смертный грех, говорю я, именно такая надменная мысль о полной безгрешности: это – смерть. Сердце, питающее подобную мысль, порывает всякие связи с искренностью, скромностью и действительностью; оно мертво; оно «чисто», как чист безжизненный сухой песок. Жизнь и история Давида, как описаны они в его псалмах, по моему разумению, рисуют самым точным образом нравственное развитие человека и его работу на этой земле. Всякое искреннее

сердце всегда отзовется на изображаемую здесь неустанную борьбу искренней человеческой души, стремящейся к тому, что хорошо, что есть наилучшего. Борьбу, часто обманчивую, жестоко обманчивую, приводящую к полному поражению, но никогда не прекращающуюся. Человек вечно возобновляет ее, стремясь со слезами, с раскаянием к поистине недостижимой цели.

Бедная человеческая природа! Когда человек идет, не совершает ли он действительно «ряда последовательных падений»? И человек ничто не может делать иначе. В этой дикой стихии жизни он должен бороться, чтобы двигаться вперед, и падать, глубоко падать; и постоянно со слезами, раскаянием, истекающим кровью сердцем подниматься, чтобы снова бороться и продвигаться все вперед и вперед. Весь вопрос в том, чтобы борьба его была заслуживающей доверия, неукротимой. Мы примиримся со многими печальными частностями, если только сущность дела представляет действительную истину. Частности сами по себе никогда не дадут нам возможности узнать, какова эта сущность. Я думаю, что мы неправильно будем оценивать заблуждения Магомета, даже как заблуждения, а тайны его никогда не познаем, пока будем иметь дело только с этими заблуждениями. Мы оставим все это в стороне и, признав, что он имел в виду нечто истинное, чистосердечно спросим себя, в чем состояло это истинное, в чем оно могло состоять.

Арабы, среди которых родился Магомет, были поистине замечательным народом. Их родина сама по себе также не менее замечательна: это страна, вполне достойная такого народа. Неприступные, дикие скалы и горы, громадные суровые пустыни, прерываемые полосами прелестной зелени. Там, где вода – красота – зелень, благоухающие бальзаминные кусты, финиковые пальмы, ладанники. Подумайте только об этих обширных, захватывающих весь горизонт пустынных пространствах, покрытых песком; голых, молчаливых, напоминающих море пространствах, отделяющих одно обитаемое место от другого. Вы стоите здесь одни перед лицом вселенной. Днем солнце нещадно палит своим нестерпимым жаром. Ночью над вами разверзается величественная глубина небес, усеянная звездами.

Такая именно страна вполне соответствует народу решительному в своих действиях, с глубоким сердцем. Араб отличается чрезвычайной подвижностью, деятельным характером, но вместе с тем и крайней созерцательностью, восторженностью. Персов называют французами Востока, а арабов мы назовем итальянцами Востока. Богато одаренный, благородный народ. Народ с сильными, дикими чувствами и железной волею, достаточно могучей, чтобы сдерживать эти дикие чувства, –

характерная особенность людей с благородными задатками, людей гениальных.

Дикий бедуин принимает путника в своем шатре и предлагает к услугам все находящееся там. Будь это даже его заклятый враг, он все-таки убьет своего жеребенка, чтобы накормить его, будет служить ему и оказывать святое гостеприимство в течение трех дней и проводит его благосклонно в путь. Затем в силу другого обычая, столь же священного, убьет его при первой возможности. Речь арабов отличается теми же особенностями, как и поступки. Они не болтливы, скорее даже молчаливы. Но они становятся красноречивыми, вдохновенными, когда считают нужным говорить. Серьезный, правдивый народ. Как известно, арабы родственны евреям. Но с неумолимой, ужасающей серьезностью евреев они соединяют приветливость и блеск, которых нет у последних. Во времена, предшествовавшие Магомету, у них существовали «поэтические состязания». Сэл[45] рассказывает, что в Окадхе, Южной Аравии, где происходили ежегодные торжища, по окончании торговых дел выступали поэты и между ними начиналось публичное состязание в пении. Дикий народ собирался, чтобы послушать их.

Этим арабам присуща одна еврейская черта, представляющая совокупность многих или даже всех высших достоинств человеческого духа, – то, что мы можем назвать религиозностью. С древнейших времен они проявляли ревность в почитании богов, сообразно, конечно, своему пониманию. Как сабеиты, они поклонялись звездам и многим другим объектам природы, признавая в них символы, непосредственные проявления Творца природы. Они заблуждались, но это не было одно сплошное заблуждение. Всякое творение Божие остается до сих пор в известном смысле символом Бога.

Не считаем ли мы, как я говорил выше, особенным достоинством способность видеть в любых предметах природы известный неисчерпаемый смысл, «поэтическую красоту», как мы выражаемся? Человек-поэт удостаивается за то, что он говорит или поет, в своем роде почитания, хотя и слабо выраженного. Они, эти арабы, имели многих пророков, учителей. Каждый из них по силе своего разумения учительствовал в своем колене. Но разве действительно не сохранилось от древних времен благороднейшего памятника, еще до сих пор доступного каждому из нас, памятника преданности и благородной возвышенности духа, какие были присущи этому простому глубокомысленному народу?

Библейские критики, по-видимому, единогласно признают, что Книга Иова была написана именно здесь, в этой части

земного шара. Помимо всяких предположений относительно ее происхождения, я считаю эту книгу величайшим из произведений, когда-либо написанных. Читая ее, действительно чувствуешь, что эта книга не еврейская. В ней господствует дух

благородного универсализма, отличный от духа благородного патриотизма и сектантства. Благородная книга, общечеловеческая книга! Она представляет первое по времени, древнейшее изложение вечной проблемы судеб человеческих и путей Господних, руководящих человеком здесь, на земле; и все это в таких свободных, плавных очертаниях. Книга великая в своей искренности, простоте, эпической мелодии и спокойствии примирения. Здесь чувствуется прозревающий глаз и кроткое, понимающее сердце. Книга вполне правдивая во всех отношениях: правдивый взгляд на все и правдивое понимание всего, материальных предметов точно так же, как и духовных. Вот – лошадь: «обвил ли ты ее шею громом-молниею» – она «смеется, когда потрясают копьем». Таких живых образов никогда с тех пор не рисовали. Возвышенная скорбь и примирение; древнейшая хоровая мелодия, исходящая из самого сердца человечества, столь преисполненная неги и величия, как летняя полночь, мир с его морями и звездами! Ни в Библии, ни вне ее, по моему мнению, нельзя найти ничего равного этой книге в литературном отношении.

Один из самых древних предметов всеобщего почитания среди идолопоклонствовавших арабов представлял Черный камень, до сих пор хранящийся в храме, называемом Каабой[46], в Мекке. Диодор Сицилийский[47], упоминая о Каабе, не оставляет никакого сомнения относительно того, что храм этот в его время, то есть за полстолетия до нашей эры, был самым древним и самым почитаемым. По мнению Сильвестра де Саси[48], можно с некоторой вероятностью допустить, что Черный камень был аэролит. В таком случае кто-нибудь из людей мог видеть, как он падал с неба! Он лежит теперь у источника Земзем[49]. Кааба построен над камнем и источником.

Источник в любом месте представляет прекрасное, умилительное зрелище, как бы напоминая собою жизнь, выбивающуюся из-под земной тяжести. Тем сильнее производит он впечатление в этих знойных, сухих странах, где вода является первым условием всякой жизни. Источник Земзем получил название от журчания своих вод: «зем-зем». Думают, что это именно тот источник, который нашла Агарь, блуждая по пустыне вместе со своим маленьким Измаилом. А теперь аэролит и источник стали священными предметами, и над ними вознесся Кааба на тысячи лет.

Странное зрелище представляет этот храм Кааба! Он стоит и по сей час, облеченный в черное покрывало, которое султан ежегодно присылает для него. «Двадцать семь локтей высоты» Кааба, опоясанная двойным рядом колонн, с гирляндами ламп и причудливых орнаментов. Лампы будут возжжены и в эту наступающую ночь, чтобы снова сверкать под звездами. Доподлинный обломок давно прошедших веков. Это – Кебла[50] для всех мусульман. От Дели до Марокко глаза бесчисленного множества молящихся пять раз в день обращаются к нему, сегодня так же, как и во все дни. Это один из самых достопримечательных центров в человеческой истории.

Благодаря святости, приписываемой храму Каабе и источнику Агари, паломничеству к ним арабов всех племен Мекка стала расти и превратилась в город. Некогда это был большой город. Теперь он в значительной мере пришел в упадок. Окружающие природные условия не представляют никаких удобств для существования города. Мекка стоит в песчаной ложбине, вдали от моря, окруженная обнаженными, бесплодными холмами. Предметы потребления, даже хлеб, доставляются сюда из других местностей. Но масса скоплявшихся здесь пилигримов требовала помещений, и затем всякое место, куда стекается народ на богомолье, становится также местом торговли. Раз собрались в известном пункте богомольцы, торговцы не замедлят собраться там же. Повсюду, куда люди сходятся, имея в виду одну определенную цель, оказывается возможным заняться и другими делами, требующими одновременного присутствия многих.

Мекка стала ярмаркой на всю Аравию и, следовательно, главным рынком и складским пунктом для всей торговли, происходившей тогда между Индией и западными странами, Сирией, Египтом и даже Италией. Одно время население ее достигало 100 000 человек. Все это – скупщики, люди, занимавшиеся вывозом произведений Востока и Запада, а также поставщики зерна и провизии для местного населения. В отношении управления Мекка представляла собой нечто вроде аристократической республики, не без теократического оттенка.

Десять человек из главного колена, избираемые примитивным образом, управляли Меккой и были хранителями Каабы. Курейшиты считались во времена Магомета главным коленом; к нему принадлежала и семья Магомета. Весь остальной народ, разбитый на группы и разбросанный по пустыне, жил под управлением подобного же патриархального первобытного правительства, состоявшего из одного или нескольких лиц. Все это были пастухи, перевозчики, торговцы, занимавшиеся также и грабежом, находившиеся чаще всего в состоянии войны с другими

и между собою. Они были бы лишены всякой видимой связи, если бы не эти встречи у Каабы, на всеобщем обожании которой сходились все формы арабского идолопоклонства. Но внутреннее, нерушимое единство их вытекало главным образом из общности крови и языка.

Таким образом, арабы жили в течение многих веков неведомые всем. Народ с великими достоинствами, бессознательно выжидавший того дня, когда он мог бы стать известным всему миру. Их идолопоклонство, по-видимому, клонилось уже к упадку; во многом уже замечалось разложение и брожение. Темные слухи о событии величайшей важности, какое только когда-либо имело место в этом мире, жизни и смерти божественного человека в Иудее, событии, составляющем одновременно и признак, и причину неизмеримо глубокого переворота в жизни всех народов мира, достигли, с течением веков, также и Аравии. Но подобные слухи не могли сами по себе не вызвать здесь брожения.

При таких-то обстоятельствах среди арабского народа в 570 году нашей эры родился Магомет. Он происходил из семьи Хашемитов, из колена курейшитов, как мы сказали. Несмотря на бедность, семья была связана узами родства с выдающимися людьми своей страны. Почти сразу после своего рождения Магомет лишился отца, а шести лет также и матери, женщины замечательной по своей красоте, благородству и здравому смыслу. Его взял на попечение дед, старик, которому было уже сто лет. Хороший старик! Отец Магомета, Абдаллах, был его самым младшим и самым любимым сыном. Его старые, утомленные жизнью очи, столетние очи, видели в Магомете потерянного и как бы возвратившегося назад Абдаллаха. Это было все, что осталось у него от Абдаллаха. Он сильно любил маленького мальчика-сироту и обыкновенно говаривал, что они должны позаботиться об этом прелестном ребенке, так как в их роде нет большей драгоценности. Умирая – Магомету было тогда всего лишь два года, – он оставил его на попечение Абу-Талеба, старшего дяди, ставшего теперь главой семьи. Этот дядя, человек, по всему видно, справедливый и разумный, дал Магомету прекрасное воспитание по арабским нравам того времени.

Когда Магомет подрос, он стал сопутствовать своему дяде в его торговых и иного рода поездках. Восемнадцати лет мы видим его уже в качестве ратника, сопровождающего на войну своего дядю. Несколькими годами раньше имела место, быть может, самая замечательная из всех его поездок, поездка на ярмарки в Сирию. Молодой человек в первый раз пришел здесь в соприкосновение с совершенно чуждым ему миром, имевшим для

него бесконечную важность, – христианской религией. Я не знаю, что следует нам думать об этом «Сергии, несторианском монахе»[51], у которого, как рассказывают, остановился он и Абу-Талеб, и насколько какой бы то ни было монах мог просветить еще столь юного человека. Весьма вероятно, что вся эта история относительно несторианского монаха крайне преувеличена. Магомету было тогда всего лишь четырнадцать лет. Он мог объясняться только на своем родном языке; и многое из того, что он встретил в Сирии, должно было пронестись в его голове странным и непонятным вихрем. Но глаза отрока были открыты. В его душу запало, несомненно, немало впечатлений, которые сохраняли пока крайне загадочный вид, чтобы потом, когда настанет время, вырасти какими-то неведомыми путями в воззрения, верования, интуиции. Эта поездка в Сирию послужила, вероятно, толчком, имевшим громадные последствия для Магомета.

Мы не должны упускать из виду еще одного обстоятельства: он не получил никакого школьного образования, совсем не имел того, что мы называем школьным образованием. С искусством писать только что ознакомились в ту пору в Аравии. По-видимому, следует считать доказанным, что Магомет не умел вовсе писать! Жизнь в пустыне со всеми ее испытаниями составляла все его воспитание. Все его познания относительно этой бесконечной вселенной неизбежно должны были ограничиваться лишь тем, что он мог видеть из своего темного угла собственными глазами и что мог уразуметь собственным умом, отнюдь не больше. Немалый интерес представляет, если только мы вдумаемся, этот факт полного отсутствия книг.

Магомет мог знать только то, что мог видеть сам или слышать из случайного людского говора в сумрачной аравийской пустыне. Мудрость, выработанная раньше, или на известном расстоянии от его местопребывания, была как бы сокровищем, не существовавшим вовсе для него. Из великих родственных душ, этих маяков, пылающих на таких громадных друг от друга расстояниях пространства и времени, ни одна непосредственно не сообщалась с этой великой душой. Он был одинок, затерянный далеко, в самых недрах пустыни. Так ему приходилось расти – наедине с природой и со своими собственными мыслями.

Но уже с раннего возраста в нем замечалась особенная сосредоточенность. Сотоварищи называли его Аль-Амином, «правоверным», человеком правды и верности, правдивым в том, что он делал, о чем говорил и думал. Они замечали, что он никогда не говорил попусту. Человек, скорее, скупой на слово, он молчал, когда нечего было говорить. Но когда он находил, что

должно говорить, он выступал со своим словом мудро, искренне и всегда проливал свет на вопрос. Так только и стоит говорить!

В течение всей его жизни к нему относились как к человеку вполне положительному, по-братски любящему, чистосердечному. Серьезный, искренний человек и вместе с тем любящий, сердечный, общительный, даже веселый. Он смеялся хорошим, добрым смехом. Существуют люди, смех которых отмечен такою же неискренностью, как и все, что они делают, люди, которые не умеют смеяться. Всякий слышал рассказы о красоте Магомета, о его красивом, умном, честном лице, смуглом и цветущем; черных сверкающих глазах. Мне также нравится эта вена на лбу, которая раздувалась и чернела, когда он приходил в гнев: точно «подковообразная вена» в «Красной перчатке» Вальтера Скотта. Она, эта черная, раздувающаяся вена на лбу, составляла семейную черту в роде Хашимитов. У Магомета она была развита, по-видимому, особенно сильно. Самобытный, пламенный и, однако, справедливый, истинно благонамеренный человек! Полный дикой силы, огня, света, достоинства, совсем не культурный, совершающий свое жизненное дело там, в глубинах пустыни.

Он попал к Хадидже, богатой вдове, в качестве управляющего и снова ездил по ее делам в Сирию на ярмарки, умело и преданно устраивал все ее дела (с чем всякий легко согласится). Ее признательность, уважение к нему росли – одним словом, вся эта история относительно их любви, рассказанная нам арабскими авторами, – вполне возможная, прелестная история. Ему было двадцать пять лет, ей – сорок; но она все еще была красавицей! Женившись на своей благодетельнице, он, по-видимому, прожил с нею вполне мирно, чисто, любовно. Он действительно любил ее, и только ее одну, что сильно подрывает мнение, считающее его обманщиком. Это факт, что он прожил такой вполне обыденной, спокойной, ничем не выдающейся жизнью до тех пор, пока не спал горячий пыл его годов.

Ему исполнилось сорок лет, прежде чем он начал говорить о какой бы то ни было божественной миссии. Вся беспорядочность в его поведении, действительная или воображаемая, относится к тому времени, когда ему было уже за пятьдесят лет и не стало уже доброй Хадиджи. Все его «притязания» ограничивались до тех пор, по-видимому, лишь желанием жить честною жизнью. Он удовлетворялся своею «репутацией», то есть всего лишь добрым мнением соседей, знавших его. И только в старости, когда беспокойный жар его жизни уже весь перегорел и покой, который мир мог дать ему, получил для него главное значение, только тогда он вступил на «путь честолюбия». Изменив своему

характеру, всему своему прошлому, превратился в жалкого, пустого шарлатана, чтобы завоевать себе то, что не могло уже более радовать его! Что касается меня, то я никоим образом не могу поверить этому.

О нет! Этот сын дикой пустыни, с глубоким сердцем, сверкающими черными глазами, открытой, общительной и глубокой душой, питал в себе совсем другие мысли. Он был далек от честолюбия. Великая молчаливая душа, он был одним из тех, кто не может не быть серьезным, по самой природе своей принужден быть искренним. В то время как другие совершают свой жизненный путь, следуя формулам и избитым шаблонам, и находят достаточное удовлетворение в такой жизни, этот человек не мог прикрываться формулами. Он общался только со своею собственной душою и действительностью вещей.

Великая тайна существования, как я уже сказал, со своими ужасами, своим блеском упорно глядела на него. Никакие ходячие фразы не могли скрыть от него этого невыразимого факта: «Вот – я!» Такая искренность, как мы называем ее, поистине заключает в себе нечто божественное. Слово такого человека является голосом, исходящим из самого сердца природы. Люди внимают, и должны, конечно, внимать, этому голосу больше, чем чему бы то ни было другому. Все другое по сравнению с ним – ветер. С давнего времени уже тысячи мыслей преследовали этого человека в его странствованиях и хождениях на богомолье: что такое я? Что такое эта бесконечная материя, среди которой я живу и которую люди называют вселенной? Что такое жизнь, что такое смерть? Чему я должен верить? Что я должен делать? Сумрачные скалы гор Хаарам и Синай, суровые песчаные пустыни не давали ответа на эти вопросы. Необъятное небо, молчаливо распростершееся над его головой, со звездами, мерцавшими синим блеском, также не давало ответа. Никакого ответа не находил он здесь. Собственная душа человека и та частица божественного вдохновения, которая живет в ней, вот кто должен был ответить.

Таковы вопросы, которые всем людям приходится задавать себе, и нам также, и искать ответа на них. Этот дикий человек чувствовал всю бесконечную важность мучивших его вопросов, по сравнению с которыми все остальное не имеет никакого значения. Диалектический жаргон греческих сект, смутные предания евреев, бестолковая рутина арабского идолопоклонства – все это не давало никакого ответа на означенные вопросы. Герой, повторяю, отличается прежде всего тем – и это мы действительно можем признать его первой и последней отличительной чертой, альфой и омегой всего его героизма, – что

сквозь внешнюю видимость вещей он проникает в самую суть их. Традиция и обычай, почтенные ходячие истины, формулы – все они могут быть хорошими и плохими. Но за ними, выше их, стоит нечто другое, с чем все они должны сообразоваться, отражением чего все они должны быть, иначе они превращаются в идолов, «куски черного дерева, претендующие на божественность»; для серьезного ума – посмешище и омерзение.

Идолы, как они ни были раззолочены и несмотря на то что им прислуживали главные жрецы из племени курейшитов, не могли иметь никакого значения для такого человека. Хотя все люди живут, поклоняясь им, но что из этого? Великая действительность все стоит и упорно глядит на него. Он должен найти ответ, в противном же случае погибнуть злополучным образом. Теперь, немедленно, иначе ты никогда не будешь иметь более возможности найти его в течение всей вечности! Ответь на вопрос; ты должен найти ответ. Честолюбие? Что могла значить для этого человека вся Аравия, вместе с короною грека Ираклия, короною перса Хосрова[52] и со всеми земными коронами, что все они могли значить для него? Вовсе не о земном шло дело. Не о земле он хотел слышать, а о небе, которое вверху, и преисподней, которая внизу. Все короны и державы, каковы бы они ни были, что станется с ними через несколько быстротекущих лет? Быть шейхом Мекки или Аравии и держать в руках своих кусок позолоченного дерева – разве в этом спасение человека? Нет, не то, я решительно думаю, не то. Мы совершенно оставим ее, эту гипотезу об обмане, как не заслуживающую никакого доверия. К ней нельзя относиться даже терпимо. Напротив, она заслуживает нашего полного отрицания.

Ежегодно с наступлением месяца рамазана Магомет удалялся в пустынное место и проводил все это время в уединении и молчании. Таков действительно был обычай у арабов; обычай, достойный похвалы, вполне естественный и полезный, в особенности в глазах такого человека, как Магомет. Углубиться в самого себя среди молчаливых гор, сохранять молчание, чутко прислушиваться к «малейшим тихим голосам» – это в самом деле естественный обычай! Магомету шел сороковой год, когда он с наступлением рамазана удалился в пещеру на горе Харам, близ Мекки, чтобы провести этот месяц в молитве и размышлениях о великих вопросах. Там однажды он сказал своей жене Хадидже, которая со всем домохозяйством была на этот раз вместе с ним или неподалеку от него, что благодаря несказанной, особенной милости к нему неба он теперь все понял. Он не испытывает более сомнений, не блуждает в потемках, но все видит ясно.

Все эти идолы и обычаи, говорил он, не что иное, как жалкие

куски дерева. Во всем и над всеми существует единый Бог, и люди должны бросить всех своих идолов и обратить свой взор к Нему. Бог – велик и нет ничего величественнее Его! Он – сама действительность. Деревянные идолы не являются ею. Он действительно существует. Он нас создал изначала веков. Он поддерживает нас и теперь. Мы и все сущее – только тени Его. Преходящая оболочка прикрывает вечный блеск. «Аллах акбар» – «Бог велик»; а затем также «Ислам» – мы должны подчиняться Богу. Вся наша сила заключается в покорном подчинении Ему, во всем, что Он ниспослал бы нам как в этом, так и в другом мире! Все, что Он посылает нам, будь это смерть или что-либо еще хуже смерти, все мы должны принимать за добро, наилучшее. Мы предаем себя на волю Божию.

«Если это ислам, – говорит Гете, – не живем ли мы все в исламе?» Да, все те из нас, кто ведет хоть сколько-нибудь нравственную жизнь, все мы живем так. Всегда признавалось за величайшую мудрость, чтобы человек не только покорялся необходимости, – необходимость заставит его подчиниться, – но знал и верил, что предписания необходимости – самые мудрые, лучшие. Они именно то, чего недоставало ему. Необходимо оставить безумную претензию исчерпать этот великий Божий мир ничтожной крупицей своего мозга и признать, что он, этот мир, имеет действительно, хотя и на глубине, далеко не досягаемой лотом, опускаемым человеком, справедливый закон. Душу мира составляет добро, роль человека – приводить в соответствие свои поступки с законом целого и следовать ему в благоговейном молчании, не оспаривая, а повинуясь как бесспорному.

Такова, говорю я, до сих пор единственная, известная людям, достоверная мораль. Человек поступает правильно, он непреоборим, добродетелен, он находится на пути к верной победе, когда связывает самого себя с великим, глубоко сокрытым мировым законом, невзирая на всяческие внешние законы, временные видимости, разные выкладки барышей и потерь. Он побеждает, когда работает рука об руку с великим основным законом, и не побеждает ни в каком другом случае. Первым условием для такой совместной работы, первым условием, чтобы попасть в течение великого закона, является, конечно, утверждение от всей полноты души, что закон этот существует, что он – благо, единственное благо! Таков дух ислама; таков, собственно, и дух христианства, ибо ислам можно определить как затемненную форму христианства: если бы не было христианства, не было бы и его.

Христианство также предписывает нам прежде всего полную покорность Богу. Мы отнюдь не должны прислушиваться к голосу

плоти и крови, принимать во внимание пустые измышления, скорби и желания. Мы должны знать, что ничего не знаем. Самое скверное и самое жестокое вовсе не то, что кажется таким для наших глаз. Ко всему, выпадающему на нашу долю, мы должны относиться как к ниспосылаемому нам свыше Богом и говорить: все это добро, все это благо, Бог велик! «Даже если Он убьет меня, я все-таки буду верить в Него». Ислам на свой лад проповедует отрицание своего «я», уничтожение своего «я». А это до сих пор остается высочайшею мудростью, какую только небо открыло нашей земле.

Таков был свет, возможный при данных условиях, свет, снизошедший, чтобы осветить мрак души этого дикого араба. Поразительный, ослепляющий блеск, как бы исходящий от жизни и неба среди великого мрака, угрожавшего все превратить в смерть. Он называл его откровением и ангелом Джебраилом; но кто же из нас может сказать, как действительно следует назвать его? «Дыхание Всемогущего» – вот что «дает нам разумение». Знать, проникать в истину чего-либо – это всегда таинственный акт, о котором самые лучшие логики могут только лепетать, скользя по поверхности. «Не представляет ли вера, – говорит Новалис, – истинного Бога, возвещающего чудо?» То, что переполненная душа Магомета, воспламененная великой истиной, открытой ей, чувствовала всю важность, исключительную важность ее, весьма естественно. Провидение оказало ему несказанную милость, открыв великую истину, спасло его таким образом от смерти и мрака, и он был обязан, следовательно, возвестить ее всем людям. Вот что следует понимать под словами «Магомет – пророк Бога» и что также не лишено своего действительного значения.

Добрая Хадиджа, как мы легко можем представить себе, слушала его с удивлением и сомнением. Наконец она сказала: да, это все верно, что он говорит. Всякий легко поймет, какую безграничную благодарность к ней почувствовал в сердце своем Магомет. Она сделала много добра ему, но величайшим добром для него было именно то, что она уверовала в горячее слово, высказанное им после упорной борьбы. «Несомненно, – говорит Новалис, – мое убеждение становится бесконечно сильнее с того момента, когда другой человек признает его». Это была беспредельная милость. Он никогда не забывал доброй Хадиджи.

Много времени спустя Айша, его молодая любимая жена, женщина, действительно выделявшаяся среди мусульман своими достоинствами всякого рода и сохранявшая эти достоинства в течение всей своей долгой жизни, эта молодая, блестящая Айша однажды спросила его: «Ну, а теперь кто лучше: я или Хадиджа?

Она была вдова, старая, утратившая уже все свои прелести; ты любишь меня больше, чем любил ее?» – «Нет, клянусь Аллахом! – отвечал Магомет. – Нет, клянусь Аллахом! Она уверовала в меня, когда никто другой не хотел верить. Она была единственным другом, который у меня был в этом мире!» Сеид, его раб, также уверовал в него. Эти двое вместе с его юным двоюродным братом Али, сыном Абу-Талеба, составляли первых его прозелитов[53].

Он проповедовал свое учение то одному, то другому человеку. Но большинство относилось к нему с насмешкой, равнодушно. В течение первых трех лет, я думаю, он приобрел не больше тридцати последователей. Таким образом, он продвигался медленно вперед. Идти же вперед его побуждало то же, что в подобных обстоятельствах обычно побуждает таких людей. После трех лет незначительного успеха он собрал сорок человек из своих ближайших родственников и здесь объявил им, в чем заключалось его намерение. Он сказал, что должен распространить свое учение среди всех людей. Это – величайшее дело, единственное дело, и спросил, кто из них согласен последовать за ним? Среди наступившего затем всеобщего молчания и сомнения молодой Али, тогда еще шестнадцатилетний юноша, не будучи в состоянии сдерживать себя, вскочил и страстно, неистово закричал, что он согласен! Собрание, в котором находился Абу-Талеб, отец Али, не могло питать неприязненных чувств к Магомету; однако всем им казалось смешным это зрелище, когда пожилой невежественный человек с шестнадцатилетним юношей решались на предприятие, касающееся всего человечества, и они разошлись, смеясь. Тем не менее предприятие оказалось вовсе не смешным; это было весьма серьезное дело!

Что же касается молодого Али, то его все любили. Это был юноша с благородными задатками, которые он проявил в описанном эпизоде и продолжал проявлять в дальнейшей жизни. Юноша, полный страсти и пылкой отваги. Что-то рыцарское было в нем. Храбрый, как лев, он отличался также состраданием, правдивостью, привязанностью, достойными христианского рыцаря. Его умертвили в багдадской мечети. Он принял смерть из-за своего открытого благородства и доверия к благородству других. Раненный, он говорил, что если его рана окажется не смертельной, то убийцу следует простить. Но если он умрет, то убийцу должны убить тотчас же, чтобы они оба в одно время могли предстать перед Богом и удостовериться, кто из них был прав в этой распре!

Магомет, само собою разумеется, своим учением задевал за живое всех курейшитов, хранителей Каабы, служителей идолов.

Один или двое из влиятельных людей присоединились к нему. Его учение распространялось медленно, но все-таки распространялось. Естественно, он задевал и оскорблял каждого. Кто этот, дерзающий быть умнее всех нас, поносить всех нас, как безумных поклонников дерева? Абу-Талеб, его добрый дядя, уговаривал его, не может ли он хранить молчание, верить про себя, не беспокоить других, не возбуждать гнева старейших людей, не подвергать опасности себя и всех их, громогласно проповедуя свое учение?

Магомет отвечал: «Если бы солнце встало по правую его руку, а луна по левую и повелели ему молчать», то и тогда он не мог бы повиноваться! Нет, в той истине, которую он обрел, было нечто от самой природы, равное по своему значению и солнцу, и луне, и всему другому, что создала природа. Она сама собой будет возвещаться до тех пор, пока дозволит Всемогущий, несмотря на солнце, луну, несмотря на всех курейшитов, на всех людей, несмотря на все. Так должно быть, и иначе не может быть. Так отвечал Магомет и, говорят, «залился слезами». Он чувствовал, что Абу-Талеб относился тепло к нему, задача, за которую он взялся, была не из легких, это была суровая, великая задача.

Он продолжал проповедовать тем, кто хотел слушать его. Продолжал распространять свое учение среди пилигримов, приходивших в Мекку, приобретать то там, то здесь последователей. Беспрестанные споры, ненависть, явная и скрытая опасность сопровождали его повсюду. Сам Магомет находил защиту у своих могущественных родственников. Но все его последователи, по мере успехов пропаганды, должны были один за другим покинуть Мекку и искать себе убежища за морем, в Абиссинии. Курейшитами овладевал все больший гнев. Они составляли заговоры, давали друг другу клятвенные обещания умертвить Магомета своими собственными руками.

Абу-Талеб умер. Добрая Хадиджа также умерла. Магомету не нужно, конечно, наше сочувствие, но его положение в то время было поистине одно из самых ужасных. Он принужден был скрываться в пещерах, переодеваться, чтобы избегать опасностей, скитаться из одного места в другое. Бездомный, он постоянно опасался за свою жизнь. Не раз все, казалось, погибло для него, не раз все дело висело на волоске, и от того, испугается ли лошадь всадника и т. п., зависело, останется ли Магомет и его учение или же все кончится тотчас и о нем уже никогда более не будет слышно. Но не так должно было все кончиться.

На тринадцатом году своей пропаганды Магомет убедился, что все его недруги соединились против него. Сорок человек, по одному от каждого колена, связанные клятвой, только выжидали

случая, чтобы лишить его жизни. Всякое дальнейшее его пребывание в Мекке было невозможно, и он бежал в город, называвшийся тогда Ятриб, где он имел нескольких последователей. В настоящее время город этот, в силу указанного события, называется Мединой, или «Мединатан-наби» – городом пророка. Он лежит в двухстах милях от Мекки по скалистой и пустынной дороге. Немалого труда стоило Магомету, находившемуся в крайне тяжелом настроении, что мы легко можем представить себе, добраться до этого города, где он встретил радушный прием.

Весь Восток ведет начало своего летосчисления от этого бегства – хиджры, – как называют его мусульмане. Первый год этой хиджры соответствует 622 году нашего летосчисления; Магомету было тогда уже 53 года. Он вступал уже в старческий возраст. Его друзья, один за другим, отпадали от него. Его одинокий путь усеян был опасностями. Внешние условия, одним словом, складывались для него совершенно безнадежно, и все погибло бы, если бы он не нашел опоры в собственном своем сердце. Так бывает со всеми людьми в подобных случаях.

До сих пор Магомет распространял свою религию единственно путем проповеди и убеждения. Но теперь он был вероломно изгнан из своей родной страны. Несправедливые люди не только не хотели внимать великой вести, возвещенной им именем неба, крику, исходившему из глубины его сердца, но даже не соглашались оставить его в живых, если он будет продолжать свое дело. Теперь дикий сын пустыни решился защищаться, как человек, как араб. Если курейшиты желали этого, то пусть будет так. Они не хотели внимать словам, имевшим бесконечную важность для них и для всех людей. Они решили попрать ногами его дело и хотели пустить в ход открытое насилие, меч и смертоубийство. Хорошо, пусть же меч в таком случае решает дело! Еще десять лет жизни было в распоряжении Магомета. Он провел их в беспрестанных сражениях, отдавшись всецело кипучей работе и борьбе. Какой получился результат, мы знаем.

Много говорилось о распространении Магометом своей религии с мечом в руке. Без всякого сомнения, распространение христианства шло более благородным путем, путем проповеди и убеждения, чем мы по справедливости можем гордиться. Но вместе с тем мы сделаем грубую ошибку, если признаем подобное соображение за аргумент в пользу истинности или ложности известной религии. Действительно, меч, но при каких обстоятельствах обнажаете вы свой меч! Всякое новое мнение, при своем возникновении, представляет собственно меньшинство одного. В голове одного только человека – вот где оно

зарождается. Лишь один человек во всем мире исповедует его. Таким образом, один человек выступает против всех людей. Если он возьмет меч и станет с мечом в руке проповедовать свою мысль, то это мало поможет ему. Вы должны сначала обрести себе меч!

Вообще всякое мнение стремится распространяться всеми путями, какими только может. Из того, что мы знаем о христианской религии, я не усматриваю, чтобы она всегда отвергала меч, даже и тогда, когда она уже обрела его. Обращение Карла Великого с саксами нельзя назвать мирной проповедью. Я не придаю особенного значения мечу; но, по моему мнению, всякому делу должно быть предоставлено отстаивать себя в этом мире мечом, словом, вообще всякими средствами, какими оно располагает или какие оно может заставить служить себе. Пусть оно распространяется путем проповеди, памфлетов, отстаивает себя, бросается в самую отчаянную борьбу и действует клювом, когтями, всем, чем только может. Не подлежит сомнению, что оно не одолеет того, не должно быть побежденным в общем ходе развития. То, что лучше его, оно не может смести прочь. Оно может подавить только то, что хуже. В этой великой дуэли сама природа является третейским судьею, и она не может быть несправедливой. То, что коренится глубже всего в природе, мы называем самым истинным, именно это, а не что-нибудь другое, в конце концов и окажется в выигрыше.

Магомет и его успех представляют, однако, весьма подходящий случай, чтобы остановиться и показать, каким справедливым третейским судьею бывает природа, какое величие, глубину и терпимость являет она собою. Вы бросаете зерно пшеницы в лоно матери-земли. Ваши зерна нечисты, вместе с ними попадаются мякина, обрезки соломы, сор с гумна, пыль и всякий мусор. Не важно, вы бросаете их в справедливую землю. Она выращивает пшеницу и молчаливо поглощает весь этот мусор, таит его в себе. Она ничего не говорит о мусоре. Вырастает золотистая пшеница. Добрая земля сохраняет молчание обо всем остальном. Она молча обращает и это все остальное на пользу и ни на что не жалуется! Так совершается все в природе!

Она правдива, не умеет лгать, и вместе с тем какое величие, какая справедливость, какая материнская доброта в этой правдивости. Она требует только одного, чтобы все жаждущее жить было искренне в своем сердце. Она будет покровительствовать всякому начинанию, если оно искренне, и нет, если оно неискренне. Во всем, чему она оказывала когда бы то ни было покровительство, вы чувствуете дыхание истины. Увы, не такова ли история всякой истины, даже самой величайшей,

какая только когда-либо появлялась в этом мире? Тело у всякой из них несовершенно. Она – свет в потемках. К нам она принуждена являться воплощенной в голую логическую формулу, в виде некоторой лишь научной теоремы о вселенной. Такая теорема не может быть полной. Она неизбежно, в один прекрасный день, окажется неполной, ошибочной и, как таковая, должна будет погибнуть и исчезнуть. Тело всякой истины умирает, и, однако, в каждой истине, считаю я, существует душа, которая никогда не умирает, а, воплощаясь в новые, постоянно совершенствующиеся формы, живет вечно, как и сам человек. Таковы пути природы!

Подлинная суть истины никогда не умирает. Перед трибуналом природы главное значение имеет именно то, чтобы она была подлинной, была голосом, исходящим из ее великой глубины. Для природы не играет решающей роли то, что мы называем чистым или нечистым. Дело не в том, много ли, мало ли мякины, а в том, есть ли пшеница. Чистый? Я мог бы сказать многим людям: да, вы чисты. Вы достаточно чисты, но вы – мякина, неискренняя гипотеза, ходячая фраза, пустая формула. Вы никогда не прислушивались к биению великого сердца вселенной. Вы, собственно, ни чисты, ни нечисты. Вы – ничто, природе нечего делать с вами.

Религия Магомета, как мы сказали, представляет некоторую форму христианства. Действительно, если обратить внимание на ту дикую восхищенную пылкость, с какою она принималась к сердцу, веровали в нее! То я должен буду сказать, что это более высокая форма, чем жалкие сирийские секты, с их пустыми препирательствами относительно Homoiousion и Homoousion[54], наполнявшими голову ничего не стоящей трескотней, а сердце – пустотой и холодом!

Истина в учении Магомета перепутывается с чудовищными заблуждениями и ложью. Но не ложь, а истина, заключающаяся в нем, заставила людей верить в него. Он получил успех благодаря своей истине. Побочная, так сказать, ветвь христианства, но жизненная, в учении этом вы чувствуете биение сердца; это – не мертвенная окрошка одной только бесплодной логики! Сквозь всю эту мусорную кучу арабских идолов, схоластической теологии, традиций, тонкостей, общих слов и гипотез, греческих и еврейских, с их пустой логической процедурой, напоминающей вытягивание проволоки, дикий сын пустыни, серьезный, как сама смерть и жизнь, своим величественным, сверкающим взглядом проникал непосредственно в самую суть дела.

Идолопоклонство – ничто. Эти ваши деревянные идолы – «вы смазываете их маслом и натираете воском, и мухи липнут к ним»,

они – дерево, говорю я вам! Они ничего не могут сделать для вас. Они богохульное, бессильное притязание. Они внушат вам ужас и омерзение, раз вы узнаете, что такое они в действительности. Бог – един. Один только Бог имеет силу. Он сотворил нас. Он может погубить нас, он может даровать нам жизнь: «Аллах акбар» – «Бог велик». Поймите, что его воля – наилучшая воля для вас. Как бы ни казалась она прискорбной для вашей плоти и крови, вы в конце концов признаете ее самой лучшей, мудрой. Вы принуждены будете так поступать, как в этой жизни, так и в будущей. Вы не можете сделать иначе!

И затем, если дикие идолопоклонники уверовали в такое учение и приняли его со всем пылом своего горячего сердца, чтобы осуществлять в той форме, в какой оно дошло до них, – то я утверждаю, что оно стоило того, чтобы в него уверовать. В той или другой форме, утверждаю я, это до сих пор единственное учение, достойное того, чтобы в него верили все люди. Благодаря ему человек действительно становится первосвященником этого храма вселенной. Между ним и предписаниями Творца мира устанавливается гармония. Он работает, следуя высшим указаниям, а не противодействуя им понапрасну. Я не знаю по настоящее время лучшего (после христианского) определения долга, чем это. Всякая правда обусловливается именно такой совместной работой с действительной мировой тенденцией. Вы преуспеете благодаря такой работе (мировая тенденция преуспеть), вы хороши, вы на правильной дороге.

Homoiousion, Homoousion – пустое логическое препирательство. Тогда и раньше, и во всякое время можно препираться с собою сколько угодно и идти куда и как угодно. Существует нечто, и это нечто всякое подобное препирательство стремится выразить, если только оно может выражать что-нибудь. Если оно не успевает в этом, то не выражает ровно ничего. Дело не в том, правильно или неправильно сформулированы отвлеченные понятия, логические предложения, а в том, чтобы живые, реальные сыны Адама принимали все это к своему сердцу. Ислам поглотил все препиравшиеся из-за подобных пустяков секты. Я думаю, он имел право поступить таким образом. Он был сама действительность, непосредственно вылившаяся еще раз из великого сердца природы. Идолопоклонство арабов, сирийские формулы, все, не представлявшее в равной мере действительности, должно было погибнуть в пламени. Все это послужило, в разных смыслах, горючим материалом для того, что было огнем.

Во время свирепых войн и борьбы, наступивших после бегства Магомета из Мекки, он диктовал с перерывами свою священную

книгу, так называемый Коран, или Чтение, «то, что предназначается для чтения». Этому произведению он и его ученики придавали громадное значение, вопрошая весь мир: разве оно не чудо? Мусульмане относятся к своему Корану с таким благоговением, какое немногие из христиан питают даже к Библии. Коран повсюду признается за образец, с которым должен сообразоваться всякий закон, всякое практическое дело. Это – книга, которой надлежит руководствоваться в размышлении и в жизни. Это – весть, возвещенная самим небом земле, чтобы она сообразовалась с нею и жила согласно ей. Книга, которая предназначается для того, чтобы ее читали. Мусульманские судьи решают дела по Корану. Всякий мусульманин обязан изучать его и искать в нем ответов на вопросы своей жизни. У них есть мечети, где Коран прочитывают ежедневно весь целиком; тридцать мулл попеременно принимают участие в этом чтении и прочитывают книгу от начала до конца в продолжение одного дня. Таким образом, голос этой книги в течение двенадцати столетий не перестает звучать ни на одну минуту в ушах и сердцах громадной массы людей. Говорят, что некоторые мусульманские ученые перечитывали ее по семьдесят тысяч раз!..

Всякий, кто интересуется «различиями в национальных вкусах», остановится на Коране как на весьма поучительном примере. Мы также можем читать его. Наш перевод, сделанный Сэлом, считается одним из самых точных. Но я должен сказать, никогда мне не приходилось читать такой утомительной книги. Скучная, беспорядочная путаница, непереваренная, необработанная. Бесконечные повторения, нескончаемые длинноты, запутанности; невыносимая бестолковщина, одним словом! Одно только побуждение долга может заставить европейца читать эту книгу. Мы читаем ее с таким же чувством, с каким перебираем в государственном архиве массу всякого неудобочитаемого хлама в надежде найти какие-нибудь данные, проливающие свет на замечательного человека. Правда, нам приходится считаться с особенным неудобством: арабы находят в нем больше порядка, чем мы.

Последователи Магомета получили не цельное произведение, а отдельные отрывки, как они были записаны при первом своем появлении, – многое, говорят они, на бараньих лопатках, брошенных без всякого разбора в ящик. Они опубликовали его, не позаботившись привести все это в хронологический или какой-либо иной порядок и стараясь лишь, по-видимому, да и то не всегда, поместить наиболее длинные главы в самом начале. Таким образом, настоящее начало следует искать в самом конце, так как ранее написанные отрывки были вместе с тем и наиболее

короткими. Если бы читать Коран в исторической последовательности, то, быть может, он не был бы так плох. Многое, говорят также они, написано в оригинале рифмой, – нечто вроде дикой певучей мелодии, что составляет весьма важное обстоятельство, и перевод, быть может, много теряет в этом отношении. Однако, приняв во внимание даже все эти оговорки, мы с трудом поймем, каким образом люди могли считать когда бы то ни было этот Коран книгой. Книгой, написанной на небе и слишком возвышенной для земли; хорошо написанной книгой, или даже книгой вообще, а не просто беспорядочной рапсодией, написанной, насколько дело касается именно этой стороны, невозможно скверно, так скверно, как едва ли была написана когда-либо другая книга! Это относительно национальных различий и особенностей вкуса.

Однако я бы сказал, вовсе уж не так трудно понять, каким образом арабы могли так сильно полюбить свою книгу. Когда вы выходите наконец из этого беспорядочного шума и гама Корана и оставляете его позади себя на некотором расстоянии, то истинный смысл книги начинает сам собою выясняться, и при этом раскрываются совершенно иные, не внешне литературные ее достоинства. Если книга исходит из самого сердца человека, она найдет себе доступ к сердцам других людей. Искусство и мастерство автора, как бы велики они ни были, в таком случае значат мало. Всякий согласится с характерной особенностью Корана – неподдельностью. Он представляет собственно книгу bona fide[55].

Придо[56] и другие, я знаю, видели в нем только собранное в один узел фиглярство. Глава за главой, говорят они, были написаны лишь для того, чтобы оправдать и обелить автора в длинном ряде прегрешений, поддержать его честолюбивые помыслы, прикрыть шарлатанство. Но поистине настало уже время бросить подобные рассуждения. Я не настаиваю на постоянной искренности Магомета: кто постоянно искренен? Но признаюсь, мне нечего делать с критиком, который в настоящее время стал бы обвинять его в предумышленном обмане, сознательном обмане, или даже в каком бы то ни было обмане вообще. Затем обвинять еще в том, что он жил исключительно в атмосфере сознательного обмана и написал этот Коран как выдумщик и фигляр!

Всякий искренний глаз, я думаю, будет читать Коран с совершенно иным чувством. В нем вылилось беспорядочное брожение великой, но грубой еще души человека, невежественного, непросвещенного, не умеющего даже читать, но вместе с тем пламенного, серьезного, страстно стремящегося

высказать свои мысли. С какою-то захватывающею дух напряженностью он пытается высказаться. Мысли теснятся в его голове беспорядочною толпою. Желая высказать многое, он ничего не успевает сказать. Возникающие в его уме мысли не находят подходящих форм и выступают без всякой последовательности, порядка и связи. Мысли Магомета вовсе не отливаются в формы. Они вырываются неоформленные, в том виде, как борются и падают, в своем хаотическом, бессвязном состоянии.

Мы сказали «бестолковая». Однако природная бестолковость вовсе не составляет характерной особенности книги Магомета, это скорее природная некультивированность. Человек не научился говорить. Вечно спеша и под давлением неустанной борьбы он не имеет времени вынашивать в себе свои мысли и находить им соответствующие формы. Порывистая, задыхающаяся поспешность и запальчивость человека, сражающегося за жизнь и спасение в самом пылу битвы, – вот настроение, в котором он находится! Поспешность до самозабвения. Кроме того, сама необъятность мысли является помехой, и он не может отчеканить и выразить свою мысль. Ряд попыток ума, испытывающего подобное состояние, высказаться, попыток, окрашенных разными превратностями двадцатитрехлетней борьбы, то удачных, то неудачных, – вот что такое Коран!

Действительно, мы должны считать Магомета в эти двадцать три года центральной фигурой огромного мира, взволнованного всеобщей борьбой. Битвы с курейшитами и язычниками, распри среди приверженцев, измены собственного дикого сердца – все это точно кружило его в каком-то вечном водовороте. Его душа не знала ни минуты покоя. В бессонные ночи, как легко мы можем представить себе, дикая душа этого человека, потрясенная подобными вихрями, приветствовала всякий просвет к выходу из окружавших его затруднительных обстоятельств, как истинный свет, ниспосланный небом. Всякое решение, столь благословенное, необходимое для него в данный момент, представлялось ему внушением Джебраила.

Обманщик и фигляр? Нет, нет! Это великое огненное сердце, клокочущее и шипящее, подобно громадному горнилу мыслей, не было сердцем фигляра. Его жизнь была фактом для него. Божия вселенная – грозным фактом и действительностью. Он заблуждался. Но ведь это был человек некультурный, полуварвар, сын природы. Это был все еще, собственно, бедуин, таким и мы должны считать его. Но мы не станем и не можем видеть в нем жалкий призрак голодного обманщика, человека без глаз и сердца, решающегося на поносящее Бога мошенничество,

подделку небесных документов, беспрестанно изменяющего своему Творцу и самому себе ради тарелки супа.

Искренность во всех отношениях, по моему мнению, составляет действительное достоинство Корана. Она-то и сделала его драгоценным в глазах диких арабов. Искренность, в конце концов, составляет первое и последнее достоинство всякой книги. Она порождает достоинства всякого иного рода. Только она одна и может породить достоинство какого бы то ни было рода. Любопытно, как среди всей этой бесформенной массы традиций, гнева, жалоб, душевных порывов в Коране проходит пульсирующая струя истинного непосредственного прозрения, которое мы можем признать почти за поэзию.

Содержание этой книги составляют голые пересказы традиций и, так сказать, импровизированная, пылкая, восторженная проповедь. Магомет постоянно возвращается к древним рассказам о пророках, насколько они сохранились в памяти арабов. Как пророк за пророком, пророк Авраам, Гад[57], Моисей, христианские и другие пророки появлялись среди то одного, то другого племени и предостерегали людей от грехов. Их встречали точно так же, как его, Магомета, что служило ему великой утехой. Все это он повторяет десять, быть может, двадцать раз, снова и снова, постоянно и надоедливо пересказывая, таким образом, одно и то же. Кажется, что повторениям этим никогда не будет конца. Мужественный Сэмюэл Джонсон, сидя на своем заброшенном чердаке, мог таким же образом выучить наизусть биографии разных писателей! Вот в чем заключается главное содержание Корана.

Но любопытно – всю эту груду время от времени как бы пронизывают лучи света, исходящие от настоящего мыслителя и ясновидца. Он, этот Магомет, имеет верный глаз, способный действительно видеть мир. С уверенной прямотою и грубой силой он умеет затронуть и наше сердце тем, что открылось его собственному сердцу. Я мало придаю значения этим восхвалениям Аллаха, восхвалениям, которые многие так ценят. Магомет позаимствовал их, я думаю, главным образом у евреев; по крайней мере они значительно уступают восхвалениям этих последних. Но глаз, который проникает прямо в сердце вещей и видит истинную сущность, – это представляет для меня в высокой степени интересный факт; дар, получаемый непосредственно из рук великой природы. Она награждает им всякого, но только один из тысячи не отворачивается от него прискорбным образом. Это – искренность зрения, как я выражаюсь, пробный камень искреннего сердца.

Магомет не мог творить никаких чудес. Он часто нетерпеливо

отвечал: я не могу сотворить никакого чуда. Я? «Я – народный проповедник», которому указано проповедовать это учение всем.

Однако мир, как мы сказали, с давних уже пор представлялся ему как великое чудо. Охватите одним взглядом мир, говорит он, не чудо ли он, это творение Аллаха. Поистине «знамение для вас», если только вы взглянете открытыми глазами! Эта земля, Бог ее создал для вас. «Он указал вам пути». Вы можете жить на ней, ходить в ту и другую сторону. Облака в знойной Аравии – для Магомета они были также настоящим чудом. Великие облака, говорит он, порожденные в глубоких недрах высшей необъятности, откуда приходят они? Они висят там, громадные, черные чудовища. Изливают свои дождевые потоки, «чтобы оживить мертвую землю». И трава зеленеет, и «высокие лиственные пальмы свешивают во все стороны пучки своих фиников – разве это не знамение?» Ваш скот – его тоже создал Аллах. Безгласные, работящие твари, они превращают траву в молоко; снабжают вас одеждой; поистине удивительные создания; с наступлением вечера они возвращаются рядами домой «и, – прибавляет он, – делают вам честь!».

Вот корабли, он говорит часто о кораблях, громадные движущиеся горы, они распускают свои полотняные крылья и рассекают, покачиваясь, воды, а ветер небесный гонит их все вперед и вперед. Вдруг они останавливаются и лежат недвижимы: Бог отозвал ветер; они лежат как мертвые и не могут двинуться! «Вам нужны чудеса?» – вскрикивает он. – Какое же чудо хотели бы вы видеть? Взгляните на себя, разве вы сами не представляете чуда? Бог создал вас, «сотворил из небольшого комочка глины». Несколько лет тому назад вы были ребенком, но пройдет еще несколько лет, и вас не будет вовсе. Вы красивы, сильны, умны, «чувствуете сострадание друг к другу». Но наступает старость, ваши волосы седеют, сила слабеет, вы разрушаетесь, и вот вас снова нет.

«Вы чувствуете сострадание друг к другу» – эта мысль сильно поражает меня. Аллах мог создать нас и так, что мы не питали бы сострадания друг к другу; что было бы тогда! Это – великая открытая мысль, непосредственное проникновение в самую суть вещей. В этом человеке явно обнаруживаются резко обозначенные черты поэтического гения, всего, что есть самого лучшего и самого истинного. Сильный необразованный ум; прозревающий, сердечный, сильный, дикий человек, – он мог бы быть и поэтом, и царем, и пастырем, и всякого другого рода героем.

Мир в его целом всегда представлялся его глазам чудом. Он видел то, что, как мы сказали выше, все великие мыслители, в том числе и грубые скандинавы. А именно – этот, столь

величественный на вид материальный мир, в сущности, на самом деле – ничто. Видимое и осязаемое проявление божественной силы, ее присутствия – тень, отбрасываемая Богом вовне, на грудь пустой бесконечности, и больше ничего.

Горы, говорит он, эти громадные скалистые горы, они рассеются «подобно облакам». Они расплывутся, как облака в голубом небе, они перестанут существовать! Землю, говорит Сэл, он представлял себе, как все арабы, в виде необъятной равнины или гладкой плоскости, на которой приподняты горы для того, чтобы придать ей устойчивость. Когда настанет последний день, они рассеются «подобно облакам». Земля станет кружиться, увлекаемая собственным вихрем, устремится к погибели и, как прах или пар, исчезнет в пустоте. Аллах отдернет свою руку, и она перестанет существовать. Мировое могущество Аллаха, присутствие несказанной силы, невыразимого сияния и ужаса, составляющих истинную мощь, сущность и действительность всякой вещи, какова бы она ни была, – вот что всегда, ясно и повсюду видел этот человек.

Это – то же, что понимает и современный человек под именем сил или законов природы. Но то, чего он не представляет уже себе в виде божественного или даже вообще единого факта, а лишь в виде ряда фактов, достаточно заурядных, имеющих хороший сбыт на рынке, любопытных, пригодных на то, чтобы приводить в движение пароход! В своих лабораториях, за своими знаниями и энциклопедиями мы готовы позабыть божественное. Но мы не должны забывать его! Раз оно будет действительно позабыто, я не знаю, о чем же останется нам помнить тогда. Большая часть знаний, мне кажется, превратилась бы тогда в сущую мертвечину, представляла бы сушь и пустоту, занятую мелочными препирательствами, чертополох в позднюю осень. Самое совершенное знание без этого есть лишь срубленный строевой лес. Это уже не живое растущее в лесу дерево, не целый лес деревьев, который доставляет, в числе других продуктов, все новый и новый строительный материал! Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме. Иначе его знание – пустое педантство, сухой чертополох.

Много говорилось и писалось по поводу чувственности религии Магомета – больше, чем можно было бы сказать по справедливости. Он допустил преступные, на наш взгляд, послабления, но не он их придумал. Они существовали до него, и ими пользовались, не подвергая их ни малейшему сомнению, с незапамятных уже времен в Аравии. Он, напротив, урезал, ограничил их, и не с одной только стороны, а с многих.

Его религия – вовсе не из легких: суровые посты, омовения,

строгие многосложные обряды, моления по пяти раз в день, воздержание от вина – все это не вяжется с тем, что она «имела успех потому, что была легкой религией». Как будто действительное распространение религии может зависеть от этого! Как будто действительная причина, побуждающая человека придерживаться известной религии, может состоять в этом! Тот клевещет на людей, кто говорит, что их подвигает на героические поступки легкость, ожидание получить удовольствие или вознаграждение, своего рода засахаренную сливу, в этом или загробном мире!

В самом последнем смертном найдется кое-что благороднее таких побуждений. Бедный солдат, нанятый на убой и присягнувший установленным порядкам, имеет свою «солдатскую честь», отличную от правил строевой службы и шиллинга в день. Не отведать какой-либо сладости, а совершить благородное и высокое дело, оправдать себя перед небом как человека, созданного по подобию Божьему, – вот чего действительно желает самый последний из сынов Адама. Покажите ему путь к этому, и сердце самого забитого раба загорится героическим огнем. Тот сильно оскорбляет человека, кто говорит, что его привлекает легкость. Трудность, самоотвержение, мученичество, смерть – вот приманки, действующие на человеческое сердце. Пробудите в нем внутреннюю, действенную жизнь, и вы получите пламя, которое пожрет всякие соображения более низменного характера. Нет, не счастье, а нечто более высокое манит к себе человека, что вы можете наблюдать даже на людях, принадлежащих к суетной толпе: и у них есть своя честь и тому подобное. Религия может приобретать себе последователей, не потворствуя нашим аппетитам, а лишь возбуждая тот героизм, который дремлет в сердце каждого из нас.

Лично Магомет, несмотря на все то, что о нем говорилось, не был человеком чувственным. Мы сделаем большую ошибку, если станем рассматривать этого человека как обыкновенного сластолюбца, стремящегося к низким наслаждениям, даже вообще к наслаждениям какого бы то ни было рода. Его домашний обиход отличался крайней простотой. Ячменный хлеб и вода составляли его обычную пищу. Случалось, что по целым месяцам на его очаге вовсе не разводился огонь. Правоверные последователи его справедливо гордятся тем, что он сам мог починить свою обувь, положить заплату на плащ. Человек бедный, упорно трудящийся, нимало не заботящийся о том, на что обыкновенные люди полагают столько труда. Нет, это вовсе не низкий человек, сказал бы я. В нем было нечто поблагороднее, чем алчность какого бы то ни было рода, или иначе эти дикие

арабы, толпившиеся вокруг него и сражавшиеся под его предводительством в течение двадцати трех лет, находившиеся постоянно в тесном общении с ним, не могли бы так благоговеть перед ним! Люди дикие, они то и дело вступали в распри между собою и обнаруживали во всех делах свирепую искренность. Не мог человек, лишенный истинного достоинства и мужества, повелевать такими людьми.

Они называли его пророком, говорите вы? Так, а между тем он стоял лицом к лицу к ним, ничем не прикрываясь, не окружая себя таинственностью. На виду у всех он клал заплату на свой плащ, чинил свою обувь, сражался, давал советы, приказывал. Они, конечно, видели, что это был за человек, как бы вы его ни называли! Ни одному императору с тиарой на голове не подчинялись так слепо, как этому человеку в плаще, зачиненном его собственными руками. И это суровое испытание длилось в течение двадцати трех лет. Я полагаю, что нужно обладать в некоторой мере истинным героизмом, чтобы выдержать такое испытание; само собою, разумеется, что это так.

Последними словами Магомета была молитва, бессвязное излияние сердца, рвущегося с трепетной надеждой к своему Создателю. Мы не можем сказать, что его религия сделала его хуже. Она сделала его лучше. Она сделала его хорошим, а не низким.

Существуют рассказы о его благородном поведении. Когда его известили о смерти дочери, он сказал совершенно искренне, выражаясь лишь по-своему, буквально то же, что говорили в подобных случаях христиане: «Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне». Подобным же образом он ответил и на весть о смерти Сеида, его возлюбленного освобожденного раба, второго человека, уверовавшего в него. Сеид был убит в Табукской войне[58], первом сражении Магомета с греками. Магомет сказал, что это было хорошо: Сеид совершил дело своего Господина; Сеид отправился теперь к своему Господину; все хорошо было для Сеида. Однако дочь Сеида застала его рыдающим над трупом. Старец, убеленный сединами, заливался слезами. «Что вижу я?» – воскликнула она. – «Ты видишь человека, оплакивающего своего друга».

За два дня до смерти он вышел из дому в последний раз и, придя в мечеть, спросил всенародно, не обидел ли он кого-нибудь? Пусть в таком случае отстегают его по спине бичом. Не должен ли он кому-нибудь? Здесь послышался голос: «Да, мне три драхмы», взятые при таких-то обстоятельствах. Магомет приказал заплатить. «Лучше быть опозоренным теперь, – сказал он, – чем в день всеобщего суда». Вы помните Хадиджу и это «нет, клянусь

Аллахом!». Все эти эпизоды рисуют нам человека искреннего, нашего общего брата, которого мы понимаем по прошествии двенадцати столетий, – истинного сына нашей общей матери.

Кроме того, я люблю Магомета за то, что в нем не было ни малейшего ханжества. Он, неотесанный сын пустыни, полагался только на самого себя. Он не претендовал на то, чем не был на самом деле. В нем вы не замечаете ни малейшего следа тщеславной гордыни. Но вместе с тем он и не заходит слишком далеко в своей покорности, он всегда таков, какой есть на самом деле, в плаще и обуви, зачиненных собственными руками. Он высказывает откровенно всяким персидским царям, греческим императорам то, что они обязаны делать. Относительно же самого себя – он знает достаточно хорошо «цену самому себе».

Война не на жизнь, а на смерть с бедуинами не могла обойтись без жестокостей, но не было также недостатка и в актах милосердия, благородной неподдельной жалости, великодушии. Магомет не прибегал к апологии одних, не хвастался другими. И те и другие вытекали из свободного внушения его сердца; и те и другие вызывались смотря по обстоятельствам места и времени.

Это отнюдь не сладкоречивый человек! Он поступает с открытою жестокостью, когда обстоятельства требуют того. Он не смягчает красок, не замазывает глаз! Он часто возвращается к Табукской войне. Его приверженцы, по крайней мере многие из них, отказались следовать за ним. Они указывали на зной, паливший в ту пору, подоспевшую жатву и т. д. Он никогда не мог простить им этого. Ваша жатва? Она продолжается всего лишь один день. Что станется с вашею жатвою через целую вечность? Знойная пора? Да, был зной, «но в аду будет еще жарче!»

Иногда в словах его слышится грубый сарказм. Обращаясь к неверным, он говорит: в тот великий день ваши деяния будут вымерены, конечно, справедливой мерой. Они не будут взвешены в ущерб вам. Вы не будете иметь малого веса. Повсюду он устремляет свой взгляд на суть вещей, он видит ее. Временами пораженное сердце его как бы замирает в виду величия открывающейся перед ним картины. «Воистину», – говорит он. Это слово само по себе означает иногда в Коране целую мысль. «Воистину».

В Магомете нет и следа дилетантизма. Он занят делом ниспровержения и спасения, делом времени и вечности, и он исполняет его со смертельною серьезностью. Дилетантизм, предположительность, спекулирование и всякого рода любительское искательство истины, игра и кокетничанье с истиной – это самый тяжкий грех, мать всевозможных других

грехов. Он заключается в том, что сердце и душа человека никогда не бывают открыты для истины. Человек «живет в суетной внешности». Такой человек не только сочиняет и утверждает ложь, но сам по себе есть ложь. Разумное нравственное начало, божественная искра, уходит глубоко внутрь и повергается в состояние полного паралича, превращаясь в живую смерть. В самой последней лжи Магомета больше истины, чем в истине подобного человека. Это – неискренний человек. Это – гладко отшлифованный человек, уважаемый при известных условиях времени и места. Безобидный, он никому не говорит жестоких слов. Совершенно чистый, как углекислота, которая вместе с тем – яд и смерть.

Мы не станем восхвалять нравственных предписаний Магомета и выставлять их лишь как самые возвышенные. Однако можно сказать, что им всегда присуща хорошая тенденция, что они действительно представляют предписания сердца, стремящегося к справедливому и истинному. Вы не найдете здесь возвышенного христианского всепрощения, предписывающего подставлять правую щеку, когда вас ударят по левой. Вы должны отомстить за себя, но вы должны делать это в меру, без излишней жестокости, не переходя за пределы справедливости.

С другой стороны, ислам, как всякая великая религия, как всякое проникновение в сущность человеческой природы, ставит действительно на одну доску всех людей: душа одного верующего значит более, чем все земное величие царей. Все люди, по исламу, равны. Магомет настаивает не на благопристойности подавать милостыню, а на необходимости поступать так. Он устанавливает особым законом, сколько именно вы должны подавать из своего достатка, и вы действуете на свой страх, если пренебрегаете этой обязанностью. Десятая часть ежегодного дохода всякого человека, как бы ни был велик этот доход, составляет собственность бедных, немощных и вообще тех, кто нуждается в поддержке. Прекрасно все это: так говорит неподдельный голос человечности, жалости и равенства, исходящий из сердца дикого сына природы.

Рай Магомета исполнен чувственности, ад также – это правда. И в том и в другом немало такого, что неприятно действует на нашу религиозную нравственность. Но мы должны напомнить, что все эти представления о рае и аде существовали среди арабов до Магомета, последний только смягчил и ослабил их, насколько то было возможно.

Чувственность в ее самом худшем виде была также делом не его лично, а его учеников, последующих ученых. Действительно, в Коране говорится очень немного относительно радостей,

ожидающих человека в раю. Здесь скорее только намек на них, чем определенное указание. Коран не забывает, что величайшие радости и в раю также будут иметь духовный характер. Простое лицезрение Высочайшего – вот радость, которая будет бесконечно превосходить всякие другие.

Магомет говорит: «Вашим приветствием пусть будет мир!» Salam – «мир вам»! Все разумные души жаждут и ищут его как благословения, хотя поиски их оказываются тщетными здесь, на земле. «Вы будете сидеть на седалищах, с обращенными друг к другу лицами. Всякая злоба будет изгнана из ваших сердец». Всякая злоба!.. Вы будете любить друг друга свободно, без принуждения. Для каждого из вас, в глазах ваших братьев, достаточно будет места там, на небе!

Относительно вопроса о чувственном рае и о чувственности Магомета, представляющего самый затруднительный пункт для нас, следовало бы сказать многое, в обсуждение чего мы не можем, однако, войти в настоящее время. Я сделаю лишь два замечания и затем предоставлю все дело вашему собственному беспристрастию. Для первого я воспользуюсь Гете, одним его случайным намеком, который заслуживает серьезнейшего внимания.

В «Странствиях Мейстера» герой наталкивается на сообщество людей с крайне странными правилами жизни, состоявшими, между прочим, в следующем. «Мы требуем, – рассказывает учитель, – чтобы каждый из принадлежащих к нам ограничивал сам себя в каком-либо отношении». Шел бы решительно против своих желаний в известной мере и заставлял бы себя делать то, чего он не желает, – если не хочет. «Чтобы мы разрешили ему большую свободу во всех других отношениях»[59]. Мне кажется, что это правило в высшей степени справедливо. Наслаждаться тем, что приятно, – в этом нет ничего преступного. Скверно, если мы даем наслаждениям поработить наше моральное «я». Пусть человек покажет вместе с тем, что он господин над своими привычками, может и хочет быть выше их, всякий раз, как это потребуется. Это – превосходное правило. Месяц рамазан, как в религии Магомета, так и в его личной жизни, носит именно такой характер, если не по глубоко продуманной и ясно осознанной цели морального самоусовершенствования, то по известному здоровому, мужественному инстинкту, представляющему также не последнее дело.

Но относительно магометанского неба и ада следует сказать еще вот что. Как бы грубы и материалистичны ни казались эти представления, они служат эмблемой возвышенной истины,

которую не многие другие книги так хорошо напоминают людям, как Коран. Этот грубый чувственный рай, страшный пылающий ад, великий чудовищный день судилища, на котором он постоянно так настаивает. Что все это, как не грубое отражение в воображении грубого бедуина духовного факта громадной важности, изначального факта, именно: бесконечной природы долга?

Деяния человека здесь, на земле, имеют бесконечное значение для него, они никогда не умирают и не исчезают. Человек в своей короткой жизни то поднимается вверх до самых небес, то опускается вниз в самый ад и в своих шестидесяти годах жизни держит страшным и удивительным образом сокрытую вечность, – все это как бы огненными буквами выжжено в душе дикого араба. Все это начертано там как бы пламенем и молнией – страшное, невыразимое, вечно предстоящее перед ним. С бурной страстностью, дикой непреклонной искренностью, полуотчеканивая свои мысли, не будучи в состоянии отчеканить их вполне, он пытается высказать, воплотить их в этом небе, этом аде. Воплощенные в любой форме, они говорят нам о главнейшей из всех истин. Они заслуживают уважения под всевозможными оболочками. Что составляет главную цель человека здесь, на земле? Ответ Магомета на этот вопрос может пристыдить многих из нас! Он не берет, подобно Бентаму[60], справедливое и несправедливое, не высчитывает барышей и потерь, наибольшего удовольствия, доставляемого тем или другим, и, приведя все это путем сложения и вычитания к окончательному результату, не спрашивает вас: не перевешивает ли значительно в общем итоге справедливое?

Нет, дело вовсе не в том, что лучше делать одно, чем делать другое. Одно по отношению к другому все равно что жизнь по отношению к смерти, небо по отношению к аду. Одно никоим образом не следует делать, другое никоим образом не следует оставлять несделанным. Вы не должны измерять правды и неправды: они несоизмеримы. Одно – вечная жизнь для человека; другое – вечная смерть. Бентамовская польза, добродетель сообразно выгоде и потере[61] низводит этот Божий мир к мертвенной, бесчувственной паровой машине, необъятную небесную душу человека – своего рода к весам для взвешивания сена и чертополоха, удовольствий и страданий. Если вы спросите меня, кто из них, Магомет или указанные философы, проповедуют более жалкий и более лживый взгляд на человека и его назначение в этом мире, то я отвечу: во всяком случае, не Магомет!..

В заключение повторяем: религия Магомета представляет

собой своеобразную побочную ветвь христианства. Ей присущ элемент подлинного. Несмотря на все ее недостатки, в ней просвечивается наивысшая и глубочайшая истина. Скандинавский бог Уиш, бог всех первобытных людей, разросся у Магомета в целое небо. В небо, символизирующее собою священный долг и доступное лишь для тех, кто заслуживает его верою и добрыми делами, мужественною жизнью и божественным терпением, которое свидетельствует, в сущности, лишь о еще большем мужестве.

Эта религия – то же скандинавское язычество с прибавлением истинно небесного элемента. Не называйте ее ложной, не выискивайте в ней лжи, а останавливайте ваше внимание на том, что есть в ней истинного. В течение истекших двенадцати столетий она была религией и руководила жизнью пятой части всего человечества. Но что важнее всего, она была религией, действительно исповедуемой людьми в глубине сердца. Эти арабы верили в свою религию и стремились жить по ней. После первых веков мы не встречаем на протяжении всей истории, исключая разве английских пуритан в новейшие времена, таких христиан, которые стояли бы так же непоколебимо за свою веру, как мусульмане, так же всецело веровали бы. Вдохновляясь ею, бесстрашно становились бы лицом к лицу со временем и вечностью. И в эту ночь дозорный на улицах Каира на свой окрик: «Кто идет?» – услышит от прохожего слова: «Нет Бога, кроме Бога [Аллаха]».

«Аллах акбар», «Ислам» – слова эти находят отзвук в душах миллионов этих смуглых людей, в каждую минуту их повседневного существования. Ревностные миссионеры проповедуют их среди малайцев, черных папуасов, звериных идолопоклонников. Заменяя, таким образом, худшее, можно сказать, полную пустоту, лучшим, хорошим.

Для арабского народа эта религия была как бы возрождением от тьмы к свету. Благодаря ей Аравия впервые начала жить. Бедный пастушеский народ, никому не ведомый, скитался в своей пустыне с самого сотворения мира. Герой-пророк был ниспослан к нему со словом, в которое он мог уверовать. Смотрите, неведомое приобретает мировую известность. Малое становится всесветно великим. Менее чем через столетие Аравия достигает уже Гранады с одной стороны и Дели – с другой. Сияя доблестью, блеском и светом гения, Аравия светит в течение долгих веков на громадном пространстве земного шара.

Вера – великое дело, она дает жизнь. История всякого народа становится богатой событиями, великой, она приподымает душу, как только народ уверует. Эти арабы, этот Магомет-человек, это

одно столетие – не является ли все это как бы искрой, одной искрой, упавшей на черный, не заслуживавший, как казалось, до тех пор никакого внимания песок. Но смотрите, песок оказывается взрывчатым веществом, порохом, и он воспламеняется, и пламя вздымается к небу от Дели до Гранады! Я сказал: великий человек является всегда, точно молния с неба; остальные люди ожидают его, подобно горючему веществу, и затем также воспламеняются.

Беседа третья Герой как поэт. Данте. Шекспир

Герои-боги, герои-пророки – суть продукты древних веков. Эти формы героизма не могут более иметь места в последующие времена. Они существуют при известной примитивности человеческого понимания, но прогресс чистого научного знания делает их невозможными. Необходим мир, так сказать, свободный или почти свободный от всяких научных форм, для того чтобы люди в своем восхищенном удивлении могли представить подобного себе человека в виде бога или в виде человека, устами которого говорит сам Бог. Бог и пророк – это достояние прошлого. Теперь герои являются перед нами в менее притязательной, но вместе с тем и менее спорной, непреходящей форме: в виде поэта. Поэт как героическая фигура принадлежит всем векам; все века владеют им, раз он появится. Новейшее время может породить своего героя, подобно древнейшему, и порождает всякий раз, когда то угодно природе. Пусть только природа пошлет героическую душу, и она может воплотиться в образе поэта ныне, как и во всякое другое время.

«Герой», «пророк», «поэт» и многие другие названия даем мы в разные времена и при разных обстоятельствах великим людям, смотря по отличительным особенностям, подмечаемым нами у них, смотря по сфере, в которой они проявляют себя! Руководствуясь одним этим обстоятельством, мы могли бы дать им еще гораздо больше разных названий. Но я снова повторяю, поскольку это факт, заслуживающий внимания, подобное разнообразие порождается разнообразием сфер, герой может быть поэтом, пророком, королем, пастырем или чем вам угодно, в зависимости от того, в каких условиях он рождается.

Скажу прямо, я не могу вовсе представить себе, чтобы истинно великий человек в одном отношении не мог быть таким же великим и во всяком другом. Поэт, который может только сидеть в кресле и слагать стансы, никогда не создаст ни одной ценной строфы. Поэт не может воспевать героя-воина, если он сам по меньшей мере также не воин-герой. Мне представляется, что поэт в то же время и политик, и мыслитель, и законодатель, и философ. Он в той или иной степени может быть всем этим, он в действительности есть все это! Точно так же я не допускаю, чтобы Мирабо, это пылкое великое сердце, таившее в себе огонь и неукротимые рыдания, – не мог писать стихов, трагедий, поэм и трогать своими произведениями сердца людей, если бы

обстоятельства жизни и воспитание привели его к тому.

Главная, основная особенность всякого великого человека в том, что он велик. Наполеон знал слова, которые можно приравнять к Аустерлицким битвам. Маршалы Людовика XIV были до известной степени также и поэтами. Речи Тюренна[62] полны мудрости и жизненной силы, подобно изречениям Сэмюэла Джонсона[63]. Великое сердце, ясный, глубоко проникающий глаз, – все в этом. Без них человек, работая в какой угодно сфере, не может достигнуть ни малейшего успеха. Говорят, что Петрарка и Боккаччо исполняли вполне успешно возлагаемые на них дипломатические поручения. Всякий легко может поверить этому: они ведь совершали дела, и немного потяжелее дипломатических!.. Бернс, богато одаренный певец, мог бы явить нам собою даже лучшего Мирабо. Шекспир – никто не скажет, чего бы он не мог сделать, и сделать притом самым наилучшим образом.

Конечно, существуют также и природные наклонности. Природа не создает всех великих людей, как вообще всех людей, по одному и тому же шаблону. Разнообразие наклонностей – несомненно. Но больше бесконечно еще разнообразие обстоятельств, и гораздо чаще нам приходится иметь дело именно с этим последним разнообразием. Здесь повторяется то же, что и с обыкновенным человеком при обучении его ремеслу. Вы берете человека, у которого способности не обнаружились еще резким и определенным образом и который может обучаться с одинаковым успехом тому или другому ремеслу, и делаете из него кузнеца, столяра, каменщика. С этих пор он становится уже тем или другим, но никем более.

И если вы, как замечает с чувством сожаления Аддисон[64], поставите рядом уличного носильщика, пошатывающегося на тонких ногах под тяжестью своей ноши, с портным, по своему телосложению напоминающим Самсона, знающим лишь кусок сукна и маленькую уайтчепельскую[65] иглу, то вам не придется долго размышлять о том, действовали ли в данном случае одни только природные наклонности! С великим человеком происходит то же. Вопрос в том, в какого рода науку будет отдан он? Герой дан, должен ли он стать завоевателем, королем, философом, поэтом? Это явится результатом невыразимо сложных и спорных расчетов между миром и героем. Он станет читать мир и его законы. Мир со своими законами будет перед ним, чтобы быть прочитанным. То, чему мир в этом деле даст совершиться, что он признает, составляет, как мы сказали, самый важный по отношению к миру факт.

Поэт и пророк, при нашем современном опошленном

понимании их, представляются весьма различными. Но в некоторых древних языках эти два титула составляют синонимы: vates[66] означает и пророка, и поэта. И действительно, во все времена пророк и поэт, надлежащим образом понимаемые, имеют много родственного по своему значению. В основе они действительно и до сих пор одно и то же. Оба проникают в священную тайну природы, то, что Гете называет «открыто лежащим на виду у всех секретом», а это и есть самое главное.

В чем же, спросят, состоит этот великий секрет? Это – «лежащий на виду у всех секрет» – открыто лежащий для всех, но почти никем не видимый, – божественная тайна, которою проникнуто все, все существа, «божественная идея мира, лежащая в основе всей видимости», как выражается Фихте[67]. Идея, для которой всякого рода внешние проявления, начиная от звездного неба и до полевой былинки, и в особенности человек и его работа, составляют только обличье, воплощение, делающее ее видимой. Эта божественная тайна существует во все времена и во всяком месте. Конечно, существует! Но чаще всего ее грубым образом не замечают. Мир, определяемый всегда в тех или иных выражениях, как реализованная мысль Господа, принимается за какую-то банальную, плоскую, инертную материю. Все равно как если бы, говорит сатирик, он был мертвою вещью, которую обладил какой-то меблировщик!

В настоящее время, быть может, неуместно было бы говорить слишком много по этому поводу. Но достоин жалости тот, кто не понимает этого, не живет постоянно мыслью об этом. Достоин, повторяю, самой прискорбной жалости. Если мы живем иначе, так это – прямое свидетельство полного отсутствия в нас всякой жизни вообще!

Пусть другие забывают эту божественную тайну, но vates, говорю я, в виде ли пророка или поэта, проникает в нее. Он является человеком, ниспосылаемым на землю, чтобы сделать истину более понятной для нас. Такова всегда его миссия. Он должен открыть нам ее, эту священную тайну, присутствие которой он ощущает сильнее, чем всякий другой. В то время как другие не думают о ней, он знает ее. Я мог бы сказать: он вынужден знать. Для этого не требуется никакого согласия с его стороны: он находит, что живет ею, принужден жить.

Еще раз нам приходится иметь дело не с какими-нибудь ходячими фразами, а с непосредственным прозрением и верованием. Подобный человек также не может заставить себя быть неискренним! Всякий другой может жить среди призраков, но для него по самой силе вещей необходимо жить в самой действительности. Еще раз мы имеем дело с человеком, серьезно

относящимся к миру, тогда как все другие лишь забавляются им. Он – vates прежде всего в силу того, что он – искренний человек. В этом отношении поэт и пророк, которым одинаково доступна «открыто лежащая тайна», представляют собою одно и то же.

Что же касается их различия, то мы можем сказать: vates-пророк схватывает священную тайну, скорее, с ее моральной стороны, как добро и зло, долг и запрет. Vates-поэт – с эстетической стороны, выражаясь языком немцев, как красоту и т. п.

Один раскрывает нам то, что мы должны делать, другой то, что мы должны любить. Но в действительности эти две сферы входят одна в другую и не могут быть разъединены. Пророк также устремляет свой взор на то, что мы должны любить, иначе как бы он мог знать то, что мы должны делать?

Возвышеннейший голос, какой только люди когда-либо слышали на этой земле, сказал: «Посмотрите на полевые лилии… они не трудятся и не прядут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»[68]. Это – луч, брошенный в самую глубину глубин красоты. «Полевые лилии» одеты прекраснее, чем земные повелители: они произрастают там, в неведомой полевой борозде – прекрасный глаз, глядящий на вас из глубины необъятного моря красоты! Разве могла бы грубая земля произвести их, если бы сущность ее при всей своей видимой внешней грубости не представляла внутренней красоты? С этой точки зрения, следующие слова Гете, поражающие многих, могут иметь также свое значение. «Прекрасное, – говорит он, – выше, чем доброе. Прекрасное заключает в себе доброе». Истинно прекрасное, которое, как я сказал в одном месте, «отличается от фальшивого, как небо от свода, возведенного руками человеческими». Сказанным я и ограничусь относительно различия и сходства между поэтом и пророком.

В древние времена, равно как и в новые, мы находим немногих поэтов, которых люди признавали бы за вполне совершенные образцы, отыскивать ошибки у которых считалось бы своего рода изменой, – обстоятельство, заслуживающее внимания. Это – хорошо. Однако, строго говоря, это – одна лишь иллюзия. В действительности для каждого достаточно ясно, не существует абсолютно совершенного поэта. Поэтическую жилку можно отыскать в сердце каждого человека, но нет ни одного человека, созданного исключительно из поэзии.

Мы все поэты, когда читаем хорошо какую-либо поэму. Разве «воображение, содрогающееся от Дантова ада», не представляет такой же способности, лишь в более слабой степени, как и воображение самого Данте? Никто не в состоянии из рассказа

Саксона Грамматика создать Гамлета, как это сделал Шекспир. Но каждый может составить себе по этому рассказу известное представление. Каждый, худо ли, хорошо ли, воплощает это представление в известном образе. Мы не станем терять времени на разные определения. Там, где нет никакого специфического различия, как между круглым и четырехугольным, всякие определения неизбежно будут носить более или менее произвольный характер. Человек с поэтическим дарованием, настолько развитым, чтобы стать заметным для других, будет считаться окружающими людьми поэтом. Таким же образом устанавливается критиками и известность мировых поэтов, которых мы должны считать совершенными поэтами. Всякий, поднимающийся столько-то выше общего уровня поэтов, будет казаться таким-то и таким-то критикам универсальным поэтом, как он и должен казаться. И однако это произвольное различение, и таким оно неизбежно должно быть. Все поэты, все люди причастны до известной степени началу универсальности, но нет ни одного человека, всецело сотканного из этого начала. Большинство поэтов погибает очень скоро в забвении, но и самый знаменитый из них, Шекспир или Гомер, не будет вечно памятен: настанет день, когда и он также перестанет жить в памяти людей!

Тем не менее, скажете вы, должно же быть различие между истинной поэзией и истинной непоэтической речью. В чем же состоит оно? По этому поводу было высказано много разных мыслей, в особенности позднейшими немецкими критиками, но из этого многого не все, однако, достаточно понятно с первого взгляда. Они говорят, например, что поэт носит в себе бесконечность, он сообщает Unendlichkeit, известный оттенок «бесконечности» всему, что пишет. Хотя эта мысль и недостаточно ясна, однако она заслуживает нашего внимания в вопросе вообще столь темном. Если мы вдумаемся хорошенько, то нам постепенно станет раскрываться некоторый смысл, заключающийся в ней. Я со своей стороны нахожу большой смысл в старинном вульгарном определении, что поэтическое произведение – это метрическое произведение, поэзия заключает в себе музыку, она есть пение.

В самом деле, всякий, пытающийся дать определение поэзии, может остановиться на указываемом нами с таким же правом, как и на всяком другом. Если произведение подлинно музыкально, музыкально не только по сочетанию слов, но и в самом сердце, сущности своей, во всех мыслях и выражениях, вообще по всей своей концепции, – в таком случае оно будет поэтическим произведением. Если нет, то оно не будет таковым. «Музыкально» – как много заключает в себе это слово!

Музыкальная мысль – мысль, высказанная умом, проникающим в самую суть вещей, вскрывающим самую затаенную тайну, именно – мелодию, которая лежит сокрытая, улавливающим внутреннюю гармонию единства, составляет душу всего сущего, то, чем всякая вещь живет и благодаря чему она имеет право существовать здесь, в этом мире. Все исходящее из глубины души мы можем считать мелодичным, и все это естественно выливается в пении. Пение имеет глубокий смысл. Кто сумеет выразить логическим образом действие, производимое на нас музыкой? Лишенная членораздельных звуков, из какой-то бездонной глубины исходящая речь, которая увлекает нас на край бесконечности и держит здесь несколько мгновений, чтобы мы заглянули в нее!

Мало того, всякой речи, даже самой шаблонной речи, свойствен до некоторой степени характер пения. Нет в мире такого прихода, жители которого не имели бы своего особенного приходского произношения – ритма или тона, которым они поют то, что хотят сказать! Выговор есть своего рода пение. Выговор всякого человека представляет известную особенность, хотя человек замечает обыкновенно только выговор других людей. Обратите внимание, всякая страстная речь становится сама собой музыкальной, превращается в утонченную музыку в сравнении с простой разговорной речью. Даже речь человека, находящегося в страшном гневе, становится пением, песнью. Все глубокое представляет, в сущности, пение. Оно, пение, составляет, по-видимому, самую сконцентрированную эссенцию нашего существа, а все остальное как бы одну лишь оберточную бумагу и шелуху! Оно – первоначальный элемент нашего существования и всего прочего.

Греки сочинили фантазию о гармонии сфер. Фантазия эта выражает чувство, которое испытывали они, заглядывая во внутреннее строение природы. Она показывает, что душу всех их голосов, способов выражения, составляла музыка. Итак, под поэзией мы будем понимать музыкальную мысль. Поэт тот, кто думает музыкальным образом. В сущности, все зависит от силы интеллекта. Искренность и глубина прогревания делают человека поэтом. Проникайте в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания. Сердце природы окажется во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него.

Vates-поэт, со своим мелодическим откровением природы, пользуется, по-видимому, не особенно завидным положением среди нас в сравнении с vates-пророком. Дело, которое он делает, и тот почет, который мы воздаем ему за его дело, представляются также, по-видимому, незначительными. Некогда героя считали

богом; позже героя стали считать пророком; затем героя начинают считать всего лишь поэтом. Не следует ли отсюда, что великий человек в нашей оценке как бы постепенно, эпоха за эпохой, убывает? Мы принимаем его сначала за Бога, затем за человека, Богом вдохновленного. Затем в последующую фазу самое дивное его слово вызывает с нашей стороны лишь признание, что он – поэт, прекрасный мастер стиха, гениальный человек и т. п.! В таком виде представляется вообще наше отношение к герою, но мне кажется, что в действительности это не так.

Если мы всмотримся пристальнее, то, быть может, убедимся, что человек и в настоящее время относится с таким же совершенно особенным удивлением к героическому дарованию, как бы мы его ни называли, с каким он относился и во всякое другое время.

Если мы не считаем великого человека буквально божеством, то это потому, что наши понятия о Боге, как высшем недостижимом первоисточнике света, мудрости, героизма, становятся все возвышеннее, а вовсе не потому, что наша признательность за подобного рода дарование, обнаруживающееся у людей, падает все ниже и ниже. Об этом стоит подумать. Скептический дилетантизм, это проклятие настоящей эпохи, проклятие, которое не будет же тяготеть вечно над нами, действительно неуклонно совершает свое печальное дело и в этой высочайшей сфере человеческого существования, наше почитание великих людей, совершенно искаженное, затемненное, парализованное, представляется нам жалким, едва узнаваемым.

Люди поклоняются внешнему в великих людях, большинство не верит, чтобы в них было на самом деле нечто такое, перед чем следовало бы преклониться. Самое ужасающее, фатальное верование! Каждый, исповедующий его, должен дойти буквально до полного разочарования в человечестве. И однако вспомните, например, Наполеона! Корсиканский лейтенант артиллерии – таково внешнее его обличье. Тем не менее не повиновались ли ему, не поклонялись ли ему – на особый, конечно, лад? Все тиары и диадемы мира, взятые вместе, не могли добиться такого почитания!

Благородные герцогини и конюхи с постоялых дворов собираются вокруг шотландского крестьянина Бернса. Какое-то странное чувство подсказывает каждому из них, что они никогда не слышали человека, подобного ему, это вообще – человек. В глубине сердца все эти люди чувствуют, хотя и смутным образом, так как в настоящее время не существует общепризнанного пути

для выражения подобного состояния. Чувствуют, говорю я, помимо даже воли, что этот крестьянин со своими черными бровями и сияющими, подобно солнцу, глазами, говорящий удивительнейшие речи, вызывающий смех и слезы, стоит по своему достоинству выше других, его нельзя сравнивать ни с кем. Не чувствуем ли и мы того же? А если бы теперь дилетантизм, скептицизм, пошлость и все это жалкое исчадие было отброшено прочь, – что и случится в один прекрасный день при помощи Божией, – если бы вера во все кажущееся была отброшена совершенно и заменена светлой верой в действительность, так что человек действовал бы только по одному импульсу такой веры и считал бы все прочее несуществующим, – какое бы тогда новое и более жизненное чувство пробудилось у нас к этому самому Бернсу!..

Однако разве мы не можем даже и в эпохи, подобные нашей, указать на двух истинных поэтов, если не обоготворяемых, то, во всяком случае, причисляемых к лику святых? Шекспир и Данте – это святые поэзии, поистине канонизированные, так что считается даже нечестным прикасаться к ним. Всеобщий инстинкт, никем не руководимый, идущий своим путем, несмотря на всяческие помехи и препятствия, привел к этому. Данте и Шекспир составляют исключительную пару. Они стоят отдельно, в своего рода царском уединении. Нет никого равного им, нет преемника им: известный трансцендентализм, слава, венчающая полное совершенство, осеняет их в общем сознании всего мира. Они канонизированы, хотя ни Папа, ни кардиналы не принимали в том никакого участия! Такова еще до сих пор, несмотря на все противодействующие влияния, несмотря на это отнюдь не героическое время, нерушимая сила нашего поклонения героизму.

Я остановлю несколько ваше внимание на этой паре, поэте Данте и поэте Шекспире, и, таким образом, то немногое, что я могу сказать здесь о герое как поэте, найдет для себя самое подходящее истолкование.

Немало томов было исписано по поводу жизни Данте и его книги. Но в общем, результаты получились не особенно значительные. Биография Данте остается, так сказать, безвозвратно потерянной для нас. Человек невидный, скитающийся, удрученный скорбью, он за время своей жизни не обращал на себя особенного внимания. Да и из того, что знали о нем, большая часть растеряна в этот длинный промежуток времени, отделяющий его от нас. Прошло уже пять столетий с тех пор, как он перестал писать, как он умер.

Все комментаторы соглашаются, книга его сама по себе

составляет самое существенное, что мы знаем о нем самом. Книга и, можно прибавить еще, портрет, приписываемый обыкновенно Джотто. Кто бы ни писал его, но достаточно взглянуть, чтобы тотчас же сказать, что это, должно быть, подлинно верный портрет[69]. Лицо, нарисованное на этом портрете, производит на меня крайне сильное впечатление. Это, быть может, самое трогательное из всех лиц, какие я только знаю. Уединенное, нарисованное как бы в безвоздушном пространстве, с простым лавром вокруг головы. Бессмертная скорбь и страдание; изведанная победа, которая также бессмертна, – вся жизнь Данте отражается здесь! Я думаю, что это самое грустное лицо, какое только когда-либо было срисовано с живого человека; в полном смысле слова трагическое, трогающее сердце лицо. Мягкость, нежность, кроткая привязанность ребенка составляют как бы его фон; но все это застывает в противоречии, отрицании, отчужденности, гордом безысходном страдании.

Кроткая, эфирная душа смотрит на вас так сурово, непримиримо, резко, нелюдимо, точно заточенная в толстую глыбу льда! Вместе с тем это страдание молчаливое, молчаливое и презрительное. Изгиб губ говорит о божественном равнодушии к тому, что грызет сердце, как к чему-то ничтожному, не стоящему внимания, и указывает, что тот, кого оно имеет силу мучить и душить, выше страдания. Это – лицо человека, протестующего до конца, борющегося всю свою жизнь против целого мира и не сдающегося. Любовь превращается в негодование, в негодование непримиримое – спокойное, неизменное, молчаливое, подобное негодованию Бога! Глаз – он также смотрит с некоторого рода недоумением, вопросительно: почему мир таков? Это – Данте. Так он глядит, этот «голос десяти молчаливых веков», и так он поет «свою мистическую неисповедимую песнь».

Немногие известные нам данные о жизни Данте подтверждают вполне то, о чем говорят его портрет и книга. Он родился во Флоренции в 1265 году и по рождению своему принадлежал к высшему классу общества. Образование, полученное им, было самое лучшее по тогдашним временам. Теология, аристотелевская логика, некоторые латинские классики проходились тогда в большом объеме, – все это давало немалый запас знания в известных областях мысли. Данте, при его способностях и серьезности, мы не можем в этом сомневаться, усвоил себе, конечно, лучше, чем большинство, все то, что надлежало усвоить в означенных предметах. Он отличался ясным и развитым пониманием и большой проницательностью. Таков был наилучший результат, который он сумел извлечь из изучения

схоластиков. Он знал хорошо и обстоятельно все, что окружало его. Но в то время, в которое ему пришлось жить, когда не было книгопечатания и свободных сношений, он не мог знать хорошо того, что находилось от него на известном расстоянии. Маленький ясный светоч, превосходно освещавший окружающие предметы, тускнел и превращался в особого рода chiaroscuro[70], когда ему приходилось бросать свои лучи на отдаленные пространства. Таковы были познания, вынесенные Данте из школы.

В жизни поэт прошел обычные ступени: он участвовал, как солдат, в двух военных кампаниях и защищал флорентийское государство. Принимал участие в посольстве и на тридцать пятом году, благодаря своим талантам и службе, достиг видного положения в городском управлении Флоренции. Еще в детстве он встретился с некою Беатриче Портинари, прелестной маленькой девочкой одних с ним лет, принадлежавшей к одному с ним общественному классу. С этих пор он рос, питая к ней особенное расположение и встречаясь с нею время от времени. Всякому читателю известен его прекрасный, исполненный любви рассказ этой истории, и как их затем разлучили, она была выдана замуж за другого и вскоре умерла. В Дантовой поэме она занимает видное место. По-видимому, она играла видную роль и в его жизни. Вероятно, ее одну из всех существ, несмотря на то что они были разлучены и она исчезла для него в непроглядной вечности, он любил всею силою своей страстной любви. Она умерла. Данте женился; но нельзя сказать, чтобы счастливо, далеко не так. Совсем нелегко было, как представляется мне, сделать счастливым этого строгого, серьезного человека с крайне впечатлительной натурой.

Мы не станем соболезновать о несчастьях, выпавших на долю Данте. Если бы в жизни все шло так хорошо для него, как он желал, то, быть может, он был бы приором или подеста[71] во Флоренции или кем-либо в этом роде и пользовался бы симпатиями своих сограждан. Но мир не услышал бы замечательнейшего слова, какое только когда-либо было сказано или пропето. Флоренция имела бы еще одного городского голову-благодетеля. Десять же безгласных веков так и остались бы в своей немоте, а десять следующих внемлющих веков (так как их будет десять и более) не услышали бы «Божественной комедии»! Мы не станем ни о чем сожалеть. Данте ожидала более благородная участь. Он, борясь, как человек, которого ведут на распятие и смерть, не мог не исполнить своего предназначения. Предоставим ему выбор своего счастья! Да, он знал не больше нас, что такое действительное счастье и что такое действительное

несчастье.

Во время приорства[72] Данте раздор между гвельфами и гибеллинами, черными и белыми или, быть может, какие-либо другие волнения разыгрались с такою силою, что Данте, партия которого, казалось, до сих пор была сильнее других, попал неожиданно вместе со своими друзьями в изгнание. С этих пор был осужден на скитальческую, исполненную горя жизнь. Все имущество его подверглось конфискации. Он был возмущен до крайней степени, сознавая всю несправедливость, гнусность перед лицом Бога и людей такого обхождения с ним. Он испробовал все, что только мог, чтобы добиться восстановления своих прав. Пытался достигнуть этого даже с оружием в руках, но безуспешно: положение его лишь ухудшилось.

Во флорентийских архивах сохранился, я думаю, до сих пор еще приговор, осуждающий Данте, где бы он ни был схвачен, на сожжение живьем. Сожжение живьем – так там, говорят, и написано. Весьма любопытный исторический документ. Другой интересный документ, относящийся к более позднему времени, представляет письмо Данте к флорентийским городским властям, написанное в ответ на их уже более мягкое предложение, а именно: возвратиться на условиях раскаяния и уплаты штрафа. Он отвечал им с неизменной и непреклонной гордостью: «Если мне нельзя возвратиться иначе, как признав самого себя преступным, то я никогда не возвращусь – nunquam revertar».

Таким образом, Данте вовсе лишился своего крова. Он скитался от патрона к патрону, из одного места в другое, показывая на собственном примере, «до какой степени труден путь – come e duro calle», как он сам с горечью выражается. С несчастными невесело водить компанию. Обнищалый и изгнанный Данте, гордый и серьезный по природе, находившийся в гневном настроении, представлял собою человека, который вообще плохо ладит с людьми.

Петрарка рассказывает, как, будучи однажды при дворе Кан делла Скала[73], он ответил совсем неподобающе, когда его стали порицать за молчание и угрюмый вид. Делла Скала находился в кругу своих придворных. Шуты и гаеры заставляли его беззаботно веселиться. Обратившись к Данте, он сказал: «Не правда ли, странно, что эти жалкие глупцы могут так веселиться, тогда как вы, человек умный, проводите здесь день за днем и ничем не можете развлечь нас?» Данте резко ответил: «Нет, не странно. Пусть ваша светлость вспомнит только поговорку: подобное тянется к подобному; раз есть забавник, забавам не будет конца». Такой человек, со своими горделивыми, молчаливыми манерами, сарказмом и скорбью, не был создан для того, чтобы преуспевать

при дворах.

Мало-помалу он ясно понял, что ему нигде не сыскать на этой земле покойного угла, для него нет более надежды на благополучие. Земной мир выбросил его из своей среды и обрек на скитание. Ничье живое сердце не полюбит его теперь. Ничто не может теперь смягчить его тяжкие страдания здесь, на земле.

Тем глубже, естественно, залегало в его душе представление о вечном мире, той внушающей благоговейный ужас действительности, на поверхности которой весь этот временный мир, с его Флоренциями и изгнаниями, мелькает лишь как легкий призрак. Флоренции ты больше не увидишь. Но ад, и чистилище, и небеса, их ты, конечно, узришь! Что Флоренция, Кан делла Скала, и мир, и жизнь, все вместе? Вечность – именно с нею, а не с чем другим связан ты и все сущее!

Великая душа Данте, не находившая себе пристанища на земле, уходила все более и более в этот страшный другой мир. Естественно, что все его мысли устремились к этому миру, как единственному, что было важно для него. Этот факт, воплощенный или невоплощенный, остается, безусловно, верным фактом для всех людей. Для Данте в то время он представлялся с научной достоверностью воплощенным в известном образе. Данте так же мало сомневался в существовании омута Злых Щелей[74], что он лежит именно там, со своими мрачными кругами, alti guai[75], и он сам мог бы все это видеть, как мы в том, что увидели бы Константинополь, если бы отправились туда. Долго Данте, преисполненный этой мыслью в своем сердце, питал ее в безмолвии и благоговейном страхе, пока наконец она, переполнив его, не вырвалась и не вылилась в «мистической неисповедимой песне». Таким образом, появилась эта его «Божественная комедия», самая замечательная из всех современных книг.

Для Данте мысль, что он, изгнанник, мог создать такое произведение и ни один флорентиец, вообще ни один человек, никакие люди не могли ни помешать ему, ни даже сколько-нибудь заметно облегчить его труд, – должна была представлять большое утешение. И он действительно по временам гордился им, как в том мы можем убедиться. Он отчасти понимал также, что это было великое произведение, величайшее, какое только человек мог создать. «Если ты следуешь за своей звездой – Se tu segui tua Stella» – так мог еще говорить самому себе этот герой в своей крайней нужде, забытый всеми. «Следуй своей звезде, ты не минуешь славной пристани!» Ему было, как оказывается и как мы можем легко себе представить, крайне трудно и мучительно писать свою книгу. Эта книга, говорит он, «отняла у меня силу многих годов». О да, она далась, всякое слово в ней далось

страданием и тяжким трудом, – он трудился с суровой серьезностью, он не забавлялся. Его книга, как действительно большая часть хороших книг, была написана во многих смыслах кровью его сердца. Она, эта книга, представляет полную историю его собственной жизни. Окончив ее, он умер. Он не был еще слишком стар: ему было всего 56 лет. Он умер от разрыва сердца, как говорят. Прах его покоится в том городе, где он умер, Равенне, с надписью на гробнице: «Hie claudor Dantes patriis extorris ab oris». Сто лет тому назад флорентийцы просили возвратить им этот прах, но Равенна не согласилась. «Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный с моих родных берегов».

Поэма Данте, как я сказал, это – песнь. Тик[76] называет ее «мистической неисповедимой песнью», и таков в буквальном смысле характер ее. Колридж[77] весьма дельно замечает в одном месте, что во всякой мысли, музыкально выраженной надлежащей рифмой и мелодией, вы найдете известную глубину и смысл. Ибо тело и душа, слово и мысль – здесь, как и повсюду, – связаны каким-то странным образом.

Песнь! Мы сказали выше, что песнь представляет героическое в речи. Все древние поэмы, Гомера и другие, суть доподлинные песни. Строго говоря, я сказал бы, что таковы все истинные поэмы. Всякое произведение, которое не поется, собственно, не поэма, а лишь отрывок прозы, втиснутый в звучные стихи, к великому поношению грамматика и к великой досаде читателя в большинстве случаев! Все, что мы извлекаем из подобного произведения, это мысль, которую человек имел, если только он ее имел еще. Зачем же в таком случае он поднимал звон, раз он мог высказать свою мысль просто? Мы можем дать ему право рифмовать и петь лишь тогда, когда сердце его охвачено истинной страстью к мелодии и когда самые звуки его голоса, по замечанию Колриджа, становятся музыкальными благодаря величию, глубине и музыке его мыслей. Только тогда мы называем его поэтом и внимаем ему как герою-оратору, речь которого есть песнь. Многие домогаются этого. Для серьезного читателя чтение подобной песни, я не сомневаюсь, составляет прескучное занятие, чтобы не сказать несносное! Для подобной песни не существует никакой внутренней необходимости быть рифмованной: человеку следовало бы сказать нам просто, без всякого звону, в чем дело. Я советовал бы всем людям, которые могут просто высказать свою мысль, не петь ее. Я советовал бы им понять, что в серьезное время среди серьезных людей никто не нуждается в том, чтобы они пели ее. Действительно, насколько мы любим истинное пение, насколько нас чаруют его божественные звуки, настолько же нам ненавистно всякое

фальшивое пение, и это последнее мы всегда будем принимать за пустой деревянный звук, за нечто глухое, поверхностное, совершенно неискреннее и оскорбительное.

Я воздаю Данте свою величайшую похвалу, когда говорю, что его «Божественная комедия» представляет во всех смыслах неподдельную песнь. В самом тоне ее чувствуется canto fermo[78], звуки льются точно в песне. Самая простая Дантова terza rima[79], конечно, только помогает ему достигать такого эффекта. Естественно, что «Божественную комедию» читают от начала до конца нараспев. Но, замечу я, иначе и быть не может, так как сущность самого произведения и материал, из которого оно сложено, сами по себе ритмические. Глубина, восхищенная страстность и искренность делают его музыкальным.

Всматривайтесь в вещи достаточно глубоко, и вы повсюду найдете музыку. Действительная внутренняя симметрия, то, что называют архитектурной гармонией, царит в нем и приводит все к должной пропорциональности. Архитектурная гармония – это то, чему также присуща музыкальность. Три царства, Ад, Чистилище и Рай, глядят одно на другое, подобно трем частям одного величественного здания. Это великий мировой собор, воздвигнутый там, в сверхчувственных сферах. Собор суровый, торжественный, грозный. Таков Дантов мир душ! По существу, это самая искренняя из всех поэм, а искренность мы считаем и в данном случае мерилом достоинства. Она вышла из самой глубины сердца ее творца и проникает глубоко в наши сердца и в сердца длинного ряда поколений.

Жители Вероны, встречая Данте на улице, обыкновенно говорили: «Eccovi l'uom ch'e stato all' Inferno – Глядите, вот человек, побывавший в Аду!» О да, он был в Аду, в настоящем Аду. Он в течение долгого времени выносил жестокую скорбь и боролся. Всякий человек, подобный ему, также бывал, конечно, там, в Аду. Комедии, которые становятся божественными, иначе не пишутся. Разве мысль, истинный труд, самая высочайшая добродетель – не порождение страдания? Истинная мысль возникает как бы из черного вихря. Действительное усилие, усилие пленника, борющегося за свое освобождение, – вот что такое мысль. Повсюду нам приходится достигать совершенства путем страдания. Но, говорю я, ни одно из произведений, известных мне, не отделано так тщательно, как эта поэма Данте. Она вся как бы вылилась из раскаленного добела горнила его души. Она «отнимала силы» у него в течение многих лет. И не только общие очертания поэмы таковы. Нет, всякая частность в ней исполнена с величайшей старательностью, доведена до полной правдивости, совершенной ясности. Все здесь находится в

строгом соответствии. Каждая черточка – на своем месте, точно мраморный камень, аккуратно высеченный и отполированный. Здесь, в этой поэме, ее рифмах, для всех воочию запечатлелся навеки дух Данте, а вместе с тем и дух Средних веков. Нелегкая задача, требующая поистине чрезмерного напряжения, но задача уже исполненная!..

Можно сказать, что напряженность со всеми ее атрибутами составляет характерную черту Дантова гения. Данте выступает перед нами не как обширный всеобъемлющий ум, а скорее как узкий, однонаправленный ум, что обусловливается отчасти современной ему эпохой и его положением, отчасти же его собственным характером. Вся мощь его духа сконцентрировалась в огненную напряженность и ушла вглубь. Он велик, как мир, не потому, что он обширен, как мир, а потому, что он проникает все предметы, так сказать, до самого их существа. Я не знаю ничего, в чем бы обнаружилась такая напряженность, какой отличался Данте.

Посмотрите, например (я начинаю с внешнего развития его напряженности), посмотрите на то, как он рисует. Он обладает громадной проницательной силой. Он схватывает истинный образ всякого предмета, представляет его вашим взорам, и больше ничего. Вы помните это первое описание, которое он дает гробницам Дита[80]: красная вершина, докрасна накаленный конус железа, пылающий среди невообразимого мрака, – как все это ярко, отчетливо, ясно. Один взмах – и картина запечатлевается навсегда. Приведенное описание может служить как бы эмблемой всего гения Данте. Он отличается краткостью и точностью в своих отрывочных описаниях. Тацит[81] не превосходит его краткостью и сжатостью, и притом сжатость у Данте является природной, самопроизвольной. Одно поразительное слово, и затем молчание, – говорить более нечего. Его молчание красноречивее слов.

Удивительно, с какой проницательностью, грацией, решительностью он всюду схватывает истинный образ вещей, он точно рассекает их своим огненным пером. Плутус, бахвалящийся гигант, съеживается от укора Вергилия, «как спадают паруса, когда разбита мачта». Или этот несчастный Брунетто Латини с cotto aspetto, «обожженным лицом», высохший, почерневший и истощенный; «дождь пламени», падающий на них, «как снег в безветрии», падающий медленно, беспрепятственно, без конца! Или крышки у этих гробов, четырехугольные саркофаги в молчаливой полуосвещенной зале и в каждом – своя мучающаяся душа. Крышки пока сняты, они будут заколочены навеки в день Страшного суда. И как поднимается Фарината и как падает

Кавальканте, услышав имя своего сына, сопровождаемое прошедшим временем – «те»[82]! Сами движения у Данте отличаются быстротой: скорые, решительные, почти военные. Такая особенность в обрисовке обусловливается внутренним существом его гения. Во всем этом чувствуется сама огненная, подвижная натура итальянца, столь молчаливая, столь страшная, с ее быстрыми и внезапными движениями, молчаливым «бледным бешенством».

Хотя искусство изображать, рисовать принадлежит к внешним проявлениям человека, однако оно, как и все остальное, находится в самой тесной связи с его существеннейшими дарованиями. Оно представляет как бы физиономию всего человека. Найдите человека, слова которого рисуют вам образы, – вы обретете человека, заслуживающего кое-чего. Обратите внимание на его манеру изображать – она весьма характерна для него. Прежде всего он не мог бы совершенно распознать предмета, схватить его типичных особенностей, если бы не питал к нему, так сказать, симпатии, не переносил своих симпатий на предметы. Необходимо также, чтоб он был искренен. Искренность и симпатия: ничего не стоящий человек не может вовсе обрисовать предмета. Он живет по отношению ко всем предметам в каком-то опустошенном пространстве, ограничивается лживыми избитыми фразами. В самом деле, разве мы не можем сказать, что ум человека обнаруживается вполне в этом умении распознавать, что такое предмет? Все способности человеческого духа выступают в данном случае на сцену. Все равно, даже если это касается поступков, того, что должно быть сделано. Одаренным человеком считается тот, кто видит самое существенное и оставляет все остальное в стороне как малозначительное. Такова также и отличительная способность человека дела, благодаря ей он распознает истинные очертания от ложных, поверхностных в том предмете, которым он занят.

И как много нравственного элемента вносим мы в наши воззрения и отношения к внешнему миру: «Глаз видит во всех вещах то, что внушает ему способность видеть!» Для низкого глаза все представляется пошлым, совершенно так же, как для больного желтухой все окрашивается в желтый цвет. Рафаэль, говорят нам живописцы, остается до сих пор самым лучшим портретистом. Да, но никакой глаз, какими бы высокими достоинствами он ни отличался, не может исчерпать всего содержания, таящегося в данном предмете. В самом заурядном человеческом лице остается кое-что такое, чего сам Рафаэль не может выявить у него. Искусство Данте отличается не только выразительностью, сжатостью, правдивостью, живительностью,

подобно огню в темную ночь. Если мы подойдем к нему и с более широким масштабом, то убедимся также, что оно благородно во всех отношениях, оно – продукт великой души. Франческа и ее возлюбленный – как много возвышенного в их любви! Этот образ словно соткан из цветов радуги на фоне вечной ночи. Точно слабый звук флейты слышится вам бесконечно жалобный звук и проникает в самые тайники вашего сердца. Вы чувствуете в нем также дыхание истинной женственности: «della bella persona, che mi fu tolta»[83]. Какое это утешение даже в пучине горя, что он никогда не расстанется с нею! Печальнейшая трагедия этих alti guai! И бурные вихри, в этом aere brano[84], снова уносят их прочь, и так они вечно стонут!

Странно, когда подумаешь: Данте был другом отца этой бедной Франчески. Сама Франческа, невинный прелестный ребенок, сидела, быть может, не раз на коленях у поэта. Бесконечное сострадание и вместе с тем столь же бесконечная суровость закона: так создана природа, такой она представлялась духовному взору Данте. Какое пошлое ничтожество обнаруживают те, кто считает его «Божественную комедию» жалким, желчным, бессильным пасквилем на дела мира сего, пасквилем, в котором Данте будто бы посылает в преисподнюю тех, кому он не мог отомстить здесь, на земле!

Я думаю, что если сердце мужчины питало в себе когда-либо жалость столь нежную, как жалость матери, так это было именно сердце Данте. Но человек, не знающий суровости, не может знать также, что такое жалость. Жалость такого человека всегда будет трусливой, эгоистической, сентиментальной или ненамного лучше. Я не знаю в мире любви, равной той, какую питал Данте. Это была сама нежность, трепещущая, страстно желающая, сострадающая любовь, подобная жалобному плачу эоловых арф; мягкая, подобно юному сердцу ребенка. Вместе с тем это суровое, горем удрученное сердце! Его страстное стремление к своей Беатриче; их встреча в Раю; его пристальный взор, устремленный в ее чистые, просветленные глаза, глаза просиявшие, не видавшие уже его так долго, – все это можно сравнить с пением ангелов. Из всех чистейших выражений любви это, быть может, самое чистое, какое только когда-либо выливалось из человеческого сердца.

Напряженный Данте обнаруживает напряженность во всем. Он всюду проникает в самую суть вещей. Его интеллектуальная прозорливость как художника, а при случае и как мыслителя есть лишь проявление его силы во всех других отношениях. Прежде всего мы должны признать его великим в нравственном отношении, что составляет основу всего. Его презрение, его скорбь столь же возвышенны, как и его любовь. Действительно,

что такое это презрение, эта скорбь, как не оборотная сторона его любви, вывернутая наизнанку та же его любовь?

«A Dio spiacenti ed a'nemici sui – ненавистный Богу и врагам Бога». Вы слышите гордое презрение, неумолимое, спокойное осуждение и отвращение. «Non ragionam di lor – мы не станем говорить о них, мы лишь взглянем и пройдем». Или вдумайтесь в это: «они не питали надежды на смерть – non han speranza di morte». Настал день, когда для истерзанного сердца Данте представилась истинным, хотя и суровым благодеянием мысль о том, что он, несчастный, истомленный скиталец, неизбежно должен умереть. «Даже сама судьба не могла бы осудить его на то, чтобы он продолжал существовать вечно, не умирая». Вот какие слова вырываются у этого человека. По строгости, серьезности, глубине нет никого равного ему в новейшей эпохе, и только в еврейской Библии, среди ветхозаветных пророков, мы можем найти фигуры, могущие выдержать сравнение с ним.

Я не согласен со многими современными критиками, ставящими «Ад» значительно выше двух других частей «Божественной комедии». Такое предпочтение, мне кажется, обусловливается нашей всеобщей склонностью к байронизму и представляет собою, по-видимому, преходящее явление. «Чистилище» и «Рай», в особенности первое, по моему мнению, стоят выше «Ада».

Прекрасная вещь – это Чистилище, «гора очищения», эмблема возвышенной мысли того времени. Если грех так фатален, если Ад так суров, так страшен, если он таким и должен быть, то только в покаянии человеку остается еще возможность очиститься. Покаяние есть великий христианский акт. Как прекрасно Данте изображает его! «Tremolar dell'onde»[85]! Это «трепетание» морской волны при первом пробуждении дня, бросающего свои чистые косые лучи на двух скитальцев, представляет как бы прообраз изменившегося настроения духа. Заря надежды уже взошла, надежды, никогда не умирающей, хотя и сопровождаемой еще тяжелой скорбью. Мрачная обитель демонов и отверженных уже пройдена. Тихое дыхание раскаяния поднимается все выше и выше, к трону самого Милосердия. «Молись за меня», – говорят ему все обитатели горы страдания. «Скажи моей Джованне, пусть она молит обо мне, моей дочери Джованне»; «я думаю, мать ее уж не любит меня более!» С большим трудом поднимаются кающиеся по этой идущей спиралью крутизне, согбенные, как кариатиды здания, иные почти придавленные грехом гордости. Тем не менее пройдут многие годы, века и зоны, и они обязательно достигнут вершины, которая представляет врата неба, и благодаря Милосердию будут

допущены туда. Все радуются, когда кто-либо достигает своей цели. Вся тора сотрясается от восторга, и раздается хвалебное псалмопение, когда душа совершит свой путь покаяния и оставит позади себя свой грех и свое страдание! Я называю все это благородным воплощением истинно благородной мысли.

Но в действительности все три части «Божественной комедии» взаимно поддерживают одна другую и немыслимы одна без другой. «Рай», эта своего рода невыразимая музыка, по моему мнению, является необходимым дополнением к «Аду»: без него последнему недоставало бы правдивости. Все три части вместе образуют настоящий невидимый мир, как его рисовали христиане Средних веков. Мир, вечно памятный, навеки истинный в своей сущности для всех людей. Ни в чьей, быть может, иной человеческой душе он не был запечатлен так глубоко, с такой правдивостью, как в душе Данте, посланного воспеть его и сделать его надолго памятным людям.

Замечательна в высшей степени та естественность, с какой Данте переходит от повседневной реальности к невидимой действительности. Уже со второй или третьей строфы он переносит вас в мир духов, где вы чувствуете себя, однако, как среди осязаемых, несомненных предметов. Для Данте они были действительно осязаемы. Так называемый же реальный мир со своими явлениями составлял лишь преддверие другого мира, с другими явлениями, бесконечно более возвышенного. В сущности, и тот и другой были одинаково сверхъестественными мирами. Разве не всякий человек имеет душу? Человек не только станет духом, но он есть дух. Для серьезного Данте это единственный видимый несомненный факт. Он верит в него. Он видит его, поэтому-то он и является его поэтом. Искренность, повторяю я, – благороднейшее достоинство, теперь и всегда.

Дантовы Ад, Чистилище и Рай суть вместе с тем символы, эмблемы его верований относительно вселенной. Какой-нибудь критик будущего века, подобно современным критикам скандинавских саг, мыслящий уже совершенно иначе, чем мыслил Данте, примет также, быть может, все это за аллегорию, даже за пустую аллегорию! А между тем «Божественная комедия» – возвышенное воплощение христианского духа. В необъятных, так сказать, мирообъемлющих архитектурных очертаниях она рисует нам, каким образом христианин Данте представлял себе добро и зло как два полярных элемента этого мира, вокруг которых все вращается. Каким образом он представлял себе, что эти элементы различаются не по предпочтительности одного из них перед другим, а по своей абсолютной и бесконечной несовместимости. Одно прекрасно и высоко, как свет и небо, а другое –

отвратительно и черно, как геенна и пучина Ада! Вечное правосудие! Да, но есть место также покаянию, вечному милосердию.

Все христианство, как исповедовали его Данте и Средние века, воплощено здесь в образах. И однако, как я уже указывал выше, воплощено с глубочайшей верой в действительность, без малейшего помышления о какой бы то ни было символизации. Ад, Чистилище, Рай – все это было создано вовсе не как эмблемы. Разве возможна была в ту пору хотя бы малейшая мысль о том, что все это эмблемы! Не представляли ли Ад, Чистилище, Рай несомненных, поражавших ужасом явлений; не признавал ли их тогда человек всем своим сердцем действительной истиной, не находилась ли сама природа повсюду в полном согласии с ними? Так всегда бывает в подобных делах. Люди не верят в аллегорию. Будущий критик, каково бы ни было его новое миросозерцание, сделает прискорбную ошибку, если станет рассматривать это произведение Данте как всего лишь аллегорию.

Мы уже признали, что язычество представляло правдивое выражение действительного чувства человека, пораженного ужасом при созерцании природы, – правдивое, некогда истинное и до сих пор не утерявшее еще для нас всего своего значения. Но обратите теперь внимание на различие между язычеством и христианством: оно немалое. Язычество символизировало главным образом деятельные силы природы – судьбы, усилия, соединения и превратности людей и вещей в этом мире. Христианство – закон человеческого долга, нравственный закон человека. Одно имело отношение к чувственной природе – грубое, беспомощное выражение первой мысли человека, когда главной добродетелью признавалась отвага, господство над страхом. Другое же было связано не с чувственной природой, а с нравственной. Какой громадный прогресс обнаруживается в этой разнице, если взглянуть на дело хотя бы только с одной указываемой мною стороны!

Итак, в Данте, как мы сказали, десять пребывавших в немоте веков чудным образом нашли себе выражение. «Божественная комедия» написана Данте, но в действительности она – достояние десяти христианских веков. Ему принадлежит лишь окончательная отделка ее. Так всегда бывает. Возьмите ремесленника – кузнеца с его железом, с его орудиями, навыками и искусством, – как мало во всем том, что он делает, принадлежит собственно ему, его личному труду! Все изобретательные люди прошлых времен работают здесь же, вместе с ним, как работают они в действительности вместе со всеми нами во всяких наших делах. Данте – это человек,

говорящий от лица Средних веков. Мысль, которой он жил, звучит и льется из его уст бессмертной музыкой. Все эти возвышенные идеи Данте, ужасные и прекрасные, суть плоды размышлений в духе христианства всех добропорядочных людей, живших до него. Дороги они для человечества, но разве и он также не дорог? Не будь его, многое из того, что он сказал, так и осталось бы невысказанным, конечно, не мертвым, но пребывающим в немоте.

В конце концов, разве эта мистическая песнь не служит одновременно выражением и одного из величайших человеческих умов, какой только существовал когда-либо, и одного из величайших деяний, какое только Европа совершила сама по себе до сих пор? Христианство, как его воспевает Данте, это уже нечто совершенно иное, чем язычество грубых скандинавов. Иное, чем ислам – «побочная ветвь христианства», – полуотчетливо провозглашенный в Аравийской пустыне семь веков тому назад! Самая благородная идея, какая только до сих пор была осуществлена среди людей, воспетая и воплощенная в непреходящие образы одним из благороднейших людей, – вот что такое произведение Данте. Разве мы не имеем права действительно гордиться тем, что обладаем им, гордиться воспеваемым деянием и воспевающим поэтом? Я думаю, что произведение это будет жить еще в течение долгих тысячелетий. Ибо то, что выливается из глубочайших тайников человеческой души, не имеет ничего общего с тем, что утверждается внешним образом, от легкого сердца.

Внешнее принадлежит минуте, находится во власти моды. Внешнее проходит в быстрых и бесконечных видоизменениях. Внутреннее же всегда остается одним и тем же – вчера, сегодня и вечно. Правдивые души всех поколений мира, глядя на Данте, найдут в нем нечто братски-родственное себе. Глубокая искренность его мыслей, страдания и надежды найдут себе отклик в их искренности. Они почувствуют, что этот Данте – также и им родной брат.

Наполеон на острове Святой Елены восхищался жизненной правдивостью старого Гомера. Самый древний еврейский пророк, несмотря на внешние формы своей речи, столь отличные от нашей, неизменно, до сих пор, проникает в сердца всех людей. Он говорит действительно от полноты своего человеческого сердца. Таков один-единственный секрет остаться надолго памятным людям. Данте по глубине своей искренности похож именно на такого древнего пророка. Его речь, так же как и речь ветхозаветного пророка, льется из самой глубины сердца. Не было бы ничего удивительного, если бы кто-нибудь стал

утверждать, что его поэма окажется самым прочным делом, какое только Европа совершила до сих пор. Ибо ничто не обладает такой долговечностью, как правдиво сказанное слово.

Все соборы, величественные сооружения, медь и камень, всякое внешнее строительство, как бы прочно оно ни было, недолговечны по сравнению с такой недосягаемо-глубокой, сердечной песнью, как эта Дантова песнь. Каждый человек как бы чутьем понимает, что она переживет многие и многие поколения и сохранит свое значение для людей даже в то время, когда все другое расплывется в новых неведомых комбинациях и индивидуально перестанет существовать. Многое создала Европа: многолюдные города, обширные государства, энциклопедии, верования, теоретические и практические кодексы. Но много ли она создала произведений в том роде, к которому относится мысль Данте? Гомер существует до сих пор; он действительно становится лицом к лицу с каждым из нас, с каждым, у кого только может раскрыться душа. А Греция – где она? Подвергаясь в продолжение тысячелетий опустошениям, она прошла, исчезла. Она превратилась в беспорядочную груду камней и мусора. Ее жизнь и существование навсегда улетели от нас, как мечта, прах царя Агамемнона. Греция была. Греции нет более; она осталась только в словах, сказанных ею.

Какая польза от Данте? Мы не станем распространяться слишком много о его «полезности». Человеческая душа, которая хотя бы один раз погружалась в первоначальные недра песни и воспевала вынесенное ею оттуда надлежащим образом, проникает тем самым в глубины нашего существования. Она питает в продолжение долгого времени жизненные корни всех возвышенных свойств человеческих. Питает таким образом, что всякие «пользы» со своими выкладками совершенно бессильны помочь нам разобраться в этом. Мы не измеряем значения солнца тем количеством светильного газа, какое сберегается благодаря ниспосылаемому им свету. Данте должно считать или неоценимым, или же не имеющим никакой цены.

Одно замечание я хочу еще сделать по поводу контраста в этом отношении между героем-поэтом и героем-пророком. Арабы Магомета в какие-нибудь сто лет прошли от Гранады до Дели. Итальянцы же Данте до сих пор, по-видимому, остаются на том же самом месте, где и были. Можем ли мы сказать, однако, что воздействие Данте на мир было сравнительно ничтожно? Конечно, нет. Арена его деятельности значительно ограниченнее, но в то же время она несравненно благороднее, чище. Не только не менее, но, быть может, значительно более важна. Магомет обращается к громадным массам людей с грубой речью,

приспособленной к его аудитории. Речью, наполненной несообразностями, дикостями и глупостями: он может действовать только на большие массы и подвигает их на доброе и злое, странным образом взаимно перепутанное. Данте же обращается к тому, что есть благородного, чистого, великого во все времена и во всех местах. И он не может устареть так, как устарел Магомет. Данте горит, как чистая звезда, утвержденная там, на тверди небесной, от которой воспламеняется все великое и возвышенное всех веков. Он будет достоянием всех избранников мира на бесконечно долгое время. Данте, всякий согласится, надолго переживет Магомета. Таким образом, равновесие восстанавливается.

Но во всяком случае, человек и его дело измеряются не тем, что называется их влиянием на мир, не тем, как мы судим об этом влиянии. Влияние? Воздействие? Польза? Пусть человек делает свое дело. Результат же составляет предмет заботы иного деятеля. Последствия обнаружатся, а как скажутся они – в виде ли тронов халифов, арабских завоеваний, которыми «заполняются все утренние и вечерние газеты» и все истории, представляющие, в сущности, те же дистиллированные газеты, или же вовсе не в таком виде, – что в том? Не это составляет действительные последствия того или иного дела!

Арабский халиф если и значил что-либо, то лишь постольку, поскольку он сделал что-нибудь. Если великое дело человечества и работа человека здесь, на земле, ничего не выиграли от арабского халифа, в таком случае совершенно не важно, как часто он обнажал свои сабли, какую захватывал добычу, насколько основательно набил свои карманы золотыми монетами, какое смятение и шум произвел в этом мире. Он был всего лишь медь звенящая, пустота и ничтожество, в сущности, его даже вовсе не было. Воздадим же еще раз хвалу великому царству молчания, этому беспредельному богатству, которым мы не можем позвякивать в своих карманах, которого мы не высчитываем перед людьми и не выставляем напоказ! Молчание, быть может, самое полезное из всего, что каждому из нас остается делать в эти чересчур звонкие времена.

Как Данте был послан в наш мир, чтобы воплотить в музыкальной форме религию Средних веков, религию нашей современной Европы, ее внутреннюю жизнь, так Шекспир явился для того, чтобы воплотить внешнюю жизнь Европы того времени с ее рыцарством, утонченностями, весельем, честолюбием. Воплотить, одним словом, то, как люди практически тогда думали и действовали, как практически они относились тогда к миру. И если мы, руководствуясь Гомером, можем в настоящее

время воспроизвести себе Древнюю Грецию, то наши потомки, руководствуясь Шекспиром и Данте, по прошествии целых тысячелетий все еще в состоянии будут отчетливо представить себе, какова была наша современная Европа по своим верованиям и в своей действительной жизни.

Данте нам дал веру или душу. Шекспир не менее величественным образом дал нам практику или тело. Это последнее нам также необходимо иметь. С этой-то целью и был послан человек – человек Шекспир. Когда рыцарский склад жизни достиг своего крайнего предела, наступил уже перелом, и за ним должно было последовать более или менее быстрое разрушение (как мы и теперь повсюду видим), тогда, и только тогда, послан был этот другой властный поэт со своим проницательным взором, неизменным певучим голосом, чтобы воспринять в себя эту жизнь и запечатлеть ее в надолго неизгладимых образах. Перед нами два необычайно одаренных человека. Данте – глубокий, пламенный, как огонь в центре мира. Шекспир – всеобъемлющий, спокойный, всепроникающий, как солнце, вышний свет мира. Италия произвела один мировой голос, Англии выпала честь произвести другой.

Довольно странно, как благодаря одной лишь случайности этот человек появился среди нас. Шекспир обладал таким величием, спокойствием, цельностью и уравновешенностью, что мы, быть может, никогда не услышали бы о нем как о поэте, если бы уорвикский сквайр не вздумал преследовать его за охоту на своей земле! Лес и небо, деревенская жизнь в Стратфорде удовлетворили бы его. Но разве весь этот странный расцвет нашего английского существа, который мы называем эпохой Елизаветы, не явился в действительности тоже, так сказать, сам собою? «Дерево Иггдрасиль» пускает ростки, усыхает, следуя своим собственным законам, глубоким и потому недоступным нашим исследованиям. Однако оно неизбежно пускает ростки и усыхает по определенным, вечным законам; таким же законам существования подчиняется и всякая веточка, всякий листик. Нет такого сэра Томаса Льюси[86], который не пришел бы в час, предназначенный для него.

Странно, говорю я, и недостаточно принимается обыкновенно во внимание, в какой мере всякая самая ничтожная вещь обязательно действует в одном направлении с целым. Нет такого листа, валяющегося на большой дороге, который не составлял бы неотъемлемой части солнечной и звездных систем. Нет такой мысли, слова, поступка человеческого, которых в зародыше нельзя было бы найти у всякого человека и которые не действовали бы, раньше или позже, заметно или незаметно, на

всех людей! Да, все это представляет собою дерево – циркуляцию соков и воздействий, взаимное соотношение между самым ничтожным листом и глубоко сидящим волокном корня. Вообще между величайшей и малейшей частью целого – дерево Иггдрасиль, корни которого уходят глубоко в царство Хели и смерти, а ветви простираются под высочайшим небом.

В известном смысле можно сказать, что славная елизаветинская эра со своим Шекспиром, как продукт и расцвет всего предшествовавшего ей, обязана своим существованием католицизму Средних веков. Христианская вера, составлявшая тему Дантовой песни, породила ту практическую жизнь, которую должен был воспеть Шекспир. Ибо тогда, как и теперь, как и всегда, религия составляла душу практики, первоначально жизненный факт в жизни людей. Заметьте при этом следующее, довольно любопытное явление. Средневековый католицизм был упразднен, насколько он мог быть упразднен парламентскими актами, прежде чем появился Шекспир, его благороднейший продукт. И Шекспир появился вопреки всему этому. В свое время, в связи с католицизмом или с чем-либо другим, необходимым в ту пору, природа выдвинула его, не заботясь особенно о парламентских актах. Короли Генрихи, королевы Елизаветы идут своим путем, а природа – своим. В общем, парламентские акты значат немного, несмотря на шум, который они производят.

Скажите, какой это парламентский акт, какие это дебаты в палате, на избирательных собраниях и т. п. вызвали к существованию нашего Шекспира? Нет, появление его не сопровождалось обедами в масонских тавернах, при этом не было никаких подписных листов, продажи голосов, бесконечно шумных возгласов и всяких иных истинных или ложных усилий! Эта елизаветинская эра и все благородное, дорогое, связанное с ней, пришло помимо всяких провозглашений и приготовлений с нашей стороны. Бесценный Шекспир был свободным даром природы, совершенно молча принесенным нам, совершенно молча принятым, как если бы дело шло о малозначительной вещи. И однако это в доподлинном, буквальном смысле слова – бесценный дар. Не следовало бы также и этого упускать из виду.

Господствующее мнение относительно Шекспира, высказываемое иногда, быть может, несколько идолопоклонническим образом, представляет в действительности вполне верную его оценку. Насколько я могу судить, общий голос не только нашей страны, но и всей Европы постепенно приходит к заключению, что Шекспир – глава всех поэтов, существовавших до сих пор, это – величайший ум, какой только в нашем пишущем мире появлялся когда-либо на литературном поприще. Вообще я

не знаю другого человека с такой необычайной проницательностью, силой мысли во всех ее характернейших проявлениях. Какая невозмутимая глубина! Какая спокойная жизнерадостная сила!

Да, в этой великой душе все отражается так верно, ясно, как в спокойном бездонном море! Говорят, что в построении шекспировских драм обнаруживается, кроме всяких других так называемых «способностей», также и ум, равный тому, какой мы признаем в «Новом Органоне» Бэкона. Это верно, но истина не бросается вообще в глаза всякому с первого взгляда. Мы поймем ее в данном случае скорее, если спросим себя, каким бы образом мы, помимо материалов, представляемых драмами Шекспира, могли достигнуть такого же результата? Дом построен, и все в нем кажется надлежащим образом прилаженным. Все, с какой бы стороны мы ни взглянули, на своем месте. Все представляется нам в нем как бы возникшим согласно собственному закону и природе вещей, так что совершенно забываешь о той дикой, неразработанной каменоломне, из которой все это вышло. Самое совершенство постройки, как бы вышедшей из рук природы, скрывает от нас заслуги строителя. Мы вправе назвать Шекспира совершенным в данном отношении, более совершенным, чем всякий другой человек. Он распознает, угадывает инстинктом условия, при которых работает, материалы, с которыми имеет дело. Знает, какова его собственная сила и каковы ее отношения к тем и другим. Здесь недостаточно одного беглого взгляда, порыва вдохновения. Здесь необходимо обдуманное освещение всего предмета. Необходим спокойно созерцающий глаз, одним словом, великий ум.

Самым лучшим мерилом для ума человека может служить то, каким образом человек рассказывает о сколько-нибудь сложном происшествии, очевидцем которого он был. Какую картину, образы он рисует при этом: что жизненно и останется вечно, что не имеет существенного значения и, следовательно, должно быть отброшено, где истинное начало, истинное следствие и конец? Чтобы обнять все это, человек должен пустить в ход всю силу своей прозорливости. Он должен понимать вещи. Достоинство его рассказа будет находиться в соответствии с глубиной его понимания. Таким образом, следует испытывать человека. Умеет ли он схватить сходство, действует ли его зиждительный дух успешно в этом хаосе, превращает ли он беспорядок в порядок? Может ли человек сказать: «Fiat lux» («Да будет свет!») – и из хаоса действительно создать мир? Да, он совершит все это именно в меру того света, который носит в себе.

Итак, мы можем действительно снова повторить:

в портретном искусстве, как я называю его, обрисовке людей – вот в чем Шекспир велик. Но в этом именно искусстве и сказывается решительным образом все величие человека. Спокойная творческая проницательность Шекспира не имеет ничего подобного себе. Предмет, на который он обращает свой взор, раскрывает перед ним не ту или другую свою сторону, но самое сердце, тайну своего происхождения. Он раскрывает перед ним, как бы пронизанный светом, так что великий поэт вполне различает всю его внутреннюю структуру.

Мы сказали, что Шекспир обладает творческой проницательностью. Действительно, что такое поэтическое творчество, как не проникновение в самую суть вещей? Слово, долженствующее описать предмет, приходит само собою при таком ясном напряженном созерцании. И не обнаруживаются ли при этом также вся нравственная сторона Шекспира, его смелость, прямота, терпимость, правдивость, вся его победоносная сила и величие, которые торжествуют, несмотря на массу затруднений? Он велик, как мир! Это не кривое, жалкое, выпуклое или вогнутое зеркало, наделяющее все отражаемые предметы своими собственными выпуклостями и вогнутостями. Нет, это – совершенно ровное зеркало, то есть, если вы правильно поймете мою мысль, это человек, правдиво относящийся ко всем вещам, людям, – добрый человек.

Поистине величественно зрелище того, как эта великая душа умеет понять всякого рода людей, предметы, – Фальстафа, Отелло, Юлия, Кориолана и с какой закругленной полнотой рисует их нам. Это действительно душа любящая, правдивая, одинаково братская всем. «Новый Органон» и весь ум, какой вы находите у Бэкона, – совершенно второстепенного достоинства. Каким-то земным, материальным, бедным представляется он в сравнении с умом Шекспира. Находят, что, строго говоря, среди людей современной эпохи никто не обладает умом подобного рода. Один только Гете за все послешекспировское время напоминает мне его. Он также, можно сказать, видел предметы. К нему вы можете применить то, что он говорит относительно Шекспира: «Его действующие лица подобны часам с крышками из прозрачного кристалла. Они показывают вам час, как и другие часы; но вместе с тем в них виден также вполне и внутренний механизм».

Прозревающий глаз! Такой именно глаз раскрывает внутреннюю гармонию вещей: он открывает то, к чему стремилась природа, музыкальную идею, которую природа облекает в нередко грубые формы. Должна же была природа иметь что-либо в виду. Прозревающий глаз может распознавать

это «что-либо». Неужели все это – лишь низкие, жалкие предметы? Вы можете смеяться над ними, оплакивать их, тем или другим образом симпатизировать им, в худшем случае молчать о них, отворачивать от них свое лицо и лицо других, пока не наступит время для их действительного уничтожения и исчезновения! В сущности, главный дар поэта, как и всякого человека вообще, заключается в сильном уме. Человек будет поэтом, раз он имеет ум, – поэтом-писателем. Или же, если он не обладает словом, что, быть может, и к лучшему, то поэтом-деятелем. Будет ли он вообще писать, и если будет, то в прозе или стихах, – все это зависит от разных случайностей, и кто знает, от каких иногда чрезвычайно пустых случайностей, от того, быть может, учили ли его в детстве пению! Но способность, благодаря которой он может распознавать внутреннюю суть вещей и гармонию, присущую им (ибо всякий существующий предмет носит внутри гармонию или иначе он не мог бы поддерживать своей связности и своего существования), есть не результат привычек и случайностей. Это дар самой природы, главное орудие человека-героя, в каких бы сферах он ни действовал.

Поэту, как и всякому другому человеку, мы скажем прежде всего: смотри. Если вы не способны к этому, то совершенно бесполезно упорствовать в поиске рифм, звонких и чувствительных окончаний, противопоставлять их и называть себя поэтом. Это совершенно безнадежное для вас дело. Если же вы можете, тогда вы имеете все шансы стать поэтом, в прозе или стихах, в поступках или размышлениях.

Один суровый старик, школьный учитель, имел обыкновение спрашивать, когда к нему приводили нового ученика: «Но уверены ли вы, что он не олух?» Да, действительно, отчего бы не ставить подобного вопроса относительно всякого человека, предназначаемого для какого бы то ни было дела, и не ограничиться лишь таким единственно необходимым вопросом: «Уверены ли вы, что он не олух?» В этом мире только олухи обречены всецело на фатальную судьбу.

Ибо действительно, утверждаю я, степень прозорливости, присущей человеку, составляет настоящее мерило самого человека. Если бы мне предложили определить дарование Шекспира, я сказал бы, что это высочайшая степень ума, и полагал бы, что этим я сказал все. Что такое действительно способность? Мы говорим о разных способностях, как о различных свойствах, существующих независимо от других, как будто бы ум, воображение, фантазия все равно что рука, нога, кисть и т. д. Это – величайшее заблуждение. Затем нам говорят

также об «умственной природе» человека и его «нравственной природе», как будто это – вещи разделимые, существующие отдельно одна от другой. Конечно, несовершенство языка, быть может, по необходимости заставляет нас прибегать к такого рода выражениям. Мы должны так выражаться, если хотим вообще говорить.

Но слова, во всяком случае, не должны превращаться в самые предметы. Мне кажется, что наше понимание вследствие этого сильно извращается. Мы должны знать и никогда не упускать из виду, что такие расчленения, в сущности, одни только названия; духовная природа человека, жизненная сила, пребывающая в нем, по существу, едина и неделима. Так называемые нами воображение, фантазия, понимание и т. п. – суть лишь различные проявления одной и той же силы прозрения, все они неразрывно соединены одна с другой, по своим признакам родственны друг другу. Раз нам известна одна из них, мы можем знать и все прочие. Даже самая нравственность, то, что мы называем нравственной стороной человека, разве это не другая лишь сторона той же единой жизненной силы, благодаря которой человек существует и действует? Все, что человек делает, представляет выражение его единого внутреннего облика. Вы можете судить о том, как человек станет сражаться, по тому, как он поет. Смелость или недостаток смелости обнаруживаются в слове, которое он произносит, мнении, которого он придерживается, не в меньшей степени, чем в ударе, который он наносит. Они – единое целое, и он осуществляет вовне свое цельное «я» всевозможными путями.

Человек, лишившись рук, продолжает, однако, пользоваться ногами и двигаться. Но без нравственности, заметьте, для него ум был бы невозможен: совершенно безнравственный человек не может знать решительно ничего! Чтобы знать что-либо в истинном смысле этого слова, человек должен прежде всего любить предмет своего знания, симпатизировать ему, то есть он должен быть в добрых отношениях с ним. Если в человеке нет достаточно правдивости, чтобы попирать свой собственный эгоизм, если в нем нет достаточно мужества, чтобы во всяком данном случае встречать лицом к лицу грозную истину, то как же он может знать что бы то ни было? Его добродетели, все его добродетели, так или иначе, запечатлеваются на его знании. Для человека низкого, самолюбивого, малодушного природа с ее истиною навсегда останется запечатанной книгой: все, что такой человек может знать о природе, – пошло, поверхностно, ничтожно. Все его знание отвечает лишь потребностям минуты.

Но разве лисица, скажут, ровно ничего не знает о природе?

Конечно, знает, она знает, где гуси ночуют! Человек-лиса в разных образах весьма часто встречается в нашей жизни, и его знания, в сущности, ничем не отличаются от подобного лисьего знания. Мало того, не следует упускать из виду, что если бы лиса не имела своего рода лисьей нравственности, она не могла бы знать, где водятся гуси и как можно к ним подобраться. Если бы она предавалась сплину и проводила время в ипохондрических размышлениях о своем собственном злополучии, несправедливом отношении к ней природы, судьбы, других лисиц и т. п. и не обладала бы отвагой, быстротой, практичностью, грацией и другими талантами, свойственными лисицам, то она не поймала бы ни одного гуся. Относительно лисицы мы можем также сказать, что ее нравственность и ее прозорливость – величины совершенно одинаковые, что это различные стороны одной и той же лисьей жизни! На этих истинах следует чаще останавливаться именно в настоящее время, когда противоположный им взгляд обнаруживает свое печальное развращающее действие самыми различными путями. Каких ограничений и изменений требуют они, пусть подскажет вам ваше собственное беспристрастие.

Таким образом, говоря: Шекспир – величайший из всех умов, – я тем самым говорю уже, собственно, все. Однако ум Шекспира отличается еще такой особенностью, какой мы не встречаем ни у кого другого. Это, как я называю, – бессознательный ум, не подозревающий даже всей силы, присущей ему. Новалис прекрасно замечает, что драмы Шекспира – настоящие произведения природы, они глубоки, как сама природа. Я нахожу в этих словах великий смысл. В искусстве Шекспира нет ничего искусственного. Высшее достоинство его заключается не в плане, предварительно обдуманной концепции. Оно выливается из самых глубин природы и разрастается в благородной, искренней душе поэта, являющейся, таким образом, голосом самой природы. Даже в отдаленном будущем люди все-таки будут находить новый смысл и значение в произведениях Шекспира, новое освещение своего собственного человеческого существования, «новые созвучия с бесконечным строением вселенной, соответствие с позднейшими идеями, связь с более возвышенными человеческими стремлениями и чувствами». Обо всем этом очень и очень стоит подумать.

Величайший дар, каким природа наделяет всякую истинно великую простую душу, состоит в том, что она делает ее частью самой себя. Произведения такого человека, с каким бы, по-видимому, напряжением сознания и мысли он ни творил их, вырастают бессознательно из неведомых глубин его души, как вырастает дуб из недр земли, как образуются горы и воды. Во

всем видна симметрия, присущая собственным законам природы. Все находится в соответствии с совершенной истиной. Как много нераскрытого еще остается для нас в Шекспире: его скорби, молчаливая, ему только одному известная борьба; многое, что не было вовсе ведомо, не могло быть даже и высказано. Все это – подобно корням, сокам и силам, работающим под землею! Слово – великое дело, но молчание – еще более великое.

Замечательно также жизнерадостное спокойствие этого человека. Не стану осуждать Данте за его злополучную судьбу: жизнь его была борьбой без победы, но, во всяком случае, истинной борьбой, что самое важное и необходимое. Однако Шекспира я ставлю выше Данте. Он также боролся честно – и победил.

Несомненно, у него были свои скорби. Его сонеты достаточно выразительно говорят, в какие глубокие пучины приходилось бросаться ему и плыть, отстаивая свою жизнь, – и вряд ли кому-либо другому из людей, подобных ему, приходилось испытывать такие положения. Мне кажется бессмысленным наше обычное представление, что он будто бы сидел, подобно птице на ветке, и пел свободно, по минутному вдохновению, не ведая тревог и беспокойств, испытываемых другими людьми. Нет, ни с одним человеком не бывает так. Каким бы образом человек мог выбиться из положения деревенского браконьера и стать писателем, творцом великой трагедии, не испытав на своем пути, что такое скорбь? Или еще лучше: каким бы образом человек мог создать Гамлета, Кориолана, Макбета, такую массу героически страдающих сердец, если бы его собственное героическое сердце никогда не страдало?

А теперь обратите внимание на его веселость, на его неподдельную безграничную любовь к смеху! Какая противоположность! Можно, пожалуй, сказать, что если он в чем-либо и хватает через край, так это только в смехе. Вы находите у Шекспира также и страстные упреки, слова, которые режут и жгут. Но вместе с тем он всегда сохраняет меру в своем гневе; он никогда не увлекается тем, что Джонсон назвал бы специальностью «умелого ненавистника». Смех же, кажется, изливается из него целыми потоками. Он осыпает предмет своего издевательства массой всевозможно смешных кличек, вертит и тешится им среди всевозможного рода грубых шуток: он стонет от смеха, сказали бы вы.

Правда, его смех не всегда отличается изысканной утонченностью, но зато это всегда самый веселый смех. Он не смеется над слабостью, несчастьем и бедностью. Никогда. Никакой человек, умеющий смеяться в действительном смысле

этого слова, не станет смеяться над подобными положениями. Так поступает лишь жалкая посредственность, которая испытывает один только зуд к смеху и которая пользуется репутацией остроумца. Смех предполагает симпатию. Добрый смех не похож на «потрескивания валежника под горшком». Даже над глупостью и притязательностью Шекспир смеется своим добродушным, веселым смехом. Догберри и Вержес[87] вызывают у нас чистый, сердечный смех, и мы напутствуем их бесконечными взрывами хохота. Но этот смех лишь сильнее привязывает нас к бедным молодцам, и мы от всей души желаем, чтоб они преуспевали по-прежнему и оставались начальниками городской стражи. Такой смех, по моему мнению, прекрасное дело, он подобен сиянию солнца на поверхности глубокого моря.

За недостатком места мы не можем войти здесь в рассмотрение каждого отдельного произведения Шекспира, хотя в этом отношении, быть может, далеко еще не все сделано. Имеем ли мы, например, такие разборы разных его драматических произведений, как разбор «Гамлета» в «Вильгельме Мейстере»[88]! Когда-нибудь это должно быть сделано.

У Августа Вильгельма Шлегеля[89] мы находим одно замечание относительно шекспировских исторических драм, «Генриха V» и других. Замечание, заслуживающее того, чтобы его напомнить здесь. Шлегель называет эти драмы своего рода национальным эпосом. Мальборо, помнится, говорил, что он знает из английской истории только то, чему научился у Шекспира. Действительно, вдумайтесь хорошо в эти драмы, и вы убедитесь, это – замечательнейшие истории, каких немного. В них удивительным образом схватываются главные выдающиеся моменты. Все округляется само собой до особого рода ритмической связности, принимает, как выражается Шлегель, эпический характер, каким действительно всегда будет отличаться всякий образ, нарисованный великим мыслителем.

Поистине много прекрасного в этих драмах, которые, в сущности, представляют в своей совокупности одно цельное произведение. Битва при Азенкуре[90] поражает меня как одна из самых совершенных в своем роде картин, вышедших из-под пера Шекспира. Описание двух враждебных армий: изнуренные, измученные англичане; страшный, чреватый грядущею судьбою час, тот час, когда начинается сражение; и потом – это бессмертное мужество: «Эй, вы, добрые мужички, члены которых сработаны в Англии!» В этих словах чувствуется благородный патриотизм, очень далекий от того «равнодушия», какое, как вам иногда приходится слышать, приписывают Шекспиру. Настоящее английское сердце, спокойное и славное, бьется в каждой его

строчке. Сердце не бурливое, не порывающееся постоянно вперед, и тем лучше. Точно звук от удара стали о сталь слышится вам здесь. Этот человек сумел бы также нанести и действительный удар, если бы дело дошло до того!

Однако по поводу произведений Шекспира я замечу вообще, что они вовсе не дают нам полного представления о нем самом, даже относительно полного, какое мы имеем о многих людях. Его произведения – окна, множество окон, через которые мы можем лишь заглянуть в его внутренний мир. Все произведения его кажутся сравнительно поверхностными, несовершенными, написанными при стеснительных обстоятельствах. Лишь то там, то здесь вы встречаете кое-какие намеки на то, что человек находит себе полное выражение. Попадаются действительно страницы, которые, подобно небесному сиянию, проникают в вашу душу. Вас поражает целый сноп лучезарного света, освещающего самую сокровенную суть вещей, и вы говорите: «Это – сама истина, сказанная раз навсегда. Во всяком месте и во всякое время, пока будет существовать хотя одна искренняя человеческая душа, это будет признаваться за истину!» Такие полосы света дают вместе с тем почувствовать вам, что окружающая атмосфера не лучезарна, она отчасти преходяща, условна.

Увы, Шекспиру приходилось писать для своего театра «Глобус». Его великая душа должна была втискивать себя, как она могла, в такую именно, а не в другую форму. Ему пришлось считаться с тем, с чем считаемся и все мы. Ни один человек не работает вне всяких условий. Скульптор не может выставить одну свою голую мысль. Он должен облечь ее, как умеет, в камень, пользуясь при этом данными ему орудиями. Disjecta membra[91] – вот и все, что остается нам от всякого поэта, человека.

Всякий, кто разумно относится к Шекспиру, поймет, что он был не только поэтом, но и пророком, на свой, конечно, лад. Он обладал прозорливостью, подобной пророческой прозорливости, хотя она и обнаруживалась у него иным образом. И ему природа представлялась также божественной, невыразимой, глубокой, как пропасть Тофет[92], высокой, как небеса: «Мы из той же материи, из которой созданы и мечты!» Эта надпись в Вестминстерском аббатстве, которую немногие понимают надлежащим образом, говорит о глубокой проницательности ясновидца. Но этот человек, кроме того, пел. Его проповедь, следовательно, выливалась в музыкальных образах.

Мы назвали Данте сладкозвучным первосвященником средневекового католицизма. Не вправе ли мы назвать Шекспира еще более сладкозвучным первосвященником истинного

католицизма, «вселенской церкви» будущего и всех времен. В нем нет и тени узкого суеверия, жестокого аскетизма, нетерпимости, фанатической свирепости, извращенности, из его уст исходит одно лишь откровение, а именно – что во всей природе живет сокрытая на тысячу ладов красота и божество, которым все люди да поклонятся, как умеют! Не оскорбляя ничьего чувства, мы можем сказать, что весь Шекспир представляет своего рода мировой гимн, достойный раздаваться наряду с еще более святыми гимнами, нисколько не нарушая гармонии этих последних, надлежащим образом понимаемых, конечно!

Я не могу, как некоторые это делают, считать Шекспира скептиком. Их смущает его равнодушное отношение к верованиям и теологическим спорам того времени. Нет, по отношению к Шекспиру не может быть речи ни об отсутствии патриотизма, ни о скептицизме, хотя он мало говорит о своей вере. Его «равнодушие» было результатом его величия. Он уходил всем своим сердцем, целиком, в собственную великую сферу поклонения, и все эти споры, имевшие жизненное значение для других людей, для него были лишены своего живого смысла.

Называйте это поклонением, называйте, как хотите. Но разве все то, что Шекспир дал нам, не представляет поистине славного достояния, целой массы достояний? Что касается меня, то я вижу какую-то святость в самом факте появления среди нас подобного человека. Не является ли он для всех нас своего рода глазом; благословенным, ниспосланным самим небом подателем света? И в сущности, разве не лучше, что Шекспир, во всем бессознательно действовавший человек, не думал ни о какой небесной миссии? Он проникал в самую суть этого внутреннего блеска и потому не мог выделить себя, как то делал Магомет, и считать «пророком Господа». Но разве это не свидетельствует лишь о том, что Шекспир величественнее и выше Магомета? Да, выше. На долю его выпал больший успех, если взглянуть на дело глубже, как это мы показали на примере Данте.

В сущности, идея Магомета о его небесной миссии пророчества была заблуждением. Она повлекла за собою такой ворох басней, непристойностей, жестокостей, что для меня представляется даже спорным утверждать в данном месте и в данный момент, как я утверждал раньше, что Магомет был истинным проповедником, а не честолюбивым шарлатаном, пустым призраком и извращенностью; проповедником, а не болтуном! Даже в самой Аравии, думаю я, Магомет выдохнется и будет предан забвению, в то время как Шекспир и Данте все еще будут блистать своею свежестью и юностью. Шекспир все еще сохранит за собою право на положение первосвященника

человечества в Аравии, как и повсюду в других местах. Да, он сохранит их на бесконечно долгие времена!

Действительно, сравнивая Шекспира со всяким другим проповедником, со всяким другим певцом из существовавших когда-либо в мире, даже с Эсхилом или Гомером, почему мы не можем допустить, что он, ввиду его правдивости и универсальности, будет так же долговечен, как и эти последние? Он так же искренен, как они. Он так же глубоко захватывает вещи, как они, проникая до всеобщего и вечного. Но что касается Магомета, то, я думаю, для него было бы лучше, если бы он не был в такой мере сознательным! Увы, бедный Магомет! Все, что было в нем сознательно продуманным, оказалось лишь одним заблуждением, пустотой и пошлостью, как это в действительности всегда бывает. А того, что было в нем истинно великим, он также не сознавал. Он не сознавал, что он был диким львом Аравийской пустыни, его речь звучала подобно могучим раскатам грома, благодаря вовсе не тем словам, о которых он думал, что они велики, а тем действиям, чувствам, истории, которые действительно были велики! Коран его превратился в нелепую книгу велеречивой благоглупости. Мы не верим, подобно ему, что Бог диктовал ее! Великий человек в данном случае, как и всегда, являет собою силу природы: все, что в нем оказывается действительно великим, исходит из неизъяснимых глубин ее.

Хорошо. Таков наш бедный варвикский крестьянин, достигший наконец положения директора театра, так что он мог жить, не прибегая к милостыне. На него граф Саутгемптон[93] бросил несколько благосклонных взглядов; а сэр Томас Льюси – превеликое спасибо ему за то – хотел отправить его на галеры! Пока он жил среди нас, мы не считали его богом, как некогда Одина! По этому поводу следовало бы многое сказать. Но я скажу коротко или, вернее, повторю сказанное уже раньше. Несмотря на печальное положение, в каком находится в настоящее время культ героев, посмотрите, чем этот Шекспир стал в действительности для нас. Разве мы не отдали бы охотно любого англичанина, целого миллиона англичан, за нашего стратфордского крестьянина? Соберите целый полк из самых высших наших сановников, и мы согласимся обменять всех их на него одного. Он – величайшее наше достояние, какое только мы приобрели до сих пор.

В интересах нашей национальной славы среди иноземных народов, как величайшее украшение всего нашего английского строительства, мы ни в коем случае не отступились бы от него. Подумайте, если бы нас спросили: англичане, от чего вы согласны

скорее отказаться – от своих индийских владений или от своего Шекспира? Что предпочтете вы – лишиться навсегда индийских владений или потерять навсегда Шекспира? Это, конечно, был бы очень трудный вопрос. Официальные люди ответили бы, несомненно, в официальном духе. Но мы со своей стороны разве не чувствовали бы себя вынужденными ответить так: останутся ли у нас индийские владения или не останутся, но мы без Шекспира жить не можем! Индийские владения, во всяком случае, когда-нибудь отпадут от нас, но этот Шекспир никогда не умрет, он вечно будет жить с нами. Мы не можем отдать нашего Шекспира!

Оставим наконец всякие возвышенные соображения и взглянем на Шекспира как на достояние реальное, полезное, взглянем на него с меркантильной точки зрения. Англичане, населяющие ныне этот остров, собственно Англию, в непродолжительном времени будут представлять лишь незначительную часть всех англичан. Скоро настанет время, когда во все стороны – к Америке, Новой Голландии[94], на восток и запад до самых антиподов будет простираться царство саксов. Оно захватит громадные пространства земного шара. Что же в таком случае будет удерживать всех их вместе, объединять всех в действительно единую нацию? Что не даст им восстать друг на друга и бороться? Что, напротив того, заставит их жить в мире, в братском общении между собою, поддерживая друг друга? Вот поистине величайшая практическая проблема, дело, которое предстоит совершить всякого рода верховным авторитетам и правительствам. Но кто же или что же в действительности совершит его? Парламентские акты, первые министры со своею административною властью бессильны в данном случае. Парламент, насколько мог, содействовал отпадению от нас Америки. Не сочтите за фантазию то, что я сейчас скажу вам, ибо в этих моих словах много реальной правды. Есть, скажу я, один английский король, которого ни время, ни случай, ни парламент, ни целая коалиция парламентов не может свести с трона! Король этот – Шекспир.

Разве он действительно не сияет над всеми нами в своем венчанном превосходстве, как благороднейший, доблестный и вместе с тем могущественнейший лозунг нашего объединения, лозунг нерушимый и поистине более важный с этой точки зрения, чем всевозможные другие средства и ресурсы? Пройдут целые тысячелетия, а лучи, как бы нисходящие от него, будут по-прежнему осенять народы, ведущие свое происхождение от нас, англичан. В Калькутте и в Нью-Йорке, повсюду, где только будут жить англичане или англичанки, какого бы рода у них ни были власти предержащие, они будут говорить друг другу: «Да,

Шекспир – наш. Мы породили его, мы говорим и думаем заодно с ним, мы одной с ним крови, одной расы». Политику, действительно одаренному здравым смыслом, также следует подумать об этом.

Да, поистине великое дело для народа – обладать явственным голосом, обладать человеком, который мелодичным языком высказывает то, что чувствует народ в своем сердце. Италия, например, бедная Италия, лежит раздробленная на части, рассеянная. Нет такого документа или договора, в котором она фигурировала бы как нечто целое. И однако благородная Италия на самом деле – единая Италия. Она породила своего Данте, она может говорить! Представьте теперь всероссийского царя. Он силен, располагая множеством штыков, казаков и пушек. Он с большим искусством удерживает политическое единство на такой части земного пространства; но он еще не умеет говорить. В нем есть нечто великое, но это немое величие. Ему недостает главного – голоса гения, – для того чтобы его слышали все люди и во все времена. Он должен научиться говорить. До тех же пор он не более и не менее как громадное безгласное чудовище. Все его пушки и казаки превратятся в прах, в то время как голос Данте по-прежнему будет слышим в нашем мире. Народ, у которого есть Данте, объединен лучше и крепче, чем это может сделать безгласная Россия. На этом мы и покончим с тем, что хотели сказать относительно героев-поэтов.

Беседа четвертая Герой как пастырь. Лютер: реформация. Нокс: пуританизм

Нашу настоящую беседу мы посвящаем великим людям как духовным пастырям. Мы уже несколько раз пытались выяснить, что герои всякого рода, по существу, созданы из одной и той же материи. Раз дана великая душа, открытая божественному смыслу жизни, то дан и человек, способный высказать и воспеть это, бороться и работать во имя этого величественным, победоносным, непреходящим образом. Дан, следовательно, герой, внешняя форма проявления которого зависит от времени и условий, окружающих его.

Пастырь, как я понимаю его, это также до известной степени пророк, он также должен носить в своей груди свет вдохновения. Он руководит культом народа, является звеном, связующим народ с невидимой святыней. Он – духовный вождь народа, как пророк – духовный король его, окруженный многими полководцами. Он ведет народ в Царство Небесное, руководя им надлежащим образом в земной жизни и в повседневном труде. Идеал его – также быть голосом, ниспосланным с невидимых небес, голосом, изъясняющим и раскрывающим людям в более доступной форме то же самое, что возвещает и пророк: незримые небеса, «открыто лежащую тайну вселенной», для чего очень немногие имеют достаточно проницательный глаз! Он тот же пророк, но у него нет блеска, свойственного этому последнему, блеска, поражающего и внушающего благоговейный ужас. Он светит своим мягким, ровным сиянием, как светильник повседневной жизни. Таков, говорю я, идеал духовного пастыря. Таков он был в древние времена. Таким он остается ныне и таким же останется во все будущие времена.

Всякий очень хорошо понимает, что необходимо относиться с большой терпимостью, когда речь идет об идеалах, осуществляемых на деле, – очень большой терпимостью. Но пастырь, совершенно не соответствующий тому, что предписывает ему идеал, не имеющий даже этого идеала в виду и не стремящийся к нему, представляет личность, о которой мы сочтем за лучшее вовсе не говорить здесь ничего.

Лютер и Нокс, по прямому своему призванию, были пастырями и совершали действительно надлежащим образом свое служение в обычном смысле этого слова. Однако мы считаем более уместным рассмотреть здесь их историческое значение, то есть скорее как реформаторов, а не пастырей. Во времена более

спокойные были, быть может, и другие пастыри, равным образом замечательные по преданному исполнению своих обязанностей, как руководители в деле народного поклонения. Благодаря своему неизменному героизму они вносили небесный свет в повседневную жизнь народа. Вели его по надлежащему пути вперед, как бы под верховным руководством Бога. Но когда путь оказывается неровен, исполнен борьбы, затруднений и опасностей, то духовный полководец, ведущий народ по такому пути, приобретает преимущественный, перед всеми другими, интерес для пользующихся плодами его руководства. Это – воинствующий и ратоборствующий пастырь. Он ведет свой народ не к мирному и честному труду, как в эпохи спокойной жизни, а к честной и отважной борьбе, как это бывает во времена всеобщего насилия и разъединения. Это представляет более опасное и достойное служение, безразлично, будет ли оно в то же время более возвышенным или нет.

Лютера и Нокса мы всегда будем считать самыми выдающимися пастырями, насколько они были нашими наиболее выдающимися реформаторами. Мало того, разве не всякий истинный реформатор по натуре своей является прежде всего пастырем? Он взывает к незримой справедливости небес против зримого насилия на земле. Он знает, что оно, это незримое, сильно и что оно одно только сильно. Он – человек, верующий в божественную истину вещей. Человек, проникающий сквозь наружную оболочку вещей. Поклоняющийся, в той или иной форме, их божественной истине. Одним словом, он – пастырь. Если он не будет прежде всего пастырем, он никогда не достигнет действительного успеха как реформатор.

Итак, выше мы видели великих людей в разных положениях. Они созидают религии, героические формы человеческого существования. Строят теории жизни, достойные того, чтобы их воспевал какой-либо Данте. Организуют практику жизни, достойную своего Шекспира. Теперь же посмотрим на обратный процесс, который также необходим и также может совершаться героическим образом. Любопытно уже одно то, что подобный процесс может быть необходим, и он действительно необходим. Мягкое сияние света, распространяемое поэтом, должно уступить место порывистому, подобно молнии, сверканию реформатора.

К сожалению, реформатор также представляет собою лицо, без которого не может обойтись история! Действительно, что такое поэт с его спокойствием, как не продукт, последнее слово реформаторской пророческой деятельности со всей ее жестокой горячностью? Не будь диких святых Домиников и фиваидских отшельников, не было бы и сладкозвучного Данте. Грубая

практическая борьба скандинавов и других народов, начиная от Одина до Уолтера Рэли[95], от Ульфилы до Кранмера[96], дала возможность заговорить Шекспиру. Да, появление совершенного поэта, как я говорю это уже не в первый раз, служит признаком того, что эпоха, породившая его, достигла своего полного развития и завершается. В скором времени наступит новая эпоха, понадобятся новые реформаторы.

Несомненно, было бы много приятнее, если бы человечество могло совершать весь свой жизненный путь под аккомпанемент музыки, если бы нас могли обуздывать и просвещать наши поэты подобно тому, как в древние времена Орфей укрощал диких зверей. Или если уж такой ритмический музыкальный путь невозможен, то, как хорошо было бы, если бы мы могли двигаться по крайней мере по гладкому пути. Я хочу сказать, если бы для постоянного движения человеческой жизни было достаточно одних мирных пастырей, действующих в реформаторском духе изо дня в день! Но в действительности жизнь совершается не так. Даже последнего рода желание до сих пор еще не находит себе удовлетворения. Увы, воинствующий реформатор также время от времени представляет необходимое и неизбежное явление. В препятствиях никогда не бывает недостатка. Даже то, что служило некогда необходимою поддержкою в деле развития, становится со временем помехой. Отсюда – настойчивая потребность сбросить с себя все эти путы, высвободиться из них и оставить их далеко позади себя – дело, представляющее часто громадные затруднения.

Конечно, весьма знаменательно, каким образом известная теорема или, так сказать, религиозное представление, признанное некогда всем миром, вполне удовлетворявшее во всех своих частях и высокой степени логический и проницательный ум Данте, один из величайших умов в мире, – начинает в последующие столетия возбуждать сомнение среди заурядных умов. Каким образом оно начинает критиковаться, оспариваться и в настоящее время каждому из нас представляется решительно невероятным, устарелым, подобно древнескандинавскому верованию! Для Данте человеческая жизнь и путь, которым Господь ведет людей, находили себе вполне точное изображение в злых щелях, чистилищах, а для Лютера уже нет. Каким образом произошло это? Почему не мог продолжаться дантовский католицизм и неизбежно должен был наступить лютеровский протестантизм? Увы! Ничто не будет вечно продолжаться.

Я не придаю особого значения «развитию видов», как о нем толкуют теперь, в наши времена, и не думаю, чтобы вас особенно интересовали разные толки на этот счет, толки весьма часто

самого неопределенного, самого нелепого характера. Однако я должен заметить, что указываемый при этом факт представляется сам по себе довольно достоверным: мы можем даже проследить неизбежную необходимость его, вытекающую из самой природы вещей. Всякий человек, как я уже утверждал в другом месте, не только изучает, но и действует. Присущим ему умом он изучает то, что было, и благодаря тому же уму делает дальнейшие открытия, изобретает и выдумывает нечто из самого себя. Нет человека, абсолютно лишенного оригинальности. Нет человека, который верил бы или мог бы верить неизменно в то же самое, во что верил его дед. Каждый человек благодаря последующим открытиям приобретает более широкий взгляд на мир, с чем расширяется и его теорема мира. Этот мир – бесконечный мир, и потому никакой взгляд, никакая теорема, какой угодно мыслимой широты, не могут всецело и окончательно охватить его. Человек несколько расширяет, говорю я, свое мировоззрение, находит кое-что из того, во что верил его дед, невероятным для себя, ложным, несогласным с новыми открытиями и наблюдениями, произведенными им. Такова история каждого отдельного человека.

В истории же человечества мы видим, как подобные истории суммируются в великие исторические итоги – революции, новые эпохи. Дантовой горы Чистилища нет уже более «в океане другого полушария» с тех пор, как Колумбу удалось побывать там. Люди не нашли в этом другом полушарии ничего похожего на такую гору. Ее не оказалось там. Волей-неволей людям приходится оставить свое верование в то, что она там. То же самое происходит и со всеми верованиями, каковы бы они ни были, со всеми системами верований и системами практической деятельности, возникающими из них.

Прибавим еще к этому грустному факту, что раз известная вера теряет свою достоверность, то и поступки, обусловливаемые ею, становятся также лживыми, худосочными, заблуждения, несправедливости, несчастья начинают тогда повсюду давать себя чувствовать все сильнее и сильнее, и мы получаем достаточный материал для катаклизма. При каких угодно условиях человек для того, чтобы действовать с полной уверенностью, должен горячо верить. Если он во всяком отдельном случае испытывает необходимость обращаться к мнению света, не может обходиться без этого и, таким образом, порабощает свое собственное мнение, то он – жалкий слуга, работающий из-под палки. Труд, порученный ему, будет скверно сделан. Такой человек каждым своим шагом приближает наступление неизбежного крушения. Всякое дело, за которое он возьмется и которое он делает

бесчестно, с взором, обращенным на внешнюю сторону предмета, является новой неправдой, порождающей новое несчастье для того или другого человека. Неправды накапливаются и в конце концов становятся невыносимыми. Тогда происходит взрыв, и они насильственным образом ниспровергаются, сметаются прочь.

Возвышенный католицизм Данте, подорванный уже в теории и еще более обезображенный сомневающейся лицемерной, бесчестной практикой, разрывается надвое рукою Лютера. Благородный феодализм Шекспира, как прекрасен он ни казался некогда и как прекрасен он ни был в действительности, находит свою неизбежную гибель во Французской революции. Накопившиеся неправды, как мы говорим, буквально взрываются, разметываются по сторонам вулканической силой. Наступают долгие беспокойные периоды, прежде чем в жизни снова установится определенный порядок.

Конечно, довольно плачевную картину представит нам история, если мы обратим внимание исключительно на эту сторону жизни и во всех человеческих мнениях и системах станем усматривать один только тот факт, что они были недостоверны, преходящи и подлежали закону смерти! В сущности, это не так. Всякая смерть постигает и в данном случае лишь тело, а не самую суть или душу. Всякое разрушение, причиняемое насильственной революцией или каким-либо другим способом, есть лишь новое творение в более широком масштабе. Одинизм был воплощением отваги, христианство – смирения, то есть более благородного рода отваги. Всякая мысль, раз человек искренне признавал ее в своем сердце истинной, всегда была честным проникновением со стороны человека в истину Бога, всегда заключала в себе настоящую истину, непреходящую, несмотря на всяческие изменения, и составляет вечное достояние для всех нас.

А с другой стороны – какое жалкое понимание обнаруживает представляющий всех людей во всех странах и во все времена, исключая наше, растрачивающих свою жизнь в слепом и презренном заблуждении. Язычники-скандинавы, мусульмане погибали, чтобы одни только мы могли достигнуть истинного конечного знания! Целые поколения погибли, все люди заблуждались для того только, чтобы существующая ныне незначительная горсть могла быть спасена, могла знать правду! Все они, начиная с сотворения мира, шли в качестве авангарда вперед. Подобно тому как шли русские солдаты в ров Швайнднитцского форта[97] заполнить его своими мертвыми телами и доставить, таким образом, нам возможность перейти через ров и занять позицию! Это невероятная гипотеза.

И мы знаем, с какою жестокою энергией люди отстаивали

подобную невероятную гипотезу. Какой-нибудь жалкий человек с сектой своих приверженцев готов был шагать через мертвые тела всех людей, направляясь будто бы к верной победе. Но что сказать о нем, если и он со своей гипотезой и своим конечным непогрешимым credo также провалился в ров и становился, в свою очередь, мертвым телом? Впрочем, человек по самой природе своей – и это составляет весьма важный факт – имеет тенденцию считать собственное воззрение окончательным и держаться за него как за таковое. Он будет всегда, думаю я, так поступать, всегда, так или иначе, утверждать то же самое. Но необходимо делать это более разумным образом, необходимо обнаруживать более широкое понимание. Разве все люди, живущие и когда-либо жившие, составляют не одну армию, собранную для того, чтобы под началом небес дать битву одному и тому же общему врагу – царству тьмы и неправды?

Зачем же нам отказываться друг от друга, сражаться не против врага, а друг против друга из-за пустой разницы в своих мундирах? Всякий мундир будет хорош, если только его носит истинно храбрый человек. Всевозможного рода мундиры и всякого рода оружие – арабский тюрбан и легкая сабля или могучий молот Тора, поражающий ётунов, – все окажется хорошим, будет желанным оружием. Воинственный призыв Лютера, марш-мелодия Данте, все неподдельное, все это за нас, а не против нас. У всех нас один и тот же вождь. Мы солдаты одной и той же армии…

Бросим же теперь беглый взгляд на сражение, данное Лютером. В чем состояла битва, и как он вел себя в ней? Лютер был также одним из наших героев – пророком своей страны и своего времени.

В качестве вступления ко всему последующему, быть может, уместно сделать здесь некоторые замечания относительно идолопоклонства. Одну из характерных особенностей Магомета, особенность, свойственную в действительности всем пророкам, составляет его безграничная, непримиримая ненависть к идолопоклонству. Идолопоклонство, поклонение мертвому идолу как божеству – это неисчерпаемая тема в устах пророков. Вопрос, от которого они не могут никуда уйти. Предмет, на который они должны постоянно указывать и клеймить с неумолимым осуждением как величайший грех из всех грехов, какие только совершаются на земле. Этот факт, во всяком случае, стоит отметить. Мы не станем касаться здесь теологической стороны в вопросе об идолопоклонстве. Идол есть eidolon, что означает вещь видимую, символ. Это – не Бог, а – символ Бога. Да и существовал ли в самом деле когда-либо такой смертный, объятый самой

непроглядной тьмой, который видел бы в идоле нечто большее, чем простой символ?

Человек никогда не думал, как я себе представляю, что жалкое изображение, созданное его собственными руками, было Богом. Он полагал лишь, что это изображение служит символом его Бога, Бог тем или иным образом присутствует в нем. И в этом смысле, можно спросить, не является ли всякое поклонение поклонением через посредство символов, eidola, видимых вещей? Причем нет существенной разницы в том, доступно ли это видимое нашему телесному глазу благодаря изображению или картине или же оно остается доступным лишь внутреннему глазу, воображению, уму: это различие второстепенного порядка. Нечто видимое, означающее божество, идол, остается в обоих случаях. Самый строгий пуританин имел свое исповедание веры и свое отвлеченное представление о божественном, поклонялся посредством такого представления. Благодаря только этому последнему для него вначале становится возможным само поклонение. Все догматы, ритуалы, обряды, концепции, в которые выливаются религиозные чувства, в этом смысле представляют eidola, видимые вещи. Всякое поклонение, каково бы оно ни было, неизбежно совершается при помощи символов, идолов. Мы можем сказать, что идолопоклонство – дело относительное и что худшее идолопоклонство представляет собою только, так сказать, более идолопоклонческое идолопоклонство.

В чем же заключается в таком случае зло, проистекающее из идолопоклонства? Известное фатальное зло заключаться в нем – это несомненно. Иначе серьезные, вдохновенные даром пророчества люди не обрушивались бы на него со всех сторон. Отчего идолопоклонство так ненавистно пророкам? Мне кажется, что главное обстоятельство, возмущавшее пророков в поклонении этим жалким деревянным символам и наполнявшее их душу негодованием и отвращением, было в действительности не то, какое признавали они в сердце своем и на которое указывали, обращаясь к другим людям. Самый последний язычник, поклоняющийся Канопусу или Черному камню Каабы, даже он, как мы видели, стоит выше лошади, не поклоняющейся вовсе ничему. Да, в его жалком поступке сказывается вовсе не случайное благородство. Мы до сих пор считаем благородством аналогичные проявления у поэтов, а именно: признание известной бесконечно божественной красоты и значения в звездах и во всех предметах природы, каковы бы они ни были.

За что же пророк так беспощадно осуждал этого бедного язычника? Самый последний смертный, раз только он поклоняется своему фетишу от полноты своего сердца, может

быть предметом сожаления, презрения, отвращения, если вам угодно, но никоим образом не ненависти. Пусть его сердце действительно будет исполнено искреннего поклонения – и все тайники его темной и маленькой души осветятся. Одним словом, пусть он всецело верит в свой фетиш, и тогда, я сказал бы, ему будет хорошо и вы оставите его в покое, не станете его тревожить.

Так было и на самом деле, если бы не одно фатальное для идолопоклонства обстоятельство, дающее себя чувствовать в такие моменты, именно тот факт, что в эпоху пророков ни одна человеческая душа не верит уже искренне в своего идола или в свой символ. Пророк, видящий дальше этого идола и знающий, что он только кусок дерева, может появиться, когда темное сомнение закралось уже в души многих людей и сделало свое дело.

Заслуживает осуждения лишь неискреннее идолопоклонство. Сомнение уничтожает самую сердцевину поклонения, и человеческая душа судорожно хватается за ковчег завета, который, как она это наполовину сознает, превратился уже в фантом. Это – одно из самых грустных зрелищ. Фетиш не наполняет уже более людских сердец. У людей остается одно только притязание, что они будто бы верят. Они хотели бы убедить себя, что они действительно верят. «Вы не верите, – сказал Колридж, – вы верите только тому, что верите». Таков последний акт всякой символизации и всякого поклонения, верный признак, что смерть не за горами. В наше время подобную роль играет так называемый формализм, поклонение форме. Нет человеческого деяния более безнравственного, чем этот формализм, ибо он – начало всякой безнравственности или, вернее, невозможности с момента его появления какой бы то ни было нравственности. Он парализует моральную жизнь духа в самой сокровенной глубине ее, повергает ее в фатальный магнетический сон. Люди перестают быть искренними людьми. Я нисколько не удивляюсь, что серьезный человек отвергает его всеми силами своей души, клеймит и преследует его с неистощимым отвращением. Он и формализм, все хорошее и формализм находятся в смертельной вражде. Позорным идолопоклонством является ханжество, и даже такое ханжество, которое можно назвать искренним. Над этим стоит подумать! Такова, однако, завершающая фаза всякого культа поклонения.

Я нахожу, что Лютер в деле ниспровержения идолов занимает такое же место, как и всякий другой пророк. Деревянные боги курейшитов, сделанные из досок и воска, были в такой же мере ненавистны Магомету, как Лютеру индульгенции Тетцеля, сделанные из овечьей кожи и чернил. Характерную особенность

всякого героя во всякое время, во всяком месте, во всяком положении и составляет именно то, что он возвращается назад к действительности, опирается на самые вещи, а не на их видимость. Поэтому насколько он любит и почитает внушающий благоговейный ужас реальный мир вещей, настолько для него несносны и отвратительны пустые призраки, хотя бы они были систематизированы, приведены в приличный вид и удостоверены курейшитами или конклавами. Может ли он при этом отчетливо изложить свое верование или же оно остается невысказанным в глубине его мысли – все равно. Протестантизм также есть дело рук пророка, пророка XVI столетия. Это первый удар, нанесенный в открытом бою и возвещающий падение древнего верования, ставшего лживым и идолопоклоннническим. Это исподволь подготовка нового порядка, который будет истинным и подлинно божественным!

С первого взгляда может показаться, будто бы протестантизм оказал крайне гибельное влияние на то, что мы называем почитанием героев и считаем основой всякого возможного блага, социального и религиозного, в интересах человечества. Протестантизм, говорят многие, составляет совершенно новую эру, радикально отличающуюся от всех, пережитых до тех пор миром: эру «личного суждения», как называют ее. Благодаря этому возмущению против Папы всякий человек сам стал себе Папой и просветился, между прочим, в том отношении, что он никогда не должен более верить в какого бы то ни было Папу или духовного героя-руководителя! Отсюда, с этих пор, становится невозможным какое бы то ни было духовное единение, иерархия и субординация между людьми. Так утверждают. Я со своей стороны не считаю нужным отрицать, что протестантизм действительно был возмущением против духовных авторитетов – папского и многих иных.

С еще большей охотой соглашусь я с тем, что английский пуританизм, это восстание против светских авторитетов, представлял второй акт великой общечеловеческой драмы. Сама ужасающая Французская революция была третьим актом, которым, как могло казаться, упразднялись всякие вообще авторитеты, светские и духовные, по крайней мере эти последние были уверены в своем упразднении. Протестантизм – корень огромных размеров. Из него растет и ветвится вся наша последующая европейская история. Ибо светская история человечества всегда будет представлять собою воплощение его верований. Духовное есть начало светского. И действительно, в настоящее время невозможно отрицать тот факт, что повсюду раздаются крики о свободе, равенстве, независимости и т. д.,

вместо королей – баллотировочные ящики и голоса избирателей. Может казаться, что настало время, когда всякий авторитет героя, всякое лояльное подчинение человека человеку в светских или духовных делах исчезли навеки из нашего мира. Я совершенно разуверился бы в мире, если бы это было так. Одно из моих глубочайших убеждений, однако, что это не так.

Без авторитетов, истинных авторитетов, светских или духовных, на мой взгляд, возможна одна только анархия, ненавистнее которой нельзя представить себе ничего. Но как бы ни была анархична демократия, породившая протестантизм, я считаю этот последний началом нового истинного верховенства и порядка. Я нахожу, что протестантизм был возмущением против ложных авторитетов, первым, предварительным, правда, мучительным, но необходимым шагом к тому, чтобы истинные авторитеты заняли наконец свое место среди нас! Поясним несколько нашу мысль.

Прежде всего я замечу, что так называемое личное суждение не заключает в себе, в сущности, ничего нового, – оно ново лишь для данной эпохи мировой истории. По существу, вся Реформация не представляет ничего нового и особенного. Она была возвращением к истине и действительности в противоположность царившим лжи и видимости, возвращением, каким всегда является всякое прогрессивное движение и истинное учение. Свобода личного суждения, если мы надлежащим образом будем понимать ее, неизбежно должна была существовать во всякую пору в мире. Данте не выкалывал себе глаз, не налагал на себя оков. Нет, он чувствовал себя как дома в атмосфере своего католицизма и сохранял при этом свою свободную провидящую душу, хотя многие жалкие Гогстратены, Тецели, доктора Экки[98] стали впоследствии рабами его. Свобода суждения! Никакая железная цепь, никакая внешняя сила никогда не могли принудить человеческую душу верить или не верить. Суждение человека есть его собственный неотъемлемый свет. В этой области он будет царить и веровать по милости единого Бога!

Ничтожный, жалкий софист Беллармин[99], проповедующий слепую веру и пассивное повиновение, должен был сначала, путем некоторого рода убеждения, отказаться от своего права быть убеждаемым. Его «личное суждение» остановилось на этом как на наиболее подходящем для него шаге. Право личного суждения будет существовать в полной силе повсюду, где только будут встречаться истинные люди. Истинный человек верит по своему полному разумению, по силе света, который он носит в себе, и способности понимать, присущей ему, и так он всегда

верил. Фальшивый человек, который силится только «убедить себя, что он верит», будет поступать, конечно, иначе. Протестантизм сказал этому последнему: горе тебе! А первому: прекрасно делаешь! В сущности, в этих словах нет ничего нового. Они знаменовали возврат к старым словам, которые искони веков говорились. Будьте непосредственны, будьте искренни: таков, еще раз повторяю, весь смысл протестантизма. Магомет верил по всей силе своего разумения, а Один – по всей силе своего разумения, – он и все истинные последователи одинизма. Они, по своему личному разумению, «рассудили» так.

Теперь я решаюсь утверждать, что личное суждение, законным образом применяемое, отнюдь не ведет неизбежно к эгоистической независимости, отчужденности, но скорее приводит в силу самой необходимости как раз к противоположному результату. Анархию порождает вовсе не стремление к открытому исследованию, а заблуждение, неискренность, полуверие и недоверие. Человек, протестующий против заблуждения, находится на правильном пути, который приводит его к единению со всеми людьми, исповедующими истину. Единение между людьми, верующими в одни только ходячие фразы, в сущности, немыслимо. Сердце у каждого из них остается мертвым. Оно не чувствует никакой симпатии к вещам – иначе человек верил бы в них, а не в ходячие фразы. Да, ни малейшей симпатии даже к вещам, что же говорить о симпатии к людям, себе подобным! Он вовсе не может находиться в единении с людьми; он анархичный человек. Единение возможно только среди искренних людей, и здесь оно осуществляется в конце концов неизбежно.

Обратите внимание на одно положение, слишком часто игнорируемое или даже совершенно упускаемое из виду в этом споре, а именно, что нет никакой необходимости, чтобы человек сам открывал ту истину, в которую он затем верит, и притом как бы искренне он ни верил в нее. Великий человек, мы сказали, бывает всегда искренним человеком, и это первое условие его величия. Но чтобы быть искренним, не обязательно вовсе быть великим. Природа и время вообще не знают такой необходимости. Она имеет место лишь в известные злополучные эпохи всеобщей развращенности. Человек может усвоить и затем переработать самым искренним образом в свое собственное достояние то, что он получает от другого, и чувствовать при этом беспредельную благодарность к другому! Все достоинство оригинальности не в новизне, а в искренности. Верующий человек – оригинальный человек. Во что бы он ни верил, он верит в силу собственного разумения, а не в силу разумения другого

человека. Каждый сын Адама может быть искренним человеком, оригинальным в этом смысле. Нет такого смертного, который был бы осужден на неизбежную неискренность.

Целые эпохи, называемые нами «веками веры», оригинальны. Все люди в такие эпохи или большинство их искренни. Это – великие и плодотворные века. Всякий работник во всякой сфере работает тогда на пользу не призрачного, а существенного. Всякий труд приводит к известному результату. Общий итог таких трудов велик, ибо все в них, как неподдельное, стремится к одной цели. Всякий труд дает новое приращение, и ничто не причиняет убытка. Здесь – истинное единение, истинно царская преданность во всем величии, все истинное и блаженное, насколько бедная земля может дать блаженство людям.

Почитание героев? О, конечно, раз человек самостоятелен, оригинален, правдив или как бы там иначе мы ни называли его, значит, он дальше всякого другого в мире от нежелания воздать должную дань уважения и поверить в истину, провозглашаемую другими людьми. Все это располагает, побуждает и непреодолимо заставляет его не верить лишь в мертвые формулы других людей, ходячие фразы и неправду. Человек проникает в истину, если его глаза открыты и благодаря только тому, что его глаза открыты: неужели ему нужно закрывать их для того, чтобы полюбить своего учителя истины? Только он и может, собственно, любить с искренней благодарностью и неподдельной преданностью сердца героя-учителя, освобождающего его из мрака и возвещающего ему свет. Разве действительно такой человек не является истинным героем и укротителем змей, достойным глубокого почтения? Черное чудовище, ложь, наш единственный враг в этом мире, лежит поверженное благодаря его доблести. Это именно он завоевал мир для нас! Посмотрите, разве люди не почитали самого Лютера как настоящего Папу, своего духовного отца, ибо он в действительности и был таким отцом? Наполеон становится властителем среди перешедшего всякие границы возмущения санкюлотизма[100].

Почитание героев никогда не умирает и не может умереть. Преданность и авторитетность вечны в нашем мире. Это происходит оттого, что они опираются не на внешность и прикрасы, а на действительность и искренность. Ведь не с закрытыми же глазами вы вырабатываете свое «личное суждение». Нет, напротив, открыв их как можно шире и устремив на то, что можно видеть! Миссия Лютера состояла в ниспровержении всяких ложных Пап и властелинов, но вместе с тем она возвещала грядущую жизнь и силу, хотя бы и в отдаленном будущем, новых, настоящих авторитетов.

Все эти свободы и равенства, избирательные урны, независимости и так далее мы будем считать, следовательно, явлениями временного характера; это вовсе еще не последнее слово. Хотя таковой порядок продлится, по-видимому, долгое время и он дарит всех нас довольно печальной путаницей, тем не менее мы должны принять его как наказание за наши прегрешения в прошлом, залог неоценимых благ в будущем.

Люди понимают, что они должны на всех путях жизни оставить призраки и возвратиться к факту, должны, чего бы это ни стоило. Что можете вы сделать с подставными Папами и с верующими, отказавшимися от личного суждения, шарлатанами, претендующими повелевать олухами? Одно только горе и злополучие! Вы не можете образовать никакого товарищества из неискренних людей. Вы не можете соорудить здания без помощи свинцового отвеса и уровня: под прямым углом один к другому! Все это революционное движение, начиная с протестантизма, подготовляет, на мой взгляд, один благодетельный результат: не уничтожение культа героев, а скорее, сказал бы я, целый мир героев. Если герой означает искреннего человека, почему бы каждый из нас не мог стать героем? Да, целый мир, состоящий из людей искренних, верующих; так было, так будет снова, иначе не может быть! Это будет мир настоящих поклонников героев: нигде истинное превосходство не встречает такого почитания, как там, где все – истинные и хорошие люди! Но мы должны обратиться к Лютеру и его жизни.

Лютер родился в Эйслебене, Саксонии. Он явился на свет Божий 10 ноября 1483 года. Такая честь выпала на долю Эйслебена благодаря одному случаю. Родители реформатора были бедные рудокопы[101]. Они проживали в небольшой деревеньке Мора, близ Эйслебена, и пришли в город на зимнюю ярмарку. Среди ярмарочной толкотни жена Лютера почувствовала приступы родов. Ее приютили в одном бедном доме, и здесь она родила мальчика, который и был назван Мартином Лютером. Обстановка довольно странная, она наводит на многие размышления. Эта бедная фрау Лютер, она пришла с мужем, руководимая своими мелкими нуждами. Пришла, чтобы продать, быть может, моток ниток, высученных ею, и купить какие-либо необходимые по зимнему времени мелочи для своего скудного домашнего обихода. В целом мире в этот день, казалось, не было пары людей более ничтожной, чем наш рудокоп и его жена. И однако что в сравнении с ними оказались все императоры, Папы и властелины? Здесь родился, еще раз, могущественный человек. Свету, исходившему из него, предстояло пылать, подобно маяку, в течение долгих веков и

эпох. Весь мир и его история ожидали этого человека. Странное дело, великое дело. Мне невольно вспоминается другой исторический момент, другое рождение при обстановке еще более убогой, восемнадцать веков тому назад. Но как жалки всякие слова, какие мы можем сказать по поводу этого рождения, и потому нам подобает не говорить о нем, а только думать в молчании! Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно!

Лютер родился в бедности, рос в бедности и был вообще одним из самых бедных людей. Я нахожу, что все это вполне соответствовало его назначению здесь, на земле, и что все это было разумно предусмотрено Провидением, которое руководило им, как оно руководит нами и всем миром. Ему приходилось нищенствовать, ходить от двери к двери и петь ради куска хлеба, как делали школьники в те времена. Тяжелая, суровая необходимость была спутником бедного мальчика. Ни люди, ни обстоятельства не считали нужным прикрываться ложной маской, чтобы потворствовать Мартину Лютеру. Он рос, таким образом, не среди призраков, а среди самой действительности жизни. Будучи слабым ребенком, хотя грубая внешность его производила иное впечатление, с душой алчущей и широко объемлющей, богато одаренной всякими способностями и чувствительностью, он сильно страдал. Но перед ним стояла определенная задача: ознакомиться с действительностью, чего бы это ни стоило, и вынесенные таким образом познания сделать своим неотъемлемым достоянием. Перед ним стояла задача возвратить весь мир назад к действительности, ибо он слишком уж долго жил призрачностью! Юношу вскормили зимние вьюги. Он рос среди безнадежного мрака и лишений, чтобы в конце концов выступить из своей бурной Скандинавии сильным, как истый человек, христианский Один, настоящий Тор, явившийся еще раз со своим громовым молотом, чтобы поразить довольно-таки безобразных ётунов и гигантов-монстров.

Поворотным моментом в его жизни, по-видимому, была, как мы можем легко себе представить, смерть друга Алексиса, убитого молнией у ворот Эрфурта. Хорошо ли, худо ли, но все отрочество Лютера протекло в жестокой борьбе. Однако несмотря на препятствия всевозможного рода, его необычайно сильный ум, жаждавший познания, скоро сказался. Отец Мартина, понявший, несомненно, что сын его мог бы проложить себе дорогу в свет, отправил его изучать право. Таким образом, перед Лютером открывалась широкая дорога. Не чувствуя особенного влечения к какой-либо определенной профессии, он согласился на предложение отца. Ему было тогда девятнадцать лет от роду.

Однажды Мартин вместе с другом Алексисом отправился навестить своих престарелых родителей, живших в Мансфельде. На обратном пути близ Эрфурта их настигла грозовая буря. Молния ударила в Алексиса, и он упал мертвым к ногам Лютера. Что такое наша жизнь, жизнь, улетучивающаяся в один миг, сгорающая, как свиток, уходящая в черную пучину вечности? Что значат все земные отличия, канцлерское и королевское достоинства? Они вдруг никнут и уходят туда! Земля разверзается под ними; один шаг – их нет, и наступает вечность. Лютер, пораженный до глубины сердца, решил посвятить себя Богу, исключительному служению Богу. Несмотря на все доводы отца и друзей, он поступил в Эрфуртский монастырь августинцев.

Это событие представляло, вероятно, первую светлую точку в жизни Лютера. Воля его в первый раз выразилась в своем чистом виде, и выразилась решительным образом; но это была пока всего лишь единая светлая точка в атмосфере полного мрака. Он говорит о себе, что был благочестивым монахом: «Ich bin ein frommer Mцnch gewesen!» Он честно, не жалея трудов, боролся, стремясь осуществить на самом деле воодушевлявшую его возвышенную идею; но это мало его удовлетворяло. Его страдания не утихли, а скорее возросли до бесконечности.

Не тяжелые работы, подневольный труд всякого рода, который ему приходилось нести на себе как послушнику монастыря, отягощали его. Глубокую и пылкую душу этого человека обуревали всевозможного рода мрачные сомнения и колебания. Он считал себя, по-видимому, обреченным на скорую смерть и еще на нечто гораздо худшее, чем смерть. Наш интерес к бедному Лютеру усиливается, когда мы узнаем, что в это время он жил в ужасном страхе перед невыразимым бедствием, ожидавшим его: он думал, что осужден на вечное проклятие. Не говорит ли подобное самосознание о кротости и искренности человека? Что такое был он, и на каком основании ему можно было рассчитывать на Царство Небесное! Он, который знал одно только горе и унизительное рабство. Весть, возвещенная ему относительно спасения, была слишком благой, чтобы он мог поверить ей. Он не мог понять, каким образом человеческая душа может быть спасена благодаря постам, бдениям, формальностям и мессам? Он испытывал страшную муку и блуждал, теряя равновесие, над краем бездонного отчаяния.

Около этого времени ему попалась под руку в эрфуртской библиотеке старая латинская Библия. Конечно, это была для него счастливая находка. Он никогда до тех пор не видел Библии. Она научила его кое-чему другому, чем посты и бдения. Один из братьев-монахов благочестивого поведения также оказал ему

поддержку. Теперь Лютер уже знал, что человек был спасен благодаря не мессам, а бесконечной милости Господа, – предположение, во всяком случае, более вероятное. Постепенно он окреп в своих мнениях и стал чувствовать себя как бы прочно утвердившимся на скале. Нет ничего удивительного, что он глубоко чтил Библию, принесшую ему такое несказанное счастье. Он ценил ее, как может ценить подобный человек слово Всевышнего, и решил руководствоваться ею во всем, чему неуклонно и следовал в течение всей своей жизни, до самой смерти.

Таким образом, для него рассеялась наконец тьма. Это было его полное торжество над тьмой, его, как выражаемся мы, обращение. Для него же лично – самая важная эпоха в жизни. С этих пор, само собою разумеется, спокойствие и ясность его духа должны были все возрастать. Его великие таланты и добродетели – получать все больший вес и значение, сначала в монастыре, а затем во всей стране. Сам он становится все более и более полезным на всяком честном поприще жизни. Все это составляло лишь естественный результат совершившегося в нем переворота. И действительно, августинский орден возлагает на него разные поручения как на талантливого и преданного человека, способного успешно работать на пользу общего дела. Курфюрст Саксонский Фридрих, прозванный Мудрым, и поистине мудрый и справедливый государь, обращает на него свое внимание как на человека выдающегося, делает его профессором в новом Виттенбергском университете, а вместе с тем и проповедником в Виттенберге. Честным исполнением своих обязанностей, как и вообще всякого дела, за которое он брался, Лютер завоевывает себе в спокойной атмосфере общественной жизни все большее и большее уважение со стороны всех честных людей.

Рим Лютер посетил в первый раз, когда ему было двадцать семь лет. Он был послан туда, как я сказал, с поручением от своего монастыря. Папа Юлий II и вообще все то, что происходило тогда в Риме, должны были поразить ум Лютера и наполнить душу его изумлением. Он шел сюда, как в святой город, к трону Божьего первосвященника на земле. Он нашел… мы знаем, что он нашел!

Массу мыслей, несомненно, породило все виденное в голове этого человека, мыслей, из которых о многих не сохранилось никаких свидетельств, а многие, быть может, он даже сам не знал, как высказать. Рим, лицемерные священники, блиставшие не красой святости, а своими пышными одеждами, все это – фальшь; но что за дело до этого Лютеру? Разве он, ничтожный человек, может реформировать весь мир? Он был далек от подобных

мыслей. Скромный человек, отшельник, с какой стати ему было вмешиваться в дела мира сего? Это – задача людей несравненно более сильных, чем он. Его же дело – мудро направлять свои собственные стопы по пути жизни. Пусть он хорошо исполняет это незаметное дело; все же остальное, как бы ужасно и зловеще ни казалось оно, в руках Бога, а не его.

Любопытно знать, какие получились бы результаты, если бы римское папство не затронуло Лютера, если бы оно, двигаясь по своей великой разрушительной орбите, не пересекло под прямым углом его маленькой стези и не вынудило его перейти в наступление. С достаточной вероятностью можно допустить, что в таком случае он не вышел бы в виду злоупотреблений Рима из своего мирного настроения, предоставляя Провидению и Богу на небесах считаться с ними!

Да, это был скромный, спокойный человек, нескорый на решение вступить в непочтительную борьбу с авторитетными лицами. Перед ним, говорю я, стояла определенно и ясно его собственная задача: исполнять свой долг, направлять собственные шаги по правильному пути в этом мире темного беззакония и сохранить живой собственную душу. Но римское первосвященство встало прямо перед ним на пути. Даже там, далеко в Виттенберге, оно не оставляло Лютера в покое. Он делал представления, не уступал, доходил до крайностей. Его отлучили, и снова отлучили, и, таким образом, дело дошло до вызова на борьбу. Этот момент в истории Лютера заслуживает особого внимания. Не было, быть может, в мире другого человека, столь же кроткого и покойного, который вместе с тем наполнил бы мир такой распрей!

Никто не может отрицать, что Лютер любил уединение,

тихую трудовую жизнь, любил оставаться в тени. В его намерения вовсе не входило сделаться знаменитостью. Знаменитость – что значила для него знаменитость? Целью, к которой он шел, совершая свой путь в этом мире, были бесконечные небеса, и он шел к этой цели без малейших колебаний и сомнений. В течение нескольких лет он должен или достигнуть ее, или навеки утерять из виду!

Мы не станем ничего говорить здесь против той, плачевной из всех теорий, которая ищет объяснение гнева, впервые охватившего сердце Лютера, и породившей в конце концов протестантскую Реформацию. В закоренелой, чисто торгашеской злобе, существовавшей между августинцами и доминиканцами. Тем же, кто придерживается еще и в настоящее время такого мнения, если только подобные люди существуют, мы скажем: поднимитесь сначала несколько выше, в сферу мысли, где можно было бы судить о Лютере и вообще о людях, подобных ему, с иной

точки зрения, чем безумие, тогда мы станем спорить с вами.

Но вот Виттенберг посетил монах Тетцель и стал вести здесь свою скандальную торговлю индульгенциями. Его послал на торговое дело Папа Лев X, заботившийся об одном только – как бы собрать хоть немного денег, а во всем остальном представлявший собою, по-видимому, скорее язычника, чем христианина, если он только вообще был чем-либо.

Прихожане Лютера также покупали индульгенции и затем заявляли ему в исповедальной комнате, что они уже запаслись прощением грехов. Лютер, если он не хотел оказаться человеком лишним на своем посту, лжецом, тунеядцем и трусом даже в той маленькой среде, центр которой он составлял и которая была подвластна ему, должен был выступить против индульгенций и громко заявить, что они – пустяки, прискорбная насмешка. Никакой человек не может получить через них прощения грехов. Таково было начало всей Реформации.

Мы знаем, как она развивалась, начиная с этого первого публичного вызова, брошенного Тетцелю, и до последнего дня в октябре 1517 года, путем увещаний и доводов, распространяясь все шире, поднимаясь все выше, пока не хлынула наконец неудержимой волной и не охватила весь мир. Лютер всем сердцем своим желал потушить эту беду, равно как и разные другие беды. Он все еще был далек от мысли доводить дело до раскола в Церкви, возмущения против Папы, главы христианства. Элегантный Папа-язычник, не обращавший особенного внимания на самого Лютера и его доктрину, решил, однако, положить конец шуму, который тот производил. В продолжение трех лет он испытывал разные мягкие средства и в конце концов признал за лучшее прибегнуть к огню. Он осудил писания беспокойного монаха на сожжение через палача, а самого его повелел привезти связанного в Рим, намереваясь, вероятно, и с ним поступить подобным же образом. Так именно погибли столетием раньше Гус, Иероним[102]. Огонь – короткий разговор. Бедный Гус! Он пришел на Констанцский Собор, заручившись всевозможными обещаниями относительно своей личной безопасности и приняв всевозможные меры предосторожности. Он был человек серьезный, непричастный мятежному духу. Они же немедленно бросили его в подземную каменную тюрьму, которая имела «три фута в ширину, шесть в вышину и семь в длину». Они сожгли его, чтобы никто в этом мире не мог слышать его правдивого голоса. Они удушили его в дыму и огне. Это было не хорошо сделано!

Я со своей стороны вполне оправдываю Лютера, что он на этот раз решительно восстал против Папы. Элегантный язычник, со своим всесожигающим декретом, воспламенил благородный и

справедливый гнев в самом отважном сердце, какое только билось в ту пору в человеческой груди. Да, это было самое отважное и вместе с тем самое кроткое, миролюбивое сердце; но теперь оно пылало гневом. Как?! Я обратился к вам со словом истины и умеренности, я имел в виду законным образом, насколько человеческая немощь дозволяет, содействовать распространению истины Божией и спасению душ человеческих, а вы, наместники Бога на земле, отвечаете мне палачом и огнем?! Вы хотите сжечь меня и слово, возвещенное мною, и таким образом ответить на послание, которое исходит от самого Бога и которое я пытался передать вам?! Вы – не наместники Бога! Вы – наместники кого-то другого! Так я думаю! Я беру вашу буллу: она – опергаментившаяся ложь! Я сжигаю ее! Таков мой ответ, а вы вольны затем поступить, как признаете нужным.

Свой исполненный негодования шаг Лютер совершил 10 декабря 1520 года, то есть три года спустя после возникновения конфликта. В этот именно день он сжег «при громадном стечении народа» декрет, возвещавший огонь, «у Эльстерских ворот Виттенберга». Виттенберг смотрел и издавал «клики». Весь мир смотрел. Папе не следовало вызывать этих «кликов»! Это были возгласы, знаменовавшие пробуждение народов. Кроткое, невозмутимое сердце германца долго выносило безропотно выпадавшие на его долю невзгоды; но в конце концов их оказалось больше, чем оно могло вынести. Слишком долго властвовали над ним формализм, языческий папизм, всякого рода ложь и призраки. Вот еще раз нашелся человек, который осмелился сказать всем людям, что мир Божий держится не на призраках, а на реальностях, жизнь – Истина, а не ложь!

В сущности, как мы уже заметили выше, нам следует рассматривать Лютера как пророка, ниспровергающего идолов, человека, возвращающего людей назад, к действительности. Такова вообще роль великих людей и учителей. Магомет говорил, обращаясь к своим соплеменникам: эти ваши идолы – дерево. Вы обмазываете их воском и маслом, и мухи липнут к ним. Они – не боги, говорю я вам, они – черное дерево! Лютер говорил, обращаясь к Папе: то, что вы называете «отпущением грехов», представляет собою лоскут бумаги, сделанной из тряпки и исписанной чернилами, только лоскут, и больше ничего; такой же лоскут представляет и все то, что похоже на ваше «отпущение». Один только Бог может простить грехи. Что такое папство, духовное главенство в Церкви Божией? Разве это один пустой призрак, состоящий лишь из внешнего обличья и пергамента? Нет, это внушающий благоговейный ужас факт. Божья Церковь не призрак, небеса и ад – не призрак. Я опираюсь на них; вы привели

меня к этому. Опираясь на них, я, бедный монах, сильнее, чем вы. Я один, у меня нет друзей, но я опираюсь на истину самого Бога. Вы же, со своими тиарами, тройными шляпами, всеми своими сокровищами и арсеналами, небесными и земными громами, опираетесь на ложь дьявола! Вы вовсе не так сильны!

Рейхстаг в Вормсе и появление на нем Лютера 17 апреля 1521 года можно рассматривать как величайшее событие в современной европейской истории, действительную исходную точку всей последующей истории цивилизации. После бесконечных переговоров и диспутов дело подходило наконец к развязке. В рейхстаге собрались: юный император Карл V, все немецкие принцы, папские нунции, духовные и светские власти. Явился и Лютер, который должен был ответить – отрекается он или нет от своих слов. По одну сторону восседали блеск и сила мира сего, по другую – стоял человек, вставший на защиту истины Божией, сын бедного рудокопа Ганса Лютера. Близкие люди уговаривали его не идти на заседание рейхстага, напоминали ему судьбу, постигшую Гуса, но он не внимал их словам. Наконец, когда он въезжал уже в город, к нему вышли навстречу многочисленные друзья и еще раз предостерегали и горячо убеждали его отказаться от своего намерения. Но он ответил им: «Если бы в Вормсе было столько же чертей, сколько черепиц на кровлях, то и тогда я поехал бы».

Поутру, когда Лютер шел на заседание рейхстага, окна и крыши домов были усеяны массой народа. Некоторые обращались к нему и торжественно убеждали не отрекаться. «Кто отринет меня перед людьми!» – кричали ему как бы в виде торжественного заклинания и просьбы. Не такова ли также была в действительности и наша мольба, мольба всего мира, томившегося в духовном рабстве, парализованного черным призраком кошмара, химерой в тройной шляпе, называющей себя отцом в Боге, и не молили ли мы также в то время: «Освободи нас; это зависит от тебя; не покидай нас!»

Лютер не покинул нас. Его речь, длившаяся два часа, отличалась искренностью и была исполнена благоразумия и почтительности. Он не выходил из рамок подчинения всему тому, что законным образом могло требовать себе повиновения; но во всем остальном он не признавал никакого подчинения. Все написанное им, сказал он, принадлежит отчасти лично ему, а отчасти позаимствовано им из Слова Божьего. Все, что принадлежит ему, несвободно от человеческих недостатков. Здесь, без сомнения, сказался и несдержанный гнев, и ослепление, и многое другое. Он почел бы для себя великим блаженством, если бы мог вполне освободиться от всего этого. Но

что касается мыслей, опирающихся на действительную истину и Слово Божие, то от них отказаться он не может. И как бы он мог это сделать? «Опровергните меня, – заключил он свою речь, – доводами из Священного Писания или какими-либо иными ясными и истинными аргументами; иначе я не могу отказаться от своих слов. Ибо небезопасно и неблагоразумно поступать против своей совести в чем бы то ни было. Я стою здесь, перед вами. Говорю вам, я не могу поступать иначе. Бог да поможет мне!» Это был, сказали мы, величайший момент в современной истории человечества.

Английский пуританизм, Англия и ее парламенты, Америка и вся громадная работа, совершенная человечеством в эти два столетия, Французская революция, Европа и все ее дальнейшее развитие до настоящего времени – зародыши всего этого лежат там. Если бы Лютер в тот момент поступил иначе, все приняло бы другой оборот! Европейский мир требовал от него, так сказать, ответа на вопрос: суждено ли ему погрязать вечно, все глубже и глубже, во лжи, зловонном гниении, в ненавистной проклятой мертвечине или же он должен, какого бы напряжения это ни стоило ему, отбросить от себя ложь, излечиться и жить?

Как известно, вслед за Реформацией наступили великие войны, распри, всеобщее разъединение, все это длилось до наших дней и в настоящее время далеко еще не завершилось вполне. По этому поводу было высказано великое множество разных суждений и обвинений. Несомненно, все эти распри представляют печальное зрелище. Но в конце концов какое отношение имеют они к Лютеру и его делу? Странно возлагать ответственность за все на Реформацию. Когда Геркулес направил реку в конюшни царя Авгия, чтобы очистить их, то, я не сомневаюсь, всеобщее замешательство, вызванное таким необычайным обстоятельством, было немалое, но я думаю, что в этом повинен был не Геркулес, а кое-кто другой! С какими бы тяжелыми последствиями ни была сопряжена Реформация, она должна была совершиться, она просто-напросто не могла не совершиться. Всем Папам и защитникам Пап, укоряющим, сетующим и обвиняющим, целый мир отвечает так: раз навсегда – ваше папство стало ложью. Нам нет дела до того, как прекрасно оно было некогда, как прекрасно оно, по вашим словам, и в настоящее время, мы не можем верить в него. Всею силою нашего Разума, данного нам всевышним небом для руководства в жизни, мы убеждаемся, что с этих пор оно потеряло свою достоверность. Мы не должны верить в него, мы не будем стараться верить в него, – мы не смеем. Оно ложно. Мы оказались бы изменниками против подателя всякой истины, если бы осмелились признавать его за истину. Пусть же оно, это

папство, исчезнет, пусть что-либо другое займет его место. С ним мы не можем более иметь никакого дела.

Ни Лютер, ни его протестантизм не повинны в войнах. За них ответственны те лживые кумиры, которые принудили его протестовать. Лютер поступил, как всякий человек, созданный Богом, не только имеет право поступать, но и обязан в силу священного долга. Он ответил лжи, когда она спросила его: веришь ли в меня? – Нет! Так следовало поступить, во всяком случае, даже не входя в рассмотрение, чего это будет стоить.

Я нисколько не сомневаюсь, что наш мир находится на пути к единению, умственной и материальной солидарности гораздо более возвышенной, чем всякое папство и феодализм в их лучшую пору. Такое единение неизбежно наступит. Но оно может наступить и осуществиться лишь в том случае, если будет опираться на факт, а не на призрак и видимость. До единения же, основанного на лжи и предписывающего людям творить ложь словом или делом, нам, во всяком случае, не должно быть никакого дела. Мир? Но ведь животная спячка – также мир; в зловонной могиле – также мир. Мы жаждем не мертвенного, а жизненного мира.

Отдавая, однако, должное несомненным благам, которые несет с собою новое, не будем несправедливы к старому. Старое также было некогда истинным. Во времена Данте незачем было прибегать к софизмам, самоослеплению и всякого рода другим бесчестным ухищрениям, чтобы считать его истинным. Оно было тогда благом. Мы можем сказать, что сущность его заключает в себе непреходящее благо. Возглас «Долой папство!» был бы безумием в ту пору.

Говорят, что папство продолжает развиваться, и указывают при этом на увеличивающееся число церквей и т. д. Однако подобного рода аргументы следует считать самыми пустыми, какие только когда-либо приводились. Крайне любопытный способ доказательства: сосчитать немногие папские капеллы, прислушаться к некоторым протестантским словопрениям – глухо жужжащей, снотворной глупости, которая до сих пор величает себя протестантской, – и сказать: смотрите, протестантизм мертв, папизм проявляет большую жизнедеятельность, папизм переживет его! Снотворные глупости, и их немало, именующие себя протестантскими, действительно мертвы. Но протестантизм не умер еще, насколько мне известно! Протестантизм произвел за это время своего Гете, Наполеона, германскую литературу и Французскую революцию. Все это – довольно заметные признаки жизненности для всякого, кто не станет с умыслом закрывать себе глаза! Да, по сути говоря, что же еще проявляет в настоящее

время жизнь, кроме протестантизма? Почти все остальное живет, можно сказать, исключительно гальванической, искусственной, а вовсе не долговечной и непосредственной жизнью.

Папство может возводить новые капеллы; и благо ему – пусть оно так и поступает до конца. Но папство не может возродиться, как не может возродиться язычество, в котором также коснеют до сих пор некоторые страны. В самом деле, в данном случае происходит то же самое, что и во время морского отлива. Вы видите, как волны колеблются здесь и там на отлогом берегу. Проходит несколько минут, вы не можете сказать, как идет отлив. Но посмотрите через полчаса – где вода, посмотрите через полстолетия – где ваше папство! Увы, если бы нашей Европе не угрожала иная, более серьезная опасность, чем возрождение бедного, древнего папства! И Тор также может делать усилия, чтобы ожить. Самые эти колебания имеют, впрочем, известное значение.

Бедное, старое папство не погибло еще окончательно, как погиб Тор. Оно будет еще жить в течение некоторого времени, оно должно жить. Старое, скажем мы, никогда не погибает, пока все существенно хорошее, заключающееся в нем, не перейдет в практику нового. Пока еще можно делать хорошее дело, придерживаясь римско-католического исповедания, или, что то же, пока можно вести честную жизнь, следуя ему, до тех пор отдельные люди будут исповедовать его и следовать ему, свидетельствуя тем о его жизненности. И оно не будет до тех пор мозолить глаза нам, отвергающим его, пока мы также не усвоим и не осуществим в своей жизни всей истины, заключающейся в нем. Тогда, и только тогда, оно потеряет всякую прелесть для людей. Оно имеет известный смысл и потому продолжает существовать; пусть же оно существует так долго, как только может.

Мы заговорили о войнах и кровопролитиях, наступивших вслед за Реформацией. В каком отношении к ним находится Лютер? Отмечу прежде всего тот замечательный факт, что все эти войны имели место после его смерти. Вызванная им распря не переходила в борьбу с оружием в руках, пока он был жив. По моему мнению, этот факт свидетельствует о его величии во всех отношениях. Крайне редко встречаются люди, которые, вызвав громадное общественное движение, не погибали бы сами, подхваченные его волной! Такова обычная судьба революционеров. Лютер же оставался в значительной степени полновластным господином вызванной им величайшей революции. Протестанты всякого положения и всяких профессий обращались постоянно к нему за советами. Он провел эту революцию мирным путем, оставаясь неизменно в центре ее.

Чтобы достигнуть такого результата, человек должен обладать способностями настоящего вождя. Он должен уметь проникать в истинную суть дела при каких бы то ни было обстоятельствах и отважно, как подобает истинно сильному человеку, держаться за нее, чтоб и другие истинные люди могли сгруппироваться вокруг него. Иначе он не сохранит за собою руководящей роли.

Необычайные способности Лютера, сказывавшиеся в его всегда ясных и глубоких суждениях, в его, между прочим, молчании, терпимости, умеренности, представляют весьма замечательный факт ввиду тех обстоятельств, при которых ему приходилось действовать.

Я упомянул о терпимости Лютера. Это была настоящая, неподдельная терпимость. Он различал, что существенно, а что несущественно, оставляя без внимания последнее. Однажды к нему обратились с жалобой, что какой-то реформатский проповедник «не хочет проповедовать без рясы». Хорошо, ответил Лютер, какой же вред причиняет ряса человеку? «Пусть он облачается в рясу и проповедует; пусть облачается, если он находит это удобным для себя!» Его поведение во время дикого разгрома икон в Карлштадте, в деле анабаптистов, Крестьянской войне свидетельствует о благородной силе, не имеющей ничего общего с жестокостью. Благодаря своему верному взгляду он всегда быстро угадывал, в чем дело, и, как человек сильный и правдивый, указывал благоразумный выход, и все люди следовали за ним.

Литературные произведения Лютера характеризуют его с такой же стороны. Правда, диалектика его рассуждений устарела для нашего времени; но читатель до сих пор находит в них какую-то особенную прелесть. И действительно, благодаря грамматически правильному слогу они довольно удобочитаемы до сих пор. Заслуга Лютера в истории литературы громаднейшая – его язык стал всеобщим литературным языком. Хотя нельзя сказать, что его двадцать четыре фолианта in quarto[103] написаны хорошо, но они ведь писались спешно, с целями совершенно не литературными. Во всяком случае, я не читал других книг, в которых чувствовалась бы подобная же могучая, неподдельная, скажу я, благородная сила. Лютер поражает вас своей грубой правдивостью, неотесанностью, простотою, своим грубым, без всякой примеси чувством и силой. Он брызжет во все стороны светом. Его бьющие по сердцу идиоматические фразы, кажется, проникают в самую сокровенную тайну вопроса. И вместе с тем – мягкий юмор, даже нежная любовь, благородство, глубина… Этот человек, несомненно, мог бы быть также и поэтом! Но ему предстояло не писать, а делать эпическую поэму. Я считаю его

великим мыслителем, на что действительно указывает уже величие его сердца.

Рихтер говорит о языке Лютера, что «слова его – полусражения». В самом деле, это так. Характерная особенность Лютера заключается в том, что он мог сражаться и побеждать, он представлял истинный образец человеческой доблести. Тевтонская раса отличается вообще доблестью, это – ее характерная черта. Но из всех тевтонцев, о которых имеются письменные свидетельства, не было человека более отважного, чем Лютер, смертного сердца действительно более храброго, чем сердце великого реформатора.

Вызов на поединок «чертей» в Вормсе не был пустым бахвальством с его стороны, как это могло бы показаться в настоящее время. Лютер верил, что существуют черти, духи, обитающие в преисподней и постоянно подкарауливающие человека. В своих сочинениях он часто возвращается к этому предмету, что вызывает у некоторых жалкое зубоскальство. В Вартбурге, в комнате, где Лютер занимался переводом Библии, показывают до сих пор черное пятно на стене, необычайное свидетельство необычайного поединка. Лютер переводил один из псалмов. Долгая работа и воздержание от пищи истощили его; он чувствовал общее расслабление. Как вдруг перед ним является какой-то гнусный призрак с неопределенными очертаниями. Лютер принял его за дьявола, пришедшего помешать работать. Он вскочил и бросил вызов сатанинскому исчадию, пустив в него чернильницу, и призрак рассеялся! Пятно, любопытная память многознаменательного события, сохранилось до сих пор. В настоящее время любой аптекарский ученик может сказать нам, что следует думать об этом привидении в научном смысле. Но сердце человеческое не может доказать более убедительным образом своего бесстрашия, как бросив подобный дерзкий вызов в лицо самому аду. Ни на земле, ни под землей нет такого страшилища, перед которым оно сробело бы. Довольно-таки бесстрашное сердце! «Дьявол знал, – пишет Лютер по поводу одного случая, – что причиной в данном случае является вовсе не страх, испытываемый мною. Я видел и вызывал на борьбу бесчисленное множество дьяволов». Герцог Георг, его большой лейпцигский недруг, «герцог Георг не сравняется с дьяволом» – далеко ему до дьявола! «Если бы у меня было какое-либо дело в Лейпциге, я поехал бы туда верхом, хотя бы на меня устремились целые потоки герцогов Георгов, потоки в виде девятидневного непрекращающегося ливня». Немалая уйма герцогов, и он не страшится пуститься верхом навстречу им!

Сильно заблуждаются те, кто думает, что отвага Лютера

вытекала из жестокости, что это было одно только грубое, непокорное упрямство и дикость. Многие думают так, но это далеко не верно. Действительно, бывает бесстрашие, происходящее от отсутствия мысли или привязанностей, когда человеком овладевает ненависть и глупое неистовство. Мы не ценим особенно высоко отваги тифа! Другое дело Лютер. Нельзя придумать более несправедливого обвинения против него, чем подобное обвинение в одном лишь свирепом насилии. Это было самое благородное сердце, полное жалости и любви, каким в действительности бывает всегда всякое истинно отважное сердце.

Тигр бежит от более сильного врага. Тигра мы не можем считать храбрым в том смысле, какой дается нами этому слову; он только свиреп и жесток. Тогда как великому, дикому сердцу Лютера было знакомо трогательное, нежное дыхание любви, нежное, как любовь ребенка или матери. Дыхание честное и свободное от всякого ханжества, простое и безыскусственное в своем выражении, чистое, как вода, просачивающаяся из скалы. А это угнетенное настроение духа, отчаяние и самоотчуждение, которое испытывал он в дни юности, разве все это не было следствием того же необычайного, глубокомысленного благородства, следствием привязанностей, слишком жгучих, слишком возвышенных? Такова судьба, постигающая всех людей, подобных поэту Кауперу[104]. Для поверхностного исследователя Лютер может казаться человеком боязливым, слабым. Скромность, привязчивая, трепещущая нежность составляли его главные отличительные черты. Такое сердце воодушевляется обыкновенно благородною отвагой, раз оно, пылая небесным огнем, принимает вызов.

В «Застольных беседах» Лютера, посмертной книге анекдотов и афоризмов, собранных его друзьями, книге наиболее интересной в настоящее время из всех оставленных им, заключено немало ценных данных, так сказать, из первых рук, характеризующих его как человека. Поведение его у смертного одра младшей дочери, необычайно спокойное, величественное и любящее, производит самое трогательное впечатление. Он покоряется тому, что его маленькая Магдалина должна умереть, но вместе с тем он невыразимо страстно желает, чтобы она жила. Пораженный благоговейным ужасом, он следит в своих мыслях за полетом ее маленькой души через неведомые царства. Да, он был поражен благоговейным ужасом и вместе с тем глубоко чувствовал свое несчастье (мы это ясно видим) и был искренен, ибо, несмотря на все догматические исповедания веры и символы, чувствовал, что все наше знание, все вообще возможное человеческое знание есть собственно ничто. Его маленькая

Магдалина будет с Богом, так Бог хочет. Для Лютера, как и для других великих людей, в этой мысли также заключалось все; ислам (покорность Богу) – все.

Однажды в полночь он глядел на небо из своего уединенного Патмоса[105], Кобургского замка, и видел необъятно громадный свод, по которому плыли длинные полосы облаков – безмолвные, вытянутые, громадные. Кто поддерживает все это? «Никто из людей никогда не видел колонн, и, однако, небесный свод держится». Бог поддерживает его. Мы должны знать, что Бог велик, Бог благ, и верить в тех случаях, когда мы не можем видеть.

Возвращаясь однажды из Лейпцига домой, он был поражен видом созревшей жатвы. Каким образом вырос здесь этот золотисто-желтый злак на прекрасном, тонком стебле, свесив свою золотистую голову и волнуясь в таком изобилии? Разрыхленная земля, по милостивому соизволению Господа, произвела его еще раз, произвела насущный хлеб человека! Однажды вечером при закате солнца Лютер видел, как какая-то маленькая птичка устроилась на ночь в Виттенбергском саду. Выше этой маленькой птички, говорит Лютер, – звезды и глубокое небо целых миров. Однако она сложила свои маленькие крылышки и спит. Она с полным доверием прилетела сюда на покой, как в свой собственный дом. Создатель и для нее также устроил дом! И подобных жизнерадостных проявлений вы встречаете немало у Лютера: у него было поистине великое, свободное, человеческое сердце.

Обычная речь его отличается безыскусственным благородством, идиоматичностью, выразительностью, неподдельностью. То там, то здесь она блещет удивительными поэтическими красотами. Всякий чувствует, что это говорит его великий брат – человек. Лютер любил музыку, и в этой привязанности сказались все его глубокие чувства и стремления. Он изливал в звуках своей флейты то, чего его глубокое, дикое сердце не могло выразить словами. Черти, говорит он, бежали, заслышав его флейту. С одной стороны, вызов на смертный бой, а с другой – необыкновенная любовь к музыке. Таковы, я могу сказать, два противоположных полюса великой души; между ними помещается все великое.

По выражению лица Лютера, мне кажется, мы можем уже судить, что это был за человек. Лучшие портреты Кранаха[106] изображают действительно настоящего Лютера. У него грубое простонародное лицо с огромными надглазными дугами и бровями, подобными выступающим скалам, что служит обыкновенно выражением суровой энергии. Лицо, с первого

взгляда производящее даже отталкивающее впечатление. Однако на всех чертах его лежит печать какой-то дикой безмолвной скорби. В особенности в глазах светится эта не поддающаяся описанию меланхолия, обычная спутница всякого благородного, возвышенного душевного движения, налагающая и на все остальное печать истинного благородства.

Лютер, как мы говорили, умел смеяться; но он умел и плакать. Слезы также были его уделом, слезы и тяжелый труд. Основу его жизни составляла грусть, серьезность. В последние дни своей жизни, после всех триумфов и побед, он говорит о себе из глубины сердца, что устал жить. Он замечает, что один только Бог может и хочет управлять ходом вещей и что, быть может, день Страшного суда недалек. Для самого же себя он желал только одного, чтобы Бог избавил его от выпавшего на его долю труда и послал бы ему смерть и покой. Плохо понимают Лютера те, кто ссылается на вышеприведенные слова с целью дискредитировать его. Лютер, скажу я, истинно великий человек; великий по уму, отваге, любви и правдивости своей. Я считаю его одним из наиболее достойных любви и наиболее дорогих нам людей.

Он величествен не как высеченный из камня обелиск, а как альпийская скала! Простой, честный, самобытный, он поднялся вовсе не для того, чтобы быть великим, совсем не для того, совершенно с иной целью! О да, этот неукротимый гранит поднимает высоко и мощно свою вершину к небесам; но в расселинах его – ключи, прекрасные зеленые долины, усеянные цветами! Настоящий духовный герой и пророк, появившийся еще раз среди нас! Истинный сын природы и действительности, которому будут признательны до небес прошедшие, настоящие и многие последующие века!

Наиболее интересную фазу протестантского движения для нас, англичан, представляет пуританизм. На родине Лютера протестантизм скоро выродился в бесплодное дело. Теперь он уже не религия, собственно, не верование, а скорее пустое бряцанье теологической аргументации. Он не коренится уже более в сердце человеческом. Сущность его составляет теперь скептицизм и словопрение, начиная с распри, поднятой Густавом Адольфом[107] до вольтерьянства, до самой Французской революции! Но на нашем острове возник пуританизм, который с течением времени окреп и, приняв форму пресвитерианства, стал национальной церковью Шотландии. Он был действительным делом сердца и породил весьма крупные в общей жизни человечества результаты. В известном смысле можно сказать, что он представляет единственную форму протестантизма, ставшую настоящей верой, действительным общением сердца с небом и запечатлевшую себя

как таковую в истории.

Мы должны сказать несколько слов о Ноксе. Он был и сам по себе замечательным и отважным человеком; но еще большее значение он имеет как главный иерей и основатель новой веры, ставшей религией Шотландии, Новой Англии, религией Оливера Кромвеля. Она еще не умерла, истории еще придется говорить о ней в течение некоторого времени!

Мы можем критиковать пуританизм, как нам угодно. Я думаю, все мы найдем его крайне грубым и уродливым, но нам и всем людям вместе с нами нетрудно понять, что это было великое, естественное движение: природа усыновила его, и оно росло и теперь еще растет. Все совершается в этом мире, как я выразился однажды, путем поединков и борьбы; сила, при правильном понимании, есть мерило всякого достоинства. Дайте всякому делу время, и, если оно может преуспеть, значит, оно – правое дело.

Взгляните теперь на господство англосаксов в Америке и сопоставьте этот факт с таким малозначащим, по-видимому, событием, как отплытие «Мейфлауэра»[108] два века тому назад из Дельфта, гавани в Голландии! Если бы мы непосредственностью своих чувств походили на греков, то, несомненно, увидели бы во всем этом целую поэму, одну из тех громадных поэм самой природы, какие она пишет широкими штрихами на полотне великих континентов. Ибо указанный нами факт был, собственно, началом новой жизни для Америки, где до тех пор скитались рассеянные поселенцы, представлявшие, так сказать, тело, лишенное еще своего творческого духа. Но вот бедные люди, изгнанные из своей родной страны и не сумевшие хорошо устроиться в Голландии, решаются переселиться в Новый Свет. Неведомый материк покрывали тогда темные, непроходимые леса, населенные дикими, лютыми зверями, но все же эти звери не были так люты, как палачи судебной палаты. Земля, думали они, доставит им средства пропитания, если они будут честно трудиться на ней. Вечное небо будет простираться над их головою так же, как и здесь. Они будут предоставлены самим себе, чтобы доброю жизнью в этом временном мире приготовиться к вечности и поклоняться своему Богу не идолопоклонническим образом, а так, как они считают сообразным с истиной. Они соединили вместе свои ничтожные средства, наняли маленький корабль «Мейфлауэр» и приготовились к отплытию.

В «Истории пуритан» Нила[109] рассказано подробно об их отплытии, это была скорее торжественная церемония, походившая на настоящий религиозный акт. Отплывающие вместе со своим пастором сошли на берег, где ожидали их братья,

которых они должны были покинуть теперь. Все они соединились в одной общей молитве, чтобы Бог сжалился над своими бедными детьми и не покидал бы их в этой пустынной дикой стране, ибо он также создал и ее, ибо он был там так же, как и здесь. О! Эти люди, думаю я, потрудились немало! Маленькое дело, маленькое, как крошечный ребенок, становится со временем громадным, если только оно было настоящим делом. К пуританизму относились тогда презрительно, его осмеивали; но теперь никто уже не может относиться к нему таким образом. У пуританизма есть мускулы и органы для защиты. Он располагает огнестрельными орудиями, морскими кораблями. Его десять пальцев отличаются проворством, а правая рука – силой. Он может управлять кораблями, валить лес, двигать горы. Он в настоящее время одна из самых могучих сил, какие только существуют под нашим солнцем!

В истории Шотландии, по моему мнению, всеобщий интерес имеет одна только эта эпоха реформационного движения, вызванного Ноксом. Печальное зрелище представляет действительно история Шотландии. Эта бедная, бесплодная страна была вечно охвачена внутренними раздорами, распрями, кровопролитиями. Народ находился на самой крайней ступени огрубелости и нищеты, положении, быть может, мало чем отличающемся от положения ирландского народа в настоящее время. Ненасытные и жестокие бароны не могли прийти к соглашению между собою даже относительно того, как им делить добычу, награбленную у этих несчастных рабов. Они всякий раз при переходе власти из рук в руки делали революцию, как в настоящее время колумбийские республики[110]; перемена в министерстве влекла за собою обыкновенно повешение прежних министров!.. «Отваги» во всем этом было довольно, я не сомневаюсь; лютых битв – и того больше. Но шотландские бароны были, во всяком случае, не отважнее, не лютее своих древних предков, скандинавских морских королей, на подвигах которых мы не сочли нужным останавливаться. Таким образом, Шотландия представляла как бы страну, все еще не одухотворенную внутреннею жизнью. В ней развивалось все только грубое, внешнее, полуживотное.

Но вот наступает Реформация – и внутренняя жизнь загорается, так сказать, под ребрами этой внешней материальной мертвечины. Возникает само собою дело, благороднейшее из всех дел, и пылает, подобно маяку, поставленному на вершине. Пламя вздымается высоко, уходит в небеса, но вместе с тем оно доступно всем живущим на земле. Благодаря этому самый последний смертный может стать не только гражданином, но и членом

видимой Христовой церкви, действительным героем, если только он оказывается истинным человеком!

Хорошо, таким образом, складывается, как я выражаюсь, целая «нация героев», верующая нация, среди которой героем становится не только великая душа, но всякий человек, если он остается верным своему природному назначению, так как он будет тогда и великой душой! Мы видим, что подобное состояние человечество уже переживало под формою пресвитерианства, и оно снова будет переживать его под иными, более возвышенными формами. До тех же пор никакое прочное благое дело не может иметь места. Это невозможно! – скажут нам. Вы сомневаетесь, возможно ли? Не существовало ли, однако, нечто подобное в нашем мире как факт действительный? Разве поклонение герою отсутствовало в деле Нокса? Или вы думаете, что мы созданы теперь из иной глины? Разве «Вестминстерское вероисповедание»[111] прибавило что-нибудь новое к душе человеческой? Бог создал душу человека. Он не осудил ни одной человеческой души на жалкую жизнь по гипотезам, ходячим фразам, в мире, наполненном такими же гипотезами, ходячими фразами и всем прочим, к чему приводит их фатальное развитие!..

Но возвратимся к Шотландии. Нокс, говорю я, сделал великое дело для своего народа, он действительно воскресил его из мертвых. Правда, произведенный им переворот нельзя назвать гладко исполненным делом. Это было, конечно, желанное дело, и если бы оно было проведено даже еще с гораздо меньшим совершенством, то все-таки мы сказали бы, что оно обошлось недорого народу. Вообще подобные дела нельзя считать дорогими, при каких угодно жертвах, как самую жизнь. Народ начал жить: для него необходимо было сделать прежде всего именно этот шаг, чего бы он ни стоил. Шотландская литература и шотландская мысль, шотландская промышленность, Джеймс Уатт, Дэвид Юм, Вальтер Скотт, Роберт Бернс – во всем этом, в самой глубине сердец этих людей и этих явлений я вижу Нокса и его Реформацию. Я думаю, что, не будь Реформации, не существовало бы и их.

Но что говорить о Шотландии? Из Шотландии пуританизм перешел в Англию, а затем в Новую Англию. Движение среди приверженцев англиканской церкви в Эдинбурге превратилось во всеобщее столкновение, борьбу на пространстве всех этих стран. После пятидесятилетней борьбы из него же возникла так называемая наша «славная революция»: «Habeas Corpus»[112], свободные парламенты и многое еще другое! Увы, не оправдываются ли вполне сказанные нами выше слова, что масса

людей, составляющих авангард, должна постоянно, подобно русским солдатам, наполнять Швайднитцский ров своими мертвыми телами, чтоб арьергард мог пройти по ним и добыть себе славу? Какая масса серьезных, суровых Кромвелей, Ноксов, бедных крестьян ковенантеров (пресвитериан)[113], сражавшихся за самую жизнь и отстаивавших ее в недоступных, топких местах, должны были бороться, страдать и погибнуть, жестоко осужденные, забрызганные грязью, прежде чем прекрасная революция «восемьдесят восьмого»[114] могла официально пройти по их трупам в башмаках и шелковых чулках при всеобщих криках одобрения!

И вот теперь, триста лет спустя, наш великий шотландец нуждается, подобно обвиняемому, в защите перед лицом всего мира. Печальный факт! Все дело в том, что он был самым отважным из всех шотландцев, отвага его вылилась в такую форму, какая была возможна по тогдашнему времени! Если бы он был заурядным человеком, он мог бы забиться куда-нибудь в угол, подобно многим другим, Шотландия оставалась бы в рабстве, а Нокс не поплатился бы жестоким осуждением. Из всех шотландцев он – единственный, по отношению к которому его родина и весь мир находятся в долгу. И теперь приходится точно выпрашивать, чтобы Шотландия простила ему, что он имел для нее значение и цену целых миллионов «безупречных» шотландцев, не нуждающихся ни в каком прощении! Он с обнаженной грудью бросался в бой; греб на французских галерах, скитался в изгнании, покинутый всеми, среди бурь и непогоды; был осужден; ранен в своем доме; он вел тяжелую жизнь настоящего воина. Да, если этот мир был для него местом воздаяния, то сделанное им выглядело авантюрой!

Я не стану выступать с апологией Нокса. Для него совершенно безразлично, что говорят о нем люди теперь, спустя двести пятьдесят или даже более лет. Но мы, стоящие теперь выше всех частностей его борьбы, живущие при свете его победы и пользующиеся плодами ее, мы, ради самих себя, должны глубже заглянуть в душу этого человека и, несмотря на шум и распри, опутывающие его, убедиться, кем он был на самом деле.

Прежде всего я отмечу здесь, что Нокс вовсе не добивался положения пророка среди своего народа. Он прожил сорок лет спокойной жизнью в полной безвестности, прежде чем обратил на себя внимание. Он происходил из бедного класса, получил образование в одном из колледжей; затем был священником, принял Реформацию и, по-видимому, вполне удовлетворялся тем, что сам руководился светом ее в своей собственной жизни, никому не навязывая ее насильственно. Он жил в качестве

наставника в разных дворянских семьях и проповедовал, если находилась кучка людей, желавших познакомиться с его доктриной. Он решил во всем придерживаться истины и говорить правду, когда его вызывали на беседу. На большую роль он не претендовал и не воображал себя способным. Таким образом, в полной неизвестности Нокс прожил до сорока лет.

Однажды, когда он вместе с другими реформатами выдерживал осаду в замке святого Андрея, все они собрались на общую молитву. Проповедник, окончив свое напутственное слово к присутствовавшим там передовым борцам за дело Реформации, вдруг сказал, что среди них также, вероятно, найдутся люди, способные проповедовать. Всякий человек с сердцем и дарованиями священника должен в настоящее время проповедовать, и один из них – имя его Джон Нокс – имеет именно такие дарования и такое сердце. «Разве не так? – спросил проповедник, обращаясь ко всем. – В чем же заключается в таком случае его долг?» Присутствовавшие ответили утвердительно: если бы такой человек продолжал хранить молчание, то это было бы так же преступно, как покинуть свой пост. Бедному Ноксу пришлось встать со своего места и отвечать; но он не мог произнести ни одного слова – слезы хлынули у него ручьем, и он бросился вон из капеллы. Эту сцену следует вспоминать чаще.

В продолжение нескольких дней Нокс испытывал крайне тяжелое состояние. Он чувствовал, как ничтожны были его способности по сравнению с величием новой обязанности. Он чувствовал, какое крещение он должен был проповедовать теперь. И он «заливался слезами».

Наша общая характеристика героя как человека прежде всего искреннего вполне применима и к Ноксу. Никто не может отрицать, что, каковы бы ни были вообще его достоинства и недостатки, он принадлежит к числу самых правдивых людей. Благодаря какому-то особенному инстинкту он всегда тяготеет к истине и факту. Одна только истина существует для него в этом мире, а все остальное – призрак и обманчивое ничто. Какой бы жалкой и всеми позабытой ни казалась действительность, в ней, и только в ней, он мог найти для себя точку опоры. После взятия замка Святого Андрея Нокс вместе с другими был сослан, как каторжник, на галеры, плававшие по реке Луаре. И вот здесь однажды какой-то офицер или священник, поставив перед галерниками образ Богоматери, потребовал, чтобы они, богохульники-еретики, преклонились перед ним. «Мать, Матерь Божия, говорите вы?» – сказал Нокс, когда очередь дошла до него. «Нет, вовсе не Матерь Божия! Это – pented bredd – кусок раскрашенного дерева, говорю я вам! Он приспособлен скорее для

того, чтобы плавать, по моему мнению, чем для того, чтобы ему поклонялись», – прибавил Нокс и бросил икону в реку. Такое издевательство не могло, конечно, обойтись без самых суровых последствий. Но каковы бы ни были последствия, Нокс не мог изменить своему убеждению: икона, перед которой его заставляли преклониться, для него была и должна была оставаться действительно pented bredd. Поклоняться же куску раскрашенного дерева он был не в силах.

В самые трудные минуты подневольной жизни он ободрял и увещевал своих товарищей не падать духом. Он говорил, что дело, за которое они борются, – справедливое дело, что оно обязательно должно восторжествовать и восторжествует; целый мир не мог бы затушить его теперь. Действительность есть дело рук Божиих, она одна только всесильна. Немало найдется всяких pented bredd, предъявляющих свои притязания на реальность, тогда как они приспособлены скорее для плавания, чем для почитания! Этот Нокс поистине мог жить только фактом. Он цепляется за действительность, как моряк, потерпевший кораблекрушение, за скалу. Он представляет прекрасный пример того, как человек благодаря именно искренности становится героем.

Да, Нокс обладал великим даром. У него был хороший, честный ум, но не трансцендентного склада. В этом отношении он представляется довольно-таки узким, незначительным человеком по сравнению с Лютером. Но по глубоко прочувствованной, инстинктивной приверженности к истине, по искренности, как мы говорим, нет никого выше его; мало того, можно даже спросить, есть ли кто равный ему? В нем билось настоящее пророческое сердце. «Здесь покоится, – сказал граф Мортон на его могиле, – тот, кто никогда не боялся лица человеческого». Он более чем кто-либо другой из передовых деятелей нового времени напоминает древнееврейского пророка. Та же непреклонность, нетерпимость, суровая приверженность истине Господа, производящая впечатление некоторой узости, тот же беспощадный гнев, обрушивающийся во имя Господа на голову всех, покидающих истину. Одним словом, перед нами древнееврейский пророк в обличье эдинбургского министра XVI века. Мы должны брать его таким, как он есть, и не требовать, чтобы он был иным.

Поведение Нокса с королевою Мариею, его суровые визиты, его упреки и выговоры служат предметом многочисленных комментариев. Чрезмерная жестокость и грубость Нокса вызывают в нас чувство негодования. Но когда мы прочтем подлинный рассказ обо всем происходившем между ними, когда

мы услышим, что он действительно говорил и чего действительно добивался, то, я должен сказать, сочувствие к трагическому положению королевы быстро пропадает. Его речи не были уж на самом деле так грубы. Они кажутся мне даже утонченными, насколько, конечно, позволяли обстоятельства! Нокс приходил к ней не для того, чтобы говорить любезности, – он имел иную миссию. Жестоко заблуждается тот, кто видит в его беседах с королевой наглые, площадные речи плебейского священника, обращенные к высокорожденной изысканной леди; думать так – значит не понимать цели и сущности этих речей. С королевой Шотландии, к несчастью, невозможно было быть вежливым и в то же время оставаться верным другом народа и поборником шотландских интересов. Всякий человек, не желавший, чтобы его родная страна была превращена в охотничье поле для честолюбивых интриганов Гизов и дело истинного Бога попиралось и повергалось под ноги лжи, формализма и дьявола, – не имел никакой возможности сделать себя приятным собеседником королевы! «Лучше пусть плачут женщины, – говорил Мортон, – чем бородатые мужчины».

Нокс представлял собою партию конституционной оппозиции. Поместной знати, которая, в силу собственного своего положения, должна была бы играть подобную роль, не оказалось налицо в Шотландии. Нокс принужден был выступить, так как не выступал никто другой. Несчастная королева! Но еще более была бы несчастна страна, если бы этой королеве улыбнулось счастье! Сама Мария, между прочим, не была лишена некоторой язвительности. «Кто вы, – сказала она однажды, – что беретесь поучать дворян и государыню нашего королевства?» – «Сударыня, – отвечал Нокс, – я – подданный, рожденный в том же королевстве». Разумный ответ! Если «подданный» знает правду и хочет высказать ее, то, конечно, не положение «подданного» мешает ему сделать это.

Мы порицаем Нокса за его нетерпимость. Да, конечно, лучше, чтобы каждый из нас был, по возможности, более терпим. Однако несмотря на все толки, которые велись и ведутся по этому поводу, что такое, в сущности, терпимость? Терпимость побуждает человека относиться снисходительно к несущественному и всякий раз внимательно различать то, что существенно и что несущественно. Терпимость должна быть благородной, соразмеренной, справедливой даже в том случае, когда человек под влиянием гнева не может больше терпеть. Но в конце концов мы живем вовсе не для того, чтобы терпеть. Мы живем также для того, чтобы противостоять, обуздывать, побеждать. Мы не должны «терпеть» лжи, воровства, неправды, когда они наступают на нас.

Мы должны совладать с ложью и покончить, так или иначе, с нею благоразумным, конечно, образом! Я не стану здесь спорить о том, каким именно образом; наша главная забота, чтобы дело было сделано. В этом смысле Нокс, совершенно верно, был нетерпимым человеком. И разве может человек, которого отправляют на французские галеры и заставляют там грести и т. п. за то, что он поучал народ в своей родной стране, разве может такой человек, говорю я, постоянно находиться в невозмутимо кротком расположении духа! Я не решусь в настоящую минуту утверждать, что Нокс отличался мягким характером. Но я не могу также сказать, что у него был, как мы выражаемся, злой нрав. Он решительно не был злым человеком. Он боролся, страдал много и тяжело; его, несомненно, воодушевляли добрые и честные чувства. Совершенно верно, он мог укорять королев и пользовался громадным влиянием среди гордой, беспокойной местной знати, да, гордой, какова бы она ни была во всех других отношениях. Не гоняясь за внешними атрибутами, он сохранял до самого конца свой верховный авторитет и руководство в этом диком королевстве, он, который был всего лишь «подданным, рожденным в том же королевстве». Но все это само по себе только доказывает, что люди, близко стоявшие подле него, вовсе не видели в нем человека низкого и язвительного. Напротив, они считали его человеком в глубине сердца здоровым, сильным, рассудительным. Только такой человек и мог вынести все тяготы правления при существовавших тогда обстоятельствах.

Его осуждают за то, что он разрушал соборы и т. д., как будто он был мятежником, бунтовщиком, демагогом. Но познакомьтесь поближе с делом, и вы убедитесь, что в действительности имел место как раз обратный факт! Ноксу вовсе незачем было разрушать каменные здания – он стремился к тому, чтобы изгнать проказу и тьму из жизни человеческой. Мятеж не был его стихией, и то, что ему пришлось так много поработать в этом отношении, представляет трагическую особенность его жизни. Такой человек, как Нокс, всегда является прирожденным врагом беспорядка, относится с омерзением к мысли жить в беспорядке. Но что же из этого? Замаскированная, приглаженная ложь не есть ведь порядок; она лишь общий итог беспорядка. Порядок есть истина, и все держится только истиною; поэтому порядок и ложь не могут существовать вместе.

Нокс, как это ни странно после всего того, что мы говорили о нем, не прочь был иногда и пошутить. Эта черта в нем мне очень нравится. Он действительно умел подметить все смешное, благодаря чему и его «История»[115], книга, написанная с суровою

серьезностью, проникнута любопытным оживлением. Вот два прелата входят в кафедральный собор в Глазго. Они ведут меж собою оживленный спор о старшинстве. Они быстро шагают вперед, толкают друг друга, дергают за стихарь и под конец начинают размахивать своими посохами, как дубинами. Подобная сцена представляет для Нокса многознаменательное зрелище во всех отношениях. Не одно только издевательство, презрение, горечь слышите вы из уст его, хотя, правда, всего этого сыплется вдоволь. Но вы видите также, как по его серьезному лицу пробегает истинный, любящий, озаряющий смех; смех негромкий, – вы сказали бы, что он смеется больше всего своими глазами. У Нокса было прямое братское сердце; в нем всякий, знатный и незнатный, находит себе брата, и он искренен в своих симпатиях к обоим. В старом эдинбургском доме у него была также и бочка из Бордо. Веселый, общительный человек, он окружал себя людьми, которые любили его!

Жестоко ошибается тот, кто видит в Ноксе угрюмого, раздражительного, крикливого фанатика. Совсем неверно. Нокс был одним из солиднейших людей. Практичный, терпеливый, он умел примирять горячие надежды с осторожностью. Человек чрезвычайно проницательный, наблюдательный, он спокойно разбирался во всем. Действительно, он обладал почти всеми особенностями, типичными для современного шотландца: склонностью к некоторого рода сардоническому молчанию, внутренней глубиною, сердцем более мужественным, чем ему самому представлялось. Он обладал способностью ладить со всем тем, что не задевает его за живое: «Подобные вещи, – что они такое?» Но о том, что задевает его за живое, будет он говорить, и говорить так, что весь мир станет его слушать: тем энергичнее, чем дольше приходилось ему молчать.

Наш шотландский пророк вовсе не кажется мне ненавистным человеком. Ему выпала на долю тяжелая борьба. Он боролся с Папами и верховными властями. Он терпел поражения, напрягался, вел неустанную борьбу в течение всей жизни. Он работал веслами как галерный раб, скитался в изгнании. Да, это была поистине тяжелая борьба; но он выдержал ее. «Надеетесь ли вы?» – спросили его в последнюю минуту жизни, когда он не мог уже говорить. Он поднял палец, «указал вверх своим пальцем»; так и скончался. Честь и хвала ему! Его труд никогда не умрет. «Буква» в его труде умрет, как умирает всякое произведение рук человеческих, но дух не умрет никогда.

Еще одно слово относительно этой «буквы» в труде Нокса. Он хотел поставить священника выше короля – вот в чем, говорят, заключается его вина, которая не может быть ему прощена.

Другими словами, он стремился создать в Шотландии теократическое правительство. Такова в действительности сущность всех его прегрешений, его главный грех. Что можно сказать в оправдание его? Совершенно верно, Нокс сознательно или бессознательно хотел, в сущности, теократии, правления, освященного Богом. Он хотел, чтобы короли, первые министры и всякого рода лица, власть имущие, поступали в общественных и частных делах согласно Евангелию Христа и признавали его за закон, стоящий выше всех других законов. Он надеялся, что такой порядок вещей осуществится когда-нибудь на деле и что молитва «Да приидет Царствие Твое» не будет более пустым звуком.

Он был глубоко огорчен, когда увидел, как жадные светские бароны загребали своими презренными руками имущество, принадлежащее Церкви. И когда он упрекал их, говоря, что это не мирское, а духовное имущество и что оно должно быть обращено на действительные церковные нужды, на образование, школы, религиозные потребности, то регент Меррей ответил ему, пожимая плечами: «Все это благочестивые фантазии!» Таков идеал Нокса относительно справедливого и истинного, и он ревностно стремился осуществить его. Если мы находим этот идеал слишком узким и неправильным, то мы должны радоваться, что он не осуществил его, идеал этот остался неосуществленным, несмотря на разные попытки в течение двух веков, и остается до сих пор «благочестивой фантазией».

Но каким образом мы можем осуждать его за стремление осуществить свой идеал? Теократия, правление, освященное Богом, – это именно и есть то дело, за которое следует бороться. Все пророки, ревностные священники имели в виду эту же самую цель. Гильдебранд[116] желал теократии; Кромвель желал ее и боролся за нее; Магомет достиг ее. Но мало того, разве не ее именно желают и должны, в сущности, желать все ревностные люди, называются ли они священниками, пророками или как-либо иначе? Царство справедливости и истины, или Закон Божий среди людей, – вот в чем состоит небесный идеал (прекрасно называвшийся во времена Нокса и вообще во все времена откровением «воли Божией»). Всякий реформатор всегда будет настаивать на все большем и большем приближении к нему. Все истинные реформаторы, как я сказал, по своей природе – священники и борются за осуществление теократии.

В какой мере подобные идеалы могут быть осуществлены на деле и когда должен наступить конец нашему терпению, ввиду долгого их неосуществления, – это стоит всегда под вопросом. Я думаю, что мы можем сказать вполне свободно: пусть эти идеалы осуществляются сами собой, насколько они могут преуспеть в

том. Если они составляют истинную веру людей, то все люди, долго не видя их осуществленными, неизбежно будут испытывать в большей или меньшей мере нетерпение. А что касается регентов Мерреев, пожимающих плечами и отвечающих словами: «Благочестивые фантазии!», то в них недостатка никогда не будет. Мы же со своей стороны воздадим хвалу герою-священнику, который делает все зависящее от него, чтобы осуществить эти идеалы, проводит свою жизнь в благородном труде, борется среди противоречий, терпит злословие, чтобы осуществить Царство Божие на земле. Ведь земля не станет от этого уж слишком божественной!

Беседа пятая Герой как писатель. Джонсон. Руссо. Бернс

Герои как боги, пророки, пастыри – все это формы героизма, принадлежащие древним векам, существовавшие в отдаленнейшие времена. Некоторые из них давно уже с тех пор стали невозможными и никогда более не появятся вновь в нашем мире. Герой как писатель – категория героизма, о которой мы намерены говорить сегодня. Напротив, эта категория является всецело продуктом новых веков, и до тех пор, пока будет существовать удивительное искусство письма или скорописи, называемое нами печатанием, можно думать, будет существовать и он как одна из главных форм героизма во все грядущие века. Герой-писатель с разных точек зрения представляет весьма своеобразное явление.

Он – новый человек, говорю я. Он существует едва ли более одного столетия. Никогда прежде не было подобной фигуры. Не было того, чтобы великая душа жила изолированно столь необычным образом, стремясь передать вдохновение, наполняющее ее, в печатных книгах, найти себе место, обрести средства существования в зависимости от того, сколько люди пожелают дать ей за работу. Немало разных предметов выносилось раньше на рынок, где они продавались и покупались по ценам, которые устанавливались сами собой. Но никогда еще не было ничего подобного, в столь оголенной форме, вдохновенной мудростью героической души. Этот человек, со своими авторскими правами и авторским бесправием, на грязном чердаке, в покрытом плесенью платье, человек, управляющий после смерти из своей могилы целыми нациями и поколениями, безразлично, хотели или не хотели они дать ему кусок хлеба при жизни, – представляет поистине необычайное зрелище! Трудно указать более поразительную по своей неожиданности форму героизма.

Увы, уже с древних времен герою приходится втискивать себя в разные странные формы: люди никогда не знают хорошо, что делать с ним, так чужд бывает им его внешний вид! Нам кажется абсурдом, что люди в своем грубом восхищении принимали некоего мудрого и великого Одина за бога и поклонялись ему как таковому; некоего мудрого и великого Магомета за боговдохновенного человека и с религиозным рвением следуют его учению вот уже в продолжение двенадцати столетий. Так, но, быть может, настанет иное время. Людям будет казаться еще

более абсурдным, что к мудрому и великому Джонсону, Бернсу, Руссо их современники относились, как я не знаю к каким бездельникам, существовавшим в мире лишь для того, чтобы забавлять праздность. Они были награждены ничтожными аплодисментами и несколькими выброшенными монетами, чтоб только они могли жить! А между тем так как духовное всегда определяет собою материальное, то именно такого писателя-героя мы должны считать самой важной личностью среди наших современников. Он, каков бы он ни был, есть душа всего. То, чему он поучает, весь мир станет делать и осуществлять. Обращение мира с ним служит самым многознаменательным показанием общего настроения мира. Всматриваясь внимательно в его жизнь, мы можем проникнуть настолько глубоко, насколько это возможно для нас при беглом обзоре, в жизнь и тех своеобразных столетий, которые породили его и в которых мы сами живем и трудимся.

Существуют писатели искренние и неискренние, как и во всяких вещах и делах бывает настоящее и поддельное. Если под героем следует понимать человека искреннего, в таком случае, говорю я, функция, выполняемая героем как писателем, всегда будет самой почтенной и самой возвышенной функцией; и некогда хорошо понимали, что это была действительно самая возвышенная функция. Писатель-герой высказывает, как умеет, свою вдохновенную душу, что может вообще делать всякий человек при каких угодно обстоятельствах. Я говорю вдохновенную, ибо то, что мы называем «оригинальностью», «искренностью», «гением», одним словом, дарованием героя, для которого мы не имеем надлежащего названия, означает именно вдохновенность.

Герой – тот, кто живет во внутренней сфере вещей, в истинном, божественном, вечном, существующем всегда, хотя и незримо для большинства, под оболочкой временного и пошлого: его существо там; высказываясь, он возвещает вовне этот внутренний мир поступком или словом, как придется. Его жизнь, как мы сказали выше, есть частица жизни вечного сердца самой природы. Такова жизнь и всех вообще людей, но многие слабые не знают действительности и не остаются верными ей. Немногие же сильные – сильны, героичны, вечны, так как ничто не может скрыть ее от них. Писатель, как и всякий герой, является именно для того, чтобы провозгласить, как умеет, эту действительность. В сущности, он выполняет ту же самую функцию, за исполнение которой люди древних времен называли человека пророком, священником, божеством, для исполнения которой, словом или делом, и посылаются в мир всякого рода герои.

Немецкий философ Фихте когда-то прочел в Эрлангене замечательный курс лекций по этому предмету: «Über das Wesen des Gelehrten», то есть о существе писателя»[117] Фихте, согласно трансцендентальной философии, знаменитым представителем которой он является, устанавливает прежде всего, что весь видимый, вещественный мир, в котором мы совершаем свое жизненное дело на этой земле (в особенности мы сами и все люди), представляет как бы известного рода деяние, чувственную внешность. Под всем этим, как сущность всего, лежит то, что он называет «божественной идеей мира». Такова действительность, «лежащая в основе всей видимости».

Для массы людей не существует вовсе никакой божественной идеи в мире. Они живут, как выражается Фихте, среди одних лишь видимостей, практичностей и призраков, не помышляя даже о том, чтобы под покровом всего этого существовало нечто божественное. Но писатель и является среди нас именно для того, чтобы понять и затем открыть глаза всем людям на эту божественную идею, которая с каждым новым поколением раскрывается всякий раз иным, новым образом. Так выражается Фихте, и мы не станем вступать с ним в спор по поводу его способа выражения. Он на свой лад обозначает то, что я пытаюсь обозначить здесь другими словами, что в настоящее время не имеет никакого названия, а именно: несказанно божественный смысл, полный блеска, удивления и ужаса, который лежит в существе каждого человека, присутствие Бога, сотворившего человека и все сущее. Магомет поучал тому же, говорил о том же своим языком. Один – своим; это – то, что все мыслящие сердца тем или другим способом должны здесь проповедовать.

Итак, Фихте считает писателя пророком или, как он предпочитает выражаться, священником, раскрывающим во все века людям смысл божественного. Писатели – это непрекращающееся жречество, из века в век поучающее всех людей, что Бог неизменно присутствует в их жизни. Все «внешнее», все, что мы можем видеть в мире, представляет лишь обличье «божественной идеи мира», одеяние того, что «лежит в основе всей видимости». Истинному писателю, таким образом, всегда присуща известная, признаваемая или не признаваемая миром святость: он – свет мира, мировой пастырь. Он руководит людьми, подобно священному огненному столбу, в их объятом мраком странствии по пустыне времени.

Фихте с неукоснительной настойчивостью различает истинного писателя, называемого нами здесь писателем-героем, от многочисленной толпы фальшивых, лишенных героизма писателей. Всякий, кто не живет всецело божественной идеей,

воплощенной в мире, или, проникаясь только отчасти, не стремится, как к единственному благу, проникнуться ею всецело, всякий такой человек, – пусть он живет чем угодно другим, в величайшем блеске и благополучии, – не писатель. Это, как выражается Фихте, – жалкий кропатель, или, в лучшем случае, если он принадлежит к классу писателей, занимающихся прозаическими предметами, его можно признать за чернорабочего, подающего известку каменщику. Фихте такого писателя называет иногда даже «небытием» и вообще относится к нему без всякого снисхождения, не выражает ни малейшего желания, чтобы он продолжал благоденствовать среди нас. Так Фихте понимал писателя (ученого), и он в иной лишь форме высказывает совершенно то же, что и мы понимаем здесь под писателем.

С этой точки зрения я нахожу, что из всех писателей за последние сто лет резко выделяется соотечественник Фихте – Гете. Этому человеку дано было странным образом то, что мы можем назвать жизнью в соответствии с божественной идеей мира, – проникновение во внутреннюю божественную тайну. Странно, в его книгах мир еще раз является изображенным божественно, как создание и храма Бога, весь озаренный не резким и нечистым огненным пламенем, как у Магомета, а – мягким небесным сиянием. Это было действительно пророчество в нашу вовсе не пророческую действительность. Для моего ума – величайшее явление, хотя вместе с тем и одно из самых безмятежных, бесшумных, явление, далеко превосходящее все, что происходило в наши времена. Поэтому Гете должен был служить для нас наилучшим образом героя как писателя. И мне было бы весьма приятно побеседовать здесь о его героизме, так как я считаю, что он – истинный герой; герой в том, что он говорил и делал, и, быть может, еще больше герой в том, чего он не говорил и чего не делал. На мой взгляд, величественное зрелище представляет этот великий, героический, в смысле древних времен, человек, говорящий и сохраняющий молчание, как древний герой под оболочкой самого новейшего, высокообразованного, высокоразвитого писателя! Мы не видывали другого подобного зрелища; мы не знаем ни одного человека за последние полтораста лет, могущего представить его.

Но в настоящее время, ввиду нашего вообще недостаточного знания жизни Гете, было бы более чем бесполезно пытаться говорить о нем в интересующем нас смысле. При всем моем старании, Гете для громадного большинства из вас остался бы проблематичной, неопределенной фигурой, и получилось бы одно лишь фальшивое представление. Поэтому мы вынуждены

предоставить его будущим временам. Нам же предстоит заняться тремя другими величественными фигурами, более доступными для нас в настоящее время, принадлежащими более ранней эпохе и действовавшими при условиях значительно более простых: Джонсоном, Бернсом и Руссо. Все эти три личности мы берем из XVIII столетия. Условия их жизни значительно ближе к условиям нашей современной жизни в Англии, чем условия жизни Гете в Германии. Увы, Джонсон, Бернс и Руссо не вышли, подобно Гете, победителями из жизненной борьбы. Они храбро сражались и пали. Они – не герои – носители света, а лишь герои – искатели света. Они жили при тяжелых условиях; они боролись под давлением целой массы всяческих помех и не могли развернуться в полном блеске, не могли дать победоносного истолкования «божественной идеи». То, что я хочу вам показать, представляет, скорее, могилы трех героев-писателей. Это – монументальные курганы, под которыми покоятся три умственных гиганта; курганы в высшей степени печальные, но вместе с тем величественные и полные глубокого интереса для нас. Взгляните же на них!

В настоящее время нередко можно услышать жалобы по поводу так называемого дезорганизованного состояния общества. Указывают на то, что многие упорядоченные общественные силы исполняют свое назначение скверно и масса могущественных сил действует прямо опустошительным образом, находится точно в каком-то хаосе, лишена всякой организации. Подобные жалобы, как нам всем хорошо известно, вполне справедливы. Но если вы присмотритесь к книжному делу и к положению писателей, то, быть может, именно здесь-то перед вами и вскроется вся эта дезорганизация в ее, так сказать, сконцентрированном виде. Быть может, здесь-то мы и найдем своего рода сердце, из которого и к которому направляются все прочие замешательства в мире! Присматриваясь к тому, что писатели делают в мире и как мир относится к ним, я должен сказать: здесь именно раскрывается перед нами самое ненормальное зрелище, какое только мир может вообще представить в настоящее время. К сожалению, нам приходится пуститься по морю, далеко не обследованному, если мы хотим составить себе какое-либо представление на этот счет. Но мы должны ввиду интересующего нас предмета бросить хотя бы беглый взгляд в эту сторону.

Самым тяжелым обстоятельством в жизни указанных мною трех героев-писателей было то, что они нашли свое дело и свое положение в состоянии полного хаоса. По проторенной дороге идти нетрудно; но тяжкий труд, на котором погибают многие, выпадает на долю тех, кому приходится пролагать тропинки по

непроходимым местам!

Наши благочестивые отцы хорошо понимали, какое громадное значение имеет слово, обращаемое человеком к людям, и они основывали церкви, делали вклады, вводили уставы. Повсюду в цивилизованном мире существует кафедра, обставленная надлежащим образом, дабы человек, владеющий словом, мог обращаться с вящим успехом к людям, подобным себе. Они понимали, что это самое важное дело, без этого не может быть вообще никакого хорошего дела. И они поступали вполне благочестиво, делали прекрасное дело, на которое приятно взглянуть даже и теперь. Но в настоящее время благодаря искусству письма и печати в этой сфере произошел полный переворот.

Действительно, разве автор книги не является, в сущности, проповедником, произносящим свою проповедь не перед тем или другим приходом, не сегодня или завтра, а перед всеми людьми, на все времена, во всех местах? Конечно, в высшей степени важно, чтобы он делал свое дело надлежащим образом, не обращая внимания на тех, кто делает его скверно; чтобы глаз не фальшивил, так как в противном случае все остальные члены будут сбиты с правильного пути! И однако в настоящее время нет ни одного человека в мире, который стал бы утруждать себя мыслью о том, может ли писатель исполнять свое дело, делает ли он его правильно или неправильно и даже делает ли он его вообще. Для лавочника, преследующего свои эгоистические цели и наживающегося на книгах, писатель, если ему везет, представляет еще некоторый интерес, для других же людей – никакого. Никто не спрашивает, откуда он пришел, какую цель имеет в виду, какими путями идет, чем можно было бы облегчить ему путь. Он есть порождение случая и предоставляется случаю. Он скитается в мире, подобно дикому измаильтянину. И он же, как духовный светоч, ведет этот мир по правильному или ложному пути.

Искусство писать является, без всякого сомнения, самым удивительным делом, до какого только дошел человек. Руны Одина представляли первоначальную форму труда героя. Книги, написанные слова, еще более удивительные руны, представляют позднейшую форму! Книга запечатлевает в себе душу всех прошедших веков. Она – голос из глубины прошлого, отчетливо звучащий в наших ушах, когда тело и материальная субстанция минувших времен уже бесследно рассеялись подобно мечте. Могущественные флоты и армии, порты и арсеналы, обширные города с громадными зданиями и массой машин – все имеет свою цену и свое значение, но что станется со всем этим? Агамемнон,

целая масса Агамемнонов, Периклы и их Греция – все это превратилось теперь в груду развалин! Молчаливые, печальные руины и обломки! А книги Греции? В них еще до сих пор Греция живет в буквальном смысле для каждого мыслителя; благодаря книгам она может быть снова вызвана к жизни. Какие магические руны могут сравняться с книгой! Все, что человечество делало, о чем мыслило, к чему стремилось и чем оно было, все это покоится, как бы объятое магическим сном, там, на страницах книг. Книга – величайшее сокровище человека!

Разве книга не совершает до сих пор чудес, подобно тому как, согласно баснословным рассказам, совершали их некогда руны? Они формируют убеждения людей. Самый последний из библиотечных романов засаливается глупыми девицами, вызубривается в глухих деревнях и, таким образом, оказывает действительное, практическое влияние на браки и домашний быт. Так чувствовала «Целия»; так действовал «Клиффорд». Глупое решение вопросов жизни, запечатленное в юных мозгах, порождает, когда настанет время, определенные, решительные поступки. Подумайте, разве руны даже в самом необузданном воображении мифолога производили когда-либо такие чудеса, какие производили некоторые книги в нашей земной, действительной жизни! Кто воздвиг собор Святого Петра? Загляните глубже в суть дела, и вы убедитесь, что это была божественная еврейская книга, – отчасти слово Моисея, изгнанника, который четыре тысячи лет тому назад вел свои мадианитские орды[118] по пустыням Синая! Удивительное, непостижимое дело, однако вполне достоверное: с искусством писания, по отношению к которому печатание представляет простое, неизбежное, сравнительно незначительное следствие, открывается для человечества настоящая эра чудес. Искусство это сближает прошлое и отдаленное с настоящим во времени и пространстве, устанавливая нового рода удивительную смежность и непрерывающуюся близость. Сближает все времена и все места с нашим настоящим здесь и теперь. Все существенные отрасли человеческой деятельности: обучение, проповедь, управление и т. д., одним словом, все изменилось для людей со времени изобретения этого искусства.

Посмотрите на обучение, например. Университеты представляют замечательный продукт Средних веков. Но их значение изменилось также в самом корне благодаря существованию книги. Университеты возникли еще в те времена, когда книга добывалась с большим трудом, за одну книгу приходилось отдавать целые поместья. При таких условиях человек, обладавший знаниями и желавший передать их другим,

мог достигнуть этого, только собрав вокруг себя слушателей, ставши к ним, так сказать, лицом к лицу. Если вы хотели знать то, что знал Абеляр, вы должны были идти и слушать Абеляра. Тысячи, тридцать тысяч слушателей приходили слушать Абеляра и его метафизическую теологию. Для следующего затем учителя, желавшего также передать другим то, что он знал, условия складывались уже гораздо благоприятнее. Масса людей, жаждавших учиться, была уже собрана в одно место. Естественно, что из всех мест наиболее подходящим для его проповеди было то место, где проповедовал первый. Для третьего учителя условия складывались еще благоприятнее, и они становились все благоприятнее и благоприятнее, по мере того как здесь, в одном месте, скоплялось все большее и большее число учителей. Затем оставалось только, чтобы король обратил свое внимание на это новое явление, собрал и соединил разнородные школы в одну, построил для нее здания, наделил ее привилегиями и поощрениями и назвал университетом – школою всех наук. Таким образом возник – я отмечаю существеннейшие черты – Парижский университет. Он послужил прототипом для всех последующих университетов, какие только основывались с тех пор в течение шести столетий. Таково, как я представляю себе, было происхождение университетов.

Очевидно, однако, что такое простое обстоятельство, как легкость, с которой стало возможным приобретать книги, должно было изменить все дело в корне, сверху донизу. Раз люди изобрели книгопечатание, то тем самым они преобразовали все университеты или, собственно говоря, сделали их даже лишними! Учителю незачем теперь обязательно собирать вокруг себя слушателей и становиться к ним лицом к лицу для того, чтобы изложить перед ними то, что он знает. Пусть он напечатает книгу, и все ученики приобретут ее и, сидя с нею у своего домашнего очага, изучат ее гораздо основательнее, чем, слушая изложение тех же мыслей в университете. Несомненно, живой речи присуща особая сила. Писатели до сих пор находят для себя в некоторых случаях более удобным говорить перед аудиторией, примером чему может служить хотя бы и наше настоящее собрание здесь.

Существует и, всякий согласится, должна навсегда сохраниться, пока человек будет говорить, особая сфера для речи, как существует своя сфера для письма и печати. Она должна сохраниться для всякого рода случаев, между прочим, и по отношению к университетам. Но границы этих двух сфер не были еще до сих пор нигде указаны, установлены с достаточной определенностью и того менее проведены на деле. До сих пор еще не существует университета, который бы вполне принял в расчет

этот первостепенной важности новый факт, существование печатных книг, и был бы организован согласно требованиям XIX столетия, как это было с Парижским университетом по отношению к XIII столетию. Подумайте, и вы согласитесь, все, что может дать нам университет или заключительная школа, ограничивается, собственно, дальнейшим развитием начал, заложенных первоначальной школой, именно наукой читать. Мы научаемся читать на разных языках, разного рода наукам, мы выучиваем азбуку и письмо всевозможного рода книг. Но знания, даже теоретические знания, мы должны черпать из самих книг! Наши знания зависят от того, что мы читаем после того, как всевозможного рода профессора сделали по отношению к нам свое дело. Истинный университет нашего времени – это собрание книг.

Даже для Церкви, как я заметил выше, все изменилось со времени появления книги в деле ее проповеди и вообще во всей ее деятельности. Церковь представляет собою деятельный, признанный союз священников или проповедников – словом, тех, кто своим мудрым поучением руководит душами людей. Пока не существовало письма, вернее, скорописи, или печатания, означенной цели можно было достигать единственно только при помощи словесной проповеди. Но вот появляется книга! И что же, разве тот, кто может написать настоящую книгу и убедить Англию, не будет, в сущности, епископом и архиепископом или примасом всей Англии?

Но что я говорю, не только проповедь, но даже наше поклонение, разве оно также не совершается при помощи печатных книг? Разве не истинное поклонение (при надлежащем понимании с нашей стороны) выражается в том благородном чувстве, которое богато одаренный ум воплощает в мелодичных словах и которое вызывает подобную же мелодию и в наших сердцах? В наше темное время во всякой стране существует немало людей, не признающих никакого иного способа поклонения. Разве тот, кто в состоянии каким бы то ни было образом показать нам лучше, чем мы видели прежде: полевая лилия – прекрасна, не указывает нам на эту последнюю как на проявление совершенной красоты, как на слова, написанные рукой великого Творца вселенной и ставшие понятными для всех? Он поет и заставляет нас петь вместе с собою небольшой стих из святого псалма. Несомненно, так. Но насколько же дальше идет тот, кто песнью, словом или каким-либо другим образом заставляет наше сердце отозваться на благородные дела и чувства, отважные помыслы и страдания брата-человека! Он поистине прикасается к нашим сердцам живым углем, взятым с

алтаря. Подобное поклонение исходит, быть может, даже из большей глубины сердца, чем всякое иное.

Литература постольку, поскольку она литература, есть «откровения природы», раскрытие «открыто лежащей тайны». Ее довольно верно можно назвать, как выражается Фихте, «непрерывным откровением» божественного в земном и человеческом. Божественное, по самой истине, должно вечно существовать здесь, на земле. Оно раскрывается разными путями, говорит разными языками, различной степенью ясности, и этому делу раскрытия служат сознательно или бессознательно все истинно одаренные песнопевцы и проповедники. Даже в мрачном и бурном негодовании Байрона, несмотря на всю его своенравность и искаженность, можно отыскать следы подобного служения. Даже в сухой насмешке французского скептика, в его смехе над ложью чувствуется любовь и поклонение истине. Что же сказать о гармонии сфер Шекспира, Гете, о кафедральной музыке Мильтона[119]! Звучит также что-то особенное и в простых, неподдельных песнях Бернса, песнях лугового жаворонка, поднимающегося из низкой бороздки в голубую высь неба высоко над нашими головами и поющего там для нас так неподдельно искренне. Да, и в этих песнях звучит также что-то особенное! Ибо всякое истинное пение есть по своей природе поклонение. То же следует сказать и о всяком истинном труде: пение лишь воспроизводит его и воплощает в надлежащую мелодичную форму. Отрывки настоящих «служб» и «собрания поучений» непростительным образом игнорирует наше обычное понимание, утопают в этом безбрежном пенистом океане печати, который мы небрежно называем литературой. Там их следует искать! Книги – это наша церковь.

Обратимся теперь к правительству. Уитенагемот[120], старинный парламент, был великим учреждением. На нем обсуждались и решались дела целого народа, то, что мы должны были делать как народ. Но разве в настоящее время разные парламентские дебаты, хотя название парламента сохраняется по-прежнему за известным учреждением, не ведутся повсюду и во всякое время и притом гораздо более энергичным образом, совершенно вне парламента? Берк[121] говорил, что в парламенте заседают три сословия. Но там, в галерее репортеров, заседает четвертое сословие, гораздо более сильное, чем все они. И это не фигуральное выражение, остроумная фраза, а подлинно верный факт, весьма многознаменательный для нашего времени.

Литература – наш парламент. Печать, будучи необходимым результатом письма, тождественна, как я не раз говорил, демократии. С изобретением письма демократия становится

неизбежной. Письмо приводит к печати, всемирной, ежедневной, импровизированной печати, что мы и видим в настоящее время. Всякий, кто может говорить, обращается теперь к целому народу и становится силой, получает несомненный вес и значение в деле выработки новых законов. При этом не важно, какое положение он занимает, какие имеет доходы и отличия. От него лишь требуется, чтобы он владел словом, и его станут слушать. Нация управляется всеми, кто обладает в ней даром речи: на этом, собственно, и основана демократия. Примите еще только во внимание, что всякая существующая власть со временем становится организованной силой. Под покровом секретности, в темноте, при наличии всякого рода оков и препятствий она никогда не добьется результата, пока ей не удастся действовать свободно, без помех, на виду у всех. Демократия, если она на самом деле существует, призвана позаботиться о том, чтобы ее существование стало ощутимым.

Итак, из всего, что человек может сделать или осуществить здесь, на земле, самым важным, удивительным и ценным во всех отношениях и далеко превосходящим все остальное делом мы должны признать названные нами книги! Эти ничтожные лоскуты бумаги, сделанные из всякого тряпья, с черными чернилами на них, начиная с ежедневной газеты до священной еврейской книги, – чего только они не совершили и чего только они не совершают. Ибо какова бы ни была внешняя форма (лоскут бумаги, как мы говорим, и черные чернила), разве книга не представляет, в сущности, действительно высочайшего проявления человеческих способностей? Она есть мысль человека – истинно чудодейственная сила, посредством которой человек создает все прочее. Все, что человек делает, все, что он решает, представляет внешнее обличье мысли.

Этот лондонский Сити, со всеми его домами, дворцами, паровыми машинами, соборами, необъятно громадной торговлей и шумом, что он такое, как не мысль, миллион мыслей, превращенных в одну? Он – безмерно громадная душа мысли, воплощенная в кирпич, железо, дым, пыль, дворцы, парламенты, фиакры, доки и пр. Человек не может сделать кирпича прежде, чем не подумает о том, как сделать его. Так называемые лоскуты бумаги с черточками черных чернил представляют собою чистейшее воплощение, какое только мысль человеческая может получить. Нет ничего удивительного, что это воплощение оказывается во всех отношениях самым действительным и самым благородным.

Уже много времени тому назад указывалось на все, сказанное мною теперь, относительно первенствующего значения писателей

в современном обществе и постепенного вытеснения прессою всякого рода кафедр, академий и многого другого. В последние времена подобные рассуждения повторяются даже довольно часто с некоторого рода сентиментальным ликованием и удивлением. Мне думается, что сентиментальное должно мало-помалу уступить место практическому. Если писатели имеют действительно такое неизмеримо громадное влияние, совершают для нас такой громадный труд из века в век и даже изо дня в день, – в таком случае, я думаю, мы вправе заключить, что не вечно же они будут скитаться среди нас, подобно непризнанным, дезорганизованным измаильтянам! Для общества нет никакой выгоды, если человек носит одежду, соответствующую известным функциям, и получает вознаграждение за исполнение дела, которое было сделано совсем другим человеком: это несправедливо и грозит гибелью обществу. Однако, увы, достигнуть в данном случае справедливого – какая это громадная работа, сколько времени потребует она!

Не спорю, так называемая организация литературной корпорации все еще весьма далека от нас из-за всевозможного рода многочисленных обстоятельств, тормозящих ее. Если бы вы спросили меня, какая из возможных организаций была бы наилучшей для писателей нашего времени, какая бы организация представляла бы упорядоченную систему прогресса, основанную самым точным образом на действительных фактах, касающихся взаимного положения литературы и общества, то я должен был бы ответить, что такая проблема далеко превосходит мои силы! И не силам одного человека разрешить ее вполне. Даже приблизительно верное решение может быть найдено только усилиями целого ряда людей, горячо принявшихся за ее решение. Никто из нас не мог бы сказать, какая организация была бы самой лучшей. Но если вы спросите, какая самая худшая, то я отвечу: та, которую мы имеем теперь, когда хаос восседает в качестве третейского судьи; вот эта поистине самая худшая. Да, длинный путь предстоит нам еще впереди, прежде чем мы достигнем самой лучшей или вообще сносной организации.

Пользуюсь случаем, чтобы сделать одно нелишнее, по моему мнению, замечание, а именно, что денежные дары со стороны королей или парламентов никоим образом не составляют главной меры, необходимой в данном случае! Стипендии и вклады в пользу литераторов, всякого рода кассы – все это мало поможет делу. Вообще скучно слушать подобные рассуждения о всемогуществе денег. Я склонен, скорее, думать, что для искреннего человека бедность не составляет зла, должны быть бедные писатели, чтобы было видно, искренни они или нет!

Христианство создало свои нищенствующие ордена, корпорации отважных людей, решавшихся жить милостыней. Корпорации эти представляли совершенно естественное и даже неизбежное учреждение, развившееся на основе христианского учения. Само христианство было основано на бедности, скорби, всевозможного рода земных бедствиях и унижениях. Тот, кто не испытал подобных положений и не вынес из них неоцененного опыта, каким они наделяют нас, упустил прекрасный случай поучиться. Просить милостыню и ходить босиком, в платье из грубой шерсти, веревкой вокруг поясницы, встречать презрение со стороны всех – такое занятие не представляло ничего привлекательного, ничего, заслуживающего вообще уважения в глазах людей, пока благородство тех, кто поступал так, не заставило некоторых относиться к ним с уважением.

Нищенство – не в нравах настоящего времени, это правда. Но во всем остальном кто скажет, что бедность Джонсона не послужила для него, быть может, к лучшему? Ему необходимо было, чего бы это ни стоило, убедиться, что материальная выгода, успех всяческого рода не составляет цели, к которой он должен стремиться. Надменность, тщеславие, низменно мотивированный эгоизм всякого рода гнездились в его сердце, как и в сердце всякого человека. Необходимо было прежде всего искоренить его из своего сердца, исторгнуть, какой бы мукой это ни сопровождалось, и отбросить от себя как нечто недостойное. Байрон, рожденный в богатстве и знатности, не обладает такой глубиной понимания, как плебей Бернс.

Кто знает, быть может, в этой «возможно, наилучшей организации», еще столь отдаленной от нас, бедность снова будет составлять важное условие? Что, если наши писатели, выдающиеся люди, духовные герои будут и тогда, как и в настоящее время, составлять своего рода «невольный монашеский орден». Будут связаны все с тою же безобразной бедностью, пока не испытают на себе, что она такое, пока не научатся быть выше ее! Деньги действительно могут сделать многое, но они не могут сделать всего. Мы должны знать сферу влияния, принадлежащую им, и удерживать их в этой сфере; и даже отбрасывать прочь, когда они обнаруживают тенденцию выйти из нее.

Кроме того, если бы денежные выдачи, время, когда именно их следует выдавать, компетентный судья, определяющий, кому их следует выдавать, – если бы все это было установлено, то каким бы образом Бернс мог быть признан заслуживающим подобного вознаграждения? Он должен был бы пройти через испытание и оправдать себя. Да, через известное испытание. Но ведь это яростное бурление хаоса, которое называется

литературной жизнью, оно ведь также в своем роде испытание! Утверждают, что борьба людей, стремящихся из низших классов общества проникнуть в высшие круги и добиться высшего общественного положения, должна вечно продолжаться. В этой мысли заключается несомненная истина.

И в общественных низах рождаются сильные люди, которые должны находиться в другом месте. Многообразная, многосложная и невозможно запутанная борьба этих людей составляет и должна составлять так называемый общественный прогресс. Писатели причастны ей, как и всякого другого рода люди. Каким образом урегулировать эту борьбу? Вот в чем весь вопрос. Предоставить все самому себе, на усмотрение слепого случая? Пусть мириады рассеянных атомов поглощают друг друга в пучине водоворота! Пусть один только из тысячи достигает благополучно цели, а девятьсот девяносто девять погибают на пути! Царственный Джонсон томится в бездействии на чердаке или попадает в кабалу к какому-нибудь пещерному издателю. Бернс умирает с разбитым сердцем, как простой мерщик[122] Руссо, доведенный до ожесточения и безумия, зажигает своими парадоксами Французскую революцию. Такое положение, как мы сказали, несомненно, самая худшая из возможных организаций. А самая лучшая, увы, она еще далеко от нас!

И однако не может быть никакого сомнения, что мы на пути к такой организации. Она сокрыта в недрах грядущих веков, но время ее приближается. Мы можем, не рискуя особенно, высказать подобное пророчество. Ибо коль скоро люди признали важность известного дела, они неустанно работают над упорядочением его, облегчают дальнейшее развитие, содействуют и не успокаиваются, пока не достигнут, хотя бы и не вполне, своей цели. Я говорю, что из всех существующих в настоящее время общественных слоев – духовенства, аристократии, правящих классов – ничто не может идти в сравнение по своему значению с корпорацией писателей. Это факт, всякому бросающийся в глаза и всякого наталкивающий на выводы. «Литература позаботится сама о себе», – ответил Питт[123], когда к нему обратились с просьбой оказать поддержку Бернсу. «Да, – прибавил Саути[124], – она позаботится сама о себе, и о вас также, если вы не обратите на нее должного внимания!»

Речь идет, конечно, не об отдельных писателях: они – всего лишь индивиды, бесконечно малая частица одного громадного тела. Они могут продолжать бороться, жить и умирать сообразно своим привычкам и вкусам. Но интересы всего общества глубоко затрагиваются тем обстоятельством, поставит ли оно свой светильник на высоком месте, чтобы он светил всем? Или же

бросит его под ноги и рассеет свет, исходящий из него, во все стороны по дикой пустыне (не без пожара), как это бывало уже не раз! Свет – единственная вещь, потребная для мира. Поставьте мудрость во главу угла, и мир будет победоносно сражаться, будет наилучшим миром, какой только человек может создать. Я полагаю, что эти скитания, дезорганизованный класс писателей есть средоточие всех прочих наших бед, одинаково и следствие, и причина их. Известное упорядочение в этом деле должно быть как бы punctum saliens[125] новой жизнедеятельности, справедливости и порядка во всем остальном. В некоторых государствах Европы, Франции, Пруссии, например, делаются уже кое-какие робкие шаги в деле организации класса писателей, указывающие на возможность постепенно достигнуть желаемой цели. Я верю, что такая организация возможна, что она должна стать возможной.

Из всего, что я слышал о Китае, наибольший интерес для меня представляет один факт. Относительно него мы не можем, к сожалению, дать себе достаточно ясного отчета, но он, при всей своей неопределенности, возбуждает величайшее любопытство, а именно, что китайцы de facto стремятся сделать своих писателей своими правителями! Было бы опрометчиво с нашей стороны утверждать, что кто-либо отдавал себе сознательный отчет, каким образом это делалось или насколько успешно делалось. Все подобные дела должны оканчиваться крайне безуспешно, но малейший успех ценен, даже попытка и та ценна! Во всем Китае, по-видимому, действительно ведутся более или менее деятельные розыски талантливых людей, принадлежащих к молодому поколению. Там школа открыта для каждого. Хотя в ней получается дурацкое образование, но все-таки известного рода образование. Молодые люди, обратившие на себя внимание в низшей школе, переводятся в высшую. Они ставятся в надлежащие условия, чтобы они могли еще более усовершенствоваться, и так все дальше и дальше. Из них-то, по-видимому, и вербуются должностные лица и начинающие правители. Их сначала испытывают, годятся они в правители или нет. И конечно, с наилучшими результатами, так как это все люди, доказавшие уже, что они обладают умом. Испытайте их! Они еще не были ни правителями, ни администраторами. Быть может, они и не могут быть ни теми, ни другими, но, несомненно, они обладают известным пониманием, без которого ни один человек не может быть правителем! И это понимание не есть орудие, как мы слишком склонны представлять его, а «рука, которая может действовать каким угодно орудием». Испытывайте этих людей: из всех людей они заслуживают больше, чем другие, того, чтобы их испытывали.

Конечно, в этом мире не существует, насколько мне известно, другого подобного правительства, которое воздавало бы такую же дань научной любознательности. Человек с умом – на вершине всех дел: такова должна быть цель всех общественных укладов и организаций. Ибо человек с истинным умом, как я утверждаю постоянно и верю неизменно, есть вместе с тем и человек с благородным сердцем, человек истинный, правдивый, человечный, отважный. Добудьте себе такого человека в правители, и вы добудете все. Если же вам не удастся привлечь его, то хотя бы вы имели конституции столь плодовитые, как ежевика, и парламент в каждой деревне, вы ничего не достигнете!

Все сказанное мною может показаться странным, это правда, все это нисколько не похоже на то, что мы привыкли обыкновенно думать. Но мы переживаем странные времена, когда о подобных предметах необходимо больше думать, когда подобные мысли необходимо делать осуществимыми, необходимо наконец каким-либо образом осуществлять их и многое другое на деле.

Со всех сторон вокруг нас слышится довольно явственно, что старинному владычеству рутины настал конец, долговечное существование известного порядка не есть еще основание для его дальнейшего существования. Все, что приходит в состояние упадка, теряет свою компетентность. Громадные массы человеческого рода в каждом государстве современной Европы не могут дольше жить при подобных условиях. Когда миллионы людей не в состоянии уже более при крайнем напряжении сил добыть себе пропитание и «третья часть людей испытывает недостаток в картофеле последнего сорта в течение тридцати шести недель в году», то, значит, условия, при которых они живут, решительно назрели и должны быть изменены! На этом я и покончу теперь с вопросом об организации класса писателей.

Но злополучие, жестоко угнетавшее указанных мною трех героев-писателей, заключалось главным образом, увы, не в недостатке организации класса писателей! Оно лежит гораздо глубже. Из него, как из своего природного источника, вытекает в действительности и это последнее зло, и много других бед, как для писателей, так и вообще для всех людей. Нашему герою как писателю приходилось совершать свой путь не по большой дороге, идти без сотоварищей, среди окружающего хаоса и нести сюда свою жизнь и способности, чтобы вложить их, как частичный вклад, в дело проведения большой дороги через хаос, – все это он мог бы терпеливо снести. Он мог бы считать лишь обычным уделом героев, если бы при этом самые его способности не подвергались такому беспощадному извращению и не были бы так страшно парализованы! Его фатальное несчастие составлял,

так сказать, духовный паралич того века, когда ему пришлось жить. Паралич, из-за которого его жизнь, несмотря на все усилия, также оказывалась полупарализованной!

XVIII век – век скептицизма. В этом маленьком слове заключается бедствий целый ящик Пандоры. Скептицизм означает не только умственное сомнение, но и нравственное. Он означает всякого рода неверие, неискренность, духовный паралич. Начиная с самого сотворения мира немного, вероятно, найдется подобных веков, когда бы жизнь в героизме представляла для человека больше затруднений, чем в ту пору. Это не был век веры, век героев! Самая возможность героизма отрицалась тогда, так сказать, формально в сознании всех людей. Героизм прошел навсегда. Наступили тривиальность, формализм, общие места, наступили, чтобы остаться навсегда. Мир опорожненный, где удивлению, величию, божеству не было уже более места; одним словом, безбожный мир!

Как ничтожен и невзрачен, кажется, весь склад мышления людей этой эпохи, в сравнении не говорю уже с воззрениями христиан Шекспиров и Мильтонов, но даже древних язычников-скальдов и вообще всякого рода верующих людей! Живое дерево Иггдрасиль, ветви которого, широкие, как мир, шумели своим мелодичным пророческим шелестом, а корни уходили глубоко в самую преисподнюю, погибло в грохоте мировой машины. «Дерево» и «машина» – сопоставьте эти два понятия! Я со своей стороны провозглашаю, что мир – отнюдь не машина! Я утверждаю, что он движется не благодаря механическим «двигателям», колесам и шестерням – личным интересам, чекам и балансам. В нем существует нечто совершенно иное, чем грохот прядильных машин и парламентское большинство, и вообще он – вовсе не машина!

Древнескандинавские язычники имели более правильное представление о Божьем мире, чем жалкие машинные скептики. Древнескандинавские язычники были искренние люди. Но для жалких скептиков XVIII века не существовало ни искренности, ни истины. Полуистина и ходячая фраза сходили за истину. Истина для большинства людей означала правдоподобие, нечто такое, что можно измерять числом полученных в ее пользу голосов. Люди перестали вовсе понимать, что искренность была некогда возможной и что такое была эта искренность. Перед вами выступает несчастная масса ходячих правдоподобностей, вопрошающих с видом неподдельного изумления и оскорбленной добродетели: что, разве мы не искренни? Духовный паралич, говорю я, не пощадивший ничего, кроме механической жизни, представляет характерную черту XVIII века. Средний человек не

мог быть тогда человеком верующим, героем, разве только в том случае, когда он, к своему счастью, стоял ниже своего века, принадлежал к другой, предыдущей эпохе. Одним словом, человек лежал как бы в гробу, потеряв сознание под влиянием злополучных веяний. Тот же, кто стоял целой головой выше других, только путем бесконечной борьбы и страшных противоречий мог отстоять для себя полусвободу и прожить свою духовную жизнь, полную трагизма и похожую, собственно, на смерть, точно в заколдованном состоянии и быть полугероем!

Все это, вместе взятое, мы называем скептицизмом. Он является главным стимулом, главным началом, порождающим все остальное. По этому поводу следовало бы, собственно, поговорить обстоятельнее, но в таком случае изложению того, что я чувствую относительно XVIII столетия и его понятий, пришлось бы посвятить не несколько слов и не одну беседу, а целый ряд. Ибо действительно, то, что мы называем здесь скептицизмом, и все подобное ему есть черная немочь и губительный недуг жизни, против которого направлены все поучения и все собеседования, с тех пор как зародилась человеческая жизнь.

Борьба веры с неверием – это никогда нескончаемая борьба! Дело не в порицаниях и обвинении, конечно. Скептицизм XVIII века мы должны рассматривать как упадок древних верований, медленную подготовку новых, более широких верований. Он был неизбежным явлением. Мы не должны порицать людей за него. Мы должны оплакивать их тяжелую участь. Мы должны понять, что разрушение старых форм не есть разрушение вечных сущностей. Скептицизм, прискорбный и ненавистный скептицизм, каким мы знаем его, есть не конец, а начало.

Говоря в одной из предыдущих бесед о теории Бентама относительно человека и человеческой жизни, я случайно сказал, что его мировоззрение кажется мне жалким по сравнению с мировоззрением Магомета. Чтоб устранить всякие недоразумения, я считаю себя обязанным сказать здесь, что именно таково мое вполне обдуманное мнение. Говорю это не с тем, чтоб оскорблять лично Иеремию Бентама и тех, кто верит ему и уважает его. Бентам сам по себе и даже убеждения Бентама кажутся мне сравнительно достойными похвалы. Все стремились к определенному бытию, стремились нерешительным образом, представляя собою «ни рыбу ни мясо». Пусть же лучше будет кризис: за ним наступит или смерть, или излечение. Этот грубый машинообразный утилитаризм, по моему мнению, указывал на приближение новой веры. Он означал ниспровержение лицемерия. Он говорил каждому: «Итак, этот мир есть мертвая железная машина, влечение и самодовлеющий голод – его

божество. Посмотрим, что можно сделать из него при помощи пружин и рычагов, зубцов и шестерней, тщательно отшлифованных!»

Бентамизм заключал в себе нечто полное, мужественное. Он бесстрашно отдавался тому, что признавал за истину. Он также не лишен геройства, хотя это было геройство с выколотыми глазами! Он – кульминационная точка, бесстрашный ультиматум, на какой только мог отважиться человек XVIII века, всецело погрязший в нерешительной половинчатой жизни, представлявший собою, как я говорю, «ни рыбу ни мясо». Я думаю, что все те, кто отрицает божество, и все те, кто исповедует его только своими устами, должны быть бентамистами, если они люди отважные и честные. Бентамизм – это безглазый героизм. Род человеческий, подобно несчастному ослепленному Самсону, ворочавшему жернова на мельнице у филистимлян, конвульсивно обхватывает столбы мельницы и потрясает ими. Наступает всеобщая гибель, но вместе с тем в конце концов и освобождение. О Бентаме я не стану говорить ничего дурного.

Но вот что я должен сказать и желал бы, чтобы все люди услышали это и приняли к сердцу, а именно, что тот, кто видит во вселенной всего лишь механизм, фатальным образом упускает совершенно из виду тайну вселенной. Изгнание всякого божества из человеческого представления о мире, в моих глазах, – жесточайшее животное заблуждение. Я не говорю – языческое, чтобы не оскорблять язычество, каково бы оно ни было вообще. Это неправда, это – в самом существе своем ложь. Человек, думающий так, будет думать неправильно и обо всем остальном. Первородный безбожный грех извратит в корне все его суждения. Это заблуждение мы должны считать самым плачевным из всех заблуждений, плачевнее даже колдовства.

Впадая в колдовство, человек поклоняется по крайней мере живому дьяволу, а здесь он поклоняется мертвому железному дьяволу; ни Бога, ни даже дьявола! Все благородное, святое, всякое вдохновение исчезает вследствие этого заблуждения, и повсюду в жизни остается одно презренное caput mortuum[126] – механически связанная оболочка, из которой дух живой исчезает совершенно. Разве может человек поступать при таких условиях героически? «Учение о двигателях» внушает ему, в более или менее замаскированном виде, что не существует ничего, кроме жалкой страсти к наслаждению и страха перед страданием. Голод, жажда рукоплесканий, денег и всякого рода пожива предоставляет последнее слово в человеческой жизни. Короче говоря, полный атеизм, который неизбежным и ужасающим образом карает в конце концов сам себя. Человек, говорю я,

становится тогда паралитиком в духовном отношении. Божественная вселенная – мертвой, механически слаженной паровой машиной, работающей благодаря только двигателям, нажимам, рычагам и я не знаю еще чему. В ней как в злополучном чреве отвратительного быка Фалариса[127], находится он, сам изобретатель, бедный Фаларис, и ожидает своей жалкой смерти.

Вера, как я понимаю ее, есть здоровый акт человеческого духа. Каким образом человек находит свою веру – таинственный, не поддающийся описанию жизненный процесс. Ум дан нам вовсе не для того, чтобы мы препирались и умствовали, но для того, чтобы мы могли проникать в окружающие нас предметы, создавать себе ясное представление, понимать их, веровать и на основании всего этого затем действовать. Правда, сомнение само по себе не есть преступление. Конечно, мы не должны накидываться на все сразу, подхватывать первую попавшуюся нам мысль и верить в нее тотчас же! Всякого рода сомнение, пытливость, скепсис, как называют ее, относительно каких бы то ни было фактов, присущи уму каждого разумного человека. Сомнение представляет мистическую работу ума над фактами, находящимися на пути к тому, чтобы человек понял и уверовал в них. Вера вырастает из всего этого, как вырастает дерево над почвой из своих скрытых корней. Но затем, мы требуем даже в обыденных делах, чтобы человек держал при себе свои сомнения и не болтал о них, пока они не переработаются до некоторой степени в утверждения или отрицания. Тем с большим правом мы можем требовать того же, когда дело идет о предметах величайшей важности, о предметах, которых даже невозможно высказать словами! Когда человек выставляет напоказ свое сомнение и воображает, что споры и логика составляют истинное торжество и работу его интеллекта, то, увы, он делает то же, что и неразумный садовник. Последний – выворачивающий дерево и показывающий нам вместо зеленых ветвей, листьев и плодов безобразные обнаженные корни. Никакого роста в будущем, одна только смерть и несчастие!

Скептицизм, как я сказал, охватывает не только интеллект, но и нравственное чувство. Это – хроническое разрушение и атрофия всей души. Человек живет только верой, а не спорами и умствованиями. Горе ему, если все, с чем он совладал и верил, сводится к тому, что он может засунуть в карман или обратить на удовлетворение своих грубых аппетитов. Ниже этого он уже не может пасть! Века, когда человек падает так низко, мы считаем самыми плачевными, жалкими и ничтожными. Сердце мира страдает, оно парализовано; разве могут члены его чувствовать себя при этом здоровыми? Во всех отраслях мировой работы

прекращается искренняя деятельность и начинается ловкая фальсификация. Заработная плата, выдаваемая миром, спокойно кладется в карман, а работа мира не делается.

Герои ушли. Настало время шарлатанов.

Действительно, какое другое столетие, начиная с падения римского мира – это была также эпоха скептицизма, призрачности, всеобщего разложения, – какое другое столетие изобиловало такой массой шарлатанов, как XVIII век? Присмотритесь к ним, их напыщенному, сентиментальному хвастовству добродетелью и милосердием, к этому жалкому эскадрону шарлатанов с Калиостро во главе. Немногие устояли тогда и остались незапятнанными. Шарлатанство признавалось в ту пору необходимым ингредиентом и амальгамой истины. Чатам[128], наш храбрый Чатам, он пришел в палату весь в повязках и перевязях; он «приполз сюда, несмотря на страшное физическое страдание», но забыл разыгрываемую им роль больного человека: в пылу спора срывает свою руку с перевязи и по-ораторски размахивает и жестикулирует ею! Сам Чатам ведет какую-то крайне странную, подражательную жизнь: полугерой, полушарлатан в течение всей жизни. Ибо действительно, мир изобилует олухами, а вы добились всеобщего голосования! Нам незачем входить здесь в рассмотрение, каким образом при таких условиях выполняются всеобщие обязанности, какое количество ошибок постепенно накапливается во всех областях человеческой деятельности, ошибок, указывающих на несостоятельность, и ошибок, указывающих на бедствие и несчастие многих или немногих людей.

Я думаю, что мы влагаем свои персты в самую гнойную язву мира, когда говорим о скептицизме. Скептический мир – неискренний мир. Скептицизм – безбожная неправда мира! Из него зародилось целое племя социальных язв – французские революции, чартизм и все, что угодно; он составлял главную основу их неизбежного существования. Все это должно измениться, а до тех пор невозможны никакие действительные улучшения. Моя единственная надежда относительно человечества, мое постоянное утешение при виде бедствий мира – в том, что такой порядок вещей изменяется. То там, то здесь в настоящее время встречаются уже люди, которые признают, как в старые времена, что мир представляет собою истину, а не одну только вероятность, не ложь. Признают, что сами они – люди живые, а не мертвые или паралитики и что мир – жив и движим божеством, прекрасен и грозен, как в первый день творения! Раз один человек признает это, то и многие, то и все люди должны постепенно прийти к тому же. Дело ясное для всякого, кто, желая

знать истину, снимет очки и взглянет открыто на мир Божий!

Для такого человека век неверия, со всеми его проклятыми последствиями, уже дело прошлого. Для него уже наступает заря нового столетия. Старое проклятое наследие, прежние деяния, как бы долговечны они ни казались, суть фантомы, готовые скоро исчезнуть. И этому шумливому, величественно выглядывающему призраку с целым сонмом людей, выкрикивающих вслед за ним «ура», равно как и другим призракам, он может сказать, спокойно отступая в сторону: «Ты – не истина; ты не существуешь; ты – одна только видимость; иди своим путем!» Да, пустой формализм, грубый бентамизм и всякого другого рода негероическая атеистическая неискренность видимо и быстро клонится к упадку. Неверующий XVIII век представляет, в конце концов, исключительное явление, какое бывает вообще время от времени в истории. Я предсказываю, что мир еще раз станет искренним, верующим миром, в нем будет много героев, он будет героическим миром! Тогда он станет победоносным миром; только тогда и только при таких условиях.

Но в самом деле, что я говорю о мире и о его победах? Люди слишком много говорят о мире. Не обязан ли каждый из нас – пусть мир идет, как он хочет, преуспевает или не преуспевает – направлять свою собственную жизнь в ту или другую сторону? Жизнь человеку дается только один раз. Только один раз промелькнет для него этот маленький проблеск времени между двумя вечностями; вторично жить нам никогда более не придется! И благо было бы нам жить не как глупцам и призракам, а как мудрецам и действительным людям. Спасение мира не спасает еще нас, так же как заблуждение мира не губит еще нас. Мы должны сами позаботиться о себе: великое дело представляет эта «обязанность оставаться дома»! И вообще, говоря по правде, я никогда не слышал о «мирах», «спасенных» каким-либо другим образом. Мания спасать миры составляет особенность XVIII века с его пустым сентиментализмом. Не будем же подражать ему слишком старательно. Ибо спасение мира я должен с полным упованием предоставить Творцу мира и позаботиться немного о своем собственном спасении, в чем я могу быть гораздо более компетентен! Короче, мы должны в интересах мира и своих собственных радоваться, что скептицизм, неискренность, механический атеизм, со всеми своими ядовитыми росами, проходят, почти уже прошли.

Таковы были условия, при которых во времена Джонсона приходилось жить нашим писателям. Тщетно вы стали бы искать тогда какой-либо истины в жизни. Старые истины лежали поверженные, почти безмолвные; новые оставались еще

сокрытыми, их никто не пытался высказать. В этих сумерках мира не видно было еще ни малейшего проблеска, намека, что человеческая жизнь здесь, на земле, была некогда искренней, представляла собою действительный факт и что такою она должна быть всегда. Ни малейшего намека, ни даже чего-либо вроде Французской революции, которую мы понимаем, во всяком случае, как новое проявление истины, хотя и вырвавшейся, подобно огню, из самой преисподней! Какая громадная разница между паломничеством Лютера, имевшего перед собою достоверную цель, и паломничеством Джонсона, окруженного одними только традициями, гипотезами, ставшими в то время уже немыслимыми, невероятными!

Формулы, с которыми приходилось считаться Магомету, можно выразить следующим образом: «Дерево, смазанное маслом и натертое воском». Таких идолов можно было сжечь и сбросить с пути; но гораздо труднее было сжечь формулы, стоявшие перед бедным Джонсоном. Сильный человек всегда найдет себе труд (преодоление трудностей, страдание), в полную меру своей силы. Но выйти победителем из обстоятельств, при которых работал наш герой-писатель, было труднее, чем из каких угодно других. Дело не в помехах, дезорганизации, книгопродавце Осборне и четырех с половиной пенсах в день. Дело, я хочу сказать, не только в этом, а в том, главным образом, что у писателя-героя похитили свет его собственной души. На его пути не было воткнуто ни одной вехи в землю. Но увы, что значит это по сравнению с тем, что он в то же время не видел никакой Полярной звезды на небе! Нечего поэтому удивляться, если три означенных писателя не вышли победителями из жизненной борьбы. Величайшей похвалы заслуживают они уже за то, что честно сражались, и мы со скорбной симпатией созерцаем теперь если не трех живых победителей-героев, то, как я сказал, гробницы трех павших героев! Они пали, сражаясь также и за нас, пролагая путь также и для нас. Вот горы, которыми они ворочали среди потемок в своей борьбе с гигантами; а теперь они покоятся под ними, растратив свои силы и свою жизнь.

Я писал уже об этих трех писателях-героях и потому не стану говорить здесь вторично об одном и том же. В настоящем случае они интересуют нас как единственные пророки этого единственного в своем роде века. Они действительно были пророками. Зрелище, какое представляют они и их мир с такой точки зрения, может навести нас на многие размышления. Я считаю их всех троих, в большей или меньшей степени, искренними, честно, хотя в большинстве случаев и бессознательно, стремившимися быть искренними и утвердиться

вечной истине вещей. Таково в высшей степени важное отличие этих людей от жалкой массы их искусственных современников. Они высоко стоят над толпой, и мы можем считать их до известной степени проповедниками вечной истины, пророками своего века. Сама природа возложила на них благородную необходимость быть проповедниками. Они были слишком великими людьми, чтобы жить нереальностями. Заволакивающие облака, пена и всякая суета исчезали перед ними. Для них не существовало другой точки опоры, кроме твердой земли; они не могли рассчитывать ни на покой, ни на правильное движение до тех пор, пока не станут прочной ногой на эту землю. До известной степени они представляют собой также сынов природы в этот век всего искусственного и, таким образом, являются еще раз людьми оригинальными.

Что касается Джонсона, то я всегда относился к нему как к одному из наших великих английских умов. Сильный и благородный человек! Какая масса дарований так и осталась в нем до конца под спудом! Чего бы только он не сделал при обстановке более благоприятной: он мог бы быть поэтом, священником, верховным правителем! Но вообще человек не должен сетовать на свою «среду», «время»; это – бесплодный труд. Если человеку приходится жить в скверные времена, то он должен стремиться к тому – и в этом смысл его жизни, – чтобы сделать их хорошими!

Юность Джонсона протекла в бедности, одиночестве, среди безысходной нужды, без всяких надежд впереди. Однако мы не имеем, в сущности, никакого основания утверждать, что при более благоприятных внешних условиях жизнь Джонсона могла бы быть иной, не столь мучительной. Мир мог получить от него большее или меньшее количество полезной работы. Но его усилие, направленное против работы, проделываемой миром, ни в каком случае не могло быть для него легким. Природа, в ответ на его благородство, сказала ему: живи в атмосфере болезненной скорби. Нет, быть может, скорбь и благородство были тесно и даже неразрывно связаны одна с другим. Во всяком случае, бедный Джонсон должен идти своим путем, охваченный вечной ипохондрией, физическими и душевными муками. Он точно Геркулес в раскаленной рубашке Несса[129]. Рубашка причиняет ему тупую нестерпимую боль, но он не может сорвать ее, так как она – его собственная кожа! Так приходилось ему жить. Перед вами человек, страдающий золотухой, с великим жаждущим сердцем и невыразимым хаосом мыслей, печально шагающий, подобно какому-то чужеземцу, на нашей земле, жадно пожирающий всякую умственную пищу, какую только он может

раздобыть: языки, обыкновенно изучаемые школьниками, и другие чисто грамматические материи, за неимением лучшего! Величайший ум во всей Англии, – и на удовлетворение его потребностей – всего «четыре с половиной пенса в день». Однако это – гигантский, непобедимый ум, ум истинного человека.

Навеки будет памятна известная история с башмаками в Оксфорде. Неотесанный, сухопарый, с узловатым лицом студент-стипендиат ходил в зимнюю пору в изорванных башмаках. Один мягкосердый студент-джентльмен тайком поставил у его дверей новую пару башмаков, и сухопарый стипендиат взял их, посмотрел пристально своими близорукими глазами и – с какими мыслями – выбросил вон за окно! Промоченные ноги, грязь, мороз, голод – все, что вам угодно, только не нищенство: нищенствовать мы не можем. Суровая и непреклонная независимость заговорила в нем. Здесь перед вами целый мир грязи, грубости, непроглядной бедности и нужды и вместе с тем благородства и мужества. Эта история с выброшенными за окно башмаками крайне типична для Джонсона. Он вполне оригинальный человек, человек, живущий не чужим умом из вторых рук, не заимствующий, не выпрашивающий. Будем стоять на нашем собственном основании, чего бы это нам ни стоило! Будем ходить в таких башмаках, какие мы можем сами добыть себе, в мороз и по грязи, если вам угодно, но, только не стыдясь, открыто для всех. Будем опираться на реальность и сущность, которые открывает нам природа, а не на видимость, не на то, что она открывает другим, не нам!

И однако, при всем его суровом мужестве, при всей его гордой независимости, разве существовала когда-либо душа более нежно любящая, чистосердечно подчиняющаяся всему, что стояло действительно выше ее? Великие души всегда лояльно-покорны, почтительны к стоящим выше их. Только ничтожные, низкие души поступают иначе. Я не мог бы найти лучшей иллюстрации, чем личность Джонсона, к мысли, высказанной мной в одной из предыдущих бесед, а именно – искренний человек по природе своей – покорный человек. Только в мире героев существует законное повиновение героическому.

Суть оригинальности не в новизне. Джонсон всецело верил в старину, относился уважительно к непреложности древних учений, находил их годными для себя и следовал им настоящим героическим образом. В этом отношении он заслуживает самого серьезного изучения. Ибо мы должны сказать, что Джонсон не был человеком одних только слов и формул. Нет, он был человеком истины и фактов. Он опирался на старые формулы, тем лучше для него, что он мог так поступать. Но все формулы,

которые он мог признать, необходимо должны были заключать в себе самое подлинное, настоящее содержание. Крайне любопытно, что в этот жалкий бумажный век, столь скудный, искусственный, наполненный доверху педантизмом всякого рода, ходячими фразами, в этот век великий факт, вселенная навеки чудесная, несомненная, невыразимая, божественно-адская – все-таки сверкала своим ярким блеском для Джонсона! Любопытно, как он приводил свои формулы в гармонию с нею, справлялся со всеми затруднениями. Это – картина, заслуживающая серьезного внимания, на которую «следует глядеть с почтением, состраданием и благоговением». Церковь Святого Клемента, где Джонсон поклонялся своему Богу в эпоху Вольтера, вызывает во мне чувство благоговения.

Джонсон по силе своей искренности, слова, исходившего до известной степени все еще из самого сердца природы, хотя и облекавшегося в формы ходячего, искусственного диалекта, был пророком. Но разве не все диалекты «искусственны»? Не все искусственные вещи фальшивы. Напротив, всякое истинное творение природы неизбежно принимает известную форму. Мы можем сказать, что все искусственное в первоначальной точке своего отправления истинно. Так называемые нами «формулы» не заключали в себе вначале ничего низменного, они были необходимым благом. Формула есть метод, обычай, она существует повсюду, где существует человек. Формулы складываются так же, как пролагаются тропинки, проезжие большие дороги, ведущие к святыне, на поклонение которой стекается масса народу.

В самом деле, представьте: человек под влиянием горячего сердечного импульса находит средство осуществить известную мысль – например, выразить благоговение, какое его душа питает к Всевышнему, или же просто приветствовать надлежащим образом человека, подобного себе. Для того чтобы сделать это, необходимо быть изобретателем, поэтом. Он высказывает во всеуслышание, отчеканивает мысль, существовавшую и смутно боровшуюся в его сердце и в сердцах многих других людей. Это – его образ действия; его следы, начало «тропинки». А теперь смотрите: второй человек идет, само собою разумеется, по следам своего предшественника: это – самый легкий способ продвигаться вперед. Да, по следам своего предшественника. Не отказываясь, однако, от изменений, улучшений, где это оказывается удобным, но, во всяком случае, протаптывая тропинку. Таким образом, она становится все шире и шире по мере того, как все больше и больше народу ходит по ней, пока наконец не превращается в широкую, большую дорогу, так что весь мир может ходить и

ездить по ней. Пока на другом конце находится город или святыня или вообще что-либо реальное, к чему стремится народ, до тех пор большая дорога должна по справедливости считаться благом. Но раз город исчезает, мы неизбежно забрасываем и свою большую дорогу. Таким именно образом возникают всякие учреждения, обычаи, все то, что укладывается в те или иные рамки, и таким же образом они прекращают свое существование.

Все формулы вначале полны сущности; вы можете назвать их кожею: они представляют собою отчеканенное воплощение, в форме, членах, той сущности, которая уже существует помимо них. Если бы это было не так, то и формул не существовало бы вовсе. Существование идолов, как мы сказали, не означает еще идолопоклонства до тех пор, пока они не вызывают сомнения, не становятся пустыми для сердца человека, поклоняющегося им. Хотя мы много говорили против формул, однако я надеюсь, никто из вас не станет отрицать великого значения истинных формул, того, что они были и всегда будут неотъемлемою принадлежностью нашего существования в этом мире.

Заметьте еще, как мало Джонсон хвалится своею «искренностью». Он вовсе и не подозревает даже, что он особенно искренен, представляет собою нечто! Он – человек, ведущий тяжелую борьбу, человек с измученным сердцем, «школяр», как он называет сам себя, работающий без устали над тем, чтобы добыть себе честным образом жалкие средства существования в этом мире, не умереть с голоду и жить не воруя. В нем есть благородная бессознательность. Он не «вырезает слово «истина» на своих брелоках». Но он опирается на истину, говорит и работает во имя ее, живет ею. Так всегда бывает. Подумайте об этом еще раз.

Человек, предназначенный природою для свершения великих дел, бывает одарен прежде всего чуткостью по отношению к природе, которая делает его неспособным быть неискренним! Для его широкого, открытого, глубоко чувствующего сердца природа есть факт, всякая ходячая фраза есть фраза. Несказанное величие тайны нашей жизни, сознает ли он это или нет, даже более, хотя бы ему казалось, что он позабыл об этой тайне и отрицает ее, всегда стоит перед ним, стоит удивительное и страшное по одну и по другую руку его. У него есть известная основа искренности, несознаваемая, так как она никогда не подвергалась сомнению и не может подвергаться ему.

Мирабо, Магомет, Кромвель, Наполеон – все вообще великие люди, о которых я только слышал когда-либо, отличались такою же искренностью, составлявшей первородную материю их бытия. Бесчисленное множество обыденных людей спорят и толкуют

повсюду о своих пошлых доктринах, усвоенных ими логическим, рутинным путем из вторых рук. Но для такого человека все эти споры не имеют еще ровно никакого значения.

Он должен обладать истиной, истиной, относительно которой он чувствует, что она действительно истинна. Иначе он не будет чувствовать под собой прочной почвы. Его дух всем своим существом, всякий миг, всевозможными путями внушает ему, что в подобных спорах и толках нет ничего устойчивого. Он испытывает благородную необходимость быть истинным. Я не разделяю образа мыслей Джонсона относительно всего существующего, как я не разделял и образа мыслей Магомета. Но я признаю непреходящий элемент сердечной искренности и в том и в другом и с радостью вижу, что и тот и другой образ мыслей оставили после себя известные результаты. Ни один из них не представляет собою посеянной мякины. В обоих есть нечто такое, что будет расти на обсемененном ими поле.

Джонсон был пророком для своего народа. Он проповедовал народу слово Божие, что всегда делают все люди, подобные ему. Это его возвышенное слово мы можем определить как своего рода нравственное благоразумие: «в мире, где приходится много делать и мало знать», будьте внимательны к тому, каким образом вы станете делать! Мысль, весьма и весьма заслуживающая самой горячей проповеди. «Мир, где приходится много делать и мало знать»: не позволяйте же себе погрязать в беспредельных и бездонных пучинах сомнения, жалкого неверия, забывающего о Боге. В противном случае вы будете несчастны, бессильны, безумны. Как вы будете делать, как вы будете работать? Такое именно божественное слово проповедовал Джонсон, и ему он обучал людей, – слово, связанное теоретически и практически с другим его великим словом: «Очистите душу вашу от лицемерия!» Не имейте никакого дела с лицемерием: не бойтесь холодной грязи, морозной погоды, лишь бы только вы были в своих действительных, рваных башмаках. «Так будет лучше для вас!» – говорит Магомет. Я называю это, я называю эти два положения, соединенные вместе, великим евангелием, величайшим, быть может, какое только было возможно в то время.

Сочинения Джонсона, некогда весьма распространенные и пользовавшиеся громадной известностью, теперь не удостаиваются внимания молодого поколения. И это совершенно понятно: мысли, высказываемые Джонсоном, отжили или отживают свой век. Но общий тон его мыслей и его жизни, мы можем надеяться, никогда не устареет.

В книгах Джонсона я нахожу бесспорнейшие следы великого

ума и великого сердца. Эти следы будут навеки дороги нам, с какими бы промахами и извращениями они ни были связаны. Слова его – искренние слова, ими он обозначает действительные предметы. Удивительный слог, точно проклеенный холст, был лучшим, какой только он мог выработать в то время. Размеренная высокопарность, шагающая или, скорее, гордо выступающая вперед крайне торжественным аллюром, устарела для настоящего времени; местами вы наталкиваетесь на фразеологию, своим напыщенным размахом не соответствующую содержанию; но со всем этим вы примиряетесь. Ибо фразеология, напыщенная или нет, всегда заключает в себе кое-что. А какая масса прекрасных стилей и прекрасных книг ничего не содержат в себе. Человек, пишущий подобные книги, – настоящий общественный злодей. Вот какого рода книг должен избегать каждый человек.

Если бы Джонсон не оставил ничего, кроме своего «Словаря», то и этого было бы достаточно, чтобы признать в нем великий ум искреннего человека. Обратите внимание на ясность определений, верность, глубину, солидность во всех отношениях, удачный метод, и вы согласитесь, что этот словарь можно считать одним из лучших словарей. В нем чувствуется своего рода архитектурное благородство. Он поднимается подобно громадному, массивному, вполне законченному и симметричному четырехугольному зданию. Да, это действительно дело рук настоящего мастера.

Несмотря на недостаток места, мы должны посвятить несколько слов бедному Боззи (Босуэллу). Его обыкновенно считают низким, надменным, жадным созданием. Во многих отношениях он вполне заслужил такую репутацию. Однако его отношение к Джонсону навсегда останется фактом, говорящим в его пользу. Глупый, тщеславный шотландский лорд, тщеславнейший человек своего времени, приближается с чувством глубокого почтения к великому раздражительному педагогу, загнанному на низкий чердак и покрытому толстым слоем пыли. Это было с его стороны неподдельное уважение к превосходству, поклонение герою в эпоху, когда не подозревали даже, что существуют герои и что следует поклоняться. Итак, герои существуют, очевидно, всегда, а вместе с тем существует и известного рода поклонение им! Я решительно протестую против известного изречения остроумного француза, что будто бы нет человека, который был бы героем в глазах своего камердинера[130]. А если бы это и было действительно так, то дело здесь не в герое, а в камердинере. Дело в том, что душа у этого последнего низменная, холопская душа! Он думает, что герой должен выступать в театрально-нарядном царском костюме, размеренным

шагом, с длинным хвостом позади себя и звучащими трубами впереди. Я скорее сказал бы, что ни один человек не может быть великим монархом в глазах своего камердинера. Совлеките с вашего Людовика XIV королевский убор, и от его величия не останется ничего, кроме ничтожной вилообразной редьки с причудливо вырезанной головой. Что же удивительного может находить для себя камердинер в подобной редьке!.. Камердинер, говорю я, не узнает истинного героя, хотя и смотрит на него. Увы, это так; только тот может узнать героя, кто до известной степени сам герой; и одна из бед мира, как в этом, так и в других отношениях, заключается именно в недостатке подобных людей.

В заключение не должны ли мы сказать, что удивление Босуэлла было вполне законно, в целой Англии в то время нельзя было найти человека, заслуживавшего в такой же мере, как Джонсон, удивления и преклонения? Не согласимся ли мы также, что этот великий, мрачный Джонсон мудро прожил свою жизнь, исполненную труда и борьбы среди мрака, он прожил ее хорошо, как подобает истинно мужественному человеку? Примите во внимание губительный хаос коммерческого писательства, скептицизма в религии и политике, жизненной теории и практике. Со всем этим он сумел справиться как отважный человек, несмотря на бедность, пыль и темноту, болезненное тело и покрытое плесенью платье. Нельзя сказать, чтобы Полярная звезда вовсе не светила для него в бесконечном пространстве. Нет, для него существовала еще Полярная звезда, как она необходимо должна существовать для всякого отважного человека. С глазами, устремленными на нее, он неуклонно держался своего курса в этих мутных водоворотах спавшего моря Времени. «Перед духом лжи, несущим смерть и алкание, он ни за что не спустил бы своего флага». Храбрый старый Сэмюэл – ultimus Romanorum[131]!

О Руссо и его героизме я не стану распространяться так много. Руссо не был сильным человеком в том смысле, как я понимаю. Болезненный, легко возбуждаемый, раздражительный человек – в лучшем смысле за ним можно признать скорее известную напряженность, чем силу. Он не обладал «талантом молчания», этим неоценимым талантом, которым могли похвастаться немногие французы, да вообще и люди всякой иной национальности тех времен. Действительно, страдающий человек должен сам «глотать свой собственный дым». Нет ничего хорошего в том, если вы напустите дыму, не позаботившись предварительно превратить его в огонь, так как – в переносном, конечно, смысле – всякий дым может быть превращен в огонь. Руссо недостает глубины и широты, силы и спокойствия, чтобы

встретить надлежащим образом всякое затруднение. Недостает, следовательно, первой характерной черты истинного величия. Существенную ошибку делает тот, кто принимает горячность и упрямство за силу. Вы не назовете человека, одержимого конвульсивными припадками, сильным, хотя в такую минуту его не могут удержать шестеро человек. Истинно сильный человек тот, кто может идти, не шатаясь, несмотря на самое тяжелое бремя. Мы всегда должны освежать эту истину в своей памяти, в особенности в наши громко кричащие о себе дни. Человека, который не может оставаться спокойным, пока не настанет время говорить и действовать, нельзя считать настоящим человеком.

Взгляните на лицо бедного Руссо. По моему мнению, на нем вполне отражается, что он был за человек. Вы замечаете большую напряженность, но ограниченную, съежившуюся. Костлявые надбровья, глубоко сидящие и близко расположенные глаза, в которых светится что-то блуждающее и проницающее, подобно острому взгляду рыси. На лице его вы видите печать горя, даже низменного горя, но вместе с тем и следы борьбы, – что-то такое низкое, плебейское, искупаемое лишь напряженностью. Это лицо человека-фанатика. Печальным образом съежившийся герой! Мы упоминаем здесь о нем, так как, несмотря на все его недостатки, а их было немало, он говорил серьезно, из глубины своего сердца, что составляет главную, основную особенность всякого героя. Да, он серьезен, насколько только мог быть тогда серьезен человек: серьезен, как никто из этих французских философов. Он был, можно сказать, серьезен для своей вообще чувственной и скорее слабой натуры, что и довело его в конце концов до крайне странной непоследовательности, почти до сумасшествия. Под конец жизни с ним случилось несчастье, нечто вроде помешательства: его идеи овладели им и, подобно демонам, носили его и толкали в пропасть.

Существеннейший недостаток Руссо и все злополучие, проистекшее из него, мы можем назвать одним словом: эгоизм, который действительно есть источник и общий итог всяких иных недостатков и злополучий. Стремясь к самоусовершенствованию, он в то же время не мог овладеть самым простым своим желанием. Низменный голод в многообразных формах служил главным двигателем его жизни. Я боюсь, не был ли он крайне тщеславным человеком, жадным на людские похвалы. Вспомните случай с Жанлис. Она пригласила Жан-Жака в театр. Он поставил условием строгое инкогнито: «Он хотел, чтобы его никто не заметил!» Случилось, однако, так, что инкогнито было раскрыто. Партер узнал Жан-Жака, но не обратил на него особенного внимания. Он пришел в страшное негодование и просидел весь

вечер, насупившись, отделываясь от разговора отрывочными фразами. Развязная графиня была вполне убеждена, что он разгневался не за то, что его узнали, а за то, что ему не аплодировали, когда узнали. Так пропитывается отравою вся природа человека; остается одна только подозрительность, самоизолированность, свирепое, нелюдимое настроение! Он не мог ни с кем ужиться. Однажды его навестил один знакомый из провинции, пользовавшийся известным положением в обществе, бывавший часто у Жан-Жака и относившийся к нему всегда с глубоким уважением и любовью. Он застал Жан-Жака в крайне дурном и тяжелом, без видимой, однако, причины, настроении. «Милостивый государь, – сказал Жан-Жак со сверкающими глазами, – я знаю, зачем вы пришли сюда. Вы пришли, чтобы посмотреть, какую низменную жизнь влачу я, как ничтожно содержимое моего жалкого котелка, который кипятится вон там. Хорошо, загляните в него! Там – полфунта мяса, одна морковь и три головки лука; вот и все! Идите и расскажите об этом всему свету, если вам угодно, сударь!» Подобные слова показывают, что человек зашел уже слишком далеко. Эти превратности и кривляния бедного Жан-Жака давали материал для анекдотов, которыми забавлялся весь мир ради пустого смеха и некоторого театрального интереса. Увы, для него они не были смешны и театральны; для него они были слишком реальны! Это – судороги умирающего гладиатора; переполненный амфитеатр смотрит на это как на веселую забаву, но гладиатор в агонии, он умирает.

И однако Руссо, с его страстными обращениями к матерям, общественным договором, прославлениями природы, даже дикой жизни в природе, еще раз говорим мы, прикоснулся к действительному миру, снова и снова боролся, чтобы достигнуть действительности, – одним словом, исполнял функцию пророка для своего времени. Исполнял, как он мог, и как могло время… Странно, но сквозь все это уродство, всю эту искаженность и почти безумие в самой глубине сердца бедного Руссо светит луч настоящего небесного пламени. Еще раз, вне атмосферы сухого, насмешливого философизма, скептицизма, зубоскальства, возникает в душе этого человека неискоренимое чувство и сознание, что жизнь наша истинна, она не скептицизм, теорема или насмешка, а факт, действительность, внушающая благоговение. Природа ниспослала ему такое откровение и повелела поведать о нем миру. Он поведал если не хорошо и ясно, то скверно и темно; во всяком случае, настолько ясно, насколько он мог. Что означают все эти его заблуждения и извращенности, даже это воровство лент, бесцельные и непонятные скитания и бедствия? Что означает все это,

спрашиваю я, при надлежащем понимании с нашей стороны, как не мигающее потухание огня, как не колебания человека, посланного с миссией, для которой он оказывается слишком слабым и потому никак не может отыскать настоящей тропинки? Странными путями ведет Провидение людей. Необходимо относиться терпимо к человеку, надеяться на него, давать ему возможность еще и еще испытывать, на что он способен. Пока существует жизнь, существует и надежда у всякого человека.

Что касается литературного таланта Руссо, ревностно прославляемого еще до сих пор среди его соотечественников, то я не могу сказать ничего особенного в его пользу. Его книги, подобно ему самому, запечатлены, как я выражаюсь, чем-то нездоровым, это нехорошего разбора книги. В Руссо есть чувственность. В соединении с его необычайными умственными дарованиями она создает роскошные, до известной степени привлекательные картины. Но это не настоящие поэтические картины, не белый солнечный свет, а что-то оперное, румяна своего рода, поддельный убор. Такая искусственность стала после Руссо явлением обыденным или, вернее, даже всеобщим среди французов. Сталь, Сен-Пьер[132] страдают также ею до известной степени, но в особенности вся современная поразительно исступленная «литература отчаяния». Эти румяна ничего, однако, не говорят о настоящем цвете лица. Посмотрите на Шекспира, Гете, даже на Вальтера Скотта. Тот, кто хотя бы раз заглядывал в них, знает разницу между истиной и подделкой под истину и сумеет всегда отличить одно от другого.

На примере Джонсона мы видели, как много доброго может сделать для людей пророк, несмотря на всякого рода неблагоприятные условия и дезорганизацию. На примере же Руссо мы можем наблюдать, наоборот, какой страшной массой зла при такой дезорганизации может сопровождаться добро. В историческом отношении Руссо представляет собою самое поучительное зрелище. Загнанный на чердаки Парижа и предоставленный там своим угрюмым спутникам, собственным мыслям и нуждам, кидаемый из стороны в сторону, разбитый, ожесточенный до полного исступления, он глубоко почувствовал, что ни мир, ни закон мира не друзья ему. Не следовало, если только это было возможно, ставить его в открыто враждебные отношения с миром. Его могли забросить на чердак, могли смеяться над ним, как над маньяком, предоставить его там голодной смерти, точно дикого зверя в клетке. Но ему не могли помешать воспламенить весь мир. Французская революция нашла в Руссо своего евангелиста. Его полубезумные рассуждения относительно бедствий цивилизованной жизни и прелестей дикой

много содействовали возникновению всеобщего безумия, охватившего Францию. Конечно, вы совершенно вправе спросить, что же мог мир, правители мира сделать с таким человеком? Трудно сказать, что могли правители мира сделать с ним. Но что он мог сделать с ними, это, к несчастью, показала сама действительность: гильотинировать громадное множество их! Но о Руссо на этот раз довольно.

Странное зрелище представляет появление героя в образе Роберта Бернса среди искусственных картонных фигур и лиц поблекшего, неверующего, не живущего непосредственной жизнью XVIII века. Он прожурчал, точно небольшой родник в скалистых, пустынных местах, промелькнул, точно внезапное сияние неба под искусственным куполом! Люди не знали, что думать о нем. Они приняли его за увеселительный фейерверк. Увы, он сам допустил подобное отношение к себе, хотя и боролся полусознательно, как бы в ужасе смерти! Быть может, никто другой в мире не встречал со стороны людей такого лживого приема. Еще раз разыгралась под солнцем в высшей степени гибельная драма жизни.

Вам всем известна поистине трагическая жизнь Бернса. С полным правом мы можем сказать, что если несоответствие между занимаемым человеком местом и тем, какого он достоин, является превратностью судьбы, то не могло быть судьбы более превратной, чем судьба Бернса. Еще раз среди этих второстепенных фигурантов XVIII века, гаеров в большинстве случаев, появляется исполинский оригинальный человек, один из тех, кто проникает в вечные глубины, занимает место в ряду героических людей. И такой-то человек был рожден в бедной эйрширской лачуге. Эта широкообъемлющая душа, величайший человек из всех своих современников-британцев явился среди нас в образе шотландского крестьянина с мозолистыми руками.

Его отец, бедный работящий человек, принимался за разные дела, но ни в чем не имел успеха и вечно находился в затруднительных обстоятельствах. Управляющий имением, или, как говорят в Шотландии, «фактор», имел обыкновение посылать письма своим арендаторам с угрозами, «которые, – рассказывает Бернс, – доводили всех нас до слез». Честный отец, много работающий, много страдающий отец. Честная героиня – жена его, и эти дети, из которых один был Роберт! У них не было своего уголка на этой земле, столь обширной для других. Письма управляющего «доводят их до слез». Представьте себе только эту картину! Да, честный отец; я всегда говорю о нем: герой и поэт – в своем молчании, без которого сын никогда не стал бы поэтом и героем говорящим! Школьный учитель Бернса, побывавший

впоследствии в Лондоне и узнавший, что такое хорошее общество, говорил, что ему никогда ни в каком другом обществе не приходилось наслаждаться такой прекрасной беседой, как у очага этого крестьянина. Но ни его злосчастные «семь акров питомника», ни жалкий клочок глинистой фермы, ни все другое, за что он брался, чтобы добыть необходимые средства существования, – ничто не давалось ему в течение всей его жизни, и он должен был постоянно вести жестокую неравную борьбу. Он мужественно упорствовал, как мудрый, преданный, непобедимый человек. Он молчаливо переносил изо дня в день массу тяжелых страданий, вел борьбу, как незримый герой. Никто не писал в газетах о его благородстве, никто не жертвовал ему серебряных подносов. И однако он не погиб бесследно: ничто не погибает. Существует Роберт, отпрыск его и в действительности многих поколений таких же людей, как он.

Таким образом, для Роберта все условия сложились крайне неблагоприятно: он был лишен образования, беден и самим рождением своим обречен на тяжелый физический труд. Он даже писал, когда пришло время, на местном крестьянском наречии, известном только среди незначительной группы населения той местности, где он жил. Если бы он написал даже только то, что он написал на общелитературном английском языке, то, я нисколько не сомневаюсь, он был бы признан уже всем светом одним из наших величайших людей. Или по крайней мере за человека, который носил в себе все задатки истинного величия. Уже одно то, что он заставил массу читающего люда освоиться с грубыми формами своего языка, говорит в его пользу. Значит, в его речах заключается нечто, далеко выходящее из ряда обыкновенного. Он завоевал себе уже некоторую известность и продолжает все больше и больше завоевывать ее во всех частях обширного англосаксонского мира. Повсюду, где раздается английская речь, начинают понимать, что одним из замечательнейших саксонцев в XVIII веке был эйрширский крестьянин по имени Роберт Бернс. Да, скажу я, он также высечен из настоящего саксонского камня: крепкий, как скала Гарца, он прочно сидит своими корнями в глубинах мира, – как скала, и однако он таит в себе источники жизненной мягкости! Дикий и бурный вихрь страсти и силы дремлет спокойно в его сердце, и в нем раздается такая чудная небесная мелодия. Перед вами благородная, грубая неподдельность, простая, крестьянская, открытая. Простота настоящей силы, с ее огнем-молниею, мягкой, росистой жалостью, точно древнескандинавский Тор, этот крестьянин-бог!

Брат Бернса Гильберт, человек, обладавший недюжинным здравым смыслом и большими достоинствами, рассказывал мне,

что Роберт в дни своей юности, как тяжелы они ни были, отличался крайне веселым нравом. Он был товарищем в бесконечных проказах, любил посмеяться и притом смеялся всегда умно и сердечно. В особенности прелестны были его разговоры между делом, когда он, раздевшись, резал торф в болоте и т. п.; впоследствии он был уже не тот. Я вполне верю словам Гильберта. Эта веселость, лежащая в основании всего (fond gaillard[133], как выражался старый маркиз Мирабо), основной элемент солнца и жизни, в соединении с другими глубокими и серьезными достоинствами Бернса, представляет одну из самых привлекательных характерных его черт. В нем таился громадный запас надежды. Несмотря на свою трагическую жизнь, он вовсе не был мрачным человеком. Он мужественно отряхивает с себя свои печали и победоносно шагает через них. Он точно лев, «стряхивающий капли росы со своей гривы»; быстро скачущая лошадь, которая смеется, когда потрясают копьем. Но разве подобного рода надежда, веселость не проистекает на самом деле из теплой, благородной любви, которая есть первоисточник всего остального по отношению ко всякому человеку?

Вам покажется, быть может, странным, что я назвал Бернса самым одаренным британцем XVIII века. Однако я верю, что настает уже время, когда подобное утверждение можно высказать, не рискуя особенно сильно. Его произведения, все, что он сделал при указанных мною тяжелых условиях, представляют лишь ничтожную долю его самого. Профессор Стюарт заметил весьма справедливо, и это замечание остается верным относительно всякого заслуживающего внимания поэта: его поэзия есть проявление не какой-либо частной способности, а вообще оригинального, сильного от природы ума, вылившегося в такой именно форме. О таланте Бернса, насколько он обнаруживался в беседе, рассказывают все, кому только приходилось слышать его хотя бы раз. Это был в высшей степени разносторонний талант, начиная с самых изящных выражений благовоспитанности до самого пламенного огня страстной речи. Шумные потоки веселья, нежные вздохи страсти, лаконичная выразительность, ясный проникающий взгляд – все было в нем. Остроумные леди восхваляют его как человека, от речей которого «они не чувствовали под собою ног».

Все это прекрасно; но еще прекраснее то, что рассказывает Локхарт[134] и на что я указывал уже не один раз, а именно, как слуги и конюхи на постоялых дворах поднимались с постелей и сходились толпами, чтобы также послушать его. Слуги и конюхи: они тоже были люди, и он ведь был человек! Я много слышал рассказов относительно неотразимой увлекательности его бесед.

Но самое лучшее, что мне когда-либо приходилось слышать на этот счет, я узнал в прошедшем году от одного почтенного человека, находившегося в течение долгого времени в близких отношениях с Бернсом, а именно, что речь Бернса была всегда содержательна: она всегда заключала в себе что-нибудь! «Он говорил скорее мало, чем много, – рассказывал мне почтенный старый человек, – он больше молчал в раннюю пору своей жизни, как бы чувствуя, что он находится в обществе лиц, которые выше его. Если он начинал говорить, то всегда только для того, чтобы пролить новый свет на вопрос». Я не знаю, почему это люди говорят обыкновенно совершенно по иным побуждениям. Но обратите внимание на его могучую и сильную во всех отношениях душу, здоровую крепость, грубую прямоту, проницательность, благородную отвагу и мужество, и вы согласитесь, вряд ли мы можем указать на другого, более одаренного человека.

Мне иногда кажется, что из всех великих людей XVIII века Бернс, по-видимому, более всего походит на Мирабо. Конечно, они сильно отличаются друг от друга по своему внешнему облику, но загляните к каждому из них в душу. Здесь одна и та же дюжая, толстовыйная сила как души, так и тела; сила, покоящаяся в обоих случаях на том, что старый маркиз назвал fond gaillard. По своему воспитанию, натуре, а также и национальности Мирабо отличается гораздо большею шумливостью; это – бурливый, беспрестанно стремящийся вперед, беспокойный человек. Но характерную черту Мирабо составляет, в сущности, та же правдивость и то же горячее чувство, сила истинной проницательности, превосходство умственного зрения. То, что он скажет, стоит всегда запомнить: это – луч, бросаемый из глубины внутреннего созерцания на тот или другой предмет. Так именно говорили оба они – и Бернс, и Мирабо. У обоих – одни и те же бешеные страсти. Но в том и другом они могут проявляться и как самые нежные, благородные чувства. Остроумие, неудержимый смех, энергия, прямота, искренность – все это мы находим как в одном, так и в другом.

Нельзя также сказать, чтобы они были несходны как известные типы. Бернс так же мог бы управлять, дебатировать в национальных собраниях, заниматься политикою, как могли бы это сделать далеко не многие другие. Увы, мужество, которое по необходимости должно было проявляться во взятии с боя занимавшихся контрабандою шхун в Сольвейском заливе, молчании перед массой тяжелых явлений, когда человеком овладевала одна невыразимая ярость и доброе слово было вовсе немыслимо! Это мужество могло бы также громко реветь против таких людей, как обер-церемониймейстер де Брезе[135] и подобные

ему, и дать себя почувствовать ощутимым для всех образом, управляя королевствами, руководя направлением целых навеки памятных эпох! Но они сказали ему укоризненно, они, его власти предержащие, сказали и написали ему: «Вы рождены для черного труда, а не для мысли». Нам нет никакого дела до вашей мыслительной способности, величайшей в нашей стране. Ваше дело – вымеривать бочки пива; для этого только вы нам и нужны. Весьма характерные слова. Они заслуживают упоминания, хотя мы знаем, как и что следует ответить на них. Как будто мысль, сила мышления, не представляет во все времена, местах и положениях именно то, что нужно миру!

Фатальный человек не является ли всегда немыслящим человеком, человеком, который не может мыслить и видеть, а может только идти ощупью, галлюцинировать и видеть природу вещей, над которыми он трудится, в ложном свете? Он видит ее в ложном свете, он не понимает ее, как мы говорим. Он принимает ее за одно, тогда как она – другое, и она оставляет его стоять подобно сущей пустоте! Таков фатальный человек, несказанно фатальный, раз судьба ставит его в первые ряды человечества. «Зачем сожалеть об этом? – говорят некоторые. – Сила плачевным образом не находит себе приложения в своей сфере; исстари это оказывалось так». Несомненно, и тем хуже для сферы, отвечу я. Сожаления мало помогут делу; установление истины – вот что только может помочь. Над Европой только что разразилась Французская революция, и, несмотря на это, она не испытывала никакой нужды в Бернсе. Он нужен был ей разве только для вымеривания бочек – это факт, которому я со своей стороны не могу радоваться.

Отличительную особенность Бернса как великого человека, повторяем еще раз, составляет его искренность, искренность как в поэзии, так и в жизни. В песне, которую он поет, нет фантастических вымыслов. Она касается всеми осязаемых, реальных предметов. Главное достоинство этой песни, как и всех его произведений, как и его жизни вообще, – истина. Жизнь Бернса мы можем характеризовать как воплощение великой трагической искренности. Это в своем роде дикая искренность, но не жестокая, далеко нет, искренность необузданная, вступающая без всякого прикрытия в рукопашный бой с сущностью вещей. В этом смысле все великие люди отличаются некоторого рода дикостью.

Поклонение героям: сопоставьте Одина и Бернса! Положим, относительно писателей также нельзя сказать, что они не составляли известного рода культа героев, но какой странный характер принял теперь этот культ! Слуги и конюхи с постоялых

дворов, которые протискивались поближе к двери и жадно подхватывали всякое слово Бернса, бессознательно воздавали должную дань поклонению героическому.

Джонсон имел своего Босуэлла[136] в качестве поклонника. У Руссо было довольно много поклонников. Принцы приходили посмотреть на него, как жил он на низком чердаке; вельможи и красавицы отдавали должную дань уважения бедному лунатику. Лично для него создавалось, таким образом, самое чудовищное противоречие: две стороны его жизни никак не могли быть приведены в гармонию. С одной – он сидит за столом у вельмож, обедает с ними, а с другой – принужден заниматься перепиской нот, чтобы заработать необходимые средства существования. Он не мог даже добыть себе достаточно нот для переписки. «Благодаря только обедам на стороне, – говорил он, – я избегаю риска умереть дома от голодной смерти». Положение, бросающее также в высшей степени подозрительный свет и на его почитателей! Если по поклонению героям, смотря по тому, какими достоинствами и недостатками отличается оно, мы должны судить вообще о жизни целого поколения, то можем ли мы поставить особенно высоко такого рода поклонение? И однако наши герои-писатели поучают, управляют, являются вождями, пастырями, являются тем, что предоставляю вам самим называть как угодно. И этому нельзя никоим образом помешать: нет такого средства. Мир должен повиноваться тому, кто мыслит и обладает достаточно проницательным зрением. Мир может изменять форму своего поклонения, он может сделать из героя или благословенное непреходящее сияние летнего солнца, или неблагословенный мрачный ураган и гром – с неизмеримо громадной разницей для самого себя в смысле последствий в том и другом случае. Форма, правда, крайне изменчива; но сущности, самого факта не может изменить никакая земная сила. Сияние света или молния во мраке – мир может выбирать то или другое. И дело не в том, называем ли мы какого-нибудь Одина богом, пророком, пастырем или как-либо иначе, а в том, верим ли мы слову, которое он возвещает нам; в этом все. Если слово его – истинное слово, мы должны поверить ему, а, уверовав, должны осуществить его. Какое имя мы дадим при этом или какую встречу уготовим человеку и его слову, это касается главным образом нас самих. Оно, это слово, новая истина, более глубокое раскрытие тайны вселенной, представляет по своей сущности воистину весть, ниспосылаемую нам свыше; она должна привести мир в повиновение себе, и она приведет.

В заключение скажу несколько слов о замечательном эпизоде в жизни Бернса: его поездке в Эдинбург. Я думаю, что его

поведение в Эдинбурге представляет лучшее оставленное им свидетельство достоинства и неподдельного мужества, какие были ему присущи. Едва ли более тяжкие испытания (если мы вникнем в дело) могли выпасть на долю одного человека. Все это случилось так внезапно. Весь великосветский львизм, который губит бесчисленное множество людей, ничто по сравнению с необычайным успехом Бернса. Представьте себе, что Наполеон сразу, минуя всякие градации, из артиллерийского лейтенанта стал бы императором; таков именно был успех Бернса в великосветском обществе. Ему минуло всего лишь 27 лет, когда он принужден бросить свое пахарство и искать спасения в Вест-Индии, чтобы избежать позора тюрьмы. Вы видите перед собою разоренного крестьянина, потерявшего даже свои семь фунтов заработной платы в год. Но через месяц он уже среди блестящего, изящного высшего общества, водит под руку к обеденному столу усыпанных бриллиантами герцогинь; на него устремлены глаза всех! Невзгоды жизни с трудом переносятся людьми. Но на одного человека, способного противостоять счастью, приходится целая сотня способных противостоять несчастью.

Меня крайне поражает, как Бернс отнесся к своему необычайному успеху. Едва ли можно указать другого человека, который подвергался бы когда-либо таким беспощадным испытаниям и при этом забывался бы так мало. Он сохраняет все свое спокойствие, нисколько не поражается, не смущается, не становится напыщенным. Он не испытывает ни неловкости, ни аффектации. Он чувствует, что он и здесь человек, все тот же Роберт Бернс, что «ранг – это только штемпель гинеи», известность – всего лишь свет от свечи, показывающий, каков человек. Тогда как обыкновенно подобная известность быстро портит человека, превращает его в злополучный надутый ветром мех, который в конце концов лопается, – человек превращается в «мертвого льва», – нечто худшее, чем «живой пес», и уже для него, как некто сказал, «не существует воскресения тела»! Бернс поистине удивителен в этом случае.

Но к сожалению, как я заметил в другом месте, эти охотники на львов стали гибелью и смертью для Бернса. Они отравили ему жизнь и сделали ее несносной. Они собирались толпами на его ферме, постоянно отвлекали его, мешали ему заниматься делом. Для них не существовало пространства, и они везде находили его. Ему не давали позабыть об успехе в великосветском обществе, хотя он искренне желал этого. Бернс испытывает досаду, чувствует себя несчастным, делает ошибки. Мир становится для него все более и более пустынным. Здоровье, характер, душевный покой – все изнашивается, и затем он остается в одиночестве.

Грустно подумать обо всем этом! Эти люди приходили, только чтобы посмотреть на него. Они не питали к нему ни симпатии, ни ненависти. Они приходили, чтоб доставить себе маленькое развлечение; и жизнь героя разменивалась на их удовольствия!

Рихтер[137] рассказывает, что на острове Суматра существует особая порода жуков-светляков: их насаживают на острие, и они освещают путь в ночную пору. Лица, пользующиеся известным положением, могут путешествовать, таким образом, при достаточно приятном мерцании света, что немало веселит их сердца. Великая честь светлякам! Но!..

Беседа шестая Герой как вождь. Кромвель. Наполеон: современный революционаризм

Теперь мы переходим к последней форме героизма: герою в образе вождя. Человек, который становится повелителем других людей, воле которого все другие воли покорно предоставляют себя, подчиняются и находят в этом свое благополучие, такого человека мы можем считать по сущей истине величайшим из великих. Он практически, на деле воплощает в себе все разнообразные формы героизма: пастыря, учителя, вообще всякого рода земные и духовные достоинства, какие только мы можем себе вообразить в человеке. Воплощает, чтобы таким образом повелевать людьми, давать им постоянные практические наставления, указывать ежедневно и ежечасно, что они должны делать. Такого человека называют Rex, «правитель», Roi. Английское слово еще лучше выражает значение, присущее ему: King, Kцnning, что означает Canning Ableman, «способный человек».

Вопрос о правителе неизбежно вызывает массу связанных с ним мыслей, затрагивает глубокие, спорные и действительно неисчерпаемые сущности. Но мы в настоящую минуту, безусловно, принуждены воздержаться от какого бы то ни было обсуждения большинства их. Берк[138] говорит, что гласное разбирательство посредством суда присяжных составляет, быть может, душу правительства. Законодательство, администрация, парламентские дебаты и все прочие направляются, в сущности, к тому, «чтобы посадить на скамью присяжных двенадцать беспристрастных судей». Я же, опираясь на еще более солидное основание, скажу, что все социальные процессы, какие вы только можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели – достигают ли они ее или нет, это другой вопрос, а именно: открыть своего Ableman'a. Облечь его символами способности: величием, почитанием как достойнейшего, саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности. Избирательные речи, парламентские предложения, билли о реформах, французские революции – все стремится, в сущности, к указанной мною цели или в противном случае представляется совершенно бессмысленным.

Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его, и вы получите вполне совершенное правительство, и никакая

избирательная урна, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, никакая вообще механика не может уже улучшить положение такой страны ни на йоту. Она находится в совершенном состоянии, она представляет собою идеальную страну. Способнейший человек – это означает также самый искренний, справедливый, благородный человек. То, что он указывает нам делать, является всегда самым мудрым, надлежащим делом, до какого только мы можем додуматься каким бы то ни было образом и где бы то ни было, – обязательным делом, которое мы должны делать, пуская в ход все зависящие от нас средства, с открытой доверчивостью и признательностью к своему руководителю, нисколько не сомневаясь в нем! Наши дела и наша жизнь, насколько вообще правительство может регулировать их, оказались бы тогда вполне упорядоченными; это был бы идеал конституций.

Но увы, мы очень хорошо знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществляются в действительности. Идеалы всегда должны оставаться на некотором довольно значительном расстоянии, и нам приходится довольствоваться известным приближением к ним и быть признательными за то! Пусть человек, как выражается Шиллер, не измеряет старательно в соответствии с масштабом совершенства жалкого мира реальности. Мы не признаем такого человека мудрым, считаем его болезненным, вечно брюзжащим, глупым человеком. Но с другой стороны, не следует никогда забывать, что идеалы должны существовать: если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет! Несомненно, так! Самый искусный каменщик не может вывести стены совершенно вертикально, это математически невозможно. Он удовлетворяется известною степенью приближения к вертикали и, как хороший каменщик, понимающий, что он должен же когда-нибудь покончить со своею работою, оставляет ее в таком виде. Но что выйдет, если он позволит себе слишком отклониться от вертикального направления? В особенности если он забросит совсем свой отвес и ватерпас и станет беззаботно класть кирпич на кирпич, как они подвертываются ему под руку! Подобный каменщик, я полагаю, становится на опасный путь. Он забылся, но закон тяготения не забывает действовать, и вот работник и стена, возводимая им, превращаются в беспорядочную кучу развалин!

Такова, в сущности, история всех восстаний, французских революций, социальных взрывов в древние и новые времена. Во главе дела оказывается слишком неспособный человек, лишенный благородства, мужества, бестолковый. Люди как будто забывают, что существует известное правило или своего рода естественная

необходимость, чтобы место это занимал способный человек. Кирпич должен лежать на кирпиче, насколько это возможно и необходимо. Неумелая подделка способности соединяется неизбежно с шарлатанством во всякого рода делах управления, дела остаются неупорядоченными, и общество приходит в брожение от бесчисленных упущений, нужд и бедствий. Миллионы несчастных протягивают руки, чтобы получить должную поддержку как в материальной, так и в духовной жизни, а ее нет. Закон тяготения действует, действуют все законы природы. Несчастные миллионы разражаются санкюлотизмом или каким-либо другим безумием: кирпичи рассыпаются, каменщики ниспровергаются и лежат поверженные в фатальном хаосе!

Целые груды злополучных фолиантов были исписаны сто лет и больше тому назад относительно незыблемости известных государственных форм; никто теперь не читает их, и они превращаются в прах в наших публичных библиотеках. Мы далеки от мысли нарушить мирный процесс их исчезновения с лица земли, совершающийся там, в этих книгохранилищах, безобидно для всех! Но в то же время, дабы весь этот непомерный мусор не исчез, не оставив по себе даже следа, я должен сказать, что он заключает в себе, если только мы заглянем в самую суть дела, действительно нечто истинное, ценное для нас и вообще для всех людей. Важно сохранить это истинное навсегда. Что делать нам с заключающимися в них рассуждениями о властителях и присущей им непогрешимости, как не оставить их гнить в безмолвии публичных книгохранилищ?

Но вместе с тем я утверждаю, и так именно, думается мне, эти люди понимали свое «божественное право», – они, как и все человеческие авторитеты и вообще всякие отношения, какие люди, Богом сотворенные, устанавливают между собою, отмечаются действительно печатью или божественного права, или дьявольского бесправия. То или другое! Ибо это совершенная ложь, будто бы, как поучал предыдущий скептический век, наш мир есть паровая машина. Существует Бог в мире, и божественная санкция должна таиться в недрах всякого управления и повиновения, лежать в основе всех моральных дел людских. Нет дела, связанного более тесно с нравственностью, чем дело управления и повиновения. Горе тому, кто требует повиновения, когда не следует! Горе тому, кто не повинуется когда следует! Таков божественный закон, говорю я, каковы бы ни были законы, писанные на пергаменте: в основе всякого требования, обращенного человеком к человеку, лежит божественное право или, иначе, дьявольское бесправие.

Каждому из нас следовало бы серьезнее подумать об этом. Повсюду в жизни нам приходится иметь дело с указываемым мною фактом, который в искренней преданности и истинном величии находит себе высочайшее выражение. Наше время глубоко заблуждается, полагая, будто бы все движется эгоистическими интересами, при помощи пружин и рычагов алчущего плутовства. Короче сказать, будто бы в союзе людей нет ровно ничего божественного. Я нахожу, что подобное заблуждение заслуживает большего презрения, как бы оно ни было естественно для века неверия, чем признание «непогрешимости» за людьми, именующими себя высшими авторитетами. Я утверждаю: укажите мне истинного Kцnning'а, или способного человека, и окажется, что он имеет божественное право надо мною. Исцеление, которого так жадно ищет наш болезненный век, зависит именно от того, знаем ли мы сколько-нибудь удовлетворительно, как найти такого человека, и склонны ли будут все люди признать его божественное право, раз он будет найден! Истинный Kцnning, как руководитель практической жизни, всегда представляет собою в известной степени также и первосвященника, руководителя духовной жизни, которая определяет собою в действительности все практические дела. Поэтому справедлива также мысль, что король есть глава Церкви. Но мы не станем перебирать всю эту полемическую материю, ставшую уже достоянием минувших веков; пусть она спокойно почивает в своих переплетах!

Конечно, поистине ужасное положение – стоять перед необходимостью отыскать своего способного человека и не знать, как это сделать! В таком именно печальном положении находится наш мир в настоящее время. Мы переживаем, собственно, критический период, который затянулся уж слишком надолго. Каменщик, переставший сообразовываться с показаниями отвеса и законом тяготения, упал, а вместе с ним рухнула стена, рассыпались кирпичи, и все это представляет теперь, как видим, груду развалин! Но не Французская революция ознаменовала начало всеобщего разрушения; она, мы можем надеяться, представляет скорее конец его. Начало же следует искать за три века ранее, в Реформации Лютера.

Католическая Церковь, продолжавшая все еще именовать себя христианскою, стала ложью и в своих наглых притязаниях дошла до того, что прощала людям грехи за металл, перечеканенный в деньги, и совершала много еще других злополучных деяний, которых по вечной истине природы она не должна была совершать тогда. Вот в чем кроется органический недуг. Раз была нарушена внутренняя правда, все внешнее стало все больше и

больше проникаться неправдою. Вера замерла и исчезла. Повсюду воцарились сомнение и безверие. Каменщик отбросил прочь свой свинцовый отвес. Он сказал себе: «Что такое тяготение? Ведь вот кирпич лежит на кирпиче!» Увы, разве не звучит до сих пор для многих из нас как-то странно всякое утверждение, что делам людей, созданных Богом, присуща правда Божья, что человеческая деятельность вовсе не какое-то кривляние, «средство», дипломатия и, право, не знаю еще что!

Между словами Лютера: «Вы самозваные Папы, вы вовсе не представляете собою отца в Боге. Вы – химера, которую я не знаю, как назвать благопристойным образом», – словами, произнесенными в начале движения в силу роковой необходимости, и восклицаниями «Aux armes!»[139], поднявшимися вокруг Камиля Демулена[140] в Пале-Рояле, когда народ восстал против всевозможного рода химер, – я нахожу прямую историческую преемственность. Этот ужасный полуадский возглас «Aux armes!» был тем же историческим делом. Еще раз раздался голос, дававший знать, что жизнь – не призрак, а действительность. Божий мир – не «средство» и дипломатия! Адский возглас; да, потому что иного не хотели слышать; ни небесный, ни земной, и потому – адский! Пустота, неискренность должны сгинуть. Должна наступить наконец хоть какая-нибудь искренность. Мы должны возвратиться к истине, чего бы это ни стоило – наводящего страх правления, ужасов Французской революции или чего-то еще. Да, в этом есть истина, как я сказал, истина, объятая огнем преисподней, так как иначе ее не желали получить.

Среди солидных кругов в Англии и других местах бытует мнение, что французский народ в те дни словно бы впал в безумие, Французская революция явилась актом всеобщего сумасшествия, превратив на время Францию и значительную часть мира в разновидность бедлама. Это событие свершилось, отбушевало, а теперь, полагают они, безумие, абсурд благополучно отбыли в царство снов и фантазии. Для таких уютно себя чувствующих философов события трех дней июля 1830 года должны были стать неожиданностью. Они показали, что французский народ снова поднялся на смертельную борьбу, чтобы в огне ружейных залпов, стреляя друг в друга, совершить ту же безумную революцию! Сыновья и внуки тех людей, кажется, намерены были упорно продолжать свое дело и не скрывали этого. Они стремились осуществить его и готовы были дать себя застрелить, если бы оно не осуществилось! Для философов, основывающих свою систему на «теории безумия», не могло быть ничего ужаснее этого. Говорят, что бедный Нибур[141], прусский

профессор и ученый-историк, так сильно переживал, что, если этому можно верить, заболел и умер в те три дня! Это была бы не очень героическая смерть, не лучше, чем смерть Расина, вызванная тем, что Людовик XIV однажды мрачно взглянул на него. Мир за время своего существования выдержал столько сильных ударов, и мы можем ожидать, что он сможет пережить и эти три дня, а после снова вращаться вокруг своей оси! Три дня возвестили всем смертным, что прежняя Французская революция, какой бы безумной она ни выглядела, есть подлинный продукт той земли, где мы все живем, это было действительное событие, и миру, в общем и целом, следовало бы ее так и воспринимать.

В самом деле, без Французской революции мы вряд ли знали бы, что вообще надлежало делать с таким временем, как наше. Мы предпочли бы отнестись к Французской революции, как потерпевшие крушение мореплаватели к суровой скале, возвышающейся среди бездонного моря и бескрайних волн. Это настоящий, хотя и ужасный, апокалипсис (откровение) для этого изолгавшегося, поблекшего, искусственного времени. Апокалипсис, свидетельствующий еще раз, что природа – сверхъестественна. Если она не божественная, то дьявольская. Кажущееся не есть действительное. Кажущееся обязательно должно уступить место действительному, или иначе мир подложит под него огонь, сожжет и превратит его в то, что оно есть на самом деле – ничто! Всяким правдоподобностям настал конец, пустой рутине настал конец; многому настал конец. И вот все это было возвещено людям во всеуслышание, подобно трубному звуку в день Страшного суда. Изучите же по возможности скорее этот апокалипсис, и вы станете мудрейшими людьми.

Пройдут многочисленные поколения с омраченным сознанием, прежде чем он будет понят надлежащим образом, однако мирная жизнь невозможна, пока это не свершится! Серьезный человек, окруженный, как всегда, массой противоречий, может теперь терпеливо ожидать, терпеливо делать свое дело. Смертный приговор всему недействительному всегда и прежде был написан на небесах. Но теперь этот смертный приговор объявлен на земле: вот что он может видеть в настоящее время своими глазами. Такой человек, убеждаясь, с какими трудностями приходится иметь дело в данном случае и как быстро, страшно быстро во всех странах дает себя знать неумолимое требование разрешить их, – легко может найти себе иной, более подходящий труд, чем работа в настоящий момент в сфере санкюлотизма!

На мой взгляд, «поклонение героям» при таких

обстоятельствах является фактом несказанно ценным, самым утешительным, на какой только можно указать в настоящее время. Он поддерживает и укрепляет вечную надежду человечества на упорядочение дел мира сего. Если бы погибли все традиции, организации, веры, общества, какие только человек создавал когда-либо, почитание героев все-таки осталось бы. Уверенность в том, что существуют герои, ниспосылаемые в наш мир, наша способность почитать их, необходимость, которую мы испытываем в этом отношении, – все это сияет, подобно Полярной звезде, сквозь густые облака дыма, пыли, всевозможного разрушения и пламени.

Почитание героев – как странно звучали бы эти слова для деятелей и борцов Французской революции! Они, по-видимому, отрицали всякое уважение к великим людям, надежду, веру, даже желание, чтобы великие люди появились снова в нашем мире. Природа, обращенная в «машину», казалась как бы истощенной; она отказывалась производить великих людей. Если так, то я ей сказал бы: пусть она в таком случае откажется вовсе от дела, ибо мы не можем жить без великих людей. Но я вовсе не намерен входить здесь в разбирательство и споры по поводу известного девиза «свобода и равенство», веры, что, раз великих и мудрых людей не существует, следует удовлетвориться шаблонной несметной толпой глупых маленьких людей. Такова была естественная вера в ту пору и при тех обстоятельствах. «Свобода и равенство, – прочь всякие авторитеты! Раз почитание героев, признание подобных авторитетов оказалось ложным, – поклонение вообще есть ложь. Не надо никакого поклонения более! Мы изведали такие подделки; мы не хотим теперь ничему верить. На рынке обращалось слишком много низкопробной монеты, и все убедились теперь, что золота не существует более и даже мы можем обойтись совершенно свободно без всякого золота!» Подобные мысли я нахожу, между прочим, в раздававшихся тогда повсеместно криках о свободе и равенстве и считаю их весьма естественными при существовавших в ту пору условиях.

И однако все это движение представляет, конечно, всего лишь переход от лжи к истине. Если мы вздумаем рассматривать его как полную истину, то оно превратится в совершенную ложь. Будучи продуктом полного скептического ослепления, оно является всего лишь простым усилием проникнуть в действительность. Почитание героев существует всегда и повсюду: не в одной только лояльности выражается оно. Оно сказывается как в преклонении перед божеством, так и в самых мелочных фактах практической жизни. Простой «поклон», если

только он не пустая гримаса, которую лучше в таком случае не проделывать вовсе, есть также поклонение герою – признание, что здесь в лице нашего брата мы приветствуем нечто божественное, всякий сотворенный человек, как говорит Новалис, есть «откровение во плоти». Люди, придумавшие все эти изящные реверансы, делающие жизнь благородной, были, несомненно, также поэтами. Учтивость – вовсе не ложь и не гримаса, и нет никакой надобности, чтобы она становилась тем или другим. И лояльность, даже религиозное поклонение до сих пор еще возможны; нет, скажу больше, они до сих пор еще неизбежны.

Далее, не вправе ли мы утверждать, что хотя многие из наших позднейших героев действовали собственно как революционеры, тем не менее всякий человек, неподдельно искренний человек по своей натуре, – сын порядка, а не беспорядка? Работать на пользу революции для искреннего человека составляет поистине трагическое положение. Он становится как бы анархистом. И действительно, прискорбная атмосфера анархии окутывает каждый его шаг, между тем как он относится к анархии, безусловно, неприязненно и ненавидит ее от всей души. Его миссия, как миссия всякого человека, – порядок. Человек существует для того, чтобы превратить все беспорядочное, хаотическое в упорядоченное, урегулированное. Он – миссионер порядка. Действительно, разве человеческий труд в этом мире служит не созиданию порядка? Плотник берет обрубок дерева: он придает ему форму, обтесывает его с четырех сторон, приспособляет к известной цели и для известного употребления. Мы все – врожденные враги беспорядка. Для всех нас тяжело вмешиваться в дело ниспровержения установленных порядков, дело разрушения; для великого же человека, который еще более человек, чем мы, и вдвое тяжелее того.

Итак, всякое человеческое дело, в том числе и безумнейший французский санкюлотизм, служит в действительности и должен служить на пользу порядка. Между этими санкюлотами, говорю я, не найдется человека, который в самом пылу неистового безумия не преследовал бы неотступно все-таки идеи порядка. Самым фактом своей жизни он подтверждает это; ведь беспорядок есть разложение, смерть. Всякий хаос неизбежно ищет свой центр, вокруг которого он мог бы вращаться. Пока человек будет человеком, Кромвели или Наполеоны всегда будут неизбежным завершением санкюлотизма. Любопытный факт: в то время как почитание героев представляется каждому делом, не внушающим к себе никакого доверия, оно все-таки возникает и принимает именно такие формы, которые могут завоевать доверие всех. Божественное право (сопоставляйте только исторические факты

за большие периоды) означает, как оказывается, также и божественную силу! В то время как древние ложные формулы повсюду ниспровергаются и попираются, неожиданно развиваются новые, настоящие, несокрушимые сущности. В мятежные годы, когда, по-видимому, никнет и гибнет даже самый королевский сан, Кромвель, Наполеон выступают снова как верховные вожди людей. Историю их мы и намерены рассмотреть теперь как нашу последнюю фазу героизма. Мы как бы возвращаемся снова к древним временам. Действительно, на истории этих двух лиц мы можем проследить, каким образом появлялись некогда короли и возникали королевства.

Немало разных гражданских войн пережила в свое время Англия – Алой и Белой розы, восстание Симона де Монфора. Да, достаточно-таки разных войн, ничем, впрочем, особенно не замечательных. Но борьба пуритан получила особенное значение, какого ни одна из прочих войн не имеет. Полагаясь на ваше беспристрастие, которое подскажет вам то, чего я, за недостатком места, не могу здесь высказать, я назову ее новым эпизодом великой универсальной борьбы. Она представляет собою, в сущности, всю действительную историю мира – борьбы веры с безверием, людей, признающих реальную сущность вещей, с людьми, признающими лишь формы и видимости. Многие представляют себе пуритан какими-то дикими иконоборцами, свирепыми отрицателями всяких форм. Но справедливее было бы считать их ненавистниками неистинных форм. Мы сумеем, я надеюсь, отнестись с одинаковым уважением как к Лоду[142] и его королю, так и к ним.

Бедный Лод представляется мне человеком слабым, рожденным не в добрый час, но не бесчестным. Скорее всего он был просто несчастным педантом, не хуже. Его «грезы» и суеверия, чем так много потешаются, заключают в себе что-то в своем роде нежное, любящее. Он напоминает мне директора колледжа, для которого все в мире исчерпывается формальной стороной, правилами колледжа, и который думает, что в них именно жизнь и спасение мира. С такими-то застывшими, злополучными взглядами он оказывается неожиданно во главе не какого-нибудь колледжа, а целой нации, и ему приходится примирять и регулировать самые запутанные, жгучие человеческие интересы! Он думает, что люди должны жить в соответствии со старинными благопристойными регламентами, мало того, он думает, что все спасение их в дальнейшем развитии и усовершенствовании этих регламентов. Как человек слабый, он, стремясь к своей цели, делает страшные усилия, судорожно цепляется за нее, не внимая ни голосу благоразумия, ни крику

сожаления. Он должен добиться своего – его школьники будут повиноваться установленным правилам колледжа, это главное, и, пока он не достигнет этого, нечего думать о другом. Он педант, родившийся не в добрый час, как я сказал. Он хотел бы, чтобы мир был колледжем, устроенным на известный лад; но мир не был колледжем. Увы, не слишком ли жестоко покарала его судьба? Не получил ли он страшного возмездия за все зло, какое он причинил людям?

Настаивать на формах – дело похвальное. Религия и все прочее всегда облекается в известные формы. Повсюду лишь оформленный мир является обитаемым миром. В пуританизме я ценю вовсе не его обнаженную бесформенность. Напротив, я о ней сожалею и воздаю должное лишь духу, который сделал и самую эту обнаженность неизбежной! Всякая сущность облекается в форму; но бывают формы, соответствующие сущности, истинные, и формы, не соответствующие ей, неистинные. В виде самого краткого определения я скажу: формы, которые нарастают вокруг субстанции (поймите только меня надлежащим образом), будут соответствовать действительной природе и назначению субстанции, будут истинные, хорошие. Формы же, которыми сознательно окружается субстанция, будут негодными формами. Я предлагаю вам подумать об этом. Указанное определение дает возможность различать истинное от ложного в обрядовых формах, серьезную торжественность от показной пустоты во всех вообще человеческих делах.

Формы также должны отличаться известной правдивостью, определенной естественной самопроизвольностью. Если человек в самом заурядном, обыденном собрании людей станет вдруг произносить так называемые «заранее приготовленные речи», то они, понятно, вызовут у всех крайне досадливое чувство. Даже в гостиной вы обыкновенно избегаете любезностей, раз видите, что они не вытекают из непосредственного чувства, действительного внутреннего движения, а являются лишь пустым гримасничаньем. Но предположите теперь, что речь идет о важном жизненном деле, о каком-нибудь трансцендентном предмете, богопочитании, например, относительно которого ваша душа, поверженная в полное безмолвие от избытка чувства, не знает, как ей найти форму, могущую вместить всю полноту чувства, и потому предпочитает лишенное формы молчание всякому возможному выражению.

Что бы сказали вы о человеке, выступающем вперед, чтобы изобразить или выразить это нечто невыразимое для вас, с актерским видом мебельного обойщика? Такой человек… да пусть он поскорее удалится с ваших глаз, если только ему дорога

жизнь! Вы потеряли единственного сына; пораженные, стоите вы в немом безмолвии; вы не можете даже плакать, а вам настойчиво жужжат в уши о необходимости проделать какие-то церемонии по обрядам англиканской церкви! С такого рода актерством невозможно примириться; оно несносно, ненавистно. Древние пророки называли его «идолопоклонством», поклонением пустой внешности, а подобное поклонение всякий серьезный человек обязательно отвергает и будет всегда отвергать. Мы можем отчасти понять, чего, собственно, добивались наши бедные пуритане. Взгляните на Лода, освящающего церковь Святой Екатерины: беспрестанно торжественные коленопреклонения, жестикуляции – все совершается именно так, как мы указали выше. Конечно, он скорее суровый формалист, педант, ушедший всецело в свои «школьные правила», чем серьезный проводник, устремляющий свой взор в сущность вещей!

Пуританизм нашел, что такие формы несносны, и он попрал их. Мы можем только оправдать его, так как лучше не знать никаких форм, чем удовлетворяться подобными. Тот, кто проповедовал, стоял на пустой церковной кафедре, и в его руке не было ничего, кроме Библии. Более того, человек, проповедующий из глубины своей искренней души искренним душам других людей: разве в этом, собственно, не заключается сущность всякой Церкви? Лишенная всякого прикрытия, самая дикая действительность, говорю я, предпочтительнее формальной видимости, хотя бы даже и прославляемой на все лады. Притом же действительность, если только она действительность, облечется со временем в надлежащую видимость. На этот счет опасаться положительно нечего.

Раз существует живой человек, одежда будет изобретена; он сам найдет себе одежду. Но что сказать о полной паре платья, которая стала бы вдруг обнаруживать притязание, что она не только пара платья, но и живой человек! Мы не можем «поразить француза» даже тремястами тысяч мундиров; необходимо, чтобы в них были люди! Видимость, утверждаю я, не должна порывать связи с действительностью. Если же она порывает, в таком случае, понятно, должны быть люди, которые восстают против видимости, так как она с течением времени неизбежно становится ложью! Воинствующий антагонизм между Лодом и пуританами не представляет, в сущности, ничего нового, он почти так же стар, как и сам мир. В ту пору между противниками шла ожесточенная борьба на территории всей Англии, и они с оружием в руках решили, до известной степени, свой темный спор, что имело для всех нас важные последствия.

Эпоха, следовавшая непосредственно за пуританизмом, не

особенно, по-видимому, благоприятствовала справедливой оценке дела, во имя которого пуритане боролись, а равно и действовавших лиц. Карл II и его Рочестеры[143], как бы вы ни относились к их заслугам и деятельности, не такие были люди, чтобы на их суд и оценку можно было положиться в данном случае. Эти жалкие Рочестеры, равно как и вся вообще эпоха, ознаменованная их существованием, позабыли, что вера и истина, каковы бы они ни были, могут наполнять человеческую жизнь. Самый пуританизм, подобно костям пуритан, стоявших во главе движения, вздернут на виселице. Тем не менее дело их продолжало развиваться своим чередом. Всякое истинное дело, повесьте вы его творца на какой угодно виселице, должно развиваться и будет развиваться само по себе. Наш «Habeas Corpus», свободное представительство народа, убеждение, что все люди должны быть, будут и хотят быть, – суть в действительности то, что мы называем свободными людьми, то есть людьми, жизнь которых основывается на реальности и правде, а не на традиции, превратившейся в неправду, пустую химеру. Все это и еще многое другое обязано своим существованием отчасти пуританам.

И действительно, по мере того как начали постепенно обнаруживаться все эти результаты, стал проясняться и настоящий облик пуритан. Один за другим они были сняты, благодаря разным воспоминаниям, с позорной виселицы. Некоторые из них в наше время даже, так сказать, канонизированы. Элиот, Хемпден, Пим, а затем Лодло, Хатчинсон, даже Вэн[144] стали в своем роде героями, политическими «отцами отечества», которым мы в значительной степени обязаны своей славой свободной нации. Поэтому неблагоразумно было бы в настоящее время представлять этих людей в виде злодеев. Почти все выдающиеся пуритане нашли себе защитников, и почти ко всем им серьезные люди относятся теперь уже с известным почтением. Лишь один пуританин, наш бедный Кромвель, и, кажется, один только он, висит до сих пор еще на виселице и не находит своего преданного, любящего защитника!.. Ни святитель, ни грешник не возьмется отпустить ему великие злодеяния. Да, говорит всякий, он – человек громадных способностей, необычайного таланта, отваги и тому подобное, но он изменил своему делу. Личное честолюбие, бесчестность, двоедушие взяли верх. Он – свирепый, грубый, лицемерный Тартюф, обративший всю эту благородную борьбу за конституционную свободу в жалкий фарс и разыгравший его в свою личную пользу. Так или еще и того хуже характеризуют обыкновенно Кромвеля. А затем в противоположность ему указывают на Вашингтона и других, в особенности же на этих

благородных Пимов и Хемпденов, которых он якобы обворовал, воспользовавшись их честным трудом в своих корыстных целях, и самое дело которых погубил, обратив его в ничтожество и безобразие.

Нельзя сказать, чтобы подобный взгляд на Кромвеля не соответствовал вообще духу XVIII века. Слова наши относительно слуги, не признающего героя, применимы также и к скептику. Скептик не узнает героя, хотя и смотрит на него. Слуга ожидает пурпуровых мантий, золотых скипетров, телохранителей и трубных фиоритур. Скептик XVIII века ищет повсюду правильных, почтенных формул, «принципов», как бы там он их ни называл. Ищет, одним словом, известного стиля в речи и поведении, считающихся тогда «почтенными», обладает прекрасными, отчеканенными формами и может постоять за себя, приобрести в свою пользу большинство голосов просвещенного скептического XVIII века. В сущности, и слуга, и скептик обращают внимание на одно и то же. Им нужен известный наряд, составляющий общепризнанную принадлежность королевского сана; тогда они признают и самого короля. Короля же, приходящего к ним в неоформленном грубом виде, они не признают за короля.

Я со своей стороны слишком далек от мысли унизить словом или намеком таких личностей, как Хемпден, Элиот, Пим, которые действительно были достойные и полезные люди. Я внимательно прочел все книги и документы, какие только мог достать относительно их, и читал с чистосердечным намерением полюбить и преклониться перед ними как перед героями. Но, не желая утаивать действительной истины, я должен с прискорбием сказать теперь, что предположения мои не оправдались. Я нашел, что мои ожидания в данном случае были, в сущности, совершенно неуместны. Действительно, это все люди весьма благородные. Они выступают перед вами своею величественною походкою, с философиею, парламентским красноречием, своими корабельными пошлинами, «Монархиями человека»[145]. Да, это – безукоризненная, достойная группа людей, неизменно преданная конституции. Но ваше сердце остается холодно к ним, и вы стараетесь только в своем воображении поднять их на высоту поклонения.

В самом деле, какое же человеческое сердце может воспылать огнем братской любви к подобным людям? В конце концов они смертельно надоедают вам! Уж слишком часто приходится окунаться в волны конституционного красноречия удивительного Пима, его «в-седьмых и наконец». Вы находите, что его речи, может быть, удивительнейшие речи в мире, но что они тяжелы, как свинец, и бесплодны, как глина. Одним словом, в них теперь

слишком мало жизни или даже и вовсе нет никакой! Вы предоставляете всем этим знаменитостям безмятежно стоять в своих почетных нишах и обращаете свой взор на свирепого, отверженного Кромвеля. Вот единственный человек из всех их, в котором вы до сих пор чувствуете настоящего человека. Великий, дикий, неистовый человек, он не мог написать благожелательной «Монархии человека», не мог говорить, не мог действовать с размеренной регулярностью; он никогда не имел наготове рассказа, который мог бы привести в свое оправдание. Он не облекался в кольчугу кротости; он выступал, ничем не прикрываясь, он схватывался, как гигант, лицом к лицу, сердцем к сердцу с обнаженной истиной всего сущего. Таковы, в конце концов, все люди, стоящие чего-нибудь. Приношу повинную в том, что я ценю такого человека выше всякого иного рода людей. Многие, я думаю, согласятся со мной, что гладко выбритые достопочтенные мужи не стоят, собственно, ничего. Человек, сохраняющий чистоту своих рук, благодаря тому что он прикасается к труду не иначе как в перчатках, заслуживает самой жалкой благодарности!

Вообще конституционная терпимость XVIII века ко всем другим более счастливым пуританам не представляется мне особенно важным обстоятельством. Можно сказать, что она есть проявление того же формализма и скептицизма, как и все прочее. Нам говорят: прискорбно думать, что основание нашей английской свободы было заложено «суеверием». Эти пуритане выступили со своими невероятными кальвинистскими верованиями, антилодизмами, «Вестминстерскими вероисповеданиями»; они требовали главнейшим образом, чтобы им была предоставлена свобода поклоняться согласно собственному верованию. Свобода самообложения – вот право, которого они должны были требовать! Настаивать же на всем другом могло одно только суеверие, фанатизм и постыдное невежество по части конституционной философии. Что такое свобода самообложения? Право вынимать деньги из своего кармана лишь в том случае, когда вам представят достаточные основания. Только крайне убогий век, думается мне, мог выставить подобное положение как основное право человека! Я, напротив, сказал бы: всякий дельный человек опирается на более солидное основание, чем деньги, в какой бы то ни было форме, раз он решается восстать против известного режима.

Мы переживаем теперь крайне смутные времена, когда всякий честный человек будет признательно относиться к любому режиму, лишь бы блюстители его для поддержания себя не прибегали к невыносимым средствам. Даже в настоящее время, я

думаю, плохо зарекомендует себя в Англии тот, кто станет отказываться от уплаты превеликого множества налогов, разумного основания которых он не находит. Человек должен подняться в иные сферы, обратить свое внимание на другие вопросы.

Что сборщик податей, деньги? Человек должен ответить: «Берите мои деньги, потому что вы можете взять их и притом так сильно желаете этого. Берите их и убирайтесь сами прочь вместе с деньгами, только оставьте меня здесь в покое и не покушайтесь на мою работу. Я существую еще. Я могу еще работать, несмотря на то что вы отобрали у меня все деньги!» Но если придут к человеку и скажут: «Признайте ложь. Говорите, что вы поклоняетесь Богу, хотя вы в действительности не поклоняетесь. Верьте не тому, что вы находите истинным, а тому, что мы признаем или делаем вид, что признаем истинным!» Он должен ответить: «Нет, Бог да поможет мне, нет! Вы можете отнять у меня кошелек. Но я не могу отказаться от нравственного «я». Кошельком может овладеть любой разбойник с большой дороги, который нападет на меня с оружием в руках. Но «я» принадлежит мне и Богу, моему Создателю. Оно не принадлежит вам. Я стану бороться с вами до последнего издыхания и, в конце концов, готов претерпеть всевозможного рода лишения, обвинения, даже гибель, отстаивая свое достояние, это свое «я».

Действительно, из такой именно мысли исходили пуритане и таково, мне кажется, единственное основание, в силу которого можно оправдать всякий протестантизм. Мысль эта составляет душу всех справедливых движений в человеческой истории. Не один только голод породил даже Французскую революцию. Нет, но также и сознание невыносимой, всепроникающей лжи, которая сказалась тогда, между прочим, и в голоде, всеобщей материальной недостаточности и ничтожестве и в силу этого стала бесспорно ложной в глазах всех! Мы оставим в покое этот XVIII век с его «свободой самообложения». Мы не станем удивляться, что для него значение таких людей, как пуритане, было темно и непонятно.

В самом деле, как может быть понята реальная человеческая душа, напряженная реальность из всех реальностей, так сказать, голос самого Творца мира, говорящий еще до сих пор нам. Как может быть она понята людьми, которые не верят вовсе ни в какую реальность? В эпохи, подобные XVIII веку, люди неизбежно сваливают все в одну бесформенную кучу мусора, все, чего они не могут привести в согласие со своими конституционными доктринами относительно «обложения» или других подобных же материальных, грубых, осязаемых для ума интересов. Хемпдены,

Пимы, корабельные пошлины становятся излюбленной темой для конституционного красноречия, силящегося казаться пылким. Это красноречие, пожалуй, будет блистать и сверкать если не как огонь, то как лед. Кромвель же, которого нельзя подвести ни под какую формулу, будет казаться хаотической грудой «безумия», «лицемерия» и всякой всячины.

Давно уже эта теория о лживости Кромвеля казалась мне не заслуживающей доверия. Да, я не могу верить подобным утверждениям, когда они относятся вообще к великим людям. Множество великих людей фигурируют в истории как лживые, эгоистические люди. Но если мы глубже вдумаемся, то окажется, что они ведь ни больше ни меньше как фигуры, непонятные тени. Мы не смотрим на них как на людей, которые могли бы даже некогда существовать. Только поверхностное, неверующее поколение, устремляющее свой взор лишь на поверхностную, внешнюю сторону вещей, могло создать подобное себе представление о великих людях. Возможно ли, чтобы великая душа не имела совести, самого существа всех действительных душ, великих и малых.

Нет, мы не можем представить себе Кромвеля как воплощение лжи и безрассудства. Чем больше я изучаю его и его историю, тем меньше я верю этому. Действительно, на основании чего мы должны верить? Это вовсе не очевидно само по себе. Не странно ли, что после целых потоков клеветы, направленной против этого человека, как его представляли в виде короля лгунов, который никогда или почти никогда не говорил правды, а всегда отделывался хитростной подделкой под правду, он не был до сих пор уличен воочию для всех ни в одной лжи? Король лгунов, а лжи, сказанной им, хотя бы в одном случае, никто не может указать, – лжи, в действительности которой мы могли бы убедиться еще теперь. Это напоминает мне Пококка, спрашивающего у Гроция: где же ваше доказательство относительно известной истории о голубе и Магомете? Доказательства никакого нет! Отвергните же все эти клеветнические химеры, так как химеры всегда следует оставлять без всякого внимания. Они не могут нарисовать нам портрет человека. Они – бессвязные фантомы, продукт соединенных в одно ненависти и помрачения.

Когда станешь всматриваться своими собственными глазами в жизнь Кромвеля, то, мне кажется, сама собою напрашивается гипотеза совершенно иного рода. Несмотря на всю искаженность дошедших до нас сведений, разве немногое, известное нам о его ранних, темных годах, не свидетельствует вполне убедительно, что это был человек серьезный, любящий, искренний? Его

нервный, меланхолический темперамент указывает скорее на серьезность, слишком глубокую для него. Что же касается всяких рассказов о «привидениях», белом привидении среди дня, предсказавшем, что он будет королем Англии, то мы не обязаны особенно верить всему этому. Не больше, конечно, чем другому верному привидению или дьяволу в образе человеческом, которому, как это видел один офицер, он продавал себя перед Вустерской битвой[146]! Но с другой стороны, бесспорно установлено, что Оливер в дни своей юности отличался угрюмым, чувствительным до чрезмерности, ипохондрическим нравом. Хантингдонский доктор рассказывал самому сэру Филипу Уорвику[147], что его, доктора, часто требовали по ночам, что Кромвель находился тогда в состоянии глубокой ипохондрии, думал, что он скоро умрет, и т. д. Все это весьма важно. Такая легко возбуждающаяся, глубоко чувствующая натура, при необычайно суровой, непреклонной силе, какой отличался Кромвель, не может служить благодатной почвой для лжи. Она служит почвой и предвестником чего-то совершенно иного, чем ложь!

Молодого Оливера отправили изучать право. В течение некоторого времени он, говорят, вел разгульную жизнь, свойственную вообще юношам; но если было даже и так, то он скоро раскаялся, отстал от разгула. Ему было двадцать с лишком лет, когда он женился, стал человеком вполне серьезным и спокойным. «Он возвращает выигранные в карты деньги», – рассказывает о нем одно предание. Он не думает, чтобы выигрыш подобного рода мог действительно принадлежать ему.

Далее, весьма интересно и совершенно естественно его превращение, пробуждение великой мировой души, выбравшейся из житейской трясины, чтобы заглянуть в страшную истину всего сущего, убедиться, что время и все его видимости покоятся на вечности и что бедная наша земля есть преддверие или неба, или ада! А жизнь Оливера в Сент-Айвсе или в качестве скромного трудолюбивого фермера, – разве она не напоминает нам жизни вполне истинного и благочестивого человека? Он отказался от мира и его путей. Разные успехи в мире были вовсе не то, что могло бы действительно обогатить его. Он обрабатывает землю, читает свою Библию, ежедневно собирает вокруг себя слуг и молится вместе с ними. Он укрывает и ободряет преследуемых священников, любит проповедников. Мало того, он сам умеет говорить проповеди. Увещевает своих соседей быть мудрыми, работать над искуплением своего времени. Какое можно видеть во всем этом «лицемерие», «тщеславие», «ханжество» или вообще фальшь? Надежды этого человека были устремлены, несомненно,

в иной, высший мир. Он преследовал одну цель: добраться благополучно туда путем скромной и добропорядочной жизни здесь, в этом мире. Он не домогается никакой известности: к чему она ему здесь, эта известность? Он «всегда на виду у своего великого Наблюдателя».

Незаурядным характером отличается также и его участие в одном общественном деле, когда он в первый раз выступает на виду у всех. Кромвель взял на себя защиту общественных интересов, так как никто другой не решался сделать этого. Я говорю об известном деле по поводу Бедфордовых болот[148]. Никто другой не решался потребовать власть к ответу в суд, вот почему он и взялся за это дело. Покончив с ним, он возвратился назад к своей безызвестности, Библии и плугу. «Добиваться влияния?» Его влияние – самое законное влияние. Оно было результатом того, что люди лично знали его как человека справедливого, религиозного, разумного и решительного. Так он прожил до сорока лет. Старческая пора была уже не за горами. Он приближался уже к главному порталу смерти и вечности. И здесь вдруг случилось, что с этого именно момента он становится «честолюбцем»! Я не могу таким образом объяснить его парламентской деятельности!

Его успехи в парламенте и на войне – все это честные успехи отважного человека, у которого больше решимости в сердце и света в голове, чем у других людей. Его мольбы, благодарения, возносимые за победы Богу, сохраняли его невредимым и неизменно вели все вперед. Среди неистового столпотворения мира, погруженного во всеобщую распрю, отчаянных, по-видимому, затруднений при Данбаре[149], подсмертельным градом пуль многочисленных битв: его благодарения за непрерывный ряд милостей до «венчающей милости» включительно, Вустерской победы, – все это прекрасно и неподдельно в устах глубоко сердечного кальвиниста Кромвеля. Только тщеславным неверующим «кавалерам»[150] того времени, поклонявшимся не Богу, а своим собственным «завитушкам», пустякам и формальностям, жившим совершенно не помышляя о Боге, жившим без Бога – только им все это могло казаться пустым лицемерием.

Гибель короля также не послужит в наших глазах поводом к обвинению Кромвеля. Тяжкое это было дело, но раз был брошен вызов на бой, возникла война, кто-либо из двух противников должен был погибнуть. Всякое примирение проблематично; быть может, оно и возможно, но гораздо вероятнее, что невозможно. В настоящее время почти все согласны, парламент, одержавший верх над Карлом I, не имел никакой возможности войти с ним

сколько-нибудь в прочное соглашение. Большая пресвитерианская партия, опасавшаяся индепендентов, сильно желала такого соглашения, желала его в интересах своего собственного существования; но оно не могло состояться. При окончательных переговорах в Хемптон-Корте злополучный Карл обнаружил всю свою фатальную неспособность в подобного рода делах. Он вел себя точно человек, который никак не мог и не хотел понимать, голова которого совершенно отказывалась правильно представлять действительное положение дела; нет, даже хуже того, слово которого вовсе не соответствовало мысли. Мы говорим все это не по жестокосердию, скорее напротив, с глубоким сожалением; но таков вполне достоверный и неопровержимый факт.

Лишившись всякого престижа и сохранив за собой одно только имя короля, он видит, к нему продолжают еще относиться с внешним почтением, какое подобает королю. Он все еще воображает, что может играть обеими партиями, вооружая одну против другой и обманывая, таким образом, обе, возвратить себе утраченную власть. Но увы, и та и другая партии видели, что он обманывает их. С человеком, из речей которого вы не можете понять, что он хочет сказать или делать, нельзя вести никакого дела. Вы должны или сами устраниться с пути подобного человека, или его устранить со своего пути! Пресвитериане в отчаянии все еще готовы были верить Карлу, хотя и видели, что он не перестает их обманывать и ему невозможно доверять. Но не так думал Кромвель. «В результате всей нашей борьбы, – сказал он, – мы должны получить лишь жалкий клочок бумаги?» Нет!

В самом деле, во всех поступках этого человека обнаруживается его решительный, опытный глаз. Мы видим, как он неуклонно стремится к практичному и возможному, как его природная проницательность направляется на то, что представляет собою действительный факт. Подобным умом, я продолжаю это утверждать, не может обладать фальшивый человек. Фальшивый человек видит фальшивую внешность правдоподобности, полезности; даже практическую истину может распознать только истинный человек. Совет Кромвеля относительно парламентской армии, данный еще в начале борьбы и состоявший в роспуске городских шинкарей, людей легкомысленных и беспокойных, и вместо них навербовать армию из солидных йоменов (крестьян), вкладывавших в общее дело всю свою душу, – это совет человека, который видел действительное положение вещей. Смотрите в глубину действительности, и она даст вам надлежащий ответ! Кромвелевские «железнобокие»[151] представляют фактическое осуществление его прозорливой

мысли. Это – люди, боявшиеся только Бога и не знавшие иного страха. И ни в истории Англии, ни в истории других стран никогда не было борцов, более беззаветно преданных своему делу!..

Мы не можем также слишком осуждать сказанные им слова Кромвеля, которые представлялись столь заслуживающими порицания: «Если бы в сражении мне пришлось столкнуться с королем, я бы убил его». А почему нет? Он говорил эти слова людям, которые перед любым стоящим над ними чувствовали себя как перед королем. Они поставили на карту больше, чем собственную жизнь. Пусть парламент обращается к нам с официальными призывами сражаться «за короля», мы уже не в состоянии понять их. Для нас это не дилетантское дело, прилизанная канцелярщина, а нечто простое и суровое, как смерть и истина. Поэтому они поднялись на эту войну, ужасную, смертоносную войну, человек выступил против человека с обжигающим мужеством – адский элемент, заключенный в человеке, вырвался наружу, чтобы попытаться сделать это! Итак, дело было сделано; произошло то, что должно было произойти. Успехи Кромвеля, на мой взгляд, являются вполне естественным делом! Он оставался невредим в борьбе, поэтому успехи были неизбежным следствием. Подобный человек, с глазом, который провидит, сердцем, которое дерзает, должен был продвигаться все вперед и вперед. Он шел от одного поста к другому, от одной победы к другой, пока хантингдонский фермер не стал, – называйте его новое положение каким вам угодно именем, – сильнейшим человеком, признанным всею Англиею, действительным королем Англии, – все это не требует для своего объяснения никакой магии!

Целый народ, как и отдельный человек, представляет поистине печальное зрелище, когда скептицизм, дилетантизм, неискренность разъедают его существование, он не узнает искренности, хотя и смотрит на нее. Какое другое проклятие в нашем мире, да и во всяком ином, может сравниться с этой по-своему фатальной губительностью? Сердце перестает биться, глаз перестает видеть. Весь остающийся еще ум перерождается в лисий ум.

Если в такую пору среди людей и появится истинный вождь, то это принесет мало пользы: люди не узнают его, хотя они и будут смотреть на него. Они спросят презрительно: так вот каков ваш вождь? Герою приходится попусту растрачивать свои героические силы, так как он встречает бессмысленное противодействие со стороны недостойных; и он не может совершить многого. По отношению к себе лично он ведет,

конечно, героическую жизнь, что составляет многое, составляет все; но по отношению к миру он не дает почти ничего. Дикая, грубая искренность, исходящая непосредственно из самой природы, не особенно склонна к разным самооправдательным ответам. На нашем ярмарочном судилище, знающем лишь мелкие долги, над ним издеваются как над лицемером. Лисий ум «разоблачает» его. Ибо все, чего ваш Нокс, Кромвель, герой, стоящий тысячи людей, может добиться, это спор, затягивающийся на два столетия, спор о том, был ли он даже человеком. Величайший дар, ниспосланный Богом нашей земле, презрительно отметается прочь. Чудодейственный талисман превращается в негодную, из накладного серебра, монету, которую лавки не хотят принять даже за обыкновенную гинею.

Как плачевно все это! Но подобное положение вещей, говорю я, не может продолжаться вечно и должно измениться к лучшему. Пока же оно не изменится, хотя бы в незначительной степени, ничего не изменится. «Разоблачать шарлатанов»? Конечно, разоблачайте, ради самого неба; но умейте также отличать людей, которым следует верить. Пока вы не умеете узнавать их, что значит все ваше знание? Как станете вы хотя бы только «разоблачать»? Ибо лисья проницательность, считающая самое себя знанием и принимающаяся затем «разоблачать», сильно заблуждается. Действительно, обманутых людей немало; но из всех обманутых тот становится в самое фатальное положение, кто живет под непозволительным страхом быть обманутым. Мир существует, бесспорно. Следовательно, мир заключает в себе известную истину или иначе он не существовал бы! Сначала узнайте, в чем состоит эта истина, и затем уже разбирайтесь, что есть ложного. Да, только узнавши первое, приступайте ко второму.

«Уметь узнавать людей, которым следует верить», увы, как мы еще далеки от этого. Только искренний человек может распознать действительную искренность. Нужен не только герой, но и мир, достойный его, который не представлял бы одной сплошной массы слуг; в противном случае герой пройдет почти бесследно для мира! Да, мы еще очень далеки от подобного состояния; но оно должно настать; благодаря Богу оно, видимо, уже наступает. Пока же оно не настало, что видим мы? Баллотировочные ящики, голосования, французские революции!.. Что, если мы представляем собой слуг и не признаем героя, хотя и смотрим на него, к чему тогда все это? Вот героический Кромвель: он на продолжении ста пятидесяти лет не может получить ни одного голоса в свою пользу. Не удивляйтесь: неискренний, неверующий мир представляет естественное

достояние шарлатана и отца всех шарлатанов и шарлатанства! При таком условии возможны лишь одни бедствия, смуты и всякие неправды. При посредстве баллотировочного ящика мы можем изменить только внешние формы нашего шарлатана, но сущность его остается неизменной. Мир, состоящий из слуг, и должен быть управляем призрачным героем, в котором все величие исчерпывается нарядом. Одним словом, одно из двух: или мы должны научиться узнавать истинных героев и вождей, когда смотрим на них, или, в противном случае, нами неизменно навеки будут управлять негероические люди. А будут ли шары ударяться о дно баллотировочных ящиков на каждом перекрестке или нет – это вовсе не поможет делу.

Бедный Кромвель, великий Кромвель! Незаконченный, неотчеканенный, так сказать, пророк; пророк, который не умел говорить. Неотесанный, смятенный, пытающийся высказаться всей глубиной своей дикой души, со всей своею дикой искренностью! И как странно он смотрится среди всех этих элегантных, утонченных маленьких Фолклендов, дидактических Чиллингуортсов, дипломатических Кларендонов[152]! Присмотритесь поближе к нему. Снаружи – хаотическая смятенность, призраки, черти, нервозные мечтания, почти полубезумие. Загляните, однако, в самое сердце: какая светлая, непреклонная энергия работает там! В своем роде хаотический человек; но луч чистого звездного света и огня как бы прорезывает эту атмосферу беспредельной ипохондрии, этот бесформенный мрак потемок! И однако, несмотря на всю ипохондрию, разве Кромвель не являет собою истинного человеческого величия? Глубина и нежность его диких привязанностей; симпатия, с какой он относился ко всему, прозорливость, с какой он стремился проникнуть в самое сердце вещей, мастерство, с каким он старался управлять ходом вещей, – вот какова была его ипохондрия. Несчастья этого человека, как и всегда бывает, проистекали из его величия. Сэмюэл Джонсон – человек подобного же сорта, человек, пораженный скорбью, полупомешанный. Необъятная, как мир, атмосфера печального мрака окутывала его со всех сторон. Такова характерная особенность человека-пророка, человека, всеми силами своей души воззрившегося и борющегося за то, чтобы видеть действительное положение вещей.

Таким же образом я объясняю себе и общепризнанную неясность речей Кромвеля. Для него самого внутренний смысл его слов был ясен, как солнце. Но ему недоставало материальных ресурсов, слов, чтобы облечь этот смысл в определенные формы. Он жил молчальником; великое несказанное море мысли

окружало его во все дни существования. Благодаря своему образу жизни он не испытывал сильных побуждений называть эти мысли, высказываться. При громадной силе, которую он обнаруживает в своей проницательности и деятельности, я не сомневаюсь, он мог бы также научиться писать книги и говорить достаточно плавно. Ведь он совершал дела потруднее, чем написание книг. Люди подобного рода способны выполнить мужественно все, за что бы им ни пришлось взяться. Ум человека заключается не в том, чтобы уметь говорить и делать логические выкладки, а в том, чтобы видеть и убеждаться. Мужество, геройство – это вовсе не красиво говорящая, непорочная аккуратность; это прежде всего доблесть, отвага и способность делать. Такой способностью, составляющей основу всякой деятельности, и был именно одарен Кромвель.

Затем, каждый легко поймет, каким образом он мог проповедовать. Умел говорить свободные по форме проповеди и не умел говорить в парламенте. В особенности как он мог достигать истинного величия в импровизированной молитве. Такая молитва представляет свободное излияние того, что лежит на сердце у человека. Здесь требуется не метод, а теплота, глубина, искренность – вот и все. Вообще обыкновение молиться весьма характерно для Кромвеля. Все его великие предприятия начинались молитвою. В тяжелых, затруднительных обстоятельствах, когда не видно было никакого выхода, он обычно собирал офицеров на молитву, и они молились по целым часам, дням, пока не приходили к какому-либо окончательному решению, пока, как они выражались, «врата надежды» не раскрывались перед ними. Подумайте об этом. В слезах, с горячими мольбами и воплями они обращались к великому Богу и просили, чтобы он сжалился над ними, ниспослал на них свой просвещающий свет. Они, вооруженные воины Христа, как сами называли себя, маленькая община братьев во Христе, обнаживших мечи свои против черного, как ночь, всепожирающего мира, не христианского, а маммонского, дьявольского мира. Они взывали к Богу в затруднительных случаях и просили его, чтобы он не покидал дела, которое было не только их, но также и его делом. И свет, озарявший их затем…

Какими иными средствами человеческая душа могла достигнуть лучшего просветления? Разве дело, таким образом порешенное, не становилось именно самым возвышенным, мудрым делом, к осуществлению которого следовало приступать немедленно? Для них всякое такое решение было точно сияние самого небесного света в необъятной пустыне потемок, огненный столб в ночную пору, который должен был вести их по

избранному, опасному, пустынному пути. Разве это было действительно не так? Разве человеческая душа может в настоящее время отыскать свое руководящее начало каким-либо иным, по существу, путем, – иным, помимо искреннего преклонения пылкой, борющейся души перед Высочайшим Существом, перед Подателем всякого света, все равно, будет ли это мольба, выраженная словами, отчетливо произнесенная или же безмолвная, невыразимая? Никакого другого пути не существует. «Ханжество», – говорят противники Кромвеля. Все это становится, право, утомительно. Твердящие о ханжестве Кромвеля не имеют, собственно, никакого права рассуждать о подобных вопросах. Они никогда не ставили себе в жизни цели, которую можно было бы признать действительной целью. Они живут, балансируя полезностями, вероятностями, собирая голоса, мнения. Они никогда не остаются один на один с истиною всего сущего, абсолютно никогда. Молитвы Кромвеля отличались, вероятно, «красноречием», и не только красноречием: у него было сердце человека, который умел молиться.

Но и его ораторские речи, я думаю, не были уже на самом деле такими нескладными и бессвязными, как то может казаться. Мы находим, что как оратор он производил сильное впечатление и даже в парламенте пользовался авторитетом, то есть достигал всего того, к чему стремится каждый оратор. Всякий раз, когда раздавался его грубый, страстный голос, парламент вообще понимал, что он действительно хочет что-то сказать, и каждый из депутатов старался узнать, что именно. Кромвель не обращал никакого внимания на плавность. Напротив, он чувствовал к ней даже отвращение, гнушался речи. Он никогда не обдумывал заранее слов, которые следовало бы употребить. Да и репортеры в то время также были, по-видимому, не в пример беспристрастнее, чем современные. Они отдавали в печать без всяких поправок то, что находили в своих записных книжках. Какое, не правда ли, странное доказательство якобы предумышленного и точно рассчитанного лицемерия со стороны Кромвеля, его игры перед лицом всего мира представляет тот факт, что он до конца своей деятельности нисколько не заботился о своих речах? Как же это он не пришел к мысли хотя бы сколько-нибудь обдумывать предварительно свои слова, прежде чем бросать их в публику? Если слово, сказанное человеком, – истинное слово, то его можно предоставить самому себе пролагать свой путь.

Но относительно «лживости» Кромвеля мы считаем необходимым сделать одно замечание. Такая «лживость» была, я думаю, в порядке вещей. Все партии находили, что он обманывает их. Каждая партия понимала его слова известным образом, и все

приверженцы данной партии слышали даже, как он говорил именно то, что нужно им, и вдруг оказывалось, что его слова означают «то-то» и «то-то»… «Он лжец из лжецов!» – кричат все они. Но не такова ли на самом деле неизбежная судьба в подобные времена не лживого, собственно, а всякого, стоящего выше толпы, человека? Такому человеку неизбежно приходится прибегать к умолчаниям. Если бы он, выступая среди людей, приколол сердце свое к рукаву платья, так что вороны могли бы клевать его, то путь его был бы недолог! Никто не находит выгодным селиться в доме, построенном из стекла. Каждый человек сам себе судья относительно того, в какой мере он станет обнаруживать перед другими людьми свою мысль, даже перед теми, с кем бы он хотел вместе работать. Вам предлагают нескромные вопросы, вы следуете своему правилу и ничего не отвечаете вопрошающему. Вы не вводите его в заблуждение, если только вы можете избежать этого, – вы просто оставляете его в таком же неведении, в каком он находился и раньше. Такой именно ответ, если только окажется возможным подыскать надлежащую фразу, дал бы, вероятно, в подобном случае всякий мудрый и преданный своему делу человек.

Кромвель – в этом не может быть никакого сомнения, – часто говоря в духе той или другой из маленьких зависимых партий, высказывал им только часть своей мысли. Каждая же из них думала, что он всецело принадлежит ей. Отсюда их бешенство, каждой в отдельности и всех вместе, как только они убеждались, что он вовсе не принадлежит им, он принадлежит своей собственной партии! Можно ли, однако, поставить такое поведение ему в вину? Находясь среди подобных людей, он должен был при всяком повороте судьбы чувствовать, что если он изложит перед ними всю глубоко затаенную мысль, то они или содрогнутся от ужаса, пораженные этой мыслью, или поверят ей. В таком случае их собственная маленькая компактная гипотеза разлетится в прах. Они не в состоянии будут тогда уже работать в интересах его дела. Мало того, они не в состоянии будут тогда, может, работать даже в интересах своего собственного дела. Таково неизбежное положение всякого великого человека среди маленьких людей. Повсюду вы видите маленьких людей, крайне деятельных, полезных, вся энергия которых держится на известных убеждениях, на ваш взгляд, несомненно, ограниченных, несовершенных, держится на том, что вы называете заблуждением. Но верно ли, что долг предписывает человеку постоянно тревожить маленьких людей, их убеждения, если бы это представлялось даже всегда добрым делом? Многие люди совершают громкие дела, опираясь лишь на тощие

традиции и условности, для них несомненные, а для вас невероятные. Разбейте, отнимите у них точку опоры, и они погрузятся в бездонные глубины! «Если бы я имел полную горсть истины, – сказал Фонтенель[153], – я раскрыл бы только свой мизинец».

И если такое отношение справедливо в теоретических вопросах, то во сколько раз оно будет справедливее во всякого рода практических делах! Человек, не умеющий держать при себе свою мысль, не может совершить никакого крупного дела. А мы называем все это «притворством»? Что бы вы сказали, если бы генерала, стоящего во главе армии, назвали притворщиком за то, что он не излагает своих мыслей о мировых вопросах всякому капралу или простому солдату, вздумавшему допрашивать его? Я, напротив, готов допустить, что Кромвель справился со своим положением весьма умело, и готов удивляться его умению. Во время всей своей деятельности он беспрестанно вращался в хаотическом беспредельном водовороте подобных вопрошающих капралов и отвечал им. Справиться со всем этим мог только великий, истинно провидящий человек, а вовсе не одна изведанная лживость, как я сказал; вовсе нет! Ни о ком из людей, связавших свое имя с такой массой дела, вы не станете утверждать ничего подобного.

В суждениях о людях, подобных Кромвелю, их честолюбии, лживости и т. д., делают обыкновенно две ошибки, извращающие весь ход наших мыслей и, к сожалению, весьма распространенные. Первую из них я мог бы назвать подтасовкой цели, преследуемой этими людьми, вследствие чего получается неправильное освещение исходного пункта и всего развития их деятельности. Шаблонные историки Кромвеля воображают, что он надумал сделаться протектором Англии еще в то время, когда занимался обработкой болотистых полей в Кембриджском графстве. Там он уже предначертал себе весь путь своей деятельности, выработал программу целой драмы, которую затем шаг за шагом и развивал трагически, пользуясь, по мере своего движения вперед, всеми ресурсами ловкого игрока. Таков был, говорят они, этот хитрый, интригующий «лицемер» или актер. Таким образом, все дело извращается в самом корне и во всех отношениях. Подумайте только одну минуту, как плохо вяжутся подобные соображения с действительными фактами!

В самом деле, насколько каждый из нас может предвидеть свою жизнь? Сделайте мысленно несколько шагов вперед, и вы убедитесь, что дальше все покрыто мраком, представляется в виде неразмотанного клубка возможностей, опасений, попыток, неопределенных, слабо мерцающих надежд. Жизнь Кромвеля не

была втиснута в известную программу, которую ему, при его беспредельном лукавстве, оставалось бы только трагически разыгрывать пункт за пунктом! Вовсе нет. Нам кажется, что это было так, но для него самого совсем не так. Какая масса абсурдных утверждений пала бы сама собою, если бы историки неуклонно придерживались одного только этого факта, неопровержимого факта! Историки скажут, пожалуй, вам, что они не упускают его из виду; но посмотрите, так ли бывает на самом деле! Шаблонная история совершенно забывает об этом факте первостепенной важности, даже лучшие истории и те лишь изредка то там, то здесь вспоминают о нем.

Действительно, чтобы помнить о нем надлежащим образом и выдерживать его с суровым совершенством, всегда брать человека таким, каким он существовал на самом деле, – требуется редкая способность. Тот был бы равен самому Шекспиру по силе дарования, даже более того, стоял бы выше Шекспира, кто сумел бы разыграть биографию своего брата-человека, глядеть глазами этого брата-человека на все, что видел тот при всевозможных превратностях своей судьбы. Короче говоря, мог бы понять его и весь пройденный им путь, на что немногие из «историков», по-видимому, обращают внимание. Добрая половина всех этих извращений, загромождающих и искажающих наше представление о Кромвеле, исчезнет, если мы попытаемся, по мере возможности, искренне стать на указанную мною точку зрения. Представить себе, как все обстоятельства жизни Кромвеля развивались последовательно одни за другими, а не будем сваливать все их в одну беспорядочную кучу, как это обыкновенно делается.

Вторая ошибка, в которую впадает большинство, относится к «честолюбию». Мы преувеличиваем честолюбие великих людей; ошибаемся в его понимании природы. Великие люди не честолюбивы в том смысле, как мы употребляем это слово; таким честолюбцем бывает лишь жалкий маленький человек. Присмотритесь внимательнее к человеку, который чувствует себя несчастным потому, что он не сияет вверху над другими людьми. Он мечется из стороны в сторону, навязывается всем и каждому под влиянием снедающего его беспокойства относительно своих дарований и своих притязаний. Он силится упросить каждого, ради самого Бога, признать его великим человеком и поставить во главе людей! Такое создание представляет одно из самых жалких явлений, какое только людям приходится наблюдать под нашим солнцем. Вы говорите «великий человек»! Нет, это жалкий, пустой человек, снедаемый болезненным зудом; его место скорее на больничной койке, чем на троне посреди людей. Я советую вам

держаться подальше от подобного человека. Он не может идти своим путем спокойно. Он не может жить, если вы не станете заглядывать ему в глаза, удивляться ему, писать о нем статей. В нем говорит пустота, а не истинное величие. По сущей правде, я полагаю, что ни один великий человек, ни один неподдельно искренний, здоровый человек с печатью действительного величия никогда не страдал особенно сильно от подобных терзаний.

Возвращаюсь к Кромвелю. Зачем ему было стараться «обращать на себя внимание» шумной толпы народа? Бог, его Создатель, уже обратил на него внимание. Он, Кромвель, уже сложился к этому времени вполне; никакое внимание не могло уже изменить его. Пока его голова не покрылась сединой и жизнь с вершины склона не представилась во всей своей ограниченности, не как нечто бесконечное, а, напротив, как конечное, вполне измеримое дело (насколько она протекла), он пахал землю, читал Библию и находил в такой жизни достаточное удовлетворение. В дни же своей старости он, не запродав себя лжи, не мог уже, конечно, выносить езды в золоченых каретах в Уайтхолл[154]. Он не мог выносить, чтобы клерки с кипами бумаг осаждали его заявлениями: «решите это, решите то», чего ни один человек, испытывающий мучительную сердечную скорбь, не может решить в совершенстве!

Что могли значить для Кромвеля золоченые кареты? Стремление жить по-человечески ставило его выше всяких желаний позолоты. Смерть, Страшный суд и вечность – вот что просвечивает во всем, что он с ранних пор думал и делал. Вся жизнь его была опоясана как бы морем безымянных мыслей, обозначить, назвать которые совершенно бессилен человеческий язык. Слово Божие, как называли его пуританские пророки того времени, было для него действительно велико, все же прочее – незначительно и ничтожно. Считать такого человека «честолюбцем», изображать его в виде описанного выше надутого мешка, испытывающего вечный зуд, по моему мнению, самый жалкий софизм. Такой человек говорит: «Не надо раззолоченных карет, вашей черни, кричащей «ура», не надо мне ваших рутинных клерков, высоких, влиятельных положений, важных дел. Оставьте меня одного; я уже пожил слишком много!» Старый Сэмюэл Джонсон, величайший ум своего времени во всей Англии, не был честолюбцем. «Корсиканец Босуэлл» посещает публичные зрелища в шляпе, украшенной разноцветными лентами, а великий старый Сэмюэл сидит дома. Его душа, необъятная, как мир, была поглощена своими мыслями, своими скорбями. Что могли значить для нее всякие наряды, ленты на шляпах?

О да, я еще раз повторю: великие, сохраняющие молчание

люди! Оглядываясь вокруг и вдумываясь в шумливую суету мира, во все эти малозначащие слова и малостоящие дела, всякий с любовью остановится в своих мыслях на великом океане молчания. Благородные молчащие люди, рассеянные здесь и там, каждый в своей сфере! Они молчаливо мыслят, молчаливо работают; о них не упоминают даже утренние газеты! Они – соль земли. Страна, лишенная вовсе подобных людей или насчитывающая их в небольшом количестве, находится на гибельном пути. Она уподобляется лесу, у которого вовсе нет корней, который все переработал в листья и ветви и потому должен скоро засохнуть и погибнуть. Горе нам, если мы не имеем ничего, кроме того что можем показать или сказать. Молчание, великий океан молчания: он поднимается выше звезд; он глубже, чем царство смерти! Он один только велик; все же прочее мало и незначительно. Мы, англичане, я надеюсь, сохраним на долгие еще времена наш великий талант молчания. Пусть другие, те, кто не может действовать, не взобравшись на подмостки, изливают неудержимым потоком свои речи, показываются во всех публичных местах, занимаются исключительным культивированием своего слова и превращаются в ярко зеленеющий лес, лишенный, однако, корней! Соломон говорит: на все есть свое время – время говорить и время молчать[155].

Предположим, что какого-нибудь великого молчаливого Самуила, который не был бы принужден писать ради денег и вообще в силу необходимости, как это случилось с нашим старым Сэмюэлом Джонсоном, по его рассказу, спросили бы: «Почему вы не поднимаетесь и не говорите; не распространяете своих убеждений, не основываете своей секты?» «Действительно, – ответил бы он, – я до сих пор воздерживался высказывать свою мысль. К счастью, я до сих пор еще имел силу удерживать ее при себе, я не испытывал еще такого сильного побуждения, которое заставило бы меня высказать ее. Моя «система» предназначается не для того, чтобы я возвещал ее первым делом к всеобщему сведению: она должна служить прежде всего мне лично для руководства в жизни. Таково, насколько касается меня, ее великое назначение. А затем вы говорите «слава»? Увы, слава; но Катон[156] еще сказал по поводу своей статуи: “На вашем форуме слишком много статуй, не лучше ли было бы, если бы люди спрашивали: да где же статуя Катона?”»

Но теперь, как бы в противовес этой теории молчания, да позволено мне будет сказать, что существует двоякого рода честолюбие: одно заслуживает безусловного порицания, другое – похвалы и появляется неизбежно. Природа позаботилась, чтобы великий молчаливый Сэмюэл не оставался слишком долго в

молчании. Так пусть себялюбивое желание блистать – жалко и презренно во всех отношениях. «Ты ищешь великих дел, – не ищи их», это – совершенно правильно. Но, скажу я, в каждом человеке заложено неискоренимое стремление высказываться, в полной мере сил, данных ему природой. Стремление высказывать вовне и осуществлять вовне все, чем наделила его природа. Стремление справедливое, естественное, неизбежное; мало того, это обязанность, даже сущность всех вообще обязанностей человека. Весь смысл человеческой жизни здесь, на земле, можно сказать, состоит в том, чтобы развивать свое «я». Делать то, к чему человек чувствует себя пригодным. Таков основной закон нашего существования, сама необходимость.

Колридж удивительно верно замечает, что ребенок выучивается говорить в силу необходимости, испытываемой им. Поэтому мы скажем: чтобы решить вопрос о честолюбии, решить, низменное ли честолюбие говорит в человеке или нет, необходимо принять в расчет два условия – не только вожделение, подталкивающее человека добиваться известного положения, но также и его способность действительно занимать это положение. В этом весь вопрос. Быть может, положение, которого человек ищет, принадлежит действительно ему; быть может, он не только вправе, но даже обязан искать его. Можем ли мы порицать Мирабо за его притязания на место первого министра, когда он был «единственным человеком на всю Францию, способным сделать что-либо хорошее при тогдашних условиях»? Быть может, преисполненный надежд, он чувствовал совершенно ясно, как много добра он мог бы сделать! Но относительно бедного Неккера, который не мог сделать ничего дельного и даже чувствовал, что он вообще не может ничего сделать, и однако с сокрушенным сердцем относился к тому, что его покинули и он остался не у дел, – относительно него, Гиббон[157] совершенно прав, высказывая свои сетования. Природа, говорю я, позаботилась, чтобы великий человек, сохраняющий молчание, испытывал достаточно побуждений говорить; да, даже слишком позаботилась!

Представьте себе, например, вы убедили отважного старого Сэмюэла Джонсона, старающегося держаться в тени, что он может совершить великое божественное дело на пользу своей страны и всего мира; идеальный небесный закон может быть осуществлен на нашей земле; возносимое им ежедневно моление «да приидет Царствие Твое» должно быть наконец осуществлено! Если вы убедите его в этом, что все это возможно и осуществимо, он, скорбящий, молчаливый Сэмюэл, призван принять в этом деле участие, – разве душа его не воспламенится благородным

пламенем и не осенит ее божественная ясность и благородная решимость действовать? Разве из уст его не польется благородная, пылкая речь; разве он не бросит под ноги все свои печали и опасения, огорчения и противоречия как нечто пустое и ничтожное, разве вся атмосфера его темного существования не осветится лучезарным блеском света и молнии? Таково истинное честолюбие!

Посмотрите же теперь, как действительно было в случае с Кромвелем. Он видел, что Церковь Божия уже с давних пор подвергалась гонениям; истинных ревнителей-проповедников бросали в тюрьмы, секли плетьми, выставляли к позорным столбам, отрезали им уши, Слово Божие попиралось ногами недостойных и презренных людей. Все это тяжело запечатлевалось в его душе. Однако долгие годы он сохранял молчание, глядя на бедствия Церкви, и молился. Он не видел, каким образом можно было бы выйти из этого положения; но он верил, что милосердное небо укажет выход, такой фальшивый, несправедливый порядок вещей не может оставаться неизменным навеки. И вот наступает заря освобождения: после двенадцати лет молчаливого выжидания поднимается вся Англия. Еще раз собирается парламент. Наконец-то правде будет предоставлена возможность заявить о себе. Невыразимая и вполне основательная надежда еще раз осенила землю. Разве быть членом такого парламента не составляло вполне достойного дела? Кромвель бросил свой плуг и поспешил в парламент.

Вот он говорит: его речи суровы и пылки. Они, точно сама истина, вырываются из его души бурными потоками. Кромвель работает не покладая рук. Он напрягает все свои силы, как настоящий сильный человек, гигант, и борется среди свиста пуль, ядер и т. п. Снова и снова кидается он в борьбу, пока наконец дело его не торжествует, столь грозные некогда враги не сокрушены вконец и заря надежды не сменилась ярким блеском победы и достоверностью. Разве он не выдвигается в этот момент как самый могучий ум в Англии, бесспорный герой всей Англии? Что вы можете возразить «против»? Евангельский закон Христа должен наконец осуществиться на земле!

Кромвель, человек дела, изведавший весь хаос жизни, дерзает думать, что теократия возможна и осуществима, о чем Джон Нокс мог говорить со своей проповеднической кафедры только как о «благочестивой фантазии». Управлять народом должны люди, стоящие выше других в Церкви Христовой, люди наиболее благочестивые и мудрые: до известной степени так могло бы быть и так должно бы быть. Разве истина Бога не истинна? А если она истинна, то в таком случае не ее ли именно человек должен

осуществлять в жизни? И самый сильный практический ум в Англии ответил решительно: да, ее! Такую цель я считаю истинной и благородной, благороднейшей, какую только государственный человек или вообще любой человек может лелеять в своем сердце. Нокс, выступающий в защиту подобного дела, представляет удивительное зрелище. Кромвель, человек с громадным здравым смыслом и прекрасным пониманием, что такое наш мир людской, отстаивающий то же дело, представляет, я думаю, единственное в своем роде зрелище во всей истории. В нем, по моему мнению, развитие протестантизма достигает своей кульминационной точки, наиболее героической фазы, в какой только суждено было «библейской вере» вылиться здесь, на земле. Чтобы оценить надлежащим образом эту эпоху, обратите внимание, что с того именно момента для каждого англичанина становится ясно, каким образом мы можем доставить окончательную победу правде над неправдой, все, чего мы желали и просили как высочайшего блага для Англии, действительно возможно и достижимо.

Итак, все эти обвинения в лисьем уме, хитростях, осторожности и опытности по части «угадывания лицемеров» кажутся мне одним лишь печальным недоразумением. В английской истории мы не встречаем другого государственного человека, подобного Кромвелю. Это, я могу сказать, единственный человек, лелеявший в своем сердце мысли о Царстве Божием на земле, единственный человек на протяжении пятнадцати веков. И мы знаем, как отнеслись к нему. Последователей он считал всего лишь сотнями или даже десятками, а противников – миллионами. Если бы вся Англия собралась тогда вокруг него, то, кто знает, быть может, она давно была бы уже истинно христианской страной! А лисья премудрость до сих пор возится со своею безнадежною проблемою. Именно: «дан мир мошенников; требуется привести их совокупную деятельность к честности». Насколько это действительно трудная задача, вы можете убедиться в судебных учреждениях и некоторых иных местах! И так дело идет обыкновенно до тех пор, пока наконец все не станет коснеть и разлагаться по справедливому гневу, но вместе с тем по великой милости небес и подобная проблема для всех людей не станет воочию безнадежной.

Но возвращаюсь к Кромвелю и его действительным стремлениям. Юм[158] с его многочисленными последователями, возражая нам, сказал бы: допустим, что Кромвель был искренен вначале, но искренний «фанатик» по мере своего успеха превращался постепенно в «лицемера». Такова теория Юма о

фанатике-лицемере, теория, приложение которой с течением времени значительно расширилось. Она была применена к Магомету и многим другим. Вдумайтесь в нее серьезнее, и вы найдете в ней кое-что заслуживающее внимания, правда, немногое, не все, далеко не все. Истинно героические сердца никогда не кончают таким жалким образом. Солнечные лучи, проходя через нечистую среду, преломляются, пятна и грязь отражаются, но тем не менее солнце продолжает светить, оно не перестает быть солнцем, не превращается во тьму! Я осмеливаюсь утверждать, что великий и глубокий Кромвель никогда не переживал подобного превращения; никогда, я в этом убежден. Он был сыном природы, и в его груди билось львиное сердце. Подобно Антею, он черпал свою силу от прикосновения с матерью-землей. Оторвите его от земли и бросьте в атмосферу лицемерия и ничтожества, он тотчас потеряет свою силу. Мы не утверждаем, что Кромвель был, как говорится, «без сучка и задоринки», что он не делал ошибок, никогда не грешил против искренности. Он вовсе не был дилетантом-проповедником всяческого «самосовершенствования», «безупречного поведения». Это – неотесанный Орсон[159], идущий своим тернистым путем, совершающий действительное, настоящее дело, и, конечно, ему случалось падать, и не раз. Неискренности, ошибки, весьма многочисленные, ежедневные, ежечасные и т. п., были ему очень хорошо знакомы, но обо всем этом знал Бог да он! Не раз солнце омрачалось, но никогда еще оно само не превращалось во тьму. Кромвель умер, как подобает истинно героическому человеку: последним словом его была молитва, в которой он просил Господа судить его и его дело, так как люди не могут этого сделать, судить по всей справедливости, но не отказать ему в милосердии. Это были в высшей степени трогательные слова. С таким напутствием его великая, дикая душа, покинув навеки свои заботы и прегрешения, предстала перед Творцом мира.

Нет, я со своей стороны не назову этого человека лицемером! Говорят, лицемер, переряженный герой, вся жизнь которого – одна сплошная деланность, пустой, жалкий шарлатан, которого пожирала страсть к популярности среди черни. Так ли? Человек спокойно доживает до седых волос и не ищет известности; а затем, благодаря своей безупречной жизни, становится действительным королем Англии. Разве человек не может обойтись без царских карет и одеяний? Такое ли уже на самом деле блаженство, когда вас вечно осаждает масса чиновников с кипами бумаг, перевязанных красным шнуром? Скромный Диоклетиан[160] предпочитает сажать капусту; Джордж Вашингтон, который, во всяком случае, не был уже таким недосягаемо

великим человеком, делает то же. Всякий искренний человек, скажете вы, мог бы поступить и поступил бы таким же образом. Да, раз обстоятельства складываются так, что действительная жизнь человека протекает вне государственных дел, – к черту все это!

Обратите, однако, внимание, насколько вождь является лицом, необходимым повсюду, во всех человеческих движениях. Наша гражданская война представляет яркую картину того, в какое положение попадают люди, когда они не могут найти себе вождя, а неприятель может. Шотландцы почти все поголовно были воодушевлены пуританизмом, они единодушно относились к своему делу и горячо брались за него, чего далеко нельзя сказать относительно другой оконечности нашего острова. Но среди них не было своего великого Кромвеля. Они знали одних только жалких, вечно колеблющихся, трепещущих, пускающихся в дипломатию Аргайлей и тому подобных руководителей, из которых никто не обладал сердцем достаточно истинным, чтобы вместить в себе истину. Никто не дерзнул всецело довериться делу истины. Они не имели вождя, тогда как рассеянная по всей стране партия кавалеров имела своего предводителя в лице Монтроза[161], самого доблестного кавалера, человека благовоспитанного, блестящего, храброго, в своем роде кавалера-героя.

Теперь посмотрите: на одной стороне есть подданные, но нет короля, а на другой – есть король, но нет подданных. Подданные без короля не могут ничего сделать, а король без подданных может сделать кое-что. Монтроз с горстью ирландцев и диких горцев, из которых немногие умели держать ружье в руках, устремляется, подобно бешеному вихрю, на хорошо обученные пуританские отряды, поражает их удар за ударом, пять раз разбивает и гонит перед собою с поля битвы. Одно время, – правда, на короткий миг, – он завладел даже всей Шотландией. Один человек, но это был человек, и перед ним оказался бессильным целый миллион преданных своему делу людей, среди которых не нашлось, однако, такого человека! Из всех людей, принимавших участие в пуританской борьбе с начала до конца, быть может, один только Кромвель был неизбежно необходимым человеком. Необходимым, чтобы видеть, дерзать и решать, быть нерушимой скалой среди водоворота разных случайностей, – королем среди борющихся, а как называли его последние, королем или протектором, – это не важно.

Однако в этом именно обстоятельстве и видят самое тяжелое преступление Кромвеля. Все прочие его действия нашли себе защитников и, по общему признанию, так или иначе,

оправдываются, но роспуск парламента и присвоение протекторской власти – этого никто не может ему простить. Он благополучно достиг уже королевской высоты, был вождем победоносной партии. Но он не мог, по-видимому, сделать своего последнего шага без королевской мантии и, чтобы добыть ее, пошел на верную гибель. Посмотрим, как все это случилось.

Англия, Шотландия, Ирландия лежат побежденными у ног парламента. Что делать дальше – вот практический вопрос, поставленный самою жизнью. Как управлять всеми этими народами, судьбы которых провидение столь чудесным образом отдало в ваше распоряжение? Ясно, что сто человек, оставшихся от Долгого парламента[162] и продолжавших заседать в качестве высшего, верховного учреждения, не могли вечно сохранять за собою власть. Как же следует поступить? Для конституционалистов-теоретиков подобный вопрос не представлял бы никаких затруднений. Но для Кромвеля, прекрасно понимавшего практическую, реальную сторону дела, не могло быть вопроса более сложного. Он обращается с запросом к парламенту, предоставляя ему самому ответить, как он думает поступить в данном случае. Однако солдаты, своею кровью купившие победу, находили, вопреки всяким формулам, что и им также должно быть предоставлено право высказать свое мнение! Мы не желаем, чтобы вся наша борьба увенчалась «каким-нибудь жалким клочком бумаги». Мы полагаем, что евангельский закон, которому Господь предоставил теперь через нас возможность торжествовать, должен быть осуществлен на земле или должно по крайней мере попытаться осуществить его!

В течение трех лет, говорит Кромвель, этот вопрос неизменно предлагался членам заседавшего парламента. Но они не могли дать никакого ответа; они только говорили и говорили… Быть может, такова уж сущность парламентских учреждений; всякий парламент в подобном случае оказался бы бессильным и занимался бы только разговорами. Тем не менее на вопрос нужно и должно было ответить. Вас здесь заседает шестьдесят мужей. Вы стали ненавистны и презренны в глазах народа, обозвавшего вас уже «охвостьем» парламента. Вы не можете далее оставаться на ваших местах. Кто же или что же в таком случае заменит вас? «Свободный парламент», избирательное право, какая-либо конституционная формула в таком или ином роде? Но ведь мы имеем дело не с формулами, а с грозным фактом, который пожрет нас всех, если мы не сумеем ответить на него! И кто это вы, болтающие о конституционных формах, парламентских правах? Вы убили своего короля, произвели Прайдову чистку[163], изгнали особым законом более сильных, тех, кто не хотел

содействовать вашему делу, а теперь вас осталось всего пятьдесят или шестьдесят человек и вы продолжаете заниматься дебатами. Скажите нам, что мы должны делать, но говорите не о формулах, а о действительном, живом деле!

Какой ответ в конце концов дали они, остается темным до сих пор. Даже обстоятельный Годвин[164] и тот признается, что он не может этого выяснить себе. Вероятнее всего, наш бедный парламент все еще не хотел, а на самом деле и не мог добровольно закрыть себя и разойтись, а когда настал действительный момент закрытия, он снова в десятый или двенадцатый раз отсрочил его. Кромвель потерял наконец терпение. Но остановимся на объяснении самом благоприятном, какое только выдвигалось в защиту этого парламента, даже слишком благоприятном, хотя я не скажу, чтобы оно вместе с тем было и правильным объяснением.

По этой версии дело происходило таким образом. В самый трудный момент кризиса, когда Кромвель со своими офицерами резко обособились в одну группу, а пятьдесят или шестьдесят членов парламентского «охвостья» составляли другую, Кромвель вдруг узнает, что эти последние в отчаянии решаются на весьма рискованный шаг. Под влиянием зависти и мрачного отчаяния они готовы, лишь бы только отстранить армию, провести в палате следующего рода билль о реформе. Парламент избирается всею Англиею, страна делится на равные избирательные участки, устанавливается всеобщая подача голосов

и т. д. Весьма и весьма спорное решение, для них же, в сущности, вполне бесспорное. Билль о реформе, всеобщая подача голосов? Как, но ведь роялисты только притихли, они вовсе не уничтожены, они, быть может, даже превосходят нас своей численностью. Громадное численное большинство английского народа всегда относилось безучастно к нашему делу, оно ограничивалось лишь ролью зрителя и затем подчинялось общему ходу вещей. Мы составляем большинство не по числу наших голов, а по своей силе и значению. Таким образом, благодаря вашим формулам и биллям, все добытое нами кровавой борьбой, оружием в руках должно снова погрузиться в пучину забвения, из факта снова превратиться в одну лишь надежду, возможность, и притом в какую маленькую возможность? Но нет! То, за что мы боролись, не только возможное дело, но и достоверное. Эту достоверность мы завоевали милостью Господа и силою своих собственных рук и держим теперь ее вот здесь. Кромвель отправился в упорствующий парламент. Там спешили провести свой билль. Он прервал прения, приказал разойтись и не вступать больше ни в

какие обсуждения. Верно ли, что мы не можем простить ему этого поступка? Разве мы не можем понять его? Джон Мильтон, на глазах которого все это совершалось, нашел возможным даже аплодировать Кромвелю. Действительность смела прочь всякие формулы. Я полагаю, что большинство людей в Англии не могли не признавать всей неизбежности такого исхода.

Так сильный и решительный человек восстановил против себя всех людей, придерживающихся безжизненных формул и пустых логических выкладок. Он имел дерзость обратиться к непосредственному факту, самой действительности и спросить: будет ли она поддерживать его или нет? Любопытно, как он старался управлять Англиею, не отступая от конституционных обычаев, пытался составить парламент, который оказывал бы ему поддержку, но безуспешно. Его первый парламент представлял собою, так сказать, конвокацию нотаблей[165]. В каждом округе главные должностные лица из пуритан или священники указывали людей наиболее достойных, религиозных, пользовавшихся лучшей репутацией, влиянием и отличавшихся преданностью великому делу, и эти избранники собрались, чтобы начертать общий план действий. Они санкционировали то, что совершилось, и начертали, как умели, план дальнейших действий. Они были презрительно названы Бэрбоунским парламентом («кости да кожа» парламента) по имени одного из членов. Но последнего звали не Бэрбоун (Barebone), а Барбоун (Barbone), и это, по-видимому, был довольно хороший человек[166]. Пуританские нотабли собрались делать великое серьезное дело – удостовериться, насколько действительно было возможно осуществить в то время евангельский закон в Англии. Среди них были люди умные и выдающиеся. Большинство из них, я полагаю, отличалось глубоким благочестием. Но они потерпели, по-видимому, крушение в своих попытках реформировать Канцлерский суд! Они закрыли собрание, как не компетентное в подобных делах, и разошлись, передав свою власть снова в руки главноначальствующего генерала Кромвеля, предоставляя ему поступить, как он хочет и как может.

Что же станет делать он, лорд-генерал Кромвель, «главнокомандующий всех восставших и долженствующих восстать сил», ввиду такого беспримерного обстоятельства? Он видит, что он – единственный авторитет, имеющий еще силу в Англии, лишь он один своею личностью удерживает Англию от анархии. Таково было, несомненно, взаимное отношение между ним и Англиею в ту пору и при тех обстоятельствах. Что же он станет делать? После раздумья он решается принять созданное положение, решается формально и громогласно с подобающею

торжественностью заявить: «Да, таково положение дела; я сделаю все, что могу!» – и поклясться в этом перед Богом и людьми. Протекторат, правительственный регламент – все это внешние формы, формы, какие только могли быть выработаны при данных условиях и которые были санкционированы судьями и администраторами, «советом из администраторов и влиятельных лиц в народе».

Принимая во внимание всю безвыходность положения, мы должны сказать, что Англия в ту пору действительно должна была выбрать между анархиею и кромвелевским протекторатом, что другого выхода для нее не было. Пуританская Англия могла признать и не признать протекторат; но, бесспорно, благодаря только ему она была спасена от самоубийства! Я убежден, что пуританское население, ворча, а скорее просто молчаливым образом, вполне одобрило столь несогласное с установленными порядками поведение Оливера. По крайней мере обе стороны действовали всегда согласно, и согласие их все более и более укреплялось до самого конца. Но в парламенте, где им приходилось сознательно формулировать свои отношения, так сказать, отчеканить их, они наталкивались на непреодолимые затруднения и никогда не знали хорошо, что им говорить!..

Собрался второй парламент Оливера, или, собственно, его первый очередной парламент, избранный согласно правилам, изложенным в правительственном регламенте, собрался и принялся за работу. Но вскоре он запутался в бесконечных вопросах о праве протектора, «узурпации» и т. п. и в первый же законный срок был распущен. Замечательна речь Кромвеля, произнесенная при закрытии этого парламента, равно как и его речь, обращенная при подобных же обстоятельствах к третьему парламенту. И в первом и во втором случае Кромвель жестоко нападает на педантизм и упорство народных представителей. Как грубы и хаотичны все эти его речи, но вместе с тем какой серьезностью дышат они. Вы сказали бы, что это говорит искренний, но беспомощный человек, не умеющий выражать словами воодушевляющей его великой, но неорганической мысли, а привыкший скорее проводить ее на деле. Вас поражает беспомощность в выражениях рядом с глубочайшими мыслями, прорывающимися какими-то взрывами.

Он много говорит о «порождениях провидения»: все эти перевороты, многочисленные победы и важные события представляют вовсе не заранее рассчитанные действия, комедиантские затеи людей – тот, кто думает так, слепец и богохульник! Он настаивает на этом неистовым, удушливым, точно серный газ, упорством и напряженностью. Он высказывает

свои мысли, как умеет. Как будто какой-то Кромвель, очутившись среди мира, поверженного в беспросветный хаос, мог заранее все предвидеть в смутной, неимоверно громадной роли, выпавшей на его долю, и разыграть ее, подобно марионетке, которую заставляют проделывать посредством проволоки рассчитанные движения! Нет, говорит он, все пережитые нами события не могли быть предусмотрены ни одним человеком. Никто не мог сказать, что принесет завтрашний день. События эти были «порождениями Провидения». Перст Божий указывал нам, мы шли и достигли наконец лучезарной вершины победы, и дело Господа восторжествовало среди населяющих наш остров народов. И вот для вас представилась возможность собраться в парламент и сказать, каким образом все это должно быть организовано, превращено в разумную практику. Вы должны были своим мудрым советом облегчить дело. «Вы имели такой удобный случай, какого никогда не встречалось в парламентской жизни Англии». Дело шло о том, чтобы сделать закон Христа, правду и истину до известной степени законом нашей страны. А вы вместо этого занялись пустыми педантическими препирательствами о конституции, бесконечными каверзами и запросами относительно писаных законов, давших мне право быть здесь. Снова ввергли все дело в прежнее состояние хаоса, так как у меня нет никакого нотариального документа на право быть президентом среди вас, а только благоволение Господа, выведшего меня из водоворота борьбы и сражений! Этот удобный случай упущен теперь вами, и мы не знаем, когда он снова настанет. Вы следовали своей конституционной логике, и не закон Христа, а закон маммоны царит по-прежнему в нашей стране. «Пусть Господь будет судьею между вами и мною». Таковы его последние слова, обращенные к членам парламента: берите свои конституционные формулы, а я – свои неформулируемые сражения, планы, действия и поступки, и «пусть Господь будет судьею нам!».

Мы заметили уже выше, какую бесформенную, хаотическую груду представляют напечатанные речи Кромвеля. Большинство читателей видит в них преднамеренную двусмысленность и непонятность и находит, что лицемер с целью говорил темным, иезуитским языком, чтобы таким образом маскировать себя. Я не согласен с этим. Напротив, для меня речи Кромвеля были первым лучом, бросившим надлежащий свет на всю его фигуру, осветившим его внутренний мир. Согласитесь и поверьте, что он действительно хотел что-то сказать. Попытайтесь с добрым чувством к нему выяснить, что бы это такое могло быть. Вы найдете тогда действительную, настоящую речь, заваленную грудой бессвязных, грубых, неправильных выражений;

действительное намерение в великом сердце этого человека, не умевшего отчеканивать своих мыслей! И вы увидите тогда в первый раз в нем человека, а не какую-то загадочную химеру, невозможный и невероятный для нас фантом. Истории и биографии Кромвеля, написанные поверхностными скептиками последующих поколений, людьми, которые не признавали и вообще не понимали глубоко верующего человека, в сущности, отличаются гораздо большей неясностью, чем все эти речи протектора. Они заводят вас прямо в беспросветные дебри мрака и пустой суеты. «Воспаленное воображение и зависть», – говорит сам лорд Кларендон, одни угрюмые причуды, теории и всякая дурь – вот что заставило медлительных, здравомыслящих и хладнокровных англичан бросить свои плуги и свои дела и с диким неистовством ринуться в непонятную борьбу с наилучшим из королей! Попробуйте, если можете, признать такое объяснение правильным. Скептик, пишущий о вере, может обладать большими талантами, но он окажется, во всяком случае, в положении ultra vires[167], так же как слепец, излагающий законы оптики.

Третий парламент Кромвеля разбился о тот же подводный камень, что и второй. Вечно эта конституционная форма и вопрос: каким образом вы пришли сюда? Покажите нам ваш документ! Слепые педанты: «Ведь та же сила, которая привела вас в парламент, та же самая, конечно, сила и даже нечто еще большее сделало меня протектором!» Если мой протекторат – ничто, то что же такое, скажите, пожалуйста, ваш парламент, это отражение и создание моего протекторатства?

Итак, парламенты терпят неудачу. Теперь остается один путь – деспотизм. В каждый округ назначается свой военный диктатор, чтобы держать в повиновении роялистов и других противников, управлять ими если не именем парламентского акта, то силой оружия. Формалистика бессильна, пока действительность за нас! Я буду по-прежнему во внешних делах покровительствовать протестантам, угнетаемым в других государствах, а во внутренних – назначать справедливых судей, мудрых администраторов, содействовать истинным пастырям и проповедникам Слова Божия. Я буду делать все зависящее от меня, чтобы Англия стала христианскою Англией, более величественной, чем Древний Рим, чтобы она стала царицею протестантского христианства. Я говорю о себе, так как вы не захотели поддержать меня. Я буду действовать, доколе Господу угодно будет хранить жизнь мою! «Почему он не бросил своего дела, не стушевался, после того как закон отказался признать его?» – кричат многие. Вот здесь-то и обнаруживается все

заблуждение обвиняющих. Для Кромвеля не было никакой возможности удалиться от дел! Первые министры, Питт, Помбаль, Шуазель, управляли поочередно страной, и слово каждого из них оставалось законом независимо от происходивших перемен. Но Кромвель был единственным первым министром, который не мог отказаться от своих обязанностей. Откажись он, Стюарты и кавалеры не преминули бы тотчас же убить его, погубить все дело и его самого. Раз он вступил в борьбу, для него не было уже ни возврата назад, ни отступления. Этот первый министр не мог никуда удалиться, разве только в свою могилу.

Взгляните на Кромвеля в пору его старости, и вы невольно почувствуете к нему скорбную симпатию. Он постоянно жалуется на тяжесть бремени, возложенного на него Провидением. Тяжесть, которую он должен нести на себе до могилы. Дряхлый полковник Хатчинсон, его старинный сотоварищ по боям, пришел однажды, как рассказывает жена его, к Кромвелю по какому-то неотложному делу, пришел нехотя, несмотря на крайнее нежелание. Кромвель «провожает его до двери» и обращается с ним самым братским, радушным образом. Он просит, чтобы тот примирился с ним, как старинный брат по оружию; говорит, как он опечален, что лучшие сотоварищи-воины, близкие сердцу его по старым делам, покидают его, не понимают его. Однако суровый Хатчинсон, замкнувшийся в своей республиканской формуле, остается глух и угрюмо удаляется.

Но вот и голова человека седеет, а сильная рука слабеет от слишком долгого труда! Я всегда вспоминаю при этом его бедную мать, глубокую уже старуху в ту пору, жившую вместе с ним во дворце. Прекрасная, отважная женщина! Они вели честный, богобоязненный образ жизни; при всяком выстреле ей казалось, что это убили ее сына. Он посещал ее по крайней мере раз в день, чтобы она могла видеть его своими глазами и убедиться, что он жив еще. Бедная старуха мать. Что же выиграл этот человек? Что выиграл он, спрашиваю я вас? Его жизнь до последнего дня была наполнена тяжелой борьбой и трудом. Слава, честолюбие, почетное место в истории? Его труп был повешен в цепях. Его «место в истории» – уж доподлинно место в истории! – заклеймено позором, обвинением, бесчестием и гнусностью. Кто знает, не безрассудно ли с моей стороны выступать сегодня в качестве одного из первых его защитников, дерзнувших отнестись к нему не как к плуту и лжецу, а как к честному и искреннему человеку! Мир праху его! Наперекор всему – разве он мало поработал для нас? Мы осторожно пройдем поверх его великой, суровой героической жизни; перешагнем через труп его, брошенный там, во рву. Мы не дадим ему пинка!.. Пусть герой

почивает безмятежно! Не к суду человеческому он апеллировал, и нельзя сказать, чтобы люди судили о нем очень хорошо.

Ровно через сто один год после того, как пуританское восстание поулеглось и приняло более покладистые формы (1688), разразился новый, еще более могущественный взрыв, который оказалось гораздо труднее потушить и который стал известен всем смертным и, по-видимому, долго еще будет памятен под именем Французской революции. Французская революция составляет третий и вместе с тем последний акт протестантизма, этого смутного и проявившегося рядом взрывов поворота человечества к действительности и факту после столь губительной жизни призраками и подлогами. Мы считаем английский пуританизм вторым актом. «Итак, в Библии – истина; будем же руководствоваться Библией»! «В церковных делах», – говорил Лютер; «в церковных и государственных делах, – говорил Кромвель, – будем руководствоваться тем, что есть действительно истина Господа Бога».

Люди должны возвратиться к действительности; они не могут жить призраками. Французскую революцию, этот третий акт, мы с полным правом можем назвать финалом; ибо пойти дальше дикого санкюлотизма люди не могут. Они стоят теперь лицом к лицу с диким в своей полной обнаженности фактом, которого нельзя отринуть и который приходилось признавать во все времена и при всяких обстоятельствах; исходя из него, люди могут и должны снова взяться доверчиво за созидательную работу. Французская революция, подобно английской, нашла своего короля, не обладавшего никакими документами на королевское звание. Мы скажем несколько слов о Наполеоне, нашем втором короле в современном духе.

Я никоим образом не могу считать Наполеона равным по своему величию Кромвелю. Его громкие победы, наполнившие шумом всю Европу (тогда как Кромвель оставался преимущественно дома, в нашей маленькой Англии), поднимают его на слишком высокие ходули; но настоящий рост человека от этого ведь нисколько не изменяется. Я ни в коем случае не могу признать за ним такой же искренности, как за Кромвелем; его искренность значительно более низкого разбора. Наполеон не оставался долгие годы в молчаливом общении со всем грозным и невыразимым, присущим вселенной. Он не «оставался с Богом», как выражался Кромвель, а между тем в таком только общении – залог веры и силы.

Скрытые мысль и отвага, безропотно пребывающие в своем скрытом состоянии, когда настанет время, разражаются светом и блеском, подобно небесной молнии! Наполеон жил в эпоху, когда

в Бога более уже не верили, все значение безмолвности и сокровенности было превращено в пустой звук. Ему приходилось взять за точку отправления не пуританскую Библию, а жалкую, проникнутую скептицизмом «Энциклопедию». И вот мы видим крайний предел, до которого этот человек доводит ее. Достойно похвалы, что он пошел так далеко. По самому складу своего характера, так сказать, компактного, во всех отношениях законченного, быстрого, он представляется человеком маленьким в сравнении с нашим величественным, хаотическим, не укладывающимся ни в какие определенные рамки Кромвелем. Вместо «молчаливого пророка, напрягающего все силы, чтобы высказать свою мысль», мы видим какую-то чудовищную помесь героя с шарлатаном!

Юмовская теория о фанатике-лицемере, поскольку она заключает в себе истину, с гораздо большим успехом может быть применена к Наполеону, чем к Кромвелю, Магомету и подобным им людям, по отношению к которым, строго говоря, она оказывается совершенно неправильной. Презренное честолюбие с первых же шагов дает себя чувствовать в Наполеоне. Под конец оно одерживает над ним полную победу и приводит как его самого, так и его дело к гибели.

Выражение «лживый, как рапорт» стало общей поговоркой во времена Наполеона. Он старается оправдываться; говорит, что необходимо вводить в заблуждение неприятеля, поддерживать бодрость духа в рядах своих и т. д. Но в конце концов здесь не может быть никакого оправдания. Человек ни в коем случае не располагает правом говорить ложь. И для Наполеона было бы также лучше, если бы он только думал не об одном завтрашнем дне, не говорить вовсе лжи. Действительно, если человек преследует цель, которая имеет отношение не только к данному часу и дню, но рассчитана и на последующие дни, в таком случае что же хорошего может получиться из распространения лжи? Со временем ложь раскрывается, и гибельная кара ожидает человека. Никто уж более не поверит ему, не поверит даже в том случае, когда он говорит правду и для него в высшей степени важно, чтобы ему поверили. Повторяется старинный рассказ о волке и пастухе! Ложь есть ничто, вы не можете из ничего создать что-нибудь; в конце концов вы получаете тоже ничто, да к тому же теряете еще попусту время и труд.

Однако Наполеон был искренен. Мы должны различать поверхностное и существенное в искренности. В ворохе всех этих внешних маневрирований и шарлатанских проделок Наполеона, правда, многочисленных и заслуживающих самого горячего порицания, мы не должны проглядеть и того, что этот человек

понимал действительность каким-то инстинктивным, непреложным образом и опирался на факт, пока он вообще опирался на что-либо. Его инстинктивное чутье природы было сильнее его образованности. Во время Египетской экспедиции, рассказывает Бурьенн, его ученые деятельно занялись рассуждениями на тему о невозможности существования Бога и, к своему удовольствию, подтвердили свой тезис всевозможными логическими доводами. Наполеон же, глядя на звезды, сказал им: «Вы рассуждаете, господа, весьма остроумно, но кто создал все это?» Всякая атеистическая логика сбегала с него как с гуся вода; величественный факт сиял перед ним в своем блеске. «Кто создал все это?» Точно так же и в практических делах. Он, подобно всякому человеку, который может стать великим человеком или одержать победу в этом мире, смотрит, минуя всякого рода внешние запутанности, в самое сердце практического дела и прямо направляется к нему.

Когда управляющий Тюильрийским дворцом показывал Наполеону новую обстановку и, расхваливая ее, обращал его внимание на роскошь и вместе с тем дешевизну всего, Наполеон слушал больше молча и, потребовав ножницы, отрезал золотую кисть от оконной гардины, положил ее себе в карман и вышел. Несколько времени спустя, воспользовавшись подходящей минутой, он вынул, к ужасу своего управляющего, эту кисть: она оказалась не золотой, а из фольги! Замечательно, как даже на острове Святой Елены, в последние дни своей жизни, он постоянно обращал внимание на практическую, реальную сторону событий. «К чему разговоры и сетования, а главное, зачем вы пререкаетесь друг с другом? Это не приведет ни к каким результатам, ни к какому делу. Лучше не говорите ничего, если вы ничего не можете делать». Он часто разговаривает подобным образом со своими злополучными, недовольными сотоварищами. Он выделяется между ними подобно глыбе, таящей в себе действительную силу, среди болезненно раздражительных ворчунов.

И потому не вправе ли мы также сказать, что Наполеон был человеком верующим, искренне верующим, насколько о том может быть речь в данном случае. Он был глубоко убежден, что эта новая чудовищная демократия, заявившая о своем существовании Французской революцией, представляет непреодолимый, бесспорный факт, которого не может низложить весь мир со всеми своими древними учреждениями и силою. Это убеждение наполняло энтузиазмом его душу, оно составляло его веру. И разве он неправильно истолковывал смутную тенденцию всего этого движения? «La carriere ouverte aux talents[168], орудия

должны принадлежать тому, кто может владеть ими». Это действительно истина, даже полная истина. В ней заключается все, что только может означать Французская и вообще всякая иная революция.

В первый период своей деятельности Наполеон был истинным демократом. Но благодаря своему природному чутью, а также военной профессии он понимал, что демократия в истинном смысле этого слова не может быть отождествляема с анархией. Этот человек ненавидел в глубине своего сердца анархию. В знаменитое 20 июня 1792 года Бурьенн и он сидели в кофейне, когда чернь волновалась вокруг. Причем Наполеон высказывался самым презрительным образом о властях, не сумевших смирить «этой сволочи». 10 августа он удивляется, как это не находится человека, который стал бы во главе бедных швейцарцев: они победили бы, если бы такой человек нашелся. Вера в демократию и ненависть к анархии – вот что воодушевляло Наполеона во всех его великих делах. В период блестящих итальянских кампаний до Леобенского мира[169] он, можно сказать, был воодушевлен стремлением добиться торжества Французской революции; защитить и утвердить ее в противоположность австрийским «призракам», которые стараются представить ее, Французскую революцию, в виде «призрака»!

Но вместе с тем он понимал, и был прав, что сильная власть необходима, помимо такой власти невозможно дальнейшее существование и развитие самой революции. И разве он, хотя бы отчасти, не стремился действительно к этому, как к истинной цели своей жизни? Нет, более того, разве он не успел на самом деле укротить Французскую революцию настолько, что мог обнаружиться ее настоящий внутренний смысл? Причем она стала органической и получила возможность существовать среди других организмов и форм не как одно только опустошительное разорение? Ваграм, Аустерлиц, победа за победой, и он с триумфом достигает этой цели.

В нем был провидящий глаз и деятельная, отважная душа. Он естественно выдвинулся, чтобы стать королем. Все люди видели, что это так. Простые солдаты рассуждали в походах: «Уж эти болтливые адвокаты, там, в Париже, наверху: им бы все одни разговоры и никакого дела. Что же удивительного, если все идет так плохо? Нам нужно отправиться туда и посадить на их место нашего маленького капрала!» Они пошли и посадили его там: они – и Франция с ними. Затем консульство, императорство, победа над Европой, и неведомый лейтенант артиллерии, в силу естественного хода событий, мог действительно смотреть на самого себя как на величайшего человека, какой только

появлялся среди людей в последние века.

Но с этого момента, как я думаю, фатальный элемент шарлатанства берет верх. Наполеон становится вероотступником. Он отказывается от своей прежней веры в действительность и начинает верить в призраки. Старается связать себя с австрийской династией, папством, отжившим фальшивым феодализмом, всем, что, как он некогда ясно видел, представляло ложь. Думает, что он должен основать свою собственную династию, одним словом, находит, что весь смысл чудовищной Французской революции заключался именно в этом! Таким образом, человек впал в страшную иллюзию, которую он должен был бы считать ложью; ужасное, но вполне достоверное дело. Он не умеет теперь различить истинное от ложного, когда ему приходится иметь дело с тем и другим, – жесточайшее наказание, какое только постигает человека, что он позволяет неправде заполонить свое сердце. «Я» и ложное честолюбие становится теперь его богом. Раз человек дозволил себе впасть в самообольщение, все другие обольщения совершенно естественно и все больше и больше завладевают им. В какие жалкие лохмотья актерского бумажного плаща, маскарадного наряда, фольги облекает этот человек свою великую реальность, думая сделать ее, таким образом, еще более реальной! А этот его пресловутый конкордат с Папой[170] с целью якобы восстановления католицизма, который, однако, как он сам видел, вел к уничтожению его, был в своем роде «La vaccine de la religion[171]. Эта коронационная церемония, посвящение в императорский сан древней итальянской химерой в соборе Парижской Богоматери, где, как говорит Ожеро, «все было сделано, чтобы поразить пышностью, – недоставало только пятисот тысяч человек, погибших в борьбе против всего этого!».

Иначе происходило дело с Кромвелем: его посвятила шпага и Библия, и это посвящение мы должны признать неподдельно истинным. Перед ним несли шпагу и Библию, здесь не было никаких химер. Действительно, не представляют ли они настоящих эмблем пуританизма, его украшения и знаков отличия? Он вполне реальным образом пользовался ими и во все последующее время старался устоять также при помощи их! Но бедный Наполеон заблуждался: он слишком верил в людскую глупость, не видел в людях ничего более существенного, чем голод и глупость! Он заблуждался. Он походил на человека, который выстроил свой дом на облаке. Он сам и его дом погибли в беспорядочной куче развалин и исчезли в беспредельном пространстве мира.

Увы, подобного рода шарлатанство есть в каждом из нас, и оно может развиться, если искушение слишком велико. «Не введи

нас во искушение!» Но, говорю я, обстоятельства складываются так фатально, что шарлатанство неизбежно развивается. Всякое дело, в котором оно играет сознательную роль, становится во всех отношениях преходящим, временным, и как бы такое дело ни было, по-видимому, громадно, оно, в сущности, маленькое дело. И действительно, что такое, собственно, эти подвиги Наполеона с их громким шумом? Вспышка пороха, распространившаяся, так сказать, на большом пространстве; пламя как бы от горящего сухого вереска. Кажется, что дым и огонь охватывают всю вселенную, но это только на один час. Все проходит, и вы снова видите ту же вселенную с ее горами и реками, звездами в вышине и доброй землей под ногами.

Веймарский герцог обыкновенно говорил своим друзьям, что не следует терять мужества, что весь этот наполеонизм был несправедлив, ложен и не мог долго просуществовать. И он правильно рассуждал. Чем беспощаднее Наполеон попирал весь мир, чем больше угнетал его, тем свирепее должно было быть возмущение мира против него, когда настал день. Несправедливости приходится расплачиваться ужасающими процентами на проценты за свои деяния. Я не знаю, право, не лучше ли было бы для Наполеона потерять лучший артиллерийский обоз или целый полк своих лучших солдат в волнах моря, чем расстрелять бедного немецкого книгопродавца Пальма! Это была вопиющая, смертельная несправедливость тирана, несправедливость, которую никто и ничто не в силах смягчить, каким бы толстым слоем румян ни прикрывать ее. Подобно раскаленному железу, она, как и всякая такая несправедливость, глубоко вонзилась в сердца людей и воспламеняла ярким пламенем глаза их всякий раз, когда они возвращались к мысли о ней, выжидая своего дня! И день настал: Германия поднялась.

Из всего совершенного Наполеоном останется в конце концов только то, что было совершено им справедливо, санкционировала природа своими законами, исходило из ее реальности; только это, и больше ничего. Все остальное дым и разрушение. «La carriere ouverte aux talens» – таково великое и истинное дело, которое он оставил в крайне несовершенном, незаконченном виде и которому надлежит и в настоящее еще время развиваться и совершенствоваться во всех отношениях. Он представляет собою величественный абрис, грубый набросок, никогда не доведенный до конца. Но разве не то же следует сказать, в сущности, о всяком великом человеке? Увы, да, – набросок, оставленный в слишком грубых очертаниях!

В мыслях, высказываемых Наполеоном на острове Святой

Елены по поводу мировых событий, звучит что-то почти трагическое. Он испытывает, по-видимому, вполне неподдельное удивление, что все совершилось, таким образом, он выброшен на эту голую скалу, а мир продолжает вращаться вокруг своей оси. Франция – могущественна и всемогуща, а, в сущности, ведь он есть Франция. Даже Англия, говорит он, составляет, в сущности, всего лишь принадлежность Франции, «другой остров Олерон для Франции». Так выходило по сущности, по наполеоновской сущности, и, однако, что же случилось в действительности: где я? Он не мог понять этой метаморфозы. Для него было непостижимо, каким образом действительность оказалась не соответствующей его программе: Франция – не всемогущей Францией, а он – не Францией. «Страшная иллюзия»: он должен был верить в то, чего, по его мнению, не существует! Его сосредоточенная, проницательная, решительная натура итальянца, некогда сильная и искренняя, погрузившись, так сказать, полураспустилась в мутной среде французского фанфаронства.

Люди оказались вовсе не расположенными к тому, чтобы их попирали ногами, связывали вместе и сколачивали, как он того хотел, для пьедестала Франции и Наполеона, – люди имели в виду совершенно другие цели! Удивление Наполеона было чрезмерно. Но увы, как помочь делу? Он шел своим путем, а природа – своим. Отказавшись раз от действительности, он очутился в безнадежной пустоте. Для него не было возврата. Ему оставалось уныло и печально погрузиться в эту пустую пучину, с чем редко примиряется человек, разбить свое великое сердце и умереть… Бедный Наполеон! Великое орудие, слишком рано заброшенное, раньше, чем оно стало негодным! Наш последний великий человек!

Да, последний в двояком смысле: на нем мы должны также покончить наши скитания по разным отдаленным местам и временам в поисках героев и изучении их. Делаю это с грустью, ибо подобное занятие доставляло мне наслаждение, хотя оно было сопряжено также и с немалым трудом.

Почитание героев – великий предмет, самый серьезный и самый обширный, какой я только знаю и который я обозначаю этими словами, не желая быть уж слишком серьезным. Почитание героев, по моему мнению, глубоко врезывается в тайну путей, которыми идет человечество в этом мире, и в тайну его самых жизненных интересов. И оно вполне заслуживает в настоящее время обстоятельного изучения и истолкования. Конечно, в шесть месяцев мы сделали бы гораздо больше в этом отношении, чем в шесть дней. Я обещал подготовить эту почву; но не знаю, успел ли

я даже в этом. Мне пришлось взрыть землю самым грубым образом, чтобы сделать хоть что-нибудь и проникнуть хотя бы немного в интересующий нас предмет. Признаюсь, я слишком часто испытывал своими отрывочными, несвязными, недостаточно мотивированными выражениями ваше терпение, доверчивость и снисходительность, о которых не стану распространяться в настоящее время. Люди образованные и избранные, мудрые и прекрасные, принадлежащие к лучшей части английского общества, приходили сюда и терпеливо выслушивали мои неотделанные, грубые речи. Преисполненный глубокого чувства, сердечно благодарю вас всех и говорю: благо да будет всем вам!

Примечания

[1] Речь идет о вышедшей в Лондоне в 1800 году книге «An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet, containing a Narrative of a Journey through Bootan and Part of Tibet» («Отчет о посольстве в Тибет ко двору Тесхо-ламы, содержащий повествование о путешествии через Бутан и часть Тибета»). Ее автор – капитан Сэмюэл Тернер, состоявший на службе в Ост-Индской компании. Книга сразу после ее выхода была переведена на французский и немецкий языки.

[2] В своей повести «Путь паломника» (1678) английский писатель Джон Беньян в аллегорической форме, исходя из пуританских представлений, изображает человеческую жизнь как поиски некоего «небесного града» (высшей правды) через преодоление разного рода искушений, соблазнов и опасностей.

[3] *Лейденские банки* – стеклянные банки, выложенные изнутри и снаружи оловянной фольгой, были первыми электрическими конденсаторами. Изобретены в 1745 году Э. Клейстом из Каммина и независимо от него П. Мушенбруком из Лейдена, которые обнаружили, что стеклянную посудину, выложенную изнутри и снаружи проводящим материалом, можно использовать для накопления и хранения электрического заряда.

[4] *Жан Поль* (настоящее имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763–1825) – знаменитый немецкий писатель, сентименталист и предшественник романтизма, автор сатирических сочинений, трудов по эстетике и публицистических статей. Преклонялся перед Жан-Жаком Руссо, поэтому взял псевдоним – офранцуженную версию собственных имен. Жану Полю принадлежит ставшее знаменитым выражение «мировая скорбь».

[5] *Канопус* – звезда первой величины (видна в Южном полушарии), по степени блеска вторая после Сириуса.

[6] *Скиния завета* (скиния откровения) – в Ветхом Завете святилище (в виде шатра), которое соорудил Моисей во время странствования по пустыне по требованию Бога как место его постоянного «присутствия» («святая святых»); в иудаизме «шехина» («пребывание») обозначает одно из имен Бога, олицетворяющее его присутствие в мире.

[7] *Новалис* (настоящее имя Фридрих фон Гарденберг) (1772–1801) – немецкий писатель, один из самых крупных представителей немецкого романтизма. Был неразрывно связан с иенским кружком романтиков.

[8] Könning, Canning – человек, который может или знает (ср. нем. kqnnen и англ. can – мочь). Древненорвежское konungr

(конунг) означает «военачальник».

[9] *Мартин Лютер* (1483–1546) – основоположник и вождь Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма (лютеранства), переводчик Библии на немецкий язык. Среди главных мотивов его богословия – спасение только верой.

[10] Имеется в виду биография известного английского писателя и ученого-лексикографа Сэмюэла Джонсона («Жизнь Сэмюэла Джонсона», 1791), написанная Джеймсом Босуэллом.

[11] О триумфальном возвращении Вольтера в Париж в феврале 1778 года см. подробнее: Томас Карлейль. Исторические и критические опыты. Вольтер.

[12] Речь идет о деле тулузского коммерсанта Жана Каласа, гугенота (протестанта), обвиненного в убийстве одного из своих сыновей из религиозных соображений (за якобы переход в католичество). Калас был казнен в 1762 году, его жена и другие сыновья сосланы, дочери заточены в монастырь. За дело Каласов горячо взялся Вольтер и добился признания их невиновности (в 1765). Он опубликовал ряд брошюр в защиту Каласов. Известен его памфлет «Трактат о веротерпимости в связи с гибелью Жана Каласа».

[13] *Один* – верховный бог (или главный ас) в скандинавской мифологии (в германской ему соответствует Водан, или Вотан). Первоначально это бог – покровитель воинских союзов (дружин) и бог-колдун. Изображался как хозяин Вальхаллы – царства мертвых для павших в бою смелых воинов.

[14] *Асгард* (*букв.* – «ограда асов») – в скандинавской мифологии небесное селение, крепость, где живут боги (асы). *Ётунхейм* (или Утгард) – холодная каменистая страна на окраине земли, где живут ётуны (великаны), древние исполины, появившиеся раньше богов и людей и представляющие стихийные, демонические природные силы.

[15] *Локи* – в скандинавской мифологии бог (ас), проявляющий хитрость и коварство, он принимает разные обличья, насмехается над другими богами, строит козни, выступает посредником между богами (асами) и великанами (ётунами).

[16] *Инеистые великаны* (хримтурсы) – прямые потомки первого великана и первого антропоморфного существа Имира, из тела которого затем произошел весь мир, участники космогонического процесса, как он изображен в скандинавской мифологии.

[17] *Донар* (ср. немецкое Donner – гром) – в германской мифологии бог-громовник, в скандинавской ему соответствует Тор.

[18] *Бальдр* – любимый сын Одина, образ страдающего божества. Ему предсказана смерть, и его всячески ограждают от

всего, что может стать орудием убийства. Тем не менее он погибает от рук слепого великана Хеда, и его смерть изображается эсхатологическим предвестием гибели богов и всего мира (Рагнарёк).

[19] Это слово образовано от названия страны исполинов *Бробдингнег,* в которую попадает Гулливер во второй части сатирического романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» (1726).

[20] *Иггдрасиль* (букв. – «конь Игга», или «конь Одина») – образ, выражающий универсальную концепцию мироустройства (пространственную модель мира) в скандинавской мифологии. Это гигантский ясень, пронизывающий все части мира – небо, землю, преисподнюю – и соединяющий их, выступает как основа мира, древо жизни, судьбы.

[21] *Хель* (Гела) – в скандинавской мифологии название подземного царства мертвых, расположенного под одним из корней дерева Иггдрасиль, и имя хозяйки этого царства. Оно противопоставлено небесному царству мертвых (Вальхалле), предназначенному для избранных.

[22] *Ульфила* (Вульфила) (ок. 311 – ок. 383) – «епископ готов», первый распространитель христианства среди германских племен вестготов, переводчик Библии на готский язык.

[23] *«Хеймскрингла»* (или «Круг земной») (ок. 1225–1230) автора «Младшей Эдды» Снорри Стурлусона – это свод саг о норвежских королях, начиная с легендарных времен и кончая 1177 годом.

[24] Имеются в виду, по всей вероятности, изыскания основателя германской филологии Якоба Гримма, нашедшие отражение в его обобщающем труде «Германская мифология» (1835). Этими же проблемами занимался его брат, германист Вильгельм Гримм, автор книг «О германских рунах» (1821), «Германская героическая сага» (1829).

[25] *«Опыт о языке»* (точнее, «О происхождении языков» – «Essay on the Origin of Languages») Адама Смита представляет собой дополнение ко 2-му изданию его книги «Теория нравственных чувств» («Theory of Moral Sentiments») (1759).

[26] *Пояс Венеры* – в греческой мифологии предназначенный для Зевса и переданный Венерой Гере пояс обольщения, в котором заключены любовь, желания, все, что способствует соблазну.

[27] *Атауальпа* (1500–1533) – последний правитель инков (верховный инка). Государство инков (Тауантинсуйу) занимало территорию современных Перу, Боливии, Эквадора, Северного Чили и Северо-Западной Аргентины и было завоевано испанцами в 1532–1536 годах. Атауальпа был казнен, хотя и уплатил

завоевателям огромный установленный ими выкуп.

[28] *Dios* — Бог (*исп.*).

[29] Эта мысль в несколько сокращенном виде передана в «Этике жизни», раздел III, 9.

[30] *Уильям Блейк* (1757–1827), английский поэт-романтик и художник-график, приверженец классического стиля эпохи Высокого Возрождения. Творчество Уильяма Блейка оказало значительное влияние на культуру последующих времен, особенно XX века.

Горацио Нельсон (1758–1805) – выдающийся английский флотоводец, вице-адмирал.

[31] *Роллон,* или Роберт (Рольф) (ок. 860 – ок. 933) – глава отряда скандинавов (норманнов), завоевавших северо-западную часть Франции, получившую затем название Нормандии. Он стал первым нормандским герцогом (911). Отсюда норманны осуществляли вторжение (набеги) на Англию. Все эти события явились началом нормандского завоевания Англии, официально завершившегося во второй половине XI века воцарением Вильгельма Завоевателя.

[32] *Аудумла* – в скандинавской мифологии корова, возникшая из заполнившего мировую бездну инея и выкормившая великана Имира, от которого затем произошел весь мир.

[33] *«Прорицание вельвы»* – так называется первая песнь «Старшей Эдды», в которой вельва (провидица) вспоминает о происхождении мира, событиях прошлого и предрекает гибель богов и всего мира, а также его возрождение, возникновение обновленного мира.

[34] *Сибиллы, сивиллы* (от имени прорицательницы Сибиллы, дочери Зевса) – в Древней Греции – пророчицы, прорицательницы, в экстазе предрекающие будущее. Чаще всего сибиллы предсказывали бедствия.

[35] *Томас Грей* (1716–1771) – выдающийся английский поэт и филолог, один из предшественников английского романтизма. Автор «Элегии, написанной на сельском кладбище», «Оды на смерть любимой кошки, утонувшей в вазе с золотыми рыбками» и других поэтических произведений.

[36] *Александр Поп* (Поуп) (1688–1744) – знаменитый английский поэт. Переводчик «Илиады» Гомера, реформатор английской поэзии, сатирик, автор стихотворного философского произведения «Опыт о человеке».

[37] Речь идет о герое английских народных сказок Джеке-Победителе Великанов, действовавшем в эпоху короля Артура. Его «орудия» – сапоги-скороходы, шапка-невидимка, шапка мудрости и богатырский меч.

[38] *Этин* (Етин) *из Ирландии.* – Возможно, в данном случае речь идет о сниженном образе (или его варианте) героя ирландского эпоса Кухулина (его первоначальное имя Сетанта или Сетинта).

[39] *Саксон Грамматик* (1140 – ок. 1208) – датский летописец-хронист, автор «Деяний датчан», главного источника по истории средневековой Дании.

[40] Слова ученого мудреца Просперо из «Бури» У. Шекспира (1611–1612).

[41] *Змей Мидгарда* – в скандинавской мифологии хтоническое чудовище, змей Ермунганд, живущий в мировом океане, окружающем населенную людьми землю Мидгард.

[42] *Рагнарёк* – в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, которая последует за битвой богов и вырвавшихся на свободу хтонических чудовищ.

[43] *Гете* И. В. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся. Кн. 2, гл. 1.

[44] *Эдуард Пококк* (1604–1691) – английский востоковед, исследователь ислама.

Гроций (де Гроот), *Гуго* (1583–1645) – голландский юрист, философ, социолог, политический деятель. Прославился тем, что в своих трудах поставил естественное право выше божественного закона.

[45] *Сэл* (Сэль) *Джордж* (ок. 1697–1736) – английский востоковед, арабист, переводчик Корана (1734).

[46] *Кааба* – главная святыня мусульман в Мекке, четырехугольный храм, в одном из углов которого замурован Черный камень, представляющий собой большого размера метеорит.

[47] *Диодор Сицилийский* (ок. 90–30 годов до н. э.) – древнегреческий историк родом из Агириума на Сицилии. Создатель «Исторической библиотеки» из 40 книг, разделенных на три части, сведения для которой собирал в течение 30 лет, путешествуя по разным странам. В Египте стал свидетелем расправы разъяренной толпы над римским гражданином, который случайно убил кошку – священное для египтян животное.

[48] *Сильвестр де Саси* (1758–1838) – известный французский ученый-востоковед, член Академии надписей (1792), профессор Школы восточных языков (с 1795), Коллеж де Франс (с 1806). Барон (с 1814). С 1823 директор Коллеж де Франс, с 1824 – Школы восточных языков.

[49] *Земзем* – почитаемый мусульманами священный колодец. Находится в Мекке, во дворе Каабы. Вода в колодце земзем по цвету похожа на молоко. Вода из колодца считается священной и

имеющей целебное действие. Предание связывает происхождение священного колодца с прародителем арабов Измаилом.

[50] *Кебла, или Киблах* – богато украшенный шкаф в мусульманской мечети, в котором хранится один или несколько экземпляров священной книги – Корана.

[51] *Несторий* – Константинопольский патриарх (V век), создавший учение о том, что Христос был «сыном человеческим», позднее воспринявшим божественную природу. По преданию, несторианский монах Сергий Бахира встретил погонщика верблюдов Мухаммеда, направлявшегося в Сирию с караваном. Сергий увидел в Мухаммеде грядущего пророка и рассказал ему о Ветхом и Новом Заветах. Церковь осудила учение Нестория как ересь.[52] *Ираклий* – византийский император (610–641), основатель правившей 100 лет династии – «династии Ираклия». Отразил нашествие аваров на Константинополь, захватил часть персидских территорий.

Хосров I Ануширван (букв. – «с бессмертной душой») – царь Персии в 531–579 гг. Пришел к власти после подавления маздакитского движения.

[53] *Прозелит* (от греч. «проселитос» – «обращенный», «нашедший свое место»). В переносном смысле – человек, горячо преданный вновь принятому учению, вере, убеждениям.

[54] Карлейль имеет в виду проблему единосущия (*греч.* homoousion) или подобия (*греч.* homoiousion) природы Христа природе Бога Отца (явно считая ее схоластической), которая активно обсуждалась в раннем христианстве.

[55] *Bona fide* – чистосердечно, искренне, добросовестно (*лат.*).

[56] *Хемфри Придо* (1648–1724), английский богослов-востоковед.

[57] *Гад* – в Ветхом Завете пророк-ясновидец при царе Давиде (1 Пар. 21:9 и сл.; 1 Цар. 22:5; 2 Пар. 24:13–14).

[58] Речь идет о походе в 630 году Магомета (Мухаммеда) (походе, не вызвавшем большого энтузиазма у многих его сторонников) с целью отразить предполагаемое наступление войск византийского императора Ираклия на Медину. Однако слухи о приближении византийцев оказались ложными, и Магомет ограничился тем, что взял аравийский город Табук, жители которого не оказали ему никакого сопротивления.

[59] *Гете* И. В. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся. Кн. 1, гл. 4.

[60] *Джереми* (Иеремия) *Бентам* (1748–1832) – английский социолог, юрист, один из крупнейших теоретиков политического либерализма, родоначальник одного из направлений в английской философии – утилитаризма.

[61] Имеется в виду главный принцип предложенной И. Бентамом этики утилитаризма – принцип полезности. Критерий морали, по Бентаму, это прежде всего «достижение пользы, выгоды, удовольствия».

[62] *Анри де Ла Тур д'Овернь*, виконт де Тюренн (1611–1675), известный под именем Тюренн – выдающийся французский полководец, главный маршал Франции (1660). Несмотря на высокие звания и должности, был скромен в одежде и поведении. Заботился о нуждах простых солдат, был новатором в области военного искусства.

[63] *Сэмюэл Джонсон* (1709–1784) – английский критик, ученый и поэт. Составитель первого толкового словаря английского языка, не потерявшего своего значения до нынешнего времени.

[64] *Джозеф Аддисон* (1672–1719) – английский поэт, сатирик, ученый, политик. Участвовал в издании журналов «Болтун» и «Зритель». Один из создателей жанра нравоописательского эссе, автор множества известных афоризмов.

[65] *Уайтчепел* – во времена Карлейля один из беднейших районов в Ист-Энде в Лондоне (к востоку от Сити), где расположены промышленность, портовое хозяйство.

[66] *Vales* – пророк (прорицатель), поэт (*лат.*).

[67] *Иммануил Герман Фихте* (1796–1879) – немецкий философ, сын Иоганна Готлиба Фихте, отличие от последнего называется обыкновенно Младшим. Разрабатывал теологические вопросы в духе христианства, вел полемику против пантеизма.

[68] Мф. 6:28–29.

[69] Портрет, приписываемый Джотто, это фреска в Палаццо дель Подеста (ныне Национальный музей Барджело) во Флоренции, на ней Данте изображен рядом с флорентийским писателем и ученым Брунетто Латини, которого он считал своим учителем. О встрече Данте с Латини как персонажем его «Божественной комедии» см. далее у Карлейля.

[70] *Chiaroscuro* – светотень (*ит.*).

[71] *Приор* (*лат.* – «первый», «старший») – титул настоятеля небольшого мужского католического монастыря или первого помощника аббата.

Подеста (ит.) – глава администрации, подестата, в средневековых итальянских городах-государствах. Слово происходит от латинского слова «потестас», которое означает «власть».

[72] Данте был одним из семи приоров Флоренции с 15 июня по 15 августа 1300 г. (до этого он также участвовал в административно-политической деятельности: состоял членом

«Совета ста», ведавшего финансовыми и другими проблемами города-республики).

[73] Речь идет о Кан Гранде (Кангранде I) делла Скала, правителе Вероны (1312–1329). О нем Данте говорит, не называя его по имени, в «Божественной комедии» («Рай», XVII, 76–91).

[74] *Злые Щели* (Malebolge) – глубокие рвы, расположенные в восьмом круге Ада у Данте, где находятся сводники и обольстители, льстецы, прорицатели, алхимики, мздоимцы, лицемеры, воры, зачинщики раздора, лжецы, клеветники и т. п.

[75] *Alti guai* – горестные вздохи (стенания) (*ит.*).

[76] *Иоганн Людвиг Тик* (1773–1853), немецкий поэт, прозаик и критик, историк английской литературы.

[77] *Сэмюэл Тейлор Колридж* (1772–1834) – английский поэт, философ, литературный критик. В начале своей деятельности сочувствовал республиканским идеям Французской революции, в течение жизни изменил свои взгляды, поддерживал монархизм, увлекся мистическим богословием. Колриджа часто называют «патриархом английского романтизма».

[78] *Canto fermo* – главная мелодия в контрапункте (*ит.*).

[79] *Terza rima* – третья рифма (*ит.*). «Божественная комедия» Данте написана терцинами, трехстрочными строфами с перекрещивающимися рифмами: средняя строка каждой терцины рифмуется с двумя крайними строками следующей.

[80] *Дит* – город, расположенный в пятом круге Ада у Данте. О железном и огненном городе демонов Дите писал в своей поэме «Энеида» Вергилий.

[81] *Публий,* или *Гай Корнелий, Тацит* (ок. 56 – ок. 117) – древнеримский историк. Автор трактата «О происхождении германцев и местоположении Германии». Главные произведения «История» в 14 книгах и «Анналы» в 16 книгах.

[82] Речь идет о сцене встречи Данте в шестом круге Ада с Кавальканте Кавальканти, когда на вопросы последнего о сыне Данте отвечает в прошедшем времени, из чего Кавальканте заключает, правда, неверно, что того уже нет в живых («был»).

[83] Эти слова из пятой песни «Ада» (100–102) могут быть правильно поняты лишь в контексте: «Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, // Prese costui della bella persona, // Che mi fu tolta; e il modo ancor m'offende» (*Dante Alighieri.* La Divina commedia. Milano, 1914. P. 47–48); в русском переводе М.Л. Лозинского: «Любовь сжигает нежные сердца, // И он пленился телом несравнимым, // Погубленным так страшно в час конца».

[84] *Aere bruno* – черный воздух (*ит.*).

[85] Возможно, следующая оборванная фраза из двадцатой песни «Чистилища» (127–129): «…Tremar lo monte; onde mi prese

un gelo…» (*Dante Alighieri.* La Divina commedia. P. 555); в русском переводе: «…Гора, как будто пасть хотела, // Затрепетала; стужа обдала // Мне… все тело».

[86] *Томас Льюси* (Люси) – согласно рассказам, передаваемым первыми биографами У. Шекспира, тот человек, из-за которого последний вынужден был (ок. 1586) покинуть Стратфорд. Шекспир вызвал негодование Льюси тем, что браконьерствовал (охотился на дичь) в его лесных угодьях, а затем в ответ на нападки написал на него едкую сатирическую песенку. Современные исследователи доказали, что хотя Льюси действительно существовал, но никакого лесного парка близ Стратфорда (в Чалкоте) у него в те годы не было.

[87] Персонажи комедии У. Шекспира «Много шума из ничего» (1598).

[88] См. *Гете* И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Кн. 4.

[89] *Вильгельм Август Шлегель* (1767–1845) – немецкий критик, ученый, поэт, переводчик. Перевел на немецкий язык 17 пьес Шекспира. Заложил основы шекспироведения в Германии. Переводил произведения Кальдерона, Данте и других итальянских, испанских и португальских поэтов.

[90] *Битва при Азенкуре* – сражение времен Столетней войны, происшедшее около селения Азенкур (Северная Франция) между французами и англичанами, одержавшими победу. Изображено в исторической хронике У. Шекспира «Генрих V» (1598–1599).

[91] *Disjecta membra* – разъятые члены (разъятые части) (*лат.*).

[92] *Тофет* – согласно Библии, культовое место в долине Еннома (иногда ее называют долиной Тофета), где в доизраильские времена, а некоторыми вероотступниками и в израильские приносились в жертву богу Молоху дети. В писаниях израильских пророков эта долина стала рассматриваться как преисподняя (отсюда слово «геенна») или место последнего, карающего суда.

[93] *Граф Саутгемптон* – один из друзей-покровителей Шекспира в начале его литературной деятельности. Шекспир посвятил Саутгемптону поэмы «Венера и Адонис» (1593) и «Лукреция» (1594).

[94] *Новая Голландия* – прежнее название Австралии.

[95] *Сэр Уолтер Рэли* (1552 или 1554–1618) – английский придворный, государственный деятель, авантюрист и поэт. Получил рыцарское звание при Елизавете I (1585) за пиратские нападения.

[96] *Томас Кранмер* (1489–1556) – деятель английской Реформации, архиепископ Кентерберийский. В 1534 году провозглашен парламентом главой англиканской церкви. При

Марии Тюдор, когда был восстановлен католицизм, Кранмер был арестован, объявлен еретиком и сожжен на костре.

[97] Описываемый Карлейлем эпизод относится ко времени Семилетней войны (1756–1763), когда прусская крепость Швайднитц (Швейдниц) в Силезии в 1761 году была приступом взята австрийскими и главным образом русскими войсками.

[98] *Гогстратен* — доминиканец, требовавший сожжения Мартина Лютера как еретика.

Иоганн Тетцель – доминиканец, с 1502 года вел торговлю индульгенциями в Германии. Подвергся резкой критике со стороны Лютера в 1517 году и удалился в монастырь в Лейпциге. Умер в 1519 году.

Иоганн Экк (1486–1543) – немецкий католический теолог, оппонент Мартина Лютера.

[99] *Роберт Беллармин* (1542–1621) – богослов-иезуит, полемист, кардинал и великий инквизитор католической Церкви, писатель и гуманист. Изложил учение католической Церкви искусно и систематически. Выступил как главный обвинитель на процессе Джордано Бруно (его подпись под смертным приговором стоит девятой), руководил первым процессом над Галилео Галилеем (1613–1616) и учением Коперника. В отношении Галилея был вынесен мягкий приговор, запрещавший пропагандировать его учение. Впоследствии Беллармин опровергал слухи об отречении Галилея от своих взглядов. В 1930 году канонизирован католической Церковью.

[100] *Санкюлотизм* – от французского sans-culotte (букв. – длинные штаны). Санкюлотами в отличие от аристократии и других обеспеченных слоев общества называли себя во времена Французской революции представители низших слоев, пролетарии. Карлейль употребляет этот термин в отрицательном смысле, поскольку осуждает всякое люмпенское движение, ведущее к разрушению духовных традиций и моральных ценностей.

[101] Семейство Лютеров нельзя было назвать «бедными рудокопами», так как отец Мартина владел несколькими шахтами.

[102] *Ян Гус* (1369/1371—1415) – проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации. Национальный герой Чехии. Приговорен на церковном соборе в Констанце к сожжению на костре (1415) вместе со своими трудами как еретик. Казнь Яна Гуса привела к началу войн в Чехии, названных «гуситскими» (1419–1434).

Иероним Пражский (ок. 1380–1416) – чешский ученый, оратор, друг и соратник Яна Гуса. Преподавал в университетах

Парижа, Гейдельберга, Кельна. В 1407 году прибыл в Прагу. Боролся с немецким засильем в Чехии. Выступал против продажи индульгенций. После ареста Яна Гуса поехал в Констанц, где был арестован. Подписал отречение от своих взглядов под давлением со стороны церковного собора. Но публично отказался от отречения, признав себя сторонником Яна Гуса. Был осужден как еретик, сожжен на костре.

[103] *In quarto* – в четвертую долю бумажного листа, т. е. большого формата (*лат.*).

[104] *Уильям Каупер* (1731–1800) – английский поэт, человек со сложной личной и творческой судьбой. Еще в ранние годы, получив юридическое образование, он не смог заниматься служебной деятельностью из-за приступов меланхолии, душевного помрачения. Как поэт он проявился в зрелые годы. Его лучшие стихотворения, сатиры, в которых он воспевает природу, уединенный образ жизни и обличает роскошь, распущенность, жажду богатства, почестей и славы, были написаны в 1780–1784 годах и сделали его имя известным лишь на склоне лет, отмеченных тяжким душевным заболеванием.

[105] *Патмос* – остров в Эгейском море, место ссылки во времена римских императоров. Согласно евангельской традиции, именно здесь Иоанн Богослов писал свой Апокалипсис («Откровение») (Откр. 1:9).

[106] *Лукас Кранах Старший* (1472–1553) – немецкий живописец и график эпохи Возрождения. Прославился как автор мастерски выполненных портретов, библейских и жанровых композиций. Соединил в своем творчестве готические традиции с художественными новациями Возрождения. Был сторонником идей Реформации и другом Мартина Лютера.

[107] *Густав II Адольф* (1594–1632) – король Швеции (1611–1632). Был одним из наиболее образованных правителей своего времени. Его правление значительно укрепило позиции Швеции в тогдашнем мире.

[108] *«Мейфлауэр»* – название судна, на борту которого в 1620 году на американское побережье прибыла одна из первых групп английских колонистов.

[109] *Neel D.* History of the Puritans. London, 1755; написана в 1732–1738 годах.

[110] Имеются в виду государства, основанные в Западном полушарии испанцами после открытия его Х. Колумбом.

[111] *«Вестминстерское вероисповедание»* – утвержденные в 1648 году Вестминстерской ассамблеей по церковным вопросам, созванной по распоряжению Долгого парламента, основные принципы учения пресвитериан, изложенные в виде полного и

краткого катехизиса. Все они выдержаны в духе кальвинизма: вера во всеобщую греховность и абсолютное предопределение жизни и поведения людей, республиканско-олигархическое устройство церкви, отмена епископата, упрощение культа. Пресвитерианская церковь, основанная учеником Ж. Кальвина Дж. Ноксом, и выдвинутые ею принципы, направленные против англиканской церкви, сыграли большую роль в революции XVII века в Англии.

112 *«Habeas Corpus»* (Habeas Corpus Act) – закон о неприкосновенности личности («Habeas Corpus» – его начальные слова), принятый английским парламентом в 1679 году. В нем устанавливались правила ареста обвиняемых и привлечения их к суду.

113 *Ковенантеры* – приверженцы ковенанта (союза или договора) для защиты пресвитерианства. Первый такой союз был заключен в 1557 году, чтобы укрепить позиции пресвитериан в Шотландии. Известны также ковенанты: от 1638 года, направленный против абсолютистской политики Стюартов, которая создавала угрозу независимости шотландской кальвинистской (пресвитерианской) церкви, и от 1643 года. Последний представлял собой договор (его полное название «Торжественная лига и ковенант»), заключенный между английским парламентом и шотландскими пресвитерианами. Согласно ему, в Англии официально разрешалась уже господствующая в Шотландии пресвитерианская церковь. Договор имел своей целью объединение сил (в том числе и военных) для борьбы с роялистами.

114 Речь идет о событиях 1688 года (т. наз. «славная революция»), когда из-за политики, ущемлявшей интересы буржуазии и «нового дворянства», оппозицией был смещен английский король Яков II Стюарт и власть была передана его зятю, штатгальтеру Голландии Вильгельму III Оранскому.

115 Имеется в виду книга «История религиозной реформы в Шотландии» Дж. Нокса, вышедшая после его смерти (*Knox J.* History of the Reformation in Scotland. London, 1587); полностью она вышла в Лондоне в 1664 г.

116 *Гильдебранд* (1015/1020—1085) – монашеское имя римского Папы Григория VII (с 1073). Значительно укрепил позиции католической Церкви. Стремился утвердить верховенство Пап над светскими государями, создать христианскую вселенскую империю – «Страну Бога», где управление князьями и народами осуществляет Папа, а государство сотрудничает с Церковью, при главенстве Папы. Боролся с императором Генрихом IV за право назначать

епископов.

[117] Fichte I. G. Ьber das Wesen des Gelehrten, 1794.

[118] Согласно Библии, первое явление Бога Моисею произошло в Мадианской земле (земле мадианитян), куда он вынужден был бежать от преследования египтян и откуда направился выполнять возложенную на него Богом миссию.

[119] *Джон Мильтон* (1608–1674) – английский поэт, политический деятель, мыслитель. Автор известных произведений «Потерянный рай», «Возвращенный рай», «Самсон-борец».

[120] Совет знати в Англии VI–XI веках.

[121] *Эдмунд Берк* (1729–1797) – английский мыслитель и политический деятель, идеолог консерватизма, автор памфлетов, направленных против Французской революции.

[122] Р. Бернс служил акцизным чиновником, об этом Карлейль говорит в других местах.

[123] *Уильям Питт Младший* (1759–1806) – английский государственный деятель, сторонник парламентской реформы. На протяжении почти 20 лет (с некоторыми перерывами) был премьер-министром (с 1783). Способствовал утверждению в Англии полной свободы печати.

[124] *Роберт Саути* (1774–1843) – английский поэт-романтик. В молодости увлекался идеями Французской революции.

[125] *Punctum saliens* – решающий пункт, отправная точка (*лат.*).

[126] *Caput mortuum* – мертвая голова (в переносном смысле: лишенное смысла и содержания) (*лат.*).

[127] Речь идет об орудии казни, изобретенном тираном Агригента (в Сицилии) Фаларисом (VI век до н. э.). Это медный бык, под которым разводили костер, а внутрь его помещали жертву. Стоны и крики истязаемых достигали ушей тирана в виде спокойного и благозвучного мычания быка.

[128] *Уильям Питт Старший,* граф Чатам (1708–1778) – премьер-министр Великобритании (1766–1768); министр иностранных дел (1756–1761, с перерывом). Лидер группировки вигов – сторонников колониальной экспансии.

[129] Согласно мифу, Геркулес умер, надев окровавленный хитон кентавра Несса.

[130] Это выражение восходит к следующим словам из «Опытов» французского философа М. Монтеня: «Мир считал чудом иных людей, в которых их жена или слуга ничего замечательного не видели».

[131] *Ultimus Romanorum* – последний римлянин (*лат.*).

[132] *Анна Луиза Жермена де Сталь* (1766–1817), французская писательница, дочь видного государственного деятеля Жана

Неккера. Известна как мадам де Сталь. В своих произведениях размышляла над тем, чем должна быть литература в новом республиканском обществе, и видела ее задачу в том, чтобы выражать новые общественные идеалы и защищать политическую и нравственную свободу.

Бернарден де Сен-Пьер (1737–1814), французский писатель, автор сентиментального романа «Поль и Виргиния». Разделял идеи Жан-Жака Руссо.

[133] *Fond gaillard* – здоровая сущность, основа (*фр.*).

[134] *Джон Гибсон Локхарт* (1794–1854) – английский писатель и историк литературы, зять Вальтера Скотта. Автор биографии Р. Бернса и воспоминаний о В. Скотте.

[135] Карлейль упоминает это имя в связи с событиями, ознаменовавшими начало Французской революции. На заседании Генеральных штатов 23 июня 1789 года, когда королевский церемониймейстер де Брезе (вернее, де Дрё-Брезе) приказал очистить зал, О. Мирабо произнес свою знаменитую речь, убедив присутствующих продолжить заседание и заявить о неприкосновенности членов парламента.

[136] *Босуэлл Джеймс* (1740–1795), английский (шотландский) писатель, автор биографии Сэмюэла Джонсона.

[137] См. прим. 4.

[138] См. прим. 121.

[139] *«Аих armes!»* – «К оружию!» («В ружье!») (*фр.*).

[140] *Камиль Демулен* (1760–1794) – деятель Французской революции, журналист; казнен за призывы к смягчению революционного террора и критику Робеспьера.

[141] *Бертольд Георг Нибур* (1776–1831) – выдающийся немецкий историк, владел двадцатью языками. Исследовал политическое развитие древних народов. Автор труда «Римская история». Совершил ряд значительных открытий источников античной истории.

[142] *Уильям Лод* (1573–1645), архиепископ Кентерберийский (с 1633), ближайший советник Карла I. Стремился к сближению с католиками, усилению роли Церкви как орудия абсолютной королевской власти. С началом Английской революции был обвинен в государственной измене, арестован и казнен по приговору суда Долгого парламента.

[143] *Джон Вильмот Рочестер,* граф (1647–1680) – английский аристократ, придворный Карла II и поэт.

[144] *Джон Элиот* (1592–1632) – английский политический деятель, член парламента, один из лидеров оппозиции Карлу I, заключен в тюрьму, где умер от чахотки.

Джон Хемпден (1594–1643) – английский политический

деятель, накануне Английской революции был одним из лидеров парламентской оппозиции.

Джон Рут Пим (1583/1584—1643) – английский политический деятель, один из лидеров парламентской оппозиции Карлу I. Один из основателей партийной системы власти в Англии. Способствовал организации систематической работы парламента.

Эдмунд Лодло (1617–1692) – английский политический деятель, один из руководителей парламентской армии, член чрезвычайного суда над Карлом I.

Джон Хатчинсон (1615–1664) – английский политический деятель, пуританин, член чрезвычайного суда над Карлом I.

Генри Вэн (1613–1662) – английский политический деятель, в парламенте один из лидеров оппозиции Карлу I. Ту же позицию занимал лидер республиканцев Генри Вэн-младший. Он говорил: «Протектор не был назначен должным образом»; и пока не будет доказано, что назначение Ричарда – непреложный факт, титул его будет подвергаться сомнению.

[145] *«Монархия человека»* («The Monarchic of Man») – политический трактат Джона Элиота, который он написал в тюрьме перед смертью (1632).

[146] Вустерская битва (битва при Вустере) произошла в 1651 году. В результате О. Кромвелем были разгромлены шотландские войска Карла II, пытавшиеся восстановить монархию.

[147] *Филип Уорвик,* лорд (1608–1683) – английский политический деятель, член парламента, выступал на стороне защитников королевской власти.

[148] Речь идет о болотах, которые в 1634 году пытался осушить граф Бедфорд, в результате чего крестьяне лишились общинных выгонов. Возникшие при этом распри попытался урегулировать О. Кромвель. Здесь впервые проявились его организаторские способности и общественный авторитет.

[149] Битва при Данбаре произошла в 1650 году и завершилась разгромом армией О. Кромвеля численно превосходящей ее шотландской армии под командованием Д. Лесли.

[150] *Кавалеры* – так назывались роялисты, сторонники короля Карла I в период революционных событий в Англии в середине XVII века.

[151] *«Железнобокие»* – так называлась конница О. Кромвеля.

[152] *Луций Кэри Фолкленд,* виконт (1610–1643) – английский политический деятель и писатель.

Уильям Чиллингуортс (1602–1643) – английский теолог, автор книги «Протестантская религия – верный путь к спасению».

Эдуард Хайд Кларендон, граф (1609–1674) – английский

политический деятель, лорд-канцлер Англии (1660–1667), один из лидеров партии сторонников короля.

[153] *Бернар Ле Бовье де Фонтенель* (1657–1757), французский писатель и ученый-популяризатор, просветитель. Боролся с предрассудками и пропагандировал учение Коперника.

[154] *Уайтхолл* – с первой половины XVI века до 1688 года (почти весь сгорел) – главный королевский дворец в центральной части Лондона, от названия которого получила наименование улица, где расположены важнейшие правительственные учреждения.

[155] Еккл. 3:7.

[156] *Марк Порций Катон Старший* (234–149 годы до н. э.) – римский политический деятель, консул (195 год до н. э.), писатель.

[157] *Эдуард Гиббон* (1737–1794) – английский историк.

[158] *Дэвид Юм* (1711–1776) – английский (шотландский) философ, историк, экономист, просветитель.

[159] Персонаж средневекового французского романа «Валентин и его лесной брат Орсон», похищенный в детстве, он долго жил в лесу среди медведей.

[160] *Гай Аврелий Валерий Диоклетиан* (245–313) – римский император (284–305). Провел реформы, которые обеспечили укрепление империи. Последние 8 лет жизни Диоклетиан провел в своем поместье. На уговоры сенаторов вернуться к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам вырастил, то не стали бы докучать со своими предложениями.

[161] *Джеймс Грэм Монтроз,* маркиз (1612–1650) – глава королевской партии в Шотландии. Командовал королевскими войсками во время гражданской войны в Шотландии. Потерпел поражение, был арестован и повешен по приговору шотландского парламента.

[162] *Долгий парламент* – парламент периода Английской революции XVII века. Он был созван Карлом I в 1640 году, затем стал законодательным органом революционных сил, учредивших после казни короля (1649) республику, в 1648–1653 годы после т. наз. Прайдовой чистки существовал в уменьшенном виде – «охвостья» Долгого парламента, в 1653 году разогнан О. Кромвелем, установившим затем (после роспуска Малого парламента) протекторат (режим личной власти). Был вновь созван в 1659 году и в следующем (1660) после реставрации Стюартов году распущен.

[163] *Прайдова чистка* – изгнание из Долгого парламента по приказу командования парламентской армии пресвитерианских

депутатов. Оно было осуществлено 6 декабря 1648 года полковником Т. Прайдом и означало политический переворот, так как у власти оказалось левое течение внутри пуритан – индепенденты, выступавшие за дальнейшее развитие революционных событий и крайние меры в отношении короля.

[164] *Уильям Годвин* (1756–1836) – английский писатель, историк и философ. Атеист, придерживался анархистских взглядов.

[165] *Конвокация нотаблей* (от *лат.* convocatio – созыв и notables – значительные, заметные) – в общем плане созыв представителей социальных верхов для обсуждения тех или иных вопросов. Во Франции в XIV–XVIII веках короли регулярно созывали собрание нотаблей. В данном случае речь идет о приглашении персонально Кромвелем 6 июня 1653 года после разгона Долгого парламента 128 человек из Англии, Ирландии и Шотландии для осуществления законодательных функций. Этот новый, весьма умеренный орган стали называть Бэрбонским парламентом.

[166] Бэрбонский парламент (или Малый парламент) существовал в июле – декабре 1653 г., назван по одному из активных его членов – П. Бэрбону (Barbon), прозванному Бэрбонзом (Barebones – букв. «кожа да кости»), и это прозвище перешло на название парламента (по-английски оно пишется так: Barebones Parliament). Был распущен О. Кромвелем, после чего и установлен протекторат последнего.

[167] *Ultra vires* – вне чьей-либо компетенции (*лат.*).

[168] *La carriere ouverte aux talents* – дорога, открытая талантам (*фр.*).

[169] *Леобенский мир* – договор, заключенный 18 апреля 1797 года между Наполеоном Бонапартом и австрийской стороной, в соответствии с которым австрийцы уступали французам некоторые итальянские и другие территории. Условия договора были существенно пересмотрены в Кампоформио 17 октября 1797 года.

[170] *Конкордат* – соглашение между Ватиканом (папа Пий VII) и Наполеоном Бонапартом, подписанное в 1801 году. Подобно конкордатам папского престола с другими государствами, он касался прав и привилегий католической Церкви в них, назначения епископов, дипломатических отношений с Ватиканом. Особое внимание было уделено проблемам, связанным с галликанизмом – движением среди французских католиков, выступающих за ограничение власти Папы и большую самостоятельность французского епископата в церковном управлении.

[171] *La vaccine de la religion* – религиозная прививка (*фр*.).

Исторические и критические опыты

Граф Калиостро

I

История оригинального человека достойна того, чтобы ее знать. Сила воли, вошедшая в плоть и кровь существа, созданного одинаково с нами, имеет в себе что-то привлекательное, так что мы сбегаемся со всех сторон, чтоб быть свидетелями всех ее проявлений. О всяком человеке, который избрал себе особый путь жизни, – куда бы, впрочем, этот путь ни привел, – и прошел его с успехом, мы всего более стараемся узнать, как он совершил этот путь и что ему на пути встретилось. Если бы даже этот человек был плутом первой величины, то и тогда мы не удержались бы от вопроса: как провел он свои плутни? Подобный вопрос необходим уже потому, что ни один человек не заслуживает такого отвращения и забвения, как полуплут, в котором не отличишь лжи от истины. Который между тем постоянно живет и действует наперекор правде и не имеет духа высказывать явную ложь, но проводит свою жизнь только в том, что, смешивая ложь с правдой, старается придать им характер вероятности.

Для наших трансцендентальных философов подобный человек представлялся нравственной химерой, и вследствие этой нравственной точки зрения они считали его невозможностью. Между тем сколько миллионов подобных существ видим мы в этом мире на всех ступенях общественного положения: в любом семействе, в парламенте, за прилавком и на кафедре!

Да избавит нас когда-нибудь милосердное небо от подавляющей массы подобных людей. Но за то доблестна и плодотворна для современников, для будущих поколений и для вечности деятельность смелого поборника истины. Из-за невозможности отыскать такого поборника в настоящее время мы невольно, хотя и с грустным чувством, обращаемся к жизни отъявленного лгуна. Когда ты, жалкий смертный, добиваешься репутации «порядочного человека» и стараешься «склеить» две несообразности, которые не держатся ни одной минуты, а постоянно требуют нового клея и нового труда, – неужели долгий опыт, время или случай не разъяснили тебе наконец, что истина обязана своим происхождением небу, а ложь – аду? Неужели ты не мог понять, что если ты не отбросишь ту или другую, вся твоя жизнь будет не что иное, как иллюзия, оптический обман, – одним словом, как будто ты вовсе не существуешь? На кой черт нужна тебе порядочность, экипажи и серебряные ложки, когда по

внутренним качествам ты самое жалкое существо в мире? Мне бы желалось, чтоб в тебе преобладал или холод, или жар.

Такой желанный суррогат, может быть, лучший в своем роде, представляет нам граф Александр Калиостро, ученик мудрого Альтотаса, воспитанник меккского шерифа, законный сын последнего короля Трапезундского, названный также «несчастным сыном природы». По профессии – целитель всех болезней, восстановитель молодости, друг бедных и беспомощных, гроссмейстер египетской ложи, заклинатель духов, великий кофта, пророк, фокусник и плут, лгун первой величины, знакомый со всеми тайнами лжи, – одним словом, царь лгунов.

Мендес-Пинто, барон Мюнхгаузен и другие немало прославились в этом искусстве, но в сравнении с Калиостро, говоря откровенно, они были только невинными лгунами. В совершеннейшем же виде этой породы, в существе, которое бы не только лгало на словах и на деле, но постоянно бы лгало в мыслях, словах и поступках и, так сказать, жило бы в стихии лжи и со дня своего рождения и до самой смерти ничего бы не делало, как только лгало, – чувствовался недостаток. Подобный идеал осуществил граф Калиостро, и если не вполне, то, может быть, настолько, насколько позволяли ограниченные человеческие способности. Ни в новейшем времени, ни в древней эпохе – хотя и в ней были свои Автолики и Аполлонии – не встречаем мы такую совершенную, «возвышенную» личность, проникнутую спокойствием, уверенностью в силе своего искусства, которому каждое сердце покорялось и внимало с благоговением и радостью.

«Единственный порок, который я знаю, – говорит некто, – это непоследовательность в наших действиях и поступках». Но всякий человек, ответим мы на это, должен быть судим по своим делам. Если в наши дни сатана сделался поэтическим героем, то отчего Калиостро, хоть на короткое время, не мог сделаться прозаическим героем? «Первый вопрос, – говорит один великий мудрец, – с которым я обращаюсь к каждому человеку, заключается в том, есть ли у него цель, которую он преследует всей душой и наконец достигает? Хороша или дурна его цель – это предмет моего другого вопроса».

Но как бы там ни было, а мы полагаем, что наука не может равнодушно смотреть на Калиостро. Как ни ложно многое в его жизни, а все-таки не подлежит сомнению, что он, составляя самую ничтожную спицу в колесе фортуны, умел достичь изумительной высоты: без средств, без денег, красоты и личной храбрости, даже без здравого смысла или другого какого-либо выдающегося качества, он долгое время ухитрялся щедро

удовлетворять потребностям и поддерживать пищеварение самых прожорливых тел и душ, не испытывая извне никакой помехи своим пяти чувствам, а внутри не встречая никакого препятствия своему шестому чувству – тщеславию.

Но несмотря на все вымышленные рассказы о Калиостро, все-таки приходилось верить, что эта блестящая карета, нагруженная сверху донизу багажом и которую лихая четверня мчала через весь мир, действительно существует, а шесть гайдуков, скакавших впереди кареты и извещавших заранее о его приезде, – живые люди. При этом из кошелька, как из рога изобилия, постоянно сыпались деньги, платились шоссейные сборы, счеты гостиниц и тысячи других неизбежных расходов такого роскошного поезда, и карета, после короткого отдыха, снова пускалась в путь.

Здесь возникает научный вопрос: отчего все это происходит? В этой удивительной машине, состоящей из лошадей, колес, багажа и гайдуков, сидит толстый, коренастый индивидуум, с тупым лицом, а подле него помещается Серафима двусмысленной репутации. Отчего происходит, что средств постоянно хватает и вся машина не убавляет хода и не останавливается, как локомотив, истощивший свое топливо, или не сваливается в ров. Подобный вопрос часто занимал автора этого очерка, но все усилия разрешить его долгое время были напрасны.

Этот же вопрос, как, вероятно, известно многим читателям, занимал не его одного. Великий Шиллер, на которого как поэтическая, так и научная сторона этого предмета произвела глубокое впечатление, уступая влиянию первой, придал ему новую форму и со свойственным ему пылом старался добиться «тайны» последней, не поддававшейся объяснению. Таким образом, увидел свет его неоконченный роман «Духовидец». Еще замечательнее драма Гете «Великий Кофта», которая, как он сам сообщил нам, избавила его от гнетущей мысли, беспокоившей даже его друзей, – до такой степени этот предмет некоторое время овладел им. Произведение его – это драматическая фабула, основанная на точном историческом изучении и исследовании, но в которой, впрочем, само изображение исторического факта является нам художественным, миниатюрным рисунком. Читатели старых газет, может быть, еще помнят египетские ложи в Лондоне, ослепительные бриллианты и ночные таинственные откровения графини Серафимы, мисс Фрей, г-на Придля и его товарищей, изречения лорда Мансфильда и лорда Джорджа Гордона, потому что Калиостро, облетев, подобно комете, бесконечные, неведомые пространства, два или три раза опускался в Лондон и здесь, в великом хаосе, творил недурные делишки.

Несравненный Калиостро! При виде твоего соблазнительного, размалеванного театра, в котором ты действовал и жил, у кого не чесалась рука приподнять занавес и взглянуть, как ты, окруженный театральным хламом, состоящим из картонных ваз, мишурных костюмов и ламп, заседал там своею собственной персоной посреди лжи и обмана. Боролся с миром и побеждал его и налагал на него контрибуцию, которую он тебе ежедневно выплачивал. Бесчисленное количество констеблей, шерифов, сбиров и алгвазилов всех европейских стран преследовали тебя по пятам с довольно враждебными намерениями, ты один противился им, потому что на всей земле у тебя не было ни одного друга. Что говорим мы – на всей земле? Во всей вселенной у тебя не было друга! Небо не знало тебя, оно не должно было тебя знать, – что же касается Вельзевула, то, сколько мы знаем, его дружба ценится невысоко.

Но к делу. Автор настоящего очерка с великим усердием изучал этот замечательный феномен, насколько ему позволяли обстоятельства, географическое положение и денежные средства, но, к сожалению, он должен признаться, что все его старания не имели утешительных результатов. Он перечел книги на различных языках, рылся в пыли старых журналов, с отвращением погружался в каждый лабиринт безнравственности и тупоумия и даже не побрезгал бы грязными «Записками Казановы», если б мог только добыть их, потому что большая часть английских библиотек на его требование отвечала отказом. Все его поиски походили на отвратительные поиски в каком-нибудь нравственно-зачумленном доме.

Количество уцелевших печатных сочинений – многие из них сожжены – теперь невелико, но тем не менее оно все-таки находится в резкой несоразмерности к количеству находящихся там указаний. За исключением газетных рассказов и догадок, все написанное об этом шарлатане заключается только в современных ему брошюрах, составленных им самим или его обманутыми и обманывавшими учениками, а потому лишенных всякой правды. Но и эти брошюры, которыми он надеялся морочить ослепленную публику, до такой степени туманны, сбивчивы, подчас глупы, что раздражают читателя и заставляют его догадываться только при тех или других условиях, что это ложь.

К этому роду принадлежит в особенности английская книга «Жизнь графа Калиостро», цена 3 шиллинга 6 пенсов, книга, которую, при всей ее пустоте и бессодержательности, можно бы было принять за призрак, если бы на ней не было напечатано: «Продана Т. Хукэмом, Бонд-стрит, 1787» и если б ее нельзя было

взять в руки, изорвать в клочки и растоптать ногами. По всему вероятию, ее написало какое-нибудь человеческое существо, что же касается отечества, профессии, характера или пола этого существа, – то все усилия воспроизвести их в своем воображении напрасны.

Таким же сказочным характером отличаются «Мемуары графа Калиостро», которые вместе с дополняющим их «Ходатайством» вышли из Бастилии во время жалкого процесса об ожерелье. К этому же разряду следует отнести и брошюру «Письмо графа Калиостро к англичанам», появившуюся вскоре после процесса в Лондоне. Нужно полагать, что по образцу этих двух сочинений и была сфабрикована ничего не говорящая, необъяснимая «Английская биография». Кроме этих сочинений, можно еще назвать «Историю Калиостро в воспоминаниях», вышедшую в двух изданиях в одном и том же 1786 году в Страсбурге и Париже. Это бездарный, грязный роман, чуждый истины или каких бы то ни было достоинств, но, к счастью, небольшого объема. Вот и все, что мы имеем. Но это только внешние украшения любительского театра, без свистков и аплодисментов тупоумной публики, а не закулисная обстановка, не уборная, которую бы нам желалось видеть.

Как на единственные, полудостоверные документы мы можем указать на памфлет «Разоблачение Калиостро в Варшаве в 1780 году» и на небольшой, сухо изложенный том, в котором содержится его жизнь, изданный в Риме и в 1791 году переведенный на французский язык. На этот-то перевод, озаглавленный «Жизнь Жозефа Бальзамо, известного под именем графа Калиостро», мы и будем преимущественно ссылаться. Но насколько достоверно или полудостоверно это сочинение, читатель уже может судить по тому обстоятельству, что оно прошло через руки римской инквизиции и все доказательства, на которых оно основано, хранятся в святом учреждении. К сожалению, и это инквизиционное сочинение, по-видимому, составлено каким-нибудь лгуном, рассказывающим ложную исповедь того человека, который не столько был лгуном, сколько олицетворенною ложью. В таком загадочном мраке и запутанности, несмотря на все исследования, находится это дело и по сие время.

Но тем не менее путем анализа и сравнения и здесь разоблачаются светлые стороны, на которые можно опереться и которые поддаются исследованию. Они в некотором роде освещают то, что до сих пор было покрыто мраком, так что предмет хотя и окружен туманом, но его можно уже разглядеть. Да разве в этой неясности и неопределенности и не заключается

известная степень преимущества и даже поэтического обаяния?

Многое, что оскорбляло бы глаз, теперь благоразумно держится в тени. И здесь судьба позаботилась о своем любимце. Нимб изумления, таинственности и неизвестности, окружающий еще до сих пор шарлатана из шарлатанов, весьма понятен и даже последователен, потому что, благодаря природе и искусству, это было его необходимой принадлежностью и обстановкой. Как прежде в жизни, так теперь в истории, проходит он перед нами, окутанный каким-то вихрем дыма, иногда освещаемым пламенем славы, которое опять сливается с преобладающим мраком, и все его действия и поступки принимают неясный образ.

«Строгая точность в исследовании, смелая фантазия в изложении, – вот, – говорит один из наших друзей, – два крыла, на которых парит или порхает история». Этим обоим крыльям мы смело вверяем наших читателей, или, скорее, последнему – крылу фантазии, так как оно больше первого, а мы боимся, что полет будет неровен. При этом слог должен быть по возможности достоин предмета.

Итак, знай, любезный читатель, что в 1743 году в городе Палермо, в Сицилии, семейство синьора Пьетро Бальзамо, мелочного торговца, было обрадовано рождением мальчика. Подобные события теперь сделались так часты, что, несмотря на весь их чудесный характер, они нисколько не возбуждают удивления. Старик Бальзамо на время отложил в сторону свой аршин и фальшивые весы, но все-таки встретил событие с полнейшим равнодушием. О пирушках, сплетнях и других торжественных церемониях, устраиваемых, согласно обычаю страны, в честь новорожденного, не осталось ни малейшей легенды, и мы только упомянем, что новый пришелец в мир после нескольких дней превратился из язычника в христианина или, как мы обыкновенно привыкли говорить, был окрещен и назван Джузеппе. Смелое воображение может его представить толстым, круглым, краснощеким мальчиком, весившим 9 фунтов, и если на это нет прямых доказательств, то можно удовлетвориться догадками и предположениями.

О периоде, когда его пеленали, когда у него прорезывались зубы и он кричал благим матом, история умалчивает, как умалчивают сицилийские летописи о той эпохе, когда он впервые натянул на себя панталоны. То самое большое «крыло фантазии», о котором мы упоминали, влечет его тем не менее из родного переулка на соседнюю улицу Казаро. Здесь упражняется он с некоторыми, теперь уже забытыми, своими современниками в играх разного рода, глазеет на проезжающие экипажи, драку собак, уличных музыкантов и т. п., при этом высматривая, нельзя

ли поживиться чем-нибудь съестным. Иногда он с научным усердием копается в водосточных желобах или, как маленький строитель, лепит из глины красивые пирожки. Так плавает он около берегов жизни, отыскивая удобного места, чтоб твердою ногою ступить на землю.

Вместе с употреблением языка в нем пробуждаются и первые признаки притворства и скрытности. Джузеппе, или Беппо, как начали его теперь называть, мог говорить правду, но только тогда, когда видел в том свою выгоду. Голоден он бывал, вероятно, нередко, хорошее пищеварение и скудная кладовая в родительском доме – два обстоятельства, так часто встречающиеся вместе в этом мире – заставляли его прибегать к изобретениям. Что же касается до так называемой морали и понятия о праве и неправде, то по всему видно, что подобное понятие – печальный плод человеческого грехопадения – было ему совершенно чуждо. Если когда-нибудь его слуха и касались слова заповеди «не укради», то он не верил им, а вследствие этого и не исполнял их.

Хотя он был живого и раздражительного характера и готов был вступить в драку, когда представлялась надежда на победу, но все-таки не обладал воинственным духом и вместо силы обыкновенно прибегал к хитрости. Может быть, он бы и жил в мире со всеми, если б нужда не заставляла его брать многое с боя. Но из всех его способностей в нем особенно развилось бесстыдство, важнейшее качество людей, рожденных для плутовства. Таким образом, маленький, коренастый Беппо, всюду шныряющий, участвующий во всевозможных проказах, приобретает некоторую репутацию. Соседние хозяйки, у которых он крадет жареные сосиски и бьет детей, называют его Верро Maldetto и пророчат ему смерть на виселице.

Мы уже прежде сказали, что кладовая родительского дома находилась в довольно скудном состоянии. Надежды семейства Беппо мало-помалу исчезали, потому что старик Бальзамо в это время пустился в путешествие, из которого никто не возвращается. Бедняга! Ему не удалось увидеть будущего величия своего Беппо, да он и не предчувствовал, что произвел на свет подобное чудо. Кто вообще из нас, при всех своих расчетах, может угадать, пользу или вред принесет ему самый незначительный поступок в жизни? Семя бросается на пашню времени, и оно растет здесь, чтоб на веки веков дать добрый или вредный плод.

Между тем Беппо поглядывал угрюмо, надувал свои толстые губы в то время, когда мать плакала, ел, по возможности, сладко и жирно и предоставлял делу идти своим порядком. Бедная вдова, носившая крайне несоответствующее имя Феличита,

поддерживая свое существование средствами, известными только бедным и покинутым людям, не могла равнодушно смотреть на своего нахального и прожорливого Беппо, чтоб не спросить его: решится ли он наконец посвятить себя какому-нибудь ремеслу? Дядя с материнской стороны, имевший деньги, – у него, как видно, были дяди не без влияния, – отдал его в семинарию святого Роха, чтоб он получил там хоть малейший лоск учености, но Беппо показалось в этой сфере не совсем удобно. Он несколько раз убегал из семинарии, за что его нещадно секли и тиранили, пока наконец, усвоив себе кой-какие скудные знания, снова не очутился на улице. Вдова, а за ней и дядя, снова пристают к нему с вопросом: «Беппо, решился ли ты заняться чем-нибудь?» И таким образом, ему невольно приходится вглядываться в мир, изучать положение людей и сравнивать с их стремлениями и способностями свои желания и качества. Но увы, его желания весьма разнообразны: он чувствует, как мы уже заметили, назойливый аппетит всякого рода, но преобладающая в нем способность – все-таки способность есть. Какое положение или призвание при этих условиях лучшее? Выбирай, пока есть время. Из всех земных положений положение джентльмена, по-видимому, всего более соответствует желаниям Беппо. Но откуда взять денег для этого? Так как их у него нет, то он решается посвятить себя духовному званию.

Взгляните, как благодаря заботам дяди этот толстый, нахальный тринадцатилетний мальчик едет вместе с почтенным генералом ордена Милосердных Братьев в соседний монастырь Картеджироне, чтоб вступить туда послушником. Он надевает рясу, отдается под надзор монастырского аптекаря, на реторты и тигли которого он с изумлением посматривает. Было ли это дело случая, что он неожиданно превратился в аптекарского помощника, был ли это его собственный выбор или игра судьбы? Но эта монастырская лаборатория, без его ведома, указала ему путь в жизни, вдохнула в него энергию – импульс, необходимый для каждого гения, даже для гения плута. Он сам сознается, что изучил здесь некоторые начала химии и медицины. И это весьма понятно, потому что здесь находились новые химические книги, старинные сочинения алхимиков, совершались дестилляции и сублимации, происходили устные и письменные препирательства относительно делания золота, выкапывания кладов, волшебных прутьев и т. п. Да, кроме того, разве у него не было кислот и лейденских банок под рукою?

Первые начала медико-химического волшебства, которым можно заниматься с помощью фосфора, Aqua tofana, ипекакуаны, настоя из шпанских мушек, были усвоены; их было достаточно,

чтобы, когда наступит час, снабдить необходимыми средствами всякого неумелого шарлатана, а не только шарлатана из шарлатанов. Здесь, в этой мало обещавшей обстановке, были положены начатки того изумительного искусства и громкой славы великого кофты, которая впоследствии облетела весь мир.

Но эта обстановка, как мы заметили, немного обещала. Беппо, обладая разнообразным аппетитом и способностью есть, достиг, возможно, лучшего положения, но вскоре оказалось, что это положение не оправдало его ожиданий. К своему удивлению, он заметил, что сам находится здесь в «мире условий» и если желает наслаждаться и удовлетворять свою вышеупомянутую способность, то должен прежде трудиться и терпеть. Он постоянно советуется с самим собою и не раз затронутый вопрос: «Нельзя ли всего этого достичь более легким способом, именно воровством» – снова шевелится в нем. Воровство, под которым, говоря вообще, следует понимать все искусство плутовства, так как что такое ложь, если не кража моего доверия, – воровство, повторяем мы, собственно составляет северо-западный проезд к наслаждению, потому что в то время, как обыкновенный мореплаватель с трудом объезжает жаркие береговые страны, чтоб достичь того или другого мыса «доброй надежды», ловкий вор – Парри, благодаря саням, запряженным собаками, успеет уже побывать там и воротиться. Несчастие заключается только в том, что на воровство нужен талант, а кораблекрушение на этом северо-западном пути еще ужаснее, нежели на каком-либо другом. Мы знаем, что Беппо «часто наказывали», – грустное испытание гения, потому что каждый гений, уже по своей природе, непременно нарушает спокойствие и комфорт всякого человека, а воровской гений делает это гораздо чаще. Читатель может себе представить, что вытерпела чувствительная кожа Беппо от власяницы и плети во время, когда его душу укрощали всенощным бдением и постами. Ни один глаз не глядит на него ласково, и всюду его гению представляются самые грубые препятствия. Впрочем, качество гения и заключается в том, что он развивается наперекор препятствиям и даже благодаря им, как пролагает себе путь зерно сквозь твердую почву и питается той же почвой, в которую его хотели схоронить.

Беппо, развиваясь физически и приобретая характер, борется с препятствиями и ни в каком случае не падает духом. На наказание, которым его подвергают, он может смотреть с некоторым гениальным презрением. За монастырскими стенами лежит Палермо, целый мир, но и здесь живет он, хотя и хуже, чем бы желал, и чувствует, что мир для него устрица, которую придется ему когда-нибудь открыть. Мы находим даже, что в

мальчике развились первые проблески озлобленного юмора – верный признак, как говорят, великого характера. Например, полюбуйтесь, как он ведет себя при одном обстоятельстве, мучительном для его огненного темперамента. В то время как монахи сидят за трапезой, неукротимый и прожорливый Беппо не имеет права не только обедать с ними, но даже подбирать крохи со стола. Он обязан стоя читать им жития святых. Смелый юноша покоряется неизбежному, читает скучное житие, но читает не то, что напечатано, а что подсказывает ему его собственный живой мозг: вместо имен святых, которые ему безразличны, он произносит имена известных «палермских блудниц», которые начинают уже интересовать его. Какая «глубокая, мировая ирония», как говорят немцы, заключается здесь! Взбешенные монахи, разумеется, бросают его на пол, угощают плетью, но к чему это приводит? Это доказывает только, что он перерос монастырскую дисциплину и сбросил ее с себя, как сбрасывает личинка кожу, чтоб превратиться в бабочку.

Джузеппе Бальзамо посылает последнее «прости» Картеджиронскому монастырю и, с согласия или без согласия милосердных братьев, снова возвращается к дяде в Палермо. Дядя, разумеется, спросил его, что он намерен теперь делать? После долгого молчания и колебания он наконец ответил, что желает заняться живописью. Отлично! Беппо добывает себе красок, кистей и посвящает себя изучению рисовального искусства. Но увы, если мы вспомним только о громадном аппетите Беппо, как скудны покажутся нам средства, добываемые этим искусством именно теперь, когда в нем пробуждаются новые желания, удовлетворить которые может только какое-нибудь другое, более выгодное искусство. Правда, он живет у дяди, кухня которого снабжает его кушаньями, но где взять карманных денег на другие и более ценные блюда? «Из моей головы», как говаривал император Иосиф.

Римский биограф, несмотря на все свое тупоумие, случайно бросил некоторый свет на положение Беппо в этот период, т. е. на его образ жизни и доходы. Относительно первого кажется, что он – употребляя при этом фразеологию биографа – держался самого «дурного общества», вел «беспутную жизнь», находился в тесных сношениях с мошенниками, игроками, падшими женщинами и усердно изучал теорию и практику бездельничества. Гений, сумевший вырваться из монастырских стен и преодолеть другие мелкие препятствия, стремится теперь к своему блеску. Затевается ли где плутня или драка, устраивается ли дикая оргия, там, наверное, можно встретить Беппо. Придет время, и он сделается мастером своего ремесла. Живопись свою он не

оставляет, да и не намерен оставлять, она ему необходима как занятие, которым он хочет щегольнуть перед дядею и соседями, даже обмануть самого себя, потому что, при всех своих гениальных наклонностях к бездельничеству, он не предчувствует, не смеет предчувствовать, что он рожден бездельником – всемирным бездельником.

Относительно же другого вопроса, т. е. его доходов, следует сказать, что они довольно разнообразны и постоянно увеличиваются. Кроме его доходов как живописца, которые, впрочем, заключались в одних только надеждах, главным источником, откуда он черпает деньги, служит ему сводничество. У него есть хорошенькая кузина, живущая с ним в одном доме, а у нее обожатель. Беппо делается их посредником, передает письма, не упускает случая намекнуть обожателю, что с дамой, любовь которой желают приобрести, нужно поступать великодушно: серьги, часы, ожерелье, порядочный куш денег – в подобных обстоятельствах делают чудеса. «И все эти предметы, – замечает его биограф, – он тайно присваивал себе». Затем он открывает новый источник доходов, начинает подделывать чужие подписи, сперва в небольшом размере, чтоб испытать неумелую руку, пробуя свое искусство на театральных билетах и подобных мелочах. Впрочем, это продолжается недолго, и он вскоре вступает на более широкое поприще. Постоянным упражнением он достигает совершенства в великом искусстве подделывать подписи и готов за известное вознаграждение показать свое искусство в малом или большом размере. Между его родственниками есть нотариус, доверием которого он и спешит воспользоваться. В шкафу этого нотариуса хранится завещание, и Беппо удается подделать в нем подписи в пользу некоего «религиозного общества». Несколько лет спустя подлог был обнаружен, но участия в нем Беппо уже невозможно было доказать. Биограф еще с удивлением или ужасом упоминает, как Беппо однажды подделал какому-то монаху отпускной билет и подписался под руку настоятеля. Отчего же и не сделать этого? Плут должен исполнять все, что от него требуют. Лев никогда не охотится за мышами, но разве он откажется проглотить ее, когда она сама вскочит к нему в пасть?

Таким образом, неутомимый Беппо открыл себе неистощимый рудник, откуда он весьма удобно может добывать средства на целую жизнь. Кроме того, он умеет предсказывать будущее, с помощью фосфора и других фокусничеств вызывать духов. Этим ремеслом, впрочем, он занимается как дилетант, потому что до сих пор еще серьезно не помышлял о профессии мага. И так, совершенствуясь во всех искусствах, живет и

благоденствует наш Бальзамо. Несмотря на свою глупую, пошлую физиономию, он хитер, как лиса, изворотлив и гибок, как угорь, и при этом нагл до крайности. Наградите его только долгою жизнью, и он, наверное, достигнет полнейшего совершенства в своей профессии. Кроме наглости Беппо, следует еще упомянуть о другом факте, что он в то время, по его собственным рассказам, участвовал во всех драках, происходивших на улице или в кабаке. Род и способ его занятий подвергал его этим опасностям, и он был слишком молод, чтоб научиться благоразумию. При всей своей толщине, он был наделен холерическим темпераментом – дюжий и здоровый парень, он всегда был готов подраться, когда можно было рассчитывать на победу, защищаясь при этом с яростью, как защищается рассвирепевшая свинья. Кроме того, ему случалось нападать и на «блюстителей правосудия», вырывать из их когтей несчастных жертв, но выражали ли подобные поступки общественный дух или просто собачью преданность – решить трудно. Может быть, и здесь были признаки юмора и «мировой иронии». В заключение мы должны сказать, что его обвиняют – хотя и бездоказательно – еще в «убийстве каноника».

В выговорах и замечаниях со стороны дяди недостатка не было. К этому присоединились еще угрозы и проклятия озлобленных соседей и слезы его бедной матери. Но все это он стряхивал с себя, как стряхивает лев со своей гривы капли росы. Полиция также не упускала его из виду и смотрела на него как на зачинщика всех плутней, осмелившегося, как мы заметили уже выше, оскорблять ее и нарушать ее права. Его нередко арестовывали, приводили в суд, но за недостатком улик и при заступничестве друзей отпускали, сделав ему строгий выговор. Но тем не менее два обстоятельства сделались теперь ясны: первое, что Беппо выпал жребий сделаться на всю жизнь бездельником, а второе, что подобное мелкое, так сказать, местное бездельничество долго продолжаться не может, а примет более широкие размеры. Посаженное дерево не стоит спокойно. Оно должно пройти все фазы своего развития, начиная с желудя до развесистого дуба, который затем будет срублен, пойдет на дрова и наконец превратится в золу. То же самое, хотя и невидимо для близоруких глаз, совершается со всеми поступками и действиями людей и с их судьбой. Беппо, полный жизненных сил, не может существовать в Палермо и довольствоваться живописью и мелкими плутнями, ему следует развиться в совершенного плута, а чтоб не быть здесь повешенным, приходится добывать хлеб в другом месте. Кто будет причиной подобного кризиса и развития, ни один человек не может сказать, хотя большинство людей и было уверено, что почин в этом деле

мог бы принадлежать полиции. Между тем случилось иначе: не пламенный меч правосудия, а заржавленный кинжал глуповатого человека заставил Беппо покинуть родину.

Однажды, как рисует смелая историческая фантазия, прогуливаясь с неким простаком, ювелиром Марано, за городом и проходя с ним мимо ущелья, Беппо со свойственной ему хитростью стал намекать, что здесь должен быть зарыт клад, в чем он удостоверился с помощью волшебного прута или какого-то другого талисмана. Клад этот, по его словам, нетрудно добыть, стоит только пустить в ход науку, немного денег, а главное – хранить это дело в тайне. Простак поддается увещаниям, дает Беппо «60 унций» и видит во время полнолуния, как подымается пламя (благодаря, разумеется, фосфору), дрожит волшебный прут, так что Марано повелительно требует, чтоб клад был вырыт. Наступает ночь, простак, дрожа от страха и восторга, приступает к делу. Обливаясь потом и кряхтя, он усердно работает заступом, меняясь с Беппо, как вдруг раздается пронзительный крик, гремят цепи, и шесть дьяволов бросаются на бедного Марано, избивают его немилосердно, не трогая, впрочем, Беппо, который и привел их сюда, нарядив в козью шкуру и вымазав им лица жженою пробкою.

Марано, несмотря на всю свою глупость, понял, в чем дело, и решился после случившейся катастрофы прибегнуть к помощи кинжала. Беппо, услыхав об этом намерении, начал смотреть другими глазами на свое палермское царство. Царство это показалось ему теперь истощенным, полным всевозможных скорбей и зол, увеличивающихся с каждым днем, – одним словом, близким к падению, недостойным, чтоб из-за него тебя закололи. Сказано – сделано, и Беппо покидает Палермо, чтобы, как увидим впоследствии, пуститься в дальний путь; или, как говорит его биограф, «он убежал из Палермо и прошел весь мир».

II

Прежде нежели приступим ко второму отделу истории Беппо, мы позволим себе несколько философских размышлений.

Бегство Беппо из Палермо, к которому мы теперь пришли, застает нас в европейской истории в эпоху Парижского мира. Старая феодальная Европа, в то время как Беппо пускается странствовать по всему миру, только что покончила одну из своих неистовых драк, или войн, и улеглась, чтоб вздремнуть и позевать, пока пройдут головная боль, синяки, слабость, одним словом – все дурные последствия побоища, потому что драка была довольно продолжительная: она тянулась семь лет. Но не

тяжелый сон после опьянения или драки предстоял феодальной Европе, после которого можно было снова напиться и драться, – нет, Европа заснула, чтоб умереть! Ее пробуждение последовало уже не при неистовой драке, но при серьезном восстании демократии, которая затянула свою боевую песнь на дальнем западе, чтобы потом победоносно обойти весь мир и древнюю, мертвую, феодальную Европу (после долгих страданий) возродить для новой, промышленной жизни.

Во время бегства Беппо, как мы уже сказали, Европа была погружена в последний лихорадочный сон перед смертью. Увы, с нами и нашими детьми предстоящих поколений будет еще хуже, если не подумают о том обстоятельстве, что при родильных муках, во всяком случае, присутствует надежда, тогда как при смертных муках всякая надежда исчезает.

Философское размышление, к которому мы хотели перейти, касается родственного нашему предмету громадного развития шарлатанства и бесконечного различия шарлатанов, которые, с нашим Беппо в одно время, в последнюю половину прошлого столетия, наводняли всю Европу. Это был собственно век обманщиков, плутов, энтузиастов, двойников, мечтателей, загадочных личностей, простых и сложных шарлатанов и шарлатанов всяких форм и красок. Какая масса магнетизеров, магиков, каббалистиков, сведенборгианцев, иллюминатов, распятых монахинь и беснующихся проходит перед нашими глазами! К этой группе инквизиционный биограф причисляет еще вампиров, розенкрейцеров, масонов и проч., и действительно, стоит только вспомнить Шрепфера, Калиостро, Казанову, Псальманазара, Грехема, шевалье д'Эона, Сен-Жермена, чтоб восстановить в своем воображении полную картину шарлатанства. Казалось, что все дома умалишенных распахнули свои двери или, скорее, как будто из мрачных недр ада выступило его страшное, безобразное население, чтобы принять участие в неистовой пляске бешеного маскарада. А между тем, если мы хорошенько вдумаемся в этот факт, то придем к убеждению, что он был вполне последователен. Разве не должны были перед европейским миром, в его последнем лихорадочном сне, носиться беспорядочные виденья, вызванные расстроенным воображением. Тихий, едва слышный стон в образе парламентских петиций, волнений по случаю дороговизны, возмущений папистов, атеистических сочинений и проч. вырывается из груди спящего больного, но не избавляет его от адских гостей и сатурналий, этих видений умирающего мозга. Разве в древнем римском мире, испускавшем дух под бременем неправедных дел, чтоб затем при более сильных страданиях возродиться вновь, не было разных

чародеев и чудотворцев вроде Аполлония Тианского – пока наконец не явился искупитель!

Но, оставив фигуральный язык, мы должны сознаться, что как гниющие вещества в физическом мире привлекают к себе нечистых тварей, так в нравственном мире социальное падение привлекает к себе шарлатанов. Стоит только взглянуть на это дело глазами логика или политикоэконома. В подобный период социального падения так называемое излишнее народонаселение, т. е. народонаселение, которое во время прежних руководителей индустрии – высших классов, Ricos Hombres[1] аристократии и проч. – не могло найти ни работы, ни вознаграждения, – увеличивается еще числом людей, не принадлежащих ни к какой профессии, тунеядцев и других невыразимых индивидуумов, награжденных прожорливым аппетитом, удовлетворять который нет никаких средств. При этом знаменательно то, что при увеличении народонаселения, самые вожди индустрии превращаются в вождей праздности, вследствие чего излишнее народонаселение управляется все хуже и хуже, потому что ему не указывают «что делать», а на труде-то и основывается всякое правление. Таким образом, свеча зажигается с обоих концов, и число загадочных существ растет с неимоверной быстротой. Каждый живущий, говорят, «должен жить» или хочет во что бы то ни стало жить – задача, которая с каждым днем делается трудной и заставляет прибегать к крайним средствам.

К общему политико-экономическому упадку в подобное время присоединяется еще обыкновенно крайний упадок нравственного принципа, и для многих эти оба явления так естественны, что они видят между ними необходимую, взаимную связь. Это мнение, по-видимому, совершенно справедливо, а между тем с тех пор, как известное религиозное чувство вышло из моды, сделали жалкую ошибку и, как говорят в обыденной жизни, «заложили лошадей сзади кареты». Политико-экономический благодетель рода человеческого, не обманывайся голыми софизмами! Народные бедствия, если ты хочешь знать, это «Божий суд», которому, во всяком случае, предшествовало народное преступление…

Народная бедность и народная безнравственность идут рука об руку, и постоянно увеличивающееся число невыразимых существ делается все голоднее и лживее. Не видим ли мы тут основных условий шарлатанства, – грубый материал и творческую силу, – оба в полной деятельности. Безнравственность – это грубый материал, голод – творческая сила, и чего нельзя сделать из этих двух двигателей? При этом нужно заметить, что безнравственность служит грубым материалом не только для

обманщиков, но и для большей части обманутых. В сердце, как бы оно ни было просто, заключается вернейший инстинкт ко всему доброму, непреодолимое отвращение ко всему дурному и ложному. Даже Мефистофель не может обмануть бедную, невинную Маргариту, потому что у него написано на лбу, что он никогда не любил ни одной живой души. Подобное испытывали многие заурядные обманщики, и нечто подобное случилось с нашим героем Беппо. Если мы теперь владеем такой массой грубого материала, чтоб из него не только создавать шарлатанов, но даже питать и занимать их, пока не истощится творческая сила голода, то невольно возникает вопрос: какой же мир должен был выйти из всего этого? Чудо заключается не в том, что в XVIII веке были подобные шарлатаны, а в том, почему не народилось их бесчисленное количество.

Во время одной Французской революции, пожар которой многое истребил, какая громадная масса шарлатанства могла бы гореть ее огнем, окруженная не смрадным удушливым дымом, а великолепным, грандиозным пламенем, далеко разбрасывающим свой свет. Граф Сен-Жермен, двадцать лет спустя, в том же Париже мог бы создать новое учение, учредить союз братства и равенства, сделаться народным оратором и явиться совершенно в другом виде. Шрепферу не нужно бы было застреливаться таким таинственным образом в Розентале, потому что он мог бы, как полугероический якобинец, торжественно принести себя в жертву на площади революции.

Дар шарлатана обыкновенно природный дар, но иногда он приобретается, а обстоятельства содействуют или препятствуют его развитию. Если бы Беппо Бальзамо родился в наше время англичанином, то он не вызывал бы духов, а добывал бы себе средства к жизни и прославился бы в звании какого-нибудь правительственного шпиона, ирландского ассоциалиста, фабриканта ваксы, издателя книг или ловкого редактора. При этом читатель не должен упускать из виду, что шарлатаны во всякое время состояли из явных и тайных шарлатанов. Последние, когда у них требуют объяснения, громко отрекаются от других и даже от самих себя. Отношение этих обоих родов, смотря по изменчивым стремлениям века, различны. Если век Беппо был веком явного шарлатанства, то в этом-то и заключалась, – что доказывают все французские революции, – главная причина его отличия от нашего времени, времени тайного шарлатанства. К сожалению, подобное время еще более заслуживает презрения, хотя уже и теперь можно заметить, что этому времени, с Божьей помощью, скоро будет произнесен смертный приговор.

Этим мы заканчиваем наши философские размышления относительно характера, причин, процветания, упадка и ожидаемого исчезновения шарлатанства, чтобы снова возвратиться к нашему рассказу.

Беппо летает, как ворон Ноева ковчега, над водяною пустынею развратной европейской жизни, высматривая, нет ли где падали. Не погибнет ли неопытный вороненок в этой громадной бездне, не поглотит ли его морское чудовище, не умрет ли он с голоду или не попадет ли, наконец, в пасть дьяволу? О, не бойтесь за него. Хотя его глаз обозревает только незначительную часть великого целого, но у него чутье удивительное: различные способности, как, например, подделываться под чужую руку, он уже развил в истинный талант, а хитростью и бесстыдством – этой необходимой принадлежностью шарлатана – владеет в совершенстве.

О деятельности и приключениях его после бегства из Палермо инквизиционный биограф не сообщает нам никаких сведений. Героя нашего мы встречаем уже в Мессине, куда он, вероятно, убежал, как в ближайший от его родины город. Отсюда, нужно полагать, он намеревался перебраться на континент. Что же касается до известного Альтотаса, с которым он здесь встретился и с которым отправился в Египет, где они из пеньки делали шелк, наживали большие деньги, затем отправились на Мальту, где учились в лаборатории и где наконец Альтотас умер, то не знаешь, что и сказать об этой истории. Биограф не упоминает, к какой нации принадлежал Альтотас: был ли он грек или испанец, да, к несчастью, не разрешает и самого вопроса – существовал ли когда-нибудь этот мудрец.

Было бы излишне повторять рассказ самого Беппо о его жизни за этот период. Он говорит то одно, то другое, смотря по тому, как того требовали обстоятельства, и вся история об Альтотасе и о пресловутом шелке так же правдоподобна, как правдоподобен рассказ о «трапезундском наследстве» и изречении мекского шерифа: «Прощай, несчастный сын природы». Повествование о том, как граф Калиостро был воспитателем какого-то принца, которого он во время путешествия обобрал и убил, и другие подобные басни еще более нелепы. Где вообще скитался Беппо, об этом может знать только один черт. По-видимому, далеко, разнообразно и трудно было его путешествие. На время показывается он в Неаполе и Калабрии – в этой школе праздности и плутовства, – куда, вероятно, ездил, чтоб получить «ученую степень». Относительно же занятий в мальтийской лаборатории и выделывания из пеньки шелка, мы считаем за лучшее вовсе не касаться этих предметов. Мы можем

только заметить, что Беппо погрузился в бездну мошенничества, откуда, как рыцарь из волшебного замка, вышел в полном вооружении.

Если мы вообразим, что Беппо уже носился с мыслью сделаться великим кофтою и ездить в Страсбурге в кардинальском экипаже, то жестоко ошибемся. В даре пророчества человеку отказано. Если б он мог предвидеть свою жизнь, а не надеяться на нее и путем нужды и свободной воли знакомиться с ее действительностью, то он был бы не человеком, а каким-нибудь другим, сверхъестественным существом. Ни один человек не видит далеко, большинство же людей не видит дальше своего носа. Из мрачной, невидимой будущности, которая, как говорит один шотландский юморист, лежит нечесаная, как масса шерсти, выпачканной дегтем, с трудом поддающейся прялке, вы прядете шероховатую, безобразную нить вашего существования. И наматываете ее до тех пор, пока на шпульке не оказывается уже места, причем вы зараз видите только одну незначительную частицу ее, между тем как, глядя на запутанную массу будущности, вы вскрикиваете: «Мы еще увидим!»

На первый достоверный факт относительно Беппо можно указать только тогда, когда его дюжая коренастая фигура показывается на Корсо и Кампо-Ваччино в Риме, когда он живет в гостинице «Солнца» и продает рисунки, сделанные пером. Собственно, это не рисунки, сделанные пером, а гравюры, которым Беппо, с помощью пера и туши, старается придать вид рисунков, сделанных пером. Этим он добывает себе скудные средства, из чего мы заключаем, что его дела в Неаполе и Калабрии и его пенька, превращенная в шелк, не много принесли ему пользы. Подделка рисунков не может служить источником богатства, а Беппо Бальзамо не Адонис, но, напротив, мужчина с мрачным видом, с бычьей шеей и с физиономией цепной собаки. Тем не менее «несчастный сын природы», стремясь заполучить руку и сердце прекрасной Лоренцы Феличиани, молоденькой римлянки, живущей недалеко от капеллы пилигримов, приобретает себе более счастья, чем можно было ожидать. Относительно звания и положения этой прекрасной Лоренцы все авторитетные показания между собой расходятся; одни утверждают, что она была дочь медника, но ошибочно переносят действие в Калабрию. Известно только одно, что она была хорошенькая, свеженькая девушка, и не только хорошенькая, но даже отличалась аристократическим личиком. Но так как в стране, где преобладает холостая жизнь, не всегда можно было рассчитывать на замужество, то она склонилась на просьбу подделывателя рисунков, который, вероятно, подкрепил свое

предложение цветистой риторикой. Она отдала ему свою руку, и родители ее отвели ему помещение в своем доме, пока не окажется, что нужно делать далее.

Два огня, говорит пословица, не могут гореть в одной и той же кухне, но здесь, может быть, были еще другие причины к несогласию. Дело с рисунками, если оно даже и хорошо шло, давало немного; кроме того, оно в настоящее время истощилось и было оставлено. Но с другой стороны, домашние надежды Беппо приобрели более веселый вид, потому что в прелестях своей Лоренцы он усмотрел, как говорят французы, «запутанную и неизмеримую будущность». Намек был сделан и с противоречием или без противоречия был понят и приведен в исполнение. Синьор и синьора Бальзамо покидают дом старого медника и пускаются в дальний путь, чтоб отыскивать и находить приключения.

Его биограф с научной точностью представляет целый список обманутых – итальянских графов, французских посланников, испанских герцогов, маркизов и бог знает кого, в различных частях известного мира, с показанием сумм, выманенных у каждого, и методы, которые употреблялись, чтоб их обмануть.

Но к чему нам заглядывать в этот объемистый каталог? Глупцов и доверчивых людей, благодаря которым откармливаются плуты и плутовки, во все времена было немалое количество; кроме того, факт, что одетое в платье животное, зовись оно маркизом или иначе как, в качестве глупца совершает невероятные вещи, не дает еще права заносить его в историю.

Поэтому мы и не коснемся его. Беппо, или, как теперь мы будем его называть, граф, появляется в Марселе, Венеции, Мадриде, Кадисе, Лиссабоне, Брюсселе, предпринимает ученое путешествие к Сен-Жермену в Вестфалию, посещает юг, север, восток, запад и всюду встречает невежество и глупость, снабженные в изобилии наличными деньгами, благодаря которым он и может действовать и жить.

Практика делает мастера, а Беппо был понятливый ученик. Всеми возможными средствами может он пробудить дремлющую фантазию и пустить пыль в глаза. Уже в Риме он отрастил усы и нарядился в мундир прусского полковника. В некоторых местах граф является действительным графом, маркизом Пеллегрини (недавно воротившимся из дальнего путешествия), графом Протеем – инкогнито, наконец, графом Александром Калиостро[2]. Нетрудно вообразить, с какой быстротой проносится он по свету, то ныряя вглубь, когда какая-нибудь рыба-меч правосудия бросается на него, то, приняв другой вид, выплывает в отдаленной стране, снабженный поддельными ручательствами

его респектабельности, но преимущественно снабженный самым лучшим ручательством, т. е. экипажем, запряженным четверней, лакеями и открытым кошельком, потому что граф Калиостро платит за все чистыми деньгами. В гостинице «Солнца», «Ангела», «Золотого льва» или «Зеленого гуся», во всемирно известном городе, побывали колеса его кареты; сон и изысканные блюда освежили его живое богатство, т. е. перл и душу его богатства, неизбежную Лоренцу, которая теперь называется уже не Лоренца, а графиня Серафима и смотрит совершенным ангелом. Богатые тунеядцы, которых так много на нашей земле, толкаются постоянно в подобных местах, рассматривают иностранный герб, заглядываются на хорошенькую даму, которая робко избегает этих взглядов и робко благодарит за приветствия, когда обожатели с намерением увидеть ее пробираются на лестницы и коридоры. Это длится не долго, и затем уже слышится, как один из этих богатых тунеядцев, напомаженный и завитый, но у которого недостает мозга, говорит другому: «Видели графиню?» – «Чудное создание!» – и таким образом начинается игра.

Но да не подумает сангвинический читатель, что счастье и удача постоянно сопровождают нашего героя. Путь бездельничества так же мало свободен от опасности и препятствий, как путь верной любви. Наступит время, когда графу Протею сорвут с плеч эполеты, укоротят фалды его мундира, и здравый смысл заставляет его остаться в Иерихоне, пока вырастет борода. Гарпии закона грязнят его торжественную обстановку, его свет горит слабо и, по-видимому, совершенно потухнет в этом зловонном чаду. Но он потухнет только для того, чтоб еще светлее разгореться. В Беппо Калиостро таится жизнь бездельника – топчите его в грязь, погрузите его в нее так глубоко, чтоб нельзя было его видеть, миазмы освежат его, он снова поднимется, совьет себе гнездо и приобретет силу и молодость. Посмотрите на него, например, в Палермо, после того как он уже видел многих людей и многие страны и как он оттуда снова ускользает. Зачем воротился он в Палермо? Может быть, чтоб своим новым величием удивить старых друзей или найти хотя временное убежище, когда континент сделается для него невыносим. Здесь его арестуют и по поводу старого глупого дела с ювелиром и подложным завещанием заключат в тюрьму.

«Способ, которым он избавился от тюрьмы, – говорит человек, слова которого так много проливают света на этот темный предмет[3], – достоин того, чтобы я о нем подробно рассказал. Сын одного сицилийского принца, крупного землевладельца и человека, занимавшего важную должность при неаполитанском дворе, соединял вместе со здоровым телом и необузданным

характером крайнюю надменность, которую каждый богатый и знатный человек без образования считает своим неотъемлемым достоянием.

Донна Лоренца сумела его пленить, и на ней ловкий маркиз Пеллегрини основал свою безопасность. Принц явно выказывал этой чете свое покровительство, но в какое бешенство пришел он, когда Бальзамо, по жалобе людей, пострадавших от его обмана, снова попал в тюрьму. Он прибегал к всевозможным средствам, чтобы его освободить, а так как это ему не удалось, то он грозил в передней президента отколотить адвоката противной стороны, если он не освободит сейчас же Бальзамо. Когда адвокат отказался исполнить его просьбу, то он ударил его, повалил на пол и принялся топтать ногами. На этот шум вышел сам президент и старался миром покончить это дело.

Президент, как слабый, зависимый человек, не осмелился наказать оскорбителя; противная сторона и адвокат были слишком малодушны, так что Бальзамо получил свободу, но каким образом она произошла и кто ее разрешил – об этом нет никакого указания в актах.

Так иногда случайный друг при дворе бывает гораздо полезнее пфеннига в кошельке! Маркиз Пеллегрини «немедленно выехал из Палермо и совершил различные путешествия, о которых автор приведенного очерка не сообщает подробных сведений». Также не сказано, далеко ли его сопровождал забияка-принц. Случалось также, что наш Калиостро не всегда ездил в экипажах, запряженных четверней. Иногда приходилось ему скакать верхом, только Серафима и ее простоватый поклонник, из которого она высасывала кровь, нежились на мягких подушках кареты. Иногда он доходил до крайности и путешествовал бог знает как. Есть сведения, что в 1772 году он был в Англии, но здесь он является уже не графом, а просто синьором Бальзамо, занимающимся расписыванием комнат, на что он обладал особым талантом. Правда ли, что он расписывал дачу некоего д-ра Бенемора, а так как он не расписал ее, но только вымазал, то и не получил никакой платы, а вместо нее ему навязали процесс с издержками? Если д-р Бенемор на этой земле оставил каких-нибудь наследников, то их следовало бы пригласить ответить на этот вопрос. Мы же прибавим только: если у молодого вечно была хорошенькая жена, то у старика Бенемора, напротив, безобразная дочь, и если одну вещь приложить к другой, то дело, по-видимому, было еще не так скверно. Не следует упускать из виду, что граф даже в дни своего величия не бывает праздным. У отцветших аристократок много потребностей, и граф не напрасно учился в монастырской лаборатории и не напрасно ездил к графу

Сен-Жермену в Вестфалию. Он с гордой снисходительностью наставляет себя просить удалить что-нибудь из своих сверхъестественных тайн, само собой, за известную благодарность. Kalydor Роланда неоценим, но что значит он против воды, придающей красоту, изобретенной графом Александром? Разве отцветшие аристократки не сочтут за величайшую честь уважать человека, который может уничтожать морщины и засохший желтый пергамент превратить в светлую, румяную кожу? И разве у подобных дам, – поможет ли вода или нет, – если хоть немного верить злословию, нет еще других потребностей? И эти потребности готов удовлетворить неутомимый Калиостро, но понятно, что за известную благодарность. Для отцветших аристократов у графа есть также средства. Он может добыть не только обворожительную супругу, но угостить их египетским вином (настой шпанских мушек ему, вероятно, знаком), которое, как драгоценный нектар, продается по каплям. Нетрудно вообразить, что можно сделать со средствами, поддерживающими красоту, и любовными напитками в кругу тех смертных, которые чуть ли не с материнской утробы предаются праздности, изучают соблазнительные танцы и с самых ранних лет мечтают о любви!

То уменьшаясь в блеске, то в полном сиянии или готовясь погаснуть, совершает свой путь непостоянная, но неутомимая звезда Калиостро. Граф и графиня деятельно исполняют свое призвание и расточают свою золотую молодость. И таким образом прожили бы счастливо, если б не было никаких законов против прелюбодеяния и мошенничества, не было бы ни неба, ни ада, ни скоротечности времени и страны безотрадного отчаяния, к которой они по закону судьбы с каждой минутой и с ужасающей правильностью постепенно приближаются.

Умный человек принимает меры против неизбежного. Граф Калиостро со своим любовным напитком, египетским вином, фосфорическим пламенем и волшебным прутом перешел в область сверхъестественного. Так как его супруга начинает увядать, а вместе с ней засыхает и опадает плодотворная промышленная ветвь, то нужно позаботиться, чтоб другие ветви пустили ростки. Случилось ли это в Англии во время его так называемого первого посещения в 1776 году, что он впервые вздумал выступить пророком, – неизвестно, мы знаем только, что он уже в то время начал упражняться в этом ремесле, вглядываясь при этом в английский национальный характер. Разнообразны вообще человеческие стремления, некоторые из них стараются всеми силами проникнуть в будущность, – у нас же, как у народа-торгаша, они, так сказать, сосредоточиваются в одном фокусе:

набивай свой карман! Ах, если б кто владел волшебным кошельком, в котором бы никогда не истощалось только что вычеканенное золото, и если б у кого-нибудь был напиток из «жидкого» золота, чтоб им можно бы было залить проклятую глотку скупости и корыстолюбия. Но кто, не желая попасть на виселицу, решится посвящать людей в тайну делания золота, если он не вполне уверен в них? Силен был всеобщий скептицизм, но еще сильнее всеобщая нужда и алчность. Граф Калиостро из своей квартиры в Уайткоумстрите подсмотрел тайну лотереи и посредством черной магии угадал счастливые номера. У него есть свой переводчик, свой португальский еврей, свой таинственный экс-иезуит, которых он, как щупальца, протягивает по всем кофейням, чтоб испытать человеческие души. Лорд Скотт (обманутый обманщик), мисс Фрей и другие могли бы рассказать, во что им обошлись эти счастливые номера, указанные Калиостро.

Внимательный читатель, вероятно, хочет знать, какого рода была жизнь Калиостро во время его пребывания в Англии. Нас подмывало подобное же любопытство, но, к несчастью, мы не могли его удовлетворить. Трудно доискаться даже постоянной квартиры Калиостро: то живет он некоторое время в Уайткоумстрит, то несколько дней в Уорвик-Корте, в Холборне и, наконец, на долгое время поселяется в тюрьме Кингс-Бенч. Но напрасно бы было ездить туда почитателям его гения и отыскивать следы этого великого человека. Калиостро исчез, и даже после усердных исследований невозможно отыскать ни малейших признаков его пребывания там. Он ушел, не оставив после себя ничего, кроме, может быть, каких-нибудь неизбежных частиц, которые хотя и не уничтожились, так как ничто в мире не уничтожается, но смешались с грязью и образовали новую почву на общей поверхности графств Миддлсекса и Суррея или водами Темзы были унесены в океан. А может быть, их газовые атомы носятся в атмосфере, достигают отдаленных углов земли и даже залетают за пределы солнечной системы! Так исчезает след и жилище человека, так чудесен материал, из которого он создан; его дом, даже дом домов – что мы называем телом, принадлежи оно хоть величайшему гению, испарится и улетучится тем же порядком.

Для нас, англичан, в особенности лестно то, что Калиостро, по крайней мере в нашей стране, нашел достойных себе противников. Коршун, пощипавший многих гусей и поживившийся их потрохами, заметил, что наш остров не весь заселен гусями, но в нем также обитают и орлы, клюв и когти которых еще острее его клюва и когтей. Приддл, Айлет, Сондерс, О'Релли могут выступить защитниками английского

национального характера. Они до такой степени позорили, преследовали и тиранили Калиостро, что он наконец даже с радостью укрылся в тюрьму Кингс-Бенч. Процесс его, собственно, окружен непроницаемым мраком, но в глазах беспристрастных людей он служит явным доказательством хищной наклонности нашего острова, так что иностранный шарлатан из шарлатанов со всеми своими чудесами встречает между английскими адвокатами противника, который его чуть не душит. Общипанный и избитый гусь пользуется первым случаем, малейшей свободой, чтоб взмахнуть крыльями и улететь в дальние страны.

Впрочем, кое-что хорошее он унес с собой – это посвящение в некоторые предварительные тайны масонства. Шарлатан из шарлатанов, при своем врожденном влечении к сверхъестественному и таинственному, уже давно обращал внимание на масонство, которое с его масками, передниками, шпагами, страшными и почтенными братьями, – что при блеске свечей имеет такой величественный вид, – представлялось ему выгодной стихией. Все люди выигрывают от союза с людьми; шарлатан пользуется этим так же, как и всякий другой; разве в словах: клянись хранить тайну – он не нашел действительного и верного талисмана! Таким образом, Калиостро решается посвятить себя масонству. Уже впоследствии стало известно, что ложа, в которую он и его Серафима – она также сделалась масонкой – получили доступ, в социальном отношении была довольно низкого разряда, члены которой состояли большей частью из пирожников и парикмахеров. Впрочем, нужно заметить, что это была единственная ложа, в которой говорили по-французски, и что человек и масон всегда остается человеком и масоном, если он даже печет пироги.

Но как бы то ни было, а вновь поступивший член, внесший пять гиней, быстро делается учеником, подмастерьем и мастером. Рассказ о том, как посредством веревки и блока, прикрепленных к потолку, его поднимали на воздух, причем, вероятно, тяжелая масса его тела причиняла ему болезненное ощущение. И затем, как в доказательство мужества и послушания, ему приказано было с завязанными глазами застрелиться (хотя незаряженным пистолетом), – рассказ этот, повторяем, мы должны принять за басню, которая, вероятно, рассчитывала обморочить уже без того наклонную к обману римскую инквизицию. Если нас спросят, в какой лондонской ложе все это происходило, то мы, к сожалению, должны ответить, что не знаем и, вероятно, никогда не узнаем. Известно только, что Калиостро был принят в масоны, сделался мастером и, раз переступив порог этого учреждения, сумел занять свой творческий гений. Он приобрел у одного книгопродавца

рукопись некоего Джорджа Кофтона, принадлежавшую известному ему, но нам совершенно незнакомому человеку, в которой дело шло о «египетском масонстве». Другими словами, Калиостро за пять гиней купил себе раздувательные мехи, которые хочет надувать, так как его интерес заключается в том, чтобы постоянно производить ветер. Относительно же тех ужасных мыльных пузырей, которые он пускал и которыми ловил мух, мы считаем себя обязанными как можно меньше говорить. Инквизиционный биограф, в своем смертном страхе перед постоянно носящимися перед его глазами еретическими, демократическими масонами, сильно углубляется в этот предмет, причем комментирует, объясняет и даже опровергает, потому что масонский орденский устав Калиостро, попавшийся ему в руки, раскрывает ему все тайны. Идею он считает собственностью Калиостро, сочинение же приписывает одному из его учеников, так как граф не владел необходимым для этого дарованием. И что же говорит нам ученик или, скорее, что сообщает нам инквизиционный биограф о том, что говорит ученик? Многое, но только вовсе неподходящее к делу.

Нужно заметить, что граф Калиостро, познакомившись посредством абсолютно неизвестного Джорджа Кофтона с египетским масонством, в котором было немалое количество «магии и суеверия», решается очистить его от этих вредных ингредиентов и сделать из него род Евангелия или обновителя мира, так сильно нуждавшегося в обновлении и улучшении. «Так как в нем не было никакой веры, – говорит биограф, – то его ничто не могло остановить».

«В своей системе, – продолжает тот же биограф, – он обещает своим приверженцам, посредством физического и нравственного возрождения, привести их к совершенству: посредством первого дать им возможность найти prima material, или философский камень, который утвердит в человеке силу цветущей юности и сделает его бессмертным. С помощью последнего, или нравственного возрождения, он обещает им добыть «Пентагон», который возвратит человеку утраченное грехопадением первобытное состояние невинности. Основатель верит, что египетское масонство было учреждено Енохом и Илиею, которые распространили его в различных частях света. В течение времени оно, впрочем, много утратило своей чистоты и блеска. Так, масонство мужчин постепенно переходило в простой фарс, а масонство женщин совершенно уничтожилось, потому что не имело даже никакого места в обыкновенном масонстве. Но в том-то и состояла заслуга великого кофты (так называются египетские верховные жрецы), что он восстановил масонство обоих полов в

прежнем блеске».

Относительно же великого вопроса, как добыть неоценимый «Пентагон», долженствующий уничтожить первородный грех, как для этой цели избрать уединенную гору, назвать ее Синаем и на ней построить храм, который наименовать Сионом, возвести двенадцать стен, в каждой стене по одному окну и по три этажа, из которых один назвать Араратом, затем подвергнуть себя и двенадцать мастеров, стоящих у каждого окна, всевозможным формальностям, постам и бичеваниям, – относительно этого великого вопроса мы решаемся умолчать. Также умолчим относительно еще более грандиозного процесса физического возрождения или восстановления молодости. Этого сокровища можно достичь только в таком случае, когда в продолжение двух недель будешь принимать очистительное, паровые ванны, подвергать себя голоду, кровопусканию до такой степени, что и самое восстановление молодости не стоит этого. Пропустив все внутренние церемонии и высокопарные проповеди о единстве, добродетели, мудрости, бессмертии и бог знает о чем, мы попросим читателя заглянуть с нами на таинственную внешнюю церемонию этого египетского масонства, как описывает нам ее инквизиционный биограф.

«Во всей этой церемонии, – говорит он, – встречается столько же богохульства, профанации, суеверия и идолопоклонства, как и в обыкновенном масонстве: призывание священных имен, коленопреклонения, поклонение достопочтенным братьям или главе ложи, клятвы неофитов, одежды, которые они должны возложить на себя, эмблемы Святой Троицы, луны, солнца, круга, квадрата и тысячи других богохульств и нелепостей, хорошо известных в настоящее время миру.

Мы упомянули выше о великом кофте. Под этим титулом подразумевают основателя или восстановителя египетского масонства. Калиостро подтвердил, не колеблясь, что под этим именем нужно разуметь его самого. По этой системе великий кофта сравнивается с высшим существом. Ему воздаются торжественные почести; он имеет власть над духами; его призывают при всех обстоятельствах; все происходит в силу его власти, которую он непосредственно получает от неба…

Из египетской общины не исключается ни одна религиозная община: еврею, кальвинисту, лютеранину также свободен туда доступ, как и католику, только бы они веровали в бытие Бога и бессмертие души. Члены, возведенные в звание мастеров, носят имена древних пророков, женщины называются именами сивилл.

«Гроссмейстерина дует в лицо неофитки, начиная со лба и до подбородка, и говорит: я даю тебе это дыхание, чтоб в тебе

возросла и жила истина, которою мы обладаем, и т. д.

Они выбирают мальчика или девочку, находящихся в состоянии невинности, называют их голубем и голубкою, а гроссмейстер передает им власть, которой владеет еще до грехопадения человека…»

Может быть, читатель желает взглянуть на деятельность голубя или голубки? Действовать они могут двояким образом: за занавесами или ширмами, разрисованными иероглифами, за которыми помещается стол с тремя свечами, или, как при настоящем случае, перед сосудом с водой. Если чудо не удается, то причина заключается в том, что голубь или голубка не находятся в состоянии невинности, вследствие чего относительно этого предмета следует иметь большую предосторожность. Сцена происходит в Митаве – здесь действует голубь, а не голубка, что, впрочем, нисколько не изменяет дела.

«Калиостро, – рассказывает инквизиционный биограф, – ввел в ложу маленького мальчика, сына тамошнего дворянина. Он поставил его на колени перед столом, на котором находился сосуд с чистой водой, а сзади сосуда горело несколько свеч. Затем, сделав заклинание, он положил руку на голову мальчика и просил у Бога милости для счастливого завершения этого дела, приказав мальчику пристально смотреть в сосуд. Через некоторое время мальчик вскрикнул и объявил, что видит что-то белое, затем начал прыгать, как беснующийся, и закричал: «Я вижу такого же ребенка, как я, – он похож на ангела». Присутствующие и сам Калиостро не могли произнести ни одного слова от душевного волнения. Сделав затем новое заклинание над ребенком, гроссмейстер положил ему свою руку на голову и молился вместе с ним. Мальчик снова заглянул в сосуд и сказал, что видит свою сестру, – она сходит в эту минуту с лестницы и обнимает одного из своих братьев. Это показалось всем невозможным, потому что означенный брат был в это время в нескольких сотнях миль от города, но Калиостро не потерял духа и предложил послать на дачу, где живет сестра, и узнать об этом».

Но чтоб покончить с египетским масонством, я предлагаю читателю в первый и последний раз заглянуть в книгу Люше «Essai sur les illumines». Так как все это дело есть не что иное, как химера, то оно и написано, так сказать, химерически. А между тем легковерный потомок Адама примет следующий рассказ, пожалуй, и за правду. Итак, слушайте, слушайте!

«Неофит темным коридором вводится в громадную залу, потолок, стены и пол которой обтянуты черным сукном, усеянным изображениями огненных языков и шипящих змей. Три лампы проливают слабый свет, и глаз распознает в мрачном

пространстве покрытые черным флером известные останки человеческой природы – груду скелетов, образующую посредине залы род алтаря, с обеих сторон которого навалены книги. В одних содержатся угрозы против клятвопреступников, в других изображена месть, которою невидимый дух преследует их.

Проходит восемь часов. Духи, в длинных саванах, неслышно проносятся по зале и исчезают, оставив по себе смрадный запах.

Неофит, окруженный мертвой тишиной, остается двадцать четыре часа в этой мрачной обстановке. Строгий пост истощил его телесные и душевные силы. Приготовленное с этой целью питье притупляет его чувства и наконец совершенно приводит его в изнеможение. У ног его поставлены три кубка, наполненные напитком зеленоватого цвета. Томясь жаждою, он подносит их к своим устам, но непреодолимый страх запрещает ему пить.

Наконец являются два человека, на которых он смотрит как на вестников смерти. Они надевают на бледный лоб неофита повязку, смоченную кровью, на которой изображены серебряные буквы и лик лоретской Богоматери. Затем ему дают в руки медное распятие в два дюйма длиною, а на шею надевают род амулета, завернутого в фиолетовое сукно. С него снимают платье, которое прислуживающие при этой церемонии братья кладут на костер, воздвигнутый на другом конце залы. Затем ему делают кровью кресты на голом теле. В этом страдальческом и унизительном положении он видит, как к нему большими шагами приближаются пять каких-то фигур, вооруженных мечами, в одеждах, источающих кровь. Лица их закрыты; разостлав на полу ковер, они опускаются на колени, молятся и стоят безмолвно, скрестив руки на груди и опустив глаза долу. Целый час проходит в этом мучительном положении; наконец, после утомительного испытания, раздается жалобный крик, костер вспыхивает, но распространяет только слабый свет, одежда неофита бросается в огонь и сжигается. Колоссальная, почти прозрачная фигура поднимается из середины костра. При виде ее все стоящие на коленях начинают трястись, на них невозможно смотреть без ужаса, – они изображают поразительную картину той ярости и борьбы, от которой смертный, подвергнутый внезапным мукам, должен погибнуть. Затем дрожащий голос раздается под сводами и произносит клятву… Мое перо отказывается писать, – я считаю почти преступлением повторять эти слова».

О, Люше, как ты ослеплен! Ты думаешь, что нет более надежды? Твой мозг превратился в гнилой блок; по-видимому, нет никакого спасения, кроме последнего прибежища всех погибших – водки! Бесчувственный мир может смеяться, но он должен также помнить, что сорок лет тому назад подобные вещи

были фактом, достойным сожаления, в головах многих людей.

Относительно же страшной клятвы следует заметить, что вся суть ее заключалась в следующем: «Почет и уважение «Aqua tofana», как верному, быстрому и необходимому средству очистить вселенную смертью или усыплением тех, которые стараются унизить истину или вырвать ее из наших рук». И катастрофа кончается тем, что бедный, полумертвый неофит сперва выкупается в крови, а затем, после некоторых коленопреклонений, – в воде; после того ему предложат обед из растительной пищи, вероятно, из картофеля.

Представьте себе этот бесконечный, искусно подготовленный конгломерат черепов, ширм, расписанных иероглифами, голубка в состоянии невинности, залу с таинственным и театральным освещением, волшебный фонарь Кирхера, огненные буквы, начертанные с помощью фосфора на стене, жалобный крик, длинную седую бороду, вынырнувшую из мрака, – всю эту обстановку, действующую на человеческое воображение и имеющую якобы связь с филантропией, бессмертием и прочим. И тогда вам будет понятно, как ловкий плут, сидящий тут же и усердно следящий за всем, извлекает из этого дикого хаоса чистые деньги. Таким грандиозным, выгодным хаосом начал окружать себя с этого времени наш архишарлатан и всюду пользоваться успехом. Прибыв в какой-нибудь город, он сейчас же приобретает доверенность тамошнего ордена и не постепенно, как прежде, а в одну ночь знакомится в великой ложе со всеми местными и приезжими глупцами. Сидя в раззолоченной масонской зале, хищник может видеть все стадо в одном загоне, которое приветливо ластится к нему и лижет руку, собирающуюся выцедить из него кровь.

Победоносный Беппо! Гений изумления излил на него всю свою славу; его чело окружено ореолом, и в самой походке его замечается что-то сверхъестественное. Его встречают криками восторга или благоговейным молчанием; в раззолоченных залах, под стальным сводом скрещенных шпаг, встречают его масоны; он восседает на кресле мастера, говорит бесконечные, высокопарные речи о масонстве, нравственности, универсальной науке и божестве с «возвышенностью, восторгом и умилением».

А заручившись доверием, можно приняться и за устройство египетских лож, и если у людей есть деньги, то их можно посвятить и в сокровенные тайны «Пентагона», который, как известно, добывается в отдаленных странах мира и стоит недешево. Другие его продукты, как-то: египетское вино, вода, возвращающая молодость и красоту, – также успешно сбываются и даже поднимаются в цене. Пресыщенный жизнью, богатый

тунеядец, вероятно, не упускает случая между прочими интригами завести интригу и с целомудренной Дианой, верховной жрицей и графиней Серафимой, а древняя, отцветшая, но многолюбящая вдова с умилением посматривает на рыцаря – Калиостро, владеющего сверхъестественными силами и на которого устремлены взоры целой Европы. Хитрая лиса набивает карман и при этом сумеет показать вид, что презирает деньги.

Нам, много размышлявшим об этом деле, казалось странным, почему граф Калиостро после бесконечных речей, произнесенных им, не был выброшен своими слушателями за дверь? Человек этот не мог говорить, а болтал какой-то вздор, не имевший никакого смысла. Он не умел порядком выразить ни одной мысли, он даже не владел языком. Его сицилийский выговор и составленный из разных диалектов французский язык, на котором обыкновенно объясняются «европейские чичероне», был непонятен для смертного, это было какое-то смешение языков, напоминавшее столпотворение Вавилонское. Не будучи в состоянии выразить ни одной мысли, он издавал какие-то дикие звуки, не имевшие ничего общего с разумною и толковою речью. Когда ему случалось приступать к самому простому рассказу, поток его речи внезапно обрывался и затем не походил уже на поток, а на какое-то громадное, бесконечное болото. Вот один из образчиков его красноречия:

«Я верю и желаю верить, что все почитающие своих родителей и всевластного Папу пользуются благословением Божьим. Так и мои действия и поступки совершались согласно Божьему велению и в силу власти, дарованной мне свыше и служащей во благо св. Церкви. Я хочу привести доказательства всему тому, что я делал и говорил, не только физически, но и нравственно, причем всякий увидит, что так как я служил по воле Бога, то он дал мне оружие побороть ад, потому что я не знаю других врагов, кроме тех, которые находятся в аду. Если же мои действия неправедны, то меня накажет св. отец; в противном случае – он меня наградит, и если он сегодня вечером получит все мои ответы, то я могу сказать всем моим верующим и неверующим братьям, что завтра же я получу свободу».

Когда у него потребовали этих доказательств, он продолжал:

«В доказательство того, что Бог избрал меня апостолом, защитником и распространителем веры, я должен сказать, что так как святая Церковь уже возвестила чрез своих пастырей, что католическая религия есть настоящая религия, то и я действовал согласно учению этих пастырей. И я повторяю, что все мои действия и поступки праведны, божественность же египетского ордена подтвердили пастыри, так что св. отцу остается его только

санкционировать». Каким образом, ради самого неба, мог подобный индейский петух говорить с умилением?

А между тем на это дело можно взглянуть двояким образом. Во-первых, нужно иметь в виду различие между обыкновенной речью и речью публичной, а во-вторых – присутствие известной смелости, которую нередко называют также бесстыдством.

Не выпадала ли тебе горькая доля, любезный читатель, присутствовать когда-либо на митинге, созванном с какой-нибудь общественной целью? Вероятно, ты видел, как длинноухий толстяк, по собственному побуждению или приятной необходимости, вставал с места и давал своему голосу полную волю. Ты хорошо знал, что во всем его ослином мозгу нет, не было, да и не будет никогда ни малейшей идеи, но ты все-таки напрягал внимание. Когда в начале его речи еще стоит какой-то чад и ты не можешь уловить ничего, даже бессмыслицы, то это к счастью, потому что обаяние оратора исчезло, и он может бесполезно препираться, сколько ему угодно. Общих мест под рукою много: «любовь к труду», «нуждающиеся миллионы», «трон и алтарь», «божественный дар песнопения» или что бы там ни было. Одни эти названия перенесли уже слушателей в стихию «общих мест». Но вдруг его речь изменяется, делается пламенной, а публика, подогретая перед этим яствами и крепкими напитками, изъявляет свое сочувствие неистовыми криками и аплодисментами, так что глупцу, одаренному зычным голосом, остается только держаться гладкого, параллельного пути, параллельного с истиной, но, ради Бога, не приходить с ней в соприкосновение. И поверьте, что ни одно препятствие не встретится ему на этом пути и он победителем выйдет из стихии общих мест.

Он будет походить на осла, которого головою вниз бросили в воду. Вначале вода грозит его поглотить, но вскоре он, к своему удивлению, видит, что может плыть, что в нем есть способность держаться на воде. Единственное условие неизбежно: смелость или, как обыкновенно называют, бесстыдство. Наш осел должен быть предоставлен водяной стихии, он должен смело и мужественно вытянуть свои четыре ноги, и затем уж он не захлебнется и не утонет, а с триумфом и к общему удивлению зрителей поплывет вперед. Благополучно добравшись до противоположного берега, он стряхнет со своей грубой шкуры брызги воды, подивится своему таланту, о котором прежде не имел никакого понятия, и весело пошевелит своими длинными ушами.

Так и с публичным оратором. Калиостро, каким мы знаем его исстари, умел при случае умиляться и выказывать напускной жар,

при этом он был говорлив, а в смелости, обыкновенно называемой бесстыдством, не встречал себе соперника. Общие места масонских лож он изучил и усвоил вскоре, а напыщенные фразы и напускной жар, имея под рукою возбуждающий предмет, составляют, как известно, единственное дарование публичного оратора – в глазах глупцов.

Здесь мы припоминаем еще другое обстоятельство, которое если справедливо, то имеет, может быть, также некоторое значение. В юные годы Беппо Бальзамо добивался, под всевозможными предлогами, достать клочок ваты, напитанной мирром. Неверующим по убеждению неверующий Беппо быть не мог, но был им скорее по глупости или нравственной распущенности. Разве на дне его хаотической натуры не могло лежать мускусное зернышко действительного суеверия? Удивительно, как зернышко веры или суеверия пропитывает и насыщает своим запахом весь внутренний мир шарлатана, так что каждая его фибра отзывается мускусом. Ни один шарлатан не в состоянии так убедить, как тот, который насквозь проникнут убеждением. И так удивительно уживаются в шарлатане вера, обман и самообман, что тот может быть назван лучшим шарлатаном, у которого мускусное зернышко первой проникает большую массу последних.

Да разве в Калиостро не заключалась способность подделываться подо все, что есть в человеке лучшего и дорогого? Шумные овации, восторг многочисленных слушателей опьяняют его; ничтожество практики воодушевляет его на громкую похвалу теории, а «филантропия», «божественная наука», «беспредельность неизвестных миров» и «возвышенные ощущения сердца» вызывают слезы у чувствительных ослов. Никто не обращает внимания, как скудны в его речах даже общие места, – благо он волнует и возбуждает всех. Так, если положить несколько крупной дроби в сухой пузырь и приняться трясти его, то он наделает столько шуму, что, пожалуй, примешь этот шум за грохот пушек на поле сражения.

Такого же рода и лесть Калиостро, чарующая все верующие души. Не золотыми, а томпаковыми можно бы было назвать его уста, – впрочем, в наш бронзовый век и этот металл годится в дело.

В целом деятельность Калиостро заключалась в стихии чудесного, сверхъестественного. Истинный человек, художник он или ремесленник, трудится в бесконечности известного, шарлатан же в бесконечности неизвестного. И в какой быстрой прогрессии возвышается и возвеличивается он, лишь только заметят его! «Твое имя знаменито, – говорит пословица, – и ты

можешь спокойно спать». Нимб славы и сверхъестественного изумления окружает Калиостро и морочит глаза публики. Немногие мыслящие люди, разгадавшие его, но оглушенные всеобщим шумом, презрительно молчат и возлагают все на величайшее целебное средство – время.

Между тем чародей идет своей дорогой, неистощимые материалы для обмана: жадность, невежество и в особенности животные наклонности, представляющиеся в Европе самым лакомым блюдом для обмана, – все это испробовано и предано брожению для его пользы. Он мчится подобно комете; ядро его обхватывает огромными радиусами каждый город и провинцию, над которыми он пролетает; его длинный хвост, состоящий из любопытных и изумленных глупцов, простирается до самых отдаленных стран. Добряк Лафатер в своих швейцарских горах отзывается о нем: «Таких людей, как Калиостро, немного, но я все-таки ему не верю. О, если б он был прост сердцем и чист, как ребенок; если б у него было чувство к евангельской простоте и к величию Господа! Кто был бы выше его? Калиостро часто говорит неправду, обещает, но не держит своего обещания. Но во всяком случае, действия его я не считаю за обман, хотя они вовсе не то, за что он их выдает». Если Лафатер мог говорить о Калиостро таким образом, то что должны были говорить о нем другие!

Посреди шумных оваций, всюду вызывая духов и превращая в золото неблагородные металлы (впрочем, для тех, которые могли снабжать его для этого деньгами), наш шарлатан проехал Саксонию. В Лейпциге он борется со своим товарищем по ремеслу бедным Шрепфером и уничтожает его. Из восточной Пруссии он пробирается в Польшу и затем весною 1780 года является в Петербург. Здесь разбивает он свою палатку и торжественно поднимает флаг. У масонских лож длинные уши; своими чудодейственными снадобьями он снабжает всех, оделяет больных лекарствами, пускает в ход свою небесную Серафиму, и все сулит ему полнейший успех. Но лейб-медик императрицы Монсе (родом шотландец) подвергает исследованию чародейство Калиостро, признает все его снадобья ничтожными, негодными даже для собак, и бедному графу приказывают немедленно выехать из Петербурга. И счастлив он, что так скоро убрался, потому что вслед за ним является прусский посланник, обвиняющий его в незаконном ношении прусского мундира в Риме, а случившийся тут испанский посол взваливает на него еще большее преступление, именно сбыт фальшивых векселей в Кадисе. Но он успел уже скрыться за границу, и теперь – жалуйся на него кто хочет.

В Курляндии и Польше ожидают его великие дела, но при

этом и две небольшие неудачи. Знаменитая фрау фон дер Реке, «прекрасная душа», как выражаются немцы, тогда еще юная сердцем и неопытная, опечаленная смертью своих друзей, старается узнать от всемирного заклинателя духов о тайнах того невидимого мира, на который постоянно устремлен ее жаждущий взор. Но галиматья шарлатана не могла удовлетворить честной души этой женщины, она разгадала его и вывела на чистую воду в своей книге.

Таким образом, неудачный опыт Мефистофеля с Маргаритой возобновился здесь для Калиостро. В Варшаве, где он проповедует о египетском масонстве, медицинской философии и невежестве врачей, встречает его также неудача. Некий граф М* сомневается в его чудодейственной силе и публикует свои сомнения в брошюре «Разоблачение Калиостро». Шарлатан, принятый с триумфом в городе, с избранным числом верующих, между которыми находится и неверующий граф, отправляется в имение одного магната, чтоб там делать золото, а может быть, приготовить и «Пентагон». «Всю ночь перед отъездом из Варшавы наш дорогой учитель, – говорили его помощники, – беседовал с духами». – «С духами? – вскричал граф. – Не может быть, он плавил червонцы, вот расплавленная масса их в этом тигле, который он хотел подменить другим тиглем, наполненным суриком, который и теперь еще лежит разбитый в кустах, где вы и можете видеть его, ослы!» С «Пентагоном», или жизненным эликсиром, вышло не лучше. «Наш добрый мастер пускается в длинные объяснения, клянется всемогущим Богом и честью, что он довершит свой труд и сделает нас счастливыми. Он до того простирает свою скромность, что просит, чтоб его заковали в цепи, принудили работать, и требует от учеников убить его, если в исходе четвертого часа он не сдержит своего слова. Он опускается на землю и целует ее, затем воздымает руки к небу и призывает Бога в свидетели, что он говорит правду, и требует смерти, если он лжет!» Появление великого кофты с длинной почтенной бородой придает ночи еще больше торжественности. Но увы! Черепки разбитого тигля лежат на глазах у всех, жизненный эликсир также не удался, так что великому кофте оставалось только убраться восвояси.

Граф М* даже не верил, что Калиостро владел искусством обыкновенного шарлатана.

«Будучи крайне нескромен, – говорит этот обличитель, – он хвалился в присутствии каждого, в особенности же перед женщинами, что обладает грандиозными способностями. Каждое его слово преувеличено, в нем сейчас же чувствуется ложь. Малейшее противоречие приводит его в бешенство; тщеславие его

не знает границ; он требует, чтоб ему устраивали празднества, о которых бы говорил целый город. Большинство обманщиков ловки и стараются приобрести себе друзей, – он же, напротив, своими оскорбительными речами, сплетнями и разного рода дрязгами норовит перессорить всех своих друзей и поселить между ними вражду. Из малейших пустяков он заводит ссору со своими помощниками и даже перед публикой не стесняется выставить их лгунами. По моему мнению, Шрепфер был гораздо искуснее его. Ему бы следовало взять себе в помощники чревовещателя, прочесть несколько химических книг и изучить искусство Филадельфия и Комуса».

Совет твой хорош, любезный М*, но разве ты не убежден в том, что Калиостро обладает «врожденной способностью лгать», да, кроме того, «медным лбом» (front d'airain), которого не смутишь ничем. Подобному гению и подобному лбу нечего заимствовать у Конуса и Филадельфия и у всех чревовещателей в мире. Пусть при шарлатане останется то, чем он владеет.

Его высокомерие доказывает только, что он сидит на огромном коне, а мир лежит у ног его.

Подобные неудачи, встречающиеся в жизни каждого человека, для нашего Калиостро то же самое, что темные пятна для солнца. Его слава от этого ничуть не страдает. Князь П* по-прежнему рекомендует его князю О*, и чем может убедить этих великих мира какой-нибудь неверующий, безвестный граф М*? Карманы Калиостро едва вмещают массу бриллиантов и червонцев; он катит на почтовых в Вену, во Франкфурт, в Страсбург, чтоб и там удивлять всех своими чудесами.

«Свита, которую он обыкновенно держит при себе, – рассказывает его биограф, – соответствовала его остальной обстановке. Он постоянно ездил на почтовых. Толпа курьеров, лакеев, телохранителей и разного рода прислуги, одетая в великолепные ливреи, придавала вид правдоподобия его высокому происхождению, которым он хвалился. Эти ливреи, сделанные в Париже, обошлись ему по 20 луидоров каждая. Великолепные, убранные по последней моде комнаты, роскошный стол, богатые наряды его жены вполне согласовались с этим королевским образом жизни.

Его притворная щедрость также обращала всеобщее внимание; бедным он подавал медицинскую помощь даром и даже оделял их милостыней».

Посреди этой великолепной обстановки красовались две подозрительные, нарумяненные или ненарумяненные физиономии графа и графини с тупоумным и усталым выражением; полеживая на мягких диванах, они угрюмо и молча

посматривали друг на друга, едва скрывая злобу и соображая, что каждый из них добывает мало, а ест много. Исполняла ли Лоренца неохотно или, напротив, с полною готовностью назначенную ей обязанность, – биографы еще не сказали решительного мнения, но в чем они положительно убеждены, так это в том, что со своим холерическим, откормленным шарлатаном она вела довольно горькую жизнь, полную постоянных раздоров. Если же мы заглянем поглубже и захотим познакомиться с внутренним самосознанием, что у других называется совестью, самого архишарлатана, то нам представится весьма неопределенная вещь, – словом, мы не увидим ничего, кроме густого, обманчивого тумана, который во всех его действиях и поступках был на первом плане. Правда, многое в жизни Калиостро осталось неясно, зато мы вполне разгадали, что он страдал недостатком понимания. Хитрость, лукавство были развиты в нем в высшей степени, но ума в нем не было нисколько. Да разве хитрость в соединении с алчностью не есть неизбежное следствие недостатка ума? Она, собственно, и доказывает близорукость ума, погруженного в пошлость, ума, неспособного возвыситься до ясного, свободного понимания, потому что иначе хитрый и алчный человек вступил бы на путь истинный.

Но проблески света, если и не совсем яркого, все-таки проникают хоть случайно в душу каждого смертного. Каждое живущее создание (а по Мильтону – даже и дьявол) обладает более или менее каким-нибудь подобием совести; оно внутренне молится, кается, верит, хоть для того только, чтоб не презирать себя или в конце концов не повеситься. Что подобное откормленное животное, как Калиостро, чувствовало и думало, сказать, во всяком случае, довольно трудно, но это покажется еще труднее, когда подумаешь о противоречиях и мистификациях, которыми опутана была вся его жизнь. Единственным верным документом служит нам его портрет, в свое время распространенный во множестве и украшавший целые миллионы комнат. Гравюра, сделанная с этого замечательного портрета, лежит перед нами. Жирная физиономия, вполне достойная шарлатана из шарлатанов, верное и меткое изображение бездельника; дерзкое, отвратительное лицо с плоским носом и толстыми губами, на котором написаны алчность, чувственность, бычье упрямство, дерзость и бесстыдство. Воздетые к небу глаза в каком-то благоговейном созерцании, не лишенные, впрочем, некоторого юмора, довершают типичное изображение шарлатана из шарлатанов, порожденного XVIII столетием. Под гравюрой находится следующий эпиграф:

De l’ami des humains reconnaissez les traits:
Tous ses jours sont marques par de nonveaux bienfaits.
Il prolonge la vie, il secourt l’indigence;
Le plaisir d’etre utile est seul sa recompense.

Нужно полагать, что теософия, филантропия и благотворительность, которым все более и более предавался наш шарлатан, должны были служить не только приманкой для дичи, но и мазью, незаметно уменьшавшей боль его собственных ран. «Разве я не сострадательный, благотворительный человек? – мог сказать шарлатан. – Если я сам заблуждался, то в то же время разве я не старался своими елейными теософическими речами устранять все поводы к заблуждению? Что такое ложь, шарлатанство, как не средство приноровиться к характеру человека, влезть в его глухое, длинное ухо, не имеющее случая прислушаться к честному слову? Разве наш мир собственно не мир неправды, где ничего нет, кроме двуногих и четвероногих хищников? Природа сказала человеку: трудись и сам добывай себе хлеб! Разве такой гениальный человек, как я, не рожденный принцем и даже в наше жалкое время не жалованный этим титулом, не считаю своей обязанностью сделаться им? Если мне нельзя достигнуть этого военной силой, то я постараюсь добиться более возвышенным средством – наукой. Лечи больных, лечи еще более опасную болезнь – невежество, одним словом, учреждай египетские ложи и добывай средства на их учреждение».

Такими беседами с самим собой успокаивает граф свое сердце в те минуты, когда расходится в нем желчь. Впрочем, подобные минуты бывают редки. Граф – человек деятельный, со здоровым желудком, и углубляться в самого себя он не привык. Каждый день приносит ему новую добычу, и нет времени для метафизических размышлений.

А между тем граф прибыл в Страсбург и творит великие чудеса. В 1783 году в Страсбурге совершается его апофеоз, он достигает зенита своей славы и вступает в четвертый акт своей жизненной драмы. Жизнь его проходит здесь в полном блеске, возбуждая зависть и удивление целого мира. Он исцеляет больных бедняков и помогает им из собственного кошелька, ласково принимает верующего богача и грозно и молча посматривает на неверующего, владей он всеми богатствами мира. Чудесные исцеления случались во все времена, но теперь перед нами новое неслыханное чудо: прославленная во всех концах мира особа, «несмотря на издержки», не занимается игрой или охотой, а посвящает себя лечению больных, просвещению

невежественных людей. Смотрите, как среди белого дня он спускается в прокаженную берлогу бедняка и плебея и гордо отказывается от приглашений вельмож. Когда кардинал де Роган, страсбургский архиепископ, пэр Франции, принц крови, желает его видеть, он отвечает: «Если монсеньор болен, то может прийти ко мне, и я исцелю его; если же он здоров, то не нуждается во мне, как не нуждаюсь я в нем».

Между тем небо послало ему несколько учеников, желания и потребности которых он разгадал со свойственным ему тактом. Одним он принялся толковать о медицине, низвержении тиранов и египетских ложах; с другими касался возвышенных предметов, выходящих из сферы обыденной жизни, о посещении его ангелом света и ангелом мрака. Когда ему случалось проходить мимо изображения Спасителя, он безмолвно и грустно останавливался перед ним, как будто в нем восставало тысячелетнее воспоминание. Когда же его спрашивали об этом, он отделывался таинственным молчанием. Действительно ли он вечный жид, известно только одному небу. Одним словом, счастье в Страсбурге не только улыбается, но и смеется ему. Чтоб вполне увенчать его искусство, судьба посылает ему богатого, восторженного и щедрого глупца, и этот глупец не кто иной, как тот же кардинал Людовик де Роган.

Уверенный в его милости, наш шарлатан на улыбку счастья может также отвечать улыбкой.

Приглашаю любопытного читателя взглянуть на него в это время глазами двух очевидцев – аббата Жоржеля, дипломатического фактотума князя Людовика, и геттингенского профессора Мейнерса.

«Когда князь Людовик, – говорит аббат, – наконец был введен в святилище этого эскулапа, то заметил, согласно его собственному рассказу, в физиономии скрытного человека столько достоинства и величия, что проникся благоговейным страхом, и это благоговение подсказывало ему слова, с которыми он обратился к Калиостро. Свидание их, хотя непродолжительное, возбудило в нем страстное желание познакомиться с этим человеком, а лукавый эмпирик так ловко умел говорить и действовать, что приобрел, вовсе не рассчитывая на это, не только полное доверие кардинала, но даже власть над его волей. «Душа ваша, – сказал он однажды князю, – достойна моей, вы заслуживаете того, чтоб я посвятил вас во все мои тайны». Подобное объяснение сильно подействовало на умственные и нравственные способности человека, с давних пор добивавшегося познать тайны алхимии и ботаники.

С этой минуты их отношения сделались доверчивее и

откровеннее. Калиостро поселился в Саверне на все то время, когда проживал там кардинал. Их тайные беседы были часты и продолжительны. Я припоминаю, что когда дошли до меня слухи, что барон де Планта (управляющий кардинала) задает в епископском дворце для Калиостро и его мнимой супруги роскошные пиры, на которых токайское льется, как вода, я счел своей обязанностью довести об этом до сведения кардинала. «Знаю, знаю, – отвечал он, – я даже уполномочил его делать эти угощения, если найдет нужным». Наконец он дошел до того, что не имел другой воли, кроме воли Калиостро, и дело в заключение приняло такой оборот, что когда этот «бесстыжий египтянин» вздумал на время покинуть Страсбург и удалиться в Швейцарию, кардинал, узнав об этом, послал своего секретаря провожать его и просить у него предсказать ему будущее. Эти предсказания были сообщены кардиналу секретно, в шифрованном письме».

«Еще до приезда моего в Страсбург, – рассказывает профессор Мейнерс, – я знал положительно, что мне не придется не только говорить с Калиостро, но даже видеться с ним. Я наслышался от многих людей, что он ни под каким видом не принимает здоровых, любопытных путешественников, а с теми, которые, не будучи больны, наконец добивались его аудиенции, он обходился, как со шпионами, самым грубым образом. Но тем не менее и несмотря на то что мне удалось только на одну минуту видеть этого нового бога медицины, когда он промчался мимо меня в карете, мне кажется, что я знаю его лучше многих, проживших целые месяцы в его обществе. Мое неизменное убеждение заключается в том, что граф Калиостро с самого начала был скорее обманщиком, чем сумасбродом, и что до сего времени он остается обманщиком.

Относительно его родины я положительно ничего не узнал. Одни считали его испанцем, другие евреем или итальянцем – и даже аравитянином; рассказывали также, что он уговорил какого-то азиатского князя отправить своего сына путешествовать по Европе и что будто бы он убил этого юношу и воспользовался всем его богатством. Так как граф плохо изъясняется на всех языках и, вероятно, большую часть жизни провел под вымышленными именами, вдали от своей родины, то весьма возможно, что никогда не могли добиться верного сведения о его происхождении.

При первом своем появлении в Страсбурге он вступил в связь с масонами, но эта связь продолжалась только до тех пор, пока он не почувствовал, что сам, без помощи других, может встать на ноги. Он вскоре вошел в милость претора и кардинала, а через них добился покровительства двора, так что противники его не

смели и думать низвергнуть его. С претором и кардиналом он обращался, как с людьми, обязанными ему. Кардинальскими экипажами он пользовался без всякой церемонии, как будто они были его собственные. Он утверждал, что атеистов и богохульников узнает по запаху, а испарения их причиняют ему падучую болезнь, припадки которой он, как ловкий фокусник, может представить, если захочет. Теперь он более не хвалится публично своей властью над духами или каким-либо другим волшебством. Однако я знаю наверняка, что он утверждает, что может вызывать духов и при помощи их исцелять болезни, как убежден я и в том факте, что анатомия человеческого тела, характер его болезней или употребление обыкновенного терапевтического метода ему столько же известны, сколько любому шарлатану.

По достоверным рассказам лиц, долгое время наблюдавших за ним, можно заключить, что он необыкновенно вспыльчивый, горячий и непостоянный человек. Поэтому ему и пришла счастливая мысль, которая едва ли когда-нибудь посещала его во всю жизнь, сделаться недоступным и окружить себя, как каменной стеной, напускной скромностью, так как без этой предосторожности он давно бы попался впросак.

За собственный труд он не принимает ни платы, ни подарков. Если он не желает обидеть лицо, сделавшее ему подарок, то не отказывается от него, но, в свою очередь, также дарит вещь, равную по цене, а иногда и дороже. Он не только не берет ничего со своих пациентов, но на целые месяцы предлагает им свою квартиру и стол, не требуя за это никакого вознаграждения. Но при всем этом бескорыстии он живет роскошно, ведет большую игру, постоянно проигрывает, в особенности дамам, так что по малой мере он проживает в год не менее 20 000 ливров. Таинственность, которой Калиостро окружил источник своих доходов, помимо его щедрости и чудесного лечения, заставляет многих верить, что он божественный, необыкновенный человек, изучивший природу во всех ее таинственных проявлениях и, между прочими тайнами, похитивший у нее тайну делать золото. С грустью и негодованием я должен еще прибавить, что этого человека не только принимали и ласкали великие мира сего, которых, впрочем, спокон века морочили подобные люди, но даже ученые, врачи и естествоиспытатели не стыдились входить с ним в сношения».

О, чудные, великолепные дни, если б вы вечно могли продолжаться! Но каждое светило имеет свой назначенный путь, свою кульминационную точку и затем нередко свой быстрый закат. Кардинал Роган с огненным темпераментом и скудными

умственными способностями, человек распутный, человек сомнительной честности, в котором страсть к чудесному приняла громадные размеры, походил на труп кита, выброшенного на берег, которым вздумали полакомиться шакалы. Но к сожалению, один шакал не мог долгое время, с ненарушимым спокойствием, лакомиться им; самка шакала, наделенная острыми зубами, подбегает к нему, глубоко вонзает свои зубы в мясо кита, готового вместе с шакалом сделаться ее добычею. Молоденькая французская модистка, «графиня де Ламотт Валуа», побочный отпрыск Генриха II, обладает, без помощи чудесных напитков, египетского масонства или таинственных бесед с духами, достаточным гением, чтоб принять участие в проектах архишарлатана, добиться золотого результата и затем, пожалуй, хоть разбить тигель. Кардинал Роган отправился в Париж, чтоб под ее руководством увидеть долго невидимую королеву, или даже «призрак» королевы, в Трианонском саду поднять розу, выпавшую из прекрасной псевдокоролевской ручки, и в заключение быстро отправиться к черту, захватив с собою и Калиостро.

Проницательный читатель заметит, что мы пришли теперь к знаменитой истории ожерелья, непроходимой путаницы которой мы, впрочем, коснемся здесь только мимоходом, потому что в следующей статье надеемся познакомиться с нею подробнее. А пока вообразим кардинала еще живым китом. В то время он до такой степени проникся ролью авантюриста, что сообщенные ему в секретном письме предсказания великого кофты не могут удовлетворить его, и последний должен был покинуть свои дела, так удачно начатые в Неаполе, Бордо и Лионе, чтоб спешить в Париж.

«Новый Калхас, – говорит аббат Жоржель, – должно быть, плохо изучил внутренности своей жертвы, когда предсказал кардиналу, что счастливая переписка с «мнимой королевой» доставит ему великие милости, что его влияние на государственные дела вытеснит всякое другое влияние и послужит ему для распространения добрых начал к славе и счастью французов». Понятно, Калхас ошибался, но как же и не ошибаться ему? Он хорошо знал, что какие бы ни были милости королевы, какие бы перемены ни посетили землю, его царство только временное. Пусть льется токайское, как вода, а чтоб продолжить наслаждение, им будем пророчить доброе, а не дурное.

Если для Цирцеи де Ламотт Валуа египетское масонство представляется нелепым волшебным напитком, которым можно превратить жирного кардинала в четвероногое животное, то для

великого кофты, напротив, эта самая Ламотт Валуа полезна в том отношении, что может откармливать это животное надеждами на милость королевы, чтоб затем им обоим обречь его на убой. Они друг для друга полезны, живут в мире и пьют токайское, хотя в душе ненавидят и презирают друг друга. В таком положении находятся дела весною и летом 1785 года.

Но в то время, когда во дворце кардинала льется токайское, а вне его учреждаются египетские ложи, и золото, и слава, самым сверхъестественным способом, текут как из Парижа, так и из других городов в карманы Калиостро, наступают последние августовские дни, а с ними является и комиссар Шенон. Он забирает всю пресловутую шайку, начиная с кардинала и кончая псевдокоролевой, и заключает ее в Бастилию, разместив по отдельным камерам. Здесь, в продолжение шести месяцев, им дается полная свобода выть дискантом или басом, роптать на судьбу, распространять ложные мемуары, из которых пальма первенства принадлежит книге: «Memoires pour le comte de Cagliostro en presence des autres coaccuses», напечатанной в 1786 году, трактующей о короле Трапезундском, мекском шерифе и «несчастном сыне природы». А между тем ожерелье как бы кануло в воду, Тюильрийский дворец объят ужасом и горем. Париж, а за ним вся Европа, трубит про таинственное дело. Граф «медный лоб» приводится в суд, ставится на очную ставку с дерзкой и бесстыдной Ламотт, истощает все свое красноречие и одерживает победу, за что взбешенная Цирцея «пускает в него подсвечником». Затем, 31 мая 1786 года, парижский парламент после заседания, длившегося 18 часов, в 9 часов вечера произносит свой приговор. Кардинал Роган удаляется «в свое поместье», графине Ламотт бреют голову, выжигают на обоих плечах раскаленным железом литеру V (Voleuse) и подвергают пожизненному заключению в тюрьме Сальпетриер, де Вильета за подделку подписи королевы навсегда изгоняют из Франции, мадемуазель Ге д'Олив, имеющую такое сходство с королевой, оправдывают, а великому кофте Калиостро, хотя обобранному до нитки, возвращается свобода с приказанием немедленно убираться. Его ученики иллюминуют в честь его свои окна, но к чему послужит эта иллюминация? Комиссар Шенон и губернатор Бастилии де Лоне не могут припомнить, чтоб он оставил в тюрьме драгоценные вещи, свертки золота и часы с репетициями. В эту же ночь его спешат отправить в Пасси, а через два дня он уезжает через Булон в Англию.

Так кончилась эта жалкая, шутовская трагедия с ожерельем, и Калиостро снова очутился на негостеприимных берегах Британии.

Прибыв сюда, он с помощью некоего Свинтопа, бывшего

виноторговца, а теперь аптекаря, к которому имел рекомендательные письма, кое-как устраивается на Слоун-стрит. Торгует понемногу египетскими пилюлями и продает их, как и в Париже, по 30 шиллингов за гран, говорит умилительные речи о египетских ложах, дает публичные аудиенции, как в Страсбурге, если наклевываются простаки. При помощи учеников составляет и издает «Письмо к англичанам». Там он распространяется о своих неслыханных добродетелях, о несправедливостях, вынесенных им от английских адвокатов, губернатора Бастилии, французских графов и проч. Затем печатает «Письмо к французам», в котором затягивает ту же песнь. И между прочим, предсказывает, как предсказывали уже многие тогдашние писатели, что «Бастилия будет разрушена и явится король, который будет править вместе с государственными чинами».

Но к несчастью, стрелы критики выбрали его своей мишенью, масса враждебных глаз смотрит на него, одним словом, мир делается ему невыносим. Но тем не менее «медный лоб» не трусит, а, напротив, во время этого печального кризиса неожиданно проявляет проблески своего прежнего, поэтического юмора. Некий де Моранд, редактор «Courrier de l'Europe», с некоторого времени задался мыслью вступить в первые ряды врагов Калиостро. Граф, терпевший долго, наконец припоминает случайно в одной из своих публичных аудиенций один обычай, с которым он познакомился еще в Каменистой Аравии. Тамошние обитатели, по его словам, имеют обыкновение ежегодно откармливать нескольких свиней пищею, смешанною с мышьяком, отчего они постепенно пропитываются этим ядом. Таких свиней пускают в лес, где их пожирают львы, леопарды и другие дикие звери, вследствие чего последние умирают, и этим способом лес избавляется от них. Этот замысловатый рассказ служил Моранду предметом постоянных насмешек, и он немало забавлялся им в номерах своего журнала. Граф Калиостро, терпение которого наконец лопнуло, напечатал в форме объявления в «Public Advertiser» (3 сентября 1786 года) письмо на французском языке, не лишенное едкости и аристократической гордости. В этом письме он приглашал остряка редактора позавтракать с ним перед лицом целого света мясом свиньи, откормленной Калиостро, но убитой и приготовленной Морандом. При этом он предлагал пари в 5000 гиней, что на следующий день Моранд умрет, а граф Калиостро будет жив! Редактор побоялся согласиться на подобное пари и принужден был прекратить свои насмешки. Так слабое сияние окружает даже постепенное падение нашего архишарлатана, и он с горькой улыбкой идет навстречу своей судьбе.

Но перенесемся, хоть на мгновение, из этой заграничной жизни на родину, на палермскую улицу, где родился Калиостро. Закопченный город, с его грязью и пылью, старый почерневший дом Бальзамо, даже кровати и стулья, – все на своем месте, только один Бальзамо изменился и ушел далеко. Заглянем в этот дом, так как нам представляется к тому прекрасный случай.

В апреле 1787 года Палермо увидел в своих стенах замечательного путешественника – это был не кто иной, как великий Гете из Веймара. За табльдотом ему пришлось много слышать о Калиостро; кроме того, он узнал, что французское правительство поручило одному палермскому юристу собрать сведения о родословном дереве Иосифа Бальзамо и составить об этом записку.

Ему удается не только познакомиться с этим юристом, но даже видеть конспект записки. При разговоре с ним он старается узнать, нет ли возможности проникнуть в дом семейства Бальзамо, из которого в живых остались еще его мать и сестра-вдова. Юрист отказывается исполнить просьбу, а отсылает его к своему писарю. Тот, в свою очередь, представляет тоже некоторые затруднения и рассказывает, что ему пришлось выдумать басню о пенсионе, будто бы назначенном правительством семейству Бальзамо, чтоб только добыть от него генеалогические документы, а так как это дело уже теперь кончено и бумаги отосланы во Францию, то ему желательно бы было как можно реже попадаться на глаза этому семейству.

«Это были слова писаря, – продолжает Гете. – Но так как я не оставлял своего намерения, то мы, после некоторого совещания, решили, что я выдам себя за англичанина, который привез известие от Калиостро, отправившегося, после выхода из Бастилии, в Лондон.

В назначенный час – это было около трех часов пополудни – мы отправились в путь. Дом находился на углу переулка, недалеко от главной улицы Иль Казаро. Поднявшись по жалкой лестнице, мы очутились в кухне. Женщина среднего роста, широкоплечая и коренастая, но не толстая, мыла кухонную посуду. Она была одета довольно опрятно, и лишь только мы вошли в кухню, как она поспешила перевернуть на изнанку свой передник, чтоб скрыть от нас его грязную сторону. Она сейчас же узнала моего спутника и весело сказала ему: «Синьор Джованни, вы принесли нам добрые вести? Вы, верно, добились какого-нибудь толку по нашему делу?» На что он возразил: «По вашему делу я еще ничего не узнал, но вот иностранец, который привез поклон от вашего брата и может вам рассказать, как он теперь живет».

Хотя этот поклон и не входил в наш уговор, но тем не менее вступление было сделано.

«Вы знаете моего брата?» – спросила она.

«Его знает вся Европа, – ответил я, – и полагаю, что вам приятно будет узнать, что он находится в безопасности, так как вы, вероятно, до сих пор сильно беспокоитесь об его участи».

«Войдите, – сказала она, – я сейчас приду».

Мы вошли в просторную и высокую комнату, которая бы у нас могла служить залою; по-видимому, эта комната составляла всю квартиру семейства. Единственное окно освещало стены, которые некогда были выкрашены и на которых были развешаны черные изображения святых в золотых рамах. Две большие кровати, без занавесок, стояли у одной стены, у другой помещался шкафчик, имевший форму письменного стола. Старые камышовые стулья, спинки которых некогда были вызолочены, стояли подле, а кирпичи на полу во многих местах были глубоко вдавлены. Остальное, впрочем, было чисто, и мы подошли к семейству, собравшемуся на другом конце комнаты, у единственного окна.

В то время как мой проводник объяснял старухе Бальзамо, сидевшей в углу, причину нашего посещения и по случаю ее глухоты несколько раз, громко, повторял ей свои слова, я успел оглядеть комнату и остальных лиц. Шестнадцатилетняя девушка, довольно высокого роста, черты лица которой от оспы сделались неясны, стояла у окна; подле нее помещался молодой мужчина, его неприятная, изуродованная оспою физиономия мне также бросилась в глаза. В кресле, напротив окна, сидела или, скорее, лежала больная, крайне некрасивая женщина, по-видимому, одержимая спячкой.

Когда мой проводник достаточно объяснился, нас пригласили сесть. Старуха сделала мне несколько вопросов, которые я, прежде чем отвечать, просил перевести, так как сицилийский выговор мне был непонятен.

Между тем я с удовольствием смотрел на старуху. Она была среднего роста, но хорошо сложена; ее правильное лицо, не обезображенное даже старостью, дышало спокойствием, которым обыкновенно наслаждаются люди, лишенные слуха; звук ее голоса был мягок и приятен.

Я ответил на ее вопросы, и мои ответы были ей переведены.

Медленность нашей беседы дала мне случай сократить мой рассказ. Я сообщил ей, что ее сын получил свободу и в настоящее время находится в Англии, где его приняли хорошо. Ее радость при этом известии сопровождалась выражением душевного умиления, а так как она говорила тихо и медленно, то я мог понимать ее.

Между тем вошла ее дочь и подсела к моему проводнику, который в точности повторил ей весь мой рассказ. Она надела чистый передник и убрала свои волосы под сетку. Чем более я на нее глядел и сравнивал с ее матерью, тем более поражало меня несходство этих двух женщин. Здоровьем, бодростью дышала вся фигура дочери; ей было около сорока лет. Ее веселые голубые глаза глядели умно, в них не заметно было ни малейшей тени недоверчивости. Когда она сидела, наклонив вперед голову и положив руки на колени, вся ее фигура казалась длиннее, чем когда она стояла. В остальном ее скорее тупые, чем острые черты лица напоминали мне изображение ее брата, известное нам по гравюрам. Она много расспрашивала меня о моем путешествии, о моем желании видеть Сицилию и была вполне уверена, что я возвращусь и буду присутствовать вместе с ними на празднике св. Розалии.

В то время как старуха снова обратилась ко мне с вопросами, на которые я старался ответить, дочь вполголоса разговаривала с моим проводником, но так, что я имел повод спросить, о чем идет речь. Он отвечал, что синьора Капитуммино рассказывала ему, что брат остался ей должен 14 унций. Она перед его быстрым отъездом заложила для него свои вещи, но с тех пор не слыхала о нем ничего и не получала ни денег, ни вспомоществование, хотя он, как слышала она, владеет огромным богатством и живет с княжеской роскошью. Не возьмусь ли я, по моем возвращении, напомнить ему об этом долге и выхлопотать ей вспомоществование, да, кстати, не захвачу ли с собой и письма от нее? Я предложил свои услуги. Она спросила, где я остановился и куда прислать письмо? Я уклонился указать мою квартиру и обещал на другой день зайти за письмом.

Затем она рассказала мне свое горестное положение; она вдова с тремя детьми, из которых одна девочка воспитывается в монастыре, другая находится при ней, а сын учится в школе. Кроме детей, у нее на руках мать, которую она содержит, да больная женщина, взятая ею из христианского милосердия. Всех ее трудов едва хватает на добывание необходимого. Она знает, что Бог не оставляет без награды добрых дел, но все-таки ей тяжело бремя, которое она так долго несет.

Молодые люди вмешались в разговор, и беседа сделалась оживленнее. Между тем, среди разговора, я услышал, как старуха спросила свою дочь, принадлежу ли я к их святой вере? Я мог заметить, что дочь постаралась ловко отклонить этот вопрос, сказав матери, что иностранец очень расположен к ней и что неудобно кого-нибудь спрашивать о подобном предмете.

Так как они слышали, что я вскоре уезжаю из Палермо, то

начали упрашивать меня опять возвратиться; в особенности они хвалили торжественный праздник св. Розалии, подобного которому не увидишь в целом мире.

Мой проводник, которому уже давно хотелось уйти, знаками положил конец беседе, и я обещал на другой день вечером снова зайти за письмом.

Мой проводник был весьма рад, что все удалось, и мы расстались довольные.

Нетрудно представить себе впечатление, которое произвело на меня это бедное, благочестивое и доброе семейство. Любопытство мое было удовлетворено, но их простое и ласковое обращение возбудило во мне участие, усилившееся еще размышлением.

Во мне немедленно проявилась забота о следующем дне. Понятно, что мое посещение, поразившее их в первый момент, после моего ухода, должно было возбудить у них толки. По родословной я знал, что многие члены семейства еще были живы; естественно, что они созовут своих друзей, чтоб в их присутствии повторить мой рассказ. Желания своего я достиг, и мне оставалось только поудачнее довершить это приключение. Поэтому на другой день, после обеда, я отправился в их жилище. Они удивились, когда я вошел. «Письмо еще не готово», – сказали они, причем сообщили мне, что некоторые из их друзей желают познакомиться со мной и сегодня вечером обещали прийти к ним.

Я сказал, что завтра утром уезжаю, что мне нужно сделать кое-какие визиты, упаковать вещи, поэтому-то я и пришел к ним пораньше.

В это время вошел сын, которого я вчера не видел. Фигурой и ростом он походил на свою сестру. Он принес письмо, которое хотел мне вручить и которое, по обычаю страны, попросил написать публичного нотариуса. Молодой человек имел скромный и печальный вид, осведомился о своем дяде, расспрашивал о его богатстве и грустно прибавил: «Зачем он забыл свое семейство? Мы были бы очень счастливы, – прибавил он, если б когда-нибудь он приехал к нам и помог нам. Но каким образом он открылся вам, что у него есть родственники в Палермо? Говорят, что он от нас отказывается и выдает себя за человека знатного происхождения». Я отвечал на этот вопрос, что если его дядя и имеет причины скрывать свое происхождение от публики, то относительно своих друзей и знакомых он не делает из этого тайны.

Сестра, вошедшая во время этого разговора и, благодаря присутствию брата и отсутствию вчерашнего друга, имевшая больше смелости, приняла живое участие в нашей беседе. Они

просили, когда я буду писать, кланяться дяде, а также уговаривали меня снова приехать в Палермо и присутствовать на празднике св. Розалии.

Мать согласилась с детьми. «Синьор, – сказала она, – хотя и не совсем прилично, что я, имея взрослую дочь, принимаю посторонних мужчин в своем доме и тем навлекаю сплетни и разные толки, но все-таки мы будем очень рады, если вы снова приедете в наш город».

«О, мы вместе пойдем с синьором на праздник, – закричали дети, – выберем удобное местечко, откуда можно будет видеть всю процессию. Вот полюбуется-то он экипажами и в особенности иллюминацией!»

Между тем старуха читала и перечитывала письмо. Когда она услышала, что я хочу проститься, то встала и передала мне сложенную бумагу. «Скажите моему сыну, – проговорила она с живостью, даже с одушевлением, – скажите, как обрадовало меня известие, привезенное вами о нем! Скажите ему, что я прижимаю его к своему сердцу, – тут она протянула руки и снова сложила их на груди, – что я всякий день молю за него Бога и Пресвятую Деву, что я посылаю ему и его жене мое благословение и желаю только видеть его еще раз перед смертью, видеть этими глазами, пролившими так много слез о нем».

Оригинальная нежность итальянского языка придавала еще более выразительности и благородства этим словам, которые сопровождались оживленными жестами, имеющими особую прелесть в этом народе.

Не без волнения простился я с ними. Они протянули мне руки, дети проводили меня за дверь, а когда я спускался с лестницы, то вскочили на окно, выходившее из кухни на улицу, кричали мне, посылали поклоны и повторяли, чтоб я не забыл приехать опять. Я еще видел их стоящими на балконе, когда поворотил за угол»[4].

Бедная Феличита! Разве напрасны все твои молитвы, твои благословения и старческие слезы! Для тебя одной, может быть, они отрадны. Что же касается синьоры Капитуммино и ее сирот, то мы вполне надеялись, что 14 унций будут уплачены ей, и этими деньгами хоть на время облегчится ее тяжелое бремя. Но к сожалению, наши надежды не оправдались и, вследствие неблагоприятных обстоятельств, этого не случилось!

Между тем граф Калиостро продолжает разыгрывать свой пятый акт; блеск, окружавший его, теряет свою силу и постепенно переходит во мрак. В Англии, впрочем, нашлись сумасброды, которым нетрудно вскружить голову. Лорд Джордж, принимавший участие в волнении папистов, отправляется с ним к

графу Бартелеми или Адемару и, щеголяя отвратительной риторикой, на плохом французском языке поносит французскую королеву, но какая польза от этого? Наделав шуму, лорд Джордж снова должен в один прекрасный день прогуляться в Ньюгейтскую тюрьму, так как ругательствами не уплатишь долгов. Аптекарю Суинтопу наконец наш шарлатан делается в тягость; французские шпионы показывают свои физиономии, не обещающие ничего хорошего; спрос на египетские пилюли плох; стая хищных адвокатов чует падаль и снова принимается ее теребить, так что графу Калиостро волей-неволей приходится покинуть Англию.

Но куда направить путь? В Базеле, в Бине (Шеппе), во всей Швейцарии закрыты игорные дома. В Э, в Савойе, есть еще воды, но в них никакой рыбы не выудишь; в Турине сардинский король приказывает Калиостро немедленно выехать; подобную же участь готовит ему император Иосиф в Ровередо. «Медный лоб» подделывается к духовенству, «в Триенте вновь раскрашивает иероглифами ширмы», бросая, так сказать, последние искры огня, некогда так ярко горевшего, закладывает бриллианты, мечется из стороны в сторону, кается, вновь грешит и не знает, что делать. Судьба уже опутала его своею сетью, затягивает ее крепче и крепче, и скоро некуда будет выйти ему из этой западни.

Выгнанному из Триента, что ему остается делать с новыми иероглифическими ширмами, что делать с самим собою? Наскучив скитальческой жизнью, Лоренца начинает пробалтываться о семейных тайнах; ее тянет в Рим, к родному очагу, к могиле матери, в мирный уголок, где бы она могла укрыться от всех передряг. Для несчастного графа все места одинаковы; выведенный из терпения неуместной болтливостью своей жены, он решается ехать в Рим. Отчего же и не ехать?

В один прекрасный майский день 1789 года (в то самое время, когда началось достославное дело во Франции, куда доступ закрыт для него) въезжает он в Вечный город. По всему вероятию, злой дух привел его сюда. 29 декабря того же года инквизиция, давно следившая за ним, открывает его убежище, хватает и заключает его в крепость Св. Ангела.

Граф Калиостро не теряет еще надежды, но тем не менее, нам остается сказать о нем только несколько слов. Напрасно своим томпаковым языком и «медным лбом» создает он химеру за химерой, просит религиозных книг, которыми его снабжают, требует чистого белья и свидания с женою, в чем ему отказывают, доказывает, что египетское масонство – божественное учреждение для заблудших и что если бы св. отец знал его, то, наверное, принял бы под свое покровительство. Затем он распространяется о том, что в Европе рассеяно более четырех миллионов масонов,

поклявшихся изменить социальный порядок, но все напрасно! Его не слушают и не дают свободы. Донна Лоренца томится, невидимая им, в соседней келье, наконец начинает каяться. Он, чтоб предупредить ее, также сознается во многом; инквизиция пользуется его исповедью, просеивает ее, и таким образом составляется биография Бальзамо; но инквизиция по-прежнему держит его под замком. Наконец, после восемнадцатимесячных мучительных допросов, святейший отец изрекает следующий приговор: «Рукопись египетского масонства сжечь рукою палача, а приверженцев подобного масонства предать проклятию; Джузеппо Бальзамо, хотя и сбившемуся с пути истины, не отказывается в милосердии и дается возможность искупить свои грехи в пожизненном заключении». Так в апреле 1791 года кончилась деятельность несчастного шарлатана.

Он обращается с просьбой во французское национальное собрание, но ни на небе, ни на земле, ни даже в аду не существовало такого собрания, которое бы приняло его сторону. Занавес опускается на целые четыре года, прожитые им неизвестно как, – вероятно, с бешеным аппетитом, который не могла удовлетворить скудная тюремная кухня, а причиняла только неправильное пищеварение.

В одно летнее утро 1795 года тело Калиостро еще находилось в тюрьме Св. Льва, но его «я» бежало, – куда, никто не знает. Медный лоб потускнел, томпаковые уста закрылись и не могут более лгать. Калиостро исчез, и остался только рассказ о нем. «Прощай, несчастный сын природы!» – скажем и мы с мекским шерифом.

Вот каковы были происхождение, возвышение, величие и падение шарлатана из шарлатанов. Если читатель спросит, что хорошего, что мы наше время посвящаем жизнеописанию такого безнравственного человека, то мы ответим, как уже заметили в начале этой статьи, что биографии всех выдающихся людей, нравственны ли они или безнравственны, заслуживают быть написанными.

На этом основании нет ли у самого дьявола своей биографии, написанной не только руками Даниеля Дефо, но и другими руками, а не Даниеля Дефо[5]? Но все-таки все рассказанное нами на этих страницах не есть призрак, а «действительность». Природе угодно было создать человека таким, а не иным, и автор этого очерка постарался в приличной форме рассказать, что производит она при своем разнообразном и таинственном величии и богатстве.

Но мораль, где же мораль? Любезный читатель, в каждом факте, в малейшей тени факта, что мы называем поэмой,

заключаются сотни, миллионы нравственных учений, смотря по тому, как читать их. Из сотни или миллиона нравственных учений, содержащихся и в настоящем факте, я советую тебе в особенности принять к сердцу одно, стоящее остальных: «Я также достиг неизмеримого, таинственного блага жить, и мне даны способности. Должен ли я развивать их в честную или жаждущую одних только чувственных наслаждений деятельность? Или, следуя примеру большинства так называемых порядочных людей, удовлетворять в одно и то же время потребностям той и другой?» Решение этого вопроса крайне важно, – смотри не ошибись при выборе.

Взгляни на дело Калиостро, как на все другие дела, с сердцем, с умом, взгляни на него не только «логически», но и «мистически», и тебе будет ясна та беспристрастная истина, что в великой книге истории самый крупный пасквиль находится в чудесной связи с самым героическим событием, как находится в связи всеозаряющий свет с непроглядным мраком или как уродливые корни находятся в связи с красивыми ветвями, листьями, цветами и плодами, с которыми все вместе они составляют дерево. Припомни, не знавал ли ты общественных шарлатанов более высокого полета, чем наш шарлатан, которые не могли быть упрятаны в крепость Св. Ангела, но в образе великих мира сего совершали свой шарлатанский путь, превращая целые области в одну громадную египетскую ложу, из которой, по своему усмотрению, выжимали деньги и кровь. Припомни также, не встречал ли ты в частной жизни шарлатанов, бесчисленных, как песок морской, бьющихся изо всех сил сделаться хоть полу-Калиострами, – неспособных, жалких ублюдков, перед которыми настоящий Калиостро недосягаемый идеал.

Таков мир. Изучай, презирай и люби его и смело иди своей дорогой, подняв взор к высшим путеводным звездам.

Бриллиантовое ожерелье

Глава I Век романтизма

Век романтизма еще не прошел, он никогда не кончится, а если мы хорошенько поразмыслим, то не заметим даже и малейшего упадка в нем. «Страсти, – говорят, – вытесняются социальными формами, сильных же страстей и вовсе не видать». Нет, есть еще страсти, которые достаточно сильны, чтоб населять сумасшедшие дома, никогда, впрочем, не остающиеся без обитателей; есть еще страсти, заставляющие человека вешаться на столбах своей кровати или доводящие его до вновь усовершенствованной виселицы на западном конце Ньюгейта. Страсть, разбивающая вдребезги жизнь, в которой она образовалась, имеет значение уже в том отношении, что ни одна страсть не проявляла большей силы даже в самый цветущий период романтизма. В страстях, благодаря ли небесным или адским силам, у нас недостатка никогда не будет.

Относительно же социальных форм мы должны сознаться, что они довольно натянутого характера и втискивают людей в жалкие рамки прозаической жизни, так что мы невольно спрашиваем: «Где же романтизм?» «А где его нет», – ответим мы по обычаю шотландцев. Взглянем на бессмертную человеческую природу, способности и назначение которой стремятся в вечность, а благодаря нянькам, наставникам, болтовне старых баб (называемой «общественным мнением»), предрассудкам, привычкам, невежеству и бедности превратившуюся в тот жалкий образчик, который мы встречаем на всех перекрестках. Взглянем на «человека, созданного Богом», но лишенного человеческого характера, принужденного существовать наподобие автомата или мумии, джентльмена или джигмена[6] и таким образом продавать свое прирожденное право вечности за жалкое право есть три раза в день. Не видим ли мы, если у нас есть только глаза, в этом явлении в высшей степени романтический и трагический элемент?

Бессмертное существо барахтается в отвратительной луже. Бесценный дар жизни, которым оно может владеть только один раз в жизни, потому что ждет целую вечность, чтоб родиться, а теперь целая вечность ждет, что оно будет делать, когда родится, – этот бесценный дар стараются исказить всеми способами. И от благородного создания, называемого человеком, не остается ничего более, кроме безжизненной массы с

чувствительными потерями и обманутыми надеждами, которую мы закутываем в саван и опускаем в землю, почтив, разумеется, заслуженными слезами. Для мыслителей здесь целая трагедия или вообще богатый материал для трагедии. Но ведь мало мыслителей! Да, любезный читатель, в том-то и горе, что немногие мыслят. Ни один из тысячи человек не имеет ни малейшего желания мыслить. Но только способен к пассивным мечтам, к повторению слышанного и к активному фразерству. Только немногие из глаз, которыми люди смотрят, могут что-нибудь видеть. Поэтому мир сделался такой нескладной мельницей, что деятельность одного человека перепуталась с деятельностью своего соседа с намерением направить ее на ложный путь, а дух невежества, лжи и ненависти постоянно держится между нами и надеется сделаться господствующим. Таким образом, между прочими вещами, и романтизм жизни совершенно исчез из виду, и вся история, превратившись в пустой список битв и министерских перемен, мертва, как календарь истекших годов, с которым она во многих отношениях имеет значительное сходство.

Во всяком случае, любезный читатель, ты можешь быть вполне уверен, что ни один век не казался самому себе веком романтизма. У Карла Великого, что бы там ни болтали поэты, были свои неприятности в жизни. Если мы вспомним, что он торговал курами и огородными овощами, что у него были похотливые дочери, переносившие к себе секретарей по снегу, что однажды он даже повесил на Везерском мосту до четырех тысяч саксов, то нужно согласиться, что великий Карл бывал иногда в дурном расположении духа. Герою Роланду также было знакомо и вёдро и ненастье, ему нередко приходилось щеголять в дырявых штанах, жевать жесткую говядину и иногда оставаться вовсе без обеда. Его злословили, он часто страдал запорами (что ясно доказывают его безумные выходки), и мир, по всему вероятию, казался ему адом, а сам он считал себя самым жалким существом в мире. Только в позднейшее время, когда жесткая говядина, злословие и запоры были забыты, Турпены и Ариосто начали находить в действиях героя поэзию. Так бывает всегда, потому что истинный герой, истинный Роланд никогда не сознает своего геройства, а в том-то и заключается истинное величие.

Автор этих строк был так счастлив, что даже в нашем бедном XIX столетии подметил немало романтических картин. Он полагает, что XIX век лишь немного уступает в романтизме девятому или какому-либо другому веку с тех пор, как начались столетия. Не считая Наполеона, Дантона и Мирабо – этих феноменов, в сущности, поверхностных, пламенные речи и

грохочущие пушки которых на время затемняли воздух, он в отдаленных местах видел многое, что может назваться романтическим и даже чудесным. Он видел над своей головой бесконечное пространство, десницей Бога усеянное великолепными светилами, молча и величественно свершающими свой вечный путь. Вокруг себя и под ногами он видел чудную землю, с ее снежными метелями и ее ароматным летним дыханием, и что непонятнее всего – он видел самого себя, стоящего тут же. Он стоял в потоке времени, видел вечность за собой и перед собой. Все охватывающий таинственный прилив силы (потому что от силы мысли до силы притяжения каков переход!) безбрежно волновался и нес его с собою, – он только был частью его. Из недр этого прилива поднималась и исчезала, постоянно меняясь, действительная фантасмагория, которую люди называют «бытием». Исчезая и вновь появляясь, сверкая радужными цветами и красками, эта картина принимала другой вид, но, в сущности, была одна и та же. Дубы валились, юные желуди пускали ростки. И людей встречал он, хотя в начале слабых и малорослых, но впоследствии приобретших силу и огонь страсти. В некоторых людях этот огонь чуть тлел, сила была недостаточна, и они превращались в прах, уходили в неведомый мир, посылая ему немое «прости». Он долго бродил у того места, где расстался с ними, но все было тихо и мертво, – они были далеко, далеко!

Только единственная чуть видимая нить в ткани всемирной истории шевелилась, как бы от действия стука, производимого «ткацким станком времени». Поколения за поколениями, сотни, тысячи людей из жизни, полной бурной деятельности, подобно потоку, с громом низвергались в бездну, затем умолкало все, кроме слабого отзвука, да и тот поглощался забвением. Еще новые поколения, и так до бесконечности, последуют этим же путем. И ты, принадлежащий настоящему времени, висишь, как капля, позолоченная солнцем, на краю бездны, – один миг, и эта мрачная бездна поглотит тебя. О, брат, и это ты называешь прозаическим и неинтересным? Неинтересным для тебя? Проснись, ленивый соня, стряхни с себя тяжелый сон, давящий тебя, как кошмар; взгляни на пылающую картину. Великолепие неба, ужасы ада – вот создание Бога, вот человеческая жизнь!

Подобные явления автор этого очерка видел в бедном XIX столетии, но что все это в сравнении с теми явлениями, которые он еще надеется видеть, надеется с полной уверенностью. «Я много изображал, – говорил добряк Жан Поль под старость, – но никогда не видал океана, океан же вечности я, наверно, увижу».

В наше или в какое бы то ни было время поэт, живущий в

нем, всегда найдет немало предметов для описания. Какой бы предмет он ни выбрал, хотя бы самый ничтожный, он всегда может изобразить его действительными, живыми красками, не уклоняясь от истины, древней, как мир, но всегда новой и никогда не кончающейся, неразрушимой части дивного целого, – и его картина будет поэмой. Но насколько труд его будет благодатнее, если он изберет себе предмет не обыденный, но полный чудес, проникнутый таинственной «действительной истиной», заманчивой даже для самих прозаиков.

Автор этих страниц хотя, к несчастью, и принадлежит к числу последних, но тем не менее твердо убежден в двух вещах: во-первых, как о том упомянуто выше, что романтизм существует, а во-вторых, что, как теперь, так и прежде, он существует и существовал только в действительной жизни. Что может быть занимательнее того, что есть? Что может иметь больше значения, в особенности для нас, как не то, что мы существуем? Изучай действительную жизнь, говорит человек самому себе, глубоко исследуй ее бесконечную тайну, познай ее, поучись у нее, поплачь и посмейся над ней, люби и ненавидь ее, и, может быть, ты сроднишься с нею так, что она послужит тебе надежным и прочным фундаментом. Ее иероглифические страницы сделаются твоим постоянным чтением, и ты всегда будешь находить в них новое и новое значение. И не советуют ли нам, наконец, критики возбуждать интерес в других только к тому, что нас самих интересует?

Покоряясь отчасти как этим, так и другим принципам, начинает складываться предстоящий небольшой роман о бриллиантовом ожерелье. Этот роман, в чем читатель может вполне убедиться, не есть плод моего мозга, но часть той таинственной ткани вышеописанного «станка времени». Это событие действительно случилось на нашей земле, и нам остается только передать его во всей правде. При составлении предлагаемого очерка мы не жалели ни усердия, ни труда и, как бы странно это ни казалось, даже не упустили из виду хронологии, географии (или, скорее, топографии), достоверных доказательств и всего того, чего требует добросовестное историческое исследование. Были бы только со стороны читателя подобная готовность и подобное усердие. Освещенная с обеих сторон такой двойственной философией, эта жалкая, темная интрига бриллиантового ожерелья могла бы преобразиться и, подобно бриллиантовой звездочке, видимой без телескопа, блистать – насколько может – на небосклоне всемирной истории.

Глава II Ожерелье сделано

У герра Бёмера или, как называют его теперь, мсье Бёмера, по-видимому, не было недостатка в слабости благородных и неблагородных душ – в любви к славе; ему назначено было прославиться даже более, чем он того желал. Его виды на мир были самого радостного свойства. Он уже давно, насколько мог, изменил свой гортанный выговор на носовой и променял свою скромную саксонскую родину на цивилизованный Париж, где вел хорошие дела. Компаньон достойного мсье Бассанжа, солидного и практического человека, он отличался умением ценить драгоценные камни, обращаться с рабочими, обсуживать их труд. Он смотрел на себя как на значительного члена своего цеха, потому что за большие деньги купил себе титул придворного ювелира и вследствие этого пользовался привилегией входить во всякое время во дворец, между тем как другие ювелиры и даже джентльмены, джигмены и мелкие дворяне должны были томиться в передней.

Перед счастливым Бёмером, карманы которого были наполнены драгоценными вещами, как будто силой талисмана, растворяются великолепные салоны и священные покои. Прелестнейшие глаза в мире блестят еще ярче; ему одному показывается «недоступная» в таинственном неглиже, подает ему и выслушивает от него советы. А разве во время торжественных праздников не восхваляют его произведений? Вся эта великолепная игра цветов, украшающая кафтаны государственных сановников, придворные мундиры и звезды, королевскую корону, лебединую шею красавицы, ее головной убор и пряжки на ее волшебном башмачке, – произведение Бёмера, потому что он ювелир королевы.

И разве человек не мог этим довольствоваться? Нет, он, подобно Икару, захотел подняться слишком высоко; его восковые крылья растопились, и он снова свалился на землю. В один роковой день (по всему вероятию, в 70-м году прошедшего столетия)[7] Бёмеру пришла мысль: «Отчего мне, как ювелиру христианнейшего короля и, собственно, первому ювелиру в мире, не сделать произведение, которому бы равного не было в целом свете?» – «Твоему предприятию никто не может помешать, Бёмер, если ты владеешь необходимым искусством». «Владею ли я искусством или нет, – отвечает он, – но у меня есть честолюбие, и если мое произведение не будет самым лучшим, то по крайней мере будет самым дорогим». Дал ли достойный Бассанж свое согласие на это предприятие или воспротивился ему? Он дал согласие и действует заодно. Составляются планы, делаются модели; посредством денег и кредита добываются драгоценнейшие алмазы; искусные рабочие гранят и

обрабатывают их, и гордый Бёмер видит, как успешно идет его дело.

Гордый человек! Взгляните на него, когда, отправляясь после завтрака в мастерскую, он надевает треугольную шляпу, украшенную галуном, берет трость под мышку и натягивает перчатки, обходит рабочих, делает меткие замечания и выражает похвалу или порицание. Тихая радость сияет на его кротком белом лице. Он знает, что в то время, когда он посещает «недоступную» в ее священном будуаре, «великое произведение», о котором мир ничего не знает, успешно подвигается вперед. Наконец наступает день, когда кончаются заботы и заменяются великой радостью – знаменитое, всемирно знаменитое ожерелье сделано.

«Сделано», – говорим мы по общепринятому обычаю, но, собственно, оно не было сделано, а с большим или меньшим искусством собрано и расположено в требуемом порядке. Любопытна история различных алмазов, с первого их появления на свет или с первого их открытия в отдаленных ост-индских копях! В продолжение целого ряда веков они мирно покоились в горах, затем, когда пробил их час, были вырыты и впервые увидели великолепное солнце и на улыбку его ответили улыбкой, сиявшей тысячами красок и цветов. Потом, может быть, они заменяли глаза языческим идолам, и им приносились жертвоприношения; во время войны их выменивали маркитантам за ничтожное количество водки, они попадали в руки евреям и украшали в виде печатей пальцы белых и черных величеств. Затем не только с пальцами, но и с самой жизнью (как, например, Карл Смелый в битве при Нанси) исчезали в давно забытых победах и таким образом, после всевозможных превратностей, наконец попали под гранильное колесо Бёмера, чтоб соединиться здесь с прочими товарищами, собравшимися со всех концов земли. Каждый из них мог рассказать свою собственную историю, и действительно, если бы эти древние камни, из которых каждому, может быть, насчитывалось шесть тысяч или более лет, могли говорить, каким богатым и поучительным источником были бы они для философии. Но теперь, посредством маленьких золотых капсюлей и колечек, они, так сказать, собраны под знамя Бёмера и расположены в строгом порядке, так что ни один камень не спросит своего соседа, откуда тот явился. Так красуются они на время, чтоб потом снова рассеяться и попасть в другие руки и подобным путем продолжать свое существование до бесконечности. Этим необъяснимым способом как камни, так и люди, да вообще все земное, сперва соединяются вместе, затем отрываются друг от друга и теряются в этом загадочном мировом

хаосе. Это, по мнению Бёмера, называлось «сделать ожерелье». Так говорят и другие люди, руководствуясь при этом еще более слабым основанием. Как часто, например, приходится слышать, как такой-то человек нажил полтора миллиона. Но если поглубже заглянуть в это дело, то окажется, что немного из этих полутора миллионов действительно нажито этим человеком. Не более того, что стоит его искусство, не более ста пенсов. Его нажива походила на труд Бёмера, а именно заключалась в накапливании и собирании денег, которые со временем также должны рассеяться. Тщеславный индивидуум, ты хвалишься, что все дело рук твоих! Да разве эти громадные здания и гранитные скалы, эти прекрасные луга, тенистые рощи, золотистые нивы и светлое солнце, озаряющее их, созданы тобою? Я полагаю, что они созданы кем-нибудь другим. Даже шиллинг, которым ты владеешь, был найден человеческими усилиями в парагвайских рудниках, затем расплавлен и перелит в монету, вероятно, не без ведома нашего покойного защитника веры, его величества Георга IV. Ты владеешь им, но каким способом и когда ты наживешь на нем хоть один фартинг, ты и сам не сумеешь сказать. Если снисходительный читатель спросит меня: «Какие же вещи созданы человеком?» – то я отвечу: «Весьма немногие». Геройство, мудрость иногда создаются; так, например, от сотворения мира было написано только пять или шесть книг. Странно, что их не больше, хотя на это существуют всякие поощрения…

Итак, счастливый Бёмер «сделал» свое ожерелье. По рисунку в натуральную величину, изданному Тоне, продавцом эстампов с рю дель Анфер[8] и впоследствии помещенному аббатом Жоржелем во втором томе его «Записок», любопытный читатель может составить понятие, что за царское украшение было это ожерелье.

Ряд, состоящий из семнадцати великолепных бриллиантов, величиною в орех, первый раз неплотно обхватывает шею. К этому ряду, немного отступя, грациозно прикреплен в трех местах тройной фестон, с целою массою грушевидных, звездовидных и неопределенных форм подвесок, и этот фестон во второй раз окружает шею. Затем, нежно опускаясь и как бы завязываясь узлом вокруг настоящей царицы бриллиантов, великолепной цепью ниспадают на грудь два тройных ряда, кажущиеся неимоверно длинными; одни кисточки их могли бы обогатить немало людей. Наконец, еще два других тройных ряда необыкновенной красоты, также с кисточками, соединяются, когда ожерелье надето и застегнуто, в двойной великолепный ряд, состоящий, в свою очередь, из шести рядов чудных бриллиантов. Разделенные или вместе, они падают сзади шеи, напоминая своим блеском зодиакальный свет или северное

сияние. И все это на белоснежной шее, слегка подернутой розовою тенью, взлелеянной королевской жизнью, – при сиянии люстр, воздушных движениях, кокетстве, во время менуэта, когда каждое движение вызывает сверкание звезд и радужных цветов, таких же светлых, как движения прекрасной молодой души. Чудное украшение, достойное только царицы мира! Да и действительно, оно только ей одной и доступно, потому что его ценят в 1 800 000 ливров, или в 80 000—90 000 фунтов стерлингов.

Глава III Ожерелье не может быть продано

Но расчет твой неверен, Бёмер. Ни одна султанша в мире не наденет твоего ожерелья; ни шея королевы, ни шея ее подданной не станут от него прелестнее. Неужели ты думаешь, что при жалком состоянии наших финансов, когда свирепствует американская война, мы можем бросить на подобную безделку восемьдесят тысяч фунтов? В этом голодном мире эти пятьсот алмазов, годных только для виду, стоят в наших глазах меньше такого же количества сухого картофеля, которым голодающий пролетарий мог бы набить себе брюхо. Гордясь своим положением, своим искусством, ты не замечаешь, самодовольный ювелир, что готовит тебе мир. Ты улыбаешься теперь, но, поверь, придет время, и ты скорчишь другую физиономию.

Когда не было ожерелья, а существовала только одна модель его и самые камни еще «обращались в торговле», оно предназначалось для шеи Дюбарри. Но так как всякой твари наступает конец, то наступил и ей конец, и теперь сидит она в уединении (так занята была в то время смерть) в Сен-Сире, без всяких надежд впереди и на половинном содержании. Великодушная Франция уже не купит для нее ожерелья, и вскоре секира гильотины, которая теперь, может быть, куется в шведской Далекарнии, перерубит ей шею.

Но Дюбарри – ведь это жалкий червяк, которого королевский жар высидел на гнилом навозе в нарядную бабочку, а та, лишившись крыльев, снова обратилась в червяка! Разве нет королевских жен и дочерей: разве украшение не составляет лучшего желания женского сердца, даже если это сердце пусто? Португальский посланник здесь, его суровый Помбаль уже более не министр, в Португалии есть инфанта, намеревающаяся, с Божьей милостью, вступить в брак. Но странно! Португальский посланник, хотя и не боится Помбаля и хвалит ожерелье, но купить его не хочет.

Зачем не купит его наша прелестная Мария-Антуанетта,

сделавшаяся теперь из дофины королевой? Нет в целом мире шеи достойнее носить его. Оно только и сделано для нее. Но увы, Бёмер! Король Людовик знает толк в бриллиантах, но не богат деньгами, даже сама королева отвечает, как подобает королеве: «Мы более нуждаемся в военных кораблях, чем в ожерельях!» Не без неприятного чувства обращается Бёмер к королю и королеве Обеих Сицилий, но все напрасно. На коронованные головы надеяться нечего, ни одна из них не в состоянии истратить восьмидесяти тысяч фунтов. Век рыцарства миновал, и наступил век банкротства. Мрачное, тяжелое предчувствие потрясает все троны: банкротство уже стучится в дверь, и ни один министр не в силах загородить ему дорогу. Оно пытается войти, а за ним уже виднеется громадная огненная лава демократии. Короли «со страхом озираются вокруг» и думают о других вещах, а не об ожерелье.

Наступили печальные дни и ночи для бедного Бёмера, и много обещавший год (1780-й, как мы наконец допытались) оказался в его календаре еще более мрачным, чем все другие. Напрасно в бессонные ночи он будет ломать голову, чтоб разрешить задачу, задача эта неразрешима, как «Карданово правило», – бриллиантовое ожерелье не может быть продано.

Глава IV Сродство: две господствующие идеи

Никогда ни одно, даже самое ничтожное человеческое дело не остается изолировано и покинуто на произвол судьбы. Весь шумный мир, вся стихия таинственной, неустанной силы окружает, подхватывает, толкает его взад и вперед и из всякой вещи – будь то предмет, полный жизни, или сгнивший навоз – извлекает пользу. Нередко для человека, только что закончившего какое-нибудь маленькое дело, бывает интересен следующий вопрос: какой крючок или какие крючки захватят мое маленькое дело и будут кружить его в этом необъятном мировом вихре? Нам нечего говорить, что этот вопрос, даже в самых простых случаях, поставит в тупик всю королевскую академию. Добрая Летиция! В то время, когда ты кормишь грудью твоего маленького Наполеона и он своими большими глазами отвечает на твою материнскую улыбку, мало-помалу приближается знаменитая Французская революция с ее федерациями на Марсовом поле, сентябрьскими убийствами и толпой у пекарен в очереди; Дантон, Демулен, Робеспьер, напоминающий Тартюфа, сидящие теперь на школьной скамье, и Марат, составляющий лошадиное лекарство[9], – готовят ему блестящую арену.

В то время как Бёмер занят своими бриллиантами,

выклевывая их «из торговли», а его рабочие обтачивают их, некий коадъютор и кардинал забавляется охотой и дает ужины в Австрии, и для него-то преимущественно так хлопочет Бёмер и его рабочие. Удивительно, что безумный ювелир, делающий в Париже безумное ожерелье, и безумный посланник, делающий промахи и задающий пиры в Вене, люди, по-видимому, не имеющие ничего общего, отдаленные друг от друга, как полюсы, ежечасно куют друг для друга чудные крючок и петлю. В один прекрасный день они соединят их вместе и, на удивление всего человечества, превратят в искусственных сиамских близнецов.

Князь Луи де Роган принадлежит к числу тех избранных смертных, которые родятся для почестей, но, как все люди, и для всевозможных треволнений. О его родословной могли бы многое рассказать те люди, которые интересуются этим предметом, но если взвесить хорошенько, то и из их рассказов выжмешь немного. Запасшись усердием и верой, его род можно проследить за одно или два столетия, но затем он смешивается с «королевской кровью Бретани» и в конце концов оставляет огромный пробел, отмеченный только одним выдающимся качеством – грехопадением человека. Нас, впрочем, интересует только одно обстоятельство, что его родственники постоянно держались вблизи королевского дома и тут пользовались всем, чем можно было пользоваться. В особенности им нравился сан кардинала или комендатора. Должность эта была самая спокойная, не требовавшая особого труда, но зато в других должностях, где предстояло что-нибудь делать, в должности военачальника, например, и т. п. (чему примером может служить бедный кузен Субиз при Росбахе), они не были так счастливы[10]. Теперешний страсбургский коадъютор, князь Людовик, по случаю великого торжества, занял место своего дяди, кардинала-архиепископа, еще находящегося в живых и не передававшего ему своего сана, но внезапно заболевшего в тот день. Счастливому коадъютору выпало на долю встречать юную, прелестную, трепещущую дофину Марию-Антуанетту при ее первом вступлении во Францию; как человек высокого роста и статный, он играл видную роль в этой церемонии. О других его деяниях до этого времени скромной истории не остается ничего более, как молчать.

И действительно, если даже снисходительно относиться к нему, то невольно возникает вопрос: какие дела мог совершать бедный Роган? Каждое дело требует известных способностей, энергии, ясного, верного понимания – и всего этого недоставало ему. Воспитанный с самого рождения на изысканных физических блюдах, не имея перед собою лучшего духовного учения и лучших

правил в жизни, кроме тех, которые преподавал двор возлюбленного Людовика, он был наделен способностью – что ему еще больше вредило – подмечать зло и презирать его, но лишен энергии отталкивать его, освобождаться от него. Он, достигнув зрелого возраста, обнаружил только дитя страсти и желания и в этом мире несвязной лжи и безумия сам превратился в какую-то безыменную массу безумной непоследовательности, прикрытую только условным приличием и мантией будущего кардинальства.

Разве интрига, мог сказать Роган, не промысел нашего мира, да разве целый мир, в сущности, не есть интрига? Ты видишь, что король в своем Оленьем парке – бог этого пошлого мира, а в битве жизни боевым знаменем нам служит юбка метрессы. Вот твои боги, Франция! При подобных странных обстоятельствах каковы были убеждения и верования бедного Рогана? Был ли он атеист? Нет, он скорее следовал макиавеллизму и непоколебимо верил, что «имбирь приятно жжет рот». Поэтому запасайся свежим и лучшим имбирем, усерднее жуй его – вот и все твое дело, да и то только на один день.

Имбиря, бедный Луи де Роган, достаточно настолько, насколько его можно купить за деньги или дипломатией с заднего крыльца для удовлетворения пяти чувств, для удовлетворения же шестого чувства есть еще более сильный имбирь, это преимущество перед твоими собратьями, заключающееся в обладании более красивым чепраком, чем у них. Страсбургский коадъютор, великий раздаватель милостыни, командир ордена Св. Духа, кардинал, комендатор св. Вааста Аррасского (одна из самых доходных статей в этом мире) – вот титул, который ожидает монсеньора. Всего этого помогает ему достичь его иезуит-опекун, хитрый аббат Жоржель, и торжественно ведет его к почестям, несмотря, хорошая ли погода или ветер при дворе, и заботливо укутывает своего жирного сонного питомца. Говоря мимоходом, этот аббат – весьма деятельное существо и вполне предан монсеньору. Своей паутиной он опутал весь мир, а сам молча посиживает в центре и выжидает добычу. Напрасно король и королева восстают против монсеньора. «Я был у Морепа в 6 часов утра, – говорит, кивая своей лоснящейся головой, лиса, – и уладил все к лучшему». Упомянув здесь о Жоржеле, мы не можем не заметить, что этот иезуит был преоригинальное создание. По наружности вы его примете за человека, по крайней мере за подобие человека, по внутренним же качествам вы сочтете его за камень. А между тем все дышащие существа, даже каменные иезуиты, обладают непонятной симпатией. Иначе как мог бы хитрый аббат и телом и

душой предаться ленивому монсеньору? Каким образом могла бы бедная синичка, пренебрегая своими собственными яйцами и интересами, кормить неуклюжую кукушку и воображать, что ее труды вполне вознаграждены, когда глупый птенец примется жиреть. С помощью иезуитов или других каких-либо средств, Людовик Роган, без всякого участия со своей стороны, делается комендатором св. Вааста и так твердо исполняет там свою роль, что едва ли другой какой комендатор с тех пор, как основал это учреждение король Тьерри, исполнял ее лучше.

По-видимому, природа и искусство соединились вместе, чтоб создать князя Людовика. Хотя его особа украшена всевозможными регалиями и облечена в кардинальскую мантию, но, в сущности, он представляет безобразную смесь противоречий, беспечности, несправедливости, безумных страстей и нелепых привычек. Только благодаря своей пурпуровой мантии и блестящей обстановке держится этот человек, – без этих атрибутов он бы рассыпался в прах. Ему были присущи некоторые душевные порывы, по временам он даже обнаруживал проблески ума и речь его была не лишена огня. Однако он как бы был осужден на неподвижность и бездействие, подавляемый массой своего жирного материала. Если вспомнить об этом, то не представит ли он нам верное изображение жалкого грязного вулкана, который постоянно кипит и клокочет, окруженный непроницаемым облаком паров, пока наконец сильный порыв ветра не произведет в нем страшно нелепого извержения. Вот истинный характер князя Людовика, если б даже разукрасить его большими почестями. Позорное зрелище, которое мир видел не раз, но желалось бы, – хотя, к сожалению, и нельзя надеяться, – чтоб мир не видел его более! Разве не представляется самому бедному Рогану высочайшим безумием, что он облечен в сан пастыря и кардинала Церкви? Безнравственный, развратный человек делается кардиналом, символом, краеугольным камнем невидимой святыни в этом мире. Если б житель Сатурна мог видеть это, то, вероятно, лопнул бы от смеха или упал в обморок от страха и сожаления.

Князь Луи, участвуя в страсбургской церемонии, надеялся произвести некоторое впечатление на прелестную, юную дофину, но, по-видимому, не имел успеха. Может быть, в такие трудные великие дни для пятнадцатилетней невесты и дофины прелестную Антуанетту занимали другие мысли, а может быть, чистая душа ее бессознательно прочла на лице его следы разврата и диких страстей и инстинктивно отвернулась от него.

Между тем в этот же год он отправился послом в Вену, в сопровождении «двадцати четырех пажей благородного

происхождения», одетых в красные штаны, и с такой великолепной свитой и пышностью, что даже его громадные доходы погрузились от этого в неоплатные долги. Кроме того, его сопровождал доверенный иезуит, потому что везде дело обыкновенно устраивалось так: Роган представлял мантию, а аббат Жоржель был в ней спрятавшимся человеком или автоматом. Таким образом, Роган видит раздел Польши, или, скорее, Жоржель видит вместо него, – потому что он может сделать? Он только щеголяет своими красными пажами, которые, между прочим, «занимаются контрабандой» самым бессовестным образом; будущий кардинал въезжает верхом в католическую процессию, потому что она загораживает ему дорогу, охотится, волочится, устраивает сарданапаловские пиры, невиданные в Вене. Аббат Жоржель каждые две недели посылает от его имени депеши. В одной из них он упоминает, как «Мария-Терезия стояла с платком в одной руке и плакала о бедствиях Польши, а в другой держала меч, готовый разрубить ее на части, чтоб присвоить себе следующую долю». Эта несвоевременная шутка сделалась для князя источником многих неприятностей, потому что министр д'Эгильон (даже вопреки своим обязанностям) показал это письмо королю Людовику, король – Дюбарри, чтоб подсластить ее ужин, причем посмеялся над ним. Дело обратилось в придворную шутку, дошло до Марии-Антуанетты, и та запомнила ее. Кроме того, носился слух, что будто бы Роган хулил перед Марией-Терезией ее дочь, но этот слух можно принять за сплетню, потому что набожная императрица не любила и даже презирала его и сильно старалась, чтобы удалить его из Вены.

Таким образом, в розовых мечтах и лунатизме, просыпаясь только для того, чтоб выпить полную чашу наслаждений и затем снова уснуть и предаться мечтам, проводит будущий кардинал свои дни. Жалкий человек! Наш мир не был создан во сне, и в нем не совсем-то удобно спать и мечтать. В этом «ткацком станке времени» (на котором более девяти миллионов голодных людей неустанно ткут и работают) так много нитей срываются с их «вечного веретена», а быстрый невидимый челнок уносится на край света. В то самое время презренный Бёмер, о котором ты не имеешь никакого понятия, плетет из бриллиантов и золота нить, которая впоследствии чуть не задушит тебя.

Между тем Людовик, возлюбленный навеки, покинул свой Олений парк и, посреди едва сдерживаемых насмешек целого мира, занял свое последнее жилище в Сен-Дени. Чувствуя приближение смерти (оспа одержала победу, и даже Дюбарри покинула его), он, как рассказывает аббат, почил в бозе… Итак, он почил, мрак ночи одел его, и ему не придется уже более

оскорблять лик солнца. Оставив его, мы теперь перейдем к изображению если не самой крайней пошлости, то забавных вариантов ее.

Людовик XVI вступил на престол и делает замки под руководством сира Гамена, его прелестная дофина сделалась королевой. Роган воротился из Вены, чтобы выразить соболезнование и принести поздравление. Он привез письмо от Марии-Терезии и надеется, что королева не забудет распорядителя страсбургской церемонии и своих старых друзей. Небо и земля! Королева не хочет видеть его, а приказывает прислать ей письмо. Сам король коротко отвечает ему, что «потребует его, когда он понадобится».

Увы! Наше положение при дворе самое деликатное и непрочное. Мы как будто постоянно кружимся на краю бездонной пропасти. Остановишься, не устоишь на ногах и полетишь вниз, неловкое движение также грозит падением. Еще за минуту перед тем Роган вальсировал лучше всех, но вдруг потерял равновесие и с возрастающей быстротой, следуя геометрической прогрессии, летит пятками вверх.

Всякий сочувственный ум поймет, какое действие произвело это падение на человека с таким бешеным характером, каким был наделен бедный Роган. Его как будто ошеломило, в нем взволновалась вся кровь, напряглись нервы и мозг, а в ушах начался шум как бы от расходившегося ветра. Падение, подобное падению сатаны! Положим, что многих людей удаляли со двора, и каждый из них переносил эту невзгоду, как мог. Шуазель в том же году покинул двор, улыбаясь и грозясь, и увлек за собой чуть не половину довольных двором. Наш Вольсей, хотя некогда ego et rex meus, мог, как говорят, без горячечной рубашки прогуляться в свой монастырь и здесь, перебирая четки, спокойно ожидать другого, более долгого пути. Мелодичный, нежный Расин, когда король поворотился к нему спиной, издал лишь один жалобный стон и с покорностью умер. Но случай с коадъютором Роганом отличался от всех других. В нем не было настолько честности, чтобы умереть, твердости, чтобы жить, и веры, чтобы перебирать четки. У него был вулканический характер, беспорядочный и безрассудный в самом основании. При этом вся его карьера при дворе походила на игру, где потеря козыря, т. е. сердца королевы, могла бы ему причинить только бесплодное отчаяние. Другой игры у него не было ни в этом мире, ни в будущем. А тут еще неугомонный вопрос: за что такая немилость? По-видимому, насмешка его или Жожеля над «платком в одной руке и мечом в другой», накликавшая, может быть, все это горе, давно испарилась из его памяти. Выглядывая из своей дымящейся

сопки, он может видеть, как там, в лазурном царстве, некогда бывшем и его достоянием, вращаются, вкушая райское блаженство, все эти графини де Марсан, Ришелье, Полиньяки и другие счастливцы, между тем как он!..

Но надежда, как известно, вечно живет в человеческом сердце. Отвергнутый Роган устремляет все свои помыслы, способности и желания к одной цели, – он или достигнет этой цели, или угодит в сумасшедший дом. К каким средствам не прибегал он, сколько дней и ночей потратил на совещания и размышления, сколько писем исписал, перепробовал интриг и съел ужинов – все напрасно! Желанная цель – это его утренняя и вечерняя молитва. Он падает под бременем неудач, встает, чтобы снова упасть. Взгляните на него, когда он в красных чулках в сумерках бродит в Трианонском саду, подкупает привратника, хочет видеть королеву наперекор этикету и судьбе. Может быть, она сжалится над его долгом и страданием, прикоснется к нему и исцелит его. Экипаж ее величества быстро мчится мимо вместе с сидящими в нем особами, головы которых украшены высокими перьями. Кардинала узнают по его красным чулкам, но не глядят на него, а смеются и оставляют его стоять, подобно соляному столбу.

Таким образом проходят десять долгих лет, наполненных постоянно новыми желаниями, новым отчаянием и беспрестанными поездками из Саверна в Париж и из Парижа в Саверн. От несбывшихся надежд страдает сердце. Жоржель и кузина де Марсан, красноречием и влиянием и «стоя перед постелью Морена еще в шесть часов утра», добились для него архиепископского сана, звания великого раздавателя милостыни и, наконец, чтоб улучшить его доходы и успокоить евреев-кредиторов, укрепили за ним тучное комендаторство, основанное еще королем Тьерри… «Прекрасно, – шепчет измученный Роган, – но все не то, что мне нужно, – увы! Глаза королевы не глядят на меня».

Аббат Жоржель, следуя своему собственному дипломатическому правилу, утверждает, что монсеньор был сильно возмущен этими неудачами и совершенно изменился. Он ударился в «каббалистику, погнался за эликсирами, любовным напитком и философским камнем», – одним словом, вулканические пары сделались гуще и наконец, благодаря волшебству Калиостро (потому что Калиостро и кардинал по сродству душ должны были сойтись), превратились в непроницаемый лондонский туман. А когда раздосадованный монсеньор удалялся от света и вел войну с прислугой и подчиненными, то само собой разумеется, что нелепые

извержения учащались. Хотя сорок девять зим пронеслись над кардиналом и под бритвою падает уже его поседевшая борода, – годы не научили его опытности. Им овладела господствующая идея.

Безумный кардинал! Разве земля обнажилась и сделалась табачного цвета, что пара глаз не смотрят на тебя? Вероятно, у тебя есть еще тело, и частица души живет в нем. Твое здоровое тело, несмотря на слезы и огорчения, одарено не только пятью чувствами, но носит и почетную одежду. Оно облечено властью над многими, украшено кардинальскою мантией и шапкой, разными титулами и почестями, которые скучно и перечислять. Звезды загораются ночью и несут весть даже тебе, если ты хочешь слушать, с бесконечной синевы, солнце и луна вносят перемену во времена года, одевая зеленью, украшая цветами и золотыми нивами эту древнюю вечно юную землю и наполняя ее грудь питательным материнским молоком. Хочешь трудиться? Целая энциклопедия (не только Дидро, но и Всемогущего) лежит перед тобою, и ты можешь на ней испытать свои способности. Если же у тебя нет ни способностей, ни понимания, то разве у тебя нет пяти чувств? Заказывай блюда какие пожелаешь, пей вино, которое тебе нравится. Твои доходы, сладострастный пастырь, простираются до четверти миллиона фунтов, а ты и не думаешь исправиться. Ешь, безрассудный кардинал, ешь с жадностью, а по счету уплатишь после! Глаза Марии-Антуанетты тут ни при чем, – они не могут ни разрешать, ни запрещать тебе этого делать.

Но разве кардинал, эта грязная вулканическая натура, в этом отношении безумнее всех сынов Адама? Пусть только мудрейшим из нас овладеет хоть на время «господствующая идея», и мы увидим, куда денется его мудрость. Охотник за сернами, после произнесения над ним приговора, семь лет работает в ртутных рудниках, возвращается домой отравленным до мозга костей и на другой же день снова идет на охоту. Царь уриналов Кардалион, написав балладу в честь бровей своей возлюбленной, которая отвергла его, кончает свою безумную жизнь по способу Вертера, вовсе не подозревая, что на нашей прекрасной планете есть целые миллионы возлюбленных, похожих на нее. О, безумные люди! Они продают свое наследство за пустую прихоть (как сделала их прародительница), если бы даже это наследство заключалось в раю. Разве нет людей, готовых бороться не только с картечами и виселицами, но и с самим адом, чтоб только иметь за столом свой любимый соус? Друзья мои, берегитесь «господствующей идеи»!

А вот перед нами Бёмер, в черепе которого засела та же идея. Со своим неразрешимым «кардановым правилом», сиречь ожерельем, он в продолжение трех лет перебывал во всех дворцах

и посольствах, отыскивая на земле, в море и в воздухе покупателя. Разобрать свое ожерелье по частям и, таким образом, потеряв свой труд и ожидаемую славу, расстаться со своей идеей, а алмазы «пустить в оборот» – это все равно что выгнать из себя засевшего беса. И действительно, в нем сидит бес – безумная цель, которую он хочет достичь или идти в сумасшедший дом. Кредиторы преследуют его, несбывшиеся надежды, потерянный труд еще более терзают его, и к этим-то мучениям приковывает его господствующая идея. Поэтому и неудивительно, если мозг этого человека немного высох от подобных треволнений.

Посмотрите на него, как он пробирается в покои королевы, бросается, по рассказу г-жи Кампан, к ногам ее величества, воздевает, обливаясь слезами, руки к небу и умоляет ее или купить ожерелье, или дать ему королевское повеление утопиться в Сене. Ее величество, сочувствуя бедственному положению человека, советует ему разобрать ожерелье и при этом прибавляет тоном королевского упрека, что если он хочет топиться, то может сделать это во всякое время и без ее разрешения.

Ах, если б он утопился с ожерельем в кармане и вместе с кардиналом и комендатором! Короли, в особенности же прелестные королевы, как далеко светящиеся маяки, зажженные на высотах мира, привлекают к себе сумасшедших людей. Если эти две господствующие идеи, осаждающие прелестную королеву и угрожающие разрушить самые стены ее дворца, когда-нибудь соединятся, но не для того только, чтоб утопиться в Сене, – какой безумный результат выйдет из всего этого!

Глава V Артистка

Читатель в нашем фигуральном повествовании видел только фигуральный крючок и фигуральную петлю, которые Бёмер и Роган, каждый отдельно, вдали приготовляют друг другу. Теперь же он увидит ловкую модистку (действительную, а не метафорическую модистку), с которой эти два индивидуума войдут в сношения, сцепятся и превратятся в громадных сиамских близнецов, вследствие чего, естественно, узел завяжется – и затем последует развязка.

Жанна де Сен-Реми, из вежливости или по другим причинам названная графиней де Валуа или даже «де Франс», в 1783 году была двадцати семи лет, и ее уже порядочно пощипала судьба. Она хвалилась, что так называемым «незаконным» путем происходила от королевской крови. Генрих II, прежде чем копье на турнире выкололо ему правый глаз и причинило смерть, содержал, как кажется, последовательно или одновременно,

четырех не упомянутых в истории женщин, и от третьей из них появился на свет Генрих де Сен-Реми. Как гордый и знатный вельможа, он промотал свое состояние и проводил остальные дни в пожалованном ему имении Фонтетт, близ Бар-сюр-Оба, в Шампани. За этим вельможей в Фонтетте последовало шесть других поколений, и, таким образом, наконец, после двух столетий, появилась эта живая, маленькая Жанна де Сен-Реми, о которой идет речь. Но увы, какое падение! Королевское семейство почти забыло о потомках боковой линии, и последний могущественный вельможа, наследство которого уже было порядочно пощипано его предшественниками, предался пьянству и действительно выпил до дна свою чашу. Промотав постепенно свое состояние, он очутился без самого необходимого, даже без «невыразимых», и умер наконец в Отель Дье в Париже, радуясь, что это не случилось на улице. Таким образом, он хотя и передал маленькой Жанне и ее брату незаконную королевскую кровь, но оставил их без куска хлеба. Мать, вследствие крайности, делает изумительные связи, а Жанна с братом отправляется на большую дорогу просить милостыню[11].

Добрая графиня Буленвилье, увидев из окна своей кареты маленькую нищую со светлыми глазками, берет ее к себе, одевает, воспитывает по такой странной системе, что в двадцать лет делает из нее модистку, субретку, придворную попрошайку, светскую даму и королевского отпрыска. Печальная комбинация промыслов! Двор, после бесконечных просьб, награждает ее скудной ежегодной милостыней в тридцать фунтов. Дерзкий граф Буленвилье с намерением, известным ему одному, осмеливается предлагать ей подозрительные подарки[12], вследствие чего добрая графиня, так как модное мастерство идет плохо, полагает, что Жанне лучше всего ехать в Бар-сюр-Об и посмотреть, нельзя ли хитростью или угрозой добыть там хоть какую-нибудь частицу из отчужденного имения Фонтетт, которым владеют, может быть, незаконно. Бросив в огонь свои выкройки, положив в карман свой пенсион, Жанна отправляется в путь. В это время ей было двадцать три года.

Воспитанная таким оригинальным способом, между кухней и салоном, с большими претензиями и маленькими средствами, наша маленькая модистка обладает «если не личиком красавицы, то некоторой пикантностью», черными волосами, голубыми глазами и характером, который автор настоящего очерка считает неразъяснимым. Пусть психологи попытаются объяснить его! Жанна де Сен-Реми жила действительно и даже в разное время напечатала три объемистых тома своей автобиографии с неизвестным количеством записок, которые всякий может читать,

но не понять[13]. Странные тома! Они скорее походят на крик ночных птиц, испуганных факелами охотников, чем на толковое изложение бесперого двуногого. Если допустить, что все ее показания ложны, то невольно спросишь: как мог смертный лгать до такой степени?

Психологи жестоко ошибаются, когда стараются найти в каждом человеческом характере совесть. Так как они большей частью созерцательные затворники, признающие нравственность душой жизни, то и судят весь мир этим способом, а между тем, в чем согласны и практические люди, жизнь может идти и без этой прихоти. В чем заключается вся суть жизни? В силе воли.

Но углубись дальше, и ты найдешь более общий характеристический корень: пищеварение. Пока пищеварение продолжается, жизнь, говоря философским языком, не может угаснуть; оно образует достаточно воли, т. е. желаний и намерений, составляющих волю. Тот, кто видит не дальше кладовой или гостиной – последняя служит также отделением кладовой, – не нуждается в мировой теории, в вере, как ее называют, или в правилах долга. Предоставляя миру забавляться этой теорией, он полагает свою главную цель в теории и практике способов и средств. Не в добре или зле заключается его идеал, а в сноровке.

И теперь, устранив препятствие, мы предоставляем психологам взглянуть на это дело с более смелой точки зрения. Пусть посмотрят они на бойкую Жанну де Сен-Реми, как на искру деятельной жизни, не развившуюся в волю, но полную всевозможных желаний и брошенную в ту стихию жизни, которую мы видели. Тщеславие и голод, принцесса крови, отец которой продал свои «невыразимые», воспитанница любвеобильной графини с ветреными надеждами, заурядная субретка, модистка, светская барыня без денег – все эти обстоятельства соединились, чтоб сделать ее положение в мире самым грустным и жалким. Она принадлежит к тому легкомысленному классу, который varium semper et mutabile. Затем она светская дама, хотя и без денег, капризная и кокетливая, с чувствительным сердцем, то грустная и задумчивая, то веселая, прибегающая к противоречивым решениям, смеющаяся и плачущая без всякого повода, хотя эти действия и называются признаками рассудка. Какой лестью, прислужничеством, унижением приходилось ей пробивать дорогу, сколько предстояло ей борьбы из-за денег, так как, кроме них, она не знает никакого производительного промысла. Мысль едва ли в ней существует, а только сноровка и хитрость. Она наделена рысьими глазами, которые могут видеть одни только верхушки, но дальше не в состоянии проникнуть.

Каждая отдельная вещь, каждый день представляются ей в новом виде. Так кружится ее пылкая душа среди беспорядочного вихря золоченых лоскутьев, бумажных обрезков и благоприятных обстоятельств. Вероятно, и ты, читатель, за твои грехи встречал подобные прелестные создания, очаровывавшие тебя своими веселыми глазами и причудливыми капризами. Их можно видеть и в высшем кругу, и даже в литературе. Они жужжат и порхают на грациозных крыльях и с изумительным искусством отыскивают себе мед – они неприручимые, как мухи!

С изумительным искусством отыскивают мед, говорим мы, и действительно, это качество составляло принадлежность графини Сен-Реми. Ее инстинкт гениален, чуден, ее аппетит ненасытен. В спекуляциях подобного рода, несмотря на все отсутствие у нее идеи, она перещеголяет целую сотню мыслителей. И такая-то неприручимая муха, мадемуазель Жанна, жужжит теперь в дилижансе, отправляющемся в Бар-сюр-Об, чтоб взглянуть и обнюхать кувшины с медом, расставленные в Фонтетте, и узнать – нет ли в них трещины.

Но увы, в Фонтетте мы только с грустным чувством можем любоваться соломенными крышами, под кровом которых нас выкормили, фермерами, любезно предлагающими нам топленое молоко и другие деревенские яства, – но никому не хочется расстаться с собственностью, за которую, хотя и недорого, но все-таки заплачены деньги. Итак, к кувшинам с медом нет доступа. Между тем в это время некий мсье де Ламотт, рослый жандарм, живет в Бар, куда приехал в отпуск из Люневиля, дарит нас своим вниманием, даже усиливает это внимание, потому что у нас пикантное личико, бойкий язык, ловкие кошачьи манеры, тридцать фунтов пенсиона и надежды. Положим, что мсье де Ламотт теперь только рядовой, но рядовой в корпусе жандармов, а разве отец его не пал, сражаясь во главе своего отряда под Минденом? Отчего девице Сен-Реми, в силу графского титула, не сделать его также графом и тем выдвинуть его по службе? И дело действительно было покончено, прежде чем истек срок отпуска. Неприручимая муха опять зажужжала, выйдя замуж за Ламотта, и если не добыла меда, то ускользнула от пауков. Теперь она в Люневиле кокетничает и капризничает, но положение ее все-таки довольно безутешно.

После четырех долгих лет Ламотт, или, как мы будем теперь называть его, граф Ламотт бросает в сторону свое оружие (к несчастью, один только мушкет) и делается гражданином, т. е. человеком, созданным не для того только, чтоб его убивали. Но увы, холодный мрак окружает теперь жизнь Ламоттов.

Правда, графиня Буленвилье шлет чувствительные письма, но

королевские финансы тем не менее сильно расстроены. Без личных настоятельных просьб ни один пенсионер двора, получающий даже самое скудное содержание, не может надеяться на прибавку. Между тем в Люневиле светит солнце, существует жизнь, но только не парижская, а какая-то неполная, бедная. Лавочники делаются настойчивее, самые смелые выдумки не действуют на них, одни только деньги в состоянии успокоить их. Комендант города, маркиз д'Отишан[14] соглашается с графиней Буленвилье, что самое лучшее средство – это отправиться в Париж, куда он и сам намерен ехать.

О, изменник маркиз! Его план виден насквозь, он имеет смелость волочиться за королевским отпрыском или по крайней мере намекает, что имеет право это делать. Оскорбленный граф де Ламотт, не теряя времени, как мы уже сказали, подает в отставку и бросает свое огнестрельное оружие. Король теряет рослого солдата, мир приобретает нового плута, а мсье и мадам де Ламотт в это время садятся в дилижанс, отправляющийся в Страсбург.

Но доброй графини Буленвилье уже нет в Страсбурге, она отправилась в Саверн с визитом к кардиналу и князю Людовику де Рогану. Наконец-то, по воле судьбы, наступило время, когда, после долгого странствования по различным путям, из девятисот миллионов обитателей земного шара эти два обитателя, назначенные друг для друга, сойдутся лицом к лицу.

Безумный кардинал, убедившись, что никакие земные средства, даже подкуп трианонского привратника, не помогут ему, решился прибегнуть к сверхъестественным силам, к искусству Калиостро, который отныне будет руководить всеми его идеями и действиями. Для голодающего гения графини Ламотт кардинал и Калиостро должны были иметь значение. Нетрудно вообразить, какое удивление, какой вздох вырвался из ее груди при виде неисчерпаемого богатства (громадные долги в этом случае бывают невидимы), находящегося в руках безграничной глупости, и какая надежда затем осенила ее. Но увы, что значит в глазах именитого кардинала какой-нибудь бедный отпрыск королевской крови, хотя и с пикантным личиком? Пребывание доброй Буленвилье в Саверне может продлиться не более трех дней, и затем, после всевозможных чувствительных сцен и слез, графине де Ламотт и ее мужу придется ехать с ней в Париж, чтоб добиваться новой милости при дворе. Но если небо снова омрачится, то неясный еще теперь призрак в Саверне может послужить предвестником хорошей погоды.

Глава VI Соединятся ли две господствующие идеи?

Между тем небо, по обыкновению, снова омрачилось. Королевские финансы, повторяем, находятся в жалком состоянии. Ни д'Ормессон, ни Жоли де Флери, утомившись от бесплодных усилий, не могут увеличить ни на один грош эти несчастные тридцать фунтов. Сам Калонн, имеющий внимательное ухо и ободряющее слово для всех смертных без различия, только с трудом и при помощи королевы успевает возвысить сумму до шестидесяти пяти фунтов. К несчастью, добрая Буленвилье через несколько месяцев умирает. Огорченный вдовец, сидя с закрытыми ставнями в комнате, обтянутой черным сукном, при зажженных лампадах, которые, впрочем, по удалении соболезнующих друзей, тут же гасит, чтоб сберечь масло, имеет снова дерзость делать оскорбительные предложения[15]. Кроме того, безжалостный человек ограничивает стол Ламоттов и хочет покорить добродетель положительным и отрицательным способом. Они же, чувствуя холод, которым начинает попахивать подобная жизнь, спешат поскорее убраться.

Ламотт-муж, чтоб укрыться от бедности, спускается в «подземные норы шулерства и плутовства» и старается хоть на время пожить, если только сжалится Бог или поможет дьявол. Жена его также собирает свой скарб, посылает неинтересному графу Буленвилье презрительное «прости» и отправляется в Версаль. Здесь поселяется она вблизи двора, чуть не на чердаке, питаясь одной кашей и выжидая будущих событий. Так много случилось и прошло за несколько месяцев этого рокового 1783 года.

Бедная Жанна де Сен-Реми де Ламотт Валуа, экс-модистка и королевский отпрыск! Чей взор, глядя на твое бедное жилище и глиняное блюдо с кашицею, не отуманится слезой! Тебе, владеющей бойкими, живыми глазами, пикантным личиком, неукротимым характером, резким языком, желаниями и капризами и брошенной со всеми этими качествами в этот мир, приходится здесь сидеть. А между тем нужно платить по счетам, добывать свежие шелковые платья и «держать джиг»! Ты должна слоняться из одной передней в другую, быть страшилищем в глазах знатных лиц и женщин, имеющих на них влияние. Вместо того чтобы веселиться, тебе приходится плакать, благодарить, истощать все свое красноречие, может быть, прибегать к кокетству, чтоб улучшить свои скудные средства, и таким образом, в постоянной борьбе с бедностью и холодом, но с горячей, юной кровью плести слабую, неровную нить, которую скоро перережут ножницы Атропосы.

Савернский призрак по-прежнему предвещает хорошую погоду. Но надежды еще увеличиваются, когда кардинал с первыми весенними днями приезжает в Париж, что он имеет обыкновение делать периодически, благодаря влиянию своей господствующей идеи.

В чем же состоит механико-практический гений, как не в слиянии двух сил, пригодных друг для друга и порождающих третью. Еще во времена Тубалкуина ковалось железо, кипела вода, но, за недостатком гения, не было паровой машины. В князе Людовике, в этом громадном, беспокойном и беспорядочном существе, поверь, смелая графиня, живут глубокие и разнообразные силы, а господствующая идея превращает всю эту громадную, бессвязную массу в одну силу, в которой гениальный взор, вероятно, отыщет себе что-нибудь подходящее.

Имея знакомство с придворной челядью, наша смелая графиня не раз слышала о Бёмере, о его ожерелье и угрозах утопиться в Сене. Во время сплетен и болтовни эта история нередко всплывает наружу; о ней толкуют со смехом, как будто в ней нет никакого смысла. Для обыкновенных глаз, разумеется, нет, но для гениальных глаз? В минуту вдохновения в нашей смелой Ламотт возникает вопрос: нет ли во всех этих силах какой-нибудь родственной силы, которая могла бы соединиться с силою Рогана? И эта минута была великая, подобная блеску молнии, рождению Минервы, подобная моменту мироздания! Как бьется пульс, как захватывает дыхание пред ее величием: не божественная, а дьявольская идея величественна для нее. Мысль (как часто мы должны повторять это) управляет миром; огонь и, в меньшей степени, холод, суша и море (что означают все наши корабли или пароходы, как не мысль, воплощенную в дерево), парламенты, возвышение и падение народов – все вещи повинуются мысли. Графиня де Сен-Реми, силою мысли, сделалась безумной женщиной. Посредством гения она обнимает свою небожественную идею и употребляет все свои способности для ее осуществления. Приготовься, читатель, для целой серии изумительных представлений, когда-либо являвшихся на театральных подмостках.

Мы нередко слышим, как, рассказывая о драматическом писателе или сценической иллюзии, говорят: «Как естественно, как обманчиво все было!» Если зритель хоть наполовину мог поверить, что это была действительность, то он выходит из театра вдвойне довольным. Против этого или чего-нибудь подобного я не спорю. Но что сказать о женщине-артистке, которая в продолжение восемнадцати длинных месяцев может показывать кардиналу великолепную фата-моргану, – кардиналу, совершенно

бодрствующему и над головою которого пронеслось пятьдесят лет. Она до такой степени увлекла его сценической иллюзией, что он вполне поверил, что все это твердая почва, а на картонных деревьях растут яблоки гесперид. Могла ли г-жа Ламотт после этого написать «Гамлета»? Я положительно говорю – нет. Для создания Гамлета требуется более чем «подражание» всем характерам и предметам на этой земле; здесь требуется прежде и сверх того редкое понимание их тайной связи и гармонии. Обезьяна Эразма, как известно из истории литературы, подражала малейшему движению своего господина, когда он брился, а между тем ее глупый подбородок не сделался от этого глаже.

Перед представлением драмы не следует ходить за кулисы и смотреть на сожженную пробку, толченую смолу, истощенных, голодных мужчин и женщин, из которых составлено героическое произведение. Так и читателю только на время будет позволено заглянуть за кулисы, но что касается целого, то подави в себе научное любопытство, читатель, дай сперва место твоему эстетическому чувству и взгляни, в какой Просперов грот будет введен Роган, чтобы там радоваться не зная чему.

Сперва обрати внимание на то, что мы называем освещением, оркестром, общей театральной обстановкой, настроением и расположением слушателей. Театр – это мир с его непрерывными заботами и безумием; вблизи возвышаются королевские купола Версаля, окруженные таинственностью, а на заднем фоне – тысячелетнее воспоминание. По берегу Сены прогуливается исхудалый, убитый горем королевский ювелир с ожерельем в кармане. Слушателей изображает кардинал в самом удобном расположении духа. Господствующая идея несет его по крутизне, и он в отчаянии готов ухватиться хоть за соломинку. Кроме того, поймите еще то: Калиостро пророчит ему! Шарлатан из шарлатанов уже несколько лет руководит им. Он передает ему «шифрованные предсказания», вопрошает перед иероглифическими ширмами голубей в состоянии невинности о жизненном эликсире и философском камне, раскрывая перед ним воображаемое величие природы и отдаляя его от здравомыслящих людей. Разве не достаточно было того, что Роган сделался вялым, взбалмошным, вечно дымящимся грязным вулканом, – нет, нужно было, чтоб египетская магия завладела им.

А если прибавить к тому графиню Ламотт с ее соблазнительным искусством? Хотя она не красавица, но все-таки обладает «некоторой пикантностью» и т. д.! Одним словом, бедного кардинала усадили на самое удобное место, он в самом удобном расположении духа, а теперь прикоснись к свечам

зажженным фитилем и заставь оркестр играть нежную и приятную увертюру!

Глава VII Мария-Антуанетта

Такая приятная и нежная увертюра началась для кардинала в первых числах января 1784 года, когда графиня таинственно, взяв с него клятву молчать, намекнула ему, что благодаря своему бойкому языку и таланту рассказывать анекдоты она получила доступ к ее величеству королеве. Боги! В твоих словах небесная мелодия, на твоем лице еще сияет тот свет, который озаряет все. Люди, одержимые господствующей идеей, не похожи на других людей. Слушать рассказ, ловко придуманный артисткой, вникать в смысл каждого слова, упиваться им – вот все, что оставалось делать безумному кардиналу. Его бедная, ленивая, так нежно убаюкиваемая душа чувствует, как проникла в нее новая стихия, и свет озарил пустыню его воображения. Интересуется ли он таинственным рассказом? Да, да, надежда овладевает им, и ничто в мире не интересует его теперь, как этот рассказ.

Тайная дружба с королевой не такая вещь, чтоб оставаться в бездействии. Происходят новые свидания во дворце, но только под величайшим секретом, потому что иначе ее величество может возбудить подозрение придворных мужского и женского пола, зорко следящих за ней. 2 февраля, в день «процессии кавалеров голубой ленты», было говорено о многом, но преимущественно о монсеньоре де Рогане. Бедный монсеньор, если б у тебя было три длинных уха, то и тогда бы ты услышал этот разговор.

Но при следующем свидании не замолвить ли ей доброго словечка о тебе? Ты сам должен сказать его, счастливый кардинал, или по крайней мере написать, а наша покровительница-графиня передаст его по принадлежности. 21 марта отправляется умоляющее письмо, это было первое письмо кардинала к королеве, за ним следуют две сотни других. На письмо отвечают словесно через посланную, затем автограф королевы появляется на золоченой бумаге, и все это передается нашей покровительницей-графиней, которая хлопочет изо всех сил и со степенной важностью римского авгура делает свои предсказания. Дело на полном ходу. Дофина, по рассказам графини, хотя некогда и негодовала на монсеньора, но теперь, сделавшись королевой, забыла все. Она добрая, снисходительная, но, к сожалению, окружена лукавыми Полиньяками и другими да иногда страдает безденежьем.

Марию-Антуанетту, как читателю, вероятно, известно, немало упрекали за недостаток этикета. Даже теперь, когда другие

обвинения против нее преданы забвению, обвинение в недостатке этикета пережило ее. В замке Гам в эту минуту (1833), может быть, Полиньяки и компания ломают себе руки и причину своего заключения приписывают ей. Но во всяком случае, она пренебрегала этикетом: так, однажды, когда у нее сломался экипаж, она села в наемную карету. В Трианоне она постоянно гуляла в соломенной шляпке и кисейном платье. С тех пор как узел этикета был развязан, французское общество рушилось и наступили изумительные «ужасы Французской революции». На каком волоске, подумаешь, висит дамоклов меч над нашею несчастной землей!..

Высокорожденная! В какую бездну низвергли тебя! Есть ли хоть одно человеческое сердце, которое не почувствовало бы сострадания к тебе, вспомнив о длинных месяцах и годах твоего позора? О твоем детстве в императорском Шенбрунне, где заботились, чтобы грубое дыхание ветра не коснулось твоего лица, где твоя нога покоилась на мягком ковре, а твой взор встречал только роскошь и великолепие? И затем о твоей смерти и страданиях, для которых гильотина и Фукье Тенвиль были благодетельным концом? Взгляни, о человек, рожденный женою, как поседела от горя эта прелестная голова, потух блеск этих глаз, опухли веки и по лицу разлилась мертвенная бледность. Простое, жалкое платье, сшитое собственными руками, прикрывает царицу мира. Роковая телега, на которой ты сидишь, бледная и неподвижная, окруженная проклятиями, остановилась; народ, опьяневший от мщения, снова хочет упиться им при виде тебя. Насколько видит глаз, всюду виднеется море голов; воздух оглашается торжествующими криками. Полумертвая еще раз испытывает последнюю муку; на ее испуганном лице, которое она спешит закрыть руками, еще раз появляется румянец стыда и отчаяния. Неужели нет сердца, которое бы сказало: «Господи, сжалься над нею!» О таком сердце нечего думать. Думай только о распятом страдальце, которому ты молишься и которому пришлось испить еще более горькую чашу мучений, восторжествовать над ними и создать «святилище скорби» для тебя и всех несчастных. Скоро кончится твой тернистый путь. Еще один последний взгляд на Тюильри, где жизнь твоя была так легка и где детям твоим не придется жить. Голова твоя на плахе; секира падает… мир онемел, – этот дико ревущий мир, со всем его безумием, исчез для тебя…

Высокорожденная красавица, в какую бездну низвергли тебя! Покойся в твоем невинно-грациозном уединении, которое еще не осквернили грубые руки, – я не потревожу тебя. Да будет священна для меня завеса, скрывающая королевскую жизнь. Вина

твоя во Французской революции заключалась в том, что ты была символом тысячелетнего греха и преступлений, что варфоломеевские ночи, жакерии, драгонады и оленьи парки переполнили чашу человеческого терпения и довели народ до безумия. Тебе не суждено было быть ни женою Кромвеля, ни Наполеона, – они сами по себе невысокого происхождения, но благодаря потрясениям и смутам играли в государстве высокую роль. Как счастливы, достойны были бы вы оба бедными крестьянами! Но злая судьба создала вас королем и королевою, и вы сделались предметом удивления и притчею на все времена.

Глава VIII Обе господствующие идеи соединяются

«Итак, графиня де Ламотт втерлась в доверие королевы? И эти золоченые автографы действительно написаны королевой?» – Читатель, не забудь унять свое ненасытное научное любопытство! Мне только известно, что существует некто Вильет де Рето, украшенный усами, гражданин мошенничества, товарищ графа де Ламотта, искусно подделывающий чужие подписи. Известно также, что графиня проникла в Трианон – к привратнику. Кроме того, как допускает и сама г-жа Кампан, она встретилась у одного акушера в Версале с достойным камердинером королевы Лекло или Декло, так как относительно имени существует разногласие. С этими или подобными людьми она может в задних комнатах дворца (особенно в позднее время) поймать на лету какую-нибудь шутку или слизнуть пену со стакана шампанского. Далее пока не будем разоблачать ее достоинств или анатомически разбирать их, а предоставим ей самой осуществить волю судьбы.

Скептик, видишь ли, как, в ожидании неизреченного свидания, кардинал, освещенный луною, прогуливается по задней террасе? Он совершенно закутан, оглядывается с беспокойством и страхом и ищет тени. Она идет, укутайся хорошенько в свой плащ, нахлобучь шляпу, потому что ее провожают. Но нет, – это добрый камердинер Лекло, – его сейчас же отсылают как ненужного. Но тем не менее заметь его, монсеньор, тебе придется с ним встретиться в другое время. Монсеньор не обращает внимания, – все его сердце теперь устремлено на неизбежное свидание, на золоченый автограф. Камердинер Лекло? Да мне сдается, что у него фигура Вильета, гражданина мошенничества! Не может быть!

Но каким образом графиня уладила дело с Калиостро? Калиостро, уехав из Страсбурга, находится теперь далеко, парит где-нибудь в мрачном пространстве и прибудет сюда не ранее как через несколько месяцев, – одни только шифрованные

предсказания его здесь. Здесь или там, но, во всяком случае, Калиостро может быть полезен нашей графине. С первого взгляда ее гениальный глаз подметил, что в нем целая бездна лжи, тщеславия, обжорства и дерзкого тупоумия, состоящая из перегнившего, но жирного элемента, весьма удобного для растения, которое она хочет развести. Она в состоянии обмануть того, кто обманывал всю Европу. Что значат все его голубки, дьявольское масонство, египетский эликсир для ветреной болтуньи, практической Ламотт? Хорошие или дурные поступки стекают с нее, как с клеенки. Между тем на словах она уважает его, масло лести – лучшее патентованное средство, предотвращающее все недоумения.

Впрочем, графом Калиостро овладевает по временам неприятное чувство, – ворон не любит ворона. Но что делать ему? Если она частью уже разыгрывает «его» роль, то разве он не может во всякое время опрокинуть ее чашу и ее самое выбросить за дверь? Нередко, в веселых оргиях, эта соблазнительная графиня, имеющая, может быть, виды на его сердце, кажется ему одною из тех воздушных бабочек, которые порхали вокруг него во всех странах и которых он проглатывал своим свирепым рылом.

Кардинал де Роган совершенно спокоен, находясь под покровительством соблазнительной графини и шарлатана из шарлатанов. Его вулкан, удаленный от всего мира, клокочет незаметно в густом египетском тумане. Он видит перед собою движущиеся фигуры, похожие на людей, но не старается хорошенько вглядеться в них. Друзья смеются над ним, он отвечает молчанием, но если их шутки заходят далеко, то разражается нелепым, страшным взрывом. Друзья, да и все человечество, представляются ему движущимися тенями, – милость королевы, вот в чем заключается все его существование.

Но тем не менее мир, в свою очередь, так же существует и во все это время не живет сложа руки. Вот уже несколько месяцев, как подписан Версальский трактат, и все уполномоченные разъехались по домам. Париж, Лондон и другие большие и малые города трудятся, интригуют, родятся и умирают. Вот на улице Таран умолк некогда беспокойный Денис Дидро, а там, в Больт-Корте, старик Самуил Джонсон, подобно утомленному гиганту, должен лежать и спать без сновидений, между тем как мимо него по-прежнему мчатся экипажи, мир суетится и хлопочет. Бёмер, впрочем, еще не утопился в Сене, а только бледный и исхудалый бродит по ее берегам.

Новость, что графиня вошла в милость королевы, доходит и до Бёмера. Люди истощают все средства, прежде чем утопятся. Его ожерелье уже на столе графини, его гортанная риторика уже

раздражает ее ухо. Он готов уступить с объявленной цены немало фунтов и пенсов и самым любезным образом обещает подарить ей, великодушному королевскому отпрыску, тысячу луидоров, если она уговорит королеву купить ожерелье. Его докучливые просьбы сердят нашу графиню, и она путем шутливых намеков дает понять ему, как он надоел ей, – а между тем сообщает об этом монсеньору.

Развалившись на пуховых подушках, окруженный покоем и великолепием, обставленный гайдуками и многочисленной челядью, отрешенный от прозаического мира и его суеты, монсеньор предается волшебным грезам. Разве может он даже во сне забыть свою покровительницу графиню и ее услуги? Самыми деликатными средствами он облегчает ее горькое положение, так несправедливо выпавшее ей на долю. Два или три раза доходят до него золоченые автографы королевы, благодаря которым он будто бы вошел в большую милость и, в случае надобности, сделается великим раздавателем милостыни ее величества. Монсеньор, заметим мы, имел честь помогать тому или другому бедняку от имени королевы и таким образом роздал несколько тысяч фунтов из своей собственной кассы, так как ее величество в настоящее время бедна, а милосердие, как известно, вещь, не терпящая отлагательства. Графиня – это доброе, услужливое существо берет на себя хлопоты по раздаче денег. Она может теперь покинуть свою келью, насладиться улыбкою природы и счастья, – так добра была к ней королева.

Для монсеньора сила денег всегда казалась лучшим средством покорить самые возвышенные женские сердца. Подарки иногда делают чудеса. Но, небо, какие подарки? Едва ли сам громовержец, вычеканенный в новый луидор, будет достоин попасть в такие руки? Ссуды, благотворительные выдачи, как мы видели, позволительны, так что если они не будут уплачены, то сойдут за те же подарки. В мечтах и грезах, которым предается кардинал, нередко восстают разнообразные видения и, между прочим, докучливый Бёмер с его ожерельем. Может быть, королева страстно желает иметь ожерелье, но в настоящую минуту у нее нет денег? На это графиня отвечает неопределенно, таинственно, но наконец признается, взяв с него слово молчать, что сама подозревает, что королеве всего более хочется иметь такое ожерелье, однако, боясь скупого мужа, она не смеет купить его. Графиня Ламотт обещает поподробнее узнать об этом деле и употребить все свое старание, чтоб услужить кардиналу.

Действуй осторожнее, графиня де Ламотт, потому что теперь, затаив дыхание, мы приближаемся к великому моменту! Парламент, Главная и Уголовная палаты, с их плетью и

виселицей, ожидают тебя, меч правосудия занесен над тобою, – смотри не промахнись. Пробирайся вперед, запасись железными нервами и мягкою обувью, – осторожно, подобно копателю кладов, не глядя по сторонам, пробирайся туда, где разверзлась уже адская бездна и демоны ждут, чтоб разорвать тебя на части!

Глава IX Версальский парк

Может быть, читатель желает посмотреть другую, светлую сторону дела и войти в театр, устроенный Цирцеей-Ламотт для монсеньора де Рогана, чтоб взглянуть, как под руководством лучшего из драматургов идет мелодрама, между тем как волшебный алмазный плод постепенно зреет и при малейшем толчке упадет с дерева.

Наступил день 28 июля того же самого рокового 1784 года, а вместе с тем началось и волнение в сердце монсеньора. Неизъяснимая надежда охватила всю его душу, проникла в самую глубь ее и тянет его в Армидины сады, хотя дорога туда лежит чрез пустынную и туманную окрестность. В замок, в парк! Нынешнюю ночь он увидит королеву, саму королеву, – вот как далеко завела дело наша благодетельница-графиня. Что могут сделать все интриги Полиньяков против милости – небо и земля! – может быть, нежности королевы! Она ускользнет из окружающей ее сети этикета и коварства, она снизойдет со своей небесной высоты к тебе, латмосский пастушок, – увы, седобородый, тучный пастушок, страдающий одышкой. Но кто разгадает вкус женщин? Собери всю свою любезность, весь твой сорокалетний опыт обращаться с прекрасным полом, потому что нынче ночью или никогда!.. В таких диких мечтах провел монсеньор день и ждет ночи, хотя и боится ее. Наконец наступила ночь. Обыкновенно перпендикулярные ряды гайдуков, наполняющих его дворец, распростерлись теперь горизонтально и спят; даже сам швейцар с разинутым ртом громко храпит, когда монсеньор «в голубом кафтане и с надвинутой на лоб шляпой» тихо выходит со своим пажом Планта и отправляется в Версальский парк. Планта должен ждать на некотором расстоянии. Кардинал же останется здесь, в чаще, пока графиня «в черном домино» не возвестит давно ожидаемой минуты, которая, по всему вероятию, уже недалека.

Ночь слишком темна по времени года, месяца не видать, теплый, томительный июль из неподвижных облаков источает плодородие на землю. Даже звезды небесные не видят монсеньора, им только видно облако, окаймленное слабым сиянием, на далеком севере, окружающее его и мир. Бьет

двенадцать часов на мрачных куполах дворца. Металлическим языком вторят, засыпая, версальские колокольни, окрестные деревни и сам громадный угомонившийся Париж. Сон царствует на этой половине мира. От Южного до Северного полюса земная жизнь улеглась длинными рядами (подобно рядам гайдуков и храпящему швейцару), переменив благодаря сну вертикальное положение на горизонтальное.

Цветы также заснули в Малом Трианоне, розы свернули на ночь свои лепестки, но роза из роз не спит. О, дивная земля! О, вдвойне дивный Версальский парк с Большим и Малым Трианоном и едва дышащим монсеньором! Вы, фонтаны Ленотра, спящие теперь с завернутыми кранами в своих глубоких свинцовых камерах, не рассказывайте ничего о нем, когда проснетесь. Вы, душистые кусты, громадные кедры, священные рощи, мрачные павильоны, молчите! Звезды, не смотрите сюда. Небо и ад, закройте глаза на то, что таится под покровом ночи, и не нарушайте тишины криком: держи, держи!.. Ба! Черное домино? Твердою походкою, как и нужно было ожидать, монсеньор приближается к нему, и оно успело ему только шепнуть: в грабовой беседке! И вот в беседку входит небожительница, в белом платье прозрачнее лунного сияния, Юнона станом и поступью. Монсеньор, становись на колени, никогда не удастся лучше запачкать красные штаны. Он готов поцеловать ленту королевского башмака или тень ее, но не может выговорить ни слова; только прерывистые вздохи красноречиво доказывают, что он хочет сказать. Вдруг поспешно подбегает черное домино… Белая Юнона роняет прекрасную розу, проговорив вечно памятные слова… и исчезает в чаще; только слышится тихий голос черного домино, чьи-то шаги раздаются вблизи (вероятно, мадам и мадам д'Артуа, кстати, нежных сестер). Монсеньор поднимает розу, бежит, как будто желает выиграть королевский приз, чуть не опрокидывает бедного Планта, смех которого наконец удостоверяет его, что все обстоит благополучно[16].

О, Иксион де Роган, счастливейший из смертных со времен первого Иксиона блаженной памяти, который тем не менее в заоблачном объятии произвел странных кентавров! Ты теперь, бесспорно, первый министр – разве это не королевская роза, способная превратиться в розовое масло, чтоб вечно распространять благоухание? Как умудришься ты в это трудное время управлять Францией? Впрочем, об этом теперь нечего загадывать. Верно только то, что здесь твоя роза (для которой ты, вероятно, сделаешь футляр или ящик), а разве в нежных словах твоей Юноны не слышался некоторый трепет, трепет, имевший

глубокое значение?

Читатель, до сих пор в этом чудном событии нет еще ничего такого, что не было бы достоверно и доказано исторически.

На заднем плане туманной, волшебной фантасмагории мелькают тени еще более пикантных подробностей[17], которых могут не заметить разные Жоржели, Кампаны и другие официальные лица. Пусть они и носятся в этой фантасмагории. Правда же известна только трем лицам: графине Ламотт, дьяволу и Филиппу Egalite, который доставлял деньги и факты для записок Ламотт и прежде казни произвел на свет нынешнего короля французов[18]. Кардинал Роган, уверившись в своем блаженстве, находится в положении, близком к безумию, и считает себя счастливее всех людей в мире, за исключением, разумеется, благодетельницы-графини. 25 августа (так сильно все еще коварство этих пошлых гостиных) отправляется он чуть не со слезами, повинуясь приказу золоченого автографа, в Саверн, пока будущие почести готовятся ему, увозить в драгоценном ящике розу, теперь уже значительно поблекшую, и может, если пожелает, увековечить ее в виде попурри. Одну из любимых аллей в своем архиепископском саду он называет Розовой Прогулкой, здесь предоставлено ему прогуливаться для пищеварения и мечтать на свободе, пока не потребуют его ко двору.

Ради хронологической верности я должен заметить, что чрез несколько дней после приезда Рогана в Саверн девица (или даже с недавних пор баронесса) Ге д'Олива начала не заставать дома графиню де Ламотт в ее парижском отеле или на ее прелестной шаронской даче. И более не ходила вместе с нею, Вильетом и другими приятными гостями смотреть «Свадьбу Фигаро» Бомарше, выдержавшую уже сто представлений.

Глава X За кулисами

«Королева?» – Добрейший читатель, ты, вероятно, не кардинал де Роган, чтоб принимать сцену за действительность! – Но кто же была эта девица д'Олива? Не лучше ли нам прежде взглянуть, как увеличиваются труды нашего драматурга-графини. Я вижу новых актеров на сцене; ни один из них не должен знать, что делает другой, или по крайней мере не знать хорошенько, что он сам делает. Разве не могут, например, граф де Ламотт и Вильет, подобно Низу и Эвриалу, гулять ночью в саду, а когда послышались шаги, то их (так как они у всех одинаковы) можно было принять за шаги мадам и мадам д'Артуа? Двойник королевы мог бы поверить, что сама королева ради шутки смотрит на нее

сквозь чащу деревьев. Земной кардинал может с благоговением целовать туфлю королевы или двойник этой туфли, и никто не объяснит этого, кроме черного домино. Все это совершилось по заранее обдуманному плану, потому что внутренний механизм дела известен и необходимые пружины на месте. Только двоим дана вера: монсеньору дана вера, основанная на тупоумии; творящему драматургу, владеющему тайной, дана вера, основанная на совершенном понимании дела. Великий творящий драматург «из соединения возможного с необходимым», как выражается Шиллер, выманивает 80 000 франков. Дон Арманда хвалился, что со своими трижды запечатанными посланиями и близорукими секретарями он уничтожил в один день всех иезуитов, но здесь, без министерского жалованья, без королевской милости или другой какой-либо поддержки, кроме черного домино, действует большая сила, чем сила дона Арманда. Как ловко пробирается наша Цирцея вперед, озирается глазами Аргуса и тихонько крадется, вполне рассчитывая на свой ум, железные нервы и мягкие подошвы. Она была бы способна вести интригу за иезуитов, за папскую тиару. А в прежнее время она могла бы быть папессою Иоанною и, как Арахна, сидеть в центре той громадной паутины, которая, протянувшись от Гоа до Акапулько, от неба до ада, опутала все человеческие мысли и души. Несколько разорванных нитей этой паутины можно видеть еще и теперь в приятное, росистое утро.

Девица д'Олива? Она парижанка, 23 лет, высокая и красивая блондинка[19], пострадавшая немало от несправедливых опекунов и злого света.

«В июне 1874 года, – говорит эта девица в своей автобиографии, – я занимала маленькую комнату на улице дю Жур, в квартале Св. Евстахия. Так как от меня был недалек Палероялъский сад, то я имела обыкновение гулять в нем». – Если говорить правду, прибавим мы, то «я была несчастная парижанка с ограниченным знакомством, а вследствие этого мне необходимо было ходить на рынок, где был спрос на наш товар». – «Я часто проводила здесь три или четыре часа после обеда с моей знакомой и четырехлетним ребенком, которого я очень любила и которого мне поручали его родители. Нередко я приходила сюда с ним одна, когда у меня не было другого общества.

В один из июльских вечеров я была в Пале-Рояле; все мое общество в это время состояло из означенного мальчика. Высокий молодой мужчина, гуляя один, проходил несколько раз мимо меня, – прежде я его никогда не видела. Он взглянул пристально на меня, затем я заметила, что, проходя милю, он замедлял шаги, чтоб лучше рассмотреть меня. В двух или трех шагах от меня

стоял свободный стул, на который он сел.

До этой минуты взгляды молодого человека, его прогулка не производили на меня никакого впечатления. Но когда он сел рядом со мною, я не могла не заметить его. Его глаза не переставали оглядывать меня всю. Лицо его сделалось серьезнее, беспокойное любопытство, казалось, волновало его. Он как будто измерял мою фигуру и изучал мою физиономию». – Он находил, что «я (но не проговаривается об этом), как профилем, так и фигурою, настоящая belle courtisane, что замечает даже и аббат Жоржель».

Теперь время назвать этого человека: это был Ламотт, называвший себя графом де Ламоттом. – Кто сомневается в том? – Он хвалит мои «слабые прелести», изъявляет желание «посещать меня». Я, как одинокая девушка, не знаю, что сказать, и считаю за лучшее удалиться. – Тщетная предосторожность! – Я внезапно вижу его у себя в комнате!»

При своем «девятом визите» (он был все время учтив донельзя), подсказываем мы ей, – «он сообщил мне, что желает привести ко мне одну придворную даму, при посредстве которой я могу оказать небольшую услугу ее величеству, за которую награда будет беспримерная». В сумерки послышался шелест шелкового платья, и входит драматург, известный под именем графини де Ламотт. Таким образом, чересчур любопытный читатель, себе в наказание, увидел теперь изнанку этого великолепного транспаранта и нашел только сальные огарки и зловонный чад погасшей светильни!

Девица Ге д'Олива может по-прежнему стоять или сидеть в Пале-Рояле, выжидая покупателей. В известное время страшная буря поднимет и выбросит ее вон из Франции.

Глава XI Ожерелье продано

Осень, с ее завывающим ветром и в наряде из опавших красных листьев, приглашает придворных насладиться природою. Все дела остановились. Графиня де Ламотт, пользуясь затишьем, когда даже сам Бёмер запер на ключ свое ожерелье и надежды, может ехать с мужем и Вильетом в свой родной Бар-сюр-Об и там, в силу милости королевы, показывать завистникам, что королевский отпрыск снова привился, отчего лица их делаются еще желтее. Блестящий экипаж с гербами Валуа, элегантная квартира, нарядная прислуга упрочивают за ними самый лучший прием во всех домах. Даже сам герцог де Пентьевр (тесть Egalite) приветствует нашу Ламотт с утонченной вежливостью, характеризующею его высокое положение и старую школу.

Великий драматург между тем опустил свой занавес и только двумя или тремя письмами в Саверн и поездкой туда поддерживает, во время антракта, инструментальную музыку. Он нуждается в отдыхе, чтоб собраться с силами, потому что последний акт и великая катастрофа близки. Обе господствующие идеи кардинала и ювелира, положительная и отрицательная, почуяли друг друга; подогреваемые теперь новыми надеждами, они, подобно двум пламеням, протягивают длинные огненные языки, чтоб соединиться и слиться воедино.

Бёмер предлагает свои услуги, как предлагал он их четыре года тому назад. Графиня не хочет и слышать о «нелепом подарке», да вообще не желает принимать никакого участия во всей этой глупой истории ожерелья. Это она дала понять ему, как человеку докучливому, весьма откровенно и не без жесткости. Но тем не менее благодаря смелым предположениям и необыкновенному случаю хитрый ювелир понял, что главное лицо в этом деле монсеньор де Роган. Итак, графиню не следует более беспокоить. Покойся здесь с надеждою, дьявольское ожерелье, а ты, монсеньор, поспеши приехать.

Ни один человек в мире не успел бы так скоро приехать, как монсеньор, если б он только смел это сделать. Но золоченый автограф не приглашает его, не позволяет ему ехать, – все автографы, полученные им, отрицающего, отсрочивающего содержания. Придворные интриги, постоянные интриги! Если б дело не шло о каком-нибудь ожерелье или другой прихоти, кто знает, может быть, его никогда бы и не пригласили (так непостоянны женщины), а забыли и заставили гнить здесь, как эту розу в попурри? Наша благодетельница-графиня так осторожна в этом деле, подобной осторожности мы еще никогда не видали в ней. Тем не менее, при помощи ловких перекрестных вопросов, ему по крайней мере удалось узнать, в каком положении находится дело. Королеве хочется иметь ожерелье – разве женщине в подобном случае нельзя добиться успеха? Королева может заплатить за него, только в сроки, но этот скупой муж… Одним словом, ей не хочется принять прямого участия в этом деле.

Поэтому не найдется ли смертный, который в этом деле действовал бы за нее, – вот в чем вопрос? И если найдется, то это не кто иной, как монсеньор. Наша графиня рискнула издалека намекнуть на монсеньора, но сомневается в его скромности относительно денежных дел. В скромности? – А я в розовой аллее? – Не кипятись, кардинал. Доверие рождается из опыта, твой час близок.

Между тем Ламотты оставили свои визитные карточки во

всех респектабельных домах Бар-сюр-Оба, и наш драматург снова очутился в Париже за кулисами. – Что за причина, монсеньор, что она так осторожна с тобой и заставляет тебя страдать и никнуть головой, подобно плакучей иве, в этом скучном Саверне, томиться в розовой аллее, подогревая только ответами, что твой час близок? – Небо и земля! Наконец, в последних числах января, этот час настал. Взгляни на этот золоченый автограф, в нем написано: «Приезжайте в Париж по случаю маленького, деликатного дела, которое вам объяснит наша графиня» – и которое я уже знаю! В Париж! Лошадей, ямщиков, лакеев! – Итак, закутанный в шубу, убаюкиваемый сладкими грезами, катит наш воскресший кардинал по обледеневшим дорогам.

Графиня, да разве созрел волшебный алмазный плод? Разве ты дала ему легкий толчок, предвещающий великое счастье? «Кто это видел»? – может она спросить, в свою очередь. Поэтому читателю остается еще взглянуть на три сценических представления нашего великого драматурга и затем на четвертое и последнее, принадлежащее уже другому автору.

Нам, рассуждающим о том, как часто истинная, движущая сила в человеческих делах работает невидимо, не покажется чудом, что в январе 1785 года наша графиня, так редко попадающаяся в это время на глаза обыкновенного историка, более всего проявляет свою деятельность, в особенности во второй половине месяца.

Благоразумно избегая деловых обстоятельств (которых не понимала всю свою жизнь), графиня не хочет лично принять участие в торговой сделке, а предоставляет ее покончить королеве и золоченым автографам. Аккуратный Бёмер между тем находится в частых тайных совещаниях с монсеньором: Страсбургский дворец в Париже, закрытый остальному человечеству, видит постоянно ювелира, входящего и выходящего с официальной миной. Главное затруднение заключается в капризном самолюбии королевы и незнакомстве ее с делом. Она положительно не хочет написать золоченого автографа, который бы уполномочивал кардинала заключить сделку, но пишет скорее с досадой, что это дело не важное и его можно оставить. И бедной графине постоянно приходится скакать из Парижа в Версаль, мучить лошадей и разбивать нервы, а иногда по целым часам ждать во дворце (не имея другого помощника, кроме Вильета), пока пройдет каприз королевы.

Наконец, после бешеных поездок и целой массы совещаний, 29 января находят средство. Осторожный Бёмер должен на тончайшей бумаге изложить свои условия, и эти условия, по-видимому, весьма умеренны. Он требует, чтоб 1 600 000 ливров,

следующие ему за ожерелье, были уплачены по пяти равным частям: первая часть через шесть месяцев, остальные четыре через каждые три месяца. Условие должно быть подписано, с одной стороны, придворными ювелирами Бёмером и Бассанжем, с другой – кардиналом де Роганом. Этот подписанный лист тончайшей бумаги наша бедная графиня должна взять на свое попечение, скакать с ним в Версаль, откуда, после невыразимых хлопот, разделяемых с нею только верным Вильетом, привезти его обратно с драгоценной подписью: «Да. – Мария-Антуанетта Французская». Счастливый кардинал! Этот документ ты будешь хранить в самом сокровенном святилище. Между тем Бёмер не должен никому говорить о продаже ожерелья, но если к нему будут обращаться с вопросами, то он объявит, что продал его любимой султанше турецкого падишаха.

Таким образом, измученные лошади Ламотт могут быть наконец вычищены и спокойно есть свой овес; графиня также может предаться необходимому сну, нарушаемому только беспокойными грезами. На другой день сделка должна быть закончена, и ожерелье будет выдано монсеньору под его расписку.

Не желает ли читатель взглянуть еще на две следующие картины жизни, две действительные фантасмагории, или как бы мы их ни назвали. Они составляют два первых представления из трех сценических представлений, поставленных нашим драматургом, – представления небольшие, но существенные.

Глава XII Ожерелье исчезает

Первое февраля – великий день передачи ожерелья. Бёмер находится в Страсбургском дворце; его вид официально-таинственен, и хотя лицо значительно осунулось, но все-таки сияет восторгом. Сена не поглотила его, и если он теперь худ, то пополнеет вскоре и примется за новые предприятия.

Нам бы показалось странным, если б мы к тому не привыкли, что при имени входящего Бёмера склоняются все алебарды гайдуков; глаз истории видит, как он с сияющей улыбкой низко раскланивается в приемной зале, обтянутой красным бархатом. Не угодно ли монсеньору взглянуть на пес plus ultra ожерелий? Чудо искусства, не имеющее равного себе в мире (только нужда заставляет бедных ювелиров), должно быть продано за такую низкую цену. Ювелирам придется долго ждать, пока они покроют свои убытки, но по крайней мере произведение их нашло достойную носительницу и перейдет в отдаленное потомство. Монсеньору остается только расписаться в получении, остальное

зависит от султанши Высокой Порты. Придворный ювелир, поощряемый ясным взглядом монсеньора, старается при этом изобразить на своем радостном, хотя и осунувшемся лице, многозначительную улыбку. Вот первое из трех реально-поэтических представлений, поставленных нашим драматургом с полным успехом.

Спустя долгое время после этого говорили, что монсеньор и даже Бёмер должны были знать, что подпись королевы: «Да. – Мария-Антуанетта Французская» – подложная; слово «Французская» было роковым для них. Хорошо говорить и критиковать! Как могли это знать два заколдованных человека, одержимых положительной и отрицательной идеей, готовых соединиться для удовлетворения своих страстей и желаний? Итак, в руках монсеньора чудное ожерелье, добытое храбростью мужчины и ловкостью женщины, и он с таинственной поспешностью летит с ним в Версаль, как торжествующий Ясон с золотым руном.

Второе великое представление нашего драматурга-графини происходит уже в следующий вечер в ее собственной комнате в Версале. Это довольно большая комната с альковом, а в алькове стеклянная дверь. Монсеньор входит, за ним следует лакей с таинственным ящиком, который он ставит на стол и почтительно удаляется. Это – ожерелье во всем своем блеске. Наша благодетельница-графиня, монсеньор и мы можем на свободе дивиться королевскому талисману и поздравить друг друга, что наконец трудная победа решена.

Но тише! Раздается стук, легкий, но решительный, произведенный как бы лицом, власть имеющим. Монсеньор и мы удаляемся в альков, чтоб наблюдать в стеклянную дверь, что происходит в комнате. Кто входит? Дверь отворяется настежь! Вглядитесь, монсеньор, хорошенько в вошедшего, он вступил в комнату с серьезно-почтительным, но официальным видом. Это достойный камердинер королевы, Лекло, тот самый, который сопровождал нашу графиню в достопамятную лунную ночь. Разве мы не говорили, что увидим его опять? На мой взгляд, несмотря на королевскую ливрею, он очень похож на Вильета-плута. Плут или камердинер (для слепых все цвета одинаковы) с серьезно-почтительным и официальным видом получил ящик и хранившуюся в нем драгоценность, с подобающим при этом случае наставлением, и, низко кланяясь, удалился.

Так тихо, незаметно, подобно сновидению, исчезло наше массивное ожерелье.

Глава XIII Сцена третья

В это самое время приезжает из Лиона сам граф Калиостро. Не по шифрованным предсказаниям, а по его живому голосу, имеющему общение с незримым миром, посредством «графина и четырех свеч», по его жирному лицу, напоминающему морду бульдога, мы можем вполне убедиться, что все идет хорошо и все послужит «во славу монсеньора, во благо Франции и человечества» и египетского масонства. «Токайское льется, как вода», наша восхитительная графиня с ее пикантным личиком еще бойчее прежнего и блестящими остротами, ловкою лестью подслащает это пиршество богов. О ночи, о пиры, вы слишком великолепны, чтоб длиться долго! Теперь идет третье сценическое представление, блестяще приспособленное, чтоб изгнать малейшую тень заботы из души монсеньора. – Почему до сих пор не принимает меня королева?

Терпение, монсеньор! Ты мало знаешь эти интриги, она, может быть, борется с ними, молча, подавив негодование, подобно львице, бьющейся в тенетах охотника. Да разве твой труд не кончен? Она восхищается ожерельем, украдкой любуется, как весь блеск его отражается на ее чудной шее, шее Юноны, что может засвидетельствовать наша благодетельница-графиня. Приходи завтра в Oeil-de-Boeuf и посмотри при дневном свете, как ты уже видел в темную ночь, медлит ли ответом королевское сердце. Отправимся вместе с монсеньором в Oeil-de-Boeuf, в версальскую галерею, – туда впускают всех порядочно одетых людей, – там пройдет она, дивная, к обедне, во всем королевском величии.

На всех меховые платья, все веселы, радостны, у всех носы посинели от холода. Бойкий, оживленный разговор слышится всюду: говорят о катанье на санях, о придворных увеселениях, холодной погоде, прочности Калонна, о вчерашних взглядах их величеств – одним словом, идет разговор, который с тех пор как Людовик Великий создал эти священные покои, более или менее оживлял нашу атмосферу.

Сколько лиц прошло и исчезло в этой длинной высокой галерее! – Лувуа с великим королем, бросающим на него пламенные взоры; в его руках щипцы, которые едва удерживает благочестивая Ментенон. Лувуа, где ты? А вы, маршалы Франции, вы, неведомые женщины исчезнувших поколений, – где вы? Здесь так же гремели «раскаты, подобные грому» придворной толпы в ту мрачную минуту, когда погас свет в комнате Людовика XV и его смердящий труп лежал один на смертном одре, на руках каких-то бедных женщин, между тем как придворные бежали от мертвеца, чтоб приветствовать новое восходящее светило. И они пошумели и прошли, и их «раскаты, подобные грому» замолкли.

Люди – это быстро исчезающие тени, сменяющие друг друга, а Версальский дворец – разве он не похож на караван-сарай? – Монсеньор, перестань хмуриться в такой светлый день! Может быть, дивная, слегка повернув свою головку, бросит взгляд на Oeil-de-Boeuf! Да, если угодно небу, она сделает это – так по крайней мере обещала графиня, но, увы, как непостоянны женщины!

Но тише, вот отворяются двери. Она сходит по восточной лестнице, подобно луне в серебристом сиянии. – Идет королева! Что за фигура! Я (с помощью очков) могу разглядеть ее. О, чудная, дивная! Пусть смолкнет пошлый говор и пусть неумолкаемые крики: «Да здравствует королева», – подобно фейерверку, озаряют ее путь. О, бессмертные боги! Она поворачивает голову в нашу сторону, она кланяется. – Видели вы? – говорит де Ламотт. Версаль, Oeil-de-Boeuf», все люди и предметы утопают в целом море света, – монсеньор и эта кивающая голова остались одни только в мире…

О, кардинал, что за чудное видение! Наслаждайся им, пережевывай его и снова наслаждайся полной душой, – это последнее наслаждение, назначенное тебе. Скоро, не далее как через шесть месяцев, твое чудное видение, подобно видению Мирзы, постепенно исчезнет, и только быки да бараны будут пастись на этом месте, а ты, как проклятый Навуходоносор, будешь вместе с ними щипать траву.

«Разве она не смотрела сюда?» – сказала графиня де Ламотт. Что это было ее обыкновением, что не проходило дня, чтоб она не делала этого, – об этом, разумеется, графиня не промолвила ни слова.

Глава XIV За ожерелье не может быть уплачено

Теперь мы можем сказать, что весь специально-драматический труд графини де Ламотт окончен. В остальной части своей жизни она является уже актрисой или актрисой и критиком; да и что такое была вся ее прежняя жизнь, как не лицемерие, более или менее удачное разыгрывание ролей? О, «двуличная дама» (как говорит старик Биньян), каким талантом владеешь ты! Даже Протей не менял так часто образа, даже хамелеон не менял так часто цвета. Одним лицом ты была для монсеньора, другим – для Калиостро и Вильета-плута, третьим – для мира в напечатанных «Записках», четвертым – для Филиппа Egalite, одним словом – ты была все для всех!

Теперь пусть она потрудится разыграть свою роль со всей артистической иллюзией и осветит критическим объяснением

свою прошедшую драматургию в глазах монсеньора и других. В этой, а не в новой драматической деятельности должен заключаться ее труд. Драматические сцены последуют сами собою, в особенности четвертая и последняя сцена, которая, как мы упоминали, принадлежит другому автору – самой судьбе.

На театре Ламотт, так несходном с нашим обыкновенным картонным театром, представление идет даже и тогда, когда нет машиниста. Странно, что эти воздушные видения, являющиеся, при помощи волшебного фонаря, во мраке ночи, так крепко ухватились за мир, кажущийся столь массивным (некоторые называют его материальным миром, как будто это делает его более действительным), и опрокидывают все эти массы. Да, читатель, это случается в здешнем мире. То, что мы называем вымыслом мозга или иллюзией, – разве это не ткань мозга, духа, живущего в мозгу и который в этом мире (его скорее, по моему мнению, следует назвать духовным миром) двигает и переворачивает все предметы, встречающиеся ему на небе и земле. Так и с ожерельем. Хотя мы видели, что оно исчезло, как сновидение, и, как полагаю я, уже ни один человек не увидит его более, но все-таки деятельность его не кончилась. Ни одно человеческое деяние, ни одна вещь не утрачиваются, если даже и исчезают, но действуют еще значительное время, в течение бесчисленных годов, действуют невидимо и бессознательно.

Так загадочно-волшебен наш древний действительный мир, который некоторые называют тупым и прозаичным. Друг, ты сам превратился в тупую прозу, ты сам безжизнен, как зола, – убедись в этом (я советую тебе) и старайся страстно, со страстью, доходящею до отчаяния, исцелиться от этого зла.

Но что подумает между тем чувствительное сердце, когда узнает, что монсеньор де Роган, как мы предсказывали, опять испытывает непостоянство двора. Несмотря на все чудные видения, преследующие его днем и ночью, королева, со свойственною прекрасному полу неблагодарностью, по-видимому, избегает его. Не думая удалять его ненавистного соперника, министра Бретеля, и не осыпая открыто почестями монсеньора, она только изредка дарит его золочеными автографами самого капризного, подозрительного, раздражающего душу свойства. Какие страшно нелепые взрывы, которые едва, с помощью графина и четырех свеч, может успокоить Калиостро, волнуют монсеньора! Сколько самых унизительных просьб, объяснений излагает он с самым пламенным красноречием и ловкой дипломатией в письме, переданном нашей покровительницей-графиней, но все напрасно! О, кардинал, какой железной палицей, подобной палице Гая Уорвика, разбиваешь ты видения,

которые снова кружатся над твоей головой, принимают образ, – так, что ты только рассекаешь воздух!

Единственное утешение, впрочем, заключается в том, что королева может быть сама скомпрометирована. Разве трианонская роза не хранится здесь? Разве «Да. – Мария-Антуанетта Французская» также не в твоих руках, разве 30 июля, день первого платежа, не близок? Она должна будет сдаться. Вели готовить лошадей и гайдуков для поездки в Саверн, прекрати с ней все письменные и устные сношения, мори ее голодом, пока она не сдастся. Теперь великолепный май, и кардинал, окруженный грезами, снова прогуливается в розовой аллее, но теперь с сухими, невеселыми глазами и страшно топая ногой.

Но кого я вижу верхом на великолепно убранном коне, кто этот всадник, держащий пари на ньюмерктских скачках, не знающий ни слова по-английски и которому некто шевалье О'Ньель и капуцин Макдермот служат переводчиками? Несколько дней тому назад я видел его на Флит-стрит, задумчиво проходящего через Темпл-Бар. Он горячо толковал с ювелирами Джеффрейсом и Греем[20], предлагая им купить бриллианты. Это высокий, красивый мужчина с усами, с плутовским и беспокойным взглядом. Вы, наверное, узнаете в нем графа де Ламотта, да он и сам сознается в этом. Бриллианты были подарены его жене доброй и щедрой королевой.

Удалось ли ему совершить свою сделку в Амстердаме? Мне еще придется его увидеть, но уже не на ньюмерктских скачках, а в женевских тавернах распивающим вино и водку. Неправильно приобретенное богатство непродолжительно, а у плутов нет денежных сундуков. Для каких прожорливых бездельников трудилась ты, графиня де Ламотт, и трудишься еще теперь!

Трудишься, говорим мы, потому что когда наступит 30 июля, то тебе останется только ждать всеобщего землетрясения, взрыва грязного вулкана, который бы залил грязью всю природу. Будь у меня твоя обувь, графиня, я бы бежал. «Бежать! – восклицает она с негодованием. – Бежать оклеветанной невинности?» Странно, что во многих душах, которые суть не что иное, как бездонная «хаотическая пучина позолоченных лоскутьев», вовсе нет обдуманной лжи, веры или отрицания и они только способны говорить и слушать.

Владела ли Ламотт некоторым величием характера или крайней дерзостью? Велик, несомненно, велик ее драматический талант, но что касается остального, то мы положительно ответим: нет. Двуличной даме, «искре пламенной жизни», далеко до женщины-героини. Ни при одном обстоятельстве не выказала она женского героизма, но только отличалась визгом и страхом. Ее

главное качество скорее отрицательно: «неприручимость» мухи, «непромокаемость клеенки», с которой многое стекает, как вода. Маленьких воробьев, как я слышал, учат стрелять из пушки, но они были бы плохими артиллерийскими офицерами в битве при Ватерлоо. Ты не назовешь эту пробку отважным пловцом, а между тем она безопасно может плыть по Ниагарскому водопаду, и даже удар молнии только на одно мгновение погрузит ее глубже. Как мужествен был бы человек без ума, воображения, наблюдательности, если б у него был только один двигающий мотив – голод! На какое угодно дело можно отважиться, если не думаешь о нем и не сознаешь его. – Разве нелепый, бесстыдный Калиостро еще здесь? Ни у одного козла отпущения не было такой широкой спины. А у кардинала разве нет денег? Королеву даже не следует оскорблять на картинах – Субизы, Марсаны и могущественные кузены должны затушить дело, а оклеветанная невинность при общем землетрясении сумеет найти щель, сквозь которую она пролезет, как случалось ей пролезать уже не раз.

Но как поживает теперь кардинал, прогуливающийся по розовой аллее и нетерпеливо топающий ногою? Увы, все хуже и хуже. Метода заморить голодом, как ни странна она, не может принудить к сдаче. После ожиданий, длившихся целый месяц, наша покровительница-графиня приносит только золоченый автограф, «перевязанный шелковым шнурком и с печатью, где этот шнурок скрещивается», но мы читаем его с проклятием.

Мы должны снова ехать в Париж, писать новые объяснения, которые наша неутомимая графиня берется передать по назначению, но, к сожалению, не может добиться ответа. А 30 июля приближается. 19-го числа приходит коротенький, небрежный автограф со вложением полутора тысяч фунтов наличными деньгами, чтоб заплатить проценты по первому сроку, так как уплатить все 30 000 теперь невозможно. Голодный Бёмер вытаращил глаза при этом предложении, он желает получить не проценты, а часть уплаты; он – человек положительный и обратится к суду, если не будет других средств получить остальные деньги.

Государственный откупщик Сен-Джеймс, ученик Калиостро, весь пропитанный токайским, готов по желанию королевы ссудить ее необходимой суммой, но думает прежде переговорить с ее величеством. Между тем голодный Бёмер мечется во все стороны, преследуемый не господствующей идеей, а более страшным «призраком» – что деньги не будут уплачены. Однажды ему случилось разговориться об этом с камер-фрау королевы (мадам Кампан) «во время грозы, которой они не заметили», потому что были ошеломлены лучше всякого грома. Какое дурное

предвещание кардиналу!

30 июля наступило и прошло, а денег все нет. Плохо простился ты, кардинал, с этим месяцем в 1785 году! Июль прошедшего года был проведен тобою среди небесных звуков и роз Трианона. А что сулит предстоящий август, – не лучше ли вычеркнуть его вовсе из календаря? Ты еще видишься с Бёмером и Бассанжем, но возвращаешься от них с «проклятиями». Но что там еще за новое несчастье? Наша покровительница-графиня входит к кардиналу со смущенным видом, она сейчас только из Версаля. Королева, со свойственным ей капризом, который мы даже не осмеливаемся характеризовать, отрицает, чтоб она когда-нибудь получала ожерелье или имела с кардиналом по этому поводу разговор. Извержение было редкое даже в вулканических летописях. Страсбургский дворец, по-видимому, окружен шпионами; Ламотты – граф также здесь – укладываются, чтоб ехать в Бар-сюр-Об. Сошел ли с ума Бёмер или имеет тайное совещание с Бретелем?

Итак, при всеобщем смятении природы начинается четвертое, последнее, представление, сочиненное судьбою.

Глава XV Сцена четвертая

15 августа – день успения Богородицы. Возложи на себя полное облачение, великий раздаватель милостыни; забудь все отвратительное земное. Во всяком случае, придай своему лицу величавый и спокойный вид: тебе предстоит совершать богослужение, в котором ты займешь первое место.

Великий раздаватель милостыни исполнил это и теперь находится в Версале, в галерее Oeil-de-Boeuf, где собралась вся знать мужского и женского пола и вся благородная Франция в праздничном наряде, сверкая и блестя, как радуга, и ожидая богослужения. На величаво-спокойном лице кардинала нельзя ничего прочесть[21]. Но, небо! Его требуют в королевские покои.

Он возвращается с тем же величавым, загадочно-спокойным лицом. Не настала ли и для него очередь милости? Выходит барон Бретель, гордясь своим достоинством в эту торжественнейшую минуту жизни. Одним лучезарным глазом он подзывает к себе дежурного офицера, а другой устремляет на монсеньора и говорит: «Именем короля, монсеньор, вы арестованы! Вы отвечаете за него, офицер!» Мрачное, свинцовое облако спускается на монсеньора, как вихрь подхватывает его и несет в страшную бездну. Версальская галерея вздрогнула, как будто Гай Фокс произвел под ней взрыв.

«Королева плакала», – шепчут некоторые. Службы не будет.

В Европе от одного конца до другого разнеслось это событие. Но зачем скачет этот гайдук, как будто все дьяволы гонятся за ним? Гайдук послан монсеньором, который у дверей своего версальского отеля успел сказать ему несколько слов по-немецки и сунуть в руку записку, написанную карандашом. В Париж! В кардинальский дворец! Лошадь, войдя в конюшню, издыхает, гайдук, переступив порог кабинета, лишается чувств, записка выпадает из рук, но «я (говорит аббат Жоржель) был тут». Красный портфель, содержавший в себе золоченые автографы, сжигается, прежде чем явится Бретель, чтоб наложить печати. Вследствие того Европа, внимая различным слухам, теряется в догадках и даже в настоящее время, на этих страницах, видит это дело в таком интересном полусвете.

Вскоре граф Калиостро и его Серафима присоединяются к монсеньору в государственной тюрьме. Через несколько дней за ними следует графиня Ламотт из Бар-сюр-Оба, девица д'Олива из Брюсселя, Вильет де Рето из швейцарского уединения в женевских тавернах. Бастилия открывает им всем свое железное лоно.

Глава последняя Missa est

После того как бриллиантовое ожерелье исчезло, как сновидение, и под щипцами Ламотта и Вильета потеряло свою индивидуальность и существование, а те, которые промышляли им, сидят теперь под замком в ожидании знакомства с правосудием, мы считаем свою обязанность относительно этого дела поконченною. Этот необыкновенный Proces du collier, продолжавшийся девять вечно памятных месяцев, к изумлению ста восьмидесяти семи членов парламента, журналистов, падких до новостей, рассказчиков и сатириков обоих полушарий, во всяком случае, процесс замечательный. Как при такой массе очных ставок, перекрестных допросов, уверток и запирательств, утомлявших глаз и душу, эта запутанная ложь наконец обнаружена до самых скандалезных и смешных подробностей, пусть расскажут другие.

Сколько в течение этого девятимесячного процесса, кончившегося вместе с маем 1786 года[22], было напечатано в газетах или памфлетах ложных и вымышленных известий и какая куча гниет их еще в рукописях, мы не можем сказать, не имея полного собрания этих материалов, да, впрочем, и не чувствуя в них надобности. Тем не менее, отыскивая капитель сложного ордера для оконченной ныне замечательной колонны нашего рассказа, мы не могли найти ничего лучше нижеследующей речи, к тому же, как нам известно, нигде не изданной.

Речь графа Александра Калиостро, тавматурга, пророка и архишарлатана, произнесенная в Бастилии, в лето от Люцифера 5789, от бегства Магомета из Мекки 1201, от бегства Калиостро из Палермо 24, обыкновенной эры 1785.

«Братья-мошенники! Невыразимая интрига, сотканная Цирцеею-Мегерою, при нашей добровольной или недобровольной помощи, соединила нас всех если не под шатер одного дерева, то по крайней мере в мрачных стенах, окованных железом. В продолжение назначенного числа месяцев, в вечно движущемся потоке времени, мы, собранные со всех четырех концов мира, трудились, по воле судьбы, как особая корпорация, над делом, известным всему миру, и, подобно древним аргонавтам, приобрели общее название «завоевателей бриллиантового ожерелья». Пройдет немного времени (тюремные стены не могут вечно держать свободных людей в заключении), и мы рассеемся снова по всему обширному пространству, некоторые из нас, может быть, перейдут самые пределы пространства. Наши деяния не разъединены и чудесно хранятся в древнейшей памяти людей, между тем как мы, маленькая шайка мошенников, так далеко рассеемся друг от друга, что, может быть, свидимся только в день Страшного суда, в последний из дней!

В подобные интересные минуты, когда мы готовы расстаться, но еще не расстались, недурно, полагаю я, высказать в этих уединенных пространствах несколько общих размышлений. Меня, как публичного оратора, заставляет это сделать присущий мне дух масонства, философии, филантропии и даже пророчества.

Прислушайтесь, товарищи-мошенники, что говорит дух, сохраните это в сердцах ваших и руководствуйтесь им в жизни.

Хотя вы и заключены в эту, говоря метафорическим языком, центральную клоаку природы, где тиран Делоне ограничивает свободу телесного глаза, но тем не менее вы обладаете духовным оком, которым можете видеть лучше. Разве эта центральная клоака не есть сердце, в которое таинственные каналы вводят отовсюду и насильно впрыскивают все, что есть самого избранного в земном мошенничестве, чтоб оно поглощалось в нем или (другим желудочком) выбрасывалось новым путем? Пусть духовное око обозрит эту артериально-венозную систему и подивится величавому развитию мошенничества и его, так сказать, неисчерпаемому значению. Да, братья, наше царство всюду, где только светит солнце; оно обширнее древнего Рима в самую цветущую его пору. В моей жизни мне случалось быть в отдаленных странах: я был в холодной Московии, в знойной Калабрии, на востоке, западе, везде, где небесный свод

расстилается над цивилизованным человечеством, и нигде не был я чуждым пришельцем, потому что находился всегда в кругу мошенничества. Разве в самые отдаленные времена противная партия не высказала, что «всяк человек есть ложь»? Разве не толкуют люди с плачем об «одном праведнике», а об остальной тысяче, кроме одного, выражаются как о действующей с нами? (Рукоплескания.)

О красной особе, – монсеньор, не оскорбляя вас, – заседающей на семи холмах, и об ее иезуитской милиции, фуражирующей от полюса до полюса, я не говорю, потому что эта история уже слишком приелась, да и самая милиция, вследствие измены, распускается и превращается в инвалидную команду. О правительствах я также умолчу по той же причине… Также не буду я говорить о волокитстве с его клятвами в любви, о придворной жизни, об адвокатах, публичных ораторах и аукционах, – я только спрошу моего противника, где то ремесло, призвание или профессия сынов Адама, которыми бы они с большим успехом могли заняться другим способом? На этот вопрос он не в состоянии отвечать. Даже сама философия, как практическая, так и умозрительная, после бесплодных усилий пришла наконец к тому заключению, что обман так же необходим для действительности, как ложь для всякого живущего, что без лжи вся деятельность мира превратится в анархический беспорядок и быстро пойдет к концу.

Но великая задача, товарищи, если хотите знать, заключается в союзе истины и обмана, союзе, составляющем одну плоть, из которой уже образуются: польза, пудинг и респектабельность, владеющая «джигом».

И в самом деле, удивительно, как истина перепутывается с обманом. Действительность покоится на грезах, истина есть только оболочка бесконечной лжи, которую ложь от времени до времени сбрасывает, и устарелая истина снова делается басней. Таким образом, все враждебные элементы накапливаются в нашем царстве и их наплыву нет конца.

О, братья, вспомните только о речах без смысла и речах с противоположным смыслом, фабрикуемых органами человечества в какой-нибудь торжественный, юбилейный день, когда даются публичные обеды и произносятся застольные речи или происходят выборы на каком-нибудь соседнем острове! Бессмертные боги! Ум теряется и в каком-то священном благоговении дивится только богатству природы.

Скажите мне, в чем заключается главная цель человека? «Славить Бога», – говорит древнее христианское чувство. «Есть и находить яства легчайшим способом», – отвечает жалкая

философия. Если известен способ, которым эта цель еще быстрее достигается, чем убеждением и соблазном, то укажите мне его!..

Но при этом, товарищи-мошенники, мы также не без религии, не без культа, который, как и всякий древний и истинный культ, есть культ страха. У христиан есть свой крест, у мусульман полумесяц, а у нас разве нет виселицы? Бесконечно ужасна эта виселица, которая высится на обрыве бездонной пропасти. Мы не манихеи – у нас один Бог! Велика, страшно велика, говорю я, виселица еще издревле, даже с начала самого мира. Она не знает ни перемен, ни упадка и над всеми разрушениями времени, над всеми политическими и религиозными переворотами, возмущениями черни и революциями гордо воздымает свое чело. Товарищи, бойтесь только виселицы и не имейте другого страха. Когда она своей длинной черной рукой схватит человека, что ему все земные блага? Земля с ее шумом и гамом исчезнет из его глаз, и несчастный бездельник висит между небом и землей, отвергнутый ими обоими. (Глубокое впечатление).

Так же обширно и высоко, как виселица, и царство мошенников, а что касается глубины, то оно глубже основы мира. Ибо что такое мироздание, согласно мнению лучших философов, как не нарушение, насильственное нарушение духом времени (или дьяволом) древнего покоя вечности. Люцифер пал, а вследствие его падения восстал этот величественный мир. Да, наше царство глубоко, самая мысль, погрузившись в эту глубь, старается как можно скорее вынырнуть. Так называемый порок лжи древен, как хаос – это лоно смерти и ада, над которым добродетель и истина носятся, как легкий пар, и то на один день. Что такое добродетель, как не обработанный, искусственно сделанный порок? «Пороки людей – это корни, из которых вырастают их добродетели и видят свет», – сказал некто. «Да, – скажу я, – и неблагодарно крадут свое питание». Если б не было девятисот девяносто девяти признанных, может быть, замученных и оклеветанных мошенников, возможен ли был бы тогда хотя б один праведник? О, это слишком возвышенно для меня; разум и фантазия опускают свои усталые крылья, душа теряется и…»

Тут графиня де Ламотт громко хихикнула и проговорила: «Coq d'Inde» (индейский петух). Архишарлатан, взор которого в восторженном созерцании был углублен в самого себя, вздрогнул, услыхав этот смех; зрачки его глаз расширились, ноздри раздулись, даже самые волосы, казалось, стали дыбом на его длинных космах, а так как негодование иногда вызывает поэзию, то он ударился в пророчество, по крайней мере пророчеством звучали его слова. С лицом, искаженным гневом, жестикуляциями, которые не рекомендует ни одно приличие,

начал архишарлатан неестественным голосом, напоминавшим рев льва, терзающего буйвола:

«Не смейся, графиня де Ламотт; трепещи, отвергнутая Цирцея-Мегера; день скорби близок. Взгляни на синедрион судей, разоблачивших тебя, – и ты стоишь нагая и опозоренная. Вильет, Олива, вы выболтали тайну! Вы не имеете сострадания к ее положению, она не сочувствует вашему. Тяжело ли, наконец, твоему легковерному, неприручимому сердцу? Слышите, это визг преступницы, которой прижигают оба плеча раскаленным железом; красный знак «V», ты, воровка (voleuse), проник ли в твою душу? Плачь, Цирцея де Ламотт, вой на своем ложе, скрежещи зубами, старайся задушить себя своим грязным одеялом. Ты нашла себе товарищей, ты в тюрьме Сальпетриер! Плачь, о дочь могущественного вельможи, утратившего свои «невыразимые». Что делать с тобой королевскому суду, грязное существо, пока ты жива? Беги, беги в отдаленные страны и скрой там, если можешь, твое клеймо Каина. В туманном Вавилоне – это мой Лондон – вижу я Иуду Искариота – Egalite! Печатайте, печатайте в изобилии всю гнусность ваших сердец. Дыхание гремучей змеи может только на время отуманить светлую поверхность зеркала. И наконец, угнетаемая бедностью, бросилась ли ты, несчастная дочь могущественного вельможи, с высокой крыши, чтоб уйти от преследования судебного пристава, или в глухую ночь упала из третьего этажа на мостовую, выкинутая пьяными друзьями, которым надоел твой бойкий язык[23]? Да, в этом новом Вавилоне ты полетела головою вниз, пронзительный крик нарушил молчание ночи, и ты, как гнилое яйцо, лежишь разбитая «близ храма Флоры». О, Ламотт, кончила ли ты свое лицемерие? Ты переиграла все роли. Здесь же ты не играешь более, а представляешь только массу запекшейся крови, позора и отвращения, которую люди поспешно зароют в землю, не поставив и памятника. Падаль висельная!..»

Здесь пророк поднял свой нос (широчайший из всех носов XVIII столетия) кверху и раздул свои ноздри с таким выражением отвращения, что все слушатели и даже сама Ламотт последовали его примеру.

«О, графиня де Ламотт! – продолжал он. – Весь круг твоей жизни совершился, и мой глаз обозревает сорок три года, дарованные тебе, чтоб сделать столько зла. Когда я вижу тебя светлоокой оборванной девочкой, просящей милостыню в Булонском лесу, и, наконец, отвратительной массой на лондонской мостовой, когда я припоминаю твое щегольство, голодание, попрошайничество и истерический смех, наполнявший этот промежуток, то становлюсь в тупик и не знаю, какое значение

придать твоему существованию.

Вильет де Рето! Схватили ли тебя сыщики во время драки в трактире на священной республиканской земле? Был ли ты подделывателем подписи? Сознаешься ли в этом? Беги, хотя несеченый, но проклинаемый! А, грозный символ нашей веры! На замке св. Ангела я вижу висящую массу, в которой, как мне кажется, я узнаю труп Вильета. Туда ему и дорога.

Но ты не плачь, безутешная Олива; не порти блестящих голубых глаз, дочь тенистого сада! Тебе не сделает зла синедрион; эта клоака природы снова выпустит тебя; как знаменитая, несчастная женщина, ты найдешь себе мужа не без капитала и выйдешь за него. Знай, что это видение истинно.

А что сталось с помазанным величеством, которое вы профанировали? Дух египетского масонства, подними тяжелую завесу пространства. Смотрите, ее глаза красны от первых слез истинного горя, но не последних. Камер-фрау Кампан выбирает в картинных магазинах на набережной лучший портрет из сотни портретов Цирцеи-Ламотт. Королева желает знать, может ли самая низкая женщина при случае затемнить свет высокой женщины. Портрет отвечает: никогда!» (Движение в публике.)

«А, это что, силы небесные! Разве колеблется царство обмана? Не вырываются ли лучи света из его мрачных основ в то время, как оно бьется и мучится в предсмертных муках? Да, светлые лучи пробиваются, приветствуют небо, зажигают его, их звездное сияние делается адским пламенем. Обман охвачен огнем, он сгорел, красное огненное море окружает целый мир и огненными языками лижет звезды. Власть, кардинальство, тучные монастырские доходы и – что я вижу – джиги всего мира ввергаются в него! Горе мне! Никогда с тех пор как Чермное море поглотило колесницы фараона, не было столько колесных экипажей в этом огненном море. Превращенные в пепел, в газовые частицы, они будут носиться по ветру… Выше и выше пламенеет огненное море; трещит только что рухнувший лес. Металлические изображения расплавились, мраморные статуи обратились в известку, каменные горы с глухим гулом взлетели на воздух. Респектабельность жалобно покидает землю, с тем чтоб возвратиться при новом порядке; обман хотя и горит целые поколения, но сжигается только на время. Мир превратился в черный пепел, когда-то он зазеленеет? Медные изображения обращаются в бесформенную массу, все жилища людей разрушены, горы обнажены, долины мертвы – и мир опустел! Горе тем, кто в это время родился! Муж Оливы, Искариот – Egalite, и ты, суровый Делоне, с твоею мрачною Бастилией, низвергнуты в прах; за вами последовали целые поколения, пять миллионов людей,

уничтоживших друг друга. Наступил конец царству обмана, и все джиги, какие только есть на земле, истреблены неугасимым огнем…»[24]

Здесь пророк умолк и глубоко вздохнул; из уст кардинала вырвалось тихое, дрожащее «гм».

«Не печалься, монсеньор, несмотря на свою болезнь в почках и другие недуги, для тебя, к счастью, еще не наступила смерть[25]*. О, монсеньор, в тебе была наклонность к добру; кто не хотел плакать о тебе после того, как посмеялся над тобою? Смотри, даже не слишком справедливый историк, после многих лет пишущий в отдаленной стране твою жизнь и называющий тебя «грязным вулканом», и тот убедился, что жизнь твоя была единственным случаем в целой вечности, а ты расточил ее, и в его жестком сердце шевелится жалость к тебе. О, монсеньор, ты не был чужд благородства, твой грязный вулкан был неуместной силой, огнем, которым не успели распорядиться. Ты прошел мир, алчно пожирая все, но ни жизненного эликсира, ни философского камня мы (по недостатку денег) не могли с тобой открыть. Бесстыдная Цирцея принялась тебя откармливать, и тебе пришлось наполнять свое чрево восточным ветром. И ты не лопнул? Нет, потому что у твоего Иезуита были повсюду шпионы. Ты очистился от преступления, но не от преступления господствующей идеи, и теперь плачешь, кающийся изгнанник, в овернских горах. Даже само огненное море не истребит тебя никогда, но истребит только твой джиг и вместо джига (о, роскошный обмен!) восстановит твое «я». Ты проживешь мирно по ту сторону Рейна, спасешь многих от огня и уврачуешь их раны, и наконец после почтенной, доброй старости, тихо заснешь на лоне твоей матери-земли».*

Кардинал издал какое-то ворчание, кончившееся продолжительным вздохом.

«О, ужасы, как назовут вас, – снова начал шарлатан, – зачем же вы забыли сира Ламотта, зачем не сделали из него висельной падали? Не прекратит ли его животного существования копье или шпага, направленная в него, как полагают, сквозь окно кареты на Пиккадилли в Лондоне, где он безуспешно шатается? Не отравят ли его? Но яд не убивает Ламотта, как не истребляет его сталь или резня[26]*. Пусть дотянет он свою лишнюю жизнь до второго и третьего поколения и явит не слишком взыскательному историку свое лицо, прежде чем умрет.*

Но га! – вскричал он и остолбенел, вытаращив от ужаса глаза, как будто чей-нибудь кулак вышиб из него дух. – О, ужас из ужасов! Я вижу самого себя! Римская инквизиция! Целые месяцы страшной травли! «Жизнь Джузеппе Бальзамо!» Труп Калиостро

лежит еще в замке св. Льва, но его «я» отлетело, куда? Присутствующие покачивают головами и говорят: “Смотрите, как медный лоб потускнел – эти томпаковые губы не могут более лгать!”» – И он залился слезами, застонал, упал без чувств и затем был перенесен на постель Делоне и другими.

Так говорил (или мог так говорить) и пророчествовал архишарлатан Калиостро и пророчествовал гораздо лучше, чем прежде, потому что каждая йота его пророчества (кроме обещанного нам свидания с Ламоттом, которое делается все несбыточнее, потому что с 1826 года мы не слыхали о нем и не знаем, жив ли он или умер) буквально сбылась, да и вообще во всей этой истории нет ни одной йоты неправды, которую мы могли бы превратить в правду.

Тем заканчивается наш маленький труд. Ожерелье было – и нет его более. Камни его снова «обращаются в торговле» и могут со временем послужить сюжетом для другой истории. Завоеватели его, каждый промышлявший им, получили неизбежную награду – именно смерть.

Для ненаблюдательного глаза это маленькое событие показалось незначительным облачком на ясном небе, но окрашенным до такой степени в мрачный цвет пошлости, распущенности и общего безумия, что опытный глаз подметил в нем скопление электричества, а мудрые люди, как Гете, предвещали землетрясение. Да разве и не случилось землетрясение?

Вольтер[27]

Если бы честолюбие само избирало себе путь и если бы воля, руководящая человеческими предприятиями, равнялась человеческим способностям, то все истинно честолюбивые люди сделались бы писателями. Рассмотрим любовь к господству, которая входит во все практические расчеты, признаваемые нашими утилитарными друзьями единственной целью и источником, движущей силой и наградой всех земных предприятий, оживляющих одинаково филантропа, завоевателя, торгаша и миссионера. Мы увидим, что всякое другое поприще для честолюбия в сравнении с богатым и необъятным литературным поприщем, под которым мы подразумеваем все, что относится к знанию и распространению мысли, скудно, ограниченно и недействительно.

Как бы туп, неразвит, руководимый только своим собственным инстинктом, ни казался обыкновенный человек, он тем не менее владеет неизбежной принадлежностью – головой, в известной степени размышляющей и рассчитывающей. Ему дан слабый светоч разумения, который хотя и падает на него сквозь мрак и дым, все-таки служит ему в продолжение жизни путеводной звездой, и как теперь, так и во все времена человеческой истории мнение управляет миром.

Кроме того, любопытно наблюдать в этом отношении, как кажущееся отличается от действительного и при каких оригинальных формах и обстоятельствах следует отыскивать истинно замечательного человека в известный период времени. Если бы какой-нибудь Асмодей одним движением руки мог настолько раскрыть перед нами значение настоящего, насколько раскроет его будущее, какое любопытное зрелище увидели бы мы, намного любопытнее того зрелища, которым любовался хромой бес сквозь мадридские крыши. Ибо мы не знаем, что мы такое, а также не знаем, что мы будем. Возвышенная, торжественная, почти страшная мысль для каждого отдельного человека заключается в том, что его земное влияние, имевшее начало хоть самое ничтожнейшее, и течение целых столетий не будет иметь конца. Что совершилось, то совершилось и слилось с безграничной, вечно живущей и вечно действующей вселенной и будет действовать на пользу или во вред, тайно или явно, во все времена. Жизнь человека подобна источнику реки, слабое начало которой видимо для всех, но ее дальнейшее течение и назначение, когда она стремится через бесконечное пространство лет, известно только одному Всеведущему. Сольется ли она с

соседними реками и будет платить им дань или сделается их властительницей? Останется ли она безыменным ручьем и, смешав свои ничтожные волны с волнами других ручьев и рек, умножит поток какой-нибудь всемирной реки? Или сделается она Рейном или Дунаем, течение которых составляет вечную пограничную линию на земном шаре, оплот и большую дорогу для целых царств и земель? Мы не знаем этого, нам только известно, что путь ее лежит в океан, – ее воды, хоть бы составлявшие одну горсть, существуют и не могут быть ни уничтожены, ни надолго задержаны.

Также не можем мы из настоящих обстоятельств предсказать будущее человека. Сколько демагогов, Крезов, завоевателей наполняют свой век торжеством, славой и ужасом, обещающими вечно продлиться, а в будущем столетии исчезают и предаются забвению. Они походят на рощи смоковниц, переросшие молодые кедры и алойные деревья, но, подобно смоковнице пророка, засыхают на третий день. Что сделали тем фараоны, когда медиамский священник Иофор заставил изгнанных евреев пасти свои стада? Фараоны со всеми их колесницами погребены под развалинами времен, а память Моисея не только живет среди своего народа, но в сердцах и ежедневных занятиях всех цивилизованных народов. Или вспомните Магомета, ездившего в своей юности по сирийским конным ярмаркам? Но приведу еще более поразительный пример. Кто не помнит тех строк Тацита, встречающихся в виде маленького, ничтожного случая, в истории такого деспота, как Нерон? Для нас они представляются знаменательными, потрясающими словами, когда-либо написанными рукой человека:

«Чтоб уничтожить эти слухи[28], он приискал мнимых преступников и умертвил в страшных истязаниях так называемых «христиан», которых все ненавидели за черные дела. Они получили это имя от «Христа», который, в царствование Тиберия, казнен был прокуратором Понтием Пилатом. Эта пагубная секта была уничтожена, но после снова распространилась не только по Иудее, где получила начало, но даже в Риме, где образовался центр их постыдных и преступных дел»[29].

Тацит был умнейшим, проницательнейшим человеком своего времени, а между тем так поверхностно смотрел на событие, одно из замечательнейших, когда-либо происходивших в летописях человечества.

Нашу заметку можно применить не только к тем первобытным временам, когда зародилась религия и человек со светлым и возвышенным умом явился простым учителем и философом, но и к той эпохе, когда он сделался священником и

пророком. Подобная неуверенность в оценке настоящих событий и людей встречается более или менее во все времена, потому что во все времена, даже самые грубые, открытые исследованию, человеческое общество покоится на неизмеримо глубоких основаниях, и тот ошибается более всех, кто полагает, что он основательнее всех исследовал его. Тот порядок вещей, который мы любим называть «цепью причин», также не следует сравнивать с «цепью или линией», а скорее нужно смотреть на него, как на ткань или поверхность скрещивающихся бесчисленных линий, который своею сложностью сбивает с толку и ставит в тупик самый расчетливый и устойчивый ум. И действительно, умнейшие люди из нас, даже большинство их, судят так же, как и простые смертные. Они ценят значение факта только по его объему и полагают: то, что имело влияние на наше поколение, будет также влиять и на последующие поколения. Поэтому и случается, что влияние каких-нибудь завоевателей и политических агитаторов нам кажется громадным, а между тем в действительности нет ни одного класса людей, который, производя такую суматоху в мире, оказывал бы такое ничтожное влияние на его дела. Когда Тамерлан воздвиг пирамиду из 70 000 человеческих черепов и, блистая стальной кольчугой, с секирой на плече, стоял у ворот Дамаска, мимо него проходили на новые победы и новую резню его дикие полчища. Устрашенный зритель мог подумать, что земля находится в предсмертных муках, потому что опустошение и отчаяние овладели ею и самое солнце человечества заходит в кровавом море. А между тем было возможно, что в этот самый торжественный день Тамерлана на майнцских улицах играл маленький мальчик, история которого для мира была важнее, чем история двадцати Тамерланов. Татарский хан с его косматыми демонами пустыни «пронесся, как ураган» и был забыт навеки, а тот немецкий ремесленник совершил благодеяние, которое теперь принимает громадные размеры и будет распространяться во всех странах и во все времена. Что значат в сравнении с «подвижными буквами» Иоганна Фауста все победы и экспедиции целой корпорации полководцев, включая сюда и самого Наполеона?

И действительно, для подобного завоевателя весьма прискорбно подумать, как непрочен металл, которым он бьется с такой силой, как быстро добрая земля заглаживает его кровавые следы. Все, чего он достиг и смелой рукой присвоил себе, походит на «лагерь», который еще сегодня вечером полон шумной жизни, а завтра снимется и исчезнет, оставив по себе только «небольшие ямы в земле и кучу соломы». Поэтому-то и справедливо, что самая глубокая и могучая сила есть сила мирная, а кротко

сияющий солнечный луч спокойно совершает то, чего не в состоянии сделать свирепая буря. Кроме того, не следует забывать, что не материальной, а нравственной силой управляются люди и их действия. Как тиха мысль! Ее движение не сопровождают ни гром барабанов, ни топот эскадронов и грохот обозов… Придет время, когда сам Наполеон будет более известен своими законами, чем победами, а битва при Ватерлоо будет не так важна, как важно открытие первой ремесленной школы.

На эти размышления навели нас «Записки о Вольтере», человеке, в истории которого удивительным образом снова является на свет относительное значение интеллектуальной и физической силы. Это было частное лицо, не отличавшееся высоким происхождением, а между тем можно сказать, насколько позволяют судить настоящие исследования, что если устранить Вольтера и его деятельность из XVIII столетия, то это произведет большую разницу в порядке вещей. Может быть, за единственным исключением Лютера, не найдется ни одного человека с такой умственной деятельностью, влияние и слава которого сделались бы так популярны в Европе, как слава и влияние Вольтера. Подобно великому немецкому реформатору, его учение с самого начала оказывало влияние не только на верования мыслящего человека и молча распространялось на все умы, но в высшей степени влияло и на действия политического мира и способствовало страшным гражданским переворотам, о которых рассказывает европейская история.

Без сомнения, Вольтер казался уже своим современникам, по крайней мере тем, которые имели уже некоторое понятие о тогдашнем настроении умов, замечательной и вполне исторической личностью. Но может быть, самые горячие его поклонники не смели пророчить ему того величия, которым он окружен теперь в глазах даже своих противников и хулителей. Он приобретал все большее и большее значение по мере того, как время отдаляло его от нас, и по мере того, как его деятельность начала обнаруживать явные результаты. Наперекор многим великим людям, но подобно всем великим агитаторам, Вольтер всюду является человеком своего века, соединяя в себе все умственные преимущества, наиболее ценимые в то время. Но при этом у него недоставало остроумия понять дальнейшее стремление этого века, у него не было благородства бороться с ними и тем оказывать на них непосредственное влияние. Он вел толпу туда, куда увлекал ее собственный слепой инстинкт. Он держался во главе движения, умея не только отдавать приказания, но заставлять и повиноваться себе. В настоящее время, когда мы смотрим издали на это дело, все действия его

последователей и учеников, даже целый ряд могучих политических переворотов, в которых эти действия, впрочем, принимали довольно пассивное участие, кажутся нам как бы исключительно его делом, так что он представляется нам воплощением и квинтэссенцией целого умственного периода, теперь почти исчезнувшего, но все-таки замечательного и любопытного для нас, стоящих, по-видимому, на пороге нового и более лучшего.

Если б мы даже забыли, что наш век есть «век прессы», где всякий не только может читать, но и снабжать нас чтением, и если б мы только пересчитали те книги и брошюры, рассеянные, как осенние листья, которые были напечатаны об этом человеке, то мы могли бы смотреть на него, как на замечательную личность не только XVIII столетия, но и всех столетий, начиная с самого Всемирного потопа. У нас есть биографии Вольтера, написанные его друзьями и врагами – Кондорсе, Дюверне и Лепаном. Частные заметки, документы и разного рода достоверные или сомнительные сведения были составлены бесчисленным количеством рук, из которых мы упомянем только о трудах его секретарей: Коллини, появившихся двадцать лет тому назад, и двух объемистых томов Лоншана и Ваньера. Кроме того, существует замечательное во многих отношениях собрание барона Грима. Затем 36 томов сплетен и болтовни, явившихся под заглавием «Мемуары Башомона»; памфлеты и панегирики, выходившие отдельно при его жизни, и целая масса критических статей, написанных в форме апофеоза или проклятий, отпечатанных после его смерти, и множество беглых заметок, которые могли бы наполнить целые библиотеки. Оригинальный талант французов к повествованиям, анекдотическим рассказам придает этим произведениям удобочитаемый характер. Вследствие этого качества они легко распространились не только во Франции, но и за границей, так что о Вольтере читала большая часть стран и его имя и жизнь сделались так же известны, как жизнь какого-нибудь деревенского соседа.

В Англии по крайней мере, где в продолжение целого столетия изучение иностранной литературы ограничивалось только французскими писателями и старинными итальянскими классиками, в читателях произведений Вольтера и сочинений, касавшихся его, недостатка не было. Мы полагаем, что нет литературной эпохи, даже отечественной, относительно которой англичане были бы так сведущи или по крайней мере собирали бы столько анекдотов и мнений, как относительно эпохи Вольтера. Также не было недостатка и в отечественных произведениях по этому предмету, отличавшихся разнообразием

формы и содержания. Проклятия, хулы и страшные угрозы, напоминавшие мрачные изображения на испанских «Sanbenitos», выходившие из головы ограниченных, но благомыслящих людей враждебного класса; громкие похвалы явных или тайных друзей – все это издавна и в обширных размерах совершалось у нас. Существует даже английская «биография Вольтера», изданная в 1821 году Холлом Стэндишем. Кроме того, мы припоминаем, как в брошюре одного «деревенского джентльмена» некоторые места из его сочинений цитировались «с ужасом», – в брошюре, трактовавшей, трудно сказать, о народном ли образовании или о сохранении дичи.

Но с «веком прессы» и ее подобными манифестациями относительно этого предмета – мы далеки, чтобы ссориться. Мы прочли «Тысяча и одно» воспоминание о Вольтере Лоншана и Ваньера не без удовольствия и не прочь бы видеть еще другие воспоминания.

Ничего нет естественнее желания добыть все возможные сведения о какой-нибудь выдающейся личности, в особенности нашей собственной эпохи. Изучение характера подобного человека, его умственной индивидуальности и оригинального образа жизни весьма поучительно для всех людей. Даже его внешность, самые привычки и поступки – если б только большая часть этих рассказов не была ложью – заслуживают внимания. Впрочем, и подобная ложь, если она только держится в скромных пределах, и предмет ее уже давно умер, не походит ли на охоту за бекасами или на чтение романов о великом искусстве распоряжаться жизнью, или, говоря технически, убивать время? Что касается нас, то мы скажем: пусть каждый Джонсон имел бы своего правдивого Босуэлла или целую стаю Босуэллов! Тогда мы могли бы терпеть его Хокинсов, если б они даже и лгали. Относительно же Вольтера необходимо и полезно, чтоб истина о его деятельности была вполне раскрыта. Биография человека, который – чтоб не сказать более – употребил свои лучшие силы, и, как многие полагают – с успехом, на нападки на христианскую религию, должна быть событием значительной важности. Что он делал и чего он не мог сделать, как он это делал или пытался сделать, т. е. с какой силой и ясностью и в особенности с какой нравственной целью, с какими теориями и взглядами на человечество и человеческую жизнь, – вот вопросы, которые требуют разрешения. Для определения индивидуальности Вольтера эти вопросы не важны, но в наших глазах они не только касаются собственно замечательного лица или назначаются для любопытных или ученых, но составляют предмет высокого значения для всех людей, предмет, который не под силу обнять

нашей философии.

Мы намереваемся предложить несколько замечаний относительно этого quaestio vexato, надеясь, что читатель примет их благосклонно. Если мы рассмотрим всю деятельность Вольтера, то заметим мало единогласия относительно этого предмета, как в настоящую эпоху, так и в другой какой-либо период. Вероятно, еще немалое время будут говорить об этом «универсальном гении», этом «апостоле разума», «творце здравой философии», тогда как другие будут называть его «чудовищем безверия», «софистом», «атеистом», «обезьяною-демоном» или заклеймят его именем «враля», как это сделал покойный д-р Кларк. Трудно, чтоб эти партии когда-нибудь пришли к соглашению. Тем не менее истина лучше заблуждения. Нужно надеяться, что взгляды людей на Вольтера, имеющие некоторое значение, и вольтерьянизм, имеющий громадное значение, если и не совсем сойдутся, то будут сближаться постепенно при каждом новом сравнении. Что всего желательнее, сближаться в том пункте, который ближе к истине, нежели тот, на котором они в настоящее время находятся.

При честном желании вызвать подобное сближение существует одно условие, которого мы и просим читателя держаться, именно не разделять мнения партий против Вольтера, соблюдать терпимость относительно его, как относительно всех людей.

Положим, что эта обязанность проповедуется каждый день, но ее, по правде сказать, не исполняет ни один смертный. Тем не менее, если мы действительно хотим составить себе истинное понятие о каком-нибудь предмете и не только – как это часто случается – подтвердить наши готовые мнения и тем удовлетворить тем или другим притязаниям тщеславия или злобы, то на терпимость можно будет смотреть как на неизбежное требование, как на условие, в силу которого только и возможен действительный успех.

Это особенно верно относительно наших собратьев-людей и каждого истинного взгляда на их характер. Ни один характер – это мы можем смело утверждать – не был бы вполне понят, если б на него не смотрели не только с чувством терпимости, но и симпатии. Ибо в этом случае, более, чем в других, оправдывается истина, что сердце видит дальше головы. Мы должны убедиться, что наш враг не то ненавистное существо, каким мы хотим его себе представить. Его пороки и недостатки представляются ему совершенно в другом виде, нежели нам, в другой, смягчающей окраске, так что они, может быть, кажутся ему даже добродетелью. Если он несчастен, какими мы его воображаем, то

жизнь была бы для него бременем, потому что самый ничтожный смертный не живет одним хлебом; некоторое присутствие совести также необходимо для физического существования: она, как мелкий, всепроникающий цемент, поддерживает этот удивительный союз «я». Если человек не сидит в сумасшедшем доме или не застрелился и не повесился, то мы должны утешаться и прийти к заключению, что он или злой пес в образе человека, на которого надевают намордник, жалеют его и дивятся ему, или он действительный человек и, вследствие этого, не без нравственного достоинства, которое следует просветить и поддержать. Но чтоб судить о его характере, мы должны смотреть на него не «его глазами», а нашими собственными. Мы должны жалеть его, видеть в нем своего собрата. Одним словом – любить его. В противном же случае его духовная природа будет для нас непонятна. Поэтому при анализе деятельности Вольтера необходимо вдуматься в некоторые вещи, а некоторые вещи держать в отдалении. Мы должны забыть, что он некогда нападал на наши мнения или защищал их, что мы можем упрекнуть его в причиненном нам страдании или благодарить его за доставленное нам удовольствие; мы должны забыть, что мы деисты, епископы или радикалы, и помнить только, что мы люди. Этот человек принадлежит целой Европе, и мы обязаны, если только хотим хоть немного понять его, глядеть на него не с приходской колокольни или паперти, но, если возможно, с естественной и неизмеримо высшей точки зрения.

Замечателен факт, что в последние пятьдесят лет жизни Вольтера его хулители редко или даже вовсе не упоминали о нем без того, чтоб не назвать его «великим». Так что если соединить слоги так же удачно, как это сделано с именем «Charle-Magne», то можно бы было надеяться, что его имя перейдет в потомство не просто как Вольтер, а «Voltaire-ce-grand-homme». Но потомство гораздо сдержаннее в этом деле; ему предстоит еще объяснить много вещей и сомнительных вопросов, пока оно будет в состоянии наградить человека подобным титулом. Чтоб выяснить истинное значение Вольтера относительно его самого и мира, его специальный характер и человеческое достоинство, определить его влияние на общество как деятельное орудие в европейской культуре, нам необходимо углубиться в исследования, на результатах которых вертится все дело.

Мы сознаемся, что при взгляде на жизнь Вольтера главное качество ее составляет так называемая ловкость. Величие заключает в себе многие условия, существование которых в его жизни трудно доказать, но притязание его на это величие неоспоримо. Были ли у него высокие или пошлые, справедливые

или ложные цели, он все-таки всегда умел найти средства приложить и употребить их в дело. При этом не мешает заметить, что цель его вообще не простого свойства, достигнуть ее нелегко, потому что немногие писатели вели такую превратную жизнь и отличались такой разнообразною деятельностью, как Вольтер. Он проводит свою жизнь не в углу, как ученый-затворник, но на открытой сцене мира, в подвижном веке, когда общество начинает разлагаться, суеверие вступает в смертельную борьбу с неверием, в борьбу, в которой он сам играет выдающуюся роль. С ранних лет он находится в постоянных сношениях с высокопоставленными лицами того времени, живет в авторитетных кружках, вращается в избранном и модном обществе. Нинон де Ланкло оставляет мальчику наследство для покупки книг, он еще молод, но говорит о своих собеседниках: «Мы или принцы, или поэты». В последующий период жизни мы находим его в обществе или в переписке со всеми коронованными особами, начиная с английской королевы Каролины и Екатерины II и кончая Папой Бенедиктом и Фридрихом Великим. Между тем как он, таким образом, пишет свои письма из одного конца Европы в другой, укрывается в деревне или роскошно живет в столицах, он все-таки не покидает своего пера, которым, как волшебным жезлом, управляет и руководит громадной машиной европейского мнения. Он делается, как ему уже предсказал его учитель, «корифеем деизма» и, не довольствуясь этим званием, старается, и довольно успешно, соединить с ним звание поэта, историка и философа. При этом мы должны заметить, что он отлично устраивает свои денежные дела, спекулирует фондами, домогается пенсий и повышений, ведет торговлю с Америкой, состоит долгое время поставщиком провианта для армий и увеличивает этими и другими средствами, кроме литературы, не приносящей никогда много, свой крайне скудный доход более чем во сто раз. И затем, вместе с коммерческими делами, написав до тридцати популярнейших томов, он, после долгого изгнания, возвращается в свой родной город, где его встречают, как бога, и заканчивает жизнь приличной смертью, именно захлебывается в океане похвал, так что можно сказать, что если он жил для славы, то и умер от нее.

Такой разнообразный, полный успех, выпадавший, в каком бы то ни было веке, только на долю немногих людей, заставляет предполагать если не счастливую судьбу, то по крайней мере беспримерную ловкость в употреблении средств. Тут необходим был великий талант, причина, соответствующая действию. И в самом деле, любопытно вглядеться, с каким замечательным искусством Вольтер держит свой курс при самых

неблагоприятных условиях, как ловко объезжает, несмотря на бури, мыс Доброй Надежды. Здесь топит или щадит своего врага, там набирает свежей воды. Вступает в торговую сделку с дикарем, укрывается в надежной бухте, пока минует буря, и таким образом, наперекор волнам, морским чудовищам и вражеским кораблям, кончает свое долгое путешествие с гордо развевающимся флагом и с палубою, покрытою золотом и серебром. Не говоря ничего о его литературном характере, главной чертой которого была та же самая неподражаемая ловкость, мы взглянем только на его общий образ действий, выразившийся как в его сочинениях, так и в поступках. Поочередно и как нельзя кстати он то повелевает и прислуживает, то, подобно Гипериону, мечет с вершины гор свои острые стрелы. Или, чуя приближающуюся опасность, забивается куда-нибудь в темный угол, или, захваченный на месте преступления, клянется, что он сделал это из шутки и что он благонамереннейший человек в мире. Он действует смотря по обстоятельствам. Может до известной степени обдавать холодом или жаром и никогда не прибегает к силе там, где есть возможность обойтись хитростью. Иерархические ищейки, наделенные тонким чутьем и острыми зубами, спускаются на него, но он хитер, как лиса, и его не скоро поймаешь. Ловкими маневрами сумеет он обмануть преследователей, укрыться под землей, так что и следов его не найдешь[30]. При этом он окружает себя странной системой анонимов и мистификациями всевозможного рода. Для собственной защиты у него нет постоянной армии, но все-таки он «европейская сила», не лишенная защиты, – невидимая, неприступная, до сих пор не признанная крепость общественного мнения охраняет его. С большим искусством поддерживает он эту крепость, нередко делая из нее вылазки далеко за назначенные ему пределы. Но у него, как у сказочных героев, есть шапка-невидимка и свои сапоги-скороходы.

В Вольтере мы видим то ловкого царедворца, то ядовитого сатирика; он может богохульствовать и вместе с тем созидать храмы, смотря по признакам времени. Фридрих Великий не слишком высок для его дипломатии, а бедный типографщик, печатавший его «Задига», не слишком низок[31]; он сумеет подделаться к кардиналу Флери и священнику церкви Сен-Сюльпис и смеется себе в кулак над всем миром. Мы можем назвать его лучшим политиком, о каком только рассказывает история; по крайней мере можно сказать, что он был самым ловким писателем.

При этом самые злейшие враги его, по-видимому, не будут отрицать, что он владел врожденным чувством прямоты, как

вообще всякой добродетели. Внешняя живость темперамента характеризует его, а его теплое чувство ко всякой форме красоты не только разумно, но и нравственно. Его практическая жизнь немало представляет тому доказательств, делающих ему честь. Для неимущих он был во всякое время благодетелем, многие голодные авантюристы пользовались его добротой и нередко кусали руку, кормившую их. Если мы перечислим его благородные поступки, начиная с дела аббата Дефонтена и кончая вдовой Каллас, то увидим, что немногие из частных людей так далеко простирали свое благодеяние и так дорожили им. Если заметят, что честолюбие принимало немалое участие в этих поступках, то и тогда мы должны сказать, что Вольтеру нечего было гоняться за славой. А если бездушные люди будут утверждать, что все-таки слава была главным мотивом этих поступков, – мы напомним им, что любовь к подобной славе уже сама по себе есть проявление гуманного, общительного сердца, и мы желали бы, чтоб она, как признак громадного прогресса, одушевляла всех людей. Вольтеру на опыте была знакома человеческая низость, поэтому-то он всегда и сочувствовал человеческим страданиям и находил удовольствие облегчать их, если даже он этим вместо всякой награды доставлял себе только одно благородное наслаждение. Его дружеские отношения, по-видимому, были постоянны и продолжительны; даже на таких глупцов, как Тирье, которых терпел только по привычке, он, после неоднократных оскорблений, продолжает смотреть как на друзей. Относительно людей, равных ему, он, как мы могли заметить, не питал зависти, по крайней мере явной, что, во всяком случае, было удивительно встретить в человеке, пользовавшемся такой широкой популярностью. Против Монтескье, и, может быть, его одного, он не может скрыть злобы, но при этом публично отдает ему полную справедливость. Даже относительно своих врагов и людей, обманувших его доверие, Вольтер не является непримиримым или мстительным человеком. Минута их раскаяния вместе с тем и минута его прощения; самая враждебность их иногда раздражает его и вызывает нападки. Его сердце слишком добро, слишком легкомысленно, чтоб он мог долго питать злобу или мщение. Если у него недостает способности прощать, то у него нет недостатка в уме – забывать. Если он при своих продолжительных, длившихся всю его жизнь спорах не мог великодушно поступать со своими противниками, то все-таки он не обходился с ними неблагородно и не прибегал к абсолютной подлости, которая по закону возмездия так нередко оправдывается.

Если мы не можем назвать его героем, то все-таки он в наших

глазах вполне образованный, воспитанный человек, – обстоятельство поразительное, когда мы вспомним, что ему приходилось вести войну с озлобленными теологами, войну «на ножах» с их стороны. Он выказывает много второстепенных добродетелей, по которым уже можно судить о его высших качествах. При этом он не так обилен недостатками, которых следовало бы ожидать при его положении и которые, во всяком случае, можно бы было и извинить.

Все это хорошо и доказывает, что при всех этих качествах может образоваться достойный уважения деловой человек, в обширном смысле этого слова, но все эти качества еще недостаточны, чтоб сделать из него великий характер. И действительно, в натуре Вольтера заключается большой недостаток, который роковым образом препятствует ему достигнуть этого. Мы говорим о его врожденном легкомыслии, об отсутствии в нем всякой серьезности. Вольтер родился насмешником, и эта природная наклонность, вследствие образа жизни, перешла в преобладающую, всепроникающую привычку. Мы далеки от того, чтоб утверждать, что невозмутимая серьезность должна быть существенным условием величия, что великому человеку следует иметь натянутую, кислую физиономию, которую бы никогда не оживляла и не согревала веселость. В мире много вещей, достойных осмеяния, но немало и вещей, достойных уважения, и тот не может похвалиться всеобъемлющим умом, кто не в состоянии воздать должное каждой вещи. Тем не менее презрение – опасная стихия, чтоб ею играть, – смертельная, если мы привыкнем жить в ней. И действительно, каким образом может человек совершать великие предприятия, переносить труд и противиться соблазну, если он не любит горячо то, что преследует? Способность любви, уважения – вот признак и мерило великих душ. Неразумно направленная, она ведет к великим бедствиям, но без нее не может быть ничего доброго.

Насмешка, напротив, есть способность, на которую ее обладатели возлагают многое, но, в сущности, эта способность невелика, – мы можем сказать, что она меньшая из всех способностей, а между тем многие люди относятся к ней с некоторым уважением. Она прямо противоречит мысли, знанию, – ее пища и сущность заключаются в отрицании, скользящем по поверхности, между тем как знание залегает глубоко. Кроме того, насмешка уже по своей природе эгоистична и в нравственном отношении тривиальна. Она только льстит нашему тщеславию, питает его, между тем как было бы гораздо лучше предоставить ее вполне самой себе.

Мы не один раз старались найти действительный смысл в афоризме, обыкновенно приписываемом Шефтсбери, – но которого, впрочем, мы не могли отыскать в его сочинениях, – афоризме, гласящем, что «насмешка есть пробный камень истины». Из всех химер, когда-либо встречавшихся нам в форме философского учения, подобная химера кажется нам самой нелепой и непонятной. Разве человеческий ум когда-нибудь понимал ее и верил ей? Насколько обыкновенный человеческий ум может понять, смех не менее зависит от смеющегося, как и от осмеянного, и мы теперь спрашиваем, кто дал насмешникам патент, что они всегда правы и всезнающи? Если философам залива Нутка нравилось смеяться над маневрами матросов Кука, были ли эти маневры от этого бесполезны и следовало ли морякам стоять, сложа руки, или воспользоваться кожаными лодками, пока пройдет этот смех? Пусть предусмотрительная публика разрешит этот вопрос.

Но, оставив этот вопрос, мы заметим только, что все великие люди старались ограничить этот талант или эту наклонность к насмешкам. Так, в веках, на которые мы смотрим как на величайшие, большинство искусств, содействовавших этому величию, считались занятием, не достойным свободных людей, и предоставлены были одним рабам.

В Вольтере, по природе или по привычке, нет подобного ограничения. Насмешка сделалась непреодолимым влечением его ума, так что для него во всех вещах первым вопросом было не то, что истинно, а что ложно, не то, что следует любить, а что нужно презирать, осмеивать и насмешкой выбрасывать за дверь. Он собирает обильное торжество как разрушитель идеалов, но при этом пользуется небогатой добычей. Тщеславие находит достаточное удовлетворение, но относительно лучшей награды здесь не может быть и речи. Благоговение, на которое только способна человеческая природа, венец его нравственной силы и драгоценное, как массивное золото, будь оно даже в грубейшей форме, по-видимому, ему непонятно и только знакомо по преданиям.

Слава знания и веры чужда ему, он только знаком с сомнением и порицанием. Поэтому он не вглядывается в природу; вселенная, во всей ее красоте и таинственном величии, перед которой маленькое «я» повергается в прах, ему не открывается ни на минуту; только тот или другой атом, разницу и противоречие этих атомов подметил он и исследовал. Его теория мира, его взгляд на человека и человеческую жизнь узки и даже бедны для философа и поэта. Если рассмотреть его высшие идеи, то они покажутся слишком скудны, – это не что иное, как слабый

рефлекс собственного «я» и жалких интересов этого «я». «Божественная идея» была для него чужда. Он читает историю не глазами провидца или критика, но сквозь антикатолические очки. Она для него не драма, поставленная на сцене бесконечного, с солнцем вместо ламп и вечностью вместо декораций, творец которой Бог и содержание которой и тысячеобразная мораль ведут чрез мрак и свет к престолу Божию, но жалкий, утомительный, десятки лет продолжающийся спор между энциклопедией и Сорбонной. Разум или глупость, благородство или низость полны для него суеверия или неверия. Божий мир для него только наместничество св. Петра, из которого было бы недурно выгнать Папу.

На этом основании натура Вольтера, в которой вначале было более силы, чем глубины, достигнув зрелости, оказалась мелкой и слабой, несмотря даже на изумительные дарования. В продолжение всей его жизни мы не подмечаем в нем героизма, и все его тридцать шесть томов, по нашему мнению, не заключают в себе ни одной великой идеи.

Великое дарование, которым наделила его природа и которое нередко обнаруживается со всей силой в его произведениях, является тут не светом, а скорее блудящим огнем. Свойственный такому уму энтузиазм также посещает его, но у него нет продолжительной силы в мыслях, нет твердой опоры. В нем заключается энергия, но вместе с тем и мелочность, произвол, каприз, которые лишают его всякого достоинства. О его «горячностях» и трагикомических взрывах рассказывают тысячи анекдотов, но и при этих обстоятельствах он представляется не страшным вулканом, а скорее уподобляется трескучей ракете. Он чуть не убил франкфуртского полицейского, выстрелив в него из пистолета. Книгопродавец, вследствие естественного инстинкта грешного человека, запросивший с него дорого, вместо уплаты получает от философа оплеуху. Бедный Лоншан, обладая тактом и сохраняя приличие, рассказывает несколько случаев подобного рода. Так, например, Вольтер швырнул свой гребень, скомкал парик, одним словом – пришел в совершенную ярость, когда однажды, проголодавшись от долгой прогулки и жидкого чая, захотел поужинать, а Клеро и мадам дю Шатле, погруженные в алгебраические исчисления, медлили сойти вниз. Поданные блюда простыли, и Вольтер, выведенный из терпения, ударом ноги отворил дверь их комнаты и вскричал: «Вы собираетесь дождаться моей смерти?» А между тем он имел доброе сердце, прислуга любила его и подолгу жила у него. В нем заключалось много элементов добра, но они исчезают и не образуют прочной и продолжительной связи. Правда, он представляет собою гладкую,

тщательно обработанную поверхность, но под ней мы не находим крепкого, надежного грунта, а видим только дикий хаос, пробивающийся сквозь нее. Он человек силы, но не всегда употребляет эту силу на благое дело; мы боимся его, но не уважаем; чувствуем его силу, но не находим в ней возвышенного характера.

Большей частью этих духовных извращений он обязан природным недостаткам, но многим обязан и веку, в котором ему пришлось жить. Это был век несогласия и разрыва, в нем чувствовалось приближение великого кризиса в человеческих делах. Мы замечаем уже в нем все элементы Французской революции и удивляемся, – так легко забываем мы, как запутано и скрыто от нас вообще значение настоящего, – что не все люди предвидели приближение этого страшного переворота. С одной стороны, встречаем мы высокую, все испытующую деятельность интеллигенции. Дух исследования затрагивает каждый предмет. Божественное и человеческое без страха привлекается на суд так называемого разума, означающего здесь не что иное, как логику. Сильные умом устранены от правильного влияния на государственные дела, они глубоко сознают эту несправедливость. С другой стороны, мы видим немногих привилегированных людей, сильных покорностью большинства, но, в сущности, слабых; пестрый, неспособный батальон клерикалов, близоруких дворян или, скорее, придворных, потому что дворянство еще держится в стороне. Они не могут вести борьбу с логикой, а время преследований уже миновало. Главная сила закона находится еще в их руках, но глубже лежащая сила, одна придающая действительность закону, ускользает от них с каждой минутой. Надежда одушевляет одну партию, страх другую, борьба делается упорной и ожесточенной. На стороне так называемых философов острота без мудрости, на стороне их противников – слабость и озлобление; повсюду немало гордости, но мало великодушия, нигде не видно любви к истине, но везде выступает явное, пламенное обожание собственного «я».

В подобном положении вещей таились зародыши разрыва. Оба приведенные влияния висели на горизонте, подобно электрическим облакам, но предвещали недоброе; если они столкнутся, то зажгут небо, разрушат своими молниями землю и, может быть, на время сотрут с лица неба солнце и звезды. Руководящего средства примирить эти враждебные элементы нет; ни в одной из партий не заметно ни истинной добродетели, ни настоящей мудрости. Может быть, никогда во всей всемирной истории не встречалась эпоха, где бы всеобщая испорченность так громко требовала реформы, а между тем люди, взявшиеся за этот

труд, были лишены всякого внутреннего достоинства. Не Гракхи, а Катилины, не Лютер, а Аретины должны были возродить Европу. Труд был долгий и кровавый и до сих пор еще не кончившийся.

При подобных условиях нетрудно было угадать, к какой партии примкнет такой человек, как Вольтер. Будет ли он держаться обеих партий, вступит ли в центр их, не будучи приверженцем ни одной, может быть, ненавидимый обеими; будет ли поощрять и проповедовать истину, искаженную его веком, но которую признают будущие столетия, – все это составляло другой вопрос. Ни от одного человека, какими бы дарами ни наделила его природа, мы не можем требовать того, чего он не в состоянии дать, но Вольтер сам назвал себя философом. И такова нередко, почти всегда, была судьба великих людей и горячих друзей мудрости, что их собственный век и отечество смотрели на них, как на людей, не имевших значения; на великом всемирном рынке жемчуг их принимали за испорченный ячмень и отвергали с презрением. Не имея приверженцев, сильные только своею верой, неодолимым сознанием своего достоинства и права, они на словах или на деле взывали к будущим векам, когда их собственный слух уже будет закрыт для любви и ненависти, но когда истина, жившая в них, заговорит во всеуслышание. Бэкон завещал свои произведения будущим поколениям, долженствующим явиться после нескольких столетий.

«Разве мне не тяжело, – говорит Кеплер в своем уединении, под гнетом крайней нужды, – что люди ничего не хотят знать о моем открытии? Если Всемогущий шесть тысяч лет ждал человека, который бы мог видеть, что Он создал, то я, вероятно, буду ждать двести лет такого человека, который поймет, что я видел». Все это доказывает любовь к знанию, настойчивость в отыскании истины, что составляет самую благородную цель человека, но для достижения этой цели требуется высокое благородство, которого у Вольтера нет и следа; может быть, он даже не имел и понятия о нем. Его ум, при тогдашнем порядке вещей, не сознавал его, а сердце не в состоянии было следовать ему, и поэтому он избирает себе более простой и удобный путь. Не заботясь о конечном исходе, он посвящает себя делу собственной партии, тому классу людей, с которыми живет и с которыми желал бы жить в ладах. Он вступает в их ряды не без надежды сделаться когда-нибудь их главою. Это решение вполне согласуется с его прежними привычками и умственным направлением, из которого уже вытекают все его позднейшие действия и нравственный склад. Мы этим не хотим сказать, что

Вольтер был простым бойцом, состоявшим на жалованье, или «Швейцарцем неба», боровшимся за дело, которое он, может быть, не только наполовину, но даже и вовсе не одобрял. Нет сомнения, что он любил истину и был убежден, что защищает ее, потому что в его жизни мы не встречаем обстоятельства, при котором он бы отрицал свое верование или высказывал преднамеренную ложь. Такая отрицательная заслуга имеет свое значение, и желалось бы, чтоб даже лучшим из его противников она не была чужда. Но тем не менее его любовь к истине не та глубокая, бесконечная любовь, свойственная философу, которой почти каждый век был свидетелем и которой его собственная эпоха могла представить немало примеров. Его любовь, мы должны заметить – была гораздо ниже любви бедного Жан-Жака, этого полупомешанного мудреца, – она скорее походила на умный расчет, чем на страсть.

Вольтер любил истину, но преимущественно торжествующего свойства; мы не знаем примера, чтоб он боролся за какую-нибудь развенчанную, преследуемую истину, – но если она, хотя и в несчастии, является с царским достоинством, надеясь в битве добыть себе славу и отличие, то он усердно защищает ее. Даже самая вера у него не продукт душевных побуждений, а скорее рассудка. Его первый, может быть, главный вопрос относительно какого-либо учения касался его достоинства и пригодности. Он спрашивал: могут ли другие быть уверены в нем? Могу ли я на рынке променять его на власть? На такие вопросы непродажная и неподкупная истина не дает ответа и проходит мимо.

И действительно, если мы рассмотрим преобладающий мотив в деятельности Вольтера, то заметим, что в основе он был довольно вульгарен; честолюбие, желание господствовать над людьми – вот средства, которые были в его распоряжении. Он признает только одно божество – это общественное мнение, потому что все его действия, их сила и достоинство измеряются числом голосов. Но при этом нужно отдать ему справедливость, что в некоторой степени он не только считает, но и ценит их. Если любовь к славе, которую мы в таком человеке можем назвать только тщеславием, составляет его господствующую страсть, то все-таки при удовлетворении ее он выказывает некоторый вкус. Никогда не покидающее его тщеславие всегда искусно замаскировано. Даже свои справедливые требования он проводит тихо, без шума и в течение всей своей жизни не выказал и тени шарлатанства. Но несмотря на это, он был чувствителен к суждениям мира даже на высоте славы.

Если б на улице Траверсьер он мог устроить ухо Дионисия, то, вероятно, прислушивался бы к нему день и ночь. Стоило только какому-нибудь ничтожному, озлобленному аббатику,

какому-нибудь Фрерону или Пирону написать на него пасквиль или эпиграмму, и он приходил в страшное негодование. Мы допускаем, что в подобных случаях он переносил многое, мужественно сдерживал свой гнев и иногда долго не нарушал покоя, но, по нашему мнению, в его положении и не следовало иначе поступать. Для чего подобному человеку сердиться на злые выходки маленьких людей? Для чего не позволить этим беднякам писать и тем на его счет добывать себе нечестные деньжонки, если у них не было других, более честных средств? Но Вольтер не может расстаться с «голосами», с «нежными голосами», потому что они его боги. Отнимите их – и что останется у него? Поэтому как в литературе, так и в нравственности, да и вообще во всех своих поступках и действиях, он плывет по ветру. В деле искусства парижский «партер» служит ему последней инстанцией, он вопрошает кафе «Прокоп» о своей мудрости или глупости, как у дельфийского оракула. Нижеследующее приключение относится к сорок пятому году его жизни, когда слава его уже упрочилась. Мы переводим из книги Лоншана тощий, пристрастный рассказ, написанный чуть не с усердием лакея:

«Все знатоки признают достоинства «Семирамиды», которая продолжает держаться на сцене и смотрится с удовольствием. Всякий знает, насколько способствовали славе этой пьесы две главные роли, исполняемые мадемуазель Дюмениль и мадемуазель Кен. Враги Вольтера возобновили свои нападки при следующих представлениях, но торжество его этим еще более упрочилось. Пирон, чтоб утешиться от поражения своей партии, прибегнул к своему обычному средству, закидав грязью своих эпиграмм пьесу, не нанеся ей этим, впрочем, никакого вреда.

Тем не менее Вольтер, охотно исправляющий и переиначивающий свои пьесы, пожелал узнать подробнее и из первых рук, что дурного и хорошего говорит публика о его трагедии. Он решил, что лучше он нигде не узнает об этом, как в кафе «Прокоп», называемом также погребок «Прокоп», потому что там темно среди белого дня, а вечером плохо освещено и где толпятся исхудалые и бледные поэты, напоминающие привидения. В этом кафе, находящемся против «Комеди Франсез», более шестидесяти лет заседал трибунал так называемых Аристархов, полагавших, что они могут произносить безапелляционный приговор над пьесами, авторами и актерами. Вольтеру захотелось побывать там, но переодетым, сохраняя полнейшее инкогнито. Судьи эти обыкновенно отправлялись в cafe по окончании театра и там открывали свои заседания. Вечером после второго представления «Семирамиды» Вольтер добыл себе священническое платье, набросил сверху длинный

плащ, надел черные чулки, пояс и даже не забыл запастись четками. Затем он накрыл свою голову огромным, ненапудренным и плохо расчесанным париком, так что виднелся только один его длинный нос, а на парик надел треугольную шляпу. В подобном костюме автор «Семирамиды» пешком отправился в кафе «Прокоп», где уселся в угол и, в ожидании окончания спектакля, потребовал себе баварское, кусок белого хлеба и газету. Через некоторое время появились обычные посетители партера и завсегдатаи cafe и тут же принялись рассуждать о новой трагедии. Друзья и враги ее горячо выражали свои мнения, и каждый приводил свои доводы. Люди, не принадлежавшие ни к каким партиям, также высказывали свой взгляд и повторяли некоторые прекрасные стихи пьесы. В продолжение всего этого времени Вольтер, с очками на носу, делая вид, как будто углублен в чтение газеты, прислушивался к спору. Он одобрял умные замечания и негодовал на нелепые, на которые, к сожалению, не мог возражать. Так в течение полутора часов он имел мужество и терпение выслушивать спор и болтовню о «Семирамиде», не промолвив ни одного слова. Наконец, когда все эти судьи авторской славы постепенно разошлись, не убедив друг друга, Вольтер также вышел из кофейни, на улице Мазарин нанял карету и в 11 часов был дома. Хотя я знал о его переодевании, но, признаюсь, немало был поражен, когда увидел его в таком костюме. Я принял его за привидение или тень Нина, явившуюся мне, или, наконец, за тех ирландских спорщиков, которые, пройдя премудрость школьных силлогизмов, полагают свою карьеру оконченной.

Я помог ему избавиться от аппарата, который он на себя навьючил, и на следующий же день отнес его действительному владетелю, доктору Сорбонны».

Подобный поступок, не имеющий в себе ничего высокого, мог бы быть полезен и разумен только в одном случае, если б «Семирамида» была народной пьесой, жизнь и смерть которой зависела бы от первого впечатления на неразвитую толпу. Если бы вследствие этого было бы понятно нам ее действительное и главное значение. В противном же случае мы не можем смотреть на это гарун-аль-рашидовское посещение кафе «Прокоп» иначе, как на неуместную выходку, заслуживающую полнейшего порицания. Если бы «Семирамида» была поэмой, живым созданием, добытым у неба прометеевскими усилиями, – что могли бы сказать о ней в кафе «Прокоп», что мог бы сказать о ней Париж «после второго представления?» Если б это был «Потерянный Рай» Мильтона, то, может быть, и через пятьдесят лет они бы не поняли его. Правда, цель поэта заключается в том,

чтоб «поучая занимать», но занимать не того или другого человека, а все человечество; только занимая человека и беседуя с его чистой, неиспорченной натурой, можно «поучать» его. Поэтому напрасно бы было искать какого-нибудь суждения о втором представлении в кафе «Прокоп». Глубокое, ясное понимание одной светлой головы было бы для него приятнее, нежели громкий крик миллионной толпы, лишенной подобного понимания, «толки» и «болтовня» которой только мешают и путают слушателей и на которую истинные поэты спокон века взирали равнодушно.

Количество голосов еще не есть авторитет, и тысячи голосов, если судить строго, не составляют, может быть, и одного действительного голоса. Человечество в этом мире походит на стадо баранов, следующих за своим вожаком. Известно, что если вожак вздумает броситься куда-нибудь в сторону, то все стадо бежит за ним, – будь это хоть в бездонное болото. Так последовательны бараны в этом отношении, что если – рассказывает нам один любитель-натуралист – перед вожаком держать палку и заставить его перескочить через нее, то все стадо последует его примеру и будет продолжать свои скачки так же невозмутимо даже и тогда, когда палку уберут.

Но в целом мы должны смотреть на посещение литературного «погреба» как на обстоятельство, хотя и выставляющее Вольтера в забавном свете, но, во всяком случае, не делающее ему чести. Слава для него была высочайшей целью, которой он домогался. Иногда он гоняется даже за популярностью, и в этом случае путь ему указывает не полярная звезда, а ненадежный ветер, известный уже по пословице своею ненадежностью. Вольтер упрекает Людовика IX, что «ему следовало бы быть выше своего века», а между тем в нем самом мы не находим и следов этого героического превосходства. Вечные воззвания к современникам, вечные заботы о славе, как он ее понимал, указывают ему путь к предприятиям и способ выполнить их. Его цель угодить просвещенному или по крайней мере образованному классу, и он предлагает ему, смотря по желанию, театральную пьесу для развлечения или скептический трактат для назидания. Для последней цели он выбирает своим орудием насмешку, и она как нельзя более подходит к этой цели. Тогдашний век не был веком глубоких идей, – никакой герцог Ришелье, ни принц Конти, ни даже Фридрих Великий не стали бы слушать их. Только игривое, насмешливое презрение ко всему и беседа, основанная на жиденькой логике, могли иметь в то время успех. Это был также век не высоких добродетелей; потребности в героизме, в какой бы то ни было форме, не чувствовалось, – все добивались только

одних «хороших манер». К этим условиям Вольтер отлично приноровился и даже находил в них немалую выгоду. Общественная распущенность дозволяет ему снисходительно относиться к некоторым частным порокам и даже, во многих опасных случаях, открывает ему готовое убежище.

Из всех людей Вольтер имеет наименьшее расположение увеличить число мучеников. Ни одного поступка не запечатлевает он своей кровью, даже изредка скрепляет его и чернилами. Свои вредные учения, как мы уже заметили, он публикует под разными анонимами и притом так искусно скрывается, так ловко прячется за всем этим сложным механизмом, что все его действия и поступки окружены мраком, одни только его произведения видят свет. Ни один Протей не обладает таким проворством и не принимает столько образов. Если и случается когда-нибудь захватить его врасплох, он ухитряется пролезть в щель и пропадает из глаз в ту минуту, когда ему уже готова западня. Если судьи притянут его к допросу, он сумеет вывернуться и не поцеремонится солгать.

Относительно последнего пункта маркиз Кондорсе выступил его защитником, и эта защита имеет по крайней мере ту заслугу, что довольно откровенна. «Необходимость лгать, чтоб не признаваться в каком-либо поступке, – говорит он, – есть крайнее средство, одинаково противное как совести, так и благородству характера, но преступление ложится бременем на тех несправедливых людей, которые вынуждают подобное запирательство. Если вы совершили преступление, которое не есть преступление, если нелепыми и произвольными законами вы оскорбили естественное право, принадлежащее каждому человеку, иметь не только мнение, но и высказывать его публично, – то вы лишаетесь права выслушивать истину из уст другого человека, права, составляющего единственное основание строгого долга не лгать. Если воспрещается обманывать, то основная причина этого заключается в том, что каждому обманутому делается несправедливость, или по крайней мере он подвергается опасности получить эту несправедливость. Но несправедливость предполагает правду, и никто не имеет права отыскивать себе средства для совершения несправедливости»[32].

Странно, какими способами поддерживаются научные открытия. Здесь видим мы то же старинное католическое учение, только в других руках и высказанное другим языком, учение, гласящее, «что с еретиками в делах веры нечего тратить слов». Истина, по-видимому, слишком драгоценная вещь для наших врагов; она годится только для друзей, для тех, которые платят нам, когда мы говорим им о ней. Нужно заметить, что если

согласиться с посылкой Кондорсе, то необходимо согласиться и с его доктриной, что обыкновенно и случается с этим остроумным писателем. Если справедливость зависит от того, чтоб и нам платили справедливостью, если наши собратья-люди в этом мире не лица, а простые вещи, платящие за услугу известной услугой, паровые машины, работающие миткаль, когда мы их снабдим углем и водою, – прекратится работа миткаля, прекратится естественно действие угля и воды, – то мы смело можем отвечать ложью, когда судьба грозится оскорбить нас за истину. Но если, напротив, наш собрат не паровая машина, а человек, находящийся в священной, таинственной, неразрывной связи со всеми людьми и Творцом всех людей, во всеобъемлющей любви, окружающей одинаково ангела и светляка, то наш долг относительно его будет покоиться на совершенно другом основании, а не на этом унизительном qui pro quo. Поэтому заключение Кондорсе ложно и в практическом применении может принести неисчислимый вред.

Подобные принципы и привычки, так легко усвоенные Вольтером, действуют, по-видимому, враждебно на его нравственную природу, которая уже с самого начала не отличалась особым благородством, но которая при другом влиянии могла бы достичь большого благородства. Так, в нем мы видим только светского человека, порожденного Парижем и XVIII столетием: изящного, привлекательного, образованного в высшей степени, но крайне самолюбивого, не чуждого приятных качеств, наделенного склонностями, весьма обыкновенными в светском человеке, но недостаточными и неуместными в поэте и философе.

Выше репутации парижского «почтенного буржуа» он редко или никогда не достигает, иногда он держится на самом краю, а иногда и ниже его. Мы этим не хотим обвинить его в страсти к деньгам или в желании блеснуть своим богатством. Все его торговые спекуляции можно приписать уму, любви к независимости, возможности делать добро, но как назвать эту погоню за пенсиями и отличиями? Тут он выказывает такое усердие, которое нередко граничит с раболепством. Подобные поступки вызывали справедливое негодование в поэте Алфиери, и действительно в них вполне выразился дух «французского плебея». Мы знаем, что многое следует приписать национальному характеру, а также национальным нравам и обычаям, определяющим значение подобных вещей. Тем не менее для нас, островитян, знаменитые слова: «Траян удовлетворен?» – если мы вспомним, кто был Траян, останутся несчастным выражением. Потому что сам Траян повернулся спиной и не дал на это никакого ответа, не желая за всю свою жизнь прислушиваться к

голосу этого волшебника и хоть на минуту нарушать «покой своей души» даже с лучшим философом в мире. Вольтер не стеснялся обращаться и к Помпадур и, может быть, этим подземным путем выиграл бы многое, если б завистливая рука вскоре и таким роковым образом не вмешалась в это дело.

Д'Аламбер говорит, что только два существа могут достигнуть пирамиды: орел и червяк. Вольтер, по-видимому, старался соединить оба метода, но и с одним из них достиг только незначительного успеха.

Правда, что при оценке Вольтера мы применяем к нему слишком высокий масштаб, сравнивая его с идеалом, к которому он никогда не стремился и которого никогда не домогался. Он не великий человек, а великий насмешник, человек, для которого жизнь и все присущее ей имеет, даже в лучшем случае, только презренное значение и который встречает опасность не серьезной силой, а самодовольной ловкостью и не искусством, а легкостью тела и постоянно держится на поверхности воды. Рассмотрим собственно его характер, забудем, что некогда ему приписывался другой, и мы увидим, что роль свою он играл в совершенстве. Ни один человек не понимал так всей тайны насмешки, под которой мы не только подразумеваем внешнюю способность вежливого презрения, но и то искусство общего внутреннего презрения, которым человек подобного сорта старается подчинить условия своей судьбы условиям силы воли, – что составляет природное стремление всех людей, – чтоб среди материальной необходимости быть нравственно свободным. Скрытая насмешка Вольтера так же легка, разностороння и всепроникающая, как и насмешка, высказываемая им явно. Эта способность, впрочем, не так проста, как мы думаем. Известная степень стоицизма так же необходима для совершенного насмешника, как необходима она для нравственного или практического дополнения в каком бы то ни было отношении. Самый равнодушный человек по природе неравнодушен к своим собственным страданиям и радостям. Это равнодушие он старается приобрести каким-нибудь особым способом или, приобретя его, выставить напоказ, что Вольтер и обнаруживает в значительной степени.

Без всякого ропота он мирился со многими вещами. Человеческая жизнь в этом мире кажется странным явлением, но в глазах его она скорее походит на фарс, чем на трагедию. Он не страдает от того, что наша планета, подобно жалкому, нелепому и бесцельному кораблю, плывет через бесконечное пространство, неся вместе с другими глупцами и его, несколько более умного глупца. Но во всяком случае, он явно не восстает против судьбы, зная, что время, потраченное на неистовые проклятия, может

быть употреблено иначе и с большей пользой. Ему совершенно чужда мечтательность, в хорошем или дурном значении. Если он не замечает величия ни на небе, ни на земле, то не замечает там и особых ужасов. Его взгляд на мир холоден, презрительно спокоен и крайне прозаичен. Его возвышенное откровение природы заключается в телескопе и микроскопе. Земля для него – производительница хлеба, звездное небо – морской хронометр. Как умный человек, он вполне приноровился к своему положению, – не поет «Miserere» человеческой жизни, ибо знает, что ему не ответят сочувственно на это пение, а наградят смехом подобное предприятие. Он не вешается и не топится, потому что знает, что смерть в скором времени избавит его от этого труда. Страдание не представляется ему дорогой жемчужиной, но, напротив, причиняет ему постоянное беспокойство, на которое, впрочем, не следует роптать, если успеешь его устранить с дороги. Если страдание не научает его покорности, то оно и не очерствит его сердца, не развивает в нем болезненного недовольства, он весело сбрасывает с себя неудобное бремя или держит его в почтительном отдалении.

Но все-таки жизнь Вольтера была слишком богата превратностями и невзгодами, чтоб можно было постоянно руководствоваться этим принципом и пытаться узнать: действительно ли в жизни, как и в литературе, смешное лучше едкой правды. И эта попытка нередко удавалась ему. По-видимому, ничто не приводило его в тупик и не было такого скверного происшествия, над которым бы он не посмеялся и которого бы не мог забыть. Стоит только вспомнить его последний визит Фридриху Великому. Это было самое унизительное событие во всей жизни Вольтера, эксперимент, совершенный перед лицом целой Европы, чтоб доказать, найдется ли во французской философии достаточно благородства, чтоб можно было заключить дружеский союз между ее великим учителем и его знаменитым учеником, – и эксперимент ответил отрицательно. И это было совершенно естественно, потому что тщеславие уже по своей природе ищет одиночества и соединиться не может, а между королем литературы и королем армии не было другого союза. Они издали обменивались лестью и, подобно небесным светилам, – если они на себя так смотрели, – согласно силе тяготения, приближались друг к другу, но всегда с соразмерною центробежной силой, потому что если случалось одному, в припадке бешенства, оставлять свою сферу, то неминуемым следствием было взаимное столкновение.

Мы с сожалением смотрим на Фридриха, окруженного целой толпой философов. По всему вероятию, это ему нравилось, но

все-таки французы при Росбахе, с ружьями в руках, были ничто в сравнении с французами в Сан-Суси. Мопертюи сидит молча и угрюмо, как северный медведь, а Вольтер заставляет его плясать для потехи народа. Двор, наполненный паразитами, кишит завистью, ненавистью и интригами…

А между тем Вольтер на все это прискорбное дело набрасывает покров веселости; он никогда не вспоминает со злорадством о докторе Акакии[33] и его покровителе, но смотрит на них как на своих товарищей-актеров в великом фарсе жизни, новый акт которого теперь только что начался. Франкфуртский арест – горькое блюдо, поднесенное ему королем, но он съедает его, хотя насильно, а все-таки съедает. Фридрих, насколько мы знаем, любил подобные шутки, он был удачный отпрыск знаменитого племени, – старик Фридрих-Вильгельм, его отец, нашел в нем усердного последователя своей скупости, злости, вспыльчивости и брюзгливости.

«Посланником его в Гааге был Луициус, – рассказывает остряк, – и этому Луициусу платили хуже всех королевских министров. Бедняк, чтоб истопить свою комнату, срубил несколько деревьев в гонслардикском саду, принадлежавшем прусскому королевскому дому. Вслед за этим он получает депешу от короля, своего повелителя, который объявляет ему, что в наказание за этот проступок он будет лишен жалованья за целый год. Луициус в отчаянии режет себе горло единственной имевшейся у него бритвой, но старик слуга успел прибежать на помощь и, к несчастью, спасти ему жизнь. Впоследствии я сам видел Луициуса в Гааге и подал ему милостыню у дверей того самого дворца, который принадлежал прусскому королю и в котором злополучный посланник прожил двенадцать лет».

Спустя некоторое время после размолвки Вольтер снова начинает переписку с «королем-философом» и спокойно продолжает исполнять должность «прачки», т. е. корректора стихов его величества, как будто между ними ничего и не было.

Но какое человеческое перо может описать все неприятности, которые пришлось вынести несчастному философу от женщин, окружавших его, – вздорных, самолюбивых, кокетливых, раздражительных от первой до последней. Вдова Дени, например, – эта непокорная племянница, взятая из меблированных комнат, полуголодная и затем, по милости его, жившая в роскоши и довольстве, – до какой степени, в продолжение двадцати четырех лет, отравляла ему жизнь! Не сочувствуя покою и розам Фернея, она только жаждала парижских удовольствий, кокетничала, несмотря на почтенный возраст, проигрывала деньги, занимала их, чтоб снова выиграть,

бранилась с прислугой, ссорилась с его секретарем, так что чересчур снисходительный дядя принужден был отказать своему любимцу Коллини, который вследствие этого чуть не заколол его шпагой. Добряк Ванье, заступивший место пылкого итальянца, любивший искренно Вольтера, несмотря на всю свою гуманность, простоту и смирение, не мог без желчи говорить о г-же Дени. Он явно обвиняет ее в том, что она ускорила смерть дяди, стараясь хитростью и докучливыми просьбами удержать его в Париже, который для нее был раем. И действительно, заручившись наследством своей добычи, она с нетерпением ждала его близкой смерти или, по ее собственному сознанию, занята была заботою, «как лучше похоронить его». Мы знавали престарелых слуг, даже негодных верховых лошадей, к которым с большим сочувствием относились их хозяева, чем относилась худшая из племянниц к лучшему из дядей. Не обладай этот замечательный старик острым умом, веселым и невозмутимым характером, его последние дни и годы сделались бы непрерывною цепью скорби и огорчений.

Немногим лучше, а во многих отношениях даже хуже, хотя в более выносливое для него время, была известная маркиза дю Шатле. Много бурных дней и бессонных ночей прожил он с этой ученой кокеткой. Она занималась математикой и метафизикой, но ей не были чужды и другие науки. Оставив в стороне всю неблаговидность их связи, которая в то время сходила за невинный поступок, мы видим в этой литературной любви смешанное зрелище: кратковременные солнечные лучи с продолжительными тропическими бурями, звуки гитары со следующими за ними ударами лиссабонского землетрясения. Мармонтель – припоминаем мы – говорит, что пускались «в ход ножи», разумеется, не с целью резать жаркое. Маркиза ни в каком случае не была святою, она скорее напоминала жену Сократа и постоянно вела войну с терпением философа. Подобно королеве Елизавете, она обладала способностями мужчины, но капризы женщины выдвигались у нее на первый план.

Мы здесь упомянем только об одном эпизоде из этой истории неприятностей и беспокойств, именно о ее страсти переменять местожительство. Она постоянно путешествует и всюду таскает с собою мирного философа, – то переселяется она в Сире, то в Люневиль или Париж. Сопротивление тут ни к чему не ведет. Иногда, накануне самого отъезда, вся ее прислуга, выведенная из терпения голодом и дурным обращением, отказывается от места, и вот в один час приходится набирать новую прислугу. В другой раз ямщики с ругательствами и проклятиями дожидаются целый день у ворот, потому что маркиза играет в карты и ей не везет. Теперь представьте себе, как худой, но добрый и веселый духом

философ темною ночью и при страшной стуже выезжает из Парижа, сидя в безобразной карете или, скорее, в фуре, в сравнении с которой наши современные фургоны роскошный экипаж. Четыре тощие лошади, может быть, страдающие шпатом, влекут ее медленно; в карете «целая гора ящиков», подле них сидит маркиза, а напротив помещается горничная с еще большим количеством ящиков. На следующей станции с трудом докличутся ямщиков; они выходят с ругательствами и проклятиями. Плащи и шубы мало помогают против январского холода: «время в часы» единственная надежда, но, увы, на десятой миле ломается варварский экипаж. Жалобные крики оглашают мрак ночи и придают ей еще более ужаса, но все напрасно. Ось сломилась, карета опрокинулась, маркиза, горничная, ящики и философ барахтаются в каком-то диком хаосе.

«Карета была уже у станции, близ Нанси, почти на полпути от этого города, когда лопнула задняя ось, и экипаж опрокинулся на тот бок, где сидел Вольтер. Маркиза и ее горничная упали на него вместе с узлами и ящиками, которые не были привязаны к передней части кареты, а нагромождены по обеим сторонам горничной, так что, покоряясь законам равновесия и тяжести, они свалились в тот угол, где лежал придавленный Вольтер. Находясь под бременем, от которого почти задыхался, он поднял жалобный крик, но освободить его не было никакой возможности. Наконец уже два лакея, из которых один ушибся при падении, с помощью ямщиков, принялись выгружать карету. Сначала они вытащили весь багаж, затем женщин и в заключение Вольтера. Все это пришлось вытаскивать сверху, т. е. через дверцы кареты. Один из лакеев и ямщик влезли на кузов кареты и оттуда, как из колодца, вытаскивали лежавших пассажиров за ногу или за руку, что им прежде всего попадалось, и передавали находившейся около кареты прислуге, которая ставила их уже на твердую почву».

Земля покрыта снегом, нужно посылать в деревню за крестьянами, чтоб поднять карету. Напрасно Лоншан, уехавший вперед, сидит в гостеприимном, хотя развалившемся замке, щиплет голубей и готовится их жарить. Путешественникам не придется сегодня поужинать, разве только на другой день к завтраку поспеют они. Еще не раз изменит им эта несчастная ось. Однажды, благодаря маркизиной страсти к картам, у них не хватило денег заплатить за починку кареты, а кузнец не хотел им оказать кредита.

Мы полагаем, что подобные испытания нелегки для каждого философа. О других неприятностях, дрязгах и случаях, заставляющих нас дивиться, как могла человеческая философия переносить их, мы не считаем нужным упоминать, но, на правах

критика, приводим еще один эпизод.

Маркизе Шатле и ее мужу в Англии дивились немало. Спокойное великодушие, с которым маркиз покоряется нравам страны и прихотям своей половины и предоставляет ей в то время, как сам сражается за своего короля или по крайней мере обучает солдат, гоняться по всему свету за любовью и любовниками; его скромность в этом отношении, а также его легковерие, когда «семейная неурядица» требует его посредничества, – все это достаточно оценено нами. Его жена также чудо и достойна изучения любого психолога. Она служит прекрасным доказательством, что нежное чувство, которое мы считаем врожденным в женщине, составляет чистую случайность, продукт привычки. Также она являет живой пример того, как женщина, не только ветреная, но потерявшая последний фиговый листочек стыдливости и окончательно усвоившая себе характер распутного мужчины, может сохранять еще женское достоинство. Мы сами немало дивились этим двум личностям, как дивились цели, к которой стремился такой оригинальный «общественный прогресс». Но еще удивительнее и не без некоторого намека на возвышенное показалось нам добровольное рабство несчастного философа. Нас поражало его неистощимое терпение, с которым он, не будучи мужем маркизы, переносил все ее нелепые прихоти и в течение пятнадцати лет боролся со всеми возможными бурями в этом неприветливом Бискайском заливе, не сойдя с ума или не окончив жизнь самоубийством. Хотя почтенный Дизраэли и забыл упомянуть об этой несчастной судьбе в своих «Авторских бедствиях», но она небезызвестна в литературе. У Попа также была своя Марта Блаунт, и ему, в борьбе с глупостью, нередко приходилось испытывать египетскую работу. Пожалеем об участи, выпадающей на долю гения в этом подлунном мире!

Всякому известен земной конец маркизы и как она, по воле странной, почти сатирической Немезиды, запуталась в своих собственных тенетах, и ее худший грех сделался ее последним наказанием. Напрасна была беспримерная доверчивость маркиза, напрасны были терпение и слабость Вольтера, – «ухаживанье» Сен-Ламбера и загадочные консультации, происходившие по этому поводу в Сире, привели к печальному исходу. Последняя сцена происходила в Люневиле, при мирном дворе короля Станислава.

«Когда мы заметили, что ароматический уксус не помогает, то принялись тереть ей руки и ноги, чтоб вывести ее из внезапной летаргии. Но все усилия были напрасны, – она перестала существовать. Горничную послали известить г-жу де Буффлер, что маркизе сделалось хуже. При этом известии все гости встали из-

за стола, маркиз Шатле, Вольтер и другие бросились в ее комнату. Когда они узнали истину, то были немало изумлены; после слез и жалоб наступила зловещая тишина. Мужа увели, другие лица также постепенно вышли, выражая при этом крайнюю скорбь. Вольтер и Сен-Ламбер остались у постели и не могли оторваться от покойницы. Наконец первый, убитый горем, вышел из комнаты и направился к главному выходу замка, но, сойдя с лестницы, упал и ударился головою о мостовую. Лакей, шедший вслед за ним, увидел это и подбежал к нему, чтоб его поднять. В эту минуту подошел Сен-Ламбер и, увидев Вольтера в таком положении, поспешил помочь лакею. Лишь только Вольтер встал на ноги, то открыл глаза, отуманенные слезами, и, узнав Сен-Ламбера, с рыданием и некоторым пафосом сказал ему: «Мой друг, это вы убили ее!» Затем они расстались, не сказав ни слова, и разошлись по своим комнатам, совершенно убитые и уничтоженные.

Из всех известных надгробных речей эта последняя речь, произнесенная растроганным философом в присутствии человека, одинаково убитого горем, может назваться беспримерной.

Но, поразмыслив, может быть, затем, что у возвышенной Эмилии, любившей удовольствия, «его счастье преимущественно значилось только на бумаге», он постарался утешиться, как утешился мир, утратив подобное сокровище, и пошел своей дорогой.

Женщина, как это не раз было доказано, дана мужчине на радость и на взаимную помощь, как драгоценное украшение и поддержка, чтоб опираться на нее в случае невзгод. Но для Вольтера – так несчастен он был в этом случае – женщина была сломанным тростником, которым он только наколол себе руку. Мы полагаем, что если вглядеться в разнообразные испытания, которые пришлось вынести бедному философу по милости нежного, а, по его мнению, может быть, жестокого пола, начиная с голландки, обнародовавшей его юношеские письма, и кончая племянницей Дени, почти уморившей его, то можно заметить, что в этом отделе своей жизни он проявил немало высоких свойств. А если к этим душевным потрясениям прибавить целый ряд политических, религиозных и литературных невзгод и преследований, то перед нами предстанет жизнь, наполненная страшными пропастями, которых ужаснется самый смелый путешественник. Но через все эти пропасти великий насмешник так искусно ведет свой поэтический воздушный кораблик, что этот неудобный путь кажется ему легче и покойнее любой гладкой, прозаической дороги.

Не касаясь достоинств или недостатков подобного душевного

направления, мы только заметим, что оно, по-видимому, составляло для Вольтера высшее понятие о нравственном совершенстве и он с немалым успехом достиг и осуществил его. Великой похвалы уже он заслуживает тем, что у него было единство, была цель, к которой он неустанно стремился и которой, как мы видели, достиг, потому что идеал его заключался в практичности и реальности. Нет сомнения, что его дарование как насмешника, в обширном смысле, было наиболее ценимо, наиболее возбуждало удивления в его век и на его родине, – впрочем, и в наше время, и в нашем отечестве немало встречается поклонников этого дарования. Но тем не менее мы полагаем, что его обаяние миновало; здравый смысл нашего поколения взвесил его значение и нашел его недостаточным. Да и сам Вольтер, если б жил теперь, вероятно, избрал бы себе другое занятие, а не насмешку. Не осмеянием и отрицанием, но более глубоким, серьезным и божественным средством создается что-нибудь великое для человечества, и нужно было много веков, чтоб возвести здание человеческой жизни до его теперешней высоты. Если допустить, что этот царь насмешки имел твердую, сознательную цель в жизни, то возникает другой вопрос: была ли справедлива и благородна его цель? А этот факт можно признать только с большими ограничениями и даже, в силу некоторых вероятных оснований, отрицать его.

Но при этом мы не должны забывать, что среди вредных влияний Вольтер постоянно сохраняет гуманность, постоянно отзывается на крик скорби, сочувствует истине, красоте и добру. В некоторой степени даже поэтически любопытно изучать в нем все эти противоречия. Сердце у него действует, не спрашиваясь головы, а, может быть, даже против ее воли, и он делается добродетельным наперекор себе. Во всяком случае, следует согласиться с тем, что жизнь его, как частного человека, была благотворна, а не вредна для его собрата. Калласы, Сирвены, сироты и покинутые, которым он помогал и покровительствовал, могут загладить немало его грехов.

Может быть, найдется немного людей, которые при его принципах и искушениях могли бы вести подобную жизнь, заниматься его делом и выйти из него с чистыми руками. Если мы и называем его величайшим насмешником, то при этом считаем нужным прибавить, что в нравственном отношении он все-таки был лучшим из насмешников. Если по универсальности, откровенности, изяществу насмешки он превосходит всех людей, то вместе с тем он соединяет такую сердечную доброту, которою едва ли когда-нибудь владел другой насмешник.

Но время уже оставить эту часть нашего предмета. Впрочем,

мы надеемся, что наши читатели не откажутся после изображенной нами картины практической жизни Вольтера и его положения в обществе бросить еще беглый взгляд на последнюю пикантную сцену, которую ему пришлось разыграть. По нашему мнению, этот последний визит в Париж отличался оригинальным, полуфривольным и роковым характером. В этой катастрофе заключается частица драматической правды: тот, кто в течение всей своей жизни жаждал публичных похвал, умер наконец от избытка их. Врата неба распахнулись ему еще на земле, и он вступил в них, но только с тем, как он сам говорил, чтоб «задохнуться под розами». Если б в Париже существовала соответствующая теогония или теология, как в Риме и Афинах, то на эту смерть можно бы было смотреть, как на священную (как смотрели древние на смерть пораженного молнией), ниспосланную богами или, скорее, многоголовым богом – популярностью. Долгое время жил Вольтер в благословенной фернейской тишине и, по расчетам друзей, мог бы прожить еще несколько лет, но незначительные дела манят его в Париж, – и через три месяца его уже нет. Во всякое время своей жизни он мог бы сказать вместе с Александром: «О, афиняне, сколько старания нужно мне, чтоб понравиться вам!» Но афиняне требуют от него еще последнего удовольствия – умереть для них.

Относительно мира вообще эта поездка в Париж замечательна еще тем, что представляет один из блестящих триумфов прошедшего столетия, шумное и великолепное чествование литературного таланта, чествование человека, только мыслившего и печатавшего свои мысли. Нет сомнения, что в этих овациях было немало ложного, но все-таки в них заключалось глубокое значение. Они показывают, как универсально и вечно в человеке уважение к уму, как гордый принц и неразвитый простолюдин должны уважать ум, и только ум, потому что целые полчища какого-нибудь Ксеркса не могут подавить ни единой мысли нашей гордой души. «Они могут разрушить хижину Анаксарха, но его тронуть не могут». Только умственному достоинству может ум воздавать почести; только в более глубокой и лучшей душе, чем наша, мы можем узреть небесную тайну и, смиряясь перед нею, чувствовать, как мы при этом возвышаемся и облагораживаемся. Был ли в этом случае хорошо направлен легко возбуждающийся энтузиазм французов – утверждать положительно мы не можем. Мы только радуемся, что подобное чувство продолжает жить в человеческой душе и что нет такого испорченного и жесткого сердца, которое бы не воодушевилось и не пленилось при появлении более благородного сердца.

Немногие королевские въезды, немногие римские триумфальные шествия могут сравниться с триумфом Вольтера. «Его узнали на дороге, в Буржан-Брессе, – говорит Ваньер, – когда переменяли лошадей, и в одну минуту собрался целый город около его кареты, так что он долгое время принужден был сидеть запершись в комнате гостиницы». Станционный смотритель приказал ямщику заложить лучших лошадей. В Дижоне некоторые значительные лица не прочь были переодеться лакеями, чтоб прислуживать ему за столом и этим способом видеть его.

«У парижской заставы, – продолжает Ваньер, – таможенные надсмотрщики спросили, нет ли у нас чего запрещенного? «Я полагаю, – возразил Вольтер, – что в моей карете, кроме меня самого, нет другой контрабанды». Я вышел из кареты, чтоб надсмотрщик мог удобнее обыскать ее, но товарищ его шепнул ему: «Это же, черт возьми, мсье де Вольтер», – и затем, дернув его за платье и пристально взглянув на меня, снова повторил эти слова. Я не мог удержаться от смеха, между тем как все с удивлением и уважением смотрели на Вольтера».

Известие о его приезде разнеслось по всему Парижу. Появление китайского императора или Далай-ламы, вероятно, не произвело бы большего волнения. Бедный Лоншан, оставивший уже 28 лет службу при Вольтере и живший в своей маленькой квартире, едва только услыхал новость, как бросился к своим знакомым, чтоб поскорее убедиться в ее справедливости.

«Многие знакомые, которых я встретил, подтвердили полученное мною известие. Я нарочно отправился в cafe «Procope», где эта новость уже служила предметом горячего разговора разных политиков и писателей. Чтоб более убедиться, я пошел на набережную Тетен, где он еще с вечера остановился и занял квартиру, как говорили, в доме недалеко от церкви. Выйдя из рю де ля Сен, я издали увидел громадную толпу, собравшуюся у Королевского моста. Подойдя ближе, я заметил, что эта толпа стояла у дома маркиза де Вильета, находившегося на углу улицы де Бонь. Я осведомился о причине такого сборища, и мне сообщили, что Вольтер остановился в этом доме и все ждут его выхода. Выйдет ли он сегодня, я положительно не мог узнать, потому что восьмидесятичетырехлетний старик, вероятно, устал с дороги и нуждается в отдыхе. С этой минуты я уже более не сомневался в приезде Вольтера в Париж».

С трудом удалось Лоншану увидеть своего бывшего патрона. Он в продолжение десяти минут разговаривал с ним, хотел броситься к его ногам и при расставании плакал, как бы под влиянием тяжелого предчувствия. Эти десять минут были

великим делом, потому что у Вольтера были свои въезды и выезды, при которых присутствовало больше людей, чем при подобных церемониях самого короля. Принцы и пэры толпились в его передней, а когда он выезжал, то его карета походила на комету, длинный хвост которой тянулся через весь город. Он сам, говорит Ваньер, высказывал относительно некоторых вещей свое неудовольствие, но тем не менее многие знаки восторга, по его собственному признанию, нравились ему.

Если среди всей этой суматохи представить себе худощавого, еле движущегося старика, смотрящего на все весело и бодро, хотя и не с прежней твердостью и спокойствием, то невольно почувствуешь к нему любовь и симпатию. Лоншан говорит, что Вольтер показался ему чрезвычайно дряхлым, хотя вполне владел всеми чувствами и ясным, довольно звучным голосом. Следующий очерк, набросанный враждебным Вольтеру журналистом того времени, произвел на нас глубокое впечатление.

«Г-н де Вольтер появился в парадном костюме, во вторник, в первый раз по своем приезде в Париж. На нем был красный, обшитый горностаем кафтан, черный, огромный, ненапудренный парик времен Людовика XIV, которым так окутано было его истощенное лицо, что только и видны были два его глаза, горевшие, как уголья. На голове у него была надета красная треугольная шапка в виде короны, в руке он держал маленькую, крючковатую палку, и парижская публика, не привыкшая видеть его в таком костюме, смеялась немало. Этот человек, оригинальный во всем, вероятно, не хотел иметь ничего общего с обыкновенными людьми».

Эта голова – этот чудный микрокосм в «огромном парике а-ля Людовик XIV» в скором времени лишится всех своих дарований, эти глаза, горящие, как уголья, скоро закроются навеки! Теперь мы должны представить церемонию «торжества», о котором читатель, вероятно, слышал. Описание его мы заимствуем из того же сомнительного источника, за достоверность которого, впрочем, ручается Ваньер. Рассказ Лагарпа об этом событии известен и отличается от нижеследующего только изложением.

«В понедельник Вольтер, решившись насладиться триумфом, так долго ему обещанным, сел в голубую карету, усеянную золотыми звездами и которую один шутник назвал «небесной каретой», и отправился во Французскую академию, где в этот день происходило чрезвычайное заседание. Присутствовало двадцать два члена. Никто из прелатов, аббатов или других духовных лиц не захотел почтить своим присутствием это заседание. Единственное исключение составляли аббаты Буамон

и Мильо; первый был распутный человек, принадлежавший только по платью к своему сословию, другой представлял жалкую личность, не ожидавшую милости ни от Церкви, ни от двора.

Академики вышли навстречу Вольтеру и проводили его до президентского кресла, которое и просили занять. Над креслом был повешен портрет. Собрание, устранив всякую баллотировку, приступило прямо к делу и выбрало его, при единогласном одобрении, президентом на следующую четверть года. Старик встал и хотел говорить, но члены объявили ему, что они слишком дорожат его здоровьем. Ему ничего не оставалось больше делать, как молчать!

Вольтер затем изъявил желание посетить секретаря академии, кабинет которого помещался под залой заседаний. Здесь он пробыл некоторое время и потом отправился в Комеди Франсез. Обширный луврский двор был весь набит любопытным народом. Лишь только показалась карета, как раздался крик: «Смотрите!» Савояры, торговки яблоками и весь сброд этого квартала собрались сюда, оглашая воздух криками: «Да здравствует Вольтер!» Маркиз Вильет, приехавший прежде, помог ему выйти из кареты, где подле него сидел прокуратор Кло. Они взяли его под руки и с трудом протащили сквозь толпу. При входе в театр, его окружила нарядная толпа, проникнутая истинным энтузиазмом к его гению. В особенности теснились дамы, загораживали ему дорогу, чтоб лучше рассмотреть его; некоторые дотрагивались до его платья, другие выщипывали мех из его шубы. Герцог Шартрский (впоследствии Egalite), остерегаясь подойти ближе, смотрел на него издали с не меньшим любопытством, как и другие.

Бог вечера должен был занять камергерскую ложу напротив ложи графа Артуа. Г-жа Дени и г-жа де Вильет были уже здесь, а партер волновался от радости в ожидании той минуты, когда появится поэт. Крики продолжались до тех пор, пока он не уселся на переднем месте, подле обеих дам. Затем раздался крик: «Корона!»; актер Бризар подошел к ложе и надел на него венок. «О Боже! Вы хотите, чтоб я умер!» – вскричал Вольтер, плача от радости и отказываясь от этой чести. Он снял с головы венок и передал его маркизе де Вильет, но она не хотела его брать. Тогда герцог де Бове, выхватив из рук ее венок, надел его на голову нашего Софокла, который уже не мог более отказаться.

Пьеса «Ирена» была сыграна с большей живостью, чем обыкновенно, хотя и не с таким успехом, какой бы подобал торжеству ее автора. Между тем актеры затруднялись, что делать, и во время их совещаний трагедия кончилась; занавес опустился. Публика принялась неистово шуметь, пока снова не поднялся

занавес. Тогда на сцене представилась группа. Бюст Вольтера, только что поставленный в фойе Комеди Франсез, был внесен на сцену и помещен на пьедестал, окруженный всей труппой актеров, державших в руках венки. Раздался оглушительный гром барабанов и труб, и церемония началась. Выступила г-жа Вестрис с листом бумаги в руках, на котором были написаны стихи, сочиненные маркизом Сен-Марком, и продекламировала их с жаром, подобающим такому торжеству. Стихи эти гласили следующее:

Aux yeux de Paris enchante
Recois en ce jonr un hommage.
Que confirmera d'age en age
La severe posterite!
Non, tu n'as pas besoin d'atteindre au noir rivage
Pour jouir des honneurs de l'immortalite!
Voltaire, recois la couronne
Que l'on vient de te presenter;
Il est beau de la meriter,
Quand c'est la France qui la donne[34].

Потребовали повторения, и актриса продекламировала стихи еще раз. Затем остальные актеры положили венки вокруг бюста, мадемуазель Фанье поцеловала его с фанатическим восторгом, и все последовали ее примеру.

Когда эта длинная церемония, сопровождаемая бесконечными криками и взрывами рукоплесканий, кончилась, занавес опустился. Когда же через некоторое время началась комедия Вольтера «Нанина», то все заметили его бюст на правой стороне сцены, где он и оставался во весь вечер.

Граф Артуа не желал показываться в публике, но когда, по его приказанию, ему сообщили, что Вольтер приехал в театр, он отправился туда инкогнито, и полагают, что старик, выйдя на минуту из ложи, обменялся несколькими словами с его королевским высочеством.

По окончании «Нанины» начались новые крики, новые испытания для скромности нашего философа. Он сел в свою карету, но народ не дал ему ехать, бросился к лошадям и принялся целовать их. Несколько юных поэтов предложили выпрячь лошадей и новейшего Аполлона свезти домой на своих руках. К сожалению, не нашлось охотников исполнить эту обязанность, и Вольтеру наконец разрешено было ехать, но крики по-прежнему продолжались и слышны были не только на Королевском мосту, но даже в его квартире…

Вольтер, приехав домой, снова заплакал и скромно уверял, что остался бы дома, если бы знал, что публика наделает столько глупостей».

Обо всех этих удивительных событиях мы предоставляем судить самому читателю и заметим только, что это происходило 30 марта 1778 года, а 30 мая, почти в один и тот же час, предмет этой преувеличенной лести уже покоился в объятиях смерти, гроб был готов принять его останки, для которых и самую могилу пришлось почти украсть. «Он умер, – говорит Ванье, – в четверть 12-го ночи, совершенно спокойно, после ужасных страданий, причиненных ему роковым лекарством, принятым им по собственной неосторожности и невнимательности окружавших его лиц. За десять минут до смерти он схватил руку Морана, своего камердинера, пожал ее и сказал: «Прощайте, мой дорогой Моран, я умираю»». Это были последние слова Вольтера[35].

Теперь нам остается рассмотреть специально интеллектуальные качества этого человека, что составляет в каждом писателе самую рельефную и в практическом отношении важную принадлежность. Умственные дарования Вольтера, его литературный талант, или гений, лежат перед нами открытыми в целой серии сочинений беспримерных, как мы полагаем, в двояком отношении – по объему и разнообразию. Может быть, нет писателя, – понятно, что мы говорим не о простом компиляторе, а о самобытном авторе, – который бы оставил по себе так много томов. А если мы к арифметической оценке присоединим еще критическую оценку, то оригинальность их выступит еще рельефнее, потому что все эти тома написаны с видимой тщательностью и подготовкой. В них трудно найти какую-нибудь слабую или запутанную статью, в них нет даже слабой и непонятной страницы. Относительно же разнообразия следует сказать, что они обнимают все отрасли человеческих знаний, начиная с богословия и кончая домашним хозяйством; тут вы найдете и дружеские письма, и политическую историю, пасквиль и эпическую поэму. Здесь необходим был редкий талант или, скорее, слияние редких талантов, потому что результат в высшей степени необыкновенен, которому невольно подивишься.

Если во всем этом разнообразии мы уясним себе существенные черты ума Вольтера, то нам покажется, как будто бы мы встретили здесь аналогию с нашей теорией о его нравственном характере, как это необходимо и должно случиться, если эта теория справедлива. Ибо мыслящие и нравственные натуры, отличающиеся только необходимостью языка друг от друга, в сущности, не имеют различия, но скорее доказывают, если хорошенько вникнуть в них, строгую взаимную симпатию и

согласие и представляют только различные фазы одного и того же неразрешимого единства – живого духа. При жизни Вольтер, как мы видели, не мог иметь права на звание философа, и в настоящее время в его литературных произведениях чувствуется тот же недостаток, вытекающий из тех же самых мотивов. И здесь является он не величиной, а обнаруживает только необыкновенную степень ловкости, знакомой уже нам, – представляет не столько силы, сколько проворства, не столько глубины, сколько поверхностной эластичности. Эта поистине поражающая способность кажется скорее беспримерным слиянием нескольких обыкновенных талантов, чем одним прекрасным и высоким, потому что и здесь встречается недостаток серьезности и упорного труда. У него глаз рыси; по первому его взгляду кажется, что он у него глубже, чем у другого человека, но ему не дано другого взгляда. На этом основании истина, живущая для философа, по старой пословице, в колодце, для него большею частью скрыта, можно даже сказать – навсегда скрыта, если взять во внимание высший и философский род истины, не открывающейся смертному без особого глубокого мышления, которым Вольтер, по-видимому, никогда не обладал. Его дедукция, в сущности, однообразна и, так сказать, юридического, аргументального и непосредственно практического свойства; нередко – в чем мы должны согласиться – она справедлива, но не составляет еще совершенной истины, а взятая в целом – ошибочна. Относительно чувства приходится сказать то же самое. Он вообще гуманен, кроток, любвеобилен, не чужд благородства, но легкомыслен, капризен и непостоянен – «ловкий свободомыслитель, и все это в один час». Он не поэт и философ, но популярный, занятный певец и рассказчик, – в своем роде народный оратор, что, в конце концов, составляет совсем другой характер. И действительно, на последнем поприще он не имеет соперников, для своей аудитории он был лучшим и красноречивейшим проповедником. Но зато в другой, более высшей сфере ему далеко до совершенства, и многие писатели его же века превосходят его. Относительно убедительной, так сказать, идущей напролом гигантской силы мысли он заметно уступает Дидро. При всей его живости, у него нет изящества и мудрости Фонтенеля, хотя он и остроумнее его. По глубине чувства, по силе изображения его, по пафосу и проникающему красноречию он не может сравниться с Руссо.

Нет сомнения, что вместе с универсальною восприимчивостью ума он обладал еще удивительною плодовитостью, быстротою и ловкостью. Кроме того, нельзя отрицать, что при таком легкомысленном уме он отличается

настойчивостью, способностью к продолжительному труду и искусством распоряжаться своими силами. Самые знания его, – если даже допустить, что они были поверхностны и основывались собственно на памяти, – могли бы сделать из него замечательного комментатора. Начиная с открытий Ньютона до учения Брахмы ничто не ускользнуло от него; он проникал во все науки и литературы, даже изучал их, потому что о всяком затронутом предмете может сказать умное слово. Так, например, известно, что он понимал Ньютона еще в то время, когда ни один человек во Франции не имел и понятия о нем. Французы приписывают ему честь открытия для них интеллектуальной Англии, правда, открытия, напоминающего скорее открытие Куртиса, чем Колумба, но все-таки в то время не приходившего никому в голову. Он отовсюду старается привлечь свет в свое отечество, так что изумленные французы в первый раз начинают сознавать, что мысль живет и в других государствах, а цивилизация существовала прежде «века Людовика XIV». О знакомстве Вольтера с историей или по крайней мере с тем, что он называл историей, – была ли она гражданской, церковной или литературной, – о его громадном собрании фактов, добытых из всевозможных источников: из европейских хроник и государственных архивов, восточной «Зенд-Авесты» и иудейского Талмуда, – мы не считаем нужным напоминать читателю. Было замечено, что сведения свои он нередко заимствовал из вторых рук, что у него были свои сотрудники и помощники, к которым он, в случае надобности, прибегал, как к живым словарям. По-видимому, в этом есть своя доля правды, но, во всяком случае, это обстоятельство не имеет влияния на наше мнение, потому что искусство таким образом заимствовать сведения встречается еще реже, чем способность ссужать ими. Знания Вольтера – не только простая выставка любопытных вещей, но настоящий музей, имеющий научную цель, где каждому предмету отведено соответствующее место и где всякий может пользоваться им. Нигде нет путаницы, ни тщеславного желания блеснуть, но всюду ясная цель и научный порядок. Может быть, эта способность к порядку, к быстрому, обдуманному размещению предметов и составляла корень лучших дарований Вольтера, или, скорее, из этого тонкого, всеобъемлющего, интеллектуального взгляда развивался порядок для сильного, в некотором роде, ума. Этот быстрый ясный взгляд на вещи и вытекавший отсюда порядок представляются чисто французскими качествами, и Вольтер отличается ими во всякое время и даже более, чем во французской степени. Ему стоит только бросить взгляд на какой-нибудь предмет, и он немедленно, инстинктивно поймет, где

заключается главная идея, что составляет ее логическую связь, как соединяется причина с действием, как обнять целое и в ясной последовательности представить его своему или другому уму. Положим, взгляд его не проникает глубоко. Но в том-то и заключается его счастье, что уже при этой незначительной глубине его зрение не только меркнет, но даже утрачивается. Все лежащее ниже уже не наводит на него сомнения, потому что разве он не нашел основание непроглядного мрака, на котором покоятся все вещи? Все лежащее ниже, по его мнению, составляет обман, мечту, суеверие или нелепость, одним словом – те вещи, которые он отвергает. Поэтому-то его и можно назвать разумнейшим из писателей; он понятен и ясен с первого взгляда; весь объем и цель его изысканий видны сразу, все точно и верно взвешено, строгий порядок заметен как в целом, так и в каждой строке целого.

Если мы скажем, что эта способность к порядку как относительно приобретения, так и передачи идей составляет лучшее качество всех предприятий Вольтера, то этим мы не скажем ничего необыкновенного, потому что эта способность, в обширном значении, обнимает всю задачу разума. Этим средством совершает человек все для него возможное относительно внешней силы, преодолевает все препятствия и возвышается до «царя этого мира». Эта способность есть орган всех тех знаний, которые по праву могут быть приравнены к власти, потому что человек с мудрой целью проникает в бесконечные силы природы и безгранично умножает свою собственную, небольшую силу. Мы сказали, что человек может возвыситься до бога этого мира, – но это высший пункт, его нельзя достигнуть силой знания, а следует избирать другой способ, для которого Вольтер едва ли обладал достаточным дарованием.

Хотя мы и познакомились с духом его метода и его разнообразной пользой, но мы все-таки далеки от того, чтоб признать его за метод великого мыслителя или поэта, в особенности последнего. Метод поэта должен быть продуктом глубокого чувства, светлых идей, продуктом гения или таланта, и все эти качества легче найти в произведениях Гукера или Шекспира, чем у Вольтера.

Присущий Вольтеру метод – относительно всех предметов без исключения – есть чисто деловой метод. Порядок, вытекающий из этого метода, не красота, но, в лучшем случае, правильность. Предметы его сгруппированы не живописно и даже не научно, но размещены удобно и искусно, как товар в порядочном магазине. Мы можем сказать, что здесь преобладает не естественная

симметрия дубового леса, а однообразная искусственная симметрия канделябра. Сравните, например, план «Генриады» с планом нашего варварского «Гамлета». План первой напоминает геометрическую диаграмму, план последнего – картон Рафаэля. «Генриада» представляется нам красивым, правильно выстроенным Тюильрийским дворцом, «Гамлет», напротив, таинственной звездной Вальхаллой и жилищем богов.

Но тем не менее, как мы уже заметили, метод Вольтера деловой и для его целей более полезный, чем какой-либо другой. Он руководит всем его трудом и вместе с тем служит руководством и для читателя; является взаимное понимание, так как идея передается ясно и усваивается без труда. Благодаря этому обстоятельству Вольтер более нравится юношам, чем старцам, а первое чтение его сочинений производит более благоприятное впечатление, чем второе, если только его считают необходимым. Способность доставлять удовольствие и пользу – заслуга немаловажная и вполне принадлежит ему. И эта способность, по нашему мнению, составляет главную заслугу всей его деятельности. Его исторические произведения, несмотря на их блестящее изложение и некоторый якобы философский взгляд, принадлежат к числу слабейших из всех исторических сочинений. Это – не что иное, как списки внешних событий, битв, зданий, узаконений и других поверхностных явлений. Но так как эти отчетливые списки весьма удобны для памяти и читаются легко, то мы слушаем их не без удовольствия и кой-чему научаемся, даже научаемся многому, если мы прежде ничего не знали. В целом его искусное, хотя и сжатое изложение, блестящие картины скорее отличаются поэтическим, чем дидактическим характером. Его «Карл XII» может служить еще и теперь образцом биографического очерка. Мельчайшие подробности переданы в немногих словах; описания чуждых нам людей и стран, битв, приключений и т. п. изображены слогом, который, относительно сжатости, соперничает со слогом Саллюстия. Эта миниатюрная картина, представляющая нам шведского короля и его нелепую жизнь, написана без красок, но с соблюдением перспективы. Она отличается единством и гармонией, свойственным удачно выполненным картинам, так что ее, безусловно, можно назвать лучшим историческим произведением Вольтера.

В других его прозаических сочинениях, в его романах, бесчисленных статьях и очерках преимущественно выдается тот же самый порядок и ясность, то же быстрое соображение и остроумный взгляд. Его «Задиг», «Бабук» и «Кандид», рассматриваемые как продукт фантазии, стоят в глазах иностранцев выше его так называемых поэтических

произведений, полны ума и живости и, кроме того, отличаются, хотя и с неправильной точки зрения, остроумным взглядом на человеческую жизнь, на старый, хорошо знакомый деловой мир, который, по причине неправильной точки зрения, имеет и вид неправильный и представляет целую массу забавных комбинаций. Острота, обнаруживающаяся в этих и подобных произведениях и нередко чересчур обильно изливающаяся из ума Вольтера, была не раз и справедливо восхваляема. Она пустила глубокие корни в его натуру, была неизбежным продуктом подобного ума и подобного характера и обещала уже с самого начала, как это и действительно случилось в последний период его жизни, сделаться господствующим языком, на котором он говорил и даже думал. Но, отдавая полную справедливость неистощимому запасу, силе и едкости остроты Вольтера, мы должны в то же время заметить, что она не была подходящим предметом такого ума, а по своей сущности должна быть причислена к низшему разряду насмешки. Острота Вольтера – не что иное, как логическая шутка, забава головы, а не сердца; во всех его остроумных выходках едва подметишь искорку юмора. В остроте подобного рода нет скромности, нет истинной веселости, согревающей душу. В ней даже нет способности смеяться; она только хихикает и лукаво улыбается. Она не проникнута игривою, теплой симпатией, но отзывается презрением или, в лучшем случае, равнодушием. Она находится в таком же отношении к юмору, как проза к поэзии, которой у Вольтера нет и следа. Его забавное произведение «Девственница», которое по другим причинам не может быть рекомендовано ни одному читателю, имеет единственное достоинство – достоинство наглой и дерзкой карикатуры. Но в нем нет плоских шуток паяца; оно редко или почти никогда не оскорбляет, мы не говорим – чувства приличия, но хорошего тона; этим отрицательным достоинством оно может вполне похвалиться. Положительных же достоинств в нем нет. Напрасно будем мы искать в его произведениях те строки, которые привыкли находить в «Дон Кихоте», «Шенди», «Гудибрасе» или «Битве книг». Вообще нужно заметить, что в последнее время юмор не составляет национального дарования французов и со времен Монтеня, по-видимому, совершенно покинул их. На поэтических достоинствах Вольтера мы долго останавливаться не будем. Поэзия его также отличается интеллектуальным характером и деловым методом. Все рассчитано на известную цель, всюду видна логическая соразмерность чувств, завязки и вымысла. У него нет недостатка в энтузиазме, напоминающем нередко вдохновение. Он симпатизирует героям своих произведений, со способностью

хамелеона усваивает себе цвет каждого предмета и если не может быть этим предметом, то старается разыграть его роль самым правдоподобным образом. В результате перед нами является произведение, искусно и блестяще выполненное, доставляющее нам то старинное удовольствие, которое доставляют «побежденные трудности» и видимая взаимная связь цели со средствами. Что при этом наша душа остается безмолвна, не затронута и видит не всеобщую, вечную красоту, но только элегантную моду, не поэтическое творчество, а скорее туалетный процесс, – тому удивляться нечего. Это означает только, что Вольтер был французским поэтом и писал так, как того требовал и как тому сочувствовал французский народ тогдашнего времени. Нам давно известно, что французская поэзия стремилась к другой цели, нежели наша, что ее блеск был блеском безжизненным и искусственным; она походила не на обаятельную роскошь летней природы, а на холодный блеск стали.

Вообще при чтении поэтических произведений Вольтера никогда не следует забывать приключение в кафе «Прокоп». У него не было недостатка в понимании самой сущности поэзии, когда он видел, что и другие старались понять ее, – но какое отличие могла ему дать эта выходка в кафе «Прокоп»? Какую пользу могла она принести его драгоценной «славе», если б он вздумал продолжать поступки подобного рода? Под конец, по-видимому, он совершенно примирился с общественными обычаями и привычками и старался лучше сделать то, что делают другие. А между тем его личная поэтическая религия, которая ни в каком случае не могла быть католической, сверх всякого ожидания, была полна изуверства. Впрочем, порицание Шекспира, против которого Англия, в свою очередь, протестовала, заслуживает, если хорошенько взвесить дело, «похвального листа». Он называет Шекспира «гением, полным силы, естественности и возвышенности», хотя, к несчастью, «лишенным малейшей искры хорошего вкуса или малейшего знакомства с правилами». По понятиям Вольтера, это довольно верно, потому что у Шекспира действительно не было парижского bon gout, и он с изумительным спокойствием шел вразрез с правилами. После довольно снисходительного приговора над «Гамлетом», лучшим из этих «чудовищных фарсов, именуемых трагедиями», но где встречаются «прекрасные сцены, высокие и ужасные места», Вольтер следующим способом разрешает две великие задачи:

«Во-первых, как могло скопиться столько чудес в одной голове, потому что все пьесы божественного Шекспира написаны в этом вкусе. Во-вторых, каким образом люди могли возвыситься до того, чтоб смотреть на эти пьесы с восторгом, вследствие чего

они приобрели себе поклонников в том веке, который создал «Катона» Аддисона?

Наше удивление при первом чуде исчезнет, если мы узнаем, что Шекспир черпал материал для всех своих трагедий из рассказов или романов и при этом случае переложил только в стихи роман Саксона Грамматика «Клавдий, Гертруда и Гамлет», которому и принадлежит вся честь.

Вторая часть задачи – удовольствие, доставляемое людям этой трагедией, представляет больше затруднений, но вот решение, согласное с глубоким мнением некоторых философов.

Английские носильщики, матросы, извозчики, мясники, клерки страстно любят зрелища. Петушиные бои, боксеры, похороны, дуэли, казни, колдовство, явление духов – все это привлекает целые массы. Немало и патрициев, которые так же любопытны, как простой народ. Лондонские жители в трагедиях Шекспира встретили полное удовлетворение своим страстям. Придворные нашли необходимым последовать примеру общего потока: почему же не удивляться тому, чему дивится целый город? Полтораста лет не было ничего лучшего, удивление росло со временем и наконец перешло в поклонение. Несколько гениальных сцен, гениальных стихов, полных силы и естественности, запечатлевающихся против воли в памяти, искупили остальное, и вскоре с помощью некоторых отдельных красот возымела успех целая пьеса».

И действительно, эта теория довольно удобная, она бросает свет более чем на один предмет и, говоря относительно, написана еще в мягких выражениях. Фридрих Великий, например, произнес другой приговор:

«Чтоб убедиться в жалком вкусе, который и по настоящее время господствует в Германии, стоит только посетить общественные театры. Здесь вы увидите отвратительные пьесы Шекспира, переведенные на наш язык; публика от восторга падает в обморок, слушая эти плоские фарсы, достойные каких-нибудь канадских дикарей. Я называю их фарсами, потому что они грешат против всех драматических правил. Шекспира еще можно извинить за его безумные выходки, потому что зачатки искусств еще не обозначают их зрелости. Но в настоящее время у нас на сцене появился «Гетц фон Берлихинген» – отвратительное подражание жалким английским пьесам, и партер рукоплещет и неистово требует повторения этих омерзительных плоскостей»[36].

Мы привели этот критический отзыв не с намерением его опровергать, но только показать, на какой точке зрения находились критики. В приговоре Фридриха чувствуется какой-то пафос, на него можно смотреть как на предсмертный крик

«вкуса», в той стране, которая внезапно, как бы силой волшебства, подпала странному, сверхъестественному и ужасному влиянию, и влияние это начало принимать все большие и большие размеры, так что наконец Фридрих, судорожно смяв свою шляпу, захлебывается в океане «омерзительных плоскостей».

В целом же воззрение Вольтера на поэзию, по-видимому, радикально отличалось от нашего воззрения, а о том, что мы строго называем поэзией, он не имел почти никакого понятия. Трагедия, поэма для него не «манифестация человеческого разума в формах, свойственных чувству человека», а скорее замысловатая пляска с яйцами, исполненная под музыку в присутствии короля, но с тем, чтоб плясун ухитрился не разбить ни одного яйца. Тем не менее мы должны отдать полную справедливость как ему, так и вообще французской поэзии. Эта последняя представляет оригинальное растение нашего времени; оно тщательно воспитано и не лишено собственного достоинства. При этом не следует упускать из виду того любопытного факта, что оно в разное время было разводимо во всех странах, в Англии, Германии и Испании, но, несмотря на королевские лучи, не могло привиться. Теперь же, по-видимому, оно засохло и на родной почве; топор уже лежит у его корня, и, может быть, недалеко то время, когда этот род поэзии как для французов, так и для других народов останется только одним воспоминанием. А все-таки прежние французы любили ее страстно; для них она, вероятно, имела истинное достоинство, и мы понимаем, как в то время, когда жизнь представляла один внешний блеск, подобное изображение жизни считалось самым подходящим. Но теперь, когда нация чувствует себя призванной для более серьезных и благородных целей, начинает чувствоваться потребность в новой литературе. А между тем, глядя на нелепый спор между «романтиками» и «классиками», мы видим, что наши остроумные соседи только приступили к началу этого предприятия. Начало, по-видимому, сделано, и французские писатели находятся, если можно так выразиться, в эклектическом положении, подражая немецкой, английской, итальянской и испанской литературам усердно и с истинной любовью к прогрессу, подкрепленной еще надеждой на больший прогресс. Когда французское дарование и французский ум снова достигнут самобытности, то нужно ожидать, что они внесут богатый вклад во всемирную литературу. Между тем, сообразив и взвесив все то, что совершил этот народ в прошедшем, мы должны причислить Вольтера к наиболее заметным поэтам Франции. Уступая в поэтической силе Расину и в некоторых отношениях Корнелю, он все-таки владеет живым умом, быстрым соображением и творчеством – качествами, не

свойственными этим обоим поэтам. Мы полагаем, что в глазах иностранцев его трагедии «Заира» и «Магомет» считаются лучшими произведениями этой школы.

Впрочем, Вольтер не в качестве поэта, историка или романиста занимает такое высокое место в Европе, но преимущественно в качестве религиозного полемиста, энергического противника христианской религии. В последнем отношении он может служить материалом для серьезных размышлений, из коих только на некоторые мы имеем возможность обратить наше внимание. Вообще нужно сказать, что слог, которым написаны все его нападки, вполне соответствует его природе: его, сверх ожидания, нельзя назвать ни высоким, ни даже низким.

Так в нравственном отношении у Вольтера не было недостатка в любви к истине, хотя он питал более глубокую любовь к собственным интересам и вследствие этого, в сущности, не был философом, а только высокообразованным человеком. Так и в умственном отношении он скорее является остроумным и ловким, чем благородным и всеобъемлющим писателем. Он борется за истину, отстаивает победу не продолжительным мышлением, но легкомысленным сарказмом, вследствие чего и достигает временного успеха, – самая же истина, при таких непрочных условиях, все-таки ускользает от него.

Никто, мы полагаем, не придавал оригинального, самобытного характера этим спорам; и действительно, во всех его произведениях нет ни одной мало-мальски значительной идеи относительно христианской религии, которая задолго до его почина не была бы высказана несколько раз. Труды ученых, начиная с Порфирия до Шефтсбери, со включением Гоббса, Тиндаля, Толланда и других, из коих некоторые принадлежали к более благородному разряду скептиков, немного оставили места для деятельности на этом поприще; даже Бейль, его соотечественник, покончил только жизнь, в течение которой проповедовал тот же самый и в том же духе скептицизм, когда Вольтер появился на арене. Вообще скептицизм, как мы уже заметили прежде, в то время господствовал в высшем французском обществе, в котором Вольтер преимущественно вращался. И вся его заслуга или, скорее, ошибка заключается только в том, что он смолол в муку выросшее на этой почве зерно, поднес ее народу и многих заставил ее есть. За этот оригинальный поступок мы не упрекнем его уже на том основании, что встречаются случаи, где оригинальность может составлять даже нравственную заслугу. Но более серьезного порицания заслуживает он тем, что, не будучи сам религиозным

человеком, постоянно вмешивался в религиозные дела, входил в храм и вел себя там легкомысленно, что не подобает делать в храме, где молятся его собратья-люди. Одним словом, упорно и настойчиво боролся с христианством, имея самое поверхностное понятие о том, что такое, собственно, христианство.

Его полемические приемы в этом деле, как нам кажется, слишком мелочны; при всех его разнообразных формах, оборотах и повторениях, он, по нашему мнению, вертится около одного пункта, именно убеждения теологов, что священные книги написаны по вдохновению. Это – единственная твердыня, которую он неутомимо громил целые годы своими бесчисленными разрушительными орудиями. Уступите ему эту твердыню, и его ядра будут летать в пустое пространство, потому что другой цели у него нет…

Мы не решаемся ни на какие доказательства, но просто повторяем, что составляет также убеждение великих умов нашего столетия, что, несмотря на все доводы Вольтера и других, христианская религия, раз установившись, никогда не исчезнет и будет продолжаться в той или другой форме во все времена. Слова Св. Писания: «Врата адовы не одолеют ее» – будут неизгладимо жить в сердцах людей. Если бы понятие о христианской религии еще настолько исказилось, насколько исказили его грубые человеческие страсти и воззрения, то и тогда встретит она в каждой чистой душе, в каждом поэте и мудреце нового миссионера, нового мученика. И это будет длиться до тех пор, пока книга всемирной истории не закроется навеки и не исполнится наконец назначение человека на этой земле. Вот высшая цель, которой предопределено достигнуть человеческому роду и от которой он, раз утвердившись, никогда не уклонится.

Все эти соображения, для полного выяснения которых здесь нет места, не должны быть упущены из виду, если мы вполне хотим оценить полемические достоинства Вольтера. В его произведениях мы не видим, чтоб подобная идея относительно христианской религии была присуща ему, да, впрочем, она не могла бы сродниться с его общими действиями. Чуждый религиозного благоговения, даже обыкновенной практической серьезности, но имея, по природе или по привычке, благочестие в сердце, обладая верой только в материальном отношении, но без возможности усвоить ее себе, он не может при исследовании подобного предмета служить надежным и полезным вожаком.

На него можно смотреть как на человека, проложившего путь будущим честным исследователям, – сам же он задался предприятием, чуждым его собственной природе и давшим результат, который и следовало ожидать в подобном случае, ибо

результат этот еще более запутал и затемнил вопрос. Так что к доброму делу, совершенному Вольтером, присоединилась в настоящее время значительная доля зла, от которого, нужно полагать, никогда не удастся отрешиться вполне.

Также в большую ошибку впадем мы, если, исследуя, какое количество – не говоря о качестве – ума заявил Вольтер при этом деле, будем смотреть на полученный от этого результат как на мерило потраченной им силы. Его задача была не убеждением, а отрицанием, он не хотел созидать и творить, – так как это утомительно и трудно, – но разрушать и уничтожать, что в большинстве случаев гораздо легче. Необходимая ему сила была ни велика, ни благородна, но ничтожна, во многих отношениях тривиальна. Ею следовало пользоваться немедля и вовремя. Эфесский храм Дианы, над которым трудилось столько умных голов и сильных рук, еще до своего окончания был уничтожен безумцем в один час.

Заблуждение, недостатки и положительные ошибки Вольтера, по нашему мнению, принадлежат суду критики, и она должна произнести над ними свой строгий приговор. Но в то же время не следует вторить проклятиям, которыми многие достойные люди, может быть, с лучшими намерениями, осыпают его и по сие время. Его характер, по-видимому, был вполне открыт и обыкновенен и казался бы нам таким, если б внешние влияния не извратили наш взгляд. Также в нравственном отношении его нельзя назвать дурным человеком, – в огромной массе людей он все-таки был одним из лучших. Цель Вольтера при его борьбе с христианской религией, к несчастью, была смешанного рода, но, в сущности, приблизительно та же самая, которую мы встречали не только в противниках, но и в защитниках ее.

У него не было достаточной любви к истине, но он обнаруживал любовь к прозелитизму – чувство естественное и всеобщее, и если оно руководится честными побуждениями, то заслуживает скорее сострадания, чем ненависти. Как ветреный, беззаботный, светский человек, он чужд ненависти, в нем преобладают симпатичность, веселость и любезность. Наступило время, когда и его следует судить по его внутренним, а не случайным качествам, и ему нужно отдать справедливость, потому что несправедливость не приносит пользы ни человеку, ни вещи.

В действительности же заслуги Вольтера принадлежат природе и ему самому, главные же его ошибки – времени и его родине. В знаменитую эпоху Помпадур и «Энциклопедии» он играет главную роль, и это происходит от того, что он больше походит на преобладающую массу людей, чем отличается от них.

Время Людовика XV было время странное, оно в некотором отношении составляло какой-то роман в истории человечества. Относительно роскоши и нравственной распущенности, практической и материальной культуры, полнейшего застоя всех умственных сил эта эпоха напоминает эпоху римских императоров. Там также преобладал внешний блеск и внутреннее гниение, утонченность чувственных искусств, в которые входило не только поваренное искусство, но и эффектная живопись и эффектная литература, – одно только искусство добродетельной жизни было забыто. Вместо любви к поэзии господствовал «вкус» к ней; изящные манеры прикрывали нравственную распущенность – одним словом, этот мир представлял странное зрелище социальной системы, которой держалось большинство образованного класса, разъедаемого атеизмом. У римлян вещи шли своим естественным порядком: свобода, общественный дух постепенно утрачивали свое значение; эгоизм, материализм, низость деспотически заявляли свои права, пока наконец политическое тело, лишившееся оживляющей крови, не сделалось смердящим трупом и не досталось в добычу хищным волкам. Тогда, под руководством Аттилы и Алариха, началось всемирное зрелище разрушения и отчаяния, в сравнении с которым все «ужасы Французской революции» и все наполеоновские войны представляются веселым турниром. Наша европейская община избежала подобного страшного суда и именно вследствие тех причин, которые, надеемся, и впоследствии будут охранять ее. Если бы не было другой причины, то можно полагать, что в государстве, где существует христианская религия, где она раз существовала, общественная и частная добродетель – основание всякой силы – никогда не исчезнет, но в каждом новом веке и даже при полнейшем нравственном упадке будет жить надежда, которая, в течение веков, превратится в уверенность, что эта добродетель возобновится.

Что христианская религия продолжает существовать, что геройское мученичество еще живет в сердце Европы, готовой всегда восстать против тирании, то это обстоятельство следует назвать не заслугою века Людовика XV, а счастливым случаем, от которого он не мог отрешиться. Ибо на этот век нужно смотреть как на эксперимент, пытавшийся разрешить, по-видимому, еще не разрешенный для всеобщего удовлетворения вопрос: в какой степени жизненная сила политической системы, основанной на собственных интересах, просвещенной донельзя, но не признающей ни Бога, ни божественности в человеке, будет существовать и процветать? Многие полагают, что нашей любви к личному удовольствию или счастью, как его называют, будет

предоставлено самой уважать права других, мудро руководиться своими собственными и только из чисто политико-экономических принципов исполнять долг доброго патриота. Так что относительно государства, или просто социального положения человека, придется смотреть на веру, выходящую из пределов чувственности, и добродетель, возвышающуюся над добродетелью простой любви и ненависти, как на лишние, несущественные качества, служащие только для украшения.

С другой стороны, многие не соглашаются с этой доктриной, потому что в этой смеси противоречивых предположений они не находят принципа, который бы поддерживал целое. Ибо если ограничить бесконечно растяжимый эгоизм одного человека таким же эгоизмом другого человека, то перед нами, по-видимому, явится мир, составленный из поочередно отталкивающихся тел, чуждых сдерживающей их центростремительной силы, вследствие чего они постепенно рассеиваются в пространстве и образуют дикий хаос, а не обитаемую солнечную или звездную систему.

Если век Людовика XV относительно этого вопроса не сделался experimentum crusis, решающим испытанием, то, вероятно, причина заключалась в том, что подобные эксперименты обходятся слишком дорого. Природа позволяет раз или два в течение тысячелетий уничтожать целый мир для научных целей, но должна удовлетвориться уничтожением одного или двух королевств. Век Людовика XV, по-видимому, представляется весьма поучительным экспериментом. Но мы должны также заметить, что действия этого эксперимента были задержаны значительной разрушительной силой, именно религией, присущей еще многим, верой в невидимую добродетель, которую французские пуристы, несмотря на все их старания, не могли смыть с лица земли. Люди сделали все, что было возможно, сделать более этого не в состоянии ни один человек. Даже самый заклятый враг, полагаем мы, не будет обвинять их за несвоевременный взгляд на невидимые и духовные вещи и будет далек от того, чтобы распространять этот невидимый род добродетели, если и они не поверят в ее возможность. Великие подвиги и жертвы Древнего мира были не добродетелями, а «страстями»; эти античные личности находили вкус быть героями, имели глупость умирать за истину! У наших же философов единственная добродетель заключается в так называемой ими «чести», главное божество которой – «сила общественного мнения». Относительно добродетели чести мы позволяем себе сказать, что она законная дочь и наследница нашего старого знакомца – тщеславия и известна еще с создания

мира, но известна больше в качестве странствующей актрисы или горничной, нарядившейся в поношенное барское платье. Ей никогда не суждено было возвыситься до королевы или повелительницы человеческой души, чтоб предписывать ей с величайшею точностью те правила, которых она должна держаться при всех практических и нравственных случаях.

Относительно же силы общественного мнения мы должны сказать, что эта сила хорошо известна нам. Она признается неизбежной и полезной, но ни в каком случае ее нельзя назвать совершенной или божественной силой. Спрашивается, какой божественный, истинно великий подвиг совершила когда-нибудь эта сила? Разве сила общественного мнения влекла Колумба в Америку, заставляла Иоанна Кеплера вести не роскошную жизнь с астрологами и шарлатанами Рудольфа, а гибнуть от нужды и недостатков во время открытия им звездной системы? Еще нереальнее представляется она как основа всеобщей или личной морали. Рассматриваемая отдельно, она может быть названа бездонной глубиной, потому что без высшей, общей всем душам санкции, без веры в необходимую вечную или в надземную божественную природу добродетели, живущую в каждом человеке, – какую пользу может нам принести нравственное суждение тысячи или тысячи тысяч индивидуумов? Без высшего руководства, откуда бы оно ни происходило и как бы ни называлось, сила общественного мнения, по-видимому, сделалась бы бесцельною и крайне бесполезной силой. «Освещайте собственные интересы! – кричит философ. – Освещайте их насколько возможно!» Мы уже раньше видели эти собственные интересы: свет их больше походит на свет фонаря, достаточный, чтоб вывести человека из лужи, но для нас и для мира весьма неудовлетворительный! С помощью такого жалкого фонаря трудно будет человеческому роду отыскивать дальнейший путь сквозь неведомое время и непроглядную мглу.

Впрочем, мы не желаем более останавливаться на подобных мелочах. Наше намерение было только высказать, что этот век, называемый веком философов, был, в сущности, жалким веком, что ничтожная нравственность, которой он владел, большей частью заимствована из тех веков, которые он называл варварскими. Ибо никто не станет утверждать, чтоб эта «честь», эта «сила общественного мнения» была новая, а не сдерживающая, предотвращающая сила; она не могла создать новой добродетели, но могла сохранить только то, что уже существовало. Вообще о веке Людовика XV можно сказать, что вся его сила и нравственная прочность, все его знания, словом – все, чем он владел, было заимствованное. Он хвалился, что был веком

Просвещения, и просвещение было действительно налицо, но только вне освещенных окон ничего не было видно. Этому веку мы не обязаны ни великими теориями или учреждениями, делающими человека человеком, ни теми открытиями, которые внешняя природа предоставляет его целям. Какой плуг или печатную машину, какое рыцарство или христианство, какой паровик, суд присяжных изобрели эти философы для человечества? Они, в сущности, ничего не изобрели. Мы не обязаны им ни одной добродетелью, ни одною человеческой силой, так что век Людовика XV во всех отношениях принадлежит к бесплоднейшим эпохам в истории. И действительно, вся деятельность наших «философов» явно противоречила изобретениям. Они жили не для того, чтобы производить, но чтоб критиковать созданное, хулить и рвать его на части, – ремесло незавидное, иногда полезное, но в целом пошлое, нередко продукт и причина пошлого образа мыслей человека, занимающегося долгое время этим ремеслом.

Если смотреть на тогдашнее положение дел, то неудивительно, что век Людовика XV был тем, чем он должен был быть: веком, чуждым благородства, добродетели и высокого проявления таланта; веком скудного света, скептицизма, обильного насмешкой во всех формах и видах. Поэтому и непоразительно и даже не заслуживает порицания, что Вольтер, вожак этого века, обладал в высшей степени всеми его качествами. Но во всяком случае, его неутомимая деятельность оказала серьезные действия; искры, которые он так легкомысленно разбрасывал вокруг себя, причинили страшные пожары и вместе с тем породили столько же добра, сколько и зла. Но несправедливо взваливать на него, как на «ограниченного смертного», более той ответственности, которая подобает каждому смертному. Впрочем, эта бесплодная эпоха, как эпоха землетрясений и бурь, следовавших за ней, теперь миновала, – она принадлежит прошедшему, она не бесполезна и не лишена исторического значения как для нас, так и для наших потомков…

Нетерпимость и враждебность не приносят пользы никакому делу, а тем менее делу нравственной и религиозной истины. Умный человек отлично понимает, что «при каждом споре, в тот момент, когда мы начинаем сердиться, мы перестаем бороться за истину и вступаем в спор уже за самих себя». Не следует сомневаться в том, что Вольтер и его последователи, как вообще все люди, живущие и действующие в Божьем мире, наконец могли бы направить свои силы к добру. При самом пристрастном суждении нужно согласиться, что при всем зле он совершил и много добра. Как знаменательны для нас эти немногие слова: он

нанес смертельный удар суеверию. Этот страшный призрак, живший во мраке и боявшийся света, исчез без возврата со всеми своими пытками и отравами. И это была его великая заслуга. Разве крик: «Смерть папистам!», неопределенный или притворный ужас пред «смитфильдскими кострами» не производят действия на некоторые умы и в наше время? Кто хоть немного вглядывался в признаки нашего времени, тот мог заметить, что не только «смитфильдские костры», но и «эдинбургские колодки»[37] (которые также не следует забывать) – вещи далеко, далеко лежащие позади нас, отделенные от нас стеною веков, хотя прозрачной, но твердой, как алмаз. Суеверие скрылось в свою нору, чтоб там умереть; предсмертная агония может продолжаться десятки и сотни лет, но смерть уж у него в сердце, и ему не придется более бременить землю. Что вместе с суеверием исчезнет и религия – кажется нам неосновательным опасением. Религия не может исчезнуть. Дым горящей соломы может на время заслонить небесные звезды, но они появятся вновь. В заключение мы считаем нужным повторить давно известное мнение, что верующему человеку неприлично смотреть с ужасом и отвращением на неверующего, – к нему следует относиться только с сожалением, надеждой и братским участием. Если он отыскивает истину, разве он не брат нам и не достоин сожаления? Если он не ищет истины, то разве он также не брат нам и не достоин еще более сожаления? Старинный писатель Людовик Вивес[38] рассказывал повесть о том, как мужик убил осла за то, что тот выпил луну. Полагая, что мир не может обойтись без луны, он и убил осла, чтоб вновь возвратить ее миру. У мужика было доброе намерение, но он был глуп. Мы не последуем его примеру и не убьем верного слугу, который нас так долго возил. Не луну выпил он, а только изображение луны в своем жалком ведре, из которого он, может быть, пил с самым невинным намерением.

Дидро[39]

Деяния христианских апостолов, на которых более восемнадцати веков основывается мир, заключаются в таком малом объеме, что могут быть прочитаны в один час. Деяния французских философов, значение которых уже близится к концу, занимают чуть не целую печатную десятину, и чтения их хватит на целую жизнь. Даже и этот запас, по-видимому, неполон, и трудно определить время, когда он достигнет окончательной полноты. Перед нами четыре новых тома, рассказывающих о трудах, путешествиях, успехах, любовных похождениях и неудачах Дени Дидро. Не прошло и двух лет, как мы познакомились с биографиями Вольтера и Жан-Жака, а между тем какая необозримая масса воспоминаний покоится еще мирным сном в петербургской библиотеке, ожидая пробуждения и выхода в свет. Материалов этих достанет на всю жизнь, и если б Томас Парр начал читать их ребенком, то, вероятно, и на своем сто пятидесятом году он не справился бы с этим чтением. Но когда окончится и предстанет перед нами полный отчет о деятельности этих философов – мы не знаем и только надеемся, что когда-нибудь же истощится запас исписанной или печатной бумаги и труд рано или поздно будет приведен к концу.

Но тем не менее мы все-таки не хотим сказать, что смотрим на это изумительное богатство с сожалением; напротив, с исторической точки зрения мы смотрим на него с терпением и даже удовольствием. Мемуары, как бы они ни были длинны, правдивы и даже глупы, едва ли могут достигнуть огромного количества. Чем глупее они, тем легче их бросить в печь. Если они правдивы, то у них можно кое-чему поучиться, будь в них хоть только одно подтверждение и повторение фактов.

Между тем как мы со дня на день ожидаем великого назначения, предстоящего литературе и которое ей придется исполнить в ближайшем будущем, перед нами все более и более выясняется тот факт, что задача литературы, собственно, заключается в области истины, внутри которой «поэтическая фикция» примет совершенно новый образ, если только будет дарован ей туда доступ. А вследствие этого можно будет предсказать, наверное, что громадной массе романистов и подобных писателей в новом поколении придется выбрать одно из двух: или удалиться в детские и трудиться для детей, несовершеннолетних и полупомешанных людей обоего пола или, еще лучше, всю свою фабрикацию бросить в помойную яму и дарованные им способности употребить на изучение и

изображение того, что «истинно», – в этом отделе найдется для нас много незнакомого и имеющего для нас громадное значение. Поэзия – как все более и более будут убеждаться в этом – есть не что иное, как высшее знание, а единственный, настоящий роман (для взрослых) – это действительность. Мыслитель – это поэт, провидец. Пусть пишет тот, кто, благодаря своему верному зрению, «видит», – если его взгляд глубок и наделен вдохновением, он будет дарить нас творческими и поэтическими созданиями, если же он смотрит простыми, не вдохновенными и обыденными глазами, то пусть по крайней мере он будет правдив и пишет «мемуары».

Нам, еще не слишком отдаленным от восемнадцатого «парижского» века, это время представляется не волшебною тканью всемирной истории, а только запутанной массой нитей и концами этих нитей, приготовленных для тканья и называемых «мемуарами». Но к счастью, из их руководящих правил мы можем усвоить себе простой план, предписанный самой природой: отыскивать в них то, что может, собственно, содействовать нашему труду, будь это в форме умственного поучения, нравственного урока, забавы или развлечения. Бурбоны, впрочем, следовали более упрощенному методу, которому нередко подражают и в других странах. Они запрещали доступ к «гробницам» философов, надеясь, что их жизнь и произведения этим способом постепенно скроются из глаз и изгладятся из памяти людей, вследствие чего, так сказать, и затормозилось все дело. Нелепые Бурбоны! Деяния философов совершались не где-нибудь в углу, но происходили на виду у всех, перед досадными взорами целого человечества. Они не могут быть скрыты ни в каком случае; чтоб бороться с ними и побеждать их – необходимо видеть и понимать их.

Для нас, как их непосредственных последователей, верное понимание их составляет дело безусловной необходимости; они были нашими предшественниками и оставили нам такой-то и такой-то мир, и нам придется пахать их поле, на котором еще и теперь стоит их хлеб. Прежде всего мы должны узнать, что это за поле и что за люди и хозяева были наши предшественники. На этом-то основании мы и приветствуем все достоверные записки о философах и охотно знакомимся с замечательной жизнью Дидро, надеясь и в ней найти какую-нибудь добычу.

При всяком явлении самым важным моментом бывает конец. И действительно, эпоха восемнадцатого или философского века была концом социальной системы, созданной тысячелетием и только с некоторых столетий, как и все человеческие произведения, начавшей приходить к разрушению. Разрушение

социальной системы – дело не совсем приятное не только для человека, принадлежащего к ней, но и для постороннего зрителя, а между тем наступит время, когда это разрушение превратится в окончательную развалину. Деятельные руки уже забивают клинья, работают ломом и топором, всюду кипит жизнь и движение. Тут уже валится не один камень или горсть пыли, а падают массы камней и вздымаются целые облака и вихри пыли. Случается также, что здание поджигают, – гнилое строение быстро загорается, пламя, раздуваемое ветром, и треск рухнувших башен – все это представляет интересное зрелище, а усердные рабочие воодушевляют себя еще громкими и веселыми криками. Но никто из рабочих не может так скоро заметить обильные результаты своих трудов, как разрушитель. С его стороны будет, по-видимому, разумно, если он, измеряя действие причиной, признает свой труд наилучшим и величайшим; так, Вольтер, например, будет смело объявлен своими современниками и последователями не только величайшим человеком своего времени, но и всех прошедших времен, словом, такой великой личностью, которую едва ли когда и производила природа. Добрая, старая природа! Она в каждое время своего существования продолжает производить необходимое; так, с невозмутимым спокойствием произвела она и «энциклопедическое мнение», которое, по всему вероятию, уже не придется ей более произвести.

Таким зажигательным и разрушительным периодом был «век Людовика XV»; когда социальная система подгнила и в нее проникли дождь и стужа, то дрожавшие от холода обитатели, чтоб придать своему жалкому жилищу веселый вид, решились прибегнуть к неблаговидному средству – поджечь его. Неблаговидным мы называем только их поступок, потому что самая суть дела требовала этого, и придуманная мера была неизбежна: тем или другим способом, а дом, как поймет всякий, необходимо было перестроить. Мы видим, как еще в настоящее время в Европе продолжают разрушать и вывозить обломки, а вместо них возводят уже новое здание.

Познакомиться с жизнью Дидро – это значит познакомиться с сущностью этих событий, узнать, какое влияние производят они на душу мыслящего и действующего человека, какой своеобразный характер, окраску и форму придают его жизни. Но к несчастью, после всего написанного об этом деле оно все-таки не выяснилось. Для нас, иностранцев, многое в этом хозяйстве и методе жизни и действий остается темным, как темен сам человек и склад его внутренней природы. Уже несколько лет тому назад автор настоящего очерка оставил всякую надежду понять не

только какого-либо человека, но и самого себя. В каждом человеке, несмотря на невзрачность его фигуры, заключается целое духовное царство, изображение целого мироздания; будучи не более шести футов ростом, он невидимо поднимается вверх и вниз, исчезая в области необъятного и вечного. Жизнь, сотканная на изумительном «станке времени», представляет, так сказать, цепь света с примесью таинственного мрака, – только тому, кто ее создал, понятна она.

Если мы относительно Дидро хоть в слабых чертах представим себе его личность, а его характер, условия, при которых вращалась его жизнь, и самую жизнь поместим на наш маленький, любительский театр (под нашу собственную шляпу) и вновь разыграем ее с умеренной иллюзией и драматическим эффектом, то, согласно общеупотребительному выражению, «поймем» его и тем будем довольны.

Первое вступление Дидро на литературную арену было крайне несчастно. Все его произведения писались с лихорадочной поспешностью и лежали с равнодушием страуса в пустыне случая. Ему пришлось жить во Франции в горькие дни, в эпоху иезуитского журнала «Де Треву», во время завистливой и дряхлой Сорбонны. Он был слишком беден, чтоб дать толчок иностранной прессе в Келе или другом месте, опрометчив и неосмотрителен, чтоб искать помощи у тех, которые бы могли поддержать его, и, таким образом, чтоб перо его не было праздно, он принужден был писать многое, чему не следовало бы и появляться на свет. Вследствие этого его произведения, как листья Сивиллы, разлетелись во все концы мира. Долгое время не было даже сносного издания его сочинений, да и до сих пор не явилось ни одного, которое в каком бы то ни было отношении можно назвать удовлетворительным.

Два крайне небрежных, напечатанных в Амстердаме без ведома автора издания, «или, скорее, безобразные, изуродованные отрывки», – вот все, что видел мир при его жизни. Только несколько лет спустя Дидро узнал об этом издании и встретил известие «громким смехом», не приняв никаких мер против подобного злоупотребления чужой собственностью. Из четырех изданий, впоследствии напечатанных или перепечатанных, ни одно не может назваться полным и систематическим. Последнее издание Бриера, известное нам лично, напечатано недурно, но при этом нет порядка в размещении статей, отсутствие всякой связи и объяснений, словом, если принять во внимание наши современные требования, от всей души пожелаешь, чтобы подобное издание вовсе не являлось на свет. Бриер, по-видимому, нанял какое-

нибудь лицо разыграть роль издателя, или, скорее, нескольких лиц, потому что «издателями» они подписываются во множественном числе; нередко звездочка указывает на примечания, помещенные в конце страниц, а под ними читаешь напечатанную мелким шрифтом подпись: «Редакторы».

Но к несчастью, путешествие по этим страницам бесполезно; прочитав два или три тома, мы приходим к убеждению, что этим путем ничего не выиграешь. Указанные примечания в строго логическом смысле означают только: читатель, ты видишь, что мы, издатели, числом двое, действительно существуем, и если б мы что-нибудь понимали в тексте, то, наверное, сообщили бы тебе – «редакторы». Впрочем, эти «редакторы» – весьма вежливые люди и, при всем своем невежестве, сохраняют отличное расположение духа. Одну услугу, впрочем, они, или Бриер вместо них (если только Бриер скрывается под этой подписью, как мы нередко подозреваем), оказали нам, отыскав и напечатав давно отыскиваемую и давно потерянную «Жизнь Дидро» Нежона. Любители биографий уже несколько лет скорбели об утрате этой рукописи и даже теряли всякую надежду увидеть ее вновь. Любимый ученик Дидро, Нежон, написал его биографию, но, увы, куда она делась? Вероятнее всего то, что было темно в фаталисте Дидро, получило здесь освещение, – может быть, не проложена ли здесь «светлая улица» чрез всю литературу XVIII столетия? И не был ли Дидро, давно восхваляемый, «как лучшая энциклопедическая голова, когда-либо существовавшая», такой же головой в новой практической, философской, экономической и пищеварительной энциклопедии жизни? Кроме того, Дидро был известен как самый бойкий и приятный говорун своего времени, – и чего после этого не вправе мы ожидать от его биографии, если вспомним, что, при своих скудных условиях, сделал Босуэлл из Джонсона!

Благодаря стараниям Бриера рукопись Нежона, в виде печатной книги, лежит у нас на столе. Увы! Написанная «жизнь» весьма походит на действительную жизнь, где надежда – одна вещь, а исполнение – другая. Может быть, из всех биографий, составленных человеческой рукой, биография Нежона представляется самою неинтересной. Нелепый Нежон! Мы хотели знать и видеть, что совершалось в Париже с плотским человеком, спящим, едящим, трудящимся и борющимся Дидро; каков он был на вид, как жил, что делал и говорил, а нелепый биограф даже не сообщает нам, какого цвета были его чулки! Обо всем этом, за исключением нескольких чисел, мы не узнаем ни одного слова, ни одного намека; нам преподносится только скучная, вялая, бесконечная лекция об эстетической философии, или как Дидро

пришел к атеизму, как изучал его и как важен и необходим этот атеизм. Наделенный недалеким, чисто механическим умом, Нежон с яростью фанатика-клерикала гремит в своих речах, только фанатизм его другой окраски, а между тем он видит себя в неверующем мире, где господствуют деизм и другие скандалы, так что ему нередко приходится проливать горячие слезы на реках вавилонских. Но при этом он остается «деревянным», механическим существом, как будто сам Вокансон[40] сделал его, и это значительно умеряет его ярость…

Вот все, что мы можем требовать и ждать от Нежона, но разве вследствие этого Дидро должен быть предан забвению или, подобно философско-атеистическо-логической мельнице, жить только в воспоминании? Разве Дидро не жил так же хорошо, как мыслил? Дилетант-писатель в одном из биографических словарей рассказывает, как однажды Дидро, в туфлях и шлафроке, в продолжение двух часов трактовал о земле, море и воздухе с пламенной, нечеловеческой энергией, возраставшею все более и более, и закончил свою речь тем, что швырнул свой колпак в стену. Многие из читателей примут это за биографию, но мы с прискорбием должны сказать, что в этом рассказе заключается почти все, что нам известно о Дидро как о человеке.

Но вот является «книгопродавец-издатель Полен» с новым вкладом, с целым рядом писем, обнимающих почти пятнадцатилетний период; хотя это – собрание любовных писем, писанных женатым и шестидесятилетним стариком, но все-таки они писаны его собственной рукой. Посреди усыпляющего потока «нежностей», «чувствительности» и т. д. проглядывают несколько любопытных биографических фактов, в которых нам выясняется личность Дидро, обстановка его жизни и способ вращаться в ней гораздо лучше, чем выяснили нам все остальные по сие время книги, касающиеся его.

Подавив или даже забыв отвращение, которое с первого взгляда обыкновенно причиняют подобные письма, в конце концов приходишь все-таки к заключению, что это издание заслуживает внимания. Разве не любопытна уже сама по себе фигура влюбленного философа, силящегося во что бы то ни стало вообразить себя влюбленным? Ради научных целей можно многое перенести, а ученый любитель курьезов, преодолев вышеупомянутое отвращение, может любоваться, как «энциклопедическая голова, когда-либо существовавшая», находясь на склоне дней, имея жену и детей и страдая несварением желудка, предается запретной страсти и благоговеет перед царицею сердца. Кроме того, у нас есть интересные мемуары о нем мадемуазель Дидро, дочери философа; хотя они

нередко грешат против истины, но зато, по небольшому объему, их можно признать за лучшие из всех. К несчастью, девица Дидро старается во что бы то ни стало быть «пикантной», пишет или, скорее, «мыслит» с большими натяжками, противоречиво, что вовсе не соответствует правдивости и ясности изложения.

Не имея права подозревать преднамеренную неправду, мы все-таки не видим в ее книге картины, верной до мельчайших подробностей, или портрета, нарисованного по всем правилам искусства. Страсть быть пикантными – любимый грех многих лиц обоего пола и, к сожалению, вредит той пользе, которую без этого недостатка могли бы принести их произведения. В недостатке этом обвиняют или обвиняли преимущественно французов; впрочем, женщине и француженке, которая к тому же собирается нам многое порассказать, мы должны извинить его, а теперь постараемся из разнообразного, разбросанного материала восстановить образ Дидро, его земное странствование и деятельность.

Наша история начинается в октябре 1713 года, в старинном городке Лангре. Вообразите себе Лангр, расположенный на склоне горы, посреди римских развалин, вблизи источников Саоны и Марны, с его неуклюжими массивными домами и с 15 000 жителей, большей частью занимающихся производством ножей, и самую подвижную, светлую, ветреную и восприимчивую личность XVIII века, увидевшую только что свет. В этом французском Шеффилде отец Дидро был ножовщиком и мастером своего дела. Это был почтенный, достойный уважения человек, один из тех старинных ремесленников (в настоящее время, к сожалению, исчезнувших из мира и встречающихся только у идилликов да между шотландскими крестьянами), которые в школе практики не только развили руку, но также голову и сердце. Все испытанные на деле знание и добродетель этих людей заключаются в «труде», – это скромные, смелые и мудрые патриархи, хотя грубые, но чистые, неподдельные, как серебро, только что вынутое из рудника.

Дидро любил своего отца и весьма жалел, что портрет старика был снят в праздничном платье, а не в рабочем, обыденном костюме, «в кожаном переднике, с очками на носу, за работою перед точильным колесом», – как он привык жить и трудиться, честно занимая свое огромное место во вселенной. Старик был человек строгой справедливости и честности, отличался не только добродушием, но и острым умом, вследствие чего нередко выбирался посредником в возникавших распрях между соседями. При этом он был не чужд гуманности, помогал беднякам, так что целая толпа их со слезами провожала его до

последнего жилища. Один из соседей утешал сироту-философа следующими словами: «Ах, мсье Дидро, вы способный и знаменитый человек, но вам никогда не сравняться с вашим отцом». И действительно, возникает вопрос: не представляется ли нам этот старик ножовщик самым достойным человеком из всех знаменитых лиц, выведенных в биографическом отделе этих двадцати шести томов. Нам по крайней мере ни одно выведенное лицо не представляет достоинств, которые бы не были извращены недостатками и пороками.

Мать его также была любящая и местная женщина, и Дидро имел полное право гордиться своим происхождением и не стеснялся вспоминать об этом в кругу королей и императриц.

Учителями его были иезуиты, в двенадцать лет его энциклопедическая голова уже подверглась «тонзуре»[41]. У него была замечательная способность усваивать себе предмет и отличная память, но при этом он был ветрен, склонен к проказам и нередко попадал в неприятные истории. Одно крупное событие в своей жизни он сам увековечил; дочь его рассказывает об этом в следующих словах:

«Он поссорился с одним из товарищей, и эта ссора была так серьезна, что ему под страхом наказания было запрещено являться в школу на публичный экзамен и раздачу наград. Мысль провести такой важный день дома и тем огорчить своих родителей была для него невыносима. Он отправился в училище, швейцар загородил ему вход, но он успел смешаться с другими лицами и кое-как пробраться вперед. Швейцар, имея в руках что-то вроде копья, бросается за ним и в происшедшей тут борьбе ранит его в бок. Но это не удерживает мальчика, он проталкивается в класс, садится на свое место и получает целую массу наград из письменного и из устного экзамена и за сочиненные стихи. По всему вероятию, он заслужил их, потому что наказание, которому он подвергся, не могло помешать школьному начальству отдать полную справедливость его успехам. Множество книг и венков были присуждены ему, так что, не имея возможности нести их в руках, он надел венки на шею и таким образом воротился домой. Мать его стояла в это время у дверей дома и видела, как он, окруженный товарищами, с грудой книг и венков шел через рынок. Нужно быть матерью, чтоб понять ее чувства при виде подобного торжества. Дома его ожидали новые похвалы. Но когда в следующее воскресенье он одевался, чтобы идти в церковь, то домашние заметили значительную рану на его теле, на которую он даже и не подумал жаловаться».

«Одна из лучших минут в моей жизни, – пишет сам Дидро, с небольшими вариациями, об этом событии, – случилась тридцать

лет тому назад, но я помню ее так хорошо, как будто это было вчера. Как сейчас, вижу отца, поджидавшего меня на улице, когда я возвращался домой под бременем наградных книг и венков. Заметив меня еще издали, он бросил свою работу и вышел ко мне навстречу, обливаясь радостными слезами. Прекрасное зрелище – видеть слезы сурового и честного человека!»

Затем девица Дидро рассказывает нам, как увенчанный ученик, которому наконец надоели постоянные выговоры и наказания, однажды сказал своему отцу, что желает оставить школу. «Итак, тебе хочется быть лучше ножовщиком?» – спросил его старик. Вследствие утвердительного ответа ему дают кожаный передник, и он принимается вместе с отцом за работу – портит все, что ему попадается в руки: ножи, ножницы и пр. Работа эта продолжалась около пяти дней, – наконец он вдруг выходит из мастерской, отправляется в свою комнату, забирает книги и снова возвращается в школу, которой остается уже надолго верен.

Достопочтенным отцам показалось, что из Дени может выйти отличный иезуит, вследствие чего они старались окружать его лестью, чтоб завладеть им для собственных целей. Предоставляем читателям поразмыслить на досуге о дьявольской хитрости и усердии этих святых отцов, которые в настоящее время, к счастью, уничтожены и изгнаны отовсюду. Мы же, к нашему великому прискорбию, считаем уместным только заметить, что ни одна корпорация в мире, какой бы окраски она ни была, не проявляла столько искусства и усердия в звании учителей и наставников, как эти пронырливые иезуиты. Предугадать способности неопытного и неоперившегося юноши, из которого впоследствии разовьется действительный человек, взять его за руку и вести по умственному пути, снабдив его при этом необходимым орудием – знанием и развив в нем характер и волю, составляет в большинстве случаев заслугу великую, если предположить, разумеется, что этот путь честен и справедлив… Но мы уже заметили, что иезуиты уничтожены, а корпорации всех родов исчезли, вместо эгоистичных обществ у нас очутилось двадцать четыре миллиона людей, не связанных никакими корпорациями, так что правило: «Человек, заботься сам о себе» – произвело тесноту, давку, из которой люди выходят с помертвелыми лицами и раздробленными членами, словом, – изображают дикий хаос, куда страшно и заглянуть. И самой жалкой, покинутой и беспомощной фигурой в этой толпе является в настоящее время фигура, известная под именем писателя. Нужно надеяться, впрочем, что столетия через два подобный порядок вещей изменится и улучшится. Но возвратимся к нашему рассказу.

«Иезуиты, – продолжает девица Дидро, – прибегали к самым

соблазнительным средствам, именно прельщали юношу путешествием и свободой и успели уговорить его покинуть родину и уехать с иезуитом, к которому он сильно привязался. У Дени был друг, кузен одних с ним лет, и этому-то другу он доверил свою тайну, желая, чтоб и он сопутствовал ему. Но кузен, более приручeнный и осторожный юноша, сообщил весь проект отцу, не забыв упомянуть о дне и часе отъезда. Мой дед ни одним словом, ни малейшим намеком не выдал себя, но вечером, уходя спать, запер только входную дверь и ключ положил в карман. Услыхав в полночь, что сын осторожно сходит с лестницы, он неожиданно явился перед ним и спросил: «Куда так поздно?» «В Париж, – отвечал молодой человек, – к иезуитам». «Но ночью этого нельзя сделать, – возразил старик, – пойдем лучше спать, а завтра я постараюсь исполнить твое желание».

На следующий день отец взял два места в почтовой карете, проводил сына в Париж, поместил его в коллеж д'Аркур и простился с ним. Но добрый старик слишком любил своего сына, чтоб покинуть его, не убедившись вполне, доволен ли юноша своим новым положением. Вследствие этого он остается еще две недели в Париже, чуть не умирает со скуки в гостинице и наконец отправляется в коллеж. Отца моего до такой степени тронула эта любовь и участие, что он, по его словам, был готов идти на край света, если б старик потребовал этого. «Мой друг, – сказал он ему, – я пришел узнать о твоем здоровье, доволен ли ты начальством и содержанием. Если тебе нехорошо здесь, если ты несчастен, то воротимся снова к твоей матери. Но если ты решился жить здесь, то мне остается только сказать тебе несколько слов, обнять и благословить тебя». Юноша уверил его, что он совершенно доволен и новое заведение ему весьма нравится. Мой дед простился с ним и зашел к директору узнать, доволен ли он своим воспитанником».

Получив благоприятный ответ, почтенный старик воротился домой. Дени виделся с ним редко, потому что никогда уже не жил с ним под одной кровлей, хотя в течение нескольких лет и до самой последней минуты поддерживал с ним сношения, навещал его и, по-видимому, пользовался его советами и помощью. И действительно, семейство Дидро было достойное семейство, наш философ горячо был привязан к нему, и эта привязанность составляла не последнюю его добродетель. Дени был старшим сыном в семействе и, при всех своих недостатках, пользовался большим расположением. Кроме него, был еще брат, сделавшийся впоследствии аббатом, и добрая остроумная сестра-девица, несколько раз пытавшаяся жить вместе с младшим братом, чтоб помогать его хозяйству, но все ее старания остались без успеха.

Так как аббат был человек строгих правил, а Дени тем, чем мы его знаем, то, естественно, они не могли поладить между собой, и все их надежды к сближению не осуществились. Аббат усердно изучал свой Служебник и нередко обращался к заблуждавшемуся философу с торжественными увещаниями, но тот, не обращая на них внимания, шел своей дорогой. Партия, державшая в семействе сторону Дени, вследствие этого не совсем хорошо отзывалась об аббате, но отзывы эти нельзя назвать основательными. Читать увещания, может быть, составляло его добродетель или по крайней мере призвание.

Истинный пастырь, который бы хотел или мог снисходительно смотреть на «Энциклопедию», еще не родился, – а разве из всех ложных явлений в мире ложный пастырь не есть самое худшее?

Между тем Дени в коллеже д'Аркур изучает греческий язык и математику и совершенно утрачивает вкус к иезуитскому поприщу. Мы не сомневаемся, что он совершил немало проказ, немало получил и выговоров. Но несмотря на это, он приобрел себе друзей и в особенности сблизился с аббатом Берни, в то время поэтом, а впоследствии кардиналом. «Они обыкновенно вместе обедали в соседнем трактире по шести су с человека, и я нередко слышала, как они восхваляли этот веселый пир».

«Когда он окончил курс, – продолжает мадемуазель, – отец его написал к г-ну Клеману де Ри (прокурору и земляку) в Париж и просил его взять сына к себе в пансионеры, чтоб он мог изучить юриспруденцию и законы. Дидро прожил у него два года, но занятие «актами» и «инвентарями» не имело для него прелести. Все время, которое ему удавалось уделять от юридических занятий, он посвящал латинскому и греческому языкам, в которых чувствовал себя довольно слабым, математике, страстно им любимой до конца жизни, итальянскому и английскому языкам.

Впоследствии он так предался своей страсти к наукам, что Клеман счел долгом известить его отца о том, как дурно молодой человек употребляет свое время. Мой дед просил Клемана заставить сына избрать какое-нибудь призвание: сделаться доктором медицины, прокурором или адвокатом. Отец мой потребовал времени на размышление, и оно было ему дано. Через несколько месяцев к нему снова обратились за ответом. Он отвечал, что звание доктора ему не нравится, так как он не желает морить людей; прокурорская должность, по его мнению, занятие не деликатное, а адвокатом он охотно бы сделался, если б не чувствовал отвращения целый век заниматься чужими делами. «Чем же вы наконец хотите быть?» – спросил Клеман. – «Я

люблю науку, счастлив, доволен и не нуждаюсь ни в чем больше».

Вот перед нами смелый юноша, полный широких надежд, которыми думает питаться и быть сытым. Он, как и многие, не прочь бы сделаться владетельным принцем, но, к несчастью, у него недостает ни капитала, ни других необходимых вещей для этого. При подобных условиях отцу остается только одно: известить Клемана де Ри, что платить ему за содержание Дени более не будут и он, при первом удобном случае, имеет полное право показать новому князю дверь.

Какого мнения, сидя на своем чердаке в Париже, был сам Дени об этих мерах, осталось для нас неизвестно. Отец, отказав ему в дальнейшей помощи, хотел разумным путем принудить его избрать какой-нибудь род занятий, обещая ему помочь, в противном же случае советовал воротиться домой. Но Дени не исполнил ни того, ни другого. Подобные запросы со стороны отца продолжались в течение десяти лет, но с тем же неуспехом Принц-Дени жил и правил на своем чердаке с деньгами или без денег, как и другие принцы в мире, но отречься от престола не мог. Сангвиническому, ветреному юноше казалось невозможным, чтоб на этой обширной земле нельзя было найти золотых рудников. Он жил, пока были средства, не заботясь о завтрашнем дне. У него были книги, веселое общество, вокруг него пел и плясал Париж; он мог давать уроки математики, мог идти различными путями. Разве ему нельзя было сделаться знаменитым математиком и ученым и достать звезды своею величественною головою? А между тем к нему незаметно подкрадывается одно из самых чувствительных человеческих зол – когда приходится «положить зубы на полку».

«Проснувшись однажды во вторник на Масляной, – рассказывает его дочь, – он роется в кармане и видит, что ему не на что купить обеда; друзей же он беспокоить не хочет. Его грусть еще более увеличивается при воспоминании о том, как прежде он проводил этот день в кругу родных, обожавших его. Труд ему не идет на ум, и, чтоб рассеяться, он отправляется гулять, заходит в Дом Инвалидов, Королевскую библиотеку и Ботанический сад. От скуки еще можно избавиться, но голод заглушить нельзя. Отец мой возвращается домой, чувствует себя нездоровым, хозяйка дает ему немного хлеба и вина, и он ложится в постель».

«В этот день, – часто говаривал он мне, – я поклялся, что если буду иметь средства, то никогда не откажу бедному в помощи, никогда не обреку своего собрата на подобный мучительный день».

Что Дидро в это грустное время избег голодной смерти, достаточно объясняется вышеприведенным рассказом, но как он

после этого распорядился своей жизнью, остается для нас большей частью загадкой, мадемуазель, сообщая довольно ограниченные сведения об этом, продолжает, по обыкновению, «поражать блеском и трескотней фраз», вместо того чтоб быть ясною и понятной. Так, нередко грандиозный фейерверк уступает скромной грошовой свечке, если дело идет о том, чтоб что-нибудь видеть. Кто были товарищи, друзья, враги и покровители Дидро; как он жил; каков был Париж, в котором он вращался и на который смотрел из своего чердака, – все это узнаем мы только из некоторых загадочных намеков. Нам нередко приходилось слышать, что юный Дидро был каким-то умственным забиякой, который воображаемой рапирой боролся с судьбой ради забавы или, в случае неудачи, иронически отвешивал ей поклоны, – вообще жил и действовал, как никто в мире. Все это прекрасно, и со всем этим мы вполне соглашаемся, но все-таки спрашивается, хотя, к прискорбию, на наш вопрос нет ответа, «как именно» действовал он в то время?

Мы знаем, что он давал уроки математики, но при этом с княжеским равнодушием относился к плате за эти уроки. Если его ученик был боек и одарен хорошими способностями, то он просиживал с ним целый день; если же находил, что ученик его туп, то после первого урока уже не являлся к нему. Ему платили книгами, мебелью, бельем, деньгами или вовсе не платили. Кроме того, он сочинял проповеди по заказу. Один миссионер заказал ему полдюжины проповедей для португальских колоний и наградил его весьма щедро, выдав по пятидесяти крон за штуку. Однажды он получил место домашнего учителя с хорошим содержанием. По прошествии трех месяцев он является к отцу семейства и предлагает ему искать другого учителя, так как не желает более жить у него. «Но, мсье Дидро, разве вам не хорошо у меня? Может быть, вы недовольны жалованьем? В таком случае я прибавлю вам. Может быть, вам не нравится ваша комната, – выбирайте любую, не довольны вы столом – заказывайте сами кушанья, какие любите. Я не пожалею ничего, чтоб только удержать вас». «Милостивый государь, – отвечает ему Дидро, – взгляните на меня: лимон не так желт, как мое лицо. Я стараюсь из ваших детей сделать людей, но с каждым днем сам делаюсь с ними ребенком. Мне слишком хорошо и покойно в вашем доме, но я должен оставить вас. Цель моих желаний заключается не в том, чтоб лучше жить, но в том, чтоб не умереть теперь».

Мадемуазель сознается, что если ему случалось «пьянеть от веселости», то нередко также он предавался грусти, и тогда только один бином Ньютона, великолепная идея или другой дар неба могли развлечь его.

«Золотые рудники» еще не являлись на свет, а между тем его родной городок протягивает ему руку и спасает его от голодной смерти. Встретив земляка, Дени, не стесняясь, занимает у него деньги, и добряк отец не отказывается платить долг сына. Мать еще добрее, по крайней мере мягче сердцем: она открыто помогает ему, не через почту, а поручает это дело служанке, которая делает шестьдесят миль, чтоб передать ему несколько денег от матери, не жалуясь ни на что, но прибавив к этим деньгам еще свое скудное сбережение. Подобное странствование она совершала три раза. «Я видела ее, – прибавляет мадемуазель, – несколько лет тому назад, она говорила о моем отце со слезами на глазах; ее единственным желанием было еще раз увидать его; шестидесятилетняя служба не притупила ни ее ума, ни чувства».

Общество Дидро состояло нередко из «людей порядочных, из людей так себе, чтоб не сказать дурных». Впрочем, сложив все это вместе, нетрудно угадать, что последний сорт был преобладающим.

По-видимому, Дени в течение первых десяти лет бездельничал, – то выпивая полную чашу Цирцеи, то с жадностью вдыхая чувственный воздух и постоянно «рискуя сгореть в тут же находящемся аду». В одном из своих поэтических произведений он обнаруживает близкое знакомство с миром повес, плутов и их проделок и поступков. Между другими способностями, как это можно заметить из его «Фаталиста Жака», он обладает еще оригинальным, теоретическим талантом – «выманивать деньги».

Поступок этот совершен был Дени (как гласят его мемуары) таким скандалезным образом, что полиция вмешалась в это дело, и отец, «посмеявшись над обманутым простаком, заплатил деньги». Простак этот был аббат-прозелит, которого хитрец Дени обошел тем, что принялся ему жаловаться на пресыщение жизнью и вследствие этого изъявлял готовность идти в монахи. Но все эти обещания, разумеется, испарились, лишь только деньги были в его руках. Другой раз, впрочем, подобное дело приняло иной оборот, и рыбак вместо пескаря вытащил своим неводом акулу.

Литература, кроме проповедей для португальских колоний или небольших статеек, не открывала ему еще гостеприимных объятий. По всей вероятности, он сочинял просьбы и любовные письма людям, у которых было больше денег, чем знания орфографии, затем составлял каталоги, реестры, газетные объявления и в такой форме имел удовольствие видеть в печати произведения своих рук. Но через некоторое время он уже более сближается с литературой и принимается за переводы с английского языка. Литература в то время, как и теперь, была

общим приютом и убежищем для бедняков, где всем смертным, какого бы цвета или разряда они ни были, предоставлялась полная свобода жить или по крайней мере умирать, но для предприимчивого человека средства, добываемые ею, были в то время весьма ограниченны. Газет было немного; руководящих статей не существовало и еще менее других отделов с их казенным гонораром за строчку. Паквуд и Уоррен, а еще более Панкук и Коулберн[42] еще покоились мирным сном на лоне хаоса; хвалебная литература также не существовала, а потому не могла быть оплачиваема. Таланту недоставало рынка, где бы он мог рассчитывать на верный сбыт труда. С ним обходились, как с добродетелью, осыпали похвалами и оставляли умирать с голоду. Чтоб читатель не был слишком высокого мнения о щедрости тогдашнего литературного рога изобилия во Франции, мы представим ему небольшую историческую сцену, которую он может видеть собственными глазами. Рассказ принадлежит Дидро и относится уже к позднейшей эпохе, когда времена несколько улучшились.

«Я дал одному бедняку переписать рукопись. Так как срок, в который он обещал мне доставить ее, прошел, да и сам он не являлся ко мне, что меня сильно беспокоило, то я решился разыскать его. Я нашел его в норе, которая была не больше моей ладони, лишенной дневного света и с совершенно голыми стенами. Два соломенных стула, жалкая кровать без занавесок с одеялом, источенным червями, сундук, набитый грудой всевозможного тряпья, небольшая жестяная лампа, с бутылкой вместо подставки, и дюжина превосходных книг – вот все, что было в комнате. Я проговорил с ним три четверти часа. Бедняк был гол, как червь, – это было в августе, – худ, грязен, но при этом весел. Не жалуясь ни на что, он ел с аппетитом ломоть хлеба и по временам ласкал свою возлюбленную, лежавшую на жалкой кровати, занимавшей две трети комнаты. Если б я не знал, что счастье живет в сердце, то этому мог бы меня научить мой Эпиктет с улицы Гиасинт».

Несмотря на свои двадцать девять лет, Дидро влюбляется по уши. Это была честная, благородная привязанность – первая и, вероятно, последняя в этом роде. Если читатель желает познакомиться с поэтическим описанием этой любви и с талантом Дидро изображать подобные картины, то может прочесть об этом в некогда знаменитой его драме «Отец семейства». Известно, что сюжет этой драмы он взял прямо из жизни, не прибегая ни к каким прикрасам и эффектам, составляющим неизбежную принадлежность французского театра. Отрывок из этой пьесы мы приводим здесь.

Первый акт.

Выход седьмой.

Сент-Альбан: Отец, ты должен узнать все, – иначе как мне разжалобить тебя? Первый раз я увидел ее в церкви. Она стояла на коленях у алтаря, подле пожилой женщины, которую я принял за ее мать. Отец! Какая скромность, какая прелесть! Ее образ преследует меня днем и ночью и не дает покоя. Я утратил веселость, здоровье и спокойствие. Я не могу жить без нее, – она изменила мою жизнь: я уже не тот, чем был прежде. С первой же встречи все пошлые страсти исчезли из моей души, осталось одно благоговение и удивление. Еще прежде, чем она бросила на меня свой взор, я сделался робок, и эта робость усиливалась с каждым днем, – покуситься на ее добродетель было бы для меня все равно что покуситься на ее жизнь.

Отец: А кто эти женщины? Как они живут?

Сент-Альбан: Ах, если б ты знал, как они несчастны! Вообрази себе, что их тяжелый труд начинается с раннего утра и нередко продолжается всю ночь. Мать занимается тканьем; грубое полотно касается нежных пальчиков Софии и причиняет боль. Ее глаза – прелестнейшие глаза в мире – должны работать при тусклом свете единственной лампы. Она живет на чердаке, в четырех голых стенах, деревянный стол, пара стульев, жалкая кровать – вот вся их мебель. О, небо, если ты создало подобное существо, то какую же участь готовишь ты ему?

Отец: Как ты познакомился с ними? Говори правду.

Сент-Альбан: Мне пришлось преодолеть невероятные препятствия. Хотя я живу под одной кровлей с ней, но вначале я избегал ее видеть. Когда мы встречались на лестнице, то я учтиво раскланивался с ней. Вечером, когда приходил домой, я тихонько стучался к ним в дверь, просил у них воды, дров, огня, как это обыкновенно случается между соседями. Они постепенно привыкли ко мне, и, по-видимому, я понравился им. Так как вечером они выходили из дома весьма неохотно, то я брал на себя обязанность приносить им все, что было нужно.

* * *

Вся правда, прибавляем мы от себя, заключалась в следующем: «Я заказал им сорочки и сказал, что я бакалавр богословия и намерен поступить в семинарию Св. Николая, и всю эту речь, разумеется, вел на языке змия-искусителя».

Но мы пропускаем многое и спешим заключить сцену: «Вчера вошел я к ним по обыкновению. София была одна. Она сидела у стола, закрыв лицо руками, работа валялась у ее ног. Я вошел так тихо, что она не заметила моего присутствия. Она вздохнула, и

слезы потекли по ее пальцам и падали на руки. Уже несколько времени тому назад я заметил, что она грустит. О чем плачет она? – думалось мне. Что огорчает ее? Крайнего недостатка не может быть, – ее работа и мое внимание служат ей верной поддержкой. Опасаясь единственного несчастья, которое для меня было бы ужасно, я немедля бросился к ее ногам. Как велико было ее удивление! «София, – сказал я ей, – вы плачете, – что с вами? Не скрывайте от меня вашего горя, расскажите, умоляю вас, расскажите мне все». Она молчала. Ее слезы текли по-прежнему, глаза ее, в которых теперь вместо спокойствия выражался ужас, устремились на меня. Затем она опустила их и, снова взглянув на меня, сказала: «Бедный Серж, несчастная София!» Я положил мою голову на ее колени и облил ее передник моими слезами».

Одним словом, ничего не оставалось более делать, как вступить в брак. Старик Дидро как ни рад был видеть своего сына, с негодованием и насмешкой встретил подобную просьбу, и бедный юноша принужден был возвратиться в Париж, избегать дорогого дома, – вследствие чего захворал и был близок к смерти. Это обстоятельство еще более увеличило недоумение его возлюбленной и заставило ее навести о нем справки. Она, к своему ужасу, узнала, что комната его – сущая собачья конура, что он живет почти без пищи, без ухода, жалкий и грустный, и решилась идти к нему, обещала быть его женою, – так что с этого времени мать и дочь сделались его сиделками. Как только он поправился, они отправились в церковь Св. Петра и там повенчались в полночь 1744 года. Но нам еще остается прибавить, что когда София, на которой он женился, утратила достоинства прежней Софии, то ошибка скорее заключалась в его непостоянстве, чем в ее качествах. Как в юности она была «высокой, красивой, благочестивой и умной», так, по-видимому, в течение всей своей жизни она сохранила мужество, благоразумие и верность, – слишком хорошая жена для подобного мужа.

«Мой отец был слишком ревнив, чтоб позволять моей матери продолжать работу белья, которая заставляла ее принимать чужих людей и с ними разговаривать. Поэтому он предложил ей прекратить это дело, на что она весьма неохотно согласилась. Для себя она не боялась бедности, но ее мать была стара, и она опасалась, что не будет в состоянии удовлетворять всем ее нуждам. Тем не менее она принесла эту жертву в полном убеждении, что она необходима для спокойствия ее мужа. Наемная женщина приходила каждое утро убирать маленькую квартиру и приносила провизию, но все хозяйство лежало на обязанности моей матери. Нередко случалось, что, когда мой отец не обедал дома, она ела один только хлеб и радовалась той

мысли, что на следующий день может угостить его более порядочным обедом. Кофе был, разумеется, роскошью при таком хозяйстве, но она, не желая лишать своего мужа любимого напитка, обыкновенно давала ему каждый день шесть су, чтоб он отправлялся в кафе «Режанс» выпивать свою чашку и смотреть на игру в шахматы.

В это время он перевел с английского языка «Историю Греции» Станьяна и продал свой перевод за сто крон. Этими деньгами он несколько поправил свои домашние обстоятельства…

Моя мать разрешилась дочерью и была уже беременна во второй раз. Несмотря на ее осторожность, уединенную жизнь и старание всюду выдавать своего мужа за брата, до его семейства в провинции все-таки дошли слухи, что с ним в квартире живут две женщины, вследствие чего происхождение, поведение и характер моей матери сделались предметом самой гнусной клеветы. Отец мой заранее предвидел, что переписка не поведет ни к чему и может продолжаться до бесконечности, а потому посадил свою жену в почтовую карету и отправил к родителям в Лангр. Перед этим она только что разрешилась сыном. Уведомляя об этом своего отца, он также сообщил ему и об отъезде моей матери. «Она уехала вчера вечером, – писал он, – и через два дня будет у вас. Вы можете сказать ей, что вам будет угодно, а если она надоест вам, то пришлите ее сюда обратно». Как ни странно было это известие, родитель моего отца все-таки решился послать ей навстречу свою сестру. Первое знакомство было довольно холодно, но вечер показался ей уже не так тягостен, а на следующее утро она вошла в комнату своего тестя, встретилась с ним, как с родным отцом, и ее ласковый, симпатичный характер очаровал доброго, чувствительного старика. Она немедленно принялась за работу, не пренебрегала ничем, чтоб только угодить семейству; теперь она уже не боялась его и желала только заслужить его расположение. Вообще ее присутствие производило самое благоприятное впечатление на стариков, а ее простота, скромность, умение хозяйничать заставили их полюбить ее еще более, так что даже намерение лишить моего отца наследства было отменено. Добрые люди удержали ее у себя три месяца и затем отправили обратно в Париж, снабдив ее всем тем, что они считали для нее полезным и приятным».

Вся эта идиллическая жизнь писателя рассказана просто, изящно, но в самой музыке этой идиллии слышится резкий диссонанс (может быть, музыканты тому виною); впрочем, где люди, там и зло.

«Эта поездка, – пишет мадемуазель, – стоила моей матери

немало слез». Что скажет читатель, когда узнает, что мсье Дидро в это время завел связь с некой г-жой де Пюизье и встретил свою честную жену холодно и сухо. Г-жа Дидро два раза ездила в Лангр, и обе поездки были невыгодны для ее спокойствия.

Отношение его к Пюизье, которую он не только страстно любил, но для которой трудился и добывал деньги, продолжались десять лет, но наконец, убедившись в ее неверности, он оставил ее; за этой связью, по-видимому, последовали другие связи в подобном же роде.

Но когда много выстрадавшая жена воротилась из своей второй поездки в Лангр, то узнала, что он вошел в близкие отношения с некой девицей Волан, дочерью вдовы одного чиновника. Ей он посвятил всю остальную свою жизнь, «деля свое время между ней и наукой», и ей же мы обязаны настоящею «внебрачной» перепиской. Своей законной жене он предоставил только обязанность готовить ему кушанье и по возможности поддерживать согласие в доме.

Увы! Его Пюизье казалась ему пустой, продажной женщиной, для испорченной души которой могли служить нишей только одни неприличные книги, а пожилая девица Волан представлялась ему чувствительным благородным сердцем, нежной и доброй душой. И при этом обеды жены из черствого хлеба, шесть су, сбереженные ею на чашку кофе! Безумный, едва извиняемый Дидро! Жесткое, но справедливое слово «подлость» – означает несправедливость и должно быть предоставлено только подлецам. Потому, что твоя оскорбленная жена, которой ты клялся совершенно в других вещах, будет своими собственными страданиями, которые ты выставил в таком непривлекательном виде, возбуждать искреннее участие и истинное сожаление, что тяжелые испытания, вызванные расчетами и самоуслаждением мужчины, не выпали на долю другой, более недостойной женщины.

Но, отвернувшись от беспорядочной семейной жизни, которая бы позорно распалась, если б жена не была разумнее и энергичнее мужа, мы видим, как наш философ пролагает себе заметную дорогу в литературном мире и этим способом наконец заручается постоянным куском хлеба. На «Историю Греции» Станьяна и на переведенный им с английского «Медицинский словарь», без имени автора, все издатели смотрят как на книги, не имеющие никакой цены. Подобная же участь постигает его «Очерк о достоинстве и добродетели», составленный им по «характеристикам» Шефтсбери. В этой книге, с ее примечаниями, проникнутой непроходимою ложью, мы встречаем только подтверждение старого, не раз высказанного мнения, что идея

знаменитого сочинения Шефтсбери, если в нем только есть идея, в высшей степени ненадежна, скользка и, подобно угрю, выскальзывает из рук, оставляя нас одних на песке.

Причина этого частью заключалась в том, что Шефтсбери был не только скептиком, но и дилетантом скептицизма – род скептицизма, давно проглоченного и уничтоженного более мрачным и серьезным. Как мог деликатный, раздушенный и расфранченный индивидуум, каким был Шефтсбери, устоять в этой титанической борьбе?

Между тем наш Дени из области переводов перешел в область самостоятельного авторства. Он в четыре дня пишет весьма обыкновенную книгу: «Философские размышления», затем свои метафизические и фантастические размышления об «Интерпретациях природы» – и вырученные за них деньги отдает своей возлюбленной Пюизье. После этого он с той же целью сочиняет в две недели неприличнейший из всех прошедших, настоящих и будущих нелепых романов, – работа, по-видимому, не трудная, но, к несчастью, не невозможная. Если бы какому-нибудь смертному, положим рецензенту, пришлось снова заглянуть в эту книгу, то по прочтении ее он немедленно бы выкупался в ключевой воде, надел бы свежее белье и все-таки до самого вечера не избавился бы от грязи. Метафизико-атеистическая книга «Письма о глухонемых и слепых», доставившая ему славу и трехмесячную квартиру в Венсеннской крепости, относится к позднейшему времени. Но он уже успел своим медоточивым языком, возрастающею славою и сангвиническим темпераментом уговорить известных книгопродавцев приобрести от аббата Гуа его тощий перевод «Малого словаря искусств» и поместить его в «Энциклопедии», редакцию которой он вместе с д'Аламбером принимает на себя. В 1751 году он окончательно делается «писателем», надежным и видным членом этого замечательного цеха.

Литература со времени своего появления на европейской сцене, в особенности со времени ее выступления из монастырей на общественный рынок, где она занимала подобающее ей место и этим добывала себе средства к жизни, испытала странные фазы в своем развитии и сознательно или бессознательно произвела странное влияние. Чудесный ковчег Всемирного потопа, в котором хранится так много дорогих, бесценных сокровищ для человечества, беззаботно продолжает свое плавание через хаос волнующегося времени, не зная, отыщет ли он когда-нибудь Арарат, где можно бы было отдохнуть и выждать, пока сойдет вода. История литературы, в особенности в последние два столетия, – это наша собственная церковная история, потому что

другая церковь, в течение этого времени, изменила своим древним функциям, утратила влияние и перестала иметь свою историю. Чтоб познакомиться с оборотной стороной дела, стоит только вспомнить, как разные Тассо и Расины старались поднять свое призвание из унизительной роли придворного паясничества, поучать и облагораживать мир и вместе с тем исполнять другую нелепую обязанность: забавлять и воспевать земного Юпитера, облеченного в бархатную мантию или другую золотую или позолоченную сбрую и тем добывать себе хлеб! Взгляните на Шекспира и Мольера, у которых было одинаковое ремесло, но пользу из него они извлекали двойную: потешая королевскую милость, они вместе с тем не забывали толстокожей толпы, снабженной хорошими карманами. Затем обратите внимание на издательское право, на раздор авторов и их стеснительное положение, на Гейне, например[43], питавшегося вареной гороховой шелухой, Жана Поля, поддерживавшего свое существование супом из одной воды, или Джонсона, платившего по четыре пенса в сутки за стол и ночлег. В заключение обозрите невыразимую путаницу в нашем настоящем периодическом существовании, когда, между другими явлениями, с шумом и громом выступает на сцену четвертое сословие, которого не могут подавить три старшие сословия. Сословие это теперь еще сухой, не сформировавшийся «телец», но вскоре он вырастет в тощую фараонову корову, которой должны будут остерегаться жирные коровы!

Все это относится к внешней стороне литературы, так как мы не заглядываем в ее внутренний отдел, не касаемся добытых ею доктрин, а предоставляем будущим исследователям объяснить нам их значение. Значение это неисчерпаемо, – жизнь человеческая постоянно стремится из неисчерпаемого источника и хотя меняет форму, но, в сущности, остается неизменной. И в литературе есть свои апостолы и мученики, но также нет недостатка в «Симонах Волхвах» и «Аполлониях». В настоящее время все это совершается в безгранично-громадном размере: разрозненные элементы носятся в отдалении друг от друга и стремятся к единству, но беда заключается в том, что если они не соединятся, то новая форма их для большинства сделается неузнаваемой.

Французская литература во время Дидро достигла кульминационной точки, когда долго подготовляемые причины быстро переходят в действия. Это время можно назвать одним из замечательнейших ее существования. Рассматриваемая с экономической точки зрения, тогдашняя Франция, как и Англия, была веком книгопродавцев: Дадсли и Миллер рисковали своим

капиталом для издания «Английского словаря», а Лебретон и Бриассон могли быть подрядчиками и интендантскими чиновниками французской «Энциклопедии». Свет любит знания и готов заплатить за них свой последний грош. Это подметили Дадсли и Лебретон и смело рассчитывали на успех, несмотря на то что в то время еще не было реклам. Но увы, как неизбежны в мире грехи, так неизбежны были и рекламы, только горе тем, кто их выдумал! Итак, они покоились еще мирным сном, и мир верил в слово человека, по крайней мере дельного человека. Поэтому книгопродавцы были возможны, они были даже необходимым, хотя и аномальным явлением в обществе. Если б они могли воздержаться от лжи или лгали бы с некоторою умеренностью, то аномалия эта длилась бы долго. Они действовали в Париже, как и всюду, зная, что мир платит за идеи; затем, благодаря своей коммерческой сметливости, они понимали, что истина, которая в конце концов все-таки будет признана, да и сама по себе более долговечна, – для торговли выгоднее, чем ложь; кроме того, их делу помогал еще общий голос, указывавший на талант тех людей, которые могут снабжать публику истинными идеями, и этого намека было достаточно, чтоб вступить в сделку с этим талантом. Но при всем этом мы должны сознаться, что большинство книгопродавцев относилось к своему делу добросовестно и разумно, вследствие чего остальная, окружавшая их масса жадных и тупоумных торгашей не является в таком неблагоприятном свете. Разумеется, обе договаривающиеся стороны выжимали друг из друга сок, насколько было возможно, так что когда книгопродавцы в задних помещениях своих Валгалл пили вино из черепов авторов, авторы, в свою очередь, в передних комнатах держали их в ежовых руках. Джонсон, например, угощает своего Осборна затрещиной по голове, а Дидро посылает корпулентного Панкука ко всем чертям.

С внутренней или теоретической точки зрения требования французской литературы были определеннее, чем литературы английской. Басня, пущенная в то время в ход иезуитским журналом «Треву» и нелепым образом проникшая в каждое европейское ухо, гласила, что существует общество, специально организованное для уничтожения правительства, религии, гражданства (не говоря уже о десятинах, податях, жизни и собственности). И что это адское общество собирается у барона Гольбаха, имеет там свои тайные заседания и публично обнародует свои труды. Но эта басня так и осталась басней. Протоколы, молоток президента, ящики для баллотировки и пуншевые чаши подобного Пандемониума так и не удалось видеть миру. Секта философов существовала в Париже, как

существуют и другие секты. Секта эта была чуждым всякой серьезной организации союзом, где каждый, вероятно, стремился к собственной цели, старался завербовать побольше приверженцев, прославиться или, наконец, добиться постоянного куска хлеба. Но несмотря на это, французскую философию олицетворяли французские философы, в их руках она была могучей, деятельной силой. Зловещее, неудержимо разгоравшееся пламя, приведшее в трепет весь мир, было присуще этой философии и, так сказать, пробуравило отдушину, которая, в виде Французской революции, превратилась в кратер всемирно известного, страшного и безумного вулкана, которому еще не скоро придется угаснуть. Фонтенель говаривал, что он желал бы прожить еще шестьдесят лет, чтоб видеть, куда приведет это общее безверие, безнравственность и распущенность. В течение шестидесяти лет Фонтенель увидел бы немало диковинных вещей, но конец этому феномену, пожалуй, не случится и в шестьсот лет.

Почему Франция была кратером подобного вулкана? Какие специальные условия заключались во французском национальном характере, политическом, нравственном и интеллектуальном положении, в силу которых революция вспыхнула во Франции, а не в другом месте, в то время, а не прежде или позже? Вот вопрос, который возбуждался нередко, на который отвечали охотно. Но этот вопрос завел бы нас слишком далеко, если б мы вздумали на него верно ответить. Вопрос «куда» еще важнее вопроса «почему», но и его разрешать здесь мы считаем излишним. Для нас достаточно знать, что во Франции действительно был разыгран акт всемирной истории, на сцену была поставлена небольшая живая современная картина, – вследствие чего тут лучше спросить не «почему это?», а скорее – «что это?» Но, оставив все эти рассуждения, а также действия и причины, мы лучше представим себе, как много замечательных умов явилось в Европе, в Париже того времени, и взглянем на их действия, стремления и цели.

«Мистическое» наслаждение предметом неизмеримо обширнее «интеллектуального», и мы еще долгое время с удовольствием и пользой можем «смотреть» на картину, когда все, что нас поучало в ней, сделалось пусто и скучно. На этом весьма важном основании и самые письма Дидро к Волан, в которых разоблачается и «показывается» перед нами парижская жизнь, для нас гораздо дороже, чем многие объемистые тома, старающиеся объяснить ее. Правда, мы десять раз видели картину парижской жизни, но мы можем глядеть на нее еще в одиннадцатый раз, потому что это не холст, а живая картина,

значение которой для нас бесконечно. Поэтому не укоряйте старую деву за ее существование и не говорите, что она напрасно жила. Разве за тот исторический отрывок, заключающийся в этой переписке, мы не должны простить ее и забыть все, даже самую «чувствительность». Занавес, опустившийся столетие тому назад, вновь поднимается, и на сцене царствует бойкая, подвижная жизнь. Лица, сделавшиеся историческими, являются перед нами как живые.

Французский философский театр был неоригинальным театром, и преоригинальная драматическая труппа играла на нем. Подобной труппы, относительно блеска и ветрености, талантов, но и рельефных несообразностей, мир, вероятно, никогда не увидит. Впереди всех выступает Вольтер, «наифранцуз» из всех французов, человек, которого французы долго ждали, чтоб за «один раз и в одну жизнь создать все, что наиболее ценит и любит французский гений». О нем и его изумительной деятельности, после предыдущей статьи, нам остается сказать немного. Обладая достаточной энергией, чтоб сокрушать мерзость, он вел свою травлю во многих странах, во многих столетиях и на всевозможные лады с такою дерзостью, что сделался опасен и сам навлек на себя опасность. Теперь сидит он в Фернее, не принимая деятельного участия в охоте, а только издали натравливая своих собак: лютого пса Дидро он принужден уже несколько раз сдерживать. Мысль уничтожить существующую теологию не удовлетворяет свирепого Дени, хотя можно бы было и этим удовлетвориться. Патриарх посылает ему дружеское увещание относительно атеизма и снова заставляет его огрызаться.

На д'Аламбера мы можем также смотреть как на знакомое лицо. Из всех философов он по своей деятельности более всего подходит к нашим английским воззрениям: независимый, терпеливый, разумный человек, одаренный громадной способностью, владевший замечательной ясностью, знаменитый математик и, к немалому удивлению многих, знаток литературы. Нелепое удивление, – как будто мыслитель может мыслить только об одной вещи, а не о каждой, к которой чувствует влечение. «Смесь» д'Аламбера, как плод оригинального ума, отличающийся оригинальными выводами, поучительна до сих пор как для головы, так и для сердца. Человек этот живет в подозрительном уединении со своею мадемуазель Эспинас, обвиняется в ереси, потому что не видит в «Энциклопедии» ни Евангелия, ни божественного откровения, а только огромное издание in folio, для которого он не пожертвует жизнью без «вознаграждения». Для Дидро было грустно видеть, как его

товарищ спешил в гавань и не обращал внимания на сигналы в то время, как морские чудовища окружали его! Между ними не было раздора; встречи их были дружеские, хотя в последнее время они виделись не более одного раза в два года. Д'Аламбер умер, когда Дидро лежал на смертном одре. «Мой друг, угасло великое светило», – сказал он принесшему ему весть о смерти д'Аламбера.

Держась в отдалении, со страдальческим, угрожающим лицом показывается Руссо. Бедный Жан-Жак! То боготворят его, то попирают ногами; глубокий мыслитель, благородный человек, наделенный пламенной душой, но жалкий чудак, в котором природные недостатки, по милости неблагоприятной судьбы, развились чуть не в помешательство. Он держится особняком – вся жизнь его походит на длинный монолог. Он был Тиресием[44] своего времени, обладавшим даром пророчества, не свойственного другим. Может быть, в этом-то и заключалась частью причина, что мир, относительно него, впал в крайности, и мы видим, спустя долгое время после его смерти, как целая нация боготворит его, между тем как Берк[45] от имени другой нации причисляет его к извергам рода человеческого. Его истинный характер, его возвышенные стремления и скудная деятельность, его пламенный ум, как молния, рассекавший мрак хаоса, но не озаривший его, а впоследствии сам угасший, – все это в настоящее время может быть оценено по достоинству. Пусть его история научит всех, кого она касается, «закалить себя против зол, которыми посетила их мать-природа, и в своей собственной душе находить то, в чем отказал им мир».

Руссо и Дидро были друзьями с юных лет. Кто не помнит, как Жан-Жак ходил в Венсенский замок, где Дени томился в заключении за еретическую метафизику и неуважение к господству любовниц, и по дороге в этот замок создал свой первый литературный парадокс? Их ссора, занимавшая весь Париж и оплаканная одним из фешенебельных героев тогдашнего времени, – также известна. Читателю, вероятно, известно героическое послание Дидро к Гримму по этому поводу и слова: «Друг, останемся добродетельными, потому что положение тех, которые перестали ими быть, ужасает меня». Но знает ли читатель, какое преступление совершил тот, кто перестал быть, чем он был? Распространил массу сплетен, подсказанных ему завистью, сплетен, которых, как наивно выражается мадемуазель, и сам черт не мог бы разобрать. Увы! черт отлично понимал их, тиран Гримм также, а у Дидро было ухо, в которое тот и перелил всю свою желчь. Чистую бумагу не к чему пачкать грязной историей, где главную роль играет не кто иной, как «Белый Тиран»[46]. Достаточно сказать, что добродетельный тиран нашел

Дидро «слишком внимательным». Бедный Жан-Жак должен был идти своей дорогой, захватив с собой, вместе с прежним общественным презрением, и эту неприятность. Дидро в этом деле заслуживает не упрека, а скорее сожаления: он был только дудкой, на которой могла играть не только судьба, но и любой льстец.

Если мы не желаем ссориться с тираном Гриммом, то нам остается сказать немного. Этот человек не так замечателен, как замечательна судьба его. Времена переменились с тех пор, когда немецкий бурш, в изношенном платье, с освистанной трагедией в кармане, покинул Регенсбург и пустился на юг. Когда Руссо впервые познакомился «с молодым человеком, искавшим какого-нибудь занятия, потому что его внешность ясно доказывала, что он сильно нуждался в этом занятии». И действительно, с тех пор обстоятельства Гримма улучшились. Руссо познакомил его с Дидро, Гольбахом и с чернокою д'Эпине, и он не только сумел упрочить это знакомство, но и извлекать из него пользу. Поизносившийся бурш нарядился в изящное платье с манжетами, надел парик, прицепил шпагу, нарумянил свою нахальную физиономию. Чтоб нравиться прекрасному полу, принялся угощать философской болтовней гиперборейских владык, разбавляя ее лестью, и зажил припеваючи в этом мире, посреди нежных ласк г-жи д'Эпине, не обращая никакого внимания ни на мужа, ни на нравственные условия страны.

Вообще относительно Гримма мы должны сказать, что этот человек был рожден для того, чтоб иметь успех в мире. Он владел прекрасными талантами, музыкальным образованием, энциклопедическими знаниями, салонным остроумием, дерзостью; сердце его постоянно лежало как бы на рынке, где тороватый покупатель мог легко его приобрести. И действительно, он был методичный, ловкий и решительный человек. «Путем благоговейного поклонения», путем тонкой лести он сумел сделать из Дидро свою дойную корову, из которой он, по своему усмотрению, мог свободно выдаивать или статью, или целый том. Победоносный Гримм! Он даже избег «ужасов Французской революции», растеряв по этому случаю только свои манжеты, и потом долго и покойно проживал еще при готском дворе.

По всему вероятию, мир также слышал о шевалье Сен-Ламбере, игравшем заметную роль в литературе, в любви и на войне. Мы снова видим его здесь распевающим сладенькие стишки, но, к счастью, видим его издали, так что бренчанье его струн не достигает нашего слуха. О другом шевалье, достойном Жокуре, нам остается сказать только несколько слов: он роется,

как крот, в энциклопедическом поле, хватает добычу, какая попадется под руку, и боится света. Затем является перед нами Гельвециус, откормленный откупщик, услаждающий свою сибаритскую жизнь метафизическими парадоксами. Его сочинения «О человеке» и «О духе» проникнуты свободным философским духом, с примесью гуманности и чувствительности. Поэтому-то и удивляемся мы, встретив в нем самого горячего защитника охотничьих привилегий.

«Эта мадам де Носе, – пишет Дидро в одном письме о горячих ключах Бурбона, – соседка Гельвеция. Она рассказывает нам, что философ в своем поместье несчастнейший человек в мире. Он окружен соседями и крестьянами, которые ненавидят его; они бьют окна в его доме, разоряют ночью сады, рубят деревья и ломают заборы. Он не смеет выйти на охоту, не захватив с собою людей для защиты. Вы меня, вероятно, спросите о причине всего этого? Причина, отвечу я вам, заключается в его излишней ревности к охотничьей привилегии. Фагон, его предшественник, имел для охраны своих лесов только двух сторожей и два ружья. У Гельвеция их двадцать четыре, а толку нет. Эти люди получают ничтожную награду за поимку браконьеров и готовы на всякую мерзость, чтоб добыть себе побольше денег. Кроме того, они сами браконьеры, только с той разницей, что за свое ремесло получают еще жалованье. Прежде для охраны лесов на окраинах их жили вооруженные люди в выстроенных ими небольших домиках, – в настоящее же время он велел эти домики сломать. Подобными дикими поступками он нажил себе много врагов, которые сделались еще наглее и дерзче с тех пор, говорит мадам Носе, как узнали, что почтенный философ трус. Я бы не согласился даром принять от него прекрасного имения Вор, если б мне пришлось жить там в постоянном страхе. Какую пользу извлекает он из подобного рода действий, я не знаю, но он здесь один, и ему всюду грозит ненависть и опасность. Ах, насколько умнее была наша г-жа Жоффрен, когда, говоря об одном процессе, беспокоившем ее, сказала мне: «Избавьте меня от этого процесса; если они хотят денег, то они у меня есть, – отдайте их им. Лучшее употребление, какое я могу сделать из моих денег, – это купить ими спокойствие». На месте Гельвеция я бы сказал: «Эти люди бьют у меня зайцев и кроликов, и пусть бьют. У бедных животных нет ничего, кроме леса, так пусть и укрываются они в нем». Я бы следовал примеру Фагона, и меня, вероятно, боготворили бы так же, как и его».

Увы! разве охотничьи привилегии Гельвеция не уничтожены? Придет время, когда и другие привилегии, под какою долготою или широтою они бы ни находились, подвергнутся той же участи.

Если Рим был однажды спасен гусями, так после этого нужно опасаться, что Англия погибнет от куропаток? Мы все дети Евы, променявшей рай на яблоко.

Но воротимся в Париж и к его философам. Здесь является перед нами Мармонтель, деятельный помощник их, ведущий малую войну с помощью «Меркурия» и прославляющий «возвышенную мораль» в своих сладеньких романах. Иногда показывается и аббат Морелли, занятый составлением хлебных законов, – он согнулся и съежился, как бы стараясь быть ближе к самому себе. За ним виднеется плуг Галиани, чередующийся между Неаполем и Парижем, «удачно решивший вопрос о хлебном законе»[47], человек, впрочем, праздный, умственный лазарони, проказник и насмешник, не лишенный при этом оригинального итальянского юмора. Появление его смуглого острого лица постоянно служит сигналом к громкому смеху, в котором человек, к несчастью, испаряется, не достигнув никакого прочного результата. О бароне Гольбахе можно сказать только одно, что он задает роскошные обеды как в Париже, так и в Гранвале. Сорок или шестьдесят томов его атеистической философии, напечатанные на его собственный счет, заслуживают в наше время забвения и даже снисхождения. Открытый, вместительный кошелек, теплое, покойное, общительное сердце вместе с превосходными винами доставили ему литературное значение, на которое он, при своих мыслительных способностях, не имел никакого права. При этом он был покладистый, чопорно-вежливый человек, нередко ссорившийся за картами, но, в сущности, добрый и великодушный.

В этом обществе также не было недостатка в последнем даре, которым небо награждает человека, – в естественном господстве женщин. Госпожи Шатле, д'Эпине, Эспинас, Жоффрен, Деффан тоже имеют здесь свои роли, так что перед нами являются не только философы, но и философини. Впрочем, странную роль играют эти женщины в этом странном для них обществе. Лавируя между метафизикой и кокетством, системой природы, модой, тщеславием, жаждой к знаниям, ревностью, атеизмом, ревматизмом, благородными порывами и румянами, прелестный женский ум блуждает в таком хаосе, что и мудрейший человек не только растеряется в нем, но окончательно погибнет. А между тем, несмотря на это, женщинам предоставлена роль председательниц в этом обществе, – они пользуются большим влиянием, так что все действия и поступки этого общества заметно проникаются их оригинальным духом.

Само собой разумеется, что в обширном и разнообразном мире этот небольшой кружок философов, смотря по их речам и

действиям, должен был встретить и различный прием. Голоса разделились до крайности: большинство человечества, занятое собственным делом, только в случае необходимости обращало на них внимание. Но несмотря на это, все-таки образуется огромная нейтральная почва, на которой должна происходить битва и где обе армии, смотря по успеху оружия, сами должны заботиться о подкреплениях. Из высших классов, по-видимому, только незначительная часть людей, не занятых исключительно едой и питьем, сочувствует, как бы странно нам ни казалось, их вопросам. Читающий мир, в то время более образованный, более жаждавший знаний, чем нынешний, охотно встречает каждое разумное, живое слово, для него написанное. Он наслаждается им и усваивает его себе, хотя без всякой определенной цели и недостаточно вдумавшись в него. Зато бдительно, постоянно настороже братство иезуитов, хотя и близкое к смерти в то время, но тем не менее злобствующее и ожесточенное. Опасны также предсмертные судороги издыхающей Сорбонны, по временам все еще волнующие Париж. Философам необходимо пробираться осторожно и, при подобных критических обстоятельствах, нередко одним глазом плакать, а другим смеяться. Даже сама литература не вполне сочувствует философам. Кроме регулярной силы иезуитов, заключающейся в журналах, издаваемых в «Треву», проповедей, епископских преследований и нападок, выходящих из другого лагеря или каземата, организовалось еще значительное иррегулярное войско, состоящее обыкновенно из перебежчиков, людей недовольных и обойденных по службе и тому подобных неблаговидных личностей, ведущих утомительную войну из-за куста. Предводитель этого сброда Фрерон, – в прежнее время он еще пользовался довольно сносной репутацией, но теперь, подняв голову слишком высоко, споткнулся и упал. Вольтер в «Шотландке» выводит его под именем Фрелона («осы») на сцену и чуть не убивает смехом.

Другой забияка еще более ненавистен – это Палиссо, написавший и поставивший на сцену комедию «Философы», которая, несмотря на всю ее плоскость, заставила немало смеяться Париж. «Смеяться над нами, – взволновались философы, – обладающими такими высокими заслугами! Слыхало ли человечество что-нибудь подобное?» Если б бедняк Палиссо в то время им попался в руки, то, наверное, рисковал бы быть высеченным. Но так как, к счастью, этого не случилось, то они прибегли к перу, напитанному ядом и желчью, и призывали небо и землю в свидетели подобного обращения с божественной философией. С этой целью, по-видимому, наш друг Дидро написал своего «Племянника Рамо», где, как лютый пес, изорвал

несчастного Палиссо в клочки. Так различны были взгляды литературного придворного и остального мира на это дело; такой извращенностью и аномалией отличалось время.

К числу поразительных аномалий принадлежат также отношения французских философов к иностранным коронованным особам. В Пруссии мы видим короля-философа, в России императрицу, сочувствующую философии, а мелкие германские князья следуют их примеру. Они даже держат специальных послов при философах и платят им хорошие деньги. Великий Фридрих и великая Екатерина помогают философам при их малейших стеснительных обстоятельствах, покровительствуют им, предлагают в своих государствах убежище, но благоразумнейшие принимают только деньги. Вольтер уже испытал убежище у прусского короля и нашел его несоответствующим своим целям и желаниям, а д'Аламбер и Дидро отказываются повторить знакомый им эксперимент…

Не меньшей аномалией, извращенностью и противоречием отличаются отношения философов к их собственному правительству. Но могло ли быть иначе, когда отношения их к обществу были так неопределенны, а правительство, вместо того чтоб руководить этим делом, влиять на него, находилось само во власти аномалии, оцепенения и старческой немощи. Отношения, в которых французский государь находился к французской литературе тогдашнего времени, несмотря на всю важность этого дела, трудно определить, да и можно ли было ожидать, чтоб чувственный Людовик XV, в своем Оленьем парке, подозревал какие бы то ни было отношения? Его «мирная душа» была занята иным, а министрам предоставлялось полное право советоваться со своими собственными целями, прихотями, преимущественно же со своим комфортом. Таким образом, все дело, если взглянуть на него теперь, представится нам самым нелепым, жалким и смешным периодом из истории государственного управления. Увы! Нужда не знает законов. Что может делать государственный человек без просвещения, может быть, даже без глаз, если судьба принудит его «управлять» в то время, когда мир грозит падением? Ему остается только увеличивать налоги, преследовать по возможности убийства и кражи, метаться во все стороны, делать шаг вперед и два назад, да, кроме того, есть и пить и предоставлять черту все управление!

Чтобы дать понятие, до какой степени доходило это искусство «управлять», в особенности относительно философов, мы приведем из тысячи примеров только один: Мальзерб, желая предостеречь Дидро, пишет ему, что на следующий день он сделает распоряжение о конфискации у него всех бумаг. «Это

невозможно, – отвечает Дидро, – как рассортирую я их и куда успею спрятать в двадцать четыре часа?» «Пришлите мне их», – пишет Мальзерб, и они действительно были отправлены к нему и заперты на ключ, так что голодным сыщикам пришлось обыскивать только одни пустые ящики.

Издание «Энциклопедии» было начато «с королевского одобрения и указания», но затем, по высочайшему повелению, приостановлено. Так как публика роптала на это распоряжение, то разрешено было продолжать печатание. Впоследствии привилегия была уничтожена и книга подверглась окончательному запрещению, несмотря на то что она уже была отпечатана, обращалась в продаже, – более ста наборщиков работали над ней при открытых дверях, и весь Париж знал об этом. Шуазель, следуя своему обычному, решительному методу, закрыл глаза правительства и держал их закрытыми. Наконец, для увенчания дела, экземпляр запрещенного издания находился в частной библиотеке короля, что послужило поводом к забавному эпизоду и снятию запрещения.

«Один из слуг Людовика, – говорит Вольтер, – рассказывал мне, что однажды, за ужином короля «в узком кругу» в Трианоне, зашел разговор об охоте и затем коснулся пороха. Кто-то из присутствующих заметил, что лучший порох делается из равных частей серы, селитры и угля. Герцог Лавальер, знакомый с этим делом, напротив, утверждал, что для приготовления хорошего пороха требуются две равные части серы и угля и пять частей очищенной селитры. «Это забавно, – сказал герцог Нивернуа, – мы всякий день убиваем куропаток в Версальском парке, нередко убиваем людей и даже позволяем убивать себя, а между тем не знаем, из чего собственно приготовляется это убийственное средство». «Увы! Так случается со всеми вещами на этом свете, – отвечала мадам де Помпадур. – Я не знаю, из чего сделаны румяна, которыми я натираю себе щеки, и вы поставите меня в большое затруднение, если спросите, каким образом изготовляются шелковые чулки, которые я ношу». «Жалко, – сказал герцог де Лавальер, – что его величество конфисковал наши энциклопедические словари, стоившие нам сто пистолей. В них мы нашли бы ответы на все наши вопросы». Король оправдывался тем, что ему сообщили, что двадцать один том этого словаря, лежавший на всех дамских туалетах, – самая вредная вещь для Французского королевства, и поэтому он решился сам убедиться в истине этих слов прежде, чем разрешить свободную продажу книги. После ужина он приказал троим слугам принести ему экземпляр, слуги возвращаются вскоре, и каждый из них держит в своих руках по семи томов

«Энциклопедии». Открывают статью «порох» и убеждаются, что герцог Лавальер прав; а затем и мадам Помпадур узнает разницу между старинными «испанскими румянами», которыми мадридские дамы натирали себе щеки, и «дамскими румянами», приготовляемыми в Париже. Она узнает также, что греческие и римские дамы румянились порошком, добываемым из «пурпуровой улитки», что наша красная краска есть пурпур древних, что испанские румяна содержат более пурпура, а французские кошенили. Затем ей читают, как ткутся чулки, а описанный в статье чулочный станок приводит ее в изумление. «Ах, какая великолепная книга! – вскричала она. – Вероятно, ваше величество конфисковали этот магазин полезных вещей потому, что только одни желаете его иметь и сделаться единственным ученым во всем королевстве?» Все присутствующие с такой же жадностью бросились на книги, как некогда дочери Ликомеда бросались на драгоценные камни Улисса, и каждый находил то, что ему было нужно. Люди, имевшие процессы, с удивлением узнавали решение их, а король прочел права своей власти. «Я совершенно не могу понять, – сказал он, – почему мне наговорили так много дурного об этой книге». «Ах, – возразил герцог Нивернуа, – разве ваше величество не видит»…» и т. д.

В таком извращенном мире, при таких неслыханных условиях должен был наш друг Дидро продолжать свой труд. Ему необходимо проникнуть во все отделы наук, перерыть все библиотеки; он избегал все мастерские, фабрики, заставлял в своем присутствии разбирать чулочные станки и даже сам работал на них, чтоб сделать отдел искусств и ремесел по возможности полнее. Затем ему приходилось отыскивать сотрудников, льстить и угождать им, понукать их, рассчитываться с ними, перебраниваться с книгопродавцами и типографщиками и все ошибки и промахи этой массы людей взваливать на свою собственную спину. Казалось, и этого было достаточно, чтоб сломить всякого человека, но ему предстояло еще бороться с правительственными шпионами, задаривать или искусно отделываться от них.

Но несмотря на это, он выдерживает борьбу и намерен выдержать ее до конца, если не с обдуманной настойчивостью мужчины, сообразившего результат и издержки, то по крайней мере со страстью и упрямством женщины, которая, раз забрав себе в голову, не дрогнет ни перед какой веревочной лестницей, но спустится по ней со своим возлюбленным, если б против этого даже восстали все четыре стихии. При всякой насильственной мере правительства против издания он рычит или поднимает пронзительный крик, потому что в его голосе слышатся резкие

женские ноты. «Убийство! разбой! насилие!» – вопит он и зовет людей и ангелов к себе на помощь.

Между тем печатание словаря идет безостановочно: возводится враждебное правительству, нечестивое здание. Дидро, при постройке его, приходится прибегать к крайним средствам; можно подумать, что каждый рабочий в одной руке держит лопату, а в другой оружие для защиты, чтоб, несмотря на все козни, дело могло бы идти своим порядком и последний камень его был бы положен при торжественных криках. Торжественные крики? Увы, какая дрожащая, разбитая нота слышится в этих криках, – их выкрикивает человек только одним горлом, потому что душа его удручена скорбью. Да, душа Дидро исполнена скорби и бешенства, – он болен, он разбит. Варвар Лебретон, дорожащий, по его словам, больше своей головой, чем своими барышами, в течение многих лет, тайком, под покровом ночи, прочитывал еще раз окончательно исправленные корректуры «Энциклопедии». Своим гнусным пером он вымарывал все те места, которые ему казались опасными, а все образовавшиеся вследствие этого пробелы пополнял собственными измышлениями. Земля и небо! Таким образом, не только все замечательные философские идеи были вычеркнуты, но и самое произведение было изуродовано, – оно лишилось полноты и утратило форму. Гот! Гунн! Аттила книжной торговли! За подобное коварство страшное пламя Дантова ада было бы тебе умеренным наказанием. Бесчестием покрыл ты себя, Лебретон, в глазах всех веков, читающих «Энциклопедию», а будущие философы, лежащие еще теперь в колыбели, при одном твоем имени заскрежещут зубами, прежде нежели они у них прорежутся, и предадут твое имя проклятию прежде, чем научатся говорить. Но Лебретон кладет в карман брань и деньги и спит себе спокойно, – гениальный же редактор не может забыть целую жизнь злой шутки, сыгранной над ним.

Но оставим это дело и, пользуясь прекрасной осенней погодой, отправимся к барону Гольбаху, в его имение Гранваль, где, по всему вероятию, встретим деятельного и неутомимого энциклопедиста с богатым запасом чернил и писчей бумаги. В доме Гольбаха приезд его считается праздником, а если случится поссориться с ним, то причиною этому служит или его долгое отсутствие, или скорый отъезд. В семействе, где опасаются единственного недостатка, недостатка в остроумии, – такого красноречивого и даровитого собеседника, как Дидро, всегда встречают с восторгом. Здесь ему предоставляется полная свобода писать, гулять, играть в карты, вести веселую болтовню, с нетерпением ждать писем от Волан и аккуратно отвечать ей. Даже

в этих любовных посланиях так наглядно, с такой дальнозоркостью Асмодея рисуется домашняя жизнь барона, что мы не можем удержаться, чтоб не взглянуть на нее еще раз вместе с ним.

Баронесса в своем розовом шелковом платье, яркий цвет которого умеряется белоснежным тюлем, – сущее олицетворение красоты и прелести. Ее старуха мать глядит чуть не пятнадцатилетней резвушкой; дом оживлен разнообразным обществом; барон говорит мало, но дельно и является в гостиную с трубкой во рту, в халате и красных туфлях. Впрочем, он отличный, гостеприимный хозяин. Иногда удостаивают его своим посещением замечательные личности – генералы, раненные под Квебеком, фешенебельные дворяне, живущие по соседству с ним в своих поместьях, аббаты, как, например, Галиани, Рейналь, Морелли, нередко Гримм со своей д'Эпине, различные философы и философини. Встречаются также гости и низшего разбора, играющие скорее роль цели, чем стрелка, потому что задача каждого здесь: или самому острить, или предоставить другому отпускать на свой счет остроты.

Между последними, из коих мы многих пропускаем, в особенности выдается один, о котором мы упоминаем ради его родины. Это старик Хоуп, его также называли Папаша Хоуп. Он был шотландец и, по-видимому, составлял какую-то необходимую принадлежность Гранваля, служил постоянной целью, в которую, ради квартиры и стола, позволял метить сколько угодно. Это был морщинистый, высохший человек, постоянно жаловавшийся на желудок, на вечный озноб, одним словом – профессор жизненной скуки. Он постоянно сидел и дремал, но при этом всегда держал один глаз настороже; не обижался на данное ему прозвище «мумии», постоянно помещался в самом теплом углу комнаты и преспокойно грелся у камина. Но и он не был лишен едкой насмешки и когда медленно открывал свою челюсть, то его слушали даже с некоторым удовольствием.

Хоуп побывал во многих странах, пережил немало приключений разного рода и своим вороньим, металлическим голосом мог порассказать не одну занятную историю. Дидро все боялся, что он когда-нибудь повесится, если действительно это случилось, то любопытно знать, в каком музее хранятся его останки? Родители Хоупа, по-видимому, жили еще в Эдинбурге, когда он, торгуя в Бордо, высылал им кое-какое пособие. Не найдется ли кто-нибудь из старожилов этого города, который бы мог нам дать хоть какое-нибудь сведение о нем? А пока, за неимением сведений, мы расскажем только одно воспоминание добряка Хоупа, служащее замечательным примером

национального характера. В битве при Престонпане родственник Хоупа, носивший по несколько золотых колец на своих пальцах, бился на жизнь и смерть со свирепым горцем. Горец удачным ударом отрубил своему противнику руку, украшенную кольцами, в одно мгновение поднял ее с земли и засунул за пазуху, чтоб затем на свободе рассмотреть ее поподробнее, и снова продолжал бой.

Для читателя, может быть, будет небезынтересно знать, как в последних числах октября 1770 года Дидро объелся в Гранвале, что с ним, впрочем, нередко случалось, и захворал несварением желудка. Об этом событии он сообщил Гримму и прелестной Волан и жаловался, что несварившаяся пища более пятнадцати часов пролежала бременем в его желудке, так что он думал уже проститься с жизнью.

Подобные вещи, повторяем мы с прискорбием, случались нередко. Стол Гольбаха был роскошен, а повара своим дьявольским искусством доводили гостя до того, что он каждое блюдо ел с новым аппетитом, пока наконец не заболевал на месте. Дидро пишет своей красавице, что он с трудом может застегнуться, так «начинил» он себя. Подобные известия наполняют сердце чувствительной девы ужасом и скорбью.

Гранвальское общество нельзя назвать скучным; но тем не менее никто не позавидует ему, если сравнить его с каким-нибудь соседством, посланным ему судьбою в наше время, или даже с одиночеством, если на долю его выпадет такое горе. Веселость Гранваля была такого рода, что длиться долго не могла. Если б в человечестве не осталось хоть немного веры, то каким образом могли бы существовать шутки и насмешки неверующих? Свифт в своей мастерской статье «Против уничтожения христианской религии» не без некоторого пафоса говорит, что вследствие этого целая масса людей, кормящихся глумлением и остротами над верою, лишилась бы последнего куска хлеба.

Гольбахи были глухи к этому мнению и шутили, как будто их шутки могли вечно длиться. То же самое можно сказать относительно неприличных разговоров. В чем бы заключалась заслуга распутной тещи, не только рассказывавшей публично скандалезные вещи, но и отличавшейся скандалезными поступками, если б обществу, хоть по преданию, не была знакома скромность, если б в философском кружке не сохранились некоторые остатки благопристойности и приличия? У самоедов, по рассказам путешественников, очень мало двусмысленных выражений, поэтому самая соль подобных выражений не производит на них никакого впечатления. «Глупая старуха, не трать попусту последнего огня, – он скоро погаснет, и тогда?..»

Разговоры в Гранвале, кроме предметов домашнего хозяйства и явлений обыденной жизни, вертелись преимущественно на кощунстве и неприличных выражениях, с примесью остроумия и гуманности. Вследствие чего и самая беседа делалась узкой, бесплодной, и мы имеем полное право радоваться, что все это миновало и не должно более повторяться.

Но нашему другу Дидро пора воротиться в Париж. По приезде домой он находит у себя на столе целую массу корректур, писем, приглашений, просьб бедняков писателей. Несмотря на это, он прежде всего забегает узнать о здоровье Волан и затем уже решить, что начать делать. Он пишет и говорит много, делает визиты. Кроме ученых, художников, знатных особ, как иностранных, так и отечественных, у него достаточное количество незнатного знакомства, именно целая стая молодых и старых, большей частью сварливых, женщин, к сплетням которых он умеет отлично прилаживаться. Мы слышим шорох их шелковых платьев, болтовню их прытких языков, звуки которых так свежи, как будто они раздавались еще вчера, и полны, несмотря на отдаленное от нас время, какого-то пророческого значения. Жизнь не могла быть бременем для Дидро; он постоянно весел, общителен, – это всеобъемлющий человек, который везде найдет занятие и которому везде навязывают занятие. «У него было много дела, – говорит мадемуазель, – и он много делает для себя, но три четверти своей жизни он употреблял на помощь каждому, нуждавшемуся в его кошельке, в его таланте или совете. Его кабинет, как мне известно, в течение двадцати пяти лет был сильно посещаемым магазином, где один покупатель входил, а другой выходил». Он был не в состоянии кому-либо отказать. Он мирил братьев, устранял процессы, выхлопатывал пенсионы, кормил и одевал бедняков писателей, давал советы неопытным и составлял публикации для начинающих мелочных торговцев. Однажды он написал посвящение герцогу Орлеанскому к пасквилю, написанному на него самого, и тем добыл голодному пасквилянту двадцать пять луидоров. За все эти поступки мы отдаем полную признательность ветреному Дидро. Другой же награды, кроме той, которую доставила ему собственная совесть, он не получал, но часто противное, как он юмористически и изображает в своей небольшой драме «Пьеса с прологом». И действительно, большинство его клиентов принадлежало к разряду плутов, и Дидро, во всяком случае, отлично знал, что тот, кто ждет благодарности, обыкновенно награждается неблагодарностью. «Однажды, – рассказывает мадемуазель, – некто Ривьер, просьба которого была вполне удовлетворена, благодарит моего отца за

его услугу и совет, но остается еще посидеть с четверть часа и затем прощается. Мой отец провожает его, и, когда они были уже на лестнице, Ривьер останавливается, оборачивается к отцу и говорит: «Мсье Дидро, знаете ли вы естественную историю?» – «Немного, но, во всяком случае, я сумею отличить алойное дерево от сагового и голубя от колибри». – «Знаете ли вы историю муравьиного льва?» – «Нет». – «Это небольшое, необыкновенно смышленое животное. Оно роет себе воронкообразную яму в земле, прикрывает ее сверху мелким песком, заманивает туда глупых насекомых, хватает их, высасывает из них сок и затем говорит: «Мсье Дидро, имею честь кланяться». Мой отец чуть не умер от смеха от этой забавной выходки».

Так, между трудом и отдыхом, литературой и любовными похождениями, между едой и пищеварением, радостями, невзгодами и смехом, кончающимся вздохами, проводит Дидро свои дни. Люди немало доставляли ему горьких минут, но немало и льстили ему; ипохондрия же для него вещь совершенно незнакомая. Небольшая услуга, которую может оказать ему слава, уже, по-видимому, оказана. Он находится в центре отечественной литературы, науки и искусства. К членам академии он, понятно, не принадлежит, но его неверующее сердце заставляет его гордиться этим исключением. Он счастлив в критике, счастлив в философии и – что составляет высшую земную славу – счастлив на сцене! Тщеславие, если угодно, может нашептывать ему, что, за исключением недосягаемого Вольтера, он первый из всех французов. Великие мира, начиная с императрицы Екатерины и кончая шахматным игроком Филидором, состоят с ним в переписке. Он находится в лучших отношениях со всеми возможными людьми, с учеными: Бюффоном, Эйлером, д'Аламбером, с художниками и артистами: Фальконе, Ванло, Риккобони и Гарриком. Он гордится быть философом, а теперь вся секта философов смотрит на него как на своего вождя. Когда Дидро вылезал из почтовой кареты, чтоб вступить в коллеж д'Аркур, или когда впоследствии блуждал по трущобам порока, то, вероятно, согласился бы удовольствоваться и меньшим счастьем.

В семейной жизни дела его плохи, как и нужно было ожидать, хотя мадам Дидро постоянно верна и занята хозяйством. Если одна из его дочерей говорит восторженные речи и наконец в сумасшествии умирает в монастыре, то в это время подрастает другая, умненькая девушка, которая усваивает философию отца и сторонится от благочестия матери. К этим внешним элементам добра и зла следует прибавить еще внутреннее довольство; из всех писателей Дидро меньше всех прислушивается к своему

внутреннему голосу. Он был чужд болезненной мечтательности, мрачных предчувствий, желчи, – в нем преобладал сангвинический темперамент, ему жилось легко, и самый мир представлялся ему в розовом свете.

Наконец «Энциклопедия», после тридцатилетних трудов, с которыми может сравниться разве только осада Трои, была окончена, другие сочинения, составлявшие целые тома, также были приведены к концу, но философу не пришлось с них собрать обильной жатвы. Он постепенно стареет и хотя не принужден занимать денег, но все-таки беден. Чтоб дать своей дочери, при выходе ее замуж, приличное приданое, он должен продать свою библиотеку, так как не имеет другого источника, из которого бы мог добыть денег. Но тут Екатерина II предлагает ему свою царскую помощь: покупает у него библиотеку. Сделав его своим библиотекарем, она награждает его солидным пенсионом, который и выплачивает за пятьдесят лет вперед. Философ приходит в восторг от северной царицы и даже начинает воспевать ее своим охриплым голосом…

Но главным событием в жизни Дидро можно назвать его личное посещение своей благодетельницы. Нам известно только одно письмо его из Петербурга, да и то, к нашему прискорбию, непростительно короткое. Философ в Петербурге не стеснялся в своих привычках, был по-прежнему откровенен и неосторожен; князь и уличный шалун были для него одинаковы, и он не брезгал обществом ни одного смертного, в какой бы кафтан тот ни был одет. Подобный человек не мог быть придворным льстецом, а потому и не был рожден для придворного счастья… Впрочем, Екатерина оказывала философу всевозможные милости; так, заметив, что он представлялся ей в обыкновенном платье, она послала ему великолепный придворный костюм, в котором он и обязан был являться ко двору…

Возвратившись с триумфом домой, он с восторгом говорит об оказанном ему приеме. Он привез с собой образцы минералов, гиперборейские воспоминания для своих друзей и диковинные рассказы о том, как ему случалось переезжать через почти растаявшую Двину, – вода заливала колеса, а лед, под тяжестью экипажа, гнулся, как кожа, но, к счастью, он отделался только одним испугом. В другой раз, у Митавы, какие-то «сорок дикарей», через невылазную грязь, тащили на своих спинах его карету со всем багажом, чтоб поставить ее на паром. Затем ему удалось побывать еще в Голландии, где он беседовал с императрицами и другими могущественными лицами и таким образом, ради своей собственной пользы, обозрел все семь чудес света.

Но увы! Здоровье его расстроено, и старость стучится в дверь, как неотвязчивый кредитор, имеющий в кармане приказ засадить должника в тюрьму.

Некогда блестящий, живой ум делается теперь мрачным и вялым; Дидро необходимо привести все дела в порядок, потому что час приближается. Последние годы он проводит в уединении, но не в праздности и унынии. Философия для него еще не утратила своей прелести и все, что касается этого предмета, еще может интересовать его. В это самое время выходят в свет сочинения Сенеки в новом переводе. Дидро, собрав свои последние усилия, пишет по этому случаю о его жизни. Но несмотря на все его старания, именитый Сенека, так страстно желавший ужиться в добрых отношениях с истиной и Нероном, является в его книге не только не великим или правдивым человеком, но даже вовсе не человеком…

«Жизнь Сенеки» была последним трудом Дидро. Нам остается еще сказать, что он умер спокойною смертью 30 июля 1784 года. В одном из своих сочинений он цитирует из Монтеня следующие слова, служащие как бы руководством скептику: «Я бессознательно и головою вниз низвергаюсь в безмолвную бездну, которая меня мгновенно удушит и поглотит. Смерть, причиняющая на четверть часа страдание без последствий и без вреда, не требует особых предписаний». Дидро было суждено умереть «бессознательно». Он сидел, опершись на локоть, съев за две минуты перед этим абрикос. На предостережение своей жены он отвечал: «Какого черта это должно мне быть вредно?» Через несколько времени она снова заговорила с ним, но он уже не отвечал. Его дом, посещаемый любопытными путешественниками, находился на улице Тарань, где она пересекается улицей Сен-Бенуа. Его прах, бывший некогда его телом, смешался в церкви Сен-Рош с обыкновенной землей; его жизнь, чудная, разнообразная сила, жившая в нем, возвратилась снова в вечность и останется там.

Две вещи, как мы видели, прославили Дидро. Во-первых, у него был энциклопедический ум, когда-либо виденный в мире, во-вторых – он владел красноречием, каким не владел ни один человек, по крайней мере из живших в то время в Париже. Другими словами: это был один из всеобъемлющих, плодотворных и совершенных умов.

Называя его энциклопедическим умом, вероятно, хотели сказать, что его занимали все предметы, входящие в круг нашего существования, и в подобном смысле эта преувеличенная похвала имеет некоторое значение. Кроме того, мы должны признать в нем необыкновенную способность сразу обнимать предмет,

разносторонность, глубокую, универсальную мысль в практической осуществленной форме, что ставит его наряду с величайшими человеческими умами. На все формы чудного мироздания он может смотреть с любовью и изумлением; все существующее в нем имеет для него свою прелесть и значение. Затем у него нет недостатка в способности видеть и в виденном подмечать недостатки; его ум не орудие, но рука, которая может управлять каждым орудием. Да, в Дидро видим мы более глубокую универсальность, чем та, которая выражается или могла выразиться в «Энциклопедии» Лебретона, именно универсальность поэтическую, хотя и в слабых проблесках. Универсальность, присущая более характеру, чем уму, заключается в этом человеке, или по крайней мере в нем живет способность, с помощью которой он может достичь ее. Истинный энциклопедический ум – это Гомер и Шекспир; каждый истинный поэт представляет живую, воплощенную, действительную энциклопедию в большем или меньшем числе томов. Если б его опытность, его взгляд на детали были еще более ограниченны, то и тогда мир отражался бы в нем как целое, и кто не уразумел целого, тот не может верно говорить о частях, а будет постоянно искать новых путей и указаний. Единственную подходящую пользу подобный человек в состоянии приносить только в качестве носильщика. Так как он не понимает плана постройки, то ему остается носить одни камни. Если он положит хоть маленький камень, то положит его неправильно и не на месте.

Причина, почему Дидро называли энциклопедическим умом, заключалась в том, что он, по поручению книгопродавца, составил «Энциклопедию». Но если мы посмотрим на этого человека, помимо его ремесла, то увидим, что он был одарен разносторонними дарованиями, но одарен не в высшей, а в совершенно другой степени. Если далее будут доказывать, что как писатель и мыслитель он практически усвоил внешние явления жизни и мира и передал их смело, ясно и верно, то ему следует отказать в этой самой энциклопедической похвале. Мы, напротив, должны заметить, что обыкновенный мир Дидро есть полумир, но который так искажен, что является как бы целым; в сущности же, это бедный, несовершенный, незначительный мир, извращенный из конца в конец. Увы! Судьба этого человека заставила его быть полемистом; ему пришлось родиться во время первого блеска механической эры и жить в полном неведении, что в мироздании могло заключаться другое механическое значение. Эта сила судьбы влияла на него в продолжение всей его жизни, и вследствие этого он предстал перед нами не пророком, но возможностью пророка, глядящего на мир глазами философа.

Эти два соображения, собственно составляющие только одно (потому что мыслитель, в особенности француз, мог только быть полемистом в механическую эру), не должны быть, при оценке произведений Дидро, упускаемы из виду. Великая истина, по крайней мере одна сторона великой истины, заключается в том, что человек создает обстоятельства. И как в духовном, так и в материальном отношении сам бывает виновником своего счастья. Но в этой истине есть и другая сторона, именно, что обстоятельства составляют стихию, в которой человек должен жить и действовать и от которой он, так сказать, получает плоть и кровь. Эта стихия руководит им безгранично при всех его практических действиях, определяет их, так что в другом, не менее справедливом смысле можно сказать, что обстоятельства делают человека. Если относительно нас самих мы обязаны поддерживать первую истину, то при суждении о других людях не должны забывать последнюю. Даровитейший ум, явившийся в XVIII столетии во Франции, так же мало может усвоить умственный пошиб афинянина Платона, как и его грамматическую особенность, – его мысли так же мало могут быть греческими, как и его язык. Он мыслит о вещах, присущих французскому XVIII веку, и на том языке, который он здесь изучил, и при той обстановке и условиях, которые здесь предписаны. Вследствие этого, как утверждает один из оригинальнейших и самостоятельнейших новейших писателей, «дайте человеку родиться десятью годами раньше или позже, и вся его жизнь и деятельность были бы другие».

Не подлежит сомнению, что устойчивый ум, остающийся верным всем временам и странам, может и должен проникнуть в способ мышления других людей, на каком бы языке ни выражались эти мышления. Но при этом не следует забывать, что это, строго говоря, относится к высшей расе людей, а не к обыкновенному разряду, относительно которого уже нужно довольствоваться тем, если при тщательном, снисходительном анализе обнаружится в нем хоть второстепенный симптом подобного ума. Мы должны помнить, что высокоодаренный Дидро родился в то время, когда самая надежная цель, привлекавшая его, самый подходящий язык, на котором он мог говорить, были целью и языком полемической философии. Ни один серьезный человек, в какое бы то ни было время, не говорил того, что не имело бы хоть какого-нибудь значения; во всех человеческих убеждениях, действиях заключается частица истины. Эта частица и есть предмет, который мы должны извлечь из них, чтоб знать, что делать с ними.

Подобные паллиативные рассуждения (они, впрочем,

касаются не умершего, а вследствие этого равнодушного ко всему Дидро, но только нас, желающих верно судить о нем) существенны относительно его действий и убеждений, так различных от наших, но более всего относительно его главного убеждения, собственно источника всех его остальных убеждений, – отвратительного и возмутительного для нас. Мы говорим о его атеизме… Странно, он был атеист, искавший приверженцев, считавший свое убеждение непогрешимым, постоянно проповедовавший и с энергиею распространявший его. Несчастный человек переплыл весь мир и не нашел создателя его. Он опускался в бездну, где бытие даже не отбрасывало и тени. Он чувствовал одни падающие капли дождя, видел только мерцающую радугу мироздания, которая исходила не от солнца, слышал вечную бурю, не управляемую никем, и взирал на «око божества», но вместо него видел только одно мрачное, бесконечное «око смерти»! Вот философская добыча, которою он успел завладеть во время своего странствования.

Грустно и страшно! Но вместо того чтоб предаваться плачу или проклятию, мы лучше предпочтем более удобный метод, именно, не нарушая нашего спокойствия, постараемся, по возможности, определить значение этого явления. По нашему мнению, все это явление объясняется вышеприведенным фактом, что Дидро был истый полемик в механическое время. Попусту тратя слова на бесплодные, чудовищные и непрочные, как хаос, выводы, которые они хотели исчерпать, щеголяя доказательствами. Над ними не знаешь – плакать или смеяться теперь, – Дидро и его секта выяснили, что во французской философской системе (которую мы, за неимением другого именования, назвали механической) нет места для божества. Для того, кто «разум» или силу веры считает тождественными с логикой, нет видимого доказательства присутствия божества в мире. Такому человеку не остается ничего более, – если ум в нем развит только наполовину (встречается в большинстве случаев), – как самым жалким образом лавировать целую жизнь между двумя мнениями. А если он вполне обладает умом, бросить якорь на скале или болоте атеизма и передавать другим, что место это весьма недурно для якорной стоянки…

По нашему мнению, из атеизма Дидро вытекает тот вывод, что все умозрения, называемые нами естественной теологией и силящиеся доказать начало всякой веры другой верой, более древней, чем самое начало, бесплодны, недействительны и невозможны, вследствие чего их и следует совершенно устранить. Конечных причин человек, уже по самому существу своему, не может доказать. Он знает их, – если предположить, что он знает

их, – не путем логического света, но путем более неизмеримого, высшего света внутреннего созерцания. Последний (по милости неба) никогда долго не затемняется в человеческой душе и присущ нам (под именем веры) более четырех тысяч лет в исторической или сознательной форме. Для всех впечатлительных людей любимым занятием может быть: наблюдать, как разнообразны формы, живое относится к безжизненному, разумное к неразумному и то, что мы называем природой, не дикий фанатизм хаоса, а чудесное бытие и действительность. Если, кроме того, мыслящий человек в этих признаках обретет создателя, то тем скорее он увидит, что более ясное доказательство находится ближе к нему, в его собственной голове, отыскивающей подобное доказательство…

Ключ всей умственной деятельности Дидро нужно искать в неизбежных для него условиях, т. е. в веке, в котором он жил, и в тогдашнем всеобщем образе мыслей. В силу этих же условий мы извиняем в нем многое ложное и извращенное. Кроме скудного света кабинетной логики, Дидро не знал никакой путеводной звезды. Что о «высшем существе нельзя говорить словами» – была истина, об этом он даже и не воображал. Все, чего он не мог обсудить, чего, так сказать, он не мог измерить и взвесить, унести с собой, съесть и насладиться им, то для него как бы не существовало. Он целую жизнь прожил в «тонкой коре сознательного». Громадная, неизмеримая область бессознательного, в которой заключается первое и от которого оно получает значение, была для него чужда в какой бы то ни было форме. Поэтому святыня человечества была постоянно закрыта для этого человека. Где руке его нечего было ощупать, там кончался для него мир. В таких узких пределах он должен был жить и трудиться. Вследствие этого и самый труд его принимал искаженный и неправильный вид: кто тем или другим путем не признает божественной мировой идеи, лежащей в основании внешних явлений, не может иметь верного понимания, и весь умственный труд его несовершенен и ложен.

Поэтому-то достойно сожаления понятие, которое Дидро составил себе о человеческом бытии, над обязанностями, отношениями и способностями которого он так усердно размышлял. При каждом его выводе мы натыкаемся на тот же факт его умственного механического образования – и именно в связи с другим фактом, делающим ему честь, что он не останавливался на полумерах, но настойчиво добивался результата и крепко держался его. На этом основании мы не можем назвать его «скептиком», но он вполне заслуживает имя «отрицателя». О нем можно сказать, что он отрицал присутствие

малейшей искры святыни в человеке и мироздании и, следуя этой странной основе, мыслил и жил. В нем мы видим в высшей степени крайнего человека, руководимого умственной верой, которой когда-либо следовал мыслящий человек. Веру во всех ее известных формах и значении он искоренил в себе с таким усердием, которое не под силу ни одному человеку. Он верит, что удовольствие приятно, лжи верить нельзя, и тем заканчивается его исповедание, далее этого не идет у него даже самое воображение.

В последовательном мыслителе все возможные умственные извращения заключаются в то же время в грубейшем извращении, т. е. в атеизме, распространяющем приверженцев. Остальные недостатки, в какой бы степени они ни были, уже не могут нас поразить. Дидро обладал этим извращением во всех формах и степенях. Можно сказать, французский философ (по его словам, он против воли держался еще многого, что, по его теории, должно бы было оставаться ему чуждым) создал мировую систему, в сравнении с которой все, что в этом роде сделано восточными муллами и бонзами, крайне несостоятельно и скудно. Опуская его беспримерное понятие о космогонии и физиологии, мы только бросим взгляд на его более мягкое, нравственное учение и здесь коснемся одного пункта, именно взаимного отношения людей – брака.

Дидро держится того убеждения, что в браке, как бы ни совершали его свято, заключается ошибка, сводящая все его значение к нулю. Это, по его мнению, самоубийственный договор, уничтожающийся уже при самом заключении: «Ты клянешься, – повторяет он два или три раза, как будто придает особый вес этому аргументу, – ты клянешься в вечной верности, стоя под скалою, которая в этот же момент разрушается». Ты прав, Дени, скала разрушается, все вещи изменяются, а человек изменяется еще скорее остальных предметов. Но под этим хранится еще неизменчивое, возвышенное и доброе начало, проникающее судьбу и действия человека и составляющее тоже истину, и трудно ожидать, чтоб механически философ сумел перемолоть ее в своей логической мельнице. Человек изменяется, и вследствие этого возникает вопрос: разумно ли с его стороны следовать слепо этой страсти к изменению, да и возможно ли это ему?

Между дуализмами вполне дуалистической натуры человека, по нашему мнению, выдается в особенности тот дуализм, что, вместе с постоянным стремлением к изменению, он наделен не меньшим стремлением противиться этому изменению. Если бы человеку суждено было только изменяться, то он, не говоря уже о браке, перестал бы пахать свои поля и до наступления осени

потерял бы всякую охоту снимать жатву. Он возвратился бы тогда к кочующей жизни и поставил бы свой дом на колеса. Да и тут ему пришлось бы сдерживать свою страсть к переменам, потому что от беспрерывных передвижений его скот, не имея времени питаться травой, погиб бы с голоду.

О, Дени, что бредишь ты во сне! Каким образом человеку в этом мире постоянных отливов и приливов упрочить свой фундамент, как не тем единственно, что, заручившись вперед судьбой, при том или другом важном поступке в жизни, торжественно отказаться от перемены, волю подчинить неволе и один раз навсегда сказать: прочь дальнейшее сомнение! Да разве бедняк ремесленник, какой-нибудь чулочник, на станке которого ты работаешь в качестве дилетанта, не должен был сделать то же, когда подписывал свой контракт с хозяином? Глупец, наделенный всевозможными влечениями, охотно, может быть, сделавшись королем или императором, клянется (под страхом наказания) в вечной верности чулочному производству! А между тем без этого не были бы возможны хорошие ремесленники, а выходили бы жалкие недоучки, не могущие пропитать себя и годные только на пищу виселице. И какое чувство жило в той древней, благочестивой и мудрой душе, которая брак сделала таинством? Об этом грядущие Дени Дидро будут размышлять целые века и не разрешат вопроса.

И действительно, трудно вообразить себе большую либеральность, чем либеральность нашего друга Дидро в роли магистра нравов. Нередко бедный философ чувствует себя способным в век такой «спартанской» суровости нравов войти в непотребный дом и здесь воскликнуть: «Macte virtute! Замечательно!» Пусть следуют туда за ним те, которых интересуют эти вещи, мы же, имея на руках другое дело, пожелаем ему счастливого пути или, скорее, счастливого возвращения. О неделикатности и непристойности Дидро нам остается сказать здесь немного. Дидро не из тех людей, которых мы называем неделикатными и непристойными, но он циничен, скандален и чужд всякого стыда. Объяснять с лирическим бешенством, что это несправедливо, или со спокойствием историка настаивать на этом и тем приводить в ярость какое-нибудь чувствительное животное, считающее это обвинение преувеличенным, мы считаем излишним. Единственный, естественный исторический вопрос: «отчего происходит это?» – возможен только в этом деле. Что хотел доказать этот человек, не лишенный в другом отношении возвышенного ума, душевной теплоты, гуманности и необыкновенного остроумия? Для нас это только другая иллюстрация смелого, крайне логичного и

последовательного механического философа. Она вполне согласуется с теорией Дидро – ни в человеке, ни в жизни нет ничего святого, химеры – не что иное, как химеры. Каким образом человек, – для которого все то, о чем не говорят в клубах, как бы не существует, – может иметь малейшее понятие о глубине, значении и божественности молчания, святости «тайн», известных всем?

Тем не менее природа велика, и Дени все-таки принадлежал к ее благороднейшим созданиям. В подобной душе не было недостатка в том, что мы называем совестью. Понимание нравственных отношений, разнообразное свойство этого понимания были по необходимости присущи ему. Но каким образом они могли быть ему присущи? Каким образом могла быть понятна бесконечность тому, кто в целом мироздании не заметил бесконечного? Удивителен метод Дидро и вместе с тем не удивителен, потому что мы видим и видели его каждый день. Если во всей вселенной нет ничего святого, то откуда явилась эта святыня, которую ты называешь добродетелью? Отчего происходит, что ты, Дени Дидро, не должен делать ничего несправедливого и не можешь, без внутреннего упрека, произнести ни одной лжи, если б даже тебе удалось завоевать весь Магометов рай со всеми его гуриями? Остается одно средство – это бесконечный лабиринт наград и похвал. Добродетель сама по себе есть уже награда и твердое убеждение, находящееся в противоречии с тяжкими испытаниями людей, начиная с Богочеловека, истекшего кровью на кресте, и кончая нами, читатель (если мы хоть раз исполнили свой долг), убеждение, что добродетель тождественна с удовольствием…

Таким образом, Дидро остается прибегнуть к одному из двух: или допустить вместе с Гриммом, что существуют «две справедливости», которым можно присвоить всевозможные прекрасные названия, но которые, в сущности, будут означать приятную или неприятную справедливость, из коих, впрочем, одна только будет обязательна.

Но здесь природа враждебно отнеслась к Дени. Он не был литературным придворным блюдолизом, но свободным, гениальным и поэтическим существом. Следовательно, остается второй способ: «убеждать все громче и громче», другими словами – сделаться сентиментальным философом. Но скучна постоянная болтовня о добродетели, честности, величии, чувствительности, благородных душах, – как невыразимо приятно и возвышенно быть добродетельным; так, черт побери, будьте добродетельны и замолчите наконец! Этим способом природа, несмотря на противоречия, заявила свою силу и божественность и

приготовила для бедного, механического философа, так как самая сущность была скрыта от него, призрак, который и порадовал его.

Не должны ли мы, в заключение и в силу различных оснований, протянуть с благодарностью руку нашему несчастному механическо-сентиментальному философу с его громкими проповедями и скудным результатом? Во всяком случае, необходимо, чтоб логическая сторона дела была одинаково полезна. Много замечательных учений вращается теперь в мире, в особенности учение о нравственности. Желательно бы было, чтоб сбылось предсказание и аскетическая система не возвратила бы себе исключительного господства. Как бы то ни было, самоотрицание, уничтожение собственного «я» должно сделаться началом всякого нравственного действия. У кого есть глаза, тот может подметить зачатки более благородной системы, с которой первая составляет один гармонический элемент.

Кто знает, например, какие новые открытия и сложные методы ожидают нас, пока установится истинное отношение нравственного величия к нравственной правильности и их обоюдное достоинство? Каким образом полная терпимость неправды может ужиться с тем убеждением, что право к неправде находится в том же отношении, в каком находится бесконечное к противоположному бесконечному? Одним словом, каким образом после столь бурных превратностей, ложных усилий, увеличивающих еще более замешательство, будет понятно человеческому сердцу, что добро собственно не высочайшее, но прекрасное качество, что истинно прекрасное, отличающееся от ложного, как отличается небо от Валгаллы, заключает в себе доброе начало? В будущих веках поймут, что Дидро, действуя и признавая с полным убеждением, что огромная масса признает только наполовину и без убеждения, добивался результата, хотя странным и извращенным путем…

Второе качество, прославившее его, – искусство, с которым он умел говорить. Смотря с высшей точки зрения и как полагают его почитатели, его философия не столько заслуживала удивления, сколько заслуживал способ, которым он ее передавал. Как высоко ценится его философия, мы уже говорили, но что относительно изложения она была действительно замечательна, – этому нетрудно поверить. У человека откровенного, полного надежд, одаренного разносторонним, пламенным и пытливым умом, должны быть и «уста золотые». Также необходимо согласиться, что каждый образ, созданный им, с замечательною ясностью отражался в нем. Но чтобы при этом речь Дидро, имеющая такое

относительное достоинство, своим внутренним содержанием заслуживала бы великой похвалы, – еще подлежит сомнению. Достоинство слов прежде всего зависит от ума, которым они проникнуты, а в словах Дидро его было немного. Живость в изложении, блестящие обороты, теоретическая ловкость, остроумные парадоксы, веселость, даже признаки юмора – все это можно было встретить в речах Дидро. Но кто предпочитает этому откровенность, серьезность, глубину практических, а не теоретических знаний, пламенное слово, ясность, уверенность, юмор, выразительность, смотря по затронутой идеи, тому следовало бы отправиться в Лондон и со вниманием послушать нашего Джонсона. Итак, на нашей стороне сильнейший? Да, у всякой нации есть своя особая сила, как это доказала борьба Львиного Сердца с легким, проворным и неуязвимым Саладином.

Вместе с даром слова Дидро был также наделен способностью быстро сочинять. Об этом таланте приводят целые сотни истинно поразительных примеров. Рассказывают, что в одну неделю, даже в двадцать четыре часа, он успевал написать большое сочинение. К прискорбию, мы можем вполне убедиться в правдивости этих рассказов. Большая часть сочинений Дидро носит следы этой поспешности, так что они скорее напоминают печатный разговор, чем сосредоточенное, обдуманное слово, которое мы были вправе ожидать от такого человека.

Было сказано: «Он написал хорошие страницы, но не мог написать хорошей книги». Ясность, понимание предмета с первого взгляда – вот характер всех произведений Дидро. Ясность, переходящая в художественность, напоминающую изящную манеру Ричардсона или Дефо. Но, допустив, что его идея отличается ясностью, мы вместе с тем спросим: каково самое свойство этой идеи? Увы, эта идея большею частью поверхностна, в ней чуть-чуть брезжит более глубокая мысль. Во всех произведениях Дидро господствует больший или меньший беспорядок; вместо порядка мы встречаем только один призрак его, – делу недостает души. Он перескакивает через радиусы, центры, но попасть в них не может.

На этом основании поразительная литературная разносторонность и быстрота Дидро скорее вредна, чем полезна для него. Мы не говорим о приеме, который он встретил в мире: его век был веком специальностей, а между тем энциклопедист Дидро, вследствие других причин, умел завоевать себе порядочный успех. Но мы касаемся более важного последствия, именно, что он этим повредил своему внутреннему развитию. Могучее дерево не выросло в один красивый, тенистый ствол, на котором висят плоды и сучья, а напротив, достигнув умеренной

высоты, оно распространилось вширь, пустило горизонтально свои бесчисленные ветви, которые хотя и небесполезны, но все-таки составляют второстепенную важность. Дидро следовало бы быть художником, а он сделался энциклопедическим ремесленником. Он не был недоучкою, но опытным работником, наделенным универсальною ловкостью своего рода. Он работал за многих, но его труд, во всяком случае, был по плечу каждому.

Может быть, нет писателя, о котором бы так много говорили и которого бы так мало знали; большинству он известен только понаслышке. Правда, это – обыкновенная участь полемических произведений, к разряду которых принадлежат почти все сочинения Дидро. Полемик уничтожает своего противника, но в то же самое время уничтожает самого себя, и оба исчезают, уступая место чему-нибудь другому. Если к этому прибавить небрежный, легко забываемый слог Дидро, то дело достаточно объяснится…

Какими словами выразить чистую прибыль этого наделавшего шуму атеизма, напечатанного во многих томах? Что сталось с «Энциклопедией», этим чудом XVIII века, Вавилонской башней просвещенной эпохи? Но к сожалению, это была не каменная башня, служившая силой и оплотом на все времена, а деревянный храм, в котором сидел философ, сжегший и истребивший немало ветхих, полуразрушенных Сорбонн. Так как это время миновало давно, то и самый храм можно разобрать и употребить на дрова. Знаменитое энциклопедическое дерево оказалось искусственным деревом и не принесло никаких плодов. Мы полагаем, что это дерево, по самому свойству, чисто механическое. Это один из тех экспериментов, посредством которых силились превратить невидимую, таинственную человеческую душу в прейскурант так называемых «способностей», «мотивов» и пр., которые составлялись с подобающим остроумием, начиная с д-ра Штурцгейма и кончая Дени Дидро или Иеремиею Бентамом, но оказывали пользу только на один день.

Тем не менее было бы ошибочно смотреть на Дидро как на исключительно механический ум, человека, слепо вертящего свое колесо на мельнице механической логики, довольного своею участью и не подозревающего существование другой. На него следует скорее смотреть как на человека, избавившего нас от этого и, благодаря своему механическому уму, доведшего все дело до кризиса. Дидро, как мы уже заметили, был от природы художник. Изредка через его механическую оболочку пробивается молниеносная мысль, свойственная поэту и пророку и которая при других условиях могла бы еще более проявлять свою силу.

Так и в художественном отношении на него следует смотреть как на одного из тех людей, которые неуклонно стремились из искусственной, узкой сферы того времени перейти в естественную, плодотворную сферу. Его драмы перестали существовать, но между тем в них заметно стремление к великим вещам. Это стремление остается при нас и старается осуществиться разными путями, даже осуществилось, и будет еще осуществляться. В его «Салонах» (критический обзор художественных выставок), написанных наскоро для Гримма и, к несчастью, о произведениях второстепенных артистов, виден верный взгляд на искусство, пламенное, не только критическое, но и творческое стремление к чему-нибудь совершенному. Благодаря их неподражаемой ясности, вследствие которой перед нами как бы рисуется вновь картина, мы можем видеть и судить о ней. Благодаря теплоте, оригинальности и художественному чутью, с которыми они написаны, их можно признать, за некоторыми исключениями подобных сочинений на немецком языке, единственными критическими статьями о живописи, достойными чтения. И здесь, как и в своих драматических опытах, Дидро является писателем, который считал необходимым во всяком произведении быть ближе к природе, подражать ей и верно передавать ее. Это глубокая, неизбежная истина, разрушающая старинное заблуждение, но в подобной форме она все-таки является только полуистиною, потому что искусство искусством, а природа природой. Но это стремление, в виде полуистины или настоящей истины, составляет в странах, знакомых с искусством, постоянную тенденцию художественного стремления. На этом основании великий современный знаток искусства и великий художник Гете перевел «Опыт о живописи» Дидро, который и можно прочитать вновь в его сочинениях.

Мы не без удовольствия должны заметить, что область искусства не была закрыта для самого Дидро. Несмотря на свое тесное заключение, он, подобно Прометею, все-таки похитил искру божественного огня. Между его бесчисленными произведениями, большая часть которых наполнена философской всякой всячиной, находятся два рассказа, которые мы почти можем назвать поэмами, – так много в них заключается поэзии. Это – «Фаталист Жак» и «Племянник Рамо». Здесь воспроизводится перед нами человеческая жизнь во Франции, отделенная от нас целым столетием, – «с высоты роскоши и изящества мы спускаемся на самую низкую ступень бесстыдства».

Оба рассказа написаны небрежно и бессвязно, но странною связью соединяются они с внутренним, бессознательным чувством художника. Докучливая трескучая острота умолкает, и вместо нее

появляется мрачный, молчаливый, дьявольски дерзкий юмор, напоминающий юмор Хогарта. Во всей французской литературе мы не можем указать на произведение, которое могло бы сравниться с этими рассказами. Лафонтен слаб перед ними, а об остроумии какого-нибудь Лабрюйера нечего и упоминать. Эти рассказы скорее походят на «Дон Кихота», – действующие лица одинаковы, но окраска другая. В первом проглядывает солнечный луч, в последнем господствует мрак ночи. Оба, впрочем, принадлежат к области бесконечного. В «Жаке» также заметна спешная работа: автор старается его окончить, не употребляя тщательной отделки на изображение лиц и действия, но бросая просто краски на полотно – маневр, который в этом случае не имел большего успеха. «Племянник Рамо» меньше предыдущего рассказа, но его можно назвать лучшим из всех произведений Дидро. Он походит на речь Сивиллы, вылившуюся из переполненного сердца, и никогда еще эфемерному литературному явлению (это собственно сатира на Палиссо) не приходилось так долго жить. По странному стечению обстоятельств это произведение в течение пятидесяти лет лежало в немецких и русских библиотеках и только в 1805 году впервые увидело свет в мастерском переводе Гете. Парижская публика познакомилась с ним в обратном переводе только в 1821 году, когда, может быть, всех тех лиц, на которых оно написано, уже не было в живых. Это – фарс-трагедия, и участь ее вполне соответствовала содержанию. Рано или поздно она должна быть переведена на английский язык, но только за это дело нужно приняться с головой, – обыкновенная паровая машина здесь недостаточна.

Здесь простимся мы с Дидро как с художником и мыслителем. Богато одаренная, неблагоприятно обставленная натура, стремления которой, задерживаемые препятствиями, могут только торжествовать при особых условиях, не может быть вполне бесплодною. В нравственном отношении как человек он представляет явление знакомое: как во всех людях, так и в нем в особенности теория была в тесной связи с практикой. Один умный человек заметил, что «теоретические принципы нередко бывают только дополнением (или оправданием) практического образа жизни».

Поступки Дидро не кажутся нам достойными удивления, но, взятые в целом, и они заслуживают оправдания. Лафатер заметил в его физиономии «что-то робкое», и это замечание друзья его признавали справедливым. И действительно. Дидро был не герой. При всех своих высоких дарованиях, он был наделен женским характером. Чувствительный, пылкий, живший импульсами,

которым он старался придать форму принципов, он был сварлив, как женщина, но зато чужд мужской энергии, осторожности и силы воли. Поэтому-то он и вращался большею частью в кругу женщин или тех мужчин, которые, подобно женщинам, льстили ему и услаждали его жизнь. Поэтому-то он и отвернулся с ужасом от серьезного Жан-Жака, не понимавшего науки, созданной только для тщеславия и напоказ. Но он полагал, что истина существует для того, чтоб о ней говорить и по ней действовать.

Мы не называем Дидро трусом, но не можем назвать его также мужественным и смелым человеком – ни относительно себя, ни относительно других он не выказал особого мужества. «Все добродетели, – говорит Мейстер, – не требующие великих идей, были ему даны, но тех, которые требуют подобных идей, у него недоставало». Другими словами – он исполнял нетрудные обязанности, да, к счастью, и сама природа распорядилась создать многие из них нетрудными, и, по-видимому, не стремился особенно поддерживать и уяснять их себе, а скорее изобретать новые и легкие. Поэтому-то и понятно, что он постоянно вращался в области «чувств», «благородства сердца» и т. п. Убеждение, что добродетель прекрасна, относительно ценится недорого, но достичь ее и руководиться ею – подвиг другого рода и хвастунам, насколько мы знаем, редко удающийся. Но да будет мир над его «чувством», потому что и оно уже далеко от нас!

Дидро, как мы уже заметили, не выполнил трудных обязанностей. Да и мог ли он, «чувствительный», бороться с таким чудовищем, как страдания? И что оставалось ему делать на том пути, где нет недостатка в опасностях, как не заравнивать выбоины потоками «чувствительности» и этим способом продолжать свой путь? Но во всяком случае, он не был добровольным лицемером, – в этой великой заслуге ему нельзя отказать. И вот он перед нами со своей механической философией, страстями, деятельностью и любовными приключениями, мягким сердцем, но без истинной привязанности, по временам злой и капризный, как ребенок, в целом же неисчерпаемый клад добродушия и простоты, – и нам не остается ничего более, как принять его.

Если мы и наши читатели, с точки зрения современных требований, достаточно выяснили себе жизнь Дидро, то время, потраченное нами на этот труд, все-таки небесполезно. Разве мы не стремились это самое время соединить тесными узами с прошедшим и будущим? Разве мы не старались, насколько хватало наших сил, превратить в историю эти мемуары XVIII столетия и скрепить две нити, которые впоследствии образуют

ткань?

Если же, наконец, это событие мы перенесем в область всемирной истории и взглянем на него глазами не того или другого времени, а времени вообще, то, может быть, придем к заключению, что это событие, в сущности, не имеет особого значения. Если когда-нибудь будет подведен окончательный итог нашей европейской жизни, то все дело французской философии представит одну незаметную дробь или превратится в ничто! Увы, в то время, когда простая история и идеи «презренных евреев», варварская боевая песнь Деворы, вдохновенное пророчество Исаии продолжают жить в течение трех тысяч лет и не утрачивают своего значения, – блестящая «Энциклопедия» в какие-нибудь пятьдесят лет потеряла всякий интерес. Вот факт, – как бы его ни объясняли, – который «энциклопедист» не должен выпускать из виду. Еврейские звуки проникнуты святой мелодией, полны вечного значения и гармонии, – в звуках же энциклопедистов слышался разлад, и бренчание их умолкло, не оставив должного впечатления.

«Возвышенная и глубочайшая задача всемирной и человеческой истории, которой подчинены все другие задачи, – говорит современный мыслитель, – это борьба неверия с верой». Все эпохи, в которых преобладает вера, какой бы формы она ни была, славны, возвышают душу и плодотворны как для современников, так и для потомства. Все же эпохи, напротив, в которых безверие в какой бы то ни было форме торжествует свою победу, исчезают, если они даже сияли обманчивым светом, из глаз потомства, потому что никто не захочет изучать бесплодную науку.

Мирабо[48]

Пословица говорит: «Строящийся дом не похож на выстроенный дом». Окруженный кучей мусора и извести, лесами, рабочими и целыми облаками пыли, он перед самым внимательным зрителем, среди этой суматохи, обнаруживает только грубые зачатки будущего здания. Как справедливо это относительно всех деяний и фактов нашей жизни, как бы они там ни назывались. Как справедливо это в особенности относительно величайших деяний и величайших фактов, известных нашему миру под именем жизни так называемого оригинального человека!

Подобные люди выкроены не по обыкновенному образцу. Их будущее развитие даже невозможно приблизительно предсказать, хотя, по новизне и редкости предмета, они более других вызывают предсказание. Человек подобного рода, пока он живет на земле, «развивается из ничего в нечто» при самых сложных условиях. Он заимствует, постоянно меняя, материал для своего здания, даже самый план его, из области случая, так сказать, из области свободной воли. Этим способом он созидает свою жизнь, представляя не только для постороннего зрителя, но и для самого себя – загадку и задачу. Поэтому-то критика в этом деле и выказывает полнейшее незнание и непонимание.

Начало и развитие такой жизни походит на ларчик рыбака в арабской сказке. Неопределенный огонек показывается здесь и там, виднеются проблески гения, об окончательном образе которого не может судить ни рыбак, ни другой какой-либо человек. А между тем люди судят и заранее высказывают решения, и нетрудно себе представить, как справедливы бывают эти решения. «Взгляните на публику в театре, – говорит один из писателей, – здесь жизнь человека проходит перед ней в пять часов. Она разыгрывается на открытой сцене, при зажженных лампах, обставленная всевозможным искусством, чтоб уяснить ее смысл. А между тем, когда занавес опустится, послушайте, как критикующая публика отзывается об этом представлении». Но теперь вообразите себе, что драма длится семьдесят лет и не только стремится к ясности, но разыгрывается с препятствиями, в глубоком, непроглядном мраке, а мир или критикующая публика, занятые другим делом, только урывками смотрят на сцену. Горе тому, ответим мы, кто не может апеллировать на приговор мира. Он потерянный человек, его присуждают к тяжкому наказанию, а если и случится оправдательный приговор, то его постигает еще более тяжкое наказание: он делается пошлым, поверхностным

адвокатом собственных интересов или совершенным шарлатаном, что составляет одно из тяжких наказаний в мире.

Но дальше представьте себе, что этот человек был оригинальным человеком и его жизненную драму нельзя было измерить тремя единствами, а следовало применить к ней собственное правило. Кроме того, не забудьте, что события, в которых он принимал участие, были события грандиозные и потрясающие, из всех его судей нет ни одного, который не имел бы основания любить или ненавидеть его. Но к сожалению, мир судит поспешно и вследствие этого ложно, а естественный мрак, окружающий человека, и случайные препятствия еще более затемняют дело. Поэтому угрюмый моралист довольно разумно заметил: «Чтоб судить об оригинальном современном человеке, нужно окончательно отрешиться от суждений мира, потому что мир не прав не только в этом деле, но не может быть прав вообще во всяком подобном деле».

Мы утешаем себя тем, что мир, при обсуждении подобных дел, понемногу начинает вступать на верный путь, а постоянный анализ и проверка предшествуют этому обсуждению. Ибо прежде всего мир любит своих оригинальных людей и помнит их долгое время, нередко целые тысячелетия. Если забыть их, то что же тогда остается помнить? Могущество мира заключается в его оригинальных людях; благодаря их деяниям он мир, а не пустыня. Память и история людей, живших в нем, – вот сумма его могущества, его священного вечного достояния, благодаря которым он держится и ведет свой корабль чрез неведомые еще пространства времени. Знание, искусства, богатство мира неразрывно связаны с человеческим существованием. Да разве самая наука, в ее любопытнейших формах, не есть собственно биография; разве она не история деяний, совершенных, по милости неба, оригинальным человеком? Шар и цилиндр[49] – вот памятник и краткая история человека Архимеда, история, которая, вероятно, забудется только тогда, когда исчезнет и самый мир. О поэтах и их созданиях, о любви к ним мира мы, в наше оригинальное относительно искусства время, скажем немного или вовсе умолчим. Величайший из современных поэтов уже сказал: «Кто, как не поэт, впервые создал нам богов, низвел их на землю и нас возвысил до них?»

Другая, более глубокая заметка, также заслуживающая нашего внимания, принадлежит Жану Полю. По его словам, «в искусстве или в том, что мы называем моралью, еще прежде учения Аристотеля, были Гомер или Гомеры с их героическими подвигами». Другими словами, оригинальный человек – это истинный создатель морали. Из его произведений немало

заимствовано правил, о которых написаны целые книги и системы. Он, собственно, составляет «суть дела», – все следующее за ним только болтовня о деле, лучшее или худшее толкование его, более или менее утомительное и логическое рассуждение о нем. Заметка Жана Поля, если хорошенько вникнуть в нее, имеет, по нашему мнению, большое значение. Если б кто-нибудь вздумал создать новую систему морали, – предприятие, впрочем, в наше время ничего не обещающее, – то ни одна заметка не могла бы служить краеугольным камнем этой системе… Моисеевы заповеди были начертаны на простом небольшом камне и не снабжены никакой логикой.

Мы же, напротив, обильно снабжены логикой, – у нас есть системы морали, профессора нравственной философии и масса теорий, которые, может быть, для тех, кому они нравятся, весьма полезны. Но разве наблюдательному глазу не ясно, что правила человеческой жизни основываются не на логике? Как в настоящее время, так и издревле человек делает то, к чему он призван. Призвание это не может быть доказано логикой, потому что оно подтверждается другим и лучшим путем, именно опытом, или, другими словами, испытующим, или, как мы называем его, оригинальным человеком. Этот человек уже кое-что сделал, и мы видели, что дело его полезно и разумно, так что мы единожды навсегда признаем его таковым. Но довольно об этом.

Тот, вероятно, был сангвиником, кто обращался к Французской революции за новыми правилами жизни или искал в ней творцов и примеров нравственности. Никогда ни одно величайшее дело не было исполнено такими маленькими людьми. Двадцать пять миллионов людей, говорят строгие критики, были оторваны от занятий, привычек, комфорта и брошены на новую, громадную арену «санкюлотизма», чтоб показать, какая оригинальность заключается в них. Они в изобилии отличились фанфаронадой, кривляньем, горячкой, брожением героического отчаяния, но поразительно мало выказали того, что называется оригинальностью, творчеством, природным материалом или характером. Их героическое отчаяние, каким оно было, мы будем чтить и уважать, как новое доказательство человечности человека. Но остальное все заключалось в федерациях, празднествах братства, «статуе природы, источающей воду из своих двух сосцов» и возвышенных депутатов, пьющих ее из железной чаши. Вес и мера были изменены, месяцы получили названия Плювиоз, Термидор, Мессидор. Мадам Моро и другие, гордо разъезжая по улицам, олицетворяли собою богинь разума. А когда большинство из них было гильотинировано, Магомет-Робеспьер, с букетом в руках и в

новых черных панталонах, произнес перед Тюильрийским дворцом одну из самых напыщенных речей о высшем бытии и немало сжег эмблематического картонного хлама. Кроме этого, еще много других вещей затевали и совершали эти двадцать пять миллионов, но, за исключением героического отчаяния, которое, впрочем, в сравнении с отчаянием голландцев не казалось чудом, – все подвиги их и ограничились этим. Арена санкюлотизма была оригинальной ареной, открытой человеку еще за тысячу лет тому назад, но для них она, против ожидания, сделалась обыкновенным поприщем.

Честный Форстер, медленно умиравший от разбитого сердца в этом вулканическом хаосе террора и все еще крепко веривший в дело, хотя теперь кровавое и страшное, оно казалось ему святым. Для него он пожертвовал родиной, семейством, друзьями и жизнью. Форстер, повторяем мы, сравнивает революцию с «вулканическим извержением и новым мирозданием», но людей, действовавших и шумевших в ней, с «горстью мух». А между тем возможен вопрос: было ли это мировое извержение их делом, делом этих мух? В том-то и сила, что ни Форстер, ни какой-либо другой человек не мог видеть Французской революции, как нельзя видеть всего океана. Бедный Чарльз Лэмб жаловался, что с палубы купеческого корабля ему удалось увидеть не необъятный океан, а только незначительную часть его. Однако нужно согласиться (утверждают те же строгие критики), что примеры неистовой пошлости встречаются во Французской революции в огромной массе. Взгляните, например, на Максимилиана Робеспьера, который в течение двух лет был, так сказать, властителем Франции. Жалкая, желчная человеческая формула, лишенная ума и сердца, не наделенная ни необыкновенными дарованиями, ни чудовищными пороками, если не считать за это тщеславие, коварство, какую-то болезненную суровость, которую многие принимают за силу. Одним словом – жалкая личность, с очками на носу, созданная быть строгим методистом, – вот человек, которому, по прихоти судьбы, суждено было повелевать «первой нацией в мире» и которого толпа встречала радостными криками. Революционная буря выкинула этого жалкого, трагического человека на его собственную быструю гибель и продолжительное изумление целого мира!

Так рассуждают строгие критики Французской революции, с которыми мы не вступаем в спор, а только заметим, что Французская революция действительно произвела на свет оригинальных людей, но среди двадцатипятимиллионного населения не более одной или двух единиц. Некоторые, согласно настоящему знакомству с делом, уже насчитывают трех:

Наполеона, Дантона и Мирабо. Появятся ли другие герои и какого рода они будут, когда революционным счетам подведется окончательный итог, – сказать нельзя. А пока пусть мир будет благодарен и за этих трех, да он и действительно благодарен, потому что безгранично любит оригинальных людей, даже и подозрительной оригинальности, вполне понимая, как редки они. Поэтому-то нам и интересно видеть, как на этих трех – сомнительна или нет их оригинальность – повторяется старый процесс: каким способом доискаться их верного изображения. Новое поколение, избавившееся в некоторой степени от галлюцинаций, воспалительного состояния и естественной панической горячки, преследовавших прежнее поколение, начинает постепенно анализировать и взвешивать то, чем гнушались и что проклинали предшественники. Ибо, как говорит наша пословица, мусор исчез, пыль улеглась, и выстроенный дом на глазах у всех.

О Наполеоне Бонапарте, окруженном при жизни бюллетенями, собственными прокламациями, осуществлявшимися в артиллерии и громе битв, достаточно громких, чтоб потрясти самого глухого человека, сидевшего в отдаленнейшим углу Земли, а теперь породившем биографии, истории, исторические доказательства «за» и «против», – можно сказать, что он не нуждается в комментариях, – так выяснилась его личность. Без сомнения, придет время, когда поймут, какое значение заключалось в нем, как (мы заимствуем эти слова из одного американского сочинения) «человек был Божьим послом, хотя и бессознательно, и проповедовал, посреди грома пушек, великую доктрину: «Дорога открыта талантливым», орудие тому, кто умеет им управлять. Доктрину, составляющую наше последнее политическое евангелие, в котором только и может заключаться свобода. Правда, он проповедовал довольно безумно, как проповедуют обыкновенно энтузиасты и первые миссионеры. Его речь была неумелая, в ней было много напыщенной, пустой болтовни, но все-таки ясной настолько, насколько позволяло дело. Его, если угодно, можно также назвать американским пионером, рубившим непроходимые леса и боровшимся с целыми стаями волков, но при этом не воздерживавшимся от крепких спиртных напитков, излишеств и даже воровства, за которым тем не менее следует мирный сеятель и, снимая жатву, благословляет его имя». От «воплощенного Молоха», как некогда любили называть Наполеона, до той спокойной речи – прогресс значительный.

Еще любопытнее и не лишен даже некоторого пафоса тот факт, как грубый «сын Земли» Дантон из кровавого мрака

отвратительной жестокости выступает на сцену при более мягком освещении и постепенно превращается из людоеда в настоящего человека. Земля чувствует, что у нее есть «сын», да и в самом деле лучше обладать какою-нибудь действительностью, чем лицемерием и формулою. В человеке, который честно относится к делу и всю душу влагает в свои речи и действия, таились какие-нибудь силы. Сам сатана, по словам Данте, субъект, достойный похвалы, в сравнении с теми существами (так сильно расплодившимися в наше время), которые «не возмущались и не подчинялись», а только думали о своем собственном маленьком «я». Бесхарактерные, благонамеренные на вид люди, которые в Дантовом Аде присуждены к страшному наказанию. «Они не надеются умереть», но, погрузившись в оцепенелую жизнь – смерть, терзаемые насекомыми, будут вечно дремать и страдать, – «ненавистные Богу и противникам Бога».

Если Бонапарт был «воином демократии», непобедимым, пока он оставался верен этому призванию, то Дантона мы должны назвать «пропавшим ребенком», нестроевым агитатором и титаном демократии, у которого не было войска, дисциплины, но который, уже по самой природе своей, не признавал никаких законов. Из «Мемуаров» Гара и других видно, что в этих пламенных глазах горело искреннее чувство и им были знакомы слезы. Широкие грубые черты выражали симпатичность, а в груди Антея билось горячее сердце. «Вы слышите не вестовую пушку, – кричал он испуганным гражданам, когда пруссаки стояли уже в Вердене, – это ответный удар против наших врагов!» Больше ничего не остается делать. Бедный «Мирабо санкюлотов», какая миссия! И она не могла иначе совершиться и совершилась. А между тем в этом чувстве, если оно только искренно вылилось из дикого сердца, более добродетели, чем в целой жизни беспорочных фарисеев и респектабельностей, заботящихся только о собственной репутации и в ужасе не спускающих глаз с букв иногда неизбежного закона: «Пусть имя мое будет обесчещено, только бы дело мое было славно».

Мы предсказываем, что мало-помалу друг человечества и в Дантоне отыщет историческое значение. Он был грубо вытесанный гигант, но не людоед. Речи и действия его были гигантские, «его голос потрясал своды купола», и пруссаки в беспорядке бежали из пределов Франции. Лицемерие было чуждо ему, даже к подкупам и другим денежным грехам он относился с каким-то чистосердечием. Во всех его действиях проглядывала искренность – корень всех других качеств. Этот человек, с широким взглядом на вещи и которого немногие вещи устрашали, настойчиво шедший вперед и боровшийся в самое

тяжелое время, теперь несет наказание, имя его забросано грязью. Но мало-помалу и с него снимается грязь, и если наступит время, когда окончательно спадет эта кора, то почему тогда не иметь ему значение для людей?

История подобных людей – это трагедия, как и все человеческие истории. Грубые Дантоны, в качестве земледельцев, может быть, и в настоящее время взрывают плугом землю и спокойно снимают жатву в Арси-сюр-Об, между тем как этот Дантон!.. Его жизнь – это нерифмованная трагедия, кровавая и мрачная (во вкусе старинных драматургов), проникнутая трагическим элементом и вызывающая сочувствие и ужас. В более спокойное время, может быть, счастливый зритель издалека и сквозь мрак веков протянет ему руку и скажет: «Несчастный брат, ты боролся, как лев, но у тебя не хватило силы. Ты пламенел и уносился в высь и был раздавлен преступлением и несчастьем, потому что ты также был человек!» Говорят, что в настоящее время в Париже уже написана биография Дантона, но издатель выжидает, пока «успокоится общественное мнение». Пусть он скорее выпустит в свет свое издание и расскажет нам, что знает, если действительно он что-нибудь знает. Жизнь замечательных людей должна быть оценена по достоинству и верно понята, а общественному мнению следует, по возможности, примириться с нею.

Но самая любопытная и даровитая личность этого триумвирата – это, без сомнения, не Мирабо санкюлотов, а сам Мирабо. Натура более изящная, чем Наполеон и Дантон, по гению равная Наполеону, но отличающаяся большею гуманностью и поэтичностью. Наделенный симпатичным характером, он возбуждает глубокое сочувствие каждого человека.

Относительно его также любопытно проследить постепенный переход из мрака к свету, ложных взглядов и понятий ко всеоживляющей правде. Наблюдать все увеличивающееся любопытство мира к этому человеку, выражающееся в книгах, постоянно являющихся с новыми доказательствами. В них прежнее мнение отодвигается на задний план, возбуждается другое, которое также подвергается пересмотру, – пока наконец, как надеемся мы, не явится на свет истина, хотя приблизительная, и тем не разрешится вопрос.

Мирабо один из тех людей, память о которых еще долгое время не умрет в мире, в противоположность многим якобы великим людям, о которых память давным-давно умерла и схоронена. При жизни и даже в последнюю блестящую эпоху ее Мирабо, с некоторым чувством робкого уважения, писал нашему Вильберфорсу, но, насколько мы знаем, не получил ответа. Питт

был первым министром, затем Фокс, после того опять Питт – и опять Фокс. Таким образом, любезно чередуясь, они производили шум, отдававшийся в клубах, на званых обедах, выборах и в руководящих статьях и наполнявший весь мир. Казалось, что они были Ормуздом и Ариманом политического мира, только трудно было различить, кто из них был тот и другой? А теперь!

Подобная разница, повторяем мы еще раз, существует между оригинальным человеком, будь его оригинальность еще сомнительнее вдвое, и искусной, хитро придуманной парламентской мельницей. Разница велика и одна из тех, в силу которых будущность представляет резкий контраст с настоящим временем. Ничто не может быть важнее мельницы, пока она в ходу, в особенности для людей, намеревающихся перемолоть в ней свою муку. Но лишь только мука перемолота, – каким образом будет еще продолжаться память о мельнице? Теперь ни для кого она не имеет значения, даже для того, который молол. Когда вся суматоха, произведенная мельницей, уляжется, перед нами снова выступает на первый план память об оригинальном человеке и его деятельности как о нашем собрате. Потому, что его речи, поступки и страдания, даже самые пороки и преступление представляют род лакомого блюда, на которое все люди предъявляют свои права.

Относительно Пеше, Шоссара, Гассикура и всех прежних биографов Мирабо остается сказать немногое. Все их биографии полны ошибок, а побочный сын в своей книге даже не может никак отделаться от них. Впрочем, не как воспоминание соответственно о Мирабо, но как воспоминание об отношении мира к нему они хоть на время могут иметь некоторое значение. От бедного Пеше и других подобных тружеников мы вправе ожидать только одного усердия к труду, но не более.

«Воспоминания о Мирабо» Этьена Дюмона с первого взгляда как будто дают ясное понятие о человеке, но вскоре замечаешь в них совершенно иное направление. Впрочем, книга его, во всяком случае, составляет шаг вперед. Во-первых, все европейские журналы встретили ее громкими похвалами, что заставило публику вновь обратить внимание на предмет, затронутый ею, и таким образом, несмотря на прежние и новые промахи, сведения о нем значительно увеличились. Кроме того, и самая книга сделала кое-что. Мелкие подробности, собранные о жизни великого француза маленьким женевцем, были прочитаны и разобраны с должным вниманием. Дюмон правдив и добросовестен, его изложение отличается художественной, непринужденной ясностью. Правда, что замашка Дюмона смотреть на Мирабо как на предмет, приводимый им, Дюмоном, в

движение, составляет курьез, который едва ли когда встречался в психологии. Но еще удивительнее, как рецензенты, от которых бы следовало ожидать чего-нибудь лучшего, пришли к тому же убеждению и вконец испортили дело. Казалось, как будто они все задались намерением, елико возможно, обкорнать великого человека и (к нашему утешению) сделать его таким же маленьким, как и все остальные люди. И действительно, выражаясь фигурально, этот необъятный Мирабо, слава которого гремела на весь мир, был не что иное, как громадная жестяная труба, в которую трубил маленький Дюмон и тем поднимал шум!

Некоторые люди и рецензенты имеют странное понятие о человеке. Пусть ничтожнейший из смертных, ныне живущих, постарается придумать в своей голове существование подобного рода и потом сказать: «Похоже ли это на правду! Жизнь и поступки человека, основанные на принципе подобной трубы, – мы не говорим уже о жизни и деяниях государственных людей или властителей мира», а приводим в пример только жизнь беднейшего ремесленника или продавца ленточек, – были бы величайшим чудом, о котором когда-либо рассказывала историю. О, Дюмон! Когда старик Кристофер клал последний камень в купол собора Св. Павла, разве он сам принес этот камень? Нет, то был работник с дюжею спиной, преданный завидному или незавидному забвению и о котором никто не упоминает.

Но при этом мы все-таки должны заметить, что Дюмон менее достоин порицания, чем его рецензенты. Добряк подробно рассказывает, какую остроумную работу поденщика и носильщика исполнял он для Мирабо, при этом приводит много анекдотов, которым мир рад, не щадит ничего и, надеемся, ничего не преувеличивает. Вот все, что он сделал и что сделать имел неоспоримое право и призвание. А что ему не удалось понять Мирабо, так вина его только в том, что он не что иное, как Дюмон. Сила, посредством которой Мирабо заставлял этих респектабельных Дюмонов, поденщиков и даже искусных художников работать для него, повелевал ими одним взглядом, принуждал их прислуживать ему с усердием верноподданных, – вот царская сила, жившая в нем и уже сама по себе достаточная, чтоб сделать его вожаком людей. Поэтому не упрекайте добряка Дюмона. Его ошибки простительны, а достоинства его труда для нас неоспоримы. Можно бы было упрекнуть общественных учителей и журналистов, что они позаимствовали его выводы и его понятия о жизни и громко выкрикивали их, но простим им и перейдем лучше на другую сторону. Подобные вещи служат обыкновенным испытанием общественного терпения, которому небольшая дисциплина необходима; впрочем, они редко или даже

никогда не наносят продолжительного вреда.

Вслед за «Воспоминаниями Дюмона» появилась биография, составленная Лукою Монтиньи, побочным сыном Мирабо. Первый том вышел в 1834 году, затем в непродолжительном времени были изданы остальные тома, и теперь перед нами лежит труд, состоящий из восьми томов, относительно которого мы и намерены поговорить.

На наш взгляд, этот труд представляется чудовищной каменоломней или целой горой из восьми слоев, в которой скрыты драгоценные вещи, а кто пожелает искать, тот найдет их. Мы говорим – драгоценные вещи потому, что Монтиньи имел свободный доступ в семейный архив и мог воспользоваться целою массой секретных бумаг и документов! Он с сыновним усердием работал в них многие годы и перерыл все потаенные углы. И как легко было ему познакомить и нас с ними! Но он не делает этого. Он вытаскивает на свет старые и новые материалы, подносит нам то драгоценные частные документы, то жалкую груду памфлетов и парламентской болтовни, которую весьма легко найти и в другом месте и которая даже излишня. Все это он перепутывает и в беспорядке бросает в свои фуры (число их достаточно), так что читатель, при виде этой бестолковой массы, не знает, что и делать.

Даже в самом труде его, который он употребил на размещение материалов, отсутствует всякий порядок, в целом вся книга вышла так неудобоварима, что читатель только в поте лица своего может насладиться ею. Ее также можно назвать рудником, искусственно-природным серебряным рудником. Жилы превосходной серебряной руды тянутся здесь и там, но добыть их приходится с большими усилиями. Лишь только натолкнешься на одну и проследишь ее, как вдруг и именно в то время, когда, по-видимому, все обещало богатую добычу, она исчезает, – как это нередко случается в подобных копях, – в груде камней неизвестно куда. Книга Монтиньи не так составлена, как бы следовало, но иначе она и не могла быть составлена. Большую плохую книгу легче написать, чем небольшую, но хорошую, и бедному книгопродавцу нет другого способа измерять и платить за труд, как по аршинам. Даже ткач приходит и говорит: «Я выткал не столько-то аршин материи, а столько-то из такой-то материи», атласа или грубого холста. Впрочем, цель Монтиньи была прекрасная. Разве мы не должны радоваться, владея такими серебряными жилами? Разве мы не можем принять их в грубом виде и благодарить за то, что они не разрушаемы, так как они уже напечатаны? Мир может быть благодарен Монтиньи и вместе с тем знать, за что он ему благодарен. В этих томах не найдешь

биографии Мирабо, но зато встретишь богатый материал для будущей. Если б все эти восемь томов можно было сжать в один том, то этот том, вероятно, был бы настоящим и правдивым! Предприятие это могло бы быть полезным и нетрудным, и мы надеемся, что оно когда-нибудь осуществится.

Тем не менее автор настоящего очерка намерен кое-что выбрать из этой книги. Он уже «пробуравил» ее во многих направлениях и хорошо знает, что в ней заключается, хотя не всегда может извлечь свою находку. Поэтому, если не будут постоянно делаться хорошие извлечения, то прошу не обвинять в том Монтиньи. Но так или иначе, а мы намереваемся представить очерк жизни Мирабо, изобразить условия, окружавшие его в мире, поступки и действия вследствие этих условий и, наконец, показать, как мир и он, общими силами, создали вещь, которую мы называем жизнью Мирабо. Крайне неполон будет этот очерк, но зато, надеемся, добросовестнее и правдивее биографических словарей и обычного людского толка. Проверить сложившееся понятие о Мирабо, подтвердить или опровергнуть его – вот задача нашего труда.

Если взвесить все отрывочные суждения, известные нам в печати или по рассказам об этом человеке, то покажется странным, какой мрак еще окружает простые факты его внешней жизни. Но мы, по обыкновению, будем, большею частью, пропускать эти суждения. Неопределенный «плебисцит», приговор темного люда, составленный из бесчисленного множества громких и пустых «да» и «нет», собственно, не имеет никакого значения и, кроме звука, ничего не оставляет, потому что все «плебисциты» нуждаются в основательной проверке. Но к делу.

Лучшее достоинство этих восьми томов заключается в сведениях, сообщаемых Монтиньи об отце Мирабо, его родне, как находившейся тогда в живых, так и умершей. Его отец, как известно, был Виктор Рикетти, маркиз Мирабо, названный и называвший сам себя «другом человечества» – титул, который в наши дни не предвещал бы ему ничего хорошего. Поэтому никто не удивлялся, если слышал, что этот друг человечества был врагом почти каждого человека, с которым он имел дело, начиная с домашнего очага и кончая кружком знакомых, и только вне их чувствовал себя способным любить людей.

«Старый лицемер!» – воскликнут многие, но не мы. Увы, гораздо лучше любить людей, когда они существуют только на бумаге или в нашем воображении, нежели любить Джека и Китти, которые стоят перед вами, облеченные в плоть и кровь, голодные, загораживая вам дорогу своими костлявыми локтями, преследуя своим аппетитом, злобой и заявляя свою волю. Понятно, что

старику Мирабо было крайне трудно уживаться со своими собратьями-людьми, а потому он нередко делался брюзгливым, капризным и взбалмошным чудаком. Тем не менее и в этом отношении многое подлежит проверке. Монтиньи, если внимательно проследить за ним, не упустил этого из виду. Недурно бы было, если б он все эти частные письма, семейные документы, которых, по его словам, он мог бы набрать на тридцать томов, напечатал отдельно, собственно для себя, разместив их в хронологическом порядке и снабдив небольшими объяснительными примечаниями. Итак, нам остается одно средство – рыться во всех этих материалах и просеивать их. К счастью, старик Мирабо в праздное время, которого у него было немало, привел в порядок «неизданные мемуары» о своем отце и предках, а юный Мирабо, также в свободную минуту, в замке Иф, составил из них весьма удобочитаемые записки. С помощью последних нам и нетрудно будет ориентироваться.

Мирабо прежде прозывались «Рикетти» – слово, составленное из испорченного итальянского слова Арригетти. Они вышли из Флоренции, откуда были выгнаны в 1267 году, во время борьбы гвельфов и гибеллинов, борьбы в то бурное время весьма нередкой. Хронолог мог бы при этом заметить, что Данте Алигьери был двухлетним ребенком в то время, когда Арригетти изгонялись из города, а народ говорил: «Ушли эти негодяи, ушли наши мучители». Ребенок, вероятно, с любопытством прислушивался к этим словам. Вырастет он, и ему придется покинуть родину и узнать, каков наш мир. Изгнание не убьет его поэтической натуры – она бессмертна, – но омрачит его характер, придаст ему древнееврейскую суровость и низведет его в царство теней и в вечность, где он и обретет свою родину. Таким образом, Арригетти, – вероятно, с чисто лангобардским негодованием, – перешли Альпы, сделались французами Рикетти и, между прочими вещами, произвели на свет и настоящий очерк.

Род Рикетти, как уже замечено выше, был знаменитый род, да вообще, если мы внимательно проследим это обстоятельство, предки большинства знаменитых людей были также знаменитые или по крайней мере замечательные люди. Воклюзский источник, несущийся с быстротой реки, может быть, уже долгое время был подземной рекой, пока не нашел себе выхода.

Может быть, не всегда и нечасто случается, что не даровитый член семейств делается знаменитым человеком, а тот, кому благоприятствует счастье. Так в этом отношении, как и всюду, богата природа, эта могучая мать, сыплющая с одного дуба корм для свиней, корм, который иначе мог превратить бы весь мир в дубовый лес. И действительно, не будь присуща «немая сила»

природе, что было бы из нее, если б она вздумала заговорить и высказываться? Что было бы, если б под этою поверхностью, на которой беснуются разного рода болтуны, хвастуны и громкие ораторы, не было бы слоя молчаливых героических людей, трудящихся с непоколебимой энергией и даже шепотом не намекающих на нее!

Семья Рикетти в некотором роде имела сходство с одной британской семьей, в ней также не было глупцов, но вместе с тем она мало чувствовала охоты производить и негодяев. В Провансе эта семья пустила корни и принесла сочные южные плоды. Ряд беспокойных, бурных людей, в жилах которых бушевала дикая кровь и над которыми как будто тяготел рок, «подобно роду Атрея», как любил выражаться Мирабо, – что и действительно было, потому что дикая кровь уже сама по себе была роком. Как долго Рикетти бушевали во Флоренции или в другом месте, история не знает. По крайней мере в Провансе в течение пяти столетий их семья не оставалась без человека, который своими поступками и действиями не заявил бы себя истым Рикетти. Это были люди, острые на язык, всегда готовые драться, решительные и отважные, дерзкие и упрямые, которым нередко казался тесен мир, поступки их, наконец, возбуждали ропот, и мирные граждане находили, что это не в порядке вещей.

Один из Рикетти, вследствие клятвенного обещания морю, как гласит предание, сковал две горы вместе. «Железную цепь еще и теперь можно видеть у Мустье; она протянута от одной горы к другой, а посредине ее прикреплена громадная звезда с пятью лучами». Событие это относится к 1390 году. Представьте себе кузнецов за подобной работой!

Город Мустье находится в Провансе, департаменте Нижних Альп. Гремит ли до сих пор цепь Рикетти, колеблется ли она лениво от ветра со своей звездой из пяти лучей или служит ненадежным убежищем воробьям – этого мы не знаем. Может быть, во время революции, когда возгорелась ненависть к дворянству и пробудилась страсть к железу, она была снята и перекована в оружие. Побочный сын, охотник до мелочей, мог бы нам разъяснить это обстоятельство, но, к сожалению, молчит. Что в Провансе в то время строились госпитали и монастыри, начиная с картезианских вплоть до иезуитских, мы не считаем нужным упоминать, но заметим только, что все это происходило при самом деятельном участии Рикетти. Могла ли быть ссора без участия Рикетти? Они дрались из-за выгод, вознаграждения за понесенный убыток, но вернее всего – любви к искусству.

Впоследствии они поселились в Марселе (тогдашней французской Венеции), сделались торгующими дворянами и

усердно занялись своим промыслом. Семейные биографы, впрочем, не преминули заметить, что это занятие было в венецианском вкусе и не заключало в себе ничего неблагородного. На этом основании один из предков Рикетти, острый на язык, когда епископ назвал его «Жаном де Рикетти, марсельским купцом», ответил: «Я торгую здесь правосудием (в то время он занимал должность консула, предоставленную только дворянам) точно так же, как епископ торгует святой водой».

Но во всяком случае, острые на язык Рикетти постепенно делались значительными торговцами, приобрели себе замки, красовавшиеся за городом, на зеленых холмах, завели громадные складочные магазины, накупили земель, деревень и, наконец, замок Мирабо на берегу Дюранса, стоявший на крутой скале, обвеваемой северным ветром. Большим подспорьем, по словам старика маркиза, было для Рикетти, что они умели выбирать себе умных и энергичных жен, вследствие чего поддерживалось и улучшалось самое поколение. Одна из их бабок, которую помнил еще сам маркиз, говоря о вырождении современного ей поколения, обыкновенно замечала: «Да разве вы мужчины, вы – только самцы. Мы, женщины, в наше время носили пистолеты за поясом и умели действовать ими». Или, например, полюбуйтесь, как г-жа Мирабо входит в церковь. Одна из дам, не желая уступить почетного места, загораживает ей дорогу, и г-жа Мирабо дает ей пощечину, говоря: «Здесь, как в армии, багаж следует позади». Так крепла и развивалась семья Рикетти, совершая геройские подвиги на своем тесном поприще и выжидая более широкой арены.

Когда они втерлись ко двору и поле битвы перенесли в Версаль, где красовался великий монарх, окруженный женщинами и льстецами, деятельности Мирабо представился более широкий простор. Военная карьера была для них открыта, но это была не единственная и не главная карьера. Они знали, что на другом поприще валятся золотые яблоки, а на этом придется подбирать одни только свинцовые пули. Взгляните, например, на Брюно, графа Мирабо, как он ведет себя. Он походит на носорога, на которого надели хомут и впрягли в экипаж, а его страшный рог украсили целым кустом лилий. Однажды он гнался за «голубым человеком» (род докучливого камер-лакея в Версале) до самых дверей королевского кабинета. Разгневанный король приказал герцогу де Лафельяду посадить Мирабо под арест. Мирабо отказался повиноваться, он вовсе не желал подвергаться наказанию, что проучил дерзкого лакея. Он во что бы то ни стало решился явиться к королевскому столу, пусть сам король прикажет его арестовать. И действительно, он

явился к обеду. Король спросил герцога, почему он не исполнил его приказание. Герцог принужден был объяснить все дело, и король ласково, но величаво заметил: «Мы уже давно знаем, что он сумасшедший, оставьте его в покое», – и носорог Брюно пошел своей дорогой.

Незадолго до появления на свет нашего старика маркиза род Рикетти готов был угаснуть. Жан-Антуан, известный впоследствии под именем «Серебряного Воротника», во время своей молодости участвовал во многих сражениях и однажды в один час получил двадцать семь ран. Более гордого, справедливого и горячего человека не представит ни одна биография. Он бросал в реку Дюранс сборщиков податей и акцизных чиновников (хотя в других отношениях был систематический человек), когда их требования были несправедливы. Подобной короткой расправой он выжил из своих сел и имений всевозможных адвокатов. Кроме того, он разводил виноградники и помогал крестьянам. Возвращаясь с войны (по рассказам старожилов), он проезжал через Францию с громадной свитой и одним взглядом наводил страх на содержателей гостиниц, раболепно спешивших исполнять все его приказания. При этом он пил много, хотя никто не замечал, чтоб вино производило на него действие. Он был высокий, стройный мужчина, сильный умом и телом, «правая рука» Вандома во всех походах. Однажды Вандом представил его «Людовику Великому», восхваляя его храбрость, но взбалмошный Рикетти испортил все дело. Подняв свою израненную голову, он возразил: «Да, государь, если б я не сражался, а держался двора и делал бы подарки какой-нибудь шлюхе, то, вероятно, более выиграл бы в жизни и не получил бы столько ран». Великий король, «с головы до пят король», мгновенно переменил разговор.

Но читателю не мешает еще взглянуть на ту битву, где наш герой получил двадцать семь бесполезных ран. «Битва при Казано» для большинства из нас дело совершенно темное, да и память о принце Евгении и Вандоме постепенно исчезает, как исчезает память о всех людях и битвах. Но, странным образом, следующая историческая картинка не лишена некоторого, хотя временного, интереса.

«Мой дед предвидел этот маневр (это рассказывает граф, а не маркиз Мирабо; принц Евгений занял мост, который защищал дед), но он избег грубой ошибки, случившейся при Мальплаке и Фонтенуа, и не напал на такую сильную колонну, быстро продвигавшуюся вперед, напираемую своим арьергардом. Дав ей время приблизиться, он поднимает на ноги свой отряд, прилегший на землю, и стремительно атакует неприятеля во

фланге, разъединяет его и в беспорядке гонит обратно через мост. Поправив, таким образом, дело, он снова занимает свою прежнюю позицию на мосту. Тем прикрывает свой отряд от убийственного огня неприятельской артиллерии, расположившейся на другом берегу реки и наносившей ему, во время боя, значительный вред. Вандом, полным галопом, спешит к атаке, но находит, что она уже кончена, а весь отряд преспокойно улегся на землю, только виднеется одна высокая фигура полковника. На приказание его также прилечь, чтоб не быть подстреленным неприятелем, верный слуга отвечает: «Никогда без нужды я не подвергну себя опасности; мой долг быть здесь, но у вас, монсеньор, нет этого долга. Я отвечаю за позицию, но уезжайте, иначе я сдам ее». Но Вандом, именем короля, приказывает ему лечь. «Убирайтесь вы и с вашим королем, я исполняю свой долг!» – И великодушный Вандом принужден был уступить.

Вскоре после этого моему деду раздробило руку. Он перевязал ее носовым платком и не оставил своей позиции, потому что ожидал новой атаки. Когда же неприятель атаковал его, он схватил в руки секиру, повторил прежний маневр и снова погнал врага через мост. В то самое мгновение, когда, считая дело поконченным, он отвел свое войско и приводил его в порядок, пуля ударила ему в шею и повредила сухую жилу. Он упал на мост, солдаты пришли в замешательство и обратились в бегство. Монтольe, мальтийский рыцарь, его родственник, также раненный подле него, разорвал свою рубашку, чтоб остановить ему кровь, но от собственной раны лишился чувств. Старик сержант Лапрери просил полкового адъютанта Годена помочь ему перенести раненого полковника с моста, но тот отнекивался, говоря, что полковник уже мертв, так что добряк Лапрери успел только прикрыть голову полковника походным котлом и пустился бежать. Неприятель, пользуясь беспорядком, хлынул вслед за ним, а за пехотой уже по пятам следовала кавалерия. Когда Вандом увидел, что линия прорвана, неприятель укрепился на другом берегу реки и, следовательно, мост взят, то вскричал: «Ах, верно, Мирабо убит!» – вот вечно памятная и лучшая для нас похвала!»

Как близок был в эту минуту конец всему роду Мирабо, как без жалкого походного котла не только бы не было настоящего очерка, но и Французской революции, да и самая Европа, может быть, имела бы другой вид – вот вопросы, над которыми может призадуматься человек, любящий подобного рода вопросы. Но кроме этого, он без особых усилий может размыслить еще о том, что не только Французская революция и настоящий очерк, но и все революции, очерки и деяния, как бы они там ни назывались,

великие или ничтожные, совершившиеся в этом мире, нередко зависят, во время их развития, от мелочей, каких-нибудь походных котлов, только не все мы замечаем это. Так загадочно историческое развитие, так невыполнима теория причин и действий и неудачны все человеческие вычисления! Какие узенькие мосты случая, зияющие и поглощающие людей вековые бездны перешел ты, читатель (существо первой важности), со времен Адама и до наших дней, чтоб достичь здравым и невредимым настоящего положения!

Но как бы то ни было, а «Серебряный Воротник», благодаря «хирургическому чуду», снова был возвращен к жизни и, подперев свою израненную голову «серебряным воротником», долгое время еще странствовал по земле, окруженный почетом и чуждый страха. К числу его знаменитых дел, между прочим, принадлежит и то, что он произвел на свет, посредством достойного брака, Мирабо – «друга человечества», который, в свою очередь, дал жизнь Мирабо – «глотателю формул». Последний сам воздвиг себе чудный погребальный костер, который своим пламенем озарил не только судьбу древних Рикетти, но много любопытных событий, пребывавших во мраке забвения.

Может быть, ни один член семьи Рикетти не отличался такой оригинальностью, как «друг человечества», к истории которого, следуя хронологическому порядку, мы наконец пришли. Рикетти, сковывавший горы цепью и прикреплявший к ней звезду с пятью лучами, был только его первообразом. Могучий и прочный, как дуб, и такой же суковатый и трудно раскалывающийся, – так как все его волокна идут в различном направлении, – он смело мог переносить удары судьбы и возбуждать удивление целого мира. Это было существо замечательное, подозрительное, достойное любви и ненависти. Трудно поверить, чтоб среди пошлого литературного бренчания разных Гриммов с их корреспонденциями и самовосхвалениями мог существовать во Франции такой продукт природы, как друг человечества. В этом одном маркизе заключалось так много материала, что из него можно бы было сформировать целые армии философов. В то время как разглагольствуют и пишут похвальные речи разные Томасы, философствуют Морелли, морализируют Мармонтели, Дидро делаются энциклопедическими головами, а тощие Бомарше порхают на крыльях Фигаро, – старик маркиз сидит в своем углу. А между тем он был также писателем и владел таким талантом, каким со времен Монтеня едва ли кто был наделен из французских писателей. Но это ни к чему не повело, потому что его талант хранится в кабинете редкостей какого-нибудь антиквара, тогда как таланты других составляют товар, который

можно найти на всех рынках и спрос на который никогда не прекращается. Таков уж мир. Но впрочем, нам нечего упрекать его. Разве даровитый маркиз не существует для нас? Разве мы не можем пользоваться его трудами, более долговечными, чем труды какого-нибудь Томаса!

Великий Мирабо нередко говаривал, что его отец был одарен более громадными умственными способностями, чем он, а подобный отзыв уже что-нибудь значит, если даже наполовину согласиться с ним. Если под этим понимать одни умозрительные способности, то Мирабо, может быть, был прав. Если же смотреть на старика маркиза как на умозрительного мыслителя и выразителя своих идей, умевшего придавать им оригинальный колорит, то вы невольно признаете его величайшим умом своего времени, умом, возвышавшимся до поэзии. Странно сказать, но своим образом мыслей маркиз имеет отдаленное сходство с Жаном Полем и выражает его на французский лад насколько может. Тем не менее разум не есть только достояние умозрительных способностей. Главная цель разума заключается в том, что им «кое-что видят», а для достижения этой цели необходимо содействие всего человека. В старике же маркизе, напротив, выдается замкнутость, холодный, неприятный юмор, скрытая злоба и распущенность – все это вместе с гордостью и упрямством доказывает только недостаток силы. Действительное количество нашего разума – насколько верно и основательно мы понимаем суть дела, в особенности человеческого дела – зависит от нашего терпения, беспристрастия, гуманности и всякой присущей нам силы. Так как разум исходит из целого человека, – он есть свет, озаряющий всего человека. На этом-то основании и понятно: юный Мирабо с его широким, пламенным взглядом на мир, свободной, бесстрашной душой обещал быть необыкновенным человеком.

Может быть, чтоб вернее определить маркиза, следует прийти к тому заключению, что он был из породы педантов. Твердый, как металл, несимпатичный и неуступчивый, он проникнут неимоверной гордостью, которая только прикрывала, а не подавляла его громадное тщеславие. К этому присоединялось еще высокомерие, проглядывавшее в речах, обращении и сообщавшееся его идеям, принципам нравственности, словом – всему его существу. Надменный, с суровостью в лице, затаив злобу и гнев, он с каким-то презрительным снисхождением обращался с миром и человечеством, но чаще всего выразительно молчал, сжав губы и слегка раздув ноздри. Вот перед нами педантизм, но педантизм при новых, более интересных условиях, доведенный при этом до крайнего совершенства.

Да и мог ли маркиз Мирабо быть обыкновенным педантом? Его поприще не кабинет с греческими рукописями, а громадный мир и дружба к человечеству. Разве в его благородных жилах не течет кровь всех Мирабо? И он мог совершить кое-что, чтоб возвысить свой род, а между тем ему ясно, что род его падает… Мирабо и в особенности маркиз явились в дурное время. От него не могло укрыться, что дворянство мельчает и близится к окончательному разрушению. Оно отличается не геройскими поступками и действиями, а низкопоклонством, прислужничеством и пронырством, добивается теплых местечек, мечтает о нарядах и экипажах… А между тем налоги увеличиваются, любовницы гордо восседают на тронах под балдахином, нежась на мягких, роскошных подушках. Двадцать пять миллионов людей, уже давно лишенных всякого знания, добродетели, счастья и наличных денег, начинают чувствовать недостаток в самых необходимых жизненных потребностях. Вследствие волчьего аппетита, которым наградила их природа, они вовсе не желают умереть с голоду. Все близится к хаосу, и никто не принимает этого к сердцу. Существует один человек, который может задержать или отвратить катастрофу, если б он был призван на помощь государством, – и это маркиз Мирабо. Его гордая, древняя кровь, героическая любовь к справедливости, сила характера, честность и глубокий ум (стоит только послушать его, чтоб признать в нем гениального человека) – все это, при тогдашних запутанных обстоятельствах, давало ему полное право на государственную роль. По временам подобная мысль мелькает в голове маркиза. Но увы! Разве гордый Мирабо может унизиться перед какою-нибудь Помпадур? Разве может друг человечества облечься в цвет «невыразимой» женщины с надеждой выиграть победу? Нет, не покровительством подобной личности хочет Мирабо достичь звания первого министра, но он только тогда выйдет из своего бездействия, когда Франция, в дни нужд, призовет его на помощь. Но Франция не зовет его, и он продолжает идти своей прежней дорогой.

Маркиз Мирабо, как мы уже упоминали, пробовал свои силы в литературе и при этом выказал замечательный талант, но не имел успеха. Его знаменем в ту эпоху мрака и упадка была политическая экономия и известный Кене, которого он называл «учителем». Вокруг этого учителя, место которого впоследствии заступил сам маркиз, собирались он и другие поклонники, издавали книги, трактаты, журналы, действовали словом и делом, чтоб заснувший мир наконец открыл свой слух для спасения. Но мир по-прежнему был глух. Напрасно проповедовали тогдашние апостолы и надрывалась

периодическая литература. Напрасно проповедовал сам Мирабо чуть не в каждом номере своего «Друга народа», составляя, таким образом, целые тома действительно замечательного красноречия. Маркиз Мирабо высказывал неоспоримые идеи, а при этом еще его слог! И действительно, его слог один из редких слогов по богатству оригинальности, художественности, образности и силе, но до такой степени щеголяет метафорами, странными оборотами и сатирическими выходками, что у французского ума недоставало слуха. Хорошее блюдо, но слишком грубое для младенцев!

«Друг человечества» встретил горячих приверженцев чуть не на всей земле. Ему воскуряли фимиам не только маркизы, но короли и князья, вследствие чего еще более увеличивались его гордость и негодование. Однако в своем отечестве, при его миллионном населении, где всякий плясал по своей дудке, он не в силах был проложить дороги. Он только тогда мог бы обратить на себя внимание, если б, вместо дела правды и добра, выкинул какую-нибудь чудовищную штуку, на которую люди обыкновенно сбегаются со всех сторон.

Но разве путем прессы нельзя проложить дороги в первые министры? Положение французских государственных людей так же непрочно и шатко, как и все другое. Ветреная публика беснуется из-за Палиссо и его комедии «Философы», музыки Глюка или Пичини, не предчувствуя приближающегося взрыва. Друг человечества, сожми свои губы и молча жди, как древняя скала. Львиная душа маркиза вняла внутреннему голосу и не изменила своей твердости. В его затаенном негодовании заметна некоторая доля благочестия, – это род святого негодования. Маркиз, несмотря на свое знакомство с «Энциклопедией», не пренебрегал чтением более священных книг, верил в бытие Бога, но только не имевшего ничего общего с французским «высшим бытием». Он придерживается – или старается показать, что придерживается – какого-то разжиженного католицизма. Понимает его по-своему и возводит взор к небу, представляя из себя в этом положении преоригинальную фигуру. По-видимому, весь мир походит на какую-то путаницу, которую не привести в порядок никакому другу человечества. Предоставим миру идти своей дорогой – пусть он близится к страшной мрачной бездне, и пожелаем только одного, чтоб эта бездна была не бездонная.

Но как шли дела в семействе маркиза? Вероятно, друг человечества был здесь на своем месте и в силу своей власти мог делать все, что заблагорассудит. Но увы, его семейные дела идут не лучше, а хуже других. Некогда Мирабо отличались уменьем выбирать себе жен. Утратили ли они это уменье именно в то

время, когда наиболее нуждались в нем, – утверждать мы не можем. Заметим только, что маркиза, его жена, была не лишена характера, да и все юные Мирабо также выказывали характер в значительной степени. В доме, можно было сказать, поселился сам дьявол. В управлении людьми маркиз был несчастлив: в его семейном царстве шли постоянные неурядицы и раздоры. Он выбивался из сил, чтобы подчинить свое семейство правильности часового механизма, но все усилия его были напрасны. Он издает указы, считая их непогрешимыми, не терпящими никакого противоречия, но вместо слепого повиновения встречает оппозицию, явную или скрытую. Выговоры следуют за выговорами, а вдали уже слышатся раскаты грома и постепенно приближаются. Пораженный маркиз взывает к судьбе и небу, неизбежная гроза разражается, и молния сверкает во всем блеске отцовского самовластия. Кто был виновником этой неурядицы – трудно сказать, да и сам побочный сын слишком сдержан относительно этого обстоятельства, стесняясь, вероятно, родственников, находящихся еще в живых. Некая дама де Пальи, «красивая и ловкая швейцарка», как будто незаметно мелькает в семействе Мирабо, затем есть наушники, преданная прислуга, гордость, гнев, беспощадность, возвышенный педантизм, – словом, сам дьявол, как мы уже заметили, вмешался в дело. Одна личность Пальи уже не предвещает ничего доброго.

Кроме того, на руках у маркиза процессы, «Lettres de cachet», пустые бланки королевских указов, также в большом ходу, огорчения и неприятности со всех сторон. Зевающий парламент выслушивает его бесконечные процессы с женой к скандалу безбожного мира, а еще более к скандалу почтенного маркиза, который некогда сам вызывался служить добрым примером этому миру. В распоряжении одного маркиза, по некоторым расчетам, находилось до пятидесяти четырех «Lettres de cachet». Нередко случалось, что весь семейный очаг, за исключением Пальи и маркиза, был пуст, потому что остальные члены семьи сидели под замком, где им предоставлялась полная свобода образумиться и остепениться. Упрямы ваши сердца, юные Мирабо, но не так упрямы, как мое старое сердце! Сколько страданий стоило родительскому сердцу прибегать к мерам во вкусе Брута, знает только маркиз да небо. Не меньше выстрадало сыновнее сердце, подвергаясь этим мерам. Первый род страданий, с помощью неба, он поборол в своей душе, как подобало человеку и Мирабо, – относительно же последних нужно сказать, не напрашивался ли сам пациент на них, потому что болезнь не замедлит прекратиться, лишь только прекратится причина ее – беспримерная сыновняя непокорность. Впрочем, глядя на

подобный мир и подобное семейство, строгие меры и целые груды разводных актов, шаткое положение государственных людей, друг человечества мог смело сказать самому себе: «Разве я еще не бодрый старик, разве эти дрязги довели меня до сумасшедшего дома, ипохондрии или даже расстройства желудка?» Да, небо милосердно и никогда не взваливает непосильного бремени на человеческую спину.

Таким образом, маркиз сумел выйти из затруднительного положения, поборол все препятствия и усвоил характер самого оригинального, возвышенного педанта, который когда-либо бременил французскую почву. Две божественные миссии – он их считает божественными – соединились в нем: Рикетти или гениального человека или мирового учителя и философа, рыцаря и сурового проповедника, и в это высокое призвание он хочет заставить верить весь мир! Никогда воображение Гогарта или старика Джонсона не создавало такой юмористической фигуры, пошлой и вместе с тем возвышенной, достойной слез и смеха, какую ухитрилась создать природа из этого почтенного старика Рикетти. Ибо он все-таки обладает глубоким умом, железным характером, а веселое расположение духа, несмотря на все процессы с женой, нередко пробивается и в нем, как пробивается солнечный луч сквозь угрюмую тучу. Нам известно, что «борьба судьбы с силой воли» породила греческую трагедию, но мы до сих пор не подозревали, чтоб она могла создать трагикомический французский фарс.

Итак, маркиз перед нами. Вот его широкий, бычачий лоб, резко выдающиеся скулы, глубокий, как бы усталый, взгляд, около рта грациозная гримаса, которая, пожалуй, может сойти и за улыбку. Милости просим, суровый маркиз, мы знакомы с твоими добрыми качествами и недостатками и видим в тебе материал, хотя и беспорядочный, но все-таки на что-нибудь годный.

У маркиза есть еще брат, мальтийский рыцарь, бывший гваделупский губернатор, поседевший в боях и на трудной морской службе, а теперь приютившийся, в качестве домашнего друга, в старинном «замке Мирабо на крутых скалах». Сам маркиз обыкновенно живет в Биньоне, в другом имении, лежащем недалеко от Парижа. Кротость, доброта и правдивость этого брата составляют явную и даже благотворную противоположность с тяжелым характером маркиза, которого он утешает, защищает, усовещивает и нередко порицает. Но в сущности, он уважает в нем главу дома Рикетти и мирового учителя, как не уважает его ни один человек. Искренняя взаимная привязанность обоих братьев составляет, может быть, единственно прекрасную черту

семейства Мирабо. Между ними идет постоянная переписка. По письмам и отрывкам из них мы, по милости побочного сына, знакомимся с различными лицами, присутствуем при их фарсах и трагедиях. Он нередко позволяет человечеству заглянуть в эту странную семью, но все это делается урывками, так сказать, в потемках, еле-еле освещаемых его потайным фонарем. Но видим ли мы или не видим семью, она все-таки представляет ту же сцену, как и остальной мир, а относительно актеров и судьбы их мы должны сказать, что ни одна домашняя драма того времени не была так оригинально разыграна, как эта.

При подобных предзнаменованиях, не развившихся еще в роковые события, хотя подобное развитие было неизбежно, 9 марта 1749 года в замке Биньон, между Сеном и Немуром, Габриель Оноре увидел впервые свет. Он был пятым ребенком, вторым мальчиком и прямым наследником, так как его старший брат умер еще в колыбели. Это был великолепный, «огромный мальчик», как подтвердили почти с ужасом все соседние кумушки, в особенности велика была голова, а во рту уже прорезывались два зуба. Хотя он был создан грубо, но его неуклюжее тело уже предвещало силу, которая некогда прославит весь род Мирабо.

Чадолюбивый отец смотрел, как мы полагаем, на свое создание весело и без страха, и даже на его жестком, педантическом лице появлялась настоящая улыбка. Смейся, чадолюбивый маркиз, в будущности «таится и радость и горе», но только никому не известно, в какой мере. Здесь перед тобой новый Рикетти, посланный богами, наделенный, по-видимому, геркулесовской силой, готовый на двенадцать подвигов, которые сами по себе уже составляют лучшую радость. Взгляните, как возится и барахтается этот мальчуган. Ни один из Рикетти не барахтался так. Судьба как бы нарочно соединила в этом исполине-ребенке все дикие инстинкты и силы рода Рикетти. Он послужит финалом целому поколению, потому что последнему Рикетти предстоит совершить подвиг, который человечество не скоро забудет.

И действительно, вдумываясь в это событие, мы можем смело сказать, даже несмотря на ужас кумушек, что едва ли на всем земном шаре в это время родился подобный исполин-ребенок, как Габриель Оноре, родившийся в «замке Биньон, близ Парижа». Единственное исключение, впрочем, составляют Иоганн Вольфганг Гете, увидевший свет несколько месяцами позже Габриеля, во Франкфурте-на-Майне, и Роберт Бернс, спустя десять лет после этого вступивший в мир в бедной, жалкой землянке, едва противившейся ветру, в графстве Эйр, в Шотландии. Это

были в то время замечательные люди, посредством которых всемирная история идет вперед. Если б эти люди всегда получали истинное образование и развитие – что за мир был бы тогда! Но к сожалению, случается наоборот. И только немногие, как, например, Гете, поборют мир с его мрачными невзгодами и сияют в нем подобно солнцу. Большинство же только титанически борется с ним, падает под его ударами, так что вместо солнца мы видим только молнию, нередко пожар, одинаково гибельные.

Но что бы ни обещало будущее, а маркиз Мирабо решился дать своему сыну и наследнику такое образование, которое не получал ни один Рикетти. Так как он сам был мировым учителем, то в подобном намерении не было ничего странного, но результаты вышли плачевные. Если смотреть на это дело издали и беспристрастно, то невольно подивишься доброму маркизу и не знаешь – смеяться или плакать над ним, пока наконец не убедишься, что нужно делать и то и другое. Лучшего продукта природы, как этот «огромный Габриель», нечего было и желать. Он «бил свою няньку», но также и любил ее, как любил целый мир. В нем таились широкие желания и прихоти. Его одинаково привлекало как пошлое, так и высокое, – другими словами, в нем заключалась громадная масса жизни. Этот неотесанный медведь (оспа еще более обезобразила его) слоняется всюду, допытывается всего, забивается в самые потаенные углы, чтоб насладиться какой-нибудь книгой. На пятом году возраста он, без всякой подготовки, пишет уже довольно остроумные для таких лет сочинения, задает себе вопросы, что «мой мсье» обязан делать. Грубая, могучая, оригинальная душа, симпатичный, откровенный характер, но вместе с тем полный огня и энергии. Как смело и бойко, при своем неуклюжем теле, глядит он на мир своими светлыми глазами, – и чего нельзя сделать из него при дельном и правильном воспитании? При подобных качествах было бы лучше, если б люди предоставили его самому себе.

Но нет, научная родительская рука мешалась всюду, чтоб помочь природе. Львенку дают расти, но сажают его на цепь и надевают намордник. Он должен развиваться по известной системе, подчиниться теоретической программе и следовать в своих поступках пунктуальной точности часов. О, маркиз, о, мировой учитель, что за теория воспитания у тебя! Ни один львенок или Мирабо не могут ходить, как часы, но живут иначе. «Кто жалеет розог, тот не любит ребенка» – с одной стороны, может быть, и справедливо это изречение, но с другой, мы должны сказать, что природа живуча, она возрастет вновь, хоть вырывайте ее всевозможными заступами. С некоторой точки зрения подобная борьба маркиза с природой в высшей степени

смешна, но с высшей точки зрения она покажется слишком серьезна. Откровенная история скажет, что все худшее, находившееся во власти искусства, было сделано относительно юного Габриеля, и при этом сделано не с дурными намерениями, но с намерениями, в которых были и начатки добра. Поэтому насколько лучше было воспитание Бориса (хотя при самых неблагоприятных условиях), полученное им среди диких гор, в семье честных крестьян, чуждое всякой теории, но обставленное вечностью, невзгодами и тяжким трудом.

Впрочем, в сущности, цель и намерения маркиза отличались скорее простотой, чем сложностью. Габриель Оноре должен был сделаться таким же человеком, как и Виктор Рикетти, и достичь такого же совершенства – вот единственная мысль, которая в состоянии удовлетворить сердце нежного отца. Положим, что лучшего образца было трудно подыскать, а между тем бедный Габриель, в свою очередь, желал быть Габриелем, а не Виктором! Никогда еще у подобного черствого педанта не было такого живого и любящего ученика. А неприятности в доме тем временем увеличиваются: г-жа Пальи и верная прислуга принимают в них сильное участие. Домашний очаг омрачается, хозяйки нет; процессы, и в особенности процессы о разводе, начались. Дела принимают дурной оборот, и маркиз, тщетно потрясая своим семейным скипетром, видит, как хаос, подобный хаосу сумасшедшего дома, постепенно окружает его. Он черств, но сын и воспитанник его эластичен, любящ и почтителен.

Так, с одной стороны, принимаются жесткие меры, с другой – являются покорность, горячие слезы раскаяния, и нашему Алкиаду приходится долгое время бороться с трудом, возложенным на него судьбой, собственным демоном и Юноною Пальи.

Чтобы судить о том труде, который взял на себя бедный чадолюбивый маркиз, нужно прислушаться к его собственным отзывам о сыне, высказываемым им, в письме за письмом, своему доброму брату.

«Мальчик этот обещает сделаться превосходным субъектом. В нем много способностей, бездна остроумия, но немало и природных недостатков». – «Едва начал жить, а уж кровь бушует в нем. Упрямый, мечтательный, капризный ум, склонный козлу, хотя и не знает и не способен делать его». – «Возвышенное сердце под курточкою мальчика; инстинктивная гордость, но при этом благородство, задатки будущего бойца, готового, впрочем, уже в двенадцать лет проглотить весь мир». – «Необъяснимый тип пошлости, абсолютной плоскости и качеств грязной гусеницы, которой никогда не суждено летать». – «Ум, память, способности,

которые поражают и даже пугают вас». – «Ничтожество, сшитое из диких прихотей; существо, способное, может быть, со временем морочить простоватых женщин, но неспособное ни на волос быть мужчиною». – «Этого мальчика можно назвать уродом; до сих пор он доказал только, что из него выйдет сумасшедший, – к нему перешли все дурные качества его матери. Так как у него много учителей и все, от духовника и до последнего товарища, передают мне все о нем, то я отлично знаю натуру этого зверя и не надеюсь, чтоб из нее вышло что-нибудь путное».

Одним словом, по мнению маркиза, пороки до такой степени развились в пятнадцатилетнем юноше, что отец решился, так или иначе, выпроводить его из дома. После различных предположений он наконец остановился на институте некоего аббата Шокнара. Непокорный юноша должен отправиться в Париж и там, под ферулой нового воспитателя, исправиться и образумиться. Так как имя Мирабо – имя честное и благородное, то, чтоб не замарать его, он не должен носить его, а называться Пьером Бюфьером до тех пор, пока не остепенится. Пьером Бюфьером называлось одно из имений его матери в Лимузене – прискорбный повод к тем процессам, которые наконец превратились в процессы о разводе. С этим печальным прозвищем Габриелю Оноре пришлось прожить немало лет, – его положение походило на положение солдата, которому в наказание обрили брови. А он был еще пятнадцатилетним рекрутом и слишком молод для такого наказания!

Но тем не менее как бы его ни называли, Пьером или Габриелем, он оставался тем, кем был. В институте Шокнара, как впоследствии в жизни, он развивает и выказывает способности, дарованные ему природой и которых не сбрить никакой бритве. Побочный сын сообщает целый список пройденных им наук и приобретенных знаний. Кроме древних языков Габриель изучал английский, итальянский, немецкий и испанский, страстно занимался математикой, рисованием, музыкой до такой степени, что даже умел аккомпанировать. Затем, в программу института входили пешая, верховая езда, танцы, плавание, игра в мяч. Если сообщаемое нам побочным сыном хоть наполовину справедливо, то и тогда мы не могли бы сказать, что Пьер Бюфьер употребил во зло свое время.

Известно, что опальный Бюфьер в скором времени в этом смирительном доме привязал к себе всех: его полюбили товарищи, учителя и даже сам аббат Шокнар. Недаром говорил чадолюбивый отец, что у него змеиный язык. И действительно, замечательно то обстоятельство, что лишь только бедный Бюфьер, граф Мирабо, Рикетти, или как бы ни называли его, сталкивался с

людьми, даже предубежденными против него, как в короткое время привязывал их к себе. До самого конца его жизни никто, смотревший на него собственными глазами, не мог ненавидеть его. Разве он мог убедить людей? Да, любезный читатель, он мог не только убедить, но и действовать на них, – в том-то и заключалась вся тайна. Всякий понимает, что великая открытая душа человека, не сделавшая ничего пошлого или нечестного ни одному существу в мире, была братской душой, а человека тем более любят, чем более он сближается со своими собратьями, – разве это не факт из фактов? Если хочешь знать, в какой степени владеет человек дипломатическим умом (хорош ли он, индифферентен или дурен), то обратись к общественному мнению, журнальным сплетням или к лицам, с которыми он обедает. Но чтоб узнать его действительные достоинства, следует заглянуть глубже и спросить тех людей, которые его знают на опыте, – и если они даже ограниченные люди, то и тогда ответят дельно на твой вопрос. «Лица, находящиеся вдали от меня, – говорит Томас Браун, – судят обо мне хуже, чем я сам сужу о себе, мнение же лиц, живущих рядом со мной, лучше моего собственного мнения».

Так как институт Шокнара изменил своему назначению и перестал быть смирительным домом, то маркиз решил отдать сына в военную службу. По-видимому, безбожная мать тайком посылала ему деньги, и он, изменник, брал их! Пьер Бюфьер надел шишак на свою огромную голову, и его изуродованное оспой лицо приняло воинственный вид. Натянув поводья и обнажив палаш, он смело, как истый драгун, въезжает в город Сент. В это время ему было восемнадцать лет и несколько месяцев.

Жители Сента крепко полюбили его, предлагают ему деньги взаймы, – бери сколько хочешь! Начальник его, полковник Ламбер, был строгий, угрюмый человек, и лицо Бюфьера имело несчастье не понравиться ему. Кроме того, в Сенте служил полицейский чиновник, у которого была дочь, и этой глупой девчонке физиономия Бюфьера понравилась больше физиономии полковника. Нетрудно себе представить, каким искусным адвокатом явился Бюфьер в таком великом деле со своим змеиным языком. Это была его первая «страстишка», увенчавшаяся полным успехом, за которой последовал целый ряд неслыханных подвигов в этом же роде. Обиженный полковник позволил себе, за общим офицерским столом, несколько язвительных замечаний на счет Бюфьера, но Бюфьер был не такой человек, чтоб оставаться в долгу, вследствие чего возникли неприятные отношения между ними. Чтоб увенчать дело, Бюфьер,

вопреки своему обыкновению, зашел в игорный дом и проиграл четыре луидора.

Нарушение дисциплины, дочь полицейского чиновника! Маркиз гремит из Биньона, Бюфьер бросает свой шишак и тайно бежит в Париж. Завязываются переговоры, в Сент посылается надежный шпион, идет переписка, Дюпон де Немур делается посредником между полковником и маркизом, которые беснуются с пеною у рта. Шпион собирает сведения и выводит «на чистую воду» все проказы Бюфьера. Что будешь ты делать, маркиз, с этим дьявольским сыном? Сошли его в Суринам, пусть тропические жары и дожди укротят его бешеный нрав, – подсказывает справедливое чувство чадолюбивого Брута и г-жи Пальи, но более снисходительные меры одерживают верх. Сначала прибегают к «Lettres de cachet» и ссылают бедного Бюфьера на остров Ре, куда отправляется он, но только не с дочерью полицейского, а со стражей, под шум падающих осенних листьев, в 1768 году, когда ему минуло девятнадцать лет. Это его второй геркулесовский подвиг, первым был институт Шокнара. Оплакиваемый Атлантическим океаном, он должен сидеть здесь зиму под надзором губернатора острова, по слухам, сущего Цербера.

В Ре повторяется прежняя игра. Через несколько недель Цербер делается другом Бюфьера и лает изо всей глотки в пользу его. Какой волшебной силой, маркиз, каким лицемерием и скрытностью обладает этот чудный юноша, что даже сам губернатор не может устоять против него? Не придется ли нам отправиться в суринамские болота, чтоб образумить его? К счастью, теперь война в Корсике. Паоло бьется из последних сил, и барон де Во требует свежих войск. Бюфьеру, которому это дело не совсем по сердцу, едет туда и сражается сколько может. Недурно бы было, если б ему удалось этой кампанией завоевать свое законное имя и хоть малейшее расположение отца. После многих просьб наконец его желание сбывается.

Бюфьер, в чине поручика, с лотарингским отрядом вступает в Тулон, – перед ним расстилается «равнина, которую не бороздит плуг», как описывает он океан. «Не пришлось бы юному поручику, Боже сохрани, когда-нибудь проехаться по этой равнине в красной шапке галерного невольника» – вот родительское благословение и желание, впоследствии осуществившееся. Прежде чем оставить Рошель, Бюфьер успел совершить новое преступление – затеял первую дуэль. Один из его товарищей, исключенный из службы за мошенничество, вздумал, при встрече на улице, возобновить с ним прежнее знакомство, но Бюфьер решился отказаться от подобного знакомства даже в том случае, если б ему навязывали его со шпагою в руке. Что за корсиканский

флибустьер!

Корсиканский флибустьер, по обыкновению, совершил также и в Корсике немало гигантских подвигов. Он сражался, писал, любил, «учился по восьми часов в день» и успел расположить к себе корсиканское общество обоего пола. Он верил, что природа создала его воином, и до такой степени сроднился с этим занятием, что гром битв сделался для него очаровательной музыкой.

По всему вероятию, природа, умеющая ко всему приноровляться, предназначила ему широкую деятельность, как обыкновенно поступает она со всеми великими душами. В мае 1770 года, почти через год, Бюфьер снова возвращается в Тулон. У него много рукописей в кармане, его ум, подобно беспорядочной библиотеке, наполнен военными и другими знаниями, а известность его между тем растет.

Дядя, вопреки своим принципам, желает видеть племянника, находящегося так близко от старинного замка на Дюрансе. Добряк очарован им, находит в его изменившемся, против прежнего, лице – ум, царское величие, силу, «изящное и грациозное выражение». После нескольких бесед с ним он видит в нем одного из лучших людей, и если юноше не будут препятствовать, полагает он, то он, вероятно, со временем сделается государственным человеком, полководцем или папой.

Осаждаемый со всех сторон просьбами дяди и семейства, суровый маркиз, хотя и не без труда, соглашается наконец «видеть беспутного Пьера Бюфьера и затем, после торжественных совещаний, возвратить ему его настоящее имя. Свидание это происходит в сентябре, в Лимузене, недалеко от имения его матери. Кротость и уступчивость проникли в сердце старика, и даже сквозь его суровость и жесткость блеснул слабый луч надежды. Вот извлечете из одного его письма, относящегося к этому времени: «Я нередко журю его, вижу, как он опускает свой нос и пристально смотрит в землю, – знак, что он вдумывается в мои слова. Иногда он отворачивает голову, чтоб скрыть навернувшуюся слезу. Мы обращаемся с ним частью кротко, частью сурово и этим способом успеваем укротить этого дикого зверя».

Если б он, мог сказать маркиз, основательно изучил мою политическую экономию! Но к сожалению, Габриель находит это сочинение пустым, скучным и ненадежным, как восточный ветер… А между тем разве этот неуклюжий юный геркулес – не доблестный Габриель, удачно кончивший свой второй подвиг? Голова молодого человека походит на «ветреную и огненную мельницу идей». Военное министерство производит его в

капитаны, и он страстно желает продолжать военную службу, но, к несчастию, подобному Александру нужна масса орудий, – он готов целый мир превратить в оружейный завод. «Он воображает, – ворчит старый маркиз, – что у меня много денег и что я помогу ему воевать с такими же гаерами и скоморохами, как он сам. Дурак, займись лучше сельским хозяйством, а прежде, хоть это и опасно, взгляни на Париж».

В Париже, в одну зиму, отважный Габриель овладевает всеми сердцами. Он блистает в салонах, Версале, ужинает с герцогом Орлеанским (с ним сходится молодой герцог Шартрский, впоследствии Egalite), обедает у Гемене, Брольи и других великих мира сего и приглашается на охоту. Даже старухи восторгаются им и шуршат своими атласными платьями. Давно уже не появлялось подобное светило во дворце. Между тем маркиз, глядя на успехи своего сына, пускается в следующие критические выводы.

«Я настороже; я понимаю, как живость ума может дать крайне ложное мнение о характере, но, сообразив все, полагаю, что ему нужно дать простор, – какого черта прикажете делать с этим умственным и сангвиническим обилием? Я не знаю женщины, кроме императрицы, на которой бы мог жениться этот юноша. Трудно найти человека более способного и умного, – он, кажется, в состоянии образумить самого черта. Твой племянник – «ураган» занимает меня. Вчера лакей Люс, привилегированный простофиля, сказал мне шутя: «Поверьте, граф, туловище такого человека слишком непрочно для подобной головы». В нем «страшный дар фамильярности» (как говаривал Папа Григорий), – он вертит всею знатью…»

Затем, через несколько лет, он снова пишет: «Мне постоянно говорят, что его легко тронуть. И действительно, его нельзя упрекнуть без того, чтоб его глаза, губы, лицо не свидетельствовали о его волнении. С другой стороны, он при малейшем нежном слове ударяется в слезы и готов броситься в огонь за вас.

Я целую жизнь бьюсь, чтоб напичкать его принципами и всем тем, что я знаю. Потому что этот человек, относительно своих основных качеств, остался тем, кем был, и долгим, солидным учением набил свою голову только хламом, так что ее можно сравнить с перевернутой вверх дном библиотекой. При этом он владеет талантом блистать поверхностно, потому что «проглотил только формулы», а существенного создать не в состоянии. Он похож на ивовую корзину, пропускающую все.

В нем врожденная беспорядочность, он суеверен, как баба, лгун и способен только рассказывать басни, дерзок до крайности,

ловок и талантлив донельзя. Вообще порок пустил в нем более глубокие корни, чем добродетель. В нем все есть: легкомыслие, бешенство, бездействие (не от недостатка огня, а от недостатка плана в голове), ум, витающий в неопределенной сфере и производящий одни мыльные пузыри. Несмотря на страшное безобразие, хромоту и свирепый взгляд этого человека, когда он слушает и обдумывает, все мне говорит, что хотя его дикая наружность – не что иное, как пугало для птиц, сшитое из негодного тряпья, но, в сущности, нет человека во Франции менее способного на обдуманное зло. Он весь составлен из отражения и отблеска; сердце его тянет в одну, а голова в другую сторону. Он может быть корифеем нашего времени. В нем заключается природная, близорукая опрометчивость, которая заставляет его принимать болото за твердую почву».

– О, боги, – раскудахталась старая наседка, – что за чудо высидела я! Да у него перепончатые лапы и широкий клюв, того и гляди – уйдет в воду и утонет, если милосердое небо и сердобольная мать не предупредят этого несчастия!

А между тем как справедливы слова старого маркиза: «Он проглотил все формулы» – и покончил с ними. Но формулы и Габриель с начала и до конца были смертельными врагами. Какую пользу могли принести Габриелю формулы мира? Его душа не могла в них найти ни поддержки, ни утешения, вера была чужда им, одна тирания и неправда преобладали в них. Если б, кроме формул, не было другой пищи, то, разумеется, одно горе ожидало бы его. Формулы не только не могли дать этому человеку существование и жилища, за исключением, может быть, острова Ре и подобных мест, но грозили и самую жизнь вырвать у него. Поэтому предстоял один исход: разрушить формулы или погибнуть самому, и упорный бой кончился в его пользу. Так искусна и предусмотрительна судьба: она спокойно кует свои орудия, предназначаемые ею для великого и благотворного дела, а между тем кажется, что ее цель только губительная и разрушительная. Подумай, маркиз, не придется ли со временем самой Франции проглотить одну или две формулы? Дело происходит летом 1777 года.

«Я бы вам многое рассказал, сударыня, если б мне не нужно было отвечать на целую груду докучливых писем. Впрочем, постараюсь описать вам праздник, происходивший в этом городе. Дикари целыми потоками хлынули с гор, – нашим людям приказано было не трогаться с места. Священник, служивший молебен, судья в парике, конная стража с обнаженными саблями заняли площадь, и вскоре затем начались танцы. Уже через несколько минут танцы были прерваны дракой, но зрители, даже

дети и старики, оставались на своих местах, кричали, визжали и любовались этой сценой, как обыкновенно любуется чернь на драку собак. Страшные люди или, скорее, лесные дикари, в грубых шерстяных куртках, подпоясанные широким ремнем, украшенным медными гвоздями, поднимались на цыпочки, чтоб удобнее видеть драку, били в такт, ударяя себя локтями в бок. На их лицах была написана свирепость; лоб и глаза оставались совершенно спокойны, нижнюю же часть лица оживлял отвратительный смех, выражавший дикое нетерпение. И эти люди платят подати! И вы хотите отнять у них еще соль? Вы дерете с них шкуру и воображаете, что управляете ими, и надеетесь одним росчерком пера грабить их до тех пор, пока не наступит катастрофа? Подобные вещи наводят на глубокие размышления. «Бедный Жан-Жак, – говорил я сам себе, – те, которые призвали тебя с твоей системой, чтобы переписывать ноты посреди подобного народа, плохо поняли твою систему!»

С другой стороны, эти размышления были утешительны для человека, который всю свою жизнь проповедовал о необходимости помогать бедным и вводить всеобщее образование. Он старался показать, в чем должны заключаться образование и поддержка, когда они поставят преграду, единственно возможную преграду, между гнетом и восстанием, единственный и неизбежный договор между низшими и высшими классами. Ах, сударыня, правление, похожее на игру в жмурки, кончится всеобщим переворотом».

Пророческий маркиз! Ах, если б другие народы слушали тебя лучше, чем слушала тебя Франция, так как это касается их всех. Но теперь разве любопытно размышлять о том, что мир и без этого пророка избрал себе другой путь? Был ли у юного Мирабо отец, какой бывает у других людей, или вовсе не было! В первом предположении необходимо убедиться, если подумать о происхождении, положении в свете, необыкновенных способностях Мирабо, благодаря которым он достиг высокой государственной ступени, в то время как Тюрго, Неккеры и даровитые люди были неизбежны. Природным волшебством он очаровывает Марию-Антуанетту, впечатлительную и сочувствующую всему великому и благородному и ненавидящую все, напоминающее педантизм, Неккеров и Лафайетов.

Король Людовик – ноль, да, к счастью, и деятельность его равнялась нулю. Если б в то время во главе Франции стоял единственный француз, способный разрешить великий вопрос, уступать и противиться, обходить препятствия, терпеть, словом – «понимать», что нужно делать, то Франция, может быть, избегла бы революции и преобразование совершилось бы мирным путем.

Но высшие силы решили иначе. После многих тысячелетий всем народам было суждено увидеть великий пожар, самосожжение нации и, глядя на это зрелище, поучиться. И разве можно было найти лучшего учителя в мире, каким был «друг человечества» для «проглотчика формул», разве можно было придумать что-нибудь лучше того воспитания, которое получил Алкид Мирабо? Доверься небу, читатель, оно точно так же заботится о судьбе народов, как и о судьбе воробья.

Габриель Оноре отлично устроился в Париже «водить за нос» всю знать. А в другом, деловом отделе, когда началось лето и вместе с ним сельские работы, он превосходит все ожидания. «Друг человечества» посылает Пьера Бюфьера в Лимузен, в свое имение, – а при не окончившемся еще процессе имение маркизы, – чтоб поразведать, нельзя ли там чего сделать для человечества. Понятно, что здесь дела немало, – крестьяне, не имея средств удовлетворить самым необходимым потребностям в жизни, «глядят горемыками и, по-видимому, полагают, что грабеж, чинимый над людьми, такое же Божье наказание, как буря и град». Здесь, в уединении Лимузена, Габриель делается опять Габриелем. Он ездит верхом, пишет, всматривается во все, ест из одного горшка с бедняками, беседует с ними, помогает им, учреждает нечто вроде деревенского суда присяжных и покоряет все сердца, так что маркиз невольно сознается, что он «демон невозможного». И действительно, слова «невозможно» нет в словаре Габриеля. Когда впоследствии этот же самый Габриель (по свидетельству Дюмона) приказал своему секретарю сделать какое-то чудо, считавшееся по крайней мере в то время чудом, то секретарь возразил ему, что «это невозможно». «Невозможно? – вскричал Габриель. – Никогда не говорите при мне этого слова». Вообще юный Мирабо был добрым человеком, когда обращались с ним хорошо, но с широким клювом и неисправимою страстью к воде.

Следующее, по сути, не важное, письмо, адресованное дяде, достойно, по нашему мнению, чтоб привести его здесь. Габриель в шутливом тоне описывает, как ему, молодому барину и тогдашнему щеголю, пришлось дрогнуть на снегу. Письмо писано в декабре 1771 года на дороге в замок Мирабо.

«Fracti bello satisque repulsi ductores Danaum – это означает, мой дорогой дядя, на доброй латыни, что я умираю от усталости. Во всю эту неделю я спал не более любого часового и в то же время колесами моего экипажа изучил все колеи и лужи, встречавшиеся мне между Парижем и Марселем. Глубоки и бесконечны были эти колеи. Кроме того, между Мюкро, Романе, Шамбертеном и Бонем у меня сломалась ось, и это случилось в

центре четырех виноградников, – вот так географический пункт, если б у меня хватило ума быть пьяницей! Несчастие это совершилось в пятом часу вечера, и мой лакей уже уехал вперед. В это время шел мокрый снег, но, к счастью, впоследствии он приобрел некоторую плотность. Близость Боня заставляла меня надеяться, что я обрету в его жителях какой-нибудь гений. Так как я нуждался в добром совете, то черт посоветовал мне прежде всего выругаться, но эта прихоть вскоре прошла, и я попробовал смеяться, тем более что в это время подъехал ко мне верхом на лошади священник, которому снег и дождь били нещадно в лицо. Физиономия его выделывала необыкновенные гримасы, и я полагаю, что это было причиной, что я воздержался от дальнейшей ругани. Почтенный муж, при виде опрокинутого экипажа без колеса, спросил: не выпало ли на мою долю какого-либо несчастия? Я отвечал, что, «кроме снега, здесь ничего не выпало». «А, – заметил он остроумно, – у вас сломался экипаж». Я подивился подобной мудрости и попросил его, разумеется, с позволения его лошади, у которой также была веселая физиономия, потому что снег бил ей прямо в нос, ускорить шаг и известить в Шаньи, что я сижу здесь. Он обещал исполнить мою просьбу и сообщить об этом даже самой почтмейстерше, которая приходилась ему кузиной. При этом он рассказал мне, что она прелюбезная дама и вот уже три года как замужем за весьма почтенным человеком, племянником королевского прокурора. Рассказав мне о кузине, ее муже и не помню еще о ком, он дал шпоры своему коню, который заржал и пустился в путь.

Я забыл вам сказать, что мною уже был послан ямщик в Мюкро. Парень этот отлично знал дорогу, потому что ездил туда ежедневно выпивать стаканчик или два. Собираясь в путь, он уже был навеселе, а когда возвратился, то был окончательно пьян. Я, как часовой, ходил взад и вперед; бонские жители подходили ко мне и спрашивали: что случилось? Одному из них я ответил, что дело идет об одном опыте. Меня послали из Парижа исследовать – может ли экипаж ехать с одним колесом. До сих пор все шло хорошо, но теперь я хочу написать, что с двумя колесами все-таки удобнее. В эту самую минуту приятель, с которым я беседовал, ударился коленкой о другое колесо, лежавшее в снегу, схватился рукой за ушибленное место и, выругавшись точно так же, как я, сказал, улыбаясь: «Да, вот другое колесо». «Черт возьми!» – вскричал я, как бы удивляясь находке. Другой же из присутствующих, долго оглядывая мой экипаж, наконец остроумно решил, что в нем сломалась ось».

Миссия Мирабо в Провансе была довольно многосложна. Он должен был осмотреть имения, познакомиться с крестьянами и

помещиками и, может быть, приискать себе жену. Еще недавно, как мы видели, старик полагал, что в жены ему годится только одна императрица. Но Габриель, благодаря родительским заботам, с тех пор удивительно созрел, и маркиз решил, что если брак с императрицей невозможен, то можно приискать и другую невесту, только была бы она с деньгами. Наконец находят невесту, хотя без денег, но зато со связями и надеждами, и покоряют ее сердце с помощью бурного красноречия и маркиза. Ее портрет, даже по описанию маркиза, не слишком очарователен: «Марии-Эмилии де Кове, единственной дочери маркиза де Мариньяна, было в то время восемнадцать лет. Лицо ее было весьма обыкновенное, даже вульгарное на первый взгляд и при этом крайне смуглое. Глаза и волосы были прекрасны, зубы дурны, а с уст не сходила приятная улыбка. Она была небольшого роста, но вся ее фигура отличалась изяществом, хотя и держалась несколько набок. При этом она была одарена живым умом, остроумием, ловкостью, нежностью и мужеством». Таким образом, эта смуглянка, к тому же величайшая дура, 22 июля 1772 года делается женой Мирабо. С нею и с 3000 франков содержания, получаемого им от тестя, и с 6000 франков, назначенными отцом, да с великими надеждами впереди, должен он поселиться в городе Э и благословлять небо.

Нужно сознаться, что юный Александр немного роптал, ему пришлось покорить только подобный мир. Но у него были книги, надежды, у него были здоровье и способности. Перед ним лежала вселенная (часть которой составлял также город Э), вселенная запрещенных плодов, невыразимое поле времени, на котором он мог сеять, и он сказал себе: «Теперь я буду умен». А между тем человеческая природа слаба. Спрашивается, был ли старик маркиз, теперь окончательно разведшийся с женою, расположен прощать маленькие грешки? Страшное, отвратительное спокойствие, с которым он сообщает своему брату о процессе и требует от него молчания, может потрясти слабые нервы, поэтому мы опускаем этот эпизод…

Семейная жизнь Рикетти быстро близится к разрушению, наступает в ней время ураганов. Одна из его дочерей замужем за г-ном Сальяном, другая за г-ном Кабри, у которого на руках процесс по поводу написанных им стихов, исполненных клеветы. Некий барон Вильнев Моан, на которого направлено было это стихотворение, публично оскорбляет г-жу Кабри на гулянье, но все лица, бывшие свидетелями этого оскорбления, выказали себя в этом деле крайними дураками. Затем бедная женщина связывается с неким Бриансоном в эполетах, личностью, по словам побочного сына, не поддающеюся описанию.

От юного наследника всех Мирабо требуют, чтоб он играл некоторую роль в свете, в особенности после женитьбы. Но в состоянии ли отличиться молодой человек с 9000 франков в год и кучей долгов? Старик маркиз тверд, как скала, и никакой жезл Моисея не извлечет из него чуда. На подарки, содержание дома, обеды и вечера он не дает ни одного су. Все это лежит на обязанности Мирабо, и все это он устраивает роскошно, но, увы, у него только 9000 франков в год и куча долгов! Остается одно – прекратить все эти обеды и вечера и удалиться в старинный замок, что он немедля и делает. Но молодая жена, привыкшая к роскошной жизни, требует, чтоб ей был отделан целый ряд комнат. Являются обойщики, начинается стук, возня и затем все принимает великолепный вид, но на все это подаются счета, – а там еще евреи-кредиторы! Мирабо, со слезами на глазах, обращается к тестю и умоляет его превратить «богатые надежды» в действительные наслаждения. Тесть, тронутый его слезами и красноречием, готов выдать ему 40 000 франков в том предположении, что старик Мирабо, заинтересованный в этом деле, не откажется со временем уплатить их. Но маркиз, которому пишется красноречивое письмо, отвечает письмом, известным под названием «Lettre de cachet», и приказывает красноречивому автору, в силу подписи и печати его величества, немедленно отправляться в Маноск.

Итак, прощай, крутая скала и бурный Дюранс, здравствуй, жалкий Маноск, куда судьба забросила нас! Но и в Маноске может человек жить и читать, может писать «Опыт о деспотизме» (чтоб впоследствии напечатать его в Швейцарии) – сочинение, полное огня и грубой энергии, имеющее интерес и в настоящее время. «Опыт о деспотизме», не имевший ничего общего с «Эфемеридами», встретил в старом маркизе сурового критика. Вероятно, он остался недоволен проглоченными формулами и молодым, едва оперившимся человеком, осмелившимся уже трактовать о вещах, требующих серьезного и зрелого возраста. К этому присоединились еще новые неприятности. Некий шевалье де Гассо, имевший обыкновение посещать дом Мирабо в Маноске, начинает теоретически ухаживать за маленькой смуглянкой, и на его любезности также отвечают теоретически. Записочки следуют за записочками, взгляды за взглядами, crescendo за allegro, так что наконец взбешенный супруг поднимает бурю и грозит выбросить за дверь шевалье де Гассо, который, не дожидаясь выполнения этой угрозы, спешит оставить дом Мирабо, но не без некоторого скандала. Все ждут дуэли, но Гассо, зная, какова шпага в руках Рикетти, не хочет драться и просит своего отца уладить дело и извиниться за него. Отцу было предоставлено

«умолять великодушного графа пощадить жизнь бедного сына, потому что и без того этот скандал помешал ему составить отличную партию и вооружил всю семью против него». Великодушный граф не только посылает к черту дуэль, но, позабыв и «Lettre de cachet», летит в дом того семейства, где молодой человек выбрал себе невесту, и так горячо умоляет забыть все, что бедному Гассо возвращается прежняя милость. Устроив с успехом это дело, – так как ничто не может противиться его красноречию, – он со спокойной совестью возвращается домой.

Мы уже заметили, что эта поездка была совершена вопреки королевскому «Lettre de cachet», но, вероятно, никто не обратит на это внимания и никто не донесет об этом. Великолепный летний вечер, – ты едешь спокойно, бедный Габриель, на душе у тебя легко, – но, может быть, надолго, может быть, навсегда придется тебе отказаться от такой приятной поездки, потому что смотри: кто там катит, освещенный желтым солнечным лучом, – совершенный джигмен, владеющий собственным кабриолетом! Боги, да это гаденький барон Вильнев Моан, оскорбивший твою сестру на гулянье! Человеческая природа невольно впадает в ошибки, если ей не дадут времени на размышление. Кабриолет прямо наезжает на тебя, ты останавливаешь лошадь, слезаешь с седла и совершенно бессознательно подходишь к барону и требуешь от него удовлетворения за оскорбленную честь сестры. Барон отказывается исполнить требование; тогда свирепый Габриель вытаскивает его из кабриолета и отделывает хлыстом, – и все это совершается на большой королевской дороге, в виду любопытных крестьян. Вот новая пища для людской молвы.

Молва эта разрастается, заносится в Париж и всюду. В ответ ей, 26 июня 1774 г., приходит новое и более выразительное «Lettre de cachet», а вместе с ним являются полицейские сыщики и карета. Габриеля разлучают с женой и умирающим ребенком, с домашним очагом и везут в Марсель, в замок Иф, грозно глядящий в море.

Здесь, окруженный голубым Средиземным морем, за железной решеткой, без перьев, бумаги, друзей и людей, за исключением Цербера, которому поручено строго присматривать за ним, он обречен коротать время, – такова власть «Lettre de cachet», воля сурового маркиза. Таким образом, едва пробившийся луч снова объят мраком. Жестоки формулы, бедный Мирабо, относительно тебя, но ты вступил с ними в страшный бой, и Бог знает, каким ужасным путем выйдешь ты из него победителем! С этого времени непроглядный мрак все более и более окружает бедного Габриеля, его жизненный путь делается

труднее, не яркое солнце озаряет его, а блудящие огоньки, мелькающие здесь и там.

Но укроти твое бешенство, бедный Мирабо. Подави горячие слезы, примирись, если можешь, с настоящей судьбой, – другого выхода нет. Осень сменяется зимой, за зимой следует все оживляющая весна, волны пенятся и бьются о стены замка Иф, в которых ты заключен, несчастный человек… Нет, Габриеля нельзя назвать несчастным, в нем бездна природной веселости, в нем заключается пламенная жизнь, с которой не сладить никакой судьбе. Цербер Ифа, Далегр, постепенно делается мягче, уступчивее, снабжает его бумагой и перьями, принимает в нем участие, предлагает советы, так что, благодаря этой снисходительности, до него доходят некоторые письма.

Над теплым, дружеским письмом сестры Сальян проливаются слезы, но плакать, впрочем, тебе не всегда приходится, – есть лучшее дело! Ты пишешь мемуары о «Серебряном воротнике», отрывок из которых мы привели выше, и составляешь разного рода проекты. Но иногда не прочь ты и от проказ, в особенности когда дело коснется хорошеньких маркитанток… Нередко в крепость доходят и слова утешения: сестры и братья советуют ему не падать духом и не терять надежды. Наши читатели знакомы со «старшим» Мирабо, как называл Габриеля маркиз, теперь скажем несколько слов о «младшем».

Мы говорим о мальтийском рыцаре Мирабо, «суровом сыне моря», в то время он также великий сорванец. Только оправившись от тяжкой болезни, он приехал из Мальты в Марсель, куда привлекла его горячая привязанность к брату. В письме к сестре Кабри он следующим образом описывает свое свидание с ним: «Дул сильный ветер; ни один из лодочников не брался меня везти. Наконец двоих я кое-как принудил согласиться на мое требование, не столько деньгами, которых, благодаря Богу, как ты знаешь, у меня нет, сколько угрозами и красноречием. Я подъезжаю к замку Иф. В воротах поручик – Далегра в то время не было – советует мне совершенно спокойно ехать обратно. «Я уеду, но только не прежде, как увижу брата Габриеля», – отвечаю я ему. – «Этого нельзя». – «В таком случае я ему напишу». – «И этого не могу разрешить». – «Ну так я подожду Далегра». – «Ждать вы можете, но не более 24 часов». – Тогда мне приходит в голову обратиться к Ламуре, хорошенькой жене одного маркитанта, и она обещает мне устроить свидание с бедным братом после вечерней зари. Таким образом, мне удается пробраться в его келью, но только не с видом победителя, а скорее вора и любовника, и мы изливаем друг перед другом свои души. Все боялись, что он доведет мою голову до температуры

своей, но мне кажется, сестра, что люди судили о нем ложно. Уверяю тебя, что в то время, когда он рассказывал мне свою историю, я клялся, что, несмотря на свою болезнь, я еще довольно силен, чтоб сломать нос Вильневу Моану или по крайней мере его трусишке-брату. «Мой друг, – возразил он мне, – этим ты только погубишь нас обоих». И я сознался, что это была единственная причина, помешавшая мне выполнить мое намерение, которое, впрочем, было бы совершенно бесполезно и могло зародиться только в моей разгоряченной голове».

Вот, любезный читатель, мальтийский рыцарь, виконт де Мирабо, известный во время революции под именем Mirabeau-Tonneau, или «бочка-Мирабо», по причине его толщины и количества обыкновенно выпиваемого им вина. Это тот самый Мирабо, который на собрании государственных чинов сломал свою шпагу, потому что дворянство уступило и тем положило конец рыцарству. В политических делах он составлял совершенную противоположность своему старшему брату и, как подобает общественному деятелю, говорил много, возбуждая нередко смех своими дикими, забавными выходками, – результат выпитого им вина.

Впоследствии, негодуя на новые порядки, он ушел за Рейн и там занимался обучением войска эмигрантов. Однажды, когда он сидел в палатке и думал невеселую думу об обороте, который приняли события, ему докладывают, что к нему явился капитан по делам службы. Он отказывает в приеме, капитан настойчивее прежнего требует свидания. Мирабо вспыхивает, как внезапно подожженная бочка со спиртом, выхватывает шпагу и бросается на наглеца, но, к несчастию, тот, в свою очередь, также успел обнажить шпагу, на которую натыкается Мирабо и умирает на месте.

Это был пятый акт жизненной драмы Mirabeau-Tonneau, похожий и не похожий на первый акт в крепости Иф. Таким образом, занавес падает, газеты называют это «апоплексиею» и прискорбным случаем.

Брат, сестры, смуглянка-жена, Цербер Ифа – все ходатайствуют за раскаявшегося бедного грешника. Но маркиз глух, как судьба. Полагая, что комендант Ифа был околдован, он приказывает перевести сына в крепость Жу, «старое совиное гнездо с горстью инвалидов», находящееся в Юрских горах. Вместо меланхолического моря он может теперь познакомиться с меланхолическими гранитными скалами, еще покрытыми снегом, насладиться их туманами и зловещими криками сов и устроить здесь свою жизнь на 1200 франков, если не умел жить на 9000 франков. Но что же делает жена бедного Мирабо? Маленькой

смуглянке надоели бесполезные просьбы. Схоронив ребенка, схоронив заживо мужа, двадцатилетняя женщина старается развеяться теоретической любовью. Она перестает упрашивать маркиза и постепенно забывает мужа. Брачная жизнь, разбитая еще в то время, когда полицейские сыщики явились в Маноск, несмотря на все усилия, не может быть восстановлена, но разольется на две отдельные реки, чтоб окончательно затеряться где-нибудь в безотрадной песчаной пустыне. Мужу и жене после этого уже не удалось более увидеться.

Недалеко от меланхолической крепости Жу лежит меланхолическое местечко Понтарлье, где узнику, на честное слово, позволяется иногда гулять. В этом местечке находится дом некоего Монье, с которым и связано событие, рассказываемое нами. О семидесятипятилетнем старике Монье, президенте суда, нам придется говорить меньше, чем о его жене Софии Монье (урожденной де Роже, из Дижона), которой едва только минуло девятнадцать лет. Но вот уже четыре года, как эта достойная, героически-несчастная женщина замужем за дряхлым стариком. Какая проклятая шутка судьбы соединила весну с зимой! Таков здесь обычай, добрый читатель, следуя которому натуралист Бюффон, будучи шестидесяти трех лет, изъездил всю Францию, отыскивая молодую жену, и наконец нашел ее, – и она действительно была известна под именем жены Бюффона, но только впоследствии свела знакомство с Филиппом Egalite. София де Руже любила умных мужчин, но с тем условием, чтоб они не были чересчур преклонных лет, а между тем на нежелание ее вступить в брак со стариком ей постоянно предлагали вопрос: не желает ли она в таком случае идти в монастырь? Родители ее были строго благочестивые, крайне тщеславные и бедные люди, а несчастная героиня, вероятно, принадлежала к породе свободомыслительниц. В это время старик Монье, «поссорившись со своей дочерью», приезжает в Понтарлье с мешками золота, брачным контрактом и намерением скоро умереть. Таким образом, слагается старая, грустная повесть, которую нередко воспевали и в прозе и в стихах.

Теперь представьте себе, какое действие произвело пламенное красноречие Мирабо в этом скучном семействе, как осуществились мечты молодой женщины при виде этого пылкого, хотя и безобразного мужчины и как сам Монье, внимая его красноречию, вновь ожил и помолодел! Мирабо, уже по прежним, знакомым ему признакам, чувствовал, что сладкое, роковое чувство закралось ему в сердце, – чувство, которое старика мужа и жену и его самого приведет только к черту. Испуганный этим предчувствием, он написал своей жене и просил ее, ради Бога,

приехать к нему. Может быть, при «виде своего долга» он будет тверже, а пока постарается избегать Понтарлье. Жена отвечала «холодным письмом», намекавшим довольно прозрачно, что он не в своем уме, и Мирабо с этих пор перестает избегать Понтарлье, где все-таки слаще совиного гнезда. Он чаще и чаще появляется там, встречи делаются нежнее и нежнее, и таким образом!..

Старик Монье не замечал или по крайней мере показывал, что не замечает. Но не таков был комендант крепости Жу. Находясь хотя и на дружеской ноге со своим узником, он, по словам Мирабо, «сам имел виды на Софию; он был старше меня сорока или сорока пятью годами, его безобразие не уступало моему, но на моей стороне было преимущество – я был честный человек».

Ревнивый комендант письмом предостерегает Монье, а сам между тем, под пустым предлогом, приказывает Мирабо ограничить свою прогулку только четырьмя стенами Жу. Узник не хочет знать подобного распоряжения, изливает свое негодование в письме к коменданту и отправляется в Швейцарию, лежащую в нескольких милях от крепости, а дня через два (в январе 1776 года) тайком пробирается снова в Понтарлье. Происходит скандал. София Монье резко протестует против упреков, признается мужу в своей любви к Габриелю Оноре, отстаивает свое право любить его и продолжает любить. Ее увозят к родителям в Дижон, Габриель тайно следует за ней.

Непрерывная цепь скандалов тянется всю зиму, весну и лето. Являются слезы, угрозы, происходят тайные свидания, громкие признания, лелеются робкие надежды. Некоторые коменданты «сквозь пальцы» смотрят на выходки гордого узника, но есть один комендант – маркиз Мирабо, который, сидя в замке Биньон, спокойно кует свои громовые стрелы.

«Я очень доволен, – говорит он, – что приобрел Мон-Сен-Мишель в Нормандии, и полагаю, что это надежная тюрьма. Во-первых, на этой горе находится укрепленный замок, а во-вторых – ее окружает стена, за которою тянутся непроходимые пески, так что нужно брать проводника, чтоб окончательно не завязнуть в них». Вот высится эта крутая гора, гора скорби, – из нее только вид на соленое море, – здесь царство отчаяния. Беги, Габриель, а ты, бедная София, воротись в Понтарлье, потому что монастырские стены суровы…

Габриель бежит, а с ним бежит и его сестра Кабри и ее Бриансон в эполетах. Те, собственно, бегут из своих интересов, чтоб укрыться в Юго-Западной Франции. Маркиз Мирабо, все еще помышляя о Мон-Сен-Мишель и ее песках, выбирает лучшего полицейского сыщика Брюньера и его товарища, снимает с них

намордник и кричит: «Ищи!»

Так как человек существо такого рода, что с величайшею готовностью охотится за другими людьми и постоянно интересуется охотой, то мы полагаем не лишним представить здесь небольшой очерк охоты за людьми, происходившей в Юго-Западной Франции. Для составления этого очерка, к нашему необыкновенному счастью, уцелел письменный, довольно безграмотный отчет, который, по всей вероятности, посылался распорядителем этой травли главному охотнику, зорко следившему из своего далека за всеми его действиями. Не всякий день случается травить такого зверя, как Габриель Оноре, не всякий день встречаются охотники, подобные маркизу Мирабо, или имеются под рукою гончие, умеющие, хотя и безграмотно, излагать свой взгляд на дело.

«Приехав в Дижон, я отправился к президентше Руффе, чтоб собрать кое-какие сведения. Она сообщила мне, что в городе проживает некий шевалье де Макон, офицер, состоящий на половинном жалованье, друг и доверенный Мирабо и который лучше всех сумеет указать мне, где он». Затем Брюньер останавливается в той же гостинице, где живет Макон, находит случай с ним познакомиться, подделывается под его вкусы, посещает с ним вместе фехтовальные залы, бильярды и тому подобные места.

«Когда мы приехали в Женеву, то узнали, что Мирабо был здесь 5 июня. Отсюда он отправился в Савойю. К нему являлись две женщины, одетые в мужское платье, и он вместе с ними поехал в Шамбери, а оттуда через Турин. В Савойе мы не могли узнать, куда они направили свой путь», – так скрытно ведут они свое дело. «После трехдневных и невероятных усилий мы наконец отыскали человека, возившего их. Он сообщил, что они отправились снова в Женеву; мы спешим с полною надеждою найти их там». Но надежда эта так же обманула их, как и прежде.

«Кроме того, в Женеве мы узнали, что Мирабо и его товарищи, хотя вооруженные совершенными контрабандистами, купили себе еще пистолеты и даже охотничий нож с пистолетом вместо рукоятки. Беглецы избирают дьявольские дороги. Следуя за ними, мы приезжаем в Лион, куда они пробрались самым хитрым способом, так что нам стоит неимоверных усилий, чтобы по крайней мере напасть на их след. Случай помог нам наткнуться на одного человека, по имени Сен-Жан, преданного слугу г-жи Кабри. Когда Мирабо с Бриансоном, которого я считаю негодяем, уехал отсюда, то сказал Сен-Жану, что они отправляются в Лорг, в Прованс, на родину Бриансона, откуда Бриансон проводит Мирабо до Ниццы, а тот сядет на корабль и

постарается добраться до Женевы, где проживет с месяц.

Следуя этим путем за Мирабо, поплывшим из Лиона по Роне, мы приехали в Авиньон. Здесь мы узнали, что он взял почтовых лошадей, которым и велел дожидаться в полмили от города. Он снова купил здесь пару пистолетов и, наняв закрытый экипаж, проехал через Авиньон и сдал письма на почту. Это происходило в сумерки; в то время была ярмарка, экипаж его затерялся в толпе, и нам не было никакой возможности уследить за ним… Почтенный адвокат Марсо много помог нам в этом деле: он познакомил нас с Брианcоном, и нам удалось с ним даже поужинать. Мы выдали себя за путешественников, лионских купцов, ехавших в Женеву и Италию, и таким образом развязали язык Брианcону…

При переезде из Прованса в Ниццу нужно переправляться вброд через речку Вар, – дело весьма опасное и даже нередко невозможное, потому что иногда эта речка выходит из берегов и разливается на 1/4 мили, да, впрочем, и в другое время она бывает очень бурной. Рассказы о ней, разумеется, еще более увеличивают опасность, так что все путешественники о переправе через нее говорят не иначе как с ужасом.

На обоих берегах обыкновенно стоят здоровенные парни, которые указывают путь, идя впереди и ощупывая шестом дно, меняющееся несколько раз на дню. Они всеми силами стараются напугать путешественника, даже если нет никакой опасности. Люди эти, помогшие нам перейти через речку, рассказывали, что какой-то господин, весьма схожий, по их описанию, с тем, которого мы искали, отказался от проводников, перешел речку без их помощи и перевел с собою нескольких женщин. По-видимому, он старался быть неузнанным. Мы принялись за самые строгие розыски и узнали, что этот же господин закусывал в одном соседнем трактире. При нем была золотая шкатулка с портретом женщины, одним словом – он вполне соответствовал описанию проводников. В трактире он узнавал, не отходит ли какой-нибудь корабль из Ниццы в Италию, и ему сказали, что на днях один корабль отправляется в Англию. Он перешел Вар, как я уже извещал вас, сударь, – при этом же имею честь донести, что в Вильфранше, небольшой гавани, находящейся недалеко от Ниццы, неизвестный человек сел на корабль и отправился в Англию. Наружность этого человека соответствовала прежнему описанию, только на нем был красный кафтан, а Мирабо до этого времени носил зеленый. Несмотря на это известие, мы все-таки послали нескольких человек, знакомых с местностью, в горы. Бюфьер взбирался на гору верхом на муле, привыкшем к подобным восхождениям, захватив с собой проводника и делая

всевозможные поиски. Одним словом, сударь, мы сделали все, что только может придумать человеческий ум; всюду преследовал нас страшный зной, так что мы окончательно выбились из сил и наши ноги опухли…»

Итак, все усилия человеческого ума были напрасны. 23 августа 1776 года София Монье, переодетая в мужское платье, перелезает через садовую стену в Понтарлье и спешит, окутанная мраком и несомая на крыльях любви и отчаяния, в Швейцарию. Габриель Оноре, окутанный тем же плащом и на тех же крыльях, летит с нею в Голландию, – и с этих пор он погибший человек.

«Преступление, вечно достойное сожаления, – восклицает побочный сын, – преступление, о котором мир так много говорил и будет постоянно говорить». И действительно, есть много вещей, о которых можно легко говорить, и есть вещи, о которых не так-то легко говорить. Скажи, добродетельный побочный сын, отчего поступок маркитантки крепости Иф простая шалость, а поступок президентши – преступление, достойное вечного сожаления? По мнению автора настоящего очерка, как тот, так и другой – преступление. Да разве первым величайшим преступником и грешником в этом деле не был сам президент, этот сумасброд, которому едва ли суд природы вынесет оправдательный приговор? А кто был вторым, третьим и четвертым грешником, – да вообще кто из нас безгрешен? Автор не имеет ничего сказать, а только сошлется на следующие слова Джонсона: «Мой друг, мои любезные собратья, постарайтесь очистить ваши души от лицемерия». Это положительно первая и крайне необходимая потребность всех мужчин, женщин и детей, желающих в наше время, чтоб их души были живы, а не задохнулись от угольного дыма, который чем чище, тем гибельнее для дыхания.

Что безансонский парламент обвинил Мирабо в увозе, похищении, в самовольной отлучке и приказал обезглавить его изображение, сделанное из бумаги, – мы считаем излишним распространяться, хотя, может быть, это и было в порядке вещей. Горемычную жизнь обоих любовников в Амстердаме мы также не будем подробно разбирать. Пылкий мужчина и красивая героиня-женщина переживали свой действительный роман настолько удовлетворительно, насколько позволяли обстоятельства. Огненные темпераменты редко уживаются вместе, и путь верной любви, как в законном браке, так и в сожитии с похищенной женой, не всегда ровен. Если в настоящем случае он не был ровен, зато постоянно менялся, – ссора и примирение, слезы и искренняя любовь, тропические бури, со всей роскошью и великолепием тропической природы, чередовались в жизни молодых людей. Их жизнь доходила на островок Пафос,

окутанный мраком; самая опасность и отчаяние, окружавшие этот островок, придавали ему еще более прелести. Так жалкому горемыке делается жизнь сносна и гладка, когда он видит близость смерти. Разве не может каждую минуту какой-нибудь страшный альгвазил постучаться и взломать дверь нашего чердака на Кальвестранде, в доме портного Лекена?..

Габриель работает для голландских книгопродавцев, переводит «Филиппа Второго», Ватсона, не щадит своих сил и добывает по луидору в день. София шьет и стирает белье своими нежными пальчиками и не ропщет на судьбу. В тяжком труде, блаженстве, постоянном страхе, что нет-нет да и разлучат их, быстро проходят дни. Подобная жизнь длится целых восемь тропических месяцев, по истечении которых, увы, 14 мая 1777 года действительно является альгвазил в образе нашей прежней ищейки Брюньера. Опухоль его ног прошла, и человеческий ум на этот раз достиг задуманной цели. Он предъявляет им королевский приказ, письменное согласие голландского штатгальтера, скрепленное печатью. Габриелю предстоит одна дорога, Софии другая, – бедная женщина готовится быть матерью и должна расстаться с ним навсегда. Ее отчаяние не знает пределов, она, по словам ищейки, решилась бы на самоубийство, если б ей не пообещали из сострадания, что им будет позволено переписываться и что, следовательно, надежда еще не окончательно потеряна. Посреди объятий, слез и вздохов, которые трудно и передать, они отрываются друг от друга. Мирабо везут в Париж в Венсеннскую крепость, Софию заключают в монастырь на время, пока судьба распорядится относительно ее дальнейшей жизни.

Итак, гигант Мирабо заключен в Венсеннскую крепость. Его душа волнуется, кипит и негодует на это насилие, вопль отчаяния оглашает немые стены. Унижен и опозорен в глазах целого мира этот гордый и честолюбивый человек; его золотые надежды разлетелись в прах, его жизнь загублена и разбита. Его отец глух по-прежнему, глух, как судьба; ни просьбы, ни ходатайства не трогают его. Скрипнули ржавые петли, захлопнулись тяжелые двери – и горе тебе! Из громадного Парижа доносится неумолкаемый гул и шум, – ты видишь его башни, освещенные вечерней зарей, а тебе, несчастному, ни утро, ни вечер, ни даже перемены времен года не приносят свободы. На земле ты забыт, а на небо нет надежды. Никакие горячие мольбы не могут расшевелить старого маркиза – он, повторяем, глух, как судьба. В этой крепости тебе суждено прожить сорок два месяца, а между тем гардероб наследника Рикетти истощился, он жалуется, что все его платье худо и ему нечем прикрыться от стужи. Зрение его

слабеет, и в нем начинает развиваться наследственная болезнь в почках. Врачи, для сохранения жизни, предписывают ему верховую езду. «Согласен, но только в стенах крепости», – отвечает маркиз, и, таким образом, графу Мирабо приходится прогуливаться верхом в садике, имеющем не более сорока шагов, окруженном высокими стенами и башнями.

А между тем не думайте, что Мирабо проводит свое время только в слезах да жалобах. Нет, подобно Диогену, он далек от того, «чтоб плакать и рыдать, вложив палец в глаз, об том, что у него нет другой бочки»[50]. Такой пламенной массы жизни, которую не под силу было бы разбить молотом самих циклопов, в то время не существовало во всей Европе. Его нельзя было назвать могущественнейшим человеком из современных ему людей, – не в огне, а в свете сила, – но все-таки его энергия, обилие жизни, обаятельный характер доказывали, что в нем заключена прочная, непоколебимая сила.

Бурные, дурно направленные страсти, душевные волнения, внешний беспощадный гнет – все это могло бы сломить десятерых, а между тем Габриель Оноре, при подобных трудных условиях, остался цел и невредим. Полицейский офицер из сострадания и в силу прежнего обещания разрешает ему переписываться с Софией, но с условием, что письма будут вскрываться и затем, по прочтении, отдаваться ему на хранение. Письма Мирабо – это огонь и слезы, но только не а-ля Вертер, а а-ля Мирабо. Кроме этих писем, ему еще приходилось писать просьбы к отцу, каяться перед ним в своих грехах, вести переписку с друзьями, чтоб при их посредничестве передавать как-нибудь эти просьбы маркизу. Одним словом, у него была целая масса корреспонденции. Помимо этого занятия, он мог еще читать, хотя и с большими ограничениями, сочинять и компилировать книги вроде «Эротической библии», которую нельзя рекомендовать ни мужчине, ни женщине. Его благочестивый биограф закрывает свое лицо при этом скандалезном произведении и жалобно прибавляет, что о нем нечего сказать. Относительно же переписки с Софией нужно заметить, что она долгое время хранилась в бюро Ленуара и только в 1792 году была найдена Манюэлем, прокуратором коммуны, и увидела свет. Собрание этих писем вызывает обыкновенно слезы у сентиментальных душ, но автор настоящего очерка старается воздержаться от них, по крайней мере здесь, за неимением места; впрочем, во всяком случае, это в своем роде превосходные любовные письма.

Но чем «венсеннская переписка» вызовет еще более слез у чувствительных людей, – так это ее прискорбным результатом.

Через несколько лет любовники, которых разлучили в Голландии и которым, чтоб спасти их от самоубийства, разрешили переписываться, снова увиделись, и свидание это происходило под покровом ночи, в комнате у Софии, в Провансе. Мирабо приехал издалека и был одет крестьянином. Вы, может быть, думаете, что они бросились друг другу в объятия, вместе поплакали о смерти ребенка и припомнили пережитые ими скорби и страдания? Ничуть не бывало: они стояли друг против друга, жестикулируя, как ораторы, менялись взаимными упреками в неверности, голоса их делались громче и громче, пока наконец, опустив руки, они не разошлись, чтоб никогда более не увидеться на земле.

В 1789 году Мирабо уже сделался всемирной знаменитостью. София скрылась от глаз мира и незаметно проживала в городке Гиени.

9 сентября, может быть, Мирабо гремел в Версале, и речь его была подхвачена и разнесена по всему миру журналами. София, два раза потом выходившая замуж, окруженная непроглядным мраком отчаяния, лежала на софе, подле жаровни с раскаленными угольями, чтоб умереть смертью несчастной. Не говорили ли мы, что путь верной любви не всегда гладок и ровен?

Наконец, почти через два года, после просьб и ходатайств, Мирабо освобождают из заключения. Но судьба не вводит его вновь в покинутую им семью (с семьею, женою и прошедшим он покончил давно), бросает его в огромный пустынный мир, где, подобно ветхозаветному Измаилу, он может поохотиться и попытать счастья. Взгляни на него, читатель, и ты признаешь в нем замечательного человека. Хотя он опозорен, но не унижен. Хотя мир смотрит на него как на погибшего человека, «но в душе он не погибший человек и никогда им не будет. Какой энергией и огнем наделен он, в нем соединены и громадные дарования, и мелкое тщеславие, легкомыслие и благоразумие, пороки и добродетели. Он при самых трудных обстоятельствах не уступает судьбе ни одного шага, но сам предъявляет ей требование. Его гордая, озлобленная и изуродованная гнетом и преследованиями душа сбрасывает с себя оковы и спешит на бой, как будто веря в полную победу. Скорее почтовых лошадей! – и он мчится в Понтарлье и требует от безансонского парламента отменить «заочный» приговор и вновь приставить голову к бумажному изображению. Неукротимый гигант садится добровольно в тюрьму, – говорит громовые речи в свою защиту, от которых трепещут члены парламента, к которым прислушивается целая Франция, – и голова, при самых вежливых извинениях судей, соединяется с бумажным туловищем. Монье и Руффе смотрят на

него как на бесстыдного человека, – изумленный мир признает в нем одного из даровитых людей.

Даже сам маркиз не может удержаться от похвалы, хотя условной. Упрямый старик проиграл все свои знаменитые процессы, понеся при этом громадные потери, – его богатство рушилось, проекты не удались и самые «Lettres de cachet» потеряли силу и смысл. По случаю этих прискорбных обстоятельств он собрал вокруг себя своих детей, в шутку называет себя инвалидом, способным только сидеть у камина, чинить и заштопывать старую голову. Он не отказывает им в добрых советах, но не награждает их уже «Lettres de cachet» и подобными благодеяниями. Здесь, у камина, подобно тихому вечеру после бурного дня, покоится он, не метая более «громовых стрел». По временам только яркий огонек в форме меткого слова, дельного замечания вспыхивает в нем и горит до конца. В небольшом каталоге добродетелей графа Мирабо не нужно упускать из виду его искреннюю любовь к отцу, которая заставляла его забывать и прощать все жестокости последнего.

Хотя Мирабо и покончил с безансонским парламентом, но жить человеку без денег не совсем-то удобно. Если б жена не разошлась с ним, то можно бы было надеяться на осуществление блестящих надежд, потому что тесть близок к смерти. Ловкий и не стесняющийся никакими препятствиями, Мирабо весною 1783 года отправляется в Э приводить в смятение парламент и требует, чтоб жена жила вместе с ним… Слава его разносится по всей Франции и всему миру, английские путешественники, знатные иностранцы нарочно съезжаются в Э, – суд набит сверху донизу. С демосфеновским красноречием и пафосом раскаявшийся супруг требует возвращения ему жены. Но мир и парламент не знают, что думать, они уверены только в одном, что это даровитый оратор, которого когда-либо случалось слышать. Но несмотря на это, дело его все-таки проиграно, жену ему не возвращают, а следовательно, он не получает денег. Взять приступом счастье не удалось, он отступил с обманутыми надеждами, и положение его еще более ухудшилось… Средств жизни у него нет, и даже маркиз начинает посматривать на него косо. Ему остается только, подобно Измаилу, ум и энергия; в них заключается вся его надежда, они не изменят ему, – на другую же опору нечего рассчитывать. Человеку, одаренному громадными дарованиями и громадной душевной силой, остается только, чтоб употребить их в дело, прибегнуть к бесчестию, презреть все и опрокинуть все препятствия. В кармане у него только жалобы кредиторов, он лишен семьи, родины, состояния, – неизбежная гибель грозит ему. И при таких условиях нужно жить и бороться.

Жизнь, разбитая им самим и другими, вызывала у него слезы, хотя его нелегко было тронуть. Испытав бурю, сломившую ее, он утратил всякую надежду на возвращение блеска и значения. Человек с более слабым характером не вынес бы таких ударов и умер, опился бы водкой или отравился мышьяком, но Мирабо уцелел. Мир не был другом ему, а он не мог сочувствовать законам и формулам этого мира, объявил ему войну и был побежден, хотя и не совсем.

Люди подобной силы, как Мирабо, способные, в случае нужды, опрокинуть формулы, загораживающие им дорогу, всегда сумеют укрыться позади них. Несмотря на то что он лишился уважения мира и общество с его законами и правилами уже изрекло над ним свое проклятие, но тем не менее он не погиб, не предался отчаянию, малодушию или бесплодному унынию. Наперекор миру он жив, полон энергии. Мир не в состоянии отнять у него сознания собственного достоинства, не может лишить его искреннего, теплого чувства, питаемого им к другим людям, – есть пределы, переступить которые не заставят его ни мир, ни дьявол. Это колосс – могучая скала, которую разбивает молния, но она широкой пятой уперлась в землю, пустила глубокие корни и противится всякому разрушению. Весьма верно заметил один моралист: «Нельзя желать, чтоб кто-нибудь из людей впадал в ошибку, а между тем нередко случается, что после ошибки или даже преступления в человеке развивается нравственная сила и именно в то время, когда все другие силы уже оставят его».

Во время этого грустного периода Мирабо скитается всюду: он побывал в Германии, Голландии и Англии, но нигде не может успокоиться, нигде не находит приюта. Жизнь его проходит в изыскании средств существования «ото дня ко дню». Расточительный, не умея ограничивать издержек, он постоянно находится в долгах, выпутаться из которых нужно или усиленной деятельностью, или более искусным устройством своих финансовых дел. Его доходная статья – это ум, он владеет пером и головой, а главная сила его заключается в том, что он «демон невозможного». Он постоянно носится с грандиозными проектами, – которые озарят и согреют весь мир, – но нередко эти проекты до такой степени неосуществимы, что он заменяет их другими, переделывает, не утрачивая ни на минуту надежды на их осуществление. С неутомимостью паровой машины он пишет памфлеты об «ордене Цинцинната», «Вашингтоне», «графе Калиостро» и бриллиантовом ожерелье. У него много сотрудников и помощников, вроде Мовильонов и Дюмонов, деятельностью которых, при собрании разного рода материалов,

он отлично пользуется. Он пишет целые тома сочинений, но, в сущности, это те же самые памфлеты, полемизирует с Кароном Бомарше относительно парижского водопроводного общества, – Карон мечет в него свои острые стрелы, на которые он отвечает, демонически «качая горами и лесами».

Он находится в дружеских отношениях со многими людьми. Его искренность, доверчивость, искусство нравиться не покидают его. Но дружба, оказываемая дарованиям человека, а не его репутации, довольно сомнительна, и бедный, разорившийся Рикетти, не утративший еще своей прежней гордости, чувствует это и понимает как нельзя лучше. Зато дружба его с женщинами отличается более интересным характером. Он запутан в целую систему женских интриг, следующих за ним всюду. Он путешествует редко без женщины, с которой, по взаимному условию, живет год, два или более. Относительно этого громадного отдела в истории Мирабо остается только сказать, что его слабость к женщинам была велика, чудовищна и ни в каком случае не извинительна…

Старик маркиз сидит один у камина и размышляет, что выйдет наконец из этого беспутного, беспокойного и мятежного титана. Не примет, маркиз, этот титан участия во всеобщем перевороте? Он глотает формулы, знакомится с положением дел и людьми, а в дерзости, отчаянном мужестве у него недостатка нет. Старик делится с ним своими умными жизненными наблюдениями, но денег ему не дает.

Министры постоянно меняются, но как ни тасуются карты, а Мирабо все не везет. Неккера он не любит, но нет и особой ненависти между ними. Калонн спокойно слушает, как он громовым голосом ораторствует против биржевой игры, поддерживает с ним сношения, ведет переписку и пользуется первым удобным случаем, чтоб отправить его в качестве явного или дипломатического шпиона в Берлин и, таким образом, как говорится, зажать ему глотку. Великий Фридрих все еще на сцене, но уже готовится покинуть ее; тощий, морщинистый сержант мира и могучий, дюжий агитатор в изумлении смотрят друг на друга. Один только что выступает на сцену, другому приходится проститься с ней. Пребыванию Мирабо в Берлине мы обязаны многими памфлетами, из коих некоторые и до сих пор не лишены интереса.

Вообще при первом знакомстве с Мирабо как писателем и оратором вы немало бываете поражены. Вместо образного, расплывающегося в чувствах, пламенного языка, которого, по слухам, нужно было ожидать от подобного оратора, вы, к изумлению, наталкиваетесь на сжатые, точные выражения.

Видите мощь и силу, чуждую всяких прикрас, меткий, светлый взгляд на дело и неотразимую убедительность. Главную основу, по нашему крайнему разумению, всех речей Мирабо и его самого составляют искреннее убеждение, твердый, здравый ум, нравственная сила и добросовестное распоряжение этой силой. И действительно, в его умственных дарованиях, при более точных исследованиях, замечается честное и высокое направление. Он одарен могучим, практическим умом и в этом отношении имеет полное право занять видное место между даровитыми людьми всех времен. В его сочинениях заключается богатый материал, но его нужно просеять, очистить от излишнего мусора, – он слишком хорош, чтоб лежать под ним.

Его идеи и мнения имеют глубокое значение, самые выражения его отличаются меткостью и силою. «Я знаю только три средства, с помощью которых можно существовать в этом мире, – это вознаграждение за труд, нищенство или воровство». Или: «Мальбранш видел всю силу в Боге, а Неккер видит ее в Неккере». Прозвища, которыми Мирабо наделял того или другого из своих современников, стоят целого сочинения. «Грандиссон-Кромвель-Лафайет». Лучше охарактеризовать этого человека невозможно, если даже написать о нем целую книгу. Это один из удачнейших портретов Лафайета, когда-либо нарисованных.

Так как годы летят и роковая эра, «эра надежды», близится, то и сам Мирабо, чуя приближение великих событий, постоянно находится в лихорадочной деятельности. Показываясь по временам на парижском горизонте, он, подобно огненному метеору, спугнет малодушных, но, заметив, что время еще не приспело, снова скроется во мраке. Иногда памфлеты навлекают на него гнев государственных властей и вызывают крутые меры, грозят ему арестом, так что остается только бежать из Парижа. Добряк Калонн так любезен, что заранее предупреждает его о грозящей ему опасности. «В такой-то день я отдам приказ о вашем аресте, а потому постарайтесь скрыться как можно скорее». Когда весною 1787 года открылось собрание нотаблей, Мирабо расправил свои крылья и спустился в Париж и Версаль. Ему казалось, что он должен быть секретарем этого собрания, но, увы, приятель его Дюпон де Немур занял это место, – время его еще не наступило. Теперь время только разных «Криспинов-Катилин», «д'Эпременилей» и подобных животно-магнетических личностей. Тем не менее достопочтенный Талейран, остроумные герцоги, либерально настроенные знатные друзья твердо держатся убеждения, что время наступит. Итак, Мирабо, жди его…

Наконец 27 декабря 1788 года появляется давно ожидаемый королевский указ о созыве государственных чинов в мае

следующего года. Понятно, что подобное событие поднимает на ноги Мирабо, он спешит в Прованс, тамошнее собрание нотаблей, и сосредоточивает всю свою деятельность на одном пункте. Тебе стоит сделать только один шаг, титан, и, может быть, ты достигнешь цели! Громадную силу развернул Мирабо в этой борьбе, ему приходилось целые дни говорить, спорить, все ночи напролет писать памфлеты и журнальные статьи, – при этом многое переносить, сдерживать свой неукротимый нрав, отвечать молчанием на все упреки и оскорбления, чтоб не обнаружить свою слабую сторону. Искусно, неутомимо ведет он дело, – где нужно возбуждает, а где и сдерживает страсти, одним словом – действует, как истый «демон невозможного». «С неучами, жадными и дерзкими дворянами», по его словам, ему предстоял немалый труд. Мы приводим здесь небольшое извлечение из его знаменитой защитительной речи, когда большинством голосов было решено исключить его из собрания.

«Что сделал я преступного? Я желал, чтоб дворянское сословие было настолько благоразумно и уступило бы сегодня то, что завтра неизбежно отнимут у него, чтоб оно приняло также участие в славном деле и утвердило собрание трех сословий, которого так громко требует весь Прованс. Вот преступление «врага вашего спокойствия», как вы его называете! Или, может быть, вы обвиняете меня в том, что я дерзнул заявить о правах народа, а в ваших глазах дворянин, запятнавший себя подобной идеей, достоин мщения! Так знайте, что моя вина больше, чем вы думаете. Я твердо убежден, что ропщущий народ прав, его необыкновенное терпение ждет, пока гнет дойдет до крайности, чтобы решиться на сопротивление, и это сопротивление продлится недолго, и он получит полнейшее удовлетворение. Кроме того, народ не понимает, что молчанием и спокойствием можно навести страх и ужас на его врага, а отказ его требованиям внушит ему непреодолимую силу. Вот мое убеждение, – итак, казните врага спокойствия!..

А вы, мирные служители Бога, – долг ваш благословлять, а не проклинать, а вы между тем предаете меня проклятию, не попытавшись ни разу объясниться или вступить в спор со мною! И вы, «друзья спокойствия», стараетесь сделать меня ненавистным народу, меня, его единственного защитника, которого он нашел вне своего сословия. Для водворения доброго согласия вы наводняете столицу и провинцию плакардами, чтобы возмутить сельское население против городов, но, к счастью, все ваши поступки противоречат этим плакардам. Чтоб подготовить путь к примирению, повторяю я, вы протестуете против королевского указа о созыве государственных чинов, потому что он

предоставляет народу право иметь столько же депутатов, сколько имеют их два других сословия. Кроме того, вы заранее протестуете против будущего национального собрания, если оно не даст восторжествовать вашим притязаниям и не упрочит навеки ваши привилегии. О, бескорыстные «друзья спокойствия!» Я взываю к вашему благородству и требую доказать мне, чем мои слова могли оскорбить королевскую власть или права народа? Дворяне Прованса, Европа внимает вам, взвесьте хорошенько ваш ответ, а вы, служители Бога, подумайте о том, что вы делаете, – Бог слышит вас. Так как вы молчите или прикрываетесь пустым, нелепым красноречием, которым и осыпаете меня, то позвольте мне прибавить еще несколько слов.

Во всех государствах и во все времена аристократы беспощадно преследовали друзей народа, и когда, вследствие странной судьбы игры, подобный друг являлся в их кругу, то они все свои силы обращали на него, чтоб высоким положением жертвы еще более вселить ужас. Так погиб последний из Гракхов от руки патрициев. Но, получив смертельный удар, он бросил к небу горсть пыли и призывал мщение богов на главу убийц. Из этой пыли восстал Марий, – Марий, который не тем славен, что истребил кимвров, а тем, что низвергнул тиранию патрициев в Риме!»

Была распространена нелепая басня, будто бы Мирабо открыл в Марселе суконную лавку, чтоб войти в милость третьего сословия, над чем мы немало смеялись. Мысль, что Мирабо стоял за прилавком и действовал аршином, крайне забавна. Хотя нет и тени правды в этой басне, но все-таки ложь, как ложь, может долгое время держаться.

В действительности было совсем иначе. При нем находилась «гвардия», состоявшая из ста волонтеров. В Провансе тысячная толпа теснилась около его экипажа, воздух оглашался радостными криками, а многие, чтоб видеть его, «платили по два луидора за окно». Даже самый голод, случившийся в то время, он, по-видимому, утолял своим красноречием. Грозные возмущения в Марселе и Э, по случаю дороговизны хлеба, возмущения, против которых были недействительны огнестрельное оружие и губернаторы, он укрощает одним словом. Это походило на римские триумфы, если не более. Он избран депутатом в двух городах и должен отказаться от Марселя, чтоб сделать честь Э. Враги его значительно переглядываются, изумляются и, забытые им, вздыхают, но и этим людям Мирабо устраивает карьеру. Да разве, в конце концов, благосклонный читатель, чуждый всякого честолюбия, не посочувствует этому бедному смертному? Победа – вещь радостная, но представьте себе положение такого

человека, когда он наконец восторжествовал над двенадцатью геркулесовскими подвигами. Долгое время бился он с многоголовою Лернейской гидрой, и бился с ней на жизнь и смерть, – сорок тяжелых лет длился бой, но теперь он раздавил ее.

Наконец-то достигнута вершина горы. Он долго взбирался по крутым скалам, висел над зияющею пропастью, окруженный мраком, не встречая ни единого дружеского взора, и нередко самое мужество грозило ему изменить. Но он продолжал взбираться на крутизну, кровь текла из его израненных ног. Подобно Гипериону, он достиг наконец вершины и радостно потрясает сверкающим копьем. Какое богатое поприще, какое новое царство перед ним, всюду сияет утренняя заря надежды и далеко-далеко разливает свой свет! Какая чудная музыка, несущаяся как бы из недр природы, проникает душу, внезапно возродившуюся из борьбы и смерти для победы и жизни! Мы вполне уверены, что даже простой посторонний зритель плакал бы вместе с Мирабо его радостными слезами.

Но вскоре эти слезы радости превратятся в слезы скорби. Познай, честолюбивый сын Адама, что вся эта утренняя заря, вся эта музыка – не что иное, как обман. Человек нуждается в равновесии, – ему необходимо спокойствие или мир, а этим путем, как Богу известно, он не обретет его никогда. Блаженны те, которые находят спокойствие, не отыскивая его. Через каких-нибудь два года это великолепное, ярко пылавшее светило, титан Мирабо, превратится в прах и ляжет в Пантеоне великих людей, обретя наконец покой на лоне своей матери-земли. Есть люди, которых боги, по своей милости, наделяют славой, но нередко во гневе они превращают эту славу в проклятие и отраву, подтачивающие все нравственные силы человека. И действительно, если б смерть не вмешивалась в это дело или, что еще лучше, если б самая жизнь и общество не были настолько разумны и не предавали бы скорому забвению скоро преходящее светило и таким благодетельным, хотя и прискорбным, способом не тушили его, то, по всему вероятию, многие из славных мужей, а еще более многие из славных жен кончали бы свое существование в сумасшедшем доме.

Вот что 4 мая 1789 года видела г-жа Сталь из окна на главной улице Версаля, когда процессия депутатов двинулась из церкви Богоматери в церковь Св. Людовика, чтоб присутствовать при обедне и затем при открытии собрания государственных чинов. «Между дворянами, избранными в депутаты третьего сословия, заметнее всех выдавался граф Мирабо. К мнению, сложившемуся о его гениальных дарованиях, примешивалось еще тревожное

чувство, возбужденное его безнравственностью, а между тем эта самая безнравственность уменьшала то влияние, которое он производил своими изумительными дарованиями. Этого человека нетрудно было различить в толпе: своими огромными черными волосами он выделялся из толпы; казалось, сила его заключалась в них, как у Самсона. Его лицо было еще выразительнее от своего безобразия, – вся его фигура дышала какой-то беспорядочной мощью, но мощью, свойственной только одному народному трибуну».

Здесь не место писать историю Мирабо в первые месяцы революции, но она, во всяком случае, заслуживает описания. Конституционное собрание с ропотом выслушало его имя, когда оно впервые было провозглашено, не умея даже объяснить причину этого ропота. А между тем человек, имя которого они встретили с недоверием, был возвышенный конституционалист, без которого у них не было бы и конституции. Его деятельность в этом эпизоде всемирной истории крайне замечательна. Он был тут единственной силой, не имевшею соперников, и благодаря этой силе ему удалось спасти существование конституционного собрания именно в один из тех моментов, когда решается судьба целых столетий.

Королевская декларация от двадцать третьего июня была обнародована: в ней упоминалось о военной силе и приказывалось собранию разойтись. Бастилия и эшафот, может быть, ожидали ослушников. Мирабо отказывается повиноваться королевскому распоряжению, возвышает свой голос, чтоб воодушевить пораженное паническим страхом собрание. Обер-церемониймейстер де Брезе входит в залу и повторяет приказ короля разойтись. «Господа, – говорит де Брезе, – вы слышали приказ короля?» В ответ на это Мирабо сказал вечно памятные слова: «Да, мы слышали заученные фразы короля, а так как вы не можете быть переводчиком его мнений, не имеете ни места, ни голоса в нашем собрании, то и не имеете никакого права напоминать нам о приказе. Ступайте и скажите тем, которые вас прислали сюда, что мы здесь по воле народа и нас можно выгнать только штыками».

А между тем этот великий момент сам по себе принадлежит к числу его менее замечательных подвигов. Он видел в революции материал и силу, а не формулу. Когда бесполезные Сиэсы и конституционные педанты с большими усилиями и не меньшим шумом созидали свою величественную бумажную конституцию, длившуюся одиннадцать месяцев, – этот человек обращал внимание не на фразы и «общественные договоры», а на вещи и людей. Он знал, что делать, и тут же приступал к делу. Он

выгоняет за дверь Брезе, считая это необходимым. «Мария-Антуанетта в восторге от него», когда он является к ней, он человек революции, пока жив, вожак ее и, по нашему мнению, только с жизнью утратит это достоинство. В нем одном заключалась способность быть вожаком, потому что разве не видели мы, как тщательно готовила его судьба к делу, которое теперь в его руках? Желчный «друг человечества», знал ли ты, что делал, когда ссылал своего сына на остров Ре и в замок Иф, стараясь убить в нем собственное сознание и превратить его в свое другое «я»? Нам остается упомянуть еще, что маркиз пережил победу сына над судьбой и людьми и радовался этому. Сидя у камина в Аржантале, близ Парижа, он до последней минуты продолжал производить свои меткие наблюдения над жизнью и умер за три дня до взятия Бастилии, именно в то время, когда совершился «всеобщий переворот».

Но наконец и двадцать три месяца прошли. Г-жа Сталь еще 4 мая 1789 года видела римского трибуна и Самсона с его длинными волосами, а 4 апреля 1793 года уже потянулась погребальная процессия, занявшая чуть не целую географическую милю. Министры, сенаторы, национальная гвардия и весь Париж, – факелы, печальные звуки труб и барабанов, людские слезы и скорбь целого народа, скорбь невиданная, беспримерная, провожали Мирабо в последнее жилище. Прекратилась его деятельность, и он покоится с первобытными гигантами.

Роберт Бернс[51]

При наших социальных условиях ничего нет необыкновенного, если гениальный человек, подобно Батлеру[52], «попросит хлеба и вместо него получит камень», потому что, несмотря на наше великое правило спроса и предложения, величайшего, совершенного дарования не оценивают люди. Изобретатель ткацкого станка может быть уверен, что он еще при жизни получит свою награду, автору же какой-нибудь оригинальной поэмы придется убедиться в противном. Не знаем, бросается ли эта несправедливость еще резче в глаза оттого, что воздаяние обыкновенно совершается после смерти. Роберт Бернс, по закону природы, мог бы жить еще долго, но его кратковременная жизнь была растрачена в тяжком труде и бедности, и он умер во цвете лет, жалкий и покинутый. Но теперь над прахом его возвышается красивый мавзолей, великолепные памятники воздвигнуты в честь него и в других местах, улица, где он выжил горькие дни, названа его именем, знаменитейшие литераторы гордятся быть его комментаторами и поклонниками, а перед нами лежит его биография, по счету уже шестая.

М-р Локхарт считает необходимым оправдаться перед публикой за эту новую биографическую попытку, и мы надеемся, что читатели оправдают его или, в худшем случае, осудят выполнение предпринятой им задачи, но никак не выбор ее. И действительно, жизнь Бернса не такая задача, которую легко решить и бросить. Напротив, отодвинутая от нас временем, она не только не утрачивает своего достоинства, но еще более приобретает его. Говорится, что никто не может быть героем перед своим слугой, – и это справедливо; но вина в этом деле заключается столько же в слуге, сколько и в герое, потому что для простых глаз, как известно, многие вещи имеют только тогда значение, когда они не отдалены. Людям чрезвычайно трудно убедиться, что человек, простой человек, бьющийся в поте лица своего о бок с ними из-за жалкого существования, создан из лучшего материала, чем они. Представим себе, что какой-нибудь собутыльник сэра Томаса Льюси и сосед Джона, утомившись постоянно охранять свою дичь и улучив свободную минуту, написали бы нам биографию Шекспира! Вероятно, в их сочинении не было бы и речи о «Гамлете» и «Буре». Дело бы касалось шерстяной торговли, охотников, стреляющих на чужой земле, законов о пасквилях и бродягах, затем приведен был бы рассказ, как пойманный охотник ломался и корчил из себя актера, а сэр Томас и мистер Джон, имея в груди христианское сердце, не

хотели доводить его до крайности. Поэтому мы полагаем, что пока товарищи земного странствия Бернса, разные достопочтенные акцизные надсмотрщики, думфрийские аристократы, сквайры и графы, эйрские литераторы, с которыми он приходил в соприкосновение, не сделаются невидимы во мраке прошедшего, до тех пор будет трудно верно судить как о нем, так и о том, что он действительно сделал в XVIII столетии для своей родины и мира. Трудно, говорим мы, но небезынтересно для биографов, которых не раз повторенные попытки, может быть, наконец познакомят нас ближе с жизнью и деятельностью поэта.

Его прежние биографы, без сомнения, сделали кое-что, но труд их не имеет для нас большого подспорья. Д-р Керри и Уокер ошибочно взглянули на крайне важный пункт, именно на отношение их личности и мира к поэту и на способ, усвоенный им, анализировать и говорить о нем. Д-р Керри, по-видимому, искренно любит поэта, может быть, более, чем он признается в том своим читателям или самому себе, а между тем он относится к нему с тоном покровительства, как будто изящная публика найдет странным и предосудительным, что он, ученый муж и джентльмен, оказывает такую честь мужику. Но при всем этом мы полагаем, что его ошибочный взгляд происходит не от недостатка любви, а от недостатка убеждения, и жалеем, что первый и благомыслящий из биографов нашего поэта не владел более смелым и широким взглядом. Уокер впадает в еще большую ошибку, и оба, впрочем, ошибаются одинаково, когда подносят нам целый каталог его различных предполагаемых качеств, добродетелей и пороков, вместо того чтоб представить верное изображение характера, сложившегося при этих качествах, – результат всякого человеческого существования. Это не значит рисовать портрет, а измерять длину и ширину некоторых черт и их объем выражать в арифметических цифрах. Да и этого, впрочем, здесь нет, потому что нам прежде необходимо узнать, с помощью какой сноровки или инструмента следует измерять ум.

Локхарт, к счастью, сумел избежать этих ошибок. Он смотрит на Бернса как на великого и замечательного человека, каким признал его теперь общий голос. При изображении его личности он отрешился от метода общего обзора ее, но анализирует характеристические случаи, привычки, поступки, выражение – одним словом, те явления, которые показывают нам всего человека, разоблачают его деятельность и жизнь посреди своих собратьев. Поэтому книга Локхарта, при всех ее недостатках, дает нам более понятия об истинном характере Бернса, чем прежние биографии, хотя мы и ожидали более компетентного

произведения от такого даровитого автора. Но во всяком случае, этот труд отличается ясностью, последовательностью, искренностью. Он проникнут духом терпимости и примирения; комплименты и похвалы расточаются щедрой рукой, не минуют ни маленьких, ни великих людей, и, как выражается Моррис Биркбек об обществе в американских лесах, «вежливость, свойственная образованному обществу, ни на минуту не упускалась из виду». Но в книге Локхарта встречаются вещи еще лучше этих, и мы можем смело засвидетельствовать, что она не только с приятностью прочитается один раз, но ее без труда можно прочесть и в другой раз.

Но тем не менее мы все-таки далеки от мнения, чтоб этой книгой была наконец исчерпана биография Бернса. Мы этим не намекаем на недостаточность содержащихся в ней фактов, но указываем только на неудовлетворительное распоряжение этими фактами как главную цель всякой биографии. Наш взгляд на этот предмет, может быть, покажется несколько преувеличенным, но если человек действительно достоин биографии, которая сохранила бы его память для человечества, то мы держимся того мнения, что читателю необходимо познакомиться со всеми внутренними стремлениями и оттенками его характера.

Как при его индивидуальном положении представлялись его уму мир и человеческая жизнь? Как влияли на него внешние условия, какое влияние он сам производил на них? С каким успехом боролся он с ними, какие муки и скорби сопровождали его поражение? Одним словом, каким путем, какими средствами действовало влияние общества на него и каким путем и какими средствами он, в свою очередь, влиял на общество? Кто на все эти вопросы относительно одного человека ответит верно и обстоятельно, тот, полагаем мы, в состоянии одарить нас образцовой биографией. Понятно, что немногие люди заслуживают подобного изучения, большинство биографий пишутся собственно для удовлетворения невинного любопытства, читаются и забываются, как биографии, не отвечающие вышесказанным условиям. Бернс, если не ошибаемся, принадлежал к числу этих немногих людей, но, к сожалению, не удостоился подобного изучения, или по крайней мере оно не дало желаемого результата. Мы вполне убеждены, что наши собственные заметки о жизни этого человека крайне скудны и недостаточны, но делимся ими охотно и надеемся, что они благосклонно будут приняты теми, для которых назначены.

Бернс вначале казался миру каким-то чудом. Его встретили громким, нелепым, шумным восторгом, но затем этот восторг перешел в порицание и пренебрежение, пока преждевременная и

жалкая смерть не возбудила вновь к нему энтузиазма, который, так как уже нечего было делать и оставалось только говорить, и не остывает до нашего времени. Положим, что и «девять дней» давно прошли, но все-таки продолжительность этого шума как нельзя более доказывает, что Бернс был не совсем обыкновенным чудом. Поэтому если в продолжение многих лет он исключительно опирался на свои внутренние заслуги, которые, положим, уже теперь для нас утрачены, – всякий беспристрастный судья признает его не только истинным английским поэтом, но и замечательнейшим из английских людей XVIII столетия.

Не нужно обращать внимания, что он мало сделал. Он сделал много, если мы рассмотрим, где и как. Если дело, совершенное им, было невелико, то мы должны вспомнить, что ему самому приходилось изобретать материал. Металл, которым он работал, лежал в пустынной болотной почве, где только его глаз мог подметить присутствие этого металла. И кроме того, он должен был собственной рукой делать орудие для отделки его, потому что жил во мраке, без поддержки и образования, без образца или пользуясь образцом самого низшего сорта. Для образованного человека открыт необъятный арсенал и складочный магазин, наполненный всевозможным оружием и машинами, изобретенными человеческим умом с незапамятных времен. Здесь он работает с той силой, которая им заимствована еще от прошедших веков. Как различно, напротив, положение того, который стоит вне этого арсенала и чувствует, что его нужно взять штурмом – или вход туда навеки останется для него закрытым. Средства его ничтожны и грубы, самое дело, совершенное им, не есть еще мерило его силы. Карлик, стоя за паровой машиной, может сдвинуть горы, но никакой карлик не сдвинет их заступом; подобный труд под силу только одному титану.

Таким титаном является перед нами Бернс. Рожденный в прозаическом веке, какой когда-либо видела Англия, и при самых неблагоприятных условиях. Ум его, желая даже что-нибудь совершить, принужден был совершать это под гнетом постоянного физического труда, бедности, предчувствия еще худших зол, без всякой поддержки, образования, кроме образования, живущего в хижине бедняка, принимая за образчик красоты вирши какого-нибудь Фергюсона Рамсея, – он все-таки не погиб. А сквозь туман этого мрачного царства его рысий глаз умел подметить истинные отношения мира и человеческой жизни, развить свои умственные способности и приобрести умственную опытность. Увлекаемый гибким умом, он старается обнять все и подносит нам с гордой скромностью дар, которого мир не забудет. Если прибавить к

этому его темное, тяжелое детство и юность, его преждевременную смерть, – он умер в 37 лет, – то не покажется странным, что его гений, не успев развиться в полной силе, создал немного. Увы! Его солнце сияло как бы во время бури, а смерть уже набросила на него свою тень в самый полдень! Гению Бернса, окруженному подобным мраком, никогда не удалось видеть мира в светлом, лучезарном блеске, и только по временам слабый луч прорезывал тучи, окрашивал их радужными цветами славы и грустного величия, на которое люди смотрели молча, с изумлением и слезами.

Мы стараемся, по возможности, воздержаться от преувеличенных похвал, потому что читатели наши требуют от нас не удивления, а фактов, а между тем нелегко это сделать. Мы любим Бернса, сочувствуем ему, но любовь и сочувствие способны на преувеличение. Критика, как иные полагают, должна быть делом ума хладнокровного. Мы не вполне согласны с этим мнением, но, во всяком случае, не можем исключительно относиться к Бернсу как критики. Хотя его поэзия оригинальна и правдива, но он все-таки скорее интересует нас не как поэт, а как человек. Ему нередко советовали написать трагедию. Времени и средств недоставало ему на это, а между тем в продолжение всей своей жизни он играл трагедию, и трагедию самую потрясающую. Мы не думаем, чтоб миру случалось видеть более грустное зрелище. Мы сомневаемся, чтоб сам Наполеон, томившийся на скале среди пустынного океана, мог возбуждать в мыслящем человеке более сострадания и ужаса, чем этот благородный и кроткий ум, истощавший свои силы в бесплодной борьбе с теснившими его со всех сторон пошлыми препятствиями, пока наконец смерть не указала ему выхода.

Завоеватели принадлежат к тому сорту людей, без которых, в большинстве случаев, мир мог бы легко обойтись. Да и самое свойство ума этих людей, их гордость, не внушающая сочувствия, энтузиазм, проникнутый себялюбием, не может возбудить горячей любви к ним. Мы смотрим на них с изумлением, а падение их вселяет в нас жалость и страх, как падение с какой-нибудь пирамиды. Но истинный поэт, одаренный сильным умом и в душе которого живет «вечная мелодия», – это драгоценный дар, когда-либо выпадающий на долю миру. Подобный человек отражает в себе все чистые, благородные побуждения, свойственные нам. Его жизнь для нас благотворна, поучительна, а смерть его мы оплакиваем как смерть нашего благодетеля, наставника, крепко любившего нас.

Подобным образом наградила природа Роберта Бернса, но с изумительным равнодушием бросила его на произвол судьбы, как

незначащую вещь, которая была уже исковеркана и разбита вдребезги прежде, нежели мы узнали ее. Злополучному Бернсу дана была сила возвысить и облагородить любую человеческую жизнь, но ему отказано было в способности обставить благоразумно свою собственную. Самая судьба, его ошибки и ошибки других, все соединилось, чтобы погубить его, а высокий ум, не успев развиться, заглох, блестящие способности увяли при самом расцвете, и он умер, едва только начав жить. А между тем какой любовью согрета его душа, с каким сочувствием относится он к природе, умея отыскивать красоту и глубокий смысл в самых, по-видимому, незначительных ее явлениях. Маргаритка не падает не замеченная под его плугом; он заботливо откладывает в сторону нечаянно разоренное гнездо полевой мыши, «трусливого серенького зверька, которому стоило столько хлопот сложить из дерна этот свод». «Суровый лик зимы» восхищает его; он с глубоким чувством любуется этой возвышенной картиной запустения, но вой бури еще сильнее поражает его слух. Он любит странствовать в лесу, когда ветер качает деревьями, и этот шум возносит его мысли к тому, кто парит на «крыльях ветра».

Это была истинная поэтическая душа, до которой было достаточно коснуться, чтобы извлечь из нее чудные звуки. Но главное его достоинство – это отношение к своим собратьям-людям. Какая теплая, всеобъемлющая любовь к человечеству, сильное, безграничное сочувствие, великодушное пристрастие к любимому существу. Его мужик, друг, темно-русая девушка кажутся ему не обыкновенными и ничтожными людьми, но героем и царицей, на которых он смотрит как на величайших земных существ. Суровые сцены шотландской жизни не являются ему в аркадском освещении, но среди дыма и грязи жесткой действительности, которые ему гораздо привлекательнее. Бедность его спутница, но неразлучны с ним также любовь и бодрость души. Простые чувства, благородство, живущие под соломенной кровлей, дороги ему и достойны его любви.

Таким образом, над самыми низшими сферами человеческого существования он распространяет сияние своей собственной души, и они, то укрываясь в тени, то освещаемые блеском солнца, достигают красоты, которой не удается подметить людям, стоящим и на высших ступенях. При этом он сознает свое собственное достоинство, и это сознание нередко переходит в гордость, в благородную гордость, которая умеет только защищаться, а не нападать, – в нем живет не холодное, недоверчивое чувство, а открытое, свободное и общительное. Этот мужик-поэт смотрит совершенным королем, лишенным престола, хотя судьба бросила его в круг меньших братьев, но он считает

себя равным по рождению с великими мира сего. А между тем он не добивается никаких почестей; богатство и знатное происхождение в глазах его не имеют никакого смысла; его взор горит огнем, против которого бессильно всякое презрительное обхождение. При всех невзгодах и бедствиях он ни на минуту не забывает величия поэзии и человечности. Но несмотря на все свое превосходство над обыкновенными людьми, не чуждается их, сочувствует их интересам и требует у них любви и дружбы. Даже в дни самого мрачного отчаяния этот гордый человек ищет поддержки в дружбе, нередко перед недостойными людьми раскрывает свою душу и, обливаясь слезами, прижимает к своему горячему сердцу сердце, знающее только дружбу по имени. А между тем он не чужд был проницательности, умел разгадать притворство, хотя в то же время был крайне доверчив.

И таким явился перед нами этот мужик с душой, подобной эоловой арфе, струны которой, тронутые обыкновенным ветром, звучали мелодиями, полными выражения. И для такого человека свет не сумел придумать лучшего дела, как ссориться с контрабандистами и целовальниками, высчитывать акциз и ревизовать пивные бочки. И на такой утомительный труд был растрачен могучий дух, а между тем пройдут целые сотни лет, пока нам будет дан другой подобный, чтоб мы растратили его и в другой раз.

Все, что осталось от Бернса, заключается в его произведениях. Но они составляют только скудную, малую частицу его души. Слабые проблески гения, не успевшего развиться окончательно, так как для совершенного развития требуется образование, свободное время, истинный труд, продолжительная жизнь, а всего этого ему недоставало. Все его стихотворения, за небольшими исключениями, написаны случайно, без всякого заранее обдуманного плана, и выражают страсть, мысль или прихоть, занимавшие его в минуту творчества. Никогда не удавалось ему обнять предмет со всех сторон, употребить на него все свои силы, растопить его в огне своего гения и придать ему совершенную форму. Но тем не менее ни один строгий любитель поэзии не пройдет мимо стихотворений Бернса, несмотря на все их недостатки и незаконченность, чтоб не обратить на них внимания. Вероятно, владеют же они каким-нибудь прочным качеством, потому что спустя пятьдесят лет, после всевозможных изменений в литературных вкусах, они до сих пор жадно читаются не только в кругу завзятых любителей литературы, но и в кругу людей неразвитых, обыкновенно читающих мало и почти вовсе не заглядывающих в стихотворения. Причины такой необычайной популярности, простирающейся буквально от

дворца до хижины и проникшей во все страны, где только слышится английский язык, достойны тщательного исследования, которое, по всему вероятию, приведет к тому убеждению, что в этих произведениях заключаются особые преимущества, – но в чем состоят эти преимущества?

Ответа на этот вопрос придется искать недалеко. Преимущество произведений Бернса выходит из ряда вон: ни в области поэзии, ни прозы не отыщешь ничего подобного, а между тем нет ничего легче подметить его, – это его искренность и правдивость. В его произведениях нет вымышленных радостей или страданий, приторной сентиментальности, натянутой мысли или чувства. Изображаемая им страсть действительно пылает в любящем сердце, высказанная им идея – плод его собственного разумения. Он пишет не понаслышке, но по собственным наблюдениям и опыту. Он изображает ту самую среду, в которой жил и трудился. Этой среде, несмотря на ее грубость и скромность, присущи прекрасное чувство и благородная мысль, возбуждающие и ободряющие его душу. Так он высказывается не из пустого тщеславия или интереса, а оттого, что его сердце слишком переполнено, чтобы молчать. И он выражает это мелодическими «родными звуками», в чем именно и заключается оригинальная прелесть его произведений. Вот тайна, которая заставляет читать писателя и не отрываться от его созданий: писатель, желающий тронуть и убедить других, должен прежде всего сам убедиться и проникнуться чувством.

Каждому поэту, каждому писателю мы можем сказать: будь правдив, если хочешь, чтоб мы тебе верили. Пусть человек только выразит правдивую мысль, искреннее чувство и действительное состояние своего сердца, и другие люди – так удивительно связаны мы взаимною симпатией – будут и должны его уважать. По развитию и понятиям мы можем стоять выше или ниже оратора. Но в обоих случаях его слова, если они искренно и справедливо высказаны, найдут отзвук в нашей душе. Потому, несмотря на все случайные, внешние или внутренние различия, человеческому сердцу также присуще общее сходство, как и человеческому лицу. Этот принцип, по-видимому, весьма прост, и в том еще не велика заслуга Бернса, что он создал его. Но дело не в принципе, а в практическом применении его, что и составляет величайшую трудность, с которою приходится бороться всем поэтам и которую редкий одолевает. Ум, неспособный отличать лжи от истины, сердце, неспособное любить при всех опасностях и ненавидеть при всех соблазнах, – гибельны для писателя. Если к этим недостаткам присоединить еще желание отличиться, сделаться оригинальным, то в конце концов на сцену выступит

аффектация, такой же бич для литературы, каким бичом для нравственности оказывается лицемерие. Этого недостатка не чужды даже величайшие из писателей. Страстное желание отличиться нередко удовлетворяется обманчивым успехом, так что тот, от кого можно было ожидать многого, является с произведениями крайне несовершенными.

Байрон, например, был необыкновенный человек, но если взглянуть на его поэзию, то окажется, что она далеко не безукоризненна. Вообще говоря, мы должны заметить, что в ней недостает правдивости. Он освежает нас не божественным источником, а обыкновенными крепкими напитками, раздражающими желудок, но нередко поселяющими в человеке отвращение к ним или даже болезнь. Разве его Чайльд-Гарольды и Гяуры действительные люди, т. е. поэтически возможные и мыслимые люди? Не кажутся ли все эти характеры, не кажется ли самый характер их автора, нередко проглядывающий в них, неестественными, невозможными в действительной жизни, но изображающими нечто, долженствующее казаться грандиознее самой природы? И действительно, это бурное существование, вулканический героизм, сверхчеловеческое презрение и мрачное отчаяние, сопровождаемое страшными взглядами и скрежетом зубов, не породят ли более на неистовое беснование актера в какой-нибудь жалкой трагедии, продолжающейся три часа кряду, чем на действия человека в серьезной игре жизни, долженствующей продлиться семьдесят лет? На наш взгляд, все лучшие его произведения отличаются этим ложным и театральным характером. Может быть, один «Дон Жуан», в особенности его последние песни, представляет единственно правдивое произведение, написанное им, единственное произведение, где он является тем, чем он действительно был. Изображаемый им предмет так интересует его, что он на время забывает самого себя. А между тем Байрон ненавидел этот порок, и мы вполне верим, что он всей душой презирал его и на словах вел с ним постоянную войну.

Даже великим умам трудно усвоить себе первую потребность, по-видимому, простейшую из всех, именно потребность «читать книгу своей совести верно и без произвольных и умышленных ошибок». Мы не знаем поэта более восприимчивого, как Бернс, а между тем он вполне чужд аффектации и до последней минуты остается ей чуждым. Он честный человек и честный писатель. Как в счастье, так и в горе, во время своего величия или падения, он постоянно прост, ясен и правдив и сияет только в лучах своего собственного блеска. Мы видим в этом великую добродетель, начало и корень всех литературных и нравственных

добродетелей.

Впрочем, нужно заметить, что мы здесь говорим только о стихотворениях Бернса – произведениях, которые не могли препятствовать или задерживать его вдохновение. Большая часть его писем и других прозаических отрывков ни в каком случае не заслуживают этой похвалы. Они не отличаются уже тем естественным, правдивым характером, но в них, напротив, не только все натянуто, но даже ложно и извращено. Самый слог напыщен, а изысканные высокопарные выражения составляют даже резкий контраст с его слабыми стихотворениями, которые все-таки не лишены некоторой энергии и грубой простоты. Таким образом, выходит, что нет, по-видимому, человека, который бы не страдал аффектацией. Сам Шекспир и тот нередко впадает в эту крайность.

Но и к этим письмам Бернса, если придерживаться строгой справедливости, следует отнестись снисходительно, во-первых, потому, что он не вполне усвоил себе язык, на котором писал. Хотя слог его по временам и отличается оригинальностью, но он не владеет до такой степени английской прозой, как владеет он шотландским стихом, его прозе недостает ни огня, ни глубокого чувства. В письмах этих виден человек, силящийся что-то выразить, а между тем у него нет для этого подходящего органа. Во-вторых, Бернс заслуживает еще снисхождения вследствие своего особенного общественного положения. Его корреспонденты состояли большею частью из людей, отношения которых к себе он хорошенько не уяснил. Поэтому к одним он относится недоверчиво и враждебно, другим же, напротив, льстит, причем ударяется в такой слог, который, по его мнению, может им понравиться. Но во всяком случае, мы не должны забывать, что эти промахи в его письмах составляют не правило, а исключение. Когда же он переписывается с близкими друзьями и в своих письмах затрагивает действительные интересы, его слог отличается простотой, энергией, выразительностью, даже изяществом. Письма его к миссис Данлоп в особенности превосходны.

Но возвратимся к его поэтическим произведениям. Кроме искреннего чувства, он обладает еще другой оригинальной способностью – усваивать интерес ко всем предметам, которых он касается. Обыкновенный поэт, как и обыкновенный человек, постоянно ищет во внешних обстоятельствах поддержку, которую он может найти только в самом себе. В том, что ему близко знакомо, он не признает никакой формы или прелести. Родина представляется ему не поэтической, а прозаической.

По его мнению, поэзия обитает в каком-то прошедшем,

далеком, условно-героическом мире и если б судьба занесла его в этот мир, то он был бы счастлив. Отсюда происходит бесчисленное количество романов, окрашенных в розовый цвет, и героических поэм, действие которых происходит не на земле, а скорее около луны. Отсюда – наши девы солнца и рыцари креста, коварные сарацины в чалмах, медно-красные вожди и другие свирепые личности, взятые из героических времен или героических стран и постоянно фигурирующие в наших поэтических произведениях. Но да будет мир над ними!

А все-таки недурно бы сказать речь поэтам, которую сказал людям великий моралист своего века, именно речь «об обязанности оставаться дома». Пусть они убедятся, что героический век и героические страны им немного помогут. Их жизнь привлекает нас не потому, что она лучше и благороднее, но вследствие того, что она отлична от нашей, – да и это преимущество, по нашему мнению, преходящее. Разве наш собственный век также не сделается древним, разве он не усвоит себе также прародительского оригинального костюма и не будет составлять контраста с прошедшими веками, а станет с ними на одну ступень? Интересует ли нас Гомер потому, что он писал о событиях, случившихся за двести лет до его рождения, или потому, что он описывал то, что происходит в Божием мире и в человеческом сердце и что будет происходить через тридцать веков? Пусть наши поэты обратят внимание, действительно ли их чувства прекраснее, правдивее, а взгляд их глубже, чем у других людей. Если это так, то им нечего бояться, будь их сюжет даже самый скромный, если же нет, то им придется только рассчитывать на эфемерный успех, хотя сюжет их будет один из высочайших.

Мы полагаем, что поэту нечего далеко искать сюжета для своих произведений. Элементы его искусства заключаются в нем и вокруг него. Для него идеальный мир не отделен от реального, но заключен в нем же, – да он для того и поэт, что может подметить его здесь. Всюду, где есть небо над ним и мир вокруг него, там поэт на своем месте. Потому и здесь существует человеческая жизнь, с ее бесконечными желаниями и крохотными событиями, вечно тщеславными, вечно новыми стремлениями, страхом и надеждой, таинственностью, полной мрака и света, присущей каждому веку или стране с тех пор, как начал жить первый человек. Разве каждое смертное ложе, будь оно хоть последнего мужика, не есть пятый акт трагедии? Разве любовь и браки до того устарели, что у нас не может быть и комедии? Разве, наконец, человек сделался вдруг так серьезен, что всякий смех покинул его? Жизнь и человеческая природа все то же, какие

были и какие будут. Но поэтому необходим глаз, чтобы видеть, сердце, чтобы понимать, а иначе жизнь не будет иметь для него никакого значения. А если она не имеет для него значения, то он не поэт и сам Дельфийский оракул не сделает его поэтом.

В этом отношении Бернс, хотя его и нельзя назвать абсолютно великим поэтом, проявляет свои способности, свой оригинальный гений лучше, чем если б он оставил нам большее количество произведений, чем то, которым мы владеем. Он по крайней мере является поэтом, как бы созданным самой природой, а природа, в сущности, и есть главная сила, создающая поэтов. Нам нередко приходится слышать, что те или другие внешние условия необходимы, чтоб быть поэтом. Ему необходима некоторая дрессировка, он, например, должен изучать старинных драматургов и этим способом познакомиться с поэтическим языком, как будто поэзия заключается в языке, а не в сердце. Другие, напротив, утверждают, что поэт должен родиться в известном сословии и находиться на короткой ноге с высшим обществом, так как ему необходимо видеть свет. Относительно последнего условия следует заметить, что это дело далеко не трудное, если у него есть глаза, чтобы видеть. Без глаз, разумеется, подобная задача была бы нелегка: слепой может объехать весь мир и ничего не заметить. Но к счастью, каждый поэт родится в свете и может глядеть на него охотно или неохотно каждый день и каждый час своей жизни. Таинственный механизм человеческого сердца, истинный свет и непроницаемый мрак человеческой судьбы можно встретить не только в шумных столицах и салонах, но во всякой хижине и землянке, где только ютится человек. Разве зачатки всех человеческих добродетелей и пороков, страсти Борджиа и Лютера не изображены в слабых или сильных чертах на совести каждого человека, если он только честно анализировал себя?

Но иногда к злополучному поэту относятся с еще более жесткими требованиями. Ему намекают, что ему следовало бы родиться по крайней мере двести лет назад, потому что поэзия около этого времени покинула землю и теперь немыслима. Подобное убеждение, как паутина, охватило всю литературную ниву, но оно не помешало развитию растения, а Шекспир или Бернс, вступая на эту ниву, молча смахивали насевшую паутину. Разве гений не представляется невозможностью до тех пор, пока не проявит свою силу? Зачем зовем мы его оригинальным и новым гением, когда мы знаем, где находится его мрамор и какое здание он намерен из него выстроить? Материала вдоволь, да работника нет; не темнота мешает нам видеть, а плохой глаз. Жизнь шотландского поселянина была крайне жалка и груба,

пока Бернс не признал ее человеческой жизнью и не придал ей значения в глазах всех людей. Тысячи битв остаются невоспетыми, но «раненый заяц» не погиб для потомства; мы проникаемся невольно сожалением при виде его безмолвной предсмертной борьбы, потому что здесь был поэт. Наш «вечер всех святых» чуть ли не со времен друидов обыкновенно был обставлен суеверным страхом или диким смехом, и ни одному Теокриту не приходило в голову, что в нем заключается материал для шотландской идиллии, пока не явился Бернс. Мы еще повторяем: дайте нам истинного поэта, окружите его какими хотите условиями, и у нас в истинной поэзии недостатка не будет.

Кроме поэтического чувства, все произведения Бернса проникнуты природной, оригинальной силой, напоминающею зеленые поля и дикие горы; они дышат жизнью, в них выражается человек, стоящий близко к природе. Вместе с силой они проникнуты нежным чувством, вылившимся из сердца без всякого насилия. Бернс то трогает, то воспламеняет вашу душу, в нем вместе с мужеством и страстным огнем героя соединяется кротость, трепет, сострадание женщины. Ему доступны слезы, и пожирающее пламя страсти таится в его груди, как таится молния в туче. Он чутко прислушивается к каждому звуку человеческого чувства: пошлое и возвышенное, грустное, смешное и радостное – ничто не ускользает от этой «нежной и всеобъемлющей души». При этом с какой дикой, быстрой силой он овладевает своим предметом, какой бы он ни был, каким смелым, верным взглядом обнимает он всю картину, освещая малейшую черту, схватывая предмет во всех его мельчайших подробностях и ни разу не уклоняясь на ложный путь. Если нужно доискаться истины, то никакая софистика, никакая узкая логика не в состоянии остановить его. С энергией и уверенностью проникает он в самую суть вопроса и произносит свой приговор с такой выразительностью, которую забыть невозможно. Идет ли дело об описании, изображении видимого предмета? Ни один поэт не владеет такой кистью, как Бернс. Он с первого взгляда схватывает характеристические черты, – два, три штриха, и портрет готов, портрет, отличающийся поразительным сходством, несмотря на грубый язык и нередко неуклюжий стих художника. Можно сказать, что Бернс чертит свои произведения углем, а между тем рисунки самого Ретша едва ли отличаются такой выразительностью и точностью.

Ясность взгляда мы назвали основой всякого таланта, потому что, не видя предмета, мы не имеем возможности понять и оценить его по достоинству, дать ему место в нашем воображении

и изобразить его согласно нашему внутреннему чувству. А между тем само по себе это еще не составляет особого преимущества, оно может быть по плечу как великому, так и самому обыкновенному таланту. Гомер в этом отношении превосходит всех поэтов, но, странное дело, – Ричардсон и Дефо разве немногим уступают ему. Таким образом, это качество собственно принадлежность так называемого живого ума и вовсе не намекает на другие высшие дарования, заключающиеся в человеке. В приведенных нами трех образцах это качество соединено с многословием. Их описания слишком подробны и растянуты. У Гомера еще прорывается огонь, хотя по временам и как бы случайно, у Дефо же и Ричардсона нет и следов этого огня. Бернс, напротив, отличается ясностью и вместе с тем непоколебимой силой мысли. Силу его мысли подтверждают ясно, хотя и не вполне, выражения, встречающиеся в его стихотворениях. У кого найдете вы более метких слов, метких по их пламенной энергии, убедительности и точности. Иногда одна фраза рисует целый предмет, целую сцену.

И действительно, эта сила руководила всем умом Бернса, она проникает все его суждения, чувства. Профессор Стюарт говорит о нем с некоторым удивлением: «Все умственные дарования Бернса, насколько я могу судить, были одинаковой силы. И его страсть к поэзии была скорее результатом его восторженной и страстной души, чем его гения, который исключительно был создан для этого рода умственной деятельности. Судя по его разговору, можно было заключить, что он был бы способен отличаться на каком угодно поприще». Но это, если мы не ошибаемся, было всегда особенной и истинной принадлежностью действительно поэтического дарования. Поэзия, за исключением тех случаев, где она является только тупоумной, слезливой чувствительностью, не составляет отдельной способности, которую можно приложить к другим способностям или отнять от них, но скорее выражает результат их общей гармонии и полноты. Чувство, дарования, присущие поэту, присущи также в больших или меньших размерах каждой человеческой душе. Фантазия, поражающая ужасом в Дантовом «Аде», та же самая способность, только в слабейшей степени, которая произвела на свет этот очерк. Поэт потому с такой силой говорит людям, что он во всяком отношении более человек, чем они.

Шекспир, как справедливо было замечено, высказал в своих трагедиях ум, достойный править государствами. Относительно философского развития ума Бернса мы можем всего менее судить. Развитие это, по-видимому, должно было ограничиться самыми скромными условиями. Философское учение ему было незнакомо,

и только усиленным трудом и на короткое время удавалось ему проникать в область великих идей. Но тем не менее в его произведениях заметны если не ясные доказательства, то некоторые намеки на это развитие. Мы видим в них неудержимую, гигантскую, хотя чуждую образования, силу и вполне понимаем, отчего в разговорах своим верным пониманием жизни и людей он поражал удивлением лучших мыслителей своего века и родины.

Умственные дарования Бернса, кроме силы, отличаются еще изяществом. Даже самые деликатные общественные отношения не ускользали от его взора, – они были родственны и близки его сердцу. Логика сената и форума неизбежна, но не всегда достаточна, – высшая истина нередко ускользает от ее внимания. Логика действует словами, а «высшее», было сказано, нельзя выразить словами. Мы имеем полное основание верить, что восприимчивое, нежное, хотя неразвитое чувство таилось в Бернсе и к этой высшей истине. Стюарт «удивлялся», что Бернс составил себе верное понятие о социальной теории, но мы думаем, что вещи более возвышенные, чем социальные теории, были ему давно знакомы. Прислушаемся, например, к следующему рассуждению.

«Мы ничего не знаем, – пишет он, – об устройстве нашей души, поэтому и не можем объяснить ту прихоть, вследствие которой нам доставляют удовольствие вещи, не производящие никакого впечатления на других людей. У меня весной бывают любимые цветы, я всегда с особым удовольствием смотрю на маргаритку, гиацинт и шиповник. Никогда без душевного волнения, близкого к восторженному благоговению или поэзии, не мог я слышать громкого свиста чибиса в летний полдень или дикого, неумолкаемого щебетания целой стаи дроздов в осеннее утро. Скажи мне, дорогой друг, отчего это происходит? Машина ли мы, пассивно воспринимающая, подобно эоловой арфе, случайные впечатления, или эти явления указывают на присутствие в нас чего-то высшего? Я держусь того мнения, что в них заключаются явные доказательства бытия Бога, создавшего все, а также доказательства духовной и бессмертной человеческой природы и загробной жизни».

На силу и деликатность разума нередко смотрят как на нечто совершенно отличное и часто не зависящее от силы и деликатности самой натуры. Необходимость языка требует этого, но в действительности в этих качествах нет различия, они, за исключением особых случаев и причин, постоянно идут рука об руку. Человек сильного разума по правилу бывает человеком сильного характера, но деликатность первого редко отделяется от

деликатности второго. Во всяком случае, каждому известно, что в стихотворениях Бернса ясное понятие идет о бок с ясным чувством, и его «сердечная теплота» ничуть не уступает «свету его разума». Он человек со страстной душой. Его страсти не только сильны, но и благородны, и такого рода, которым обязаны своим появлением великие добродетели и поэтические создания. Его вдохновляет благоговение, любовь к природе, это же самое заставляет его понимать красоту и исторгает из сердца дивные, пленительные звуки. Старая, верная пословица говорит: «Любовь поощряет знание», – но в знании-то и заключается вся сила поэта, его развитие и деятельность.

Мы уже говорили о пламенной, всеобъемлющей любви Бернса как об отличительном признаке его натуры, который одинаково проявляется у него на словах и на деле, в жизни и произведениях. Это нетрудно подтвердить многими примерами. Не только человек, но все, что в материальном и нравственном мире окружает человека, имеет значение в его глазах; «маргаритка», «стая дроздов» и «одинокий чибис» равно дороги его сердцу, все живут с ним на земле, со всеми соединяет его таинственная связь. Трогательно видеть, как он, при всей своей бедности, посреди зимней стужи, царствующей не только в полях, но и в его собственном сердце, думает о «глупом ягненке» и «беспомощной птице» и оплакивает страдания, причиненные им беспощадною бурею. Он – обитатель жалкой землянки, с полусгнившею кровлей, сочувствует их горю, и это сочувствие выше проповедей о милосердии, потому что в нем заключается самое милосердие. Но сочувствие Бернса неисчерпаемо, его душа проникает во все сферы бытия, ее влечет всюду, где только есть жизнь.

Как бы в противоположность этой любви, некоторые утверждают, что «негодование – вот источник поэзии». Это совершенно справедливо, но противоречие это скорее предполагаемое, а не действительное. Негодование, диктующее стихи, есть, в сущности, обратная любовь, любовь к какому-нибудь праву, достоинству, добру, принадлежащих нам и попранных другими людьми, и этим дурным чувством мы стараемся отомстить за наши попранные права. Никакая эгоистическая злоба сердца, как первичное чувство, не встречавшее противоречия, никогда не отличалась особенной поэзией; в противном случае и тигр был бы необыкновенно поэтическим существом. Джонсон говорит, что он любит хорошего ненавистника, но при этом он подразумевает человека, не слепо, но разумно ненавидящего низость из любви к великодушию. Несмотря на парадокс Джонсона, удобный в разговоре, но который неудобно часто повторять в печати, мы

полагаем, что люди еще слишком умеренны в ненависти, – слепа она или разумна, – и что хороший ненавистник еще не появлялся на свет.

Подробный разбор отдельных стихотворений нашего поэта повел бы нас слишком далеко, да, впрочем, если отнестись к ним критически, то только некоторые из них заслуживают названия поэмы. Это, скорее, рифмованное красноречие, рифмованный пафос и рифмованный ум, чуждые мелодичности и поэзии. Даже «Тэм О'Шентер», пользующийся такою известностью, принадлежит, по нашему мнению, к этой же категории. Это не поэма, а блестящее риторическое произведение, безжизненное, сухое даже по содержанию. Оно не вводит нас в тот мрачный, изумительный век, когда верили в легенду и откуда она была заимствована. Поэт даже не старается придать новую форму своему сверхъестественному сюжету. Не стремится затронуть глубокую, таинственную струну человеческой природы, которая некогда откликалась на подобные вещи и живет и будет жить в нас, хотя теперь умолкла или издает другие звуки. Наши немецкие читатели поймут нас, если мы назовем его не Тиком, а Музеусом этой сказки. По наружному виду она одета зеленью и полна жизни, но если пристальнее вглядеться в нее, то признаем в ней не прочное растение, а плющ, приютившийся где-нибудь на голой скале. В рассказе нет связи, через страшную пропасть, зияющую в нашей неверующей фантазии, между эйрским трактиром и воротами Тофета не перекинут мост. Да и мысль о подобном мосте была бы осмеяна. Таким образом, все трагическое приключение является какой-то смутной фантасмагорией, призраком, созданным под влиянием паров эля, и только фарс несколько приближается к действительности. Мы не говорим, чтоб Бернс мог сделать что-нибудь более из этой легенды, мы полагаем, напротив, что в поэтическом отношении она вовсе не могла представить богатого материала. Мы вполне сознаем глубокую, разнообразную и гениальную силу, которую он проявил в этом произведении, но держимся того мнения, что его другие произведения отличаются большими «шекспировскими качествами», чем «Тэм О'Шентер», которого мог бы написать не гений, а всякий мало-мальски даровитый поэт.

Лучшей поэмой Бернса мы можем смело назвать его «Веселых нищих». Сюжет заимствован из низких сфер жизни, но, благодаря таланту автора, представляет художественную картину. Поэма эта, по нашему мнению, отличается законченностью, целостностью, как бы вылитой из одного металла, полна жизни, движения и выдержана до малейших подробностей. Каждое действующее лицо – живой портрет; старуха, «Карло-Аполлон»,

«сын Марса» – все это истые шотландцы, снятые с натуры. Сцена происходит в кабачке «Пузи-Нанси», в этом замке оборванцев. Мрак ночи на время рассеялся, и при резком, полном освещении мы видим страшных лохмотников, собравшихся покутить. Гвалт и смех раздаются среди попойки, потому что и здесь бьется пульс жизни, заявляющий свои права на веселость, а когда на следующее утро опустится занавес над этой картиной, то мы без труда можем продолжить ее в нашем воображении. Наутро они снова выйдут на добычу – кто нищенствовать, кто воровать, а ночью судьба наградит их вином и веселой шуткой. Кроме общего сочувствия к людям, обнаруживающегося и в этой поэме, мы замечаем в ней истинное вдохновение и значительный технический талант. В ней сквозит правда, юмор, кипит жизнь, а бойкая кисть рисует нам картину, не уступающую картинам Теньера, для которого и пьяные мужики имели значение.

Еще большей законченностью, полнотой и истинным вдохновением отличаются «Песни» Бернса. В них, хотя и через небольшое отверстие, постоянно сияет свет, во всей своей высшей красоте и ясности. Причина этого, может быть, заключается в том, что песня такой род поэтического произведения, который не нуждается в многословии, а требует простоты, истинного поэтического чувства и музыки сердца. А между тем и для песни существуют такие же правила, как и для трагедии, правила, которые иногда недостаточно исполняются, иногда же и самое существование их не подозревается. Мы могли бы написать длинную статью о «Песнях Бернса», на которые смотрим как на лучшие произведения, когда-либо созданные английским гением, – потому что со времен королевы Елизаветы ни одна рука еще не произвела ничего достойного по этому отделу литературы. Правда, у нас существует достаточно песен, сочиненных даже «знатными людьми», у нас есть много пустых, бессодержательных, написанных под влиянием вина мадригалов, куча рифмованных речей, обидных звучными словами, а в видах морали подогретых приторной сентиментальною чувственностью. Эти песни поются постоянно, но мы полагаем, что они льются только из горла. Или в лучшем случае из какого-нибудь другого органа, весьма удаленного от сердца, поэтому и самый источник происхождения этих мадригалов и рифмованных речей нужно отыскивать в туманной области фантазии или даже в нервной системе.

Подобные песни не имеют ничего общего с песнями Бернса. Кроме светлого, задушевного чувства, которым постоянно проникнута его поэзия, песни его отличаются еще духом и формой. Они не имеют претензии быть положенными на музыку, потому что сами по себе составляют музыку. Они получили жизнь

и форму от гармонии, господствующей в них. Чувство нельзя описать, его можно только внушить; его нельзя высказать в риторических фразах, – оно льется дивной струею, вырывается, фантастически извиваясь, пламенным потоком прямо из души. В этом, по нашему мнению, заключается вся сущность песни, и ни одна из небрежно набросанных песен, попадающихся по временам в пьесах Шекспира, не удовлетворяет в такой степени этим условиям, как большинство песен Бернса. При этом внешней прелести и истине вполне соответствует энергия и истина внутреннего чувства. Его песни проникнуты нежностью, но вместе с тем в них звучит сила, – жалобы его на свое горе хватают за сердце, радость его восторгает вас; душа его то кипит от негодования, то он громко смеется или улыбается лукаво, но кротость и нежность не покидают его. Его песни «сладки, как улыбка любовников при свидании, и нежны, как слезы при разлуке». Если присоединить к этому богатое разнообразие сюжетов, его искусство подыскивать слова и звуки к каждому движению человеческого сердца, то его смело можно назвать первым из наших народных песенников, потому что равного ему мы не знаем.

В этих песнях, полагаем мы, заключается преимущественно его значение и влияние как писателя, а это влияние, если афоризм Флетчера справедлив, немаловажно. «Дайте мне написать народные песни, – говорит он, – и вы по ним составите законы для народа». И действительно, если кого-либо из поэтов можно поставить в этом отношении на ряду с законодателями, так это Бернса. Его песни составляют уже часть родного языка не только Шотландии, но и Англии, и целого миллиона людей, говорящих во всех концах земли на английском языке. Как в хижине, так и во дворце, всюду, где только сердце умеет страдать или радоваться, звуки Бернса находят сочувствие. Строго говоря, ни один англичанин не волновал так глубоко мысли и чувства многих людей, как этот одинокий, по-видимому, скромный человек.

С другой точки зрения, мы склоняемся к тому мнению, что влияние Бернса было значительно, – мы говорим о влиянии его на отечественную литературу, по крайней мере на шотландскую литературу. Между великими переменами, происшедшими с того времени в английской, в особенности же в шотландской литературе, встречается довольно крупный факт, – это именно заметное развитие национальности. Даже популярнейшие из английских писателей во времена Бернса мало отличались литературным патриотизмом в лучшем значении этого слова. Старинную любовь к родине заменил большей частью какой-то

разжиженный космополитизм, в литературе не было местного характера, она не питалась чувствами, вытекающими из родной почвы. Наши Греи и Гловеры, по-видимому, писали in vacuo, все их произведения чужды местного колорита, они написаны не столько для англичан, сколько для людей вообще, или, скорее, – что бывает неизбежным следствием подобного направления, – для известных обобщений, которые философия назвала людьми. Голдсмит в этом случае составляет исключение, но не таков Джонсон.

Но если это направление в некоторой степени отразилось на Англии, то в Шотландии оно приняло большие размеры. Шотландская литература в то время представляла странное зрелище, которое, насколько мы знаем, может быть, имело только сходство со швейцарской литературой, где подобный порядок, по-видимому, продолжается до сих пор. Спустя долгое время после того как Шотландия сделалась английской, мы не имели никакой литературы. Затем случился раскол в нашей национальной церкви, за которым последовал еще более резкий раскол в нашей политической жизни. Теологические чернила и кровь Яковов, в обоих случаях обильные желчью, по-видимому, истребили интеллигенцию страны, но она только потускнела, а не исчезла.

Лорд Кэмс первый пытается писать по-английски, а за ним уже Юм, Робертсон, Смит и целая фаланга последователей привлекли на себя внимание всей Европы. А между тем в этом блестящем возрождении нашего «пламенного гения» не заключалось ничего истинно шотландского, национального, за исключением природной пылкости ума, за которую, как за характеристическую черту нашей нации, нередко упрекают нас. Но замечательно то обстоятельство, что Шотландия, несмотря на такое множество писателей, не имела ни шотландской, ни даже английской культуры; наша культура была почти исключительно французская. Благодаря изучению Расина, Вольтера, Бате и Буало, Кемс сделался критиком и философом; Робертсон в своих политических воззрениях руководствовался Монтескье и Мабли, а политико-экономические опыты Кене служили путеводной звездой Адаму Смиту. Юм был слишком богат, чтоб нуждаться в заимствовании, и, может быть, он влиял на французов более, чем они на него. Но и ему ничего не удалось сделать с Шотландиею. Эдинбург был для него квартирой и лабораторией, где он не столько нравственно жил, сколько предавался метафизическим исследованиям. Никогда, может быть, не было писателей с такой светлой головой, – а между тем они страдали недостатком не только патриотического, но даже человеческого чувства.

Французские остряки тогдашнего времени были также не

патриоты, но это легко объясняется полнейшим отсутствием в них правильных принципов, сознательною чувственностью и неверием во всякую добродетель в строгом смысле. Мы думаем, что существует патриотизм, основывающийся на более лучших началах, чем предубеждение. Мы можем любить родину, не нанося этим ущерба нашей философии. Любя и относясь с уважением к другим странам, мы прежде всего должны любить и уважать нашу родину и нравственное и социальное здание жизни, которое ум воздвигал для нас в течение целого ряда веков. Вероятно, во всем этом заключается богатая пища для лучшей части человеческого сердца. Вероятно, корни, вошедшие в плоть и кровь человеческого бытия, так хорошо принялись, что из них на ниве его жизни вырастут не терновник, а розы. Но наши шотландские мудрецы не чувствовали подобного стремления. На их ниве не было ни терний, ни роз, но только гладкое, ровное гумно логики, где все вопросы, начиная с «теории доходов» до «естественной истории религии», были смолочены и провеяны с тем же самым механическим равнодушием.

Но с тех пор как Вальтер Скотт стал во главе нашей литературы, зло это миновало или близко к концу. Наши лучшие писатели, какие бы ни были их заблуждения, не составляют уже среди нас французской колонии или не глядят эмиссарами какой-нибудь пропаганды. Они, как истинные подданные родной земли, сочувственно разделяют с нами все наши наклонности, прихоти и обычаи. Наша литература не растет более на воде, но утвердилась на земле, пользуясь свежими и могучими качествами почвы и климата. Насколько эти перемены обязаны Бернсу или другому какому-либо писателю, выяснить трудно. Прямого литературного подражания Бернсу ожидать было нельзя. Но все-таки его пример относительно смелого выбора родных сюжетов для своих произведений должен был необходимо иметь отдаленное влияние, и, вероятно, ни в одном сердце не горела так любовь к родине, как в сердце Бернса. «Поток шотландского предубеждения», как скромно называл он это глубокое, благородное чувство, «струился в его жилах, и он чувствовал, что воды его будут стремиться до тех пор, пока навеки не закроются шлюзы». Ему казалось, что он не мог сделать многого для родины, а между тем он охотно и радостно сделал бы для нее все. Единственная небольшая область была открыта ему – область шотландской песни, и как бодро вступил он в нее, с каким жаром отдался ей! В самые тяжелые минуты жизни, он не разлучается с нею, она – счастливая половина его удрученного заботами сердца. Окруженный непроглядным мраком собственного горя, он жадно ищет одинокую подругу по музе и радуется, что может спасти

другое имя от забвения. Таковы были его юношеские чувства, и он остался им верен до конца.

> …A wish (I mind its power),
> A wish that to ray latest hour
> Will strongly heave my breast —
> That I, for poor auld Scotland's sake,
> Some useful plan or book could make,
> Or sing a song at least[53].

Но оставим литературную деятельность Бернса, которою мы так долго занимались. Более интереса, чем его поэтические произведения, представляют нам, как кажется, его собственные деяния: жизнь, которую ему назначено было прожить среди своих собратий. Стихотворения его походят на небольшие рифмованные отрывки, рассеянные здесь и там в грандиозном нерифмованном романе его земного существования, но, размещенные согласно плану, они приобретают соответствующее им значение. К сожалению, и самое существование его было только отрывком. План величественного здания был составлен, стены выведены, колонны и портики готовы, остальная постройка более или менее выяснилась, – оставалось только проницательному и любящему глазу определить время окончательной отделки здания. Но здание это рушилось еще на половине, даже в начале стройки теперь стоит перед нами грустное, но прекрасное, не оконченное, но уже в развалинах! Если снисходительное суждение было необходимо при оценке его поэтических произведений, а справедливость требовала, чтоб на стремление его и выказанную им способность исполнять свой труд мы смотрели бы как на окончательно совершенный, то подобные условия еще более применимы к его жизни, сумме и результату всех его стремлений, где препятствия восставали перед ним не отдельно, а массами, так что многое осталось не только неоконченным, но нередко ложно понятым и крайне извращенным.

Собственно говоря, эпохой в жизни Бернса можно назвать только его юность. Да, впрочем, мы вовсе не замечаем его зрелого возраста, а видим одну юность, потому что до самого конца в его характере не произошло никакой перемены, – как был он юношей, так и в 37 лет остался им. При всей верности, проницательности взгляда, своеобразной зрелости ума, обнаруживающейся в его произведениях, ему не удалось вполне понять самого себя. До последней минуты он не сознавал своей цели, как это случается между обыкновенными людьми, а потому никогда и не преследовал ее с тем единством воли, упрочивающим за

подобными людьми удачу и довольство. До последней минуты он колебался между двумя целями. Как истинный поэт, он гордится своим талантом, а между тем не в состоянии сделать из него свою главную и единственную славу и держаться за нее как за необходимую вещь в дни ли бедности или богатства, при хороших или дурных условиях… Другое, менее возвышенное честолюбие овладело им. Он мечтает и борется за известную «скалу независимости», которая, как бы ни была естественна и достойна удивления, заключалась только в раздоре с миром по поводу относительно незначительной причины. Именно, что он более или менее снабжен деньгами, чем другие, стоит на высшей или низшей ступени общественного положения.

Мир представляется ему в том же неестественном свете, как и в юности. Он ждет от него того, чего тот не в состоянии дать ни одному человеку. Он ищет довольства не в самом себе, деятельности и разумных стремлениях, но в счастливых обстоятельствах, любви, дружбе, чести и деньгах. Он мог бы быть счастлив, но не активно и не в самом себе, а пассивно и в силу идеального избытка наслаждений, приобретаемых им не собственным трудом, а по милости судьбы. На этом основании ему не удается достичь достойной, прочной цели, и он постоянно колеблется между страстной надеждой, раскаянием и заблуждением. С бешеною силой бросаясь вперед, он поборет многие препятствия, проникает далее, но, следуя неверным указаниям, постоянно сбивается с дороги и до последней минуты не может достичь единственного человеческого счастья, счастья светлой, энергичной деятельности в той сфере, для которой его назначили природа и обстоятельства.

Мы упоминаем об этом не из желания порицать Бернса, но высказываем это скорее в его же пользу. Счастье не всегда достается лучшим людям. Нередко величайшим умам, после всех, выпадает оно на долю, потому что где нужно развить великое дарование, там требуется и более времени для этого развития. Внешние условия были для него неблагоприятны, внутренними условиями он также не мог удовлетвориться, – «гармонии» между глинистой почвой Мосгиля и пламенной душой Роберта Бернса не существовало. Поэтому и неудивительно, что примирение этих условий затягивалось надолго. Ему было немало дела и хлопот в том огромном и бестолковом хозяйстве, которым он был поставлен управлять. Байрон, умирая, был годом моложе Бернса и в продолжение всей жизни пользовался лучшей обстановкой, а все-таки и он не мог примениться к условиям жизни, был чужд нравственного мужества и только перед концом проявил зачатки его.

Самое замечательное событие в жизни Бернса – его поездка в Эдинбург; но еще важнее его пребывание в Ирвине, когда ему было только 23 года. До этого времени жизнь его проходила в бедности и труде, но не без радостных дней, так что несчастной, при всех лишениях, ее нельзя было назвать. В семье, за исключением внешних обстоятельств, он имел полное основание считать себя счастливым. Его отец был умный, серьезный человек, с теплым сердцем, как и большая часть наших крестьян. Он умел ценить знания, сам владел некоторыми и был, что редко встречается, не прочь поучиться кое-чему. Человек с верным взглядом, набожный, общительный, не знавший страха ни перед чем, что создано Богом, – одним словом, хотя и мужик с мозолистыми руками, но при этом совершенный и развитой человек. Подобный человек редко встречается в каком бы то ни было классе общества, и, чтоб отыскать его, нужно долго и долго порыться. К несчастию, он был крайне беден; будь он хоть немного, на едва заметную степень богаче – все дело, может быть, имело бы другой исход. Громадные события иногда вертятся около соломинки, а переход через ручей решает покорение мира. Если бы семь десятин земли, которыми владел Уильям Бернс, приносили мало-мальски сносный доход, мальчик Роберт, вероятно, был бы отдан в школу, затем пробился бы в университет и сделался не деревенским чудом, а развитым, образованным деятелем и придал бы английской литературе другое направление…

Но доходы семьи не увеличивались, она была так бедна, что даже не имела возможности воспользоваться нашей дешевой школьной системой, Бернс должен был пахать землю, а английская литература шла своим путем. Тем не менее и в этой грубой обстановке он находит себе немало пищи. Если он трудится и страдает, то делает это для брата, отца и матери, которых любит и которых хотел бы избавить от недостатков. Разум не изгнан из жалкой землянки, чувство также живет здесь. Возвышенные слова: «Будем славословить Бога» – слышатся из уст благочестивого отца. Когда угрозы и притеснения несправедливых людей исторгают слезы у матери и ее детей, то эти слезы льются не только от горя, но и от святой привязанности. Каждое сердце в этой семье чувствует себя неразрывно связанным с сердцем своих ближних. В тяжелой борьбе, выпавшей им на долю, они представляют в некотором роде «маленький отряд братьев». Но эти слезы и дивная прелесть, заключающаяся в них, не единственная их доля. Свет доступен сердцу, как и глазам всех живущих; в этом юноше кроется сила, которой он может попрать ногами все бедствия и посмеяться над

ними. Он одарен живым, смелым и гибким характером, – ко злу относится шутливо, иронически и даже в крайнем горе ни на одну йоту не утрачивает своей любви и надежды. С годами в нем начинает шевелиться честолюбие, фантазия посещает его восприимчивую душу, картина жизни, полная блеска и мрака, медленно поднимается перед ним, утренняя заря первой любви золотит его горизонт, звучная песнь услаждает его путь, и он идет

> …in glory and in joy
> Behind his plough, upon the mountain side[54].

Мы знаем из лучших источников, что «до этого времени Бернс был счастлив; он был веселым, симпатичным, мечтательным существом», впоследствии он во многом изменился. Но в раннем возрасте он покидает родительский кров, вступает в шумное общество и знакомится с развратом и пороками, составляющими, по мнению некоторых философов, необходимую подготовку для вступления в деятельную жизнь, род ванны, в которую следует окунуться юноше, обмыться прежде, чем он наденет действительную тогу мужа. Мы не желаем спорить с этими философами, но полагаем, что они ошибаются. Пороки и угрызения совести до такой степени преследуют нас на всех путях жизни, составляют такое неприятное общество, что будет весьма трудно, если нам со временем придется сталкиваться с ними, поддаваться и даже служить им. Мы держимся того мнения, что не школа, пройденная нами в этом заразительном обществе, а твердое намерение бежать из него делает нас способными к истинной деятельности. Мы становимся людьми не после распутства или неудавшейся погони за ложным счастьем, а в то время, когда мы наконец поймем, какие неодолимые препятствия окружают нашу жизнь и как безумно надеяться удовлетворить нашу бесконечную душу дарами крайне конечного мира. Человек должен искать удовлетворения в самом себе, а обличить земные страдания и невзгоды может только деятельность.

Возмужалость начинается в то время, когда мы каким-нибудь путем заключим перемирие с необходимостью или, как поступает большинство, сдадимся ей. Но прочной и надежной возмужалости мы достигаем только тогда, когда окончательно примиримся с необходимостью и торжественно отпразднуем свою свободу. Понятно, что подобному уроку, который, в той или другой форме, может служить великим уроком для каждого человека, лучше учиться из уст благочестивой матери, взглядов и поступков отца, в то время, когда сердце еще мягко и уступчиво, чем в борьбе с

судьбой, когда сердце зачерствеет и скорее разобьется, чем пойдет на уступку. Если б Бернс продолжал следовать этому уроку, как следовал он ему в хижине своего отца, то он усвоил бы его в совершенстве и избежал бы многих заблуждений, горьких минут и не знал бы ни скорби, ни угрызения совести.

Другим, более роковым обстоятельством в жизни Бернса, по нашему мнению, было то, что он в это время вмешался в религиозные распри своего округа, выступил бойцом за «священников нового света», чтоб поддержать их крайне бесплодную борьбу. За столом этого вольнодумного духовенства он научился более, чем ему следовало. Либеральное осмеяние фанатизма пробудило в его душе неверие и целый мир сомнений. Мы не говорим, что ум, подобный его уму, мог бы уберечься в какой бы то ни было период его жизни от таких сомнений или выйти из них победителем. Но горе в том, что время религиозного столкновения как нельзя более подходило к его настроению. Подстрекаемый дурным примером и находясь под влиянием бешеных страстей, он едва ли нуждался в указании. Следовало ли ему изменить в самый разгар битвы или отступить на случай, если б он мог предвидеть поражение? Он утратил чувство невинности, в душе его возник разлад с самим собой, в ней не стало прежнего божества, – она сделалась добычей диких желаний и дикого раскаяния!

Он падает в глазах мира, лишается репутации трезвого человека, репутации слишком дорогой для шотландского крестьянина, о которой не имеют и понятия испорченные светские люди. Но он как будто не сознает своей вины, старается ее оправдать, а вследствие этого прибегает ко лжи. Мрачное отчаяние, угрызения совести давят его. Жизнь его разбита, он не только утратил репутацию, но лишился и личной свободы, судьба и люди восстали против него, и гибель следует за ним по пятам. Ему остается один прискорбный выход – покинуть любимую родину и уйти в страну негостеприимную и немилую для него во всех отношениях. Когда мрачная, бурная ночь сбирается уже над его головой, он шлет Шотландии свое последнее прости:

> Farewell, my friends; farewell, my foes!
> My peace with these, my love with those:
> The bursting tears my heart declare;
> Adieu, my native banks of Ayr[55]!

Внезапно падает на него свет, но все еще обманчивый и ненадежный, а не настоящий солнечный луч, – его приглашают в Эдинбург, и он спешит туда с сердцем, полным надежд; его

встречают с триумфом и осыпают похвалами. Ум, дарование, светскость – все собирается вокруг него, все жаждут видеть его, выразить свое сочувствие и любовь. Появление Бернса в кругу эдинбургских ученых и знатных людей представляет оригинальный феномен в новейшей литературе; оно как бы напоминает появление Наполеона среди коронованных владык новейшего политического мира. И действительно, он ни в каком случае не желает, чтоб его принимали из милости и смотрели на него, как на «подставного короля», возведенного на престол для каких-нибудь известных целей. Еще менее желает он походить на безумного Риенци, у которого от внезапного величия закружилась слабая голова. Нет, он стоит здесь на своей собственной почве, хладнокровный, равнодушный к овациям, считающий себя равным по рождению и готовый отстаивать свои права.

Мистер Локхарт относительно этого пункта рассказывает следующее. «Не нужно слишком насиловать фантазию, – говорит он, – чтобы составить себе понятие о чувствах изолированного числа ученых – большая часть которых были духовные или профессора – в присутствии этого смуглого, широкоплечего человека, с большими блестящими глазами, который, внезапно проложив дорогу от своего плуга к ним, обнаруживал в своих поступках и разговорах твердое убеждение, что он находится по праву в обществе замечательных людей своей страны. Только изредка он позволял себе льстить им, желая своей лестью еще более привлечь их внимание. Иногда он спокойно вступал в спор с образованнейшими умами своего времени, на шпильки знаменитых остряков отвечал метким и бойким словом, поражал удивлением сердца, закованные в тройную броню общественной сдержанности, заставляя трепетать их силой своего природного и пламенного пафоса. И все это он делал без малейшего желания возбудить восторг, как делают это те ремесленники – служители восторга, которые за деньги и аплодисменты готовы делать все то, что постыдились бы сделать сами зрители, если б они даже владели необходимым талантом. При этом все знали, что он чаще посещает те общества, которых чуждаются все эти знатные господа, и там ораторствует еще с большим красноречием и воодушевлением, нередко выбирая мишенью своих острот эту гордую знать».

Чем больше мы удалимся от этой сцены, тем оригинальнее она нам покажется, а подробности ее уже и теперь в высшей степени интересны. Большинство читателей, вероятно, помнят, что разговор Уокера с Бернсом принадлежит к лучшим страницам его книги, и наступит время, когда следующее воспоминание В. Скотта, как ни незначительно оно, будет также оценено по

достоинству.

«Что касается Бернса, – пишет В. Скотт, – то я могу поистине сказать: Virgilium vidi tantum. Мне было 15 лет, когда я в 1786–1787 годах в первый раз приехал в Эдинбург, но я владел уже настолько понятием и чувством, чтобы интересоваться его поэзией, и отдал бы целый мир, чтоб познакомиться с ним. Но у меня не было знакомства с литераторами, а еще менее с дворянами западных провинций, у которых он чаще всего бывал. Томас Грирсон был в то время секретарем моего отца. Он был знаком с Бернсом и обещался пригласить его к себе к обеду, но не имел случая исполнить своего обещания, – иначе мне пришлось бы чаще видеться с замечательным человеком. Наконец мне удалось встретиться с ним однажды у покойного профессора Фергюсона, у которого собирались многие известные писатели; между ними, как помню я, был и знаменитый Дугальд Стюарт. Понятно, что мы, как молодые люди, сидели молча и слушали. Но что в особенности меня поразило тогда в Бернсе, так это впечатление, которое произвела на него гравюра Бонбери, представлявшая убитого солдата, лежащего на снегу. С одной стороны подле него, понурив голову, сидела собака, а с другой – его вдова с ребенком на руках. Под гравюрой были подписаны следующие строки:

> Cold on Canadian hill's, or Mindon's plain,
> Perhaps that mother wept her soldier slain;
> Bent o'er her babe, her eye dissolved in dew. —
> The big droops mingling with the milk he drew,
> Gaye the sad presage of his future years,
> The child of misery baptised in tears[56].

Бернс, по-видимому, был тронут гравюрой или, скорее, идеей, которую она в нем возбудила, и слезы показались на его глазах. Он спросил, чьи это стихи, и так как никто, кроме меня, не знал, что они взяты из полузабытой поэмы Лангорна, носящей немного обещающее название «Мировой судья», я поспешил шепнуть моему товарищу, а тот передал Бернсу, который наградил меня взглядом и несколькими словами, в которых хотя и не заключалось ничего, кроме обычной вежливости, но я и теперь вспоминаю их с большим удовольствием.

Фигура его дышала здоровьем и силой, манеры его были деревенские, но смешного в них ничего не было. Он отличался откровенностью и простотой, что еще более производило действие, потому что все знали его замечательный талант. Его черты изображены Насмайтом, но мне кажется, что они

уменьшены, на них как будто смотришь издали. Его лицо, на мой взгляд, было гораздо массивнее, чем оно обыкновенно изображалось на портретах. Я бы принял поэта, если б не знал, кто он, за умного фермера старой шотландской школы, т. е. не за новейшего агронома, который все работы производит людьми, но за настоящего крестьянина, идущего за плугом. В чертах его выражались ум и лукавство, и только в глазах, по моему мнению, заметен был поэтический огонь. Его глаза были большие и темные и горели (я говорю буквально «горели»), когда он говорил с чувством и одушевлением. Никогда после не случалось мне видеть подобных глаз у какого бы то ни было человека, хотя я и видал много замечательных людей моего времени.

Разговор его отзывался самоуверенностью, но без малейшей тени гордости. С ученейшими людьми своего времени он говорил смело, но обдуманно, а когда не разделял чьего-либо мнения, то высказывал это с твердостью, хотя в то же время скромно. Я не могу припомнить ни одного его разговора, который бы я мог привести подробно, также не случалось мне более его видеть. Впрочем, один раз мне пришлось с ним встретиться на улице, но он не узнал меня, как я этого и ожидал. Его очень ласкали в Эдинбурге, но все усилия к улучшению его положения (если вспомним, какие литературные пособия были в то время) были весьма незначительны.

Я вспоминаю при этом случае, что знакомство Бернса с английской поэзией было весьма ограниченное, так как он, обладая в двадцать раз более талантом, чем Рамсей и Фергюсон, с великим уважением отзывался о них как о своих образцах. Вероятно, национальное пристрастие преобладало в этой преувеличенной похвале.

Вот и все, что я могу вам рассказать о Бернсе. При этом я считаю нужным прибавить, что его костюм вполне согласовался с его манерами. Он походил на фермера, надевшего свое лучшее платье, чтоб явиться к столу землевладельца. Я вовсе не намерен сказать что-нибудь дурное, если замечу, что я никогда не видел человека в обществе, стоящем по званию и образованию выше его, который бы был так далек от всякой робости и замешательства. Мне говорили, – так как я этого не замечал, – что обращение его с женщинами было в высшей степени почтительное, своему разговору с ними он всегда умел придавать патетическое или юмористическое направление, чем в особенности приковывал их внимание. Мне случалось слышать об этом от покойной герцогини Гордон. Более я не имею ничего прибавить к воспоминаниям, касающимся времени, отделенного от нас почти на сорок лет».

Поведение Бернса при этом ослепительном блеске счастья, спокойствие и естественность, с которыми он не только пользовался ими, но умел ценить, служат лучшим доказательством его действительной силы и неиспорченной души. Небольшую частицу тщеславия, едва заметную лицемерную скромность и аффектацию, по крайней мере боязнь прослыть аффектированным, – все это можно извинить в каждом человеке, но в нем не было и следа этих недостатков. В своем беспримерном положении деревенский парень ни на минуту не теряет рассудка; при виде такого множества чуждых светил он не смущается и не сбивается с толку. Но тем не менее мы должны заметить, что зима, прожитая им в Эдинбурге, наделала ему много вреда. Живя там, он ближе познакомился с общественными условиями, но мало изучил человеческий характер и вместе с тем сохранил прежнее болезненное чувство к неравному распределению счастья в социальном отношении. Он видел блестящую, великолепную арену, где великим мира сего суждено играть роль. Он сам находился в среде их и с еще большею горечью сознавал, что он здесь только зритель, которому нет роли в их блестящей игре. С этого времени им овладело негодование на социальное унижение и нарушило его личное довольство, извратило чувства относительно своих богатых собратьев. Бернсу было ясно, что у него было достаточно таланта, чтоб составить себе громадное состояние, если б у него была на это охота. Но ему также было ясно, что его желания были другого рода, вследствие чего он не мог быть богатым. К несчастию, у него недостало силы выбрать одно и отказаться от другого, так что ему постоянно приходилось колебаться между двумя идеями, двумя целями. Подобные случаи бывают со многими людьми. У нас есть товар, мы крепко держимся в цене и до тех пор торгуемся с судьбой, пока не наступит ночь и не закроется рынок.

Эдинбургские ученые тогдашнего времени отличались вообще более светлой головой, чем сердечной теплотой, и, за исключением доброго старика Блэклока, помощь которого была недействительна, едва ли кто смотрел на Бернса с истинным сочувствием, – для всех он скорее был любопытной и редкой вещью. Великие мира сего обращаются с ним обычным порядком, приглашают к обеду и затем отпускают. Известное количество пудинга и похвал по временам разменивается на обаяние его присутствия. Если размен этот состоялся, то дело кончено и каждый идет своей дорогой. К концу этого скромного сезона Бернс мрачно подсчитывает свою прибыль и убыток и размышляет о загадочной будущности. В денежном отношении он сделался богаче, еще богаче он славой и неверным счастьем, но

его собственное «я» так же бедно, как и прежде, даже беднее. В сердце его уже проникло болезненное честолюбие и долгие годы бесплодно терзает и мучит его, лишая вместе с тем силы на благородную и благотворную деятельность.

Что нужно было теперь делать Бернсу и чего избегать, чем должен он был руководиться в подобных обстоятельствах, чтоб достичь истинного блага, – вот вопрос, который в то время предстояло разрешить мудрейшему из людей. Но по-видимому, на этот вопрос он мог только ответить сам, потому что ни один из его ученых или богатых покровителей не догадался хоть на минуту подумать о таком тривиальном деле. Не считая Бернса вполне деловым человеком, мы все-таки должны сказать, что его занятия как сборщика податей и арендатора не кажутся нам несоответствующими его характеру, напротив, мы бы стали в тупик, если б нам предложили заменить их другим, более лучшим делом.

Многие из его поклонников были возмущены, что он отдался такому прозаическому занятию. Они требовали, напротив, чтоб он лежал на берегу озера, пока дух покровительства не возмутит воду, и Бернс, погрузившись в нее, немедленно исцелился бы от всех зол. Неразумные советники! Они не понимают этого духа. Они не знают, что в золотых мечтах человек, во всяком случае, может найти счастье, но горе в том, что при этом счастье нетрудно умереть с голоду. Благодаря энергии и здравому рассудку Бернс вскоре разгадал почву, на которой стоял, и собственным силам отдал преимущество перед завистью и бездеятельностью, утешая себя надеждой на возможно лучшую будущность. Надежда эта не была исключена из его плана. Если случай натолкнет его на друга, ему удастся, может быть, обставить свою жизнь лучше, запастись даже свободным временем, если же нет, он все-таки обеспечен, – да вообще у него «нет намерения занимать честь у какой бы то ни было профессии».

По нашему мнению, его план был благороден и расчетлив, – оставалось только выполнить его. Но он рушился, только не вследствие заключавшихся в нем ошибок, не от недостатка внешних, а скорее от недостатка внутренних средств. Его банкротство было не денежным, а душевным, и до самой последней минуты он не был должен ни одному человеку.

Между тем он начал хорошо – двумя добрыми и разумными поступками. Его подарок матери, подарок от человека, весь годовой доход которого заключался в 7 фунтов, был достоин его. Великодушен был также поступок его с женщиной, счастье которой зависело от его прихоти. Добродушный наблюдатель мог

бы надеяться на более светлые дни для него. Душа его уже была на пути к примирению с самим собой. Ясный, верный взгляд на вещи, недостававшие ему, он, вероятно, приобрел бы на этом пути. Потому что ничто не научает нас исполнять обязанности, еще смутные для нас, как постоянная практика в тех обязанностях, которые мы видим и которые у нас под рукою. Если б «покровители гения», не могшие ничего ему дать, также ничего у него не отняли! Раны его сердца зажили бы, пошлое честолюбие исчезло, труд и воздержание вступили бы в свои права, так как при них жила еще добродетель. Поэзия по-прежнему была бы их спутницей, и, озаренный ее чудным светом, он бы смотрел на свою земную судьбу с ее невзгодами не только с терпением, но и с любовью.

Но покровителям гения не хотелось этого. Красноречивые туристы, всевозможные литературные фешенебельные охотники и, что еще хуже, все любящие попировать меценаты нахлынули в его уединение, а его доброта и слабость еще более упрочили их влияние. Он был польщен их вниманием; его теплая общительная душа была причиной, что он не мог избавиться от них и продолжать один свой путь. Эти люди, по нашему мнению, были главными виновниками его гибели. Не потому, что они желали ему зла, но потому, что они расточали его драгоценное время и его драгоценный талант. Они нарушали его покой, его труд и воздержание. Их ласки были ему гибельны, их жестокость, вскоре последовавшая затем, была также ему гибельна. Прежняя злоба против неравенства судьбы проснулась в душе Бернса с новою горечью, и ему оставалось одно убежище, – «скала независимости», которая, разумеется, была воздушным замком, красивым издали, но в нем едва ли кто-нибудь стал бы искать защиты от действительной непогоды. Раздражаемый неправильным возбуждением, оскорбляемый презрением других и презирая самого себя, Бернс не мог уж возвратить душевного покоя, но утрачивал его все более и более. В сердце его была пустота, потому что совесть не оправдывала его поступков.

В чаду безумных наслаждений, бесплодного раскаяния и недовольства судьбой мало-помалу скрылась из его глаз та путеводная звезда, та поэтическая жизнь, о которой он мечтал, будь она хоть бедная и голодная… А между тем он плыл по морю, где без подобной путеводной звезды невозможно было управлять кораблем. Метеоры французской политики мелькают перед ним, но это не его звезда. Прискорбный случай еще более увеличил его несчастия. В безумной путанице того времени он приходит в столкновение с некоторыми официальными лицами, его оскорбляют жестоко, и он в отчаянии углубляется в самого себя.

Мрачное расположение еще более овладевает им. Жизнь его утрачивает единство; это жизнь отрывочная, не имеющая другой цели, кроме весьма грустной – продлить ее насколько возможно, предаваясь дикой, безумной радости, если таковая представится, или мрачному отчаянию и скорби, когда эта радость минует. Мир подозрительно смотрит на него, клевета делает свое дело, потому что у несчастного человека более врагов, чем друзей.

Он сделал много ошибок и перенес много горя, но теперь обвиняют его в преступлении, и те, которые сами не без греха, первые бросают в него камень! Разве он не радетель Французской революции, якобинец, и в силу этого единственного преступления повинен во всех других? Эти политические и нравственные обвинения, как впоследствии оказалось, были ложны, но свет, нимало не колеблясь, поверил им. Меценаты, пировавшие с ним, были не последними участниками в этом деле. По всему вероятию, в последние годы его жизни аристократия отвернулась от Бернса, как от человека замаранного, недостойного знакомства.

Увы! Если мы подумаем, что Бернс теперь спит «где жестокое негодование уже не терзает его сердце»[57] и большая часть прекрасных дам и изящных кавалеров лежат подле него, там, где уже нет речи о чинах и розни сословий, – кто не вздохнет о несчастных заблуждениях и интригах, разделяющих сердца и делающих людей жестокими относительно их собственных собратий!

Надеяться уже было нечего, что гений Бернса когда-нибудь достигнет совершенной зрелости или создаст что-нибудь достойное его. Мелодия его души была разрушена на сладкое дыхание естественного чувства, но грубая рука судьбы коснулась теперь струн. А между тем какая гармония заключалась в нем, какой музыкой звучали даже его диссонансы. Дикие звуки имели одинаковое очарование для развитых и неразвитых людей; все чувствовали и понимали его дивное дарование. «Если ночью он входил в гостиницу, когда уже все спали, то известие о его приходе распространялось немедленно от подвала до верхнего этажа, и через 10 минут хозяин и все жильцы были на ногах». Несколько светлых поэтических минут появлялись еще в его жизни, когда он писал песни, и нетрудно представить, с какой жадностью бросался он на это занятие, отвергая всякую другую награду, кроме той, которую доставлял ему собственный труд. Ибо душа Бернса, хотя оскорбленная и разбитая, еще жила полной нравственной силой, сознавая все свои ошибки и унижения и этим унижением решившись совершить благородное дело самопожертвования. При этом он чувствовал, что при всех

его «легкомысленных поступках, погубивших его», свет все-таки был несправедлив и жесток к нему. Он молча апеллировал к другому, более спокойному времени.

Не как нанятый солдат, а как патриот, он хотел сражаться за славу своей родины, поэтому отказался от скудного жалованья и усердно служил волонтером. Не лишим его этой последней радости в жизни, но пожелаем, чтоб апелляция, обращенная к нам, была не напрасна! Деньги были ему не нужны, он боролся и без них. Гинеи уже давно исчезли, а его благородный отказ принять их еще долго будет жить в сердцах и говорить в его пользу.

Теперь мы пришли к кризису жизни Бернса, потому что дела приняли такой оборот, что продолжаться более не могли. Если нечего было ждать улучшения, то натуре оставалось немного времени выдерживать трудную борьбу против мира и самого себя. У нас нет медицинских указаний, насколько могла в этот период продлиться еще жизнь Бернса, следует ли в некотором смысле смотреть на его смерть как на случайное событие или как на естественное следствие предшествовавших событий. Последнее мнение, по-видимому, более вероятное, но, во всяком случае, не прочное. Но все-таки улучшение в положении Бернса, какое бы там ни было, близилось. Ему предстояло три исхода – так по крайней мере кажется нам – поэтическая деятельность, сумасшествие или смерть. Первый, при продолжительной жизни, был еще возможен, хотя невероятен, потому что касался физических сил. А между тем Бернс обладал железным характером. Если б он мог видеть и чувствовать, что в нем заключалась не только вся его слава, но его первый долг и верное лекарство против всех болезней его! Второй исход еще менее был вероятен, потому что ум его принадлежал к самым светлым и прочным. А затем оставался третий; не медленно, а поспешно удалился он в ту страну покоя, куда не проникают ни вьюги, ни бури и где даже самый усталый путник снимает наконец свою ношу, как бы тяжела она ни была.

Глядя на этот печальный конец Бернса, как он, лишенный действительной поддержки и не согретый сочувствием, постепенно падал, благородные души нередко с грустью рассуждали, что многое можно было бы сделать для него. Советом, истинным и дружеским участием он мог бы быть спасен для себя и для мира. Мы полагаем, что в этом взгляде более нежности сердца, чем справедливого суждения. Нам кажется сомнительным, чтобы какой-нибудь богатый, умный и благонамеренный человек мог чем-нибудь помочь несчастному Бернсу. В советах, которые едва ли кому приносили пользу, он не

нуждался; его ум мог так хорошо отличать правое от неправого, что едва ли удавалось это какому-нибудь другому человеку. Убеждение же, которое могло послужить ему на пользу, заключается не в голове, а в сердце, куда не втиснет его никакой аргумент и никакая сила. Относительно же денег мы не думаем, чтоб это был его существенный недостаток, и не понимаем, как какой-нибудь частный человек, даже с согласия Бернса, мог доставить ему независимое состояние и при этом прочную надежду на улучшение его положения.

Грустна та истина, что едва ли в каком бы то ни было обществе найдутся два человека, из которых один был бы настолько добродетелен, что дал бы денег, а другой принял их как необходимый дар, не оскорбив при этом нравственного чувства. Но в том то и дело, что дружбы в древнем героическом смысле не существует более; за исключением некоторых родственных случаев ее даже и не считают добродетелью. Глубокий наблюдатель человеческой жизни заметил, что «покровительство» или, другими словами, денежная поддержка да будет «дважды проклята»! Проклят тот, кто дает, и тот, кто берет! Относительно внешних обстоятельств – это сделалось правилом, относительно же внутренних – это было и должно быть правилом. Никто не жди действительной пользы от другого, но каждый довольствуйся той помощью, которую сам может приобрести. Это, полагаем мы, есть принцип новейшей чести и исходит из того чувства гордости, которое служит основанием нашей социальной нравственности. Многие поэты были беднее Бернса, но ни один из них не был так горд, вследствие чего нетрудно предположить, что даже королевская пенсия была бы для него скорее бременем, а не пользой.

Поэтому-то мы еще менее расположены примкнуть к другому классу поклонников Бернса, которые обвиняют высшие сословия, погубившие будто бы его эгоистичной небрежностью. Мы высказали уже наше сомнение, что денежное пособие, если б оно было предложено ему и принято им, не принесло бы ему пользы. Но при этом мы допускаем весьма охотно, что для Бернса многое могло бы случиться, многие отравленные стрелы были бы отведены от его сердца и многие препятствия были бы устранены могучей рукой с его пути. Свет и теплота, спустившиеся сверху, внесли бы жизнь в его скромную атмосферу, и нежное сердце, дышавшее в ней, жило и умерло бы при меньших страданиях. Далее мы должны допустить, – а для Бернса уже и этого много, – что, при всей своей гордости, он был бы благодарен каждому, кто действительно был бы ему другом. Во всяком случае, ему следовало бы дать скромное повышение по службе, которого он

желал, это входило в его план более чем всякого другого чиновника. Это было бы истинной роскошью, истинным долгом нашего дворянства. Но этого не случилось, да, по-видимому, никогда и не думали и не желали.

Но за что же обвинять этих людей? За то, что они были светскими людьми и действовали на основании правил подобных людей? Они обращались с Бернсом, как обращались другие дворяне с другими поэтами, как обращались англичане с Шекспиром, король Карл и его кавалеры с Ботлером, король Филипп и его гранды с Сервантесом. Собирают ли виноград с терновника или следует срубить наш терновник, так как он годится только на изгороди и заборы? Как могло это дворянство и джентри его родины оказать вспомоществование этому «шотландскому барду», который так гордился своим именем и своим отечеством? Было ли «дворянство и джентри» в состоянии помочь самим себе? Разве им не нужно было охранять свою дичь, заботиться о местных интересах и по этому случаю задавать обеды всевозможного рода? Были ли их средства соразмерны этим занятиям или нет? Большею частью несоразмерны; многие из них, в сущности, были богаче Бернса, другие же беднее. Нередко, чтоб выдавить средства к жизни из мозолистой руки, они подвергали ее пытке, по недостатку гиней забывали долг милосердия, чего Бернс не имел надобности делать. Пожалеем о них и простим их. Дичь, которую они охраняли и стреляли, обеды и местные интересы, крошечные Вавилоны, которые они строили, все это низвергнуто в первобытный хаос, как это обыкновенно случается с эгоистичными стремлениями людей.

Между тем здесь было дело, которое, в силу своего мирового влияния, так сказать, распространялось на все времена, потому что оно было бессмертно, как дух самого добра. Вести это дело предстоял им случай, но у них не хватило разума. Мы пожалеем их и простим им, но лучше, чем пожалеем, удалимся от них и будем действовать иначе. Человеческие страдания не окончились со смертью Бернса, а торжественное повеление: «Любите друг друга и несите взаимное бремя» – не только относится к богатым, но и ко всем людям. Правда, мы не найдем Бернса, которого бы могли утешить или поднять нашей помощью и состраданием. Но мы всегда встретим небесные натуры, которые, как и эта, стонут под бременем утомительной жизни, а горе людей, которым судьба отказала в «голосе», еще мучительнее и злее.

А между тем мы не думаем, чтоб вина в несчастии и гибели Бернса преимущественно падала на мир. Мир, как нам кажется, обошелся с ним лучше, чем он обыкновенно обходился с подобными людьми. Еще спокон века он не слишком-то

милостиво относился к своим учителям. Голод и нищета, преследование и презрение, темницы, крест, кубки с ядом – вот что почти во все времена и во всех странах было рыночной ценой, предлагавшеюся за мудрость, и приветствием, которым он награждал пришедших просветить и обновить его. Гомер, Сократ и христианские апостолы принадлежат к древней эпохе, но мартирология мира еще не окончилась этим. Роджер Бэкон и Галилей томятся в тюрьмах, Тассо страдает в сумасшедшем доме, Камоэнс умирает, нищенствуя на лиссабонских улицах. Так пренебрегал, так преследовал мир пророков не только в Иудее, но и всюду, где только есть люди. Мы думаем, что каждый поэт вроде Бернса есть или должен быть пророком и учителем своего времени. Он не имеет права ожидать великих благ от него, но скорее обязан оказывать ему благо. Бернс в особенности вполне испытал обычную меру благ мира, и вина его несчастия, как мы уже заметили, не заключается преимущественно в мире.

Но на кого же падает она? Мы должны ответить: на него самого; его губит не внешнее, а внутреннее несчастие. Иначе вообще случается редко; редко гибнет нравственно жизнь без того, чтоб главная вина не заключалась во внутреннем ее недостатке. Она не так гибнет от избытка счастья, как от неуменья распорядиться этим счастьем. Природа не создает человека без того, чтобы не наградить его силой, необходимой для его деятельности и жизни, менее всего пренебрегает она своим образцовым созданием, поэтической душой. Также мы не верим, чтоб какие бы то ни было внешние условия могли окончательно погубить ум человека, когда даже на заботу о здоровье и красоте ему дана соответствующая способность.

Величайший итог всех человеческих несчастий – смерть, более худшего нет в чаянии человеческой скорби. Между тем во все времена многие люди торжествовали над смертью, побеждали ее, превращая физическую победу в нравственную и окружая ореолом славы и бессмертия деяния их предшествовавшей жизни. Что совершилось, то может совершиться вновь. Не качество героизма, а только его степень различна в различное время, потому что без некоторого присутствия героического духа, заключающаяся не в дерзкой отваге, но в спокойном бесстрашии, самоотрицании во всех его формах. Ни одному человеку в каком бы то ни было положении, в какой бы то ни было век не удавалось достичь великой и благотворной цели. Мы уже говорили об ошибках Бернса и скорее жалели о них, чем порицали их. В его цели чувствовался недостаток единства, в его стремлениях не было устойчивости, и он бесплодно пытался примирить общий дух мира с духом поэзии, который, уже по

самому свойству, был далек от всякого примирения.

В сердце его кипела не горячая кровь какого-нибудь популярного поэтика. Природа наградила его кровью истинного певца и поэта, достойного древних религиозных времен. Ему случилось жить не в героическом и религиозном веке, а в веке скептицизма, эгоизма и пошлости, где истинное благородство плохо понималось и где его место занимал пустой, бесплодный принцип гордости. Его открытая, восприимчивая натура, не говоря о его весьма неблагоприятном положении, делала для него невозможным отстранить или удачно воспользоваться влиянием века. Лучший дух, живший в нем, постоянно требовал своих прав, своего господства, он всю свою жизнь старался примирить его с духом века и растратил жизнь, не достигнув этого примирения.

Бернс родился бедняком и остался бедняком, да и не добивался выйти из этого положения. Это было бы совершенно в порядке вещей, если б он признал это дело поконченным однажды навсегда. Правда, он был беден, но тысячи людей из его звания и его ума были еще беднее, и бедность не наносила им смертельного удара. Даже его отец выдержал более жестокую борьбу с неблагодарной судьбой и не уступил ей, а умер, мужественно сражаясь, победителем в нравственном отношении. Правда, у Бернса было мало средств, мало времени для поэзии, его единственного истинного призвания, но тем драгоценнее было немногое, чем он владел. Во всех этих внешних отношениях его положение было плохо, но все-таки не худшее.

Бедность, постоянная умственная работа и еще большее зло выпадает на долю поэтам и умным людям, но они борются с ними и нередко со славой побеждают их. Локк был изгнан как изменник и написал свой «Опыт о человеческом разуме» в Голландии на чердаке. Был ли богат Мильтон, находился ли он в сносных обстоятельствах, когда создавал свой «Потерянный рай»? Нет, он был унижен, низвергнут с высоты и доведен до крайней бедности; окруженный мраком и опасностями, он пел свою бессмертную песнь и находил хотя немногих, но компетентных слушателей. Разве Сервантес не окончил своего произведения в тюрьме искалеченным солдатом? Разве «Araucana»[58], которую Испания считает своим величайшим эпосом, не была написана без помощи бумаги, на обрезках кожи, в свободную минуту, которую храброму воину и путешественнику удавалось улучить во время военного погрома?

И какими качествами, которых недоставало Бернсу, владели эти люди? Во-первых, у них был истинный, религиозный принцип нравственности и единая, а не двойственная цель в их деятельности. Они не искали и не выхваляли самих себя, но

воздавали хвалу предмету, лучшему, чем их «я». Во-вторых, не личное наслаждение было их стремлением, но высокая героическая идея религии, патриотизма, небесной мудрости, в той или другой форме, носилась перед ними. При подобных условиях их не пугали страдания, они не призывали землю в свидетели этих страданий, не смотрели на них как на необыкновенный подвиг, а терпеливо переносили и воспевали их как дарованную им милость. Поэтому «золотой телец себялюбия» не был их божеством; они чтили только дело добра, составляющее единственно разумное достоинство человека. Чувство это походило на небесный источник, воды которого орошали и освежали их слишком мрачное существование. Словом, они желали достигнуть только одной цели, которой подчинены все другие человеческие стремления, и удачно достигли ее.

Частью своего превосходства эти люди обязаны веку, в котором героизм и самопожертвование были в ходу, или по крайней мере признавали их, но многим они обязаны и самим себе. С Бернсом дело было другого рода. Его нравственность во многих практических отношениях была нравственность простого светского человека. Наслаждение в изящной или грубой форме – вот единственная вещь, к которой он стремился и за что боролся. Благородный инстинкт иногда возвышает его над ними, но только инстинкт, действующий на мгновение. У него нет религии; в пустом веке, в котором пришлось ему жить, религию не отличали от древних и новых форм, и она поэтому отодвинулась на задний план человеческой души. В его душе есть благоговение, но в его уме нет храма. Он живет во мраке сомнения. Его религия в лучшем случае робкое желание, подобное «великому может быть» Рабле.

Он горячо и всем сердцем любил поэзию; если б только он любил ее чисто и нераздельно, то было бы хорошо. Ибо поэзия, если б Бернс следовал ей, есть только другая форма мудрости и религии, – она сама мудрость и религия.

Но в этом ему было отказано. Его поэзия – дрожащее мерцание, которое не угасает в нем, но и не озаряет истинным светом. Его жизненный путь нередко превращается в блудящий огонек, приводящий его к пропасти. Бернсу не было необходимости быть богатым, быть или казаться «независимым», но ему следовало быть заодно со своим сердцем, высшие качества своей натуры приобщить к жизни, «внутри себя отыскивать опору, в которой внешние обстоятельства должны были ему постоянно отказывать».

Он был рожден поэтом, поэзия была стихией его жизни, и ей следовало быть душой всех его стремлений. Паря в этом чистом

эфире, куда благодаря крыльям он мог бы подняться, он не нуждался бы ни в каких высоких почестях. Бедность, пренебрежение и всякое зло, кроме осквернения его самого и его искусства, были для него малостью. Гордость и страсти мира лежали у его ног, и он смотрел на дворянина и раба, на принца и нищего и на все, что носит печать человека, с ясным пониманием, братским сочувствием и сожалением. Мы полагаем, что для его поэтического развития бедность и долгие страдания имели даже выгодную сторону. Великие люди, при взгляде на свою прошедшую жизнь, служат лучшим доказательством. «Я бы не хотел, – говорит Жан Поль, – родиться богаче». А между тем Поль был крайне беден. Так, в другом месте он замечает: «Тюремная пища состоит из хлеба и воды, а у меня нередко была только последняя». Но золото, расплавленное в горниле, выходит чище, или, как он сам выразился: «Канарейка тем лучше поет, чем дольше ее учат петь в темной клетке».

Человек, подобный Бернсу, мог делить свое время между поэзией и добросовестным трудом, – трудом, который предписывает каждое истинное чувство и который на этом основании обладает прелестью, превосходящей все великолепие трона. Но делить время между поэзией и пирами богатых людей было жалким, несчастным и ничего доброго не обещающим делом. Какие чувства занимали его на этих пирах? Что ему было здесь делать? Должен ли он был смешивать свою музыку с охриплыми криками и дикий чад опьянения освещать пламенем, полученным им от неба? Была ли его цель наслаждаться жизнью? Назавтра же ему предстояла деятельность акцизного чиновника. Мы не удивляемся, что Бернс стал капризен, мрачен и нередко нарушал некоторые общественные условия. Но скорее дивимся тому, что он не рехнулся с ума и окончательно не восстал против них. Как мог человек, поставленный, благодаря своим ошибкам или ошибкам других, в такое ложное положение, научиться терпению или довольству и усердному труду? Что он при этих извращенных условиях делал и что воздерживался делать – возбуждает в нас удивление к его природной силе и достоинству его характера.

Средство, без сомнения, существовало для этого извращения, но оно заключалось не в других, а в себе самом и менее всего в простом увеличении богатства и светской «респектабельности». Надеемся, что мы достаточно наслышались о влиянии богатства на поэзию и его способности сделать поэтов счастливыми. Разве в последнее время мы не были свидетелями другого примера? Байрон, с меньшим поэтическим дарованием, чем Бернс, родился не в семье шотландского земледельца, но английским пером.

Высшие мировые почести, блестящее земное поприще – вот его наследство. Богатую жатву славы срезает он своей собственной рукой, но только не там, где следовало. И какая польза ему от этого? Счастлив ли он, добр или правдив он? Увы! Его поэтическая душа стремится к бесконечному и вечному, а он вскоре сознает, что его положение похоже на положение человека, влезшего на крышу, чтоб оттуда достать звезды! Подобно Бернсу, он только гордый человек. Подобно ему, он «купил карманное издание Мильтона, чтобы изучить характер сатаны», потому что сатана также идеал Байрона, герой его поэзии и, как кажется, образец его действий. Как в деле Бернса, так и тут небесная стихия не хочет смешиваться с земным прахом. Поэтом и светским человеком он не может быть в одно время, пошлое честолюбие не уживается с поэтическим стремлением, он не может служить Богу и Маммоне.

Байрон, подобно Бернсу, несчастлив, он несчастнейший из всех людей. Его жизнь устроилась ложно, огонь, живущий в нем, не могучий, покойный центральный огонь, придающий красоту произведениям мира, но бешеное пламя вулкана, и теперь с грустью смотрим мы на пепел кратера, который в скором времени занесется снегом!

Байрон и Бернс были посланы миссионерами для их поколений, чтоб преподать им высшее учение, повестить им чистую истину. Им предстояло исполнить миссию, которая им не давала покоя, пока не была исполнена. Одинаково тлела и вспыхивала эта божественная миссия в них, потому что они не понимали ее значения, а только с таинственным страхом предчувствовали – и должны были умереть, не выразив ее определенно. Мы признаемся, что с грустным чувством смотрим на судьбу этих двух благородных душ, так богато одаренных и расточивших свое дарование на такое малое дело. Нам кажется, что в истории их жизни заключается серьезная мораль – «дважды» высказанная в наше время. Вероятно, в ней для подобных же гениальных людей, если они только есть, содержится урок, полный глубокого значения.

Вероятно, человеку, готовящемуся на величайшее дело – быть поэтом своего века, следует размыслить, что он намерен сделать и в каком духе будет его деятельность. Слова Мильтона справедливы во все времена, а в наш век их истина еще значительнее: «Кто хочет писать героическую поэму, тот должен сделать всю свою жизнь героической поэмой». Если дело ему не по силам, то пусть он скорее оставит эту арену, потому что ни блеск, ни гордость и опасности ее не годятся для него. Пусть он сделается модным поэтом, воспевает и поклоняется кумирам

века, а время уже позаботится его наградить, если только он долго проживет в этом качестве.

Байрон и Бернс не могли преклоняться перед кумирами, пламя их собственного сердца сожгло их, и это послужило им к лучшему, – потому что не в милости великих или маленьких людей, но в правде жизни и в неприступной твердыни собственной души должна заключаться сила Байрона или Бернса. Пусть великие мира сего держатся от них в отдалении или научатся уважать их. Прекрасен союз богатства с покровительством и поощрением литературы, он походит на драгоценную вазу, в которую посажен чудный амарант. Но отношения эти ложны. Истинный поэт не такой человек, которого богачи могут закупить деньгами и лестью, сделать прислужником их удовольствий, поэтом торжественных од или поставщиком их обеденных острот! Он не может быть их слугой, он даже не может быть их товарищем. Ради опасности обеих партий не следует добиваться подобного союза. Разве на коня Феба можно надеть хомут ломовика? Разве этот конь, с огненными подковами, путь которого лежит через небо, озаряя светом все страны, будет месить грязь на большой дороге и развозить по домам пиво для удовлетворения земного аппетита?

Но мы не остановимся на этих размышлениях, которые завели бы нас слишком далеко. Нам следовало бы сказать несколько слов о нравственном характере Бернса, но и от этого намерения мы должны отказаться. Мы далеки от того, чтобы смотреть на него как на человека, виновного перед миром, виновнее других людей, – нет, он менее виновен, чем один из десяти тысяч. Спрошенный перед более строгим трибуналом, чем тот, на котором постановляют свои приговоры обыкновенные судьи, он, по нашему мнению, заслуживает более сочувствия и изумления, чем порицания. Но мир обыкновенно несправедлив в приговорах относительно подобных людей, несправедлив по многим причинам, из которых мы приведем здесь только одну главную. Он решает на основании мертвых законов и не положительно, а отрицательно, упуская при этом из виду его справедливые поступки и обращая все внимание на его неправильные действия. Поэтому-то несправедливы и жестоки приговоры над Бернсом, Свифтом, Руссо и т. п.

Положим, что корабль пришел в гавань с поврежденными снастями и парусами, лоцмана обвиняют, потому что он не был умен и всемогущ. Но чтобы знать, насколько он достоин порицания, мы должны прежде спросить: совершил ли он путешествие вокруг света или только в Рамсгейт?

Перед нашими читателями вообще, как и перед всеми

справедливыми людьми, мы не считаем нужным выступать защитниками Бернса. Окруженный сочувствием и удивлением, он покоится в наших сердцах, в более благородном мавзолее, чем мраморный, и его произведения, при всех недостатках, никогда не изгладятся из памяти людей. В то время как Шекспир и Мильтон, подобно могучим рекам, протекают через страну мысли и несут на своих волнах купеческие корабли и усердных охотников за жемчугом, этот маленький источник также приковывает наш взор, потому что и он – смелое создание природы. Из недр земли бойко пробивается он на свет, и нередко путник, свернув с большой дороги, приблизится к нему, чтобы напиться его светлой воды и помечтать под его скалами и елями!

Вальтер Скотт[59]

Американец Купер утверждает в одной из своих книг, что «в людях есть инстинктивное влечение с любопытством смотреть на человека чем-нибудь замечательного». И эту истину может подтвердить все человечество, начиная от Китая до Перу и от Навуходоносора до старика Гикори[60]. Для чего толпится и глазеет народ у вновь усовершенствованной виселицы в Ньюгейте? Человек, которого собираются повесить, тоже в своем роде замечательный человек. Люди сбежались сюда такими массами, можно, наверное, предположить, что преступник будет не единственным человеком, которого сегодня задавят. Спросите, зачем и куда так спешат эти щегольские экипажи, наполненные разряженными дамами и кавалерами. Видеть дорогую мистрис Чепуху, замечательную женщину, и великого мистера Чепуху, замечательного человека. Или взгляните на это явление новейшей цивилизации, на так называемые вечера львов. В великолепных, освещенных залах целая толпа. Волнуются потоки блонд и кружев, пестреют фраки, приятная улыбка озаряет все лица. Здесь присутствуют львы, современные оракулы. На них приятно посмотреть; но не вступай с ними в разговор, а почтительно удались и будь благодарен. На вечерах львов не допускаются разговоры, в чем и заключается их характеристическая черта. Хотя это и собрание человеческих существ, но до того дошла наша цивилизация, что главная цель человеческого собрания – передавать душевные ощущения друг другу – здесь совершенно устранена. Разговора здесь нет, здесь чешут только язык и ведут такую речь, которой бы лучше вовсе не было. Отчего для большей откровенности и спокойствия на этих вечерах не украсят этих львов ярлыками, какими обыкновенно украшают бутылки с вином? Пусть они носят на своем теле ярлыки, обделанные в серебро со всевозможным искусством, с выгравированным на них именем владельца, чтоб всякий мог прочесть и узнать, с кем имеет дело, и не тратить попусту слов.

Весьма справедливо заметил Фенимор Купер, что люди имеют инстинктивное влечение смотреть с любопытством на людей, чем-нибудь замечательных, но кроме этого в них живет еще желание самим чем-нибудь отличиться и обращать на себя внимание других. Это влечение, по-видимому, необходимо для человечества. Без него что сталось бы со звездами, лентами и чинами, куда бы девалось самолюбие, богатство, респектабельность, одним словом – главная пружина, двигающая человеческим обществом, главная сила, которая его

поддерживает? Влечение это, прибавим мы, дает разнообразные результаты и происходит из разнообразного, не всегда смешного, но и высокого источника. Хотя некоторые и стараются объяснить его слепым природным влечением человека, заставляющим его, как близорукое животное, бросаться на всякий блестящий предмет, будь это хоть жестяное ведро, и принимать его за солнечный луч или, подобно овцам, кидаться за своим вожаком, куда бы тот ни побежал. И действительно, любопытно наблюдать, как люди сами создают себе богов, которым сами же поклоняются. Знаменитый человек, вокруг которого с восторженными криками толпится целый мир и боготворит его, как будто нет равного ему, в сущности, тот же самый человек, которого мир некогда топтал в грязи, человек, не изменившийся ни на одну фибру. Безумный мир, на что ты сбегаешься смотреть? На жестяное ведро? Да разве не валяется там целая груда подобных ведер, хотя, вследствие неблагоприятной судьбы, еще не вычищенных и не отполированных?

А между тем в человеке есть более высшее, лучшее влечение, не имеющее ничего общего с качеством овец, – влечение «чествовать своих героев», врожденная искренняя любовь к великим людям. Не позолоченный фартинг ценят глупцы, но золотую гинею, за которую они, по незнанию, его принимают. Почитание героев заключается в природе человека, оно во все времена было его отличительной чертой, в наш же век в особенности. Во все времена, даже в наше столь непокорное время, знаменательным фактом является то обстоятельство, – так хитро распорядилась природа, – что «человек повинуется только тому, кому он должен повиноваться». Докажи тупоумной твари или гордому уму, что действительно есть душа, превышающая его душу, и если его колени тверды, как медь, то и тогда он преклонит их и будет боготворить ее. Так написано в истории и будет читаться и повторяться до тех пор, пока все не узнают. Притом нужно помнить, что почитание героев было первой, второй и будет последней религией человека, религией неразрушимой, хотя и изменяющейся в форме, но в сущности неизменной. Политика, религия, честность и все высшие человеческие интересы будут покоиться на ней, как на скале, которая будет стоять, пока существует человечество. Такое значение имеет почитание героев, так много заключается в нас врожденной истинной любви к великим людям. И чем лучше мы можем выразить нашу признательность этим благодеяниям действительности, как не тем, что постараемся с улыбкой на устах прощать нелепые выходки притворства, даже самые вечера львов, снабжены ли эти львы ярлыками или нет, и пожелаем им

всякого преуспеяния.

Пусть процветает почитание героев, скажем мы, как процветает погоня за позолоченными фартингами, когда нет гиней. Но гинеи существуют, в существование их верят и ценят их, – поэтому отыскивайте великих людей, если можете; если их нет, то этим не прекращаются поиски. За неимением великих людей покажите нам известных людей столько, сколько на них достанет аппетита у публики.

Был ли Вальтер Скотт великим человеком – это еще вопрос для многих. Но что он был действительно замечательным человеком, в том не может быть никакого сомнения. В настоящее время не было писателя, который в какой-либо стране пользовался бы такой популярностью, как он, и равных ему людей было немного, даже во все времена и во всех странах. При этом нужно заметить, что Вальтер Скотт пользовался популярностью скорее в среде избранного круга, чем толпы. Его поклонниками долгое время были самые цивилизованные люди, и до сих пор они составляют большинство. Подобное счастье было ему суждено в продолжение двадцати или тридцати лет. Так долго он был предметом удивления и если не великим, то замечательным человеком. И действительно, мы имеем здесь дело с человеком, к которому питали «прирожденное влечение» все другие люди. А теперь, когда давно ожидаемая биография, «составленная его зятем и литературным душеприказчиком», вновь обращает на себя внимание целого мира, вероятно, в последний раз этим способом, и когда люди, в некотором роде, расстаются со знаменитым человеком, чтоб идти своей дорогой и оставить его на произвол судьбы, для чего нам не высказать то, что мы о нем думаем?

Читатели различных направлений, неизвестного количества и качества собираются нас послушать. Не чувствуя в себе особенного призвания, но покоряясь судьбе и необходимости, автор исполняет требование большинства. Исполнит ли он свой труд хорошо или дурно – будет зависеть не от большинства, а от него самого. Он желает одного, именно – подождать, пока биография будет окончена, потому что за шестью вышедшими томами, как известно, последует седьмой том, который увидит свет только через несколько недель. Но редакции журнала, для которого мы пишем эту статью, надоело ожидание, и она объявила, что, кончена или не кончена биография, она желает отделаться от нее еще до наступления нового года. Может быть, это и к лучшему, потому что физиономия Вальтера Скотта от этого седьмого тома, в сущности, не изменится, так как вышедшие шесть томов не могли ее изменить. А человек,

написавший около двухсот томов и живший тридцать лет в постоянной беседе с друзьями, уже должен оставить верное изображение по себе. Итак, покоримся редакторской власти.

Вначале два слова о самой биографии. Известное дарование мистера Локхарта свидетельствует о строгом изучении предмета. Наш приговор вообще тот, что он исполнил предпринятый им труд с честью, достойной добросовестного работника. Правда, понятие его о том, чем должен бы быть этот труд, не слишком высоко. Изобразить жизнь Вальтера Скотта по всем правилам искусства, так чтобы читатель, по зрелом обсуждении, мог сказать самому себе: «Вот Скотт, вот верная характеристика его земной жизни; таков он был от природы, таково было его влияние на мир и его значение для нас», – все это не входило в план Локхарта. Между тем этот план должен служить основой всякой биографии и пройти все степени совершенства начиная с «Одиссеи» и кончая «Томасом Элвудом». Ибо всякая героическая поэма есть, в сущности, биография, жизнь человека, так что можно сказать, что нет той человеческой жизни, правдиво рассказанной, которая бы не была рифмованной или нерифмованной героической поэмой.

Этому плану можно бы было отдать предпочтение, если б он соответствовал цели и в другом отношении, – чего в наше время ожидать нельзя. Семь томов продаются дороже одного, и все-таки их легче написать, чем один. Что стоила бы, например, «Одиссея», если б ее продавали по листам? Вероятно, не так дорого, как «Записки Пиквикского клуба», и в коммерческой алгебре уравнение было бы составлено в таком роде: «Одиссея» равняется «Пиквику», разделенному на неизвестное целое.

В литературе еще можно сделать великое открытие – это именно платить литераторам за то количество листов, которое они не пишут. Да и действительно, разве это не правило во всех отношениях и при всех поступках и действиях? Не то определяет ценность, что находится на земле, а то, что лежит в ней, – корень и подземный элемент, из которого оно вышло. Между всеми речами, годными на что-нибудь, самая лучшая – это молчание. Молчание глубоко, как вечность, речь пуста, как время. Это кажется парадоксом, не правда ли? Но горе тому веку, горе тому человеку, терзаемому, заброшенному речами, подобно бесплодной Сахаре, которому чужда эта древняя истина. Это, повторяем мы, правило. Действуй согласно ему или нет, признавай его или нет, но если кто отдалится от него, тому остается только вытягиваться вдоль и поперек, скользить по поверхности, прибегать к продажности и в конце концов сделаться совершенно бесполезным существом. Если б наш друг

Фенимор Купер, о котором мы упоминали при самом вступлении, следовал бы этому правилу, то, наверное, одарил бы нас только Натти Кожаным Чулком, этим мелодическим очерком человека и природы на западе, а сотни рассказов, собранных по приказу Колберна и К°, покоились бы в хаосе, где место всем несообразным вещам.

Действительно, этот гений многословного писания и действия походит на Молоха, потому что целая масса душ приносится ему в жертву. Поэтому-то необходимо и важно было бы открытие – платить за труд, сделанный невидимым образом. За подобное открытие мы бы с радостью отдали все компании строящихся железных дорог, общества распространения знаний и тому подобные деятельные учреждения Старого и Нового Света. Если подобное открытие действительно когда-нибудь осуществится, то мы бросим нашу шляпу вверх и воскликнем: «Дьявол побежден!» А пока не будем находить странным, что нам подносят семь биографических томов вместо хорошего одного и многие вещи продолжают совершаться точно так же, как совершались они встарь и как, вероятно, будут совершаться еще долгое время.

Намерение Локхарта было, по нашему мнению, написать не художественное произведение, а собрать и напечатать все письма, документы и заметки в надежде, что мир их прочтет; разместить их в хронологическом порядке и снабдить необходимыми примечаниями. Поэтому труд его не сочинение, а скорее удачная компиляция. Но и эта задача нелегка, для нее также необходима известная степень таланта, – так, например, между «жизнью и перепиской Гана Мора» и настоящей биографией Вальтера Скотта разница большая!

Итак, мы принимаем эти семь томов и весьма благодарны, что они оригинальны в своем роде. Относительно же того обстоятельства, что их семь, а не один, нужно заметить, что сама публика того требовала. Если б Локхарт поступал иначе, то обнаружил бы только недостаток такта. Если б вместо хорошо составленной компиляции он издал бы хорошее сочинение в одном томе, на которое был способен более, чем кто-либо другой в Англии, то, без сомнения, он нашел бы себе несравненно менее читателей. Если ему придется отказать в великодушии, то за ним остается благоразумие, которое он, может быть, ценит выше. Но и труд, составленный таким образом, стоит того, чтоб его иметь. Биография Скотта является перед нами если не оригинальным, самостоятельным произведением, то по крайней мере напечатанной в элементарном виде. Она может быть со временем написана, если кто-либо сознает это необходимым. В настоящем

же виде, мы повторяем, труд выполнен добросовестно. Остроумный взгляд, меткое суждение, искренность, усердие, здравый человеческий ум – все эти качества бросаются в глаза. Числа, факты и другие данные, полагаем мы, вполне верны. Подробности в сведениях, немыслимые для другого, встречаются здесь, и результаты их сообщаются с подобающей краткостью. Письма Вальтера Скотта вообще не интересные, но все-таки не лишенные некоторого интереса, помещены в достаточном количестве, но с выбором, – этому же выбору подвергнуты и ответы на них. Рассказы, очерки и, наконец, личные воспоминания, полные значения, но всегда правдивые и художественные, рассеяны по всей книге. Таким образом, перед нами собраны разнообразные факты, касающиеся жизни Вальтера Скотта. Перед нами лежит труд, исполненный человеком светлого ума, верного суждения – одним словом, с тем искусством, которого публика была вправе ожидать от имени, связанного с этим трудом.

В одном недостатке можем мы только упрекнуть Локхарта – он слишком сообщителен, нескромен и рассказывает такие факты, о которых недурно бы было и помолчать. Так, упоминаются некоторые лица и обстоятельства, не составляющие особого украшения книги. По-видимому, благоразумной сдержанности оказалось менее, чем того ожидали. Различные лица, названные здесь по имени и фамилии, почувствовали себя «оскорбленными», да и сам герой биографии является негероическим, потому что неблаговидные действия как его, так и тех людей, с которыми он имел дело, разоблачены с полной откровенностью, вследствие чего возник ропот о «личностях», «нескромности», «неприкосновенности частной жизни» и проч.

Как деликатна и прилична, подумаешь, английская биография. Дамоклов меч «респектабельности» висит постоянно над бедным английским биографом (как вообще над бедной английской жизнью) и окончательно его парализует. Поэтому и было сказано, «что английские биографии не заслуживают чтения, кроме биографий актеров, которые давным-давно распростились с респектабельностью». Английский биограф уже давно сознавал, что если, при описании жизни своего героя, он неумышленно кого-нибудь оскорбил, то вся его биография – ложь. Неизбежным следствием этого, говоря откровенно, было то, что всякая биография оказалась немыслимой. Бедный биограф, не имея страха Божия перед собою, должен был писать в самом жалком, ограниченном роде, так что в результате получался один только ноль. Напрасно писал он, и напрасно читали мы один том за другим, – это была не биография, но бесцветная, смутная тень

биографии, без характера жизни, одним словом – пустое пространство, где материалом могли служить только ветер да тень.

Ни один человек не проживет без толчков; он только проталкиваясь проберется через мир, наделяя обидами других и сам получая их. Жизнь его борьба, если есть с чем бороться. Даже самая устрица, мы полагаем, приходит в столкновение с другими устрицами, по крайней мере она наверное приходит в столкновение с нуждой и препятствиями и отстаивает свою жизнь если не как совершенная, идеальная, то как несовершенная, действительная устрица. Ей должны быть также знакомы угрызения совести, ненависть и малодушие. Что же касается человека, то у него постоянная борьба с духом противоречия, живущим как внутри, так и вне его, со злым духом (зови его слабым, убогим, жалким духом), присущим как ему, так и другим. Все его действия и поступки – длинная серия «падений». Если хотят описывать жизнь человека, то этого обстоятельства пропускать не следует, сохраняя, разумеется, при этом известного рода умеренность и достоинство. Нам не нужна трагедия «Гамлет», если в ней, по чьему-либо требованию, выпущена роль самого Гамлета. Нам нужна биография, а не призрак ее, как бы там ни угрожал ей дамоклов меч, говоря мимоходом, картонный. Надо надеяться, что вкус публики заметно улучшился относительно этого дела, пустые биографии, с принадлежащими к ним бесцветными подробностями, в настоящее время немыслимы. Вероятно, Локхарт чувствовал, что именно одобрит публика, и это придало ему смелость выступить против маленькой критикующей публики, – мы с радостью встречаем это предзнаменование.

Поэтому, может быть, ни одна похвала, расточаемая его труду, в действительности не важна так, как этот самый упрек, который уже не раз был высказан. Этот упрек стоит многих похвал. Его находят виновным в том, что он высказал то и другое или не угодил тому или другому, другими словами, что он своему труду придал живую форму и удалил от него призрачный, бесцветный характер. Некоторые люди кричали: «Многое, написанное здесь, не нравится мне!» Добрый друг, это жалко, но кто может помочь этому? Толпа, собирающаяся около фейерверка, нередко опаляет себе бороду, – это цена, которою она платит за иллюминацию; естественный же полусвет безопаснее и открыт для всех. Что касается нас, то мы надеемся, что все биографии на будущее время будут писаться так. Если необходимо, чтоб они составлялись иначе, то самое лучшее – это вовсе не писать их, потому что создавать не вещи, а призрак их не

должно входить в обязанность человека.

Задача биографа заключается в следующем: нарисовать верную картину человеческого земного странствования. Он разочтет, что составляет в нем пользу и убыток; под последней рубрикой он не забудет поместить вышеупомянутое оскорбление своих собратьев. Но это до такой степени увеличит убыток, что придется отказаться от многообещающего биографического предприятия. Но, раз решившись составить биографию, необходимо взять себе за правило изображать в ней действительность, а не призраки. Говоря в ней о своем герое и людях, с которыми тому пришлось сталкиваться, он не откажется от своей любви к человечеству, но все-таки не закроет глаз. В своей биографии он будет далек от неправды, но постарается даже не упоминать о некоторой правде, а предаст ее забвению. Но если он найдет, что то или другое обстоятельство соответствует его цели, то, взвесив и обсудив хорошенько «за» и «против», он не преминет воспользоваться им, отбросив всякое сомнение и не имея пред собой другого страха, кроме страха Божия. Порицайте благоразумие биографа, соглашайтесь или не соглашайтесь с его выводами, приписывайте ему злой умысел, ложь, обвиняйте его в диффамации, – но знайте, что только по этому плану может биограф надеяться написать биографию. Не упрекайте его в том, что он сделал, так как поступить иначе было бы великой ошибкой с его стороны.

Относительно же верности или ошибочности данных касательно Балантайна и других оскорбленных личностей, о чем теперь возбужден вопрос, нам ничего не известно. Если эти данные несправедливы, то их следует проверить; если несправедливости можно было избежать, то пусть автор подвергнется порицанию и наказанию. Мы можем только прибавить, что в этих данных нет и вида неточности, как не заметно нигде ни малейшего следа злобы или враждебности. По-видимому, вероятность их возможна, и пока не явится нового доказательства, нужно прийти к тому заключению, что это дело находится в том виде, в каком оно должно находиться. Пусть поэтому сыплются упреки сколько могут. Локхарт заслуживает одобрения уже тем, что, стоя лицом к лицу с публикой, первый восстал против общественного лицемерия, которое у нас принадлежит к числу самых распространенных недостатков и находится в тесной связи с другими, более свирепыми наклонностями.

Второй упрек, что из Вальтера Скотта он не сделал героя, исходит из того же, но еще более курьезного источника. Настоящий герой, по понятиям многих, не должен иметь

человеческого образа, а должен быть бесцветным, безличным призраком-героем! В связи с этим понятием находится еще всюду ходячая гипотеза, придуманная, вероятно, каким-нибудь человеком, имеющим название, иначе у нее недостало бы сил долго держаться. Именно – Локхарт питал ненависть к Вальтеру Скотту и вследствие этого употреблял все возможное, чтоб при случае и самым недобросовестным образом лишить его качеств героя. Подобная гипотеза в настоящее время в ходу, и имеющие уши могут ее иногда слышать. Если следует чем-нибудь ответить на эту удивительную гипотезу, так это молчанием, – «потому что есть вещи, о которых молчат, как при первом виде бесконечного». Если Локхарт действительно заслуживает упрека, и упрека строгого, так это в том, что Вальтер Скотт слишком мил. Для него величие Вальтера Скотта слишком громадно, так что он не может охватить его глазом. Самые ошибки его кажутся прекрасными, а пошлая страсть к наживе принимает вид благоразумия и осторожности – одним словом, его достоинствам нет меры… Разве терпеливый биограф не останавливается перед его «Аббатами», «Пиратами» и другими театральными произведениями, с любовью анализируя их, как будто это были произведения Рафаэля или бессмертные Гамлеты и Отелло. Фабрика романов, с ее 15 000 фунтов годового дохода, для него священна, как создание гения, возносящее благородного творца к небесам. Вальтер Скотт кажется Локхарту человеком, не имеющим себе равного в наше время, предметом, расстилающимся перед ним подобно безбрежному морю. На подобную удивительную гипотезу можно ответить только одним молчанием.

В заключение относительно книги Локхарта следует сказать, что всякий прочтет ее с полным убеждением, она написана добросовестно и с любовью – одним словом, в удобочитаемой форме. Кому она нужна, тот может купить ее или взять ее на прочтение с уверенностью, что он за свои деньги приобрел полезную вещь. Но довольно об этой биографии, взглянем теперь на человека и его деятельность.

Мы не имеем намерения углубляться в вопрос – был ли Вальтер Скотт великим человеком или нет? Этот вопрос, по обыкновению, вертится на одних только словах. Бывали случаи, что многих людей называли великими и даже в печати упоминали о них, как о великих людях, которые были гораздо менее его. Также случалось, что специально добрые люди, в сравнении с ним, не владели далеко достоинствами, выпавшими ему на долю. Для кого Вальтер Скотт велик, тот в невинности своей и может называть его таким; он может удивляться его

великим качествам и от чистого сердца подражать ему. Но вместе с тем недурно бы было, чтоб в наших эпитетах была известная степень точности. Не мешало бы также принять во внимание, что никакая популярность, никакое громкое обожание целого мира, продолжающееся даже в течение длинного ряда годов, не могут сделать человека великим. Подобная популярность – замечательное счастье и доказывает, что человек сумел подладиться к обстоятельствам, но все-таки не служит еще доказательством, чтоб что-нибудь великое заключалось в нем. Для нашего воображения, как упомянуто выше, заключается в этом известная апофеоза, но, в сущности, вовсе нет апофеозы.

Популярность подобна пламени иллюминации или пожара, вспыхнувшего вокруг человека; он осветил все, что в нем есть, но не увеличил его качеств, напротив, лишил его многого и обратил в пепел. Подобная популярность, уже по своей натуре, преходяща, и «ряд годов» совершенно неожиданно иногда внезапно оканчивается. Глупость людей, в особенности масс, столпившихся около какого-нибудь предмета, беспредельна. Сколько зажигалось иллюминаций, сколько вспыхивало пожаров; казалось, что восходило новое солнце, а между тем это были смоляные бочки да пучки соломы. Нечестивые принцессы кричали: «Един Бог, един Фаринелли», – а где теперь он и где сам Фаринелли?

В литературе также были популярности и поважнее Вальтера Скотта, но и они не отличались продолжительностью. Лопе де Вега, именем которого клялся весь мир и самое имя которого вошло в пословицу, умевший написать сносную пятиактную трагедию, величайшая из популярностей настоящего и прошедшего времени и, может быть, величайший из людей между всеми популярностями, – сам блестящий, лучезарный Лопе оказался не солнцем, не звездой небосклона, а исчез и утратился и только в глазах немногих кажется неопределенным северным сиянием и блестящим призраком. Но истинно великий человек Испании находился в нужде и неизвестности и, сидя в тюрьме, писал своего «Дон Кихота». Судьба Лопе, впрочем, тоже была печальная. Самая популярность была для него, может быть, проклятием, потому что и в этом человеке было нечто эфирное, в нем таилась божественная искра, едва заметная в других популярных людях, но, несмотря на весь блеск, на то, что целый мир клялся ее именем, этот человек ничего не сделал для своей жизни. Он должен был уединиться в монастырь, облечься в монашескую рясу и узнать, к великому прискорбию, что счастье его заключалось в другом месте и что когда жизнь покажется человеку горем и ошибкой, то никакой восторг целого мира не может исцелить и направить ее на путь истинный.

А переходя к нашему времени, – разве Август Коцебу не был популярен? Коцебу еще несколько лет назад, когда верили в крики и рукоплескание, смотрел на себя как на великого человека и видел, как его идеи, одетые в плис и картон, гордо распространялись по Европе. Самые железные люди плакали с ними вместе в театрах от Кадиса до Камчатки, и его «изумительный гений» производил по две трагедии в месяц. Вообще его пламя пылало довольно высоко, но и оно исчезло во мраке и его нет более. На этом основании мы минуем популярность; предположим, что она ничуть не содействовала величию Вальтера Скотта, и будем смотреть на нее как на дело случая, а не качество.

Лишенный этого ложного нимба и низведенный до собственных естественных размеров, пред нами явится действительный Вальтер Скотт, со всеми своими качествами, великими или нет, смотря по выражению людей. Приверженцы точных выражений, вероятно, не признают в нем права на титул «великого». По нашему мнению, для великого человека требуется другой материал, а не тот, который перед нами. Неизвестно, какой идеей, достойной великого человека, каким стремлением или инстинктом, которые можно бы было назвать великими, был проникнут Вальтер Скотт. Его жизнь была обыкновенная, самолюбие тоже. В нем нет ничего духовного, но все материальное, земное. Страсть к живописным предметам, прекрасному, поразительному и изящному, любовь искренняя, но не искреннее той, которая живет в целой массе людей, называющихся маленькими поэтами, – вот высочайшие качества, которые мы видим в нем.

Его талант изображать эти предметы, его поэтический дар, как и его нравственная сила, были, так сказать, гением in extenso, а не intenso. В действии и мышлении, несмотря на всю ширину, он никогда не поднимался высоко; будучи плодовит не в меру относительно количества, относительно качества он едва переступил пределы общих мест. Справедливо сказано, «что ни один автор не написал так много томов, в которых бы было так мало идей». Окрыленные слова не составляли его призвания; ничто не влекло его к этому направлению; великая тайна бытия была для него не велика, она не влекла его в скалистые пустыни, чтоб вопросить тайну, добиться ответа или погибнуть. Он не был мучеником, не бросался в «мрачную пучину», чтоб, нам во благо, побивать чудовищ, победы его клонились к личной выгоде, – это были победы над обыкновенным рыночным трудом, который можно было оценить металлической государственной монетой.

Трудно определить, во что он верил, кроме силы, да и силы

самого грубого свойства. В нем не заметно ни веры, ни отрицания, он спокойно соглашался со всем и жил в ладах со всеми условиями мира. Ложь, полуложь и истина были для него в одной цене. Он желал одного, чтоб они были здесь и владели большей или меньшей силой. Хорошо иметь подобного рода понятия, но, с другой стороны, нет. «Горе сидящим на Сионе, но еще большее горе томящимся в Вавилоне, во рву Данииловом». Но ведь он написал много книг и тем доставлял удовольствие тысячам людей. Да разве за это можно назвать его великим? По нашему мнению, другой дух живет и борется внутри великого человека.

Миссионер Ринглтоб спросил Рамдаса, индусского полубога, который только в последнее время превратился в божество, «как поступить с человеческими заблуждениями?» На это Рамдас отвечал, что у него «достаточно огня во чреве, чтобы сжечь все грехи мира сего». Рамдас имел право это сказать, и в его словах был некоторый смысл – признак всякого божественного человека, без которого он ни божествен, ни велик. Он и явился в мир с тем, чтобы сжигать его грехи и избавлять людей от бедствий и заблуждений. Мы этим вовсе не думаем утверждать, что великий человек должен быть другом человечества. Напротив, люди, присваивающие себе этот титул, такого рода личности, с которыми пагубна встреча в наше время. Всякое величие несознательно, иначе оно мало или ничтожно. Но все-таки великий человек, чуждый «подобного» огня, тлеет ли или ярко горит в нем этот огонь, явление ненормальное в природе. Великий человек всегда, как говорят трансцендентальные философы, одержим какой-либо идеей.

Сам Наполеон, которого хотя и нельзя назвать величайшим человеком, при всем своем благоразумии и эгоизме, держался той идеи, что демократия – главное и вполне справедливое дело человечества. Вследствие этого он и сделался «воином демократии» и мстил за нее в грандиозных размерах. Да, до последней минуты он придерживался идеи именно той, которую высказывал словами: «Дорога открыта талантливым», – тому и орудие в руки, кто умеет с ним обращаться. И действительно, это одна из лучших идей, когда-либо высказанных об этом предмете, или, скорее, единственно справедливая, центральная идея, к которой должны стремиться все остальные идеи, если они только куда-нибудь стремятся. Но к несчастью, Наполеон мог осуществить эту идею только на военном поприще, потому что он долгое время принужден сражаться, чтоб упрочить свою власть. Но прежде чем он успел испытать ее на гражданском поприще, его голова уже закружилась от побед (ни одна голова не может

вынести более определенного ей количества счастья). Он потерял, так сказать, голову, сделался крайним честолюбцем, эгоистом, шарлатаном и лишился власти, предоставив другим осуществлять свою идею на этом поприще. Таков был Наполеон, таковы все великие люди, – они дети идеи, или, как выражается Рамдас, наделены огнем, чтоб выжечь все человеческие бедствия, но в Вальтере Скотте нельзя подметить и признака этого огня.

С другой же стороны, самый придирчивый критик должен допустить, что Вальтер Скотт был оригинальный человек, и это качество уже само по себе намекает на что-то великое. В нем не было ни аффектации, ни шарлатанства, в нем не заметно и тени лицемерия. Разве не был он в своем роде смелый и сильный человек? Какое бремя труда, какую меру счастья нес он спокойно на себе, пользуясь и наслаждаясь ими, не покоряясь ни счастью, ни невзгодам. Он был в высшей степени твердый, непобедимый человек, не знал малодушия в несчастье и неудачах. Подобно Самсону, он нес на своих могучих плечах ворота, которые грозили его запереть, а во время опасности и грозы он презирал страх. И затем, каким неподдельным юмором, гуманностью и симпатичностью был он наделен, какими теплыми чувствами была согрета его жизнь, – одним словом, он был крепкий, здоровый человек. Нашим лучшим определением Вальтера Скотта будет, может быть, то, что, не будучи великим человеком, он был, что гораздо приятнее, крепким, здоровым человеком и притом совершенно счастливым. Он был человек, находившийся в отличных условиях, здоровый телом и душой, так что мы смело можем назвать его «самым здоровым» из людей.

А это не малость, здоровье – великое достоинство как для того, кто им владеет, так и для других. Один юморист, уважавший только одно здоровье, был совершенно прав. Вместо того чтоб кланяться знакомым, богатым и хорошо одетым людям, он снимает шляпу только перед здоровыми. Экипажи, наполненные бледными лицами, не обращали его внимания и внушали ему одно только сожаление; напротив, телеги, на которых заседали румяные существа, встречались им с радостью и уважением.

Разве здоровье не означает гармонию, разве оно не синоним всего истинного, порядочного и доброго? Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы. Здоровое тело приятно иметь, но здоровый ум – вот вещь, которую мы должны просить у неба и которая составляет лучшее наше достояние на земле. Без всяких искусственных философских средств здоровый ум распознает все хорошее, принимает и держится за него, угадывает дурное и добровольно уклоняется от него. Природный

инстинкт, подобный инстинкту, указывающему диким лесным животным пищу, научает ум, что следует делать и от чего нужно воздерживаться. Все ложное и чуждое не пристает к нему, лицемерие и все болезненные прихоти для него невозможны. Он будет походить на «оригинала» Уокера, который пользовался таким отличным здоровьем, что, несмотря на неупотребление мыла и воды, не мог добиться, чтоб у него было грязное лицо. Над этим ты можешь трудиться и извлекать пользу – это вещь существенная и достойная, а вот это дело для тебя не годится – оно непрочно и пошло, так говорит внутренний голос здоровому человеку.

Такой человек не нуждается ни в какой логике, чтоб убедиться в нелепости, уже самой по себе убедительной. Гете говорит о самом себе: «Все это бежало с меня, как вода с человека, одетого в клеенчатое платье». Благословенна здоровая натура, потому что она разумна, деятельна, а не саморазрушительна! При гармоническом устройстве и деятельности всех способностей равновесие собственного «я» вырабатывает истинное чувство относительно всех людей и вещей. Веселый свет вырывается изнутри, озаряет и украшает все внешнее.

Все это может быть применено к Вальтеру Скотту, и ни к кому из современных английских писателей не применяется оно в такой степени, за исключением, может быть, одного человека, совершенно противоположного Вальтеру Скотту, но равного ему по качествам, – Уильяма Коббета. Они, впрочем, представляют еще другое сходство, несмотря на их огромную разницу. Подобное сравнение не унижает Вальтера Скотта, потому что Коббет, как образцовый Джон Буль своего века, могучий, как носорог, и с особенною гуманностью и гениальностью, сквозившими через его толстую кожу, был весьма замечательным явлением. Природа была так благосклонна к нам, что в самый болезненный век, когда английская литература страдала от вертеризма, байронизма и других слезных или судорожных сентиментальностей, послала нам двух здоровых людей, о которых могла сказать не без гордости: «И эти родились в Англии, и здесь я еще создаю подобных людей». Это одно из отрадных явлений, как бы там ни разрешался вопрос о величии. Велика или невелика здоровая натура, но дело в том, что великой натуры нет без здоровья.

Вообще разве мы не можем сказать, что В. Скотт в новой одежде XIX века был верным снимком древнего бойца, пограничного жителя прежних столетий, – род человека, которого природа производила на его родине? На седле, с копьем в руках

он так же хорошо исполнял бы свое дело, как исполняет теперь с пером в руках, за письменным столом. Нетрудно представить, как во времена гордого «Бирди Гардена» он мог бы успешно сыграть роль Бирди. Каким дюжим, подпоясанным ремнем «сыном земли» был бы он, тогда как теперь он может только описывать это. Так же самонадеянность жила в нем, так же твердо и бесстрастно было его сердце. Он так же бы сражался у Редсвейра, разбивал бы с другими храбрецами головы своим врагам, угонял бы скот в Тейндале, платил бы за обиду с лихвой и мог бы быть дельным предводителем.

Он был человек без предубеждений и фантастических бредней, обладал здоровой головой и сердцем, веселым и бодрым характером и постоянно преследовал одну избранную цель, которой желал добиться во что бы то ни стало. Как много сил осталось в нем неразвитыми, сколько утратилось и исчезло их без следа! Впрочем, кто знает, сколько сил таится в других людях? Может быть, наши величайшие поэты – «безгласные» Мильтоны, а говорят только те, которых счастливый случай выдвинул вперед и произвел в «гласные». Это еще вопрос: не пришлось ли бы Шекспиру целую жизнь резать телят и чесать шерсть, если б в Стратфорде-на-Эвоне не было такой нужды и бедности? Если б дела эдиальной школы шли хорошо, мы никогда бы не слыхали о Сэмюэле Джонсоне; он был бы жирным школьным учителем и педантом, да никто и не вздумал бы подозревать в нем других достоинств. Природа богата, разве из этих двух яиц, которые ты беспечно съедаешь за завтраком, не могла бы вылупиться пара цыплят и затем наполнить куриным царством весь мир?

Но нашему храбрецу не суждено было угонять скот в Тейндале и биться в Родсвейре, на его долю выпал другой труд:

быть певцом и приятным рассказчиком для Англии и Европы в начале искусственного XIX века. Он отлично устраивается в этой новой стихии, прилаживается к ней и живет здорово и весело, пользуясь при этом такой богатой добычей, с которой всякая добыча Гардена оказалась бы ничтожной. «Вот история жизни и деятельности нашего Вальтера Скотта, в которую мы теперь и заглянем. Это предмет замечательный, существенный, полный радостей и успеха и, во всяком случае, достойный наблюдения.

До тридцати лет жизнь Вальтера Скотта не представляла ничего особенного, что бы указывало на его литературное призвание или вообще на какое-нибудь отличие. Он женился, устроился, прошел свой первый путь без малейших признаков известности. Это была жизнь, общая всем эдинбургским юношам его положения и времени. Жизнь, заметим мы, счастливая во

многих отношениях. Родители его – люди достаточные, не зараженные испорченностью аристократии. В обстановке и занятиях нет ничего возвышенного, но все удовлетворительно, всюду методичность, порядок, благоразумие, довольство и благодушие, – стихия теплоты и света, любви, деятельности, мещанского комфорта, доведенная до изящества, в которой юное сердце может развиваться свободно и смело.

Природа наградила Вальтера Скотта хорошим здоровьем и, как бы желая, чтоб его здоровье выражалось более в духе, чем в теле, наделила его еще в детстве хромотой. Бойкий мальчик, вместо того чтоб резвиться и прыгать, должен был приучаться думать и – дело нелегкое – сидеть на месте. Не игра в мяч и другие забавы предстояли юному Вальтеру, а баллады, рассказы, сказочный мир, которым снабжали его в изобилии мать и близкие. Хромота – болезнь чисто внешняя и не может омрачить юной жизни, напротив, она способствует ее развитию. Гибельна болезнь внутренних, благородных частей, она увечит весь организм; при такой болезни не было бы и Вальтера Скотта, он бы не мог существовать, несмотря на всевозможные дарования. «Природа многим, весьма многим наделяет здоровых детей; умное воспитание – вот умное развитие полученного дара, но еще лучше развивается он сам собой».

К этому следует прибавить еще другое обстоятельство – место рождения Вальтера Скотта, именно пресвитерианскую Шотландию. Влияние родины сказывается непрерывно, оно входит во все поры. «Родной выговор, – говорит Ларошфуко, – слышится не только в речи, но в мыслях, поступках, характере и образе жизни человека и никогда не расстается с ним». Вальтер Скотт, полагаем мы, был всю свою жизнь епископальным диссидентом, но это мало относится к делу. Всякий знающий Шотландию и Вальтера Скотта не усомнится в том, что пресвитерианство имело огромное влияние на его развитие. Страна, в которой весь народ проникнут до глубины сердца религиозной идеей, сделала уже шаг, от которого она не может отступить. Мысль, сознание, чувство проникли в отдаленную хижину, в самое простое сердце. Прекрасное, благоговейное чувство озаряет всю жизнь. Вдохновение живет в подобном народе, и можно сказать, что оно придает ему разум.

Честь и слава всем верным и храбрым, в особенности же сильному старому Ноксу, вернейшему из верных! В то время когда он и его дело, посреди гражданской неурядицы, боролись за свою жизнь, он посылал школьных учителей всюду и говорил: «Учите народ». Это, впрочем, одна из неизбежных и сравнительно неважных мыслей в его великом послании к народу. Его послание

во всем своем объеме гласило: «Пусть люди знают, что они люди, созданные Богом и ответственные перед ним, и малейший труд их перейдет в вечность». В этом послании он обращался не к пашущим и молотящим машинам, не к привилегированным потребителям продуктов этих машин и рабам своих ближних или своих прихотей, но к людям! Эту великую истину Нокс высказал мужественным, сильным голосом – и обрел народ, поверивший ему.

Такой подвиг, совершенный хоть однажды, дает громадные результаты. Мысль в подобной стране может изменить свою форму, но исчезнуть – никогда. Страна достигла совершеннолетия, мысль и некоторая духовная возмужалость укоренились в ней. Мысль может принимать различные формы: скаредности, денежной наживы, что мы видим в простом английском и шотландском народе, но вместе с тем всегда сумеет сохранить смелость и энергию. Придет время, когда она возродится в колоссальный скептицизм Юма, который, подобно титану, посредством сомнения и анализа, боролся с новым верованием, или выразится во вдохновенных мелодиях Бернса – одним словом, она там и продолжает обнаруживаться в голосе и деятельности народа, состоящего из основательных и разумных людей. Корень шотландского народного характера заключается во многих обстоятельствах: во-первых, в саксонской крови, на которую нужно было действовать, затем в пресвитерианстве Джона Нокса. По-видимому, это хороший народный характер, но, с другой стороны, и не совсем хороший. Шотландец многим обязан Ноксу, он должен быть ему благодарен, хотя последний и не подозревал этой благодарности. Ни один шотландец не был таким истым шотландцем, как Вальтер Скотт, все добрые и дурные качества, прирожденные этому народу, вошли в его плоть и кровь.

Приятно читать детство, школьную и студенческую жизнь Вальтера Скотта, хотя они и не отличаются от жизни других его соотечественников и современников. Память о нем, вероятно, продлится до тех пор, пока история его юности сделается интереснее, чем теперь. «Так жил эдинбургский писатель в конце XVIII столетия», – скажет, может быть, сам себе будущий шотландский романист в конце XXI столетия. Следующий небольшой отрывок из детской жизни – вот и все, что мы можем сообщить. Он заимствован нами из автобиографии, начатой В. Скоттом и о которой можно только пожалеть, что ему не удалось ее окончить. Лучшие качества Вальтера Скотта нигде не являются в таком свете, как в воспоминаниях и рассказах. Подобный образцовый рассказчик может отлично говорить о своей

собственной личности. Здесь как нельзя более его сведения были совершенны и представляли широкий простор его юмору.

«Вот случай, о котором следует рассказать, – говорит он. – Моя мать прислала на ферму Сэнди-Ноу служанку, которая должна была присматривать за мной, чтоб я не был в тягость семейству. Девушка эта с возложенной на нее важной миссией, вероятно, забыла свое сердце у какого-нибудь парня, который наобещал и наговорил ей более, чем мог исполнить. Поэтому ей сильно хотелось воротиться в Эдинбург, а так как моя мать настаивала, чтоб она оставалась со мной, то она возымела против меня особую ненависть, потому что я был причиной того, что ей нужно оставаться в Сэнди-Ноу. Это чувство превратилось у нее в какую-то болезнь, и она призналась старой ключнице Уилсон, что ее искушал дьявол и научал перерезать мне горло ножницами, а потом зарыть меня в мох. Уилсон немедленно взяла под свое покровительство мою особу и позаботилась о том, чтоб девушка не приняла каких-нибудь дальнейших мер относительно меня. Само собой разумеется, что ее поспешили уволить, и уже впоследствии я слышал, что она действительно сошла с ума.

Здесь, в Сэнди-Ноу, в доме моего деда с отцовской стороны, я впервые сознал свое существование и ясно помню, что мое положение и вид имели что-то странное. Между другими оригинальными средствами, к которым прибегали, чтоб вылечить мою хромоту, кто-то предложил завертывать меня в теплую шкуру только что зарезанной овцы. В этом татарском наряде, как хорошо помню, лежал я на полу маленькой гостиной, а дед мой, почтенный седовласый старец, делал все возможное, чтоб заставить меня ползать. Также припоминаю я, что в этом деле принимал участие Джордж Мак-Дугал, отец нынешнего сэра Генри Гая Мак-Дугала. Он приходился нам, бог весть почему, родственником, и я живо помню, как этот старик в мундире – он был полковником «серого кавалерийского полка», – маленькой треугольной, обложенной галуном шляпе, красном вышитом жилете, пуклях молочного цвета, завязанных по военному, стоял передо мной на коленях, волочил по ковру свои часы и тем манил меня к себе. Добродушный старик и ребенок, завернутый в овечью шкуру, представляли интересную картину для зрителей. Кажется, это происходило на третьем году моей жизни, в 1774 году, потому что Джордж Мак-Дугал и мой дед вскоре после того умерли».

Теперь заглянем в Лидесдейл. Вальтер Скотт превратился в бойкого, веселого молодого человека и адвоката. Во время вакаций он странствует по горам, ездит на своем крепком коне через болота и кустарники, по полям и различным местам, не

сознавая еще в то время, что здесь заключалось его литературное призвание. Нет страны, как бы пустынна и болотиста она ни была, которая бы не имела своего поэта и не воспевалась бы в песне. Так как Лидесдейл, некогда прозаичный, как и все равнины, приобрел ныне известность, то бросим на него взгляд. Этот Лидесдейл также находится на нашей древней земле, под тем же вечным небом, и ведет свои счеты с целой вселенной. Подвиги Вальтера Скотта были здесь чисто аркадского свойства, причем не было недостатка и в водке. Мы предваряем читателя, что некоторые рассказы Локхарта кое-где и преувеличены ради эффекта.

«В продолжение семи лет, – пишет Локхарт (автобиографию мы уже оставили), – Вальтер Скотт делал, как он сам выражался, «набеги» на Лидесдейл вместе с мистером Шортридом, помощником роксбурского шерифа, служившим ему проводником, причем исследовал каждый ручеек до самого его источника и каждую развалину от основания до зубцов. В то время в этой стране еще не существовало экипажа, и первым был кабриолет, в котором Скотт явился, сам правя, в седьмую из своих поездок. По всей равнине не было ни одной гостиницы, ни одного трактира. Путешественники из хижины пастуха переходили в дом священника, от радушного гостеприимства последнего к грубому, но не менее радушному гостеприимству крестьянина, собирая всюду песни и мелодии и случайно натыкаясь на остатки древности». Этим прогулкам Вальтер Скотт обязан большею частью материала для своего «Minstrelsy of the Scottish Border»[61], а также коротким знакомством с патриархальными обычаями и нравами страны, что составляет главную прелесть одного из лучших его прозаических произведений. Но когда именно Скотт усвоил себе определенную цель в своих исследованиях, сказать трудно. «Он собирал постоянно, – говорит Шортрид, – но только через несколько лет понял, что ему, собственно, нужно; тогда же, я полагаю, он думал только о проказах и шутках.

В то время адвокатов было немного, – продолжает Шортрид, – по крайней мере в окрестностях Лидесдейла». Затем почтенный помощник шерифа принимается описывать тревогу, чуть не панический страх, который наделало их первое посещение фермы Уилли Эллиота в Мильбернгольме, лишь только хозяин узнал о профессии одного из своих гостей. Когда они сошли с лошадей, он принял Скотта с большой церемонией и хотел непременно сам отвести его лошадь в конюшню. Вилли, подойдя вместе с Шортридом к двери дома и внимательно оглядев Вальтера Скотта в щель, шепнул: «Черт меня побери, если я сколько-нибудь боюсь его теперь, он такой же, как и мы».

Полдюжины собак разного сорта собрались вокруг адвоката, и манера, которою он отвечал на их ласки, окончательно успокоила хозяина.

Шортрид утверждает, что этот добряк из Мильбернгольма послужил оригиналом для Денди Динмонта. Они отобедали в Мильбернгольме и, просидев несколько времени за пуншевой чашей у Уильяма Эллиота, по выражению Шортрида, «подгуляли порядком». Затем сели на лошадей и отправились к доктору Эллиоту в Клеггид, где обоим путешественникам пришлось спать на одной постели, что, по-видимому, случалось с ними нередко во время прогулок по этой первобытной стране. У доктора Эллиота (он был священником) было довольно значительное собрание баллад, которыми интересовался Вальтер Скотт. На следующее утро они поехали посетить старика Томаса в Тослхоупе, известного своей игрой на волынке. Перед отъездом, в шесть часов утра, охотники за балладами пропустили стаканчика два водки, добавив их лондонским портером, но, прибыв в Тослхоуп, они изъявили Томасу полную готовность позавтракать. После чего хозяин угостил их отвратительной музыкой, значительным возлиянием водки-пунша, приготовленного в деревянной посуде, похожей на подойник и которую он называл «мудростью», потому что в нее вмещалось только несколько ложек водки. Но хозяин умел так искусно наполнять его, что более полувека этот подойник считался роковым для трезвости во всем приходе. Сделав подобающую честь «мудрости», они сели на лошадей и отправились, чрез мхи и болота, к другим, равно гостеприимным артистам волынки!

«Каким неистощимым запасом юмора и веселости обладал в то время Вальтер Скотт, – говорит Шортрид. – Через каждые десять шагов мы начинали смеяться, кричать или петь. Везде, где мы ни останавливались, он умел подделываться к каждому, не важничая и не корча из себя знатной особы. Во все это время я видел его в различном расположении духа, серьезным и веселым, трезвым и пьяным, – последнее, впрочем, случалось редко. Но, пьяный или трезвый, он всегда оставался джентльменом. Когда он был пьян, то смотрел вяло и тупо, не теряя, впрочем, хорошего расположения духа».

Все это вещи довольно сомнительные и рассказанные сомнительно, но что сказать о следующем рассказе, где элемент водки играет преобладающую роль? Мы надеемся, что многое в нем ради эффекта преувеличено.

«Когда однажды вечером мы прибыли в Чарлишоп или в какое-то другое место этой дикой страны, то встретили здесь, по обыкновению, радостный прием, приличное угощение водкой, что

для нас было в особенности приятно после нескольких дней скромной жизни. Вскоре после ужина, за которым была выпита только бутылка бузинной настойки, молодой студент богословия, случившийся тут в гостях, принялся читать Библию. Он уже успел прочитать несколько страниц, как вдруг добряк фермер, имея наклонность, как выражается Митчел, к сонливости, к ужасу своей жены, вскочил с колен, протер глаза и громовым голосом закричал: «А, наконец и бочонок здесь!» И в эту минуту появились с бочонком двое дюжих работников, которых он, еще за два дня до ожидаемого приезда адвоката, послал в отдаленный притон какого-то контрабандиста, чтоб добыть новый запас водки. Благоговейное настроение общества разом прекратилось. Рассыпаясь в извинениях, веселый хозяин немедля поставил бочонок на стол и принялся угощать гостей, не забыв при этом и студента, и таким образом попойка продолжалась до самого утра. Впоследствии мне нередко случалась видеть, как Вальтер Скотт, вместе со своим товарищем по Лидесдейлу, с неподражаемым комизмом передавал внезапное восклицание хозяина, когда раздался топот лошадей, возвещавший прибытие бочонка, ужас его жены и отчаяние, с которым юный богослов закрыл свою Библию».

Из этих рассказов о «набегах» на Лидесдейл, которые и мы, подобно юному богослову, закрываем здесь не без некоторого отчаяния, читатель сам может извлечь пищу. Они достаточно доказывают, хотя и в грубой форме, что в то время юные адвокаты, а с ними и Вальтер Скотт, были народ веселый, разбитной, нередко отдававший особое предпочтение водке. Но теперь представим себе, что молодой, веселый адвокат уже провел свой первый процесс. Он послужил в милиции, женился, назначен шерифом, и все это совершилось без малейшего романтизма, затем перевел «Гетца фон Берлихингена» Гете, – и мы очутимся на пороге «Minstrelsy of the Scottish Border» и при начале нового столетия.

Между тем природа и обстоятельства, соединившись вместе, создали хотя и не особенно замечательное, но нечто довольно ценное – дюжего тридцатилетнего мужчину, наделив его благоразумием, веселым характером, способностями управляться с кучей дел, гостеприимством, добросовестным отношением к делу, как служебному, так и общественному. Какие способности еще таились в нем, никто не может сказать. Да и вообще, после долгого наблюдения, кто может сказать, что заключается в каком бы то ни было человеке? Выразившаяся часть человеческой жизни, повторяем мы, находится к не выразившейся, не сознанной части в малой неизвестной пропорции. Человек сам не

сознает этого, а другие еще менее. Дайте ему простор, дайте ему толчок, и его душа, заключенная в тесные рамки, достигнет беспредельного и, если нужно, наделает чудес.

Одна из утешительных истин заключается в том, что великие люди находятся в изобилии, но, к сожалению, в неизвестности. Да, наши величайшие люди, может быть, остаются неизвестными единственно вследствие своей скромности. Философ Фихте утешал себя этим убеждением в то время, когда со всех кафедр, во всех периодических и других изданиях раздавалось бесконечное щебетанье и чириканье пошлых эгоистов. Когда среди шума и гомона все превратилось в пену, как будто поднятую бурей, так что философ почти желал «налога на знание», чтоб немного укротить это беснование. Он утешался, повторяем мы, что мысль в Германии еще существует, мыслящие люди, каждый в своем углу, действительно трудятся, хотя молча и незаметно.

Вальтер Скотт, действуя неизвестным Вальтером, может быть, не восхищал бы людей в течение нескольких лет, не потерял бы на литературе сотни тысяч фунтов стерлингов, но он все-таки был бы счастливым и небесполезным человеком и, пожалуй, – кто знает – был бы даже более полезным Вальтером. Но это не было его назначением. Гений оригинального века, века, которому недоставало веры и который боялся скептицизма, – не понимая ни того, ни другого, – с печатью многих страданий на челе, с необходимостью вести жизнь при этих условиях. Гений этого века сказал самому себе: где человек, который бы мог быть временным утешителем и умственным усладителем моего жалкого, странного века и хотя на время рассеять его смертельную скуку и тоску. Сказав это, гений окинул взором весь мир и, увидев человека в одежде адвоката, входящего в пыльный эдинбургский парламент, воскликнул: вот он!

«Minstrelsy of the Scottish Border» оказалось источником, из которого потекла одна из широчайших рек. Романы в стихах, перешедшие впоследствии в прозаические романы, старинная жизнь людей, воскрешенная для нас, – великое слово! Не как мертвое предание, а как животрепещущее настоящее, восстало перед нами прошедшее. Суровые бойцы, с их грубой простотой и силой, самонадеянностью, здоровьем и добродушием, явились перед нами, как живые, в своих железных шлемах, кожаных куртках, ботфортах, со всем разнообразием привычек и костюмов. В литературе это была новооткрытая земля, для нового века блестящее Эльдорадо, страна тучная и обильная и рай праздности. Для начала XIX века, скучающего и расслабленного, это неожиданное освежающее явление было как нельзя более

благоприятно, – итак, любуйтесь новым Эльдорадо, благословенной землей, где можно наслаждаться и ничего не делать!

Наступило время для новой литературы, и Вальтер Скотт пришелся как нельзя кстати. Песни Мармионы, девы и рыцари озер и островов быстро следовали друг за другом, приобретая выгоду и успех. Сколько тысяч гиней было заплачено за каждую новую песню! Сколько тысяч экземпляров (иногда 50 и более) было напечатано в то время и впоследствии! Сколько потрачено похвал, рецензий и апофеоз, – все это рассказано в этих семи томах, имеющих поэтому высокое достоинство в литературной статистике. Это замечательная, блестящая история, очерки которой знают все. Читатель восстановит ее в своей памяти, но трудно, чтоб его воображение перещеголяло действительность.

В этом среднем периоде своей жизни Скотт, разбогатевший от продажи сочинений, доходов по службе, богатый деньгами и славой, является нам человеком уже с упроченной будущностью. «Здоровье, богатство и ум, чтоб руководить ими», как говорит его пословица, – все в его руках. Поле перед ним открыто, и победа ждет его. Его дарование, его собственное «я» развиваются свободно, смело, – величайшее счастье, достающееся на долю человека. Обширный круг друзей, горячие поклонники, семейное счастье, доступное тем, кто может отдаваться ему от чистого сердца; блеск и слава, достающиеся немногим, – кто бы после этого не назвал Вальтера Скотта счастливым.

Но наиболее счастливые условия, как мы заметили выше, заключались в том, что Скотт обладал истинно здоровой душой, которая делала его мало зависимым от внешних обстоятельств. Предметы казались ему не в извращенном виде, тусклом или чуждом свете, а правильно расположенными и действительными. В нем заключались стремление и постоянство и ясный взгляд на то, к чему нужно было стремиться. Если б кому-нибудь вздумалось говорить проповедь о здоровье, которое действительно заслуживает этого, тот, вероятно, выбрал бы Скотта текстом для этой проповеди. Теории в логике верны, но на практике они могут быть верны или неверны, и здесь является вопрос: годны ли они? Что в том, что убеждения такого-то человека самые разумные, принципы его великолепны, если жизнь его на деле полна противоречий! Следовательно, принципы его несправедливы, ложь их публично доказана, их нужно отвергнуть и бросить собакам. Мы не говорим этого, но только заметим, что болезнь тела или духа (при хорошем или дурном деле) есть поражение, битва с плохим исходом, – и только одно здоровье можно назвать победой…

Деньгами можно приобрести деньги, но вещь, которую люди называют славой, – что это такое? Блестящий, пестрый герб, полезный только в том отношении, когда может способствовать приобретению денег! Для Скотта она была выгодной, приятной роскошью, но ни жизненною потребностью, ни необходимостью. Без больших усилий, но наученный природой и инстинктом, подсказывавшим его чуткому сердцу, как отличать хорошее от дурного, понял он, что может обойтись и без этого герба славы. Он не должен доверять ей, а, напротив, быть всегда готовым лишиться ее, и ему снова придется вступить на прежний путь. Мы полагаем, что трудно и исчислить, сколько зла он избежал таким образом, от каких ошибок, соблазнов, интриг и оскорблений ушел он и жил спокойно, не ведая их.

К счастью, еще до славы он достиг зрелого возраста, когда ему было легче относиться к этому делу. Какая странная Немезида таится в человеческом счастье! На устах она сладка, в желудке же горька, как желчь! Нравственно слабый человек, – положим лет двадцати пяти, – которого весь талант заключается в раздражительной восприимчивости, а внутри выражающийся в пустоте и мелочах, вдруг подхватывается общественным мнением, возносится на высоту и от головокружения начинает верить в свое божественное призвание быть великим человеком. Такой человек, по-видимому, счастливейший из людей, – но, увы, не несчастнее ли он всех? Не глотай напитка Цереры, слабый человек, – это страшный яд, он иссушит источник твоей жизни, ты зачахнешь и увянешь и будешь злополучным существом в мире!

Есть ли что-нибудь печальнее книги – биографии Байрона, написанной Муром? Взгляните только на этого бедного Байрона, владевшего многими действительными достоинствами. Он сидит в самовольной ссылке, а гордое сердце силится убедить его, что он презирает весь мир. Но лишь только там, вдали, в туманном Вавилоне, какой-нибудь жалкий писака заденет его своим пером, гордый Байрон начинает корчиться в муках, как будто этот писака чародей, а перо его – гальваническая проволока, коснувшаяся спинного мозга Байрона…

О, сын Адама, великий или малый, если ты любящее существо, то и тебя будут любить те, с которыми ты живешь. Относительно же тех, с которыми тебе не придется жить, что тебе в том, что буквы твоего имени будут врезаны в их память, а подле них твой плохо нарисованный портрет, похожий на тебя так же, как я на Геркулеса? В этом еще небольшая важность, а между тем теперь нет ни одной души, которую бы ты мог любить свободно, – от своей единственной души можешь ты ожидать уважения, –

разве не грустно тебе жить в таком положении? Как опустел твой мир и ты сам, ради пустой болтовни, сделался беден не кошельком, а сердцем и умом. «Золотой телец себялюбия, – говорит Жан Поль, – вырос в раскаленного Фаларисова быка, чтоб сжечь своего поклонника и владельца…»

В этот поэтический период своей жизни Вальтер Скотт вошел в сношения с книгопродавцами Балантайнами и принимал деятельное участие в торговом деле. Для тех, которые видят его в героическом свете и считают поэтов за пророков и прорицателей, этот отдел его биографии покажется явным противоречием. Но если смотреть на дело с настоящей точки зрения, обсудить как его, так и Вальтера Скотта, то это предприятие можно будет назвать жалким и несчастным, но не неестественным. Практический Скотт, искавший во всем практической цели, находил, что туго набитый кошелек – вещь самая практическая. А если кошелек можно набить честным образом, например, сочинением книг, печатанием их, так отчего же и не сделать этого? Вольтер, не пользовавшийся авторским правом, нажил в свое время большие деньги в комиссариате, поставляя продовольствие для армии. Промышленный человек тем достигает цели, что он сумеет вступить на ступень, которая ведет к ней. Положение в обществе, обладание благами мира были главной целью Скотта, а для достижения этой цели необходимо следовать правилу Яго: «Копи деньги».

Здесь нужно заметить, что, может быть, ни один писатель какого бы то ни было поколения не ценил так мало невещественную сторону своего призвания. Мы говорим здесь не только о призраке, называемом славой, о воображаемых несчастиях, сопровождающих его, но намекаем и на нравственное стремление его произведений. Ему было все равно, куда бы ни стремились они, он нуждался только в результатах, которые, так сказать, бросались в глаза и могли быть, в том или ином смысле, взяты в руки, осмотрены и спрятаны в карман. Немного для мечтателя, для нашего прорицателя!

Но на самом деле было так. Величайший писатель XIX века, занимавший более других общественное внимание, сам не умел передать миру ни одной идеи, не желал ни улучшения, ни исправления человечества, а только заботился об том, чтоб ему платили за книги, которые он пишет. Бример замечательный, как нельзя более подходящий к расслабленному веку, лишенному веры и напуганному скептицизмом. А может быть, он годился бы и для другого века, который торжественно и спокойно идет вперед. Но как бы то ни было, только со времени Шекспира ни один великий оратор в своих речах не относился так

бессознательно к своей цели, как Вальтер Скотт. Их речи одинаково бессознательны, одинаково искренни и откровенны, но дело в том, одинаково ли глубоки были их умы или один был действительным огнем, а другой фосфорическим светом и простым фейерверком? Это будет зависеть от относительного достоинства обоих умов, потому что оба были произвольны в своей деятельности, оба выражались беспрепятственно, не имея в виду никакой дальнейшей цели. Шекспир старался своими пьесами заманить публику в театр «Globe», далее не простирались его желания. А между тем каков был их результат! Высказывай откровенно, что внушил тебе твой «демон», – если это небесный огонь, то хорошо, если простой фейерверк – также недурно, во всяком случае, лучше, чем ничего.

Беспристрастный судья вообще потребует, чтоб оратор такой крайне серьезной вселенной, как наша, мог бы сказать что-нибудь. В душе оратора должна заключаться истина и высказываться пламенно, а иначе гораздо лучше, если он будет молчать. Во всяком случае, эта истина должна быть решительнее и энергичнее истины Вальтера Скотта, годной только для расслабленного века, не имеющего ни веры, ни скептицизма. Беспристрастный судья потребует всего этого от писателя, но при этом признает великое достоинство в добросовестности Вальтера Скотта. Последний если и не был вестником свыше, в его взоре отражалось небо, и, во всяком случае, он не был и химерой с ее системой, крючками, лицемерием, фанатизмом и «несчастьем благородных душ», полных страданий, беспокойства и вражды. Нет, он был положительным, мирным и земным человеком. До первых характеров Вальтеру Скотту далеко, как земле до неба, но зато в отношении последних он представляет отрадную и цветущую страну, тогда как они изображают тартар.

Теперь было бы поздно писать разбор об этих метрических романах Вальтера Скотта, и мы заметим только, что популярность их была натуральная. Во-первых, они отличаются неоспоримым достоинством настоящей человеческой силы. Сила, служащая основой всякой популярности, проявилась в этих рифмованных романах в необыкновенной степени. Картины дышали жизнью и действительностью, человеческие ощущения изображены с сочувствием. Если вспомнить, какая заштопанная ветошь была в то время товаром на поэтическом рынке, то нужно сознаться, что превосходство Вальтера Скотта было явное. Если какой-нибудь Хели считался великим певцом, то появление Вальтера Скотта следовало встретить с горячим сочувствием. Стоит только подумать, могла ли «Любовь растений» и даже «Любовь треугольников» равняться с описанием любви и ненависти

мужчин и женщин. Вальтер Скотт так же выше своих предшественников, как настоящая действительность выше предполагаемой действительности.

Во-вторых, мы должны заметить, что род достоинств, выказанных Вальтером Скоттом, оказался как нельзя более подходящим к тогдашнему настроению общества. Мы сказали, что это был век духовно расслабленный, чуждый веры и боявшийся скептицизма, принужденный вести полужизнь при странных и новых условиях. И вдруг явилась могучая жизнь. Читатель был перенесен в суровое время, которое еще не было знакомо с нашими болезненными явлениями; закаленные бойцы, покрытые кожей и железом, мчались вперед на своих громадных боевых конях, смело потрясая смертоносными копьями. Читатель утешал себя следующим размышлением: «Ах, если б я жил в то время, не знал бы я этой логической путаницы сомнений, болезненности, но чувствовал бы себя живым между умными людьми!» К этому еще прибавить, что в этом новооткрытом поэтическом мире не требовалось никаких усилий со стороны читателя, – все его достоинства разом бросались в глаза. Для читателя это было не Эльдорадо, но, как мы уже заметили выше, страна благословенная и рай праздности. В ней он мог расположиться самым удобным образом – большинство читателей в особенности любят это – и заставить автора прислуживать себе. Как турецкий банщик, говорят, растирая и распаривая члены своего пациента, дает ему в то же время возможность, при полном его бедствии, насладиться деятельностью, – так и автор в своих рассказах поступал с читателем. Вялому воображению оставалось отдыхать, потому что художник, который мог перед ним рисовать прекрасные, полные жизни картины, был налицо и мог нашептывать ему: «Не тревожься и вкушай покой в своей тепленькой стихии». «Неразвитой человек, – говорит один критик, – требует только зрелища, человек с большим развитием – чувства, истинно образованный человек – мысли».

Мы назвали «Minstrelsy of the Scottish Border» источником, из которого получила свое начало громадная река метрических романов. Но, следуя мнению других, это начало нужно искать в отдаленном источнике. Именно – «Гетц фон Берлихинген» Гете, над переводом которого, как мы уже упомянули, Скотт трудился в своей молодости. Еще за несколько лет до этого один из критиков, разбирая произведение Гете, пришел к следующим выводам, небезынтересным для читателей нашего очерка.

«Упомянутые нами произведения «Гетц» и «Вертер» хотя и представляют только блестящий опыт молодого таланта, но вместе с тем отличаются не столько своим внутренним

достоинством, сколько необыкновенным успехом. Трудно назвать книгу, которая бы произвела такое сильное влияние на последующую европейскую литературу, как эти два произведения молодого писателя, первые плоды, созданные им на двадцать четвертом году жизни. «Вертер», по-видимому, овладел сердцами людей во всех концах мира и высказал им слово, которое они давно желали слышать. Как обыкновенно случается, слово это, однажды произнесенное, было затем несколько раз повторено на всех языках и пропето с различными вариациями, пока наконец звуки его начали производить скуку, а не удовольствие.

Скептическая сентиментальность, любовь, дружба, самоубийство и отчаяние сделались главным товаром литературного рынка, и хотя эта эпидемия чрез несколько лет прекратилась в Германии, зато в других странах она обнаружилась новыми симптомами, так что повсюду еще заметно ее хорошее и дурное влияние. Успех «Гетца» хотя и не был так неожидан и внезапен, но тем не менее был также заметен. Бездетный и одинокий «Гетц» сделался в своей собственной стране родоначальником бесчисленного потомства рыцарских пьес, очерков средневековой жизни и поэтическо-археологических картин, которые хотя исчезли и забыты давно, но при своем появлении наделали немало шума, а влияние их у нас в Англии было еще заметнее. Первым литературным трудом Вальтера Скотта был перевод «Гетца», и если гений можно так же передавать, как науку, то на произведение Гете можно смотреть как на первую причину появления «Мармиона» и «Девы озера» и следующих произведений, созданных той же творческой рукой. И действительно, семя упало на хорошую почву – дерево разрослось, если не крепче и красивее, зато выше и шире всякого другого дерева, и все народы земли ежегодно сбирают с него плоды».

Насколько «Гетц» влиял на литературное значение Скотта и явились ли бы без этого влияния рифмованные и затем прозаические романы автора «Уэверли» – остается темным, да, в сущности, и не важным вопросом. Не подлежит сомнению тот факт, что оба направления, которые можно назвать «гетцизмом и вертеризмом» и из которых Вальтер Скотт является представителем первого, обошли всю Европу, да и теперь не покончили своего странствования. Германия также с сожалением смотрела на прошедшее; у нее тоже был период кожаных поясов и сторожевых башен, но она умела распроститься с ним еще до появления Вальтера Скотта. Разве англичане не имели своего вертеризма в Байроне и его цехе? Ни в одной стране вертеризм не имел и наполовину того влияния, как у нас. Как наш Скотт разнес

рыцарскую литературу во все концы света, так Байрон поступил с вертеризмом. Франции, занятой революцией и Наполеоном, некогда было заниматься в то время гетцизмом и вертеризмом, но впоследствии, хотя в довольно оригинальной форме, и она познакомилась с ними. Доказательством тому служит вся ее нынешняя «растрепанная литература», жалкая и, вероятно, уже вымирающая форма вертеризма. Более крайнее направление представляет высокодаровитый Шатобриан – Гетц и Вертер вместе…

Но закончим этим. Наше намерение было заметить, что британский вертеризм, в форме могучих и резких поэм Байрона, произвел громадное влияние на испорченный аппетит людей. Это была категория ощущений, важных для современников, ощущений, возникших из страстей, неудобных для деятельности и свойственных только такому вялому, развитому и неверующему веку, как наш. «Вялый, чуждый веры и скептицизма век» жадно кинулся на байронизм. В нем если и не было лекарства для его жалкой болезни, то по крайней мере выражалась негодующая скорбь, звучало проклятие, в котором люди отыскивали значение и которое заменило горькое сожаление о прошедшем.

Скотт из первых заметил, что время метрических романов близится к концу. Он в течение нескольких десятков лет – срок сравнительно немалый – царствовал полновластно. Но, заметив, что приспело время отречься от престола, – дело, как известно, не совсем приятное, – он, как честный и энергический человек, готовился спокойно встретить его. Притом поэзия не была его насущным хлебом, – занятый изданиями, компиляциями, служебными и коммерческими делами, он равнодушно смотрел на приближающуюся перемену. Он уже готов был дать отречение, как вдруг оказалось, что в нем даже не было и надобности, а стоит только превратить метрические романы в прозу, отказаться от рифм и расширить рамки.

Весною 1814 года явился «Уэверли» – событие, вечно памятное в летописях английской литературы, но еще более памятное в летописях английской книжной торговли. Байрон пел, а Скотт рассказывал, и когда Байрон, перебрав все возможные вариации, приступил к «Дон Жуану», Скотт продолжал рассказывать и увлекать весь мир. Вся прежняя популярность рыцарских песен была поглощена большей популярностью. Какая серия романов следовала за «Уэверли», каким успехом они пользовались – известно каждому; все были свидетелями этого успеха, все приходили в восторг. Ни одному нашему писателю не выпадала на долю такая известность, и ничья литературная слава ее не распространялась так далеко. Вальтер Скотт сделался сэром

Вальтером Скоттом, абботсфордским баронетом, на которого счастье рассыпало щедрой рукой всевозможные почести и блага земные. Он сделался любимцем князей, поселян и людей всех званий и сословий. Его романы «Уэверли», быстро и, по-видимому, без конца следовавшие один за другим, были всеобщим чтением; вся Европа ожидала их, как ежегодной жатвы.

К этому присоединилось еще курьезное обстоятельство: автор, известный всем, все-таки оставался в неизвестности. Уже с самого начала большинство подозревало, а потом уже все проницательные люди едва ли сомневались, что автором «Уэверли» был Вальтер Скотт. А все-таки сохранялась некоторая таинственность, весьма пикантная для публики, но приятная для автора, который все это видел. Ему не было надобности, как это случается с другими неудачными людьми, прислушиваться к тому или другому «явному доказательству», что автор не Вальтер Скотт, а такой-то и такой-то. Таким образом, его положение походило на положение короля, путешествующего инкогнито. Все знают, что это могущественный король-рыцарь Густав или император Иосиф, но он толкается в толпе, забыв скучный этикет, как какой-нибудь незначительный шевалье или граф; его не тяготит королевское бремя, он рад, что может слышать похвалы собственными ушами. Одним словом, романы «Уэверли» торжествуют, и для многих автор их представляется живым мифологическим существом, способным стать наряду с семью чудесами света.

Любопытно взглянуть на поступки и жизнь человека при таких необыкновенных обстоятельствах. Мы бы охотно привели некоторые места из его переписки, но этим дело не разъяснится. Его письма, как мы уже заметили, не лишены интереса, но особого значения не представляют. Они полны веселости, шутки и остроумия, но в них недостает задушевности; отличаясь искренностью, они все-таки не вытекают из глубины души. Условные формы, претензии на тщеславие, желание польстить корреспонденту – все эти недостатки явно бросаются в глаза. Письмо написано ясно, плавно и свободно, так сказать, «параллельно» с сущностью предмета, но никогда не сливаясь с ним, так что невольно чувствуешь, что нет твердой почвы под ногами. Это письма гуманного человека, и они даже могут служить образцом в этом отношении, но в них уже чересчур проглядывает светский человек, как будто Скотт не мог иначе говорить даже с самим собой. Поэтому мы лучше позаимствуем несколько отрывков из книги Локхарта. Следующий отрывок касается обеда с принцем-регентом – события, как видите, почти официального.

«Узнав от мистера Крокера (тогдашнего секретаря адмиралтейства), что Скотт будет в Лондоне в половине марта (1815), принц сказал: «Дайте мне знать, когда он приедет, я хочу устроить обед, который, надеюсь, ему понравится». По приезде он был представлен принцу и получил приглашение на обед через моего хорошего приятеля, мистера Адамса, который в то время пользовался большим доверием принца.

Принц посоветовался с мистером Адамсом относительно приглашения других лиц к столу. «Пригласите, – сказал он, – некоторых друзей его, и чем больше будет шотландцев, тем лучше». Адамс и Крокер уверяли меня, что приглашенное общество было самое интересное и приятное». Оно состояло, сколько мне помнится, из герцога Йоркского, герцога Гордона, маркиза Хартфорда, графа Файфа и старинного друга Скотта, лорда Мельвиля. «Принц и Скотт, – рассказывал Крокер, – были такие замечательные рассказчики, каждый в своем роде, каких мне редко случалось встречать; они были вполне уверены в своей силе и оба производили в этот вечер блестящий эффект. Возвращаясь домой, я никак не мог решить, кому из них отдать преимущество. Регент был очарован Скоттом, как и Скотт им, и последний, при всех следующих своих поездках в Лондон, был постоянным гостем за королевским столом».

Мистер Адамс припоминает, что принц был восхищен анекдотами поэта о прежних шотландских судьях и адвокатах и, в свою очередь, угощал его рассказами из жизни знакомых ему мудрецов-законоведов. Скотт, между прочим, рассказал о своем старом друге лорде Брексфилде, а комментарий принца по этому поводу крайне позабавил Скотта, так что он впоследствии не раз повторял его. Рассказ был следующий: Брексфилд, объезжая свой округ, имел обыкновение посещать богатого джентльмена, жившего по соседству с тем городом, где было назначено судебное заседание, и нередко проводить у него ночь. Так как они были страстными игроками в шахматы, то постоянно и упражнялись в любимой игре. Однажды случилось (это было весной), что битва их не была решена даже к рассвету, так что судья, прекратив игру, сказал: «Ну, Дональд, осенью я возвращусь снова, а партию оставим, как она есть». В октябре он приехал, но не остановился в доме своего гостеприимного друга, потому что этот джентльмен, вследствие совершенного им подлога, был арестован, и его имя стояло в списке тех, которых должен был судить его прежний гость и приятель. Подсудимый был введен, допрошен и признан присяжными «виновным». Брексфилд надел треугольную шляпу (заменяющую в этом случае черную шапку в Англии) и произнес обычный приговор: «Вы будете повешены за

шею до тех пор, пока не умрете, и да сжалится милосердый Господь над вашею несчастной душой». Заключив эту страшную фразу звучным, громким голосом, он подманил к себе своего несчастного приятеля и сказал ему шепотом: «Ну, друг Дональд, задал я тебе мат».

Регент от души смеялся этому свирепому юмору и заметил: «По-видимому, эти старые парики смотрели на вещи так же хладнокровно, как и моя собственная демоническая особа. Помните, как Томас Мур описывает меня за завтраком?

Стол изобилует чаем и тостами,
Смертными приговорами и «Morning Post».

Около полуночи принц предложил «тост в честь автора “Уэверли”» и, наполняя свой стакан, значительно взглянул на Скотта. Тот, по-видимому, на минуту сконфузился, но затем поправился и, наливая свой стакан до краев, сказал: «Ваше королевское высочество смотрите на меня, как бы думая, что я имею претензию на честь этого тоста. У меня нет подобной претензии, но я позабочусь, чтоб действительный лицемер узнал о высокой почести, которую ему теперь воздают». С этими словами он осушил свой стакан и громким голосом прокричал «виват», к которому присоединился и принц. Едва только гости успели снова сесть, как принц вскричал: «Господа, еще тост за здоровье Мармиона, – ну, друг Вальтер, задал я вам мат». Этот второй тост сопровождался еще более громкими криками. Скотт встал и благодарил общество краткой речью, которая, по словам мистера Адамса, была «серьезной и приятной». Перед отъездом из Лондона Скотт снова обедал в Карлтон-Хаусе, где гостей было немного, зато веселости было еще больше прежнего. Чтобы ни в чем не было недостатка, принц пропел несколько превосходных песен».

Теперь взглянем на другой, неофициальный обед. Давал его Джеймс Балантайн, эдинбургский типографщик и издатель, в день рождения одного из романов «Уэверли».

Пир был, употребляя любимое выражение Балантайна, роскошный: сущая олдермэнская выставка черепахового супа и дичи, сопровождаемая замороженным пуншем, крепким элем и благородной мадерой. Когда скатерть была снята со стола, дюжий председатель встал и, подражая насколько мог манерам Джона Кемпбелла, звучным голосом произнес слова Макбета:

Fill full!
I drink to the general joy of the whole table[62]!

Затем был пропет гимн «Боже, храни короля», и Джеймс провозгласил: «Есть еще тост, который никогда не забывается, да никогда и не забудется в моем доме: за здоровье Вальтера Скотта!» Когда этому здоровью была оказана честь и Скотт благодарил общество, миссис Балантайн удалилась. Бутылки снова пошли в ход, Джеймс еще раз поднялся с места, жилы напряглись на его лбу, глаза смотрели неопределенно, и он проговорил, но только не громовым голосом, как прежде, а «задерживая дыхание», шепотом, вроде того шепота, которым театральный злодей заставляет трепетать раек: «Господа, в честь бессмертного автора “Уэверли”!» За оглушительными криками, в которых Скотт показывал вид, что принимает участие, последовала глубокая тишина, и Балантайн начал:

> In his Lord Burleigh look, serene and serious,
> A something of imponing and mysterious[63] —

жаловаться на неизвестность, за которою его знаменитый, но чересчур скромный друг прячется от рукоплесканий мира. Затем, отблагодарив гостей за приветствие, он уверял, что если автор «Уэверли» узнает о сегодняшнем событии, то будет очень рад, сочтет «лучшею минутою» в жизни и пр., и пр. В продолжение всей этой мистификации на физиономии Вальтера Скотта выражалось полнейшее равнодушие, но еще забавнее были усилия Эрскина казаться серьезным. Затем было объявлено гостям о названии нового романа, а пожелание ему успеха вызвало новый тост. Чтоб покончить с дальнейшим разговором об этом предмете, Джеймс пропел несколько песен, и пропел с таким громом, который бы сделал честь любому оркестру. Вслед за этим начались новые тосты. Некоторые из гостей затянули также песни, и это продолжалось до тех пор, пока Скотт и еще какое-то духовное или важное лицо, приглашенное также на этот пир, не решились удалиться. Тогда картина переменилась. Бордосское вино было заменено огромной чашей с пуншем, и Джеймс, восстановив свои силы несколькими стаканами горячего напитка, принялся восхвалять достоинства нового романа. «Одну главу, только одну главу!» – послышались крики. Наконец, после некоторого колебания и отговорок, были принесены корректурные листы, и Джеймс громко прочел отрывок из романа, который он считал лучшим.

«Чтение началось сценой свидания между Дженни Дине, герцогом Арджайлом и королевою Каролиной в Ричмондском парке, и, несмотря на напыщенную манеру Джеймса, я должен признаться, что он отлично прочел эту неподражаемую сцену. Во

всяком случае, чтение это оставило по себе глубокое впечатление, и торжествующий типографщик еще раз провозгласил тост за здоровье Вальтера Скотта».

Эбботсфорд представлял еще более отрадный вид. Здесь, на прелестных берегах Твида, Скотт возводил постройки, покупал земли и вновь продолжал покупки. Лишь только он получал новое золото за новый роман «Уэверли» (или даже раньше), как немедля превращал его в десятины, в камень, в срубленный или только что посаженный лес.

«Около половины февраля (1820), – говорит Локхарт, – после того, как мы условились относительно женитьбы моей на его старшей дочери, я сопровождал Скотта и его семейство в Эбботсфорд, куда он обыкновенно отправлялся по субботам. В подобных случаях Скотт являлся в назначенное время в суд, но вместо официального черного платья надевал свой деревенский костюм – зеленую охотничью куртку, а сверху сюртук. В полдень, когда заседание кончалось, Петер Матиссон ожидал его уже у ворот суда, Скотт снимал сюртук и, весело потирая руки, находился уже на дороге в Твидсайд.

На следующее утро к завтраку явился Джон Балантайн, обыкновенно охотившийся в лидерской долине, в нескольких милях от нас, а с ним приехал и его гость, мистер Констебль. Так как день был отличный, то мы, выслушав молитву и одну из проповедей Иеремии Тайлора, прочтенных Скоттом, отправились погулять в его владения. Майда (собака) и другие фавориты сопровождали нас. Перед самым отъездом к нам присоединился верный слуга Скотта, Том Парди, описывать наружность которого я отказываюсь, так как сам барин его неподражаемо изобразил ее в своем Редгонтлете. По всему вероятию, ему было лет шестьдесят, но лоб его еще не был слишком изрезан морщинами, и в черных волосах едва виднелась седина. Все его движения доказывали необыкновенную силу. Он был среднего роста, но широкоплеч, крепко сложен и, по-видимому, отличался здоровенными мускулами и постоянною деятельностью. Первые, может быть, уже несколько ослабели с годами, но в последней не заметно было никакой перемены. Суровое, резкое лицо, глубоко ввалившиеся глаза, прикрытые густыми бровями, слегка посеребренными, так же как и волосы на голове, широкий рот, доходящий до ушей, белые, крепкие зубы, по величине своей достойные украшать челюсть людоеда, – довершали этот приятный портрет. Оденьте эту фигуру в поношенную куртку Скотта, белую шляпу и серые панталоны, вообразите, что мягкое обращение, хорошая жизнь и честность этого человека сгладили всю первобытную грубость и резкость его натуры, и перед вами

предстанет Том Парди 1820 года.

Мы все были рады, что к Скотту воротились прежние силы, но, по-видимому, более всех радовался этому Констебль, который, пыхтя, перебирался с ним из оврага в овраг и нередко останавливался, чтоб отереть пот с лица, приговаривая: «Не всякий автор заставил бы меня так плясать». Лицо Тома сияло радостью всякий раз, когда он замечал, какому трудному испытанию подвергался толстобрюхий книгопродавец. Скотт беспрестанно обращался к Тому и радостно кричал: «Том, чудная весна будет для наших деревьев!» «Это правда, шериф», – отвечал Том и затем, подождав Констебля и почесывая голову, прибавлял: «Недурен будет год, я полагаю, и для наших книг». Том, говоря о «наших книгах», смотрел на них так же, как на естественный продукт почвы, как будто они были тот же «наш овес» и те же «наши березы». Посетив сначала Хаксилкли и Реймерсглен, мы прибыли в Хантлиборн, где гостеприимство «очаровательных сестер», как Скотт называл девиц Фергюсон, освежило наших усталых библиофилов и придало им бодрости идти далее, к знаменитому ключу. Здесь, в уединенном и защищенном от ветра месте (называемом Чифсвуд), стоял небольшой домик, который, по мнению Скотта, мог бы служить летом отличной дачей для его дочери и будущего зятя. Когда мы возвращались домой, Скотт, чувствуя усталость, положил свою левую руку на плечо Тома, оперся на него и разговаривал со своим «воскресным пони», как называл он верного слугу, так же непринужденно, как и с остальным обществом. Том, когда разговор не превышал его понятий, отвечал лукаво и смело, хохотал и острил при случае. Нетрудно было заметить, что он крайне обрадовался, как только шериф, желая опереться на его плечо, вцепился в его воротник».

Эбботсфорд в то время постоянно осаждали туристы, любители диковинок и тому подобные несносные субъекты. Уединенный Этрик вдруг оживился, все его дорожки были утоптаны ногами разного рода путешественников. Нередко в один день наезжало в Эбботсфорд по «шестнадцати компаний», мужчин и женщин, пэров, проповедников, людей, отличившихся и любящих отличие.

Локхарт полагает, что ни одну литературную святыню не посещало столько поклонников, за исключением, может быть, Фернея Вольтера, который, впрочем, и наполовину не был так доступен. Отвратительная порода людей! Шиллер называет их «мясными мухами», шумными эскадронами летающими там, где чуется человеческая слава или другая какая-либо падаль. Таков закон природы. Здоровье Скотта, как духовное, так и физическое, его твердый характер нигде не выказывались так рельефно, как в

его способе мириться с судьбою в этом отношении. Что эти мухи были блестящего голубого цвета, одаренные соответствующими им качествами, можно судить по следующим отрывкам, заимствованным нами из дневника капитана Холла.

«Мы приехали довольно рано и застали уже немало гостей за столом. Комнаты были великолепно освещены лампами. Если б я владел сотней перьев, из которых каждое могло бы записать анекдот, то и тогда я не мог бы записать и половины того, что наш хозяин, по выражению Спенсера, «лил потоками». Во всю дорогу он занимал нас бесконечными рассказами, которые, как река, текли из его уст. Дорога была грязная, непроходимая, но я не припомню, чтоб мне когда-нибудь случалось видеть место, более интересное и которое этот могучий волшебник превратил в «чудо искусства». Невозможно было коснуться какого-нибудь предмета, на который бы он не мог рассказать анекдот. Так плыли мы по реке, несомые потоком песни и рассказов. Вечером у нас устроилась грандиозная пирушка, Вальтер Скотт спросил нас, читали ли мы «Кристабеля». Это чтение дополнялось сотнею рассказов, частью забавных, частью трогательных. За завтраком нас угостили, по обыкновению, бездной анекдотов. Бог весть откуда они берутся. Этот даровитый человек имеет полное право стоять во главе литературы и руководить вкусом и воображением целого мира…» и проч.

Среди подобных поклонников, наезжавших ежедневно целыми партиями, обыкновенный человек почувствовал бы себя богом и вообразил бы, что может потрясти весь мир. Ипохондрик, владевший умом Скотта, очистил бы свой дом от подобных мух, чтоб они не беспокоили его, а иначе он угостил бы их квассией, посыпанной сахаром, или другой отравой.

Но добрый Вальтер Скотт не принимал таких мер. Он предоставил делу идти своим порядком. Он наслаждался жизнью, как мог, терпел то, чему помочь было нельзя. Писал свою ежедневную порцию романа, сохранял душевное спокойствие – одним словом, свыкся с этою жужжащей обстановкой, как свыкся бы он, может быть, еще легче с жизнью скромной, бедной и уединенной. Нет сомнения, что все это раздражало его, болезненно отзывалось в нем, хотя он умел владеть собой. Но во всяком случае, эти маленькие невзгоды не огорчали его так, как огорчили бы они другого человека на его месте. Не все гости, впрочем, принадлежали к породе мух. Локхарт изображает наш британский Ферни в самом цветущем его состоянии, а затем мы расстанемся с Эбботсфордом и кульминационным периодом жизни Скотта.

«Было светлое, ясное сентябрьское утро, свежий воздух еще

более увеличивал живительное влияние сияющего солнца, и все было готово к большой охоте в Ньюаркхилле. Единственный гость, избравший себе другое удовольствие, был мистер Роз, истый рыбак, но и он был здесь и сидел на своей лошадке, вооруженный рыболовными снарядами, сопровождаемый Гливсом и Чарльзом Парди, братом Тома, знаменитейшим в то время рыбаком во всей окрестности. Эта небольшая группа рыбаков держалась в отдалении и выжидала, чтоб посмотреть на выступление главной кавалькады. Вальтер Скотт верхом на своей «Сивилле», с огромным бичом в руках, распоряжался процессией.

Среди веселых юношей и дам, смеявшихся, по-видимому, над всякой дисциплиной, появились также верхами, одушевляемые горячностью, не уступавшею самому юному из присутствующих охотников, сэр Хамфри Деви, доктор Уоллостон и патриарх шотландской беллетристики Генри Маккензи. Впрочем, последнего уговорили предоставить свою лошадь верному слуге-негру, а самому сесть вместе с леди Скотт в экипаж. Ледлоу верхом на крепкой горной лошадке, прозванной «Серый Годин», везшей его бойко и прытко, хотя ноги его и волочились по земле, исполнял должность адъютанта. Но самую живописную фигуру представлял знаменитый изобретатель спасительной лампы. Он приехал сюда удить рыбу и уже три дня наслаждался этим удовольствием со своим спутником Розом. По-видимому, он вовсе не приготовился для подобной охоты или внезапно променял общество Чарльза Парди на общество сэра Вальтера. Его рыбацкий костюм, серая шляпа с мягкими полями, обвитая всевозможными удочками, ботфорты, достойные голландского контрабандиста, бумазейный сюртук, выпачканный кровью семги, составляли резкий контраст со щегольскими куртками, белыми панталонами, лаковыми сапогами кавалеров, которыми он был окружен. Доктор Уоллостон был весь в черном. Глядя на его величественную, благородную осанку, его можно было принять за епископа, нечаянно попавшего на охоту. Мистер Маккензи, в то время семидесятишестилетний старец, был в белой шляпе, с зеленым подбоем, зеленых очках, зеленой куртке, длинных кожаных штиблетах, застегнутых на пуговки, и со свистком для собак на шее. Том и его подчиненные отправились еще прежде, за несколько часов, со всеми борзыми собаками, собранными в Эбботсфорде, Дернике и Мелроузе, но гигант Майда остался при своем господине, прыгая вокруг Сивиллы и радостно лая, как щенок.

Порядок поезда наконец был установлен, и только что экипаж двинулся, как леди Анна выехала из рядов и с громким смехом закричала: «Папа, папа, я знаю, что ты не поедешь без своей

любимицы». Скотт посмотрел вокруг и даже покраснел и улыбнулся, когда заметил маленькую черную свинью, вертевшуюся около его лошади и, по-видимому, имевшую явное намерение присоединиться к компании. Он старался быть серьезным и даже хлопнул бичом, но потом рассмеялся. На шею бедной свиньи накинули ремень и потащили назад. Скотт посмотрел ей вслед и с поддельным пафосом продекламировал первый стих пастушеской песни:

Смех увеличился, и отряд наконец двинулся в путь. Эта свинья, неизвестно почему, питала странную сентиментальную привязанность к Скотту и постоянно старалась попасть в число членов его «хвоста» вместе с борзыми и гончими. Помню я также, что в другое лето ему пришлось испытать настойчивую привязанность курицы. Объяснение подобных явлений я предоставляю философам, потому что факт был налицо. Я слишком уважаю оклеветанного осла, чтоб ставить его на одну доску со свиньей и курицей. Но не могу не упомянуть здесь, что два года спустя после этого происшествия у моей жены была пара этих животных, на которых она обыкновенно каталась в маленьком экипаже. Лишь только ее отец подходил к нашим воротам, как Ханна Мор и леди Морган (так в насмешку окрестила Анна Скотт обоих ослов) бежали с пастбища и клали свои морды на забор.

В Чифсвуде прожили мы с женой лето и осень 1821 года, и это время останется в моей памяти как счастливейшее в моей жизни. Мы жили вблизи Эбботсфорда и могли постоянно участвовать в его блестящем, часто менявшемся обществе, не подвергая себя утомлениям и хлопотам, которые испытывало все семейство, за исключением Вальтера Скотта, вследствие бесконечных приемов новых гостей.

Но по правде сказать, подобная открытая жизнь и на него наводила скуку. И он нередко терял хладнокровие, слушая напыщенную похвалу какого-нибудь тупоумного педанта, приторный восторг разрумяненных и украшенных париками вдовиц, вопросы, предлагаемые невежливыми иностранцами, впивавшимися в него с жадностью пиявки, и смотря на глупую и снисходительную улыбку сановников. Когда все эти церемонии ему уже чересчур надоедали, он как бы нечаянно вспоминал, что у него есть важное дело в одном из отдаленных поместий, и, вечером извинившись перед гостями, на другой же день являлся к нам ранним утром.

Стук копыт Сивиллы, лай Мастарда и Спайса и его собственный веселый голос, раздававшийся под нашими окнами, служили сигналом, что он сбросил с себя бремя и желает провести тот день на свободе. Сойдя с лошади, он садился, окруженный своими и нашими собаками, под развесистый ясень, бросавший тень почти на полберега между мызою и ручьем, и принимался точить свой топорик, внимая вместе с тем рассуждениям Тома Парди о том, что нужно расчистить и

вырубить в лесу.

После завтрака он отправлялся наверх и там писал главу «Пирата», заделывал ее в пакет и отсылал к Балантайну. Затем вместе с Томом шел в лес посмотреть на работу лесничих. Иногда и сам принимался за работу, исполняя ее не хуже всякого Джона Суонстона, и это длилось до тех пор, пока не наступало время ехать снова к своим гостям в Эбботсфорд или присоединиться к нашему обществу. Если у него было немного гостей или если это были, что называется, свои люди, то он нередко привозил их к нам в Чифсвуд и в это время был крайне любезен и предупредителен, усердно помогая нам в наших хозяйственных хлопотах.

Он был в высшей степени изобретателен на разного рода выдумки, чтоб устранить тесноту помещения. В особенности любил, прежде чем уйти в лес, опускать в колодезь корзину с вином и вынимать ее оттуда перед самым обедом, – этим способом, по его словам, он руководился еще в молодости и находил, что это гораздо лучше, чем ставить вино в лед. Если же погода была хорошая, он предлагал обедать на воздухе, говоря, что этим можно избавиться от тесноты помещения, а кавалеры будут прислуживать дамам, вследствие чего можно обойтись и без излишней прислуги».

Все это прекрасно, как рассказы Боккаччо, как идеал деревенской жизни нашего времени, но отчего же подобная жизнь не могла всегда продолжаться? В доходах недостатка не было, их хватало на удовлетворение самых дорогих прихотей, но прихотей, во всяком случае, разумных, осмысленных и комфортабельных!.. Скотт получал до двух тысяч ежегодно, кроме дохода от книг. Но зачем, вместо того чтоб отдаться творчеству, он принялся фабриковать с целью добыть более денег, громоздить массу за массой до тех пор, пока не рухнуло все здание и не погребло его в своих развалинах в то время, когда к услугам его было готовое и приятное жилище? Увы, Скотт, при всем своем здоровье, был «заражен», он страдал одной из страшнейших болезней – тщеславием. До этого недуга довели его титул баронета, милости и почести мира и «шестнадцать компаний» в день. Вследствие этого он возводил постройки, вел жалкую, бесконечную переписку о мраморных столах, обоях и занавесах, беспокоился о том, должны ли последние быть оранжевого или серого цвета. Скотт, один из даровитых людей, бьется из-за того, чтоб сделаться помещиком, основателем рода Лэрдов.

Это одна из странных трагических историй, когда-либо совершавшихся под солнцем. И подобная жалкая страсть могла довести такого твердого человека до крайности. И действительно,

если б человек не был постоянным глупцом, можно бы было принять за колоссальную глупость тот факт, что Скотт ежедневно писал с неутомимостью и быстротой паровой машины. Писал для того только, чтоб этим ежегодно добывать 15 000 фунтов и тратить их на обои и на пустые украшения стен своего дома в Селкиршире, покупку старинного оружия и генеалогических щитов. Да разве присоединение одной полосы земли к другой в болотах Селкирка, – скрепленное на бумаге и названное одним общим именем, – не напоминает нам подвиги тех же Наполеонов, Александров и других героев-завоевателей, только в жалком и крохотном издании!

Если уже наполеоновские владения, глядя на них с луны, которая сама по себе далека от бесконечности, показались бы не обширнее моих владений, то что значит какое-нибудь эбботсфордское поместье даже при самых выгодных условиях? По сказанию арабов, в каждой душе есть черное пятно, – будь оно хоть не более горошины, – которое, если пустить в дело, окутает человека безумием и погрузит его в кромешную тьму.

Относительно литературного характера романов «Уэверли», замечательных в коммерческом отношении, нам остается сказать немного, в особенности теперь, после такого количества хороших и дурных рецензий. О них можно только заметить, что они писались скорее и лучше оплачивались, чем какие-либо другие книги в мире. В них заключаются более крупные достоинства, чем следовало ожидать в подобных случаях. И если единственное назначение литературы состоит в том, чтоб забавлять неподвижных и ленивых людей, то на эти романы можно смотреть как на литературное совершенство. Человеку оставалось только покойно улечься и воскликнуть: «Мой рок – это лежать на софе и вечно читать романы В. Скотта!» Сочинение, как бы бессодержательно оно ни было, в некоторой степени имеет связь и все-таки может быть названо сочинением. Так и эти рассказы льются плавно, свободно, в них изображаются приключение, различного рода ощущения, и во всем этом видна мастерская рука.

Кроме того, нужно быть слепым критиком, чтоб не подметить здесь свежих, художественных и оригинальных картин. Изображения событий и характеров отличаются изяществом, блеском, обнаруживают глубокую любовь к прекрасному в природе, любовь к человеку, начиная с Деви Динса, Ричарда Львиное Сердце, Мег Мерилейк, Дей Вернон и кончая королевой Елизаветой. Это речь человека откровенного, смелого, дальнозоркого, братски связанного со всеми людьми. По художественности, задушевности, верному взгляду и теплому

чувству, словом – по общему «здоровью» ума эти рассказы ставят Скотта наряду с первыми писателями.

Даже в крайне трудной способности верно изображать характеры у него нет недостатка, хотя они и не всегда удаются ему. Его Джервисы, Динмонтсы и Долджетисы (имя их легион) смотрят и действуют именно так, как действовали и поступали бы те люди, за которых они себя выдают. И если их нельзя назвать продуктом «творчества», если они чужды поэтичности, то, во всяком случае, они играют свою роль, как сыграл бы ее отличный актер. Положим, что для читателя, лежащего на софе, более ничего и не требуется, но для читателей другого сорта подобные требования крайне недостаточны. Было бы долго доказывать различие в рисовке характеров, встречающихся в произведениях Скотта, Шекспира и Гете, а между тем оно буквально громадно, – это различие видовое, его не оценить одной и той же монетой. Мы заметим только в немногих словах, но в которых заключается многое, что Шекспир изображает свои характеры сердцем наружу, Скотт, напротив, кожею внутрь, не доискиваясь в них никогда сердца. Первые поэтому являются живыми мужчинами и женщинами, последние же механическими фигурами, грубо размалеванными автоматами. Сравните, например, Фенеллу с гетевою Миньоной, о которой говорили некогда, что Скотт «сделал честь Гете», заняв ее у него. И действительно, он занял у Миньоны все, что мог: маленький рост, способность лазить, лукавство – словом, одни «механические качества», душу же Миньоны захватить позабыл. Фенелла – неудачное создание Скотта, она резко выражает все те недостатки, которыми отличаются и другие изображенные им характеры.

Также мы должны сказать, что все эти знаменитые книги исключительно назначены для обыденного ума, другой же ум не найдет в них никакой пищи. Тех понятий, ощущений, принципов, сомнений, верований, до которых, по-видимому, мог бы возвышаться вместе с автором образованный человек, здесь нет и следа, – не встретишь ничего, кроме порядка, осторожности и приличия. Да, вероятно, Скотт и не был бы в состоянии дать более, потому что лишь только сворачивал он с обычной колеи и принимался за героический предмет, – что, впрочем, случалось редко, – то ударялся в приторную сентиментальность. Но, заметив предостережение Минервы-критики, он спешил покинуть этот путь, понимая лучше всякого, что путь этот ни к чему не ведет. Сравнивая «Уэверли», написанного старательно, с его последующими романами, написанными без всякой подготовки, наскоро, нельзя не пожалеть о методе скорописания. Может быть, Скотт и достиг бы совершенства в своем роде, может быть, при

своем усердии и сосредоточенности, он раскрыл бы перед нами все богатство своих дарований, полученных им от природы, если бы, по-видимому, благоприятные, но, в сущности, неблагоприятные обстоятельства не препятствовали этому развитию.

Но сверх того, при оглушительном громе популярности, не следует забывать истину, вечно остающуюся истиной. У литературы есть другое назначение, кроме пустой забавы, интересующей только неподвижных и ленивых людей. Если же у литературы нет этого назначения, то она – жалкое дело, и тогда что-нибудь другое должно же иметь эту цель, осуществлять ее, требуя за это благодарности или неблагодарности, потому что иначе благодарный или неблагодарный мир давно не был бы миром.

Но в этом отношении немного найдешь в романах «Уэверли». Они не пригодны ни для изучения, ни для руководства или назидания и развития в каком бы то ни было смысле. Больное сердце не найдет в них исцеления, блуждающая во мраке душа не узрит в них путеводной звезды, а для героизма, присущего всем людям, здесь нет божественной, возбуждающей силы. Ибо они основаны не на широких, общечеловеческих интересах, а на мелких, обыденных и не имеют права рассчитывать не только на вечность, но и на продолжительность. И действительно, весь интерес этих романов заключается в том, что можно назвать контрастом костюмов. Язык, род оружия, одежда и образ жизни одного века – все это изображено метко и живо и бросается в глаза другого века; эффект выходит поразительный, но, в сущности, временный.

Впрочем, не мешает поразмыслить о том, не будем ли и мы когда-нибудь антиками, не покажутся ли и наш костюм и наши привычки также со временем странными? Может быть, в глазах будущих поколений наш разряженный франт сделается любопытной мумией, а через двести лет башнеобразная шляпа будет висеть в музее древности подле патентованной шляпы Франка и К°, предоставляя препираться антикварiям, которая из них безобразнее. Фрак с фалдами, напоминающими ласточкин хвост, будет, по всему вероятию, казаться костюмом донельзя смешным, когда-либо уродовавшим почтенную спину человека. Не узкими брюками, не башнеобразными шляпами, кожаными поясами, устарелыми и антикварными выражениями могут долгое время интересовать нас герои романа, но единственно только тем, что они люди. Кожаные пояса, куртки и всевозможные фасоны платьев преходящи, один человек вечен. Человек, мыслящий глубже и шире других людей, сохранится и в памяти

долее других, в противном же случае его ожидает забвение. Если подвести Скотта, с его практическим взглядом, общительным характером и другими здоровыми качествами, под эту категорию, то он, пожалуй, покажется немал, а между обыкновенными героями, обращающимися в библиотеках, сойдет и за полубога. Он не мал, говорим мы, но и не велик. Даже в его время один или два человека превосходили его, а на место в ряду великих людей всех веков он не имеет и права.

Но какой же результат всех этих романов «Уэверли»? Должны ли они занимать только одно поколение или более? Они займут многие поколения, но не все. Лишь только фалды наших фраков сделаются так же немыслимы, как шаровары, они потеряют всякий интерес. Однако ж, насколько мы можем понять, их результат был разнообразен. Прежде всего и, вероятно, не менее всего – не заключался ли он в том, что большинство человеческого рода пресытилось простой забавой и принялось искать чего-нибудь лучшего? Забава чтением подобного рода не могла идти далее, не могла дать ничего лучшего, так что люди наконец пришли к вопросу: да неужели только в том и заключается все наше дело? Скотт, на наш взгляд, довел много вещей до их крайних пределов и кризиса, вследствие чего перемена была неизбежная, – заслуга с его стороны большая, но непосредственная.

Во-вторых, эти исторические романы научили людей истине, незнакомой прежним историкам, что прошедшие века были действительно населены живыми людьми, а не протоколами, актами, полемикой и абстрактными идеями. Не абстрактные идеи, не диаграммы и теоремы жили там, а люди в кожаных и других платьях и штанах, с румянцем на щеках, страстями в сердце, речью, чертами и жизненной силой. Дело, по-видимому, не важное, а в нем заключается глубокое значение. История обратит на это внимание; знакомая ей понаслышке опытная философия превратится в действительное наблюдение и исследование, которые будут считаться единственным и настоящим опытом, а философия удовольствуется тем, что подождет у дверей. Скотт оказал важную и богатую последствиями услугу, открыв великую истину, вполне соответствовавшую энергической натуре этого человека, основательного и правдивого даже в своем воображении, – а эти качества и составляли его отличительную черту.

Теперь слово о скором способе писания, который пользуется такой славой в наше время. Скотт, по-видимому, довел его до больших размеров, – быстрота его была необыкновенна, а полученный таким образом материал, если взвесить его, был

превосходный. Писать скоро – вещь драгоценная, а для цели Скотта она была единственно удобным способом. Если б он отнесся с большим усердием к своему труду, он не увеличил бы своего дохода ни на одну гинею, а читателю, лежавшему на софе, было бы от этого не мягче лежать. Ему во что бы то ни стало было нужно, чтоб его произведения создавались быстро. Вообще неизбежная прелесть всех дел человеческих – будь это писание, или какое-либо другое занятие – заключается в том, чтобы знать, «как справиться с делом». Тот человек боится дела, не умеет взяться за него, он не мастер, а пачкун, если не знает, как справить свою работу. Абсолютное совершенство недостижимо. Ни один плотник в мире не сделал еще математически правильного угла, а между тем все плотники знают, когда он достаточно правилен, и не станут попусту убивать время и терять свою плату из-за того, чтоб сделать его совершенно правильным. Тот, кто чересчур много или слишком мало тратит свои силы на труд, одинаково показывает нездоровый ум. Человек ловкий, наделенный здоровым умом, старается тратить на всякое дело приблизительно столько труда, сколько оно заслуживает, и затем со спокойной совестью оставляет его. Все это можно применить и к скорому писанию и, если нужно, подтвердить и доказать.

А с другой стороны – можно привести самые веские доказательства, что всякое литературное произведение требует усердного труда. Пусть запомнят это авторы, пишущие наскоро, но не лишенные таланта! Легко или нелегко должен относиться человек ко всякой работе, какая бы она ни была, а в особенности к так называемой «душевной работе», где приходится погружаться в тайник мысли, воплощать истину из мрака, истину, окруженную со всех сторон ложью? Нет, не легко ни теперь, ни в какое-либо другое время. Опыт всего человечества доказывает это. Разве Вергилий и Тацит писали скоро? Все пророчество Исаии не сравняется объемом с любой журнальной статьей. Мы верим, что Шекспир писал скоро, но перед этим он долго и скорбно обдумывал свой труд, как заметит всякий наблюдательный глаз, жил и боролся посреди мук и постоянно висевшей над ним грозы, – только его великая душа молчит об этом. Вследствие чего ему нетрудно было писать скоро, потому что он достаточно подготовился к этому. Тайна труда, собственно, заключается в том, что быстрота писания действительно лучший способ, но только после энергической подготовки; так, из достаточно раскаленного горна льется потоками чистое золото. Таков был метод Шекспира, а между тем он не был борзописцем, в противном случае он никогда не был бы Шекспиром. Мильтон также не принадлежал к категории скоропишущих

джентльменов, – он, по-видимому, не достиг способности Шекспира писать скоро после долгой подготовки, но боролся и скорбел, даже когда писал. Гете говорит, что ему «ничего не было дано во сне». У него не было ни одной страницы, о которой бы он не знал, как она явилась, поэтому-то его проза и считается лучшей во всей современной литературе. Шиллер, как несчастный и больной человек, никогда не мог сладить с работой, – его благородный гений действовал неразумно, слишком пламенно, чем подточил и сгубил свою жизнь. А Петрарка разве скоро писал? Данте, создавая свою «Божественную комедию», «исхудал». В мрачном изгнании он боролся с ней насмерть, употреблял все силы, чтоб одолеть ее и наконец одолел, и этот пламенный труд остался вечным достоянием людей.

Нет, творчество не дается легко. У Юпитера были мучительные боли и пылал огонь в голове, когда из нее вышла вооруженная Паллада. Что же касается фабричных литературных произведений, то это дело другого рода: оно может быть легко и трудно, смотря как примешься за него. Но и на фабриках соблюдается то общее правило, что ценность производства находится в прямом отношении к труду, потраченному на это производство, – нет труда, так и производство ничего не стоит. Поэтому перестань, борзописец, хвастаться своей скоростью и легкостью. Для тебя она, если ты принадлежишь к разряду фабричных, дело выгодное, может быть, прибавка к заработной плате, для меня же чистый убыток, потому что самый товар делается от этого хуже. Пиши скоро, пиши даже с помощью пара, если умеешь, но скрывай это, как добродетель. «Легкое сочинение, – сказал Шеридан, – иногда оказывается дьявольски трудным чтением». Но кроме того, это чтение еще бесполезное, а для человека, много работающего и не пользующегося продолжительною жизнью, в высшей степени трудное.

Производительная способность Скотта изумляла всех и привела капитана Холла к весьма оригинальному методу объяснения ее без помощи чуда, как можно видеть из вышеупомянутого дневника. Капитан, считая строчку за строчкой, нашел, что он сам в известные дни и часы написал в свой дневник столько же, сколько и Скотт. «Что же касается изобретения, – говорит он, – то известно, что оно Скотту ничего не стоит, а приходит само собою». Но и для нас быстрота Скотта кажется замечательной, – она доказывает нам прочное здоровье человека, как духовного, так и телесного; она замечательна, повторяем мы, но мы не дивимся ей, как чуду, – она под силу и другим людям, кроме капитана Голля. Ей можно удивляться, но в меру, потому

что в этом деле заключаются два условия: сначала я определю качества, а количество должен ты уже определить сам! Всякий может скоро сладить со своею работой, если она удовлетворяет его. Если напечатать разговор любого человека, то из него ежедневно можно составлять по объемистому тому в осьмушку; улучшите в три раза написанное против сказанного им, то выйдет только треть тома в день, но и эта работа солидная.

Если же при этой скорости он еще пишет довольно сносно, то это доказывает не гений человека, а привычку. Это доказывает здоровье его нервной системы, практический ум и, наконец, что он понимает свое дело. Положим, что быстрота есть признак здорового духа, но многое, может быть, почти все, зависит от здоровья тела. Поэтому нечего сомневаться, что человек не может усвоить себе легкого и быстрого писания. Человеческий гений, раз попав на этот путь, пойдет далеко. Уильям Коббет, один из здоровейших людей, был еще большим импровизатором, чем Вальтер Скотт. Сочинения его, состоящие из рассказов, обзоров, грамматик, проповедей, статей о картофеле и бумажных деньгах и т. д., кажутся нам относительно количества и качества еще изумительными. Пьер Бейль написал громадные фолианты – неизвестно, вследствие каких побуждений. Он плыл по могучей реке, наполненной болотной водой, и умер, крепко держа перо в руках.

Но самый загадочный борзописец – это редактор ежедневной газеты. Обратите внимание на его руководящие статьи – как трактуют они и как прилично написаны. Они походят на солому, которую уже сто раз молотили, не получив от нее ни единого зерна, на пустой звук или преходящее явление, которое уже не раз оказывалось пустяками. Человек, наделенный дюжинными способностями, каждую ночь возится с этой обмолоченной соломой, молотит ее вновь и вновь поднимает тревогу, и это длится целые годы, – вот факт, выхваченный нами из человеческой физиологии, требующий еще разъяснения и доказывающий живучесть человека.

Не следует ли и нам сказать, что Скотт, между многими вещами, доведенными им до кризиса, довел и эту быстроту писания до того, чтоб люди могли лучше видеть, что заключается в этом способе? Тогда и его дело не будет чуждо достоинств и даст результаты, от которых, пожалуй, и сам Скотт содрогнется как приверженец тори. Ибо если печатание будет производиться так же часто и скоро, как это случается с нашими разговорами, то демократия (если мы заглянем в корень вещей) не будет пугалом или каким-нибудь неопределенным явлением, а перейдет в факт и действительность. И мне думается, что подобный исход

неизбежен. Но, оставив этот вопрос, мы заметим, что скорое писание, по-видимому, вполне упрочило свой успех, потому что многие борзописцы торжественно кичатся этим ремеслом.

В недавно появившемся переводе «Дон Карлоса», одном из самых плохих и бездарных переводов, неизвестный до сей поры индивидуум уверяет читателя в следующем: «Читатель, вероятно, извинит меня, если я скажу, что вся пьеса была переведена в десять недель, т. е. с 6 января по 18 марта настоящего года. Включая сюда и двухнедельный перерыв по случаю сильного утомления, – так что я нередко переводил по двадцати страниц в день, а пятый акт кончен мною в пять дней». О, неизвестный индивидуум! Что мне за дело, во сколько времени совершил ты свой труд, в пять или пятьдесят лет? Единственный вопрос, с которым я могу обратиться к тебе, это – как ты совершил этот труд?

Но все-таки дух скорого писания господствует, надвигается на нас, как океан мутной и грязной воды. Зрелище, поистине достойное сожаления. Неужели волны этого скорого писания смоют всю литературу и наступит время умственного всемирного потопа? Это было бы страшною мыслью, но утешься, любезный читатель, такой литературы не существует, которую можно бы было смыть, подобной участи подвергаются только спекулятивные издания. Разве не было литературы до искусства печатания или «Фауста» в Майнце, а между тем люди писали без всякой литературной подготовки? Прежде нежели Кадм изобрел буквы, люди уже говорили, вовсе не подготовляясь к своим разговорам. Литература есть мысль мыслящих душ; по милости Бога она не исчезнет ни в одном поколении, но будет жить с нами до конца.

Деятельность Скотта писать романы экспромтом, чтоб покупать имения, была не такого рода, чтоб кончиться добровольно, напротив, она все более и более увеличивалась, и трудно решить, к какой бы мудрой цели она привела его. Банкротство книгопродавца Констебля еще не разорило Скотта. Причиной его разорения было тщеславие и ложное тщеславие, соединенное с его неразумным образом жизни. Куда бы могло привести его это тщеславие, где остановиться? Постоянно покупались новые имения, пока писались новые романы для уплаты за них. Возраставший успех усиливал аппетит и придавал более смелости. Понятно, что эти импровизированные сочинения делались все слабее и слабее и быстро приближались к категории крайне плохих и дюжинных произведений. Уже втайне образовалась значительная оппозиционная партия, существовали свидетели «чудес» Уэверли, не верившие в них и протестовавшие

одним только молчанием. Эта оппозиционная партия принимала все большие размеры, а так как импровизации Скотта делались заметно слабее, то она грозила привлечь на свою сторону всех. Молчаливый протест должен был прибегнуть к слову, резкая правда, вытесненная резкой популярностью, теперь уже, впрочем, утраченной, начала высказываться, как высказывается она в настоящее время еще смелее, потому что не может уже оскорблять сердце благородного человека. Кто знает, лучше ли было бы, если б его падение произошло иначе, но так или иначе, а оно случилось. Однажды в горе Констебль, стоявшей, по-видимому, так же крепко, как и другие могучие горы, внезапно послышался страшный треск, подобный треску ледяных гор, и затем она с грохотом рухнулась, превратившись в снежную пыль. В один день все накопленные деньги Скотта разлетелись в прах, в ничто; в один день богатый помещик лишился всего, сделался банкротом, окруженным кредиторами.

Это было тяжелое испытание. Он встретил его гордо и мужественно. Оставалось еще одно гордое средство: объявить себя банкротом, человеком, лишенным всех благ мира, репутации, и искать себе в другом месте убежища. И подобное убежище действительно существовало, но не в натуре Скотта было отыскивать его. Он не мог сказать: «До сих пор я шел ложным путем, а моя слава и гордость, ныне утраченные, были пустым обманом!» Но это было ему не под силу, и он решился поправить свои дела, найти точку опоры или умереть. Молча, как сильный и гордый человек, принялся он за геркулесовский труд, приводил в порядок горные обломки, уплачивая долги продажей сочинений, которые мог еще писать. И все это случилось на закате дней, когда горе еще вдвое и втрое чувствительнее и сильнее. Скотт с энергией и мужеством принялся за геркулесовскую работу, бодро и весело, несмотря на упадок сил, боролся он с ней на жизнь и смерть, но работа оказалась не по силам, – она сломила его жизнь и порвала струны его сердца.

Относительно последних произведений Скотта, о его «Наполеонах», «Демологиях» и т. п. критика не выскажет порицания, а молвит только слово: «Горе мне!» Благородный боевой конь, некогда презиравший удары копья, осужден возить грузные фуры и работать чуть не насмерть. Но к счастью, падение Скотта было быстрое и прямо вниз. Это та же трагедия, как и самая жизнь, – старое доказательство, что фортуна стоит на вечно вертящемся колесе, а литературное, военное, политическое и денежное честолюбие еще никому не приносило пользы.

Последний отрывок заимствуем мы из шестого тома биографии, отрывок трагический, но не лишенный красоты, как

не лишены красоты и святости те развалины, на которые смерть уже наложила свою печать. Скотт нанял квартиру в Эдинбурге, чтоб продолжать здесь свою поденную работу, а жена его, находившаяся уже при смерти, осталась в Эбботсфорде. Он молча ушел от нее, молча взглянул на ее спящее лицо, которое не надеялся уже более увидеть. Мы приводим здесь несколько извлечений из его дневника, который он начал вести в последнее время, отчего и шестой том его биографии сделался интереснее первых томов.

«Эбботсфорд. 11 мая 1826 г. *Сердце сжимается при мысли, что я едва ли могу надеяться возвратить доверие того существа, которому я все доверял. Но к чему послужило бы мое присутствие в ее настоящем летаргическом положении? Анна обещала мне сообщать верные и постоянные сведения. Я должен обедать сегодня у Балантайна, отказаться нельзя, хотя я бы лучше желал остаться дома. Я не поддамся чувству безнадежности, которое старается одолеть меня.*

Эдинбург. 12 мая. *Я провел приятный день у Балантайна и там облегчил свое горе, которое дома замучило бы меня. Он был совершенно один.*

Мне хорошо в Ардене, и я могу сказать с Тачстоуном: «Когда я был дома, мне было лучше». Я утешаю себя словами Николая Джарвиса: «Нельзя всюду носить с собою удобства родины». Телом я еще крепок, – была бы только душа спокойна. Со мною в доме живет только один жилец, мистер Шенди, священник и, как говорят, человек весьма спокойный.

14 мая. *Здравствуй, доброе солнце, озаряющее эти грустные стены. Мне думается, что и на берегах Твида ты так же хорошо сияешь, – но куда ты ни взглянешь, всюду видишь одно страдание. Вчера был здесь Хогг, он в большом горе: несколько времени тому назад он занял у Балантайна 100 фунтов и теперь должен их уплатить. Я не в состоянии помочь бедняку, потому что сам принужден занимать.*

15 мая. *Сейчас получил печальную весть, что в Эбботсфорде все кончено.*

Эбботсфорд, 16 мая. *Она умерла утром в 9 часов. За два дня перед смертью она ужасно страдала, но под конец почувствовала себя легче. Я приехал сюда вчера ночью. Анна страшно утомлена и страдает истерическими припадками, которые возобновились с моим приездом. Она почти детским голосом, отрывисто, но спокойно сказала мне: «Бедная мама не придет более, она оставила нас навсегда». Потом, придя в себя, она говорила разумнее, и это продолжалось до тех пор, пока не возвращался припадок. Если б я даже был посторонним человеком, то и тогда было бы мне*

тяжело, – но каково выносить это отцу и мужу!

Я не умею сказать, что чувствую, – иногда я тверд, как скала, иногда слаб, как вода, разбивающаяся об нее. Бодрость и энергия еще не покинули меня, но когда я вспомню, чем были прежде эти места, мое сердце разрывается на части. Один, на закате дней, лишенный всего семейства, кроме бедной Анны, – я теперь человек обедневший, запутавшийся, потерявший подругу, с которою делился и мыслью, и советом и которая нередко облегчала мне душевное горе. Даже самые ее слабости были мне полезны, они занимали и отвлекали меня от мучительных и тяжких дум.

Я видел ее, но это был не образ моей Шарлотты, моей подруги, с которой я провел тридцать лет. По-видимому, те же формы, но в них нет уже прежней гибкости и прелести, передо мною желтая, безжизненная маска, которая скорее смеется над жизнью, чем напоминает ее. И неужели это то самое лицо, которое некогда было так выразительно, так оживленно?

Нет, я не стану более смотреть на нее. Анна говорит, что она мало переменилась, но это происходит оттого, что она видела свою мать во время страданий, я же припоминаю ее в более счастливый период ее жизни. Я думал, что, записывая все это, я наберусь мужества и силы, – но мои заметки, по-видимому, приобретают еще более грустный характер.

18 мая. *Покров из свинца и дерева уже лежит на ней, и скоро предадут ее холодной земле. Нет, не моя Шарлотта, не моя некогда юная невеста, не мать моих детей ляжет в дрейбургских развалинах, которые мы так часто посещали, веселые и беззаботные.*

22 мая. *Я исполню свой долг, не откажусь от него, как он ни мучителен, но желал бы, чтоб эти похороны миновали скорее. Я как будто отупел; все, что говорится и делается вокруг меня, кажется мне каким-то сном.*

26 мая. *Если б враг ворвался в мой дом, разве не стал бы я драться с ним, когда бы даже был убит горем? Да разве подобное горе лишит меня духовных сил? Нет, клянусь небом, нет!*

Эдинбург. 30 мая. *Вчера вечером я приехал сюда с Чарльзом. Сегодня снова примусь за обычные занятия, буду рано вставать, утром работать… Сейчас прочел последнюю корректуру для «Quarterly», статья вышла слабая, но и обстоятельства были неблагоприятны. Сегодня мне грустно, тяжело, – боюсь, что бедный Чарльз заметит мои слезы. Не знаю, что чувствуют другие люди, но когда мне случается плакать, то слезы меня душат, одуряют, и во время этого припадка я спрашиваю: неужели моя бедная Шарлотта действительно умерла».*

Картина трагическая, но вместе с тем и прекрасная. Так как в

седьмой том, по всему вероятию, войдут одни трагические сцены, то лучше окончить здесь.

Таким образом, занавес падает, и Вальтера Скотта нет более с нами. Но после него осталось наследство, хотя широко разбросанное, но доступное нам и довольно значительное. О нем можно сказать, что, умирая, он унес с собою мужество и здоровье, потому что XVIII столетие не произвело ни одного человека здоровее его. На его шотландском прекрасном лице, выражавшем суровую честность, ум и доброту, были заметны явные следы горя и забот; радость уже покинула его, когда мы в последний раз встретились с ним на эдинбургских улицах. Мы никогда не забудем и никогда не увидим его! Прощай, сэр Вальтер, гордость шотландцев, – прими наше горестное «прости».

Примечания

[1] Так назывались в Испании знатные ленники или бароны, имевшие право говорить с королем не снимая шляпы. – *Примеч. пер.*

[2] Это последнее имя не вымышлено. Дед Беппо – литейщик в Мессине – действительно назывался Джузеппе Калиостро.

[3] И. В. Г*ете.* Итальянские путешествия.

[4] И. В. Г*ете.* Итальянские путешествия.

[5] См. «Робинзон Крузо».

[6] *Джигмен* (Gigman) – владелец кабриолета, респектабельный человек.

[7] Несмотря на то что г-жа Кампан во 2-м томе своих «Записок» говорит, что «ожерелье было назначено для Дюбарри», время изготовления его трудно определить. Дюбарри уже 10 мая 1744 года, в день смерти ее короля, было назначено половинное содержание.

[8] Фронтиспис к «Affaire de Collier», Paris, 1785, с которого издатель «Записок» Жоржеля снял копию. «Affaire de Collier» собственно не книга, а собрание судебных документов («Mémoires pour etc.»), напечатанных и изданных противными сторонами знаменитого процесса об ожерелье. Эти документы, переплетенные в два тома in quarto, содержащие в себе всевозможные заметки, пасквили и т. п., составляют «Affaire de Collier», издание, которое и теперь еще можно достать у парижских антикварных книгопродавцев. Это величайшее собрание лжи, существующее в печати, составленное из всевозможных рассказов, к несчастью, служит единственным руководством, с помощью которого можно добиться истины. В первом томе содержатся «Mémoires pour» (числом 21), чуждые всякой исторической правды, наполненные показаниями подсудимых и адвокатов, желавших, чтоб свет во что бы то ни стало поверил этим показаниям, вследствие чего каждая сторона лгала настолько, насколько хватало сил. Чтоб доискаться истины или даже малейшей тени истины, необходимо всю эту громадную массу мусора разобрать и просеять, чтоб удержать хоть какие-нибудь крупицы исторического доказательства. Так как все это происшествие с ожерельем может быть названо «величайшей ложью XVIII века», то оно с намерением представлено нам в неизмеримом хаосе лжи.

Второй том, носящий название «Suite de l'Affaire de Collier», – еще примечательнее. Он касается интриги и процесса некоего Бетта д'Этьенвиля, выдающего себя за бедного юношу, которого

похитили и с завязанными глазами привели к прекрасным дамам, поручив ему достать им мужей. Поручение это он постарался исполнить, но затем его одурачили, и он, в свою очередь, одурачил и заморочил других, и все вследствие процесса об ожерелье и шума, произведенного им! Весьма странно! Адвокаты действительно ухватились за Бетта. Тут приложены портреты каких-то чучел, и ни один человек не может сказать, существовали ли когда-нибудь их оригиналы. Все это походит на какой-то сон. Человеческий ум становится в тупик и наконец желает, чтоб подобная бездна лжи закрылась, пока не наступил всеобщий бред и человеческая речь не обратилась в бессмысленную болтовню галок и сорок. Но и у самого Бетта, посредством тщательного просеивания, можно собрать несколько крупинок правды.

[9] Жан Поль Марат до Великой Французской революции был ветеринаром у графа д'Артуа. – *Примеч. пер.*

[10] Вот эпиграмма, написанная на него, по случаю росбахской битвы, в стране «деспотизма, умиряемого эпиграммами», как тогда называли Францию:

> Soubise dit, la lanterne a la main,
> J'ai beau chercher, ou diable est mon armée?
> Elle était la pourtant hier matin:
> Me l'a-t-on prise, on l'aurais-je égarée?
> Que vois-je, o ciel! que mon ame est ravie!
> Prodige heureux! la voila, la voila! —
> Ah, ventrebleu! qu'est ce done que cela?
> Je me trompais, c'est l'armée ennemie!
> Lacretelle.

[11] «Vie de Jeanne comtesse de-Lamotte, écrite par elle mème».

[12] Он был еврейского происхождения, внук знаменитого еврея Бернара, с которым Людовик XV и даже Людовик XVI имели обыкновение гулять в королевском саду, когда им нужно было занять у него денег. См. «Souvenirs du duc de Levis»; «Mémoires de Duclos» и др.

[13] Четыре ее «Mémoires pour» в этом «деле ожерелья» походят на «вывороченные языки адвокатов». Затем в 1788 году появился один том «Mémoires justificatifs de la comtesse», с приложением так называемых документов. Эта книга была даже переведена на английский язык. Впоследствии изданы были в Лондоне еще два тома, упомянутые выше: «Vie de Jeanne» и пр., с целью, по-видимому, «выжать деньги из Парижа». Эта последняя лживая автобиография Ламотт была скуплена французским

правительством и сожжена на севрском фарфоровом заводе 30 мая 1792 года. После 10 августа она была снова напечатана и, за исключением истории ожерелья, не так запутана, как первая.

[14] Это тот самый маркиз д'Отишан, который в 1793 году хотел «освободить» Лион, но не мог этого сделать.

[15] «Vie de Jeanne de-Lamotte, écrite par elle mème».

[16] Сравни Жоржеля, Lamotte – «Mémoires justificatifs и Mémoires pour» противных сторон, в особенности Ге д'Олива. Жоржель относит эту сцену к 1785 году, что совершенно неверно, «Королевины автографы» относительно чисел также ошибочны. Вообще во всех числах видна страшная путаница.

[17] «Lamotte, Mémoires justificatifs». Пошлость этих рассказов превосходит все, но, несмотря на это, они нашли верующих и причинили королеве, как подтверждают все историки, громадный вред.

[18] Писано в 1833 году, во время царствования во Франции Людовика-Филиппа. – *Примеч. пер.*

[19] «Я был представлен двум дамам, из которых одна отличалась замечательной красотой: у нее были голубые глаза и каштановые волосы» («Bette d'Ettienville», вторая «Mémoire pour»; в «Suite de l'Affaire du Collier»). Это была та женщина, которую Бетт и адвокат намеревались выдать свету за Ге д'Оливу. – «Другая была среднего роста, с черными глазами, темно-каштановыми волосами и белым цветом лица; голос у нее приятный, она говорит замечательно хорошо и живо». Эта «другая» должна быть Ламотт. Настоящее имя Оливы было Эссиньи; имя Оливы (анаграмма Валуа) было дано ей Ламотт вместе с титулом баронессы («Affaire du Collier»).

[20] Грей жил в New-Bond-Street, Джеффрейс на Пиккадилли (Рогана «Mémoires pour»; см. также рассказ «графа» Ламотта в «Mémoires Justificatifs»). Роган говорит, что «Джеффрейс купил бриллиантов более чем на 10 000 фунтов».

[21] Вот как описывает его Бетт д'Этьенвиль: «Красивый мужчина лет пятидесяти, румяный, с проседью в волосах и открытым лбом, высокого роста, с благородными, непринужденными манерами, хотя и обремененный несколько тучностью. Это, как я и не сомневался, был кардинал де Роган».

[22] 31 мая 1786 года был произнесен приговор; в десять часов вечера кардинал был выпущен из Бастилии; многочисленная толпа, негодуя на дворе, встретила его восторженными криками. (*Жоржель.*)

[23] Английский переводчик биографии Ламотт говорит, что она бросилась с крыши своего дома, близ храма Флоры, в то время, когда хотела спастись от ареста за долги, и расшиблась до

такой степени, что вскоре умерла. По другим известиям, как гласит и речь Калиостро, она была выброшена из окна. Но, так или иначе, она умерла 23 августа 1791 года. Где был «храм Флоры» – никто не знает.

[24] В «Affaire du Collier» есть следующая заметка: «Ге д'Олива, проститутка Пале-Рояля, избранная играть роль в этом деле, вышла впоследствии за некоего Босира, бывшего дворянина и управителя графа д'Артуа. В 1790 году он был капитаном национальной гвардии в Тампле, а затем удалился в Шуази, где был назначен прокурором общины. Впоследствии он составлял списки осужденных в люксембургской тюрьме и играл роль шпиона (monton). См. «Tableau des prisons de Paris sous Robespierre». Эти подробности верны. В «Mémoires sur les prisons» (новый титул только что упомянутой книги), стр. 171, находим мы следующее: «Другой доносчик был Босир, известный своими интригами при прежнем правительстве. Чтоб читатель имел о нем понятие, достаточно сказать, что он женился на Оливе» и проч. В конце же прибавлено: «Он был главным шпионом Боэнваля, который, впрочем, говорил, что хотя и пользуется его услугами, но Фукье Тенвиль не терпит его и при удобном случае гильотинировал бы его».

[25] Роган был избран в конституционное собрание и даже удостоился, как жертва двора, комплиментов раз или два от людей ограниченного рассудка. Он один из первых воспротивился «церковной реформе» и ушел за Рейн.

[26] Ламотт, возвратившись после смерти своей жены в Париж, был арестован. Приговор, произнесенный над ним в парламенте по делу об ожерелье, был отменен, вследствие его апелляции, новым судом, но тем не менее его держали в заключении. (Moniteur, 7 августа 1792). Во время сентябрьской резни он находился в тюрьме. У Матона де ла Варенна, заключенного в La Force, мы заимствуем следующее описание:

«В четыре часа утра (в понедельник 3 сентября 1792), – пишет Матон, – решетка, ведшая в наше отделение, снова отворилась. Четыре человека в мундирах с саблями наголо и с факелами вошли в наш коридор. Тюремщик показывает им дорогу, и они направились в комнату, соседнюю с нашей, чтоб обыскать ящик, который они взломали. После этого они вышли в галерею и принялись допрашивать некоего Кисса, где находится Ламотт, выманивши у них, по их словам, 300 ливров с обещанием открыть им клад и разделить его с ними. Несчастный Кисса, попавшийся им в руки и в ту же ночь лишившийся жизни, отвечал, дрожа всеми членами, что он хорошо помнит это дело, но не может сказать, что сделалось с заключенным. Решившись отыскать

Ламотта и свести его на очную ставку с Кисса, они принялись шарить в другой комнате, но, по-видимому, без успеха, потому что я слышал, как один из них сказал: «Пойдем и поищем между трупами, потому что – «nom de Dieu!» – мы должны узнать, что с ним сделалось» («Ma resurrection par Maton de-la-Varenne»). Ламотт находился в тюрьме Bicetre, но вовремя ушел и пропал без вести.

[27] «Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, par Longchamp et Wagnieres, ses secretaires, suivis de divers йcrits inédits de la marquise du Chatelet, du president Henault etc., tous relatifs a Voltaire».

[28] Слухи о том, что Нерон поджег Рим.

[29] *Тацит.* Анналы. Пер. А. Кронеберга.

[30] О подобном укрывательстве мы встретили в книге Лоншана забавный рассказ. Раз он приютился у герцогини Дюмень и хотя причина, заставившая его скрываться, была маловажная, тем не менее он два месяца высидел в замке Со (Sceaux) и при закрытых ставнях, с зажженными свечами днем, писал «Задига», «Бабука», «Мемнона» и др., чтоб убить время.

[31] См. у Лоншана (стр. 154–163), как можно с помощью самого простого фокуса поймать плута, и change rendu a des imprimeurs.

[32] См. *Ж. А. Кондорсе.* Жизнь Вольтера.

[33] Сатира, написанная Вольтером на Мопертюи, к которому он относился недружелюбно как к президенту Берлинской академии. – *Примеч. пер.*

[34] Мы можем сказать, как Драйден сказал о Свифте, что у нашего кузена Сен-Марка не было поэтического дарования.

[35] «За два дня до кончины, – рассказывает Ваньер, – племянник Вольтера, аббат Миньо, привел в комнату больного дяди священника церкви Сен-Сюльпис и аббата Готье. Когда Вольтер услыхал, что аббат Готье здесь, то сказал: «Хорошо, поклонись ему и благодари его». Затем аббат поговорил с ним немного и в заключение советовал ему вооружиться терпением. Священник церкви Сен-Сюльпис, возвысив голос, спросил Вольтера: признает ли он божественность Господа нашего Иисуса Христа? Больной старик протянул руку к скуфье священника, но затем отнял ее, повернулся на другой бок и вскричал: «Laissez moi mourir en paix!» – «Дайте мне умереть с миром!»

[36] «De la littérature allemande». Berlin. 1780. Мы заимствовали этот отрывок из компиляции: «Gothe in den Zeugnissen der Mitlebenden».

[37] Обычная пытка, употреблявшаяся в Шотландии в царствование Якова II во время религиозных преследований и

состоявшая в том, что нога подсудимого вставлялась в колодку, в которую до тех пор вбивали клинья, пока не раздроблялись кости. – *Примеч. пер.*

[38] Иоанн Людовик Вивес, испанский писатель, живший в середине XV столетия. – *Примеч. пер.*

[39] «Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot, publies d'après les manuscrits confies, en mourant, par l'auteur a Grimm». 1831.

«Oeuvres de Denis Diderot, precedes de Mémoires historiques et philosophiques sur sa vie et ses ouvrages», par J. A. Naigeon. 22 v. Paris. 1821. (Briere).

[40] Известный французский механик, живший в прошедшем столетии и прославившийся превосходным устройством автоматов. – *Примеч. пер.*

[41] Католический обряд при вступлении в духовное звание, заключающийся в пострижении волос на маковке посвящаемого. – *Примеч. пер.*

[42] Известные книгопродавцы.

[43] Карлейль говорит о Христиане Готлибе Гейне, замечательном немецком гуманисте и писателе, умершем в 1812 году. – *Примеч. пер.*

[44] Фиванский ясновидец, ослепший в семь лет, но обладавший умственным ясновидением и даром пророчества, один из персонажей трагедии Софокла «Царь Эдип».

[45] Эдмунд Берк (1729–1797) – английский юрист, прекрасный оратор и ярый противник Французской революции.

[46] *Белый тиран* – так Гримма называли его друзья. – *Примеч. пер.*

[47] Галлани, итальянский политикоэконом, известен своею перепискою с г-жой д'Эпине, Гольбахом, Гриммом и Дидро. – *Примеч. пер.*

[48] «Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau écrits par lui même, par son pere, son oncle et son fils adoptif». Paris. 1834–1836.

[49] Намек на сочинение Архимеда: «О сфере и цилиндре». – *Примеч. пер.*

[50] To wine, put finger i'the eye, and sob, Because he had ne'er another tub.

[51] «The life of Robert Burns». By I. G. L*ockhardt.* 1828.

[52] Самуэль Батлер (1612–1680) – английский писатель, автор комической поэмы «Сэр Гудибрас», – умер в бедности. – *Примеч. пер.*

[53] Мне желалось бы – и это желание до последней минуты будет волновать мою грудь – принести какую-нибудь пользу для

блага бедной, старой Шотландии, написать книгу или, в конце концов, пропеть ей песнь (*англ.*).

[54] Гордо и весело по склону горы за своим плугом (*англ.*).

[55] Простите, друзья, простите, враги, да будет мир и любовь моя между вами, сердце мое разрывается от слез, простите и вы, родные берега Эйра! (*англ.*)

[56] На канадских холмах или минденской равнине, может быть, эта мать оплакивает смерть солдата, склонившись над своим ребенком и мешая крупные слезы, орошающие ее глаза, с молоком, которым кормится это дитя несчастья, крещенное в слезах (*англ.*).

[57] Надгробная надпись Джонатана Свифта.

[58] *«Араукана»* – героическая «конкистадорская» поэма Алонсо де Эрсилья-и-Суньиги (1533–1594), посвященная покорению испанцами чилийского племени арауканов. – *Примеч. пер.*

[59] См. «Memoirs of the Life of Sir Walter Scott».

[60] Прозвище Эндрю Джексона, президента Соединенных Штатов (1829–1837). – *Примеч. пер.*

[61] «Баллады шотландской границы» (*англ.*).

[62] Наливай полнее, – пью за общую радость всех гостей! (*англ.*)

[63] Со взглядом лорда Берли, светлым и серьезным, важным и таинственным (*англ.*).

Теперь и прежде

I Вступление

Мидас

Положение Англии, по поводу коего выходит теперь так много брошюр и столько неизданных мыслей возникает в каждой размышляющей голове, – это положение по справедливости признается наиболее зловещим и вместе с тем наиболее странным, когда-либо виденным в этом мире. Англия полна богатства, разнообразной продукции, могущей удовлетворять всевозможные человеческие потребности, – и тем не менее Англия умирает от истощения. Земля Англии цветет и растит с неизменной щедростью. Она колышется желтеющими нивами; густо покрыта мастерскими, орудиями промышленности, на ней пятнадцать миллионов работников, признанных за самых сильных, искусных и усердных, которых когда-либо производила Земля. Эти люди все налицо; работа, которую они исполнили, плод, который они из нее извлекли, – налицо, вокруг нас, в изобилии, бьющем через край. Но смотрите: пронеслось, как по волшебству, некое повеление, возгласившее: «Не прикасайтесь к этому, о вы, Работники, вы, Хозяева-работники, вы, Хозяева-тунеядцы! Никто из вас не прикоснется к этому! Ни одному из вас не должно быть от этого лучше; это – запретный плод!» Это повеление, в его наиболее грубой форме, падает прежде всего на бедных Работников. Оно падает также и на богатых Хозяев-работников, его не могут избежать и богатые Хозяева-тунеядцы и ни один самый богатый или высокостоящий человек, все должны быть равно им принижены и сделаны достаточно «бедными», в денежном смысле или в ином, гораздо более роковом.

Из этих, достигающих своей цели, искусных Работников около двух миллионов, как теперь считают, сидят в Работных домах, Тюрьмах по Закону о бедных[1] или имеют «пособие на воле», вышвырнутое им через стену. Ибо работная Бастилия переполнена так, что готова лопнуть, и строгий Закон о бедных сокрушен в прах другим, еще более строгим. Они сидят там вот уже много месяцев; их надежда на освобождение все еще ничтожна. Сидят в Работных домах, называемых так в шутку, потому что в них нельзя исполнить никакой работы. Миллион двести тысяч работников в одной Англии; их искусные руки парализованы и праздно покоятся на скорбной груди; надежды, планы, доля участия в этом прекрасном мире – все это замкнуто тесными стенами. Они сидят там, запертые, как бы под влиянием

каких-то страшных чар. Они рады быть в тюрьмах и быть заколдованными, чтобы только не умереть с голоду.

Живописный Турист, в солнечный осенний день, встречает на своем пути, среди этого благословенного королевства Англии, Объединенный работный дом. «Проезжая мимо Работного дома святого Ива в Хантингтоншире, прошлой осенью, в ясный день, – говорит живописный Турист, – я видел, как на деревянных скамьях, перед дверьми своей Бастилии и внутри ее решетчатой ограды сидело около полусотни или более этих людей. Высокие, сильные, по большей части молодые или средних лет, с честными лицами. Многие из них выглядели осмысленными и даже умными людьми. Они сидели один около другого, но в некоторого рода оцепенении и, главное, в молчании, которое производило чрезвычайное впечатление. В молчании, – ибо, увы, какое слово могло бы быть ими произнесено? Вся Земля лежит вокруг, взывая: «Приходите и обрабатывайте меня, приходите и собирайте мои плоды!» – «А мы вот сидим здесь, заколдованные!» В глазах и на челе этих людей написано было самое мрачное выражение, не гнева, но печали и стыда и разнообразного невысказанного отчаяния и тоски. Они ответили на мой взгляд взглядом, который, казалось, говорил: «Не смотри на нас. Мы сидим здесь заколдованные, не знаем почему. Солнце улыбается нам, Земля нас манит; но правящими Властями и Бессилием этой Англии нам запрещено повиноваться им. Это невозможно, говорят они нам!» Во всем этом зрелище было что-то, напомнившее мне Дантов Ад, и я поспешил проехать мимо».

Столько сотен тысяч сидят в Работных домах, а другие сотни тысяч не добились даже и Работных домов! И в самой цветущей Шотландии, Глазго или Эдинбурге, их темных переулках, скрытых от всего, кроме ока Божия, и изредка Благотворительности, служительницы Божией. В них встречаются картины горя, нужды и отчаяния, такие, каких, надо надеяться, Солнце еще никогда не видало, даже в самых варварских странах, в которых только живут люди. Компетентные свидетели, среди них достойный и человеколюбивый доктор Элисон, который знает, о чем говорит, в чьих милосердых руках благородное Врачебное Искусство сделалось еще раз истинно священным, сообщают нам эти факты. Факты эти не нынешнего года и не прошлого года. Они не имеют отношения к нашему теперешнему состоянию торгового застоя, а лишь к общему нашему состоянию. Шотландия больна не острыми лихорадочными пароксизмами, а хронической гангреной. «Закон о бедных», любой и каждый «Закон о бедных», должно заметить, есть только временная мера, успокаивающее средство, а не лекарство. Богатые и Бедные, раз

одни голые факты условий их существования пришли в столкновение, не могут долго существовать вместе на основании только «Закона о бедных». Это в высшей степени верно, – и тем не менее человеческие существа не могут же быть брошены на смерть! И Шотландия также, пока не найдется чего-нибудь лучшего, должна иметь свой «Закон о бедных», если Шотландия не осуждена быть притчей во языцех.

О, сколь многое здесь утрачивается! Утрачиваются высокие и трижды высокие народные доблести; крестьянский Стоицизм, Героизм; достойные, мужественные обычаи, сама душа Народного величия, вернуть которую не хватит всей руды Потоси[2], в сравнении с которой вся руда Потоси и все, что можно было бы на нее купить, – пыль и прах!

Зачем останавливаться на этой стороне дела? Она слишком бесспорна, ни в ком уже более не вызывает сомнения. Спуститесь где хотите в низшие классы, Городе или Деревне, каким угодно путем, через «Сведения о Фабричном производстве», сведения «о Земледелии», «Поступление Платежей», «Комитет Рудокопов», или же просто открыв глаза и вглядевшись, – везде обнаружится одно и то же скорбное явление. Вы должны будете признать, что работающая часть этого богатого Английского Народа опустилась или быстро опускается до состояния, которому, если принять во внимание все его стороны, буквально никогда еще не было подобного.

В Стокпортском Суде, – и это также не связано с теперешним состоянием торговли, ибо относится к более раннему времени, – Мать и Отец были обвинены в отравлении трех своих детей, с целью вытянуть с «похоронной кассы» по каких-то 3 фунта и 8 шиллингов, причитавшихся за каждого ребенка. Они были признаны виновными, – и официальные власти, как потихоньку говорят, намекают, что этот случай, возможно, не единственный, может быть, лучше не углубляться в эту область. Это происходит осенью 1841 года; само преступление относится к предыдущему году или времени года. «Грубые дикари, одичалые Ирландцы!» – ворчит праздный читатель Газет, едва ли останавливаясь на этом событии. А между тем это – событие, достойное того, чтобы на нем остановиться, ибо падение, дикость и одичалое Ирландство никогда еще не были так легко допускаемы. Это совершили в Британской стране Отец и Мать, человеческие существа с белой кожей, исповедующие Христианскую религию! Они своим Ирландством, нуждою и дикостью были доведены до того, что смогли совершить это! Такие примеры – как высокие горные вершины, возвышающиеся у всех на виду, но под ними лежит целая горная область и равнина, еще невидимые. Эти люди, Мать

и Отец, сказали друг другу: что нам делать, чтобы избежать голодной смерти? Мы глубоко погрязли здесь, в нашем темном подвале; а помощь далека.

Да, суровые события происходят в Башне Голода Уголино[3]! Любимец, маленький Гаддо, падает мертвый на колени своего Отца! Стокпортские Мать и Отец думают и намекают друг другу: «Наш бедный маленький голодный Том, который плачет целые дни, прося пищи, который будет видеть в этом мире одно только дурное и ничего хорошего, – что, если бы он раз навсегда избавился от горя, он умрет, но зато остальные из нас, может быть, останутся живы!» Такая мысль зародилась, такой намек был сделан, и наконец это было исполнено. И теперь, когда Том убит и все истрачено и съедено, кто должен отправиться, бедный маленький голодный Джек или бедный маленький голодный Билл? – Каково совещание о способах и средствах!

Об умирающих с голоду, осажденных городах, времени окончательного разрушения осужденного древнего Иерусалима, павшего под ударами Божьего гнева, было предсказано и возвещено: «Руки мягкосердных женщин варили детей своих»[4]. Суровое Еврейское воображение не могло создать более мрачной бездны ужаса; это была крайняя степень падения караемого Богом человека. А мы здесь, в современной Англии, изобилующей богатством всякого рода, не осаждаемые ничем, кроме как разве невидимыми Чарами, неужели мы дошли до этого? – Как происходят такие вещи, почему они происходят, почему они должны происходить?..

Хозяин-работник так же заколдован в настоящее время, как и его Работник, посаженный в Работный дом, и взывает, доселе тщетно, о весьма простом роде «Свободы». Свободе «купить там, где окажется всего дешевле, и продать там, где окажется всего дороже». С гинеями, звенящими в каждом кармане, он не был ни на йоту богаче. Но теперь, когда сами гинеи грозят исчезнуть, он чувствует, что он действительно беден. Бедный Хозяин-работник! А Хозяин-неработник, разве он не в еще более роковом положении? Он стоит среди своих охотничьих парков с испуганным взором – и не без причины! Он приневоливает своих арендаторов по пятидесяти фунтов стерлингов, приневоливает, соблазняет, уговаривает; «он распоряжается своею собственностью, как ему угодно». Его уста полны громкого вздора и доводов для доказательства великих достоинств его Хлебного закона[5], а в его сердце – самые мрачные предчувствия, отчаянное полусознание, что его великолепный Хлебный закон незащитим, его громкие доводы в его защиту такого рода могут буквально заставить людей онеметь.

Для кого же в таком случае это богатство Англии есть действительно богатство? Кто тот, кому оно приносит благословение? Кого оно делает счастливее, мудрее, прекраснее, во всех отношениях лучше? Кто вполне овладел им, так, чтобы заставить его работать и служить себе, подобно верному слуге, а не неверному лжеслуге; оказывать какие-нибудь действительные услуги? Пока еще никто. У нас больше богатых, чем когда-нибудь было у какого-нибудь Народа. У нас меньше от них пользы, чем когда-нибудь было у какого-нибудь Народа. Наша успешно развивающаяся промышленность до сих пор безуспешна: странный успех, если мы на этом только и остановимся! Среди полнокровного изобилия народ погибает. Среди золотых стен и полных житниц никто не чувствует себя безопасным или удовлетворенным. Работники, Хозяева-работники, Неработники – все пришли к мертвой точке: стоят неподвижно и не могут идти далее. Роковой паралич распространяется внутрь, начиная с конечностей, с Сент-Ивских Работных домов, с Стокпортских подвалов, по всем членам, как бы по направлению к самому сердцу. Так что же, неужели мы действительно заколдованы, прокляты каким-нибудь богом?

Мидас[6] жаждал золота и оскорбил Олимпийских богов. Он получил золото так, что все, к чему он ни прикасался, делалось золотом, – но ему с его длинными ушами было немногим от того лучше. Мидас неверно оценил звуки небесной музыки. Мидас оскорбил Аполлона и богов; боги дали ему то, чего он хотел, и вдобавок пару длинных ушей, которые были хорошей к тому придачей. Сколько истины в этих старинных Баснях!

Моррисоновы пилюли

«Что же надо делать, что хотите вы, чтобы мы делали?» – спросит кто-нибудь, с выражением нетерпения, почти упрека. И затем, если вы назовете какую-нибудь вещь, какие-нибудь две вещи, двадцать вещей, которые могли бы быть сделаны, он отвернется прочь, с сатирической усмешкой. «Так это ваше лекарство?» Состояние ума, выражаемое таким вопросом и таким ответом, достойно того, чтобы над ним размыслить.

По-видимому, эти вопрошающие философы принимают за доказанное, что существует какая-то «вещь», или пригоршня «вещей», которая могла бы быть сделана. Какой-нибудь Парламентский Акт, «целительная мера» или что-нибудь подобное, что могло бы быть принято, чем общественная болезнь была бы вполне поражена, побеждена, прекращена. Так что, с вашей «целительной мерой» в кармане, вы могли бы спокойно

торжествовать и впредь уже ничем не тревожиться. «Ты называешь нам зло, – восклицают такие лица, испытывая праведное огорчение, – и не говоришь, как оно может быть излечено!»

Как оно может быть излечено? Братья, я крайне сожалею, но у меня нет Моррисоновых пилюль[7] для излечения болезней Общества. Было бы бесконечно удобнее, если бы у нас были Моррисоновы пилюли, Парламентский Акт или целительная мера, которые люди могли бы проглотить раз навсегда и потом продолжать уже идти по старому пути очищенными от всяких бед и зол! К несчастью, у нас нет ничего такого; к несчастью, сами Небеса не держат ничего такого в своей богатой фармакопее. Нельзя предпринять никакой такой «вещи», которая бы вас исцелила. Должно произойти коренное и всеобщее изменение вашего обихода и строя жизни, самый мучительный разрыв между вами и вашими химерами, роскошью и ложью, чрезвычайно тягостное, почти «невозможное» возвращение к природе, ее правде и целостности. Для того чтобы внутренние источники жизни могли, подобно вечным Источникам света, снова засиять и очистить ваше надутое, опухшее, постыдное существование, близкое в его теперешнем виде к бесславной смерти! Или смерть, или все это должно произойти. Посудите сами, могут ли при таком диагнозе быть найдены какие-нибудь Моррисоновы пилюли?

Но если Источник жизни внутри вас снова потечет, то какие бесчисленные «вещи», целые ряды, классы и континенты «вещей» год за годом, десятилетие за десятилетием и век за веком окажутся исполнимыми и будут исполняемы! Не Эмиграция, Воспитание, Отмена Хлебных законов, Санитарные правила, Поземельный налог – не одно только это, ни даже в тысячу раз большее, чем все это! Благое Небо, тогда найдется в глубине сердца некоторых отдельных людей свет, чтобы различать, что справедливо, повелено Всевышним Богом, должно быть исполнено, как бы это ни было «невозможно». Пустая болтовня в защиту явно несправедливого сократится тогда до узких границ. Пустая болтовня в Избирательных собраниях, Парламентах и где бы то ни было еще, когда будут люди, имеющие очи, чтобы видеть самую сущность Божественной Правды тех вещей, о которых болтают, – эта болтовня сделается тогда действительно чрезвычайно пустой.

Молчание таких людей, – как оно красноречиво в ответ на такую болтовню! Такая болтовня, испуганная своим собственным тощим эхом, невыразимо притихнет. Даже, быть может, она на некоторое время почти совершенно исчезнет, ибо мудрые будут

отвечать ей в молчании, и даже простецы научатся от них, как ее осаживать, где бы они ее ни услышали. Это будет благословенное время. Много «вещей» сделаются исполнимыми, а «если нет мозга, то стоит ли говорить о глупости»? Тогда уже какой-нибудь «Хлебный закон» не потребует для себя целых десяти лет. Нельзя будет постоянно о нем толковать и рассуждать, если беспристрастные лица скажут со вздохом, что они в течение уже такого-то времени не слышали никаких «доводов», приводимых в его пользу, кроме таких, которые могут довести до слез не только ангелов, но даже самих ослов!

Вполне благословенное время, когда болтовня притихнет и в разных местах станет слышна какая-нибудь настоящая речь. Все благородные вещи начнут становиться видимыми благородно открытому сердцу, да и вообще они только ему и открываются. Разница между справедливым и несправедливым, истинным и ложным, работой и лжеработой, речью и болтовней снова будет (какой она обыкновенно и была для наших более счастливых отцов) – бесконечна. Бесконечна, как между Божественным и Адским, т. е. тем, чего ты не должен делать, благоразумие повелевает тебе даже не пытаться делать, из-за чего тебе было бы лучше повесить себе мельничный жернов на шею и быть брошенным в море, чем браться за него! Братья, все это совершат для нас не Моррисоновы пилюли и не какое-нибудь целительное средство.

И однако верно до буквальности, что до тех пор, пока в том или другом виде это не будет совершено, мы останемся без исцеления; пока это не начнет совершаться, исцеление не начнется. Ибо Природа и Действительность, а не Канцелярщина и Видимость составляют до настоящего часа основание человеческой жизни. На них, все равно на каком слое, человек, его жизнь, силы, все его интересы рано или поздно, но неизбежно должны основаться и быть ими поддержанными или ими поглощенными, смотря по тому, насколько они им соответствуют. Относительно их предлагается не вопрос: насколько соответствуете вы Даунинг-стрит[8] и признанной Видимости, а насколько соответствуете вы Божьему миру и действительной Реальности вещей? Эта Вселенная имеет свои Законы. Если вы живете с Законом в согласии, то Законодатель будет к вам дружелюбен; если нет – нет. Увы! Никаким Биллем о реформе[9], баллотировочным ящиком, Хартией о пяти пунктах, вообще никакими ящиками или биллями или хартиями вы не произведете следующего алхимического превращения: «Дан мир Рабов. Извлечь Честность из их соединенного действия!» Это перегонка, раз навсегда невозможная. Пропускайте его через

реторту за ретортой, получаться будет все-таки Бесчестность в новом наряде, с новыми красками. «Пока мы продолжаем оставаться холопами, каким образом может явиться какой-нибудь герой, чтобы нами управлять». Нами управляет, без всякого сомнения, только «лжегерой», имя которого – Шарлатан, дело и приемы управления – Угодничество, а также Лживость и Самодовольство. Ему Природа отвечает – и должна отвечать, когда он обращается к ней с речью, – вечным «Нет»! Народы перестают пользоваться дружеским расположением Законодателя, если они ходят путями, несогласными с Законом. Вопрос Сфинкса[10] остается неразрешенным ими, становится все более неразрешимым.

И поэтому, если ты снова спросишь, основываясь на гипотезе Моррисоновых пилюль: «Что же надо делать?» – позволь мне ответить тебе: через тебя в настоящее время почти ничего. Для тебя, каков ты сейчас, то, что ты должен делать, если возможно, – это перестать быть пустым отголоском сплетен, эгоизма, близорукого дилетантизма и сделаться, хотя бы в бесконечно малом масштабе, верной, внимательной душой. Ты должен обратиться к твоему внутреннему человеку и посмотреть, есть ли там какие-нибудь следы души; а до тех пор ничего не может быть сделано! О, брат! Мы должны, если возможно, воскресить в себе хоть частицу души и совести, переменить наш дилетантизм на искренность, наши мертвые сердца из камня на живые сердца из плоти. Тогда мы различим не одно, но, в более ясной или более смутной последовательности, целую бесконечность того, что может быть сделано. Сделайте первое из этого, сделайте его; второе станет более ясным и более удобоисполнимым; второе, третье, трехтысячное уже начнет быть возможным для нас. Мы будем спрашивать тогда не какие-нибудь Моррисоновы пилюли, в качестве ли их потребителей, в качестве ли продавцов, а совершенно иной сорт лекарств: Шарлатаны не будут иметь уже власти над нами; ее получат истинные Герои и Целители!»

Не будет ли это делом, достойным «исполнения»: освобождать себя от шарлатанов, от лжегероев; все более и более освобождать от них целый мир? Они – единственная отрава мира. Раз мир от них свободен, он перестает быть миром Дьявола, во всех своих фибрах презренным, проклятым, – и начинает быть миром Бога, благословенным и ежечасно приближающимся к благословению. Ты по крайней мере не будешь снова подавать голоса за разных шарлатанов, оказывать почет разным раззолоченным пустотам в человеческом облике. Ты будешь узнавать ханжество по его звуку. Будешь бегать от ханжества с содроганием, дотоле никогда не испытанным, как от явного

служения на Шабашах Колдунов, истинно современного поклонения Дьяволу, более ужасного, чем всякое другое богохульство, кощунство или самая настоящая мерзость, о которых когда-либо было слышно между людьми. Ужасно быть всему этому свидетелем в его настоящем пополненном виде! И Шарлатан, и Одураченный, и мы должны всегда держать это в уме, суть лицо и изнанка одной и той же материи: личности, взаимно заменяющиеся. Переставьте вашего одураченного в соответствующую, питательную среду, и он сам может сделаться шарлатаном. В нем есть потребная гнилостная неискренность, откровенная жадность до выгоды и чувство, закрытое для истины, а из этого-то шарлатаны во всех их видах и делаются.

Увы, не герою, нет, а лжегерою по праву необходимости принадлежит мир холопов. «Что же надо делать?» Читатель видит, похоже ли это на то, чтобы искать и глотать какие-нибудь «целительные средства»!

Аристократия Таланта

Если отдельное лицо несчастно, что надлежит ему прежде всего делать? Жаловаться на того или другого человека, ту или другую вещь? Наполнять мир и улицу сетованиями, укорами? Совсем не то, совершенно наоборот. Все моралисты советуют ему жаловаться не на то или другое лицо, ту или другую вещь, а только на самого себя. Он должен знать как истину, что, будучи несчастным, он сам не был мудр, именно он. Если бы он добросовестно следовал Природе и ее Законам, то Природа, всегда верная своим Законам, послала бы ему и успех, и прибыль, и счастье. Но он следовал иным Законам, чем Законы Природы, и теперь Природа, истощив с ним свое терпение, оставляет его с его отчаянием; отвечает ему с чрезвычайно глубоким смыслом: нет, не этим путем, сын мой! Иным путем должен был бы ты достигать благополучия: это, ты сам видишь, – есть путь к неблагополучию, именно это!

Так советуют все моралисты, а именно, что человек должен с раскаянием сказать прежде всего самому себе: вот, я не был достаточно мудр. Я покинул Законы Действительности, которые называются также Законами Бога, и ошибочно принял за них Законы Лжи и Видимости, которые называются Законами Дьявола; и поэтому-то вот куда я и пришел!

И с Народами, которые сделались несчастными, в основе происходит то же самое. Древние руководители Народов, Пророки и Жрецы, и как они еще там называются, хорошо это знали и вплоть до последнего времени определенно этому учили

и внушали это. Современные руководители Народов, которые также являются под множеством различных имен: Журналисты, Политэкономы, Политики, Памфлетисты, – совершенно это забыли и готовы даже это отрицать. Но тем не менее это остается навеки неотрицаемым, и нет никакого сомнения, что мы все еще будем этому научены и будем вынуждены вновь это исповедовать. Нас до тех пор будут теснить и бить, пока мы этого не выучим, и в конце концов мы или хорошо это узнаем, или будем постепенно стеснены до смерти. Ибо отрицать этого нельзя! Когда Народ несчастен, то древний Пророк был прав и не ошибался, говоря ему: «Вы забыли Господа, вы покинули пути Господни, иначе вы не были бы несчастны. Вы жили и вели себя не согласно законам Действительности, но согласно законам Обмана, Лицемерия и вольного и невольного Заблуждения относительно Действительности. И смотрите: Неправда истаскалась, долготерпение Природы к вам истощилось, и вот до чего вы дошли!»

Несомненно, в этом нет ничего особенно непостижимого, даже Журналисту, Политэконому, современному Памфлетисту или вообще всякому двуногому животному без перьев. Если страна находит себя несчастной, то вполне несомненно, что страна эта была дурно руководима. С несчастными Двадцатью семью Миллионами, сделавшимися несчастными, – то же, что с Одним, сделавшимся несчастным. Они, как и он, покинули путь, предписанный Природою и Высшими Силами, и таким образом впали в нищету, бедствие, несчастье. И, остановившись, чтобы посмотреть на себя, они вынуждены плакать и восклицать: «Увы, мы не были достаточно мудры!! Мы приняли преходящую, поверхностную Видимость за вечную основную Сущность; мы далеко уклонились от Законов Вселенной, и вот теперь лишенный закона Хаос и пустая Химера готовы пожрать нас!» – «Природа за последние столетия, – говорит Зауэртейг[11], – повсеместно считалась мертвой, как бы некими старыми недельными часами, сделанными много тысяч лет тому назад и еще тикающими, но все-таки мертвыми, как медь. Причем Мастер в лучшем случае сидит и смотрит на них издали, странно и поистине недоверчиво. Но теперь я счастлив заметить, что она повсеместно утверждает себя не мертвой и вовсе не медью, но живой и чудодейственной, небесно-адской, и притом с горячностью, которая постепенно проникнет снова сквозь самые толстые головы на этой Планете!»

Для всех смертных теперь вполне бесспорно, что управление нашей страной не было достаточно мудро. Руководить и управлять ею были поставлены люди слишком неразумные, и вот куда они ее привели; мы должны найти более мудрых – или мы

погибнем! Этой степени прозрения достигла вся Англия; но пока еще не дальше. Вся Англия стоит, ломая руки и спрашивая себя почти в отчаянии: что же дальше? Билль о реформе оказался несостоятельным; Бентамовский Радикализм, евангелие «просвещенного Эгоизма», – вымирает или вырождается в Хартию о пяти пунктах[12], среди слез и воплей людских. На что же теперь надеяться или что теперь пробовать? Хартия о пяти пунктах, Свободная торговля, Расширение Церкви[13], Подвижной тариф; к чему, ради самого Неба, должны мы теперь приступить, чтобы нам не провалиться в пустую Химеру и не быть пожранными Хаосом? – Положение, не терпящее отлагательства и одно из самых сложных в мире. Божья Весть никогда не приходила к более толстокожему народу. Божьей Вести никогда не приходилось проникать сквозь более толстые покровы, в более тупые уши. Это – Действительность, говорящая еще раз чудодейственным, громовым голосом, из самого центра мира. Как неведом ее язык глухой и безумной толпе! Как ясен, неопровержим, грозен и в то же время благодетелен он для немногих слышащих. «Вы должны сделаться мудрее – или вы должны умереть! Вы должны сделаться более верными Действительности Природы, или пустая Химера вас поглотит. Вы исчезнете в вихрях огня, вы и ваш Маммонизм, Дилетантизм, ваша философия с Мидасовыми ушами, ваши Аристократы-охотники!» – Такова Божья Весть, дошедшая нам еще раз в наши дни.

Нужно, чтобы нами управляли с большею Мудростью, нужно, чтобы мы были управляемы Мудрейшими, имели Аристократию Таланта! – восклицают многие. Верно, в высшей степени верно; но как этого достигнуть? Следующее извлечение из статьи нашего молодого друга достойно внимания. «В настоящее время, – говорит он, – …повсюду раздается вопль, членораздельный и нечленораздельный, по «Аристократии таланта», т. е. по такому Правящему Классу, который действительно правит. Он не берет только жалованье за управление и в то же время никакими способами не может быть удержан от дурного управления, издания Хлебных законов и того, чтобы всячески нас дурачить. В такое время не будет совершенно бесполезно напомнить некоторым из наиболее зеленых голов, сколь страшно трудное дело добыть такую Аристократию! Надеетесь ли вы, друзья мои, что необходимая вам Аристократия Таланта может быть набрана сразу, первым попавшимся способом, из всего населения, расположена в наилучшем военном порядке и поставлена править над нами. Что она может быть отсеяна, как зерно от мякины, из Двадцати семи Миллионов Британских подданных, что какой-

нибудь баллотировочный ящик, Билль о реформе или какая-нибудь другая Политическая Машина, при помощи какой бы то ни было деятельной Силы Общественного мнения, способны произвести упомянутый процесс отсеивания? О, если бы Небу было угодно, чтобы у нас было сито, чтобы мы могли хотя бы только представить себе какой-нибудь вид сита или ветрогона, или nec plus ultra[14] механизма, доступного человеческому измышлению, который сделал бы это!

И тем не менее несомненно, что это должно быть сделано, это непременно будет сделано. Мы быстро катимся по пути к разрушению. Каждый час подводит нас к нему все ближе, пока оно, в той или другой степени, не наступит. Исполнение не подлежит сомнению; сомнительны лишь метод и затраты! Я даже укажу вам безошибочный способ просеивания, с помощью которого тот, у кого есть способности, может быть отсеян, чтобы править нами, и эта самая благословенная Аристократия Таланта будет нам в значительной степени мало-помалу дарована. Безошибочный способ просеивания, но в применении которого, однако, ни одна душа не может помочь ближнему, а всякий должен, с благоговейной молитвой к Небу, стараться помочь себе сам. Все дело в том, о, друзья, чтобы все из нас, многие из нас получили способность правильно узнавать талант, – чего теперь так страшно нам недостает! Способность правильно узнавать талант подразумевает правильное почитание его, подразумевает, – о, Небо! – подразумевает столь многое!

Например, ты, Бобус Хиггинс, крупный фабрикант колбасы, ты, кто поднимает такой крик из-за этой Аристократии Таланта, что, собственно, главным образом чтишь ты в глубине твоего большого сердца? Талант ли, т. е. благородное внутреннее достоинство всякого рода, о, несчастный Бобус? Тот благороднейший человек, которого ты видел в обтрепанном сюртуке, – оказал ли ты ему когда-нибудь почтение? Хотя бы только разобрал ли ты, прежде чем его сюртук сделался лучше, что он вообще благородный человек? Талант! Я признаю, что ты способен почитать славу таланта, силу, богатство, знаменитость или другие успехи таланта. Но сам талант – это вещь, которой ты никогда и в глаза не видал. Кроме того, чем более всего гордишься ты в самом себе, рассматриваешь ты в себе с наибольшим удовольствием твоим умственным взором в часы размышления? Признайся же, чем – только Бобусом в чистом виде, лишенным даже своего имени и рубашки и брошенным в таком виде перед обществом, – им ли ты восхищаешься, за него ли благодаришь Небо? Или же Бобусом и его кассовыми счетами, колбасными, в которых жир так и каплет, почестями, богатой

обстановкой, запряженным пони шарабаном, до известной степени приводящим в восхищение некоторых лиц из холопской породы? Твоя собственная степень достоинства и таланта, имеет ли она для тебя бесконечную цену или только конечную, измеряемую степенью твоего денежного оборота и того, что ты получил похвалами или колбасами?

Бобус, ты находишься в заколдованном кругу, более круглом, чем любая из твоих сосисок. И ты никогда не подашь голос или не будешь сочувствовать никакому таланту, который уже добился того, чтобы за него подавали голос!» – Здесь мы ставим точку, ибо все читатели уже замечают, к чему «Индикейтер» теперь клонит.

«Да, больше Мудрости!» Но где найти больше Мудрости? У нас уже есть в некотором роде Коллективная Мудрость, хотя «классовое законодательство» и еще одно или два обстоятельства несколько ее искажают! Но вообще же, подобно тому как говорится: «Каков приход, таков и поп», – мы можем сказать: «Каков народ, таков и король». Тот человек оказывается поставленным и избранным, который наиболее способен быть поставленным и избранным. Кого могут избрать самые неподкупнейшие Бобусы, кроме как какого-нибудь Бобиссимуса, если они только такового найдут?

Или же, может быть, во всем Народе нет достаточно Мудрости, как ее ни собирай, чтобы составить нечто подходяще Совокупное! И такой случай также может произойти. Разоренный человек доходит до разорения, потому что в нем не было достаточно мудрости. Очевидно, что то же может быть и с Двадцатью семью Миллионами соединенных людей!

Но поистине один из неизбежнейших плодов Немудрости в Народе есть то, что он не может воспользоваться всей Мудростью, которая в нем действительно заключается. Он управляется не мудрейшим изо всех, кого он имеет и кому одному принадлежит божественное право управлять всеми народами. Он управляется лжемудрейшим или хотя бы только явно не-столь-мудрым, если только он наиболее ловок в других отношениях! Это неизбежнейшее следствие Немудрости, а также и печальнейшее, неизмеримейшее. Не столько то, что мы можем назвать ядовитым плодом, сколько всеобщая смертельная болезнь и отрава всего дерева. Ибо таким образом взращиваются, доводятся до гигантских размеров все сорта Немудростей и ядовитых плодов, до тех пор, пока, так сказать, древо жизни не сделается повсюду древом смерти и убийственная немудрость не покроет всего своею тенью. И тогда будет сделано все, что доступно искусству человека, чтобы заглушить повсюду всякую Мудрость при самом ее рождении. Поразить наш бедный мир бесплодием Мудрости –

и сделать неподходяще Совокупным самую высшую Коллективную Мудрость, будь она собрана и избрана хоть самими Радамантом, Эаком и Миносом[15], не говоря уже о пьяных десятифунтовых Избирателях с их баллотировочными ящиками! Теперь нет Мудрости: как же вы ее «соберете»? Это – все равно что промывать улучшенным способом ил Темзы, дабы найти в нем больше золота.

Поистине первое необходимое условие – чтобы Мудрость была налицо. Но и второе, подобное ему, составляет, в сущности, одно с ним. Эти условия действуют друг на друга всеми своими фибрами и существуют постоянно и неразлучно вместе. Если в вашем Народе много Мудрости, то она непременно будет добросовестно собрана. Ибо мудрые любят Мудрость и всегда будут стремиться к ней как к жизни и спасению. Если у вас мало Мудрости, то и эта малая будет дурно собрана, растоптана под ногами, приведена, насколько это возможно, к уничтожению. Ибо безумные не любят Мудрости; они и безумны прежде всего потому, что никогда не любили Мудрости, а любили свои собственные аппетиты, тщеславие, украшенные гербами экипажи, полные кубки. Таким образом, ваша свеча зажжена с обоих концов и быстро подвигается к сгоранию. Так исполняется сказанное в Евангелии: «Имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что он имеет». Совершенно буквально, чрезвычайно роковым образом слова эти здесь исполняются.

Наша Аристократия Таланта, по-видимому, находится от нас еще на значительном расстоянии; не так ли, о Бобус?

Почитание Героев

Издателю настоящей книги, не менее чем Бобусу, Правительство Мудрейших, то, что Бобус называет Аристократией Таланта, представляется единственно целительным средством. Однако он не так светло, как Бобус, смотрит на способы его осуществления. Он думает, что мы совершенно упустили случай осуществить его, но в то же время пришли к настоятельной в нем потребности благодаря тому, что отклонились от внутренних, вечных Законов и ухватились за временное, внешнее подобие Законов. Он думает, что «просвещенный Эгоизм», как бы он ни был лучезарен, не есть то правило, которым могла бы быть руководима жизнь человека. «Laissez faire»[16], «Спрос и предложение», «Наличный платеж как единственная связь» и т. д. – никогда не были и никогда не будут целесообразным Законом соединения для человеческого Общества. Богатый и Бедный, Управляющий и Управляемый, не могут жить долго

вместе на основании какого-нибудь такого Закона соединения.

Увы, он думает, что человек имеет в себе душу, отличную от желудка, в каком бы смысле ни брать это слово. Если помянутая душа задыхается и спокойно забыта, то человек и его дела находятся на дурном пути. Он думает, что помянутая душа должна быть возвращена жизни. Если она окажется неспособной воскреснуть, то человек недолговечен в этом мире. Коротко, что Маммонизм с Мидасовыми ушами, двуствольный[17] Дилетантизм и тысячи их свойств и следствий суть Закон, по которому Бог Всемогущий предуказал двигаться своей Вселенной; решительно все это – не Закон. И далее, мы должны будем вернуться к тому, что есть Закон. Но по-видимому, не по мягким цветочным дорожкам и не с исторгаемыми нами «громкими радостными кликами», а по крутым, непротоптанным тропам, через клокочущие пучины, обширные океаны, на лоне вихрей; благодарение небу, если еще не через самый Хаос и Бездну! Воскрешение души, которая задохнулась, не есть процесс мгновенный или приятный, но долгий и страшный.

Для Издателя настоящей книги «Почитание Героев», как он это назвал в другой книге, означает гораздо большее, чем избранный Парламент, или установленная Аристократия Мудрейших. Ибо на его языке это есть истинное содержание, самая сущность и высшее практическое исполнение всех возможных «почитаний», истинных видов достоинства и благородства. Он ждет именно такого благословенного Парламента и, если бы только она могла вполне осуществиться, – такой благословенной Аристократии Мудрейших, почитаемой Богом и почитаемой людьми, все более и более совершенствуемой, – как высшую, благословенную, практическую вершину целого мира, освобожденного от лжепочитания и вновь наделенного почитанием, истиной и благословением! Он думает, что Почитание Героев, выражаемое различно в различные эпохи мира, есть душа всякой общественной деятельности среди людей. Хорошее или дурное осуществление его есть точная мера степени благополучия или неблагополучия в человеческих делах. Он думает, что мы, вообще говоря, осуществляем наше Почитание Героев хуже, чем это когда-либо делал в мире какой-либо Народ. Бернс, как Акцизный Чиновник, и Байрон, как Литературный Лев, суть внутреннее, приняв все во внимание, более низкое и более лживое явление, чем Один как Бог и Магомет как Пророк Бога. Соответственно с этим Издатель настоящей книги твердо убежден, мы должны научиться осуществлять наше Почитание Героев лучше. Все лучшее и лучшее осуществление его означает пробуждение души Народа от ее бесчувствия и возвращение к нам

благословенной жизни, – благословенной жизни Неба, а не проклятой гальванической жизни Маммоны. Воскресить Задохнувшегося, по-видимому, уже умирающего и находящегося в последней агонии, если только не успеют его воскресить, – такова, а не иная должна быть последняя цель.

«Почитание Героев», если вам угодно, – да, друзья; но для этого прежде всего надо самим обладать героическим духом. Целый мир Героев, не мир Холопов, в котором не может царствовать ни один Герой-король, – вот к чему мы стремимся. Отбросим со своей стороны от себя всякое Холопство, Низость, Неправду; и тогда будем надеяться, что над нами будет властвовать всякое Благородство и всякая Правда, но не ранее. Пусть Бобус и Компания насмехаются: «Так это – ваша Реформа!» Да, Бобус, это – наша Реформа; и кроме как в этом и в том, что из этого следует, у нас нет никакой надежды. Реформа, подобно Милосердию, о Бобус, должна начинаться изнутри. И раз она будет вполне достигнута изнутри, – то как воссияет она вовне, непобедимая во всем, чего мы ни коснемся, возьмем в руки, скажем и сделаем. Она будет возжигать все новый свет, неуловимым влиянием распространяясь в геометрической прогрессии широко и далеко, творя лишь благо, до каких бы она пределов ни распространилась, а никак не зло.

С помощью Биллей о реформе, Биллей против Хлебного закона и тысячи других биллей и способов мы потребуем от наших Правителей с горячностью и впервые не без успеха, чтобы они перестали быть шарлатанами. В противном случае – удалились; никоим образом не пускали в ход шарлатанства и пошлости для управления нами; не проявляли по отношению к нам ханжества, ни в словах, ни в поступках, – лучше, если они этого не будут делать! Ибо мы теперь узнаем шарлатанов, если мы их увидим; ханжество, если мы его услышим, будет ужасно для нас! Мы скажем, вместе с бедным Французом у решетки Конвента, хотя в более мудрых выражениях, чем он, и «на время» не «часа», но всей жизни: «Je demande l’arrestation des coquins et des laches» («Заключение под стражу мошенников и трусов»). О, мы знаем, как это трудно, как много пройдет времени, пока они будут все, или большинство из них, «заключены под стражу». Но вот, здесь есть такой; заключите хоть его под стражу, во имя Бога! Все-таки одним меньше!

Мы будем, всеми удобоисполнимыми способами, словом и молчанием, действиями и отказом от действий, энергично требовать этого заключения под стражу, – и мало-помалу мы его непременно достигнем. Непременно: ибо свет распространяется; все человеческие души, как бы они ни были отуманены, любят

свет. Свет, однажды возожженный, распространяется, пока все не сделается светозарным, пока крик: «Заключите под стражу ваших мошенников и трусов» – не воспрянет повелительно из миллиона сердец, и не прозвучит, и не воцарится от моря и до моря. Да и скольких из них не могли бы мы «заключить под стражу» собственными руками, даже теперь мы сами. Вот хотя бы ты не потакай им! Отвратись от их полированной роскоши, хваленых софизмов, змеиных любезностей, ханжества их слов и поступков, отвратись со священным ужасом, с «Apage Santanas»[18], – Бобус и Компания, и все люди постепенно к нам присоединятся. Мы требуем заключения под стражу мошенников и трусов и начинаем с того, что уводим собственные наши несчастные «я» из их общества. Другой реформы нельзя себе и представить. Ты и я, мой друг, мы можем, каждый из нас среди самого холопского мира, сделать по одному нехолопу, герою, если мы этого захотим; это будет два героя для начала. Смелее! Ведь и это в конце будет уже целый мир героев или по крайней мере то, что мы, лишь Двое, можем сделать для его возникновения.

Да, друзья: герои-короли и целый мир, не лишенный геройства, – вот где находится та пристань и та счастливая гавань, к которой, через все эти бушующие моря, Французскую Революцию, чартизм, Манчестерские восстания[19], сокрушающие сердца в эти тяжелые дни, – ведут нас Высшие Силы. Вообще же да будут благословенны Высшие Силы, сколь они ни суровы! К этой гавани стремимся мы, о друзья! Пусть каждый истинный человек, по мере своих способностей, мужественно, непрестанно, с тысячами ухищрений, будет стремиться туда, туда! Туда или же в Бездны Океана, как это совершенно ясно для меня, мы непременно и придем.

Да, правда; это – не ответ на вопрос Сфинкса. По крайней мере – не ответ, на который надеялась отчаявшаяся публика, когда обратилась к Врачебной Управе! Полное изменение всего строя жизни, изменение всего организма и условий существования с самых его основ; создание нового тела с воскресшей душой, – не без судорожных мук родов, ибо всякое рождение и возрождение подразумевает роды! Это – прискорбное сведение для отчаявшейся рассуждающей Публики, надеявшейся получить какие-нибудь Моррисоновы пилюли, какую-нибудь Сент-Джоновскую едкую микстуру или, может быть, маленькое оттягивающее средство на спину! Мы приготовились расстаться с нашим Хлебным законом и с различными Законами и Незаконами; но это, что это такое?

Издатель не забыл также, как обстоит дело с разными зловещими Кассандрами во время Троянских Осад.

Надвигающаяся гибель обыкновенно не предотвращается словами предостережения. Наставница-судьба имеет другие методы в запасе, иначе эти слова всегда оказывались бы бессильными. Но тем не менее они должны быть произнесены, если они действительно зародились в душе человека. Слова жестоки, докучливы. Но насколько жесточе и докучливее события, которые они предызображают. Та или другая человеческая душа, может быть, прислушается к словам, – кто знает, сколько человеческих душ, – и благодаря этому докучливые события, если и не будут совершенно отклонены и предупреждены, то, во всяком случае, будут сделаны менее жестокими. Намерение Издателя настоящей книги представляется ему полным надежды.

Ибо пусть нам предстоят тяжкие труды, лежат обширные моря и кипящие пучины, – разве ничего не значит, если при этом, среди вечного неба, для нас еще раз откроется Путеводная Звезда. Этот вечный свет, сияющий сквозь все бурные тучи и кипящие валы, даже когда мы выбиваемся на поверхность из самой глубины моря; благословенный маяк, там, далеко, на краю далекого горизонта, к которому мы должны непременно направляться для спасения жизни? Разве это ничего не значит? О, Небо, разве это не все? Там лежит Героическая Земля Обетованная; под тем Небесным светом, братья, цветут Счастливые Острова. Там, о, там! Туда стремимся мы.

Там пребывает великий Ахилл, его же мы знали!

Там пребывают и будут пребывать все Герои; туда, о, вы все, люди героического духа! Раз Небесная Путеводная Звезда ясна перед нашими глазами, то как верно будет стоять каждый верный человек у своего дела на судне! Как противостанет он, с неумирающей надеждой, всем опасностям, как он все их победит! И если нос корабля повернут в этом направлении, то разве уже не все, так сказать, в порядке? Тяжкое, губительное бедствие превратилось в благородное, мужественное усилие, с определенною целью перед нашим взором. «Давящий Кошмар уже не давит нас больше, ибо мы уже выбиваемся из-под него. Кошмар уже исчез».

Конечно, если бы Издатель настоящей книги мог научить людей, как узнавать Мудрость, Героизм, когда они их видят, так чтобы они могли почитать только их и преданно подчиняться их руководству, – да, тогда он был бы живым выражением всех Издателей, Учителей, Пророков, которые теперь учат и пророчествуют; он был бы Аполлоном-Моррисоном, Трисмегистом[20] и действенной Кассандрой. Но пусть ни один Ответственный Издатель не надеется на это. Надо ожидать, что современные законы об авторском праве, размеры полистной

платы и иные соображения спасут его от этой опасности. Пусть ни один Издатель не надеется на это; нет! Пусть все Издатели стремятся к этому, и даже только к этому! Нельзя понять, в чем будет смысл издательства и писательства, если он не будет даже в этом.

Словом, Издателю настоящей книги показалось возможным, что в этих перепутанных кипах бумаги, которые ему теперь поручены, может заключаться для той или другой человеческой души хоть какой-нибудь брезжащийся свет; поэтому он и решается издать их. Он постарается выбрать две или три темы из старых Книг, новых Писаний и многих Размышлений не вчерашнего только дня. С помощью Прошлого он постарается, кружным путем, осветить Настоящее и Будущее. Прошлое есть темный несомненный факт. Будущее также есть факт, только еще более темный, – более того, собственно, оно есть тот же самый факт, только в новой одежде и новом развитии. Ибо Настоящее заключает в себе и все Прошлое, и все Будущее подобно тому, как Древо жизни Иггдрасиль, широко раскинувшееся, многошумное, имеет свои корни глубоко внизу, в Царстве мертвых, среди древнейшего мертвого праха людей, а своими ветвями вечно простирается превыше звезд. И во все времена, и во всех местах оно есть одно и то же Древо жизни!

II Старинный монах

Монах Самсон

У себя дома, у подножия холма, в нашем Монастыре[21], мы совсем особенный народ, трудно постигаемый в век Аркрайта и Хлебных законов, в век одних только Прядилен и Джо Мантона!

В нас еще нет Методизма[22], и мы много говорим о мирских делах. Методизма нет; наша религия еще не есть ужасное, беспокойное Сомнение; еще в меньшей степени она – гораздо более ужасное, безмятежное Ханжество. Но она великая, достигающая неба Бесспорность, охватывающая, проникающая всю Жизнь в ее целом. Как бы мы ни были несовершенны, тем не менее мы, с нашими литаниями, бритыми Макушками, обетами бедности, – непрестанно и неоспоримо свидетельствуем каждому сердцу, что эта Земная Жизнь, ее богатства, владения, удачи и неудачи, – вовсе не реальность, как она есть изнутри, но тень реальностей вечных, бесконечных. Этот Временный мир, как воздушный образ, ужасно символичный, дрожит и переливается в великом, неподвижном зеркале Вечности, и маленькая человеческая Жизнь имеет Обязанности, которые велики, которые единственно велики и простираются вверх, к Небу, и вниз, к Аду. Вот это-то мы и свидетельствуем нашими бедными литаниями и боремся, чтобы свидетельствовать.

Все это, засвидетельствованное или нет, сохраненное в памяти всех людей или забытое всеми людьми, остается подлинным фактом даже в век Аркрайта и Джо Мантона! Но литании оказались устарелыми; оброки, натуральные повинности и все взаимные человеческие обязанности окончательно превратились в одну большую обязанность наличного платежа. Долг человека по отношению к человеку сводится к вручению ему некоторого количества металлических монет или условленной денежной платы и затем к выставлению его за дверь. Долг человека по отношению к Богу становится ханжеством, сомнением, туманной пустотой, «удовольствием от добродетели» и т. п.

Единственной вещью, которой человек бесконечно боится (действительным Адом для человека), оказывается только то, что он «не наживает денег и не идет вперед», – нельзя высчитать, какое изменение проникло в таком случае повсюду в человеческие дела. В какой мере человеческие дела совершают теперь свое круговращение, полные не здоровой живой крови, а,

так сказать, отвратительных купоросных банкирских чернил. Как все стало едко, разрушительно, как все угрожает разложением, а громадная, шумная Жизнь Общества теперь гальванична, оседлана Дьяволом, слишком по-настоящему одержима Дьяволом! Ибо, коротко говоря, Маммона вовсе не бог, а дьявол, и даже весьма презренный дьявол. Следуйте доверчиво за Дьяволом, и вы можете быть совершенно уверены, что попадете к Дьяволу, ибо куда иначе можете вы попасть? – В таких обстоятельствах люди оглядываются назад с некоторого рода грустной признательностью даже на бедные ограниченные фигуры Монахов с их бедными литаниями и размышляют вместе с Беном Джонсоном, что душа необходима, некоторая степень души, хотя бы для того, чтобы сберечь расходы на соль!

Впрочем, надо признаться, что мы, монахи Сент-Эдмундсбери, – только ограниченный род созданий и потому ведем, по-видимому, несколько скучную жизнь. Много времени уходит на праздные сплетни, потому что, по правде сказать, по окончании нашего пения у нас нет другого дела. В большинстве случаев, впрочем, пустые сплетни и умеренное злословие; плод праздности, а не желчности. Мы скучные, пошлые люди. Большинство из нас поверхностные люди, которым молитва и переваривание пищи достаточны для жизни. Мы должны принимать в наш Монастырь всех странников и содержать их даром. Такие-то и такие-то разряды их попадают, согласно правилу, к Владыке Аббату и на его личные доходы; такие-то и такие-то к нам и к нашему бедному Келарю, как он ни стеснен. Даже сами евреи посылают сюда в военное время своих жен и детей, в нашу Pitanceria[23], где они и пребывают безопасными, на соответствующих скудных пайках, из-за осторожности.

Нам представляются самые удобные случаи, чтобы собирать новости. Некоторые из нас имеют склонность к чтению книг, размышлению, безмолвию; по временам мы даже пишем книги. Некоторые из нас могут проповедовать на англо-саксонском языке, на нормано-французском и даже на монашеской латыни; другие не могут ни на одном языке или наречии, будучи глупыми.

Когда нечего говорить о чем-нибудь другом, то сколько сплетен друг о друге! Это – постоянное занятие! Сейчас же какая-нибудь голова в капюшоне наклоняется к уху другой и шепчет – «tacenda»[24]. Вильгельм Ризничий, например, что там совершается у него по ночам, наверху, в его Ризнице? Попойки, увы! У нас есть tempora minutionis, определенные сроки для кровопускания, когда мы все вместе пускаем себе кровь, и после того происходит общий свободный разговор, синедрион гвалта. Несмотря на наш

обет бедности, мы, по правилу, можем копить в пределах «двух шиллингов», но это должно быть отдаваемо нашим нуждающимся родственникам или как милостыня. Бедные Монахи! Так-то вот один Кентерберийский Монах имел привычку «вытряхивать из рукава» пять шиллингов в руку своей матери, когда она приходила повидаться с ним, во время божественных служб, каждые два месяца. Однажды, вытряхивая потихоньку деньги, как раз в то время, как он прощался, он вытряхнул их не ей в руку, а на пол, и кто-то другой подобрал их. Бедный Монах, узнав это, в течение нескольких дней был по этому поводу в совершенном отчаянии, пока наконец Ланфранк, благородный Архиепископ, выпытав от него его тайну, великодушно не дал ему семь шиллингов и не сказал: «Ну, перестань!»

Один молчаливый по природе монах выделяется среди этих болтунов: его имя Самсон. Это он ответил Джоселину: «Сын мой, пуганая ворона куста боится». Его зовут: Норфолкский Ссорщик. Ибо, в самом деле, имея привычки строгие и молчаливые, он не всеобщий любимец; у него не раз бывали неприятности. Читатель благоволит заметить этого Монаха. Он – представительный мужчина сорока семи лет, стройный, держится всегда прямо, как колонна; с густыми бровями, глазами, которые смотрят на вас поистине необычно. Лицо у него крупное, важное, «с очень выдающимся носом». Голова у него почти лысая; остатки его каштановых волос и его большая рыжая борода начали подергиваться сединой. Таков Брат Самсон, человек, на которого стоит посмотреть.

Он из Норфолка, как указывает его прозвище; из Тоттингтона в Норфолке, как мы предполагаем; сын бедных родителей. Он рассказал мне, Джоселину, потому что я очень его любил, – что раз, на девятом году, он видел тревожный сон, – как, по правде сказать, мы все здесь немного склонны видеть сны. Маленькому Самсону, когда он неудобно лежал на своей койке в Тоттингтоне, приснилось, что он видит Врага рода человеческого собственной персоной, когда он только что опустился перед каким-то большим зданием, с распростертыми крыльями, как у летучей мыши. Он протягивал свои отвратительные лапы с когтями, чтобы схватить его, маленького Самсона, и улететь с ним, вследствие чего маленький сновидец отчаянно вскрикнул, призывая на помощь св. Эдмунда, вскрикнул и опять вскрикнул, и св. Эдмунд явился в образе почтенного небесного мужа. А в действительности явилась мать маленького бедного Самсона, разбуженная его криком, и Дьявол, и Сон – оба исчезли, ничего не получив. Наутро мать его, обсудив такой ужасный сон, подумала, что было бы хорошо взять его к Раке самого св. Эдмунда и там с ним помолиться.

«Посмотри, матушка, – сказал маленький Самсон при виде Ворот Аббатства, – посмотри, матушка, вот здание, которое я видел во сне!» Его бедная мать посвятила его св. Эдмунду, оставила его там с молитвами и слезами: что лучше могла бы она сделать? Объяснение этого сна, говорил обыкновенно Брат Самсон, таково: «Диавол с распростертыми крыльями, как у летучей мыши, изображал наслаждения мира сего, которые готовы были схватить меня и улететь со мною, если бы св. Эдмунд не обнял меня своими руками, т. е. если бы он не сделал меня своим монахом». Брат Самсон и сделался монахом, и до настоящего дня он там, где его оставила его мать. Он ученый человек, с благочестивым, серьезным настроением. Он учился в Париже. Он учил в здешних Городских Школах и делал многое другое. Он может проповедовать на трех языках и, подобно Доктору Каюсу[25], в свое время «понес потери». Серьезный, твердо стоящий человек; сильно любимый некоторыми, но не всеми любимый. Его ясные глаза пронизывают вас почти неприятным образом!

Аббат Гуго, как мы сказали, имел с ним немало хлопот. Аббат Гуго продержал его раз в темнице, чтобы научить его, что значит власть и как ворона должна на будущее время бояться куста. Ибо Брат Самсон, во время Антипап, был послан в Рим по делу и, хотя и возвратившись с успехом, однако опоздал; дело тем временем совсем расстроилось! Так как поездки в Рим у нас, Англичан, до сих пор еще часты, то, может быть, читателю не будет неприятно смотреть, как путешествовали туда в эти отдаленные времена. У нас, к счастью, есть об этом, в кратком виде, подлинный рассказ. Сквозь ясные глаза и память Брата Самсона можно прямо взглянуть в самое сердце этого XII века и найти его довольно любопытным. Настоящий Папа, Отец, или всемирный Председатель Христианства, еще не обратившийся в Химеру, восседал там, подумайте только об этом! Брат Самсон пришел в Рим, как к истинному Источнику Света в этом дольнем мире, а мы теперь!.. – Но послушаем Брата Самсона относительно его способа путешествия!

«Ты знаешь, сколько беспокойства у меня было из-за Вульпитской церкви; как я был послан в Рим во время Раскола между Папой Александром и Октавианом и прошел по Италии в ту пору, когда хватали всякое духовное лицо, имевшее письма к Отцу нашему Папе Александру. Некоторых сажали в темницу, а некоторых и вешали; а других, с отрезанным носом и губами, отсылали к Отцу нашему Папе, на стыд и позор ему. Я же между тем, представившись Шотландцем, надев Шотландскую одежду и приняв их ухватки, шел себе, – и когда кто-нибудь надо мной смеялся, то я замахивался на него моей палкой наподобие того

оружия, которое называется у них гавелок, бормоча угрозы по обычаю Шотландцев. Я делал все, чтобы скрыть себя и свое поручение и достигнуть безопаснее Рима под видом Шотландца.

Получив наконец Письмо от Отца нашего Папы, согласное с моими желаниями, я направился обратно домой. На пути моем я должен был пройти через некий укрепленный город, и вот местные солдаты окружили меня и схватили, говоря: «Этот бродяга, который прикидывается Шотландцем, – или шпион, или несет письма от Лжепапы Александра». И пока они осматривали на мне каждую складку, лоскут, мои туфли, штаны и даже старые башмаки, которые я нес за плечами по обычаю Шотландцев, – я засунул руку в кожаный мешок. В нем лежало Письмо Отца нашего Папы вместе с маленькой кружкой для питья, и, по милости Господа Бога и св. Эдмунда, я вынул то и другое вместе, и кружку, и письмо, так что, подняв кверху руку, я держал письмо спрятанным между кружкой и ладонью; они увидали кружку, но письма они не увидали. И таким образом, с помощью Божьей, я ускользнул от них. Все деньги, которые со мною были, они отобрали у меня; и поэтому я должен был просить под окнами подаяния и ничего на себя не тратить, пока не пришел назад в Англию. Но когда я услышал, что Вульпитская церковь уже отдана Джеффри Риделю, душа моя была поражена печалью, потому что я трудился напрасно. И поэтому, когда я пришел домой, я сел тайно под Ракой св. Эдмунда, боясь, как бы Владыка Аббат не схватил меня и не посадил в темницу, хотя я и не сделал ничего дурного. И не было ни одного монаха, который бы осмелился заговорить со мной, и ни одного мирянина, который бы осмелился принести мне пищу кроме как украдкой».

Такой-то отдых и такой привет нашел брат Самсон своим изношенным подошвам и мужественному сердцу! Он сидит молча, перебирая множество мыслей, у подножия Раки св. Эдмунда. Есть ли у него иной друг, иное прибежище в целом Мире, кроме как св. Эдмунд? Владыка Аббат, услышав о нем, послал приставленного на то брата, чтобы свести его в темницу и «надеть на него там кандалы». Другой бедный послушник принес ему украдкой кружку вина и уговаривал его «утешиться в Господе». Самсон не произносит жалоб, повинуется в молчании. «Владыка Аббат, обсудив все, сослал меня в Акру[26], где я и должен был пробыть долгое время».

Владыка Аббат вслед за тем испытывал Самсона повышениями: он сделал его Подризничим, Библиотекарем, что было ему всего приятнее, так как он страстно любил книги. Самсон, полный различных мыслей, снова повиновался в молчании, исполнял свои обязанности в совершенстве, но

никогда не благодарил Владыку Аббата. Казалось скорее, что он как бы смотрит внутрь его своими ясными глазами. Он никогда не видал такого человека, которого никакая строгость не может сломить до жалоб и никакая доброта смягчить до улыбки или благодарности, – непонятный человек!

Таким образом, не без волнений, но всегда прямо и независимо, достиг Брат Самсон своего сорок седьмого года; и его рыжая борода начала слегка седеть. В это время он старается заткнуть разные старые дыры. Может быть, он даже стремится закончить Хоры, потому что он не может выносить ничего разрушенного. Он собрал «кучи глины и песка»; у него работают каменщики, кровельщики, у него и у Варинуса monachus noster[27], так как они оба приставлены хранителями Раки. Они платят своевременно деньги, – доставляемые благодетельными гражданами Сент-Эдмундсбери, как они говорят. Благодетельные граждане Сент-Эдмундсбери? Мне, Джоселину, кажется скорее, что Самсон и Варинус, которым он руководит, тайно скопили пожертвования на самую Раку в эти последние годы небрежного расхищения, пока Аббат Гуго сидел закутанный и недоступный, и теперь умно заботятся о том, как бы защитить ее от дождя! При каких условиях Мудрости приходится иногда бороться с Безумием и хотя бы убедить его только в том, что надо закрыться от дождя! Ибо, по правде, если Ребенок управляет Кормилицей, то к каким только ловким приемам не приходится прибегать Кормилице!

Но вот для нас в этих обстоятельствах новое огорчение: Опекуны, поставленные Королем, нашим Государем, вмешавшись, запретили постройки и починки из каких бы то ни было источников. Хоры не будут закончены, и Дождь, и Время, по крайней мере теперь, возьмут свое. Вильгельм Ризничий с красным носом, «любитель частых попоек и кое-чего другого, о чем нельзя говорить», принес, как я думаю, жалобу Опекунам, желая сыграть злую шутку с Самсоном. Самсон, его Подризничий, со своими ясными глазами, не может быть его первым любимцем! Самсон снова повинуется в молчании.

Избирательная борьба

Но вот доходят до Сент-Эдмундсбери важные новости: что должен быть избран Аббат; что междулунная тьма должна прекратиться и Обитель св. Эдмунда не будет более печальной вдовицей, а в радости и снова невестой! Часто во время нашего вдовства молили мы Господа и св. Эдмунда, воспевая еженедельно «на коленях перед Алтарем двадцать один

покаянный Псалом», чтобы нам дарован был достойный Пастырь. И, говорит Джоселин, если бы некоторые знали, какого Аббата мы получим, то они не были бы, я полагаю, так усердны в молитве!

Боззи[28] Джоселин открывает человечеству шлюзы подлинных Монастырских сплетен. Мы слышим, как бы сквозь Дионисово ухо[29], пустейшую болтовню, подобную голосам близ Вергилиевой Роговой Двери Снов[30]. Но даже сплетни, если им семь веков, имеют значение. Слушайте, слушайте, как похожи люди друг на друга во все времена!

Некоторый монах сказал о некотором монахе: «Он, этот Frater[31], – хороший монах. Хорошо знает церковные порядки и обычаи. И хотя он не такой совершенный философ, как некоторые другие, он все-таки был бы хорошим Аббатом. Старый Аббат Ординг, до сих пор еще славный между нами, мало знал науки. Кроме того, как мы читаем в Басне, лучше выбрать себе в цари бревно, чем змею, как бы она ни была мудра, – змею, которая будет ядовито шипеть на своих подданных и жалить их». – «Невозможно! – отвечал другой. – Как может такой человек говорить проповедь в Капитуле или народу в праздничный день, если он не знает наук? Как будет он способен обязывать и разрешать, если он не понимает Писания? Как?..»

И затем другой сказал о другом: «Этот Frater – homo literatus[32], красноречивый, прозорливый; сильный в благочинии, много любит Обитель, много пострадал за нее». На это третий отвечает: «Да избавит нас Господь от всех ваших великих ученых, Норфолкских сварливцев, мрачных людей, – да будет благоволение Твое избавить нас, молим Тебя, услышь нас, Боже всеблагой!» Затем иной сказал об ином: «Этот Frater – хороший хозяин». На что ему в ту же минуту ответили: «Господь да не допустит, чтобы человек, который не может ни читать, ни петь, ни отправлять божественных служб и, кроме того, – несправедливый человек, гонитель бедных, – чтобы такой человек когда-нибудь был Аббатом!»

Один человек, по-видимому, роскошествует в пище своей. Другой действительно мудр, но способен презирать нищих и едва ли возьмет на себя труд отвечать им, если они будут рассуждать с ним слишком глупо. И так вот каждый о своем целые страницы избирательной болтовни. «Ибо, – говорит Джоселин, – сколько голов, столько умов». Так разговаривали наши Монахи, «во время кровопускания – tempore minutionis», – заведя свой синедрион гвалта.

Брат Самсон, как я заметил, ни разу ничего не сказал, сидел молча, иногда улыбаясь. Но он хорошо примечал, что говорят другие, и уж конечно, выведет это наружу при случае, лет

двадцать спустя. Что до меня, Джоселина, то я был того мнения, что кто опытен в Диалектике, дабы различать истинное от ложного, тот будет хорош, как Аббат. Я высказал, как горячий в то время Послушник, несколько искренних слов о некотором моем благодетеле. «И что же! Один из этих сынов Велиара[33] поспешил пересказать ему их, так что он никогда уже более не смотрел на меня с тем же лицом!» Бедный Боззи! – Так жужжит, пенится и кипит в брожении общий ум и не-ум, стремясь, так сказать, «объяснить себя», определить, в чем он действительно нуждается, – дело в большинстве случаев нелегкое.

Сент-Эдмундсбери, в 1182 году, около Сретения, – полно хлопот и волнения. Даже суконщики задумчиво сидят над своими станками, спрашивая: кто будет Аббатом? Sochemanni[34], говорят об этом, гоня своих упряжных волов в поле. Старухи со своими прялками: но никто еще пока не знает, что покажет время.

Между тем Приор, как наш временный начальник, должен приступить к делу, собрать «Двенадцать Монахов» и отправиться с ними к Его Величеству в Уолтэм; там должны произойти выборы. Выборы, происходят ли они прямо баллотировочными ящиками в общественных собраниях, или косвенно, силою общественного мнения, или даже хотя бы путем открытия кабаков, давления со стороны землевладельцев, народного кулачного права или какими бы то ни было избирательными приемами, – выборы всегда интересное явление. Здесь всегда видишь юру, мучающуюся родами, извергающую облака пыли и бессмысленный шум, – и не знаешь, какую мышь или чудовище она родит.

Кроме того, это – в высшей степени важный общественный акт и даже, в сущности, единственно важный общественный акт. Если известны люди, которых выбрал Народ, то тем самым известен и самый Народ, в его настоящей цене или ничтожности. Героический народ избирает героев и счастлив; холопский или подлый народ избирает лжегероев, то, что называется шарлатанами, принимая их за героев, и несчастлив. Окончательный вывод из духовного состояния человека, то, что выясняет все его геройство и вдумчивость или всю его подлость, слепоту его помутненных глаз, заключается в следующем вопросе, предложенном ему: «Какого человека ты почитаешь? Каков твой идеал человека или близкий к тому?»

Также и относительно Народа. Ибо и Народ, каждый Народ, выражает свой выбор, – хотя бы только путем молчаливого повиновения и невосстания в течение века или около того. Нельзя также считать не важными избирательные приемы, Билли о реформах и т. п. Избирательные приемы Народа, в конце концов,

суть точный образ его избирательного таланта. Они стремятся и направляются постоянно, неудержимо к соответствию с ним и поэтому на всех ступенях весьма многозначительны для Народа. Рассудительные Читатели нашего времени не будут против того, чтобы видеть, как Монахи выбирают своего Аббата в XII столетии; гора Сент-Эдмундсбери справляется со своими родами и какая мышь или какой человек является ее плодом.

Выборы

В Согласии с этим наш Приор собирает нас в Капитул. Мы заклинаем его, перед Господом, поступать справедливо, и он назначает, не по нашему выбору, но все-таки с нашего согласия, Двенадцать Монахов, довольно подходящих. В их числе находятся: Гуго, Третий Приор, Брат Дионисий, почтенный муж, Вальтер Врач, Самсон Подризничий и другие уважаемые мужи, – хотя Вильгельм Ризничий с красным носом также между ними. Они должны отправиться прямо в Вальтхэм и там выбрать Аббата, как могут и умеют. Монахи несут обет повиновения. Они не должны говорить слишком громко, под страхом кандалов, темницы и хлеба и воды; но и монахи хотели бы знать, кому им придется повиноваться. У Общины Сент-Эдмундсбери нет общественных собраний, баллотировочного ящика, вообще открытых выборов. Но тем не менее различными неопределенными приемами, щупаньем пульса мы стараемся удостовериться, каково ее действительное желание, и достигаем этого в большей или меньшей степени.

Но вот возникает вопрос; увы, совершенно предварительный вопрос: дозволит ли нам Dominus Rex[35] выбирать свободно? Надо надеяться! Хорошо! Если так, то мы уговариваемся выбрать кого-нибудь из нашего собственного Монастыря. А иначе, если Dominus Rex захочет навязать нам чужого, мы решаем затягивать, Приор со своими Двенадцатью будет затягивать. Мы можем приносить жалобы, ходатайствовать, возражать. Мы можем принести жалобу даже Папе, но надеемся, что это не окажется необходимым. Но здесь является еще другой вопрос, поднятый Братом Самсоном: «Что, если сами Тринадцать не будут в состоянии прийти к соглашению?» Брат Самсон Подризничий, как замечают, чаще всех других готов с каким-нибудь вопросом, с каким-нибудь указанием, содержащим мудрую мысль. Хотя он и слуга слуг и говорит мало, слова его все говорят, все заключают в себе смысл. Кажется, что более всего благодаря его свету мы и пробираемся среди этой великой тьмы.

Что, если сами Тринадцать не будут в состоянии прийти к

соглашению? Говори, Самсон, и посоветуй. «Нельзя ли, – предлагает Самсон, – выбрать нам Шестерых из наших самых почтенных старцев, род избирательного совета, выбрать их здесь же и теперь? Мы потребуем от них, чтобы они, «положа руку на Евангелие и возведя очи на Sacrosancta»[36], дали нам клятвенное обещание, что они будут поступать добросовестно. И пусть они тайно и как бы перед Господом согласятся на Трех, которых они признают достойнейшими; пусть они напишут имена их на Бумаге и передадут ее, запечатанной, немедленно же Тринадцати. Одного из этих Трех Тринадцать, если будет дозволено, и назначат. Если же это не будет дозволено, т. е. если Dominus Rex принудит нас затягивать, то Бумага будет принесена назад нераспечатанной. Она будет сожжена перед всеми, так чтобы никто не испытал неприятностей за свою тайну».

Так советует Самсон, так мы и поступаем; весьма мудро, как в этом, так и других положениях дела. Наш избирательный совет, с очами, возведенными на Sacrosancta, немедленно был избран и немедленно принес клятвенное обещание, а мы, воспев Пятый Псалом, «Verba mea», —

> Услышь, Господи, слова мои,
> Уразумей помышления мои! —

удаляемся с пением и оставляем Шестерых в Капитуле за их делом. Через малое время они возвещают, что дело их окончено. Они, возведя очи на Sacrosancta, умоляя Господа уразуметь и засвидетельствовать помышления их. Они утвердились мыслию на Трех Именах и написали их на этой Запечатанной Бумаге. Пусть Самсон Подризничий, общий слуга отправляющихся, хранит ее. На другой день утром наш Приор и его Двенадцать будут готовы отправиться в путь.

Так вот, значит, какой у них в Сент-Эдмундсбери баллотировочный ящик, или избирательная веялка. Ум, устремленный к Трисвятому, призыв к Богу Вышних засвидетельствовать помышления их. Без сравнения наилучшая и, собственно, даже единственно хорошая избирательная веялка, – если только у людей есть души. Но правда, совершенно ничего не стоящая и даже отвратительная и ядовитая, если у людей нет душ. Но увы, без души какая вообще веялка может быть полезна при человеческих выборах? Мы не можем двигаться вперед без души, мы увязаем, – печальное зрелище! И сама соль не спасет нас!

Согласно этому, на другой день, утром, наши Тринадцать отправляются. Или, скорее, наш Приор и Одиннадцать, ибо

Самсон, как общий слуга отправляющихся, должен еще остаться, чтобы привести кое-какие дела в порядок. Наконец и он пускается в путь и, «неся запечатанную Бумагу в кожаной сумке, надетой на шею, и с полами сутаны, закинутыми на руку», – что указывало на тяжелые и большие труды его, – бодро шагает вперед. Вперед через Степь, на которой еще нет ни Ньюмаркета, ни конских скачек. Через Флимскую и Чертову плотину, которая уже более не служит границей и защитным валом для Мерсийских Восточных Англов. Не останавливаясь, все к Вальтхэму и к тамошнему Дворцу епископа Винчестерского, ибо в нем теперь находится Его Величество. Брат Самсон, как хранитель кошелька, должен платить по счетам везде, где только таковые оказываются. «Задержки многочисленны», и путешествие вовсе не из самых быстрых.

Но в то время как Судьба, таким образом, чревата и мучится родами, какие сплетни в уединении Монастыря, болтовня, мечтательные мечтания! Тайну Трех знают только наши старцы избиратели. Какого-нибудь Аббата, чтобы управлять нами, мы получим. Но какого Аббата, о, какого? Одному Монаху среди ночного бодрствования открыто в видении, что мы получим Аббата из нашей собственной среды и не будет нужды затягивать. Ему явился пророк, одетый весь в белое, и сказал: «У вас будет один из ваших, и он будет свирепствовать между вами, как волк». Правда? – тогда кто же из наших? Тогда видит сон другой Монах: он хорошо видел, кто именно. Некто выше на целую голову и шире в плечах, чем два остальных, одетый в стихарь и шерстяной плащ и с видом человека, готового в бой. Мудрый Издатель лучше не назовет этого высокого Некто в настоящем положении дела! Достаточно, что видение верно. Сам св. Эдмунд, бледный и страшный, казалось, восстал из своей Раки босыми ногами и внятно сказал: «Он покроет мои ноги», – каковая часть видения также оказывается справедливой. Таковы догадки, видения; смутные испытания ближайшего будущего. Даже суконщики, старухи, весь городской народ говорит об этом, «и не один раз в Сент-Эдмундсбери сообщают: вот Этот выбран; и затем: вот Этот и вон Тот». Кто знает?

Но вот теперь уже, наверное, в Уолтэме, «во второе Воскресение Четыредесятницы», что по объяснению Драйасдеста[37] означает 22 февраля 1182 года, было видно, как Тринадцать Сент-Эдмундсберийских Монахов подходят наконец в процессии к Винчестерскому Замку и в каком-то высоком Приемном Покое и Государственной Зале получают доступ к Генриху II, во всей его славе. Что за зала, – нисколько не воображаемая, но действительно и бесспорно, хотя для нас до

последней степени туманная, погрузившаяся в глубокую даль Ночи! Винчестерский Замок исчез с лица земли, подобно Сну протекшей Ночи. Сам Драйасдест не может показать ни одного камня от него. Здание и люди, королевские и епископские, лорды и слуги, где они? Да там, говорю я, за Семью Веками. Хотя и погрузившиеся так далеко в ночь, они все-таки там существуют. Посмотри сквозь завесы древней ночи, и ты увидишь. Там виден сам король Генрих: живой, благородно смотрящий муж, с поседевшей бородой, в блестящем неопределенном одеянии; окруженный графами, епископами, сановниками в таковых же. Зала обширна, и рядом с ней прежде всего алтарь, – ибо к ней примыкает капелла с алтарем. Но что за золоченые сиденья, резные столы, мягкие ковры, что за ткани на стенах, как ярко горят толстые поленья! Увы, и среди всего этого – Человеческая Жизнь. И не она ли есть величайшее чудо, какие бы ткани и одежды ни покрывали ее?

Dominus Rex, приняв благосклонно наших Тринадцать с их почтительными поклонами и милостиво объявив, что он будет стараться поступать во славу Божию и на благо Церкви, повелевает, – «через епископа Винчестерского и Джеффри, Канцлера, присутствующего здесь подлинного Сына Генриха и Прекрасной Розамунды, – повелевает, «чтобы они, помянутые Тринадцать, удалились теперь и назначили Трех из своего собственного Монастыря». За этим дело не стало; ибо Три уже висели готовые на шее Самсона, в его кожаной сумке. Сломав печать, мы находим имена, – что подумаете вы об этом, вы, высшие сановники, ты, нерадивый Приор, ты, Вильгельм Ризничий с красным бутылочным носом? – имена в следующем порядке: Самсона Подризничего, Рожера, злосчастного Келаря, и Гуго, Третьего Приора.

Высшие сановники, все здесь пропущенные, «становятся вдруг очень красны в лице», но не могут ничего сказать. Но здесь есть одно, несомненно, любопытное обстоятельство и вопрос: как Гуго, Третий Приор, бывший в составе избирательного совета, ухитрился назвать самого себя как одного из Трех? Обстоятельство любопытное и которое Гуго, Третий Приор, никогда не мог вполне разъяснить, насколько я знаю! – Тем не менее мы возвращаемся и докладываем Королю наши Три имени, изменив только порядок и поставив Самсона последним, как низшего из всех. Король, по прочтении наших Трех, спрашивает нас: «Кто они такие? Родились ли они в моих владениях? Совершенно мне неизвестны! Вы должны назвать еще троих». На это Вильгельм Ризничий говорит: «Наш Приор должен быть назван, так как он уже наш глава». А Приор отвечает: «Вильгельм

Ризничий – достойный муж», – несмотря на весь его красный нос. Долг платежом красен. Почтенный Дионисий также назван; никто по совести своей не может сказать: нет. Итак, в нашем Списке теперь уже Шестеро. «Хорошо! – сказал Король. – Скоро же они это обделали! Deus est cum eis»[38]. Монахи снова удаляются, а Его Величество со своими Pares и Episcopi, Лордами, или Law-wards, и Блюстителями Душ обдумывает, коротенько, все дело в своем королевском уме. Монахи молча ждут в передней комнате.

Через малое время они получают дальнейшее повеление прибавить еще троих, но не из своего собственного Монастыря; из других Монастырей, «для славы моего королевства», здесь, – что здесь делать? Мы будем затягивать, если понадобится! Мы называем, однако, с этой целью трех: Приора от св. Файта, одного доброго Монаха от св. Неота, одного доброго Монаха от св. Олбана. Все мужи добрые; все они с тех пор были сделаны аббатами и сановниками. Теперь в нашем Списке Девять. Каковы будут дальше мысли Dominus Rex? Dominus Rex, милостиво поблагодарив, высылает сказать, что мы теперь должны вычеркнуть троих. Трое чужих немедленно вычеркнуты. Вильгельм Ризничий прибавляет, что он отказывается по собственному побуждению, – прикосновение благодати и почтение перед Sacrosancta даже в Вильгельме! Затем Король повелевает нам вычеркнуть еще пару; затем – еще одного. Отходят Гуго, Третий Приор, Рожер Келарь и почтенный Монах Дионисий; и теперь в нашем Списке остаются только двое – Самсон Подризничий и Приор.

Который из этих двух? Это было трудно сказать – Монахам, которые за разговоры могут быть закованы в кандалы и брошены в тюрьму! Мы смиренно просим, чтобы Епископ Винчестерский и Джеффри, Канцлер, снова вошли и помогли нам решить. «Кого хотите вы?» – спрашивает Епископ. Почтенный Дионисий произнес речь, «восхваляя достоинства Приора и Самсона; но постоянно, в каждый уголок своей речи вставлял Самсона». «Вижу! – сказал Епископ. – Вы хотите дать нам понять, что ваш Приор немного нерадив, что вы хотите иметь Аббатом того, кого вы называете Самсоном». «Каждый из них хорош! – сказал почтенный Дионисий, почти дрожа. – Но нам хотелось бы иметь лучшего, если Богу угодно». «Которого из двух хотите вы?» – спрашивает настойчиво Епископ. «Самсона!» – ответил Дионисий. «Самсона!» – повторили все те из остальных, кто еще смел говорить или повторять что-нибудь; и, в согласии с этим, о Самсоне доложено Королю. Его Величество, размыслив об этом одно мгновение, повелевает, чтобы Самсон был введен вместе с остальными Двенадцатью.

Его Королевское Величество, глядя на нас несколько сурово, говорит тогда: «Вы представляете мне Самсона; я его не знаю. Если бы это был ваш Приор, которого я знаю, я бы его утвердил. Но тем не менее я сделаю, как вы желаете. Но берегитесь! Клянусь истинными очами Господа, – если вы плохо распорядились, я вам покажу!» После этого Самсон выступает вперед и целует ноги Короля; но затем он быстро поднимается во весь рост, быстро обращается к Алтарю и начинает, вместе с остальными Двенадцатью, чистым тенором, Псалом Пятидесятый, «Miserere mei Deus»:

Помилуй меня, Боже,
По великой милости Твоей.

Его голос тверд, его походка тверда, голова высоко поднята, в лице его – никакой перемены. «Клянусь очами Господа, – сказал Король, – этот, я уверен, хорошо будет управлять Аббатством». Клянусь той же клятвой (ответственность за которую на Вашем Величестве), и я также совершенно того же мнения! Вот уже сколько времени я не встречал более подходящего для чего бы то ни было человека, чем этот новый Аббат Самсон. Многая лета ему, и да будет милость Господня над ним, как над Аббатом!

Таким образом, наконец Монахи Сент-Эдмундсбери, без особого баллотировочного ящика или иных хороших веялок, сумели исполнить наиболее важное общественное действие, которое только может совершить собрание людей, а именно: отсеять себе человека, который бы ими управлял. И поистине, нельзя себе и представить, чтобы с помощью какой бы то ни было веялки они могли сделать это лучше. О, благие Небеса! В каждом Народе и в каждой Общине есть способнейший, мудрейший, мужественный, лучший. Если бы мы могли разыскать его и сделать его Королем над нами, то все было бы в самой сущности своей хорошо, – это было бы наилучшее, что только Бог и Природа могут дозволить нам совершить! Но с помощью какого искусства открыть его? Не научат ли нас Небеса в своей благости такому искусству? Ибо потребность наша в нем велика!

Баллотировочные ящики, Билли о реформе, веялки – все это хорошо или не так хорошо. Но увы, братья, как может все это, говорю я, не быть несоответственным, неудачным, печальным для взора? Если все души людские затуманены для божественного, высокого и страшного размышления о человеческом достоинстве и правде, – то мы никогда, никакими Бирмингемскими машинами, не откроем Истинного и Достойного. Написано: «Если мы сами холопы, для нас не будет существовать героев». Мы не

узнаем героя, даже когда увидим его. Мы примем шарлатана за героя и будем громко кричать ему, с помощью всяческих баллотировочных ящиков и всяких устройств: «Это Ты! Будь королем над нами!»

Что же из этого следует? Ищите только обманчивую Внешность, деньги с раззолоченными каретами, «славу» с газетными статьями, и какое имя она там еще ни носит, – вы и найдете только обманчивую Внешность. Божественная Действительность будет всегда далека от вас. Шарлатан будет вашим законным, неизбежным Королем. Никакой земной механизм не способен устранить Шарлатана. Вы будете прирожденными рабами Шарлатана и будете страдать под его властью, пока сердца ваши не будут готовы разорваться. И никакая Французская Революция или Манчестерское Восстание, частные или всеобщие вулканические пожары и извержения, сколь бы много их ни было, не могут сделать ничего более, как только «изменить вид вашего Шарлатана». Суть же его останется на все времена.

«А как долго, о Пророк?» – скажут иные, с довольно меланхоличной усмешкой. – Горе вам, вы не пророки! Так долго, пока не случится следующее. Пока великое бедствие, – если только это не произойдет от более мягких причин, – не переведет вас из Внешности в Искренность. Пока вы не поймете, что или есть в мире Божественное, или же вы – необъяснимое безумие; что есть Бог, точно так же, как есть Маммона, Дьявол, Гений Сластолюбия, лицемерный Дилетантизм, Пустое Хвастовство! Рассчитайте же сами, как долго это будет, несчастные братья мои!

Аббат Самсон

Итак, колокола Сент-Эдмундсбери гудят все и каждый, а в церкви и в капелле играют органы. Монастырь и Город и вся восточная сторона Суффолка в великом торжестве. Рыцари, шерифы, прядильщики, ткачи, все население мужское и женское, молодое и старое, даже свободные крестьяне с толстощекими ребятишками, – все высыпало наружу, чтобы праздновать и видеть прибытие Владыки Аббата! И затем происходит «разувание» Владыки Аббата при Вратах и торжественное подведение его к Главному Алтарю и Раке, «при внезапном молчании всех колоколов и органов», пока мы стоим коленопреклоненные, в глубокой молитве. Затем новый звон всех колоколов и звук всех органов и громкий «Te Deum»[39] из гортаней всех присутствующих; и речи подводившего шерифа, и братское лобзание. Все завершается народными играми и обедом внутри

ограды более чем на тысячу человек.

Таким образом, тот же самый Самсон снова возвращается к нам, но вот при каких обстоятельствах он на этот раз нами приветствуется. Он, который ушел с полами сутаны, закинутыми на руку, величаво возвращается назад верхом на коне; внезапно он сделался одним из сановников мира. Вдумчивые читатели признают, что здесь было испытание для человека. Вчера нищий бедняк, которому было дозволено иметь не более двух шиллингов деньгами, не имел настолько власти, чтобы погнать впереди себя собаку, – этот человек видит себя сегодня Dominus Abbas[40], украшенным митрой Пэром Парламента, Лордом замков, ферм, поместий и обширных земель; человеком, под «властью которого находится Пятьдесят Рыцарей» и множество людей, вполне от него зависимых и немедленно ему повинующихся. Перемена, большая, чем Наполеонова, – так она внезапна! Как если бы один из поденщиков Чандоса[41], проснувшись как-нибудь утром, открыл, что он за ночь сделался Герцогом. Пусть Самсон вглядится в это своими ясными светящимися глазами и разберется здесь, если может. Мы будем теперь измерять его новой меркой, значительно более строгой, чем прежняя[42]…

Но то, что достойного Правителя могли разыскать под такой личиной, узнать и извлечь из-под нее, – не представляет ли это, во всяком случае, удивительного доказательства, какие политические и общественные способности – даже скажем больше: какая глубина и богатство истинной общественной жизненности жили в эти отдаленные варварские времена? Вот он найден, с двумя шиллингами самое большее в кармане и с кожаной сумкой на шее. Бредущий по большой дороге с перекинутыми через руку полами рясы. Они думают, что он тем не менее истинный Правитель, и он доказывает, что это так и есть. Братья, не нуждаемся ли и мы в нахождении истинных Правителей или с нас будет всегда довольно лжеправителей? То были глупые, суеверные тупицы, – эти Монахи; мы же – просвещенные, Десятифунтовые Избиратели без налога на знание. Где, говорю я, наши находки, превосходящие те, подобные им или хотя бы только с ними сравнимые? У нас тоже есть глаза, по крайней мере мы должны их иметь. У нас есть общественные собрания, телескопы. У нас есть свет, свет факелов или свет ночников просвещенной свободной Прессы, горящий и прыгающий повсюду, как бы во всеобщей пляске факелов, – опаляющий вам усы, в то время как вы проходите по общественным дорогам, в городе и деревне. Великие души, истинные Правители скрываются и теперь, как и тогда, под всевозможными личинами. Такие телескопы, такое освещение и –

такое открытие! Отчего это происходит, говорю я, отчего это происходит? Разве это не плачевно, разве это даже, в некотором смысле, не поразительно?

Увы, недостаток этот, как нам постоянно приходится снова и снова утверждать, – есть менее недостаток в телескопах, чем недостаток в некотором зрении. У этих суеверных тупиц XII века не было телескопов. Но у них были еще глаза. У них не было баллотировочных ящиков, а одно только почитание Достойного, отвращение от Недостойного. Это бывает у всех варваров. Так, господин Сэл сообщает мне, что старинные Арабские Племена имели обыкновение собираться в самое веселое gaudeamus[43], петь, жечь потешные огни, плести венки, торжественно благодарить богов, когда и среди их племени также появлялся Поэт. И поистине, они имели к тому основания. Ибо, что более полезное, я уже не говорю – благородное и небесное, могут ниспослать боги, оказывая свою высшую милость какому-нибудь Племени и Народу во всякие времена и при всяких обстоятельствах? Я объявляю тебе, мой огорченный, оседланный Шарлатаном брат, вопреки всякому твоему удивлению, – что это весьма плачевно. Мы, Англичане, находим Поэта, мужа наиболее благородного, какой только появлялся где бы то ни было под Солнцем за последние сто лет, если не больше, – а зажигаем ли мы потешные огни, благодарим ли мы богов? Нисколько. Обдумав хорошо, мы посылаем этого мужа мерить пивные бочки в городе Демфрисе, а сами мы хвастаемся «покровительством гению».

«Гений», «Поэт» – знаем ли мы, что означают эти слова? Вдохновенная душа, еще раз дарованная нам прямо из великого огненного центра Природы, дабы видеть Истину, высказывать ее и творить ее. Священный голос самой Природы, еще раз услышанный сквозь мрачную, безграничную стихию слухов и ханжества, болтовни и трусости, среди которых одичалая Земля, почти гибнущая, сбилась с пути. Послушайте еще раз, вы, одичалые, отуманенные смертные! Прислушайтесь еще раз к голосу из внутреннего Моря света и Моря пламени, из самого сердца Природы и Истины! Познайте Факт вашего существования, что оно есть, отвергните личину его, то, что оно не есть, и, познав, творите, и да благо вам будет!

Георг III есть защитник чего-то, что мы в настоящее время называем «Верой». Георг III есть главный возничий Судеб Англии, дабы провести их сквозь пучину Французских Революций, Американских войн за Независимость; а Роберт Бернс – меряльщик пива в Демфрисе. Это – Илиада в ореховой скорлупе. Облик мира, склоняющегося ныне к разрушению, доведенного

ныне до судорог и предсмертных мук, весь обрисован одним этим фактом, – и не он вызывает удивление, а лишь я – тем, что удивлен им. Плод долгих веков узаконенного Холопства, узаконенного вполне, как бы до степени Закона Природы. Поклонение одежде и поклонение шарлатанству; вполне узаконенное Холопство, которому придется снова раззакониваться, – и знает Бог, со сколь большими затруднениями!

Аббат Самсон нашел Монастырь весь в разгроме, ибо дождь хлестал в него, материальный дождь и метафорический, со всех стран света. Вильгельм Ризничий проводит ночи в пьянстве. Наши кладовые дошли до полной скудости. Евреи-гарпии и разные бесчестные твари – наши поставщики; в нашей корзине нет хлеба. Старухи со своими веретенами набрасываются на удрученного Келаря с пронзительным Чартизмом. «Вы не можете сделать шага из-за ограды без того, чтобы Евреи и Христиане не бросались на вас с неоплаченными векселями», ибо долги, по-видимому, так же безграничны, как Национальный Долг Англии. В продолжение четырех лет наш новый Владыка Аббат ни разу не выходил за ограду без того, чтобы кредиторы Евреи и Христиане и всякого рода кредиторы не окружили его, доводя его до полного отчаяния. Наш Приор небрежен; наши Келари, должностные лица небрежны; наши монахи небрежны; кто не небрежен? Противостань этому, Самсон; ты один здесь, чтобы противостать этому. Твоя задача – противостать этому и бороться с этим и умереть или убить это. Да будет милость Господня над тобою!

К нашему антикварному интересу к бедному Джоселину и его Монастырю, весь облик существования которых, строй мыслей, речи, деятельности так забыт, странен, так давно исчез, присоединяется теперь мягкое сияние человеческого интереса к Аббату Самсону. Истинное удовольствие, как при виде человеческой работы, особенно работы управления, которая есть высшая доступная человеку работа, исполненной хорошо. Аббат Самсон не имеет опыта в управлении. Он не прошел ученичества в ремесле управления, – увы! Лишь самое трудное ученичество в ремесле повиновения. «Он никогда не налагал ни в каком суде vadium или plegium[44], – говорит Джоселин, – едва ли он даже видел какой-нибудь суд, прежде чем был призван председательствовать в нем. Но удивительно, – продолжает Джоселин, – как скоро он научился деловым приемам и сделался во всякого рода делах опытнее других». Из многих лиц, предлагавших ему свою службу, он удержал одного Рыцаря, искусного во взимании vadia и plegia, и через год был сам уже в

этом очень искусен. А там, мало-помалу, Папа назначает его в некоторых случаях Третейским судьей, а Король – одним из своих новых Окружных Судей. Слышали, как раз сановник Осберт говорил о нем: «Этот Аббат – один из наиболее проницательных у вас, disputator est[45]. Если он пойдет дальше, как начинает, то он заткнет у нас за пояс любого законника!»

Почему же нет? Что может устранить этого Самсона от управления? В нем есть нечто, что далеко превосходит всякое ученичество. В самом человеке существует образец управления, нечто, чем можно управлять! В нем существует сердечное отвращение от всего бессвязного, малодушного, неправдивого, т. е. хаотичного, неуправленного, что Дьяволово, а не Божье. Человек такого рода не может не управлять! Он носит в себе живой идеал правителя и непрестанную потребность борьбы, чтобы раскрыть его в себе. Ни Дьяволу, ни Хаосу не будет он служить ни за какое вознаграждение. Нет, этот человек есть прирожденный слуга Иного, чем они. Увы, как мало значит всякое ученичество, если в самом вашем правителе имеется то, что можно назвать бессилием в управлении. Бессилие – общие серые сумерки, освещаемые образами условности, парламентских традиций, подсчета голосов, избирательных фондов, руководящих статей; все это, несмотря ни на какую лисью быстроту и ловкость, – очень немного!

Но в самом деле, что говорим мы: ученичество? Разве этот Самсон не прошел по-своему очень хорошего ученичества управления, а именно – труднейшего рабского ученичества повиновения? Странствуйте в этом мире без других друзей в нем, кроме Бога и св. Эдмунда, и вы или свалитесь в канаву, или же научитесь очень многому. Научиться повиновению – есть основание искусства управления. Сколь многому научилось бы Светлейшее Высочество, если бы оно пострaнствовало по свету с кружкой для воды и с пустым мешком (sine omni expensa)! И, после своего победоносного возвращения, село бы не за газетные статьи, не перед иллюминацией города, а у подножия Раки св. Эдмунда, в кандалах, на хлеб и на воду! Кто не может быть слугою многих, тот никогда не будет господином, истинным руководителем и освободителем многих – вот в чем смысл истинного господства. Не было ли в Монашеской жизни необыкновенных «политических способностей», если и недоступных нам для подражания, то, во всяком случае, завидных? О, Небо! Если бы Герцогу Логвуду[46], роскошно катящемуся теперь к своему месту среди Коллективной Мудрости, пришлось хоть когда-нибудь самому ежедневно попахать за семь с половиной шиллингов в неделю и «без пособия

на воле»! Какой свет, не исчерпываемый ни логикой, ни статистикой, ни арифметикой, бросило бы это для него на многие вещи[47]!

…Бесспорно, справедливый гражданин имеет указания от Бога и собственной Души, всех молчаливых и членораздельных голосов мира, делать все, что зависит от него, для помощи бедному тупице-шарлатану и миру, который стонет под ним. Спеши скорее, помогай ему хотя бы тем, чтобы удалить его! Ибо все уже стало так ветхо, так сухо, так легко воспламеняемо; а он более разрушителен, чем пожар. Направь его по крайней мере вниз, строго ограничь его очагом; тогда он перестанет быть пожаром; он сделается более или менее полезным, как кухонный огонь. Огонь – лучший из слуг; но что за господин! Эта бедная тупица также рождена для какого-нибудь употребления: зачем же, возвышая ее до господства, хотите вы сделать из нее пожар, бедствие для прихода или бедствие для мира?

Святой Эдмунд

Аббат Самсон выстроил много полезных, много благочестивых зданий: жилища, церкви, церковные колокольни, житницы. Все это теперь разрушилось и исчезло, но, пока стояло, приносило пользу. Он выстроил и обеспечил «Бебуэлльскую Больницу»; «удобные дома для Сент-Эдмундсберийских школ». Много крыш, некогда «покрытых тростником», помог он «покрыть черепицей»; или, если это были церкви, то, может быть, и «свинцом». Ибо все разрушенное или неполное, здание или что-нибудь другое, было бельмом на глазу для этого мужа. Мы видели, как его «большая башня св. Эдмунда» или по крайней мере ее стропила и балки лежали срезанные и помеченные в Эльмсетском Лесу. Заменять сгораемую, разрушающуюся тростниковую крышу черепицей или свинцом и обращать вещественный, а еще более – нравственный хлам в нечто стройное, непроницаемое для дождя, – какое наслаждение для Самсона!

Если уж чего он никоим образом не мог не восстановить, то это – главный Алтарь, на коем, высоко воздвигнутая, помещалась сама Рака. Главный Алтарь, который был поврежден огнем по вине двух беспечных дрянных сонных монахов, беспечно обращавшихся однажды ночью со Свечой, причем Рака уцелела, почти как бы чудом. Аббат Самсон прочитал своим монахам строгое нравоучение: «Одному из нас приснился Сон, что он видит св. Эдмунда нагим и в печальном состоянии. Знаете ли вы объяснение этого Сна? Св. Эдмунд являет себя нагим, потому что

вы лишаете нагих Бедняков ваших старых одежд и лишь против воли даете им ту пищу и питье, которые вы обязаны им давать. Сверх того, лень и небрежность Ризничего и помощников слишком очевидны по последнему несчастью с огнем. И конечно, наш святой Мученик мог явиться извергнутым из своей Раки и говорящим со стоном, что он лишен своих одеяний и истомлен голодом и жаждой!»

Таково объяснение Сна Аббатом Самсоном – диаметрально противоположное данному самими Монахами, которые не стеснялись говорить между собою: «Это мы – нагие и голодные члены Мученика. Мы, которых Аббат лишает всех наших прав, ставя своего собственного служащего, чтобы проверять даже нашего Келаря!» Аббат Самсон прибавляет, что этот суд огнем ниспал на них за их ропот по поводу пищи и питья.

Между тем совершенно ясно, что Алтарь, что бы ни означал и ни предзнаменовал его пожар, должен быть вновь воздвигнут. Аббат Самсон вновь воздвигает его целиком из полированного мрамора; с величайшим искусством и роскошью вновь украшает Раку, для которой он должен служить подножием. И затем, как он всегда о том молил, он имеет радость, он, грешник, узреет само преславное Тело Мученика во время этой работы, – ибо он торжественно открыл с этой целью Loculus, Домовину или Священный Гроб. Это – высочайший момент в жизни Аббата Самсона. Сам Боззи-Джоселин поднимается по этому поводу до торжественности как бы Псалмопевца; самый нерадивый монах плачет горючими слезами, когда поют «Te Deum».

Чрезвычайно странно; и как далеко все это скрылось от нас, в наши времена, лишенные почитания! Патриот Хэмпден, человек, который признан за наиболее святого, какого мы только имеем, лежал таким же образом около двух веков в своем маленьком доме, когда наконец некоторые наши сановники «и двенадцать могильщиков с блоками» также подняли его кверху под мраком ночи[48]. Они отрезали ему руку перочинными ножами, сняли скальп с его головы – и выразили почитание нашему святому Герою еще иными удивительными способами! Пусть современный взор взглянет серьезно на этот давний полуночный час в Сент-Эдмундсберийской Церкви, который светит на нас ярким светом сквозь глубины семи веков. И потом осмыслим печально, чем было некогда наше Почитание Героев и чем оно теперь стало. Мы переводим со всею доступною нам точностью.

«С приближением Праздника св. Эдмунда мраморные глыбы были отполированы и все было приготовлено для того, чтобы поднять Раку на ее новое место. На всех был наложен трехдневный пост, причина и значение коего были изъяснены для

всеобщего сведения. Аббат возвещает братии Монастыря, что все должны приготовиться к перенесению Раки, и указывает время и порядок исполнения этого. Когда затем в эту ночь мы собрались к заутрене, то увидели, что большая Рака воздвигнута на Алтаре, но пуста. Поверху она была покрыта белой оленьей шкурой, прикрепленной к дереву серебряными гвоздями. Но одна доска Раки была оставлена отдельно внизу, а Loculus со Священным Телом еще стоял на ней, на обычном своем месте, возле старой Церковной Колонны. Воспев хвалу Святому, каждый из нас приступил к исполнению своего послушания. По совершении этого Аббат и некоторые с ним облачились в стихари и, благоговейно приблизившись, приступили к открытию Loculus'a. Весь Loculus был обвит наружной полотняной пеленой. Она оказалась завязанной в верхней своей части особыми тесьмами; под ней была другая пелена, шелковая, затем еще другая полотняная пелена, а затем – еще третья. И таким образом, наконец Loculus был открыт, и мы увидели, что он утвержден на небольшой деревянной подставке, для того, чтобы дно его не испортилось от камня. Над грудью Мученика находился, прикрепленный к поверхности Loculus'a, золотой Ангел, длиною приблизительно с человеческую ногу. В одной руке он держал золотой меч, а в другой – хоругвь; под ним в крышке Loculus'a было отверстие, куда древние служители Мученика обыкновенно клали руку, дабы коснуться Священного Тела.

В головах и в ногах Loculus'a были железные кольца, с помощью которых его можно было поднимать.

Подняв затем Loculus и Тело, они понесли его к Алтарю, и я тоже протянул мою грешную руку, чтобы помочь нести. Однако Аббат приказал, чтобы никто не смел приближаться, кроме вызванных им. И Loculus был помещен в Раку, и доска, на которой он стоял, была помещена на свое место, и Рака, таким образом, была в то время закрыта. Мы все думали, что Аббат покажет Loculus народу и будет снова выносить Священное Тело в известные минуты Праздника. Но в этом мы горестно ошиблись, как показывает нижеследующее.

Ибо на четвертый день Праздника, когда весь Монастырь пел Completorium[49], Владыка Аббат переговорил наедине с Ризничим и Вальтером Врачом. Они постановили назначить к полуночи двенадцать человек из Братии, достаточно сильных, чтобы нести боковые доски Раки, и достаточно искусных, чтобы разобрать и снова собрать их. Тогда Аббат сказал, что его всегдашняя молитва была о том, чтобы взглянуть когда-нибудь на Тело своего Покровителя, и что он желает, чтобы Ризничий и Вальтер Врач были с ним. Двенадцать назначенных Братии были следующие:

два Аббатовых Капеллана, два Хранителя Раки, два Брата при Облачении и, кроме того, еще шестеро, именно: Гуго Ризничий, Вальтер Врач, Августин, Уильям из Дайса, Роберт и Ричард. Я же, увы, не был в том числе.

Когда затем все в Монастыре уснули, эти Двенадцать, облаченные в стихари, вместе с Аббатом собрались у Алтаря, и, отняв одну доску у Раки, они вынули Loculus. Они поставили его на стол, близ которого Рака обыкновенно находилась, и приготовились отнять крышку, которая была прикреплена к Loculus'у шестнадцатью очень длинными гвоздями. Когда они с великим трудом исполнили это, все, кроме двух вышеназванных избранников, получили приказание отступить назад. Только Аббат и эти двое удостоились взглянуть. Святое Тело так наполняло собою Loculus, что с трудом можно было бы пропустить даже иглу между главою и деревом или между стопами и деревом. Глава была присоединена к телу и немного приподнята на небольшой подушке. Но Аббат, близко всмотревшись, увидал сперва шелковую пелену, покрывавшую все тело, и затем – полотняную пелену чудной белизны, – а над главой был распростерт небольшой полотняный плат и затем другой – небольшой и тончайший шелковый плат, как если бы то было покрывало инокини. Сняв эти покровы, они увидали, что Святое Тело все обвито полотном, и таким образом наконец обозначились его очертания. Но здесь Аббат остановился, говоря, что не дерзает продолжать дальше и узреть святую плоть нагою. Взяв главу обеими руками, он, со многими вздохами, сказал так: «Преславный Мученик, святой Эдмунд, да будет благословен час, когда ты был рожден! Преславный Мученик, не обрати мне на погибель, что я дерзнул прикоснуться к тебе, я, несчастный грешник. Ты знаешь благоговейную любовь мою и намерения ума моего». И, продолжая, он прикоснулся к очам и к носу, который был весьма крупен и выдавался вперед; и затем он прикоснулся к груди и к рукам. Подняв левую руку, он прикоснулся к перстам и поместил свои пальцы между священными перстами. И, продолжая, он увидел, что стопы держатся так твердо, подобно ногам человека, умершего вчера. И он прикоснулся к пальцам ног и сосчитал их.

И затем было решено, что и другие Братия должны быть позваны вперед, дабы увидеть сие чудо. Вследствие чего эти десять приблизились, а вместе с ними – шесть других, которые проникли тайно, без согласия Аббата, именно: Вальтер от св. Альбана, Хью Больничник, Джильберт, брат Приора, Ричард из Хенхэма, Джоселлус, наш Келарь, и Терстан Малый. И все они видели Святое Тело, но один только Терстан протянул руку и

коснулся колен Святого и стоп его. И дабы было обилие свидетелей, один из наших Братий, Джон из Дайса, сидел на кровле Храма со служителями Ризницы и, наблюдая сверху, ясно видел все это».

Какое зрелище! Оно светит, ярко блестя, как лампады св. Эдмунда, сквозь темную Ночь; Джон из Дайса, со служителями Ризницы, взбирается на кровлю, чтобы наблюдать сверху, – и весь Монастырь спит, и вся Земля спит, и с тех пор еще Семь Веков Времени по большей части отошли ко сну! Да, вполне, несомненно, это – пострадавшее в мучениях Тело Эдмунда, лендлорда Восточных Графств, который, поступая со всем ему принадлежащим благородно и так, как он считал лучшим, был убит три века тому назад. Благородный трепет окружает память его, символ и начало многого другого, истинно благородного.

Но не дошли ли мы теперь до очень странных новых степеней Почитания Героев здесь, в маленькой Церкви Хемпдена, с вынутыми перочинными ножами и двенадцатью могильщиками с блоками? Приемы людей в Почитании Героев – это подлинно самый внутренний факт их существования, и он определяет все остальное – в общественных избирательных собраниях, частных гостиных, церкви, на рынке – вообще где бы то ни было. Если вы имеете истинное почитание и, что, в сущности, нераздельно, почитаете настоящего человека, то все хорошо. Имеете лжепочитание и, что также отсюда следует, поклоняетесь не настоящему человеку, и тогда все дурно и ни в чем нет ничего хорошего. Увы, когда Почитание Героев обращается в Дилетантизм и все, кроме Маммонизма, делается пустой гримасой, то сколь много в таком случае на этой в высшей степени суровой Земле приходит в разрушение и неудержимо идет к роковой гибели! И ни один человек уже не бросает взгляда на эти запустелые, праздно лежащие развалины!

Наконец, так как уже ни один небесный «Изм» не нисходит более на нас, «Изм» с противоположного конца поневоле поднимается кверху. Ибо Земля, говорю я, есть суровое место. Жизнь – не гримаса, но в высшей степени серьезный факт. Поэтому, так как под влиянием всемирного Дилетантизма, уже много оказалось обнаженным, т. е. оказались обнаженными не только души людей, но самые их тела и кладовые, и жизнь сделалась уже невозможной, то все доведено до отчаяния, снова подпало под железный закон Необходимости и голого Факта. Чтобы усмирить Дилетантизм и поразить его, сжечь его преисподним огнем, возникает Чартизм, а потом Голоспинизм, так называемый Санкюлотизм! Да отвратят боги и те непочитаемые герои, которые еще остаются среди нас, – да

отвратят они печальное предзнаменование!

Но как бы то ни было, мы видим, что Loculus св. Эдмунда снова благоговейно покрыт шелковыми и полотняными пеленами. Крышка снова прикреплена своими шестнадцатью старинными гвоздями, и все обвито новым драгоценным шелковым покровом – даром Губерта, Архиепископа Кентерберийского. Сквозь слуховое окно Джон из Дайса видит, что Loculus поставлен на свое место в Раку и доски этой последней снова должным образом прикреплены, причем туда помещены соответствующие пергаментные документы. Теперь Джон со своими служителями Ризницы может спуститься с крыши, ибо все окончено, и весь Монастырь пробуждается к утрене. «Когда мы собрались к утренней службе, – говорит Джоселин, – и узнали, что было сделано, нас всех обуяла грусть, что мы не видали всего этого, и каждый говорил сам в себе: «Увы, я был обманут». По окончании утрени Аббат призвал всю Братию к большому Алтарю и, кратко рассказав о происшедшем, объяснил, что было не в его власти и не было позволительно или прилично пригласить нас всех к созерцанию такового. Услыхав об этом, мы все возрыдали и со слезами воспели «Te Deum laudamus» – и поспешили звонить в колокола на Хорах».

Глупые тупицы! Почитать таким образом мертвое Тело св. Эдмунда? Да, брат мой! И однако, в конце концов, кто знает, как надо почитать Тело Человека? Оно – явление, наиболее достойное почитания в этом подлунном мире. Ибо Сам Господь Всевышний живет видимо в этой мистической непостигаемой Видимости, которая называет себя на земле «я». «Преклонение перед людьми, – говорит Новалис, – есть почитание, оказанное этому Откровению во Плоти. Мы осязаем Небо, когда кладем нашу руку на человеческое Тело». А Тело Умершего – храм, где некогда была Душа Героя и где теперь ее уже нет! О, все тайны, вся жалость, весь немой трепет и изумление, Супернатурализм, открытый для самых тупых; обнаруженная Вечность и адская Тьма, Царство Высшего Света – все это соединилось здесь или это нигде не существует! Зауэртейг говаривал мне своим особенным тоном: «Канцелярская судебная волокита, правосудие, даже правосудие только в денежных делах, – в котором человеку отказывают, несмотря на все его жалобы, пока в поисках за ним не пройдет двадцать, сорок лет его Жизни. Похороны перед толпой Зевак, Смерть, почтенная гербами, конскими хвостами, полированной медью и безучастными двуногими, несущими длинные шесты и черные шелковые лоскуты, – не суть ли эти два вида почитания, почитание Смерти и Жизни, – удивительная пара видов почитания у вас, Англичан?»

Можно, и даже следует, дать Аббату Самсону, в эту высшую минуту его существования, скрыться со всей его жизненной обстановкой от взоров современных нам людей. Ему пришлось еще отправиться во Францию, чтобы условиться с королем Ричардом относительно тамошней военной службы его Сент-Эдмундсберийских Рыцарей, и исполнить это дело с большим трудом. Ему пришлось решать дело о разогнанных Ковентрийских Монахах. С большим трудом, после многих хлопот и поездок, добиться их обратного водворения. Он обедал вместе со всеми ими и с «наставниками Оксфордских Школ» – истинный Оксфордский Caput[50], сидящий за обедом, туманным, но неоспоримым образом, в городе Подглядывающего Тома[51]! Ему пришлось, не без труда, бороться с докучным Епископом Илийским, докучным Клюнийским Аббатом.

Самсон с великой душой, его жизнь – только труд и разъезды, волнения и столкновения, пока не наступила вечная Ночь. Он снова послан за море, чтобы сообщить Королю Ричарду о некоторых Пэрах Англии, которые приняли Крест, но не последовали за ним в Палестину и о которых справляется Папа. Аббат с великой душой делает приготовления, чтобы отправиться, отправляется, и – и Босуэлловский рассказ Джоселина, внезапно отрезанный ножницами Судьбы, оканчивается. Ни слова больше. Только черная черта и листы чистой бумаги. Непоправимо: чудесная рука, которая направляла все эти театральные приспособления, внезапно останавливается; непроницаемая Завеса Времени падает. Перед умственным взором снова все темно, пусто. С оглушающим шумом для умственного слуха наша реальная фантасмагория Сент-Эдмундсбери снова погружается в Лоно Двенадцатого Века, и все кончено. Монахи, Аббат, Почитание Героев, Управление, Повиновение, Львиное Сердце и Рака св. Эдмунда – все исчезает, подобно Видению Мирзы. И перед нами одни только обветшалые темные Развалины среди зеленых ботанических пространств да быки, овцы и дилетанты, пасущиеся на месте всего этого.

Начала

Какой странный образец Человека, образец Времени представляет нам Аббат Самсон и его история. Как странно моды, верования, формулы и время и место рождения человека изменяют его облик!

И Формулы так же, как мы их называем, обладают реальностью в человеческой Жизни. Они реальны, как подлинная кожа и мышечная ткань человеческой жизни. Они нечто в высшей

степени благодетельное и необходимое, пока вообще обладают жизненностью и являются для человека живой кожей и тканью! Ни один человек, или жизнь человека, не может выступить в мир и делать в нем свое дело без кожи и тканей. Нет; прежде всего они должны принять определенную форму, что они в действительности самопроизвольно и неизбежно и делают. Сама пена – и об этом стоит размыслить – может отвердеть в устричную раковину. Все живые предметы неизбежно образуют для себя кожу.

Но однако ведь могут же Формулы человека сделаться мертвыми, ибо все Формулы неизбежно должны сделаться таковыми в процессе жизненного роста! Да, конечно. Но если это случится, если покровы бедного человека, не питаемые более изнутри, сделаются мертвой, чисто внешней кожей и мозолем, становясь все толще и толще, гаже и гаже; пока наконец сквозь них уже не будет слышно более биения сердца: такими они стали толстыми, мозолистыми, известковыми, и все на нем сделается только известковой устричной раковиной или хотя бы полированным перламутром, внутрь, почти до самого сердца бедного человека, – да, тогда можно сказать, что их полезность снова совершенно заглохла. Снова он не может выйти в мир и делать в нем свое дело. Для него наступило время лечь в постель и готовиться к отходу, который теперь уже не может быть далеким.

Ubi Homines sunt modi sunt[52]. Привычка есть глубочайший закон человеческой природы. Она есть наша высшая сила, но также, при известных условиях, наша презреннейшая слабость. – От Стока до Стоу пока еще только поле без следов, незаезженное. От Стока, где я живу, до Стоу, где я должен продавать товары, делать дела, советоваться с небесными оракулами, – еще нет ни тропинки, ни человеческого следа. А я, принуждаемый упомянутыми потребностями, должен тем не менее предпринять туда мой путь. Но если я пройду раз, тщательно рассматривая дорогу, и успешно дойду, то мои следы будут для меня приглашением идти второй раз по той же дороге. Она для меня легче, чем всякая другая дорога. Труд «рассматривания» уже вложен в нее для меня. На этот раз я могу идти с меньшим рассматриванием или даже без всякого рассматривания, и самый вид моих следов – какое это удобство для меня и до некоторой степени для всех моих братьев-людей! Следы топтаны и перетоптаны; тропинка становится все шире, глаже, делается широким большаком, по которому могут даже катиться колеса, и многие идут по ней, пока – пока Город Стоу не исчезнет из этой местности (мы знаем, что с городами это бывало) или пока в нем

уже не будет ни для кого ни торговли, ни небесного оракула, ни настоящего дела. И тогда зачем кому-нибудь ходить по этой дороге?

Привычка есть наш первоначальный, основной закон. Привычка и Подражание – у нас нет ничего более постоянного, чем эти два свойства. Они в этом мире – источник всякой Работы и всякого Ученичества, всякой Практики и всякой Учености.

Да, и мудрый человек также говорит и действует Формулами; все так делают. И вообще чем полнее человек запрятан в Формулы, тем это для него безопаснее, счастливее. Ты, который думаешь, что стоишь среди Мира гнилых Формул почти голым, с негодованием свергнув с себя обветшалые лохмотья и нездоровые наросты Формул, посмотри, насколько ты еще одет! Эта Английская Национальность, все, что накопилось в твоем Народе с незапамятных времен подлинного и действительного в его словах и приемах, – все это не составило ли для тебя кожу или вторую кожу, которая пристала к тебе так же по-настоящему, как твоя естественная кожа? Ее ты не сбросил, ее ты никогда не сбросишь: характер, который дала тебе твоя мать, должен выказываться с помощью ее. Ты – обыкновенный или, может быть, необыкновенный Англичанин. Но, благие Небеса! Каким Арабом, Китайцем, Евреем-Старьевщиком, Турком, Индусом, Африканским Мандинго был бы ты, ты, с этими твоими материнскими качествами!

Я немею, когда гляжу на длинный ряд лиц, как это можно видеть в наполненной Церкви, Суде, среди посетителей Лондонских Трактиров или вообще во всякой толпе людей. Десятка два-три лет назад все они были маленькими, красными, пухлыми ребятишками. Каждый из них мог быть вылеплен, испечен в любую общественную форму, по вашему выбору. Но посмотрите теперь, как они определенны и отвердели – в ремесленников, художников, духовных лиц, помещиков, ученых адвокатов, неученых денди – и теперь уже более не могут быть и не будут ничем другим.

Заметь на этом носу краску, оставленную обильным употреблением говядины и портвейна, и ей соответствует огромный галстук с чрезмерной булавкой, неподвижный, выпученный и как бы угрожающий взгляд. Это – «Деловой Человек» – процветающий фабрикант, домовладелец, инженер, адвокат. Его глаза, нос, галстук получили, при таких-то его занятиях и средствах, такой-то характер. Не откажи ему в твоей похвале, твоем сожалении! Пожалей также и того, с грубыми руками, топорным лицом, плохо приглаженными волосами, глазами, выражающими как бы напряжение, затруднение и

неуверенность! Грубый рот; губы толстые, отвислые, как бы привыкшие отвисать от тяжелого труда и усталости целой жизни, – видел ли ты что-нибудь более трогательное, чем грубый ум, столь стиснутый и все же энергичный, непокоряющийся, верный, глядящий из этого искаженного лица? Увы, а его бедная жена, – она своими собственными руками вымыла для него этот бумажный шейный платок, застегнула эту грубую рубашку и отпустила его настолько прилично одетым, насколько могла. В таких-то узах живет он со своей стороны; ни один человек не может освободить его: так был испечен и отделан красный пухленький ребенок.

Или каким образом пекли этого другого брата-смертного, что из него выпеклось существо из рода Денди? Элегантная Пустота, безмятежно смотрящая вниз на все Полное и Цельное, как на слишком низменное и бедное в сравнении с ее безмятежным Химерством и Нецельностью, с таким трудом достигнутыми! Героическая Пустота; неодолимая, пока кошелек и современные условия общества ее выдерживают; не исцелимая никакой чемерицей. Приговор Судьбы был таков: будь Денди! Имей лорнеты, бинокли, Лонгакрские кебы[53] с белоштанными грумами, имей зевающую безучастность, нечувствительность. Определись как Денди, безвозвратно, – таков тебе приговор.

И все они, говорим мы, были краснощекими ребятишками. Из одного и того же теста и вещества, всего немного лет назад, – а теперь непоправимо отделанные, вылепленные, какими мы их видим! Формулы? Не существует смертного, кроме как в глубинах Бедлама, который не жил бы весь обтянутый, как кожей, покрыт, окутан Формулами и который, так сказать, не был бы удерживаем Формулами от Безумства и Пустоты! Они одновременно самые благодетельные и самые необходимые из человеческих экипировок: благословен тот, кто имеет кожу и ткани, если только они живы и сквозь них можно различать биение сердца. Монашество, феодализм с подлинным Королем Плантагенетом, с подлинными Аббатами Самсонами и с их прочими живыми реальностями – сколь благословенны!

Не без грустного участия наблюдали мы этот подлинный образец Времени, ныне совершенно поглощенного. Грустные размышления теснились в нас – и в то же время утешительные. Сколь много достойных мужей жило ранее Агамемнона! А вот – достойный правитель Самсон, муж, боящийся Бога и не боящийся ничего иного, которого мы были бы столь счастливы и горды иметь Первым Лордом Казначейства, Королем, Главным Редактором, Первосвященником – и о котором тем не менее Слава почти забыла упомянуть! Его бледный облик, оживший для

нас в настоящую минуту, был найден среди болтовни бедного Монаха и нигде более в Природе. Забвение почти совершенно поглотило его, самый отзвук о том, что он когда-нибудь существовал. Сколько полков, армий, поколений, подобных ему, уже поглотило Забвение! Их истлевший прах образует почву, на которой вырастает плод нашей жизни. Не говорил ли я, как меня тому учили мои Северные Предки, что Древо Жизни Иггдрасиль, которое шелестит вокруг тебя в эту минуту, часть которого ты в эту минуту составляешь, – пустило свои корни глубоко вниз в самое древнее Царство Смерти. Оно растет, и Три Норны, или Времени, Прошедшее, Настоящее, Будущее, поливают его из Священного Источника!

Например, кто научил тебя говорить[54]?.. Самое холодное слово было некогда пламенной новой метафорой и отважной рискованной оригинальностью. «Самое твое внимание, разве оно не значит принятие?» Представь себе этот умственный акт, который все сознавали, но которого еще никто не назвал, – когда этот новый «поэт» впервые почувствовал, что он вынужден и доведен до того, чтобы назвать его! Его рискованная оригинальность и новая пламенная метафора была признана удобоприемлемой, понятной и остается нашим названием для этого акта до сего дня.

Литература! Посмотри на собор Святого Павла и на Каменную кладку и на Почитание и Квази-Почитание, которые в нем заключаются; не говоря уже о Вестминстер-Холле[55] и его париках! У людей не было ни молотка, чтобы начать работать, ни членораздельных выражений; они должны были все это сделать, и они это сделали. Какие тысячи тысяч членораздельных, получленораздельных, усердных, но по-детски произносимых молитв вознеслись к Небу из хижин и келий разных стран, веков; пылких, горячих душ неисчислимого множества людей! Каждая из них стремилась высказаться, как только могла, хотя бы неполно, прежде чем могла быть составлена самая неполная Литургия! Литургия или удобоприемлемый и всеми принятый Ряд Молитв и Способов Молитвы – это было то, что мы можем назвать Выбором Удобоприемлемостей, хорошо изданным (Вселенскими Соборами и другими Обществами Полезных Знаний) «Выбором Красот» из огромного, обширного смешения Молитв, уже существующих и накопленных, хороших и дурных. Хорошие были признаны удобоприемлемыми для людей, постепенно собраны, хорошо изданы, одобрены. Дурные – признаны неподходящими, неудобоприемлемыми, постепенно забыты, исключены из употребления и сожжены. Это – путь всего человеческого.

Первый человек, который, взирая открытой душой на эти

величественные Небо и Землю, Прекрасное и Страшное, что мы называем Природой, Вселенной и так далее, сущность чего остается всегда Неизреченной, он, который впервые, взирая на все это, пал на колена, пораженный трепетом, в молчании, как это более всего и подобало, он, побуждаемый внутренней необходимостью, он, этот «отважный оригинал», сделал нечто, всеми мыслящими сердцами сразу признанное за выразительное, вполне удобоприемлемое! Преклонять колена с тех пор всегда было положением мольбы. Оно возникло ранее, чем какие бы то ни было высказанные Молитвы, Литании или Литургии. Оно было началом всякого Почитания, которое нуждалось только в начале, столь разумно оно было само по себе. Какой поэт[56]! Да, но его отважная оригинальность была вместе с тем и очень успешна. Это – родник, скрытый в первоначальной тьме и отдалении, из которого, как из Истоков Нила, текут все Виды Почитания. Такая-то река Нил (ныне несколько мутная и малярийная!) Видов Почитания и началась там, и потекла, и течет вплоть до Пюзеизма[57], Вертящихся Калабашей[58], Архиепископа Лода с Исповеданием св. Екатерины[59] и, может быть, еще ниже.

Все, говорю я, возникает этим путем. Поэма «Илиада» и в действительности большинство других поэтических и, в частности, эпических созданий возникли так же, как и Литургия. Великая «Илиада» в Греции и маленькая «Антология о Робин Гуде» в Англии – оба эти произведения, как я понимаю, суть хорошо изданный «Выбор Красот» из неизмеримо обширного смешения «Героических Баллад» в соответствующих веках и странах. Подумайте, сколько колотили по семиструнной героической лире, сколько терзали менее героические жильные скрипичные струны в Греческих Царских Дворцах и Английских Придорожных Кабаках, сколько было бито в прилежные Поэтические лбы! Сколько при этом было выпущено получленораздельных вздохов из Дыхательного горла Поэтических людей, прежде чем мог быть достойно воспет Гнев какого-нибудь Божественного Ахиллеса, молодечество какого-нибудь Уилла Скарлета или Векфильдского Пиндара[60]! Честь вам и слава, вы, неназванные, вы, великие и величайшие, хотя давно забытые, Достойные мужи!

Равным образом и Статут «De Tallagio non concedendo»[61], и вообще всякий Статут, Вид Закона, парик Законника, а тем более книги Статутов и Четыре Суда, вместе с «Коком о Литтлтоне» и Тремя Парламентскими Сословиями[62] в их арьергарде, – все это возникло не без человеческой работы, по большей части ныне забытой. Между тем временем, когда Каин убил Авеля, разбив

ему голову сразу, и настоящим временем, когда человека убивают в Канцеляриях по Дюймам и медленно разбивают ему сердце в течение сорока лет, – заключен также большой промежуток! Само достопочтенное Правосудие началось с Правосудия Дикарей. Всякий Закон есть как бы поднятое поле, постепенно разработанное и сделанное годным к пахоте из обширных зарослей Кулачного Права. Доблестная Мудрость обрабатывала и осушала его, сопровождаемая совиноглазым Педантством, совиной, тройной и иными формами Безумия. Доблестный земледелец усердно работал, а слепой, жадный враг так же усердно сеял плевелы! Только потому, что до сих пор в почтенном Правосудии в париках сохранилось немного мудрости среди таких гор париковства и безумия, – только поэтому люди еще не выбросили его в реку. Только потому оно еще и заседает у нас, подобно Драйденовой голове в «Битве книг»[63]. Взор сперва поражает огромный шлем, огромная гора замасленного пергамента, грязных конских волос. А там, в самом дальнем углу, заметная под конец, объемом с ореховое зернышко, скрывается подлинная частица Божественного Правосудия, может быть, еще не недосягаемая для некоторых, бесспорно, все еще необходимая для всех, – и люди не знают, что с ней делать! Законники не все были Педантами, объемистыми прожорливыми особами. Законники также бывали Поэтами, Героями, – или иначе их Закон уже задолго до наших дней перешел бы за Нору[64]. Мы надеемся, что их Совинство, ястребинство постепенно исчезнут до неожиданно малых размеров и останется только их Героизм, а шлем будет уменьшен приблизительно до размеров головы.

Все это – плод труда, и забытого труда, весь этот населенный, одетый, членораздельно говорящий, покрытый высокими башнями и широкими полями Мир. Руки забытых достойных мужей сделали его Миром для нас; они – честь им и слава! – они, вопреки ленивцам и трусам. Эта Английская Земля, какова она теперь, есть вывод из всего, что нашлось мудрого, благородного, согласного с Божественной Истиной во всех понятиях Английских Людей. Мы можем говорить на нашем Английском языке потому, что существовали Герои-Поэты от нашей плоти и крови, и мы можем говорить на нем только соответственно их числу. Наша Английская Земля имеет своих Завоевателей, Властителей, которые меняются от эпохи к эпохе, ото дня ко дню. Но ее истинные Завоеватели, созидатели и вечные обладатели и их представители суть нижеследующие: все Героические Души, которые когда-либо были в Англии, каждая в своем ранге; все мужи, которые когда-либо срезали хоть один куст чертополоха, осушили в Англии хоть одно болото, задумали в Англии мудрый

план, сделали или сказали в Англии истинное и доблестное. Я говорю тебе: у них не было молотка, чтобы начать работать, и тем не менее Рен выстроил собор Святого Павла. У них не было и одного членораздельного слога, и тем не менее появилась Английская Литература, Литература времен Елизаветы, Сатаническая Школа, Кокнийская Школа[65] и другие Литературы. Словом, как в старинные времена Литургии, обширнейшее смешение и огромные, как мир, чащи и дебри, страстно ждущие, чтобы их «хорошо издали» и «хорошо сожгли»! Арахна[66] начала с указательного и большого пальца; у нее не было даже веретена; а теперь ты видишь Манчестер и хлопковые ткани, которые могут прикрывать голые спины, по два пенса за аршин.

Труд? Количество исполненного и забытого труда, который безмолвно покоится под моими ногами в этом мире, сопровождает и помогает мне, поддерживает меня и охраняет мою жизнь, где бы я ни шел, стоял, что бы я ни думал, делал, дает повод к большим размышлениям! Не достаточно ли его, во всяком случае, чтобы повергнуть для мудрого человека вещь, называемую «Слава», в полное безмолвие? Для глупцов и неразмышляющих людей она есть и всегда будет очень шумлива, эта «Слава», и громко толкует о своих «бессмертных» и т. д.; но если вы размыслите, что она такое? Аббат Самсон не был «ничто» оттого, что никто о нем ничего не говорил. Или ты думаешь, что достопочтенный сэр Джабеш Уиндбег[67] может быть сделан «чем-нибудь» с помощью Парламентского Большинства и Руководящих Статей? Ее «бессмертные»! Едва ли на двести лет назад Слава может вообще отчетливо помнить; да и здесь она только бормочет и лепечет. Она принимается вспоминать какого-нибудь Шекспира и т. п. и болтает о нем, весьма уподобляясь гусю. А затем далее, вплоть до рождения Тейта[68], до нашествия Хенгста[69] и до лона Вечности, все было пусто! А драгоценные Тевтонские языки, Тевтонские обычаи, события – все возникло само собой, как всходит трава, растут деревья. Для этого не было нужды ни в Поэте, ни в труде из вдохновенного сердца Мужа. И у Славы нет ни одного членораздельного слова, чтобы сказать обо всем этом!

Или спроси ее, что удерживает она в своей голове при помощи каких бы то ни было средств или мнемонических уловок, включая сюда апофеозы и человеческие жертвы, относительно Водана, даже Моисея или иных, им подобных? Она впадает в сомнение даже относительно того, что они были: духи ли или люди из плоти и крови, боги, обманщики. Она начинает по временам опасаться, что это были просто символы, отвлеченные идеи; может быть, даже нечто несуществующее и буквы Алфавита! Она – самая шутливая, нечленораздельно болтающая, свистящая,

кричащая, нелепая, немузыкальная из всех птиц летающих! Ей, думаю я, не нужно никакой «трубы». Ей достаточно собственного громадного гусиного горла длиной в несколько градусов небесной широты. Ее «крылья» сделались в наши дни гораздо быстрее, чем когда-либо. Но ее гусиное горло кажется от этого только шире, громче, нелепее, чем когда-либо. Она – нечто преходящее, ничтожное: гусиная богиня. Если бы она не была преходящею, – что сталось бы с нами! Чрезвычайно удобно, что она забывает всех нас; всех, даже самих Воданов; и мало-помалу начинает наконец считать нас чем-то, вероятно, несуществующим, буквами Алфавита.

Да, благородный Аббат Самсон также подчиняется забвению; принимает его не в тягость, а в утешение; считает тихою пристанью от болезненной суеты, волнений, глупости, которые в часы ночного бдения много и часто заставляли вздыхать его сильное сердце. Ваши сладчайшие голоса, образующие один огромный гусиный голос, о Бобус и компания, – как могут они быть руководством для какого-нибудь Сына Адама? Когда вы и подобные вам замолчите, тогда «маленькие тихие голоса» будут лучше говорить ему, а в них-то и заключается руководство.

Мой друг, всякая речь и всякая молва недолговечна, безумна, неистинна. Лишь подлинный труд, который ты добросовестно исполняешь, лишь он – вечен, как Сам Всемогущий Основатель и Зодчий Мира. Крепко держись этого, – и пусть себе Слава и все остальное болтают сколько угодно.

III Современный работник

Призраки

Но говорят, у нас нет более веры: мы не верим в святого Эдмунда, не видим «на краю небосклона» его образа угрожающего или подкрепляющего! Безусловные Законы Бога, подтверждаемые вечным Небом и вечным Адом, сделались системами Нравственной Философии, подтверждаемыми ловкими расчетами Прибыли и Убытка, бессильными соображениями об Удовольствии от Добродетели и Нравственно-Возвышенного[70]…

Для нас нет более Бога! Законы Бога сделались Принципом наибольшего счастья, Парламентскими приемами. Небо простирается над нами только как Астрономический Хронометр, как цель для Гершелевых телескопов, чтобы стрелять по науке, сентиментальностям. Говоря нашим языком и языком старого Джонсона, человек потерял свою душу и теперь после соответствующего промежутка времени начинает чувствовать потребность в ней! Здесь-то и есть самое настоящее место болезни, центр всемирной, общественной Гангрены, угрожающей всему современному ужасной смертью. Для того, кто об этом размышляет, здесь ствол с его корнями и корневищем, обширными, как мир, ветвями анчарного дерева и проклятыми ядовитыми выделениями, под которыми мир лежит, корчась в атрофии и агонии. Вы касаетесь самого фокуса всего нашего болезненного расстройства, ужасного учения о болезнях, когда прикасаетесь к этому. Нет веры, нет Бога; человек потерял свою душу и тщетно ищет противогнилостной соли. Тщетно: в убийствах Королей, проведении Биллей о реформе, Французских Революциях, Манчестерских Восстаниях не найти лекарства. Отвратительная проказа слоновости, облегченная на один час, в следующий час вновь появляется с новой силой и в еще более отчаянной форме.

Ибо на самом деле это не есть подлинная реальность мира. Мир сделан не так, а иначе! – Поистине всякое Общество, отправляющееся от этой гипотезы не-Бога, должно прийти к странным результатам. Неискренности, каждая из которых сопровождается своим Бедствием и Наказанием. Призраки и Обманы, десятилетние Дебаты о Хлебном законе, бродящие по Земле средь бела дня, все это не может не быть в таком случае чрезмерным! Если Вселенная внутренне есть «Может быть» и даже, весьма вероятно, лишь один «бесконечный Обман», то

почему нас в состоянии удивить какой-нибудь меньший Обман? Все это соответствует порядку Природы, и Призраки, которые мчатся со страшным шумом вдоль наших улиц, от начала до конца нашего существования никого не удивляют. Зачарованные Сент-Ивские Работные дома и Джо-Мантоновские Аристократии, гигантский Работающий Маммонизм, почти задушенный в силках Праздного Дилетантизма, кажущегося гигантским, – все это, со всеми своими разветвлениями, тысячами тысяч видов и образов, – зрелище, привычное для нас.

Религия Папства, говорят, необыкновенно процветает за последние годы и является религией, имеющей вид наиболее жизненный, какой только можно встретить в настоящее время. «Elle a trois cents ans dans le ventre, – высчитывает г-н Жоффруа. – Vest pourquoi je la respecte»[71]. – Старый Папа Римский, находя слишком трудным стоять на коленях все время, пока его возят по улицам, чтобы благословлять народ в день Corpus Christi[72], жалуется на ревматизм. Вследствие этого его Кардиналы совещаются. Они устраивают для него, после некоторых опытов, одетую фигуру из железа и дерева, набитую шерстью или проваренным волосом, и устанавливают ее в коленопреклоненной позе. Набитую фигуру, вернее, часть фигуры! К этой набитой части он, расположившись удобно на более низком сиденье, присоединяет, с помощью одежд и драпировок, свою голову и распростертые руки. Набитая часть, в своих одеждах, преклоняет колена; Папа смотрит и держит руки простертыми. Таким образом, оба совместно благословляют население Рима в день Corpus Christi настолько хорошо, насколько только возможно.

Я размышлял об этом Папе-амфибии, с частью тела из железа и шерсти, с головою и руками из плоти, и попытался составить его гороскоп. Я считаю его самым замечательным Первосвященником, который когда-либо затемнял Божий свет или отражался в человеческой сетчатке несколько последних тысячелетий. И даже с тех пор как Хаос впервые потрясся и, как говорят Арабы, «чихнул», когда его пронзил первый луч солнечного света, какой более странный продукт произвели совместными трудами Природа и Искусство? Вот Верховный Священник, который думает, что Бог есть. Что ж, во имя Бога думает он, что Бог есть, и полагает, что все почитание Бога есть театральная фантасмагория восковых свечей, органной музыки, Григорианского пения, чтения во время служб, пурпурных монсеньоров, артистически распростертых частей тела из шерсти и железа, дабы простецы были спасены от худшего?

О, читатель! Я не говорю, кто избранники Велиара. Этот бедный Папа-амфибия тоже дает подаяние Бедным и скрыто

хранит в себе больше доброго, чем сам сознает. Его бедные Иезуиты были во время последней холеры в Италии, вместе с несколькими Немецкими Докторами, единственными существами, которых низкий страх не свел с ума. Они безбоязненно спускались во все трущобы и притоны безумия; бодрствовали у изголовья умирающих, принося помощь, совет и надежду. Они светили, как яркие неподвижные звезды, когда все остальное скрылось в хаотическую ночь. Честь им и слава! Этот бедный Папа, – кто знает, сколько хорошего в нем скрыто? В Эпоху, вообще слишком склонную к забвению, он хранит, хотя и очень печальное, призрачное воспоминание о самом Высоком, Благословенном, что когда-либо существовало и что, соответственно в новых формах, вновь будет отчасти существовать. Не есть ли он как бы вечная мертвая голова со скрещенными костями[73], возрождающаяся на могиле Всемирного Героизма – на могиле Христианства? Такие Благородные приобретения, купленные кровью лучших людей мира, не должны быть утрачены. Мы не можем допустить, чтобы их утратили, несмотря ни на какие смуты. Для всех нас настанет день, для немногих из нас он уже настал, когда ни один смертный, чье сердце тоскует по «Божественному Смирению» или по иным «Высшим формам Мужества», не будет искать их в мертвых головах. Он найдет их вокруг себя, здесь и там, в прекрасных живых головах.

Сверх того, в этом бедном Папе и в его Сценической Теории Почитания видна откровенность, которую я готов даже уважать. Не частью, а всем сердцем приступает он к своему почитанию с помощью театральных машин, как будто в природе теперь нет и никогда уже опять не будет другого способа почитания. Он готов спросить вас: кого другого? Под этим моим Григорианским Пением и под великолепной Фантасмагорией, освещаемой восковыми свечами, находится предусмотрительно скрытая от вас Бездна Черного Сомнения, Скептицизма, даже Якобинского Санкюлотизма, – Оркус[74], который не имеет дна. Подумайте об этом. «Пруд Гроби покрыть блинами», – как похвалялся это сделать Трактирщик, у которого остановилась Джини Дине[75]! Бездна Скептицизма, Атеизма, Якобинизма, – посмотрите, она покрыта, она спрятана от вашего отчаяния сценическими приспособлениями, обдуманно устроенными. Эта набитая часть моей фигуры спасает не только меня от ревматизма, но также и вас от многих других «измов»! В этом вашем Жизненном Странствовании неизвестно куда вас сопровождает прекрасный марш Сквaллачи и Григорианское пение, а пустая Ночь Оркуса тщательно от вас скрыта!

Да, поистине немного людей, которые почитают с помощью вертящихся Калмыцких Калабашей, делают это наполовину против того, что делается столь полным, откровенным и действенным образом! Друри-Лейн[76], говорят, – и это много значит, – охотно поучился бы у него, как одевать своих актеров, как располагать свет и тени. Он – величайший актер, который получает в настоящее время в этом мире жалованье. Бедный Папа! И я к тому же слышал, что он быстро идет к банкротству и что через измеримый ряд лет (гораздо меньший, чем «триста») у него не будет и полушки, чтобы сварить себе похлебку! Его старая ревматическая спина тогда отдохнет, а сам он и его театральные способности навеки крепко уснут в Хаосе.

Увы, зачем же ходить в Рим за Призраками, странствующими по улицам? Призраки, духи справляют в этот полуночный час свой юбилей, и кричат, и бормочут, и, пожалуй, надо скорее спросить, какая возвышенная реальность еще бодрствует где-нибудь? Аристократия стала Аристократией-Призраком, неспособной более делать свое дело и ни малейшим образом не сознающей, что у нее есть какое-нибудь дело, которое еще надо делать. Она не способна – и совершенно не заботится об этом – делать свое дело. Она заботится только о том, чтобы требовать плату за исполнение своего дела, – более того, требовать все более высокую и очевидно незаслуженную плату, и Хлебных законов, и увеличения ренты, ибо старый размер платы, по ее словам, уже более не соответствует ее потребностям! Гигант, так называемая «Машинократия», действительный гигант, хотя пока еще слепой и лишь наполовину проснувшийся, борется борьбой гидры и корчится в страшном кошмаре, «словно он должен быть задушен в силках Аристократии-Призрака», которая, как мы сказали, все еще воображает, что она – тоже гигант. Он борется как бы в кошмаре, пока не будет разбужен. Он задыхается и напрягается, так сказать, на тысячи ладов, истинно мучительным образом, через все фибры нашего Английского Существования, в настоящие часы и годы! Неужели наше бедное Английское Существование вполне превратилось в Кошмар, полный одних только Призраков?

Поборник Англии, запрятанный в железо или цинк, въезжает в Вестминстер-Холл, «будучи посажен на седло лишь с небольшой помощью», и спрашивает там, есть ли в четырех странах света, под сводом Небесным, какой-нибудь человек или демон, который осмелится сомневаться в правах этого Короля? Ни один человек под сводом Небес не дает ему ясного ответа, – который, собственно, некоторые люди могли бы дать. Разве этот Поборник не знает о мире, что он есть огромный Обман и бездонная

Пустота, покрытая поверху ярким холстом и другими остроумными тканями? Оставим его в покое, и пусть он себе спрашивает всех людей и демонов.

Его мы предоставили его судьбе; но нашли ли мы кого другого? От этой высочайшей вершины вещей вниз сквозь все слои и широты встретили ли мы сколько-нибудь вполне пробужденных Реальностей? Увы, напротив, целые полчища и целые поселения Привидений, не Божьих Истин, но Дьявольских Лжей, вплоть до самого нижнего слоя, который лежит теперь заколдованный под этой навалившейся на него тяжестью неправд в Сент-Ивских Работных домах, столь обширный и столь беспомощный[77]!..

Мне этот всеоглушающий звук Надувательства, несчастной Лжи, ставшей необходимой, Неверия Сердца, попавшего в заколдованные Работные дома, представляется совершенно подобным звуку Трубы в день Страшного суда! И я говорю себе по-старинному: «Надо всем этим не написано благословение Бога. Надо всем этим написано Его проклятие!» Или, может быть, Вселенная только химера, так сказать, совершенно испорченные часы, мертвые, как медь, которыми Мастер, если только был когда-нибудь какой-нибудь Мастер, давно уже перестал заниматься? – Моему другу Зауэртейгу этот несчастный семифутовый Шляпник[78], как вершина Английского Надувательства, казался чрезвычайно замечательным.

Увы, то, что мы, здешние уроженцы, так мало его замечаем; смотрим на него как на вещь саму собою понятную, – в этом главная тяжесть нашего несчастного положения[79]…

Законы Природы, должен я повторить, вечны: ее тихий, спокойный голос, говорящий из глубины нашего сердца, не должен быть, под страхом ужасных кар, оставляем без внимания. Ни один человек не может отклоняться от истины без вреда для себя; ни один миллион людей; ни Двадцать семь Миллионов людей. Покажите мне Народ, ставший где бы то ни было на этот путь, так что все полагают, признают, считают его дозволенным себе и другим, – и я покажу вам Народ, идущий с общего согласия широким путем. Широким путем, сколько бы ни было у него Английских Банков, Бумагопрядилен и Герцогских Дворцов. Не к счастливым Елисейским полям придет этот Народ; вечным победным венцам, заслуженным молчаливой Доблестью; но к пропастям, пожирающим пучинам, – если только он не остановится. Природа предназначила счастливые поля, победные лавровые венцы, – но лишь мужественным и верным. Неприрода, то, что мы называем Хаосом, заключает в себе только пустоты, пожирающие пучины. Что такое Двадцать семь Миллионов и их

единомыслие? Не верьте им: Миры и Столетия, Бог и Природа и Все Люди говорят иное.

«Все это – риторика?» Нет, брат мой, как это ни странно сказать, все это Факт. Забытое в наши дни, все это столь же древне, как основание Вселенной, и будет длиться, пока не окончится Вселенная. Это теперь забыто, и одно напоминание об этом искажает твое приятное лицо насмешливой гримасой, но это будет снова достоянием памяти, если только Закон тяготения не вздумает прекратиться и люди не найдут, что они могут ходить по пустоте. Единомыслие Двадцати семи Миллионов ничего не сделает. Не ходи с ними; беги от них, как от смертельной опасности. Двадцать семь Миллионов, идущих этим путем, с золотом, звенящим в каждом кармане, торжественными кликами, возносящимися до неба, непрестанно приближаются, – дозволь мне снова тебе это напомнить, к концу твердой земли, – и уничтожению всякой Верности, Правдивости, истинного Достоинства, которые только были на их жизненном пути.

Их благородные предки проложили для них «жизненный путь», – в сколь многих тысячах смыслов! На их языке нет ни одной старой, мудрой Пословицы, честного Принципа, выработавшегося в их сердцах и выразившегося вовне; ни одного верного, мудрого приема делания или исполнения какого-нибудь труда или сношения с людьми, которые не помогали бы им двигаться вперед. Жизнь еще возможна для них; не все еще – Бахвальство, Ложь, Поклонение Маммоне и Неприрода. Потому что есть кое-что еще – Верность, Правдивость и Доблесть. С некоторым хотя бы и очень значительным, но конечным количеством Неправдивости и Фантазмов общественная жизнь еще возможна; но не с бесконечным количеством! Превзойдите это некоторое количество, семифутовую Шляпу – и все, вплоть до самого заделанного в цинк Поборника, начинает колебаться и распадаться в Манчестерских Восстаниях, Чартизмах, Подвижном тарифе. Ибо Закон Тяготения не перестает действовать. Вы непрестанно подвигаетесь к концу земли; в буквальном смысле слова – «завершаете путь». Шаг за шагом, Двадцать семь Миллионов бессознательных Людей; пока наконец вы не очутитесь на краю земли; пока среди вас уже не будет более никакой Верности; пока вы не сделаете последнего шага уже не над землею, но в воздухе, над глубинами океана и клокочущими пучинами; – или, может, Закон Тяготения перестал действовать?

О, это ужасно, когда целый Народ, как обыкновенно выражались наши Предки, – «забывает Бога» и начинает помнить только Маммону и то, к чему Маммона ведет. Когда этот самопровозглашающий Шляпник становится более или менее

эмблемой всех делателей, работников, людей, которые только что-нибудь делают, – от руководства душами, руководства телами, эпических поэм, парламентских актов вплоть до шляп и чистки сапог! Нет ни одного лживого человека, который бы не делал неисчислимого зла. Сколько же зла могут накопить, за одно или два поколения, Двадцать семь Миллионов в высшей степени лживых? Сумма его, видимая на каждой улице, базарной площади, в сенате, публичной библиотеке, соборе, бумагопрядильне и объединенном работном доме, наполняет нас чувством далеко не веселым!

Англичане

И тем не менее при всех твоих теоретических пошлостях, какая глубина практического смысла в тебе, великая Англия! Глубина смысла, справедливости и мужества, в которой, несмотря на все затруднения и заблуждения мира и на эту величайшую путаницу затруднений, среди которых мы живем, все-таки еще есть надежда, еще есть уверенность!

Англичане – немой народ. Они могут совершать великие дела, но не могут описывать их. Подобно древним Римлянам и еще немногим другим, их Эпическая Поэма написана на земной поверхности; ее подпись – Англия. Жалуются, что у них нет художников. В самом деле, – лишь один Шекспир, а вместо Рафаэля – только Рейнолдс; вместо Моцарта – ничего, кроме мистера Бишопа; ни одной картины, ни одной песни. И тем не менее они произвели Шекспира! Посмотрите, как элемент Шекспировой мелодии заключен в их природе; принужден раскрываться в одних только Бумагопрядильнях, Конституционном Правительстве и т. п.; и как он особенно интересен, когда становится видим, что ему удается даже в таких неожиданных формах! Гете говорил по поводу Лошади: какое впечатление, почти трогательное, производит то, что животное с такими свойствами так стеснено. Его речь – не что иное, как нечленораздельное ржание; ловкость – только ловкость копыта; пальцы все соединены, связаны вместе, почти слиты в одно копыто, подкованы железом. По мнению Гете, в высшей степени выразителен этот блеск глаз великодушного благородного четвероногого; гарцевание, изгибы шеи, несущей громы.

Щенок Знания имеет возможность свободно высказываться; но Боевой конь почти нем, и ему очень далеко до свободы! Так всегда. Поистине, наиболее свободно вами высказанное никоим образом не есть всегда наилучшее. Это скорее наихудшее, наиболее слабое, пошлое; смысл быстр, но узок, эфемерен. Мой

привет молчаливой Англии, молчаливым Римлянам. Да, я думаю также, что и молчаливые Русские чего-нибудь да стоят. Разве они даже и теперь не воспитывают, несмотря на всяческое порицание, огромную полуварварскую половину мира, от Финляндии до Камчатки, приучая их к порядку, подчинению, цивилизации поистине древнеримским способом. Не говоря обо всем этом ни слова; спокойно слушая всякого рода порицания, высказываемые разными Ответственными Издателями! Между тем, например, Французы вечно говорящие, вечно жестикулирующие, – кого они в этот момент воспитывают? – Да и из всех животных наиболее свободно высказывающийся есть, полагаю я, род Simia. Пойдите в Индейские леса, говорят все путешественники, и посмотрите, как быстро, ловко, неутомимо это Обезьянье население[80]!..

Как приятно видеть его коренастую фигуру, этого толстокожего Человека Практики, по-видимому, бесчувственного, может быть, сурового, почти тупого, – когда сопоставишь его с каким-нибудь легким, ловким Человеком Теории, который весь вооружен ясной логикой и всегда способен на ваше «Почему?» ответить: «Потому!» Не правда ли, ловкий Человек Теории, такой легкий в Движениях, ясный в речах, с хорошо натянутым луком и с колчаном, полным стрел-аргументов, – ведь он, наверное, всегда подстрелит дичь, пронзит вопросом самое сердце, – всегда будет торжествовать, согласно тому, как он это обещает? К вашему удивлению, чаще всего оказывается, что «Нет»! Бесчувственная Практичность с нахмуренными бровями, толстой подошвой без логических речей, преимущественно молчащая, лишь иногда только тихо ворчащая или хрюкающая, она имеет в себе то, что превосходит все логические речи: Совпадение с Невысказанным. То, что может быть высказано, лежит поверх нее, как наружная пленка или внешняя кожа может быть ее и не ее. Но то, что может быть сделано, проникает внутрь, до центра Вселенной, – здесь-то вы ее найдете!

Грубый Бриндли мало говорит от себя. Грубый Бриндли, когда перед ним накапливаются затруднения, «обыкновенно» удаляется молча «в свою постель», – удаляется «иногда на три дня подряд в свою постель, чтобы иметь возможность быть там в совершенном уединении» и обсуждать в своей грубой голове, каким образом затруднения могут быть побеждены. Некрасноречивый Бриндли, – посмотрите: он соединил моря; суда его видимо плавают над долинами, невидимо – сквозь сердце гор. Мерси им Темза, Хамбер и Северн подали друг другу руки. Природа в высшей степени явственно отвечает: да! Человек Теории спускает свой туго натянутый лук. Факт Природы должен был бы пасть пораженный, но он этого не делает, логическая

стрела отскакивает от него, как от чешуйчатого дракона, и упрямый Факт продолжает свой путь. Как странно! В конце концов вам придется схватиться с драконом ближе, поразить его с помощью действительной, а не кажущейся способности; испытать, сильнее вы или он. Схватитесь с ним, боритесь с ним! Выкажите упорную твердость мускулов, а еще более – то, что мы называем твердостью сердца, которая подразумевает настойчивость, полную надежды или даже отчаянную, непокорное терпение, спокойную, чистую открытость, ясность ума, – все это будет «силой» в борьбе с драконом. Вся истинная сила человека заключается в его труде, и здесь найдем мы его мерило.

Из всех Народов мира в настоящее время Англичане – самые глупые в разговоре, самые мудрые в действии. Они, говорю я, точно немой Народ, который не умеет разговаривать и никогда не разговаривал, несмотря на Шекспира и Мильтона, которые показывают, какая в нем все-таки скрывается возможность!

О, мистер Булл[81]! Я смотрю на твое угрюмое лицо со смесью жалости и смеха, но также с удивлением и уважением. Ты не жалуешься, мой достославный друг; и все-таки я думаю, что сердце твое полно печали, невысказанной грусти, серьезности – глубокая меланхолия (как некоторые утверждают) есть основание твоего существа. Бессознательно, ибо ты ни о чем не говоришь, эта великая Вселенная в твоих глазах велика. Не отдаваясь спокойно течению, а плывя с настойчивым усилием, прокладываешь ты свой путь. Богини судьбы поют о тебе, что тебя неоднократно будут признавать ослом и глупым волом, и ты с божественным равнодушием поверишь в это. Мой друг, все это неправда, и ничто никогда не было более ложно в смысле факта! Ты из тех великих, величие которых маленький прохожий не замечает. Самая твоя глупость мудрее, чем их мудрость. Великая vis inertiae[82] скрывается в тебе! Сколь много великих качеств, неизвестных мелким людям. Одна Природа знает тебя и признает твое величие и силу: твой Эпос, не выраженный словами, написан огромными буквами на поверхности нашей Планеты, – молы, торговля хлопком, железные дороги, флоты и города, Индийские Империи, Америки, Новые Голландии – все это может быть прочтено сквозь всю Солнечную Систему!

Но также и молчаливые Русские, как я сказал, они, выравнивающие всю дикую Азию и дикую Европу в военный строй и ряд, – страшное, но до сих пор удающееся предприятие, – они еще более немы. Древние Римляне также не умели говорить в течение многих столетий, – пока мир не стал их собственностью. А столь много говорившие Греки, когда истратили все стрелы своей логики, были поглощены и уничтожены. Стрелы логики,

какими ничтожными отскакивали они от несокрушимых толстокожих фактов! Фактов, которые могли быть сокрушены только действительной силой Римских мышц! – Что до меня, то в наши громкоболтающие дни я тем глубже уважаю все Молчаливое. Великое Молчание Римлян! – да, оно величайшее изо всех, ибо разве оно не подобно молчанию богов! Даже Пошлость, Глупость, которые могут молчать, – даже и они сравнительно почтенны! «Талант молчания» – наш основной талант. Великая честь тому, чей Эпос есть мелодичная «Илиада» в гекзаметрах; не пустозвонная Лже – «Илиада», в которой нет ничего истинного, кроме одних гекзаметров и форм. Но еще большая честь тому, чей Эпос есть могучая Держава, постепенно созданная, могучие ряды героических Дел, – могучая Победа над Хаосом. Такому Эпосу, в то время как он сам себя пел, придали форму и должны были придать ее, вселяясь в него, «Вечные Мелодии». Относительно этого Эпоса нельзя ошибиться. Дела больше Слов. В Делах есть жизнь, немая, но несомненная, и они растут, как живые деревья, плодовые деревья; они населяют пустоту Времени, делают его зеленым и придают ему пену. Зачем дуб стал бы логически доказывать, что он может расти и будет расти? Посадите его, испробуйте его; дары прилежного, рассудительного уподобления и выделения, развития и сопротивления, сила роста, – эти дары тогда сами выкажут себя. Мой глубокоуважаемый, достославный, крайне нечленораздельный мистер Булл!

Попросите Булла высказать о чем-нибудь его мнение, очень часто сила тупости не может идти дальше. Вы умолкнете, не веря себе, как перед пошлостью, граничащей с бесконечностью. Его Церковность, Диссентерство[83], Пюзеизм, Бентамизм, Школьная Философия, Модная Литература не имеют себе подобных в этом мире. Предсказание богинь судьбы исполнилось: вы называете его волом и ослом. Но приставьте его к делу: почтенный человек! Мысль, им высказанная, почти равняется нулю. Девять десятых ее – очевидная бессмыслица; но мысль, им не высказанная, его внутреннее молчаливое чувство того, что истинно, соответствует факту, может быть сделано и не может быть сделано, – все это поищет равного себе в мире. Необыкновенный работник! Неодолимый в борьбе против болот, гор, препятствий, беспорядка, нецивилизации, всюду побеждающий беспорядок, оставляющий его за собой как систему и порядок. Он «удаляется в постель на три дня» и соображает! Но вместе с тем как он ни глуп, наш дорогой Джон, – он все-таки, после бесконечных спотыканий и неисчислимых пошлостей, сказанных с пустых бочонков и парламентских скамей, – он все-таки непременно

придет в конце концов к чему-то вроде верного заключения. Вы можете быть уверены, что его уклонения или спотыкания, через года или века, окончатся устойчивым равновесием. Устойчивым равновесием, говорю я, с самым низким центром тяжести – не неустойчивым, с центром тяжести очень высоким, я видел, как это делали более проворные люди! Ибо, в самом деле, попробуй только побольше уклоняться и спотыкаться, и ты избежишь этой наихудшей ошибки, то есть поместить твой центр тяжести как можно выше. Твой центр тяжести непременно опустится как можно ниже и там и останется. Если медленность, то, что мы, в нашем нетерпении, называем «глупостью», есть цена превосходства устойчивого равновесия над неустойчивым, – будем ли мы ворчать на некоторую медленность? Не менее великолепным свойством Булла является, в конце концов, и то, что он остается нечувствительным к логике. Он не уступает в течение долгого времени, десяти лет и более, как то было в случае Хлебных законов, после того, как уже все доказательства и тени доказательств исчезнут перед ним и пока наконец даже уличные мальчишки не начнут издеваться над аргументами, которые он приводит. Логика, «Искусство Речи», – говорит то-то и то-то достаточно ясно. Тем не менее Булл все еще покачивает головой; посматривает, не заключается ли в этом деле еще чего-нибудь нелогического, «невысказанного», еще «не способного быть высказанным», как это столь часто бывает! Мое твердое убеждение таково, что, видя себя заколдованным, связанным по рукам и ногам, в Бастилиях по Закону о бедных и еще в разных местах, – он на три дня удалится в постель и придет к какому-нибудь заключению! Его трехлетний «полный застой в торговле», увы, не есть ли это довольно тягостное «лежание в постели для соображения». Бедный Булл!

Булл – прирожденный Консерватор. И за это я также невыразимо уважаю его. Все великие Народы консервативны. Они туго верят новшествам, терпеливо переносят многие временные заблуждения; глубоко и навсегда уверены в величии, которое есть в Законе и в Обычаях, некогда торжественно установленных и издавна признанных справедливыми и окончательными. Верно, о Радикальный Реформатор, – нет Обычая, который, собственно говоря, был бы окончательным, – ни одного. И тем не менее ты видишь Обычаи, которые во всех цивилизованных странах считаются окончательными; и даже, под Древнеримским названием Mores, считаются Моралью, Добродетелью, Законами Самого Бога. Таково, уверяю тебя, немалое число из них, таковыми были они некогда почти все. И я чрезвычайно уважаю этого положительного человека, – тупицу, ты скажешь. Да, но

тупицу из хорошего материала, которая считает, что все «Обычаи, некогда торжественно признанные», суть окончательные, божественные и представляют собой правило, по которому человек может идти, ни в чем не сомневаясь и дальше не расспрашивая. Каковы были бы наши времена, если бы жизнь и торговля всех людей, во всех их частях, была бы еще проблемой, гипотетической задачей, имеющей быть разрешенной с помощью тяжеловесной Логики и Бэконовской Индукции[84]! Конторщик в Истчипе не может тратить времени на проверку своих Таблиц Готовых Расчетов. Он должен признать их проверенными, точными и бесспорными; или ведение им книг по Двойной Бухгалтерии остановится. «Где законченная Главная Книга?» – спрашивает Хозяин вечером. «Сэр, – отвечает тот, – я проверял Таблицы Готовых Расчетов и нашел кое-какие ошибки. Главная Кассовая Книга!» – Представьте себе что-нибудь подобное!

Правда, все основано на том, что ваши Таблицы Готовых Расчетов довольно правильны, что они – не невыносимо неправильны! Но положим, что Таблицы Готовых Расчетов привели к записям в вашей Кассовой Книге вроде следующих: «Кредит: Английский Народ с пятнадцатью веками полезного Труда. Дебет: помещение в заколдованных Бастилиях по Закону о бедных. Кредит: завоевание самой обширной Империи, которую Солнце когда-либо видело. Дебет: Ничегонеделание и «Невозможно», написанное на всех отраслях ее управления. Кредит: горы собранных золотых слитков. Дебет: невозможность купить на них Хлеба». Такие Таблицы Готовых Расчетов, думается мне, становились сомнительными, ныне они даже перестают и уже перестали быть сомнительными! Такие Таблицы Готовых Расчетов являются Солецизмом[85] в Истчипе и должны быть, как бы дела ни были спешны, и будут, и непременно будут несколько исправлены. Дела не могут идти далее с ними. Английский Народ, наиболее Консервативный, самый толстокожий, наиболее терпеливый из Народов, вынужден одинаково, как своей Логикой, так и своей Не-логикой, вещами «высказанными» и вещами еще не высказанными или не очень высказываемыми, а лишь чувствуемыми и весьма невыносимыми, – вынужден сделаться вполне Народом-Реформатором. Его Жизнь, какова она есть, перестала быть для него долее возможной.

Не торопите этот благородный, молчаливый Народ; не возбуждайте Берсеркерского исступления[86], которое в нем живет!

Знаете ли вы его Кромвелей, Хемпденов, его Пимов и Брэдшо? Все это люди очень мирные, но они могут сделаться весьма страшными! Люди, обладающие, подобно своим древним Германским Предкам времен Агриппы, душой, «которая

презирает смерть». Для них смерть в сравнении с ложью и несправедливостью есть свет; «в них есть исступление, непобедимое бессмертными богами»! Уже было, что Английский Народ схватил за бороду Привидение, казавшееся весьма сверхъестественным, и сказал приблизительно так: «Что же, даже если бы ты был действительно «сверхъестественным»? Ты, с твоими «божественными правами», ставшими дьявольской ложью? Ты – даже не «естественный»; могущий быть обезглавленным, совершенно уничтоженным!» – Да, именно настолько, насколько было божественно терпение этого народа, настолько божественно должно быть и будет его нетерпение.

Прочь, вы, позорные Практические Солецизмы, истинные порождения Князя Тьмы! Вы почти разбили наши сердца, мы не можем и не будем выносить вас долее. Прочь, говорим мы, уходите подобру-поздорову! Клянемся Богом Всевышним, чьи сыны и прирожденные провозвестники – верные мужи, вы здесь больше не останетесь! Вы и мы сделались несовместимыми: мы не можем жить долее в одном доме. Или вы должны удалиться, или мы. Есть ли у вас охота попробовать, что из этого выйдет?

О, мои Консервативные друзья, вы, которые до сих пор специально называетесь и боретесь, чтобы вас признавали «Охранителями»! О, если бы Небу было угодно, чтобы я мог убедить вас в том Факте, древнем, как мир, вернее которого не может быть сама Судьба, – только Истина и Справедливость способны быть «сохраненными» и сбереженными. То, что несправедливо, что не согласуется с Законами Бога, хотите ли вы попытаться сохранить это в Божием Мире? Но это так старо, говорите вы? Да, и тем более должны торопиться вы, более всех других, не дать ему сделаться еще старее! Если хотя бы легчайший шепот в вашем сердце внушает вам, что это нехорошо, – спешите, ради спасения самого Консерватизма, строго испытать это, низвергнуть это раз навсегда, если оно негодно. Почему хотите вы или как можете вы сохранить то именно, что нехорошо? «Невозможность» тысячекратно отмечена на нем. А вы называете себя Консерваторами, Аристократами – разве честь и благородство ума, если уж они исчезли повсюду на земле, не должны были бы найти последнего убежища у вас? О, несчастные!

Ветвь, которая умерла, должна быть отрезана для блага самого дерева. Она стара? Да, она слишком стара. Много томительных зим качалась она и скрипела, истощала и разъедала своей мертвой древесиной органическую субстанцию и все еще живые ткани здорового дерева. Много длинных летних дней ее безобразная голая коричневая кора оскверняла прекрасную

зелень листвы. Каждый день причиняла она зло, и только зло: вон ее, для блага дерева, если не из-за чего другого. Пусть Консерватизм, который хочет охранять, отрежет ее прочь. Разве лесничий не объяснил вам, что мертвая ветвь, с мертвым корнем, оставленная на дереве, чужда ему, ядовита? Она подобна мертвому железному гвоздю, какому-нибудь ужасному заржавленному сошнику, вонзенному в живое вещество. Нет, она даже гораздо хуже, ибо в каждую бурю («торговый кризис» или тому подобное) она качается и скрипит, бросается направо и налево и не может оставаться спокойной, каким оставался бы мертвый железный гвоздь.

Если бы я был Консервативной Партией в Англии (вот еще другой смелый оборот речи), я бы и за сто тысяч фунтов не позволил этим Хлебным законам ни единого часа продолжать свое существование! Потоси и Голконда[87], соединенные вместе, не могли бы купить моего согласия на них. Сочли ли вы, какие запасы горького негодования собирают они против вас в каждом справедливом Английском сердце? Знаете ли вы, какие вопросы, касающиеся не только Цен на хлеб и Подвижного тарифа, заставляют они ставить перед собой каждого размышляющего Англичанина? Вопросы неразрешимые или по крайней мере до сих пор не разрешенные. Более глубокие, чем какие до сих пор исследовал какой бы то ни было из наших Логических лотов. Вопросы чрезвычайно глубокие, которые нам лучше было бы не ставить даже и в мыслях! Вы принуждаете нас думать о них, начинать высказывать их. Высказывание их началось, и где, думаете вы, оно кончится? Если два миллиона людей-братьев сидят в Работных домах и пять миллионов, как было нагло заявлено, «наслаждаются картофелем», есть много, что должно быть начато, хотя бы оно и кончилось где и как может.

Демократия

Если Высочества и Величества не обращают на это внимания, то, предвижу я, это само обратит на себя внимание! Время легкомыслия, неискренности, праздной болтовни и всякого рода лицедейства – прошло; настоящее время серьезно, важно. Старые, давно уже обсуждаемые вопросы, еще не разрешенные логическими рассуждениями и парламентскими законами, быстро разрешаются фактами, созерцать которые довольно жутко! И самый великий из вопросов, вопрос о Труде и Плате, который, если бы мы внимали голосу Неба, должен был бы быть поставлен поколения два или более тому назад, – не может быть отсрочен далее без того, чтобы мы не услышали голоса Земли. «Труд»

действительно должен быть несколько, как говорится, «организован», – Богу известно, с какими трудностями. В настоящее время необходимо, чтобы все должное и заработанное выплачивалось человеком человеку несколько лучше. Будут ли Парламенты об этом говорить или молчать, – требовать этого от другого человека есть его вечное право, которое нельзя отнять у него без наказания и, в конце концов, даже без наказания смертью. Сколь многое должно у нас немедленно окончиться; сколь многое должно у нас немедленно начаться, пока еще есть время!

Поистине странны результаты, к которым привело нас в наши дни это предоставление всего «Платежа», быстрое закрытие Храма Бога и постепенное открытие настежь Храма Маммоны с Laissez faire и «Всякий сам за себя»! У нас есть Высшие, говорящие классы, которые «говорят» поистине так, как ранее не говорил еще ни один человек. Иссохшая пустота, безбожная низость и бесплодность их Речи могли бы сами по себе показать, какого рода Делание и практическое Управление скрываются за ней. Ибо Речь есть тот газообразный элемент, из которого сгущаются и получают образ большинство видов Практики и Деятельности, особенно все виды моральной Деятельности; какова одна, таковы будут и другие. Спускаясь затем до Немых Классов в Стокпортских подвалах и в Бастилиях по Закону о бедных, не должны ли мы признать, что и они также до сих пор беспримерны в Истории Адамова Потомства?

Жизнь никогда не была для людей Майским праздником. Во все времена участь немых миллионов, рожденных для труда, была обезображена многочисленными страданиями, несправедливостями, тяжелым бременем, отвратимым или неотвратимым; вовсе не игра, а тяжелый труд, который заставляет болеть мускулы и сердца. Люди – и не только рабы, villani, bordarii, sochemanni, но даже и герцоги, графы, короли – часто изнемогали под тяжестью жизни и говорили, в поте лица своего и души своей: смотрите, это не игра, это – суровая действительность, и спины наши уже не могут более выносить ее! Кто не знает, какие происходили иногда избиения и терзания; подавляющая, долго длящаяся, невыносимая совершалась несправедливость, пока сердце наконец не восставало в безумии и не говорило: «Eu Sachsen, nimith euer sachses! – Саксонцы! Хватайтесь же за ножи!»[88]. О, вы, Саксонцы! Уже стало необходимым «заключить кое-кого под стражу», «заключить под стражу кое-каких Холопов и Трусов!» – страницы Драйасдеста полны таких подробностей.

И все-таки я позволяю себе думать, что никогда, с самого

возникновения Общества, участь этих немых миллионов работников не была до того невыносима, как в дни, проходящие ныне перед нами. Не смерть, даже не голодная смерть делает человека несчастным. Много людей умерло; все люди должны умереть, – последний уход каждого из нас совершается на Огненной Колеснице Страдания. Но жить несчастным неизвестно почему, тяжко трудиться и ничего не получать; быть одиноким, без друзей, с разбитым сердцем, опутанным всеобщим холодным Laissez faire – это значит медленно умирать в течение всей жизни, в оковах глухой, мертвой, Бесконечной Несправедливости, как бы в проклятом железном чреве Фаларисова быка! Вот что является невыносимым и всегда будет невыносимо для всех людей, которых создал Господь. Удивляться ли нам Французским Революциям, Чартизму, Трехдневным восстаниям[89]? Наше время, если мы внимательно обсудим его, совершенно беспримерно.

Никогда раньше не слышал я об Ирландской Вдове, вынужденной «доказывать свое родство смертью от тифа и заражением семнадцати человек», – чтобы говорить столь неопровержимым образом: «Вы видите! Я была ваша сестра!» Родственные отношения часто забывались, но никогда, вплоть до появления этих новейших евангелий Маммоны и Патронташа, не видел я, чтобы они отрицались столь определенно. Если о них не помнил какой-нибудь благочестивый Лорд или Law-ward, – то всегда находилась какая-нибудь благочестивая Леди (они называли ее Half-dig – Благодетельница, да будет благословенно ее прекрасное сердце!) с нежным материнским голосом и рукой, чтобы помнить о них. Всегда находился какой-нибудь благочестивый, мудрый Elder, то, что мы называем теперь Prester, Presbyter, или Priest, – Священник, чтобы напоминать об этом всем людям во имя Господа, который все создал.

Я думаю, что даже в Черной Дагомее не было это никогда забыто до пределов тифа. Мунго Парк беспомощно упал под деревом, среди Негритянской деревни, чтобы умереть, – ужасное Белое существо в глазах всех. Но у бедной Черной Женщины и ее дочери, которые в ужасе стояли над ним, все земное достояние и скопленный капитал которых заключался в одной маленькой тыквенной бутылке риса, – было сердце богаче, чем Laissez faire. Они, с царственной щедростью, сварили для него свой рис; пели ему всю ночь, усердно прядя на прялках своих хлопчатые нитки, пока он спал. «Пожалеем несчастного белого человека; у него нет матери, чтобы принести ему молока; нет сестры, чтобы смолоть ему зерна!» Бедная Благородная Черная Женщина! И ты также – Леди, разве и тебя не создал также Бог! Разве и в тебе не было также чего-то Божественного!

Гурт, прирожденный раб Седрика Саксонского[90], возбуждает большое сострадание у Драйасдеста и других. Гурт, с медным ожерельем на шее, пасущий Седриковых свиней на лесных полянах, – не есть то, что я называю образцом человеческого счастья. Но Гурт, с небесным шатром над головой, свежим воздухом, зеленой листвой и тенью вокруг себя и уверенностью, по крайней мере в ужине и в общем помещении, когда он придет домой, – Гурт кажется мне счастливым в сравнении со многими современными нам жителями Ланкашира и Бекингемшира, которые, однако, не рождены ничьими рабами! Гуртово медное ожерелье не натирало ему шеи. Седрик был достойным господином. Свиньи были Седриковы; но и Гурт также получал от них свою долю. Гурт имел невыразимое удовлетворение чувствовать себя неразрывно связанным, хотя бы посредством грубого медного ожерелья, со своими смертными братьями на этой Земле. Он имел высших себя, низших, равных. – Гурт теперь давно уже «освобожден»; он обладает тем, что называется «Свободой». Свобода, как меня уверяют, есть нечто божественное. Свобода, если она делается «Свободой умереть с голода», – не очень-то божественна[91]!..

Сознательное отвращение и нетерпимость к Сумасбродству, к Низости, Глупости, Трусости и ко всему этому сорту вещей глубоко живет в некоторых людях. Еще глубже в других живет бессознательное отвращение и нетерпимость, причем благодетельные Высшие Силы наделяют их теми мужественными стремлениями, энергией, тем так называемым эгоизмом, которые им соответствуют. Таковы все Победители, Римляне, Норманны, Русские, Индо-Англичане; Основатели того, что мы называем Аристократиями. И разве, по правде, они не имеют наиболее «божественного права» основывать их, будучи сами истинно по-гречески Достойнейшими, Лучшими и вообще побеждая смутную толпу худших или по крайней мере очевидно дурных? Я думаю, что их божественное право, которое обсуждалось и было признано в наивысшем, известном мне Судилище, законно! Класс людей, против которых часто ужасно вопит Драйасдест, в нем тем не менее благодетельная Природа часто нуждалась и будет – увы! – опять нуждаться. Если сквозь стократ жалкий скептицизм, тривиализм и конституционную паутину Драйасдеста ты бросишь взгляд на Вильгельма Завоевателя, Танкреда д'Отвилля и т. п., – разве ты не увидишь ясно некоторых грубых очертаний истинного, Богом поставленного Короля? Его призвал на престол не Поборник Англии, запрятанный в цинк, а вся Природа и Вселенная! Совершенно необходимо, чтобы он взошел на него. Природа не желает, чтобы ее бедные Саксонские дети погибали от

столбняка, ожирения и других болезней. Поэтому она приглашает сурового Правителя и целый ряд Правителей, – сама Природа приглашает сурового, но благодетельного, постоянного Домашнего Врача и заботится для него даже о соответствующем вознаграждении! Драйасдест жалобно разглагольствует о Гируорде и Болотистых графствах. Судьба графа Вальтефа, Йоркшир и Север, обращенные в пепел[92], – все это, несомненно, достойно оплакивания.

Но даже Драйасдест сообщает мне один факт: «И ребенок мог бы пронести, в царствование Вильгельма, из конца в конец Англии кошелек с золотом». Мой ученый друг, это – факт, который перевешивает тысячу других! Сбрось твою конституционную, сентиментальную и другую паутину, посмотри глаза в глаза, если у тебя есть еще глаза, этому громадному, тяжеловесному Вильгельму Незаконнорожденному! Ты увидишь человека самой огненной проницательности, твердого львиного сердца, в которого боги вложили, так сказать, в рамке из дуба и железа, душу «гениального человека»! Ты принимаешь это за ничто! Я принимаю это за нечто громадное! Бешенства было достаточно у этого Вильгельма Завоевателя, достаточно бешенства в нужных случаях, – и тем не менее главным элементом в нем, как и во всех подобных людях, был не пылающий огонь, а ясный освещающий свет. Огонь и Свет перемешиваются странным образом; и в конечном счете я нахожу даже, что они – различные формы помянутой, в высокой степени божественной «элементарной субстанции» в нашем мире; и это стоит отметить в наши дни. Существенным элементом этого Завоевателя было прежде всего ясное, как солнце, различение того, что действительно есть «нечто» в Божьем мире. Это, в конце концов, означает немалый запас «Справедливости» и «Добродетелей». Соответствие тому, что Творец признал благом для творения, ведь это, полагаю я, есть именно Справедливость и еще кое-какие Добродетели!

Думаешь ли ты, что Вильгельм Завоеватель стал бы терпеть разглагольствования в течение десяти лет, разглагольствования в течение часа о допустимости убивать Хлопчатобумажных фабрикантов куропачьими Хлебными законами? Я думаю, он не был человеком, которого можно было бы разбудить ночью одними только сумасшедшими причитаниями! «Помоги нам разводить еще успешнее куропаток! Придуши Плегсона, который ткет рубашки!» – «Par la Splendeur de Dieu!»[93]. Думаешь ли ты, что Вильгельм Завоеватель, в наше время, имея по одну руку Вождей Промышленности, вооруженных Паровыми машинами, а по другую – Вождей Праздности, вооруженных Джо-Мантоновскими

ружьями, – усомнился бы, которые из них действительно лучше? Которые заслуживают, чтобы их придушили, и которые нет?

Я питаю некоторое непоколебимое уважение к Вильгельму Завоевателю. Постоянный Домашний Врач, приготовленный Природой для ее любимого Английского Народа и даже получающий от нее соответствующее вознаграждение, как я сказал. Ибо он никоим образом не сознавал себя исполняющим работу Природы, этот Вильгельм, но исключительно свою собственную работу! И это вместе с тем и была его собственная работа, освещенная «par la Splendeur de Dieu!» – я говорю: необходимо добиваться от таких людей их работы, как бы трудно это ни было! Когда мир, еще не осужденный на смерть, погружается во все более глубокую Низость и Неустройство, то для Природы наступает настоятельная необходимость ввести в него свою Аристократию, своих Лучших, даже насильственным способом. Но затем, если их потомки или представители окончательно перестают быть лучшими, то бедный мир Природы снова быстро погружается в Низость, и для Природы возникает настоятельная необходимость извергнуть их из него. Отсюда Французские Революции, Хартии о пяти пунктах, Демократии и печальный список разных Etcetera[94] в наши угнетенные времена.

Какого распространения теперь достигла Демократия, как она теперь продвигается, несокрушимая, со зловещей, все возрастающей быстротой, – это легко усмотрит тот, кто откроет глаза на любую область человеческих дел. Демократия повсюду – неумолимое требование нашего времени, быстро осуществляемое. От грома Наполеоновских битв до болтовни на публичных собраниях прихожан прихода святой Марии Экс все возвещает Демократию. Замечательный муж, которого некоторые из моих читателей с удовольствием снова услышат, пишет мне следующее относительно того, что он заметил за последнее время с Вангассе в Вайснихтво[95], где наши Лондонские моды, по-видимому, чрезвычайно распространены. Итак, послушаем снова герра Тейфельсдрека[96], хотя бы это было всего несколько слов!

«Демократия – что означает – люди отчаиваются найти Героев, которые бы управляли ими, и спокойно приноравливаются к отсутствию их. Увы! И ты также, mein Lieber[97], ясно видишь, в каком она близком родстве с Атеизмом и другими печальными «измами». Тот, кто не усматривает никакого Бога, как усмотрит он Героев, эти видимые Храмы Бога? – Вместе с тем весьма странно наблюдать, с каким легкомыслием здесь, в нашей строго Консервативной Стране, люди с громкими возгласами стремятся в Демократию. Вне всякого сомнения, его Превосходительство почетный рыцарь герр Каудервельш фон

Пфердефус-Квакзальбер[98], сам наш досточтимый Консервативный Премьер, и все, кроме самых толстолобых из его Партии, видят, что Демократия неизбежна, как смерть, и даже приходят в отчаяние от того, что она так долго задерживается!

Нельзя пройтись по улицам без того, чтобы не увидать, как Демократия возвещает о себе. Сам Портной сделался если не совсем Санкюлотичным, что было бы для него разорительно, то, во всяком случае, Портным, бессознательно символизирующим и предсказывающим своими ножницами царство Равенства. Каков теперь наш модный кафтан? Вещь из тончайшей ткани глубоко обдуманного покроя, с обшлагами из Мехеленских кружев, украшенная золотом, так что человек может без труда носить целое имение на своей спине? Keineswegs – никоим образом! Законы Роскоши вышли из употребления, до степени, которая никогда раньше не была видана. Наш модный кафтан есть помесь хлебного мешка с курткой ломового. Его сукно преднамеренно грубо; цвет или пятнисто-черный, как сажа, или серо-ржаво-коричневый; точнейшее приближение к Крестьянскому. А что до покроя, – если бы ты его видел! Последняя новость года, ныне истекающего, может быть определена как три мешка: большой мешок для туловища, два маленьких мешка для рук, а в качестве воротника – рубец! Первый Древний Херуск, который принялся делать себе костяною или металлическою иглою кафтан из войлока или из медвежьей шкуры, еще раньше, чем Портные возникли из Небытия, – разве он не делал того же самого? Просторный, широкий мешок для туловища, с двумя дырами, чтобы пропускать руки, – таков был его первоначальный кафтан. Скоро стало ясно, что два небольших широких мешка, или рукава, легко присоединяемые к этим дырам, были бы усовершенствованием.

Таким образом, Портняжное искусство, так сказать, опрокинулось, подобно большинству других вещей, переменило свой центр тяжести; внезапно перекувырнулось от зенита к надиру. Сам Стельц, огромным прыжком, перелетает со своего высокого пьедестала вниз, в глубины первоначальной дикости, увлекая за собой столь многое! Ибо я приглашаю тебя размыслить о том, что Портной, как верхняя крайняя пена Человеческого Общества, поистине скоро переходит, исчезает, ускользает от разбора. Но в то же время он знаменует собой многое, даже все. Верхняя исчезающая пена, он взбит с самых подонков и ото всех промежуточных слоев жидкости. Он главный, видимый для глаза вывод из того, что люди стремились делать, были обязаны и способны делать в этой области общественной жизни, то есть в символизации себя друг другу путем покрывания своих кож. Вся

соль Человеческой Жизни заключается в Портном: вся ее дикая борьба в стремлении к красоте, достоинству, свободе, победе. И вдруг, остановленная Седаном и Геддерсфильдом[99], Невежеством, Глупостью, Непреодолимым Желанием и другими печальными необходимостями и законами Природы, – она приходит вот к Серой дикости Трех Мешков с рубцом!

Если сам Портной склоняется к санкюлотизму, то разве это не зловеще? Последнее божество бедного человечества само низводит себя с престола. Оно само опускает свой факел пламенем вниз, подобно Гению Сна или Смерти. Оно напоминает, что Время Портных уже прошло! – Ибо сколь ни мало рекомендуются в настоящую эпоху Законы Роскоши, тем не менее ничто не может быть яснее того, что где в действительности существуют чины, там необходимо строгое разграничение костюмов. Если когда-нибудь мы будем иметь новую Иерархию и Аристократию, действительно признанные за таковые, о чем я ежедневно молю Небеса, – то Портной снова оживет и станет, добровольно и по назначению, сознательно и бессознательно, их охраной».

Некоторые дальнейшие наблюдения того же неоцененного пера относительно наших никогда не прекращающихся изменений в модах, «постоянной кочевой и даже обезьяноподобной жажде перемен и одних только перемен» во всем устройстве нашего существования и «рокового, революционного характера», при этом выражаемого, – все это мы в настоящее время опускаем. Должно только признать, что Демократия, во всех значениях этого слова, находится в полном наступлении; она несокрушима. «Свобода» есть вещь, которую люди решили добыть себе.

Но в действительности, как я уже имел случай заметить, «свобода не быть притесняемым братом-человеком» есть необходимая, однако, одна из наиболее незначительных дробных частей Человеческой Свободы. Ни один человек тебя не притесняет, не может принудить сделать что-нибудь или принести что-нибудь, пойти или прийти без очевидной причины. Верно: ты освобожден от всех людей; но от Себя самого? Ни один человек, более мудрый, менее мудрый, не может заставить тебя прийти или уйти. А твоя собственная пустота, заблуждения, ложная жажда Денег, Наград и т. п.? Ни один человек не притесняет тебя, о свободный, независимый Плательщик налогов, но не притесняет ли тебя эта глупая кружка Портера? Ни один Сын Адама не может заставить тебя прийти или уйти; но эта бессмысленная кружка пива, она может заставить и заставляет! Ты раб – не Седрика Саксонского, но твоих собственных грубых

желаний и этой вычищенной кружки питья. И ты хвастаешься своей свободой? О, круглый дурак!

Пиво и джин: увы, это не единственный род рабства. Ты, разгуливающий с тщеславным видом, посматривая с изящным фырканьем дилетанта и безмятежным превосходством на всякую Жизнь и на всякую Смерть. Ты мило семенишь ногами, жеманно болтая всякие жалкие глупости, и ведешь себя как бы в жалком надменном сомнамбулизме. Ты являешься «заколдованной Обезьяной» в этом Божьем мире, где ты мог бы быть человеком, если бы только тебе были дарованы соответствующие Учителя, Укротители и Полицейские с девятихвостой кошкой; называешь ли ты это «свободой»? Или вот этот, не дающий себе отдыха поклонник Маммоны, подгоняемый как бы Гальванизмом, Дьяволами и Навязчивыми Идеями! Он рано встает и поздно ложится, гоняясь за невозможным, напрягая для этого все свои способности, – как благодетельно было бы, если бы можно было путем кроткого убеждения или так называемой самой суровой тирании остановить его на безумном пути и направить на более разумный! Всякая мучительная тирания и в этом случае была бы лишь кротким «врачеванием». Страдания от нее обошлись бы дешево, ибо здоровье и жизнь при всякой цене будут дешевы, если заменят собою гальванизм и навязчивую идею.

Несомненно, между всеми путями, на которые человек может вступить, имеется, в каждый данный момент для каждого человека, один лучший путь. Это – одно дело, сделать которое, преимущественно перед всеми другими делами, было бы, в эту минуту и на этом месте, наиболее мудро, – так что, если бы его можно было убедить или заставить поступить таким образом, то он поступил бы, как мы это называем, «подобно мужу». Все люди и боги согласились бы с ним, вся Вселенная внутренне воскликнула бы ему: «Хорошо!» Его успех в таком случае был бы полным, счастье достигло бы максимума. Этот путь, иначе говоря, найти этот путь и идти по нему, есть единственно необходимое для него. Все, что двигает его здесь вперед, хотя бы это проявлялось даже в виде толчков и пинков, есть свобода. Все, что его задерживает, хотя бы это были местные выборы, собрания по частям города, приходам, избирательные бараки, громовые одобрения, реки пива, – есть рабство.

Мысль, что свобода человека состоит в том, чтобы подавать голос на выборах и говорить: «Смотрите, вот теперь и у меня тоже есть одна двадцатитысячная часть Оратора в нашей Национальной Говорильне; не будут ли ко мне благосклонны все боги?» – эта мысль есть одна из наиболее забавных! Природа тем не менее добра в настоящее время и вкладывает ее в головы

многих, почти всех. В особенности же свобода, которая достигается общественным одиночеством, тем, что каждый человек стоит отдельно от другого и не имеет с ним «никакого дела», кроме наличного платежа, – это такая свобода, какую Земля редко видала. С ней Земля не будет долго возиться, как бы ты ее ни рекомендовал. Эта свобода, прежде чем она успеет долго пробыть в действии и пока еще все вокруг нее бросают кверху шапки, оказывается для Работающих Миллионов свободой умереть от недостатка питания. Для Праздных Тысяч и Единиц – увы! – еще более роковой свободой жить с недостатком труда; не иметь более серьезных обязанностей, чтобы исполнять их в этом Божьем Мире. Что должно сделаться с человеком в таком положении? Законы Земли молчат, и Законы Неба говорят голосом, который не слышен. Отсутствие труда и неискоренимая потребность в труде порождает новые, чрезвычайно странные философии жизни, новую, чрезвычайно странную практику жизни! Развивается Дилетантизм, Легкомыслие, Бобруммелизм[100], с прибавлением иногда случайных, полусумасшедших, протестующих взрывов Байронизма. А если через некоторое время ты вернешься к «Мертвому Морю», там совершается, как говорят наши Мусульманские друзья, весьма странный «Шабаш»[101]! Братья, после столетий Конституционного Правления, мы все еще не вполне знаем, что такое Свобода и Рабство.

Демократия, погоня за Свободой в этом направлении, будет идти своим полным ходом, и ее не задержать Пфердефусу-Квакзальберу или кому-нибудь из его присных. Трудящиеся Миллионы Человечества, в жизненной потребности и страстном инстинктивном желании Руководства, отбросят прочь Лже-руководство в надежде, на один час, что Не-руководство удовлетворит их; но это может быть только на один час. Притеснение человека его Мнимо-Высшими есть наименьшая часть человеческого рабства; наиболее осязаемая, но, говорю я, в конце концов, наименьшая. Пусть он свергнет такое притеснение, с ненавистью растопчет его ногами. Я его не порицаю; я жалею и хвалю его. Но раз притеснение Мнимо-Высшими окончательно свергнуто, все-таки остается для решения великая проблема: найти правительство Истинно-Высших! Увы, как найдем мы когда-нибудь ее решение, мы, несчастные, отуманенные, ошалелые, храпящие, фыркающие, забывшие Бога? Это задача на целые столетия. Мы научимся ей в волнениях, смутах, восстаниях, препятствиях; кто знает, не в пожарах ли и в отчаянии! Этот урок заключает в себе все другие уроки; изо всех уроков самый трудный, чтобы его выучить.

Одно я знаю: Обезьяны, болтающие на ветвях около Мертвого Моря, не выучили его, а болтают там и до сего дня. Нечего приходить к ним во второй раз какому-нибудь Моисею. Тысячи Моисеев были бы лишь раскрашенными Призраками, интересными Сообезьянами нового странного вида, которых они «пригласили бы на обед», с которыми были бы рады встретиться на светских вечерах. Для них голос пророчества, небесного убеждения, совершенно исчез. Они болтают себе, и Небо совершенно закрыто для них до скончания мира. Несчастные! О, что значит в сравнении с этим умереть от голода, с честными орудиями в руках, мужественными намерениями в сердце, многим, действительно исполненным тобою трудом? Ты честно покидаешь орудия; грязный, смутный хаос тяжелого труда, скудной пищи, забот, уныния и препятствий, ибо ты теперь честно покончил со всем этим. Ты ожидаешь, не совершенно безнадежно, что скажут тебе Высшие Силы, и Молчание, и Вечность.

Я знаю и другое. Этот урок должен быть выучен, – под страхом наказания! Или Англия выучит его, или Англия также перестанет существовать в числе Народов. Или Англия научится почитать своих Героев и отличать их от своих Лжегероев, Холопов, освещенных газом Гистрионов, – ценить их, как внятный голос Бога, среди всей пустой болтовни и кратковременных рыночных криков. Говорить им с преданным сердцем: «Будьте Королями, и Священниками, и Евангелием, и Руководством для нас». Или Англия будет по-прежнему поклоняться новым и все новым формам Шарлатанства и так, все равно с какими прыжками и скачками, пойдет вниз, к Отцу всех Шарлатанов. Должен ли я опасаться этого от Англии?

Несчастные, близорукие, бесчувственные смертные, зачем хотите вы поклоняться лжи и «Набитым Костюмам, созданным девятою частью человека»[102]! Ведь здесь страдают не ваши кошельки, арендная плата, торговля, доходы с фабрик, как бы громко вы над ними ни плакали, – нет, не только это, но нечто гораздо более глубокое, чем это. Ваши души лежат здесь мертвые, сокрушенные под презренными Кошмарами, Атеизмами, Галлюцинациями. И они вовсе не души, а только суррогаты соли, чтобы предохранять ваши тела и их аппетиты от разложения! Ваши бумагопрядильные и трижды чудесные машины, – что такое они сами по себе, как не более обширный вид Анимализма[103]? Пауки могут прясть, Бобры могут строить и выказывать сообразительность, Муравей накопляет капитал и имеет, насколько я знаю, Муравьиный банк. Если у человека нет души более высокой, чем все это, то хотя бы она добилась того, чтобы

плавать по облачным путям и прясть морской песок, – то, говорю я, человек есть лишь животное, более хитрый род зверя: у него нет души, а только суррогат соли. Вследствие этого, видя себя на самом деле в числе зверей, которые погибают, он, я думаю, должен признать это, – и, следовательно, прямо и повсеместно убивать себя и, таким образом, по крайней мере мужественно покончить и со своей стороны достойным образом распрощаться с этим звериным миром!

Снова Моррисон

Тем не менее, о Передовой Либерал, я не могу еще на некоторое время обещать тебе никакой «Новой Религии». Правду сказать, я не думаю, чтобы на нее была хоть малейшая надежда! Не выслушает ли искренний читатель, в виде заключения этой части книги, несколько беглых замечаний по этому поводу?

Искренние читатели не могли встретить за последнее время человека, который был бы менее склонен вмешиваться в их Тридцать Девять[104] или иные Церковные Пункты, с помощью коих они, как кажется, весьма беспомощно стараются создать для себя какую-нибудь не очень непонятную гипотезу об этой Вселенной и собственном Существовании в ней. Суеверие, мой друг, далеко от меня. Фанатизм по отношению к какому бы то ни было Fanum[105], которое могло бы появиться в ближайшем будущем на нашей Земле, далек от меня. Церковные Пункты, несомненно, суть ценные для того, кто их принимает. И в наши времена надо быть терпимым ко многим странным «Пунктам» и ко многим, еще более странным, «Не-пунктам». Последние рекламируют себя повсюду весьма нелепым образом, – так что многочисленные высокие столбы для реклам и сомнительные разбитые горшки с клейстером мешают подчас мирным прогулкам!

Представьте себе, однако, человека, который советует своим собратьям-людям верить в Бога для того, чтобы ослабел Чартизм и Манчестерские Рабочие могли приняться мирно ткать! Такая мысль еще более нелепа, чем какой бы то ни было столб для реклам, когда-либо виденный на общественном гулянье! Мой друг! Если ты когда-нибудь придешь к тому, чтобы верить в Бога, ты найдешь, что в сравнении с этим совершенно ничтожны всякий Чартизм, Манчестерское восстание, Парламентское бессилие, Министерство Уиндбега[106], самые дикие Общественные Смуты, гибель от огня всей нашей Планеты. Братья, эта Планета, думается мне, лишь незаметная песчинка на материке Бытия. Жалкие временные интересы этой Планеты, твои интересы здесь и мои интересы, – когда я пристально смотрю на это вечное Море

Света и Море Пламени с его вечными интересами, – уменьшаются буквально до Ничто. Моя речь об этом есть на некоторое время – молчание. Я столь же мало могу думать, будто Млечный путь и Звездные системы были созданы для того, чтобы направлять маленькие рыбачьи лодки, – сколь думать, будто Религия проповедуется для того, чтобы сохранить возможность существования Полицейских. О, мой передовой Либеральный Друг, этот новый второй прогресс, старание «выдумать Бога», – чрезвычайно странен! Якобинизм, развернувшийся в Сен-Симонизм, обещает бесчисленные благодеяния; но сам он может вызвать слезы даже у Стоика! Что до меня, то так как за последние шесть месяцев сюда прибыло, из различных частей света, около двенадцати или тринадцати Новых религий, в тяжелых Пакетах, по большей части нефранкированных, то я предписал моему неоцененному другу Почтальону больше мне их не доставлять, если плата превосходит пенни.

Генрих Эссекский, сражаясь в единоборстве на острове посреди Темзы, «близ Редингского Аббатства», имел религию. Но было ли это в силу того, что он видел вооруженный Призрак святого Эдмунда «на краю небосклона», грозно на него взирающий? Имело ли это внутренне вообще какое-нибудь отношение к его религии? Религией Генриха Эссекского был Внутренний Свет или Нравственное Сознание его собственной души, как это и доселе даруется душам всех людей, и этот Внутренний Свет сиял здесь «сквозь умственную и иные среды», производя «Призраки», Кирхеровские зрительные Образы[107] и т. д. смотря по обстоятельствам! И так бывает со всеми людьми.

Чем яснее светит мой Внутренний Свет, чем менее мутна среда, чем менее он производит Призраков, – тем, конечно, я буду радостнее, а не печальнее! Размышлял ли ты, о серьезный читатель, будь ты Передовой Либерал или кто иной, о единственной цели, сущности и пользе всякой религии, прошедшей, настоящей и будущей? Она состоит в следующем. Сделать это самое Нравственное Сознание, или Внутренний Свет наш, живым и сияющим, – для чего, конечно, «Призраки» и «мутная среда» несущественны! Все религии возникали здесь для того, чтобы напоминать нам, лучше или хуже, что мы уже, лучше или хуже, знали о совершенно бесконечной разнице, которая существует между Хорошим человеком и Дурным. Заставлять нас бесконечно любить одного, презирать и избегать другого; стараться быть одним и не быть другим. «Всякая религия выражается в должном Практическом Почитании Героев». Тот, у кого душа не обмерла, никогда не останется без религии. Тот, у кого душа обмерла, свелась к суррогату соли, никогда не найдет

никакой религии, хотя бы ты восстал из мертвых, чтобы проповедовать ему.

Но поистине, если люди и реформаторы ищут «религии», то это подобно тому, как если бы они искали ответа на вопрос: «Что нам делать, по-вашему?» и т. п. Они воображают, что эта религия будет также вроде Моррисоновых пилюль, которые им надо только раз проглотить – и все будет отлично. Раз вы смело проглотили Религию, Моррисоновы пилюли, то перед вами открыты все пути; вы можете заниматься вашими делами, не-делами, гоняться за деньгами, удовольствиями, дилетантствовать, качаться, гримасничать и болтать, подобно Обезьянам Мертвого Моря. Моррисоновы пилюли сделают за вас все, что нужно. Человеческие понятия очень странны!

Брат, я говорю: нет, не было и никогда не будет на всем обширном пространстве Природы никаких Пилюль или Религии подобного рода. Ни один человек не может добыть тебе их; для самих богов это невозможно. Советую тебе отказаться от Моррисона; раз навсегда оставь надежду на Универсальные Пилюли. Ни для тела, души, отдельных лиц, общества такого товара никогда не было сделано. Non extat. В сотворенной Природе его нет, не было, не будет. Лишь в пустой путанице Хаоса и в царстве Бедлама мелькает какая-то тень его, чтобы смущать и смеяться над бедными тамошними обитателями.

Обряды, Литургии, Символы, Иерархии – все это не религия; все это, будь оно мертво, как Одинизм, Фетишизм, вовсе не может убить религии! Одна только Глупость, со сколькими бы она ни была соединена обрядами, убивает религию. Разве это все еще не Мир[108]?..

Законы Творца, были ли они возвещены в Громе Синая слуху или воображению или каким-нибудь совершенно иным путем, суть Законы Бога. Трансцендентные, вечные, повелительно требующие повиновения ото всех людей. Это, без всякого грома или с каким угодно громом, ты, если в тебе осталась еще какая-нибудь душа, должен знать как истину. Вселенная, говорю я, создана по Закону. Великая Душа Мира справедлива, а не несправедлива[109]… Все делание на земле есть символически высказанная или исполненная молитва: Да будет на Земле воля Господа, – не воля Дьявола или воля какого-нибудь из слуг Дьявола! У него есть вера, у этого человека: вечная Путеводная звезда, которая сияет на Небе тем ярче, чем темнее становится здесь, на Земле, ночь вокруг него. Ты, если ты этого не знаешь, – что тогда все обряды, литургии, мифологии, пение месс, поворачивание вертящихся калабашей? Они как бы ничто; во многих отношениях они как бы менее чем ничто. Отрешенные от

этого знания, даже наполовину от него отрешенные, они способны наполнить человека своего рода ужасом, священной невыразимой жалостью и страхом. Наиболее трагичное, что может видеть человеческое око. Пророку было сказано: «И вот, я покажу тебе еще большие мерзости: там сидят женщины, плачущие по Фаммузе»[110]. Это было крайнее в видении пророка, – тогда, как и теперь.

Обряды, Литургии, Исповедания, Синайский Гром; я более или менее знаю их историю: их возникновение, развитие, упадок и конец. Может ли гром со всех тридцати двух азимутов, повторяемый ежедневно в течение сотен лет, сделать Законы Бога для меня наиболее божественными? Брат, – нет. Может быть, я уже сделался теперь мужем и не нуждаюсь более в громе и ужасе! Может быть, я выше того, чтобы пугаться; может быть, не Страх, а уже одно только Благоговение руководит теперь мною! – Откровение, Вдохновение? Да; а твоя собственная, Богом созданная Душа, – разве ты не называешь ее «откровением»? Кто создал Тебя? Откуда Ты пришел? Голос Вечности, если ты не кощунствуешь или если ты не несчастный задушенный немой, – говорит этим твоим языком! Ты – самое последнее Порождение Природы; «Вдохновение Всемогущего» – вот что дает тебе понимание! Брат мой, брат мой!

Под мрачным Атеизмом, Маммонизмом, Джо-Мантоновским Дилетантизмом, с соответствующими им Ханжеством и Идолизмом, – под всяким грязным мусором, который наполняет и почти подавляет человеческую душу, – вот где теперь религия. Вот где ее Законы, написанные если не на каменных скрижалях, то на Лазури Бесконечности, в глубине сердца Божьего Творения, верные, как Жизнь, верные, как Смерть! Я говорю: эти Законы существуют, и ты не должен ослушиваться их. Для тебя было бы лучше, если бы ты их не ослушивался. Лучше сто смертей, чем это. И к тому же за ослушание – страшные «кары», если ты еще нуждаешься в «карах». Наблюдал ли ты, о бумажный Политик, то огненное, адское явление, которое люди называют Французской Революцией? Мчащееся непредусмотренным, непрошеным, сквозь твои пустые Области Протоколов; видное издали, в блеске, но не Небесном? Десять столетий будут видеть его. Тогда были в Медоне Кожевни для человеческой кожи. И Ад, самый подлинный Ад, получил на время власть над Божьей Землею. Это самое жестокое Знамение, которое когда-либо поднималось в сотворенном Мире за последние десять столетий. Преклонимся пред ним с сердцем, пораженным ужасом и раскаянием, как пред новым гласом Бога, хотя и гневного. Да будет благословен Божий глас, ибо он истинен, и Ложь должна исчезнуть перед ним! Если

бы не это сверхприродное, почти адское Знамение, – никто бы и не знал, что делать с этим злосчастным миром в наши дни. Эта достойнейшая жалости, подавленная шарлатанством, а теперь подавленная голодом поверженная Презренность и Flebile Ludibrium[111] Входящих и Исходящих, Вращающихся Калабашей, Бастилии по Закону о бедных, – кто бы мог думать, что им предназначено продолжать свое существование?

Сколько кар, брат мой! И та кара, которая заключает в себе все другие: Вечная Смерть для твоей несчастной Души, если ты уже не обращаешь внимания на другие. Вечная Смерть, говорю я, во многих смыслах, древних и новых, удовольствуемся здесь только одним из них. Вечная невозможность для тебя быть чем-нибудь иным, кроме как Химерой и быстро исчезающим, обманчивым Призраком в Божьем Творении; исчезающим быстро, чтобы никогда уже снова не появляться; зачем ему снова появляться? Тебе представлялась одна возможность, тебе никогда не представится другой. Бесконечные века будут мчаться, и ни одного тебе не будет вновь дано. Даже самая безумная, членораздельно говорящая душа, ныне существующая, не должна ли и она сказать себе: «Целую Вечность ждала я, чтобы родиться, и вот теперь целая Вечность ожидает, чтобы видеть, что я сделаю, родившись!» Это не Теология, это Арифметика. И ты понимаешь это лишь наполовину, лишь наполовину веришь в это? Увы, на берегах Мертвого Моря, по Субботам, разыгрывается Трагедия!

Но оставим «Религию». О ней, говоря по правде, гораздо выгоднее, в наши неописуемые дни, хранить молчание. Тебе не нужна «Новая Религия», и непохоже, чтобы ты мог ее себе добыть. У тебя «религии» уже сейчас больше, чем ты прилагаешь ее к делу. Ты уже сейчас знаешь десять предписанных тебе обязанностей, видишь в уме своем десять вещей, которые должны были бы быть сделаны, против одной, которую ты делаешь. Сделай одну из них; это само собой покажет тебе десять других, которые могут и должны быть сделаны. «Но моя будущая судьба?» Да, в самом деле, твоя будущая судьба! Твоя будущая судьба, в то время как ты делаешь ее главным вопросом, представляется мне в высшей степени подлежащей вопросу. Я не думаю, чтобы она могла быть хороша.

Северный Один незапамятные века тому назад, хотя он и был жалким Язычником, на рассвете Времен, не учил ли он нас, что для Трусов нет и не может быть хорошей судьбы; для них не может быть никакого убежища, кроме как внизу, с Хелью, в бездне Ночи! Трусы, Холопы – те, кто жаждет Удовольствий, дрожит перед Страданием. Для этого мира и для будущего Трусы – род творений, созданных, чтобы «быть заключенными под

стражу»; они ни на что другое не годны, ни на что другое не могут надеяться. Больший, чем Один, был здесь; больший, чем Один, учил нас – не большей трусости, я надеюсь! Брат мой, ты должен молить о душе; бороться с энергией не на жизнь, а на смерть, чтобы снова приобрести душу! Знай, что «религия» не Моррисоновы пилюли, извне получаемые, но пробуждение твоего собственного «я» изнутри. И прежде всего избавь меня от твоих «религий» и «новых религий» раз навсегда[112]! Я устал от этого больного карканья по религии Моррисоновых пилюль, по любой и каждой такой религии. Мне такой не нужно, и я знаю, что все подобные ей невозможны. Воскрешение старых литургий, уже умерших; еще более создание новых литургий, которые никогда не будут живы: как безнадежно! Столпничество, отшельнический фанатизм и факиризм; спазматическая, беспокойная рисовка и узкая, судорожная, болезненная, хотя всегда и благородная борьба – все это для меня нежелательные вещи. Все это мир некогда проделал, – когда его борода еще не отросла, как теперь!

И тем не менее существует на худой конец хоть одна Литургия, которая навеки остается неприкосновенной: именно (по примеру древних Монахов) – Молитва в Труде. И поистине Молитва, которая совершается в специальных капеллах, в установленные часы, а не живет всегда с человеком, возносясь от всякого его Труда и действия, во все моменты, освящая их, – чему она когда-нибудь служила? «Труд есть Поклонение»; да и притом в высшем смысле, в таком, что, при настоящем положении всякого «поклонения», едва ли кто может вполне раскрыть его. Кто хорошо постигнет его, тот постигнет Пророчество всех Будущих Времен; последнее Евангелие, которое заключает все остальные. Его собор – Собор Необъятности; видел ли ты его? Его купол – из звезд Млечного пути. Он выстлан зеленой мозаикой суши и океана, а вместо алтаря у него поистине Звездный престол Вечного. Его литания и псалмопение – благородные поступки, героический труд, страдание и истинные излияния сердец всех Доблестных между Сынами Человеческими. Его церковная музыка – древние Ветры и Океаны и глубоко звучащие нечленораздельные, но в высшей степени выразительные голоса Судьбы и Истории, – всегда небесные, как и в древности. Среди двух великих Безмолвий:

> …Безмолвны
> Над нами – созвездья,
> Под нами – могилы!

Между этими двумя великими Безмолвиями разве не

раздаются и не несутся, как мы сказали, в самое естественное время, но самым сверхъестественным образом все Шумы человеческие?

Я хочу поместить здесь также отрывок, в более низком стиле, из «Aesthetische Springwürreln»[113] Зауэртейга. «Поклонение? – говорит он. – Прежде чем весь этот пустой шум Болтовни наполнил человеческие головы и мир лежал еще в молчании, а сердце было искренне и открыто, – многое было Поклонением! Для первобытного человека все доброе, что бы ни случилось, нисходило к нему (как это в действительности всегда и бывает) прямо от Бога. Какая бы обязанность ни выяснялась для него, ее предписывал Всевышний Бог. И в настоящий час я спрашиваю тебя: «Кто же иначе?» Для первобытного человека, в котором обитала Мысль, эта Вселенная была вся – Храм; Жизнь – вся Поклонение.

Например, разве не заключается Поклонение в простом Мытье? Это, может быть, одна из наиболее нравственных вещей, делать которую, при обыкновенных обстоятельствах, во власти человека. Разденься, сядь в ванну или хотя бы только в чистый колодезь или в проточный ручей – и вымойся там, и будь чист! Ты выйдешь оттуда более чистым и более хорошим человеком. Это сознание полной внешней чистоты, того, что к твоей коже больше не пристает никакое постороннее пятно несовершенства, – какими лучами оно тебя освещает в ясном, символическом влиянии, до глубины твоей души! В тебе усилилось стремление ко всевозможно хорошим вещам. Древнейшие Восточные Мудрецы с радостью и священной благодарностью так это и чувствовали, – равно как и то, что это было даром и волею Творца. Чьей же иначе? С древнейших времен на Востоке это – религиозная обязанность. И герр профессор Штраус[114], когда я предложил ему этот вопрос, не мог отрицать, что это так еще теперь и для нас, на Западе! Когда этот темный закопченный Рабочий выходит из своей дымной фабрики, – какова первая обязанность, которую я предписал бы ему и для исполнения которой предложил бы мою помощь? Чтобы он очистил свою кожу. Может ли он молиться каким-нибудь установленным образом? Этого нельзя знать вполне, но с помощью мыла и достаточного количества воды он может вымыться. Даже тупые Англичане чувствуют что-то в этом роде; у них есть поговорка: «Кто чист, тот Богу мил»; а между тем никогда, ни в одной стране не видел я хуже вымытых рабочих людей и в климате, пропитанном самой мягкой дождевой водой, такого скудного количества бань!» Увы, Зауэртейг, у наших «рабочих людей» теперь не хватает даже картофеля, какие же «обязанности»

можешь ты им предписывать?

Или бросим взгляд на Китай. Наш новый друг, тамошний Император, – это Первосвященник трехсот миллионов людей, которые все живут и работают вот уже много столетий: настолько подлинно покровительствует им Небо, и потому они должны иметь какую-нибудь «религию». Этот Император-Первосвященник действительно имеет религиозную веру в некоторые Законы Неба. Соблюдает, с религиозной ревностью, «три тысячи церемоний», данные мудрыми людьми около шестидесяти поколений тому назад, как четкий список помянутых законов, – и Небо, по-видимому, заявляет, что этот список не совершенно неточен. У него немного обрядов, у этого Первосвященника-Императора. Вероятнее всего, он думает вместе с древними Монахами, что «Труд есть Поклонение». Наиболее публичный Акт Поклонения, им совершаемый, есть, по-видимому, торжественное проведение Плугом в известный день по зеленому лону нашей Матери-Земли, когда Небеса после мертвой, черной зимы снова пробудят ее своими весенними лучами, отчетливой красной Борозды – знак, что все плуги Китая должны начинать пахоту и поклонение! Это весьма замечательно. Он, на виду у Видимых и Невидимых Сил, проводит свою отчетливую красную Борозду, говоря и молясь, в немом символизме, о столь многом, в высшей степени красноречивом!

Если спросить этого Первосвященника: «Кто сотворил его? Что станется с ним и с нами?» – то он сохранит полную достоинства сдержанность; сделает движение рукой и первосвященническими очами по неисследимой глубине Неба, «Цзинь», лазурного царства Бесконечности, как бы спрашивая: «Разве можно сомневаться, что мы сотворены вполне хорошо? Разве может что-нибудь, что дурно, случиться с нами?» – Он и его триста миллионов (это их главная «церемония») ежегодно посещают Могилы своих Отцов. Каждый – Могилу своего Отца и своей Матери; и там, одинокий, в молчании, с каким только может «поклонением» или иною мыслью, – стоит торжественно каждый. Над ним божественные Небеса в полном молчании; божественные Могилы, и эта божественнейшая Могила, в полном молчании, – под ним. Биение его собственной души, если у него есть какая-нибудь душа, лишь оно одно слышно. Поистине, это может быть своего рода поклонением! Поистине, если человек не может бросить взгляда в Вечность, смотря сквозь этот портал, – сквозь какой иной стоит ему пытаться смотреть?

Наш друг Первосвященник-Император милостиво, хотя и с презрением разрешает всяким Буддистам, Бонзам, Талайпонам[115] и прочим строить кирпичные Храмы на свободных основаниях;

поклоняться с каким угодно пением, бумажными фонарями, шумным гвалтом и делать ночь отвратительной, раз они находят в этом какое-нибудь утешение. Милостиво, хотя и с презрением. Он – Первосвященник более мудрый, чем думают многие! До сих пор он – единственный верховный Властитель или Священник на этой Земле, сделавший определенную систематическую попытку подойти к тому, что мы называем последним выводом из всякой религии: «Практическому Поклонению Героям» – он непрестанно, с истинной заботливостью, любым возможным путем, пересматривает и просеивает (можно сказать) все свое громадное население в поисках Мудрейших, рожденных в нем, каковыми Мудрейшими, как природными королями, эти триста миллионов людей и управляются. Небеса, по-видимому, поддерживают его до некоторой степени. Эти триста миллионов в настоящую минуту производят фарфор, кантонский чай, с неисчислимым количеством других вещей, – и борются под знаменем Неба, против Нужды, – и у них было меньше Семилетних войн, Тридцатилетних войн, Войн Французской Революции и адских битв друг с другом, чем у некоторых иных миллионов!

Даже в самой нашей несчастной, безумной Европе разве не раздавались в эти последние времена религиозные голоса – религией новой и в то же время древнейшей, совершенно неоспоримой для сердец всех людей? Я знаю тех, которые не называли и не считали себя «Пророками», совсем напротив. Но которые в действительности могли бы быть новыми мелодическими Голосами из вечного Сердца Природы, душами, навеки почтенными для всех, кто имеет душу. Французская Революция есть одно явление; поэт Гете и Германская Литература как дополнение и духовный показатель ее – другое. Так как прежний Светский, или Практический, Мир погиб в огне, то не видно ли пророчества и зари нового, Духовного Мира, родственного более благородным, обширным, новым Практическим Мирам? Жизнь Античной набожности, Античной правдивости и героизма стала снова возможной, действительно видна для большинства современных людей. Явление, которое, как оно ни бесшумно, по своему величию не может быть сравнено ни с каким другим.

«Великое событие для мира теперь, как и всегда, состоит в появлении в нем нового Мудрого Человека». Слышатся звуки – да будет вечная благодарность Небесам – новой мелодии Сфер! Они снова слышны среди бесконечно вздорных ссор и жалкого, грубого карканья того, что именуют Литературой. Они бесценны, как голос новых Божественных Псалмов! Литература, подобно старинным Собраниям Молитв первых веков, если она только

«хорошо выбрана, а остальное сожжено», содержит драгоценные вещи. Ибо Литература, несмотря на все ее печатные станки, приспособления для реклам и безбрежную оглушающую пошлость, есть все-таки «Мысль Мыслящих Душ». «Священная религия», если вам нравится это слово, живет в сердце этого странного океана пены, не совсем, впрочем, пены, который мы называем Литературой, и она будет все более и более выделяться из него. Но теперь уже не как опаляющий Огонь: красный, дымящийся, опаляющий огонь очистил себя, превратившись в белый солнечный Свет. Разве Свет не выше Огня? Это тот же самый элемент, только в состоянии чистоты.

Мои разумные читатели, мы удалимся из этой части книги с размеренным словом Гете на устах. Со словом, которое, быть может, было уже воспето многими сердцами в мрачные и светлые часы. Для меня, который находит его набожным, но совершенно правдоподобным и достоверным, полным благоговения, но свободным от ханжества… Для меня, который с радостью находит в нем многое и с радостью столь многого в нем не встречает, этот маленький музыкальный отрывок величайшего Мужа Германии звучит, как строфа великой Путевой Песни или Походной Песни наших великих Тевтонских Родичей. Они шествуют, шествуют, мужественные и победоносные, сквозь нераскрытые Глубины Времени! Он называет ее Масонской Ложей, – не Псалмом или Гимном:

В труде Камнетеса —
Подобие Жизни;
Его постоянство —
Как дней человека
Теченье земное.

И Радость, и Горе
В Грядущем таятся;
И люди стремятся
Вперед, не боятся
Того, что в нем скрыто.

Торжествен, завешан
У цели всех смертных
Портал, и безмолвны
Над нами – созвездья.
Под нами – могилы.

В его созерцанье —

Предчувствие страха
И ужаса трепет:
Боязнь и сомненье
Смущают Храбрейших,

Но Голос здесь слышен;
То Мудрости Голос,
Миров и Столетий:
«Блюдите! Ваш выбор
И краток, и – вечен!

Здесь, в Вечном Покое,
Где все – совершенство,
Вас видят, вам, верным,
Награду готовят.
Трудитесь, надейтесь!»

IV Гороскоп

Аристократии

Предсказывать Будущее, управлять Настоящим не было бы так невозможно, если бы с Прошлым не обращались столь святотатственно дурно, если бы его так не отвергали и, что еще хуже, не искажали! Прошлое не может быть видимо. Прошлое, когда на него в наше время смотрят сквозь «Философскую Историю», даже не может быть невидимо. Оно ложно видимо; про него утверждают, что оно существовало и – что оно было безбожной Невозможностью. Эти ваши Нормандские Завоеватели, истинно царственные души, короли, коронованные как таковые были хищные, безумные тираны. Этот ваш Бекет был шумливый эгоист и лицемер. Он разбрызгал свой мозг по полу Кентерберийского Собора, чтобы добиться собственной выгоды, – несколько неясно, как именно! «Политика, Фанатизм» или, скажем, «Энтузиазм», даже «добросовестный Энтузиазм», – о да, конечно:

> Пес, выгоды свои преследуя, взбесился
> И человека укусил[116]!

Ибо, по правде, глаз видит во всем то, «видеть что он наделен средством». Безбожный век, смотря назад, на века, которые были божественными, создает образы самые удивительные, какие только возможно. В Прошлом все было бессмысленным раздором. Грубая Сила правила повсюду. Глупость, дикое Неразумие, более годное для Бедлама, чем для человеческого Мира! Благодаря этому, конечно, совершенно естественно, что подобные же качества, в новых, более блестящих одеждах, могут продолжать править и в наше время. Миллионы, зачарованные в Бастилиях Работных домов; Ирландские Вдовы, доказывающие свое родство тифом: чего вы хотите? Так было всегда и даже еще хуже. История человечества, не состояла ли она всегда в следующем – поджаривании и съедании глупого Простофильства удачливым Шарлатанством; борьбе различными оружиями хищного Шарлатана и Тирана против хищного Тирана и Шарлатана? Бога в Прошлом не было. Ничего, кроме Механики и Хаотических Животнобогов. Как может бедный «Историк-философ», для которого его собственный век совершенно безбожен, усмотреть какого-нибудь Бога в другие века?

Люди верят в Библии и не верят в них. Но изо всех Библий ужаснее всего не верить в «Библию Всеобщей Истории». Это – вечная Библия и Божья Книга, и каждый смертный, пока душа и зрение его не потухли, «может и должен собственными глазами видеть, как Перст Божий пишет в ней!» Сомневаться в этом есть неверие, которому нет подобного. Такое неверие следует наказывать если не огнем и костром, применять которые в наше время трудно, – то, во всяком случае, самым категорическим приказанием молчать, пока оно не сумеет сказать чего-нибудь более умного. К чему нарушать криками благословенное Молчание, если они могут возвещать только что-нибудь подобное? Если в Прошлом нет Божественного Разума, ничего, кроме Дьявольского Неразумия, – то пусть Прошлое будет навеки забыто. Не упоминайте о нем более. Все наши предки были повешены; зачем нам говорить о веревках?

Коротко сказать: неверно, будто люди, с тех самых пор как стали обитать на нашей Планете, жили всегда Бредом, Лицемерием, Несправедливостью или иными формами Неразумия. Неверно, будто они когда-нибудь жили или могут жить чем-нибудь иным, кроме как противоположностью всего этого. Люди должны будут снова научиться этому. Их живая История будет тогда опять Героизмом. Их писаная История – тем, чем она некогда была, – Эпосом. Да, она всегда будет таковой, или же она в существе своем есть Ничто. Будь оно написано в тысяче томов, Негероическое этих томов непрестанно спешит навстречу забвению. Действительное содержание Александрийской Библиотеки Негероического остается и в конце концов всегда выкажет себя нулем. У какого человека может быть интерес помнить это? Нет ли у всех людей, во все времена, самого живого интереса забыть это?

«Откровения», если не небесные, то адские, научат нас, что Бог есть; и тогда, если понадобится, мы без труда усмотрим, что Он всегда был! Драйасдестовское Философствование и просвещенный Скептицизм XVIII столетия, исторический и иной, проживут еще некоторое время у Физиологов как достопамятный Кошмар. Вся эта безумная эпоха с ее призрачными учениями и мертвоголовыми Философиями, «учащими на примерах» или еще как-нибудь, – сделается со временем тем, чем являются для наших Мусульманских друзей их века безбожия, – «Периодом Невежества».

Если судорожная борьба последнего Полустолетия научила бедную, борющуюся в судорогах Европу какой-нибудь истине, то только, может быть, следующей как выводу из бесчисленных других: Европа нуждается в действительной Аристократии,

Священстве, или она не может продолжать существовать. Громадная Французская Революция, Наполеонизм, затем Бурбонизм с его «тремя днями» в заключение, заканчивающийся в весьма неокончательном Луи-Филиппизме, – все это должно было бы быть поучительно! Все это могло бы научить нас, что Ложные Аристократии – невыносимы; Не-аристократии, Свобода и Равенство – невозможны; истинные Аристократии – одновременно неизбежны и нелегко достижимы.

Аристократия и Священство, Правящий Класс и Учащий Класс, оба они, иногда раздельные и стремящиеся согласоваться один с другим, иногда соединенные в одно, так что Король является Первосвященником-Королем: ни одно Общество не существовало без этих двух жизненных элементов; ни одно не будет существовать. Это лежит в самой природе человека: вы не найдете ни одной самой отдаленной деревни в самой республиканской стране мира, где бы вы не встретили, в возможности или действительности, работу этих двух сил. Человек, сколь мало бы он это ни предполагал, необходимо должен повиноваться высшим. Он – общественное существо в силу этой необходимости; иначе он не мог бы быть даже стадным существом. Он повинуется тем, кого почитает лучшими, чем он сам, более мудрыми, мужественными; и он всегда будет им повиноваться; и даже будет всегда готов и счастлив это делать.

Более Мудрые, более Мужественные, они – всегда и везде Возможная Аристократия. Во всех Обществах, достигших какого-нибудь определенного устройства, развиваются в правящий класс, Действительную Аристократию, с установленными приемами действования то, что мы называем законами и даже частными законами, привилегиями и так далее. Явление, весьма достойное замечания в нашем мире. Аристократия и Священство, говорим мы, бывают иногда соединены. Ибо поистине самые Мудрые и самые Мужественные составляют собственно только один класс. Нет мудрого мужа, которому не надо было бы прежде всего быть мужественным мужем; без этого он никогда не был бы и мудрым. Благородный Священник всегда был прежде всего благородным Aristos[117], а в заключение – кое-чем и большим. Лютер, Нокс, Ансельм, Бекет, Аббат Самсон, Сэмюэл Джонсон, если бы они не были достаточно мужественны, каким образом могли бы они быть когда-нибудь мудры? Если, случайно или преднамеренно, эта Действительная Аристократия разделится на Два Класса, то нет сомнения, что Священнический Класс будет более почетным, высшим над другим, как правящая голова выше действующей руки. Но вот на практике более вероятным оказывается обратное устройство – знак, что в нем уже есть изъян; уже проникла

трещина, которая будет расширяться и расширяться, пока не рушится все.

В Англии, да и вообще в Европе, следует сказать, эти две Возможности раскрылись в Действительность гораздо более разнообразным образом, чем можно было видеть когда-нибудь где-либо на земном шаре. Духовное Руководство, практическое Управление – плод великих сознательных забот или, лучше сказать, неизмеримых бессознательных инстинктов и потребностей людских – прочно утвердились здесь и представляют собой очень странное зрелище. Везде, в то время как столь многое было забыто, найдете вы Дворец Короля или Замок Вице-Короля, Палаты, Господские дома. От моря до моря нет ни пяди земли, которая не имела бы своего Короля, Вице-Короля, длинных соответствующих рядов Вице-Королей, Помещика, Графа, Герцога или какой там у него ни будь титул, – которому вы передали землю, чтобы он мог править на ней вами.

И что еще более трогательно, нет ни одной деревушки, где собраны бедные крестьяне, в которой тем или другим способом не было бы устроено все нужное для Прихода: крытое здание, с доходами и колокольнями; кафедра, аналой с Книгами и Уставами. Словом, возможность и строгое предписание: чтобы здесь стоял человек и говорил людям о духовных вещах. Это великолепно; даже при большом помрачении и падении это принадлежит к числу великолепнейшего и наиболее трогательного, что только можно видеть на Земле.

Правда, этот Говорящий Человек в настоящую минуту страшно удалился в сторону. Он, увы, так сказать, совершенно потерял из виду настоящую точку; и тем не менее кого можно было, в конце концов, сравнить с ним? Изо всех общественных чиновников, получающих от Промышленности Современной Европы стол и квартиру, есть ли хоть один, более достойный стола, который он получает? Человек, который берется и даже делает кое-какие, хотя бы самые слабые, усилия спасать души людей! Сопоставьте его с человеком, который не берет на себя почти ничего, кроме как стрелять принадлежащих людям куропаток! Мне хотелось бы, чтобы он снова мог найти настоящую точку, этот Говорящий Человек, и держаться за нее с упорством, с энергией не на жизнь, а на смерть; ибо мы все еще нуждаемся в нем.

Задачи Речи, то есть Истины, доходящей до нас в живом голосе, даже в живом виде и как конкретный, практический пример, эти задачи, несмотря на все наши задачи Письма и Печатания, имеют вечное значение. Если б только он мог снова найти настоящую точку; снять с носа старые очки и, взглянув,

увидеть, почти непосредственно около себя, что такое теперь действительный Сатана и пожирающий душу, пожирающий мир Дьявол! Первородный Грех и тому подобное очень дурно, я в этом не сомневаюсь; но очищенный Джин, мрачное Невежество, Глупость, мрачный Хлебный закон, Бастилия и компания – что это такое? Узнает ли он нового действительного Сатану, с которым должен бороться, или же он будет по-старому брюзжать сквозь свои старые очки на старых, исчезнувших Дьяволов – и не увидит настоящего, пока не почувствует его у своего собственного горла и у нашего? Вот вопрос для Вселенной! Но не будем с ним здесь возиться.

Сколь ни печально, сколь ни призрачно выглядит теперь эта самая Двойная Аристократия Учителей и Правителей, – всем людям надо знать, что задача ее есть и всегда будет благородна, в высшей степени действительна. Драйасдест, смотря только поверхностно, находится в большом заблуждении относительно этих древних Королей. Вильгельм Завоеватель, Вильгельм Руфус, или Рыжая Борода, сам Стефан Кертоз, а еще более Генрих Боклерк и наш мужественный Генрих Плантагенет! Жизнь этих людей не была хищной Борьбой. Она была доблестным Правлением, к которому лишь случайно присоединялась Борьба и должна, увы, присоединяться и теперь, хотя гораздо реже, как некоторое добавление, печальная, мешающая прибавка. Борьба была также необходима, чтобы убедиться, кто над кем имеет власть, право. Посредством долгой, упорной борьбы «не-действительность, разбитая в прах, постепенно разлетелась». Она оставила чистую действительность, факт: «Ты – сильнее меня; ты – мудрее меня; ты – король, а подданный – я» – в несколько более ясном виде.

Поистине, мы не можем достаточно налюбоваться в эти времена Аббата Самсона и Вильгельма Завоевателя, как они устроили свои Правящие Классы. В высшей степени интересно наблюдать, как искреннее с их стороны внимание к тому, что должно было быть исполнено в силу первой необходимости, привело их к способу его исполнения и с течением времени к достижению его! Никакая выдуманная Аристократия не могла бы сослужить им здесь службы; и вследствие этого они добились настоящей. Самые Мужественные люди, которые, – это надо всегда повторять и напоминать, – в общем, суть также самые Мудрые, Сильные, во всех отношениях Лучшие, были ими выбраны со значительной степенью точности. Посажены каждый на своем клочке земли, который был сперва им предоставлен, а потом постепенно и совсем отдан, чтобы они могли править им. Эти Вице-Короли, каждый на своем участке общей земли Англии,

с Верховным Королем над всеми, были «Возможностью, развившейся в Действительность» поистине в удивительной степени.

Ибо то были грубые, сильные века, полные значительности, суровой Божьей правды, – и, во всяком случае, оболочка у них была несравненно тоньше, чем у нас. Факт быстро действовал на них, если им когда-нибудь случалось подчиниться Призраку! «Холопы и Трусы» должны были быть, до некоторой степени, «заключаемы под стражу»; или иначе мир нашел бы, что не может существовать в течение какого-нибудь года. В соответствии с этим Холопы и Трусы и были заключаемы под стражу. Трусы даже на самом троне должны были быть заключены под стражу и низведены с трона – теми способами, которые тогда существовали; самым грубым способом, если случайно не попадалось более мягкого. Несомненно, тогда было много жестокости в приемах, суровости, как и вообще правление и хирургия часто бывают суровы. Гурт, прирожденный раб Седрика, кажется, получал удары так же часто, как и свиные объедки, если нехорошо себя вел. Но Гурт принадлежал Седрику; тогда не существовало ни одного человеческого существа, которое не было бы с кем-нибудь связано. Никому не предоставлено идти своей дорогой в Бастилию или куда-нибудь еще хуже, по системе Laissez faire. Никто не был вынужден доказывать свое родство смертью от тифа! Приходят дни, когда не будет Царя во Израиле, но когда каждый человек будет сам себе царь и будет делать, что праведно в очах его; и когда зажгутся смоляные бочки в честь «Свободы», «Десятифунтового Избирательного права» и тому подобного – с значительным, в разных отношениях, эффектом!

Эта Феодальная Аристократия, говорю я, не была воображаемой. В значительной степени ее Jarls, то, что мы теперь называем Earls, Графы, были сильными в действительности столько же, сколько и в этимологии; ее Duces, Герцоги, – Вождями; ее Lords, Лорды, – Law-wards, Хранителями Закона. Они исполняли все военные и полицейские обязанности в стране, все обязанности Суда, Законодательства, даже Расширения Церкви – словом, все, что могло быть сделано в области Правления, Руководства и Покровительства. Это была Земельная Аристократия; она распоряжалась Управлением Английского Народа и получала в обмен плоды от Земли Англии. Это во многих отношениях Закон Природы, этот самый Закон Феодализма: нет истинной Аристократии, кроме Земельной. Любопытствующие приглашаются поразмышлять об этом в наши дни. Военная служба, Полиция и Суд, Расширение Церкви, вообще всякое истинное Управление и Руководство – все это было

действительно исполняемо Держателями Земли в обмен за их землю. Сколь многое из этого исполняется ими теперь, исполняется кем бы то ни было?

Благие Небеса, «Laissez faire, не делайте ничего, проедайте ваше вознаграждение и спите» – это повсюду страстный, полуразумный крик нашего времени. И они не ограничиваются желанием ничего не делать, они хотят еще издавать Хлебные законы! Мы собираем Пятьдесят два миллиона со всех нас, чтобы иметь Управление или, увы, чтобы убедить себя, что мы его имеем. И «специальный налог на Землю» должен оплатить не все это, но оплатить, как я узнал, одну двадцать четвертую часть всего этого. Наш первый Чартистский Парламент, или Оливер Redivivus[118], скажете вы, будет знать, на кого возложить новые налоги Англии! – Увы, налоги! Если вы заставите Держателей Земли оплачивать до последнего шиллинга расходы по Управлению Землей, – что из этого? Земля не может быть управляема одними только наемными Правителями. Нельзя нанять людей, чтобы управлять Землей: не по полномочию, обусловленному Биржевым Контрактом, а по полномочию, небесное происхождение которого сознается в собственном сердце, могут люди управлять Землей. Полномочие Земельной Аристократии священно, в обоих смыслах этого старинного слова. Основание, на котором оно стоит в настоящее время, может вызвать мысли иные, чем о Хлебных законах!

Но поистине «Сияние Божие», как в грубой клятве Вильгельма Завоевателя, сияло в эти старые, грубые, искренние века. Оно все более и более озаряло небесным благородством все отрасли их труда и жизни. Призраки не могли еще тогда разгуливать в одних только Портновских Нарядах. Они были по меньшей мере Призраками «на краю небосклона», начертанными на нем вечным Светом, сияющим изнутри. В высшей степени «практическое» Почитание Героев, бессознательно или полусознательно, было распространено повсюду. Какой-нибудь Монах Самсон, maximum с двумя шиллингами в кармане, мог без баллотировочного ящика быть сделан Вице-Королем, раз увидели, что он того достоин.

Тогда сознавали еще, что разница между хорошим человеком и дурным человеком, – какова она всегда и есть, – неизмерима. Кто осмелился бы в те дни избрать Пандаруса Догдраута[119] на какую-нибудь должность, в Карлтонский клуб[120], Сенат или вообще куда-нибудь. Тогда сознавали, что Архисатана, и никто другой, имеет право собственности на Пандаруса; лучше было бы не иметь никакого дела с Пандарусом, избегать соседства Пандаруса! Это и до настоящего часа – очевидный факт, хотя в настоящее время, увы, забытый факт! И я думаю, что это были

сравнительно благословенные времена в своем роде. «Насилие», «война», «неустройство»; однако что такое война и сама смерть в сравнении с такою постоянной жизнью в смерти и с «миром, миром там, где нет мира»! Если только не может снова возникнуть какое-нибудь Почитание Героев в новой, соответствующей форме, то этот мир не очень-то обещает быть долго обитаемым!

Старый Ансельм, изгнанный Архиепископ Кентерберийский, один из наиболее чистых умом «гениальных людей», отправился, чтобы принести в Рим жалобу на короля Руфуса, – человека с грубыми приемами, в котором «внутренний Свет» сиял весьма тускло. Прекрасно читать, у Монаха Идмера, как народы Материка приветствовали и почитали этого Ансельма, как нигде во Франции народ не почитает теперь Жан-Жака или убийственного Вольтера; как даже Американское население не почитает теперь Шнюспеля, выдающегося Романиста[121]! С помощью воображения и истинной проницательности они получили самое твердое убеждение, что Благословение Божье почиет на этом Ансельме, – каково также и мое убеждение. Они теснились вокруг него, коленопреклоненные и с горящими сердцами, дабы получить его благословение, услышать его голос, увидеть свет лица его. Мое благословение да будет над ними и над ним!

Но наиболее замечателен был некий нуждающийся, или жадный, Герцог Бургундский, находившийся, будем надеяться, в стесненных обстоятельствах. Он сообразил, что, по всей вероятности, этот Английский Архиепископ, отправляясь в Рим для жалобы, должен был взять с собою некоторый запас денег, чтобы подкупать Кардиналов. Вследствие чего этот Бургундец со своей стороны решился лечь в засаду и ограбить его. «На одном открытом месте в лесу», – в каком-нибудь «лесу», который зеленел и рос восемь веков тому назад в Бургундской земле. Этот свирепый Герцог, со свирепыми вооруженными спутниками, волосатый, дикий, как Русский медведь, бросается на слабого, старого Ансельма, который едет себе на своей маленькой, спокойно идущей лошадке, сопровождаемый только Идмером и другим бедным монахом на лошадках. Он не имел с собою ни одной золотой монеты, кроме небольшого количества денег на дорогу. Закованный в железо Русский медведь выскакивает с молниеносным взглядом; а старик с седой бородой не останавливается. Он едет себе спокойно дальше и смотрит на него своими ясными, старыми, серьезными глазами, со своим почтенным, озабоченным, изборожденным от времени лицом.

Никто и ничто не должно его бояться, и он также никого и

ничего сотворенного не боится. Огненные глаза Его Бургундской Светлости встречают этот ясный взор, и он быстро проникает ему в сердце. Он соображает, что, может быть, в этом слабом, бесстрашном, старом Облике есть нечто от Господа Всевышнего. Вероятно, он будет осужден, если тронет его; – что вообще ему лучше этого не делать. Он, этот грубый дикарь, опускается со своего боевого коня на колени. Он обнимает ноги старого Ансельма и также просит его благословения, приказывает своим людям сопровождать его, охранять от нападения разбойников и – под страхом ужасных наказаний! – смотреть, чтобы он был безопасен на своем пути. Per os Dei[122], как обыкновенно восклицал Его Величество!

Ссоры Руфуса с Ансельмом, Генриха с Бекетом не лишены назидательности и для нас. В сущности, это были великие ссоры. Ибо если допустить, что Ансельм был полон божественного благословения, он никоим образом не совмещал в себе всех форм божественного благословения. Существовали совершенно иные формы, о которых он даже и не грезил, и Вильгельм Рыжая Борода бессознательно был их представителем и глашатаем. По правде, если бы этот божественный Ансельм, этот божественный Папа Григорий были свободны в своих поступках, то последствия этого были бы весьма замечательны. Наш Западный мир обратился бы в Европейский Тибет с одним Великим Ламой, восседающим в Риме, и нашей единственно почетной обязанностью было бы служить обедни по целым дням и ночам, – что ни малейшим образом не подходило бы для нас. Высшие Силы соизволили иначе.

Это было, как если бы Король Рыжая Борода бессознательно сказал, обращаясь к Ансельму, Бекету и другим: «Ваше Высокопреподобие, ваша Теория Вселенной не может быть оспариваема ни человеком, ни дьяволом. До глубины сердца чувствуем мы, что то божественное, что вы называете Матерью-Церковью, наполняет весь доселе известный мир. И в ней есть, и должно быть, все наше спасение и все наше желание. И тем не менее посмотрите: хотя это еще – невысказанная тайна, тем не менее – мир обширнее, чем кто-нибудь из нас думает, Ваше Высокопреподобие! Посмотрите: есть еще много неизмеримо священного в том, что вы называете Язычеством, Мирским! Вообще я смутно, но очень твердо чувствую, что не могу согласиться с вами. Западный Тибет и постоянное служение обеден, – нет! Я, так сказать, в ожидании; я чреват не знаю чем, но несомненно, чем-то весьма отличным от этого! Я, per os Dei, я ношу в себе Манчестерскую Хлопчатобумажную торговлю, Бирмингемскую торговлю Железом, Американскую Республику,

Индийскую Империю, Паровые Машины и Шекспировы Драмы; и я не могу разрешиться, Ваше Высокопреподобие!»

И соответственно с этим и было постановлено; и Саксонец Бекет потерял свою жизнь в Кентерберийском Соборе, подобно тому как Шотландец Уоллес на Тауэр-Хилле[123] и как вообще должен это делать всякий благородный муж и мученик. Не понапрасну, нет; но из-за чего-то божественного, иного, чем он сам рассчитывал. Мы расстанемся теперь с этими жестокими органическими, но ограниченными Феодальными Веками и робко взглянем в необъятные Промышленные Века, до сих пор совершенно неорганические и в совершенном состоянии слизи, отчаянно стремящиеся отвердеть в какой-нибудь организм!

Так как наш Эпос теперь есть Орудие и Человек, то более чем когда-либо, невозможно предсказывать Будущее. Безграничное Будущее предустановлено и даже уже существует, хотя и невидимо, тая в своих Хранилищах Тьмы «радость и горе». Но и высочайший человеческий ум не может заранее изобразить многое из грядущего – соединенный ум и усилия Всех Людей во всех будущих поколениях, только они постепенно изобразят его и очертят и оформят в видимый факт! И как бы мы ни напрягали сюда наше зрение, наивысшее усилие ума открывает только брезжащий свет, малую тропу в его темные, необъятные Глубины. Лишь крупные очертания неясно светятся перед взором, и луч пророчества потухает уже на коротком расстоянии. Но не должны ли мы сказать здесь, как и всегда: довлеет дневи злоба его[124]! Упорядочить все Будущее не наша задача, а только упорядочить добросовестно малую часть его, согласно правилам, уже известным. Вероятно, можно каждому из нас, если только он спросит с подобающей серьезностью, вполне уяснить себе, что он со своей стороны должен делать. И пусть он это от всего сердца и делает, и продолжает делать. Окончательный вывод предоставим, как это в действительности всегда и происходило, Уму более Высокому, чем наш.

Одно большое «очертание», или даже два, сумеют, может быть, в настоящем положении дела представить себе заранее многие серьезные читатели – и извлечь отсюда некоторое руководство. Одно предсказание, или даже два, уже возможны. Ибо Древо жизни Иггдрасиль, во всех его новых проявлениях, есть то же самое, древнее, как мир, Древо жизни, найдя в нем элемент или элементы, текущие от самых корней в Царстве Хели, источнике Мимира[125] и Трех Норн, или Времен, вплоть до настоящего часа, наши собственные сердца, – мы заключаем, что так это будет продолжаться и впредь. В собственной душе человека сокрыто Вечное: он может прочитать там кое-что о

вечном, если захочет посмотреть! Он уже знает то, что будет продолжаться, и то, чего никакими средствами и приемами нельзя побудить продолжаться.

Одно обширное и обширнейшее «очертание» могло, во всяком случае, сделаться для нас действительно ясным. «Сияние Божье», в той или другой форме, должно раскрыться также и в сердце нашего Промышленного Века. Иначе он никогда не сделается «организованным», но по-прежнему будет хаотичным, несчастным, все более расстроенным, – и должен будет погибнуть в безумном, самоубийственном распаде. Второе «очертание», или пророчество, более узкое, но также достаточно обширное, представляется не менее достоверным: будет снова Царь в Израиле; система Порядка и Управления; и каждый человек увидит себя до некоторой степени принужденным делать то, что праведно в очах Царевых. И это также можно назвать твердым элементом Будущего, ибо это также от Вечного. Но это также и от Настоящего, хотя и скрыто от большинства; и без этого не существовала никогда ни одна частица Прошлого. Действительно новая Власть, Промышленная Аристократия, подлинная, не воображаемая Аристократия, для нас необходима и бесспорна.

Но какая Аристократия! На каких новых, гораздо более сложных и более искусно выработанных условиях, чем эта старая, Феодальная, воюющая Аристократия! Ибо мы должны помнить, что наш Эпос теперь действительно уже не Оружие и Человек, а Орудие и Человек, бесконечно более обширный род Эпоса. И кроме того, мы должны помнить, что теперь люди не могут быть привязаны к людям медными ошейниками – ни малейшим образом! Эта система медных ошейников, во всех ее формах, навсегда исчезла из Европы!

Громадная Демократия, толпящаяся повсюду на улицах в своем Платье-Мешке, утвердила это нерушимо, не допуская никаких возражений! Безусловно, верно, что человек есть всегда «прирожденный раб» некоторых людей, прирожденный хозяин некоторых других людей, равный по рождению некоторым третьим, признает ли он этот факт или нет. Не является благом для него, если он не может признать этого факта. Он в хаотическом состоянии, на краю гибели, покуда не признает этого факта. Но ни один человек, отныне и впредь, не может быть рабом другого человека с помощью медного ошейника. Его надо привязывать иными, гораздо более благородными и тонкими способами. Раз навсегда он должен быть освобожден от медного ошейника; его свобода должна быть настолько же обширна, насколько обширны теперь его способности; и не будет ли он для вас гораздо более полезен в этом новом состоянии? Отпустите его

с доверием как свободного – и он вернется к вам к ночи с богатой жатвой! Гурт мог только стеречь свиней; а этот построит города, покорит обширные области. Каким образом в соединении с неизбежной Демократией может существовать необходимая Власть, это, несомненно, величайший вопрос, когда-либо предложенный Человечеству! Разрешение его – дело долгих годов и веков. Года и века, кто знает, сколь сложные, – благословенные или не благословенные, сообразно с тем, будут ли они с серьезным, мужественным усилием двигаться в этом отношении вперед или, в ленивой неискренности и дилетантизме, только говорить о том, чтобы двигаться вперед. Ибо отныне необходимо или такое движение вперед, или быстрое, и все более быстрое, движение к распаду.

Важно, чтобы эта великая реформа началась; Прения о Хлебном законе и всякая иная болтовня, немного меньше чем безумные, в настоящее время далеко отлетели и предоставили бы нам свободу начать! Ибо зло уже перешло в практику, стало в высшей степени очевидно. Если оно не будет замечено и предупреждено, то самый слепой глупец почувствует его в скором времени. Много есть такого, что может ждать. Но есть также нечто, что не может ждать. Когда миллионы бодрых Рабочих Людей заключены в «Невозможность» и в Бастилии по Закону о бедных, то наступило время постараться сделать «возможными» какие-нибудь средства поладить с ними. Правительству Англии, всем членораздельно говорящим чиновникам, действительной и воображаемой Аристократии, мне и тебе, – повелительно предлагается вопрос: «Как думаете вы распорядиться этими людьми? Где найдут они сносное существование? Что станется с ними, – и с вами!»

Вожди промышленности

Если бы я думал, что Маммонизм с его приспешниками должен и впредь быть единственно серьезным принципом нашего существования, я бы признал совершенно праздным искать у какого-нибудь Правительства целительных средств, так как болезнь эта не поддается лекарствам. Правительство может сделать многое, но оно отнюдь не может сделать всего. Правительство как наиболее видная часть Общества призвано указывать на то, что должно быть сделано, и, во многих отношениях, председательствовать, способствовать и распоряжаться самим исполнением. Но Правительство, несмотря на все свои указания и распоряжения, не может сделать того, чего Общество коренным образом не расположено делать. В конечном

выводе всякое Правительство есть точный символ своего Народа, с его мудростью и безумием. Мы можем сказать: каков Народ, таково Правительство.

Весь громадный вопрос об Организации Труда, и прежде всего об Управлении Трудящимися Классами, должен быть, что весьма ясно, в его главной сути разрешен теми, кто практически стоит в его центре. Теми, кто сам работает и стоит во главе работы. Зародыши всего, что может постановить в этом отношении какой бы то ни было Парламент, должны уже потенциально существовать в этих двух Классах, ибо они должны и повиноваться такому постановлению. Напрасно было бы стараться осветить Человеческий Хаос, в котором нет света, светом, падающим на него извне; порядок здесь никогда не возникнет.

Но вот в чем я твердо убежден: «Ад Англии» перестанет заключаться в «ненаживании денег»; у нас будет более благородный Ад и более благородное Небо! Я предвижу свет в Человеческом Хаосе, мерцающий, сияющий все более и более, вследствие многоразличных верных сигналов изнутри, повелевающих, чтобы Этот свет воссиял. И когда наше Божество не будет более Маммоной! О, Небеса, всякий скажет тогда себе: «К чему такая смертельная поспешность в наживании денег? Я не попаду в Ад, даже если не наживу денег! Существует другой Ад, я это знаю!» Тогда ослабеет соревнование на всех парах, всех отраслях торговли и труда. Окажется возможным найти хорошие во всех отношениях касторовые шляпы для головы, вместо семифутовых шляп из драни и глины, на колесах! Периоды дутых дел, с их паникой и торговыми кризисами, снова сделаются нечастыми; неустанный скромный труд займет место спекулятивной игры. Быть благородным Хозяином среди благородных Работников сделается снова главным честолюбием некоторых; быть богатым Хозяином – отойдет на второй план. И как сумеет Изобретательный гений Англии, отодвинув в уме шум катушек и прядильных валов более или менее на задний план, как сумеет он заняться не тем, чтобы только производить как можно дешевле, а тем, чтобы справедливо распределять продукты при их теперешней дешевизне! Мало-помалу у нас снова возникнет Общество с чем-то вроде Героизма в себе, Благословения Неба над собою. У нас снова будет, как уверяет наш Германский друг, «вместо Феодализма Маммоны с ее непроданными бумажными рубашками и Охраной Охоты, благородный, истинный Индустриализм и Правительство Мудрейших!»

И вот, в надежде, что удастся разбудить того или другого

Британца, дабы он познал в себе человека и божественную душу, – мы можем теперь обратиться с несколькими словами прощального наставления ко всем лицам, которым Небесные Силы передали власть в нашей стране. И прежде всего – к этим самым Хозяевам-Работникам, Руководителям Промышленности, ибо они стоят ближе всего к ней и действительно пользуются наибольшей властью. Хотя они и не более других на виду, так как до сих пор во многих отношениях представляют скорее Возможность, чем Действительность…

…Глубоко скрытая под гнуснейшим, забывающим Бога Ханжеством, Эпикуреизмом, Обезьянством с Мертвого Моря, забытая как бы под самым гнилым илом и тиной мутной Леты, – все-таки во всех сердцах, рожденных в Божьем Мире, дремлет искра Божественного. Проснитесь, о полуночные сонливцы! Проснитесь, встаньте или оставайтесь навсегда повергнутыми! Это – не поэзия театральных подмостков; это – трезвый факт. Англия, мир не могут жить такими, каковы они теперь. Они снова соединятся с Богом или низринутся вниз, к Дьяволам, с неописуемыми муками и огненной гибелью. Ты, который чувствуешь, как в тебе шевелится нечто из этого Божественного, некое слабейшее напоминание о нем, как бы сквозь тяжкие сновидения, – последуй за ним, заклинаю тебя. Встань, спаси себя, будь одним из тех, которые спасают твою страну.

Буканьеры, Индейцы Чактау[126], высшая цель которых в борьбе – получить скальпы и деньги, набрать кучи скальпов и денег, – из них не вышло никакого Рыцарства и никогда не выйдет! Из них вышли только кровь и разрушение, адское бешенство и бедствия; отчаяние, потухшее в уничтожении. Посмотри на это, прошу тебя, посмотри и обдумай! Что тебе из того, что у тебя есть сотня тысячефунтовых билетов, сложенных в твоем несгораемом шкафу, сотня скальпов, повешенных в твоем вигваме? Я не наделяю ценой ни тебя, ни их. Твои скальпы и твои тысячефунтовые билеты пока еще ничто, если их не освещает внутреннее благородство, если в них нет рыцарства, всегда борющегося, в действии или в зачатках рождения и действия.

Любовь людей не может быть куплена наличным платежом; а без любви люди не могут выносить совместной жизни. Нельзя руководить Воюющим Миром, не разбив его на полки, не сделав его рыцарским. С первого же дня это окажется невозможным; все в нем, сперва высшие, под конец самые низшие, понимают, сознательно или при помощи благородного инстинкта, эту необходимость. Но нельзя ли руководить Работающим Миром, не распределив его на полки, оставляя его в анархии? Я отвечаю, и Небеса и Земля отвечают ныне: нет! Правда, это оказывается

невозможным не «с первого же дня», но это окажется таковым через каких-нибудь два поколения. Да, если отцы и матери, в Стокпортских голодных подвалах, начинают есть своих детей, а Ирландские вдовы вынуждены доказывать свое родство смертью от тифа. И при Управлении «Класса Лучших и Достойнейших», занятого охранением своей охоты и запущением лесов, темные миллионы сотворенных Господом людей восстают в безумном Чартизме, неисполнимых Священных Месяцах[127] и Манчестерских Восстаниях. И возможная Промышленная Аристократия все еще лишь наполовину жива, зачарована среди денежных мешков и гроссбухов. А действительная Праздная Аристократия, по-видимому, близка к смерти в сонных фантазиях, нарушениях права охоты и двуствольных ружьях. Она «скользит» как бы по наклонной плоскости, которую ежегодно, средь Божьего мира, намыливает новой Хенсардовской болтовней[128] и, таким образом, «скользит» все быстрее и быстрее к тарифу и чаше весов, на которых написано: «Ты была найдена очень легкой»[129].

В такие дни, через поколение или два, говорю я, это оказывается, даже для простых и низких, вполне ощутимо невозможным! Трудящийся Мир, столько же, сколько и Воюющий Мир, не может быть руководим без благородного Рыцарства Труда, законов и определенных правил, из него вытекающих, – гораздо более благородного, чем всякое Рыцарство Войны. Если мы – только находящаяся в анархии толпа, основанная лишь на Спросе и предложении, тогда в страшных, самоубийственных конвульсиях и самоистязаниях мы неизбежно опустимся – ужасно для воображения! – до Рабочих-Чактау. С вигвамами и скальпами, дворцами и тысячефунтовыми билетами; дикостью, уменьшением населения, хаотическим отчаянием. Благие Небеса, неужели нам недостаточно одной Французской Революции и Господства Террора, а нужно их две? Их будет две, если понадобится; их будет двадцать, если понадобится; их будет ровно столько, сколько понадобится. Законы Природы будут исполнены. Для меня это – бесспорно.

Ты должен добиться искренней преданности твоих доблестных военных армий и рабочих армий, как это было и с другими. Они должны быть, и будут, упорядочены. За ними должна быть закономерно укреплена справедливая доля в победах, одержанных под твоим водительством, – они должны быть соединены с тобою истинным братством, сыновством, совершенно иными и более глубокими узами, чем временные узы поденной платы! Как стали бы простые полки в красных мундирах, не говоря уже ничего о рыцарстве, сражаться за тебя, если бы ты мог рассчитываться с ними в самый вечер битвы

уплатой условленных шиллингов, – и если бы они могли рассчитываться с тобою в день битвы утром!

Челсийские инвалидные дома, пенсии, повышения по службе, строго соблюдаемый и продолжительный договор с той и с другой стороны необходимы даже для наемного солдата. Тем более Феодальный Барон, как мог бы он существовать, окруженный только одними временными наемниками по шести пенсов в день, готовыми перейти на другую сторону, если будут предложены семь пенсов? Он не мог бы существовать, – и его благородный инстинкт спас его от необходимости даже испробовать это! Феодальный Барон обладал Душой Мужа, для которой анархия, смута и другие плоды временного наемничества были бы невыносимы. Иначе он никогда бы не был Бароном, а оставался бы Чактау и Буканьером. Окруженный людьми, которые от всего сердца любили его, за чьей жизнью он наблюдал со строгостью и любовью. Они готовы отдать за него свою жизнь, если бы это понадобилось, – все это он сперва высоко ценил. Потом это сделалось для него обычным и вошло в его плодотворно расширившееся существование как необходимое условие. Это было великолепно; это было человечно! Нигде и никогда человек, при других условиях, не жил и не мог жить удовлетворенным.

Обособленность есть сумма всех видов несчастья для человека. Быть отрезанным, покинутым в одиночестве; окруженным миром чуждым, не твоим миром; все для тебя – вражеский лагерь; нет у тебя дома, нет сердец и лиц, которые бы тебе принадлежали, которым бы ты принадлежал! Это – самые страшные чары; истинно – дело Дьявола. Не иметь ни высшего, ни низшего, ни равного, который был бы мужественно соединен с тобой. Без отца, сына, брата. Человек не знает более печальной судьбы. «Как одинок каждый из нас, – восклицает Жан Поль, – на обширном лоне Всего!» Каждый заключен как бы в своем прозрачном «ледяном дворце». Мы видим, как наш брат в своем дворце делает нам знаки и жесты. Мы его видим, но никогда не будем в состоянии прикоснуться к нему. Ни мы никогда не будем покоиться на его груди, ни он на нашей. Не Бог создал это, нет!

Проснитесь вы, благородные Работники, воины единой истинной войны: все это должно быть исправлено. Ведь вы уже наполовину ожили, и я готов благословить вас в жизнь; я готов заклинать вас, во имя Бога, чтобы вы стряхнули ваш заколдованный сон и жили полной жизнью! Перестаньте считать скальпы, кошельки с золотом; не в них заключается ваше и наше спасение. Даже и они, если вы будете считать только их, ненадолго вам будут оставлены. Отгоните далеко прочь от себя

буканьерство; измените, отмените немедленно все законы буканьеров, если вы хотите одержать какую-нибудь победу, которая была бы прочна. Пусть Божественная справедливость, жалость, благородство и мужественная доблесть, с большим или меньшим количеством кошельков золота, засвидетельствуют о себе в этот краткий миг вашего Жизненного перехода к Вечности, Богу и Молчанию. К вам я взываю, ибо вы не мертвы, но уже почти наполовину живы. В вас есть недремлющая, непокоренная энергия, первооснова всякого благородства в человеке. Честь вам и слава в вашем призвании! К вам я взываю! Вы знаете по крайней мере, что повеление Бога к созданному им человеку было: «Трудись!» Будущий Эпос Мира останавливается не на тех, кто почти мертв, но на тех, кто жив и кто должен войти в жизнь.

Взгляните вокруг себя! Ваши мировые армии все в восстании, смятении, распаде. Они накануне огненной гибели и безумия! Они не пойдут далее для вас за шесть пенсов в день, по принципу Спроса и Предложения. Они не пойдут, они не смеют, они не могут. Вы должны привести их в порядок, начать упорядочивать их. Приводить в порядок, в справедливое подчинение; благородная верность в возмездие за благородное руководство. Их души почти доведены до безумия; пусть ваша будет здорова, все здоровее. Не как озверевшая, озверяющая толпа, но как сильное, устроенное войско, с истинными вождями во главе, будут впредь выступать эти люди. Все человеческие интересы, соединенные человеческие стремления и общественный рост в этом мире, на известной ступени своего развития, требовали организации; и Труд, величайший из человеческих интересов, требует ее теперь.

Богу известно, задача будет тяжела; но ни одна благородная задача никогда не была легка. Эта задача измучит вашу жизнь и жизнь ваших сыновей и внуков; но с какою же целью, если не для задач, подобных этой, дана жизнь людям? Вы должны перестать считать ваши десятифунтовые скальпы; благородные среди вас должны перестать считать их! Да и самые скальпы, как я уже сказал, ненадолго будут вам оставлены, если вы будете считать только их. Вы должны совершенно перестать быть варварскими, кровожадными Чактау и сделаться благородными Европейцами XIX столетия. Вы должны знать: Маммона, сколько бы у него ни было карет и какою бы дворней он ни был окружен, – не есть единственный Бог. Сам по себе он – только Дьявол и даже Животно-бог.

Трудно? Да, это будет трудно. Хлопок с короткими волокнами – это тоже было трудно. Большой куст хлопчатника, долго бесполезный, непокорный, как чертополох при дороге, –

разве вы не покорили его; разве вы не превратили его в великолепную бумажную ткань, белые тканые рубашки для людей, ярко-воздушные одежды, в которых порхают богини? Вы взорвали горы, вы твердое железо сделали послушным себе, как мягкую глину! Исполины Лесов, Ётуны Болот приносят золотые снопы хлеба! Сам Эгир, Демон моря, подставляет вам спину, как гладкую большую дорогу, – и на Конях огня и ветра носитесь вы. Вы – самые сильные. Тор рыжебородый, со своими голубыми солнечными очами, веселым сердцем и тяжелым молотом грома, вы и он одержали верх. Вы – самые сильные, вы, сыны ледяного Севера, дальнего Востока, шествующие издали, из ваших суровых Восточных Пустынь, от бледной Зари Времени и доныне! Вы сыны Ётуна земли, земли Побежденных Трудностей. Трудно? Вы должны попытаться сделать это. Попытаться когда-нибудь с сознанием, это должно и будет сделано. Попытайтесь сделать это, как вы пытаетесь сделать нечто, гораздо более жалкое: наживать деньги! Я еще раз буду биться за вас об заклад против всех Ётунов, Портновских богов, двуствольных Лордов и каких бы то ни было Обитателей Хаоса!

Владеющие землею

Человек с пятьюдесятью, пятьюстами, тысячью фунтов в день, данными ему свободно, без всякого условия и на условии, чтобы он сидел спокойно, засунув руки в карманы, и не делал никакого зла, не проводил Хлебных законов и тому подобного, – и он также является или может быть чрезвычайно сильным Работником! Он – Работник, употребляющий такие орудия, каких никогда еще не имел ни один человек в этом мире. Но на практике, что весьма удивительно и имеет весьма зловещий вид, он не оказывается сильным Работником. Большое счастье, если он оказывается только Не-работником, если он ничего не делает и не является Зло-работником.

Вы спрашиваете его в конце года: «Где твои триста тысяч фунтов? Что осуществил ты с помощью их для нас?» Он отвечает с негодующим удивлением: «Что я с их помощью сделал? Кто вы, что спрашиваете меня? Я проел их. Я, мои холопы, прихлебатели, рабы, двуногие и четвероногие, – очень изящным образом. Вот я, благодаря этому, жив; благодаря этому я осуществлен для вас!» Это, как мы неоднократно говорили, такой ответ, какого никогда доселе не было дано под этим Солнцем. Ответ, который наполняет меня пророческим страхом, предчувствием отчаяния. О глупые Нравы и Обычаи атеистического Полувека, о, Игнавия, Божество Портных, убивающее душу Ханжество, к каким

крайностям ведешь ты нас! Из-за громко завывающего вихря, совершенно внятно для того, кто имеет уши, Бог Всевышний опять возвещает в наши дни: «Да не будет праздности!» Бог изрек это; человек не может этому противоречить.

О, какое бы это было счастье, если бы этот Аристократ-Работник подобным же образом увидел свое дело и исполнил его! Ужасно искать другого, который бы делал за него его дело! Гильотины, Медонские Кожевни и полмиллиона умерщвленных людей уже явились результатом этих поисков, и все-таки они далеко еще не окончены. Этот человек также есть нечто; он даже – нечто великое. Вот, посмотрите на него: человек мужественного вида; что-то вроде «веселья гордости» еще светится в нем. Свободный вид изящного стоицизма, непринужденного молчаливого достоинства, чрезвычайно идет к нему. В его сердце, если бы мы только могли заглянуть в него, заложены элементы великодушия, самоотверженной справедливости, истинного человеческого достоинства. Зачем ему при таких условиях быть помехой в Настоящем, горестно погибать для Будущего! Ни для какой эпохи Будущего не желали бы мы утратить эту благородную вежливость, неосязаемую, но все направляющую; эту достойную сдержанность, царственную простоту. Утратить что-нибудь из того, напоминание о чем еще видно в этом человеке как наследие плодотворного Прошлого. Не можем ли мы спасти его? Он – также достойный человек, в нем Сплетен, Разговоров без мыслей. В нем нет Ханжества, тысячеобразного Ханжества. Ни в нем самом, ни вокруг него, облекающего его подобно удушливому газу, непроницаемой тьме Египетской, приведшей его душу к асфиксии, так сказать, угасившей его душу, так что он не видит, не слышит, и Моисеи, и все Пророки напрасно к нему обращаются.

Проснется ли он, оживет ли он снова и будет ли у него душа, или этот смертельный припадок есть действительная смерть? Это – вопрос вопросов для него самого и для всех нас! Увы, неужели и для этого человека нет благородного труда? Разве у него нет крепколобых, невежественных крестьян, ленивых, порабощенных фермеров заглохших земель? Земель! Разве у него нет утомленных, отягощенных пахарей земли, бессмертных душ человеческих, пашущих, копающих, поденно работающих; с голыми спинами, пустыми желудками, почти с отчаянием в сердце, – и никого на земле, кроме него, кто мог бы помочь им мирным путем? Разве он не находит со своими тремястами тысячами франков ничего благородного, затоптанного на перепутьях, чему было бы божественно помочь подняться? Разве он ничего не может сделать для своего Бернса, кроме как

поставить его акцизным чиновникам? Ухаживать за ним, кормить его обедами на одно безумное мгновение и затем выгнать его на все четыре стороны, к отчаянию и горькой смерти? – Его труд так же тяжел в наш современный развинченный век. Но он может быть исполнен; надо попытаться его исполнить; он должен быть исполнен.

Некий Герцог Веймарский, наш современник, вовсе не бог, но человек, получал, как я считаю, процентами, налогами и всякими доходами менее, чем получает иной из наших Английских герцогов одними процентами. Герцог Веймарский должен был, с помощью этих доходов, управлять, судить, защищать и во всех отношениях заведовать своим герцогством. Он делает это так, как мало кто. И кроме всего этого он улучшает земли, исправляет берега рек, содержит не только солдат, но и Университеты, различные учреждения. При его дворе жили следующие четыре человека: Виланд, Гердер, Шиллер, Гете. Не как прихлебатели, что было невозможно, не как застольные остряки, но как благородные Мужи Духа, действующие под покровительством благородного Мужа Практики, защищаемые им от многих невзгод, может быть, от многих ошибок гибельных уклонений. Небо послало, еще раз, Небесный свет в мир, и честь этого мужа была в том, что он приветствовал его. Новый благородный вид Духовенства, под покровительством старинного, но все еще благородного вида Короля! Я считаю, что один этот Герцог Веймарский сделал для Просвещения своего Народа больше, чем сделали для своих все Английские Герцоги, Дюки и Duces, ныне существующие или которые существовали с тех пор, как Генрих VIII дал им на съедение Церковные Земли! – Я стыжусь, я в тревоге за моих Английских герцогов, – что могу я сказать?

Если наша Действительная Аристократия, признанные «Лучшие и Мужественнейшие», захочет быть мудрой, какое это будет невыразимое счастье для нас! Если нет, – голос Бога из вихря весьма внятен для меня. Да, я буду благодарить всемогущего Бога за то, что Он сказал, наиболее ужасным образом и в справедливом гневе против нас: «Да не будет более Праздности!» Праздность? Пробужденная душа человека, всякая, кроме омертвелой души человека, отвращается от нее, как от чего-то худшего, чем смерть. Это – «Жизнь в смерти» поэта Колриджа. Басня об Обезьянах Мертвого Моря перестает быть басней. Бедный Работник, умерший с голоду, не есть самое печальное зрелище. Вот он лежит, мертвый, на щите своем, упавший на лоно своей древней Матери. С изможденным, бледным лицом, измученным заботой, но просветленным ныне, обращенным в божественный мир, и молчаливо взывает к

Вечному Богу и ко всей Вселенной, – наиболее молчаливый, наиболее красноречивый из людей.

Исключения, – о да, благодарение Небу, мы знаем, что есть исключения. Наше положение было бы слишком тяжело, если бы не было исключений, и немало частичных исключений, о которых мы знаем и о которых мы не знаем. Честь и слава имени Эшли, честь и слава ему и другому доблестному Авдиилу[130], которые доселе оказались верными, были бы счастливы, делом и словом, убедить свое Сословие не стремиться к разрушению! Вот кто если не спасет свое Сословие, то отсрочит его гибель. Благодаря ему, при благословении Высших Сил, для многого могла бы быть достигнута «спокойная эвтаназия, разлитая над поколениями, вместо мучительной смерти, стесненной в немногие годы». Честь им, слава и всяческого им успеха. Благородный муж еще может благородно стремиться к тому, чтобы служить и спасать свое Сословие; по меньшей мере он может помнить наставление Пророка: «Выходи из среды его, народ мой, выходи из среды его!»[131].

Праздно сидеть наверху, подобно живым статуям, бессмысленным богам Эпикура, в пресыщенном уединении, отчуждении от славных, роковых битв Божьего мира! Это – жалкая жизнь для человека, хотя бы все Обойщики и все Французские повара сделали для нее со своей стороны все возможное! И что это за легкомысленное заблуждение, в которое мы все попали, – будто какой-нибудь человек должен или может обособляться от людей, не иметь с ними «никакого дела», кроме «дела» расчета по платежам! Это – самая глупая сказка, которую какое-либо несчастное поколение людей когда-либо рассказывало друг другу. Люди не могут жить обособленными. Мы все связаны друг с другом для взаимного добра или даже для взаимных огорчений, как живые нервы одного и того же тела. Ни один наиболее высоко стоящий человек не может разъединить себя ни с одним, стоящим наиболее низко. Обдумайте это. Несчастный «Вертер, кончающий самоубийством свое бессмысленное существование потому, что Шарлотта не захотела о нем позаботиться». Это вовсе не особенное состояние; это – просто наивысшее выражение состояния, наблюдаемого везде, где только одно человеческое существо встречается с другим!

Стоит ничтожнейшему горбатому Терситу объявить высочайшему Агамемнону, что он его в действительности не уважает, – и глаза высочайшего Агамемнона мечут ответный огонь, действительное страдание и частичное безумие охватывают Агамемнона. Удивительно странно: многоопытный Улисс приведен в волнение тупоумным негодяем; начинает

играть, как шарманка, при прикосновении тупоумного негодяя – вынужден схватить свой скипетр и исполосовать горбатую спину ударами и колотушками! Пусть вожди людей хорошенько подумают об этом. Не в том, чтобы «не иметь никакого дела» с людьми, но в том, чтобы не иметь с ними несправедливого дела. Иметь с ними всякое хорошее и справедливое дело, – только в этом и может быть признано достижимым его и их счастье, и этот обширный мир может сделаться для обеих сторон домом и населенным садом.

Люди уважают людей. Люди почитают в этом «единственном храме мира», как его называет Новалис, Присутствие Человека! Почитание Героев, истинное и благословенное, или даже ошибочное, ложное и проклятое, имеет место всегда и везде. В этом мире есть только одно божественное, сущность всего, что было и когда-нибудь будет божественным в этом мире: уважение, оказываемое Человеческому Достоинству сердцами людей. Почитание Героев, в душах героических, ясных и мудрых людей, – это постоянное присутствие Неба на нашей бедной Земле. Если его здесь нет, Небо закрыто от нас; и все тогда под Небесным запрещением и отлучением, и нет тогда более ни почитания, ни достойного, ни достоинства, ни счастья на Земле!

Независимость, «владыка с львиным сердцем и орлиным взором!» – увы, да! Мы познакомились с ним за последнее время; он совершенно необходим, чтобы подшпоривать с должной энергией бесчисленные лжевласти, созданные Портными: честь ему и слава, и да будет ему полный успех! Полный успех обеспечен за ним. Но он не должен останавливаться здесь, на этом малом успехе, со своим орлиным взором. Он должен достигнуть теперь следующего, гораздо большего успеха: он должен разыскать действительные власти, которых не Портные поставили выше его, а Всемогущий Бог, – и посмотреть, что он с ними сделает? Восстать также против них? Пройти, когда они появятся, мимо них с угрожающим орлиным взглядом, спокойно фыркающей насмешкой или даже без всякой насмешки и фырканья? Обладающему львиным сердцем никогда и во сне не приснится чего-нибудь подобного. Да будет это всегда далеко от него! Его угрожающий орлиный взор окутается мягкостью голубки; его львиное сердце сделается сердцем ягненка, все его справедливое негодование сменится справедливым почтением, растворится в благословенных потоках благородной, смиренной любви, насколько более небесной, чем всякая гордость, и даже, если хотите, насколько более гордой! Я знаю его, с львиным сердцем, орлиным взором; я встречал его, когда он мчался с обнаженной грудью растерянный, с всклокоченными волосами,

ибо времена были тяжкие, – и я могу сказать и ручаться своей жизнью, что в нем нет духа восстания. В нем – противоположное восстанию, должная готовность к повиновению. Ибо если вы предполагаете повиноваться поставленным от Бога властям, то ваш первый шаг есть – низвергнуть власти, созданные Портными; повелеть им, под страхом наказания, исчезнуть, готовиться к исчезновению!

Более того, и это лучше всего, он не может восстать, если бы и захотел. Властям, которых дал нам Бог, мы не можем повелеть удалиться! Никоим образом. Сам Великий Могол, наиболее богато расшитый, созданный портным Брат Солнца и Луны, не может сделать этого. Но Аравийский Муж, в одежде, собственноручно заштопанной, с черными горящими глазами, пылающим сердцем повелителя прямо из центра Вселенной, а равно с грозной «подковообразной жилой» вздымающегося гнева на челе, вспышками молнии (если вы хотите принять это за свет), которая бьется в каждой его жиле, – он восстает. Он говорит властно: «Богато расшитый Великий Могол, созданный портным Брат Солнца и Луны! Нет, Я не удаляюсь! Ты должен повиноваться мне или удалиться!» И так это и происходит: богато расшитые Великие Моголы и все их потомство, до настоящего часа, повинуются этому мужу самым удивительным образом; и предпочитают не удаляться.

О, брат, бесконечным утешением для меня в этом неорганическом мире, который до сих пор столь сильно гнетут шарлатаны и, так сказать, гнетут кошмары, гнетет ад, является то, что непослушание Небесам, когда они направляют какого бы то ни было посланника, было и остается невозможным. Этого нельзя сделать. Никакой Могол, великий или малый, не может этого сделать. «Покажите самому глупому комку земли, – говорит мой неоцененный Германский друг, – покажите самой тщеславной голове в перьях, что здесь – душа, более высокая, чем его; если даже его колени отвердели, как лед, он должен сдаться и почитать».

Поучительная глава

Несомненно, было бы безумной фантазией ожидать, чтобы какая бы то ни было моя проповедь могла уничтожить Маммонизм; Бобус из Хаундсдича, вследствие каких бы то ни было моих проповедей, стал менее любить свои гинеи и более – свою несчастную душу! Но есть один Проповедник, проповедь которого действительна и постепенно всех убеждает. Его имя – Судьба, Божественное Провидение, и его Проповедь –

непоколебимый Ход Вещей. Опыт взимает страшно высокую плату за учение; но он учит как никто[132]!

Я возвращаюсь к отказу доброго Квакера, Друга Прюденса, от «семи тысяч фунтов в придачу»[133]. Практическое заключение Друга Прюденса сделается постепенно заключением всех разумных людей практики. По теперешнему плану и принципу Работа не может продолжаться. Рабочие Стачки, Рабочие Союзы, Чартизм; смута, грязь, ярость и отчаянное возмущение, становящееся все более отчаянным, будут идти своим путем. По мере того как мрачная нужда укореняется среди нас и все наши прибежища лжи одно за другим распадаются в клочки, сердца людей, ставшие теперь наконец серьезными, обращаются к прибежищам правды. Вечные звезды снова начинают светить, коль скоро становится достаточно темно.

Мало-помалу можно будет слышать, как многие Промышленные Хранители законов, не позаботившиеся, однако, о том, чтобы составлять законы и хранить их, окруженные отчаянным Тред-юнионизмом и анархическими Бунтами, станут говорить сами себе: «К чему скопил я пятьсот тысяч фунтов? Я рано вставал и поздно ложился; морил себя работой и в поте лица моего и души моей стремился нажить эти деньги, для того чтобы стать у всех на виду и пользоваться каким-нибудь почетом среди моих людей-братьев. Мне надо было, чтобы они почитали меня, любили меня. И вот – деньги, собранные всей кровью моей жизни; а почет? Я окружен грязью, голодом, яростью и закоптелым отчаянием. Меня никто не почитает; мне даже едва завидуют; лишь безумцы да холопская порода самое большее, что завидуют мне. Я у всех на виду, – как мишень для проклятий и камней. Благо ли это? Пятьсот скальпов висят у меня в вигваме. О, если бы Небу было угодно, чтобы я искал чего-нибудь другого, а не скальпов; о, если бы Небу было угодно, чтобы я был Борцом Христианским, а не Чактауским! О, если бы я правил и боролся не в духе Маммоны, а в духе Божьем! Если бы я был окружен сердцами народа, которые бы благословляли меня, как истинного правителя и вождя моего народа! Если бы я чувствовал, что мое собственное сердце благословляет меня и что меня благословил Господь горе вместо Маммоны низу, – вот это действительно было бы что-нибудь. Прочь с глаз моих, вы, нищенские пятьсот скальпов в тысячных банковских билетах. Я хочу заботиться о чем-нибудь другом – или признать мою жизнь трагическим ничтожеством!»

«Скалистый уступ» Друга Прюденса, как мы это назвали, постепенно откроется для многих людей, для всех людей. Постепенно, теснимый снизу и сверху, Стигийский грязный потоп

Laissez faire, Спроса и Предложения, Наличного платежа, как единственной Обязанности, будет убывать со всех сторон. И вечные горные вершины, и безопасные скалистые основания, которые достигают центра мира и покоятся на самой сущности Природы, снова выступят из воды, дабы люди могли основываться на них и строить на них. Когда поклонники Маммоны начнут мало-помалу делаться поклонниками Бога, а двуногие хищники – делаться людьми и Душа вновь почувствуется в сильно бьющемся слоновом механическом Анимализме нашей Земли, это будет снова благословенная Земля[134]…

Но поистине прекрасно видеть, как грубое царство Маммоны трещит со всех сторон; дает верное обещание умереть или быть измененным. Странная, холодная, почти призрачная заря занимается даже в самой стране Янки. Мои Трансцендентальные друзья[135] возвещают внятным, хотя несколько длинноволосым, неуклюжим образом, что Демиург-Доллар низвергнут с престола. Новые, неслыханные Демиургства, Священства, Аристократии, Возникновения и Разрушения уже видятся в заре наступающего Времени. Кронос низвергнут с престола Юпитером; Один – святым Олафом; Доллар не может вечно править на Небе. Да, я считаю, что не может. Социнианские Проповедники[136] покидают свои кафедры в стране Янки, говоря: «Друзья, все это обратилось в разноцветную паутину, должны мы, к сожалению, сказать!» – и удаляются в поле, чтобы возделывать гряды лука и жить воздержанно растительной пищей. Это весьма замечательно.

Старый божественный Кальвинизм заявляет, что его старое тело распалось ныне в лохмотья и умерло. Его печальный призрак, лишенный тела, ищет новых воплощений, снова завывает в ветре – все еще призрак и дух, но предвозвещающий новый Духовный мир и лучшие Династии, чем Династия Доллара.

Да, Свет местами проникает в мир. Люди любят не тьму; они любят свет. Глубокое чувство вечной природы Справедливости проглядывает всюду среди нас, – даже сквозь мрачные глаза Эксетер-Холла[137], невысказанная религиозность борется, хотя и очень беспомощно, чтобы высказаться в Пюзеизме и тому подобном. В нашем Ханжестве, которое в целом достойно осуждения, сколь многое не может быть осуждено без сострадания; мы едва не сказали: без уважения! Нечленораздельное достоинство и истина, которые заключаются в Англии, все еще простираются вниз, до Оснований[138]…

…Эту благородную упавшую или еще не рожденную «Невозможность», – ты можешь воздвигнуть ее. Ты можешь, трудом души твоей, возвести ее в светлое бытие. Эта крикливая пустая Действительность, с миллионами в карманах; слишком

«возможная», несущаяся мимо с расшитыми трубачами, трубящими вокруг нее, и со всем миром, сопровождающим ее в качестве немых или громогласных холопов, – ты не сопровождай ее. Или не говори ей ничего, или скажи глубоко в своем сердце: «Громкотрубящее Небытие! Никакая сила труб, платежей, Лонгакрского искусства или всего человеческого холопства не сделают тебя Бытием; ты – Небытие и обманчивый Призрак, проклятый более, чем это кажется. Проходи, во имя Дьявола, непочитаемое по крайней мере одним человеком, и оставь путь свободным!»

Не на равнинах Илиона или Лациума, совершенно иных равнинах или местах могут отныне быть совершаемы благородные дела. Не на равнинах Илиона, насколько менее – в гостиных Мейфэра[139]! Не в победе над несчастным братом-Французом или над Фригийцами; но в победе над ётунами Мороза, Исполинами Болот, Демонами Раздора, Праздности, Несправедливости, Неразумия и Хаоса, вновь воцарившимися. Ни один из древних Эпосов более не возможен. Эпос Французов или Фригийцев был сравнительно невысоким Эпосом. А эпос Ухаживания и Кокетства, что это такое? Нечто, что исчезает при пении петуха, начинает чуять утренний воздух! Охраняющая охоту Аристократия, как бы успешно она ни «запускала свои леса», не может избежать Искусного Ловчего. Охота может быть хороша; затем она может быть безразлична, и мало-помалу ее совсем не будет. Последняя Куропатка Англии, Англии, где миллионы людей не могут добыть хлеба на пропитание, будет застрелена и прикончена. Аристократы с обросшими подбородками найдут себе иную работу, чем забавляться игрой в серсо.

Но к вам, Труженики, к тем, которые уже трудятся и стали как бы взрослыми мужами, благородными и почтенными в своем роде, вот к кому взывает весь мир о новом труде и благородстве! Победите смуту, раздор, широко распространившееся отчаяние мужеством, справедливостью, милосердием и мудростью. Хаос темен, глубок, как Ад. Дайте свет, – и вот вместо Ада – зеленый, цветущий Мир. О, это величественно, и нет иного величия. Сделать какой-нибудь уголок Божьего Творения немного плодороднее, лучше, более достойным Бога; сделать несколько человеческих сердец немного мудрее, мужественнее, счастливее – более благословенными, менее проклятыми! Это – труд ради Господа. Закоптелый Ад смуты, дикости, отчаяния может, при помощи человеческой энергии, быть сделан некоторого рода Небом. Он может быть очищен от копоти, смуты, потребности в смуте. И над ним также раскинется вечный свод Небесной

Лазури; и его хитрые машины и высокие трубы станут как бы созданием Неба; и Бог, и все люди будут взирать на них с удовольствием[140].

Не осквернённый гибельными отклонениями, пролитыми слезами, или кровью человеческого сердца, или какими-нибудь искажениями Преисподней, благородный производительный Труд будет, становясь все благороднее, идти вперед, – великое единственное чудо Человека, с помощью которого Человек поднялся с низин Земли, совершенно без преувеличения, до божественных Небес. Пахари, Ткачи, Строители, Пророки, Поэты, Короли, Бриндлеи и Гете, Одины и Аркрайты; все мученики, благородные мужи, боги, все они – одно великое Воинство; неизмеримое, шествующее непрестанно вперед, с самого начала Мира. Громадное, всепобеждающее, венчанное пламенем Воинство. Всякий воин в нем благороден. Пусть скроется тот, кто не от него; пусть он трепещет за себя. Звезды на каждой пуговице не могут сделать его благородным; этого не сделают ни целые груды орденов Бани и Подвязки, целые бушели Георгов[141], никакие иные уловки, а лишь мужественное вступление в него, отважное пребывание в нем и шествие в его рядах. О, Небеса, неужели он не одумается! Ведь и он столь необходим в этом Воинстве! Это было бы таким благословением для него и для всех нас! В надежде на Последнюю Куропатку и на какого-нибудь Веймарского Герцога среди наших Английских Герцогов мы будем еще некоторое время терпеливо ожидать.

И Радость, и Горе
В Грядущем таятся;
И люди стремятся
Вперед, не бояся
Того, что в нем скрыто.

Примечания

[1] *Закон о бедных* – принятый в Англии в 1834 году закон, который был призван упорядочить систему помощи бедным и сиротам. В соответствии с этим законом бедняки, обращавшиеся за помощью, направлялись в дома призрения – работные дома, где царил жестокий, полутюремный режим. Предусматривалась обязательная работа в пользу благотворительных обществ, приходов, в ведении которых находились эти дома.

[2] *Потоси* – месторождение серебра в Боливии, в XVII–XVIII веках на него приходилось около половины мировой добычи

серебра.

[3] *Башня Голода Уголино.* – Граф Уголино делла Герардеска, родом из знатной феодальной семьи, в 1284–1285 годах стал правителем Пизы. В 1288 году он был свергнут своими политическими противниками во главе с архиепископом Руджери дельи Убальдини и вместе с двумя сыновьями и двумя внуками замурован в башне, где все они умерли от голода в начале 1289 года. Этот исторический факт был использован Данте. В тридцать второй и тридцать третьей песнях «Ада» Уголино изображен гложущим затылок заточившего его Руджери. *Гаддо* – малолетний сын Уголино.

[4] Плач Иеремии, 4:10.

[5] *Хлебные законы* – законы, принятые в Англии в XV–XIX веках с целью регулировать ввоз и вывоз зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Действовали они в интересах землевладельцев и усугубляли бедственное положение масс. Особенно сильно это сказалось в «голодные сороковые годы» XIX века, когда усилился экономический кризис, выросла безработица, произошли массовые выступления (чартизм). В 1846 году законы были отменены. Их отмена считалась крупной победой промышленной буржуазии над земельной аристократией.

[6] *Мидас* – в греческой мифологии славившийся своим богатством царь Фригии, попросивший у богов превращать в золото все, к чему он ни прикасался, но в золото стала превращаться и пища, что грозило ему голодной смертью. За проступок перед Аполлоном он был наделен ослиными ушами, о которых, как ни старался он их прятать, знали все.

[7] Здесь и далее Карлейль обыгрывает практику рекламирования сильнодействующих лекарств, чреватых нередко смертельным исходом, что нашло отражение в печати.

[8] *Даунинг-стрит* – улица в центральной части Лондона, где находятся резиденции премьер-министра и канцлера казначейства (в переносном смысле это название означает английское правительство).

[9] Билль о реформе был принят в 1832 году и означал первую реформу английского парламента (вторая парламентская реформа – в 1867 году, третья – в 1884 году). Он внес изменения в систему парламентского представительства, предоставил право голоса средней и мелкой торгово-промышленной буржуазии. Это право получили новые промышленные центры, и вместе с тем были упразднены некоторые т. наз. «гнилые местечки» (безлюдные избирательные округа в небольших населенных пунктах, где депутатами фактически назначались угодные

местным лендлордам люди). Был снижен также имущественный ценз, в результате чего число избирателей увеличилось вдвое и достигло 30 % населения.

[10] *Вопрос Сфинкса.* – О нем Карлейль говорит в гл. «Сфинкс» первой части книги. Он сравнивает со сфинксом природу, в которой проявляется мудрость и наряду с этим нечто темное, хаотическое. Отсюда и вопросы, которые она задает человеку: «Понимаешь ли ты смысл нынешнего дня? Что можешь ты сегодня сделать? Что можешь ты попытаться сделать, проявив благоразумие?» Сфинкс-природа ставит свои вопросы как перед человеком, так и перед каждой эпохой, каждым народом. Человек, неверно отвечающий на них, попадает в его звериные лапы (см. отрывок из этой главы в «Этике жизни», разд. I, 10).

[11] *Зауэртейг* – персонаж, придуманный Карлейлем, что характерно для его писательской манеры. На немецком языке это слово означает «кислое тесто, закваска, зануда». На протяжении книги Зауэртейг выступает в основном как персонаж-резонер и критик.

[12] Так называли хартию чартистов.

[13] *Расширение Церкви.* – Возможно, речь идет о тех процессах, которые происходили в церковной жизни в первой половине XIX века. Это прежде всего более либеральное отношение к диссентерам – представителям религиозных направлений, не придерживающихся догматов официальной англиканской Церкви (например, т. наз. «эмансипация католиков» – отмена парламентом в 1829 году ограничений их прав: занимать государственные должности, быть избранным и т. п.). Все это увеличивало ту часть верующих в самой церкви, которая не связывала себя строгим исполнением догматов англиканства. В узком смысле слова (и, по всей вероятности, Карлейль и имеет его в виду) – это произведенное перераспределение приходов, с тем чтобы в связи с указанными процессами не снижались, а, напротив, повышались доходы англиканского духовенства.

[14] *Nec plus ultra* – самый лучший, непревзойденный (*лат.*).

[15] *Радамант, Эак и Минос* – в греческой мифологии (согласно версии, восходящей к Платону) судьи в подземном Царстве мертвых (Аиде).

[16] *Laissez faire, laissez passer* – позволяйте делать, позволяйте идти (*фр.*) (лозунг свободы экономической деятельности, невмешательства в нее государства).

[17] Этим эпитетом Карлейль характеризует праздную (занимающуюся охотой) аристократию, намекая также на двойные аристократические фамилии.

[18] *Apage, Satanas* – Прочь, Сатана! (Отойди, Сатана!) (*лат.*)

(см. Мф. 4:10; Лк. 4:8).

[19] Карлейль имеет в виду кровавые события 1819 года, когда был разогнан митинг (в нем участвовали в основном рабочие-ткачи) в поддержку избирательной реформы, происходивший на Питерсфельде в Манчестере (т. наз. «Манчестерская резня», другое название этих событий – «Питерлоо», поскольку в разгоне принимали участие войска, сражавшиеся под Ватерлоо).

[20] *Трисмегист* («Трижды величайший») – в греческой мифологии эпитет бога Гермеса.

[21] В основе этой части книги лежит изданная в Лондоне в 1840 году «Хроника» Джоселина Бракелондского (XII век), монаха монастыря Св. Эдмунда (Сент-Эдмундсберийского монастыря (аббатства)).

[22] *Методизм* – течение в англиканской Церкви, зародившееся в XVIII веке. Чтобы как можно более эмоционально воздействовать на слушателей, методистские проповедники главное внимание уделяли описанию будущего Страшного суда и адских мук, претерпеваемых нераскаявшимися грешниками. Для структуры методистской Церкви характерны авторитаризм, строгая централизация и дисциплина.

[23] *Pitancerna* – здесь – приют, убежище (*лат.*).

[24] *Tacendo* – то, о чем не говорят, умалчивают (*лат.*).

[25] *Каюс, врач-француз* – персонаж комедии У. Шекспира «Виндзорские проказницы» (1602), которому так и не удается обвенчаться с красавицей Анной Пейдж.

[26] *Акра* – крепость в Иерусалиме, которая вместе с городом находилась в руках крестоносцев в XI–XII веках. Однако не исключено, что здесь речь идет не об иерусалимской Акре, а о сирийской крепости Акка (Акко), расположенной на побережье Средиземного моря, которая дольше удерживалась крестоносцами (1104–1187 и 1191–1291); служила местопребыванием членов ордена святого Иоанна (отсюда ее название: Сен-Жан д'Акр – Saint-Jean d'Acre), поэтому сюда съезжались паломники из западных стран.

[27] *…monachus noster* – нашего монаха (*лат.*).

[28] Карлейль здесь сравнивает Джоселина с Дж. Босуэллом («Боззи»), автором жизнеописания С. Джонсона, который слыл образцовым, дотошным биографом.

[29] *Дионисово ухо.* – Это выражение связано с именем сиракузского тирана Дионисия Старшего (432–367 до н. э.), отличающегося крайней подозрительностью и, согласно легенде, соорудившего в своем дворце специальное устройство для подслушивания.

[30] *Роговая дверь снов* – образ, взятый из «Энеиды» Вергилия

(кн. 6, 893–896).

[31] *Prater* — брат (*лат.*).

[32] *Homo literatas* – ученый человек (*лат.*).

[33] *Велиар* (Велиал) – в Библии обозначение сатаны. Выражение «сыны Велиара» означает «низкие, подлые, нечестивые люди» – так оно передано, например, в русском переводе Библии (см. Втор. 13:13).

[34] *Sochemanni* (сокмены) – категория крестьян в средневековой Англии. Оставаясь свободными собственниками своих наделов, они вместе с тем несли некоторые повинности в пользу лордов, занимая тем самым промежуточное положение между вилланами (крепостными) и фригольдерами (свободными держателями наделов). В XV–XVI веках они постепенно присоединились к последней категории крестьян.

[35] *Dominus Rex* – Государь, Его величество король (*лат.*).

[36] *Sacrosancta* — букв. священное, неприкосновенное (святой престол) (*лат.*).

[37] *Драйасдест* — сухой и педантичный человек, ученый педант и сухарь, вымышленное лицо, которому Вальтер Скотт посвятил ряд своих романов, в результате имя стало нарицательным.

[38] *Deus est cum eis* — Господь с ними (*лат.*).

[39] *Te Deum laudamus* – Тебя, Боже, хвалим (*лат.*) (начальные слова католического благодарственного гимна, автором которого считается Амвросий Миланский (340–397).

[40] *Dominus Abbas* – господин (владыка) аббат (*лат.*).

[41] Имеется в виду Ричард Гренвилл, герцог Бекингемский, маркиз Чандос, который защищал в парламенте хлебные законы, выступая против их отмены, был активным глашатаем интересов крупных землевладельцев.

[42] Далее идет отрывок, включенный в «Этику жизни», разд. IV, 52.

[43] *Gaudeamus* – возрадуемся (*лат.*).

[44] *Vadium, plegium* — пени, обязательства, залоги, проценты (*лат.*).

[45] *Disputa tor est* – толкователь (*лат.*).

[46] *Герцог Логвуд* – вымышленное имя (от *англ.* log – «бревно, чурбан» и wood – «дерево»).

[47] Далее идет отрывок, начинающийся словами: «Вследствие этого мы, во всяком случае, согласны с рассудительной миссис Глесс [автором вышедшей в 1747 году поваренной книги]: «Прежде всего, поймайте зайца!» и включенный в «Этику жизни», разд. III, 14.

[48] Карлейль имеет в виду произведенную в 1828 году

эксгумацию останков Дж. Хемпдена, с тем чтобы выяснить обстоятельства его смерти (по официальной версии, Хемпден скончался от смертельной раны, полученной в сражении с королевскими войсками).

[49] *Completorium* – заключительная молитва после вечерни (*лат.*).

[50] *Caput* — глава (*лат.*).

[51] *Подглядывающий, или Любопытный, Том.* Речь идет о событии, происшедшем в г. Ковентри в 1040 году и известном из рассказа английского хрониста XIII века Роджера Уэндоуэра. Леофрик, граф Честер (ум. 1057), наложил на жителей Ковентри тяжкие повинности. Откликаясь на их мольбу, жена графа леди Годива согласилась выполнить его условие – проехать обнаженной на коне через весь город. Она это сделала, причем жители города закрыли все ставни, за исключением портного Тома, решившего посмотреть на это зрелище и здесь же ослепшего. Повинности были сняты, и с тех пор это событие ежегодно отмечается в Ковентри процессией, а Годива считается покровительницей города. Прозвище Любопытный Том из Ковентри (Peeping Tom of Coventry) стало обозначением человека с нездоровым любопытством.

[52] *Ubi homines sunt modi sunt* – где люди, там правила (*лат.*).

[53] *Лонгакр* – квартал в Лондоне, где изготовлялись экипажи.

[54] См. далее отрывок, включенный в «Этику жизни», разд. II, 51.

[55] *Вестминстер-Холл* (Дворцовый холл) – единственный зал, сохранившийся от старого Вестминстерского дворца, ныне входит в парламентский комплекс, размещенный в новом Вестминстерском дворце (построен в XIX веке). Ранее в Вестминстер-Холле проходили заседания различных судов.

[56] См. этот отрывок в другом переводе в «Этике жизни», разд. II, 52.

[57] *Пюзеизм* (ритуалистское, или Оксфордское, движение) – религиозное течение, основанное английским теологом фламандского происхождения Эдвардом Бувери (псевдоним Пьюзи, 1800–1882), пытавшимся ввести в англиканство некоторые положения и обряды католицизма.

[58] *Вертящиеся калабаши* (в другом случае Карлейль упоминает *калмыцкие калабаши*) – иначе говоря, вращающиеся тыквы. Вот как комментирует это место у Карлейля Ипполит Тэн: для него «это обозначение внешней и механической религии… Потому что калмыки кладут свои молитвы в тыкву, которую ветер заставляет вертеться, что производит, по их мнению, беспрерывное моление. Таковы же и молитвенные мельницы в

Тибете» (Тэн И. История английской литературы. М., 1904. Т. 5. С. 173).

[59] Имеется в виду случай, когда епископ Кентерберийский У. Лод, исповедуя англиканство, совершил пышный ритуал в 1631 году при освящении церкви Святой Екатерины.

[60] *Уилл Скарлет* – ближайший друг и сподвижник героя английских баллад Робина Гуда. *Вэксфильдский Пиндар* – имеются в виду безымянные певцы из Вэксфильда в графстве Йоркшир.

[61] *Statutum de tallagio non concedendo* (Статут о неналожении податей – *лат.*) был принят королем Эдуардом I в 1297 году. Он подтверждал Великую хартию вольностей (Magna Carta, или Magna Charta, 1215) (с дополнительными статьями, выдвинутыми баронами). Согласно этому статуту, никакой налог не мог взиматься королем без согласия парламента.

[62] *Четыре Суда* – Карлейль, по всей вероятности, имеет в виду структуру английских судебных инстанций, связанную с двойной системой правосудия (правосудие по закону, опирающееся на нормы обычного права и судебные прецеденты, и правосудие по справедливости). В соответствии с этой системой существовали три высших Суда общего права (королевской скамьи, общих тяжб и государственного казначейства) и верховный Суд справедливости – Канцлерский суд, возглавляемый лордом-канцлером, формально не связанным парламентскими законами, обычаями или прецедентами.

«Кок о Литтлтоне» – такое название получил один из томов 4-томного труда известного английского юриста и политического деятеля Э. Кока «Основы английского права» («Institutes of the Laus of England») (1628). В этом томе он комментирует труд английского юриста XV века Т. Литтлтона о землевладении («On Tenures»).

Три парламентских сословия: духовные лорды (высшие иерархи англиканской Церкви), светские лорды (те и другие – члены палаты лордов) и члены палаты общин.

[63] В произведении Дж. Свифта «Битва книг» (полное ее название «Полное и правдивое известие о разразившейся в прошлую пятницу битве древних и новых книг в Сент-Джеймсской библиотеке») [изд. 1704] описывается сатирическая сценка встречи на ристалище Джона Драйдена, известного английского поэта и переводчика античных классиков (в том числе Вергилия), с самим Вергилием. Вергилий в сверкающих доспехах на сером в яблоках коне встречается с Драйденом, едущим на старой и тощей лошади.

[64] *Нора* – мыс у устья Темзы.

[65] *Сатаническая школа.* – По всей вероятности, речь идет о

байронизме. Кокнийская школа объединяла группу критиков и поэтов, живших в Лондоне, – лондонских романтиков (в том числе П. Б. Шелли, Дж. Китса и др.). Название это было дано критиками-пуристами (защитниками «чистоты языка»), упрекавшими членов группы в использовании «простонародных» рифм и выражений: англ. *«кокни»* обозначает как лондонское просторечие, так и уроженца Лондона (коренного лондонца).

[66] *Арахна* – в греческой мифологии искусная вышивальщица и ткачиха, из-за соперничества с Афиной была превращена последней в паука.

[67] *Джабеш Уиндбег* – вымышленное имя, в переводе с английского означает «болтун, пустозвон».

[68] *Тейт* (Тевтат) – в кельтской мифологии бог племенного коллектива, покровитель его военной и мирной деятельности.

[69] *Хенгст* (Хенгист, Генгст) – предводитель германского племени ютов, высадившегося ок. 449 года на острове Тэнет, к востоку от современного Кента. Эта дата традиционно считается началом завоевания Британии англосаксами. Ок. 455–479 годов в бассейне реки Темзы было основано первое англосаксонское королевство Кент.

[70] Далее следует отрывок, включенный в «Этику жизни», разд. IV, 7.

[71] «Триста лет она в бурлении (кипении сил), вот почему я ее почитаю» (*фр.*).

[72] *Corpus Christi* – Тело Христово (Тело Господне) (*лат.*). Католический праздник Тела Господня отмечается в первый четверг после Троицына дня, установлен Папой Урбаном IV в 1264 году.

[73] Этот образ связан с бытующими в христианской теологии и иконографии представлениями о черепе Адама (якобы похороненного на Голгофе), который пробуждается к жизни при пролитии крови распятого Христа.

[74] *Оркус* (Орк) – в римской мифологии божество смерти, а также само царство мертвых.

[75] Приводятся слова хозяина гостиницы, обращенные к Джини Дине, героине романа В. Скотта «Эдинбургская темница» (подлинное название романа «Сердце Мидлотиана» или «Сердце Средних земель»).

[76] *Друри-Лейн* – театр в Лондоне, расположенный на улице того же названия, был открыт в 1663 году, время его наибольшего расцвета – середина и конец XVIII века, когда в нем играл и был его руководителем английский актер, драматург, реформатор сцены Дэвид Гаррик (1717–1779).

[77] Далее следует отрывок, включенный в «Этику жизни», разд.

IV, 6.

[78] Об этом шляпнике, изготовившем шляпу в семь футов в качестве рекламы, см. в отрывке, включенном в «Этику жизни», о котором говорилось выше.

[79] См. далее «Этику жизни», разд. V, 17.

[80] См. далее «Этику жизни», разд. I, 11.

[81] *Мистер Бум* (Джон Булл) – простоватый фермер, персонаж сатиры Джона Арбетнота (1667–1735) «История Джона Булла». Это имя стало нарицательным для обозначения типичного англичанина.

[82] *Vis inertiae* – сила инерции (*лат.*).

[83] См. прим. 13.

[84] *Бэконовская индукция* – разработанный английским философом Ф. Бэконом метод логического доказательства (умозаключения) от частных фактов к общим выводам.

[85] *Солецизм* (от «Сол» – древняя афинская колония, утратившая чистоту греческого языка) – неправильный языковой оборот, синтаксическая ошибка.

[86] *Берсеркер* (берсеркеры) – так назывались древнескандинавские витязи, отличавшиеся особой неустрашимостью и одержимостью в бою, в переносном смысле – неистовый человек.

[87] *Голконда* – государство, существовавшее в Индии в XVI–XVII веках, славилось добычей алмазов. О Потоси см. прим. 2.

[88] Клич Хенгста перед схваткой.

[89] *Трехдневное восстание* – речь идет об Июльской революции 1830 года во Франции (массовое восстание произошло 27–29 июля). Революция свергла монархию Бурбонов.

[90] Персонажи романа В. Скотта «Айвенго». На шее у свинопаса Гурта было наглухо запаяно нечто вроде собачьего ошейника с начертанными на нем саксонскими буквами словами: «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Ротервудского».

[91] См. далее «Этику жизни», разд. IV, 58.

[92] Речь идет о событиях, связанных с нормандским завоеванием Англии.

Гируорд – один из руководителей англосаксов, оказавшись в болотистой местности на севере графства Кембриджшир, безуспешно сопротивлялся нормандцам во главе с Вильгельмом Завоевателем.

Граф Вальтер – представитель англосаксов, которого Вильгельм Завоеватель сначала помиловал, а потом приказал казнить. Йоркшир и северные графства были жестоко опустошены нормандцами.

[93] *Par la splendeur de Dieu* – Божественным сиянием (*фр.*).

[94] *Etcetera* – и так далее (*лат.*).

[95] Это выражение, состоящее из немецких слов «Wahngasse» и «Weissnichtwo», означает «воображаемый переулок, расположенный неизвестно где».

[96] *Тейфельсдрек* (в переводе с немецкого – «чертово дерьмо») – главный персонаж романа Карлейля «Sartor Resartus» («Заштопанный портной») (Карлейль Т. Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тейфельсдрека. М., 1902; 1904).

[97] *Mein Lieber* – мой милый (*нем.*).

[98] Вымышленное имя.

[99] *Седан и Геддерсфильд* – города, где были расположены суконные фабрики. На фабрике в Геддерсфильде изготовлялись дорогие сукна.

[100] *Бобруммелизм* – термин образован от имени известного английского франта (денди), законодателя мод Джорджа Бруммеля (1778–1840), прозванного красавцем Бруммелем (*фр.* Beau Brummel).

[101] Карлейль имеет в виду мусульманский рассказ о превратившихся в обезьян жителях Мертвого моря, который он взял из предисловия Дж. Сэла к переведенному им Корану. Этот рассказ помещен в гл. III «Евангелие дилетантизма» ч. III книги «Прошлое и настоящее» (см. в «Этике жизни», разд. IV, 8).

[102] По всей вероятности, это выражение связано с английской пословицей «Nine tailors make a man» («Девять портных составляют одного человека»). В романе «Sartor Resartus» приводится рассказ о том, как английская королева Елизавета, принимая депутацию из восемнадцати портных, обратилась к ним со словами: «Здравствуйте, два джентльмена». «Повсюду распространилась и утвердилась как широко разветвляющееся, укоренившееся заблуждение идея, что портные суть особый физиологический вид, не люди, а дробная часть человека» (Карлейль Т. Sartor Resartus. М., 1904. С. 320–321).

[103] *Анимализм* – здесь в смысле: животное состояние (от *лат.* animane – животное).

[104] *Тридцать девять пунктов (39 статей)* – символ веры англиканской церкви, принятый английским парламентом в 1571 году.

[105] *Fanum* – святилище, священное место, храм (*лат.*).

[106] См. прим. 67.

[107] *Кирхеровские зрительные образы.* Немецкий иезуит, востоковед, ученый *Атанасиус Кирхер* (1601–1680) изучал световое излучение, используя принцип laterna magica (волшебного фонаря).

[108] См. далее «Этику жизни», разд. II, 8.

[109] См. далее «Этику жизни», разд. V, 3.

[110] Иез. 8:13–14.

[111] *Flebile ludibrium* – жалкая насмешка (*лат.*).

[112] См. этот отрывок в «Этике жизни», разд. IV, 17.

[113] *Aestetische Springwurzeln* – Эстетические источники (*нем.*).

[114] Возможно, речь идет о немецком теологе и философе Давиде Фридрихе Штраусе (1808–1874), историке христианства.

[115] *Талайпоны* – буддийские монахи или священники.

[116] Цитируется стихотворение О. Голдсмита «Элегия на смерть бешеной собаки», которое он опубликовал в своем романе «Векфильдский священник» (1766).

[117] *Aristos* – лучший, достойный (*греч.*).

[118] *Redivivus* – воскресший, оживший (*лат.*). Речь идет о Кромвеле.

[119] *Пандарус Догдраут. Пандарус* (Пандар) – персонаж пьесы У. Шекспира «Троил и Крессида» (1609), дядя Крессиды, сводник. *Догдраут* – словосочетание, образованное от английских слов «dog» – собака и «draught» («draft») – черновик, набросок.

[120] *«Карлтон-клуб»* – главный клуб английских консерваторов в Лондоне. Основан в 1832 году герцогом Веллингтоном.

[121] Это ироническое замечание относится к Ч. Диккенсу.

[122] *Per os Dei* – через Бога (благодаря Богу) (*лат.*).

[123] *Томас Бекет,* архиепископ Кентерберийский, был убит в Кентерберийском соборе в 1170 году по приказу короля Генриха II. Впоследствии он был причислен к лику святых. В Средние века совершались массовые паломничества к его гробнице в соборе. Уильям Уоллес, национальный герой шотландского народа, разгромив (в 1297 году) английскую армию Эдуарда I, был предательски захвачен в плен англичанами в 1305 году и казнен на площади около крепости Тауэр.

[124] Мф. 6:34.

[125] *Источник Мимира* – в скандинавской мифологии источник мудрости, расположенный у корней мирового древа Иггдрасиль.

[126] *Буканьеры* – флибустьеры, морские разбойники. В XVII веке на острове Сан-Доминго (ныне Гаити) они образовали свое государство.

Чактау – искаженное написание одного из индейских племен. Возможно, речь идет о чоктауса – индейцах группы куна.

[127] *Священные месяцы* – речь идет о чартистском плане всеобщей стачки.

[128] *«Хенсард» («Hansard»)* – официальный стенографический отчет о заседаниях обеих палат английского парламента.

[129] См. Дан. 5:27.

[130] *Авдиил* – библейское имя, означающее «раб Божий». Имеется в виду лорд Джеймс Грэхем, проявлявший заботу об образовании и улучшении условий труда детей на фабриках.

[131] Ис. 52:11.

[132] См. этот отрывок в другом переводе в «Этике жизни», разд. IV, 31373.

[133] В гл. V «Постоянство», ч. IV книги «Прошлое и настоящее» Карлейль рассказывает о том, что в «Отчете об обучении бедных детей» за 1841 год он прочитал анонимные заметки одного фабриканта (он назвал его Прюденс, от *англ.* «prudence», что значит «благоразумие, предусмотрительность»), в которых тот пишет, какую заботу он проявляет о своих рабочих, об их досуге, времяпрепровождении, поняв, что такая забота – «превосходное вложение капитала». Он сравнивает своих рабочих с рабочими других фабрикантов, которые только получают жалованье, не чувствуя к себе человеческого отношения, и поэтому устраивают забастовки, воруют и бездельничают. Я не взял бы за этих рабочих в обмен на своих, заявляет он, и «семи тысячи фунтов в придачу».

[134] Далее см. «Этику жизни», разд. IV, 36.

[135] Речь идет о представителях американской радикальной и романтически настроенной интеллигенции, участниках литературного и философского течения 30—50-х годов XIX века, объединившихся вокруг основанного в Бостоне «Трансцендентального клуба». Трансценденталисты (прежде всего Р. У. Эмерсон) поддерживали постоянные связи с Карлейлем.

[136] *Социниане* – протестантская рационалистическая секта, отвергавшая догмат о Троице, Откровение и божественную природу Христа.

[137] *Эксетер-Холл* – большой зал в Лондоне, предназначенный для проведения религиозных, политических, благотворительных и т. п. собраний. Построен в 1831 г.

[138] См. далее «Этику жизни», разд. I, 26.

[139] *Мейфэр* – фешенебельный район в Уэст-Энде в Лондоне.

[140] См. этот отрывок в «Этике жизни», разд. I, 16.

[141] *Святой Георгий* (Георг Английский) – христианский мученик (кон. III в.). Считается главным покровителем Англии. Орден Святого Георгия – орден Подвязки является высшим английским орденом. Учрежден в 1350 году королем Эдуардом III для награждения узкого круга приближенных.

Этика жизни. Трудиться и не унывать

I Трудиться

1. Надо жить, а не прозябать. Да, подумай о том, что надо жить! Жизнь твоя, хотя бы ты был самый жалкий из смертных, – не праздная греза, а действительность, полная высокого смысла! Твоя жизнь – твое достояние; это все, с чем ты можешь пойти навстречу вечности. Действуй поэтому подобно звездам, «не торопясь, но и не зная отдыха».

2. Сколько возвышенного, торжественного, почти страшного заключается для каждого человека в мысли, что его земное влияние, – влияние, имевшее начало, – никогда, во веки веков не прекратится, хотя бы человек этот был ничтожнейший из нас. Что сделано, того не воротишь, то слилось уже с безграничным, вечно живущим, вечно деятельным миром, то вместе с ним приносит людям пользу или вред, явно либо тайно, на вечные времена.

Жизнь всякого человека можно сравнить с рекой, начало коей ощутимо для всех; дальнейший же бег ее и ее назначение, когда она змеей извивается по широким плоскостям, может различить один только Всевидящий. Сольется ли она с соседними реками, увеличивая их объем, или примет их в себя? Останется ли она безымянной речкой; будет ли питать своими мелкими водами вместе с миллионами других речек и рек какую-нибудь великую реку? Или из нее образуется новый Дунай или Рейн и потоки вод ее явятся вечной пограничной линией на земном шаре, оплотом и водным путем для целых государств и материков? Мы этого не знаем. Нам известно лишь одно, что путь ее лежит в Великий Океан и что воды ее, хотя бы их было не более горсточки, существуют и не могут быть уничтожены, не могут быть и надолго задержаны.

3. Тебе дано время испытания. Никогда не получишь ты другой возможности. Вечность пронесется, но тебе не будет дано другого такого времени.

4. Ясные звезды и вечные солнца сияют и поныне для тех, кто способен это узреть. И в наши дни, как и в дни минувшие, раздаются голоса богов вокруг и внутри всякого человека, голоса – всем повелевающие, если даже никто их не слышит, – голоса, внятно произносящие слова: «Встань, сын Адама, сын времени, позаботься о том, чтобы то-то и то-то стало чище, лучше, и ты сам раньше всего! Трудись и не дремли, потому что настанет ночь, когда никто не сумеет работать». У кого уши есть, чтобы слышать, тот может услышать эти слова и ныне.

5. Есть что-то облагораживающее и даже священное в труде. Как бы ни был человек погружен в мрак ночи, как бы мало ни

думал он о своем высоком призвании, на него все еще следует возлагать надежды, покуда он действительно серьезно трудится. Лишь в праздности – вечное отчаяние. Труд, как бы он ни был низок или корыстен, всегда тесно связан с природой. Уже одно желание трудиться ведет все ближе и ближе к истине, к тем законам и предписаниям природы, которые суть истина. Новейшее Евангелие нашего времени: «Познай свое дело и исполни его. Познай самого себя!» – твое бедное «я» долгие годы промучило тебя, но ты, по-моему, никогда не сумеешь «познать» его. Не считай же своей задачей познание самого себя, потому что ты представляешь собою существо, которого тебе никогда не познать. Познай же, над чем ты можешь трудиться, и работай, как Геркулес! Ничего лучшего не может быть для тебя.

Говорят: «Значение труда не поддается учету». Человек совершенствуется при помощи труда! Пространства, заросшие сорной травой, расчищаются, на их месте появляются чудные нивы, воздвигаются дивные города, и сам человек перестает быть пашней, заросшей плевелами, или бесплодной, чахлой пустыней. Вспомните, что даже самый низменный труд в известной степени приводит душу в состояние истинной гармонии. Сомнения, страсти, заботы, раскаяние, разочарование, даже уныние – все эти исчадия ада мучительно осаждают душу бедного поденщика точно так же, как и всякого другого человека. Но стоит лишь человеку свободно и бодро приняться за труд, как все они умолкают и, ворча, прячутся по своим конурам. Человек становится воистину человеком. Священный жар труда похож на очистительный огонь, истребляющий любой яд, сквозь самый густой дым дающий светлое, чистое пламя!

У судьбы нет, в сущности, других средств, чтобы сделать людей культурными. Бесформенная хаотическая масса от вращения становится все круглее и круглее, и вследствие одной только силы тяжести располагается сферическими слоями. Это уж более не хаос, а круглая, компактная земля. Что сталось бы с землей, если бы она перестала вращаться? По бедной старой земле рассеяны всякие неровности и шероховатости, но все неправильное на ней беспрестанно становится правильным.

Видели ли вы когда-нибудь, как вертится гончарный станок, предмет почтенный, времен пророка Иезекииля и даже древнее того? Бесформенные комья глины одним только быстрым вращением превращаются в красивые, круглые сосуды. Представьте же себе самого прилежного в мире горшечника, но без станка, поставленного в необходимость изготовлять посуду или, вернее, безобразный брак, формуя глину руками и затем обжигая ее! Таким горшечником явилась бы судьба по отношению

к душе человека, если бы та захотела отдыхать, расположиться удобнее, не работать и не кружиться. Из ленивого, неподвижного человека самая благосклонная судьба, подобно самому старательному горшечнику без станка, не создаст ничего, кроме брака. Сколько бы судьба ни потратила на него дорогих красок и позолоты, он навеки останется лишь браком. Из него никогда не получится сосуд, а выйдет только неустойчивый, безобразный, кривой, косоугольный, бесформенный брак; раскрашенный и позолоченный сосуд бесчестья! Пусть подумают об этом ленивые.

Благословен тот, кто нашел себе дело. Да не пожелает он иного благословенья. Раз он обрел его, он последует за ним. Подобно свободно протекающему каналу, с благородной настойчивостью проведенному через гнилое болото человеческого существования, потоку, все глубже пролагающему себе путь, труд мало-помалу уносит с собой даже из отдаленнейших корней мелкой травки кислую, сгнившую воду. Он превращает вредоносное болото в зеленый, цветущий луг с прозрачным ручьем. Благотворно влияет река на луг, как бы она ни была мала, как бы ни была незначительна.

Труд есть жизнь. Из сокровенной глубины сердца работника поднимается Богом дарованная сила, святая, небесно жизненная эссенция, которую всемогущий Бог вдохнул в человека. Всей душой пробуждается человек, чутко воспринимая все благородное – и всякое знание, и «самопознание», и многое другое, как только он правильно примется за труд. Знание? Крепко держитесь того знания, которое в труде доказывает на деле свое значение, потому что сама природа оправдывает такое знание, подтверждает истинность его. В сущности, у человека и нет других знаний, кроме тех, что приобретены трудом, все остальное лишь гипотезы. О них спорят в школах, они несутся в облаках и кружатся в бесконечном логическом водовороте, пока мы не проверим их на опыте. «Сомнению, какого бы рода оно ни было, может положить предел одна только деятельность».

Известно ли вам, далее, значение терпения, мужества, выдержки, готовности осознать свою ошибку и постараться в другой раз лучше исполнить свою работу? Всем этим добродетелям нигде нельзя научиться, как только в борьбе с суровыми силами действительности, помогая своим собратьям в этой борьбе, здесь – и нигде больше. Поместите какого-нибудь достойного сэра Кристофера[1] среди развалившейся кучи почернелых камней, глупых, не сочувствующих архитектуре епископов, педантов-чиновников и вялых поборников веры и посмотрите, создаст ли он когда-нибудь при таких условиях собор Святого Павла! Грубыми, неотесанными, неподатливыми

оказываются и вещи и люди, начиная с мятежных каменщиков и ирландцев-подносчиков, кончая инертными поборниками веры, педантичными чиновниками, глупыми, не сочувствующими архитектуре епископами. Все это существует на свете не ради сэра Кристофера, а для себя самого. Кристоферу нужно всех победить, пересилить, если только он на это способен. Все эти условия против него. Даже всегда справедливая природа и та лишь отчасти за него и грозит стать и вовсе против него, если ему не удастся ее покорить! Даже денег достать неоткуда! Благочестивая щедрость Англии рассеяна по стране, далека, не способна заговорить и сказать: «Я здесь», – ее надо прежде окликнуть, и тогда только она отзовется. Благочестивая щедрость и вялая готовность помочь так тиха и невидима, как боги; а затруднения и многочисленные препятствия говорят так громко и стоят так близко! О, мужественный сэр Кристофер, надейся тем не менее на первых и выступи против всех остальных. Покори и победи их трудом, терпением, умением, выдержкой и силой и поставь наконец победоносно последний (замковый кирпич) в своде купола собора Святого Павла, твоего памятника на многие столетия!..

Да, помощь всякого рода и благочестивый отклик людей и природы всегда безмолвны и не могут заговорить или выйти на свет Божий, пока их не увидят и не заговорят с ними. Всякое благородное дело вначале «невозможно». На самом деле возможность осуществить такое дело всегда есть, но ее нужно отыскать в неизмеримом пространстве, а это доступно одной только вере. Подобно Гедеону[2], ты должен разложить свое руно у входа в свой шатер, чтоб узнать, не найдется ли под обширным небесным сводом немного благодатной росы. Твое сердце и жизненная цель должны быть подобны чудесному руну Гедеона, распростертому с безмолвной мольбой к небу, и из бесконечности на тебя низойдет благословенная, удовлетворяющая роса!

Труд по самой природе своей религиозен, труд по существу своему мужествен, ибо в мужестве цель всякой религии. Любой труд человека похож на работу пловца. Необозримый океан грозит поглотить его, и, если пловец не будет мужественно бороться, океан сдержит свое слово. Но человек беспрерывно и разумно противится волнам, мужественно борется с ними, и послушно несет его море и победителем доставляет к цели. «Точно так же, – говорит Гете, – обстоит дело со всем, за что берется человек в этом мире».

Отважный мореплаватель, северный морской властелин, – Колумб, мой герой, самый царственный из повелителей моря! Не радостная окружает тебя обстановка здесь, на чудовищных,

глубоких волнах. Вокруг тебя мятежные, малодушные люди, позади тебя гибель и позор, перед тобой, по-видимому, непроницаемый мрак ночи. Брат, эти дикие водные горы, вздымающиеся из своих неведомых глубин, не ради тебя одного очутились здесь. На мой взгляд, у них много своего дела, и не заботятся они о том, чтоб нести тебя вперед. А ревущие ветры, прорывающиеся в гигантском танце сквозь царство хаоса и бесконечности, не думают о том, как надувают они маленькие паруса твоего корабля, не больше ореховой скорлупы в их глазах.

Ты не стоишь среди членораздельно разговаривающих друзей, брат мой; ты окружен неизмеримыми, безмолвными, дикими, ревущими, обгоняющими друг друга чудовищами. Глубоко в недрах их скрыта одному твоему сердцу лишь видимая помощь тебе; постарайся добыть ее. Терпеливо будешь ты выжидать, пока пронесется безумный юго-западный шторм, ловко пользуясь своими знаниями, ты спасешься и смело, решительно пустишься вперед, когда подует благоприятный восточный ветер – олицетворение возможности. Ты сумеешь строго обуздать мятеж экипажа. Ты весело ободришь малодушных, впавших в уныние. Но жалобы, неразумные речи, утомление, слабость других и свою собственную ты спокойно оставишь без внимания. В тебе должна найтись, найдется сила молчания, глубокого, как море, – молчания безграничного, известного одному только Богу. Ты станешь великим человеком. Да, мой мирный боец, плывущий в море, ты должен стать выше этого шумного, бесконечного мира, окружающего тебя. Сильной душой, как руками борца, охватишь ты мир и заставишь его нести тебя дальше – к новым Америкам – или куда еще захочет Бог!

6. По сути говоря, всякий истинный труд – религия, и всякая религия, которая не является трудом, может нравиться браминам, пляшущим дервишам – кому угодно, только не мне. Я преклоняюсь перед изречением древних монахов: «Laborare est orare – трудиться значит молиться».

Старше всех проповедуемых Евангелий было Евангелие непроповедуемое, невысказанное и тем не менее неискоренимое, вечно живущее, гласящее: «Трудись и в труде находи благоденствие». Человек, сын земли и неба, разве в глубине твоего сердца не скрыт дух бодрящей деятельности, сила, призывающая к труду, воспламеняющая тлеющий огонь, не дающая тебе покоя, пока ты не развернешься, не дашь силе той воплотиться в добрых делах! То, что несистематично и неясно, ты приведешь в порядок, сделаешь правильным, заставишь повиноваться тебе и нести плоды. Всюду, где царит беспорядок, ты должен выступить в качестве непримиримого его врага.

Подави беспорядок; водвори порядок, покорный не хаосу, а разуму, Божеству! Если на пути твоем растет репейник, выкопай его, чтоб на его месте могла вырасти полезная травка. Попадется тебе не употребленный доселе кусок хлопчатника, собери его белый пух. Начни прясть и ткать его, чтобы вместо бесполезной соломы получить хорошую ткань и прикрыть ею нагое тело человека.

Но прежде всего, как только столкнешься ты с невежеством, глупостью и грубостью, нападай на них обдуманно, неустанно, не знай отдыха, пока ты жив, и, благословясь, наноси им удар за ударом… Всевышний Бог явственно повелевает тебе так поступать, если у тебя есть уши, чтоб слышать. Но то же самое повелевает он тебе и своим неизреченным голосом, более внушительным, чем гром Синая или рев бури. Разве ничего не говорит тебе молчание глубокой вечности, миров, более далеких, чем утренняя звезда? Еще не родившиеся столетия, старые гробницы с истлевшим в них прахом, даже давно засохшие слезы, когда-то орошавшие его, – разве не говорят они тебе того, чего не слышало еще ни одно ухо? Глубокое царство смерти, звезды, никогда не останавливающиеся на своем пути, и пространство, и время – все возвещает тебе непрестанно и безмолвно: трудись, как и всякий другой человек, ты должен трудиться, пока длится день, потому что настанет ночь, когда никто не сумеет работать.

Всякий истинный труд священен; в каждой истинной работе, хотя бы то было просто рукоделие, есть что-то божественное. Труд обширный, как земля, упирается вершиною в небо. Труд в поте лица, в котором принимают участие и мозг, и сердце, труд, породивший вычисления Кеплера, рассуждения Ньютона, все знания, героические поэмы, совершенные на деле подвиги, страдания мучеников, до «кровавого пота смертных мук», признанных всеми божественными… О, братья! если это не – молитва, тогда молитву надо пожалеть, потому что это – самое высокое, что до сих пор известно нам под Божьим небом.

Что ты такое, что жалуешься на избыток труда и работы в жизни? Не жалуйся. Взгляни вверх, усталый брат мой. Ты увидишь там, в Божьей вечности, своих сотрудников. Они еще живы, они одни еще продолжают жить, – священный сонм бессмертных, небесные телохранители царства человечества. Даже в слабой людской памяти долго живут они как святые, герои, боги! Одни они живут, одни они населяют неизмеримую пустыню времен! Небо хоть и сурово, но не без милости по отношению к тебе. Небо благосклонно к тебе, как благородная мать, как та спартанка, что говорила сыну, подавая ему щит: «С ним, сын мой, или на нем!» Так и ты должен с честью вернуться

домой; так и ты – не сомневайся в том – с честью появишься в своей далекой отчизне, если ты в бою сохранишь свой щит! В вечности, глубоком царстве смертных ты не будешь чужим, ты всюду явишься полноправным гражданином! Не жалуйся; даже спартанцы не жаловались…

Ах, кто из нас может сказать: «Я поработал»? Прилежные из нас лишь бесполезные слуги, и чем они прилежней, тем больше сознают это. Самые старательные люди вправе сказать вместе с печальным и искренним старым Сэмюэлом[3]: «Значительную часть жизни своей потратил я зря». Тот же, кто, за исключением «официальных случаев», не имеет другого дела, как только изящным или неизящным образом предаваться безделью и порождать сыновей, столь же праздных, что должен такой человек сказать о себе, если он хочет быть справедливым!..

Что касается вознаграждения за труд, то можно бы многое сказать по этому поводу, и многое еще скажут, многое еще напишут об этом… «Справедливая поденная плата за честный поденный труд» – вот минимальное требование людей! Денежное вознаграждение «в размере, достаточном, чтобы работник мог жить и дальше работать», так же необходимо для благороднейшего из тружеников, как и для ничтожнейшего, если вы считаете, что он должен остаться в живых!

Мне хочется сделать только одно замечание по отношению к первому классу, благородному и самому благородному, бросающему свет и на другие классы, и на решение этого затруднительного вопроса о вознаграждении. Награда за всякое благородное дело дается на небе либо нигде. Ни в каком банке на свете тебе, героическая душа, не учтут твоего векселя. Людьми созданные банки не знают тебя или узнают, лишь когда пройдут века и поколения и тебя уже не сумеет достичь людская награда…

Но нужна ли тебе, собственно говоря, награда? Разве ты стремился к тому, чтоб за свой героизм набить себе брюхо лакомыми кусками, вести пышную, комфортабельную жизнь и получить в сем мире или в ином то, что люди называют «счастьем»? Я за тебя отвечаю с уверенностью: нет. Вся духовная тайна новой эпохи в том и заключается, что ты со спокойной головой от всего сердца можешь за себя решительно ответить: нет!

Брат мой, мужественный человек должен подарить свою жизнь. Подари ее, советую тебе; или ты ждешь случая приличным образом ее продать? Какая же цена примерно удовлетворила бы тебя? Все творения в Божьем мире, все пространство во вселенной, вся вечность времен и все, что в них есть, – вот что ты

бы потребовал. И на меньшее ты бы не согласился, в этом ты должен сознаться, если хочешь быть правдивым. Твоя жизнь – все для тебя, – и взамен ее ты пожелал бы себе – все. Ты – неразумный смертный, или вернее, ты – бедный смертный, и в тесной темнице мира ты кажешься столь неразумным. Никогда ты жизнь свою или хоть часть своей жизни не продашь за надлежащую цену. Подари же ее по-царски; пусть ценой ее будет ничто. Тогда окажется, что ты в известном смысле получил за нее все!

Человек с героической душой – а разве, благодарение Богу, не всякий человек – дремлющий герой – должен так поступить в любое время и при всяких обстоятельствах? В самые героические времена, как и в самые негероические, человек должен сказать, как сказал Бернс о своих маленьких шотландских песнях. Этих крошечных капельках небесной мелодии в такое время, когда было столь немелодично на свете, гордо и в то же время смиренно: «Клянусь небом, либо они бесценны, либо ничего не стоят; мне ваших денег за них не нужно!» Вот отношение, которое должно повлиять на все договоры о плате за труд. Иначе они никогда не будут «удовлетворять» нас, о евангелие маммоны, никогда и никоим образом!..

Говоря по сути, мы согласны со старинными монахами: laborare est orare. Во многих отношениях истинный труд на деле оказывается настоящей молитвой. Тот, кто работает, в чем бы ни состояла работа его, придает форму невидимым вещам, воплощает их, и каждый работник – маленький поэт. Его идея, хотя бы то была только идея изготовления глиняной тарелки, не говоря уже об идее создания эпического стихотворения, видима пока только ему одному, и то лишь наполовину. Для всех других она – нечто невидимое и невозможное; даже для самой природы это – нечто доселе невиданное, вещь, которой до сих пор еще не было, – по всей вероятности, вещь «невозможная», потому что до сего времени она была ничто! Невидимые силы имели повод охранять такого человека, потому что он творит в невидимом и для невидимого. Да, если взоры человека будут направлены лишь на видимые силы, тогда уже лучше ему отказаться от исполнения своей задачи. Из того ничто, над которым он работал, никогда не выйдет ничего хорошего, кроме обмана, чего-то ложного, чего лучше и не создавать.

Если ты намерен написать стихотворение, поэт, и при этом ничего не имеешь в виду, кроме рецензентов, гонорара, книгоиздателя и популярности, то у тебя ничего не выйдет, потому что в твоем творении нет правды! Хотя бы оно было напечатано, прошло через массу рецензий, заслужило похвалу,

продано в двадцати изданиях, – что с того? Твое произведение, на философском и на коммерческом языке, все еще ничто, чаще всего лишь призрак, обман зрения. Благодетельное забвение безостановочно грызет его и не успокоится до тех пор, пока хаос, создавший его, не поглотит его снова.

Тот, кто не сдружился с невидимым и молчанием, никогда не создаст видимого и способного говорить. Ты должен спуститься к матерям, теням усопших и, как Геркулес, терпеть и трудиться, если ты хочешь победоносно вернуться к солнечному сиянию. Как в бою, сражении – потому что это действительно бой – должен ты презреть и страданья, и смерть. Радостные голоса из утопических стран изобилия, как и рев жадного Ахерона, должны умолкнуть под твоими победоносными шагами. Твоя работа должна, как труд Данте, «заставить тебя похудеть на многие годы». Мир и его награда, приговор, советы, поддержка, препятствия должны быть как дикий морской прилив, хаос, сквозь который тебе приходится пробираться и плыть. Не дикие волны и их смешанные с морской травой течения должны указывать тебе путь, а одна лишь звезда твоя должна руководить тобой – «Se tu segui tua Stella!» Одной лишь звезде своей, то ярко сияющей над хаосом, то на миг угасающей или зловеще темнеющей, одной ей должен ты постараться следовать.

Нелегкая, я думаю, задача таким образом прокладывать себе путь сквозь хаос и адскую тьму! Зеленоглазые драконы подстерегают тебя, трехглавые Церберы – не без своего рода сочувствия! «Eccovi l'uom ch'e stato all'Inferno»[4]. Ведь, в сущности, как сказал поэт Драйден, ты действительно идешь всю дорогу рука об руку с чистейшим безумием, которого никак нельзя назвать приятным спутником! Пристально вглядываешься ты в безумие, в его неисследованное, безграничное, бездонное, мраком ночи окутанное царство и стараешься извлечь из него новую премудрость, как Эвридика из преисподней. Чем выше премудрость, тем теснее ее близость, родство с чистым безумием. Это верно в буквальном смысле слова. В немом удивлении и страхе придешь ты к заключению, что высшая премудрость, пробираясь на свет Божий, часто приносит с собой приставшие к ней остатки безумия.

Все творения, каждое в своем роде, – превращение безумия в нечто осмысленное. Это, несомненно, религиозное дело, немыслимое без участия религии. Иначе ты не создал ничего настоящего, а лишь заботился о том, что приятно для глаз, жадно гонялся за наградой, быстрейшим изготовлением мнимых ценностей с целью получить вознаграждение. Вместо хороших фетровых шляп, которыми можно было бы прикрыть голову, ты

создал лишь большие из дерева и гипса изготовленные шляпы для рекламы, как те, что развозят по улицам на колесах. Вместо земного и небесного руководства душами людей ты занимаешься прениями о черных или белых стихарях. Перед тобой набитые волосом кожаные чучела пап, земные законодатели, «организующие труд», разрабатывая законы о хлебе. Увы, наша измученная земля полна таких явлений до того, что готова взорваться. Все это показное, гладко, чтобы не оскорбить ни чувства, ни зрения, но тем не менее все это достойно проклятия, гибельно для тела и души. Видимости, будь то скверно вытканное сукно или дилетантское законодательство, нельзя считать действительной шерстью или сущностью, а лишь ничтожной пылью, проклятой Богом и людьми! Ни один человек никогда не творил иначе как религиозно. Ни один, не исключая бедного ремесленника, ткача, соткавшего твое платье, сапожника, тачавшего твои сапоги. Все люди, если они работают не так, как на глазах у Великого Наблюдателя, работают неправильно и на свое собственное и чужое несчастье.

7. «Трудиться значит молиться». В этих словах скрыт высокий смысл, при теперешнем положении молитвы и всякого поклонения понятный лишь немногим. Но кто понимает их истинное значение, тому понятно пророчество относительно всего будущего, последнее Евангелие, заключающее в себе все остальные. Его собор – купол неизмеримого, – видел ли ты его? Его кровля – Млечный Путь, под ногами у него – зеленая мозаика лугов и морей; алтарем ему служит звездный трон Вечного! Его молебны и псалмы – великие дела, героические поступки и муки и искренние, от всего сердца идущие речи смелых сынов человеческих. Хоровые песни поют старые ветры и океаны и низкие, неясные, но красноречивые голоса судьбы и истории.

8. Труд – призвание человека на земле. Обстоятельства так складываются, что настанет день, когда человеку, не имеющему работы, нельзя будет показаться в пределах нашей Солнечной системы и ему придется искать другую, ленивую планету.

9. Задача человека на земле, назначение всякого отдельного человека – быть попеременно то учеником, то работником, или, вернее, быть одновременно учеником, учителем и исследователем. От природы одарен человек силой не только учить и подражать, но и действовать, и познавать себя. Разве мир, в котором мы живем, не бесконечен, и разве мы не видим, что самые близкие, друг от друга зависящие отношения постоянно изменяются последними открытиями связей между предметами? Если бы когда-нибудь удалось превратить человека в простого ученика, так что ему ничего не оставалось бы исследовать и

исправлять… Если бы когда-нибудь можно было установить теорию мироздания, окончательную и совершенную, которую оставалось бы только выучить наизусть, тогда человек был бы духовно мертвым, род людской перестал бы существовать.

10. Сколько правды в старинной басне о сфинксе, что лежал на большой дороге, задавал путникам загадку и разрывал их на части, если они не могли ее решить. Таким сфинксом является наша жизнь для всех людей, людских обществ. Природа, как сфинкс, божественна, мила и нежна. У нее лицо и грудь богини, но в то же время когти и тело львицы. В ней что-то небесно-прекрасное – порядок и мудрость – и темная роковая жестокость – порождение ада. Она – богиня, но богиня, лишь наполовину освобожденная из темницы, наполовину еще заточенная в тюрьме, – отчетливое, милое переплетено еще с невысказанным, хаотическим.

Как это верно! И разве не предлагает нам жизнь загадок? Каждого человека она ежедневно вопрошает ласковым тоном, но страшно многозначительно: «Знаешь ли ты назначение сегодняшнего дня? Стараешься ли ты разумно сделать то, что ты в состоянии сделать сегодня?»

Природа, вселенная, судьба, существование, или как вы там называете великую неизъяснимую действительность, среди которой мы живем и боремся, разве не представляется она как божественная невеста или как клад человеку мудрому и храброму, способному понять и исполнить ее законы, и как губительный демон для тех, кто на это не способен? Разреши ее загадку – и будет благо тебе. Не разрешишь ее, пройдешь мимо, оставив ее без внимания, и она сама ответит тебе на свой вопрос, но ответит зубами и когтями, потому что природа – немая львица и яростно растерзает тебя, не внемля твоим мольбам. Ты уже не победоносный жених ее, а изуродованная, низвергнутая в пропасть жертва, как это неминуемо и должно случиться с уличенным в измене рабом.

С народами дело обстоит точно так же, как с отдельными лицами. Сумеют ли они разрешить предложенную им загадку или нет?..

В этом, в сущности, тайна всех несчастных людей и народов. Они забыли настоящую, внутреннюю правду, променяли ее на внешний блеск. Они неверно отвечают на вопрос сфинкса. Неразумные люди не могут правильно решить его вопроса! Неразумные люди принимают внешний, преходящий успех за вечную суть и запутываются все больше и больше.

Глупые люди полагают, что раз наказание за злое дело не последовало тотчас же, то здесь на свете нет справедливости, а

если есть, то лишь случайная. Наказание за злое дело задерживается иногда на несколько дней, иногда на несколько столетий, но оно так же верно, как жизнь, так же неминуемо, как смерть! В центре мирового водоворота все еще живет и говорит Бог, Бог истинный, как в древние времена. Великая душа мира справедлива.

11. В произнесенном слове, написанном стихотворении сказывается, говорят, квинтэссенция человека; но насколько больше в сделанной работе? Вся нравственность человека, его ум, терпение, выдержка, порядочность, верность, проницательность, изобретательность, энергия – одним словом, все силы, которыми обладает человек, начертаны в выполненной им работе. Трудиться – значит испытать свои силы в борьбе с природой и ее никогда не обманывающими законами; они-то вынесут человеку правильный приговор. Столько-то добродетелей и способностей нашли мы в нем, столько-то – и больше ни одной! Столько-то способности было у него прийти в согласие со мной и с моими неизменными, вечно истинными законами, прилагать усилия и трудиться сообразно с ними, как я ему приказывала, и ему это удалось или не удалось, как вы видите!

12. Трудиться, как повелела великая природа, разве это не добродетель во всех отношениях? Хлопчатую бумагу можно прясть и продавать; можно достать рабочих, чтобы прясть ее, и, наконец, можно продавать сотканную материю, следуя в этом деле предписаниям природы. Если не будете следовать предписаниям природы, вы ее не получите; если же вы ее не получите, если не будет в продаже хлопчатобумажных тканей, то природа уличит вас в бессилии, сила ваша – не сила, ваш труд – бесплоден! Уважай способность до тех пор, пока она делает честь человеку. Я всегда уважаю человека, которому удается его труд.

Воистину, в сем мире нет ничего мертвого. То, что мы называем мертвым, на самом деле лишь изменено, силы его действуют лишь иным образом. «Лист, гниющий на сыром ветру, – как выразился кто-то, – имеет еще силу: иначе как мог бы он гнить?» Весь наш мир – бесконечно сложное, запутанное соединение сил, разнообразнейших сил, начиная с тяготения и кончая мыслью и волей. В свободе человека, непреложности законов природы, во всем мире ничто не дремлет ни на одно мгновенье; все бодрствует и деятельно творит. Нигде ты не увидишь предмета в одиночном бездействии, начиная с медленно распадающихся со времен сотворения мира гранитных гор вплоть до рассеивающегося дыма, живого человека; вплоть до поступка, слова человека. Мы знаем, что сказанного не вернешь; тем более не вернешь сделанного. «Сами боги, – говорит Пиндар, – не могут

уничтожить содеянного поступка». Да, что случилось однажды, то случилось навек, ввергнуто в бесконечное время и независимо от того, остается ли оно надолго видимым для нас или быстро исчезает, вечно действует и растет, как неразрушимый, новый элемент в беспредельности вещей. Да и что такое представляет собою эта беспредельность вещей, которую мы называем вселенной, если не деяние, совокупность поступков и действий?

Живая, готовая сумма, которой никто не в состоянии вычислить, состоит из трех слагаемых, явных для всех: все, что случилось, все, что случается, и все, что случится в будущем. Пойми это как следует. Все, что ты видишь, результат поступка, следствие и выражение напряжения силы; совокупность вещей – это бесконечное спряжение глагола «творить». Безбрежное море сил, власти творческой, где силы трепещут и кружатся, поднимаясь дружными течениями, широкими, как неизмеримость, глубокими, как вечность, прекрасными и страшными и непонятными, – вот что человек называет жизнью и миром. Это окрашенная в тысячу цветов огненная картина, одновременно скрывающая от глаз наших явления и обнаруживающая их отражение, едва уловимое жалким мозгом и сердцем человека, неизреченного, живущего в свете, когда кругом царит тьма, сквозь которую никто не может к нему пробраться. Выше блестящего звездного пути, раньше начала времен трепещут творческие силы вокруг тебя, да и ты принадлежишь к числу их на том месте, на котором сейчас стоишь, в тот самый момент, который ты сейчас видишь на часах своих.

13. Сильный человек всегда найдет себе дело, то есть трудности, страдания в той мере, какая только ему по силам.

14. Талантливый человек, в какой бы период истории он ни родился, всегда найдет довольно работы; никогда не может он вступить в жизнь при таких обстоятельствах, чтобы не было противоречий, нуждающихся в примирении, трудностей, на преодоление коих потребуются его силы, если только сил этих вообще достаточно. Везде душа человеческая находится между полушарием мрака, на границе двух враждующих царств: необходимости и свободной воли.

15. Положение, не имеющее своего идеала, обязанности, никогда еще не было занято ни одним человеком. Да, в этой бедной, жалкой, презренной действительности, в которой ты сейчас живешь, заключен идеал твой, здесь или нигде. Отсюда стремись к нему, надейся, живи и будь свободен. Глупец! Идеал твой лежит в тебе самом, препятствия к нему скрыты тоже в тебе самом. Твое состояние лишь материал, из которого ты должен образовать, сформировать этот идеал.

16. А вы, работники, уже состоящие на работе, взрослые люди, благородные, достойные уважения, вас призывает свет к новому труду, новым благородным поступкам. Победите бунт, раскол, широко распространенное отчаяние своим мужеством, справедливостью, мягкостью и мудростью. Хаос темен и глубок, как ад. Заставьте воссиять свет, и мы увидим вместо ада зеленый цветущий мир. Нет ничего более великого, как заставить какой-нибудь уголок Божьих созданий стать плодороднее, лучше, достойнее Бога, заставить сердца человеческие стать немного умнее, мужественнее, счастливее, благосклоннее. Эта задача достойна какого-нибудь бога. Черный ад мятежа, варварства, отчаяния может быть превращен людскими усилиями в своего рода небо, очищенное от копоти, мятежа и потребности в бунте. Вечная дуга небесной лазури поднимается и над ними, их хитрыми машинами, как порождение неба, и Бог, люди, довольные, смотрят на это.

17. Я уважаю людей двух категорий, и только двух. Во-первых, трудящегося работника, созданными из земли орудиями покоряющего землю, превращая ее в собственность человека. Достойна уважения грубая, сведенная, мозолистая рука, в которой тем не менее есть нечто царственно-величественное, потому что она держит скипетр нашей планеты. Почтенным нахожу я грубое, загорелое лицо работника с бесхитростным умом, потому что это лицо человека, живущего так, как человек должен жить. Да, я тебя еще больше уважаю за грубость твою, именно потому, что нам приходится и пожалеть, а не только любить тебя! Тяжело обремененный брат! Из-за нас так гнулась спина твоя, из-за нас твои прямые члены так изуродованы. Ты был нашим рекрутом, тебе выпал жребий, и в то время как ты за нас воевал, ты сделался калекой. И в тебе заключался созданный Богом образ, но ему не суждено было развернуться. Труд крепкой пеленою окутал тебя и лишил тело твое и душу твою свободы. И все же продолжай работать, трудись! Ты исполняешь долг свой, хотя бы другие его и не исполняли. Ты трудишься ради необходимого насущного хлеба.

Другого человека уважаю я гораздо больше. Того, который трудится ради необходимого душе человеческой, не ради насущного хлеба. И он исполняет свой долг, стремясь к внутренней гармонии и содействуя ей словом и делом. Всего выше стоит такой человек, когда его внешние и внутренние стремления составляют одно. Мы можем назвать его артистом, не простым рабочим, а воодушевленным мыслителем, небом созданными орудиями завоевывающим небо! Если бедный, скромный труженик работает, чтобы добыть нам пищу, то разве

одаренный умом и гением человек не должен трудиться, в свою очередь, для него, чтобы дать ему свет, руководство, свободу и бессмертие! Этих двух людей на различных ступенях их развития уважаю я. Все другое лишь дым и прах, и дуновения ветра достаточно, чтобы его не стало.

Но несказанно трогательным нахожу я соединение этих двух типов в одном лице, когда тот, кто внешне должен трудиться для удовлетворения самых низменных человеческих потребностей, внутренне работает для самых высоких из них. Я не знаю ничего в мире выше святого, обрабатывающего землю, если такой человек в наше время еще может встретиться. Такой человек вернет тебя к временам Назарета. Сияние неба поднимется перед тобой из глубочайших недр земли, подобно свету, блестящему во мгле.

18. Не за тяжелый труд жалею я бедняка. Все мы должны либо трудиться, либо красть (каким бы названием мы ни прикрывали своей кражи), что гораздо хуже. Ни один честно трудящийся человек не находит, что его задача – одно лишь препровождение времени. Бедняк голоден, ему хочется пить, но и для него найдутся пища и питье. Он тяжко обременен и устал, но небо посылает ему сон, и даже глубокий. В его закоптелой избе на него нисходит благодатный отдых, сновидения пестрой чередой проносятся перед ним. – Но я жалею его, что светильник духа его угасает, ни один луч небесного или хоть земного знания не доходит до него; и лишь в густой мгле, как два призрака, живут страх да дерзость. Неужели в то время как тело так сильно, душа должна быть ослеплена, искалечена, погружена в оцепенение? Неужели и это также дар Божий, уделенный человеку еще на небе, которому не суждено было развиться в мире? Что человек должен умереть в неведении, хотя он был одарен способностью к познанию, это я называю трагедией, хотя бы явление это и повторялось до двадцати раз в минуту, как оно и выходит по известным вычислениям. Та жалкая частичка знания, которой добилось соединенное человечество среди целого моря неведения, почему бы ей не сделаться достоянием всех людей?

19. Разве сильная правая рука, прилежная и ловкая, не достойна названия «скипетра нашей планеты»? Кто может работать, тот прирожденный король, тот в тесной связи с природой, властелин, повелитель вещей и в своей сфере жрец и царь природы. Кто не может работать, тот лишь присваивает себе царское достоинство. В каком бы он наряде ни выступал, он прирожденный раб всех вещей. Человек, чти свое ремесло!

20. Современный эпос нужно назвать не «оружие и человек», а «орудие и человек». Что такое наши орудия, начиная с молотка и лота и кончая пером, если не оружие, которым мы боремся

снаружи и изнутри с безрассудством и глупостью, которым мы сокрушаем не своих же собратий, а нашего непримиримого врага, заставляющего всех нас страдать. Это отныне единственная законная война.

21. Что касается отдельного человека, то его борьба с духом противоречия, живущим и внутри и вне его, продолжается непрестанно. Мы говорим о злом духе, который можно назвать и слабым, и жалким, живущим и в других, и в нас самих. Его движение вперед, как и всякая ходьба, по определению физиков, продолжительное падение.

22. Жизнь никогда не была для людей веселым праздником. Во все времена тяжелая доля миллионов бессловесных людей, рожденных для тяжких трудов, была искалечена страданиями, несправедливостью, тяжким бременем, неминуемым и подчас произволом навязанным. Не забава, а горькая работа наносила раны и мышцам, и сердцу.

23. Никогда жизнь человеческая не была, что люди называют «счастливой»; никогда и не может этого быть. Беспрестанно предавались люди мечтаниям о рае, о какой-нибудь земле изобилия, где в ручьях течет вино, а к деревьям привешена колбаса да жаркое; но то был лишь сон, неисполнимый сон. Страдания, противоречия и заблуждения поселились надолго, а быть может, и навсегда на нашей земле. Разве труд – не удел человека? И какая работа в настоящее время бывает радостна и не сопряжена со страданием? Труд и забота являются перерывом в состоянии покоя и комфорта, неразумно представляющимся людям как счастье, и тем не менее без работы никакой отдых, никакой комфорт не были бы даже мыслимы.

Таким образом, зло, или то, что мы называем злом, должно существовать вечно, пока жив человек. Зло, в самом широком смысле, какое мы можем ему приписать, является тем темным, запутанным материалом, из коего свободная воля человека должна построить здание порядка и добра. Вечно должна боль понукать нас к работе, и только в свободном стремлении к деятельности мы можем добиться счастья.

24. Нет, творчество не может даваться легко. Юпитер испытывает сильную боль и чувствует, как огнем охвачена голова его, из которой силится выйти вооруженная Афина Паллада. Что касается производства, то это, конечно, дело иного рода, и оно может быть легким или трудным, в зависимости от точки зрения. Но и здесь наблюдается общая истина, что ценность производства состоит в прямой зависимости от степени труда, потраченного на него.

25. Так было с самого начала, так оно и останется до конца.

Поколение за поколением принимает форму тела и выходит на свет Божий из темной ночи со своей небесной миссией. Всю силу и весь огонь, скрытый в каждом из нас, берет себе жизнь. Один отдает все свои силы промышленности, другой знанию, третий погибает в борьбе с братом-человеком, и тогда его, посланца неба, отзывают обратно. Его земная оболочка отпадает и превращается в прах. Как неистово грохочущая, открывающая огонь небесная артиллерия, гремит и пылает таинственный род людской! Он проходит сквозь неизведанную глубину длинным рядом отдельных, быстро следующих возвышенных личностей. Подобно созданной Богом огнедышащей толпе духов, мы, вынырнув из моря вечности, бурно проносимся над удивленной землей и снова погружаемся в вечность. Горные хребты мы сравниваем с землей на пути своем и высушиваем моря. Может ли земля, мертвая земля-призрак, противостоять духам, одаренным жизнью, духам действительно сущим? Самый твердый алмаз носит на себе след наших шагов, и последний арьергард наших полчищ найдет следы первого авангарда. Но откуда мы? О Боже, куда мы? Ум не знает того, вера не знает, одно лишь известно, что через тайны проходит человечество от Бога к Богу.

26. Известное «рыцарство труда», определенная благородная гуманность и практическая божественность труда может быть осуществлена еще в этом мире. Но почему же не сейчас? Почему мы возносим молитвы к небу, вместо того чтоб самим приняться за дело? Надо начинать в настоящее время, если хотят, чтоб в будущем что-нибудь удалось. Ты, пророчествующий, верующий, начни же сам и исполняй свое пророчество… Протяни руку, прося Божьим именем; знай, что слово «невозможно» там, где приказывают истина, милосердие и вечный голос природы, должно быть вычеркнуто из словаря мужественного человека. Если все ответят тебе «невозможно», и шумною толпой бросятся в другую сторону, и ты останешься один? Тогда настанет твой час, тогда наступит возможность для тебя. Тогда очередь за тобой. Тогда примись за дело и ни у кого не спрашивай совета. Слушай лишь себя да Бога. Брат, в тебе заключена возможность создать многое, написать историю героической жизни на скрижалях вечного неба.

27. Человек рожден, чтобы бороться, и всего лучше, пожалуй, можно его определить как прирожденного борца. Жизнь его – сражение и марш под предводительством истинного полководца. Человеку вечно приходится бороться – с необходимостью, бесплодием, нуждой, болотистыми пространствами, непроходимыми лесами, нечесаным льном или хлопчатой бумагой, ослеплением бедных его современников. Обманчивые

видения проносятся перед взором моего бедного собрата и заставляют его предъявлять ко мне требования, не подобающие ему. Всякая борьба сводится к столкновению сил, из коих каждая считает себя сильнее, и, как это постоянно происходит в нашей справедливой вселенной, означает столкновение прав. Во время борьбы преходящая часть бойца рассыпается в прах после достаточного числа поражений, и лишь когда этот процесс закончен, тогда выступает наружу вечное, истинное, правильное.

Теперь мы можем заметить, как при этих обстоятельствах поступит благородный, благочестивый рыцарь и выкажет себя неблагородный, забывший Бога вандал. Победа – цель обоих. Но в глубине сердца благородного человека ясно начертано, так же верно, что сотворил его Бог, Божья справедливость, и она одна, будь она даже совершенно невидима при всех предприятиях и во всех боях, одержит в конце концов победу, должна ее одержать.

28. Поле битвы тоже бывает велико. Если правильно взглянуть на дело, то это своего рода квинтэссенция труда, труда до крайности сконцентрированного; значение нескольких годов, собранное в один-единственный час. И здесь ты должен быть силен, и силен не одними лишь мышцами, если ты хочешь одержать победу. Здесь тебе придется еще быть сильным сердцем и благородным душой. Ты не должен бояться ни страдания, ни смерти. Ты не должен любить ни покоя, ни жизни. В гневе должен ты не забывать милосердия и справедливости – ты должен быть рыцарем, а не диким индейцем, если ты хочешь, чтобы победа была за тобой! Это – закон всякой борьбы, как против ослепленных людей, так и с нечесаным льном и с чем бы иным ни приходилось бороться человеку на веку своем.

29. Чем бы человек ни занимался, его работа будет тогда лишь хороша, если он знает, когда нужно остановиться. Иной человек напрасно изнемогает от беспокойства; он не может приобрести надлежащей сноровки; это не мастер своего дела, а лишь несчастный кропатель, не знающий, когда он готов. Абсолютное совершенство недостижимо. Ни одному плотнику не удавалось получить математически правильный угол; и тем не менее все плотники знают, когда угол готов, и не теряют времени над дальнейшим исправлением его, не стараются сделать угол слишком правильным. Кто слишком старается, тот так же болен духом, как тот, кто вовсе не старается. Ловкий человек, здоровый духом, прилагает ко всякому делу ровно столько стараний, сколько оно заслуживает, и потом без угрызений совести оставляет работу в покое.

30. Разве мы не вправе сказать и здесь, как везде: довольно, если каждый день приносит с собой свою собственную муку!

Наша задача не в том, чтоб преобразовать все будущее. Достаточно, если мы преобразуем лишь небольшую часть его в соответствии с уже известными правилами. Быть может, каждый из нас, если отнесется достаточно серьезно к своей задаче, сумеет узнать, какая часть общей работы приходится на его долю. Пусть он свою работу делает от всего сердца и не останавливаясь. Общий исход работы зависит, как это и было всегда, от разума более высокого, нежели ум человека.

31. Повторим слова бедного француза, сказанные им членам Конвента: «Je demande l'arrestation des coquins et des laches»[5], – но только не на час, а на всю жизнь. Арестовать всех плутов и трусов – задача нелегкая, и немало пройдет времени, пока всех их целиком или хоть частью удастся переловить; но если хоть один попадется вам, арестуйте его, Бога ради; все же хоть одним меньше останется на свободе.

32. Если ты сталкиваешься с ложью, истребляй ее. Ложь для того только и существует, чтоб ее истребляли; неправда искренне ждет и требует того, чтобы ее преследовали. Но проверь себя хорошенько, чтобы знать, в каком духе ты так поступаешь: не из ненависти, себялюбивой, торопливой горячности, а с чистым сердцем, священным рвением, мягко, почти сострадательно должен ты уничтожать зло. Не правда ли, ведь ты не хочешь уличенную тобою ложь заменить другой, неправду заменить несправедливостью, исходящей от тебя и подающей повод к новой неправде? Тогда конец был бы хуже начала.

33. Каждый может и должен быть настоящим человеком: то есть чем-то высоким, творцом великих дел, все равно как один желудь мог бы покрыть всю землю дубами! Каждый может что-нибудь сделать. Только бы он честно трудился, а исход можно со спокойным сердцем предоставить Высшей Силе.

34. Во всяком случае, тот, кто хочет честно трудиться, должен глубоко веровать. Кто на каждом шагу ждет одобрения света, кто не может обойтись без сочувствия толпы и собственное убеждение приноравливает к мнению людей, тот жалкий слуга видимости. Какую работу ни дайте ему, он любую плохо исполнит. Всякий такой человек ежедневно содействует общему падению. Всякая работа, исполненная таким образом, с точки зрения внешнего блеска, только злит людей и порождает новые беды.

35. Послушание – наш общий долг и наше назначение. Кто не может покориться и сгибаться, тот будет сломлен. Мы должны вовремя освоиться с мыслью, что в сем мире хотение равно нулю по сравнению с долгом и составляет лишь небольшую дробь того, что случается на деле.

36. Самое неприятное чувство – это чувство собственного бессилия, или, как говорит Мильтон: быть слабым – вот настоящее несчастье. И все же сила ни в чем ином не может себя проявить, как лишь в счастливо доведенной до конца работе. Что за разница между колеблющейся способностью и твердым, лишенным сомнений исполнением задуманного! Известное, смутно выраженное самосознание живет в нас, и только дела наши могут отчетливо и решительно показать нам нас самих. Наши дела – зеркало, в коем дух впервые видит свои очертания. Отсюда и неразумность невозможного требования: «Познай самого себя», если не перевести его в хотя бы отчасти возможное требование: «Познай, что ты способен сделать».

37. Человек, которому хотелось бы работать и который не находит себе дела, – самое грустное зрелище, доставляемое нам неравномерным распределением счастья на земле.

38. Во всех детских играх, хотя бы при своевольной ломке и порче вещей, видно стремление к творчеству. Мальчик чувствует, что он рожден быть человеком, что его призвание – труд. Ему нельзя сделать лучшего подарка, как дать орудие в руки. Будь то нож или ружье, средство строить или разрушать – и то и другое есть работа и ведет к изменению вещей. Играми, требующими ловкости и силы, мальчик, состязаясь с другими, учится совместной деятельности, мирной или воинственной, готовится быть правителем либо управляемым.

II Не унывать

1. Маленькая спасательная лодка, называемая Землей, с ее шумным экипажем – родом человеческим, всей ее беспокойной историей исчезнет в один прекрасный день, как исчезает облачко с небесной лазури! Но что такое человек? Он существует лишь час, и раздавить его не труднее, чем моль. И все же в жизни и деятельности верующего человека лежит нечто – нам в том порукой вера, – такое, что неподвластно разрушительной силе времени, одерживает победу над временем, есть и будет даже тогда, когда уже не станет времени.

2. Человек в собственном сердце своем носит вечное. Стоит ему заглянуть в свое сердце, и он прочтет в нем о вечности. Он знает сам, что будет долговечным и ни в каком случае на долговечность рассчитывать не может!

3. Причина несчастья человека лежит, как мне кажется, в его величии. В нем есть что-то бесконечное, чего он, при всей своей хитрости, не может похоронить под конечным. Могут ли соединенные усилия всех министров финансов современной Европы сделать хоть одного сапожника счастливым? Они не могут этого сделать, а если и могут, то только на пару часов, потому что и у сапожника есть душа, и требования ее совсем иные, нежели требования его желудка. Душа, для продолжительного удовлетворения и насыщения коей потребовался бы не больше и не меньше как бесконечный Божий мир, отданный ей в исключительную собственность, дабы в нем бесконечно наслаждаться и удовлетворять всякое свое желание, как только оно появится. Не говорите поэтому о целых океанах дорогого вина. Для сапожника с вечной душой это все равно что ничего! Не успеет океан наполниться, как человек станет роптать, что вино могло бы быть еще лучше. Попробуйте подарить человеку полмира, и вы увидите, что он затеет ссору с владельцем второй половины и будет утверждать, что его обидели.

4. Все видимые предметы суть эмблемы. То, что ты видишь, не существует само для себя, да и, строго говоря, оно вовсе и не существует, потому что материя существует лишь в зависимости от духа и нужно представить идею, воплотить ее. С этой точки зрения сам человек и все его земное существование не более как эмблема, одеяние или видимая драпировка божественного «Я», как искра с неба, брошенная вниз на землю. Поэтому и про человека говорят, что тело его лишь служит ему оболочкой.

5. Человек, «символ вечности, скованный временем», не дела

твои, которые все смертны и бесконечно малы, из коих величайшее стоит не больше самого мелкого, а лишь дух, в котором ты работаешь, имеет некоторую ценность и продолжительность.

6. С душой человека происходит то же, что с природой: начало творчества ее – свет. Пока глаз не видит, все члены томятся в неволе. Божественный миг, когда над бурно мечущейся душой, как некогда над диким хаосом, раздаются слова: «Да будет свет!» Разве для величайшего из людей этот момент не столь же чудесен и божествен, как для простейшего из смертных, почувствовавших его.

7. Люди с созерцательным направлением ума переживают временами задумчивые, сладкие и в то же время полные ужаса часы, когда они с любопытством и страхом ставят себе неразрешенный вопрос: «Кто я; то существо, которое называет себя «я»?» Мир с его громким шумом, делами отступает на задний план. Сквозь бумажные обои и каменные стены, густую ткань всевозможных отношений, политики, живых и безжизненных препятствий (общества и тела), какими окружено существование отдельной личности, – взор проникает в глубокую бездну, и человек остается один во вселенной и молча знакомится с ней, как одно таинственное создание с другим.

«Кто я; что такое мое «я»?» Голос, движение, явление; воплощенная, принявшая видимый образ идея вечного мирового духа? Cogito ergo sum[6]. Ах, жалкий мыслитель! С этим ты далеко не уедешь. Правда, я есть, и недавно еще меня не было, но откуда я? Каким образом появился? Куда иду? Ответ скрыт в окружающем, написан во всех движениях, красках, высказан во всех звуках радости и криках скорби, разнообразной, тысячеголосой гармоничной природе. Но где тот мудрый взор, слух, который уловит значение Богом написанного откровения? Мы живем точно в безграничном, фантастичном гроте и видим дивные сны. Грот безграничен, потому что самая тусклая звезда, самое отдаленное столетие не приближается к его окружности. Звуки и пестрые видения проносятся перед нами, но Его, никогда не дремлющего, создавшего и грезы, и того, кто грезит, мы не видим, мы даже не догадываемся о том, каков Он, за исключением редких мгновений полусознательного состояния. Творение лежит перед нами, как сияющая радуга, но солнце, создавшее ее, лежит за нами, скрыто от нас. В этих необычайных снах мы гонимся за тенями, точно это существа, и спим глубочайшим сном тогда, когда думаем, что окончательно пробудились.

Которая из наших философских систем представляет собою

что-нибудь иное, чем теория сна, уверенно сказанное частное, причем делимое и делитель оба неизвестны? Что такое все народные войны, отступление из Москвы, кровавые, исполненные вражды революции, если не сомнамбулизм беспокойно спящих людей? Этот сон, хождение во сне, то, что мы называем жизнью. Большинство людей проживают ее, не зная сомнения, как будто они в состоянии отличить правую руку от левой, а между тем лишь те мудры, которые знают, что они ничего не знают.

Как жаль, что всякая метафизика до сих пор всегда оставалась столь непродуктивной! Тайна существования человека на земле по сегодняшний день еще не разгадана, как загадка сфинкса, которой человек никогда не может правильно решить, почему он и должен умереть самой ужасной смертью, смертью духовной. Что такое всевозможные аксиомы и категории, системы и афоризмы? Слова, слова! Высокие воздушные замки хитро воздвигаются из слов, сами слова крепко цементируются логикой, но знания мы так и не добиваемся. Целое больше части – что за необыкновенная истина! Природа не терпит пустоты – как это необыкновенно лживо и что за клевета! Далее, ничто не может влиять иначе, чем оно влияет там, где находится. Я охотно с этим соглашусь, но позволю себе только вопрос: где же оно находится?

Не будь рабом слов. Разве далекое, мертвое, если я к нему стремлюсь, люблю его, скорблю о нем, не находится здесь же, в истинном значении этого слова? Оно так же верно, как та земля, на которой я стою. Вот это-то «где» со своим братом, «когда» всегда были основным цветом нашего грота грез, вернее, полотном, на котором все наши сны, все видения наши были изображены.

И тем не менее зрелое размышление убеждает нас, что столь таинственно связанные с нашим мышлением понятия «где» и «когда» – лишь поверхностные, земные придатки мысли, пророки видели вещим оком, поскольку они исходили из небесных везде и всегда. Разве не все нации признали своего Бога вездесущим и вечным, существующим во всемирном здесь, в вечном теперь? Обдумай это хорошенько, и ты тоже найдешь, что пространство лишь условное понятие нашего человеческого разума, точно так же как время. Мы сами не знаем, что мы – искры, плывущие в эфире Божества.

Быть может, эта столь массивная на вид земля на самом деле лишь воздушная картина. Быть может, наше «я» – единственно действительно сущее, а природа с ее различными произведениями и разрушениями лишь отражение нашей собственной внутренней силы, фантастическая греза или, как называет это Дух земли в «Фаусте», «живое одеяние Божества».

8. Будет ли человек времен Адама Смита прясть хлопок или строить города, рыть колодцы или, как это было при пророке Самуиле или во времена Давида, обрабатывать Ханаанскую землю, он всегда останется человеком, посланником невидимых сил, великим и победоносным, пока верно служит своему призванию. Низким, жалким, обманутым и, наконец, пропащим, исчезнувшим с глаз долой, забытым людьми, если он окажется нечестным тружеником. Брат мой, ты, я думаю, человек. Ты не простой, строящий бобер или двуногий бумагопрядильщик; ты действительно обладаешь душой, хотя бы она сейчас и находилась в состоянии смертельного обморока! Закоптелый Манчестер и тот построен над бесконечной пропастью; над ним простирается твердь небесная; в нем царит рождение и смерть; он во всех отношениях так же таинствен и непостижим, как древнейшие города времен пророков. Ходи или стой, в какое время, на каком месте тебе будет угодно, везде ты найдешь неизмеримости. Вечности над нами, вокруг нас, в нас самих.

…Тихо
Покоятся звезды вверху,
А снизу могилы.

Между этими двумя видами безмолвия раздается грохот наших ткацких станков, торговых обществ, союзов и клубов. Сама глупость должна была бы здесь задержать свой бег и обдумать это. Истинно говорю тебе: сквозь все твои кассовые книги и философствование относительно спроса и предложения, все современные грустные дела и хитрые модные речи светит присутствие первобытного, неизреченного, и ты был бы мудр, если бы признал это не одними устами.

9. Каждый человек вмещает в себе целое духовное царство, отражение вселенной, и, хотя незначительная фигура едва достигает шести футов в вышину, он доходит вверх и вниз бесконечно далеко, расплываясь в сферах неизмеримости и вечности. Жизнь, сотканная на чудесном «ткацком станке времени», состоит, так сказать, из нитей света, перемешанного с таинственным мраком ночи, – только Тот, Кто создал жизнь, может это понять.

10. У кого есть глаза и сердце, тот и в настоящее время может сказать: «Чего мне страшиться?» Свет доходит до тех, кто любит свет, как его следует любить, с самопожертвованием, с готовностью все переносить. К тому же напрасное старание познать тайну бесконечности следует прекратить раз навсегда. Тайну эту нам никогда не удастся узнать иначе, как читая

отдельными строками то здесь, то там. Разве нам не известно уже, что имя бесконечного – доброта, Бог?

Здесь, на земле, мы похожи на воинов, воюющих в чужой стране. Мы не понимаем плана кампании, да нам и не нужно его понимать. Мы и так знаем, что нам надлежит делать. Будем же исполнять каждый свою работу, как воины, послушно, мужественно, с героической радостью. «Если есть у тебя работа, исполни ее по мере твоих сил». За нами, каждым из нас лежат шесть столетий людских усилий и побед. Перед нами – безграничное время с его еще не созданными и не завоеванными странами и счастливыми царствами, которые мы, да, мы сами должны создать и завоевать. Над нами светят небесные, руководящие звезды вечности.

Вот мое наследство, прекрасное, нетленное.
Время – мое владение, моя пашня – время.

11. Не думаешь ли ты, что в этом мире с его дико кружащимся водоворотом и неистово пенящимися океанами, где люди и народы погибают, точно нет на свете закона, где суд над неправедными часто откладывается надолго, не остается никакого правосудия? Так в сердце своем считает безумец. Мудрецы всех времен тем и были мудры, что отрицали этот вывод и знали, что этого быть не может. Я снова повторяю, что на свете нет ничего, кроме справедливости, и одно только сильно в сем мире – то, что справедливо, истинно.

12. Дождись исхода. Во всех боях, если дождаться исхода, видно, что каждый воин добился того, что по праву ему принадлежало. Его право и его сила, в конце концов, одно и то же. Он воевал, напрягая всю свою силу, и защищался в точном соответствии со своим правом. Даже смерть его не означает победы над ним. Правда, сам он умирает, но дело его живо и воистину будет продолжать жить.

13. Обыщи весь мир, и, если у тебя глаза не такие, как у совы, ты не найдешь в нем ничего живущего, что не имело бы права на пищу и на жизнь. Остальное, если только твое зрение хорошее, представится тебе отживающим, все равно что мертвым! Справедливость учреждена с самого сотворения мира и будет существовать, покуда существует мир, и долее того.

Из этого я заключаю, что внутренняя сущность события значительно отличается от внешней его стороны. Временное, преходящее в этом, как и во многом другом, слишком часто ставится на первый план в ущерб вечному; тот, кто живет, руководствуясь внешней стороной преходящих явлений, не

углубляясь в вечную суть их, не разрешит загадки, заданной ему сфинксом. Потому что одна только сущность действительна. Это закон всего происходящего: если ты этого не понимаешь, то само происходящее, знающее эту истину, познакомит тебя с ней!

Что такое справедливость? В общем, в этом и заключается вопрос, предложенный нам сфинксом. Закон действительности состоит в том, что справедливое должно случиться и непременно случится. Чем раньше, тем лучше; потому что время строго и ужасно требовательно! «Что такое справедливость?» – вопрошают многие, которым одна суровая действительность могла бы дать удовлетворительный ответ. Так вопрошал Пилат, преступно шутя: «Что такое истина?» Шутивший Пилат не имел ни малейших шансов отыскать истину. Он не был бы в состоянии узнать ее. Даже если бы Бог показал ему ее. Слепота скрывала истину от его смеющихся глаз; внутренняя сетчатая оболочка его глаз онемела и омертвела. Он смотрел на истину и не узнал ее. «Что такое справедливость?»

Воплощенное правосудие, заседающее в судах, с наказаниями, документами, полицейскими и т. п., действительно видимо. Но невоплощенное правосудие, бледной копией, а иногда лишь искажением коей является земное правосудие, – меньше бросается в глаза! Потому что невоплощенное правосудие исходит от неба. Оно незримо для всех, кроме тех, у кого благородное, чистое сердце. Нечистые, неблагородные глядят во все глаза и не видят его. Они доказывают вам его отсутствие с помощью логики, путем бесконечных споров, красноречивых тирад. Неутешительно присутствовать при этом!

14. Счастье человека не зависит от того, чем он обладает, и не от того, чего ему недостает, бывает он несчастен. Нищета, голод, нужда во всех ее видах, даже смерть переносились с радостью, когда сердце бывало верно направлено. Нестерпимо для людей чувство несправедливости того, что с ними случается. Самый простой негр не переносит, когда с ним поступают несправедливо. Ни один человек не может этого перенести или по крайней мере не должен был бы этого переносить. Закон, глубже всякого другого, записанного на пергаменте, закон, Божьей рукой непосредственно вписанный в душу человека, находится в непримиримом противоречии с несправедливостью.

Что такое несправедливость? Лишь иное название беспорядка, неправды. Нечто такое, что правдиво созданная природа, именно потому, что она не хаос, не призрак, отрицает и отталкивает. Внешняя боль от несправедливости, – хотя бы то была боль от ударов плетей, раздирающих в клочья живое мясо, или от топора, отсекающего голову, – ничто по сравнению со

страданиями души, тем позором, который она переносит, тем вредом, который причиняет ей личная жизнь. Самый грубый пентюх оказывает сопротивление, борется до смерти, если ему предстоит бесчестье. Так жить он не может. Громким голосом заявляет ему об этом душа, тихим кивком подтверждает вселенная. Этого быть не должно. Он должен отомстить, восстановить свое достоинство – чтобы каждому досталось свое, все стояло твердо на своем месте, порядок нигде не был нарушен. В этом есть что-то достойное внимания и, смеем сказать, всеми уважаемое. Это – печать мужественности, защищаемой всеми нами, основание всего того, что есть в нас достойного, несмотря на поверхностное различие между людьми, одинаково встречается у всех.

Подобно тому как вредный по своей природе беспорядок ненавистен человеку, для которого здоровье и порядок являются главными условиями существования, так и несправедливость кажется наихудшим злом, для многих даже единственным злом на земле. Все люди с трудом мирятся с разочарованиями и с несчастьем. Таков их удел в нашем мире. Но лишь к этому их удел не сводится. Во всех сердцах говорит тихий голос, которого не заглушить логике, горю, насилию или отчаянию, и говорит он, что на этом жизнь не окончится. Как бы ни казалась жизнь дика, беспорядочна и несообразна, Бог послал ее. Это не может быть несправедливо, напротив, так оно и быть должно. Власть, против которой безнадежно всякое сопротивление, имеет, несомненно, успокоительное влияние. Тем не менее продолжительная несправедливость, хотя бы она даже и исходила от бесконечной власти, оказалась бы нестерпимой для людей. Если бы они потеряли веру в Бога, то единственным их спасением от слепого не-Бога неизбежности и механизма, обхватывающего их, как чудовищная мировая машина, было бы возмущение, независимо от того, была ли бы надежда на успех или нет. Они могли бы, как говорит Новалис, одновременным, всеобщим самоубийством ускользнуть от мировой машины и если не победоносно, то хоть с неукротимым, неусмиримым протестом против такой машины покончить с собой.

15. Благословенная надежда, утеха человечества, ты рисуешь на стенах тесной тюрьмы человека прекрасные, далеко простирающиеся ландшафты и проливаешь священный мягкий свет даже в глубокую ночь смерти. Ты в сем мире – всеобщее достояние. Для мудреца ты – священное знамя, начертанное на вечном небе, под которым он победит, потому что самая борьба уже означает победу. Для глупца – временная фата-моргана, тень от тихой воды, нарисованная на засохшей земле, облегчающая

усталому путнику его странствие по пескам даже тогда, когда она оказывается призраком.

16. Несмотря на тяжкий труд, то, что нам предстоит переправа через далекие моря и ревущие пучины, разве это ничто, если перед нами внезапно возникает Полярная звезда на небе? Вечный свет сияет сквозь грозные тучи и бушующие волны, вдали виден маяк, к которому в течение всей жизни мы неуклонно стремились? Разве это ничто; о Боже, разве это не все для нас?

17. Чего ты, собственно, боишься? Почему ты, крадучись, пробираешься, дрожа и пугаясь, как трус? Презренное двуногое создание! В чем состоит в итоге худшее, чего ты можешь опасаться? Смерть? Допустим, смерть, и, скажем, муки ада, и все, что дьявол и человек может или хочет против тебя предпринять! Разве нет у тебя мужества? Разве ты не можешь терпеть что бы то ни было и, как дитя свободы, хотя и изгнанное дитя, топтать ногами даже самый адский огонь, в то время как он пожирает тебя? Пусть же совершится то, что может совершиться. Я пойду навстречу всему и бросаю судьбе вызов.

18. Редко случается, чтобы жизнь человеческая вела к нравственной погибели без того, чтоб главная вина заключалась в неудачном внутреннем устройстве, отсутствии не столько счастья, сколько хорошего руководства. Природа не создает ни одного творения, не наделив его в то же время силой, нужной для его деятельности и дальнейшего существования. Всего меньше она забывает о своем шедевре, своей любимице, поэтической душе. Поэтому мы и не можем поверить, чтобы какие бы то ни было внешние условия смогли в конце концов загубить душу человеческую и даже сколько-нибудь существенно повредить его здоровью или обезобразить его внешнюю красоту, если только человеку дарован надлежащий ум. Величайшая сумма несчастий – смерть. Хуже этого ничего не может вместить чаша бытия и горестей человеческих. И все же многие люди всех времен победили даже смерть и взяли ее в плен, превратив ее физическую победу в нравственную победу человека, печать и бессмертное освящение всего того, что человек совершил в своей жизни.

19. Мужественный человек, если он храбро борется, одерживает время от времени маленькие победы, дающие ему бодрость для продолжения борьбы.

20. Здоровая душа, будь она даже заточена как угодно: в грязной мансарде, истертом платье, больном теле или чем-либо еще, всегда сумеет защитить свою неотъемлемую свободу, свое право побеждать трудности, работать и даже радоваться.

21. Свободен тот человек, кто подчиняется мировым законам

и в глубине души убежден, что, несмотря на все противоречия, ничего несправедливого с ним не может случиться, вообще лишь леность да трусливая неверность делают зло возможным. Первой отличительной чертой такого человека является, что он не противится необходимости и, не возмущаясь, покоряется ей. Как давно уже писал бедный Анри Мартен:

> Есть слово, часто повторяемое и мудрости полное:
> Благо тому, кто радостно работает и страдает сколько должен.

Радостно! Кто радостно принимает на себя и свой труд, и свои страдания, лишь тому небесные силы благоприятствуют, и нива времени приносит ему плоды. Слово это было много раз сказано, все благородные души на свете знали его и на многих языках старались нас познакомить с ним. Внутренняя сущность всякой «религии», как бывшей, так и будущей, в том, чтобы сделать человека свободным.

Тот, кто в своем жизненном странствии отважится поставить все на карту, посвящая жизнь послушанию Богу и слугам Божьим, отрекаясь от дьявола и слуг его, такой свободный человек пройдет с благочестивым мужеством, несмотря на бурю и грозы, по намеченному пути. Через пустыню Сахару, мрачные, населенные гальванизированными трупами и горестными созданиями пустыни ведет его путеводная звезда, его тропа, куда бы ни сворачивали другие, идет по направлению к вечному. У такого человека стоит спросить совета, узнать мнение его о мирских делах. Такие люди, собственно, единственные люди, достойные этого названия, всегда были редки, но прежде их хорошо знали. Теперь они стали много реже, но еще не вымерли. Они станут снова многочисленнее, если Бог еще долго сохранит нашу планету в обитаемом виде.

22. Борись все больше и больше, мужественное, верное сердце, и не уклоняйся от цели ни в несчастье, ни в счастливой судьбе. Делу, за которое ты борешься, насколько оно истинно и не больше, обеспечена победа. Только то, что в нем ложно, будет побеждено и отстранено, как оно и должно быть.

23. Бодрость, которую мы желаем себе, заключается не в том, чтоб прилично умереть, а чтобы мужественно жизнь прожить. Эта бодрость, если она однажды дана Богом, глубоко запрятана в душе. Благодетельным ласковым теплом питает она другие добродетели и дарования, которые без нее жить не могут. Несмотря на все бесчисленные победы под Ватерлоо и тому подобное, мужественный дух стал слабее в людях теперь, чем он

был когда бы то ни было. Но совершенно вымереть он не может, иначе род человеческий больше бы никуда не годился. То здесь, то там, в различные времена и в разном образе посылаются с неба в мир нам люди, выказывающие необычайную бодрость духа и доказывающие, что и в наше время она еще встречается, она еще возможна и применима.

24. В тесном соотношении с бодростью духа и с мужеством, отчасти исходя из этих качеств, отчасти защищаясь ими, находятся легче познаваемые качества правдивости в речах и мыслях и честности в поступках. Здесь налицо взаимовлияние, потому что насколько проведение в жизнь правдивости и честности является конечной целью, путеводным огнем душевного мужества, настолько, с другой стороны, они без мужества не могут быть осуществлены никаким способом.

25. Нельзя назвать удачным слово «невозможно»; от тех, кто часто его употребляет, нельзя ожидать ничего хорошего. Ты жалуешься: «Лев стоит на дороге?» Ленивец, так убей его; дорога должна быть пройдена. На поприще искусств, практической жизни многочисленные критики доказывают, что отныне, собственно, все дальнейшее невозможно; мы раз навсегда вступили в предел постоянных общих мест и должны с этим примириться. Пусть эти критики продолжают доказывать свое; это уж их манера такая, что за беда? Уже было доказано, что стихотворное искусство невозможно, тогда появился Бернс, появился Гете. Будничная, серая жизнь казалась единственно отныне возможной, появился Наполеон и завоевал весь мир. Точным вычислением течений было установлено, что пароходам никогда не удастся проехать кратчайшим путем из Ирландии в Ньюфаундленд: двигательная сила, сила сопротивления, максимум здесь, минимум там, – законы природы и геометрические доказательства, что могло здесь произойти? И тем не менее «Грейт Вестерн» осветил якоря в Бристольской гавани и, смело проехав через Гудзонову пучину, бросил якорь в Нью-Йорке, прежде чем чернила наших рукописей успели высохнуть. «Невозможно?» – воскликнул Мирабо, отвечая своему секретарю: «Ne me dites jamais ce bete de mot»[7].

26. Если человек говорит действительно то, что думает, то всегда найдутся слушатели, какие бы ни существовали препятствия.

27. Настоящий юмор исходит из сердца точно так же, как из головы. Внутренняя сущность его не презрение, а любовь. Он не разражается смехом, а вызывает тихую улыбку, что лежит много глубже. Это своего рода величие наизнанку. Юмор – цветок, аромат, чистейшая форма, в какую выливается глубокая,

прекрасная, любящая натура, гармонирующая сама с собой, примиренная с миром, его бедностью, противоречиями, черпающая в самых этих противоречиях новые элементы красоты и доброты.

28. Пусть все люди, если это хоть сколько-нибудь возможно, стараются быть здоровыми! Пусть тот, кто по какой-либо причине погрузился в страдания и болезнь, подумает об этом. Пусть он знает, что ничего хорошего он до сих пор не достиг, а зла достиг, несомненно, – он может быть на пути к добродетели, но может также легко и сойти с него.

29. Здоровье – весьма важная вещь как для ее обладателя, так и для посторонних. По сути говоря, не так уже не прав был тот юморист, который решил выказывать почтение одному лишь здоровью. Вместо того чтобы унижаться перед высокопоставленными, богатыми и нарядными людьми – снимать шапку лишь перед здоровыми. Экипажи дворян с бледными лицами не удостаивались его внимания. Зато стоило проехать телеге с краснощеким силачом, как он принимался радостно и почтительно кланяться. И действительно, разве здоровье не служит признаком гармонии? Разве, в известном смысле, как показывает опыт, оно не является итогом всего ценного, что есть в человеке?

Здоровый человек весьма достойный продукт природы, поскольку он является таковым. Хорошо иметь здоровое тело, но здоровая душа – вот самое главное, что человек должен выпросить себе у неба, самое прекрасное, чем небо может осчастливить бедных смертных. Здоровая душа сразу – без помощи искусственных философских лекарств, всегда сомнительных символов веры – сама узнает, что есть благо, принимает его и твердо придерживается. Она узнает также, что худо, и добровольно отталкивает это от себя.

30. Как возможна дружба? Путем всесторонней привязанности ко всему, что хорошо и истинно. Без этого она немыслима, раз это не вооруженный нейтралитет или пустой торговый договор. Человек, слава Богу, всегда может довольствоваться самим собой, но тем не менее десять человек, связанных любовью, могут сделать больше, чем десять тысяч человек, действующих раздельно. Бесконечна помощь, которую люди могут оказать друг другу.

31. Очень часто бывает, что у нашего друга самое честное намерение нас поддержать, он всеми силами старается это сделать. Тем не менее он не в состоянии понять, чего именно нам не хватает, чтобы идти вперед на избранном нами пути. Он настаивает на том, чтобы мы шли его дорогой. Он бранит нас,

называя неисправимыми, если мы не хотим или не можем следовать его совету. Таким образом и выходит, что люди одиноки даже среди друзей. Никто не хочет поддержать ближнего, и каждому приходится даже встать в оборонительную позу, чтобы сосед не явился ему помехой!

32. Как верно сказал Новалис: «Одно, несомненно, мое убеждение становится бесконечно сильнее с того момента, когда другой человек признает его!» Взгляни в лицо своему брату, глаза, сияющие мягким огнем доброты или пылающие гневом, и ты почувствуешь, как твоя дотоле спокойная душа моментально, помимо твоей воли, загорается таким же огнем. От ваших взаимных взоров получится одно безграничное пламя (всеобъемлющей любви или смертельно разящей ненависти), и тогда скажи, как чудесная сила переходит от человека к человеку. Если это верно в различных случаях нашего земного существования, то тем более это случается, когда мы говорим о божественной жизни и внутренне наше «я» приходит в соприкосновение с чужим «я».

33. Все людские дела во что бы то ни стало хотят иметь идеал, как мы говорили, «душу», хотя бы только ради того, чтобы предохранить тело от гниения. И удивительно, как идеал или душа, – перенесите вы его в самое уродливое тело на свете, – передает телу собственное благородство, изменяет его, преобразует и делает в конце концов прекрасным и до известной степени божественным!

34. К сожалению, давно известно, что идеальные состояния никогда не могут быть вполне реализованы. Идеалы всегда остаются в известном отдалении, и мы должны быть довольны, если хоть несколько приблизимся к ним. Никто, как сказал Шиллер, не должен слишком точно сравнивать жалкий результат действительности с масштабом совершенства. Такого человека, который все сравнивал бы с совершенством, мы не стали бы считать мудрецом, мы назвали бы его глупым, недовольным созданием.

С другой стороны, никогда не следует забывать, что идеалы должны существовать. Если люди перестанут стараться приблизиться к идеалу, тогда всему настанет конец. Неминуемо.

Мы знаем, что все человеческое несовершенно; далек от нас по большей части идеал; очень далек! Но пока идеал (внутренняя правда) как бы то ни было еще смутно живет и действует в жизни, это несовершенство можно переносить. Невыносимым оно становится тогда, когда идеал целиком исчезает и действительность оказывается лишенной всякой идеи, правды. В такой степени несовершенства людские положения не могут

оставаться, они должны измениться или погибнуть, если дело до того дошло. Оспа и т. п. болезни могут уродовать кожу, если сердце осталось здоровым; но совсем иначе бывает, когда сердце само заболевает, если самого сердца вовсе нет и на его месте водворилась противоестественная головешка.

35. В общем, читатель, ты всюду найдешь доказательства тому, что все проложившее себе путь в человеческой жизни с самого начала должно было быть истинно и ценно, не призрак, а действительность. То, что не является действительно ценностью, не находит себе надолго убежища среди людей. Возьмите мусульманство! Даже ламаизм, да, ламаизм – мы с радостью устанавливаем этот факт, – достоин жить на свете. Это не фраза, а искреннее мнение. Тот, кто верит, что обман, насилие, справедливость, вообще какая-нибудь неправда, как бы она ни была прикрыта или прикрашена, может лечь в основу людских сношений и сообщества людей, тот жестоко заблуждается. Это заблуждение – плод неверия, в котором отсутствует правда. Заблуждение, приводящее лишь к новым заблуждениям и к новому бедствию, заблуждение роковое, достойное сожаления, от которого все люди должны были бы отказаться.

36. Можно считать истинным, что все вещи имеют две стороны: освещенную и темную. Не один идеал, переходя, насколько возможно, в практику, превращается в совершенно неожиданную действительность, и мы с удивлением спрашиваем: неужели это действительно наш идеал? К сожалению, идеал всегда должен переходить в область действительности и в ней искать себе очень скудной иногда пищи и приюта.

37. Согласно законам природы, идеалы всех родов имеют свои определенные границы, свой период юности, зрелости или совершенства, увядания и наконец смерти, или исчезновения. Ничто не рождается, что не должно было бы рано или поздно умереть.

38. Искушения в пустыне – разве всем нам не пришлось пройти через испытания подобного рода? Вкоренившийся в нас от рождения ветхий Адам не может так легко быть изгнан из своих владений. Мы в жизни постоянно наталкиваемся на необходимость, и тем не менее значение всей нашей жизни не что иное, как свобода, свободная сила. Таким образом, постоянно происходит борьба, и, в особенности вначале, жестокая борьба. Потому что данное нам Богом приказание: «Действуй, творя добро» – таинственно пророческими знаками начертано в наших сердцах и ни днем ни ночью не дает нам покоя, пока мы не раскроем и не исполним его, пока оно, как видимое, деятельное Евангелие свободы, не будет просвечивать во всех наших

поступках. А так как данный прахом приказ: «Ешь и набивай себе брюхо» – одновременно с убедительной силой проходит сквозь все наши нервы, – то ясно, что должно наступить замешательство, произойти бой, прежде чем лучшее влияние одержит верх.

39. Мы, люди, идем по удивительным дорогам; различно ведет нас Бог к цели. Поэтому мы должны были бы к каждому относиться с терпением, надеждой на его исправление, должны были бы дать всякому возможность испытать, что еще может из него выйти. Пока жизнь не кончена, для всякого есть надежда.

40. Долгая, бурная весна, дождливый апрель, зимний холод еще в мае; наконец наступает все-таки лето. До сих пор дерево стояло голым; сухие, голые сучья жалобно стонали и трещали от ветра. Хочется сказать: сруби его, что оно напрасно занимает место на земле! Но нет, мы должны ждать. Всему свое время.

Вот дыхание июня коснулось голого обнаженного дерева, и оно покрылось листьями и стоит в цвету. Что за листья и что за цвет! Прошедшее долгое время наготы и зимнего брожения сделало свое дело, хотя и казалось, что оно ничего не делает. Прошлое молчание получило голос и говорит тем многозначительнее, чем дольше оно продолжалось. У всех деревьев, всех людей, во всех учреждениях, верованиях, народах, всего растущего и развивающегося, что встречается во вселенной, мы наблюдаем такую перемену и такое время расцвета.

41. Подумаем о том, что за судья природа, какое величие, какое глубокое спокойствие и долготерпение присуще ей. Ты берешь пшеницу и сыплешь ее в недра земли: твоя пшеница, быть может, перемешана с высевками, сечкой, сором, пылью и всяким мусором. Это не беда: ты отдал ее доброй матери-земле. Пшенице она дает расти. Весь же мусор она молча уберет, прикроет и даже не станет о нем говорить. Золотистая пшеница вырастает; мать-земля молчит об остальном, молча и не жалуясь давно уже извлекла пользу из остального. Так всегда поступает природа. Она правдива, без фальши и притом велика и справедлива, матерински нежна в своей правдивости. Она требует лишь одного: чтобы вещь была подлинной, тогда она бережет ее, но только тогда.

Правда – душа всего того, что природа когда-либо брала под свое покровительство. Ах, разве одна и та же история не повторяется со всякой возвышенной истиной, которая когда-либо появилась на свет или которой еще предстоит появиться? Тело ее несовершенно; она свет в темноте. Нам она представляется воплощенной в логике, облеченной в чисто научные теоремы относительно вселенной, теоремы, которые не могут быть совершенными, которые однажды признаются несовершенными,

ошибочными и должны умереть, исчезнуть. Тело всякой истины должно умереть, и все же в каждом таком теле живет душа, никогда не умирающая, бессмертно живущая, облекаясь то в одну, то в другую форму, вечная, как душа человека. Так поступает природа.

Внутренняя сущность какой-нибудь истины никогда не умирает. Природе нужно только, чтобы она отличалась подлинностью, истина была голосом, исходящим из глубины природы. То, что мы называем чистым или нечистым, не является перед судом природы решающим вопросом. Не то важно, сколько в тебе соломы, а то, сколько в тебе пшеницы. Чистота? Иному человеку мне хочется сказать: «Да, ты чист, ты достаточно чист, но ты – солома, бесчестная гипотеза, слух, мнимая ценность. Ты никогда не слышал великого сердца вселенной; ты не можешь быть назван ни чистым, ни нечистым; ты – ничто; с тобой природа не имеет ничего общего».

42. Ни один человек не живет, никого не задевая и никем не задетый; он должен обязательно проложить себе путь, толкаясь локтями. Жизнь его – борьба. Даже устрицы, кажется, приходят в столкновение с другими устрицами. Несомненно, что они должны наталкиваться на необходимость и трудности, они пробиваются не как совершенные, идеальные устрицы, а как несовершенные, действительно живые существа. Устрица должна быть знакома с известной степенью раскаяния, ненависти, некоторой долей малодушия.

43. Бедная природа человеческая! Разве движение человека вперед по пути истины не представляет собой падения за падением? Иначе и быть не может. В дикой жизненной стихии борется он, пробиваясь вперед. Он падает, и падает глубоко, – все снова и снова должен со слезами и раскаянием, обливающимся кровью сердцем вставать на ноги и продолжать борьбу. Лишь бы борьба его велась с верностью и несокрушимым упорством: в этом вся суть.

44. Есть много почтенных, беспорочных людей, которые все же немногого стоят. Невелика заслуга человека, сохранившего руки в чистоте, если он всю работу исполнял не иначе как в перчатках.

45. В живых существах изменения обычно происходят лишь постепенно, так что пока змея сбрасывает с себя старую кожу, под ней уже успевает образоваться новая. Немного ты знаешь про сожжение мирового Феникса, если думаешь, что он должен весь сгореть и предстать в виде кучи пепла, из которой чудом выбьется живая молодая птичка и полетит к небу. Ошибаешься! В огненном вихре вселенной творение и уничтожение идут рядом. В то время

как пепел старого разносится ветром, уже таинственно ткутся органические нити нового, среди шума и вихря бушующей стихии раздаются звуки мелодичной предсмертной песни, заканчивающиеся звуками еще более мелодичного гимна воскресения. Да, взгляни собственными глазами в огненную вьюгу, и ты увидишь, что это так и есть.

46. Великая истина или по крайней мере одна сторона великой истины заключается в том, что человек сам создает условия своего существования и духовно, как и материально, сам кузнец своего счастья. Но эта же истина имеет и другую сторону. Окружающие обстоятельства – тот элемент, где человеку приходится жить и действовать, человек в силу необходимости заимствует у них свою окраску, одежду, внешний вид и во всех практических случаях жизни почти до бесконечности изменяется обстоятельствами. Так что в ином, не менее верном смысле, можно сказать, что обстоятельства делают человека.

Если нам поэтому следует настаивать на первой истине по отношению к нам самим, то, с другой стороны, нам необходимо помнить последнюю, когда мы судим о других людях.

47. На мирное житье в этом водовороте человеческого существования дитя времени не должно претендовать, тем менее, когда призрак отгоняет его от прошлого, а будущее представляется не чем иным, как тьмой, наполненной привидениями. С полным правом мог бы странник воскликнуть про себя: разве ворота счастья в сем мире не закрыты неумолимо перед тобой, разве есть у тебя надежды, которые не были бы неосновательными? И все-таки можно громко сказать или, если это лучше, подобно древнему греку, прошептать про себя: «Кто может глядеть в глаза смерти, тот не испугается теней!»

48. Разве мера страданий не является в то же время мерилом сострадания, на которое способен человек, мерилом его силы и той победы, которая предстоит ему? Наша печаль – оборотная сторона нашего благородства. Как велико наше отчаяние, так велики и наши способности, настолько мы и можем предъявлять свои требования. Черный дым, застилающий перед тобой мир, точно поднимаясь из ада, может истинной силой воли превратиться в пламя, в небесное сияние, поэтому не унывай!

49. Неимоверное количество сделанной и забытой работы, молча лежащей у моих ног, одевающей, поддерживающей меня и сохраняющей мою жизнь, куда бы я ни пошел и что бы ни делал, дает богатый материал для размышлений! Во всяком случае, то, что называется известностью для мудреца, теряет свое значение. Для глупцов и людей легкомысленных эта известность стоит того, чтоб поднимать из-за нее шум; она сулит им «бессмертие» и т. п.

Но если правильно взглянуть на вещи, что она собою представляет, эта известность?

50. Хорошо понимать и сознавать, что ни одна мысль никогда не умирала, что точно так же, как ты, создатель ее, почерпнул ее из прошлого, точно так же ты и передашь ее будущему. Таким образом, героическое сердце, видящее око, первых времен, живет еще в нас, хотя мы принадлежим настоящему времени. Так, мудрец постоянно бывает окружен толпой свидетелей и братьев, простирающих к нему руки, и на свете существует живая община святых, в буквальном смысле слова пространная, как земля, и древняя, как история.

51. Скажи мне, например, кто научил тебя говорить? С того времени, как две обросшие волосами, нагие или покрытые листьями фигового дерева человеческие фигуры почувствовали желание не быть более немыми, а делиться мыслями, они старались объясниться с помощью всевозможных звуков, жестов, мучительной пантомимы и неловких телодвижений. До того момента, когда, скажем, написана была вот эта книга, прошло немало времени, и совершена значительная работа, которую кто-нибудь да совершил. Думаешь ли ты, что до Чосера не было поэта, сердца, горящего мыслью, которую оно не могло не высказать и для которой не было слова, так что слово это пришлось ему создать и выковать? Для каждого слова нашего языка был такой человек или такой поэт, который придумал его.

52. Первый человек с открытой душой взглянул на небо и землю, все прекрасное и страшное, что мы называем природой, вселенной и т. п. и сущность чего навсегда останется без соответствующего названия. Первый человек, говорим мы, впервые увидел все это сознательно, торжественно и, по всей вероятности, молча опустился на колени. Он совершил под влиянием внутренней потребности «нечто оригинальное», что другим, мыслящим людям показалось весьма выразительным и достойным подражания! И с того дня стали молиться, преклонив колена. Эта безмолвная молитва старше всех словесных молитв, молебнов и литургий. Она – начало всякого богослужения, которое нуждалось в одном лишь начале, так оно было разумно. Что за поэт был этот первый молящийся!

53. Не падай духом! Ты не одинок, если ты веруешь. Разве мы не говорили о сонме святых, невидимом, но действительно существующем, сопровождающем тебя и окружающем своими объятиями, покуда ты достоин того? Героические страдания святых возносятся из всех стран и из всех времен, как священное «Miserere»[8], и их великодушные дела, подвиги звучат как безграничный, вечный мелодичный гимн, поднимающийся к небу.

И не говори, что в настоящее время нет символа божественного. Разве Божий мир не символ божественного? Разве неизмеримость не храм? Разве история человека и человечества не бесконечное Евангелие? Прислушайся только, и вместо органа ты услышишь, как и в древние времена, пение утренних звезд.

54. Какие полки и толпы и поколения таких людей уже поглотило забвение! Их прах образует ту почву, на которой жизнь наша продолжает давать плоды.

55. Человек не должен жаловаться на времена; из этого ничего не выходит. Время дурное: ну что же, на то и человек, чтоб улучшить его.

56. «Настанет время, – говорил Лихтенберг с горькой иронией, – когда вера в Бога будет подобна вере в детские сказки» – или, как выражается Жан Поль, «когда сделают из мира – мировую машину, из эфира – газ, из Бога силу, из загробной жизни – могилу». Мы же думаем, что такого дня не будет. Во всяком случае, пока борьба еще ведется – и философия газа и могилы еще не вылилась в форму устава с выработанными положениями, – нужно предоставить свободу действия мистицизму и всему тому, что честно выступает против этой философии. Больше беспартийности и свободы, и правда одержит верх!

57. Если время наше – время неверия, почему мы должны на это роптать? Разве не настанет лучшее время? Да и не настало ли оно уже? Период веры чередуется с периодом неверия, как сжимание сердца чередуется с расширением сердца. Весенний рост, летнее изобилие всяких мнений и творений должны сопровождаться смертельным увяданием осени и земной развязкой, а за ними снова наступает весна. Человек живет во времени. Все его земное существование, его стремления и судьба – продукт времени, и лишь в преходящих символах времени обнаруживается всегда неподвижная вечность, в которой мы живем. И все же в такое зимнее время отрицания для людей, одаренных благородной душой, сравнительно тяжело, что они родились, должны в такое время бодрствовать и трудиться. Для людей с притупленной чувствительностью даже приятно, что они могут, погрузившись в лень, грезить и спать и проснуться лишь тогда, когда гремящие бури с градом пронесутся, совершив свою работу, и нашим молитвам, нашему мученичеству наконец будет дарована новая весна.

58. Еще неосновательнее кажется нам страх, что вместе с суеверием исчезнет и религиозность. Религиозность не может исчезнуть. Маленький дымный огонь от горящей соломы может скрыть от наших глаз звезды на небе, но звезды тем не менее

остались на небе и снова покажутся нам.

В общем, мы должны повторить известное изречение, что недостойно верующего человека смотреть на неверующего со страхом, или с отвращением, или с каким бы то ни было другим чувством, кроме сожаления, надежды на его исправление и братского сочувствия. Если он ищет истины, разве он нам не брат и не достоин сожаления? А если он не ищет истины, разве он все же не наш брат и тем более достоин сожаления?

59. Не можем ли мы посмотреть на то ужасное горе, которое теперь со всех сторон окружает нас, как на голос из немых недр природы, взывающий: «Взгляните! Спрос и предложение – не единственный закон природы. Уплата наличными деньгами – не единственная обязанность людей по отношению друг к другу. Глубоко, много глубже спроса и предложения лежат законы и обязательства, священные, как сама жизнь человеческая. Если вы будете действовать дальше, вы познакомитесь с ними и должны будете покориться им. Кто познает их и научится повиноваться им, тот будет иметь природу на своей стороне. Он будет работать, и высокая награда достанется ему в удел. Кто же не узнает этих законов, против того будет сама природа, и он не в состоянии окажется работать в пределах природы. Мятежи, ссоры, ненависть, одиночество и проклятия будут следовать за ним по пятам, пока все люди не познают, то, чего он добился, как бы оно ни казалось блестящим, не успех, а полнейшая неудача».

60. Будем же радоваться, по крайней мере одно признается всеми и повторяется на всех языках: человек все еще человек. Гений механизма не всегда будет давить на нашу душу, как кошмар, и в конце концов, когда волшебным словом старые чары будут разрушены, станет нашим послушным рабом и будет исполнять все, что мы потребуем. «Мы близки к пробуждению, когда видим во сне, что нам снится сон». У кого есть глаза и сердце, тот и теперь может сказать: «Зачем мне колебаться? Свет светит в мире для тех, кто любит свет, так как любить его следует безграничной, самоотверженной, все выносящей любовью».

61. Дайте знать людям, что они люди, созданные Богом и в кратчайший промежуток времени способные создать такое, что будет жить на веки вечные. Это действительно великая задача. Не машинами для обработки земли и не машинами для переваривания пищи, а также и не рабами других людей или собственных страстей должны они быть, а прежде всего им следует быть людьми.

62. Одно, собственно говоря, следовало бы нам уяснить, «в общих чертах», а именно, что «сияние Божье», так или иначе, в той или иной форме должно развиться из глубины даже этого

нашего промышленного века.

63. Да, всюду свет проникает в мир. Люди не любят тьмы, они стремятся к свету. Глубокое чувство вечной природы, справедливости проглядывает везде и видно на каждом шагу.

64. Человек, по сути говоря, всегда был борцом и тружеником и, несмотря на широко распространенную клевету, утверждающую противное, всегда любил истину.

65. Всякая душа человеческая, как бы она ни была погружена во мраке, любит свет. Стоит лишь раз зажечь свет, чтобы лучи его разошлись во все стороны.

66. Слишком легкомысленно пришли люди к заключению, что голод, великий фундамент нашей жизни, является и венцом ее, и последней степенью совершенства. Так как «жадность и неумеренное честолюбие» составляют отличительные признаки большинства людей, то нет человека, который поступал бы или думал бы поступать на основании иных принципов. Чего нельзя подвести под категории бедности, то подводят под рубрику честолюбия, не входя в дальнейшие рассуждения.

67. Совершенно неверно, что люди, с тех пор как они населяют землю, живут с помощью бреда, лицемерия, несправедливости или какой-либо иной формы безрассудства. Неправда, что они когда-либо жили чем-нибудь иным, чем противоположностью всего перечисленного.

68. Известное одобрение совести необходимо даже для физического существования и составляет тонкую, всюду проникающую замазку, которою держатся составные части нашего «я». Поэтому если человек не сидит в сумасшедшем доме, еще не застрелился и не повесился, то мы должны утешаться и заключить, что он одно из двух. Либо злая собака в образе человека, которой нужно надеть намордник, пожалеть и подивиться; либо это настоящий человек, следовательно, создание, не лишенное нравственной ценности, которое надо просветить и до некоторой степени одобрить. Но для того чтоб правильно судить о его характере, мы должны научиться смотреть на него не только своими, но и его глазами. Мы должны пожалеть его, должны видеть в нем брата, одним словом, должны научиться любить его, иначе настоящая, духовная сторона его природы никогда не будет правильно понята нами.

69. Прежде всего не следует забывать, что людьми и их поступками управляют не материальные, а нравственные силы. Как бесшумна бывает мысль! Ни барабанный бой, ни стук копыт целого эскадрона, ни бесконечный шум обозов с амуницией и багажом не сопровождают ее движений. В каких безвестных, отдаленных уголках земного шара работает иногда мысль в

голове, которая однажды будет увенчана властью, какой не дает и царская корона, потому что короли и цари будут в числе слуг ее. Не над головами, а внутри их будет властвовать мыслитель и своими комбинациями идей, придуманными в одиночестве, как магическим заклинанием, подчинит весь мир своей воле.

70. Интересно наблюдать, как распространена и вечна среди людей любовь к мудрости. Как самый знатный и самый незначительный человек, гордые князья и грубые мужики и все люди, один за другим, уважают мудрость или то, что они принимают за мудрость. Как они, по сути говоря, ничего иного и не могут почитать. Потому что все полчища какого-нибудь Ксеркса со всей их несокрушимой силой не в состоянии смирить ни одной мысли нашего гордого сердца. Только перед нравственным достоинством преклоняется дух человеческий, только в такой душе, которая глубже и лучше нашей, можем мы увидеть небесную тайну, и, смиряясь перед ней, мы чувствуем, что возвышаемся.

71. Люди редко и почти никогда надолго не возмущаются тем, что не заслуживает возмущения. С готовностью и ревностно оказывают они послушание и преданность всему великому, истинно высокому, склоняясь к ногам его со всем, что у них есть, отдаваясь душой, телом, сердцем и духом тому, кто действительно выше их.

72. Страна, в которой народ до глубины души охвачен какой-нибудь религиозной идеей, завладевшей всеми жителями ее, такая страна сделала шаг вперед, после которого уже нет возврата к прошлому. Мысль, сознание того, что человек – гражданин мира, создание вечности, проникло в отдаленнейшую хижину, в самое бесхитростное сердце. Вся жизнь становится прекрасной, достойной уважения, когда ее осеняет чувство небесного призвания, Богом возложенной обязанности. В таком народе живет воодушевление, и в тесном смысле можно про него сказать: «Дыхание Всемогущего дает этим людям разумение».

73. Утешительной является истина, что великие люди существуют во множестве, хотя они и пребывают в безвестности. Да, величайшие люди наши, именно потому, что они по природе тишайшие, вероятно, те, что навсегда остаются безвестными. Философ Фихте утешался этой мыслью, когда с кафедр и соборов он ничего не слыхал, кроме бесконечной болтовни и трескотни честолюбивых вещателей общих мест. Когда от всестороннего движения и грохота, заменившего тишину и молчание, все сбилось в бурную пену, так что серьезный Фихте чуть ли не жалел, что познания нельзя обложить налогом, чтоб немного угомонить их. Тогда, как мы уже сказали, он утешался

несокрушимым убеждением: мышление в Германии еще существует, мыслящие люди, каждый в своем углу, действительно исполняют свое дело, хотя и молчаливо, тайным образом, укрывшись от взоров.

74. Большой шаг вперед, по нашему мнению, заключается в настоящее время в ясном убеждении, что мы стоим на пути к прогрессу. О том, как управляет нами Провидение, какие у него конечные цели, мы ничего или почти ничего не знаем. Человек начинает работу во тьме и кончает ее во тьме. Тайна повсюду вокруг нас и внутри нас. Под нашими ногами и в наших руках. Несмотря на это, каждому хоть то ясно, что это удивительное человечество движется в каком-то направлении, все дела человеческие находятся в движении и подвержены беспрестанным изменениям, как были и будут им подвержены вечно. Действительно, существа, живущие во времени и в силу времени и созданные из времени, давно уже могли бы это понять.

III Люди и герои

1. Искреннюю радость доставляет человеку возможность восхищаться кем-нибудь. Ничто так не возвышает его – хотя бы на короткое время – над всеми мелочными условностями, как искреннее восхищение. В этом смысле было сказано: «Все люди, в особенности женщины, склонны к преклонению» – и преклоняются перед тем, что хоть сколько-нибудь того достойно. Можно обожать нечто, хотя бы оно было весьма незначительно; но невозможно обожать чистейшее, ноющее ничтожество.

2. Я думаю, что уважение к героям, в различные эпохи проявляющееся различным способом, является душой общественных отношений между людьми. Способ выражения этого уважения служит истинным масштабом для оценки степени нормальности или ненормальности господствующих в мире отношений.

3. Богатство мира состоит именно в оригинальных людях. Благодаря им и их творениям мир есть мир, а не пустыня. Воспоминание о людях и история их жизни – выражение его силы, священная собственность на вечные времена, поддерживающая его и, насколько возможно, помогающая ему пробиваться вперед сквозь не изведанную еще глубину.

4. Можно возразить, что я проповедую «поклонение героям». Если хотите, да, друзья, но поклонение прежде всего должно выразиться в том, что сами мы будем героически настроены. Мир, полный героев, вместо целого мира глупцов, в котором ни один доблестный король не может царствовать, – вот чего мы добиваемся! Со своей стороны мы отбросим все низкое и лживое; тогда только сможем надеяться, что нами будет управлять благородство, правда, но не раньше.

5. Сказано: «Если сами мы холопы, для нас не может быть героев». Мы не узнаем героя, даже если увидим его, – мы примем шарлатана за героя.

6. Ты и я, мой друг, мы можем в этом отменно холопском мире создать из себя каждый из нас по одному – не холопу – герою, если мы захотим. Таким образом, получились бы для начала два героя. Мужайся! Так можно создать целый мир героев или хоть по мере возможности содействовать их появлению.

7. Я предсказываю, что мир снова станет искренним, станет миром верующих людей, будет полон героических деяний, будет полон героического духа. Тогда, и только тогда он сделается победоносным миром.

Но что нам до мира и его побед? Мы, люди, слишком много

говорим о нем. Пусть каждый из нас предоставит мир самому себе; разве каждому из нас не дана личная жизнь? Жизнь – короткое, очень короткое время между двумя вечностями; другой возможности у нас нет. Благо нам, если мы не как глупцы и лицемеры проживаем свой век, а как мудрые, настоящие, истинные люди. Оттого что мир будет спасен, мы не спасемся; мы не погибнем, если погибнет мир. Обратим поэтому внимание на самих себя.

Наша заслуга и наш долг состоят в выполнении той работы, которая у нас под рукой. К тому же, по правде говоря, я никогда не слышал, чтоб «мир» можно было «спасти» иным путем. Страсть спасать миры перешла к нам от XVIII века с его поверхностной сентиментальностью. Не следует увлекаться слишком сильно этой задачей! Спасение мира я охотно доверяю его Создателю. Сам же лучше позабочусь, насколько возможно, о собственном спасении, на что я имею гораздо больше права.

8. Великий закон культуры гласит: дайте каждому возможность сделаться тем, чем он способен быть, дабы он мог развернуться во весь свой рост, преодолеть все препятствия, оттолкнуть от себя все чуждое, особенно всякие вредные наносные явления. Наконец, предстать в своем собственном образе, во всем своем величии, каковы бы они ни были. Не бывает единообразия в превосходстве физического или духовного мира. Все настоящие вещи таковы, какими они должны быть. Северный олень очень добр и красив, точно так же и слон.

9. Первая обязанность человека – подавить чувство страха. Мы должны быть свободны от него, иначе мы не можем действовать. Иначе поступки наши – поступки рабов; не искренние, а лишь для глаза. Даже мысли наши фальшивы: мы мыслим, как рабы и трусы, пока не научились попирать страх ногами. Мы должны быть мужественны, идти вперед, храбро завоевать свободу – в спокойной уверенности, что мы призваны и избраны высшей силой, – и не должны бояться. Насколько человек побеждает страх, настолько он – человек.

10. В этом мире даже бодрый человек может быть не уверен в столь многом относительно того, как он живет, ему необходимо быть хотя бы уверенным в себе.

Ни один человек, желающий сделать что-нибудь значительное, не может надеяться на успех иначе как при условии: «Я хочу совершить это или умереть». Потому что мир всегда представлялся здравому смыслу каждого отдельного человека в большей или меньшей степени домом сумасшедших.

11. Велик тот миг, когда до нас доходит весть о свободе, когда долго закрепощенная душа освобождается от своих пут и

пробуждается от печального стояния на одном месте, хотя бы слепо, в замешательстве и именем Создателя клянется, что она хочет быть свободной. Свободной? Поймите это хорошо, то ясно, то смутно все существо наше глубоко проникнуто законом: «Будь свободен». Свобода – единственная цель, к которой, разумно или нет, стремится вся борьба, все старания людей на земле. Да, это высокий миг, знаком ли он тебе? Первый взгляд на охваченный пламенем Синай в пустыне нашей жизни – нашего паломничества, которому отныне столб дыма днем и огненный столб ночью будут указывать дорогу.

12. Люди привыкли ко всем лицам и всем вещам, начиная с ничтожнейших книг и кончая церковными епископами и государственными деятелями, прилагать вопрос, в каком парике и в какой черной треуголке гуляют они по свету, вместо того чтоб спросить у них, кто призвал их к деятельности? О Боже! Мне отлично знакома твоя треуголка, отлично известно и то, кто призвал тебя. Но во имя Бога спрашиваю я тебя: кто ты? Что ты собою представляешь? Не ничто, отвечаешь ты! Ну, так скажи, насколько же и что же ты наконец, – это именно то, чего мне хотелось бы знать и что я должен знать, и поскорее!

13. Настоящий не стоящий на месте человек, если он только не манекен, какую бы сущность вы ему ни вложили в душу, сумеет ее более или менее двинуть вперед. Самое нескладное, бестолковое в мире он сумеет сделать несколько менее нескладным. Негибкое он сделает более подвижным – вот польза от его существования в мире.

14. Прежде всего отыщите человека; тогда вы уже всего достигли. Он может научиться всему – быть сапожником, произносить приговоры, управлять государствами. Он все это сделает так, как можно ожидать от человека. Возьмите с другой стороны не-человека, и у вас в руках будет ужаснейший «татарин» в мире, который быть может тем страшней, чем он с виду тише и мягче. Беды, какие способна наделать одна только глупая голова, наделать всякая глупая голова в мире, кишащем таким бесконечным множеством последствий, не поддаются подсчету. Уже не понимающий своего дела шарлатан-сапожник может причинить немало зла, о чем свидетельствуют мозольные операторы и люди, доведенные до необходимости носить с отчаяния одну лишь войлочную обувь. Подумайте же о том, сколько зла может сделать шарлатан-священник, шарлатан-король!

15. «Гений», «поэт», – знаем ли мы, что означают эти слова? Подаренная нам вдохновенная душа, непосредственно из великого горнила природы присланная, чтобы видеть правду,

вещать ее и совершать. Это – священный голос природы, раздающийся снова сквозь бесплодную, бесконечную чащу слухов, болтовни и трусости, в которой заблудился доведенный до края погибели мир.

16. Гений, о котором известная дама сказала, что он не имеет пола, ни в коем случае не принадлежит к какому-нибудь сословию. Поэтому образование не должно гордиться своим искусственным светом, часто лишь тлеющим или фосфорическим, там, где мы имеем дело с загоревшейся искрой Божьей. Мы начинаем сознавать, что аристократическая снисходительность, с учтивой улыбкой с высоты трона, воздвигнутого из книг в дорогих переплетах, признающая, что «для человека из народа» это очень мило, совершенно неуместна теперь. Настало несчастное время в истории человечества, когда наименее образованный, прежде всего, и наименее исковерканный, при обилии выпуклых, вогнутых, зеленых и желтых очков не потерял способности видеть собственными глазами. В наше время человек, владеющий пером точно так же, как и молотком, не должен возбуждать удивления.

Тем не менее снисходительно-доброжелательное отношение так широко распространено, что нам кажется полезным взглянуть на оборотную сторону дела. Я полагаю, что для способного от природы человека, имеющего в себе зародыши сильного характера – особенно если его склонности указывают на поприще литературы и предназначают его быть мыслителем и писателем, – для такого человека, говорю я, в наше странное время не было бы большим несчастьем вырасти среди народа, а не среди образованных людей. Быть может, это и вовсе бы не было несчастьем?

Все люди наталкиваются на избыток препятствий, потому что духовный рост должен быть задержан и остановлен, он должен пробиваться сквозь затруднения, иначе он совершенно остановится. Мы сознаем, что посредственным личностям беспрестанное воспитание и обучение языкам, танцам, правилам приличия, как это практикуется во всех странах у людей высокопоставленных, дает известное превосходство. В худшем случае – кажущееся превосходство над средними людьми низшего класса. Обыкновенно праздный человек по сравнению с человеком трудящимся почти всегда оказывается более милым; у него кругозор шире, яснее. Во многих отношениях, если даже взглянуть на дело глубже, он имеет преимущество над тружеником.

Противоположное верно лишь для необыкновенных личностей, одаренных зародышем неукротимой силы, которая во

что бы то ни стало достигнет развития. Для таких зародышей всего лучше та почва, на которой они свободнее будут расти. Там, где есть охота, должен найтись и путь. Одновременно с гением человек одарен и возможностью развития, даже уверенностью в развитии. Часто случается, что неумелое окапывание и удобрение вреднее, чем отсутствие ухода, и убивает то, что слепой жестокий случай щадит.

Редко бывает, чтобы какой-нибудь Фридрих или Наполеон воспитывались с целью подготовить их к последующей деятельности. Чаще всего даже их подготовка осуществляется совсем иным путем, в одиночестве и страдании, нужде и при неблагоприятных обстоятельствах. В наше время мы видим двух гениальных людей: Байрона и Бернса. Оба они по велению природы должны были стремиться к зрелому мужеству и бороться, преодолевая бурю и натиск тридцать шесть лет. Все же один только даровитый земледелец добивается частичной победы. Гениальный же дворянин борется, не жалея труда, и умирает, когда лишь в отдалении слышится обещание успеха его деятельности. Правда, как сказано где-то: только артишок не может расти вне сада; желудь бросают куда попало, а он питается на невспаханной почве и вырастает в виде дуба. Каждый лесовод подтвердит, что жирная земля губительна для желудей. Чем легче почва, тем крепче и плотнее дерево, но тем оно и ниже.

То же самое происходит и с духом человеческим: он будет чист, лишится своих недостатков, если станет страдать за них. Кто боролся хотя бы только с бедностью и тяжким трудом, тот оказывается сильнее и более сведущим, чем тот, кто удалился с поля битвы и осторожно спрятался между обозами с провиантом. В этом смысле один опытный наблюдатель нашего времени сказал: «Если мне нужно было отыскать человека с определенно развитым характером (развитым определенно и искренно, в рамках своих границ), с умом проницательным, мужественного, сильного духом и сердцем – а не с исковерканным характером, надменностью, заменяющей мужество, спекулятивным мышлением и призраком силы вместо проницательности и мощи, я обратился бы скорее к низшим, а не к высшим сословиям и там стал бы его искать».

Другое резкое мнение, что тот, чьи потребности определены наперед, чьим способностям предстоит только одна задача – развиться как можно лучше, достигает меньшей степени истинной образованности, чем другой человек, задача и долг коего состоит не в достижении образования, а в добывании хлеба насущного тяжелым трудом. Что за печальная превратность судьбы выражается в многообещающих начинаниях.

Задерживается и искусство, при всем богатстве своих средств, ничего не в состоянии совершить даже там, где природа сама дает материал.

Но жизнь полна зла, точно так же, как и добра, богатство средств и путей может дойти до опасных размеров, укрепить дурные склонности, вместо того чтобы направить их по верной колее. Но что значит необразованность с тех пор, как у нас есть книги, которые составляют часть домашней утвари в каждой квартире цивилизованных стран? В беднейшей хижине вы найдете книги, во всяком случае, одну книгу, из которой дух человеческий веками черпает свет, пищу, ответ на глубочайшие свои запросы. В ней и по сей час для зрячего глаза заметно отражение тайны бытия, если и не поясненной, то хоть открытой и представленной в виде пророческих символов; если и не удовлетворяющей разум, то хоть доступной внутреннему пониманию, что гораздо важнее. «В книгах скрыт творческий пепел Феникса всего нашего прошлого». Все, что люди думали, открыли, перечувствовали и придумали, записано в книгах; и кто научился секрету чтения, может все это найти и усвоить.

Но что из этого следует? Разве образование человека, то, что мы называем образованием, бывает закончено в университетах, библиотеках и аудиториях? Разве живая сила нового человека пробуждается исключительно или главным образом мертвой буквой и повествованием о силе других людей, разве иначе она не может загореться, и очиститься, и дойти до побеждающей ясности? Ты, неразумный педант, с сожалением распространяющийся о неведении Шекспира! Шекспир проник глубоко в бесчисленное множество вещей, природу с ее божественной красотой и ужасами ада, хорами светлых ангелов и таинственными жалобными стонами. Он проник глубоко в людские дела, искусство и уловки искусства.

Шекспир знал многое («знал» [kenned] в его время было почти тождественным «смог» [canned]) о людях и мире. О том, к чему люди стремятся, добивались веками в различных странах света. Обо всем было у него ясное представление и умение передать все понятое в новых образах. В этом и состояло его знание; что же знаешь ты? Ничего из того, что мы только что назвали, быть может, вообще ничего. Ты знаешь только собственные дипломы, документы, академические почести; только слова да буквы алфавита и то не все. Ясный взгляд на вещи и свежая сила для деятельности – вот величайший успех обучения; упражнение – лучший учитель.

В наше время «знать» и «мочь» стали различными терминами; а ведь в этом первая причина всей человеческой культуры,

краеугольный камень подлинного образования. То, что человек прежде всего должен быть подготовлен к труду, ряд поколений совсем не затронуло, и мы видим последствия этого! Подумайте, какое преимущество имеют необразованные трудящиеся классы над образованными и нетрудящимися только вследствие того, что они должны работать.

Работа! Что это за неизмеримый источник образования! Как захватывает работа всего человека, не только его спокойное теоретическое мышление, но всего деятельного, действующего, решительного и терпеливого человека! Как шаг за шагом пробуждает она дремлющую силу, искореняет старое заблуждение! Кто ничего не делал, тот ничего не знает. Сидеть, строить планы и умно говорить ни к чему не ведет: встань и действуй! Если знания твои верны, то применяй их, борись с живой природой, испытай свои теории и посмотри, как они выдержат искус. Сделай что-нибудь, в первый раз в жизни сделай что-нибудь! Тогда ты сразу станешь лучше понимать всякую деятельность вообще. Работа имеет неограниченное значение. При ее помощи скромнейший ремесленник добивается великого и необходимого, чего не может сделать высокопоставленный человек, не умеющий трудиться. Примись за практику, и заблуждение с истиной перестанут идти рука об руку. Успех заблуждения заставляет тебя запутаться в квадратном корне отрицательной величины; постарайся извлечь его, добыть из него какое-нибудь земное содержание и жизненную поддержку.

Почтенный член парламента может открыть, что «существует реакция», верить этому и утомительно доказывать это наперекор всему миру, сколько ему угодно. Он не будет испытывать от этого недостатка в пище. Но если медник откроет, что медь – зеленый сыр, то он должен действовать сообразно со своим открытием и потому должен прийти к заключению, что, как это ни странно, медь нельзя жевать, а из зеленого сыра никак нельзя получить огнеупорной посуды. Его открытие поэтому не имеет под собой твердой почвы, и о нем надо забыть. Проведите эту основную разницу через всю жизнь обоих людей и постарайтесь уяснить себе ее последствия. Необходимость, нужда, которая в данном случае приходится матерью точности, давно уже известна как мать изобретательности. Тот, кому многого недостает, кто во многом нуждается, должен много знать, много трудиться, чтобы только чего-нибудь достигнуть. В противоположность тому, кому необходимо только знать, что для того, чтобы позвонить, нужно пальцем нажать на кнопку звонка.

Мы приходим к заключению, что жизнь человеческая – школа, в которой глупые от природы – хоть бы ты стал толочь их

в ступе – останутся при своей глупости. Умные от природы, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, становятся все умнее. Однако же каково должно быть состояние эры, когда величайшие преимущества превращаются во вред! Это знаменательно. Вот двое гениальных людей, один из них ведет плуг, другой катается на четверке с гербами в карете. Они развиваются – из одного вырастает Бернс, из другого – Байрон. Вот двое талантливых людей, один стоит в типографии, вымазан в саже, живет в тяжелых условиях, исполняя трудную работу; другой работает в Оксфордском университете среди словарей и библиотек, наемных толкователей и прекрасных условий труда. Первый известен миру как доктор Франклин, второй – как доктор Парр.

17. Гении – наши настоящие люди, великие люди, вожди тупоумной толпы, следующей за ними, точно повинуясь велениям судьбы. Они – избранники света. Они обладали редкой способностью не только «догадываться» и «думать», но знать и верить. По натуре они склонны были жить, не полагаясь на слухи, а опираясь на определенные воззрения. В то время как другие, ослепленные одной наружной стороной вещей, бесцельно неслись по великой ярмарке жизни, они рассматривали сущность вещей и шли вперед, как люди, имеющие перед глазами путеводную звезду и ступающие по надежным тропам.

18. Сколько есть в народе людей, которые могут вообще видеть незримую справедливость неба и знают, что она всесильна на земле, – столько людей стоит между народом и его падением. Столько, и не больше. Всемогущая небесная Сила посылает нам все новых и новых людей, имеющих сердце из плоти, не из камня, – а довольно тяжелое несчастье – окажется учителем людей!

19. Жизнь великого человека, сказал кто-то, похожа на Библию, Евангелие свободы, проповедуемое всем людям, посредством которого мы узнаем, что среди стольких неверующих душ возвышенный дух еще не сделался невозможным. Это служит признаком того, что, хотя мы окружены пошлостью и презренными делами, природа человеческая неугасимо божественна. Поэтому мы должны придерживаться самой главной веры, веры в нас самих.

20. Подобно тому как величайшее Евангелие было биографией, так и история жизни всякого хорошего человека, несомненно, является Евангелием и проповедует глазу, сердцу и всему человеку, так что сами дьяволы должны дрожать от этих слов. «Человек рожден божественным, не рабом условий и нужды, а победоносным их покорителем. Смотри, как он сознает

собственное достоинство и свою свободу и, как сказал один мыслитель, является “мессией природы”».

21. Начинают понимать, что настоящая сила, которой должно подчиняться все на свете, это – проницательность, духовное созерцание и решительность. Мысль – мать деятельности, она – живая душа ее, не только зачинщица, но и охранительница. Мысль поэтому служит основанием, началом и сокровенной сущностью всей человеческой жизни на земле. В этом смысле было сказано, что слово человека, высказанная мысль – магическое изречение, благодаря которому он покоряет мир. Разве не покорны ему ветры и волны и все бушующие силы, безжизненные точно так же, как и живые? Жалкий, совершенно механически действующий волшебник говорит, и по его слову окрыленные огнем суда пересекают океан. Народы разделены раздорами и несогласиями, погружены в отчаяние и мрачную хаотическую злобу, но раздается тихий голос древнееврейского мученика-освободителя, и он успокаивает, мирит людей. Земля становится приветливой и прекрасной, ужасающая жестокость заменяется миролюбивым отношением людей друг к другу. Настоящий властитель мира, по своему желанию преобразующий свет, как мягкий воск, это тот, кто с любовью взирает на мир, это вдохновенный мыслитель, в наше время называемый поэтом.

22. То, что Гете был великим учителем человечества, уже одно это доказывает, что он был также и хорошим человеком. Он сам учился, боролся в школе опыта и наконец победил. Для скольких сердец, томившихся в тесной тюрьме неверия – настоящем ничто, пустом пространстве – и близких к смерти, уверение, что такой человек существовал, оказался возможным, было радостной вестью! Тот, кто хочет научиться привести в единство благоговение и ясность мысли, отрицать то, что ложно, бороться с неправдой и в то же время верить в правду и поклоняться ей! Среди бушующих партий, думающих лишь о том, что либо совершенно пусто, либо может продержаться всего один день, вызывающих конвульсии распадающегося, умирающего общественного строя, дергая его во все стороны… Среди партий этих оставаться на верном пути и, работая для мира, оставаться чистым перед миром – кто этому хочет научиться, пусть взглянет сюда.

Этот человек был нравственно велик, потому что он в свое время был тем, чем в иные времена могли быть многие люди, – настоящим человеком. Его величайшее преимущество перед другими состояло в его неподдельности. Точно так же, как главными качествами его ума были мудрость, глубина и сила мировоззрения, основным нравственным качеством его была

справедливость, мужество быть справедливым. Мы восхищались в нем силой великана, но силой, благородно превращенной в кроткую мягкость, подобно безмолвной, опоясанной скалами силе мира, из недр коего вырастают цветы, а почва покоится на алмазах. Величайшее из всех сердец было и храбрейшее, бесстрашное, неутомимое, миролюбивое, несокрушимое. Он был законченным человеком: трепещущая чувствительность, неистовый энтузиазм Миньоны уживается с язвительной иронией Мефистофеля, и каждая сторона его многосторонней жизни получает от него то, что ей надлежит получить.

23. Что он был справедливый, сердцем понимающий человек, это предполагается как основание всякого истинного таланта. Как может человек без ясного взгляда в сердце своем иметь ясный взгляд в голове?

24. Умные и мужественные люди составляют, собственно говоря, лишь один класс. Не бывает мудрого или умного человека, который прежде всего не должен был бы быть бодрым и мужественным, иначе он никогда не стал бы мудрым. Благородный пастырь всегда был вначале благородным борцом, а потом уже чем-то большим. Если бы Лютер, Нокс, Ансельм, Бекет, Сэмюэл Джонсон не были с самого начала достаточно сильны и храбры, каким образом могли бы они когда-нибудь сделаться мудрыми и умными?

25. Как бы часто нам ни внушали, что более близкое и подробное ознакомление с людьми и вещами уменьшит наше восхищение ими, только темное и наполовину незнакомое может казаться возвышенным, мы все-таки не должны этому безусловно верить. И здесь, как и во многом другом, не знание, а лишь немного знания заставляет гордиться и на место восхищения узнанным предметом ставит восхищение самим узнавшим. Для поверхностно образованного человека усыпанное звездами, механически вращающееся небо не представляет собою, быть может, ничего удивительного. Оно кажется ему менее удивительным, чем видение Иакова. Для Ньютона – оно удивительнее этого видения, потому что здесь, на небе, царит еще все тот же Бог, и священные влияния, как ангелы, поднимаются вверх и спускаются вниз. Это ясное созерцание делает остальную тайну еще глубже, еще божественнее. То же самое происходит и с истинно душевным величием, в общем, теория «нет великого человека для его камердинера» нам мало помогает в освещении истинной природы этого случая. Кроме довольно ясной поверхностности этого утверждения, оно еще может быть применено лишь к поддельным, ненастоящим героям или к слишком настоящим лакеям. Для доброго Элвуда Мильтон всегда

оставался героем.

26. Во всяком случае, гораздо легче и гораздо менее благородно находить ошибки, чем раскрывать красоты. Критикующая муха, садясь на колонну или карниз великолепного здания, будет в состоянии указать здесь на пятно, там – на шероховатость, одним словом, несмотря, что взор ее простирается не далее полдюйма, она сумеет найти, что тот или иной отдельный камень совсем не такой, каким он быть должен. В этом критикующая муха будет права. Но для того чтоб понимать красивые пропорции целого, видеть все здание как единый предмет, оценить его целесообразность, устройство различных частей и их гармоничное совместное служение требуемой цели, нужно иметь глаз и понимание знатока.

27. Существенно заблуждаются те, кто считает вспыльчивость и упрямство признаками силы. Кто подвержен припадкам судороги, тот несилен, хотя требуется шесть человек, чтобы сдержать его. Тот силен, кто может тащить, не спотыкаясь, самый тяжелый груз. Это мы должны помнить всегда, в особенности в теперешние крикливые дни. Кто не умеет молчать, пока не настает пора говорить и действовать, тот не настоящий человек.

28. Разве мысли, истинный труд, всякая высокая добродетель – не дети страдания? Словно рожденные из черного вихря. – Истинное напряжение, подобное усилиям узника вырваться на свободу, – вот что такое мысль. Мы совершенствуемся путем страданий.

29. При каких обстоятельствах приходится иногда мудрости бороться с глупостью и убеждать глупость, чтобы она согласилась на защиту мудрости!

30. Жизнь великого человека – не веселый праздник, а битва и поход, борьба с властелинами и целыми княжествами. Его жизнь – не праздная прогулка по душистым апельсиновым рощам и зеленым цветущим лугам в сопровождении поющих муз и румяных гор[9], а суровое паломничество через знойные пустыни, страны, покрытые снегом и льдом. Он странствует среди людей. Он любит их неизъяснимой, нежной любовью, смешанной с состраданием, любовью, какой они ему не могут ответить. Но душа его живет в одиночестве, далеких областях мироздания. В зеленых оазисах, тени пальмовых деревьев у ручья отдыхает он на мгновение, но долго оставаться там не может, гонимый страхом и блеском, дьяволами и архангелами. Все небо сопровождает его. Весело сияющие звезды посылают ему вести из неизмеримости. Могилы, молчаливые, как скрытые в них покойники, – говорят ему о вечности.

О мир, как тебе застраховать себя от этого человека? Ты не

можешь нанять его за деньги и не можешь также обуздать его виселицей и законами. Он ускользает от тебя, подобно духу… Его место среди звезд на небе. Тебе это может казаться важным, представляться вопросом жизни и смерти. Но ему безразлично, дашь ли ты ему место в низкой хижине на то время, пока он живет на земле, или отведешь ему помещение в своей, столь громадной для тебя башне. Земные радости, те, которые действительно ценны, не зависят от тебя или от твоего содействия. Пища, одежда и вокруг уютного очага души, любимые им, – вот его достояние. Он не ищет твоих наград. Заметь, он и не боится ни одного из твоих наказаний. Даже убивая его, ты ничего не добьешься. О, если бы этот человек, из глаз которого сверкает небесная молния, не был насквозь пропитан Божьей справедливостью, человеческим благородством, правдивостью и добротой, – тогда я дрожал бы за судьбу мира. Но сила его, на наше счастье, состоит из суммы справедливости, храбрости и сострадания, живущей в нем. При виде лицемеров и выряженных стараниями портного высокопоставленных шарлатанов глаза его сверкают молнией; но они смягчаются милосердием и нежностью при виде униженных и придавленных. Его сердце, его мысли – святилище для всех несчастных. Прогресс обеспечен навсегда.

Но имеешь ли ты представление о том, что такое гениальный человек? Гений – «вдохновенный дар Божий». Это – бытие Бога, ясно выраженное в человеке. Более или менее скрытое в других людях, оно в этом человеке заметнее, чем в остальных. Так говорит Мильтон, а он должен был в этом что-нибудь понимать. Так говорят ему в ответ голоса всех времен и всех стран. Тебе хотелось бы общаться с таким человеком? Так будь действительно подобен ему. В твоей ли это власти? Познай себя и свое настоящее, а также и кажущееся место и познай его и его настоящее и кажущееся место и действуй сообразно со всем этим.

31. Голод и нищета, опасности и поношения, тюрьма, крест и кубок с ядом – вот что почти во все времена и во всех странах было рыночной ценой, предлагаемой миром за мудрость, – тот доброжелательный прием, который он оказывал тому, кто приходил, чтобы просветить или очистить его. Гомер, Сократ и апостолы христианства принадлежат к древним временам, но мартирология мира на них не остановилась. Роджер Бэкон и Галилей изнывают в тюрьмах духовенства, Тассо грустит в келье в сумасшедшем доме, Камоэнс умирает нищим на улицах Лиссабона. Так небрежно относились к пророкам, преследовали их не только в Иудее, но и везде, где только жили люди.

32. Это естественный ход вещей, это история божественного

во всех странах, во все времена. Какой бог мог когда-нибудь пробиться в открытые церковные собрания или в какой-нибудь сколько-нибудь влиятельный синедрион? Когда какое-либо божество было «приятно» людям? Обыкновенный порядок вещей состоит в том, что люди вешают своих богов, убивают, распинают на кресте и в течение нескольких столетий попирают их ногами, пока они вдруг открывают, что то были боги, когда они на очень глупый манер начинают блеять и кричать.

Так говорит саркастический наблюдатель, и слова его, к сожалению, глубоко истинны.

33. По сути говоря, гениальному человеку стыдно жаловаться. Разве в его груди не горит небесный свет, по сравнению с которым сияние всех тронов земных лишь ночь и тьма? Как же голова, украшенная такой короной, может роптать на то, что корона неудобно сидит на ней? Современный жрец мудрости должен либо терпеливо переносить постигающие его мелкие неприятности и искушения, к числу которых следует отнести и болезнь, либо он должен сознаться, что фанатики и безумцы древности были лучшими служителями Бога, чем он.

34. «Неужели мне может казаться тяжелым, – говорил Кеплер в своем одиночестве и в гнетущей нужде, – что люди ничего не хотят знать о моем открытии? Если всемогущий Бог шесть тысяч лет ждал человека, который увидел бы то, что он сотворил, то и я могу подождать лет двести, пока найдется кто-нибудь, кто поймет то, что я увидел!»

35. Мы вовсе не думаем, что непоколебимая серьезность составляет существенное условие величия и великий человек никогда не должен показываться иначе, как с пристальным взором и уксуснокислой миной, никогда не должен смеяться и радоваться! На свете есть вещи, над которыми нужно посмеяться, как есть и такие, которые достойны восхищения, и никто не может хвастаться всеобъемлющим умом, если он не умеет воздать каждой вещи должное.

Тем не менее презрение – опасный элемент, если мы хотим на нем играть, и смертельный, если мы привыкаем с ним жить. Как в самом деле может человек предпринять нечто большое, взять на себя труд и усталость и противиться искушению, если он не любит горячо преследуемую цель? Способность к любви, восхищению можно рассматривать как отличительный признак и мерило возвышенных душ. Неразумно направленная, она ведет к немалому количеству бед, но без нее не может быть ничего хорошего.

36. В современном обществе, точно так же, как и в древнем и всяком другом, аристократы или те, что присвоили себе функции

аристократов, независимо от того, выполняют ли они их или нет, заняли почетный пост, который является одновременно и постом затруднений, постом опасности. Он может быть даже постом смерти, если затруднения не удается преодолеть. Il faut payer de sa vie[10].

Это и есть настоящий, истинный закон. Всюду, постоянно должен человек «расплачиваться ценою жизни», он должен, как солдат, исполнять свое дело за счет своей жизни.

37. Тот, кто не может быть слугою многих, никогда и не может быть господином и истинным вождем и освободителем многих; в этом значение настоящего совершенства.

38. Знатный класс, не имеющий никаких обязанностей, похож на посаженное над обрывом дерево, с корней которого осыпалась вся земля. Природа ни одного человека не признает своим, если он не является мучеником в каком-нибудь отношении. Неужели действительно существует на свете человек, который роскошно живет, застрахован от какой бы то ни было работы, нужды, опасности и забот, победа над коими и считается работой. Ему только остается нежиться на мягком ложе, а всю нужную для него работу и борьбу он заставляет исполнять других?

39. В чем, собственно говоря, состоит благородство? В том, чтобы храбро страдать за других, а никак не в том, чтобы лениво заставлять других страдать за себя. Вождем людей бывает тот, кто стоит впереди других людей, пренебрегает опасностью, перед которой другие отступают в страхе, опасностью, грозящей погубить других, если ее не одолеют. Всякий благородный венец – венец терновый.

40. Трудящийся мир, точно так же, как и воинственный, не может функционировать без благородного рыцарства поступков и без соответствующих законов и правил.

41. Руководители промышленности, если только промышленность должна быть руководима, будут, в сущности, вождями мира. Если в них нет благородства, то на свете никогда больше не будет аристократии. Но руководителям промышленности надлежит принять к сведению, что они созданы из другого материала, чем прежние начальники кровавой резни. Руководители промышленного труда – истинные борцы и отныне должны быть признаны единственно истинными борцами. Они борются с хаосом, беспорядком, чертями и вовлекают человечество в единственно великую и праведную всеобщую войну. Звезды на небе борются за них, и вся земля внятно говорит: «Так, хорошо!» Пусть же предводители труда исследуют собственное сердце и торжественно спросят себя, нет ли в них чего-нибудь другого, кроме жажды тонких вин и зависти к

раззолоченным экипажам? О сердцах, сотворенных всемогущим Богом, мне не хотелось бы этого думать, да я этому никогда и не поверю.

42. Храбрые полки работников должны законным образом стать вашими. Их следует систематически удерживать в вашей среде путем справедливого участия в общих завоеваниях. Они должны быть связаны с вами совершенно иными и более крепкими узами, нежели временной поденной платой, и сделаться вашими истинными братьями и сыновьями.

43. Уважай немногочисленное меньшинство, если оно окажется искренним. Его борьба иногда трудна, но всегда оканчивается победой, как борьба богов. Сыновья Танкреда д'Отвилля приблизительно восемьсот лет тому назад завоевали всю Италию[11], соединили ее в органические массы, своего рода живое расчленение; основали троны и княжества. Этих норманнов было четыре тысячи человек. В Италии, покоренной ими в открытом бою и разделенной по их усмотрению на части, насчитывалось до восьми миллионов населения, состоящего из таких же высоких ростом чернобородых людей. Как же случилось, что немногочисленное меньшинство норманнов победило в этой, по-видимому, безнадежной борьбе? По существу, несомненно, победа потому осталась за ними, что на их стороне была правда. Они смутно, инстинктивно следовали повелению неба, и небо решило – они должны победить. К тому же присоединялось то обстоятельство – я это ясно вижу, – что норманны не боялись и готовы были в случае надобности умереть за свое дело. Обдумайте это: один такой человек против тысячи других! Пусть незначительное меньшинство не унывает! Вся вселенная стоит за него, и туча невидимых свидетелей глядит на него с высоты.

44. Что касается власти «общественного мнения», то всем нам она хорошо знакома. Ее признают необходимо нужной и полезной и уважают ее соответственно, но ее никоим образом не считают решающей или божественной силой. Нам хочется спросить: какое божественное, действительно великое дело было когда-либо совершено силой общественного мнения? Эта ли сила побудила Колумба отправиться в Америку или заставила Иоганна Кеплера променять пышное житье в толпе астрологов и скоморохов Рудольфа на нужду и голод, терпя которые, он открыл истинную звездную систему?

Уже много раз было сказано, и снова необходимо подчеркнуть, все реформы, за исключением нравственных реформ, оказываются бесполезными. Политические реформы, довольно страстно желаемые, могут действительно вырвать с корнем сорную траву (ядовитый болиголов, обильно растущий

горец), но после этого почва остается голой. Что будет на ней произрастать, благородные ли плоды или новая сорная трава? Нравственную реформу мы можем ожидать лишь таким образом, что появится все больше и больше добрых людей, присланных всеблагим Провидением, чтобы сеять добрые семена. Сеять в буквальном смысле слова, как падают крупинки семян с живых деревьев. В этом всегда и везде состоит натура хорошего человека. Он таинственный творческий центр добра: его влияние не поддается вычислению, потому что дела его не умирают. Они берут начало в вечности и продолжаются вечно; в новых превращениях, распространяясь все шире, живут они на свете и раздают жизнь. Тот, кто приходит в отчаяние от гнусности и низости настоящего времени, считает, что теперь Диогену[12] нужны были бы два фонаря средь бела дня, должны обдумать следующее. Над своим временем человек не имеет власти. Ему не дано спасти падший мир. Только над отдельным человеком мы имеем полную, неограниченную, несокрушимую власть. Так употреби же эту власть, спаси человека, сделай его честным, и тогда можешь считать, что ты кое-что сделал, многое сделал, жизнь твоя и деятельность были не напрасны.

IV Ложные пути и цели

1. Это действительно так. «Мы забыли Бога», выражаясь старинным слогом, или, говоря новейшим языком и исходя из сущности самого предмета, мы восприняли действительность не такой, какова она есть. Мы спокойно закрыли глаза на вечную суть вещей и открыли их только на видимость вещей. Мы спокойно верим в то, что вселенная, по внутренней сущности, есть одно большое, непонятное «может быть», а внешне – представляется, несомненно, достаточно большим, вместительным хлевом и работным домом, с огромной кухней и длинными обеденными столами, – и только тот оказывается умным, кто может найти здесь место. Всякая правда этой вселенной сомнительна, и для практического человека остаются очень ясными только прибыль и убыток, пудинг и внешнее одобрение.

2. Дело, в сущности, обстоит не иначе и с народами, которые становятся несчастными и беспомощными. Древние руководители народов, пророки, священники или как бы их ни называли иначе, очень хорошо знали это и самым убедительным образом проводили свое учение до новых времен, чтобы запечатлеть по возможности глубже. Современные руководители народов, у которых также много названий, как, например, журналисты, политэкономы, политики и т. д., совершенно забыли об этом обстоятельстве и готовы его отрицать.

Но тем не менее оно вечно останется неотрицаемым, и точно так же нет сомнения в том, что нас всех учат этому, дабы мы все это снова познали. Нас всех бичуют и наказывают до тех пор, пока мы этому не научимся, и в конце концов мы научимся, или нас будут бичевать до смерти, потому что это неотрицаемо!

Если народ несчастен, то древний пророк был прав и не неправ, когда он говорил ему: «Вы забыли Бога, оставили пути Божии, иначе не стали бы несчастными. Вы жили и вели себя не по законам истины, а по законам лжи и обмана и умышленно или неумышленно не признавали истины».

3. В мире ночь, и много времени еще пройдет, пока наступит день. Мы странствуем среди тления дымящихся развалин, и солнце, звезды небесные на время как бы совершенно уничтожены. Два неизмеримых фантома: ханжество и атеизм, вместе с прожорливым чудовищем чувственностью, гордо шествуют по земле и называют ее своею собственностью. Лучше всех чувствуют себя спящие, для которых существование представляет собой обманчивый сон.

4. Такие поколения, как наше, играют замечательную роль во всемирной истории. Точно обезьяны, сидят они вокруг костра в лесу и не умеют даже поддерживать его и двинуться дальше, вероятно в хаос, страну, гора Сион коей Бедлам. Выходит, что мир состоит не только из еды и напитков, газетных реклам, раззолоченных экипажей, суеты и мишуры; нет, из совершенно другого материала. Древние римляне, какими их изображает Светоний, огрубелые, болтливые греки времен вырождения Римской империи; у нас есть еще много других примеров. Помните их, учитесь на них, не увеличивайте еще их числа. Без геройства, не подражательного и переданного, выраженного или молчаливого чувства, что в человеческой жизни есть подобие Божества, движущаяся во времени человеческая история есть, в сущности, символ вечного, не было бы Рима. Вот то, что создало Древний Рим, Древнюю Грецию и Иудею. Обезьяны со сверкающими глазами сидят на корточках вокруг костра, который они даже не умеют поддерживать свежим запасом дров. Они говорят, что он и так будет дальше гореть, без дров, или, увы, говорят они, он вечно гаснет; это печальное явление.

5. Многие люди умерли; все люди должны умереть; наш самый последний уход происходит в огненной колеснице боли. Но печально и жалко, когда человеку приходится существовать не зная для чего, усиленно работать и ничего при этом не наживать, с усталою душой и тяжелым сердцем стоять одиноким и окруженным всеобщим, холодным laissez faire. Быть принужденным медленно умирать в течение всей своей жизни и заключенным в глухую, мертвую, бесконечную справедливость, как в проклятом железном чреве Молоха! Это является и всегда останется невыносимым для всех людей, созданных Богом.

6. Нельзя бродить ни по какой большой дороге и даже по самой глухой тропинке современной жизни без того, чтобы не встретить человека или человеческого интереса, который потерял бы надежду на вечное, истину, и направил бы свою надежду на нечто временное, наполовину или совсем обманчивое. Достопочтенные члены парламента жалуются на то, что йоркширские суконщики фальсифицируют свой товар. Господи! Даже бумага, на которой я пишу, и та, кажется, отчасти изготовлена из хорошо полированной извести и затрудняет мое писание. Ведь это счастье, если можно теперь получить действительно хорошую бумагу – и вообще какую-нибудь хорошо выполненную работу, где бы ее ни искать, начиная с высочайших вершин фантазии и кончая самым низким заколдованным основанием.

Возьмем, например, огромную шляпу, вышиною в семь футов,

которая разгуливает теперь по улицам Лондона и которую мой друг Зауэртейг[13] справедливо считает одной из наших английских достопримечательностей. «Дал бы Бог, – говорил он, – чтобы это был кульминационный пункт, которого уже достигло английское шарлатанство, и чтобы можно было от него вернуться обратно». Шляпочник на лондонской Стрэнд, вместо того чтобы делать лучшие фетровые шляпы, сажает громадную шляпу из папье-маше в семь футов вышиною на колеса, заставляет человека катать ее по городу и надеется таким образом найти свое благо. Он не пробовал делать лучших шляп, к чему, собственно, и был предназначен этим миром и, вероятно, мог бы осуществить при своих способностях, но сосредоточивает все свое усердие, чтобы убедить нас, что он сделал такие шляпы! Он сам знает, что шарлатан стал богом. Не смейся над ним, читатель, только не смейся! Он перестал быть смешным; он скорее становится трагичным.

Вот в чем, собственно, заключается беда. Это центр всеобщей социальной язвы, которая угрожает всему современному строю страшною смертью.

7. В человеческой общественной жизни циркулирует теперь не здоровая кровь, а как будто диаметрально противоположные ей купоросные чернила, – все стало острым, едким и угрожает распадом. Ужасная, шумная общественная жизнь стала нагальванизированной и как бы в самом деле объята дьяволом. Одним словом, маммона отнюдь не Бог, а дьявол, и притом весьма достойный презрения. Слушайтесь в точности дьявола, и вы можете быть уверены в том, что пойдете к черту – куда же вам еще идти?

8. Может быть, немного рассказов из истории или мифологии имеют больше значения, чем мусульманский рассказ о Моисее и соседних жителях Мертвого моря. Некоторое племя людей жило на берегах этого Асфальтового моря, и поскольку они, как и все мы, забыли внутреннюю сущность природы и привыкли лишь к обманчивой наружности лжи, то впали в печальное состояние. Тогда милостивому небу угодно было послать к ним пророка Моисея с поучительным словом предостережения, из которого они могли бы почерпнуть немало полезных правил. Но не здесь-то было! Люди у Мертвого моря не нашли ничего привлекательного в Моисее, что и следовало ожидать от рабского народа по отношению к герою или пророку. Поэтому они слушали его неохотно или с пошлыми насмешками и издевательствами. Они даже зевали и давали понять, что считают его хвастуном и лишь скучным болтуном. Итак, люди с Асфальтового моря откровенно решили, что он, очевидно,

шарлатан и, во всяком случае, пустой болтун.

Моисей ушел, а природа и ее строгие истины все же остались. В следующий раз, когда он посетил жителей Мертвого моря, «все они превратились в обезьян». Они сидели на деревьях, скалили зубы самым естественным образом, болтали сущую ерунду, и вся вселенная представлялась им одним сплошным призраком. И действительно, вселенная стала призраком для обезьян, которые так смотрели на нее. Так сидят они и болтают поныне, и только каждую субботу в них как будто пробуждается смутное, полусознательное воспоминание и они с высохшими, почерневшими лицами и своими слабыми глазами глядят на дивные, смутные очертания предметов. Впечатления, которые производят на них эти явления, они по временам выражают лишь в форме неблагозвучных, резких звуков и мяуканья; это самый настоящий и трагический призрак, который может представиться уму человека или обезьяны! Они не делали никакого употребления из своих душ, и поэтому они потеряли их. Субботняя молитва их заключается лишь в том, что они сидят на деревьях, неприятно кричат и как бы стараются вспомнить, что у них когда-то были души.

Разве тебе, путник, не приходилось никогда сталкиваться с группами таких созданий? Насколько мне кажется, – они в наше время стали достаточно многочисленными.

9. Когда исчезли идеалы, истина и благородство, которые были в людях, и не остается ничего, кроме одного только эгоизма и жадности, то жизнь становится немыслимою и самая древняя судьба, мать вселенной, беспощадно приговаривает их к смерти. Изредка лишь избирают они себе какую-нибудь легкую и удобную философию еды, питья и говорят во время жевания и пережевывания, которое они называют часами размышления: «Душа, радуйся; это очень хорошо, что ты стала душою дьявола», и очень часто, раньше, чем они успеют очнуться, начинается их предсмертная агония.

10. А все же жаль, что наши души пропадают. Мы, конечно, должны будем их снова отыскать, иначе нам во всех отношениях станет хуже. Известная степень души необходима, чтобы предохранить тело от самого страшного разрушения, избавить себя от расхода на соль. Известны случаи, когда у людей было достаточно души для того, чтобы охранить тело и все пять чувств от порчи, и для того, чтобы не иметь расхода на соль; были такие люди и даже народы.

11. Итак, требуют доказательства существования Бога? Бог, которого можно доказать! Самое маленькое из конечных существ старается доказать существование наивысшего и бесконечного.

Иными словами, если посмотреть на это правильно, оно составляет некий рисунок и пытается втиснуть его в себя. Это наивысшее бесконечное, в котором оно живет, движется и является тем, что оно есть!

12. Ты не хочешь иметь никакой тайны и никакого мистицизма. Ты хочешь бродить по миру при солнечном освещении того, что ты называешь правдой, или при помощи фонаря, того, что я называю адвокатской логикой. Ты все хочешь «объяснить» себе, «отдавать себе во всем отчет» или ни во что не верить? Да, ты даже хочешь пробовать смеяться?

Каждый, кто признает всепроникающую область тайны, находящуюся всюду под нашими ногами и между наших рук, – для кого вселенная представляется оракулом и храмом, так же как кухней и хлевом, – будет в твоих глазах сумасшедшим мистиком. С насмешливым участием предлагаешь ты ему свой фонарь и обижаешься и кричишь как ужаленный, если он оттолкнет его ногой.

Бедный дьявол! Разве сам ты не родился и не умрешь? «Объясни» все это. Сделай одно из двух: отойди в сторону со своей дурацкой болтовней или, что еще лучше, брось ее и плачь. Не потому что прошло господство удивления и Божий свет сбросил с себя красоту и стал прозаичным, а оттого, что ты до сих пор был дилетантом и близоруким педантом.

13. Методизм[14], постоянно сосредоточивающий взгляд на собственном своем пупе, все время спрашивает себя с мучительною боязнью надежды и страха: «На правильном ли я пути? Виновен я или нет? Стану ли я праведником или обреченным на вечные муки?» Что это, в сущности, как не простертый в бесконечность вид эгоизма, который, при всей своей бесконечности, тем не менее не является блаженным. Брат, по возможности скорей постарайся стать выше всего. «Ты на неправильном пути; ты, вероятно, попадешь в ад». Смотри на это как на действительность, привыкни к этой мысли, если ты человек. Тогда только всепоглощающая вселенная будет тобою побеждена и из мрака полночи, суеты алчного Ахерона, выплывет рассвет вечного утра и осветит твою крутую тропу высоко, выше всех надежд и всей боязни, и пробудит в твоем сердце небесную музыку Мемнона[15].

14. Увы, самый бесполезный из всех смертных – это сентиментальный человек. Даже допуская, что он искренен и не обманывал нас постоянно. Что же в нем хорошего? Не служит ли он нам вечным уроком сомнения и образчиком болезненного бессилия? Его добродетель преимущественно такая, которая каждой фиброй познает самое себя. Она совершенно больна; ей

кажется, она из стекла, ее нельзя тронуть; она сама не решается позволить кому-нибудь тронуть себя. Она ничего не может делать и может, в крайнем случае, при самом тщательном уходе лишь остаться в живых.

15. Самонаблюдение – несомненный признак болезни, независимо от того, является ли оно предвестником выздоровления или нет. Нездорова та добродетель, которая изводит себя раскаянием и страхом или, что еще хуже, тщетно и хвастливо надувается. В обоих случаях в основании лежит самолюбие или бесполезное оглядывание назад для измерения пройденного расстояния. Между тем единственная наша задача – безостановочно продвигаться вперед и идти дальше.

Если в какой-нибудь сфере человеческой жизни уместны целостность и бессознательность, то это во внутренней и самой интимной – жизни нравственной, так как они служат доказательством ее. Свободная, разумная воля, которая живет в нас и наших святая святых, может на деле быть свободной и искать повиновения, как Божество. Это составляет ее право и стремление. Полное повиновение всегда будет немым.

16. Человек ниспослан сюда не для сомнения, а для работы. Цель человека – так уже давно написано – проявляется в поступках, а не в мыслях. В состоянии совершенства все мышление было лишь образом и вдохновляющим символом деятельности, а философия существовала в форме поэзии и религии. И тем не менее как может она оставаться в этом несовершенном состоянии, обойтись без нее? Человек также постоянно находится в центре природы. Время его окружено вечностью, пространство – бесконечностью. Как он может воздержаться, чтобы не спросить себя: «Кто я? Откуда я пришел? Куда я когда-нибудь пойду?» Какой иной ответ может он получить на эти вопросы, кроме поверхностных, частичных указаний и дружеских уверений и успокоений, в виде тех, какие мы, бывало, слышали от матери, когда она пробовала успокоить своего любопытного, невинного ребенка?

Сообразно с этим болезнь метафизики продолжительна. Во все века должны опять возникать, в новых формах, эти вопросы о смерти и бессмертии, происхождении зла, свободы и необходимости, и постоянно, время от времени, будет повторяться попытка построить теорему вселенной. Но она, к сожалению, останется всегда безуспешной, ибо какую теорему бесконечности могло бы создать конечное существо в достаточной и совершенной форме?

17. Тебе не нужно никакой «новой религии», и ты, по всей вероятности, ее не получишь. У тебя и то больше «религии», чем

ты используешь. Сегодня, взамен одной обязанности, которую ты исполняешь, тебе известны десять обязанностей, которые тебе приказано помнить. Ты видишь в своем уме десять правил, которым нужно подчиняться! Исполни хоть одно из них. Оно само укажет тебе еще десять других, которые должны и могли бы исполняться. «А моя будущая судьба?» Ах вот как, твоя будущая судьба! Твоя будущая судьба кажется мне, – в то время как это для тебя составляет главный вопрос, – весьма загадочной! Я не думаю, чтобы она могла быть хороша. Разве не учил нас норвежец Один – с незапамятных времен, еще на рассвете веков, хотя он был лишь бедным язычником – тому, что для труса не может быть и не бывает счастливой судьбы, для него нет нигде пристани, за исключением преисподней у Хели, во мраке ночи.

Но трусы и мальчишки – те, кто жаждал удовольствия и дрожал перед болью. Для сего мира и для иного трусы составляют класс людей, созданных для того, чтобы быть «изолированными». Они ни на что больше не годны и не могут ожидать другой участи. Здесь был больший, нежели Один. Больший, нежели Один, учил нас – не большей трусости, надеюсь. Брат, ты должен молить о душе. Ты должен бороться энергично – не на жизнь, а на смерть, чтобы снова вернуть себе душу! Знай, что «религия» не пилюля снаружи, а новое пробуждение твоего собственного «я» изнутри. Прежде всего оставь меня в покое с твоими «новыми религиями» здесь или где бы то ни было в другом месте.

18. Очень правильную теорию проповедует нам мудрец, а именно: «Сомнения какого бы то ни было рода нельзя удалить иначе как поступком». На этом основании советую человеку, который с трудом пробирается в темноте или при плохом освещении и внутренне молится о скорейшем наступлении дня, строго придерживаться другого, неоценимо дорогого для меня правила: «Исполняй долг, который тебе ближе всего, о котором ты знаешь, что это обязанность. Вторая обязанность покажется тебе тогда уже гораздо более ясной».

19. О, брат, мы должны по возможности пробудить в себе душу и совесть, мы должны променять дилетантизм на честные стремления, а свои мертвые, каменные сердца – на живые сердца из плоти. Тогда мы познаем не одну только вещь, а бесконечный ряд вещей, в более или менее ясной очереди, которые смогут быть сделаны. Исполни первую из них, – попробуй, – и вторая покажется тебе яснее и более удобоисполнимою. Вторая, третья и трехтысячная сделается тогда возможной для нас.

20. Набожности по отношению к Богу, благородству мысли, которая вдохновляет человеческую душу и заставляет ее стремиться к небу, нельзя «научить» ни самыми избранными

катехизисами, ни самой усердной проповедью или муштровкой. Ах нет! Совершенно иными методами это священное влияние может переходить от одной души к другой. Особенно благодаря спокойному, постоянному примеру, спокойному выжиданию благоприятного настроения и надлежащего момента, к которому должно присоединиться своего рода чудо, правильно названное «Божьим милосердием». Но не красноречивее и не убедительнее ли целых библиотек ортодоксальной теологии бывает иногда «молчаливое деяние», бессознательный взгляд отца или матери, которые обладали «набожным благородством мысли»?

Действительно, надо удивляться тому количеству разнородных отсталых идей, которых и сейчас придерживается, хотя бы в ущерб себе, бедный человеческий и детский ум. Массами стучатся они с шумом к ним, как будто бы это были вполне живые идеи.

21. Прежде всего невозможно достаточно быстро согнать со света тот «усталый, возможный деизм», составляющий теперь нашу обыкновенную английскую веру. Какова, собственно, сущность человека, теоретически защищающего, с судорожной горячностью, Бога? Может быть, лишь неоспоримый символ и культ Бога? В остальном же, мыслях, словах и поступках, видно, что он живет, как будто его теория была только вежливою формою речи, а теоретический Бог его лишь отдаленный кумир, с которым он решительно ничего общего не имеет.

Глупец! Вечное не есть ограниченный образ в известном пространстве. Бог не только там, но и здесь, или нигде, – твоем жизненном дыхании, твоих помыслах и поступках, – и умно было бы с твоей стороны, если бы ты это запомнил. Если нет Бога, как считал глупец в своем сердце, то продолжай жить с чувством внешней порядочности и похвалой лишь на словах, внутренней жадностью и фальшью и всей пустой, хитро придуманной неосновательностью, которая связывает тебя с маммоной сего мира. Но повторяем мы, если Бог есть, то берегись! И все же как в том, так и в другом случае – что ты? Атеист бродит по ложному пути, и тем не менее в нем есть доля истины. Это правда в сравнении с тобой, потому что ты, несчастный смертный, живешь в одной сплошной лжи и сам представляешь собою олицетворенную ложь.

22. Представь себе человека, который советует своим собратьям верить в Бога для того, чтобы чартизм попал в арьергард и чтобы рабочие в Манчестере могли спокойно остаться за своими станками. Трудно себе представить более дикую идею! Друг мой, если тебе когда-нибудь удастся уверовать в Бога, то ты убедишься в том, что весь чартизм, манчестерские бесчинства,

парламентская некомпетентность, ветреные министерства, самые дикие социальные вопросы и сожжение всей этой планеты – ничто в сравнении с этим.

23. С человеком, который, будучи честен по отношению к самому себе, приступает к делу и всю душу вкладывает как в разговор, так и в поступки, – всегда можно что-нибудь сделать. Сам сатана был, по Данте, предметом, достойным похвал, по сравнению с теми ангелами juste milieu[16], которыми изобилует наше время. Последние не были ни мятежными, ни верными. Они только думали о своем собственном маленьком «я». Представители умеренности и аккуратности, которые были приговорены к ужасным мучениям в Дантовом аду, лишены надежды умереть (non han speranza di morte). Они должны были застыть без смерти и без жизни, в грязи, мучимые мухами, спать беспрестанно и терпеть, – «Бога ненавидят так же, как врага Божьего».

24. Собственно говоря, ничто не может внушать такого презрения, и нет ничего более достойного отвращения и забвения, чем полумошенник. Он не правдив и не лжив, никогда в жизни не сказал правды и не совершил честного поступка. Дух его живет в сумерках с кошачьими глазами, которые не в состоянии узнать правду. У него, само собой разумеется, не хватает мужества совершить или сказать полную ложь, вследствие чего вся жизнь его проходит в склеивании правды с неправдой с целью создать из этого нечто правдоподобное.

25. Несомненно, что наступит день, когда снова узнают, какая сила лежит в чистоте и воздержании жизни, как божествен стыдливый румянец на щеках молодых, высока и целебна это обязанность, возложенная не только на одних женщин, а на все создания вообще. Если бы такой день никогда не настал, тогда я полагаю, что и многое другое никогда не вернется. Великодушие и глубокомыслие никогда не вернутся. Героическая чистота сердца и глаз, благородная, благочестивая храбрость, окружающая нас, – и образцовый век, как могут они когда-либо вернуться?

26. Но во всяком случае, ясно, что не школа, пройденная в служении дьяволу, а только наше решение бросить эту службу направляет нас к правильным мужественным поступкам. Мы становимся людьми не тогда, когда отступили, разочарованные в погоне за ложными удовольствиями, а после того, как мы почему-либо поняли, какие непреодолимые препятствия окружали нас в течение всей жизни, как безрассудно нашей «смертной» душе ожидать удовлетворения от подарков этого бесконечно суетного мира! Поняли, что человек не должен довольствоваться самим

собою и что для страдания и терпения нет иногда средства, кроме стремления и поступков. Мужественность начинается, когда мы каким бы то ни было образом заключаем перемирие с необходимостью. Она даже начинается, когда мы, как это делает большинство, покоряемся необходимости. Но она лишь тогда полна надежд, начинается, когда мы примиримся с необходимостью. Тогда мы действительно торжествуем и чувствуем, что стали свободными.

27. К чему эта смертельная спешка заработать деньги? Я не попаду в ад, даже если я не заработаю денег. Мне говорили, что есть еще другой ад.

28. Читатель, – даже читатель-христианин, как ты себя называешь, – имеешь ли ты представление о рае и об аде? Я думаю, что нет. Хотя слова эти часто у нас на языке, они тем не менее представляют для большинства из нас нечто сказочное или полусказочное, точно преходящий образ или малозначащий звук.

И тем не менее следует раз навсегда знать, что это не образ, мысль, полусказка, а вечная, высшая действительность. «Никакое море из сицилианской или иной серы уже нигде не горит в наше время», – говоришь ты? Ну, так что же, что не горит? Верь или не верь этому, как хочешь, и твердо придерживайся этого, как настоящей выгоды, способа подняться в высшие стадии, к дальним горизонтам и странам. Исчезло ли все это или нет, – думай как хочешь. Но ты не должен верить, что исчезло или может исчезнуть из человеческой жизни бесконечное, имеющее практическое значение, выражаясь строго арифметически! О, брат! Разве не было момента, когда бесконечное страха, надежды, сострадания ежеминутно обнаруживалось перед тобой, несомненным и неназванным. Не явилось ли оно тебе некогда как сияние сверхъестественного, вечного Океана, голос глубокой вечности, звучащей где-то до самой глубины твоего сердца? Никогда? В таком случае, к сожалению, причина не в твоем либерализме, а в твоем анимализме. Бесконечное вернее, нежели какая-либо другая действительность. Однако только люди могут это различить. Бобры, пауки и хищные животные из породы коршунов и лисиц не различают этого!

Слово «ад» еще очень употребительно в английском народе, но мне трудно определить, что оно должно означать. Обыкновенно ад обозначает бесконечный страх, то, чего страшно боится и перед чем дрожит человек, который он старается избежать всеми силами своей души. Поэтому есть ад, если как следует об этом подумать, который сопровождает человека по всем ступеням его истории, религиозного или иного развития, но ад весьма различен у разных людей и народов.

У христиан существует бесконечный страх перед тем, что справедливый Судья может найти их виновными. У древних римлян был, как я себе это представляю, страх не перед Плутоном, который их, вероятно, очень мало пугал, а страх перед недостойными, недобродетельными, или что в основном означало у них – немужественными поступками. А теперь, если проникнуть сквозь ханжество и посмотреть на суть вещей, чего же современная душа бесконечно боится на деле и поистине? На что смотрит она с полнейшим отчаянием? Что составляет ее ад? Не торопясь и с удивлением выговариваю я это: «Ее ад – это страх перед недостатком успеха». Боясь, что не удастся приобрести денег, славы или иных земных благ, особенно же денег. Разве это не своеобразный ад?

Да, он очень своеобразен. Если у нас нет «успеха», на что мы нужны? Тогда было бы лучше, если бы мы вовсе и не появлялись на свет Божий…

В действительности же этот ад принадлежит, конечно, евангелию маммонизма, который имеет и соответствующий рай. Ведь, в сущности, действительность представляется в виде различных призраков; на одну вещь мы смотрим вполне серьезно, а именно на наживание денег. Трудящийся маммонизм делит мир с праздным дилетантизмом, который со свойственным ему аристократизмом пользуется своими правами свободной охоты. Слава Богу, что есть хоть маммонизм или что-либо иное, к чему мы относимся серьезно. Лень, – самое скверное, – только одна лень живет без надежды. Работай серьезно над чем бы то ни было, и ты постепенно привыкнешь ко всякому труду. В работе лежит бесконечная надежда, даже если эта работа делается ради наживания денег.

Действительно, надо сознаться, что в настоящее время с нашим евангелием маммонизма мы пришли к странному выводу. Мы называем это обществом и вместе с тем открыто признаемся в совершеннейшей разобщенности и изолированности. Наша жизнь не взаимная помощь, а скорее, под прикрытием военных законов, которые называются «свободной конкуренцией» и т. д., – взаимная вражда. Мы совершенно и повсеместно забыли, что «наличный расчет» не составляет единственной связи между человеческими существами, и мы твердо уверены в том, что все обязательства человека этим исчерпываются. «Мои голодающие рабочие? – отвечает богатый фабрикант. – Разве я их не честно нанимал на рынке? Разве я не уплатил им всей условленной суммы до последней копейки? Что же мне еще с ними делать?»

Правда, поклонение маммоне очень скучная религия. Когда Каин для собственной выгоды убил Авеля и его спросили: «Где

брат твой?» – он так же ответил: «Разве я сторож брату моему? Разве я не уплатил брату своему того, что он от меня заслужил?»

О, любящий роскошь богатый купец, сиятельный, занимающийся охотой герцог! Разве нет другого средства для уничтожения твоего брата, кроме грубого способа Каина? «Хороший человек уже обещает кое-что своею наружностью, присутствием в качестве спутника в жизненном странствии». Беда ему, если он забудет все такие обещания, никогда не поймет, что они были даны. Для омертвевшей души, которая преисполнена лишь немым идолопоклонством чувств, для которой ад и недостаток в деньгах имеют одинаковое значение, все обещания и нравственные обязанности, неисполнение коих не подлежит судебному преследованию, как бы не существуют. Ей можно приказать уплатить деньги, – но больше ничего. Во всей прошлой истории я не слышал о таком обществе на Божьем свете, которое основывалось бы на такой философии. Надеюсь, во всей будущей истории не найти ничего подобного. Не так создана вселенная; она создана иначе. Человек или нация людей, думающих, что они так созданы, простосердечно продвигаются дальше, шаг за шагом, но мы знаем, конечно, куда.

В последние два века атеистического правления – теперь почти двести лет прошло с благословенного водворения священной особы его величества и защитника веры Карла II – мы, по моему мнению, в достаточной мере исчерпали ту прочную почву, по которой могли еще ходить. Теперь мы стоим на краю пропасти в страхе, опьянении и надеясь отступить назад!

Дело в том, что из того, что мы называем атеизмом, вытекает еще такая масса других «измов» и ошибок, каждого из коих преследует соответствующее несчастье!

Душа не ветер, заключенный в капсулу. Всемогущий Создатель не часовщик, который когда-то, в доисторические времена, сделал часы из вселенной и сидит с тех пор перед ними и следит, что с ними творится! Вовсе нет. Отсюда происходит атеизм, являются, как мы говорим, многие другие «измы», и итогом всего является рабство, противоположность героизму, печальный корень всех страданий, какими бы именами они ни назывались. И действительно, точно так же, как ни один человек никогда не видел вышеупомянутого ветра, заключенного в капсулу, и считает это, строго говоря, более ложным, нежели понятным, – он одинаково находит, что всемогущий часовщик представляет собой весьма сомнительный предмет. В соответствии с этим отрицает его и вместе с ним еще многое другое. К сожалению, неизвестно, что именно и сколько другого! Вера в невидимое, безымянное и божественное, присутствующее

во всем, что мы видим, делаем и переживаем, составляет сущность всякой веры. Как бы она ни называлась, если это отрицать или, что еще хуже, признавать это только на словах или в переплетенных молитвенниках, что же вообще останется тогда достойное веры?

Один из фактов, приведенных доктором Эдисоном в его сочинении о призрении бедных в Шотландии, произвел на нас глубокое впечатление. Бедная ирландская вдова, муж которой умер на одной из маленьких улиц Эдинбурга, лишенная всяких средств существования, покинула свою квартиру с тремя детьми, для того чтобы просить помощи в благотворительных учреждениях этого города. Ее стали направлять из одного учреждения в другое, ни в одном из них ей не пришли на помощь, пока наконец силы окончательно не оставили ее. Она заболела тифом, умерла и заразила всю улицу, на которой жила, своей болезнью, так что еще семнадцать человек умерли от тифа. Человеколюбивый врач спрашивает по этому поводу, как будто сердце его слишком переполнено для того, чтобы как следует высказаться: «Не следовало ли бы помочь этой бедной вдове хотя бы ввиду экономии?» Она заболела тифом и убила семнадцать человек из вас! Очень странно! Покинутая ирландская вдова обращается к своим собратьям, как бы говоря: «Смотрите, я валюсь с ног из-за отсутствия помощи; вы должны помочь мне! Я ваша сестра, кость от костей ваших, нас сотворил один Господь; вы должны помочь мне!» Они отвечали: «Нет, это невозможно; ты нам не сестра». Но она доказывает свое родство: ее тиф убивает их. Они действительно были ей братья, хотя и отрицали это! Нужно ли было когда-либо человеческому существу искать еще более глубокие доказательства?

В этом случае, как и в других, оказалось вполне естественным, что управление бедных богатыми предоставлено уже давно теории спроса и предложения, laissez faire и т. д., и везде считается «невозможным». «Ты не сестра нам: где была бы хоть тень доказательства этому? Вот наш пергамент, замки, которые неоспоримо доказывают, что наши денежные ящики действительно наши и что они тебя совершенно не касаются. Иди своей дорогой! Это невозможно!» «Но что же нам, собственно, делать?» – слышу я возглас многих рассерженных читателей. Ничего, друзья мои, до тех пор, пока вы себе снова не приобретете Душу. До тех пор все будет «невозможным». До тех пор я даже не могу предложить вам купить на два пенса пороха и свинца, как бы сделали древние спартанцы, чтобы убить эту бедную ирландскую вдову без рассуждения. Ей ничего больше не оставалось, как умереть, заразить вас своим тифом и доказать

этим свое родство с вами. Семнадцать из вас, лежащих мертвыми, уж не будут отрицать, что она была плотью от плоти вашей, и, может быть, кое-кто из живых также примет это к сердцу.

«Невозможно». Об одном пернатом, двуногом животном говорят, если вокруг него отчетливо мелом обвести кольцо, то оно сидит заключенным, как бы окруженным железным кольцом судьбы. Оно умирает, хотя уже видит пищу, или дает себя откормить до смерти. Имя этого бедного двуногого существа – гусь, и когда он хорошо откормлен, то из него делают паштет, который многими очень ценится.

29. Какие мы дураки! К чему мы раним себе колени и ударяем себя озабоченно в грудь и молимся день и ночь Маммоне, который, даже, если уже и согласился бы услышать нас, не может нам, однако, ничего дать. Если даже допустить, что глухой бог услышал бы нашу мольбу, что он превратил бы нашу медь в массивное золото и всех нас, голодных обезьян богатства и важности, превратил бы завтра в настоящих Ротшильдов и Говардов, что бы мы от этого еще имели? Разве мы и так не граждане этой чудной вселенной, с ее млечными путями и вечностями, невыразимым блеском? Что мы так мучаемся, трудимся, рвем друг друга на куски, чтобы как-то выиграть еще клочок земли, а чаще еще лишь призрак его, в то время как самого большого из этих владений не видать уже и с луны.

Как мы глупы, что копаемся и возимся, подобно дождевым червям, в этих наших владениях, даже если у нас таковые имеются! Наблюдаем издали небесные светила и радуемся им, зная о них только по непроверенным и недостоверным легендам! Должны ли те фунты стерлингов, которые у нас, может быть, хранятся в Английском банке, – или фантомы этих фунтов, владение коими мы себе воображаем, скрыть от нас сокровища, для которых все мы в этом «Божьем граде» родились?

30. Как многое у нас могло бы сравниться с окрашенным гробом – снаружи одно великолепие и крепость, а внутри полно ужаса отчаяния и мертвых костей! Железные военные дороги соединяют между собою огненными колесницами все концы суши, набережные и молы с их несметными флотами, подчиняют океан и делают его нашим покорным носильщиком. Работа неутомимо двигает миллионом рук из мускулов или железа, начиная с горных вершин и кончая глубиною шахт и морскими гротами – и ставя все на службы людям, и тем не менее это человеку ничем не помогает. Он завоевал эту планету, свое местопребывание и свое наследство и не имеет от этой победы никакой пользы.

Печальная картина! На высочайшей ступени цивилизации девять десятых человечества должно вести самую низкую борьбу

дикого или даже животного человека, борьбу с голодом! Страны богаты, и рост и процветание их достигают еще никогда небывалой высоты. Но люди этих стран бедны – беднее, чем когда-либо, всеми внешними и внутренними средствами к существованию, верой, знанием, деньгами, хлебом.

31. Эта преуспевающая промышленность с ее полнокровным богатством еще никого не обогатила. Это заколдованное богатство, и оно до сих пор еще никому не принадлежит. Мы спросили бы: кого из нас оно обогатило? Мы можем потратить тысячи там, где в былое время тратили сотни, но мы не можем на них купить ничего хорошего. У богатого и бедного мы видим «вместо благородного трудолюбия и избытка лишь ленивую, пустую роскошь наряду с низкой нуждой и недостатком. У нас великолепные рамки для жизни, но мы забыли жить в них. Это заколдованное богатство, и никто из нас не мог до сих пор дотронуться до него. Если есть люди, которые чувствуют, что они действительно этим приобрели благополучие, пусть назовут себя!

32. Многие люди едят более тонкие блюда и пьют более дорогие вина. С какою пользою, об этом могут сказать нам они и их врачи. Но в каком отношении, не говоря о диспепсии их желудка, улучшилось их существование? Стали они лучше, красивее, сильнее, честнее? Стали ли они даже, как они называют, «счастливее»? Смотрят ли они с удовольствием на большее количество вещей и на человеческие лица в Божьем мире? Смотрят ли на них с удовольствием больше вещей и человеческих лиц? Конечно, нет. Человеческие лица смотрят друг на друга грустно и недоверчиво. Вещи, кроме тех, которые состоят из хлопка и железа, не подчиняются человеку. На хозяине лежит теперь такое же проклятие, как и на его работнике.

Следует обратить внимание еще и на нечто другое, что часто приходится слышать современному человеку: общество «существует для защиты собственности». Еще прибавляют, что и у бедного человека есть имущество, а именно его «работа» и тот шиллинг или те три шиллинга, которые он ежедневно на ней зарабатывает. Довольно верно, друзья мои, что «для защиты собственности». Очень верно, если вы только желали вполне подтвердить восьмую заповедь, то все «права человека» были бы обеспечены. «Ты не должен красть, тебя не должны обкрадывать», какое это было бы общество! Республика Платона и Утопия Мора только бледные его изображения. Дай каждому человеку точную цену того, что он сделал и кем был; тогда никто не будет больше жаловаться и страдание будет удалено со света. Для защиты собственности, действительно только для этого!

Что же, собственно, твое имущество? Эти грамоты, денежный

кошелек, который ты носишь в кармане? Это ли составляет твою ценную собственность? Несчастный брат, ты беднейший, несостоятельный брат! У меня совсем нет одежды; кошелек мой тощ и легок, и тем не менее у меня совсем «другое богатство. Во мне есть чудное, живое дыхание, которое вдохнул в меня всемогущий Бог. Во мне есть чувства, мысли, Богом данная способность быть и действовать, и поэтому у меня есть права. Например, право на твою любовь, если я тебя люблю, на твое руководство, если я слушаюсь тебя. Самые необыкновенные права, о которых еще иногда говорят с кафедры, хотя и в почти непонятной форме, которые простираются в бесконечность, вечность!

Шиллинг в день, три шиллинга в день, тысячу шиллингов в день – это ты называешь моею собственностью? Я мало ценю ее; ничтожно все, что я могу на это приобрести. Как уже было сказано, что же в этом заключено? В рваных ли сапогах, или в легких рессорных экипажах, запряженных четверкой лошадей, – все равно человек одинаково доходит до конца путешествия. Сократ ходил босиком или в деревянных туфлях, а тем не менее прибыл благополучно. Его не спросили о его туфлях, доходе, а только о его работе.

Собственность, брат мой? Даже само тело мое и то принадлежит мне лишь на время жизни. А мой тощий кошелек, это «нечто» и это «ничего», был рабом у карманных воров, ростовщиков и маклеров. Он принадлежал им, он мой, а теперь твой, если ты захочешь украсть его. Но душа, которую Бог в меня вдохнул, – мое «я» и его силы принадлежат мне, и я не позволю их украсть. Я называю их моими, а не твоими. Я хочу сохранить их и действовать с их помощью насколько возможно: Бог их дал мне, и черт их у меня не отнимет. О, друзья мои! Общество существует для очень многих целей, которые не так легко перечислить.

Верно то, что общество ни в какое время не препятствовало человеку стать тем, чем он может стать. Черный как смоль негр может стать Туссеном-Лувертюром[17], убийцей, трехпалым человеком, что бы ни говорила об этом желтая Западная Индия. Шотландский поэт, «гордящийся своим именем и своею страной», может ревностно обратиться к «господам календонской охоты» или стать измерителем пивных бочек или же трагичным, бессмертным певцом с разбитым сердцем. Смягченное эхо его мелодии слышно в течение многих столетий и звучит в святом «Miserere», которое во все века и из всех стран поднималось к небу.

Ты, несомненно, не помешаешь мне стать тем, чем я могу

стать. Даже по поводу того, чем я мог бы стать, я предъявляю тебе удивительные требования, – кажется, неудобно теперь сводить счеты. Защита собственности? Какие приемы усвоило бедное общество, которое хочет еще оправдать свое существование в такое время, когда только денежные дела связывают людей? Мы вообще не советуем обществу говорить о том, для чего оно существует. Лучше употребить все усилия на то, чтобы существовать, стараться удержаться в жизни. Это самое правильное, что оно может сделать. Оно может положиться, что, если бы оно только существовало для защиты собственности, оно тотчас потеряло бы способность к этому.

33. Первый плод богатства, особенно для человека, рожденного в богатстве, – это внушить ему веру в него и при этом скрыть от него, что есть еще и другая вера. Таким образом, он воспитывается в жалкой видимости того, что называется честью и приличием.

34. Я тоже знаю маммону, английские банки, кредитные системы, возможность международного труда и сообщения – и нахожу их достойными сочувствия и удивления. Маммона, как огонь, – самый полезный из всех слуг, но и самый ужасный из всех повелителей. Клиффорды, Фитц-Адельмы[18] и борцы рыцарства «желали одержать победу», – это не подлежит сомнению. Но победа, – если она не достигалась в известном духе, – не была победой, и поражение, перенесенное в известном духе, в сущности, было победой. Я повторяю, если бы они только считали скальпы, то остались бы дикарями, и не могло бы никогда быть речи о рыцарстве или продолжительной победе.

А разве нельзя найти благородства мысли в промышленных борцах и вождях? Разве для них одних, среди людей, никогда не будет никакого другого блаженства, кроме наполненных касс? Видеть вокруг себя красоту, порядок, благодарности, преданные человеческие сердца и не усматривать в этом никакого значения; неужели лучше видеть в обществе искалеченность, возмущение, ненависть и отчаяние от полмиллиона гиней? Разве проклятие ада и полмиллиона кусочков металла могут заменить благословение Божье? Разве нет никакой пользы в разрастании благодати Божьей и она только в денежной наживе? Если это так, то я предвещаю, что фабрикант и миллионер должен быть готов к тому, чтобы исчезнуть. Он не рожден быть одним из властелинов сего мира; его нужно каким-нибудь способом низвергнуть, связать и поставить наряду с прирожденными рабами сего мира!

Нам не нужны дикари, которые не могут постепенно превращаться в благородных рыцарей. Наша благородная планета не хочет ничего знать о них и, в конце концов, не терпит их

более! Неутомимое в своем милосердии небо ниспосылает в этот мир еще другие души, для которых, равно как и для их предшественников в древнеримские, древнееврейские и в иные благородные времена, всесильная гинея, по существу, оказывается бессильной гинеей… И таких душ не одна, а много. Они существуют и будут существовать, если только боги не осудили этот мир на скорую, ужасную гибель. Все они избранники мира, прирожденные борцы, сильные мужи и Самсоны – освободители этого бедного мира, так что бедному миру – Далиле не всегда удастся лишать их силы, зрения и заставлять в полной тьме вертеть жалкий мельничный жернов! В наши дни такие души не будут в ладу с миром. Даже Байрон в конечном счете был доведен до сумасшествия и решительно отказывался подчиниться миру. Мир с его несправедливостями, основанными на золоте жестокостями и надоедливыми желтыми гинеями, вызывает отвращение у таких душ.

35. Деньги есть нечто чудодейственное. Какие удивительные преимущества предоставили и еще предоставят они нам, но вместе с тем какую невообразимую путаницу и темноту внесли они в наши представления вплоть до полного исчезновения нравственных чувств у больших масс людей. «Защита собственности», того, что является «моим», для большинства людей означает защиту денег – вещи, которая, даже если бы я мог держать ее под тысячью замками, меньше всего моя и в известной степени едва ли заслуживает того, чтобы я назвал ее своей! Символ считается священным и защищается с помощью розг, веревок и виселиц, а собственно предмет, который он обозначает, просто-напросто отдается на поругание.

36. «Люди перестают ценить деньги? В таком случае к чему же иному все они стремятся? Даже епископ поведал мне, что христианство перестанет существовать, если он не будет иметь в кармане по меньшей мере четыре с половиной тысячи фунтов в год. Люди перестают уважать деньги? Это случится не раньше чем в день Страшного суда пополудни!» О нет, мое мнение несколько иное. Мне представляется, что Высшие Силы еще не вынесли решения уничтожить этот наш мир. Достойное уважения, все увеличивающееся меньшинство, которое действительно стремится к чему-то высшему, чем деньги, – я с надеждой ожидаю его. Оно будет все возрастать до тех пор, пока, подобно соли земли, не проникнет во все части мира.

Христианство, которое не может существовать без минимума в четыреста с половиной тысячи фунтов, уступит место лучшему, не имеющему надобности в этой сумме. Ты не хочешь присоединиться к нашему небольшому меньшинству? Не ранее

как в день Страшного суда пополудни? Хорошо; тогда по крайней мере ты присоединишься к нему, ты и большинство в массе своей!

Приятно видеть, как грубое владычество маммоны везде становится шатким и дает верное обещание умереть или измениться.

37. Конечно, было бы безумной фантазией ожидать, что какая бы то ни было проповедь с моей стороны может уничтожить маммонизм, меньше станут любить гинеи и больше свою бедную душу, сколько бы я ни проповедовал! Есть, однако, один проповедник, который делает это с успехом и постепенно убеждает всех людей. Имя его – судьба, божественное Провидение, а проповедь его – непреклонный ход вещей. Опыт, несомненно, берет большую плату за учение, но и учит он лучше всех учителей.

38. Человеку работающему, старающемуся хотя бы и самым грубым образом продвинуть какое-нибудь дело, ты поспешишь навстречу с помощью и одобрением и скажешь ему: «Добро пожаловать; ты наш; мы будем о тебе заботиться». Лентяю же, наоборот, если он даже самым грациозным образом будет лентяйничать и подойдет к тебе с целой массой свидетельств, ты не пойдешь навстречу. Ты будешь спокойно сидеть и даже не пожелаешь встать. Ты ему скажешь: «Я тебя не приветствую, о сложная аномалия, лучше бы ты не приходил сюда, потому что кто из смертных знает, что с тобой делать? Твои свидетельства, конечно, стары, достойны почтения и желты; мы чтим пергаменты, старые установления и достойные уважения обычаи и происхождение. Действительно, твои пергаменты стары и, однако, – рассмотренные при свете, если ты обратишь на это внимание, – они новы, если сравнить их с гранитными скалами и со всей вселенной! Советуем тебе уложить свои пергаменты, уйти домой и зря не шуметь.

Наше сердечное желание – помочь тебе. Но пока ты представляешь собою лишь несчастную аномалию и у тебя нет ничего, кроме желтых пергаментов, шумной, пустой суеты, ягдташа и лисьих хвостов, – до тех пор никакой Бог и ни один человек не может отвратить от тебя угрожающей опасности. Слушай советов и присматривайся, не найдется ли на Божьем свете для тебя другого занятия, кроме грациозного лентяйничанья, не лежат ли на тебе какие-нибудь обязанности? Спроси, ищи серьезно и со страстной настойчивостью, так как ответ для тебя означает: быть или не быть. Мы обращаем свое внимание на то, что старо как мир и теперь снова раскрывается со всей суровостью: тот, кто не может работать в этом мире, не может продолжать существовать в нем».

39. Маммонизм захватил по крайней мере одну часть того поручения, которое природа дала человеку. После того как он ее захватил и исполняет, поручения природы все более и более захватят человека и приноровят его к себе. Лень, однако, совершенно не признает природы. Делать деньги, в сущности, значит работать для того, чтобы получать деньги. Но что это значит, когда в аристократической части Лондона лентяйничают?

40. Кто ты, что позволяешь себе хвастаться своей праздной жизнью и самодовольно выставляешь напоказ блестящие, раззолоченные экипажи с мягкими подушками? Ты сидишь на них, сложа руки, словно собираясь уснуть? Взгляни наверх, вниз, вокруг, впереди и позади себя, не увидишь ли ты где-нибудь хоть единого праздного героя, святого, Бога или хотя бы черта? Ничего этого ты не увидишь! На небе, земле, в воде, под землей – нет похожего на тебя. Ты единственный в своем роде из всех творений и принадлежишь ты нынешнему странному веку или пятидесятилетию! На свете существует лишь одно чудовище, и это – праздный человек. В чем его «религия»? Природа – призрак; хитрый попрошайка и вор может иногда хорошо прокормиться; Бог – ложь и человек и жизнь человеческая тоже лишь ложь?

41. Овцы по трем причинам ходят вместе. Во-первых, оттого что у них общительная натура, и они охотно бегут вместе. Во-вторых, из-за своей трусости, потому что они боятся оставаться одни. В-третьих, потому что большинство из них, по пословице, близоруки и не умеют сами выбирать дорогу. Действительно, овцы почти ничего не видят и не заметили бы в небесном свете и луженой жестяной посуде ничего, кроме невероятного ослепительного блеска.

Как похожи на них во всех этих отношениях существа, принадлежащие к человеческой породе! И люди тоже общительны и охотно ходят стадами; во-вторых, и они трусливы и неохотно остаются одни; в-третьих, и прежде всего, они близоруки почти до слепоты.

42. Но разве так мало людей-мыслителей? Да, милый читатель, очень мало думающих. В том-то и дело! Один из тысячи имеет, может быть, наклонность к мышлению; а остальные занимаются лишь пассивным мечтанием, повторением слышанного и активным фразерством. Глазами, которыми люди озираются вокруг себя, видеть могут только немногие. Таким образом, мир стал ужасной сумятицей и задача каждого человека переплелась с задачей его соседа и выбивает его из колеи, а дух слепоты, фальши и разрозненности, который правильно называют дьяволом, постоянно является среди нас и даже надеется (если бы не было противодействия, которое благодаря Богу также

присутствует) взять верх.

43. Как мало человек знает самого себя! Эзоповская муха сидела на колесе экипажа и кричала: «Какую я пыль поднимаю!» Одетые в пурпур властелины со скипетрами и роскошными регалиями часто управляются своими камердинерами, капризами своих жен и детей; или, в конституционных странах, – статьями редакторов газет. Не говори: «я то или другое, я делаю то или другое». Этого ты не знаешь; ты только знаешь название, под которым оно теперь идет.

44. Неисчислимы обманы и фокусы привычки. Самый же ловкий из всех, может быть, тот, который убеждает нас, что чудо перестает быть чудом, если только повторяется. Это способ, которым мы живем, так как человек должен работать так же, как и удивляться, и в этом отношении привычка служит ему хорошей няней, которая ведет его к его же настоящей пользе. Но это нежная, глупая няня, или скорее – мы фальшивые, глупые питомцы, если в часы покоя и размышлений продолжаем обманывать себя на этот счет. Должен ли я смотреть с тупым хладнокровием на вещь, достойную удивления, потому, что я ее видел два раза, или двести раз, или два миллиона раз? Ни в природе, ни в искусстве нет основания, по которому это следовало бы сделать. При том условии, что я в действительности не рабочая машина, для которой Божий дар мысли подобен земному дару пара для паровой машины, – силе, при помощи которой можно ткать бумажные изделия и зарабатывать деньги и денежную стоимость.

45. Удивительно, как существа, принадлежащие к человеческому роду, закрывают глаза на самую ясную действительность. Вследствие вялости забвения и тупоумия живут очень уютно среди чудес и страшилищ. На деле же человек был и является всегда глупым и ленивым. Он гораздо более склонен чувствовать и варить пищу, нежели думать и размышлять. Предубеждение, которое он будто бы ненавидит, – его абсолютный законодатель. Привычка и лень водят его всюду за нос. Пусть два раза повторится восход солнца, сотворение мира – и это перестанет быть чудом или замечательным явлением.

46. Может ли быть нечто удивительнее настоящего подлинного духа? Англичанин Джонсон всю жизнь мечтал о том, чтобы таковой увидеть, и не мог, несмотря на то что ходил в Кок-Лэн и оттуда в церковные склепы, где стучал по гробам. Безумный доктор! Разве он никогда не смотрел духовным оком, точно так же, как и телесным, вокруг себя на полнокровный поток человеческой жизни, которую он так любил? Смотрел ли он когда-нибудь и на то, что было внутри его самого? Славный

доктор ведь сам был духом, такой настоящий, действительный дух, какого только могло желать его сердце, и почти миллион других духов бродило возле него по улицам. Еще раз повторяю: исключите иллюзию времени, скомкайте эти шестьдесят лет в шесть минут – чем иным был он, чем иным являемся мы сами? Не духи ли мы, заключенные в одно тело, явление, не исчезающие в воздухе и не становящиеся невидимыми? Это не метафора, а обыкновенная, научная действительность. Мы происходим из ничего, принимаем известный образ и становимся явлениями.

47. Причудливое представление, которое мы имеем о счастье, приблизительно следующее. Благодаря известным оценкам и по расчетам, составленным в соответствии с собственным масштабом, мы приходим к определенному среднему земному жребию. О нем мы думаем, что он принадлежит нам по праву от природы. Это как бы простая оценка нашего вознаграждения, заслуг и не требует ни благодарности, ни жалоб. Только случайный плюс мы принимаем за счастье, – любой недостаток – за горе.

Представим себе, что мы сами станем производить оценку своих заслуг и какая масса самолюбия в каждом из нас. Тогда надо только удивляться, как часто чаша весов наклоняется в противоположную сторону, и иной дурак восклицает: «Посмотрика, какая плата; случалось ли когда-нибудь такому достойному человеку, как я, видеть что-либо подобное?» Я говорю тебе, дурак, причина лежит исключительно в твоей пустоте, заслугах, которые ты только воображаешь, что имеешь. Представь себе, что ты заслуживаешь, чтобы тебя повесили (что, вернее всего, правда), а ты считаешь за счастье, если тебя лишь расстреляют. Представь себе, что ты заслуживаешь быть повешенным на заволоке, и для тебя будет блаженством умереть на конопле.

Поэтому претензии, какие ты предъявляешь к счастью, должны равняться нулю: мир под твоими ногами. Правильно писал умнейший человек нашего времени: «Жизнь начинается только отречением»[19].

48. Счастье, в котором ищут цель своего бытия, и вся эта очень неблагородная мелкая теория, по сути говоря, если хорошенько сосчитать, существует на свете еще неполных двести лет.

Единственное счастье, просьбами о котором утруждал себя достойный человек, было счастье от выполнения своей работы. Не «я не могу есть», а «я не могу работать» было наиболее частой жалобой среди мудрых людей. По сути говоря, все-таки это единственное несчастье человека, когда он не может работать, исполнить своего назначения как человек. Смотрите, день быстро

проходит, наша жизнь скоро проходит, и наступает ночь, когда никто не может трудиться.

49. В человеке есть нечто выше любви к счастью. Он может обойтись без счастья и взамен него найти блаженство. Для того чтобы проповедовать это самое высшее, разве ученые, мученики, поэты и священники не говорили и не страдали во все века? Разве они не представляли доказательства – в жизни и смерти – в божественном, которое есть в человеке? В том, что только в божественном он обладает силою и свободой? И это Богом вдохновенное учение тебе также проповедуется, и тебя также преследуют различные милосердные соблазны, пока ты не почувствуешь и не научишься их сокрушению! Благодари судьбу свою за это и переноси с благодарностью остальное – оно тебе нужно; «самость» должна была быть уничтожена в тебе. Благодаря благотворным пароксизмам лихорадки жизнь прекращает глубоко лежащую хроническую болезнь и торжествует над смертью. Бушующие волны времени не поглощают тебя, а поднимают в лазурь вечности. Не люби удовольствия, а люби Бога. Вот вечное «да», разрешающее все противоречия. Каждому, кто идет по этому пути и действует, становится хорошо.

50. Всякая работа, даже пряжа хлопка, благородна. Только работа благородна, повторяю и утверждаю это еще раз. И таким образом, всякое достижение – трудно. Легкой жизни нет ни для одного человека, ни для одного бога. Жизнь всех богов представляется нам возвышенною грустью – напряжением бесконечной борьбы с бесконечным трудом. Наша наивысшая религия называется «поклонение страданию». Для сына человеческого не существует заслуженно или даже незаслуженно носимой короны, которая не была бы терновым венцом. Все это было когда-то очень хорошо известно, будучи высказано словами или, еще лучше, прочувствовано инстинктивно каждым сердцем.

Разве вся низость, атеизм, как я это называю, человеческих поступков и деяний настоящего поколения в той невыразимой жизненной философии – не кажется претензией быть, как люди это называют, «счастливыми». Самый жалкий из тех, кто бродит в образе человека, преисполнен мыслью, что он, согласно всем человеческим и божеским законам, имеет право быть «счастливым». Его желания, – желания несчастнейшего бедняка, – должны быть исполнены. Его дни, – дни несчастнейшего бедняка, – должны протекать в мягком течении наслаждения, что невозможно даже для самих богов. Фальшивые пророки проповедуют нам: «Ты должен быть счастлив; ты должен любить приятные вещи и найти их». И вот народ кричит: «Отчего мы не нашли приятных вещей?»

51. Какая разница в том, счастлив ли ты или нет? «Сегодня» так скоро становится «вчера». Все «завтра» становятся «вчера», и тогда нет вопроса о «счастье», а возникает совсем иной вопрос. Да, в тебе остается такое священное сострадание к самому себе по крайней мере, что даже твои печали, раз они перешли во «вчера», становятся для тебя радостью. Сверх того, ты не знаешь, какое Божье благословение и какая необходимая целебная сила заключалась в них. Ты узнаешь об этом лишь по прошествии многих дней, когда ты станешь умнее!

52. Если благородная душа становится в десять раз прекраснее от беды и счастья, потому что попадает в собственную лучезарную и пристойную ей стихию, то неблагородная, напротив, становится в десять раз и в сто раз более некрасивой и жалкой. Все пороки и слабости, которыми обладал человек-выскочка, представляются нам теперь, точно в солнечном микроскопе, увеличенными до страшного искажения.

53. Да, человеческая природа настолько превратна, что уже издавна нашли, насколько превышающее обыкновенную меру счастье опаснее, нежели меньшее. На сто человек, способных перенести несчастье, едва ли найдется один, способный перенести счастье.

54. Для умов, подобных Новалису, – земные блага отнюдь не бывают сладкими и полными. Они со временем проповедуют большую необходимость отречения, благодаря чему только, как заметил мудрый человек, и можно считать, что человек действительно вступает в жизнь. Облагораживающие влияния несбывшихся надежд и любви, которая в этом мире всегда останется безродной, – не зависят также от достоинства и расположенности своих предметов, но от качества сердца, лелеявшего их и умевшего приобрести тихую мудрость из-за такого мучительного разочарования.

55. Когда человек несчастен, что он должен делать? Должен ли он жаловаться на того или иного человека, на ту или иную вещь? Должен ли он наполнять мир и улицы жалобами?

Безусловно, нет; и даже наоборот. Все моралисты советуют ему не жаловаться на какого-либо человека или предмет, а только на себя самого. Он должен узнать правду, что когда он несчастен, то, безусловно, раньше был неумным. Если бы он верно следовал природе и ее законам, то всегда верная своим законам природа предоставила бы ему плоды, рост и блаженство. Но он следовал другим законам – не законам природы, – и природа оставляет его беспомощным, так как терпение ее уже исчерпано, и отвечает ему с очень убедительной важностью: «Нет». Не на этом пути, сын мой, а на ином найдешь ты здоровье; это же, как ты сам

замечаешь, путь к болезни. Оставь его!

56. Политические теории существовали всегда и будут всегда существовать и во времена упадка. Пусть они составляют своего рода явления природы, которая не делает ничего напрасного; да будут они шагами на ее пути. Нет теории надежнее той, которая считает, что все теории, как бы они ни были серьезно и тщательно разработаны, должны быть, по своим свойствам, несовершенны, сомнительны и даже неверны.

Ты должен знать, что вселенная, само собой разумеется, бесконечна. Не пробуй проглотить ее ради твоего логического желудка; радуйся, если ты – тем, что прислан сюда, и тем, что ты там, в хаосе, строишь опору, мешаешь ему проглотить тебя. Многозначительный успех в том, что новое молодое поколение заменило страстную веру в Евангелие по Руссо исповеданием скептицизма: «Во что я должен верить?»

Благословенна надежда, с самого начала предсказывалось тысячелетнее царство, священное царство. Но что достойно удивления: до этой новой эры нет царства полного удовольствия и большого излишка. Не верьте этому обетованному царству лентяев, полного счастья, благоденствия и порока, избавленного от его уродства, друзья мои. Человек не то, что называют счастливым животным, его стремление к благоденствию ненасытно. Как мог бы бедный человек в этой дикой вселенной, которая бросается на него, бесконечная, угрожающая, – я не говорю найти счастье, – как мог бы он жить, иметь твердую почву под ногами, если бы он не запасся терпением для постоянного труда и страданий! Сохрани Бог, если в его сердце нет набожной веры, если для него не имеет значения слово «обязанность»! Что касается этих ожиданий, то они происходят от чувствительности, годной лишь для того, чтобы быть тронутым романами и торжественными случаями и больше ни на что не нужной. Здоровое сердце, говорящее себе: «Как я здорово!» – обыкновенно подвергается самым опасным заболеваниям. Разве сентиментальность не близнец лицемерной фразы, если не совсем одно и то же? Разве лицемерная фраза дьявола не materia prima[20], из которой может сформироваться вся фальшь, слабость и ужас, но не может получиться ничего существенного? Лицемерная фраза, в сущности, двойная дистиллированная ложь, наивысшее могущество лжи.

Если бы целый народ предался ей? Тогда, говорю я, он бы, несомненно, оттуда вернулся. Жизнь не хитро придуманный обман или самообман: это великая истина – ты живешь, у тебя есть желания и потребности. Никакой обман не может соответствовать им и удовлетворить их, а только

действительность. Положись на это: мы возвращаемся к действительности, благословенной или проклятой, смотря по тому, насколько мы мудры.

57. Велико существующее, вещь, спасшаяся от неосновательной глубины теорий и предположений, и представляется определенной, неоспоримой действительностью, которой придерживается жизнь и работа человека, причем придерживается раз навсегда. Мы хорошо поступаем, если держимся за нее, пока она существует, и с сожалением покидаем ее, когда она под нами рушится. Берегись слишком скоро желать перемены! Хорошо ли ты обдумал, что значит в нашей жизни привычка, как все знания и все поступки чудесно витают над бесконечными пропастями неизвестного и невозможного, все наше существо представляет собою бесконечную пропасть, покрытую, точно тонкой земной корой, – привычкой?

58. Свобода? Настоящая свобода человека состоит в том, чтобы найти правильный путь или быть принужденным найти его и идти по нему. Учиться или быть наученным тому, к какой работе он действительно годен, и потом приняться за нее благодаря разрешению, уговариванию и даже насилию. Это его настоящее блаженство, честь, свобода и высшее благоденствие. И если это не свобода, то я лично больше о ней не спрашиваю.

Ты не разрешаешь явно безумному прыгать через пропасти. Ты стесняешь его свободу, ты умный и удерживаешь его, хотя бы с помощью смирительной рубахи, вдали от пропасти. Каждый глупый, трусливый и взбалмошный человек лишь менее очевидный безумец, и его истинной свободой было бы то, чтобы всякий человек, умнее его, видя, что он идет неправильным путем, схватил его и заставил его идти немного вернее. Если ты действительно старший надо мной или мой пастырь, если ты действительно умнее меня, – да заставит тебя благодетельный инстинкт «покорить» меня, приказывать мне! Если ты лучше меня знаешь, что хорошо и правильно, то, умоляю тебя во имя Бога, заставь меня это сделать, даже если тебе придется пустить в ход целую массу кнутов и ручные кандалы; не дай мне ходить над пропастями! Мне мало поможет, если все газеты назовут меня «свободным человеком», когда мое странствие кончится смертью и крушением. Пусть газеты назовут меня рабом, трусом, дураком или как им будет угодно, и моей долей пусть будет жизнь, а не смерть! – «Свобода» требует нового определения.

59. Твоя «слава», несчастный смертный, где будет она и ты сам вместе с ней через каких-нибудь пятьдесят лет? Самого Шекспира хватило всего на двести лет; Гомера (отчасти случайно) – на три тысячи, и не окружает ли вечность уже каждое

«я» и каждое «ты»? Перестань поэтому лихорадочно высиживать свою славу, хлопать крыльями и яростно шипеть, как утка-наседка на своем последнем яйце, когда человек позволяет себе подойти к ней близко! Не ссорься со мной, не ненавидь меня, брат мой. Сделай, что можешь, из своего яйца и сохрани его. Бог знает, что я не хочу его украсть у тебя, так как я думаю, что это жировое яйцо.

60. Есть люди, которым боги в своем милосердии дают славу. Чаще всего дают они ее в гневе, как проклятие и как яд, потому что она расстраивает все внутреннее здоровье человека и ведет его шумно, дикими прыжками, как будто его ужалил тарантул, – не к святому венцу. Действительно, если бы не вмешалась смерть или, что счастливее, если бы жизнь и публика не были бы глупыми… Неожиданное несправедливое забвение не следовало бы за этим неожиданным несправедливым блеском и не подавляло бы его благодетельным, хотя и весьма болезненным образом, то нельзя сказать, чем кончал бы иной человек, достигший славы, или, еще более, бедная, достигшая славы женщина.

61. Друг мой, все разговоры и вся слава имеют лишь короткую жизнь; они глупы и ложны. Одно только настоящее дело, которое ты добросовестно исполняешь, – вот что действительно вечно, как сам всемогущий Основатель и Создатель мира.

62. Твоя «победа»? Бедный черт, в чем состоит твоя победа? Если дело это несправедливое, то ты непобедим, даже если бы горели костры на севере и юге, и звонили бы в колокола, и редакторы газет писали бы передовые статьи. Справедливое дело было бы навсегда отстранено и уничтожено и лежало бы попранным на земле. Победа? Через несколько лет ты умрешь и станешь мрачным – холодным, окоченелым, безглазым, глухим; никакого огня от костров, никакого колокольного звона или газетных статей не будешь ты слышать или видеть в будущем. Какая же это победа!

63. Боже, «наши потомки», – «Эти бедные преследуемые шотландские ковенантеры», – говорил я французу таким французским языком, какой был в моем распоряжении, – «ils s'en appelaient a…» – «A la Postérité!» – перебил он меня, чтобы прийти мне на помощь. – «Ah, Monsieur, non, mille fois non! Они взывали к вечному Богу; вовсе не к потомству! C'était différent!»[21]

V Молчание

1. Молчание и молчаливость! Если бы в наше время строили алтари, то им были бы воздвигнуты алтари для всеобщего поклонения. Молчание – стихия, в которой формируются великие вещи для того, чтобы в готовом виде и величественно предстать в дневном свете жизни, над которым они сразу должны господствовать. Не только Вильгельм Молчаливый, но и все выдающиеся люди, которых я знал, – даже самые недипломатичные из них и самые нестратегичные избегали болтать о том, что они творили и проектировали. Да, в твоих собственных обыкновенных затруднениях, молчи только один день, и насколько яснее покажутся тебе на следующее утро твои намерения и обязанности – какие остатки и какую дрянь выметают эти немые работники, если отстраняется назойливый шум! Речь часто, как французы это определяют, есть искусство не скрыть мысли, но окончательно останавливать и подавлять их, так что уже нечего больше скрывать. И речь велика, но это не самое большое. Как гласит швейцарская надпись: «Разговор – серебро, а молчание – золото»; или, как я это охотнее определил бы: «Разговор принадлежит времени, молчание – вечности».

Пчелы работают не иначе как в темноте. Мысли работают не иначе как в молчании, и добродетель точно так же действует не иначе как втайне. Да не узнает твоя правая рука того, что делает левая! Даже собственному своему сердцу ты не должен выболтать тех тайн, которые известны всем. Разве стыдливость не почва для всех добродетелей, хороших нравов и нравственности. Как и другие растения, добродетель не растет там, где корень ее не спрятан от солнца. Пусть светит на него солнце, или ты сам на него посмотри тайком, и корень завянет, и никакой цветок не обрадует тебя. О, друзья мои, если мы станем разглядывать прекрасные цветы, украшающие, например, беседку супружеской жизни и окружающие человеческую жизнь ароматами и небесными красками, – какая рука не поразит позорного грабителя, вырывающего их с корнями и показывающего с противной радостью навоз, на котором они произрастают!

2. Так глубоко в нашем существовании значение тайны. Справедливо поэтому древние считали молчание божественным, так как это основа всякого божества, бесконечности или трансцендентальной величины и одновременно источник и океан, в которых все они начинаются и кончаются.

В том же смысле и пели поэты «гимны ночи», как будто ночь благороднее дня, а день только маленькая, пестрая вуаль,

которую мимоходом набросили на бесконечное лоно ночи и которая искажает ее чистую, прозрачную вечную глубину, скрывая ее от наших взоров. Так говорили они и пели, как будто молчание – это сердцевина и полная сумма всех гармоний, а смерть – то, что смертные называют смертью, – собственно и есть начало жизни.

С помощью таких картин, так как о невидимом можно говорить только картинами, люди постарались выразить великую истину – истину, которую забыли, насколько это только возможно, мастера нашего времени, но которая тем не менее остается вечно верной и важной и когда-нибудь, в виде новых картин, снова отразится в наших сердцах.

3. Всмотрись, если у тебя есть глаза или душа, в это великое безбрежное непостижимое. В сердце его бушующих явлений, его беспорядке и бешеном водовороте времени не скрывается ли тем не менее молчаливо и вечно единое всесправедливое, всепрекрасное, единственная действительность и конечная руководящая сила целого? Это не слова, а факт. Известный всем животным факт силы тяготения не более верен, нежели эта внутренняя сущность, которая может быть известна всем людям. Знающему это молчание благоговейно невыразимо западет в сердце. Вместе с Фаустом он скажет: «Кто смеет назвать его?»; большинство обрядов или названий, на которые он теперь наталкивается, вероятно, «названия того, что должно оставаться неназванным». Пусть он молчаливо молится ему в храме вечности, если нет для него подходящего слова. Это знание, венец всего его духовного бытия, жизнь его жизни, пусть сохранит он и после этого пусть свято живет. У него есть религия. Ежечасно и ежедневно, для него самого и для всего мира, воздается полная веры, невысказанная, но и небезразличная молитва: «Да будет воля Твоя».

4. Для человека, имеющего верное об этом представление, праздная болтовня именно и есть начало всей пустоты, неосновательности и всякого неверия. Благоприятная атмосфера, в которой всевозможные сорные травы преобладают над более благородными плодами человеческой жизни, угнетают и подавляют их, – одна из наиболее кричащих болезней нашего времени. С ней нужно всякими способами бороться. Самым мудрым из всех правил была старая мудрость, простирающаяся далеко за нашу мелкую глубину: «Береги свой язык, так как от него происходит течение жизни!» По сути говоря, человек – воплощенное слово; слово, которое он говорит, сам человек. Глаза, вероятно, вставлены в наши головы для того, чтобы мы видели, а не для того только, чтобы мы воображали и уверяли

правдоподобным образом, будто бы видели. Был ли язык подвешен в наш рот для того, чтобы он говорил правду о том, что человек видит, и делал человека братом по духу другого человека? Или для того только, чтобы издавать пустые звуки и смущающую душу болтовню и препятствовать этим, как заколдованною стеною мрака, соединению человека с человеком?

Ты, владеющий тем осмысленным, созданным небом органом – языком, подумай об этом хорошо. Поэтому, очень тебя прошу, говори не раньше, чем мысль твоя молчаливо созреет, не раньше, чем ты не издашь ничего другого, кроме безумного или делающего безумным – звука. Пусть отдыхает твой язык, пока не явится разумная мысль и не приведет его в движение. Обдумай значение молчания; оно безгранично, никогда не исчерпается обдумыванием и невыразимо выигрышно для тебя! Прекрати ту хаотическую болтовню, из-за которой собственная твоя душа подвергается неясному, самоубийственному искажению и одурманиванию. В молчании – твоя сила. Слова – серебро, молчание – золото; речь человечна, молчание божественно. Глупец! Думаешь ли ты, что оттого, что нет никого под рукой, чтобы записывать твою болтовню, она умирает и становится безвредной? Ничто не умирает, ничто не может умереть. Праздное слово, сказанное тобой, – это брошенное во время семя, которое растет вечно!

5. Что касается меня, то, в дни громкой болтовни, я уважаю еще более молчаливость. Велико было молчание римлян, – да, величайшее из всех, потому что это не было молчанием богов! Даже тривиальность и ограниченность, умеющие держаться спокойно и молчаливо, приобретают относительно приличный вид!

6. Молчание велико: должны были бы быть и великие, молчаливые люди. Хорошо сознавать и понимать, что никакое достоинство, известное или нет, не может умереть. Деятельность неизвестного, хорошего человека подобна водяной силе, которая течет спрятанная под землей и тайно окрашивает зеленью почву. Она течет и течет и соединяется с другими струями; наступит день, когда она забьет видимым, непобедимым ключом.

Литературный талант, есть ли у тебя литературный талант? Не верь этому; не верь! Природа предназначила тебя не для речи и писания, а для работы. Знай: никогда не существовало таланта для настоящей литературы, – нечего и говорить обо всем том таланте, который расточали и тратили на мнимую литературу, – что первоначально не был наклонностью к чему-то бесконечно большему – «молчаливому». Лучше отнесись к литературе немного скептически. Где бы ты ни был, работай. То, что твоя

рука может делать, делай рукой человека, не тени. Да будет это твоим тайным блаженством, твоей большой наградой. Пусть будет мало у тебя слов. Лучше молчать, нежели говорить в эти злые дни, когда из-за сплошного разговора одного человека голос его становится неясным другому, посреди всей болтовни сердца остаются темными и немыми по отношению друг к другу.

7. Остроумие! Прежде всего не старайся быть остроумным. Ни одному из нас не предлагается быть остроумным под страхом наказания; но заслуживает самого сурового наказания, если все мы не считаем себя обязанными быть мудрыми и правдивыми.

Молодой друг, которого я люблю и известным образом знаю, хотя никогда не видел и не увижу тебя, ты можешь то, чего мне не дано, – учиться, быть чем-нибудь и делать что-нибудь вместо того, чтобы красноречиво говорить о том, что было и будет сделано. Мы, старые, останемся кем были и не изменимся. Вы – наша надежда. Надежда вашего отечества и мира заключается в том, чтобы когда-нибудь снова миллионы стали бы такими, какие теперь встречаются в единичных случаях. «Слава тебе; иди счастливой стопой». Да узнают лучше нашего будущие поколения молчание и все благородное, верное и божественное, и да оглянутся они на нас с недоверчивым удивлением и состраданием.

8. На поприще литературы дойдут еще до того, чтобы платить писателям за то, что они не писали. Серьезно, не подходит ли действительно это правило ко всему писанию и тем более ко всякой речи и ко всякому поступку? Не то, что находится над землей, то невидимое, что лежит под нею, в виде корня и основного элемента, определяет ценность. За всякими речами, стоящими чего-нибудь, лежит гораздо лучшее молчание. Молчание глубоко, как вечность, речь течет, как время. Не кажется ли это странным? Скверно веку, скверно людям, если эта старая, как мир, истина стала совершенно чуждой.

9. Тысячу лет молчаливо растет в лесу дуб, только на тысячном году, когда дровосек приходит с топором, раздается эхо в тишине, и дуб дает знать о себе, когда он падает с оглушительным шумом. Как тихо был посажен желудь, снесенный случайным ветром! Когда цвел дуб и украшался листьями, то эти радостные для него события не возвещались радостными криками.

Изредка лишь слышалось слово признания со стороны спокойного наблюдателя. Все это не было событием – это спокойно свершалось; не в один час, а в течение многих дней; что можно было об этом сказать? Этот час казался похожим на последний, похожим на последующий.

Так происходит всюду; безрассудная молва болтает не о том, что было сделано, а о неудачах и опозданиях. И безрассудная история (более или менее сокращенный, письменный обзор молвы) знает мало достойного изучения. Нашествие Аттилы, крестовый поход Вальтера Голяка, Сицилийская вечерня, Тридцатилетняя война – один только грех и беда. Никакой работы, только помехи и задержка всякой работы. Однако все же земля ежегодно зеленела и урожай ее созревал. Рука работающего, ум мыслителя не отдыхали. Благодаря этому у нас, несмотря на все, остался великолепный, прославленный, цветущий мир. Бедная история может спросить себя с удивлением: «Откуда он происходит?» Мало знает она о нем, много о том, что задержало его и хотело уничтожить. Это ее обычай и правило, благодаря ли необходимости или безрассудному выбору, и странная фраза справедлива: «Счастлив народ, коего календари остаются пустыми».

10. Так же обстоит со всеми видами интеллигентности, направлена ли она на поиски правды или на соответствующие сообщения о ней, поэзию, красноречие или глубину проницательности, которая служит основанием для этих двух последних. Характерный признак труда – некоторая постоянная непроизвольность и бессознательность. «Здоровые не знают о состоянии своего здоровья; знают о нем лишь больные».

11. Мудрость – божественный вестник, который приносит с собой в этот мир каждая человеческая душа, божественное предсказание новой и присущей ему способности действовать, которую новый человек получил, – по своему существу молчалива. Ее нельзя сразу и целиком прочитать словами; потому что она написана в непонятной действительности таланта, положения, желаний и возможности, которыми снабжен человек, она кроется в предчувствии, неизвестной борьбе, страстном старании и может быть вполне прочитана лишь тогда, когда исполнена его работа. Не благородные движения природы, а низкие вводят человека в искушение, чтобы обнаружить тайну его души в словах. Если у него есть тайна, слова всегда остаются недостаточными. Слова только задерживают настоящее обнаружение поступка, мешают ему и сделают его наконец невозможным. Никто из тех, кто совершает важное на свете, не станет говорить об этом подробно. Вильгельм Молчаливый лучше всего говорил освобожденной страной. Оливер Кромвель не блистал красноречием. Гете находил, что когда он собирался писать книгу, то не хотел об этом говорить; только тогда она удавалась.

12. Человек и его работа не оцениваются по тому, что

называется их влиянием на мир, по тому, благодаря чему мы можем судить о их влиянии. Влияние, действие, польза? Дайте нам делать нашу работу; забота о ее плодах принадлежит другим. Ее собственные плоды созреют. Воплотятся ли они в тронах халифов или арабских завоеваниях и наполнят собой «все утренние и вечерние газеты» и все исторические сочинения (своего рода дистиллированные газеты) или не воплотятся в таком виде, – какое это имеет значение? Это неподлинный ее результат! Арабский халиф имел ценность и значение, лишь поскольку он мог что-то делать. Если бы великое дело человечества, человеческая работа на Божьем свете не поощрялась халифом, то не имело бы никакого значения, сколько раз он обнажал свои сабли и какая добыча ему доставалась. Сколько золотых монет он вкладывал в карман, какой шум и тревогу поднимал он на свете, – он был лишь шумным ничтожеством. В сущности, его и вовсе не было.

Будем уважать великое царство молчания! Неизмеримый клад, которого мы не можем хвастливо пересчитать и показать людям! Это каждому из нас больше всего нужно в наши громкие времена.

13. Если смотреть на дело исходя из высокого масштаба, то мы заметим, что века геройства не века нравственной философии. Если можно философствовать о добродетели, то она познала самое себя, она стала больной и становится все дряхлее.

14. В нашем внутреннем, как и в нашем внешнем, мире нам открыто лишь «механическое», но отнюдь не динамическое и имеющее в себе жизненную силу. Говоря о нашем мышлении, мы хотели бы заметить: то, что мы формулируем в виде высказываемых нами мыслей, есть лишь внешняя, поверхностная сторона, под областью логичного доказательства, сознательного выражения мыслей лежит область размышления. Здесь, в ее спокойной, таинственной глубине, живет жизненная сила, которая есть в нас, и здесь, если нужно что-нибудь создать, а не только изготовить и сообщить, должна происходить работа. Изготовление понятно, но тривиально; создание велико и не может быть понято. Поэтому если спорящий или демонстрирующий, которых мы можем считать наиболее проницательными среди настоящих мыслителей, – знает, что он сделал и как он это сделал, то, наоборот, художник, которого мы ставим на самую высокую ступень, – не знает этого. Он должен говорить о вдохновении и тем или иным способом назвать свое произведение подарком Божества.

В общем же «гений остается всегда тайной для самого себя»; мы всюду ежедневно видим доказательства этой старой истины.

15. Как верно, что всякое деяние, которое совершает человек или народ, сознательно намереваясь сделать нечто великое, – не велико, а мало.

16. Поэтому повторяем еще раз: великое, творящее и продолжительное всегда остается для себя тайной, – и лишь малое, неплодотворное и преходящее есть нечто другое.

17. Мы, и даже строжайшие из нас, смотрим как на нечто естественное, что все люди, сделавшие что-нибудь, имеют право объявлять об этом по возможности громче и приглашать публику их за это вознаградить. «Каждый свой собственный глашатай» – это правило доведено до весьма тревожной стадии. Рекламируй как можно громче свою шляпу. Сначала придерживайся правдивой рекламы, если это достигает цели; если нет, то ухватись за ложную, насколько нужно для твоей цели, и не в такой степени ложную, чтобы ей нельзя было поверить. В действительности, утверждаю я, это не так. Ни от одного человека природа не требует, чтобы он рекламировал свои действия и деяния и изготовление своих шляп, – природа даже запрещает людям делать это. На всем свете нет человека или шляпника, который не чувствовал или не чувствовал бы, что он унижает себя разговорами о своих достоинствах и умениях и своем превосходстве в ремесле. В глубине своего сердца он слышит: «Предоставь своим друзьям, если возможно, своим врагам говорить об этом!» Он чувствует, что он уже жалкий хвастун, быстрыми шагами идущий навстречу лжи и неправде.

Повторяю, законы природы вечны, и их тихий голос, говорящий из глубины нашего сердца, не должен остаться не услышанным под страхом сильного наказания. Ни один человек не может отдалиться от истины без вреда для самого себя. То же самое относится и к одному миллиону или к двадцати семи миллионам людей. Покажите мне народ, который повсюду ведет себя таким образом, что каждый ожидает этого и позволяет это себе и другим, и я укажу вам народ, единодушно идущий по широкой дороге, ведущей к погибели.

18. Блаженны смиренные, блаженны неизвестные. Написано: «Ты желаешь себе великих вещей? Не желай этого». Живи, где ты есть, но живи мудро, деятельно.

Примечания

Книга представляет собой сборник наиболее выразительных для характеристики взглядов Карлейля отрывков из самых различных его сочинений, созданный в Германии в конце XIX века и вышедший там несколькими изданиями под названием «Трудиться и не унывать» («Arbeiten und nicht verzweifeln»).

[1] Речь идет об английском архитекторе Кристофере Рене, создателе собора Святого Павла в Лондоне. Его строительство было начато в 1675 и закончено в 1710 году.

[2] *Гедеон* – в Библии израильский судья (правитель) в доцарское время. О Гедеоновом руне см. в Книге Судей (6:36–40).

[3] Речь идет об английском ученом-лексикографе Сэмюэле Джонсоне.

[4] «Вот человек, который был в Аду» (*ит.*).

[5] «Я требую арестовать мошенников и трусов» (*фр.*).

[6] *Cogito ergo sum* – мыслю, следовательно, существую (*лат.*). – Выражение французского философа Р. Декарта.

[7] «Никогда не говорите мне этого глупого слова» (*фр.*).

[8] *«Miserere»* – «Помилуй» («Сжалься») (*лат.*). – Католическое песнопение на слова 50-го (покаянного) псалма, начинающегося словами: «Miserere mei Domine (Deus)» – «Помилуй меня, Боже».

[9] *Ropbi (opbi)* – в греческой мифологии богини времен года, дочери Зевса и богини справедливости Фемиды.

[10] «Нужно платить своею жизнью» (*фр.*).

[11] Сыновья рыцаря из Нормандии Танкреда д'Отвилля (прежде всего Роберт Гвискар и Рожер I Сицилийский) завоевали в XI веке не всю Италию, а Южную Италию и Сицилию, установив здесь господство нормандской династии д'Отвиллей.

[12] Речь идет о Диогене Синопском, древнегреческом философе-моралисте, главе киников. О нем дошли многочисленные рассказы (анекдоты). По преданию, жил в бочке (пифосе) и искал днем с фонарем человека.

[13] См. прим. 11 к «Теперь и прежде».

[14] См. прим. 22 к «Теперь и прежде».

[15] *Мемнон* – в греческой мифологии царь Эфиопии, сын богини утренней зари Эос. Родиной его считался Египет. В одной из статуй храма в египетских Фивах греки усматривали изображение Мемнона. Статуя, поврежденная землетрясением, на рассвете издавала звуки, которые воспринимались как приветствие Мемнона своей матери Эос.

[16] *Juste milieu* – золотая середина (*фр.*).

[17] *Туссен-Лувертюр,* сын раба, с 1791 года стал

руководителем борьбы народа острова Гаити против английских интервентов и французских колонизаторов. Был арестован и вывезен во Францию, где и умер в 1803 году.

[18] *Клиффорды, Фитц-Адельмы* – старинные английские рыцарские роды.

[19] Речь идет о И. В. Гете.

[20] *Materia prima* – первичная материя (*лат.*).

[21] *«Ils s'en appelaient a…»* – «они взывали к…» «A la Postérité» – «К потомству».

«Ah, Monsieur, non, mille fois non!» – «Ах, месье, нет, тысячу раз нет!» «C'йtait diffйrent» – «Это было совсем другое дело!» (*фр.*).

Афоризмы

…

Менее всего другого человек может измерить самого себя!

…

Мир природы для всякого человека является фантазией о самом себе.

…

Герой является героем во всех отношениях – в своей душе и в своей мысли, прежде всего.

…

Нет великого человека, который жил бы напрасно. История мира есть лишь биографии великих людей.

…

Но если бы мы не имели вовсе великих людей, если бы мы совершенно не удивлялись им, то было бы еще гораздо хуже.

…

Первая обязанность человека до сих пор все еще заключается в подавлении страха. Мы должны освободиться от страха; мы не можем вообще действовать, пока не достигнем этого. До тех пор пока человек не придавит страха ногами, поступки его будут носить рабский характер, они будут не правдивы, а лишь правдоподобны: сами его мысли будут ложны, он станет мыслить целиком, как раб и трус.

…

Смелость же, во всяком случае, лучше, чем отсутствие всякой отваги.

Прошлое имело всегда что-либо истинное и

представляет драгоценное достояние.

…

Искренность, глубокая, великая, подлинная искренность составляет первую характерную черту великого человека, проявляющего тем или иным образом свой героизм.

…

Герой, повторяю, отличается прежде всего тем, – и это мы действительно можем признать его первой и последней отличительной чертой, альфой и омегой всего его героизма, – сквозь внешнюю видимость вещей он проникает в самую суть их.

…

Искренность во всех отношениях, по моему мнению, составляет действительное достоинство Корана. Она-то и сделала его драгоценным в глазах диких арабов. Искренность, в конце концов, составляет первое и последнее достоинство всякой книги.

…

Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме. Иначе его знание – пустое педантство, сухой чертополох.

…

Главная, основная особенность всякого великого человека в том, что он велик.

…

Кто сумеет выразить логическим образом действие, производимое на нас музыкой? Лишенная членораздельных звуков, из какой-то бездонной глубины исходящая речь, которая увлекает нас на край бесконечности и держит здесь несколько мгновений, чтобы мы заглянули в нее!

…

Итак, под поэзией мы будем понимать музыкальную мысль. Поэт тот, кто думает музыкальным образом. В сущности, все зависит от силы интеллекта. Искренность и глубина прогревания делают человека поэтом. Проникайте в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания. Сердце природы окажется во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него.

…

Я советовал бы всем людям, которые могут просто высказать свою мысль, не петь ее.

…

Нужно, чтобы нами управляли с большею Мудростью, нужно, чтобы мы были управляемы Мудрейшими, имели Аристократию Таланта!

…

Разве мысль, истинный труд, самая высочайшая добродетель – не порождение страдания? Истинная мысль возникает как бы из черного вихря. Действительное усилие, усилие пленника, борющегося за свое освобождение, – вот что такое мысль. Повсюду нам приходится достигать совершенства путем страдания.

…

Внешнее принадлежит минуте, находится во власти моды. Внешнее проходит в быстрых и бесконечных видоизменениях. Внутреннее же всегда остается одним и тем же – вчера, сегодня и вечно.

…

Воздадим же еще раз хвалу великому царству молчания, этому беспредельному богатству, которым мы не можем позвякивать в своих карманах, которого мы не высчитываем перед людьми и не выставляем напоказ! Молчание, быть может, самое полезное из всего, что каждому из нас остается делать в эти чересчур звонкие времена.

…

Ибо тогда, как и теперь, как и всегда, религия составляла душу практики, первоначальный жизненный факт в жизни людей.

…

В общем, парламентские акты значат немного, несмотря на шум, который они производят.

…

Истина не бросается вообще в глаза всякому с первого взгляда.

…

В сущности, главный дар поэта, как и всякого человека вообще, заключается в сильном уме.

…

В этом мире только олухи обречены всецело на фатальную судьбу.

…

Степень прозорливости, присущей человеку, составляет настоящее мерило самого человека…

…

Совершенно безнравственный человек не может знать решительно ничего!

…

Слово – великое дело, но молчание – еще более великое.

…

Всякий мундир будет хорош, если только его носит истинно храбрый человек.

…

В наше время подобную роль играет так называемый формализм, поклонение форме. Нет человеческого деяния более безнравственного, чем этот формализм, ибо он – начало всякой безнравственности или, вернее, невозможности с момента его появления какой бы то ни было нравственности. Он парализует моральную жизнь духа в самой сокровенной глубине ее, повергает ее в фатальный магнетический сон. Люди перестают быть искренними людьми.

…

Позорным идолопоклонством является ханжество, и даже такое ханжество, которое можно назвать искренним.

…

Без авторитетов, истинных авторитетов, светских или духовных, на мой взгляд, возможна одна только анархия, ненавистнее которой нельзя представить себе ничего.

…

Никакая железная цепь, никакая внешняя сила никогда не могли принудить человеческую душу верить или не верить. Суждение человека есть его собственный неотъемлемый свет.

…

Будьте непосредственны, будьте искренни.

…

Анархию порождает вовсе не стремление к открытому исследованию, а заблуждение, неискренность, полуверие и недоверие.

…

Почитание героев никогда не умирает и не может умереть. Преданность и авторитетность вечны в нашем мире. Это происходит оттого, что они опираются не на внешность и прикрасы, а на действительность и

искренность. Ведь не с закрытыми же глазами вы вырабатываете свое «личное суждение». Нет, напротив, открыв их как можно шире и устремив на то, что можно видеть!

…

Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно!

…

Мы жаждем не мертвенного, а жизненного мира.

…

Все совершается в этом мире, как я выразился однажды, путем поединков и борьбы; сила, при правильном понимании, есть мерило всякого достоинства. Дайте всякому делу время, и, если оно может преуспеть, значит, оно – правое дело.

…

Терпимость побуждает человека относиться снисходительно к несущественному и всякий раз внимательно различать то, что существенно и что несущественно. Терпимость должна быть благородной, соразмеренной, справедливой даже в том случае, когда человек под влиянием гнева не может больше терпеть. Но в конце концов, мы живем вовсе не для того, чтобы терпеть. Мы живем также для того, чтобы противостоять, обуздывать, побеждать. Мы не должны «терпеть» лжи, воровства, неправды, когда они наступают на нас. Мы должны совладать с ложью и покончить, так или иначе, с нею – благоразумным, конечно, образом!

…

Порядок есть истина, и все держится только истиною; поэтому порядок и ложь не могут существовать вместе.

…

Разве автор книги не является, в сущности,

проповедником, произносящим свою проповедь не перед тем или другим приходом, не сегодня или завтра, а перед всеми людьми, на все времена, во всех местах?

…

Книга запечатлевает в себе душу всех прошедших веков. Она – голос из глубины прошлого, отчетливо звучащий в наших ушах, когда тело и материальная субстанция минувших времен уже бесследно рассеялись, подобно мечте.

…

Все, что человечество делало, о чем мыслило, к чему стремилось и чем оно было, все это покоится, как бы объятое магическим сном, там, на страницах книг. Книга – величайшее сокровище человека!

…

Истинный университет нашего времени – это собрание книг.

…

Отрывки настоящих «служб» и «собрания поучений», игнорируемые непростительным образом нашим обычным пониманием, утопают в этом безбрежном пенистом океане печати, который мы небрежно называем литературой. Там их следует искать! Книги – это наша церковь.

…

Литература – наш парламент.

…

Печать, будучи необходимым результатом письма, тождественна, как я не раз говорил, демократии. С изобретением письма демократия становится неизбежной.

…

Нация управляется всеми, кто обладает в ней даром

речи: на этом, собственно, и основана демократия.

…

Какова бы ни была внешняя форма (лоскут бумаги, как мы говорим, и черные чернила), разве книга не представляет, в сущности, действительно высочайшего проявления человеческих способностей? Она есть мысль человека – истинно чудодейственная сила, посредством которой человек создает все прочее. Все, что человек делает, все, что он решает, представляет внешнее обличье мысли.

…

Деньги действительно могут сделать многое, но они не могут сделать всего.

…

Свет – единственная вещь, потребная для мира. Поставьте мудрость во главу угла, и мир будет победоносно сражаться, будет наилучшим миром, какой только человек может создать.

…

Человек с умом – на вершине всех дел: такова должна быть цель всех общественных укладов и организаций. Ибо человек с истинным умом, как я утверждаю постоянно и верю неизменно, есть вместе с тем и человек с благородным сердцем, человек истинный, правдивый, человечный, отважный. Добудьте себе такого человека в правители, и вы добудете все. Если же вам не удастся привлечь его, то хотя бы вы имели конституции столь плодовитые, как ежевика, и парламент в каждой деревне, вы ничего не достигнете!

…

Герои ушли. Настало время шарлатанов.

Жизнь человеку дается только один раз. Только один раз промелькнет для него этот маленький проблеск времени между двумя вечностями; вторично жить нам никогда более не придется!

…

И благо было бы нам жить не как глупцам и призракам, а как мудрецам и действительным людям.

…

Спасение мира не спасает еще нас, так же как заблуждение мира не губит еще нас.

…

Мы должны сами позаботиться о себе: великое дело представляет эта «обязанность оставаться дома»!

…

Но вообще человек не должен сетовать на свою «среду», «время»; это – бесплодный труд. Если человеку приходится жить в скверные времена, то он должен стремиться к тому – и в этом смысл его жизни, – чтобы сделать их хорошими!

…

Будем стоять на нашем собственном основании, чего бы это нам ни стоило! Будем ходить в таких башмаках, какие мы можем сами добыть себе, в мороз и по грязи, если вам угодно, но только не стыдясь, открыто для всех. Будем опираться на реальность и сущность, которые открывает нам природа, а не на видимость, не на то, что она открывает другим, не нам!

…

Искренний человек по природе своей – покорный человек. Только в мире героев существует законное повиновение героическому.

…

Суть оригинальности не в новизне.

…

Не все искусственные вещи фальшивы.

…

Человек, предназначенный природою для свершения великих дел, бывает одарен прежде всего чуткостью по отношению к природе, которая делает его неспособным быть неискренним!

…

Фразеология, напыщенная или нет, всегда заключает в себе кое-что.

…

Человек, пишущий подобные книги, – настоящий общественный злодей. Вот какого рода книг должен избегать каждый человек.

…

Герои существуют, очевидно, всегда, а вместе с тем существует и известного рода поклонение им! Я решительно протестую против известного изречения остроумного француза, что будто бы нет человека, который был бы героем в глазах своего камердинера. А если бы это и было действительно так, то дело тут не в герое, а в камердинере.

…

Только тот может узнать героя, кто до известной степени сам герой; и одна из бед мира, как в этом, так и в других отношениях, заключается именно в недостатке подобных людей.

…

Истинно сильный человек тот, кто может идти не шатаясь, несмотря на самое тяжелое бремя.

…

Человека, который не может оставаться спокойным, пока не настанет время говорить и действовать, нельзя считать настоящим человеком.

…

Эгоизм действительно есть источник и общий итог всяких иных недостатков и злополучий.

…

Не следует никогда забывать, что идеалы должны существовать: если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет!

…

Человек существует для того, чтобы превратить все беспорядочное, хаотическое в упорядоченное, урегулированное. Он – миссионер порядка.

…

Всякий хаос неизбежно ищет свой центр, вокруг которого он мог бы вращаться. Пока человек будет человеком, Кромвели или Наполеоны всегда будут неизбежным завершением санкюлотизма.

…

Видимость, утверждаю я, не должна порывать связи с действительностью.

…

Скептик не узнает героя, хотя и смотрит на него.

…

В сущности, и слуга, и скептик обращают внимание на одно и то же. Им нужен известный наряд, составляющий общепризнанную принадлежность королевского сана; тогда они признают и самого короля.

…

Человек, сохраняющий чистоту своих рук, благодаря тому что он прикасается к труду не иначе как в перчатках, заслуживает самой жалкой благодарности!

…

Смотрите в глубину действительности, и она даст

вам надлежащий ответ!

…

Целый народ, как и отдельный человек, представляет поистине печальное зрелище, когда скептицизм, дилетантизм, неискренность разъедают его существование, он не узнает искренности, хотя и смотрит на нее.

…

Ум человека заключается не в том, чтобы уметь говорить и делать логические выкладки, а в том, чтобы видеть и убеждаться.

…

Мужество, геройство – это вовсе не красиво говорящая, непорочная аккуратность; это прежде всего доблесть, отвага и способность делать.

…

Человек, не умеющий держать при себе свою мысль, не может совершить никакого крупного дела.

…

Подданные без короля не могут ничего сделать, а король без подданных может сделать кое-что.

…

Человек ни в коем случае не располагает правом говорить ложь.

…

Для всех смертных теперь вполне бесспорно, что управление нашей страной не было достаточно мудро. Руководить и управлять ею были поставлены люди, слишком неразумные, и вот куда они ее привели; мы должны найти более мудрых, или мы погибнем!

…

Прошлое есть темный несомненный факт. Будущее также есть факт, только еще более темный, – более того, собственно, оно есть тот же самый факт, только в новой одежде и новом развитии.

…

Но даже сплетни, если им семь веков, имеют значение.

…

Лучше выбрать себе в цари бревно, чем змею, как бы она ни была мудра…

…

Выборы, происходят ли они прямо баллотировочными ящиками в общественных собраниях, или косвенно, силою общественного мнения, или даже хотя бы путем открытия кабаков, давления со стороны землевладельцев, народного кулачного права или какими бы то ни было избирательными приемами, – выборы всегда интересное явление.

…

Если известны люди, которых выбрал Народ, то тем самым известен и самый Народ, в его настоящей цене или ничтожности. Героический народ избирает героев и счастлив; холопский или подлый народ избирает лжегероев, то, что называется шарлатанами, принимая их за героев, и несчастлив.

…

Избирательные приемы Народа, в конце концов, суть точный образ его избирательного таланта.

…

Научиться повиновению – есть основание искусства управления.

…

Кто не может быть слугою многих, тот никогда не

будет господином, истинным руководителем и освободителем многих – вот в чем смысл истинного господства.

…

Даже Пошлость, Глупость, которые могут молчать, – даже и они сравнительно почтенны!

…

Дела больше Слов. В Делах есть жизнь, немая, но несомненная, и они растут, как живые деревья, плодовые деревья; они населяют пустоту Времени, делают его зеленым и придают ему цену.

…

Пиво и джин: увы, это не единственный род рабства.

…

Чем яснее светит мой Внутренний Свет, чем менее мутна среда, чем менее он производит Призраков, – тем, конечно, я буду радостнее, а не печальнее!

…

Даже самая безумная, членораздельно говорящая душа, ныне существующая, не должна ли и она сказать себе: «Целую Вечность ждала я, чтобы родиться, и вот теперь целая Вечность ожидает, чтобы видеть, что я сделаю, родившись!»

…

В конечном выводе всякое Правительство есть точный символ своего Народа, с его мудростью и безумием. Мы можем сказать: каков Народ, таково Правительство.

…

Любовь людей не может быть куплена наличным платежом; а без любви люди не могут выносить совместной жизни.

…

Обособленность есть сумма всех видов несчастья для человека.

…

Надо жить, а не прозябать.

…

Твоя жизнь – твое достояние; это все, с чем ты можешь пойти навстречу вечности. Действуй поэтому подобно звездам, не торопясь, но и не зная отдыха.

…

Что сделано, того не воротишь, то слилось уже с безграничным, вечно живущим, вечно деятельным миром, то вместе с ним приносит людям пользу или вред, явно либо тайно, на вечные времена.

…

Жизнь всякого человека можно сравнить с рекой, начало коей ощутимо для всех; дальнейший же бег ее и ее назначение, когда она змеей извивается по широким плоскостям, может различить один только Всевидящий.

…

Священный жар труда похож на очистительный огонь, истребляющий любой яд, сквозь самый густой дым дающий светлое, чистое пламя!

…

Благословен тот, кто нашел себе дело. Да не пожелает он иного благословенья. Раз он обрел его, он последует за ним.

…

Крепко держитесь того знания, которое в труде доказывает на деле свое значение…

…

Если ты намерен написать стихотворение, поэт, и при этом ничего не имеешь в виду, кроме рецензентов, гонорара, книгоиздателя и популярности, то у тебя ничего не выйдет, потому что в твоем творении нет правды!

…

Все творения, каждое в своем роде – превращение безумия в нечто осмысленное.

…

Уважай способность до тех пор, пока она делает честь человеку.

…

Мы знаем, что сказанного не вернешь; тем более не вернешь сделанного.

…

Живая, готовая сумма, которой никто не в состоянии вычислить, состоит из трех слагаемых, явных для всех: все, что случилось, все, что случается, и все, что случится в будущем.

…

Сильный человек всегда найдет себе дело, то есть трудности, страдания в той мере, какая только ему по силам.

…

Талантливый человек, в какой бы период истории он ни родился, всегда найдет довольно работы; никогда не может он вступить в жизнь при таких обстоятельствах, чтобы не было противоречий, нуждающихся в примирении, трудностей, на преодоление коих потребуются его силы, если только сил этих вообще достаточно.

…

Везде душа человеческая находится между

полушарием мрака, на границе двух враждующих царств: необходимости и свободной воли.

В гневе должен ты не забывать милосердия и справедливости – ты должен быть рыцарем, а не диким индейцем, если ты хочешь, чтобы победа была за тобой!

…

Чем бы человек ни занимался, его работа будет тогда лишь хороша, если он знает, когда нужно остановиться.

…

Кто слишком старается, тот так же болен духом, как тот, кто вовсе не старается.

…

Если ты сталкиваешься с ложью, истребляй ее. Ложь для того только и существует, чтоб ее истребляли; неправда искренне ждет и требует того, чтобы ее преследовали.

…

Человек, которому хотелось бы работать и который не находит себе дела, – самое грустное зрелище, доставляемое нам неравномерным Распределением счастья на земле.

…

Попробуйте подарить человеку полмира, и вы увидите, что он затеет ссору с владельцем второй половины и будет утверждать, что его обидели.

…

Что такое несправедливость? Лишь иное название беспорядка, неправды. Нечто такое, что правдиво созданная природа, именно потому, что она не хаос, не призрак, отрицает и отталкивает.

…

Внутренняя сущность всякой «религии», как бывшей, так и будущей, в том, чтобы сделать человека свободным.

…

Нельзя назвать удачным слово «невозможно»; от тех, кто часто его употребляет, нельзя ожидать ничего хорошего.

…

Хорошо иметь здоровое тело, но здоровая душа – вот самое главное, что человек должен выпросить себе у неба, самое прекрасное, чем небо может осчастливить бедных смертных.

…

Не то важно, сколько в тебе соломы, а то, сколько в тебе пшеницы.

…

Невелика заслуга человека, сохранившего руки в чистоте, если он всю работу исполнял не иначе как в перчатках.

…

Разве Божий мир не символ божественного? Разве неизмеримость не храм? Разве история человека и человечества не бесконечное Евангелие? Прислушайся только, и вместо органа ты услышишь, как и в древние времена, пение утренних звезд.

…

Человек не должен жаловаться на времена; из этого ничего не выходит. Время дурное: ну что же, на то и человек, чтоб улучшить его.

…

Как бесшумна бывает мысль!

…

В каких безвестных, отдаленных уголках земного шара работает иногда мысль в голове, которая однажды будет увенчана властью, какой не дает и царская корона, потому что короли и цари будут в числе слуг ее.

…

Насколько человек побеждает страх, настолько он – человек.

…

Мир всегда представлялся здравому смыслу каждого отдельного человека в большей или меньшей степени домом сумасшедших.

…

Критикующая муха, садясь на колонну или карниз великолепного здания, будет в состоянии указать здесь на пятно, там – на шероховатость, одним словом, несмотря, что взор ее простирается не далее полдюйма, она сумеет найти, что тот или иной отдельный камень совсем не такой, каким он быть должен.

…

Мы совершенствуемся путем страданий.

…

В чем, собственно говоря, состоит благородство? В том, чтобы храбро страдать за других, а никак не в том, чтобы лениво заставлять других страдать за себя.

…

У нас великолепные рамки для жизни, но мы забыли жить в них.

…

Опыт, несомненно, берет большую плату за учение, но и учит он лучше всех учителей.

…

Тот, кто не может работать в этом мире, не может продолжать существовать в нем.

…

Для сына человеческого не существует заслуженно или даже незаслуженно носимой короны, которая не была бы терновым венцом.

…

На сто человек, способных перенести несчастье, едва ли найдется один, способный перенести счастье.

…

Берегись слишком скоро желать перемены!

…

Настоящая свобода человека состоит в том, чтобы найти правильный путь или быть принужденным найти его и идти по нему. И если это не свобода, то я лично больше о ней не спрашиваю.

…

Речь часто, как французы это определяют, есть искусство не скрыть мысли, но окончательно останавливать и подавлять их, так что уже нечего больше скрывать.

…

Разговор принадлежит времени, молчание – вечности.

…

Мысли работают не иначе как в молчании, и добродетель точно так же действует не иначе как втайне.

…

Человек – воплощенное слово.

…

В молчании – твоя сила. Слова – серебро, молчание – золото; речь человечна, молчание божественно.

…

Как верно, что всякое деяние, которое совершает человек или народ, сознательно намереваясь сделать нечто великое, – не велико, а мало.

…

Каждый свой собственный глашатай – это правило доведено до весьма тревожной стадии.

…

Блаженны смиренные, блаженны неизвестные. Написано: «Ты желаешь себе великих вещей? Не желай этого». Живи, где ты есть, но живи мудро, деятельно.

…

Ни один характер – это мы можем смело утверждать – не был бы вполне понят, если б на него не смотрели не только с чувством терпимости, но и симпатии. Ибо в этом случае более, чем в других, оправдывается истина, что сердце видит дальше головы.

…

И такова нередко, почти всегда, была судьба великих людей и горячих друзей мудрости, что их собственный век и отечество смотрели на них как на людей, не имевших значения; на великом всемирном рынке жемчуг их принимали за испорченный ячмень и отвергали с презрением. Не имея приверженцев, сильные только своею верой, неодолимым сознанием своего достоинства и права, они на словах или на деле взывали к будущим векам, когда их собственный слух уже будет закрыт для любви и ненависти, но когда истина, жившая в них, заговорит во всеуслышание. Бэкон завещал свои произведения будущим поколениям, долженствующим явиться после нескольких столетий.

…

Прежде всего мир любит своих оригинальных людей и помнит их долгое время, нередко целые тысячелетия. Если забыть их, то что же тогда остается помнить?

…

Могущество мира заключается в его оригинальных людях; благодаря их деяниям он мир, а не пустыня.

…

Память и история людей, живших в нем, – вот сумма его могущества, его священного вечного достояния, благодаря которым он держится и ведет свой корабль чрез неведомые еще пространства времени.

…

Другими словами, оригинальный человек – это истинный создатель морали.

…

Правила человеческой жизни основываются не на логике.

…

Жизнь замечательных людей должна быть оценена по достоинству и верно понята, а общественному мнению следует по возможности примириться с нею.

…

Доверься небу, читатель, оно точно так же заботится о судьбе народов, как и о судьбе воробья.

…

Человеческая природа невольно впадает в ошибки, если ей не дадут времени на размышление.

…

Не говорили ли мы, что путь верной любви не всегда гладок и ровен?

…

Говорится, что никто не может быть героем перед своим слугой, – и это справедливо; но вина в этом деле заключается столько же в слуге, сколько и в герое, потому что для простых глаз, как известно, многие вещи имеют только тогда значение, когда они не отдалены.

…

Завоеватели принадлежат к тому сорту людей, без которых в большинстве случаев мир мог бы легко обойтись.

…

Писатель, желающий тронуть и убедить других, должен прежде всего сам убедиться и проникнуться чувством.

…

Громадные события иногда вертятся около соломинки, а переход через ручей решает покорение мира.

…

Его поэтическая душа стремится к бесконечному и вечному, а он вскоре сознает, что его положение похоже на положение человека, влезшего на крышу, чтоб оттуда достать звезды!

…

Ни один человек не проживет без толчков; он, только проталкиваясь, проберется через мир, наделяя обидами других и сам получая их. Жизнь его борьба, если есть с чем бороться.

…

Популярность подобна пламени иллюминации или пожара, вспыхнувшего вокруг человека; он осветил все, что в нем есть, но не увеличил его качеств, напротив, лишил его многого и обратил в пепел.

…

Одна из утешительных истин заключается в том, что великие люди находятся в изобилии, но, к сожалению, в неизвестности.

…

Высказывай откровенно, что внушил тебе твой «демон», – если это небесный огонь, то хорошо, если простой фейерверк, – также недурно, во всяком случае, лучше, чем ничего.

…

Кожаные пояса, куртки и всевозможные фасоны платьев преходящи, – один человек вечен.

…

Литература есть мысль мыслящих душ.

* * *

«Герои, почитание героев и героическое в истории». *Перевод В. И. Яковенко*

«Исторические и критические опыты». *Перевод И. И. Родзевича*

«Теперь и прежде». *Перевод Н. Горбова*

«Этика жизни. Трудиться и не унывать!». *Перевод Е. Синерукой*